

К. Леонтьев

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
И ПИСЕМ

5

*К. Леонтьев*





РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2003



# К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ПЯТЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КОНЦА 1860-х—1891 ГОДОВ



ФОНД  
УНИВЕРСИТЕТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2003

УДК 8(47)82  
ББК 84(05)  
Л 47

Редакционная коллегия

*С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,  
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,  
А. П. Мельников, О. В. Николаева, В. П. Сальников,  
Н. Н. Скатов, А. Феррари,  
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)*

Тексты подготовили и комментарии составили

*В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко*

*Издание выпущено при поддержке  
Комитета по печати и связям с общественностью  
Санкт-Петербурга*

ISBN 5-93615-023-2 (Т. 5)  
ISBN 5-93615-011-9

- © Издательство «Владимир Даль», 2003
- © В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко, подготовка текстов, составление комментариев, 2003
- © Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003
- © Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2002
- © А. П. Мельников, оформление, 2003
- © П. Палей, дизайн, 2003

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КОНЦА 1860-х—1891 ГОДОВ



# ОТ ОСЕНИ ДО ОСЕНИ

## Глава I

Дождь шел ливня уж пятый день. — Росписной двор сельца Куреева стал похож на озеро, на котором островками стояли фигурные лужайки и клумбы цветника.

В зале топился камин, и перед ним, сгорбясь, грелась унылая старушка. — Огромной тенью прыгал за ней на стене бант ее спального чепца. — Шумные деревья старого сада гнулись и стонали от осеннего ветра.

Долго старушка была одна и не сводила глаз с огня, не шевелилась, вздыхала иногда и, зевая, утирала слезу.<sup>10</sup>

Когда в залу вошли вместе две девицы — одна полная, румяная и кудрявая; а другая бледная и чернобровая, как еврейка; — старушка повеселела и пригласила их сесть у огня.

— Нет писем с почты, Катер(ина) Бор(исовна)? — спросила румяная Лиза.

— Есть, — отвечала старушка. — Мар(ья) Павл(овна) читает их теперь у себя. — Не знаю от кого, только много писем. — Видела я два — одно от Андрея;<sup>20</sup> а другое от Николая. — По почерку их сейчас узнаешь. — Лучше Николая никто из братьев никогда не писал; — как бисером нижет. — А уж хуже Андрея — на свете Божьем почерка нет. — Мука! *Мыслети* такие пишет, что я в жизнь не видывала; а слово точно *рцы...* Это он все над сочинениями сбил себе почерк.

— Скажите, Катер(ина) Бор(исовна), — спросила опять Лиза, — кого вы из племян(ников) больше всех любите?

— Я, милушка, всех их люблю.

— Ну, а вы кого больше?

— Как тебе сказать?.. Андрея, я думаю, теперь больше других... Вынянчила я его; он чуть живой родился. — Да и он меня не забывает. — Вот как поправился, так из Петербурга мне фланелевые два платья прислал и чепец, и муфту. — И жены портрет. — А Николая я прежде больше всех любила; он мой крестник был и фаворит. — Да такой был буйн и сорви-голова, что сил с ним не было сладить. — Уж на что мать твердая, и той не боялся. — А меня — раз я как-то стала его бранить, так он только толкнул в бок рукой... дух занялся... Я закричала... и заплакала: «И не грех тебе, говорю, Коля, меня искалеченную, несчастную бить!» Вскочил бледный — упал на колени и руки мои целовал, прощенья просил... И смелость какая была всегда у этого мальчишка! По ночам с малых лет — все роци избегает; с пастухом уйдет в орлянку играть; дороги все верст на тридцать знал не хуже мужика какого-нибудь... Точно как неблагородное дитя был... И разлюбила я его... Ну, Андрей дворянчик как следует был...

— Однако Николай Дмитр(иевич) Вам денег с Кавказа каждый год присылает... А вы его браните, — сказала Лиза.

Катер(ина) Бор(исовна) испугалась.

— Нет, нет! Когда ж я его бранила! Теперь он солиднее, все говорят, стал... Я его не браню!.. Дай Бог ему здоровья, что меня не забыл... Да ведь и из-за него тоже мало я слез пролила? Как его сковали-то и на Кавказ повезли? — Ты спроси, каково это было видеть?

По коридору послышались медленные шаги и шелест шолкового платья.

— Марья Павл(овна) идет! — сказала Лиза и встрепенулась.

Кат(ерина) Бор(исовна) тоже повыпрям(илась) сколько могла; — только чернобровая еврейка осталась — как была — строга, печально молчалива и прекрасна.

Хозяйка дома вошла; — ей было уже лет 60 с лишком; стан ее уже был слаб и согбен; лицо в морщинах хранило, однако, следы когда-то блистат(ельной) наружности. — Она несла в руках два письма. — Подошла к Катер(ине) Бор(исовне), — бросила их ей на колени, сказала: «Читайте; — это ваших любимых племянников». И задумчиво стала ходить по зале. 10

Катер(ина) Бор(исовна) подала письма бледной нимфе и просила ее прочесть. — «Очков нет в кармане».

— Которое прежде? — спросила сухо мраморная дева.

— От Андрея, Ольга, читай от Андрея... читай... — сказала Катер(ина) Борис(овна).

«Милый друг мой и мать, вы пишете, что слухи о воле развратили вовсе ваших крестьян, что они портят ваш сад и двор и не повинуются более вам. — Мне очень жаль, что я в этом не могу Вам помочь. — После стольких веков рабства им простительно желать отдыха. — Но если Вам нужны деньги, я с радостью посылаю Вам и тетушке 500 рублей. — Вы много трудились и много мучались за нас на своем веку и потому вы можете не краснеть взять от любого из нас деньги. — Особенно от меня. — Мои дела идут теперь хорошо. — Саша дебютировала в роли „Дуняши“ Островского („Не в свои сани не садись“) и очень сносно... Я много пишу, перевожу и добываю в м(еся)ц рублей 300 при журнале. — Приехать к Вам не могу не только потому, что вы, как говорите — не можете дать мне средств к жизни; но скорей потому, что против крепостных я никогда не пойду и, признаюсь вам, даже и тогда, когда буду знать, что они не правы, я буду защищать их. — Мои убеждения для меня святыня».

— Не читайте дальше! — воскликнула Мар(ья) Павл(овна); — довольно этой жалкой демагогии... Как будто



правда существует на свете только для крестьян; а труд только для меня, а не для них!

Ольга сложила письмо Андрея и начала читать письмо другого брата:

«Милостивая Государыня,  
Почтеннейшая матушка  
Марья Павлов(на)».

Тут Ольга, приостановясь и чуть-чуть презрительно улыбнувшись, сказала тихо:

<sup>10</sup> — К чему это? что-то семинарское...

— Нисколько! — воскликнула мать. — Так и должен писать почтительный сын, которого ум не наполнен современными бреднями.

Ольга опять повторила...

«Мил(остивая) Госу(дарыня),  
Почтенн(ейшая) матушка.

Я оставил службу уже около года. — Обстоятельства позволяют мне приехать к Вам; увидеть наконец мою родину после 15-летнего изгнания. — Какой это будет для <sup>20</sup> меня печальный и вместе с тем радостный день, когда я снова увижу перед собой куреевскую аллею перед мостом и пруды наши! — Я оставляю жену мою и дочь в Одессе, у родных; а сам приеду прямо к Вам и постараюсь сколько могу успокоить вашу старость и утешить вас. — Прошу вас во имя сыновней любви — принять 700 рублей, которые я прилагаю при этом письме. — Прошу вас также передать тетушке Катер(ине) Бор(исовне), что я у нее целую руку, и братьям и сестре, если увидите их, передайте мой искренний поклон. Особенно обнимаю моего <sup>30</sup> милого Андрея. Что он делает, наш милый „Херувим“? Как было мне досадно и больно, что я был в Сибири в то время, когда он был в Крыму! — Я думаю, он стал теперь вполне мужчина; но я его иначе как прежним „Херувимом“ вообразить себе не могу. — Прошу, добрей(шая)

и почтен(нейшая) матушка, вашего благослов(ения) и остаюсь

покорный и преданный сын Ваш Николай Львов».

— Вот это письмо! — сказала Мар(ья)Пав(ловна). — И эти деньги я возьму!.. — Сказавши это, она выложила на стол с уважением 700 рублей старшего сына и деньги младшего кинула на пол и сказала:

— А этим — вот куда дорога!.. Им бы место в камине!..

Все молчали, только Ольга возвысила голос и заметила: <sup>10</sup>

— Однако, бабушка, ваш старший сын богат; а Андрей Дмитр(иевич) трудится и сколько может хочет помочь вам тоже...

Мар(ья)Пав(ловна) остановилась перед ней и покачала головой. — Потом обратилась к Катер(ине) Бор(исовне) и сказала ей: «Если у вас есть ум, объясните ей какая разница! — Лиза, подними эти. — Я запечатаю их и знаю, что с ними сделать...»

С этими словами Марь(я) Павл(овна) ушла к себе, и в пустом доме с того конца раздалось щелканье ключа, <sup>20</sup> которым она запирала свою дверь.

Катер(ина) Бор(исовна) вздохнула. — А Лиза, улыбаясь, спросила у нее, «какая же разница между этими деньгами?»

Катер(ина) Бор(исовна) отделалась тем, что махнула рукой и головой покачала.

Тогда Лиза обратилась к Ольге и просила ее докончить письмо Андрея Дмитр(иевича). И Катер(ина) Бор(исовна), оживившись вдруг тоже, воскликнула: «Ах, да! дружок, читай, читай!» <sup>30</sup>

Ольга прочла —

«Мои убеждения для меня святыня. — И им я готов принести в жертву и вас, и жену, и сына; и себя. — Когда они изменятся (хотя трудно, чтобы они изменились после 30 лет!) — тогда другое дело. — Насилие, рабство, деспотизм, сила привилегий, — вот мои враги. — Мужики

для меня также, если хотите, святыня. — Больно мне видеть вашу грусть и ваше одиночество. — Я помню ваше добро (один я знаю, как сильна во мне „память сердца”); но это сверх сил моих. — Будь я сам помещик — я сам бы ходил в тулупе и жена моя кроме ситцов ничего бы не знала; но я преследовать мужиков бы не стал и терпел бы от них с покорн(остью) всякую неправду. — Они дети, и я не понимаю, как можно негодовать на них?!

10 Что сказать вам еще? У нас очень хорошая квартирка с видом на Москву-реку; я часто езжу в Петербург. — Жена моя влюблена в одного молодого артиста; и я очень рад, потому что сам равнодушен к Наталье М.....вой, которую вы встретили в Москве, и, может быть, уеду с ней скоро за границу!»

Девушки переглянулись с удивлением. — А Катер(ина) Бор(исовна) поморгала, покашляла и сказала: «И правда что у него ум за разум зашел».

120 Лиза, однако, заметила ей на это: «что Саша всегда была кокетка и что не будь кокетка, не нашла бы себе такой судьбы».

— Какая ж это судьба? — бросая на нее холодный взгляд, возразила мраморная Ольга.

— Судьба — что она была крепостная наша, а муж умный, молодой, собой красивый, дворянин...

— Радуетя, что в нее другой влюблен, чтобы от нее избавиться, — сказала Ольга. — Пусть лучше бы был не дворянин, да не поступал бы так...

— Это правда, — сказала Кат(ерина) Бор(исовна).

30 Часы пробили девять. — Слуга внес самовар и стал накрывать на стол.

По коридору снова послышались старческие шаги, и на этот раз Ольга сказала, просветлев впервые: «Бабушка Анна Матвеевна идет». — Встала и отворила дверь. — Вошли две старухи. — Одна вела другую. — Одна была столетняя мать Марьи Павл(овны) Львовой; тяжелая и плотная, но почти слепая и глухая; а другая тоже уже слабая — старая служанка ее Наталья Федоров(на).

— Ну вот и я! — сказала весело прабабушка, с трудом подним(аясь) на порог залы.

Ольга схватила ее под руку и, обняв, бережно повела к чайному столу.

Придвинули большое кресло. — Анна Матве(вна) села и осмотрелась кругом.

— Ну, — сказала она. — Кричите, кричите громче. — Чтоб я слышала... Что нового? Говорят — Николай будет?

Ольга, которая совсем изменилась при Анне Матвеев-<sup>10</sup> не, кричала ей: «будет! будет! Радуйтесь!»

— Ну, ну — не труби, шалунья, — весело отвечала старуха, — ты и маленькая меры не знала ни в чем — или уж снофидой бродишь, или козел козлом скачешь. — Мало я тебя колотила, негодница...

— Ну, где вам меня было колотить, — отвечала ей Ольга, — как вы смеете! Я вами всегда командовала...

— Я тебя, я тебя!.. — радостно кричала Анна Матвеев(на), сияясь достать слабой рукой правнучку.

Катер(ина) Борисов(на) и Лиза, и сам буфетчик Иван<sup>20</sup> помирали со смеха.

Ольга и этим не удовольствовалась; она начала в сотый раз рассказывать, как у них прежде в Смоленске венчался старый учитель немец с старой гуверн(ан)ткой и как пастор говорил им речь: «Schöne und liebe Kinder! Junge Gesellen — die den Herr(n) Gott...»

Потом выбежала в другую комнату и вбежала снова, обезобразив себя постной гримасой и воздымая руки к небу, приседала и кричала в нос: «Dominus Vobiscum».

И все опять хохотали.<sup>30</sup>

Анна Матвеев(на) прибавила: «Преподлая эта латынь; что ни слово то скверность; женщине и слышать стыдно... глаголы их...»

Опять все хохотали.

— А где же мой друг Машенька? (так звала она свою 60-летнюю дочь).

Ей сказали, что Марья Павл(овна) у себя заперлась.

— Верно с прикащиком с пьяницей! — Жаль мне ее бедную, как она с мужичьем убивается... Эмансипация! C'est affreux! cela sera connu en France en 93... Потому как скверный народ этот французы...

(Вставка)... — (Вставка — I страница)

---

— Особенно вы любите die schöne, junge Geselle(n), die den Herr(n) Gott... — перебила ее Ольга с гримасой, опять представив пастора.

— Поди сюда, поди сюда, — подозвала ее Анна Матв(еевна) и, притянув к себе, поцеловала в лоб. — Вот сватьяшка, Катер(ина) Борис(овна), у меня есть отрада, а у вас нет...

— У меня скоро будет — Колюшок мой! — отвечала Катер(ина) Бор(исовна).

— Хороша отрада. — Сорванец и убийца!.. Я, матушка, от страха убегу, когда он придет... И должно быть интриган — дядю обморочил и все состояние себе забрал... Негодяй... И мне было опоздал выслать моих 600 рубл(ей) пенсии, что мне сын еще при жизни (помяни его Господи егда приидеши во Царствие Твое!)... сын мне давал... Братьев ограбил. — Меня хотел ограбить... Да я-то ему показала... Меня Губернатор боялся... Архирей на руку у ме(ня) летал!..

Кат(ерина) Бор(исовна) хотела заступиться, но Анна Матве(евна) была вне себя и не слышала ни ее возражений, ни увещаний Натальи Федор(овны), которая, сидя за ней на полу, кричала ей: «Полно, старушка, грех-то какой! Эй, старушка! Гроб за плечами! Эй, не кляни людей! Грех!»

<sup>30</sup> Не слушая даже и внучки любимой, тяжелая старушка силилась встать, чтобы уйти, и не могла. — Наконец Иван и Ольга подняли ее; и Наталья Федор(овна) увела ее в почивальню.

Еще в коридоре слышалось, как она, забывшись, ворчала по-французски старой служанке своей: «Mais il est canaille à perdre tête, cet homme, ma chère, c'est un assassin, je te le dis...» А Нат(алья) Фед(оровна) ей отвечала: «Грех, бабонька, грех! грех, душечка; грех, старушка!»

Услыхав это, обе девушки засмеялись опять, а за ними и слабая Кат(ерина) Бор(исовна), которая перед тем было сочла долгом приосаниться и насупить свои редкие брови. — Но эта последняя вспышка веселости была не надолго. — Все задумались и молча и уныло потупи(ли)сь еще как «пел», докипая, самовар. — Простились и разошлись.

## Глава II

Пока две старухи с двумя девицами хохотали за чаем в зале и ссорились, — Марья Павл(овна) сидела у себя, запершись. — С ней не было ни прикащика и никого; — с ней были тяжкие думы, с ней было отчаяние и сердечное одиночество...

На глубоком склоне лет удалось исполнить ей святой долг против столетней матери; приютить ее в углу, который она сохранила ценой стольких забот, гнева, лишений и бессонных ночей. — Бездомная золовка, — горбатая и беспечная, доживала у нее же свой век. — Она же приютила и чернобровую Ольгу, без любви к ней, без привычки, даже с неудовольствием на ее надменность и своенравие; — Лизу, веселую как день весенний и смиренную как овечка годовалая, она любила больше; но и та была ей чужая и по крови [и] по нраву; но и та была ей не дочь и не друг; она была дочь соседки Кольцовой, которой разоренная семья разлетелась по смерти ее на все края света; а дружба? — Какая же дружба с простой и неученой и не умной девушкой для нее, которой жизнь прошла в борьбе и ум был исполнен опыта и знаний?

Мать напрасно силилась любить перегорелым сердцем; она едва-едва слышала в сердце движения жалости к ней, и то как дальние и обманчивые звуки прошлого...

Когда мать ее, лишившись последней опоры в матери Ольги, во внучке своей, у которой прожила не сходя почти с кресла лет 30, — написала ей письмо и, как бы не помня, что сама столько раз удалялась от нее и кляла ее сама не зная за что... Когда эта лицемерная мать написала ей: «Машенька! Ангел и друг мой Машенька! Ты одна <sup>10</sup> мое прибежище и спасенье... Тебе я поручаю похоронить меня и всем святым заклинаю не оставить и Ольгу, мою сироту безродную, и сберечь ее и устроить!..» Этот день был торжественным праздником для благородной женщины! «А!» — только сказала она, выпрямилась и взглянула на небо с мгновенным порывом гордыни; но... привезли старуху, и она сама за 20 верст выехала встречать ее и подошла к руке почтительнее, чем подходила к ее руке ее молодая дочь...

И что ж? Приехала старуха. — Изготовила ей теплую <sup>20</sup> спальню; воздвигла кресло у окна на двор; последний ковер постелила... Убрала комнату, успокоила... Но, кроме долга — разве старое сердце — не ищет и любви?..

Кого ж любить? — Не сыновою ли? Их было четверо у ней — и все были далеко; один, седой семьянин, бросил службу и дела и кинулся в мутный поток газетной перебранки. — Едва живет и до того к ней равнодушен, что никогда и письма не напишет ей. — Другой, когда-то ласковый и милый, без ума преданный, клянет ее и смеется над ней кому угодно слушать... И за что? За то, что <sup>30</sup> осмелилась она приютить у себя на время жену другого брата, с которым он был в раздоре из-за грязной ревности... А тот, — которого жену она приютила у себя, для которого принесла наиболее жертв, которому забот больше посвятила, — и тот ее бросил — и пишет ей, что «мужики для него святыня; а мать ничто?»

Дочь сошла в ранний гроб без счастья и без чести! — Еще же кто?.. Кто живет для нее на шумном Божьем



свете? — К кому протянуть руки, изможденные долгой борьбой с жестоким игом жизни?.. Давно уж, еще прежде задолго до этих несчастных дней — все шире и шире раздвигалась перед [ней] безлюдная пустыня... Черствело сердце, ум устал давно; — вымирали вдали все близкие... Но все еще мелькали смутные надежды... что и в осень дней проглянет солнце хоть еще на миг!..

Удалился последний сын из дома; увез свою добрую, но ветреную и необразованную жену, которую она было стала любить... Ужасны были для нее эти минуты! Казалось, последнее звено, которое крепило ее к жизни, порвалось с ужасным стоном... Пусть будет так — по воле Вышней... Покой; покой и привольная жизнь в своем теплом углу;... да разве изредка доброе дело... И снова бодрость посетила ее, и снова принялась она считать, писать, трудиться; следить сама за домом и полями. — Вдруг грянул новый гром... То, что казалось ей ее священной собственн(остью) — души ее покорных рабов, их труд, их пот, их руки;... которые кормили ее в силу вековых прав — их хотят отнять у нее и мало этого...<sup>20</sup> земля, ее земля не изъята, как ей казалось, от произвола властей.

С жестоким чувством бессильной злобы глядела она из окна на избы деревни, и в песнях, и в гульбе, и в возражении малейшем она думала видеть угрозу, обиду или бунт!

Вставка две страницы.

И вот кто же едет к ней, покидая семью свою, богатство и службу блестящую? Не тот ли блудный сын, которого она когда-то заковала в цепи и с позором предала в руки суда... Не тот ли, который уже обритый и одетый в сермягу солдатскую — плясал, как пьяный мужик, перед окнами ее, на потеху всем людям?.. Что ж такое жизнь после этого? — Где сила ума людского? Сила предвиденья? благочестивое воспитание и пример? — Смиралось на миг, думая об этом, ее крепкое сердце перед Волей Того, кто

предрешил и ее участь до гроба, и судьбу детей, и судьбу народов. — К чему тогда были все мои заботы и труды? Никакой зоркости, никакому труду не управить течения страшного потока жизни...

Ей стало так душно в спальне от водо(во)рота унылых мыслей, что она раскрыла окно. — Было уже за полночь далеко. — Смех и шум, которые она не без презрения и вместе с радостью слышала из залы, давным давно умолкли; — последняя лучина угасла на деревне...  
<sup>10</sup> Дождь только лил как и прежде; ночь была черная, и сад шумел.... Шумел он так же, как шумел тогда, когда блистательной невестой полвека тому назад при ружейной пальбе, при музыке и огнях потешных, — вступила она в этом старом доме на брачное ложе!..

Дождь брызгал на ее руки устаревшие и в лицо ей, она едва замечала его... Горячей голове было легче на сырости, и тишине она была рада.

Слушала она шум сада долго и спокойно, пока какой-то дальний [звук] не потряс всех недр ее души... Почтовый колокольчик грянул за садом... Ближе, ближе!  
<sup>20</sup> Вдруг замолк. — Она ждала. — Сквозь шум дождя ей послышалось еще что-то. — Она поняла: «Это он!» Из уважения к сну старших он за садом велел подвязать колокольчик. — «Это он!» Еще минута — и карета четверней въехала тяжело и осторожно по грязному двору...

Кто увидал? Кто узнал и как. — Но в доме мигом мелькнули огни; поднялся шум; бежали люди; — Катер(ина) Борис(овна) уже шуркала туфлями по коридору...  
<sup>30</sup> Девушки отворили на антресолях окно.... Сама Анна Матвеев(на), которая лежала дотеле навзничь со свечей на груди и читала «Жорж-Санда», браня новую литературу, что мало приключений описывает, и та бросила книгу и на весь дом звала свою служанку...

Когда Николай, отряхая бархатную шапку от дождя, вошел в зал, первая хотела к нему броситься Катер(ина) Борисовна; но еще прежде ее, кинув свечку на пол, упала

ему в ноги мать и поклонилась ему в землю, обливаясь градом слез.

— Матушка! — сказал только Николай. — И голос его густой и мужественный раздался в пустой зале, как призывный рог...

— Матушка, — повторил он, поднимая ее... — Не вам, а мне быть у ваших ног...

Мар(ья) Павл(овна) не отвечала; слезы душили ее. — За ней плакала, обнимая голову племянника, горбатая старушка; — люди утирали слезы, хватая его руки... <sup>10</sup>

Наконец отдохнули все; — опять явился самовар; стол накрыли; пришла старая няня Матрена из флигеля; она издали кричала еще, скользя по грязи: «Где он? Дайте мне его! Где он, сокол наш залетный, где он!» — «Здесь!» — кричала Катер(ина) Бор(исовна). «Здесь!» — кричала Марья Павл(овна). «Здесь, здесь!» — кричали люди.

Только две девушки, Лиза и Ольга, не приняли участия в семейной радости; они за ней следили издали, накинув блузы и прислушиваясь с площадки своей лестницы; да Анна Матв(еевна) все еще металась и звала Наталью Федоров(ну), которая спала около нее на полу беспробудно. <sup>20</sup>

Когда подали чай, люди побежали было за барышнями, чтобы разливать его по заведенному порядку; но... диво! Марья Павл(овна) остановила их, сама... села к столу и угощала сына.

Мало-помалу разошлись все по своим местам. — Матрена ушла во флигель; люди разошлись; уплелась «шурк-шурк» Катер(ина) Борис(овна). — Сама Анна Матвеев(на) перестала звать Наталью Федор(овну) после того, как изверг и убийца внук пришел к ней с матерью, поцеловал у нее руку и посидел на кровати. — Она совсем забыла о том, как бранила его вечером, дрожащими руками благословляла, смеялась, велела дочери держать свечу перед лицом его и, присматриваясь к нему, говорила ей: «Mais il est très bien, ma chère, il a une figure comme tout le monde!» <sup>30</sup>

Все потом уснули; Анн(а) Матвеев(на) бросила Жорж Занда — и скоро тоже закрыла глаза. — Девушки наверху поговорили немного о казацком герое и тоже замолчали скоро. — Лиза, которая сбегала вниз и глядела на него через стекло коридорной двери, сказала ей, что Львов «молодец-мужчина! плотный такой!» А Ольга отвечала: «Терпеть не могу плотных!»

Лиза сказала ей: «Настоящий как надо кавказец». А Ольга ответила, что она знала одного кавказца, который<sup>10</sup> все повесть писал, которая начиналась: «Солнце село; настал урочный час успокоения»; «писал, писал; одна генеральша-вдова влюбилась в него; а он ее и обокрал».

Потом Ольга и про кавказ(ц)ев прибавила, что она их терпеть не может, и когда Лиза спросила у нее, кого ж она любит, она отвечала: «Никого, кроме бабушки Анны Матвеевны».

— Даже и меня? — спросила Лиза.

— Даже и тебя.

Лиза вздохнула, и обе замолкли...

<sup>20</sup> Только Марь(я) Павл(овна) с сыном не ложились до позднего утра. — Всю ночь просидел он в кабинете у матери, и беседа их была полна и радости и тоски. — Когда за деревней занялась чистая заря и облаков вчерашних не осталось и следа на небе, Марья [Павловна] благословила сына на отдых и, целуя его в голову, сказала:

— Тебе в честь видно, мой друг, и солнце нас согреть опять хочет. — Дай Боже! чтобы я могла чем-нибудь заплатить тебе за то, что ты для меня хочешь сделать.

<sup>30</sup> — Будьте хоть на последние дни вашей жизни счастливы, а я проживу! Я уж имел много хорошего на мою долю; — ответил сын.

В ту минуту, когда он хотел уйти, мать заметила на пальто его георгиевскую ленту, с которой он не любил расставаться, и спросила его, когда он это получил.

— Это крест солдатский, — отвечал он улыбаясь; — я первый ворвался за черкесский завал и вот этой рукой,

которую видите, приколот двух черкесов... Это было давно!..

Мать вздохнула и еще раз благословила его. — Он уснул крепко; а мать утомленную посетил тоже такой легкий и свежий утренний сон, каким давно уж не наслаждалась она.

### Глава III

Около полудня позвали барышень разливать чай для Николая Дмитрича. — Очередь была за Ольгой; — она просила Лизу сойти вместо нее. — Но Лизу забавляла ее застенчивость, и она отозвалась, что Марь⟨я⟩ Павл⟨овна⟩ беспорядка не любит. — Нечего делать!.. Лиза советовала Ольге надеть белое платье и черную тюлевую мантилью, уверяя, что к ней это идет... Ольга ответила ей резко и сошла в старом ситцевом платье и даже воротничков чистых не надела.

Николай Дмитрич сидел у камина с длинной трубкой. — Когда Ольга вошла, кроме его в зале были только Катер⟨ина⟩ Борисовна и Матрена-нянька.

— Вот Вам и кравчий ваш молодой, — заметила Матрена.

Катер⟨ина⟩ Борис⟨овна⟩ сказала племяннику, кто такая Ольга. — Львов встал, подошел к ней, взял ее руку и сказавши: «Какая ты выросла большая и красивая!» — поднес как-то небрежно, как будто мимоходом ее руку к губам и сел опять у камина, продолжая разговор.

— Я думал, — говорил он — что найду в Курееве мало перемен. — Однако вижу, что их много. — Обои нете... Балкона нет... 30

— Балкон сгнил, — сказала Кат⟨ерина⟩ Бор⟨исовна⟩.

— Аллеи березовой нет, которая мне была ровесница...

— Срубил ее мать твоя, чтобы неравно по дележу мужикам не выпала...

— Матушки⟨ны⟩ комнаты брошены.

— Пол сгнил, и его не чинили... — сказала Кат(е-рина) Бор(исовна).

— Упало, упало, голубчик, наше Куреево древнее! — сказала Матрена, со вздохом. — Ушли наши красные времена. — Ну — а все-таки — странноприимный дом как [был] так и есть... Никого от ворот наших не гоним, ни врага, ни друга...

— Это точно, что так! — подтвердила Кат(ерина) Бор(исовна).

<sup>10</sup> Ольга, которая равно ненавидела и ту и другую, — особенно Матрену, — скрипнула зубами и, протягивая стакан чая Матрене, чтобы она подала Ник(олаю) Дмитр(иевичу), сказала только «ну-с!» — Но Никол(ай) Дмитр(иевич) встал сам поспешно и принял из рук Ольги стакан.

Потом посмотрел на нее пристально, с улыбкой и сказал:

— Тебе было пять лет, когда я тебя видел... Это было вот как. — Я заехал к бабушке Анне Матве(евне) в 48 году... Это было зимой... Тебе было пять лет... Знаешь <sup>20</sup> что, — я ведь забыл фамилию твоего отца...

Ольга покраснела и ответила не без смущенья.

— Да! Гринберг. Почтенный человек был твой отец. — Он носил огромные воротнички...

После этих слов Облесков опять отвернулся от нее и завел разговоры об хозяйстве; — а потом, когда допил чай, ушел с матерью, и через полчаса Ольга сверху увидела их вместе на огороде. — Марь(я) Павл(овна) что-то указывала ему рукой; а он смеялся громко и, взявши эту руку, поцеловал ее.

<sup>30</sup> Ольга убедилась, что Облесков ничуть не похож на офицера, который писал о том, как «Солнце село и как настал урочный час...» Ей понравилась его увальчивость, его прекрасная рука, на которой был один только золотой гербовый перстень; — одет он был солидно, но прекрасно; георгиевская лента так кстати украшала петлицу его толстого пальто. — Черты его грубые и сильные ей не казались неприятны; длинный шрам, который он верно по-

лучил в бою, шел мимо глаза через всю правую щеку его, не только не безобразя его, но, напротив, придавал нечто благородное и геройское его бледному лицу... Ей понравилось и то, что у него волосы были белокуры и курчавы; ей даже понравилось, что он звал ее «ты»; а фамилию отца забыл... Словом — ей понравилось все... И будь он холост или вдов — скучающая красавица сразу влюбилась бы в него... Но на что ей женатый человек? Он создан разве только для того, чтобы уважать его да иногда побеседовать с ним как с добрым и почтенным другом!.. Не так ли? <sup>10</sup>

(Погода разгулялась....) Вставка две страницы.

Никол(ай) Дмитр(иевич) занял запертую дотоле пристройку младшего брата Андрея. — Он заметил матери, что, быть может, брату это будет неприятно; что пристройка, по ее же словам, подарена ею Андрею, чтобы он мог отдыхать в ней изредка. — Но мать сказала, что Андрей для нее и для Куреева умер, показала ему письмо «демагога» и прибавила еще: «Впрочем, и то не забудь, что он тебя больше всех братьев любит и говорит только про тебя, что ты один ему не раздражаешь нервы из всех его родных». <sup>20</sup>

— Бедный Андрей! — сказал с улыбкой Николай Дмитр(иевич), и они вместе с матерью спустились в пристройку.

Когда Марь(я) Павл(овна) отперла фигурную дверь, придуманную ею самой на радость покинувшему ее сыну, и сошла вниз, — у Никол(ая) Дмитр(иевича) тоже жалось сердце жалостью, глядя на это милое убежище, в которое весело бил сквозь расписные сторы осенний луч! <sup>30</sup>

Все здесь было мило, просторно и удобно. — Кафельная печь русская, большая, как в избе; стены, чисто обшитые крашеным мелким тесом; стол широкий письменный; коврик бархатный на стене у кровати; волк, сукном подбитый, для ног; — кровать старинная и прочная, на львиных лапах. — В углу золотой образ Андрея Перво-



званного. По стенам полки для книг; и множество книг, бумаг и вещей в столе и на полках, оставленных в Куреве Андреем по понятному чувству жалости и уважения к родному гнезду.

Осиротелый стол осеняло большое лимонное дерево, которое было ровесником Андрею так же, как срубленная аллея перед домом была ровесница кавказскому герою. — Это дерево приходила поливать иногда сама Мар(ья) Павл(овна), только она и Андрей знали, кем и когда<sup>10</sup> было посажено семечко, из которого оно выросло.

— Как здесь хорошо! — сказал Облесков.

— Не правда ли? — сказала мать. — И он покинул такой приют? Без жалости покинул... Покинул мать, увез жену отсюда, и на что ж променял он это... На какие подвиги? — Кто знает его? Где его имя? Он пишет при журнале, вместе с братом Дмитрием. — Прекрасная чета! Один все хочет обратить в пыль и прах — это Дмитрий. — А тот... тот несчастный сам пыль и прах...

— А что его жена? — спросил, помолчав, Облесков.

<sup>20</sup> — Жена Андрея? — Добрая. — Я люблю ее. — Она простая актерка из крепостных, как ты знаешь... И ты понимаешь сам, что я должна была вынести, когда он женился на ней. — Но я, сознаюсь, скоро привыкла к ней; она ветрена и пуста, но добра... Мне больно было видеть, что он как учитель, как нянька учил ее всякому шагу, всякому движенью... Я видела, как он худел, как он скучал... Я видела, как она не понимала его; — как он иногда воздерживался, чтобы не быть жестоким с ней; как она иногда плакала, что не может ему угодить... Мне приходилось то его утешать, то ее. — Она ревновала его; а он не мог же быть только с нею и с нею... Видеть их мне было очень тяжело; — он никогда не каялся, но — ноша ему была не по силам: а она была как цветок, который с своей земли вырвали и на чужую перенесли. — За то дай Бог ей счастья, впрочем, что она мне все прощала; когда я бранила ее по вспыльчивости, звала ее иногда даже крестьянкой и хуже звала... Она, глупенькая, все смеялась

только... Так что я сама после приходила прощения у нее просить, и она как собачонка руки мои бросалась целовать...

Облесков сел и задумчиво сказал: «Да, вашим детям не улыбнулся брак! Дмитрий с женой тоже несчастлив...»

— Кроме тебя... кажется? — спросила мать.

— Да, кроме меня, кроме меня, — поспешно отвечал сын. — Я про себя не говорю. — Я ведь Облесков-Львов, а прочие Львовы, — прибавил он смеясь.

Мать занялась тогда уборкой его комнаты. — Она извинялась, что не успела позаботиться раньше; что письмо его пришло в один вечер с ним самим. — Все в доме спешили устроить по его и каждый хотел оказать ему внимание. — Мать сама принесла ему свою чернильницу; — Катер(ина) Борисов(на) спешила с ковриком в руках и стлала его кряхтя у кровати. — Матрена принесла с чердака гравюру в рамке, «Сражение при Фер-Шампенуазе», в ознаменование воинских подвигов Облескова. — Лиза пришла сметать с полок пыль веничком из перьев, который она сделала сама. — Даже Анна Матв(еевна) послала<sup>20</sup> Наталью Федор(овну) спросить, не нужно ли ему чего-нибудь...

Когда уборка была кончена; — Облесков предложил матери пойти осмотреть полевое хозяйство; а Ольга с Лизой ушли гулять пешком в лес.

Там они долго говорили об Николае Дмитриче, об куреевской скуке и о том, что такое любовь.

Ольга не любила в Курееве никого. — Когда она росла еще у отца и прабабушки, — она только и слышала от Анны Матвеевны, что Мар(ья) Павл(овна) «интригантка», что она «интригами» до самого Царя доходила; что «интриг(ой)» она довела брата до завещания в пользу Николая; — что «Николай убийца; — Александр забулдыга; Андрей, должно быть, баловень и дрянь; Лидия распутная и дерзкая; и что в семье только и есть хорошего, что бедная сватьяшка Катер(ина) Борис(овна), женщина богомольная и почти святая; да бедный Дмитрий, по стар-

шин<ству> — второй сын Мар<ьи> Павл<овны>, который был человек солидный и искательный». — Еще говорила Анна Матве<евна>, что дочь не имеет религии, ибо не держала постов; что она мотовка и щеголиха; что она мужа зверским нравом своим со свету сжила; а уж людей «лушит» не на живот, а на смерть.

Когда умер отец Ольги (выслужившийся из фершалов чиновник 12 класса и крещеный еврей) — и ей и бабушке нечего было есть... и когда на просьбу приютить их <sup>10</sup> обеих в Курееве Мар<ья> Павл<овна> отвечала такой почтительной и теплой готовностью — Ольга немного лучше стала думать о ней. — Приехав потом — она убедилась, что Мар<ья> Павл<овна> людей не «лушит», даже и так, как «лушила» иногда свою старую Нат<алью> Федо<ровну> ее воспитательница; — убедилась, что и многое другое из слов Анны Матвеев<ны>, пережившей уже разум, была ложь... Все это так; — но обращение Мар<ьи> Павл<овны> с самолюбивой девушкой было так сухо. — Она иногда так язвительно и метко замечала ей, <sup>20</sup> как будто мимоходом и едва глядя на нее, что у нее нечистые рукава, что кринолин ее очень широк, а белье и комната неопрятны; — она чувствовала, что Мар<ья> Павл<овна> права, но тон ее презрительный как будто или надменный — был ей невыносим.

— Кто финти-фанты разные предпочи<тает> чистоте — тот не воспитан так как надо; — говорила иногда Мар<ья> Павл<овна>; не обращая даже к ней, но Ольга краснела и, выходя из комнаты, говорила Лизе: «Боже мой! Как я ее ненавижу!»

<sup>30</sup> О Матрене она еще от покойной матери своей слышала много зла и в Курееве слыхала от служанок, что Матрена все доносит госпоже. — Потом Матрена надоедала ей и тем, что беспрестанно говорила гордо и скалясь: «Из Львовых нет ни одного урода и ни одного дурака. — Все молодцы. — У Львовых один порок — бедность!»

Катер<ина> Борис<овна> была всех ласковее к ней и казалась всех добрей. — Она предпочитала ее Лизе так

явно, что было даже обеим девушкам смешно. — Раз Лиза сказала старухе, чтобы ее развлечь: «А когда, Катер(ина) Бор(исовна), человек похож на дерево? — Когда он со-сна!» Кат(ерина) Бор(исовна) ответила ей на это с презрением: «Это все ваших балашовских остроты! Как это глупо!» — На другой же день Ольга сказала нарочно, что выйдет: «Катер(ина) Борис(овна), когда будочник похож на цветок? Когда он не-за-будкой!» — И Катер(ина) Борисов(на) каталась со смеха.

Приятно такое предпочтение; но Катер(ина) Бор(исовна), которую Анна Матв(еевна) звала святой, была, к сожалению, в глазах Ольги далека от святости. — Эта самая Катер(ина) Бор(исовна), которая спешила выправить горб, когда входила ее повелитель(ница) Марь(я) Павл(овна) в зал, и которая даже Матрону боялась как огня, — обращалась очень дурно с приставленной к ней девочкой и припры(гив)ала, чтоб бить ее по щекам, потому что была меньшего роста, чем Клашка.

Лиза? — Лиза тоже надоедала ей; то тем, что слишком любила собак, спала с ними, кормила их, сама мешала порции; то тем, что беспрестанно хохотала; то подобостра(стием), как казалось Ольге, перед всем куреевскими и львовским; то просто глупостью и грубостью своею. — Попробовала раз Ольга сказать ей, что она любит, когда ветер воеет ночью, и другой раз, что Ундина Жуковского прелесть; Лиза осмеяла ее и прибавила: «Я бы на тебя Алексея Дмитр(иевича) Львова напустила; он таких сладостей не любил. — Бывало Андрей Никол(аевич) попробует что-нибудь Машень(ке), старшей моей сестре, читать; а Алексей Дмитр(иевич) их на смех сейчас...»

С тех пор Ольга отвыкла доверяться Лизе, хотя ее минутные мечты и ветреные рассказы про былое, про детство свое в доме матери и про других братьев Львовых выслушивала от скуки охотно.

В этот приятный и прохладный осенний день в роще Ольга повеселела и завела с подругой сама разговор о любви. — Но Лиза, которая любви еще не знала да и не

думала об ней, отвечала: «Вот оттого ты и скучаешь все, что думаешь только о любви! А ты брось это все; да живи как живется... Право-ну!»

Еще помолчала Ольга и погодя спросила у нее, кто из братьев Львовых ей нравится всех больше?

— Дмитрия старшего никогда не видала; Николай Дмитр(иевич), кажется мне, добрый, и Андрей Дмитр(иевич) ничего. — А лучше всех Александр.

— Чем же?..

<sup>10</sup> — Приятнее всех, — как сказать. — И нам он был как свой. — Когда бы не Маша нас всех да Андрей Никол(аевич) не перессорили бы — жили бы мы и теперь припеваючи.

Ольга уж больше не спрашивала; — а Лиза всю дорогу говорила о щенятах и о том, как было весело, когда бывало Александр Дмитр(иевич) выедет на охоту верхом, а ее да сестер меньших пошлет в больших сапогах с арапниками по кустам зайцев выхлопывать, и как было весело, когда ее раз под гребенку остригли и прозвал ее Ал(ександр) Дм(итриевич) «Яшка-солдат».

<sup>20</sup> Ольга молча шла и завидовала ей.

## Глава IV

### (Хозяйство Ник(олая) Дмит(риевича))

Первая радость в Курееве мало-помалу утихла, но зато все пошло получше прежнего. — Крестьяне работали; в присутствии сурового и молчаливого барина, который вставал в одно время с ними и спешил на ток. — Еще ни разу Облескову не пришлось еще ни угрожать, ни сердиться, а уже один вид его внушал почтение. — Помимо работ он <sup>30</sup> был со всеми ласков и прост; — садился на первом сельском крыльце и толковал с бабами о старине; о том, как катался с ними с гор, когда и они и он были малы; нянчил детей; шутил иногда и грубо, но грубость его нравилась. — «Военные люди — защитники наши!» — гово-

рили старики. — И все как будто не спеша и не стараясь делал он, и все спорилось у него. — Считал ли он, писал ли письма по делам матери; толковал ли с Григорьем; заходил ли в сад, где собирали лещотками груши чужие садовщики из села — и там он, мимоходом, не насилуя себя, успевал подсобить, и садовщики говорили ему вслед: «Что за барин! Не барин — а золото!»

Даже забытого старика Егор Иваныча, который пас телят по задачам и был немногим моложе Анны Матв(еевны), и того не забыл Облесков. 10

Егор Иваныч по будням вязал чулок, следя за телятами, а по праздникам, так как телят бросить было нельзя, читал книжечку, сидя где-нибудь на пне. — Шапка была у него синяя, а уши пришил он к ней красные; — ходил еще недавно пешком в Ростов повидаться с родными; скопил рублей двадцать и зарыл их где-то в землю; — а что ни спросят у него, на все похохатывал легонько.

Удивлялась Ольга, удивлялась и Мар(ья) Павл(овна), что он находил с Егор Ивановичем и с старухами на деревне; думала Марья Павл(овна), что это его правило — 20 заискивать у людей; — но она ошибалась. — Облескову вид родины, столь давно покинутой, был так сладок, что он был всем людям рад. — К тому же ему и просто было приятно, покончив дела, посидеть на пне около старика; подумать; посмотреть, как пасут телят; послушать, как хвалит их старик. — Спросить его, что в книжке есть, прочесть молитву в ней громко; еще посидеть; еще помолчать около старика и уйти.

Он успевал и у Кат(ерины) Бор(исовны) в комнате побывать и разложить ей пасьянс; и у Матрены во флигеле пил чай; — и матери и Анне Матвеевне громко читал. 30

Отдохнула Марья Павл(овна); отдохнули все!

С девицами он был по-родственному прост и небрежно-ласков; говорил и с той и с другой о том о сем и в рассуждения не пускался; но иногда делал замечания такие едкие и тонкие, что они пронизывали до костей.

Скоро пришлось ему и оборвать немного Ольгу. — Он заметил, что она неуважительно отвечает Катер(ине) Бор(исовне) за столом. — Катер(ина) Бор(исовна) спросила у нее шутя: «Отчего, мой любезный друг, сегодня так печальны? Что у вас за нехлюдия?» (Слово это в устах Кат(ерины) Бор(исовны) шутя значило *меланхолия*.)

— Что такое нехлюдия? — спросила Ольга сухо. — Я таких слов не понимаю... Говорите как следует...

10 Катер(ина) Бор(исовна) смутилась; но Облесков взглянул с удивлением на Ольгу и потом сказал ей медленно, но тихо: «А если я тебе, Ольга Францовна, что ли? скажу, чтобы ты отвечала как следует... почтенной женщине... Ты что мне скажешь?»

Ольга побледнела; взглянула на него... хотела ответить... Но странные глаза его были так могучи и так вместе с тем, казалось ей, добры!.. Она растерялась, поглядела на Лизу, поглядела на всех и вышла из-за стола...

20 Две недели не говорила она с Облесковым; он, казалось, и не замечал того; делал свое дело; гулял и кушал плотно; — шутил; — она же, сама не своя, изнывала и рвалась к нему.

Через две недели ровно настал Покров; собрались к обедне в дальнее село. — Лошадей Мар(ья) Павл(овна) давно продала и держала всего одну. — Для кареты своей Облесков нанял четверку с деревни, и в карете поехали Катер(ина) Борис(овна) с Лизой. — Облесков сам правил в одиночку на крашеной тележке и вез на ней Ольгу.

NB. Вставка две страницы.

## Глава V

30 Недолго, однако, длились красные дни. — Начало морозить; сад облетел; дом становился холоднее; — и сам Облесков, все стали замечать, становился печальнее и молчаливее. — Раз Матрена спросила у него, как зовут его жену и получил [ли] он от нее письма. — Он сказал



как ее зовут и сказал, что есть письма, и тотчас же вышел вон. — Зоркая Матрена заметила, что у него немного искажилось при этом лицо; — она пошла к Марье Павл(овне) и передала ей о том, что заметила.

И Марь(я) Павл(овна) сама замечала не раз, что он избегал говорить об жене.

— Верно и у этого есть что-нибудь не по нем! Детей я видно не в добрый час рожала! — сказала она.

Письма точно были получены Облесковым, и несколько одно за другим... Но об них не говорили. <sup>10</sup>

Ольга скучала опять, видя, что он и от нее отдаляется, и не знала, чему это приписать. — Веселость и грусть Облескова стали в доме почти для всех, как небо для моря. — Темно небо — мутно море; — светло небо — светло и море. — Только Лиза — все была Лизой; еще румянее была от морозца и дивилась, что люди хандрят. — Хоть она и не знала еще любви, однако ей стало еще на свете лучше жить с тех пор как из соседнего села стал часто ходить в Куреево юнкер — Коля Мясоедов, ровный, рослый, добрый мальчик лет двадцати. — Он был беден, <sup>20</sup> и отец отправил его с кучером и пятью рублями в полк, сказавши: «Так я поступал на службу; так поступай и ты!»

С ним Лиза играла в дурачки и фофаны; — с ним хохотала за троих, и он помогал кормить ей собак. — Облесков особенно был добр к Мясоедову; — давал ему табак; заботился об нем; давал ему денег взаймы; дарил вещи. — «Бедняга!» — звал он его. — И по целым часам иногда играл с ним в шахматы и давал советы как готовиться к экзамену. — А Лизе подмигивал иногда на него и шептал ей: «Зачем, зачем обворожила... Коль я <sup>30</sup> душе твоей не мил!»

Замечая, что хоть изредко приунылый Облесков шутит с Лизой и юнкером, а с ней почти вовсе не говорит, — Ольга была в отчаянии и не раз плакала, запершись наверху.

Скоро постигло ее и другое горе. — Раз она вошла в комнату Анны Матвеев(ны) и нашла ее бездыханной в

креслах. — Старуха заснула навек, не замечая того. — Перед ней на столе лежала развернутая книга — и руки еще покоились на ней. — Бледное лицо казалось лучше и приятнее, чем при жизни. — Ольга плакала мало об ней; она давно привыкла, что это случится скоро.

Анну Матвеевну схоронили; ее свез сам Облесков в имение свое, которое досталось ему от дяди в соседней губернии, и положил в семейном склѣпе там, где лег ужасный муж старухи, где легла другая сестра Марьи Павла (овны), куда с Кавказа свезли тело дяди. — Ольга провела тоже тело своей благодетельницы.

Им пришлось пробыть с Облесковым наедине четыре дня в том самом каменном доме, о котором она так часто слышала от Анны Матвеевны и которым покойница так гордилась. — Ольга увидела и строгий парк еловый, ходила по паркетным полам, видела росписные потолки и фигурные камины; — все в этом доме было пусто, звонко и затхло. — Однако все содержалось в порядке и чистоте. — Ей уступил Облесков лучшую комнату; [с] высоким камином, с занавес (ями) штофными, с коврами; — а сам спал на мезонине. — Целый день Облесков проводил на хозяйстве и только к вечеру приходил и садился с ней обедать у камина.

Она одна бродила по дому и по парку весь день. — Что думала она? Она думала: «О! Если бы он был свободен и если бы этот дом был мой!»

На третий день после обеда у камина беседа оживилась; — Облесков расспрашивал Ольгу об Анне Матвеевне, и тогда только она дала волю своему чувству и слезам.

— Не об ней я плачу, — прибавила она; — я лицемерить не буду. — Я знала, что она не может быть бессмертна... Я плачу о себе, Никол (ай) Дмитр (иевич), о том, что ждет меня. — Она одна меня любила... Теперь ни я никого не люблю, ни меня не любит никто...

Облесков заботливо расспрашивал ее о том, что она готовит себе в будущем; говорил, что в этой глухой стороне она свекует и не встретит жениха; — советовал поэто-

му лучше искать место гувернантки в городе и там ждать своей судьбы; он обещал ей сделать все что может для нее.

— Что ж такое, — сказал он, — гувернантки нынче хорошо выходят замуж. — Вот и я женился на гувернантке...

Так зашел разговор на жену его. — Ольга, которая давно горела нетерпением узнать о его таинственном браке, отерла слезы и, ободренная его советом и обещаньем, умоляла его показать ей письма жены.

Облесков улыбнулся и показал ей одно.

10

Письмо читает. — Вставка две страницы.

Тогда уж и сам Облесков, движимый к ней влеченьем, которое давно и тщетно старался победить, сказал ей все.

Когда семь лет тому назад, еще не получив наследства, служил он, однако, молодым офицером при дяде, — ему случилось быть в деле с горцами раненым в руку. — Ольга никогда не видала ран, и он, обнажив ей свою здоровую руку почти до плеча, показал ей два круглых пятна, как будто от старой обжоги. — Потом продолжал рассказ. — Исхудалый от потери крови [до] костей, приехал он для перемены воздуха в Керчь. — Здесь он встретил девушку, которая славилась умом и добродетелью; ей было всего 18 лет; она дочь отставного моряка, она помогала отцу уроками и покоила его в доме. — Когда он встретил ее [первый] раз, она с одной маленькой ученицей играла в мяч на дворе.

Старик-моряк был к нему добр как к сыну. — Дочь была с ним радушна как сестра.

— Мне тогда она нравилась. — Я хоть и сам белокурый, а всегда белокурых любил. — Она носила траур тогда по матери и была такая белая и кудрявая, как ангелов пишут... Вскинет бывало локоны, прищурится и спросит: «Не правда ли, я милое дитя?» Тогда мне это нравилось.

— Мне это не нравится, — заметила Ольга.

— И мне тоже, — сказал Облесков и продолжал рассказ.

M-lle Annette считалась и недоступной, и доступной; — доступной для беседы, для прогулок с кем угодно с глазу на глаз; недоступной для женихов. — Она никого не боялась: говорила, что девица должна уметь внушить уважение умом и честью своей, а не удалением и строгостью; но, прибавляла она: «именно потому что брак не шутка — я за всякого не пойду»; «Тот, кто меня возьмет,<sup>10</sup> пусть будет достоин моего идеала».

Облесков видел, что она отказала двум морякам; одному чиновнику молодому с весом и именем; отказала адмиралу; отказала блестящему адъютанту. — Облесков не хотел жениться, но хотел обольстить ее и достиг этого. — Достиг и только тогда понял, что он ее не любит. — «Это вскидывание волос, рулады голоса, соединение ухарства с ученостью показались ему немного скучными...» На его счастье в это время умер дядя — он стал богат; перед ним раскрылось поле новой жизни;<sup>20</sup> он бежал за границу. — Там он мотал и веселился, обольщал и обольщался — до тех пор пока грянул гром Севастопол(ьской) пушки.

Облесков вернулся туда, куда звал его долг. — Пришлось быть снова в Керчи; он встретил ее одну с ребенком на руках; отца слепым, и репутацию ее разбитой. — Едва кормясь трудом — жила она в предместьи и кроме черного ничего не носила. — Облесков при виде этом рвал на себе волосы; звал смерть на бастионе; — но смерть не приходила. — Пробовал пить — не пилось. — Он вер<sup>30</sup>нулся и умолял ее принять его имя и его раскаяние. — Она согласилась, прибавляя, что это только для дочери. — Под впечатлением первого порыва — Облесков был счастлив сначала. — Сама война помогала тому. — Она сопровождала его, поручив слепого отца и дочь верным людям. — Облесков устроился под ядрами богато и привольно. — В землянке их сбирались гости и поклонялись отважной жене его. — И точно, пока гремели над

головой тысячи смертей и всю ночь на стуже и дожде надо было внимать грому батарей и видеть, как под звездами летят другие звезды — картечь врагам, — тогда хорошо было прийти в просторную и щегольски убранную землянку, где ждала его за теплым чаем умная жена!

Но Севастополь отдали. — Полк их отступил. — Отца уже в живых не нашли и поселились в Симферополе, в прекрасном доме неподалеку от Салгира. — Жена его принимала не весь город; но избранных и тех, кого она находила умнее. — В знаниях она была много выше мужа; <sup>10</sup> он сознавал это сам; дом держала превосходно; дочь одевала и учила сама, вставая рано утром. — Читала, переводила, вела исправно счет; его звала «мой герой», томно склоняя голову. — На рояле танцов не играла, а только Моцарта, Гуммеля, Бетховена.

Когда просили ее сыграть польку, она вставала и говорила:

— Не оскверню святыни моего инструмента!

Все было хорошо. — И Облесков, краснея, проклинал себя, что не ценит жены и верной, и твердой, и столь <sup>20</sup> блестящего ума и знаний! Но любить ее не мог.

— Когда, — сказал он Ольге, одушевляясь и вставая, — когда я видел за завтраком поутру ее длинное лицо... (у нее лицо стало длиннее с годами) ее манеры натянутые и фальшивые взгляды на все! — Боже! даже ласки ее дочери мне были противны. — Я краснел, когда она картавила с ребенком; когда она кокетничала со мной так не к лицу. — Все меня душило. — Уйду из дома; вернусь поздно; она не скажет просто: «Ты не любишь <sup>30</sup> семью». Нет — она скажет: «Вы, мой русский герой, не умеете ценить великобританский *home...*» Что ни шаг — то английские, то немецкие слова, то какое-нибудь «*Si non e vero e ben trovato!*» Я хотел платить ей верностью за верность; но любовью за любовь я платить ей не мог... Даже скажу тебе... хочешь? — Я дочь мою не так люблю, как мог бы любить, если бы она не была на нее похожа! Ты слышала это?

— Слышала, — сказала Ольга, и сердце ее билось от радости на его горе.

Облесков пришел опять в себя; сел и продолжил спокойно:

— Однако все я клял и стыдил себя, пока судьба не свела меня с братом Андреем... Я знал, что он в Крыму. — Кто не был в Крыму — вся Россия была там. — Однако мы до последнего года с ним не встретились ни разу. — Раз, помню, вечером — сидел я один на балконе, <sup>10</sup> подходит к дому молодой военный лекарь, худой и жолтый — и спрашивает меня. — Говорю сразу: «брат Андрей? Не ты ли?» — «Я». — Ах! Ольга, что за человек! Как я душевно полюбил его — один Бог знает то. — Он был в нужде и болен. — Поселился у нас. — Мир уж был заключен давно тогда, и мы с ним вместе пробыли полгода. — Умен он был и добр, и образован. — Ему я обязан многим. — И тем особенно, что с отвраще(нием) смотрел на мои прежние пустоту и буйство. — С ним я стал больше читать... и с ним и ум жены, и ее познания <sup>20</sup> больше оценил... и с ним же — ты поверишь? С ним же я еще больше возненавидел ее. — Она не ладила с ним. — Ни в чем они не были согласны. — Он ей назло говорил, что терпеть не может дельных женщин и что женщина только бабочка, игрушка и цветок; — она знала, что он французов не уважает и назло говорила ему, что он француз. — Что ни шаг, то они на ножах. — Я сначала молчал... И сознаюсь, не умел бы и спорить с нею так, как он... Потом, вижу — она так собой довольна и твердости у ней столько; что он ей обидного не скажет, ей — как <sup>30</sup> ничего; а она ему ответит — я вижу — он обидится и потеряется... Или уж я любил его больше что ли, не знаю.

Вот раз за ужином он говорит: «вы за полезное; а я за прекрасное. — Вы, напр(имер), полезны, но не прекрасны». И сам так и дрожит. — Она — ничего, даже и в лице не изменилась и так ему ответила колко, что он ничего не нашелся сказать. — Ночью, уж я лег у себя спать, — пришел Андрей, сел на кровать и говорит:

«Брат — я тебя огорчил; я обидел твою жену...» Я его успокоиваю. — Тогда он начал допрашивать меня, люблю ли я ее. — Я долго отнекивался; и уж наконец — сознался ему, что только уважаю ее, а любить не в силах. — «И хорошо делаешь, брат», — говорит Андрей, и сказал мне тут одно слово, которое я даже записал, чтоб не забыть его... И точно — не забыл. — «Нравственный остов, говорит, у нее редкий, да плотью скверной оброс!»

— Каково сказано?? — спросил Облесков, опять <sup>10</sup> вставая, и походил по комнате молча; потом прибавил:

— Ну — теперь я ее бросил навек... Не могу больше...

— А дочь? — спросила Ольга.

— Дочь? Об дочери я не забуду.... Пока мала — мать ей полезнее... А что будет с годами — знаем не мы, а знает один Бог... Брак святыня... И для меня он святыня... и если отвращенье...

Он не кончил и пожелал ей доброй ночи.

Ольга всю ночь не спала от радости. — Она гордилась <sup>20</sup> доверием Облескова; она радовалась, что его сердце свободно.

На другой день под вечер они уехали на своих в Курево. — На сто верст надо было кормить хоть раз. — Ночью ехали тихо; по застылой грязи. — Ольга заснула в карете... (или, быть может, лишь казалась спящей); она упала на плечо Облескову, и он, обняв ее, держал все время у себя на груди. — Несколько раз наклонялся он к ее голове... и несколько раз удалялся снова, опасаясь, что <sup>30</sup> она почувствует. — Наконец поцеловал бережно ее волоса. — Она не проснулась, и так он, припав в угол, а она на груди его, спали они крепко и безвинно до утра.

Подъезжая к куреевскому дому, они с удивлением увидели другую отпряженную карету, и Лиза выбежала к ним навстречу вне себя от восторга с криком: «Александр Дмитрич здесь, и Лидия с мужем, и Андрей Дмитрич будет скоро!»

В зале уж кипел самовар, не в положенный час, когда они вошли, и на пороге на шею Николая с неприятным визгом кинулась какая-то седая и худая женщина, за которой, улыбаясь, стоял молодой мужчина в форменном полицейском сюртуке.

Николай Дмитр(иевич) догадался, что эта обрадова(нная) старуха — сестра его Лидия; и что приятный квартальный ее муж.

## Глава VI-я

<sup>10</sup> Испортился весь строй куреевской жизни. — Завелись поздние ужины; Алек(андр) Дмитр(иевич) выходил к утреннему чаю в халате; в зале целый день был шум, смех. — Катер(ина) Бор(исовна) и Лиза блаженствовали; — но на Мар(ью) Павл(овну), на Облескова и Ольгу присутствие гостей действовало неприятно. — Бедная хозяйка дома старалась напрасно уверить себя, что она очень рада, — что вот собралось сколько детей разом... Напрасно! — Ей было скучно и она опять стала запираяться в кабинете.

<sup>20</sup> Алек(сандр) Дмитр(иевич) был с братом очень любезен до тех пор, пока не принялся за то дело, за которым приехал. — Он не знал ничего о возвращении Николая и скрыл искусно свое отчаяние при встрече с ним. — Он не позаботился ответить матери тотчас же; — «пождет, старуха, потерпит!»... Что делать теперь?

Обождая день, другой, заперся он с матерью и начал требовать, чтобы она при жизни отдала ему Куреево или, по крайней мере, как писала, призывая сыновей, завещала бы ему его за то, что он возмется управлять им до самой <sup>30</sup> смерти ее.

Мать отказала сначала наотрез; говоря, что Николай приехал прежде его. — Презрительно и дерзко отвечал ей на это любимый когда-то сын; он не хотел слушать возражений ее, ее обвинений в том, что он молчал, а другие ответили ей тотчас же. — Он говорил ей, что Николай



богат, Андрей и Дмитрий обеспечены трудом своим; а он скитается без дела и без денег; обвинял ее в том, что на воспитание Андрея она истратила больше всех, кричал, топал на нее ногами... Грозил застрелиться с отчаянья... Она поверила, начала уступать и попросила несколько дней для размышленья. — Козырем вышел от нее устаревший губернский лев. — «Уступает», — сказал он сестре, и сестра перекрестилась. — Для нее тоже было выгодно, чтобы в Курееве жил тот брат, с которым она была душа в душу. — «Понимаешь, — говорила она Лизе Кольцовой, — можно сюда для отдыха от столичной жизни делать parties de plaisir — как на дачу... Entends-tu, ma chère, или ты все так же глупа как прежде?» — «Понимаю-с, понимаю-с», — говорила кроткая Лиза.

Когда Облесков вернулся с поля, мать позвала его и передала ему все. — Она упала духом и не знала на что решиться.

Николай Дмитрич отвечал ей: «Матушка! Я против брата, которому нечего есть, не могу идти. — Вы знаете — я приехал сюда не для себя... Как вы прикажете — так и пусть и будет!»

Он удалился к себе в тяжком раздумье. — Но он недолго был один. — К нему пришли Катер(ина) Бор(исовна), Матрена и Ольга.

На Ольге не было лица. — Катер(ина) Борис(овна) дрожала; — Матрена одна сохранила бодрость.

— Что ж это будет, Коля! — говорила Катер(ина) Бор(исовна). — Ведь он нас по міру пустит... Спаси хоть ты нас; — я, Коля, тебя нянчила тоже... Пожалей ты меня, старуху... Определи ты меня в богадельню какую-нибудь... Я как узнала, что он берет Куреево — у меня волос дыбом встал...

Матрена перебила ее.

— Уж не грешите на старости лет, не лгите, Катер(ина) Бори(совна)... Давно ли вы... час тому назад другое говорили... Как он вам платок подарил и посидел у вас — не вы ли его доброе сердце расхваливали... Не я ли вас

образумила... Ведь он как раз спичечную фабрику заведет, либо шелковицу посетит... И не мне бы корить его... Я за него душу всю отдавала... И лучше, добрее его не было брата... И сына нежнее не было. — Да как в мерзкую Балашовскую семью попал — все погибло. — Ожесточился человек, как азиат стал. — Я только раз Варв(аре) Ильин(ичне) (Царство ей небесное) сказала: «Погубили вы наших всех Львовых, когда Андр(ей) Никол(аевич) женился на Сашке». — А он приехал сюда да и говорит

<sup>10</sup> мне: «Я тебе, старая ведьма, все кишки вырву за Балашовых». — Как угодно Марье Павл(овне), а моя повозка готова... Он на двор, а я со двора...

— Подумаю, — сказал Облесков.

Старухи вышли, и он остался вдвоем с Ольгой.

— И вам не жаль вашей матери? — спросила Ольга. — И этих старух не жаль?

— Ольга, — сказал Облесков, — он брат мне тоже, и брат бедный, а я богат... подумай.

В это время подали ему письмо от Андрея Львова. —

<sup>20</sup> Николай Дмитр(иевич) поспешно распечатал его и прочел.

«Ради Бога, брат, выручи ты мать и Куреево. — Умоляю я тебя всем святым. — Я только что на днях узнал, что ты в Курееве уж два месяца. — Этот подлец поехал с целью завладеть там всем. — Несчастливая Лидия и ее муж помчались туда за ним в наемной карете (как это к ним идет — карета!). — Боюсь, чтобы мать не сдалась ему; — я думаю — она его всегда любила больше, чем всех нас; потому что прощала ему то, чего не позволяла себе против нее никто из нас. — Спаси ты ее и сохрани

<sup>30</sup> от поругания наши заветные рощи, наш сад дремучий, наш милый дом... Скажи от меня матери, что, как бы я не любил ее — моя нога не будет в Курееве, когда они там заведутся. — Его я ненавижу... А Лидию?.. Я тебе пришлю одну новую книгу, если хочешь, „О происхождении вида“ Дарвина. — Там объясняется — как природа (и человек за ней) вырабатывает красивые и хорошие по-

роды скота; и как гибнут слабые и дурные. — Таких, как Лидия — я бы вытравил острой водкой с лица земли. — Вот какую надо сделать революцию в России — „Эстетическую!“ Ну, разве можно иметь так мало волос и ходить с такой гордостью без чепца! А муж квартальный! Согласись, что проживи они трое там год; так два года надо будет Ждановской жидкостью очищать воздух.

Прощай, мой добрый друг, обнимаю тебя крепко и желаю тебе с успехом изгнать врагов.

Каково! забыл тебе сказать, что жена твоя Минерва Фебовна Мудрова приехала в Петербург. — Лице ее стало еще длиннее. — Ты отлично сделал, что решил бросить ее. — Об ней не беспокойся; она имеет и здесь *home*. — Пишет при либеральном журнале (и пишет хорошо! Такая досада!); переводит Маколея; за что даже и я благодарен ей. — Говорят, будто она состоит в гражданском браке с редактором, бабником. — Здоровый, рябой, усатый и умный мужчина. — Больше похож на гусарского ремонтёра, чем на редактора. — Но я не верю; — я верю в ее добродетель — не шутя. — *Si non e vero, e ben trovato*. — Addio, если смею так выразиться.

Твой Андрей Львов.

Брат Дмитрий своей рукой приписывает тебе два слова».

«Любезный друг Николай...

Сумасшедший философ написал тебе много вздора; а делец скажет только то, что нужно. — Прошу и я тебя — не покидать матери и не уступать, без нужды. — Мне не нужно ничего. — Но, правда, что и наша с Андреем совесть покойнее, когда мы знаем, что около матери человек, а не аферист.

Твой Дмитрий Львов».

После этого письма прекратились все колебания Облескова. — Он показал письмо матери и передал ей просьбы

Ольги, Катер(ины) Бор(исовны) и Матрены. — Марь(я) Павл(овна) успокоилась, тоже села к столу и написала к Алексею записку.

Она писала ему, что, к сожалению, не может согласиться на его предложение; что воля всех других братьев и всех домашних ее препятствует этому. — К тому же Николай был так почтителен и благороден, что не заставил ее ждать ответа, когда она призывала к себе сыновей, и приехал немедля сам, покинув свой полный дом, жену и дочь.

<sup>10</sup> Для избежания неприятных чувств — она просила Алексея не входить к ней больше в комнату.

Алексею записка эта не была нужна; — он уже знал все. — Письмо Андрея прошло через его руки. — Одержав было победу над матерью, он пошел пройтись по деревне и встретил на дороге случайно слугу, который возвращался с почты. — Увидав у него письмо Андрея, он задами вмиг вернулся домой, заперся, растопил сургуч, прочел и запечатал снова такой же гербовой печатью львовской, какая была на конверте.

<sup>20</sup> За ужином разразилась буря. — Марь(и) Павл(овны) не было тут как и всегда; она сидела у себя с Матреной. Брат и сестра начали бранить Андрея, Дмитрия и мать.

— Удивляюсь, — сказала Лидия, — как такой умный человек, как Дмитрий, дал завладеть своим умом такому дрянному и пустому человеку, как Андрей...

— Человеку развратному, — прибавил Алексей, — который бросает жену, отдает ее какому-то мещанину-малюру... Да! да! он это сделал! И сам бежит за границу с женой другого...

<sup>30</sup> — И на ее счет! На счет этой Наталии М...вой, — перебила Лидия. — Я понимаю любовь, но не понимаю — продажи себя... Он продает себя... Он беден; а она богата...

— Я его убью! — воскликнул Алексей.

Никол(ай) Дмитр(иевич) ужинал, не обращая большого внимания на эти крики, до тех пор пока порицанья не коснулись матери...

Алексей обвинял ее в эгоизме, и Лидия вторила.

— Не тебе, Лидия, — сказал ей Ник(олай) Дмитр(иевич), — обвинять мать в эгоизме, когда для того, чтобы дать тебе свободу, она заложила имение и до сих пор не могла его выкупить...

— Я не жалею; я говорю не за себя, а за него... Зачем она не хотела ничего сделать для того сына, который больше всех терпит... *C'est ignoble!*

Тут уже проснулся прежний Николай... Глаза его стали зверскими, шрам выступил белее на вспыхнувшем лице...

— Молчи! — сказал он сестре, привставая... — Молчи!.. <sup>10</sup>

Все встали из-за стола. — Лидия отошла к окну, опираясь на руку мужа, и бросилась на диван. — Между братьями завязался ожесточенный спор.

Алексей осмелился намекнуть на причины материнского пристрастия к Андрею. — Тогда Николай, подступая к нему, сказал: «Алексей! Замолчи. — Ты забыл меня?.. Я велю связать тебя и выбросить на дорогу...»

— Попробуй! — воскликнул Алексей.

Все, слушая, дрожали... <sup>20</sup>

В эту минуту из коридора отворилась дверь... Марья Павл(овна) остановилась на пороге... Все узнали в ней прежнюю Марь(ю) Павловну.

— Разойдитесь сейчас каждый к себе, — сказала она повелительно. — Чести моей не нужно защитников, а тех, кто своей чести не помнит, и я сумею еще наказать... У меня еще есть на деревне пока рабы, которые вывезут вон из дома моего извергов...

Братья замолчали и разошлись. — Марь(я) Павл(овна), поглядев на них с мгновенье, тихо удалилась. — Лидия <sup>30</sup> встала и, презрительно улыбаясь, сказала: «*Je crois que nous aimons toujours les tragedies de Racine!*» Потом кликнула мужа: «*Nikolas!* пойдем спать!» и грациозно ушла.

В зале остались Матрена, Катер(ина) Бори(совна) и две девицы.

Матрена поглядела вслед Лидии; покачала головой и сказала: «Что была и что стала! Как утка ходит! „Нико-

лай! Николай!" А у него и в самом деле ни кола ни двора нет у сердечного. — Тьфу ты! пропасть!»

Все, даже и Лиза, несмотря на свою преданность Лидии, захохотали.

Матрена обратилась к Ольге с притворным гневом:

— Вы что смеетесь, сударыня? Тут надо плакать, а не смеяться. — Слыханое ли дело — чтобы дворянка столовая, Львова, и какая Львова — дочь Марьи Павловны Львовой, которая самому Государю являлась и которую<sup>10</sup> сам Государь целовал... чтобы ее дочь, да за квартального замуж вышла. — Доживешь же на грех до таких времен...

— Да, — сказала Ольга, — и Андрей Никол(аевич) то же почти пишет...

— Ну, этот бы молчал; — сам-то отличился тоже! — Крепостную, нашу сестру взял! — Нечего сказать, благословил Бог детками сердечную барыню нашу... Экая участь-то странная выпадет человеку... Ну и верь тут в Божий Промысл!.. У Андрея Николае(вича) и то книжка была, в которой сказано, что у Моисея в пустыне вовсе не столб ходил огненный; а как есть фонарь какой-то жиды<sup>20</sup> носили... Нагрешишь тут с вами...

Матрена плюнула и, махнув рукой, ушла вне себя от радости, что Алексею не быть в Курееве баринном.

На другой день утром, после чая, щегольская наемная карета увезла Алексея, Лидию и мужа ее в Москву. — Алексей не простился ни с братом, ни с матерью. — Но Лидия зашла к матери и, подойдя к ней под благословенье, растрогалась и крепко поцеловала ее руку. — Мать радушно обняла ее и сказала: «Бог с тобою». — К руке<sup>30</sup> Катер(ины) Бор(исовны) Лидия с презрением едва поднесла губы и не глядя на нее пошла величественно вон, забывая, что вчера обвиняла мать в театральности и что всякая театральность к ее величавой и умной матери шла больше, чем к ней.

— В Курееве очистился воздух; — говорила Ольга, смеясь, Облескову и спрашивала, нужно ли посылать в аптеку за той жидкостью, о которой писал Андрей Дмитр(иевич).

## Глава VII

После Рождества, которое на деревне прошло шумно в пирах и песнях, а в господских хоромаш уныло и тихо, — из Куреева уехала и Лиза. — Она вышла замуж за Колю Мясоедова, который посватался как только получил офицерский чин. — Хотя для мрачной Ольги, пожираемой подавленною страстью, Лиза была небольшой отрадой, но все же она была добра и весела; и вид ребяческого счастья отдых для печальных.

Уж в доме после отъезда не раздавался больше ничей<sup>10</sup> смех. — Обеды проходили молча; Облесков сидел понуриив голову и, едва кончив, крестился, вставал и уходил читать или хозяйничать. — Ольга угасшим взором глядела то в одно окно, где видела снег на дворе и кусты, то в другое, где видела сад и снег еще более глубокий и не истоптанный никем... Аллеи давно уже не расчищал никто, и дикие сугробы завивались на них по воле!..

Бедная Катер(ина) Бор(исовна) уныло и робко взирала на Облескова и Ольгу — и не дерзала прерывать их<sup>20</sup> раздумья.

Только долгими вечерами вымирающий дом как будто оживлялся. — Сбирались в зале у камина все и читали громко. — Читали по очереди сын и мать.

Однажды достал Облесков из города «Дворянское Гнездо». — Прочли его в два вечера и все были потрясены и растроганы. — Облесков, читая, взглядывал изредко на Ольгу и видел, как сияли ее черные очи и как румянец выступал на лице... Раза два даже и его голос дрогнул и<sup>30</sup> ослабел...

Марье Павл(овне) пришлось читать последние страницы благородной книги.

Дочла она последнюю строку и кинула книгу на стол. — «Есть ли сила читать! — воскликнула она. — Что ни возьмешь, все горе и страданья... Неужели даже и таким прекрасным людям, как этот Лаврецкий и Лиза — неуже-

ли и таким нет счастья на земле... Нет, это ужасно!..» — сказала она смолкая.

Матрена, которая, сидя у ног барыни на скамейке, присутствовала при всех чтениях — первая после этого нарушила долгое молчание.

— Ишь ведь ты матушки; — как хорошо пишет Тургенев-то! Он орловский помещик — я знаю... Сергеич по батюшке. — Хороший, столбовой дом... Наши небось, ни Дмитрий Ник(олаич), ни Андрей Никол(аич), так не напишут?

— Они романов не пишут, — сказал ей с досадой Облесков, чтобы заставить ее молчать.

Но плутоватая Матрена хотела всех развеселить и достигла этого тем, что с притворным простодушием спросила: «А муж Лидии Дмитр(иевны) никак тоже пишет?.. А ну как и он теперича писать начнет?.. Я у него тоже черниленьку крошечную в чемоданчике видела».

Тут даже и Мар(ья) [Павловна] засмеялась.

— Чего доброго! — сказала она. — Нынче кто не автор!

На другой день, сухой и морозный, Облесков вышел один пройтись в поле. — Голова его была в огне... Видеть перед собой целый день эту мраморную, черноокою девственницу... Знать, что она изнывает от страсти к нему... Сильна была его воля тяжкая, но и страсти его были не легкие!..

Он обошел верст больше шести, стараясь напрасно утомиться. — Уже за грустным садом загоралась заря... Он вышел из рощи... Перед ним стояла Ольга, закутанная в шаль. — Они посмотрели друг на друга и, движимые оба неудержимым чувством — упали другу в объятья.

Пред ними была пустая избушка лесника. — Облесков сорвал с нее замок и увлек туда за собой Ольгу. — Она отдалась ему с восторгом влюбленной рабы...

Сильной рукой вбил Облесков снова старый замок в дверь избы, и они вернулись вместе домой.



Назад возвратиться уж не было возможности. — Удаль и страх, радость и стыд волновали неопытную Ольгу. — Облесков был покоен; он поклялся отдать ей жизнь — если будет нужно...

В ту же ночь в его комнате, стоя у ног его, красавица говорила ему: «Ты мой бог; ты мой создатель... Я буду знать тебя и никого иного! Твои руки пусть убьют меня, если я хоть когда-нибудь осмелюсь тебя упрекнуть. — Не упрекай и ты себя. — Только ты научил меня, что такое счастье... С тобой пойду я на край [света], с тобой умру,<sup>10</sup> с тобой буду жить; служить тебе я буду... И если мы расстанемся, прошу тебя — молю тебя всем, что для тебя есть заветного, не упрекай себя... за те минуты счастья, которые отдал мне... Умру? И умру я теперь с другим чувством... Я знаю теперь, что есть на свете счастье... Я никого не жалею, мне никто не нужен, у меня никого... Ты мне мать, ты мне отец, ты брат, ты ангел мой...»

Умиленный этим потоком юной страсти — он слушал безмолвно ее и только проводил рукой по голове ее, как мощный и добрый отец, жалея и лаская безумную дочь...<sup>20</sup>

Неделя прошла в упоеньи; — но они оба были хитры и осторожны; они желали, чтобы, если можно, ничья нескромная нога не ступила в их алтарь... Смеялись, шутили друг с другом при всех ни много и ни мало... И то при ком? при Катер(ине) Бор(исовне), которая ничего угадать не умела... потому что Матрена приходила только по вечерам...

Прошло еще недели две — все была та же радость... Ольга стала смелее и не скрывала уж своей веселости; она, как бывало представляла для забавы Анны Матвеевны,<sup>30</sup> представляла и теперь то незнакомых Облескову лиц, то Матрену, как она поднимает нос и говорит: «Ишь ты матушка!», то говорила ему: «вы не цените английский home!» То: «Si non e vero e ben trovato». Кстати и некстати...

Для Катер(ины) Бор(исовны) опять настал праздник; она каталась до слез.

Ольга и пела очень мило; стала петь, жалея, что нет фортепьяно... Все силы ее утроились, и вся она как бы искрилась и благоухала... красотой и веселостью. — Облесков день ото дня любил ее больше и больше. — Он говорил ей: «тебе не гувернанткой надо быть, тебе бы быть актрисой».

Театр он любил и знал недурно; и между книгами его было несколько французских пьес.

10 Ему запала какая-то мысль... Он достал эти книги и заставил ее при себе читать те роли, которые, ему казалось, ей были сроднее. — Заставлял ее входить и выходить, проходить по комнате то гордо, то наивно, петь куплеты и декламировать серьезные стихи. — Ольга все исполняла послушно, не жеманясь и не стыдясь. — Прежней немой и желчной застенчивости ее не было в ней и следа.

Раз за такими упражнением застала их сама Марь(я) Павл(овна).

— Bravo! — сказала она приветливо. — Вы веселитесь... Слава Богу!

20 Она и сама приняла даже участие в представлении, сделала несколько замечаний дебютантке, очень верных и тонких; взяла из рук ее книгу, прочла тираду сама немного напыщенно по-старинному — и сказавши: «что ж? лучше быть хорошей актрисой, чем несчастной барышней», — по обычаю своему, удалилась к себе.

Вечером она с радостью рассказывала Матрене, что сын и Ольга веселятся и, крестясь, благодарила судьбу, что Облескову есть хоть малая отрада в глуши.

30 — Как бы только не навеселили они вам чего-нибудь! — сказала Матрена и прибавила: — Что-то в пристройке чуть не до утра горит огонь.

Вставка страниц шесть — описание бала в уездном городе.

Я не стану описывать, как сильно подействовал на Мар(ью) Павл(овну) этот новый удар; — как больно было ей подумать, что она не сумела уберечь девушку,

которую ей, умирая, поручила мать... «Что ты сделал, Николай!» — сказала она сыну кротко...

— Матушка, — отвечал он, — этого назад не воротишь!..

Всю ночь совещались они. — Марь(я) Павл(овна) сказала ему: «Ты прав, этого не воротишь, и я благодарю тебя за прямоту твою. — Но я должна сказать тебе, что в доме моем я не могу потворствовать явно незаконной связи... Суди меня за это, коли хочешь, но я кладу руку на сердце и клянусь тебе, что выносить я этого не в силах!..»<sup>10</sup>

Потом она советовала сыну прервать скорее связь, пока, быть может, нет еще последствий, и отправить Ольгу куда-нибудь. — Подозрения Матрены она бралась уничтожить сама. — Облесков думал отправить ее к Лизе в уездный город; но Марь(я) Павл(овна) нашла, что это слишком близко, и советовала послать ее в Москву к Лидии с письмом от нее.

К петербург(ским) сыновьям послать Ольгу ей казалось неудобно; — Андрей недавно писал ей, что уезжает за границу; а у Дмитрия дом тесен, жена сварлива и дочь слишком молода. — А у Лидии — если бы и открылось, не дай Бог, что-нибудь — другое дело... «Все-таки Лидия добра и со мной не в ссоре», — прибавила здравая женщина, и Облесков покорился ей.

Она было замолвила также слово и о том, что он, если хочет, может покинуть Куреево и увезти Ольгу к себе; так насильно их держать она и не может и не хочет; но Облесков повторил ей, что он поклялся жить при ней, до тех пор пока она сама не скажет: «Иди! ты мне не нужен!»<sup>30</sup>

На следующий день Марь(я) Павл(овна) говорила и с Ольгой. — Она сказала ей: «Ольга Францовна, я тебя не любила; воспитание твое для меня скверно; твой нрав угрюмый и злопамятный не по мне; манеры мне твои не нравятся. — Я обязалась убереечь тебя; не сберегла. — Это мое несчастье. — Но так как ты погубила себя не для кого иного, а для моего благодетеля и лучшего сы-

на, — я позабочусь об тебе, что будет сил. — Вот письмо к Лидии. — Готовься ехать; но не торопись, чтобы не возбудить подозрений».

Потом, доставши из стола пачку ассигнаций, Мар(ья) Павл(овна) прибавила: «Ольга, это мои кровные деньги, у меня их мало. — Но я прошу тебя принять их от меня с той же искренностью и радушием, с которыми я их даю...»

Ольга приняла деньги, поцаловала ее руку и молча вышла вон.

<sup>10</sup> Через две недели Облесков сам отвез ее в уездный город и оттуда отправил с маль-постом в Москву.

Матрене Мар(ья) Павл(овна) сказала, что у нее все злое на уме; что она входила ночью к сыну нарочно невзначай два раза и всякий раз заставляла его одного с «Журналом Землевладельца» в руках.

Матрена поверила и заметила только: «По матушке пошел, полуночный чтец!»

## Г л а в а VIII

<sup>20</sup> Лидия точно была добра, особенно когда кто бы то ни было обращался к ней за помощью. — Сама прошла она через тысячи лишений с тех пор как оставила материнский кров, и для бедного человека — ее скромное и бедное жилище было открыто всегда и стол ее был столом гостеприимства и свободы. — Брат ее Андрей напрасно хотел, гоняясь только за изящным, «вытравить ее из жизни эстетической революцией». Он сам и жена его, несмотря на оскорбления, которые они не раз наносили друг другу с сестрой, — нашел бы у нее и стол и кров с полным примиреньем, если бы он покаялся и протянул бы руку этой <sup>30</sup> сестре.

И Лидия и муж ее приняли Ольгу с распростертыми объятиями. — Они старались развлечь ее и угодить ей. — Она печально принимала все, страдая от сознания, что не любит их.

В письме своем Марья Павл(овна) говорила Лидии, что надо чем-нибудь обеспечить будущее Ольги. — Найти ей место и приучить ее к труду, которого она не знает. — По недостатку познаний ее и по беспорядочному и неуживчивому нраву; — Мар(ья) Павл(овна) не думала, чтобы она годилась бы в наставницы, но, быть может, отыщется ей место «demoiselle de compagnie» или за торговой конторкой, куда как она слышала — принимают нынче девиц. — Лидия и муж ее, и даже Алексей Дмитр(иевич), принялись искать ей место. — Она чувствовала, что правильный труд будет для нее сначала убийствен; но пыталась браться за книги и повторяла школьную сушь. — Облесков не мог даже высылать ей много, чтобы не возбудить подозрений.

Алексей Дм(итриевич) ходил часто к сестре; он начал скоро красоваться перед Ольгой и, заметив ее сухость и грусть, — спросил ее однажды, «не влюблена ли она?»

— В вас, — сказала Ольга, но как сказала!..

Алексей Дмитр(иевич) так оскорбился этим ответом, что стал еще ретивее искать ей место, лишь бы только не видеть ее в доме сестры. — Он даже так был озлоблен

Пропуск.

Ольга оставляет дом Лидии. — Встреча с Андреем Львовым.

## Глава IX-я

От Андрея Дмитр(иевича) она получила скоро записку с приглашением, если угодно, на другой же день ехать вместе в Петерб(ург). — У сестры он быть не мог и потому просил ее обозначить себя чем-нибудь, чтобы он мог узнать ее. — Ольга написала ему, что будет в бархатном синем салопе (этот салоп уж не мог не купить ей Облесков, он написал в знакомый магазин и велел отнести к ней по адресу сестры) и в белой вязаной шапочке. — Но Андрею не нужно бы и этих признаков; он узнал ее

тотчас же, наслышавшись об ее ослепительно-восточной красоте. — Он взял себе и Ольге билет 1-го класса; — был одет щегольски, раздушен и вовсе не был так толст, как ей говорили. — Сходства между ним и Ник(олаем) Дмитр(иевичем) она не нашла никакого; но ей очень понравились его добрые глаза и любезность.

Всю дорогу он ей не дал ни спать, ни думать: угощал ее на станциях роскошно, сорил деньгами, острил, смешил. — Слова его лились как поток, но иногда он выслушивал и ее со вниманием и, казалось, принял в ней сердечное участие.

Об матери он очень жалел; но говорил, что помочь ей не может.

— Я, видите, — сказал он, — служить скромно не могу, как другие. — Прежде, пока это было вдали, я думал, что как станет кто посредником — так тут перед ним новый свет раскроется... Чуть не небо. — А потом увидал — все очень просто. — Приедет образованный мужчина в большую избу; придут освобожденные крестьяне... Женщины от этого сильнее не любят, красивее и моложе не станешь... Знаете, какая разница между чиновником и либеральным посредником? — Та же, что между этой перчаткой налицо и наизнанку! — Я даже готов допустить, что посредник налицо, а бюрократ наизнанку... Но не дальше. — Писать тоже много не стоит; если я начну писать как думаю, так меня в желтый дом запрут. — Вот если бы я бы мог сегодня писать стихи хоть так, как Фет, а завтра убивать черкесов, как брат Николай, сегодня судить крестьян с помещиками здраво и, если хотите, честно; — послезавтра украшать собой придворный бал; а потом издать 12 томов критики не хуже Белинского; говорить речи не хуже Жюль-Фавра и резать ноги бедным из гуманности не хуже Пирогова между придворным выходом и свиданьем в роще с крестьянкой... ну — такую жизнь я понимаю...

— Однако ваш брат Николай хочет тоже служить посредником; только этого и ждет...

— Вот сравнила! Брат Николай не только посредником; он если бы по акцизу пошел, так он всякое место украсит... В нем самом бездна объективной поэзии...

Скоро Андрей Дмитр(иевич) внушил ей столько доверия, что она смеясь созналась ему, что не знает ни Ж. Фавра, ни Белинского, ни Фета, ни объективности.

— Фета не знаете? — спросил он. — Того, который написал:

Растут растут и т. д.

Кого ж вы знаете... Вы, может быть, знаете Некрасова...

Скоттов, Шекспиров и Дантов?.. 10

Некрасов особенно блестяет благозвучьем (слышите, как его рожном каким-то воротит...

Скоттов, Шекспиров, и Дантов...

А еще больше новизною идей: «Человечество, мол, все страдает». Чудак!

Заметив, впрочем, что Ольга опять ничего не понимает, он стал выпрашивать ее основательно и, убедившись в ее недоучености и даже невежестве, сказал ей: «Какая ж вы гувернантка! Что мы вам найдем, не знаю!..»

Тогда Ольга сказала ему, что Никол(ай) Дмитр(иевич) прочил ее в актрисы, и Львов обрадовался этому, говоря, будто это и легче и лучше и что его жена актриса и многих актеров и чиновников театральных, и театралов он знает. — «Так, коль я долго в Петербурге не пробуду — то я поручу вас брату Дмитрию и жене моей; они вами займутся — и будьте покойны и старайтесь развить ваш ум. — У нас мало образованных актрис — и если мы увидим в вас дар...»... 20

Она не спала всю ночь. — Большой вагон был пуст; — один только старик, закутанный, лежал на другом конце. — Машина мчалась с грохотом; Ольга, которая впервые ехала по железному пути, была в упоеньи. — Мало- 30

помалу, беседа их становилась все прямее и прямей; наконец под утро Ольга, сдаваясь его увлекательным и зорким вопросам, плененная его умом и его уважением к тому, которого она ценила первым после Бога — созналась ему во всем. — С той же минуты обращение Львова стало еще ласковее, и к ласке этой прибавилась еще некая, крайне лестная для падшей женщины почтительность.

Уже старыми друзьями сошли они на дебаркадер в Петербурге, и наемная карета примчала их на квартиру Львова, где на лестнице встретила их красивая, высокая и смуглая жена его с небрежным и рассеянным радушием и еще какой-то молодой человек, тоже брюнет, стройный и еще едва опушенный бородой. — Он был в красной шолковой рубашке и высоких сапогах. — «Здравствуй, друг и брат!» — воскликнул он, обнимая Львова. — «Здравствуй, друг и брат», — отвечал Андрей Дмитр(иевич) как будто насмешливо.

## Глава X-я

Два месяца прожила Ольга в доме Львова (который был совсем не его дом, а дом юного «друга и брата», как она узнала скоро); Андрей Дмитр(иевич), обделав какие-то дела, поспешно уехал в Москву.

Каждая неделя, каждый день были теперь годом для Ольги; она что ни шаг видела невиданные ей дотоле вещи; узнала, что жена Андр(ея) Дмитр(иевича) (та самая, о которой она слыхала в Курееве от одних как о Саше, от других как о Сашке) любила «друга и брата» уж более трех лет; что Андр(ей) Дмитр(иевич) проповедывал везде какую-то службу красоте; — что «друг и брат», которого фамилья была Павлов, немного начинал тяготиться Александрой Сергеевной. — Ольга увидела множество новых лиц, готовилась к театру; стала лучше одеваться; в этот раздольный артистический дом Павлова и Львова Николай Дмитр(иевич) мог присылать ей свободнее много де-



нег; — она была покойна; хозяева были к ней ласковы; на красоту ее все любовались; иногда бывала она у другого брата Львова — Дмитрия. — Там было мрачнее, чем у Павлова; — почти не бывало гостей; квартира была тесна; жена Дмитрия язвительна и сухо-богомольна; слышалось в воздухе зловонье семейных, тщательно скрываемых раздоров. — Но у Дмитр(ия) Львова была премилая дочь Катя, ровесница Ольге, белокурая; умная, ученая даже, и притом иногда игривая и легкая как птичка. — В ней Ольга не видала и малейшего педанства и, зная, что с ней долго занимался сам Андрей Дмитр(иевич), верила ее советам и брала у ней книги. — Особой, однако, дружбы между ними не было. — Обе были скрытны, и у той и у другой были заветные думы, заставлявшие их обоих часто грустить. — Ольга знала свою тоску; тоску же Кати приписывала семейным распрям; ибо раз и сама слышала, как мать ей говорила: «Не кричи так громко и брата не брани. — Когда бы ты знала, как тебе нейдет этот гнев твой. — Да он и бессилен; — дом мой, а не отцовский, и ты должна сносить мою волю. — Или я предложу вам вместе с отцом оставить этот дом!»<sup>20</sup>

Среди занятий, довольства и беспрестанных развлечений, прогулок с щегольской Александр(ой) Сергеев(ной) в коляске и на лодках, — в поездках на острова; — среди новых лиц и впечатлений — Ольга строго хранила святыню своей подавленной страсти и мечтала только о том, когда бы выйти на сцену и ценой рукоплесканий купить себе независимость и имя и повергнуть их к стопам того, который продолжал трудиться и вздыхать об ней в глуши.<sup>30</sup>

Между гостями, которые с утра до вечера жужжали как пчелы вокруг вольнодумной и снисходительной Сашки, — были люди всякого рода: студенты, черкесы, гвардейцы, художники, актеры, купцы и писатели. — Между ними было у Ольги много поклонников. — Она, увлеченная шумом и тщеславием, любила завлекать их кокетством и игрой легкого ума, который в столице проснулся и ис-

крился как [пропуск в рукописи]; но, как бы ни блистали ее черные глаза, пресыщенные гордостью, как бы ни льстили ей похвалы и пустые признания — душа и честь ее были отданы одному.

Наконец, когда все признали, что она создана для сцены, и ждали только зимы, чтоб испытать ее, за нее посватался один живописец, еще не старый и видный мужчина, академик и богач. — Он ездил ко двору, был увешан орденами, красноречиво умел хвалить Испанию и <sup>10</sup> Рим, и о правах демократии, о том, что он первый пойдет на смерть за свободу и равенство — гремел по вечерам у павловского камина, сидя в бархатном кресле и играя цепью...

Ольга отказала ему, не колеблясь ни минуты, — и под влиянием этого важного шага жизни — написала Облескову в ту же ночь письмо.

«Вы, вы, — писала она, — и никто другой! — Я отказала ему и откажу всем... А! как я рада, когда меня зовут красавицей; как я рада, что с меня здесь снимают <sup>20</sup> большой портрет в какой-то царской красной мантии... Да! я желала бы быть царицей, для чего? Чтобы положить корону эту у ваших ног; чтобы сказать вам: я твоя раба! — Пусть поклоняются мне, пусть ползают у ног моих, — пусть обещают мне груды золота; я все эти груды золота отдам за то, чтобы коснуться хоть раз еще губами до той старой дубленки, в которой я видала вас так [часто] на куреевском дворе... Послушайте — я вынесу еще эту зиму; — я надеюсь иметь имя и свободу; оттого я терплю. — Но будет ли это или нет — еще <sup>30</sup> погожу — и если вы не приедете ко мне, я приеду к вам сама... Я смеюсь над тем, что вы и Марь(я) Павл(овна) зовете „моей честью“. — Моя честь — Вы и верность Вам. — Если нужен позор, чтобы быть с Вами, придумайте сами позор какой хотите — я с восторгом приму его, лишь бы я могла быть с вами, лишь бы я могла (как, помните — случилось раз) — разуть вас, когда вы намокли, и целовать ваши грязные носки... Не прячьте

этого письма; повесьте его на стену, и чтобы все знали, кто я — и кто вы.

Послушайте — Саша, жена Андр(ея) Дмитр(иевича), актриса плохая, но и та могла бы жить сама тихо и покойно, если бы не мотала денег и своих, и денег Павлова, и мужа. — А я... не знаю, решусь ли я выйти здесь совсем на сцену... быть может — лучше бы в провинции, в Одессе... Или — это робость? — Я выйду там, где вы прикажете мне — мой Царь, мой бог, мой повелитель!...»

10

## Глава X-я

Ольга знакомится с женой Облескова и с разными студентами и литератора(ми).

## Глава XI-я

Как жил Облесков в Курееве пока Ольги не было.

## Глава XII-я и последняя

В Успеньев день Марь(я) Павл(овна) говела и причащалась; — давно уже имела она привычку говеть этим осенним постом. — В этот год она, умилившись, много плакала. — Село, где жил ее духовник, было в 10 верстах от Куреева, и, возвращаясь от причастия в сыновьей карете, — ей пришло на мысль припомнить, сколько раз говела она в жизни и как... Она закрыла рукою глаза...<sup>20</sup>

Путь лежал по пескам, по лугам... и скоро она забылась сном...

Сон? Вставка, быть может, листов шесть.

Карета стала, и Облесков отворил дверцы. — Марь(я) Павл(овна) поняла, что он пришел пешком встретить и поздравить ее на дороге.

Медленно доехали они до дома.

В тот же день под вечер зашла она в комнату сына, но не застала его там... Его позвали разобрать новый спор Григорья с крестьянами. — Глаза Марь(и) Павл(овны) случайно упали на письмо, которое начал Облесков и не спрятав — ушел...

Она хотела отвернуться, но глаза уже видели в один миг то, чего бы лучше им век не видеть...

«Поверь мне, Ольга, если бы я был свободен, — я бы <sup>10</sup> увез тебя с собой на край света. — Когда я говорю о свободе — не думай, что я говорю об жене моей. — Она счастлива; она гордится своим горем; — ее уважают, она попала в свой круг. — Я думаю — о бедной матери моей; она забыта и покинута всеми. — Она стара и слаба. — Если бы не было ее — тогда я был бы твой. — Но и теперь — ты знаешь, что сердцем я живу для тебя. — И придет время, я верю, когда...»

Дальше Облесков написать не успел. — Дальше и не нужно было Марь(е) Павл(овне) знать ничего.

<sup>20</sup> Она ушла; — ничто не изменилось и на этот раз в ее привычках; — она также убрала сама вечером свою спальню; сама занесла в книгу дневной расход; поговорила с Матреной, пошутила даже с ней и легла. — Но сон не посетил ее.

Рано утром, едва показалось солнце — вышла она в сад. — Прошлась два раза вокруг и села отдохнуть на угловом кургане, который выходил в поле и который она велела насыпать, когда еще надеялась, что любимый сын Андрей останется навек с женой в Куреево...

<sup>30</sup> На кургане просидела она больше часа. — Уж во дворе и в селе подымался народ; — курились трубы на избах; — мужики проехали мимо нее в телегах на свою работу; — они ехали и, ей казалось, ласково кланялись ей... Еще раз, уже усталая, она обошла сад. — С горьким чувством взирая на этот сад, где каждый куст, каждая дорожка была дело ее забот и ее вкуса. — Утро было холодное... «Прощай, Куреево! — сказала она себе в не-

выразимом умилении, простирая руки к небу. — Прощай навек!» На что ей жизнь — когда и тому благородному сыну, который посвятил ей свой труд, она была помехой к счастью. — Уже не с иступлением, как прежде, но с кроткой скорбью она молила Бога послать ей безболезненную смерть! — Когда возвратилась она, — на крыльце ее встретил сын и показался ей особенно бодрым и веселым. — Еще прошла неделя. — Она занемогла и не вставала более. — Встревоженный сын уговорил ее ехать с ним вместе в губернский город. — У нее стали уже пухнуть ноги, и сама она не могла согнуть их, чтобы ступить в карету. — Сын и слуга согнули ей руками ноги, ввели и положили на постель. — Николай сел с ней рядом. — Катер(ина) Бор(исовна) и Матрена и дворовые плакали на крыльце. — Миновали две станции; Мар(ья) Павл(овна) была покойна и даже весела, подъезжая к третьей, где Облесков предложил отдохнуть часа два. — Мар(ья) Павл(овна) согласилась и рассказала ему про эту станцию одно небольшое событие из своей прежней жизни.

— Лет двадцать тому назад я ночевала там на одном постоялом дворе. — Комнат несколько, и рядом со мной остановились какие-то молодые люди. — Они до того шумели и смеялись, что я вышла к ним и пристыдила их. — Они утихли; — только через месяц я вернулась и на стене увидела страшную женщину в чепце и с надписью: «Сердитая Госпожа Львова».

— Я уж давно не бывала в этой стороне, — прибавила Мар(ья) Павл(овна) и закрыла глаза.

Так ехали всю ночь; на заре Николай Дмитр(иевич) крепко уснул. — Внезапный крик пробудил его. — Он с ужасом увидел, что мать его, схватившись за грудь, близка к концу своему.

Ее вынесли из кареты; положили на постель, и здесь она кончила жизнь.

Перекрестясь, внесли ее снова в карету и доехали до станции.

Лошадей не было, и Облесков должен был их ждать два часа. — Он внес труп матери в комнату, положил его на диван и прикрыл простыней.

Прохаживаясь по пустым комнатам — он увидел на стене грубое изображение Сердитой Госпожи Львовой, которое не стерлось в течении двадцати с лишком лет.

## КОНЕЦ

### Глава XIII и последняя

В половине сентября приехала в Куреево Ольга. —  
<sup>10</sup> Никогда не была она так прекрасна. — Она предпочитала испытать себя прежде на провинциальной сцене, и вскоре Облесков увез ее в Одессу.

Дни были ясные, когда шестерик почтовых умчал их из осиротелого Куреева. — Кони несли вихрем по шоссе тяжелую карету, полную вещей. — Если и просыпались в сердцах их жалость по чему-либо утраченному — то могли быть она продолжительна? — Заря новой жизни широко занималась перед ними, привольной жизни, свободной, полной... Могли ли они долго думать о том, что их  
<sup>20</sup> счастье построено на благородной могиле?..

Ему не в чем было упрекать себя... Она же думала лишь об нем и о младенце, которого движенья недавно с восторгом и ужасом впервые услышала в своей девственной утробе!

Облесков и теперь делит время свое между Ольгой и гражданским трудом. — Везде ценят его твердость, его здравый ум и высокую простоту обращения. — Ольга блещет красотой и дарованьем; — ее смелость и ловкое кокетство привлекают к ногам ее толпы поклонников; она любит лести и поклоненье, но дружбу и верность Ольги знает вполне только он!

# ДВЕ ИЗБРАННИЦЫ

## Часть 1

### I

Матвеев был еще полковником, когда он встретился в Петербурге с Соней Киселевой, которую знал еще прежде ребенком.

В 66 году, после битвы при Садовой, он служил в Туркестане и сражался с сартами под знаменами Черняева и Романовского.

Увидав, что великие события в Европе сменяют друг друга с быстротой неслыханной, что победоносные войска пруссаков уже стоят под Веной, что Франц-Иосиф спешит вручить Венецию Наполеону и теряет все плоды ужасного сраженья при Кустоцце, что весь Восток в волнении, и думая, что критяне недаром льют геройскую кровь свою, — честолюбивый молодой полковник хотел уехать в Петербург. Он понимал, что скоро будет генералом и желал испытать свои силы в европейской войне, если бы случилось России вовлечься в нее.<sup>10</sup>

Но высшее начальство вновь завоеванной страны уговорило его остаться. В одной секретной рекомендации, посланной из Туркестана в Петербург, говорилось о нем так:

«Позволю еще раз привлечь высокое внимание Вашего Высокопревосходительства на полковника генерального штаба Матвеева, который за последнее время состоял при мне. Г. Матвеев, как вам известно, не только храбрый<sup>20</sup>

офицер, но во время польского мятежа он доказал не раз способность свою к распоряжениям высшего порядка. Шайка повстанца Вержбицкого уничтожена была дотла лишь благодаря его хладнокровию и способности изыскивать новые средства для достижения целей. Позволю себе обременить внимание В. В—ства напоминанием об этом случае, в котором полковник Матвеев, находившийся тогда в служебной зависимости от меня, обнаружил вполне свои силы. Шайка Вержбицкого стояла в лесу. Дело было под  
10 вечер и вступать с кавалерийским отрядом по узкой тропинке в лес, занятый повстанцами, казалось верхом безумия. Но именно рассчитывая на оплошность поляков и на то, что они, состоя сами под командой образованного офицера русской службы, не будут ожидать ночью столь неправильной и, по-видимому, несообразной со здравым смыслом атаки, — Матвеев решился атаковать их и через болото, с помощью проводника литвина, вступил в лес и уничтожил шайку.

Распорядительность г. Матвеева обнаруживается и на  
20 поприще административном. По крайнему разумению моему, я считаю его способным к занятию даже высших государственных должностей.

Как военного писателя я полагаю излишним рекомендовать его. Ваше В—ство более моего судья литературного дела, и статьи его говорят сами за себя»...

Отзываясь так о Матвееве, начальство туркестанского края желало сохранить его при себе не только для военного, но и для административного дела.

Матвеев уступил и остался еще на год. Но вот потребовала Франция, чтобы войска пруссаков оставили Люксембург; разнесся слух, что славянские представители едут пировать в Москву; говорили, что выставка в Париже заменится кровавой борьбой на берегах Рейна... Роль русского государства казалась еще загадочной для всех тех, кто не был близок к кабинету Царскому.

Как ни высоко прочили Матвеева, но пока он был только полковник в Туркестане и, подобно всякому дру-



гому непосвященному, мог ошибаться в том, что ждет русские войска — мирное бездействие или жестокий бой.

Он уехал в Петербург.

К осени 67 года стало ясно, что войны не будет; Матвееву это было очень неприятно; но он утешал себя мыслию, что дела в Европе напряжены и мир не может продолжиться надолго...

В Петербурге он решил остаться до весны; ему в Туркестан не хотелось возвратиться полковником на прежнюю должность, и в Петербурге нашлось у него много занятий и развлечений. Он прожил три года подряд в Туркестане и хотя сердечно предпочитал из крайних двух зол долгую жизнь в краю диком, своеобразном и азиатском долгой жизни в суетной столице, но на один год и Петербург ему казался хорош. На прекрасном лице Матвеева еще не было морщин, но в русом шолке его длинных бакенбард уж проглянуло серебро... А воображение его по временам еще алкало жизни сердцу!

## II

20

Уже желтел осенний лист в Таврическом саду, когда Матвеев зашел около полудня в эту сторону. Долго гулял он один; день был свеж и ясен; в близких казармах звучал военный рожок; на лугу играли чьи-то дети. Матвеев был одушевлен и задумчив. Он с удовольствием любовался на незнакомых детей; задумчиво рвал ветки мимоходом; задумчиво и долго глядел в окна старинного дворца, вспоминая великого Потемкина и великую Царицу... Все в этот день занимало его.

Проходя молодцом по одной уединенной аллее, он увидел на скамье старушку. Лицо ее показалось ему знакомым. Старушка уныло вязала чулок; она была одета бедно, но со вкусом; седые волосы ее были подняты под шляпку черной бархаткой. Матвееву показалось, что и

старушка взглянула на него с любопытством; но потом опята опустила глаза и еще грустнее продолжала вязать.

Полковник любил старух и жалел их; у него у самого еще недавно скончалась бабушка, которую он обожал. Он возвратился по той же дороге, чтобы взглянуть еще раз на унылую даму.

Сомнений нет! Это она!

Она сама его узнала и встала ему навстречу!

Матвеев родился в Крымских горах; к родным его ез-  
10 жала иногда одна пожилая дама, Анна Петровна Киселева, которая славилась своим умом, но была очень горда и самолюбива. Небольшое степное имение ее за Карасу-Базаром давало хороший доход. Она жила одна с маленькой внучкою и посвящала ей все свои досуги. Крестьян своих, переселенных из России в крымскую степь, она не угнетала, но обращалась с ними презрительно и небрежно. Любила, несмотря на возраст свой, читать романы и стихи и тратила свои средства не всегда благоразумно. Наконец  
20 именье ей наскучило; еще до войны она поручила его прикащику и уехала в Петербург, чтобы «лучше, как она говорила, воспитать свою внучку». Матвеев привык видеть ее в шелку и колясках, и теперь в бедной одежде и еще потому, что она много одряхлела, — он не узнал ее сразу.

Анна Петровна очень обрадовалась полковнику, и они возобновили свое забытое знакомство. Сели на скамью, и старушка со слезами рассказала ему о своем положении.

Освобождение крестьян расстроило ее и без того не слишком цветущее имение; она продала его; принуждена  
30 была прожить большую часть небольшого капитала; а с остального получала не более 250 или 300 руб., что вместе с пенсией после мужа составляло едва-едва 600 рублей; на эти деньги она существовала, конечно, не в постоянных унижениях безвыходной нужды, но и не в довольстве, особенно если взять в расчет ее прежние щегольские и весьма изящные привычки. Она нанимала очень скромную квартиру за Таврическим садом, и молодая внучка поддерживала хозяйство ее своим трудом.

— Imaginez-vous — une femme comme il faut dans cette triste position! Dans cette position presque affreuse!.. — воскликнула Анна Петровна.

Добрый Матвеев улыбнулся ее французской фразе, но всей душой пожалел ее и спросил, чем он может быть ей полезен.

— Хлеб у нас есть, конечно... Вы понимаете: хлеб! — отвечала Анна Петровна. — Вообразите эту картину (что значат все романы перед ужасной действительностью!). Старая бабушка... Une Kisseleff... Столбовая русская дворянка — вдобавок статская советница, вяжет сама себе чулки; une jeune fille charmante — ее внучка, ходит к нотариусу за двадцать рублей в месяц... и переводит какие-то дурацкие статьи, чтобы одеваться и поддерживать эту бабушку... Вот следы этих реформ! C'est plus qu'une revolution — c'est une dissolution totale!..

— Мне очень жаль все это слышать, Анна Петровна, — отвечал ей Матвеев, целуя ее руку. — Скажите мне, — прибавил он потом, — не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен... 20

Анна Петровна подумала и отвечала, что попробует убедить свою внучку идти к какой-нибудь знакомой даме в компаньонки...

— А вы сами? — спросил Матвеев.

— Я? — воскликнула старушка и встала вне себя со скамьи... — Я? я пойду в богадельню... Пусть видят все, что случилось с русским столбовым дворянством...

Рыдания прервали ее речь... Матвеев довел ее под руку до маленького домика, в котором доживала она свой век, и обещал зайти на другой день. 30

— Придите после обеда, — сказала ему на прощанье Анна Петровна, — в это время моя бедная Соня бывает дома. Au revoir, mon colonel... Au revoir, cher ami!..

Бедная старушка послала ему поцелуй рукой, и Матвеев, крайне растроганный и очень обрадованный этой встречей, еще раз издали почтительно поклонился ей.

### III

Матвеев на другой день увидел и эту «бедную» Соню, «une charmante jeune fille». У Сони был один только недостаток в наружности: она была чуть-чуть коса. Чуть-чуть!.. Но и это к ней очень шло: взгляд ее был через это как-то загадочен. *Остриженные* белокурые волосы ее вились сами собою, и черты нежного, точно фарфорового лица ее были очень оригинальны, тонки и выразительны.

Входя, она отворила дверь с таким стуком, что бабушка  
10 вздрогнула; отворила, круглая шапочка набекрень, портфель под мышкой... Стоит и смотрит на Матвеева, точно думает с презрением и досадой: «*Это* еще что такое? *Этот* еще зачем сюда зашел? Какая скука!» Бабушка боязливо рекомендовала ей Матвеева. «Разве не помнишь его в Крыму, Соня?» — спросила старушка.

— А! — отвечала Соня, — что-то помню. Ну, здравствуйте!

Бросилась на диван и швырнула портфель в одну сторону, а шапочку в другую.

20 — Вот, — сказала она потом, вынимая пачку ассигнаций, — еще заработала немного. Утомительно это все писать и писать... Да! бабушка, я хотела сказать тебе, что Надежа наша родила; захожу я к ней и браню ее, зачем она от меня скрывала свою беременность; очень, я говорю, нужно было тебе таскаться по больницам; и у нас в доме родила бы. «Стыдно, говорит, барышня, перед вами было!» Скажите! какие нежности! Так она взбесила меня; два года живет у нас и так глупа, что не могла понять, с кем имеет дело...

Бабушка молчала, не подымая глаз от работы.

30 Матвеев тоже молча курил сигару у другого окна.

Соня обратилась к нему.

— Вы что же теперь — майор или полковник?

— Полковник, — сказал Матвеев.

— Какая жалость, — заметила Соня. — Я помню, еще маленькая была, все говорили, что вы очень способны. Жаль, что вы на такую дорогу пошли!

Матвеев только улыбнулся вежливо в ответ на это.

За чаем, который разливала сама Соня, разговор оживился.

Соня стала расспрашивать Матвеева о Туркестане. «Как вы там живете? Как проводите время? Есть ли там наши газеты? Есть ли хоть кто-нибудь похожий на человека?»

— Что вы зовете человеком? — спросил полковник. — Люди есть везде, и умные, и добрые...

— Я человеком зову того, кто мыслит и читает... кто трудится, кто идет вперед... человека-европейца, одним 10 словом.

— Мне все это наскучило давно, — отвечал Матвеев. — Я азиатцев больше люблю.

— За что это?

— За что? Не знаю, как вам сказать... Привык к ним больше... Потом — они наивнее...

Соня засмеялась презрительно.

— Вам еще нравится наивность! Господи! Где ж это вы жили! — воскликнула она.

— Вы знаете, где я жил! — отвечал снисходительно 20 Матвеев.

— Ну! этому я не поверю. Это уж, извините мне, вы врете! Это напускное! Наивность! Азиатцы! И я поверю этому. Вам просто хочется чинов, крестов и всякого этого вздора!..

— Пусть будет, впрочем, по-вашему! — продолжала Соня, помолчав немного. — Азиатцы ваши наивны, занимательны и всякий чорт... Тогда зачем же вы их бьете? Зачем вы им мешаєте жить, как они хотят...

— *C'est autre chose, ma chère,* — сказала бабушка 30 (слишком уж досадно стало ей слушать Сонины слова). — *C'est bien autre chose!*

— Нет, пусть он сам ответит! Что вам за него заступаться.

Матвеев не оскорблялся; его забавляла дерзость Сони; он отвечал ей благосклонно и спокойно на все ее задорные слова.

— Вы мне скажите, зачем же вы их бьете?

— Это государственная необходимость, — сказал Матвеев. — Разве непременно, чтобы воевать с народом, надо ненавидеть его? Я и черкесов за многое люблю, и поляки молодцы, а преследовать их надо!

— *La raison d'état?* — сказала Соня напыщенно и потом обратилась к бабушке.

— Что ж, Анна Петровна, веселитесь, видите, ваша внучка-нигилистка по-французски заговорила. Ну-с, теперь прощайте! — прибавила она и надела шапочку. — Пойду к Варе.

После ухода Сони Матвеев еще просидел долго у Анны Петровны. Она вспоминала свою привольную жизнь в Крыму, он — свое детство и ласки ее, мать, бабушку (столетнего офицера суворовских времен), горы и сады татарские в ущельях, шум моря у пустынных скал, широкую степь и курганы ее.

— *Vous êtes un peu poète,* — сказала ему Анна Петровна. — И Соня любила когда-то стихи; но теперь она, <sup>20</sup> кроме этого противного Некрасова, никого не хвалит.

— Некрасов поэт плохой, — заметил полковник. — Разве такие бывают поэты... У него есть такие неловкие стихи, что волос дыбом становится!.. И потом все это, видно, так притворно.

— Одни я люблю только его стихи, — возразила старушка. — Вот эти:

Внимая ужасам войны...

Слушая стихи эти, произнесенные с глубоким чувством дряхлыми устами, Матвеев был растроган и, <sup>30</sup> вздохнув, сказал:

— Да! это хорошо... хотя воевать все-таки нужно...

Мало-помалу Анна Петровна оживилась и рассказала ему все откровенно про внучку. Она сказала ему, как она отдала ее в женскую гимназию; как она была тогда мила и старательна, хотя и всегда была вспыльчива и не совсем

покорна; как потом Соня подружилась с разными девицами и студентами и как они «сбили ее с толку».

— Приняла вдруг совсем другие манеры; никому нет пощады, — пошли все какие-то «измы» у нее, обскурантизм, либерализм, фурьеризм... «Чорт его возмизм»!.. *Je suis une femme d'ancienne trempe*, говорю я, я этих всех слов не понимаю...

Матвеев засмеялся и перебил старушку лестным замечанием, что она клеветает на себя, что он помнит — она всегда читала много и, конечно, знала все эти слова, когда внучка еще «азбуке не училась».

— Положим, так, — сказала с довольной улыбкой старуха, — отчего же их не знать, но беспрестанно употреблять их — эти «измы», согласитесь, *que ce n'est nullement gracieux dans la bouche d'une jeune fille*.

— Это-то правда; я сам не люблю этих слов, хотя и употребляю их, — заключил полковник.

— Ну, вот видите! — продолжала Анна Петровна, — это раз. Потом, сколько страха и сколько муки я с ней пережила, это знает один Бог! Когда везли одного из этих извергов в Сибирь, — она пошла на улицу с букетом и бросила ему букет на эшафот. Тут сейчас волнение в толпе: «Кто? кто бросил?» Насилу спас ее один писатель, увлек ее в толпу. Пощады не было от нее никому и ничему святому. Я никогда не была биготкой; но нельзя же запретить монахам собирать добровольное подаяние. Это ведь тоже свобода. Зашел однажды к нам монах: «Подите вон! За кого вы принимаете нас? Гони его, Надежа, и смотри, чтобы он не обокрал как-нибудь нас!» Ведь это возмутительная жестокость. Еще пример. Я от общества отстала: 30  
никуда не хожу; все мои прежние друзья и знакомые высшего круга — в могиле или едва дышат сами. Одеться мне получше не во что. Однако раз приехала ко мне посидеть *la pauvre princesse* Шиловская, такая же старая, как и я. Соня была дома и так себе сначала ничего, барышня как барышня... Заспорили мы что-то с княгиней о каком-то событии, я говорю — это было прежде 61 года, а княгиня

говорит — это было в 63 году. Вдруг m-lle Sophie вмешалась. «Нет, говорит, бабушка, ты ошибаешься. Княгиня права. Я, говорит, это хорошо помню, потому что жила тогда в номерах у студента Несвицкого!» Княгиня обомлела!

— Доходило и до этого? — спросил с живым участием Матвеев.

Анна Петровна вынесла ему из комнаты Сони портрет Несвицкого в дубленке и валеных сапогах.

— Энергическое и мрачное, но красивое лицо! — сказал Матвеев.

— С собой он, правда, был недурен; только такой незабавный; глядит исподлобья бука-букой... Ударит рукой по столу и скажет: «Вот мои убеждения; вот ваши! Что тут толковать, языком бить воздух». — *N'est ce pas que c'est très spirituel?*.. Языком бить воздух! Я удивляюсь, как она с ним с тоски не умерла.

Анна Петровна, видя теплое участие, которое принял в ней Матвеев, рассказала ему подробно, как ушла внучка несколько лет тому назад с Несвицким и оставила бабушке только короткую записку:

«Анна Петровна!

Не думайте, что я вас не люблю и не ценю ваших забот обо мне. Напротив, я очень ценю их, и теперь, когда вы постарели — мой долг уделять вам, если нужно, часть от того, что я могу приобретать. Но убеждения наши не сходны, и мы не можем, я думаю, жить вместе. Я буду жить с Несвицким.

Ваша Соня».

Тогда еще у старушки было больше своих денег и она могла дышать сама; но не видать долго внучки, хотя бы и порочной по ее взгляду, — было ей нестерпимо. Она сама пришла к ней в номера и сказала ей: «Живи как хочешь! Только зачем же меня, старую, сироту несчастную, так покидать? Позволь мне видеть тебя». Тогда Соня заплакала, долго целовала и ласкала бабушку и стала ходить к



ней очень часто. И Несвицкий тоже говорил басом: «Ходи к бабке, ходи! Она женщина, я вижу, с толком; еще волосные сосуды в мозгу ее не совсем окостенели! Ходи!»

Вскоре, однако, Несвицкого сослали в Сибирь. К этому же времени и Анна Петровна стала все больше и больше беднеть и слабеть и ходила даже по знатым людям хлопотать, чтобы ее приняли во вдовый дом. Несвицкий звал Соню в Сибирь. «Поделим горе, как делили труд и радость», — говорил он ей. Билась, билась Соня между любовником и бабушкой и предпочла, наконец, бабушку.<sup>10</sup> У них с Несвицким был уже в то время разлад, они все ссорились и мирились, сходились и расходились... Несвицкий уехал один, а Соня стала трудиться больше прежнего и поддерживать бабушку.

— Я заметила одну черту, — сказала старушка полковнику. — Я заметила, что она стала гораздо добрее и даже почтительнее ко мне с тех пор, как я больше завишу от нее, чем она от меня.

— Это благородная черта! — сказал Матвеев.

— Разве я этого не понимаю и не ценю? — отвечала Анна Петровна.<sup>20</sup> — Однако согласитесь, что чем я выше ценю благородство и ум в моей внучке, тем еще мне больнее видеть, какая между нами бездна.

Впрочем, в последние два года она стала много мягче и добрее. Я думаю, что это подруга Варя, к которой она пошла теперь, была ей полезна. Она тоже *d'une conduite qui n'est pas irreprochable*, но, надо сознаться, прекраснейшей и мягкой души...

Матвеев просидел до полуночи с Анной Петровной и, уходя, с искренним чувством сострадания и почтения целовал крепко ее руку.<sup>30</sup>

#### IV

С этого дня Матвеев не забывал скромного жилища Киселевых. Для души ему мало было пищи в Петербурге. Почти все знакомства его были новые; в этих новых встре-

чах и сближеньях он искал или просто развлеченья, или средств для хода вперед. Удовольствие, которое эти люди доставляли ему, было совсем иного рода, чем та тихая и дружеская свобода, какую он дышал у бедной Анны Петровны.

Матвеев был женат очень невыгодно, на девушке бедной и без имени; он имел свои средства к жизни, но очень большими они назваться не могли; связей или родства при Дворе и подавно не имел, и потому чувствовал, что во всем был обязан только своим дарованиям и справедливости сильных людей. Ему, при этом сознании, было еще приятнее представляться в Петербурге лицам, облеченным высшей властью, и видеть, что эти лица милостивы к нему.

Своими собственными приемами перед людьми всемогущими полковник остался доволен. И другие хвалили эти приемы ему в глаза.

— Мне нравится ваша «*ténuë*», — сказал ему один царедворец при многих свидетелях. — Вы отвечаете весело и смело и даже раз ответили остроумно, не забывая ни на минуту, кто перед вами. Вы, право, молодец.

— А вы в этом сомневались? — спросил Матвеев. — Чего ж мне смущаться? Я служу, как умею, и совесть моя чиста. Это раз. А потом я и рад смертельно видеть того, кто, как вы говорите, был сейчас передо мной... Я люблю его всей моей душой... Я ведь русский...

— Кто ж здесь не русский? — спросил с досадой царедворец, который родился и вырос, однако, далеко на западе от Петербурга и Москвы.

Матвеев находил также некоторую забаву в том, чтобы лукавить с теми, кто мог быть ему полезен или вреден. Но и лукавить он любил не зря и не подобоострастно. Однажды лицо весьма сильное начало грубо бранить при нем того генерала, который рекомендовал Матвеева и выдвигал на вид. Матвееву было совестно слушать молча, как бранят его покровителя; но и тот, который бранил его начальника, мог легко повредить ему и даже помешать его производству в генералы. Враг его начальника не раз обращался с

речью и к нему; Матвеев выждал минуту, встал и сказал: «Извините, — у вас, может быть, секреты... я уйду».

Сильному человеку эта гордая хитрость понравилась, и он переменял разговор.

Так, угождая, подчиняясь охотно одним и обрывая других, прокладывая себе путь молодой полковник. Мысль, что европейская война закипит, прежде чем он будет генералом, приводила его почти в ужас, и он по целым ночам иногда не спал от этой мысли, обдумывая новые планы и всякие позволительные извороты для упрочения своей до сих пор счастливой карьеры. <sup>10</sup>

Сверх этого, он занимался много; он хотел напечатать воспоминания свои о севастопольской осаде, во время которой он был еще армейским прапорщиком; о своем плену в Турции и Франции. Сильно беспокоился о будущем наших казачьих войск, которыми он дорожил донельзя; ему хотелось и об их устройстве подать подробную записку. Сверх того, у него были и свои домашние заботы; в Крыму он получил не так давно наследство от деда и не успел еще заняться им; за границей, в Румынии, у него была молодая жена, с которой он расстался на время, уезжая в Петербург; он любил ее и тревожился, что от нее три месяца уже не имел ни телеграммы, ни писем. Были у него и долги; надо было думать и о том, чтобы хотя когда-нибудь да выплатить их. <sup>20</sup>

Забот и дум было довольно; успехов было много, но впечатлений, сердцу милых, в Петербурге было мало.

К веселостям столичным, на которые так жадны многие, Матвеев был довольно равнодушен. На балы он ездил редко; из театров дорожил только русским и, кроме «Руслана» и «Жизни за Царя», не желал слышать ни одной оперы. Один раз поехал он послушать Лукку. Вечер был дождливый; грязные наемные кареты и дрожки не могли ехать скоро от стечения народа; Матвеев видел толпу бледных, худых столичных лиц; поднятые воротники коротких пальто; на плечах и на ногах глупые пледы, которые внушали ему столько отвращения своим женоподоб- <sup>30</sup>

ным безобразием; грязь и газ фонарей, колеблемый холодным ветром; вдали из темной груды тесных зданий глядели ему как будто прямо в душу вонючие дворы и черные лестницы, по которым столько из бедных меломанов вернутся в свои квартиры, где ждет их проза столичных лишений и семейные дразги. Не верил он и страсти музыкальной во всем этом бездарном многолюдстве, неимущем и богатом, светском, ученом, либеральном и чиновном!

10 Прекрасную музыку и пение оценил и он, но без торга, и, выходя, еще раз сказал себе, что драма собственной боевой и сердечной жизни (ибо он жил и сердцем много прежде) нравится ему больше, чем картонная мелодрама подмосток. Военная труба в болотах Белоруссии или в степях древнего Турана — звучнее всех штатских громов столичного оркестра!

— Когда я мог бы это сделать, — думал он, бросаясь угрюмо в угол наемной кареты, — я бы закрыл эту итальянскую оперу, и сотни тысяч, которые тратит наше общество на эту сухую и холодную забаву, — обратил бы все на 20 помощь восставшим критянам или болгарам на Дунае... И не навек, а до тех лишь пор, пока русский великан, став одной ногой твердо у подножья Гималаи, а другой на Босфоре, будет в силах собрать воедино под могучую руку свою все то, что и судьбы исторические предназначтали ему собрать!

Одна придворная дама, милая и полная москвичка, — с томными лазурными очами, которая любила искусство и которой нравились барская поступь, строгий и тонкий профиль, шелковистые бакенбарды и приподнятые усы Матвеева, — спросила у него: «Нравится вам Лукка?» Матвеев медлил ответом и глядел ей прямо в глаза. — «Я спрашиваю, нравится ли вам Лукка?» — повторила она.

30 — Мне нравятся только те женщины, которым я нравлюсь, — отвечал Матвеев с притворной сухостью, ударяя выразительно на *те* и на *я*.

— Какой вы фат! — сказала ему москвичка и потом прибавила: — К несчастью, я должна сознаться, что к вам

эта самоуверенность идет! Жаль только, что вы так равнодушны к музыке. В жизни большое утешение любовь...

Сказав это, она на миг замолчала и потом докончила... «к искусству!»

Любовь этой дамы Матвеев приобрел скоро и без большого труда; она знала, что Матвееву недолго прожить в Петербурге.

Конечно, Матвееву невзыскательная любовь ее была очень приятна. Но, как свет месяца, освещала она его путь, не согревая сердца. 10

Хороший дом, подъезд красивый, зелень и цветы на окнах широкой светлой лестницы, по ступеням которой было постлано серое, крепкое сукно с голубой каймою; душистый воздух веселых и разубранных комнат; очень умная беседа; прекрасное контраalto; манеры герцогини и свежесть щек и стана, как у прежней московской купчихи; совершенно русское лицо и хорошее воспитание с несколько английским оттенком...

Муж — важный сановник; во фраке со звездами; человек весьма ученый, умный и притом очень набожный; <sup>20</sup> правда, собой некрасивый, нерослый и невзрачный, с большим носом и сердитыми глазами из-под густых, угрюмых бровей; он болен, раздражителен и во мнениях с красивой женой своей почти всегда не согласен...

Но и муж этот оставляет ее в покое и занят гораздо больше своей службой, своими недугами и чтением духовных книг, чем семейными делами своими...

Он даже к Матвееву очень благосклонен; так благосклонен, что полковник не в силах решить: верит ли он им слепо с женою, или хочет «игнорировать» все нарочно, <sup>30</sup> потому что его, Матвеева, изо всех «возможностей» и «случайностей» подобного рода считает наилучшей или, по крайней мере, одной из лучших.

Все это было, разумеется, очень весело, и проводить у этой дамы вечера, то с ней одною, то в избранном и оживленном обществе, было истинным наслаждением для человека самолюбивого и с сильным воображением, кото-

рый только недавно и на короткое время приехал из дальних и полудиких стран в столицу. Но любил ли он ее? И она тоже?.. Она любила ли его истинной любовью?

Конечно, нет. Оба они собою друг другу очень нравились; они друг друга уважали и ценили; друг другом немного, пожалуй, и гордились, когда думали о возможных подозрениях; она была даже в этом отношении гораздо смелее его с людьми; Матвеев был в высшей степени осторожен по чувству рыцарского долга; но красивая и энергичная любовница его изредка позволяла себе не то чтобы явно «бравировать» мнением знакомых, а как бы задавать им задачу и слегка раздражать любопытство их иным оттенком в обращении с Матвеевым. Иногда гуляла с ним под руку, одна, без мужа, по Летнему саду; встречалась с ним как будто нечаянно на набережной Невы, а по Невскому без мужа ни разу с ним не ходила; иногда слишком уж дружественно и выразительно ему улыбалась или слишком внимательно на него глядела нарочно при других... Не стесняясь ничуть, везде хвалила его ум и остроумие; старалась всеми силами действовать в его пользу при Дворе и в кабинете того министра, в доме которого она бывала запросто и часто. Для этой цели она старалась пользоваться всяким случаем и умела необыкновенно ловко эксплуатировать в этом смысле всякое обстоятельство.

Она говорила про него так:

— Мы, русские, были бы очень счастливы, если бы у нас было побольше таких военных, как Матвеев!..

Она говорила это нарочно, чтобы выведать о нем мнение сильных людей, и когда это мнение было выгодно, она спешила передать его Матвееву с радостью.

— Мне вчера сказал такой-то: «Будьте покойны! Ваш интересный полковник далеко пойдет. Это — то, что зовется un brillant militaire. Да и не без ловкости житейской!»

Она даже из деликатности изменила немного фразу, сказанную ей высокопоставленным лицом. Лицо это назвало Матвеева просто «ваш protégé», а не «ваш интерес-

ный полковник». Но она, передавая этот отзыв Матвееву, побоялась, что слово «protégé» ему не понравится.

Мнения и слухи менее выгодные она также не скрывала от Матвеева для того, чтобы он был, где нужно, осторожнее и внимательнее. Она говорила ему:

— Послушайте, мой друг (так любила она его звать), послушайте... Я немножко недовольна вами...

— За что? За что? Помилуйте?

— Такой-то вчера так-то сказал про вас: «Я его встречал в Польше; он человек очень способный, и сам покойный М. Н. Муравьев хвалил его. Я нахожу только, что он иногда ленив и делает много долгов»... Это не хорошо, амісо; мне, право, так досадно за вас!.. Я хочу, чтобы вы оправдали мой выбор... Понимаете...

Матвеев отшучивался и уверял ее, что без временной лени не освежишься и ничего глубоко не обдумаешь; что все истинно воинственные народы: черногорцы, черкесы, старые турки всегда были ленивы во дни свободные от битв и т. д.

— На, а... долги?.. долги?.. — возражал он еще, — это правда — опасно и неловко... Только бывает еще и хуже... Мальбрука за лихоимство судили даже, а французов только он мог бить... без пороков никак нельзя; я уж думал об этом.

Но сколько Матвеев ни отшучивался, а ее слова, ее внушенья оставляли в уме его серьезный след и отзывались позднее на его поступках.

За все это Матвеев был искренно признателен своей влиятельной и милой любовнице; он был горячо благодарен ей; он высоко ценил ее за многое и, кажется, в особенности за то... что она именно выбрала его, а не кого-нибудь другого... В иные часы он был, пожалуй, даже и сильно влюблен в нее... Чего же не доставало в его чувстве к ней, чтобы любовь была полна?

Все в сношениях с нею было уже слишком празднично, покойно и легко... Не было и тени страдания... Не было — боли.

Не было ни той самолюбивой, своекорыстной боли, которую причиняют нам внешние препятствия, упорное сопротивление женщины и долгая с нею борьба; ни высокого страдания от кровавой битвы идеалов в собственном сердце любовника, от битвы идеала долга с идеалом поэзии нашей. Не могло быть и той томительной жалости, достигающей тоже в иные минуты до всемогущего, всевластного, хотя и сладкого страдания, той благородной жалости, которую отыскивает нередко мужчина сильный, опытный и добрый в сношениях с женщиной бедной и покинутой, необразованной или неразумной, с девушкой неопытной, доверчивой и простой...

Борьбы с *ней самой* здесь почти не было — она сама, как я сказал уже, не намерена была «терять время».

Жалеть? За что было жалеть *ему*, все-таки с большим трудом, искусством и опасностями проложившему себе дорогу к чинам и к некоторой известности, жалеть ее, эту милую, богатую, здоровую, молодую и даровитую женщину... Случись с ней истинное горе — тогда, конечно... но теперь?

Борьбы внутренней, борьбы долга с поэзией в этом случае у Матвеева тоже не было и тени.

О грехе, о Таинстве брака, о нарушении священной клятвы перед алтарем церковным, увлеченный веселым самомнением и погруженный в честолюбивые заботы с раннего утра и до ночи, он тогда и не думал; хотя он и вырос в семье христианской и сам Церковь Православную и чтит, и любил, и защищать ее был готов всеми силами и всем умением своим, но у него, как и у многих людей, была при этом своя личная моральная казуистика...

*Грехом* — в подобного рода делах — Матвеев считал только одно — огорчать свою добрую, нежно любимую и простенькую жену; но ведь она теперь пока далеко, в Бухаресте... Денег он ей высылает довольно: даже балует ее всячески... Она не знает, не видит ничего, не слышит, не ревнует, не плачет... По окончании всех дел в Петербурге он опять увидит и обнимет ее...



Да он и не принесет ее, бедную, никогда вполне в жертву никакой блестящей женщине... Никогда! на это уже были примеры...

— Итак, какая же беда, не правда ли? Кому обида? Кому горе и горькие слезы? Никому!..

Да здравствует жизнь!.. Жизнь как она есть, со всей полнотой успехов и опасностей, тонкого наслаждения и лукавой борьбы!..

И вот во имя этой-то самой полноты, руководимый, впрочем, самыми добрыми и честными чувствами, Матвеев<sup>10</sup> при всех развлечениях, хлопотах и успехах своих не забывал бедного жилища Киселевых, со дня первой встречи своей с Анной Петровной. Он понимал, что он нужен покинутой старушке; он считал даже долгом своим помнить о ней. Но исполнение этого долга было ему легко и приятно...

Матвеев был во многом, быть может, безнравствен и больше еще по дурным правилам ума и развратным теориям фантазии, чем по естественным наклонностям сердца; но он был чрезвычайно добр, и не раз и в театре, и в обществе военных товарищей, и в богатой гостиной чьей-нибудь он вдруг вспоминал жалобный, усталый вид старухи Киселевой, ее бархатку на лбу, ее седые волосы и морщины, ее нужды и огорчения... Вспоминал и Крымские горы, и чистое детство свое, и море, и степь, одетую зимним туманом, и могилу своей любимой и набожной бабушки... И ему вдруг становилось так жалко, так больно и так стыдно, если он неделю не был там, у Таврического сада, что на другой же день он брал лихача или карету и мчался<sup>30</sup> туда...

Бабушку он стал скоро жалеть и любить, как самую близкую родную; а внучка-нигилистка больше смешила, чем возмущала его своими выходками; вспоминая об ней как-нибудь тоже нечаянно, он улыбался улыбкой снисхождения и любопытства...

— Какой вздор она на себя напустила! Какой вздор! — И ехал опять очень охотно слушать этот вздор.

Для Сони Матвеев был еще новее и занимательнее, чем Соня для Матвеева. Ничто в идеях Сони для Матвеева не было загадочным; все, что она говорила, когда хотела быть серьезной, он слышал от множества людей на всех поприщах и во всех странах: «благоденствие народа, свобода, прогресс, просвещение и предрассудки»... Кто не слышал этого? И много ли для этого нужно ума? Все это так просто и так грубо! Будь в то время Матвеев свободнее  
 10 умом и душой, ему бы оставалось одно — подумать: «Нельзя ли переродить этот простой цветок в цвет более пышный и махровый?»

Но он и об этом не заботился; чаще всего он видел в ней только внучку несчастной старухи, которую он жалел и уважал.

Иначе глядела на него Соня. С удивлением открывала она каждый день в этом чуждом ей образе военного новые черты — то близкие ее заветным чувствам, то неизмеримо  
 20 далекие от того, к чему привыкла ее мысль. Его теплое участие к ее престарелой бабушке, его доброта, полная уважения и достоинства, денежная помощь, которую он сделал им (сначала тайно от нее), конечно, прежде всего расположили к нему Соню.

— А ведь вы добры? — сказала она ему раз.

— Да, я добр, — отвечал он ей просто.

— Вы умны, — сказала она ему другой раз.

— Я думаю! — отвечал он на этот раз с улыбкой.

— Пожалуй, воображаете, что уж и Бог знает как? —  
 прибавила Соня.

30 — А вы как думаете? — спросил он ее.

— Как я думаю? Я думаю, что вам негде и ума-то вашего показать. Что за ум — драться да маршировать. Ответьте-ка мне на это.

— Маршировать без ума, правда, можно, а драться хорошо без ума нельзя, — отвечал полковник.

— Вы мне докажите это, — говорила Соня.

Но Матвеев ушел, говоря, что зайдет завтра доказывать и спорить, а сегодня надо быть у министра.

— Конечно! Как вам жить без министров!

На другой день Матвеев пришел к чаю. На дворе стояла вьюга, и Анна Петровна с внучкой сперва читали, каждая в своем углу, потом оставили книги, и им обоим стало грустно. Бабушка вздыхала, грея у печки ноги; Соня ходила по комнате и удерживала вздохи.

Соня всем сердцем обрадовалась Матвееву; про Анну Петровну нечего и говорить! 10

— Ну, что ваш министр? — спросила Соня.

— Министр здоров. Кланяется вам и спрашивает: «Что, говорит, Sophie Киселева все еще нигилистка?»

— Что ж вы сказали ему?

— Я сказал ему: «M-elle Киселева девушка непоколебимых убеждений, Ваше В—ство, она стоит выше уровня». — «У нас все нынче стоят выше уровня!» — говорит министр.

— И вы думаете, что я обижусь вашими насмешками. Эх, вы! Пейте-ка лучше чай! 20

За чаем Соня потребовала доказать вчерашнее; полковник уклонялся, но она настаивала, и Матвеев предпочел доказать ей свою мысль примерами.

Один пример он взял из дальнего прошедшего и рассказал ей, как Тамерлан, вступая в битву при Ангоре с султаном Баязидом, который за стремительность свою был прозван «Молнией», приказал своим татарам-стрелкам не подпускать турок близко потому, что турки лучше их владели саблём; а убегая от них — стрелять из лука.

— И вот, — сказал полковник, — этим средством Тамерлан разбил знаменитого султана наголову и взял его в плен... 30

— Я этой истории совсем не знала, — сказала Соня.

— О Тамерлане есть и у Грановского, — отвечал полковник лукаво.

Соня покраснела.

— Другой пример, — продолжал Матвеев... — Другой пример военного ума... Их много... Пусть будет хоть

Тотлебен, который в две недели из открытого города со-  
здал то... что вам, я думаю, известно. Это-то, я думаю,  
известно?

— Ну! ну! — сказала Соня.

— Что прикажете?

— Что ж дальше — что?

— Как что дальше?

— К чему ведет все это? Пусть будет так, — возра-  
зила Соня, — пусть и ваше звание требует науки и ума.  
10 Только где же результаты? Где благо? Тысячи страданий,  
миллионы жертв, народ обременен расходами!

— На это я не возражу, — сказал Матвеев.

— Не можете? — воскликнула стремительно Соня.

— Правда, что не могу; мне стыдно возражать на это;  
это слишком ясно.

— Я прошу вас, — сказала Соня.

— Все дело вот в чем, — отвечал Матвеев, — не-  
обходимо ли насилие для торжества идей? Может ли хоть  
ваш социализм воцариться в мире без потоков крови и наси-  
20 лия? Вы на это можете сказать одно из двух: или — «Я  
не знаю, но я верю, что может постепенно». Я знаю —  
ваши учителя учат вас, что до их эры история вселенной  
была лишь одна жестокая ошибка; что лишь они открыли  
путь ко благу; — а чем хотели они проложить его —  
скажите: гуманностью одной или наукой мирной? Или чем  
другим? Поверьте, когда за насилием есть смысл, то  
насилие не только побеждает, — оно и убеждает...

Соня слушала его внимательно, опираясь подбородком  
на руки и, внимая, глядела на прекрасное лицо его, которое  
30 утратило в эту минуту печать обыкновенного самодоволь-  
ного спокойствия и было исполнено выраженья и огня.

Анна Петровна вмешалась в разговор.

— В этом, что касается до войны, — то я согласна  
больше с Соней. *C'est une chose révoltante!* Немцев я лю-  
била прежде, что они смиренно сидели и трудились, а теперь  
и они белены объелись. Пожалуйста, прекратите этот раз-  
говор об войне, который представляет человечество в

слишком ужасном виде... Я вам лучше покажу портрет один; принесу вам его сама, и скажите мне, как вы его находите.

Матвееву лицо не понравилось. «Я не люблю людей в очках и с бакенбардами! — сказал он. — Кто это?»

— Нет, вы взгляните, взгляните, — продолжала Анна Петровна. — У нас, в Таврической губернии, был один секретарь губернского правления. Взятчик страшный... Две капли воды... *Quelle figure!*.. Это Добромыслов, известный нигилист. 10

Матвеев хотел смеяться, — но Соня встала и, вспыхнув, сказала бабушке:

— Я говорила вам, чтобы вы не издевались над тем, что для меня свято... Меня вы умели осуждать за это? Умейте же и сами вести себя...

Говоря это, она грубо вырвала портрет.

— Неужели нельзя пошутить? — спросила сконфуженная бабушка.

— Нельзя! — сказала Соня, ушла к себе и вернулась опять; но уже не говорила ни слова, а села у окна и глядела в черную ночь. 20

Весь вечер был испорчен; Матвееву стало неловко; Анна Петровна не могла скрыть своего огорчения и напрасно пыталась занять гостя тем и сем.

Когда полковник подошел прощаться с Соней, она подала ему руку, но не взглянула на него и не сказала ни слова.

— Бедная бабушка! — подумал он, выходя на улицу.

Вьюга все еще шумела; над отдаленным кварталом стоял тяжелый сон; небо было мутно; ночь почти страшна... 30

Матвеев долго шел пешком, утопая в снегу, и еще раз жизнь в этом Вавилоне гнилой нужды и холодной роскоши, ожесточенного, спешного и мелкого труда и бесстрастного разврата показалась ему стократ ужаснее, труднее, ниже, чем суровая жизнь солдата в Кавказских горах или лихая смерть его за родину на Малаховом кургане!

## VI

После этого Матвеев довольно долго не был у Киселевых. Соня продолжала интересоваться им и скучала, что он нейдет. *Такого* военного она не встречала еще ни разу. Офицеров придворных и светских она знать коротко не могла; встречалась с ними очень редко и случайно и судила о них все еще по *вчерашним книжкам*, воображая, что все они люди ничтожные, без сердца и ума. В том обществе, которое она посещала чаще, Соня знала нескольких образованных и ученых военных; но они казались ей военными лишь по мундиру. Самый этот мундир для них самих был как будто необходимым злом. На лицах их написано было, в разговорах их слышалось, что они готовы были оплакивать свою судьбу, готовы были извиняться перед штатскими и, если нужно, даже воскликнуть: «О! Умоляю вас, не думайте того, что вы думаете. Вникните в меня и вы увидите, как вы ошиблись!» Никто из них ни разу не защищал при ней войну и воинственность так именно, как умел и смел защищать ее Матвеев. Матвеев называл ее «Божественным учреждением»; мял, бросал и рвал газеты, в которых читал общие миролюбивые фразы, и уважал только одно миролюбие: дипломатическое, вызванное обстоятельствами и мудрое. О миролюбии же философском он говорил, что оно в человеке с умом и вкусом — отвратительное лицемерие, а в человеке искреннем — отвратительное безвкусие и недостаток глубины в мыслях. Никто из тех солидных офицеров, которых часто встречала Соня, не любил рассказывать даже о том, как он воевал. Соня про двух таких людей с удивлением узнала стороною, что они в Севастополе *делали свое дело*; совсем к ним и не шло сражаться.

Сравнивая их с Матвеевым, она должна была сознаться, что они люди почтенные, честные и скромные, но... очень скучные. Матвеев же, напротив, в три-четыре посещения уже успел, нисколько не стесняясь, и похвалиться своими подвигами. Сознался, что фантазия его была под-

готовлена с ранних лет («как и у всех молодых людей с воображением») к мечтам об опасных подвигах и к зрелищу военных ужасов, и рассказывал о том, что на войне страшно.

— Так и вы боитесь? — спросила Соня.

— А вы думали — нет! Не только когда был юношей, и теперь боюсь иногда. Когда услышу первый выстрел, всегда душа немножко вздрогнет. Но вы не можете себе представить, какая это прелесть, как это весело!

Умной Соне, которая всегда ценила смелость ума и которая именно из любви к этой смелости и рассказывала старой княгине о том, что она «жила» с Несвицким, независимость полковника очень понравилась.

Бабушка с удивлением заметила, что она несколько вечеров была после этого дома и много разговаривала с ней. Соня всегда исполняла строго нравственный долг относительно своей воспитательницы; не только поддерживала ее своим трудом, но иногда оказывала ей и мелкие [знаки] внимания — ходила за ней, когда старушке нездоровилось... Но во всем этом бабушка видела мало дочерней дружбы, мало любви...

Разговаривать с бабушкой она не любила и даже редко давала ей кончить какой-нибудь рассказ про старину. Она прерывала ее с восклицаниями: «Ах! оставьте это!»

— Ах! опять то же! — или: «Постойте, я вам другое скажу, гораздо интереснее». Она была иногда добра со старушкой, но не была никогда с ней добродушна. А главное — вечера с ней просиживала только тогда, когда видела, что она очень больна.

Кроме некоторых редакций, которые посещала Соня, — у нее было довольно много подруг; одних она приобрела еще тогда, когда ходила в женскую гимназию; с другими познакомилась недавно. Между подругами этими были и замужние женщины, довольно строгие к себе, но равнодушные к образу жизни других; были и невинные, целомудренные девушки, которые скромно ждали женихов; была одна и такая, которая долго жила то с одним, то

с другим, со студентом, с двумя военными либеральных убеждений, с шарманщиком итальянцем, с греческим монахом, заезжим в Петербург, и, наконец, с одним красавцем-доктором, — за него она вышла, наконец, замуж, сделалась примерной супругой, матерью и говорила Соне: «Укатали Сивку крутые горки! Люблю моего лекаря и ни на кого его не променяю».

Эту-то подругу Сони звали Варей, и ее Соня любила больше всех; к ней и к красавцу «лекарю» она ходила чаще всего, и доброе сердце Вари сама Анна Петровна хвалила Матвееву.

Соня только на минуту раз поутру в эти дни зашла к Варе, веселая и оживленная, и сказала ей:

— Варька, слушай... Ты своего доктора окрутила, а я собираюсь в женатого полковника влюбиться.

— На здоровье! — сказала Варя.

Соня хвалила Матвеева и обещала привести его с собой к Варе.

И вот, все в ожидании Матвеева, она сидела дома подряд несколько вечеров и даже читала бабушке громко. Сердце ее вдруг смягчилось, и она пожалела бабушку не разумом, как всегда ее жалела, а иной, более детской жалостью, — недрами души своей. Конечно, она не сказала ей: «Голубчик, бабушка, не угодно ли вам, чтобы я вам почитала?» Руки, конечно, не поцеловала при этом; но, сурово насупив брови и воздерживаясь от доброй улыбки, она почти вырвала у старушки книгу и воскликнула: «Уж эти мне старухи! Все французские романы читают по вечерам и глаза себе утомляют, что мне с вами делать! Дайте лучше я вам почитаю... *Alphonse était noble; Amelie était distinguée... Paul était brave et honnête...*»

Почитала громко, устала, сложила книгу и стала прислушиваться, когда же дрогнет этот звонок! — И наконец спросила бабушку — каковы были родные Матвеева... какова была мать его, бабушка, дед.

Сама Соня хорошо помнила горное имение Матвеевых (она шести лет покинула Крым, еще до войны); помнила,



что дед Матвеева был очень стар — лет под девяносто; знала, что он служил офицером еще при Суворове и носил иногда зеленый зонтик на глазах; помнила, что мать Матвеева хорошо одевалась, что ей было лет сорок, что она очень хорошо говорила по-французски и даже раз помнит фразу, которую она сказала сыну в коляске во время прогулки: «...Mon ami! il faut avant tout remplir ses devoirs d'homme, de Chrétien et de citoyen!» К чему она это сказала, Соня не помнит; а помнит, что Матвеев, который тогда был уже большой юноша и удивительно мил был собою, покраснел и сказал по-русски: «Да чем же я, Господи Боже ты мой, виноват!» — И Соне стало его очень жалко!..

Помнила Соня и бабушку Матвеева, но эта бабушка тогда ей казалась уж очень проста и толста...

— Все это я помню, но я хотела бы знать, какого вы мнения об родных Матвеева.

Анна Петровна, без ума от радости, что внучка спрашивает ее мнения, опустила глаза и стала отговариваться: «Куда уж нам, старинным людям, судить при молодых...»<sup>20</sup>

Соня просила ее «не кокетничать», и Анна Петровна сказала ей, что лучше всех из семьи ей нравился дедушка. Отца Матвеева она мало знала; слышала, однако, что он был очень образованный моряк; но человек разгульный, так что жена много от этого страдала. Он когда умер, жена с сыном маленьким переселилась к дедушке в дом.

— Я этой женщины, матери его, не любила, — сказала Анна Петровна. — Она была, по-моему, ненатуральная такая. Все задумчива была, — *toujours dans les éspaces*, вздыхала, говорила: «J'aime le beau!» Хорошо, и я любила «le beau», но зачем же на всех перекрестках кричать об этом. Крепостных у ней не смей тронуть. То «révoltant», другое — «révoltant». — «Quelle révoltante institution...» Мы с ней всегда спорили. Особенно я помню, когда появились разные эти «Антон Горемыка», Григоровичи, Дураковичи и К. Она возьми да дай мне это читать. Помилуйте, говорю я ей, что мне за дело до этих

людей! Что я могу иметь с ними общего, кроме того, чтобы они работали и поменьше бы обманывали меня. «Les passions, говорит, sont partout les mêmes». — Ну уж нет, говорю я, иные passions у меня; иные у моего пьяницы-кучера!.. Вот она какая была. Бабушка Матвеева в другом роде мне тоже не нравилась. Я никогда не была биготкой и в других ханжества не любила. Терпеть не могла, как она это начнет по постам грибы есть. Кушает-кушает, потом желудок у нее испортится, и она уверяет, что ее <sup>10</sup> слуги расстроили. Всё благородные причины своим болезням находит! Но кого я любила — этого милого дедушку его! Почтенный, умный был старик. Я видела [его] и больным, и надо было изумляться его терпению, его твердости, его доброте...

Жалобы от него никто никогда не слышал. В свое время он был военным, молодцом, каких мало: все суворовские компании сделал; на Кавказе долго служил, под Париж ходил; и рассказы его были преинтересные об этих походах. Преумный и пречестный был человек; <sup>20</sup> положительный, серьезный. Потом он служил по штатской службе долго в Крыму, и все уважали его. Когда неприятели взяли Керчь, он был в городе тогда, и жители просили его быть их заступником. Старик вышел к французскому генералу и говорил ему речь. И все время через него сносились неприятели с жителями. Он и хороших новых писателей любил; только жаловался, что они всё семейные дела описывают, а он любил разные приключения опасные. Раз помню, как вышла «La petite Fadette» — он спросил меня: «Как вы, Анна Петровна, находите la petite Fadette?» — <sup>30</sup> Я говорю: «очень мило, cela repose l'âme!» И старик хвалил; у нее, говорит, там есть одно слово «les belles guerres de l'Empereur» — «вот это она, бестия, хорошо сказала. Умная баба эта чертовская Зандиха, говорит потом: за одно ее не люблю — все учить людей хочет. Ты мне дело рассказывай, а не учи. Это я без тебя, лукавая ты баба, рассужу! Рада, что Бог тебе мужской ум дал, и учишь!» Такой прекрасный был человек.

— А взятков на штатской службе не брал? — спросила Соня.

— Никогда не слыхала. Все его за честного человека считали... Одно у него было не хорошо: когда был еще не слишком стар, слишком большой волокита был. Уж ему под шестьдесят лет было, когда он жену бросил в одном городе, а сам в другом с женщиной простого звания целую семью завел. Потом, когда уже он очень постарел, невестка, мать Матвеева, его с женой помирила. И они жили все вместе с тех пор очень хорошо... <sup>10</sup>

— А когда это Матвеев женился — вы не помните? — спросила еще Соня.

— Не знаю, в каком году это случилось. Стороной я слышала, что он ее после Крымской войны привез с собой из Молдавии; что она сирота из какой-то простой семьи. Он ведь в плену у французов был. Расспрашивать — совестно, не такой брак. Une telle mésalliance! Он, может быть, и не любит говорить об этом. Я думаю, часто теперь, когда он сделал такую хорошую карьеру, жалеет и раскаивается горько в этом безумии... Какую бы он невесту мог взять теперь! <sup>20</sup>

Еще прождали день, и Соня, тайком от бабушки, написала Матвееву записку:

«Любезный герой *не* нашего времени!

Бабушка без вас скучает. Давно что-то вы не заходили».

Матвеев в тот же вечер приехал. Он извинялся, что долго не был, и принес показать Анне Петровне большой портрет жены своей, который она прислала ему из Бухареста. <sup>30</sup>

И Соня смотрела на этот портрет с большим вниманием. Матвеева была еще очень недурна собой, хотя уже ей было под тридцать лет. Она была представлена почти в профиль, потому что, сказал Матвеев, «так он ее больше любит». С распущенными черными, густыми волоса-

ми, и в какой-то странной блузе, красной с огромными турецкими букетами... Глаза у нее были очень велики и выразительны.

И бабушка, и внучка похвалили портрет; а Матвеев сказал, что прежде жена его была гораздо лучше.

Он просидел недолго на этот раз, и Соня заметила, что он был с ней гораздо суше прежнего, часто задумывался и беспрестанно взглядывал на портрет жены, стоявший около него на столе.

10

## VII

Жена Матвеева не была, как думала Анна Петровна и Соня, девушка из бедной и простой семьи, которую он обольстил сначала и увез из Валахии. Она была хуже этого: она была взята им из цареградского дома терпимости. Это знали немногие; знали покойные мать и дедушка Матвеева; бабушка не знала; знали еще те немногие люди, которым случилось Матвееву доверить эту тайну. Сам он был, скорей, расположен гордиться этим, но, обладая с ранних лет не одним воображением, но и сильным практическим смыслом, не находил нужным рассказывать это всякому. Вот как было это дело.

Когда началась в 53 году война Турции с Россией, Матвееву было двадцать лет; он только что кончил учиться в гимназии и жил в горной крымской деревне деда. Читал с матерью, слушал рассказы деда о старине, молился с бабушкой (которую он, несмотря на грубость и простоту ее, любил иногда нежнее самой матери); ходил на охоту, дружился с молодыми деревенскими татарами, боролся с ними, скакал верхом по горам. И он сам еще не знал, чему себя посвятить, и родные были несогласны насчет его будущего. Мать хотела, чтобы он был ученым, или, если можно, дипломатом; дедушка желал, чтобы он стал лихим офицером; бабушка хотела только одного, чтобы он не уезжал далеко от них.

Иногда родные его и спорили об этом при нем между собой. Однажды мать сказала:

— Если бы у него было призвание к музыке, живописи или поэзии — лучше всего бы было стать ему артистом.

На это дедушка ответил:

— Разве лучше быть Глинкой или Айвазовским, чем Дибичем или Котляревским?

Спор кончился на этот раз тем, что у матери заболела голова и сам дедушка был очень расстроен. — Пока война была далеко на Дунае, Матвеев хоть и мечтал иногда о грозных битвах, но не сознавался в этом никому. Лишь после несчастной битвы под Альмою — в душе его созрело решительное намерение идти на войну.

Он открылся в этом деду, и они долго совещались, как приготовить к этой мысли бабушку и мать. Мать, однако, не уважая особенно военной карьеры, была патриотка, и когда сын застенчиво сказал ей, о чем они с дедом думают, она побледнела только и отвечала: «Иди, мой друг! Теперь такие тяжелые времена! Я понимаю твое чувство, стеснять твоих желаний не буду».

От бабушки таили это до последней минуты; боялись ее крика и рыданий, ибо она любила внука иначе, чем любила мать, может быть, и глубже, но проще, для себя самой больше, чем для него.

Настала наконец минута разлуки; бабушка за два дня перед отъездом внука узнала все и выплакала уже все свои слезы. Она зашила ему в синий бархат большой золотой образ, в котором были вделаны мощи нескольких святых; сама переписала ему на бумажку псалом:

«Живый в помощи Вышняго в крове  
Бога Небеснаго водворится»...

и вложила туда же. И мать благословила его другим образом. Дедушка прослезился в первый раз с тех пор, как Матвеев его помнил.

Поздно, темным осенним вечером выехал из дому Матвеев. Он не плакал и родных с утра еще упросил не плакать в последний миг расставанья. Все сдержали слово, благословляя и целуя его в эту для них ужасную минуту. Пока он садился в телегу на дворе, мать отворила окно и села на нем молча.

Когда телега тронулась, мать сказала только ему вслед: «Прощай, мой милый друг!» — и он слышал, как она закрыла окно. Видеть в темноте сын ее не мог...

<sup>10</sup> Отойдя от этого окна, она упала в обморок; бабушку увели под руки люди — она от рыданий не могла идти сама, и твердый дед дрожащим голосом повторял лишь одно слово: «Уехал Саша! Уехал наш Саша!»

Матвеев между тем, как безумный, мчался на почтовых к осажденному Севастополю, и сам он не мог бы тогда сказать, что сильнее обуревало его душу: жалость ли о покинутом доме, или радость, что он скоро примет участие в тех событиях, которыми тогда гремел весь мир.

<sup>20</sup> Шесть месяцев пробыл он в Севастополе; принимал участие в Инкерманской битве, был слегка ранен пулею навылет в руку, но скоро поправился и был неописанно рад этой ране. Родные получали от него очень часто письма, в которых он описывал больше веселье военного быта, чем ужасы его. Говорил и об ужасах, но ему и в голову не приходило жаловаться на них. Даже про свою больничную жизнь в Симферополе он отзывался недурно. «Товарищи хорошие!» — писал он. Просил только прислать денег, потому что чаю и табаку давно не на что купить, и вот уже две недели, как поит его чаем один добрый майор. Хвалил

<sup>30</sup> квартирку, которую они с своим командиром заняли в одном из севастопольских домов, покинутых хозяевами.

«Такой хорошенький домик! — писал Матвеев. — И мебель, и пестрые ситцевые занавески есть, только близко и опасно. Капитан наш немец хладнокровный, ничего не боится, а любит чистоту и покой. Он говорит: „Пусть будет опасно, да удобно“. И мне от него отставать не хочется. Вчера пили мы вечером чай (и я думал об вас

всех и об наших окнах, в которых вечером издали видны огни!). Стоял у дверей наш фельдфебель и говорил с капитаном. Неприятель последнее время к ночи стал всегда сильнее стрелять (говорят, чтобы мешать нашим чинить окопы). Вдруг разбилось окно, влетел осколок бомбы, сбил на пол самовар наш и чайник и погасил свечу. Остались мы в темноте и все молчали. Я благодарил судьбу, крестился и думал, что оба другие убиты. Наконец капитан спросил: „Вы живы, Матвеев?“ — Я говорю: „Жив”. — „А ты?“ — спросили мы у фельдфебеля. И он говорит: „Жив и не ранен!” Зажгли другую свечу. Послали скорей за другим самоваром и за другим чайником; привели все в порядок и стали опять пить чай. Вот как мы живем».

На шестом месяце осады Матвеева взяли в плен французы во время ночной вылазки, в которую он отпросился охотником. Его отправили в Царьград, и там решилась участь его будущей домашней жизни. Там он встретил Лину в одном из самых глухих переулков города, в притоне разврата, который содержала одна австрийская еврейка.<sup>20</sup>

## VIII

Матвеев зашел в этот дом от скуки и из любопытства с двумя товарищами. Он разврата стыдился и не любил. Когда в приемную вбежали толпою продажные красавицы и сели рядом все на турецкий диван, прапорщик обратил внимание на одну из них; ей казалось на вид не более 16-ти лет; она была смугла и красива, как нежное бронзовое изваяние. В приемах ее не было ни изученной игривости, ни томных взглядов на заказ, ни ложной грации, ни грубой наглости; она была как полудикое дитя.<sup>30</sup>

Сначала молодой человек посещал ее, как посещают таких девушек почти все молодые люди. Потом он стал все сильнее и сильнее жалеть ее и приносил ей лакомства и подарки. Собирал по вечерам в ее комнатку тех из подру-

ее несчастья, которые ему больше нравились; предупреждал их всех, что не любит ни пьяных песен, ни бесстыдных слов; девушки повиновались ему охотно. Пили только limonade gaseuse; ели конфекты; немка пела свой романс; гречанка свои деревенские песни; итальянка арии из опер; Лина надевала широкую шляпу и плясала по-валашски с другой молдаванкой.

Напрасно кругом их, в других домах, и в самом этом доме раздавались брань и крики, женский визг и рев опьяневших посетителей, — у Матвеева и Лины все было мирно и тепло! Да! Ему стало тепло в скромной комнате Лины; с удивлением слышал он в собственном сердце небывалые чувства... С радостью и страхом следил он за ними, как неопытная мать за первыми движениями младенца в своей девственной утробе; не только сама Лина, но и бедные подруги ее стали ему близки... Как молодых, веселых и бедных родственниц, встречал он их с радостью. «Бедные! бедные! — думал он. — Как легко облагородить каждую из них, как легко спасти!» И он начал меч-<sup>20</sup>тать о том, чтобы «спасти» из этого омута Лину.

Лина веселила и забавляла его, как несравненная игрушка. Все в ней было ново и мило для Матвеева, — приемы, речь капризная, изменчивый, балованный нрав. Она не была похожа ни на хитрых, жеманных и холодных гречанок, которых он видал и в Крыму, и здесь; ни на наших добрых русских мещанок или горничных, которые сравнительно с ней все были так робки, так неловки или вялы. Младенческая стройность Лины могла привести в восторг ваятеля; лицо ее было свежо, как зрелый персик;<sup>30</sup> глаза черные велики и горели жизнью и лаской. Она не знала, что такое горе; не плакала об мачехе, которая била ее в Бухаресте; не плакала об отце, который ее не защищал, и предпочитала им обоим свою «мадому» еврейку потому, что она ее баловала и берегла, как бережет купец редкий и дорогой товар. Даже о молодом еврее, который увез ее из Ясс, обещая содержать ее богато, и потом продал ее мадме за пятнадцать золотых, она говорила без



злости, а со смехом: «Такой был жид!» А потом, серьезно обращаясь к Матвееву, прибавляла: «Красивый был, знаешь, такой *джуджук*.<sup>\*</sup> Лучше тебя — даром, что ты русский, а он жид! Ну! баста разговаривать — посылай за мороженым! Я хочу мороженого!»

Она никак не могла сделать сердитого лица, слова старалась сделать грозными, когда сердилась, но и в эти минуты и глаза, и губы, и все дивное лицо ее светилось веселостью и добротой.

Она командовала в доме: подругами, служителями, <sup>10</sup> грязными здоровыми жидами (которые стерегли затворниц и укрошали буйных гостей), самой мадамой, и никто не обижал ее, никто не грубил ей, ей все прощалось. Когда которая-нибудь из девушек — случалось — разобьет посуду или замазает мебель, — она бежит к Лине и просит: «Возьми на себя». Войдет мадама — скажет: «Кто это сделал?» Лина ответит: «Это я», и мадама молча уйдет к себе. Родной брат содержательницы, молодой еврей, был без ума от Лины и уговаривал ее перейти в его веру, оставить дурную жизнь и стать его женой и честной женщиной. <sup>20</sup> — «Я и сестру тогда не пушу к себе!» — клялся он ей. Но Лина смеялась и не хотела менять веру. «Это нельзя, это, говорят, большой грех», — отвечала она. — «Бог один!» — восклицал с жаром еврей. — «Да ты-то не один на свете, чтобы мне тебя так любить; я люблю русского офицера», — отвечала Лина. «Я подкуплю кефалонитов и они убьют его!» — грозил еврей. И в самом деле, он пошел к кефалонитам. В Царьграде и теперь нетрудно убить человека; а в то время это было еще легче. <sup>30</sup> Кефалониты посоветовались между собою, взяли с еврея большой задаток и сказали: «Обманем жиды, русского убивать греку нельзя: русский — православный и под Севастополем за нас бьется». Они долго совещались и обдумывали; но случай помог им; другие товарищи их зло-

---

<sup>\*</sup> *Джуджук* — по-турецки — мальчик, парень.

действ и грабительства имели еще прежде виды на одного богатого и молодого армянина; греки, подкупленные влюбленным евреем, вошли в сделку с врагами этого несчастного армянина; с помощью какого-то уличного мальчика на острове Халки (где содержались пленные русские) украли прежде у Матвеева серую шинель и русскую фуражку; достали даже замшевые перчатки, и когда армянин был убит другими, они одели труп в окровавленное платье Матвеева, обезобразили лицо убитого ранами и, надвинув<sup>10</sup> ему на глаза фуражку, положили почти ничком в темном углу, прикрыли рогожей и пригласили еврея *посмотреть*. Они надеялись, что он от страха и волнения будет невнимателен, и в этом они не ошиблись. Испуганный и обрадованный еврей заплатил им щедро и скрылся сам на две недели. Через две недели он отыскался; бледный от раскаяния и ужаса пришел он к сестре и узнал, что Лина убежала с Матвеевым, куда — никто не знал.

Вот как это было.

<sup>20</sup> Лина до того испугалась угроз еврея, что у нее заболела голова. Вечером, когда пришел Матвеев, она долго не решалась сказать ему правду; говорила, что англичане приходили утром и напоили ее, насильно вином, оттого будто бы и болит у нее голова.

Матвеев всю ночь ходил за ней; мочил ей голову водою; подавал ей пить; не спал сам ни минуты. «Любишь ты меня?» — спрашивала его Лина. «Ты видишь», — отвечал Матвеев. «Хорошо! — говорила Лина, — так и я, если так, стану теперь любить тебя крепко!» И сказала ему правду. Матвеев успокоил ее, и она заснула; а он<sup>30</sup> отворил окна и сидел до утра на диване у окна.

— Погибнуть здесь, в глухом переулке? от ножа наемного разбойника? безоружному, без всяких средств к защите... Это ужасно... Нет, это ужасно!

Улица была темна и грязна; фонари кой-где горели; но в домах разврата, которыми улица эта была полна, — во всех окнах был свет и отовсюду слышались голоса и песни. Разнощики сладостей, кофе и мороженого не переставали

кричать до рассвета, ибо здесь им по ночам был самый большой доход...

Когда смолкли на миг эти крики и смех, Матвеев услышал из одного соседнего дома русскую песню. Ее пел женский голос... Откуда эта песнь? Откуда эта бедная землячка его?

До глубины души был потрясен этими звуками Матвеев; мать, дед и бабушка, родина любимая, товарищи в бою, бивачные огни, кровавая осада... веселая зелень родных гор... Там честь, семья, свобода и раздолье, а здесь однообразный плен и позорная смерть в непотребном углу!<sup>10</sup>

Но Лина спала около него; ее сон был безмятежен; ресницы были длинные, личико бледно, рубашка ее была так младенчески скромна, так жалобно поношена, а его любовь, его романтическая к ней жалость были уже так сильны!

Он успокоился, обдумал, что не сюда же придут его резать, а будут ждать за углом, и решился выйти только днем.

Перед рассветом Лина проснулась и послала за мороженым. «Хочу мороженого!» — это было ее первое слово.<sup>20</sup>

Матвеев завел тогда речь о бегстве; выкупить ее в эту минуту было нечем; но Лина о бегстве и слышать не хотела.

— Обмануть мадаму, — говорила она, — мне будет большой грех. Худо! очень худо! Она за меня пятнадцать лир заплатила. Она за мной смотрела, как я была больна два месяца!.. Дома за мной так не смотрели... Не могу я обмануть ее...

Напрасно уверял он ее, что мадама берегла ее, как бережет хозяин лошадь дорогую или искусную собаку, или овцу. Она не понимала, какая тут разница, и все хвалила доброту мадамы и бранила свою мачеху!..

Наконец увещания Матвеева подействовали.

Он нанял для этого дела одного армянина; армянин виделся с Линой и согласился с ней. У него в Пере был приятель лавочник; Лина должна была прийти на гулянье

с подругами, кинуться в толпу и скрыться в лавку, пользуясь вечерней темнотой. Матвеев сам ждал в карете за углом.

Раз решившись, Лина не потеряла смелости в трудную минуту. Мадама отпустила ее на гулянье с подругами, но приставила к ним двух сильных слуг. Армянин подошел к девицам, угостил их кофеем и пивом, прошелся с ними, завел их поближе к лавке приятеля в толпу; в одну минуту набросил на плечи Лине серую мужскую бурку; феска была у нее в кармане; она сорвала платочек мигом и, надевая на бегу феску, исчезла в толпе. Евреи и подруги до того оторопели, что не успели еще закричать, как уже и она, и армянин пропали из глаз их. Похищение удалось так легко, что и в лавку прятаться не было нужды. Матвеев за углом взял ее прямо в карету и увез на квартиру.

Месяц прожили они счастливо; особенно счастлив был Матвеев; она ему стала как сестра родная, до того полюбил он ее душой. Не чувственность одна увлекала благородного, идеально воспитанного юношу... О! нет, это было самое последнее! Матвеев сам не раз говорил позднее об этом чувстве своем так: «Что случилось со мною тогда, не знаю! Положим, я простолюдинок всегда любил. Но нет — это не то!.. Я всегда, конечно, понимал выбор Фауста; понимал и Гретхен, и Бэлу, и Миньону!.. Только и Фауст, и Печорин нисходили к ним, как с Олимпа, на миг! А я почти сразу полюбил ее, как мать любит дочь свою, и ее счастье или, по крайней мере, какое-нибудь улучшение жизни ее стало с этой поры моей мечтой или даже долгом моим!»

Лина не показывала ему сначала большой привязанности. Она все смеялась, пела, веселилась; в чувстве ее долго не было страсти, ни томительной грусти, ни даже особенной нежности. Лина и ласкалась к нему мало; и он нередко говорил ей: «Не любишь ты меня». Тогда она целовала его или отвечала на упрек гримасой, прыжком забавным, песней... Его пленяла до безумия эта простота и непринуж-

денность; пленяли ее легкие капризы, ее минутный гнев, — все нравилось ему в ней... Но больше всего нравилось ему ее непостижимое невежество. Многие девушки простого звания, которых он знал еще на родине, понимали, казалось ему, гораздо больше ее, знали, что такое долг, что такое нравственность; сознавали ясно свои религиозные обязанности, рассуждали и выражали разные, хотя бы и простые мысли. Лина не только не умела ни читать, ни писать даже на родном своем языке, она не знала и таких вещей, которые знают все деревенские люди. Однажды Матвеев, услышав, что она говорит: «Это грех, а это не грех», спросил ее: «Кто был Христос?»<sup>10</sup>

Лина как будто испугалась и отвечала ему робко:

— Бог? а? Бог? — Ты скажи мне — я не знаю. Так я сказала? Бог?

Занимало его и то, как она начинала у него учиться по-русски и как по-своему необычайно мило искажала русские слова. Матвеев говорил ей.

— Приеду завтра в этот час утром.

— Нет, еще *утрее!*.. — просила Лина.<sup>20</sup>

Счет деньгам она знала не больше десяти рублей и не стыдилась нисколько просить у Матвеева беспрестанно новых подарков. Но какие же это были и подарки! Простой ситец радовал ее; а кисея пестрая или туфли турецкие были для нее уже большим праздником! Ела она жадно, как дитя, и смешила своего любовника тем, что оденется получше к обеду, затянет себе талию, а как поест, так тихонько под столом и расстегнет крючки.

Она пела много милых песен и прекрасным голосом, песен валашских, греческих, турецких. Но ни одной она не допевала до конца, и из каждой знала только два-три стиха и то с ошибками. Но зато пела целый день. Иногда она вдруг начинала плясать перед ним сама или кувыркалась через голову, или крутилась скоро в одну сторону и вдруг начинала крутиться в другую, как вихрь.<sup>30</sup>

Иногда она бывала и немного бесстыдна. И хотя Матвеев останавливал ее и журил ее за все подобное, но в

сердце своем и этому смеялся, и этому не находил осуждения — ибо и бесстыдство ее казалось ему не бесстыдством навеки потерянной женщины, которая вся ложь и мерзость, но безумной шалостью дикого ребенка, которого жизнь бьет ключом! Он спросил ее — не хочет ли она учиться чтению? Она сказала: «Не хочу!» И это ему понравилось, хотя он долго уговаривал ее.

Шить она шила хорошо и как только узнала, что Матвееву приятно видеть ее за работой, так начала шить, вышивая и вязать охотно и прилежно.

Развращенности и продажности в ней не было и следа. Матвеев удивлялся иногда этому и спрашивал себя: «Неужели она продавалась? Неужели англичане поили ее вином и каждый негодяй осмеливался приближаться к тому существу, которое становилось для него с каждым днем более и более святыней?» Она до того казалась ему чистой, что только ей решился он дать в руки тот образок с мощами и молитвой, который зашила ему бабушка в бархат. Бархат давно разорвался (Матвеев в Севастополе никогда не снимал его); но молодой человек не хотел дать святой образок в руки *какой-нибудь* женщине. Только Лине позволил он зашить его заново в обрывок ее же одежды. И не знал даже с тех пор, глядя на эту бедную малиновую с черными клетками ткань — она ли ему милее, эта бедная ткань, или прежний бабушкин синий бархат?

Через месяц, не более, он понял, что расстаться с ней просто он уже не может. И если и покинет ее когда-нибудь, то не иначе как обеспечив хоть скромно ее будущую жизнь. Он до того стал жалеть ее, что начал больше за себя бояться. «Если я умру или меня убьют, что будет с нею? Кто ж пожалеет ее? Кто поймет, что она не просто бедная, покинутая девушка, но что *она Лина, которой другой, подобной нет!*»...

Однако счастье это длилось недолго: судьба скоро судила им расстаться.

## Х

Все русские пленные в Царьграде были отданы под надзор одному французскому линейному полковнику, и в помощь ему был еще назначен молодой поляк-эмигрант, который родился в России. Поляк этот полюбил сначала Матвеева за образованность и свободу мыслей; помогал ему часто деньгами, когда помощь из дома опаздывала, и даже, когда Матвееву одно время было очень трудно, он разделил с ним комнату и стол, скрывая от него, что сам проигрался и тайком от него продал свои часы. Дружба эта <sup>10</sup> длилась, однако, недолго. Поляк имел престранные привычки; он рассказывал, что мать его ездит не иначе, как шестерней цугом, и что у нее 600 душ крестьян; был, конечно, образован и любезен, как следует хорошему пану; а между тем он как будто назло Матвееву сморкался в руку на пол и держал комнату свою так неопрятно, что Матвееву было иногда не под силу сносить эту грязь. Поляк, конечно, каждый день и каждый час порицал Россию и правительство наше. Матвееву и самому не слишком <sup>20</sup> нравился тогда наш государственный строй, и на войну он пошел больше для себя, чем для России. Боевые ощущения, полковая жизнь, бесчисленные встречи занимали его больше, чем требования русской политики и государственной чести. Лишь бы русские стояли и бились бы молодцами, и лишь бы его душе жилось привольно между ними, а к торжеству или поражению он был, как и многие тогда, довольно равнодушен.

Поляк к тому же здесь, на чужбине, которая Босфором, южной теплой зимой и еще таинственными для него <sup>30</sup> нравами Востока пленяла его мечты, но не говорила его сердцу, поляк этот был здесь ему как будто свой брат. Русская речь, простота приемов, рассказы о прежней службе на Кавказе и в Москве, русские анекдоты, знакомые с детства, и умение понимать их красоты, — конечно, Матвееву все это было ближе, чем сухое молодечество французов и их бездушная, непривлекательная живость. Мат-

веев готов был даже искренно сочувствовать доброму поляку, и ему не казалось противоречием сражаться под русскими знаменами и слушать хоть не совсем спокойно, но все-таки не горячася, проклятия русским порядкам. Он был юн душою и сражался для жизни, а не за идею, но странно! В присутствии французов и говоря на французском языке, Матвеев слышал в себе иные голоса. Поляк нравился ему меньше, когда он говорил при нем даже шопотом, французам, указывая на другого пленного, русского армейца, простого и грубого кавказца, который был львом лишь в бою, а здесь стал тих, как старый вол в ярме: «Voyez-donc ce tour! Quelle sacrée canaille! Et c'est avec des butors semblables qu'ils veulent viser à la gloire militaire!»

Еще другой раз не понравился ему поляк смертельно, когда рассказывал при нем французским офицерам, как он в 48 году прибыл во Францию и поступил в полк. «Monsieur le colonel! — сказал он, — je suis polonais». «Monsieur! — отвечал ему полковник, — être polonais c'est encore être français!» «Очень нужно!» — заметил ему на этот рассказ Матвеев с досадою.

Так понемногу вливалась горечь в их отношения. Похищение Лины на короткое время опять сблизило их потому, что поляк всячески, и деньгами, и советами помогал в этом деле Матвееву. Матвеев так обязался ему, что вынужден был просить его только честью не порицать Россию при нем резко. «Потому что и благодарность моя, — сказал он, — будет мне уж слишком тяжела!» Поляк был не зол, конечно, но очень легкомыслен и своенравен, он обещал Матвееву быть воздержнее; но через неделю же случилось ему быть не в духе, и он опять при французах и при Матвееве сказал двум другим полякам: «Эти москали — собаки...»

Матвеева выводило из себя еще и то, что поляк при другом пленном русском офицере, который был жолчный и крутой моряк, не позволял себе никогда говорить так о русских. У моряка этого лицо было жолто и свирепо; он



был бесстрашен донельзя, холоден и жестоко наказывал своих матросов, когда был на службе; деньщика своего бивал до крови за то лишь, что он в темноте и от страха не сразу успевал вставить ключ в дверь каюты, когда господин его возвращался домой; товарищи его боялись, и в плен его взяли только крепко израненного. Матвеев видел, что поляк его боится. Презрение и досада взяли, наконец, верх над благородностью. Он громко и при всех упрекнул поляка в невежливости; сказал ему, что если бы судить просвещение Польши лишь по нем, который сморкается в 10 руку и, пользуясь зависимым положением русских, бранит при них нацию их («Если бы вы порицали только политические стеснения, я бы молчал», — сказал Матвеев), то, конечно, все бы сказали, что поляки грубы, не имеют ни рыцарских чувств, ни гуманности, ни даже опрятности просвещенных людей. Разгоряченный спором, он намекнул на то, что поляк опасается его свирепого соотечественника и при нем не позволяет себе позорить Россию... «Отчего это», — спросил Матвеев торжествуя... Да! он торжест- 20 вовал. Все французы были за него, они говорили, что юноша прав и что он до сих пор был слишком великодушен. Поляк, смущенный и разгневанный, предложил Матвееву на месте решить дело саблей, и Матвеев, хотя едва умел владеть холодным оружием, согласился почти с радостью... (Ужас пробежал по жилам его, лишь вспоминая о старом домике, где, сидя у окна, убранного скромными цветами, ждет его теперь одна-одинешенька на свете сиротка его безграмотная Лина!)

Однако французы до поединка пленника, конечно, не допустили и помирили друзей, ставших было врагами. Они 30 заставили поляка извиниться во уважение того, что Матвеев в плену. «*Vae victis!*» — воскликнул при этом один ученый капитан.

Однако поляк не простил этого Матвееву; он стал теснить русских офицеров. Русские не уступали, стали делать ему замечания; поляк сказал, что он вооруженной силой усмирит их; офицеры, и в их числе Матвеев, выгнали его

из комнаты. Поляк привел «вооруженную силу» и требовал, чтобы офицеры подписали бумагу, что они все довольны и бунтовать не будут. Жолчный моряк и Матвеев уговорили всех других не уступать ни шагу. Все согласились и разорвали бумагу, которую предлагал им эмигрант.

Он подал жалобу, что русские нестерпимо ведут себя, и через неделю их всех отправили во Францию и разместили по крепостям. Матвеев прожил в Меце до окончания войны и до размена пленных.

<sup>10</sup> Уезжая и прощаясь с Линой, он в первый раз увидел ее слезы... Узнал, что и она умеет рыдать, что и она его уже крепко любит и нуждается в нем...

## XI

Матвеев испытал многое на чужбине. Он едва было не утонул около Марселя; судно, на котором он ехал, было на краю гибели; он перенес много скуки в Меце; тосковал по родине; гуляя, твердил наизусть стихи Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью...»; и готов был плакать, когда произносил слова: «И взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень!» Он жаловался также, что у француженок вовсе нет простодушия. «Даже простые всё говорят фразы и сентенции; так скверно!» — писал он матери и прибавлял, «что Франция лучше в книгах; а Россия в книгах хуже, а в самом деле лучше!» Хотел даже и квасу, и пирогов, и с ума сходил и по горам Крымским, и по степи. Был он и болен два раза во Франции; нуждался часто в деньгах, которые от тоски ему хотелось тратить через меру. Но все эти невзгоды были ничто <sup>20</sup> перед беспокойством его за Лину, перед ужасом, который <sup>30</sup> снесдал иногда его душу при воспоминании о ее легкомыслии, об ее неопытности и бедности. Иногда он просыпался ночью, и сон его до утра уже не возвращался от черных и страшных мыслей... То он видел ее в нужде, то в слезах

по нем... «Но это еще ничего, — думал он, — кто не плачет, кто не тоскует иногда... Но если она снова осквернилась... Если она унижена и обманута снова?»

Уезжая, однако, он сделал что мог. Он в откровенном письме сознался матери во всем и умолял ее посылать от времени до времени деньги Лине в Царьград каким-нибудь способом, по адресу своего друга, сердитого пленного моряка. Чтобы успокоить мать, он написал ей, чтобы она не боялась за его будущность, что он себя не погубит *безумным браком*... как погубили себя другие молодые люди. И он писал это искренно; ему тогда и в ум не приходило еще, чтобы Лина достойна была его руки или чтобы он был, почему бы то ни было, обязан жениться на ней. Ему слишком хотелось жизни и свободы, чтобы хотя на миг помыслить о браке... Он хотел только, не губя самого себя, спасти как-нибудь и ее от вторичной гибели. Уезжая из Царьграда, он решился просить о Лине и того самого моряка, который был так крут и сердит. Его французы оставили в Царьграде, потому что раны его еще не зажили и тревожить их они не захотели.

Моряк выслушал его сурово, сказал ему, что «он этих девок терпеть не может и всех бы их по-турецки — в мешок и в море!»

— Особенно здесь, — сказал он, — народ весь лукав и алчен! И болваны турки еще благороднее всех. Погляди, как она тебя обманет; да я и сам ее возьму любовницей. Когда я был гардемаринном — и меня одна так обманула, только я не ты — я избил ее до полусмерти и бросил.

— Бери ее любовницей, делай что хочешь! — отвечал ему Матвеев. — Только чтобы она не нуждалась, и пожалей меня как товарища.

Моряк обещался заботиться о Лине и сдержал больше, чем обещал. О, сколько раз потом Матвеев с негодованием обращался к тем, которые говорили, что в людях нет ничего хорошего... Не было человека, в котором бы Матвеев не встретил хоть одной какой-нибудь теплой, честной и благодушной черты. Этот жестокий человек, раздражи-

тельный и с виду столь холодный и свирепый, стал без него отцом несчастному ребенку. Он не только не волочился сам за ней; но, напротив того, страшным цербером охранял ее от других. Он говорил ей так: «Ты смотри у меня, красавица, если ты мне огорчишь Матвеева, я тебя до смерти убью!» — Глядел на нее зверем, крутил грозно усы и потом вынимал из кармана золотой или новый платочек, или конфеты; но и это он не давал ей просто, а золотым он стучал по столу, приговаривая: «Грабь, <sup>10</sup> грабь Матвеева; ты увидишь, сколько я с него процентов возьму...» Конфеты бросал на стол и спрашивал: «А кто тебя, молдаванка ты такая, лучше русских кормил? Вы все кукурузу едите... Пожалуй, и вкусу в этом не разберешь?»

Но через месяц, покоренный в свою очередь душевной невинностью и добротой Лины, он перестал и так грозно шутить, а чаще говорил ей ласково и грустно: «Скучно что-то, Лина, матушка! Не хочешь ли, пойдем погулять». Водил ее под руку по городу, возил за город кататься, <sup>20</sup> писал от ее имени Матвееву письма и, когда получал от него из Франции восторженные выражения благодарности, говорил сам себе: «Какая гадина, однако, малый-то! Вот ведь как втрескался!»

Мать Матвеева тоже исполнила волю сына; раза два посылала в Царьград деньги, но при этом написала ему: «Умоляю тебя, милый друг мой, остерегайся. Простолюдинки эти иногда очень хитры и умеют пользоваться доверчивостью благородных юношей... Видеть молодого человека из хорошего дома в сетях бессовестной куртизанки — что может быть печальнее этого!» Матвеев смеялся, <sup>30</sup> читая это. «Лина — хитрая куртизанка».

Таким образом Лина, хотя и грустила без Матвеева, хотя любовь ее после этой разлуки стала глубже и зрелее, но жила без него покойнее и даже веселее, чем он без нее во Франции.

Даже поляк, который внутренне каялся и оправдывал Матвеева, несколько раз посетил ее и предлагал ей

денежную помощь, не позволяя себе никаких любезностей, но Лина сказала, что у нее довольно денег, и не взяла.

Потом строгий лейтенант запретил ей входить в близкую дружбу с поляком: «Не то я Матвееву напишу, и мы с тебя, Линка, всю шкуру снимем».

Когда настал день мира и размена пленных, Матвеев, как безумный, примчался в Царьград... Увидал опять старый, высокий и узенький дом в дальней улице, лестницу, по которой страшно было ходить, окно, убранное цветами... Даже зловоние тесного дворика показалось ему прелестным.<sup>10</sup>

До чего они были рады друг другу с Линой — стоит ли рассказывать? — Они провели целую неделю в объятиях друг друга, не расставаясь почти ни на миг, и Матвеев тут только понял, как много созрела она без него. Новые, более нежные, более задумчивые ноты прибавились к прежней веселой песне любви, которую она ему пела в жизни; в первый раз слышались в словах ее сознание и благодарность. «Для моего счастья родила тебя на свет твоя мать!» — говорила ему Лина, обнимая его.<sup>20</sup> Она садилась перед ним, когда он ел, говоря: «Я хочу видеть, как ты ешь... Что ты живой, я хочу знать! Ах! душа моя, радость моя! Свет мой! Очи мои!» И потом, подумав немного, восклицала внезапно: «Купи мне шаль турецкую!»

И когда Матвеев отвечал ей, что денег мало, а шаль дорога, — она не просила больше и начинала петь или рассказывать, смеясь, про страшного моряка... «Линка! Линка! Отчего это так? Ты говоришь Лина, а он говорит: Линка! Это так нужно? Которое лучше?.. Купи мне простой платок, если шаль дорога, — купи мне часы золотые, купи мне четки, которые старик персианин носит! Как я люблю старичков турок таких! Он персианин; это значит *аджем*»...\*

---

\* *Аджем* по-турецки — персианин.

Матвеев увез ее с собою в Крым и поместил ее у одной пожилой русской женщины на небольшой квартирке. Женщина эта была их же прежняя крепостная; но муж ее пошел в солдаты, и она жила в городе, верстах в двадцати от имения Матвеевых. У нее был свой домик и двое детей. Ей поручил Матвеев Лину, нанял ей учителя дешевого и уехал жить к родным в деревню. Он, однако, в Крыму остался ненадолго; как ни любил он родных, деревню свою и Лину, но ум его был беспокоен и воображение его теперь рвалось в наши северные столицы, которых он никогда не видал. По всей России веяло тогда весной умственного обновления; многое из того, что только нравилось Матвееву и его матери, но казалось им прежде одной мечтой, теперь осуществлялось. Мать его говорила ему: «Я счастлива, что дожидая до этого!» Матвееву хотелось быть там, откуда разносились по всей России мысль и дело; хотелось видеть широкие улицы, освещенные газом, великолепие русских театров; дышать одним воздухом с теми людьми, которых имена он знал в печати, беседовать с ними, внимать их речам и поучаться... Он уехал.

Горе Лины при этой второй разлуке было уже гораздо сильнее, чем при первой. Она рвала волосы и билась об пол; в первый раз он услышал, что она призывает имя своей умершей матери, которую она едва помнила. «Маменька моя, маменька, зачем ты меня родила!» — говорила она. Впервые тогда и Матвеев спросил себя: «Что же такое жизнь наша? В доме терпимости она была весела и счастлива... и не знала тех раздирающих мук сердца, которые он ей принес! И прав ли он, или не прав, что призвал ее к лучшей и высшей жизни?»

Он четыре года прожил в Петербурге; трудился, стал ученым офицером штаба; думал много, знакомился со многими, и в мыслях и чувствах его произошло столько перемен, что война, Царьград и Лина, и даже Крым родной начинали бледнеть в дали как будто давнего прошедшего. Без него, вскоре после отъезда его, умер дед.

Матвееву, однако, надоел наконец и Петербург; он вернулся к матери и бабушке на короткое время; увидал опять Лину и понял, что ему осталось одно — жениться на ней. С тех пор они с Линой жили, как живут многие супруги: расставались, встречались опять; Матвеев не любил долго жить на месте, и самая служба его не позволяла этого; он возил Лину с собой в Польшу, на войну; возил на Кавказ в 64 году; брал и в Туркестан; то оставлял ее где-нибудь на несколько месяцев, то звал опять ее к себе. Они пережили в эти восемь лет вместе много и хорошего, и худого; испытали и безденежье, и наслажденья мотовства; иногда ссорились слегка, но тотчас же пламенно мирились. Матвеев ласкал, уважал ее, любил наряжать ее, как только мог и умел, и за все это просил одного: согласия и свободы (даже «свободы изменять ей»... «слегка», как он выражался...).

Он открыл в ней много новых и хороших качеств и любил делить с нею все свои впечатления; но мало заботился об утверждении в ней каких-нибудь серьезных правил и находил, *«что она и так хороша»*... Лина скоро привыкла быть барыней; стала даже барыней своенравной и причудливой, но крайне доброй и ласковой для слуг, для всех бедных и простых людей, и никогда не забывала, чем она была сама. Из женщин светских многие с ней дружились и предпочитали ее нередко равным себе по воспитанию, потому что Лина держала себя с ними свободно и хорошо, а злости или зависти в ней не было и следов.

Иногда Матвееву, особенно вначале, бывало и трудно с ней; многому надо было учить, чтобы не иметь неприятностей в обществе, но зато и никто не давал ему тех минут теплоты и кротких радостей домашних, которые умела давать ему Лина даже и тогда, когда стала Еленой Петровной Матвеевой.

За год до приезда Матвеева в Петербург здоровье Лины, столь цветущее прежде, стало несколько слабеть в Туркестане, и он отправил ее лечиться за границу; а не-

много погода и сам взял отпуск. Месяцев больше десяти они уже с женой не видались, и вскоре после того вечера, в который Соня Киселева нагрубилa своей бабушке за портрет знаменитого Добромыслова, Матвеев получил письмо от жены из Бухареста и прекрасно раскрашенный портрет. Она вздумала наконец поехать взглянуть на отца своего и на забытую родину, истратила там много денег и просила мужа поскорее выслать ей побольше. Вот почему Матвеев несколько дней не был у Сони; <sup>10</sup> Лина из-за границы писала ему по лени своей мало и редко, и перенесенный таким образом внезапно в иной мир, в мир невозвратного прошедшего и в течение семейных дел и забот своих, Матвеев забыл на время и бабушку, и внучку, которые обе, вздыхая про себя, ожидали его каждый час и каждый миг.

## XII

Еще немного погода зашел Матвеев к Киселевым утром, не застал дома никого и сел дожидаться в их маленькой приемной у окна. Погода в этот день была ясная; пустынный переулок тих; и маленькие невские рыбки играли на солнце в большой стеклянной чаше на окне. Печка топилась около Матвеева, и из окна, кроме деревьев Таврического сада, не было видно ничего. На душу Матвеева сходил мало-помалу несказанно сладкий мир. Это милое жилище благородной бедности и честного труда казалось ему родным жилищем.

Старушка возвратилась прежде внучки. Она, конечно, очень обрадовалась Матвееву; но печальные заботы о здоровье Сони поглощали все ее внимание.

<sup>30</sup> Она рассказала Матвееву, что Соня убивается над трудом, худеет и слабеет, что густые волосы ее начинают падать, спина болит, и ноги в иные дни так слабы, что она на улице беспрестанно поскользается и падает. У нотариуса она трудится от девяти часов утра до четырех за двадцать рублей. Весь вечер потом она переводит с немецкого



или английского и часто, напившись крепкого чаю, не спит ночей.

Анна Петровна просила Матвеева уговорить Соню определиться куда-нибудь в компаньонки. Она жаловалась, между прочим, на то, что Соня из-за своих *безумных идей* и через необузданность своего характера упустила не так давно прекрасный случай к обогащению. В Петербург из провинции приезжал родной дядя Сони (родной брат ее матери, покойной невестки Анны Петровны); человек по-10  
жилой, женатый, бездетный, с хорошими средствами и необыкновенной доброты.

— Доброты истинно христианской (рассказывала Анна Петровна). Он религиозен донельзя. На письмах своих ставит крестики; никогда не напишет просто 24 сентября, а непременно Св. первомученицы Феклы. Ничего важного без разрешения духовника в жизни не предпринимает и не только сам не любит никого осуждать, но если начнутся мало-мальски жестокие пересуды и какая-нибудь этакая *médisance* — он сейчас уклонится от раз-20  
говора.

— Как, однако, приятно слышать, что у нас еще есть такие люди! — заметил Матвеев.

— Да, — продолжала Анна Петровна, — он, конечно, несколько ханжа, не ипокрит, нет! а именно — ханжа, потому что до всех мелочей доходит: лампадки и все это. Я, впрочем, признаюсь вам, придерживаюсь в душе моей больше чистого Евангельского учения и нахожу, что его бы с нас и достаточно; а все эти посты и бесконечные обряды изобретены самим духовенством и слишком обременитель-30  
ны... Не правда ли?

Матвеев не согласился с этим и сказал серьезно и вздохнувши...

— Как вам сказать, Анна Петровна... Не знаю, как вам ответить на это... Скорей, что не согласен... Вы мне признались, и я вам тоже признаюсь... Я содержу некоторые посты; и если бы я, например, на первой или на Страстной неделе поел бы мяса, без какой-нибудь неот-

ступной крайности... то я бы презирал себя ужасно... Почти как негодяя и ничтожного человека!..

— Почему же это? — воскликнула с удивлением старуха Киселева, которая сама постов вовсе не соблюдала и потому несколько даже оскорбилась резкой мыслью полковника.

— А вот почему, — отвечал Матвеев твердо и решительно. — Если бы я не мог воздержаться себя хоть в эти немногие дни, то мне казалось бы, что [я] оскорбил бы что-то беззащитное и святое...<sup>10</sup> Вроде чего-то ужасного... Вообразите, что я дал бы пощечину моей бедной бабушке, которая меня нянчила и так нежно любила..

Говоря это, Матвеев даже встал с кресла, так он одушевился.

— А солдаты? — продолжал он... — А простой народ? А моя Лина!.. Я отчаялся бы в будущем России, если бы наш солдат и мужик утратили бы веру. А какое я имею основание требовать от них чего-нибудь подобного, если я сам не соблюдаю ровно ничего?..<sup>20</sup> Когда простой человек видит, что я, человек избалованный, соблюдаю хоть часть устава, он понимает, что я все это чту и люблю... А если нет?.. К тому же жена моя воспитана мною и почти только мною; покойная бабушка тоже много возила ее с собою по церквям и учила молиться и верить... Да что ж бы я был за человек, если бы я этого в ней не щадил?..

— Это делает честь вашему прекрасному сердцу, и пример, который вы подаете людям, менее вас образованным, доказывает, что вы человек с правилами.

<sup>30</sup> Так сказала ему на это Анна Петровна, но и это было не совсем впопад; Матвеев возразил ей, что «не он пример жене и солдатам, а напротив того, и бабушка, и Лина, и солдаты ему самому прекрасный и священный пример...»

— А вместе с тем, — прибавил Матвеев уже с улыбкой легкомыслия, — живу я, по правде сказать, во многом вовсе не по-христиански...

Анна Петровна из вежливости притворилась любопытствующей и спросила: «В чем же это вы не христианин?» Она притворилась, потому что ей было теперь не до внутреннего мира Матвеева: она хотела поскорее досказать ему свое до прихода Сони. К ее удовольствию, Матвеев сам не хотел продолжать сердечные излияния и, точно угадывая ее чувства, сказал смеясь и взглянув на часы: «Ну, об этом не поговорить ли в другой раз... А вы начали о приезде вашего родственника с женой и о болезни Софьи Михайловны... Как бы она не помешала нам; вдруг вернется»...<sup>10</sup>

Обрадованная старушка возобновила свой рассказ.

— Да, этот Михаил Игнатьевич Петров (просто Петров его фамилия) примерный человек... И женился он пятидесяти лет на старой деве... Она ему ровесница... Его друзья в Москве хотели давно его на ней женить; а он все не хотел. Elle a l'air d'une pomme cuite, la pauvre femme. Ну, какая же это невеста! Их вместе сажали в карету, он из кареты от нее бежать... Написал даже, представьте себе, на это какие-то стихи... «Ты мне не невеста и я не жених»...<sup>20</sup> Глупости какие-то, а потом вдруг передумал, женился и предоволен. Ну, и она, что сказать, не особенно умна, но такая тихая, деликатная женщина, внимательная... Филемон и Бавкида... Детей и близких наследников нет... Соня ближе всех... Чего ж бы лучше, кажется. У них большое имение в Смоленской губернии... Они приехали к нам; увидели наше стесненное положение и вздумали (как я узнала от них же самих после) пригласить нас к себе на житье в деревню. Душа моя предчувствовала это! Не говоря уже о моем спокойствии, я надеялась, что этот бездетный дядя сделает Соню своей наследницей.<sup>30</sup> И что ж! вообразите себе, Соня до того спорила с ними, до того грубила даже тетке и дяде, что никакого терпения не могло вынести!.. «Гнилые столбы здания, обреченного на разрушение» — это все пожилые люди! Измы уж, разумеется, также играли свою роль... Je comprends les pauvres gens! Никакого терпения не до-

станет!.. Они уехали с сожалением, и хотя мне иногда и пишут, но ей даже и поклонов не посылают.

Кончив этот печальный рассказ и продолжая просить Матвеева придумать что-нибудь для необузданной Сони, старушка вдруг воскликнула, гордо потрясая дряхлой головою:

— Я знаю долг мой! для сохранения жизни и здоровья моей единственной внучки, которая мне дорога, как дочь, я готова и расстаться с нею! Я не так глупа, monsieur Матвеев, чтобы не понимать мой долг! Пусть она едет в провинцию, в деревню; кусок хлеба я найду... Отыщутся какие-нибудь богатые прежние друзья... Понимаете, друзья того времени lorsque j'étais une vraie Kisselew, а не мещанка старая, как теперь... Я найду себе какую-нибудь мурью, где сложить мои ненужные кости! L'élément aristocratique n'est pas encore détruit de fond en comble en Russie!.. А не возьмут, так во вдовый дом пойду... Надо ее от себя избавить прежде всего... Быть может, даже «в людях» она скорее исправится...

<sup>20</sup> Матвеев с умилением слушал Анну Петровну и дивился, какая сила духа и чести родительской сохранилась еще в этом дряхлом теле.

Ему тотчас же пришла мысль увезти и Соню, и бабушку ее в свою крымскую деревню. Ему показалось в эту минуту чуть не преступленьем оставить здесь, в гнилом, трудовом и бурном Петербурге — и старушку, и больную внучку ее, когда у него в Крымских горах есть готовый дом, дрова свои на зиму и зеленые виноградники, и рощи для прогулок на склонах живописных <sup>30</sup> высот.

Приятно в ответ на такие жалобы, на вопль отчаянья представить ближнему картину мира и довольства! Но опыт жизни научил Матвеева «спешить медлительно». Лина была иногда ревнива и еще чаще причудлива, и он боялся — поверит ли она бескорыстию его отношений к Соне.

Бабушку одну, конечно, можно взять.

Обдумав это тотчас же, он сказал Анне Петровне, что постарается уговорить Соню поступить в компаньонки, именно в отъезд.

— А об себе, — прибавил он, — не беспокойтесь. — Мой крымский дом к вашим услугам. Это будет только обмен услуг; ваше общество, ваш разговор будут так полезны жене моей... Вы, конечно, слышали об ней...

Анна Петровна прослезилась, поблагодарила, поцеловала Матвеева в лоб и сказала:

— Merci, merci, mon excellent ami!.. Дай вам Бог <sup>10</sup> счастья и здоровья... Лишь бы я не обременила вас и вашу жену. Я подумаю об этом предложеньи вашем. В чужом доме я сумею ужиться, и вы не услышите даже голоса моего. Надобно только, чтобы жена ваша была согласна...

— Будьте покойны! — отвечал ей Матвеев.

Старушка вздохнула и задумалась о разлуке с Соней, а Матвеев, не дождавшись возвращения молодой нигилистки, простился с ней.

Ему самому хотелось обдумать все это дело наедине. Он вышел на улицу в том высоком настроении, которое <sup>20</sup> дает нам сознание сделанного добра.

Бедная Анна Петровна сидела у окошка и еще раз улыбнулась ему, когда он, проходя мимо, коснулся рукой папахи своей.

### XIII

Матвеев целый день потом думал о том, что бы сделать и для Сони? Об Анне Петровне он тотчас же написал жене.

«Я знаю, писал он ей, что ты всегда любила занимательных старушек; я помню еще, когда ты была почти <sup>30</sup> ребенком со мной в Крыму, ты говорила мне: „Как я люблю хороших старушек, чтобы они около меня сидели согнувшись"... Уверяю тебя, что эта старушка очень хорошая и с ней тебе будет весело, даже „сидеть согнувшись”.

Если хочешь ехать теперь в нашу деревню — это в твоей воле; если хочешь оставаться еще в Бухаресте — оставайся, пока я не дам тебе знать, что еду в Крым. Весной мы с тобой встретимся в нашей деревне и обнимемся, и вспомним старину! Раньше весны я оставить Петербург не могу! Ты, конечно, поверишь мне, как верила всегда»...

Теперь надо было как-нибудь избавить Сою от лишнего труда. Предложить ей простую помощь было <sup>10</sup> невозможно; он знал, что она считает долгом *современности* быть гордой в этих случаях. В компаньонки к знатной даме если бы она и пошла, то этого вдруг нельзя сделать; надо и ее ум подготовить к такой будущности, и даму подыскать *особую*, такую даму, которая бы с улыбкой снисхождения, с благодушием смотрела бы на революционные выходки Сони и прощала бы ее шумную манеру спорить, ее немножко бестактную манеру защищать самое себя с испуганием и без того равнодушного самообуздания, <sup>20</sup> которое больше охраняет наше достоинство, чем обидчивость и гнев. *Своей знатной приятельнице* он не находил пока удобным говорить о *молодой девушке*... Она еще была ему очень нужна теперь.

— Вдруг остынет и рассердится?.. Кто их знает, этих женщин!

Он брал в расчет все это и хотел повременить и поискать к лету такую даму. Но до лета было еще далеко, а здоровье Сони было уже так слабо, что надо было ей сейчас же переменить образ жизни.

<sup>30</sup> К счастью, у самого Матвеева был один недостаток, который помог ему найти средство и для Сони.

Храбрый, бесстрашный в бою... Матвеев, однако, был очень мнителен в мирное время. Самое честолюбие его усиливало эту мнительность. Боязнь умереть, прежде чем ударит для него час исторической известности, приводила его нередко в ужасное смущение. Он живо представлял сам себя больным и умирающим в петербургской гостинице, и его пугал не столько самый род смерти от тифа или

какой-нибудь простуды, а то, что имя его будет значиться только в простых словах какой-нибудь газеты: умершие исключаются из списков.

Иногда он страдал мигренью, и этого было достаточно, чтобы ужаснуть его. Тогда он вспоминал одного полковника в Крыму, который безвредно выдержал всю компанию, был ранен ударом английской сабли под Балаклавой в минуту самой горячей свалки; воевал и прежде не раз, перенес несколько контузий и умер вдруг от удара через месяц после мира. У полковника также болела на левой стороне голова! В Петербурге Матвеев старался жить как можно правильнее; старался ложиться рано, хотя его и соблазняли иногда поздние столичные беседы; ходил далеко гулять пешком; завел себе нарочно лошадь и часто ездил верхом, несмотря на дождь и мороз. А вместе с тем деятельный ум его требовал беспрестанной пищи. Ему хотелось до отъезда напечатать хоть какие-нибудь отрывки из своих военных воспоминаний; хотелось кончить к Новому году подробную записку о казачьих войсках; хотелось даже делать выписки из разных книг и казенных документов, которые попадались ему в столице и которых ни в крымской его деревне, ни в Туркестане достать было нельзя. Сидеть над столом согнувшись в деревне и в Туркестане можно и пять, и шесть часов, потому что другие условия жизни хороши. Но в Петербурге и час один пугал его; а выписки делать уже и просто нестерпимо скучно.

Так беспокоясь о своем здоровье и о здоровье Сони, он нашел средство устроить это дело выгодно и для себя, и для нее. Пусть она оставит свои переводы и своего нотариуса, который мучает ее полсуток за двадцать рублей в месяц; он даст ей гораздо больше за несравненно меньший труд. Он будет диктовать ей свои записки и, лежа иногда после верховой езды или прогулки спокойно на диване, будет читать что-нибудь нужное и отмечать просто карандашом те места, которые она после должна будет списать. Для диктовки она будет приходиться иногда к нему в номер (этим ведь ни ее, ни бабушку уже не

удивишь), а выписки он будет давать ей на дом. Больше полутора часов и много-много двух он никогда диктовать ей не будет; и так иной раз она пробудет без работы по целым неделям.

Лишь бы она согласилась!

## XIV

Придумать все это для пользы Сони и из сострадания к Анне Петровне было делом легким для Матвеева, но уговорить Соню поступить в чужой дом было гораздо труднее. Тут только понял Матвеев, как она иногда упряма. Не дальше как на другой день он поехал кататься верхом около Таврического сада и на большом плацу встретил Соню. Она была румяна от легкого мороза, но шла очень тихо и жаловалась на слабость.

Матвеев сошел с лошади и долго, провожая ее, разговаривал с ней.

Соня с чувством благодарила его за бабушку.

— Дай вам Бог за это всего хорошего! — сказала она с большим чувством, сжимая его руку и произнося слово «Бог» по бессознательной привычке детства.

Ободренный этими словами ее, Матвеев предложил ей оставить нотариуса и заняться пока гораздо меньше и за бóльшую плату у «одного его знакомого».

Соня и слышать не хотела об этом.

— Если вы возьмете бабушку весною с собою навсегда, — сказала она, — зачем же мне оставлять нотариуса. К чему это менять ремесло. Я, к несчастью, не училась медицине; акушеркой не могу быть; портнихой тоже не в силах, к музыке неспособна... Чем я буду?

Мало-помалу одушевляясь, Соня стала искреннее и созналась Матвееву в тоске, которая ее пожирала.

На пустом плацу попадались только редкие прохожие; Матвеев отвел лошадь в казарму к своим знакомым офицерам и возвратился к ней.



Соня продолжала говорить то с жаром, то с жолчью, то с грустью, и Матвеев слушал ее с самым живым участием.

— Ведь жизнь ужасна! — сказала Соня. — Тоска, которая меня гложет, нестерпима! Пока Несвицкий был со мной — я хоть и не без ума любила его, а все-таки было что-то в жизни... И вера была другая. Эти люди думали, что за ними народ. Мы видели потом народ 4-го апреля... Где моя та вера — я не знаю... А другая не заменила ее. Есть минуты, когда я готова клясть всех этих — зачем они у меня отняли прежнюю, другую веру мою... Я прежде молилась, теперь не молюсь; я прежде любила, теперь не люблю; я прежде жила, теперь не живу. Труд! Труд! Труд! Ну, хорошо! Ну, труд. Я буду трудиться... Только неужели же у меня не будет ничего отрадного, как бывает у других? Выйти замуж? Конечно, быть может, найдутся люди, которые меня возьмут, несмотря на мое прошедшее... Да я-то еще не дошла до той низости, чтобы идти за человека без любви. Поживу — дойду и до этого. А может, и умру над работой, — это еще лучше. Благо нашелся добрый человек, который хочет старушку мою взять к себе... Что ж? Это правда — и мне тогда будет легче; когда-нибудь соберу немного денег и приеду — посмотрю на нее и на жену вашу, и на вас, мой добрый друг... если вы не будете тогда на войне... Спасибо вам!.. Спасибо! Только вы обо мне не думайте. Знакомый ваш пусть возьмет себе писаря другого, а я нотариуса боюсь оставить. Неужели же я не проживу до весны как-нибудь? А весной, когда уедет бабушка, я буду одна... И много ли мне нужно? Тогда я буду меньше работать.

— А здоровье, здоровье ваше? — спросил настойчиво Матвеев.

— Кому оно нужно? — спросила Соня горько.

— Оно нужно вашей бедной бабушке. Хотя она будет и далеко от вас, но ей отрадней будет знать, что вы здоровы, веселы и счастливы. Вам еще надо жить и веселиться. Будете меньше трудиться — будете здоровы, приедете к нам в деревню. Не застанете меня, застанете вашу бабушку в спокойствии, быть может, и мою добрую Лину...

— Вы — добрый, вы! — воскликнула Соня страстно. Матвееву в ответ на это что-то вздохнулось, и Соня, протягивая ему руку и прощаясь с ним, сказала еще раз, что нотариуса она не может решиться оставить.

— Это труд без идеи, — заметил Матвеев. — Не стоит из-за него вам болеть.

— Это идея труда! — возразила с улыбкой Соня, и они расстались.

Она пошла к себе, а Матвеев сел на лошадь в казарме<sup>10</sup> и еще раз поклонился ей, обгоняя ее.

Соня посмотрела ему вслед и подумала:

— Однако как он хорош собой и каким он сидит молодцом на лошади. Эти господа, которые нам проповедуют все одно солидное, сами, однако, все на хорошеньких ищут жениться. Отчего же мы обязаны быть слепы? И отчего же не ценить в мужчине того, чего нет у этих серьезных людей? Красоты, этих хороших манер, душистых бакенбард и прекрасных рук... Нас довели до того, что думать так чуть не преступление...

<sup>20</sup> Матвеева уже не было видно давно, а она еще раза два оглянулась и сказала себе: «Думает ли он обо мне? И что он думает? Верен ли он жене, или нет? И если верен — так отчего: из убеждения или из страстной любви? Он женат на ней уже давно. Он не немец; неужели он до сих пор влюблен в нее? К тому же она женщина простая и подругой мысли для него не может быть. Неужели он прожил всю жизнь до тридцати пяти лет и ни разу не почувствовал других потребностей? Нет, этого быть не может!» — повторила Соня сама себе и веселая пришла<sup>30</sup> домой.

## XV

Когда Матвеев передал свой план насчет Сони Анне Петровне, старухе показалось сначала немного странным — отчего он и внучку не зовет к себе на житье в крымскую деревню. «Быть может, там она нашла бы себе хорошего

мужа; там никто ее прошедшего не знает?...» Так думала госпожа Киселева, и потом с отчаянием сказала себе, что *нынешних* людей она не понимает; что теперь как-то все иначе выходит, и чего хотят люди — никак не поймешь!

План Матвеева насчет занятий Сони «у одного знакомого» тоже показался ей как будто смел... «У знакомого, у?» Значит, Соня будет проводить «у» какого-то мужчины целые часы и, быть может, и дни?

«Вот нынешние люди! Человек светский, полковник à la veille de devenir général... Un homme parfaitement distingué... Добрый человек, наконец! Можно сказать, благодетель... Читит Церковь, не восстает ни против брака, ни против высшего круга... От нигилизма далек, как от чумы... И вдруг предлагает Соне ходить к мужчине писать что-то и сокращать разные глупости из книг! Поди, пойми тут что-нибудь? Конечно, Соня девушка с характером. Что захочет, то и делает. Захочет — уйдет в Сибирь с любовником, не захочет — не уйдет. Захочет не уступить — не уступит. Но ведь она женщина! И путь привычных увлечений — скользкий путь! Дело Несвицкого длилось так недолго; если бы сама Соня не говорила назло кому угодно, что она жила с этим *негодяем* и *butor'*ом... очень немногие бы и знали о том в огромной столице. Оставим и это; Соня живет и будет жить своим трудом и никого не боится. В том дурном обществе, которое она любит, tous ces roturiers savants et révolutionnaires, ее уважают... Она от них в восторге! Но здоровье? Или беременность при нужде и беспорядочной жизни? И кто этот знакомый? Какой он человек? Каких он лет? Холостой или женатый? А впрочем, быть может, и в самом деле — это пока единственное спасение для ее потрясенного здоровья»...

Так беспокоилась старушка обо внучке, не смея ей даже ни слова сказать о своей тревоге. Соня, несмотря на все свое благородство, была иногда до того вспыльчива, что не останавливалась ни перед каким дерзким словом. Она способна была ответить бабушке в пылу гнева,

«чтобы ее оставили в покое; что она за все труды свои и за строгое исполнение своих обязанностей просит только свободы и молчания... Что она ненавидит родительские заботы: эти заботы душат и теснят ее; они убивают ее, наконец, больше всякого труда»... Она способна была хлопнуть дверью, встать из-за обеда, уйти из дома на целые сутки... Где ж было чуть живой бабушке бороться с жолчной, хотя и благородной, и преданной молодой девушкой?

<sup>10</sup> Лишенная возможности говорить искренно с Соней и взвешивать все *pro* и *contra* ее поступления к «одному знакомому», Анна Петровна, во время одной из своих одиноких прогулок, добрела до гостиницы, в которой жил Матвеев, зашла к нему в номер и передала ему все свои беспокойства.

— Je vous avoue franchement, mon excellent ami, — сказала Анна Петровна; — мне об нравственности ее не под силу заботиться! Влияния я на нее, вы знаете, не имею никакого, я беспокоюсь только о здоровье ее... Кто этот

<sup>20</sup> человек, к которому она будет ходить...

— Это я, — сказал смеясь Матвеев.

— А, вы! — воскликнула Анна Петровна. — Вы! Это другое дело! Давно бы вы сказали...

И стала прощаться. Матвеева почему-то на мгновение как будто смутило доверие Анны Петровны.

Провожая старуху, Матвеев сказал ей, почему он боялся сознаться сразу Соне, что «этот знакомый» — он сам.

<sup>30</sup> — Вы знаете, как она самолюбива! Все эти обыкновенные нынешние книжки и статьи развили в ней то чувство, которое я называю вообще «модная демократическая гордость». Это чувство мне досмерти надоело; все это не наше, не русское, не простое, не товарищеское, а вычитанное из разных проклятых книжек... Да что делать — оно ей в кровь вошло. Боюсь, чтобы она не приняла и это за благодеяние какое-то. Подумаю еще, как бы подступиться к ней!

Анна Петровна успокоилась этими словами Матвеева и возвратилась домой. Дома она нашла Соню очень слабою и раздраженною. Она лежала на диване и курила молча. В голове и в руках ее был жар.

Бабушка села около нее и сказала: «Право, мой дружок, ты бы лучше согласилась на предложение Матвеева и бросила бы своего нотариуса!»

— Не соглашусь и не брошу, — отвечала Соня.

— Отчего? — спросила бабушка.

— А что будет после, когда этот знакомый Матвеева <sup>10</sup> уж не будет нуждаться во мне?..

— Матвеев говорит, что этой работы достанет до весны; а к весне... быть может, найдем тебе какое-нибудь место, у какой-нибудь дамы...

— Что?! — воскликнула Соня, привставая на диване. — Что?! Чтобы я пошла к этим пошлым женщинам? К этим знатным дамам... Я их ненавижу всех! Чем они заняты? О чем они думают! Все они законные камелии и больше ничего... Чтобы я зависела от таких женщин... Я ненавижу, ненавижу их и всех на свете, и самое себя... <sup>20</sup> Что мое здоровье слабо? Что я умру? Туда и дорога! Вам я на что? У вас теперь нашелся благодетель, покровитель, сын... Вы будете учить его жену хорошим манерам, которым внучку вам не удалось выучить... За все горе, которое я вам причинила безо всякой вины с вашей стороны... вот вам и награда... А меня забудьте... Бог... видите, какой всеблагой ваш Бог... *Vôtre Dieu, vôtre bon Dieu, madame!*

Рыдания прервали исступленную речь Сони; — она легла опять смиренно на свое место, отвернулась к стене и долго плакала. <sup>30</sup>

Бабушка, утирая также слезы, долго слабыми и осторожными шагами ходила взад и вперед по комнате... Она решительно не могла понять, что делается с Соней. Ей пришло уже раз и два в голову — не влюблена ли она в кого-нибудь. Но если влюблена — зачем же *нигилистке* плакать? Сказала: «люблю тебя», отдалась — и кончено! Какой же «нынешний» мужчина откажется?

Думая утешить внучку, Анна Петровна сказала ей наконец:

— Знаешь ли что, Соня, — я попробую устроить так, чтобы Матвеев и тебя пригласил с собою в Крым. Поедем все вместе; жена его, он уверяет, добрая... *C'est une femme sans éducation...* Но что же делать! Была бы с добрым сердцем... Это главное... Пока оставь нотариуса, а весной поедем в Крым. Увидим и наше старое пепелище, нашу деревеньку... нашу степь родную... Подумай, мой друг,<sup>10</sup> Соня... и пожалей и меня, сироту старую...

— Я вас жалею, — отвечала Соня, — *ваш Бог* пусть видит, если Он видит что-нибудь; только ни нотариуса я не оставляю, ни к Матвееву в деревню я не поеду!

## XVI

Соня после этого заболела так, что уже не могла выходить. Доктор подтвердил мнение Матвеева; он сказал, что надо стараться переменить образ жизни на более беззаботный — уехать в провинцию, в деревню.

— А если нельзя переменить? — спросила Соня.

<sup>20</sup> — Наше дело, — отвечал ей доктор, — объяснить больному, что полезно, а больной свои обстоятельства знает лучше. Вам нужно теперь поменьше книг и письма; побольше душевной веселости; вот ваши лекарства: хороший воздух и даже лень.

Анне Петровне доктор наедине сказал: «Барышня она не такая, знаете!.. Не труд ей нужен, а жизнь!..»

Соня пролежала больше недели. Матвеев все это время не был у них. Он веселился со знакомыми в Гатчине; по возвращении он нашел у себя на столе новую записку от<sup>30</sup> Сони, очень краткую:

«Приходите. Я больна.»

Соня лежала одна на диване в блузе, когда Матвеев пришел. Она очень ему обрадовалась; обрадовался как

будто и Матвеев ей, но как доброму товарищу. Анна Петровна пробыла с ними недолго; она сама пошла отдохнуть. Свечей еще не подавали, и в комнате темнело.

Соня молчала, и Матвеев, сидя около нее в креслах, молчал тоже; он все обдумывал, как бы ее уговорить бросить нотариуса и какую бы даму ей найти для отъезда в деревню или за границу летом. Соня первая прервала это молчание, которое было, впрочем, приятно и легко для обоих.

— Добрый! А добрый! — сказала она. 10

— Что вам угодно? — отозвался Матвеев.

— Знаете имя свое! — продолжала она. — А вы мне скажите — нет ли какого-нибудь у вас там на юге турецкого или черкесского слова, которое бы значило «добрый, хороший человек».

— Есть, как же не быть! У всякого народа есть хорошие люди... Как не быть у турок, когда даже между прогрессистами, к несчастью, надо сознаться, бывают добрые люди... Даже и французы, вообразите, есть предобрые...

— Довольно о французах! — перебила его Соня. — Скажите мне, как по-азиатски: хороший человек? Я буду вас так звать, чтобы никто не понимал. 20

— По-турецки — «э́й адáм».

— Ну, уж *адам* — это гадко; если я вас назову Адам, я все буду думать, что вы немец. Адам Адамович. Ведь вы знаете — всякий немец в молодости, говорят, Иван Иванович, в средних летах — Карл, а в преклонных (вот в ваши, например) он делается Адам... Это всегда так бывает...

— У вас жар, вы бредите? — смеясь сказал Матвеев. 30

— Не вами ли? — сказала Соня. — Я думаю, у этих военных обскурантов не вывелось еще печоринство. Вы, пожалуй, вообразите себе что-нибудь... А? что вы молчите... Э́й? Что вы молчите? «Э́й» — я буду вас так звать... Какая досада, что нет свечей и я не могу видеть, какое у вас лицо теперь... Une espèce de сердцеед эдакой! Я думаю...

— Не говорите так много, — сказал Матвеев, — у вас сделается жар сильнее. Зажжем лучше свечки, и если вы хотите, я прочитаю вам что-нибудь громко...

— Нет, — отвечала Соня, — доктор сказал — поменьше книг и побольше душевной веселости... Меня разговор ваш веселит больше. Например, теперь — отчего вы не любите французов? Я и сама их не люблю, и кто их нынче любит. Даже и бабушка мне говорит: «*Се ne sont que des boutiquiers*; и лица, говорит она, будто бы у них <sup>10</sup> теперь неблагородные стали. Не такие, какие были у роялистов». А я хочу ваше мнение знать. Меня оно интересует.

— Я не люблю французов за многое, — отвечал Матвеев, — а больше всего за то, что они действуют на все нации, как крыловский мужик на червонец; он, помните, все чистил его, чистил, пока червонец полцены потерял...

— Вот за это! Так что же? это лучше... А вы разве за национальное стоите? Вы разве славянофил?

— Да, я, пожалуй, славянофил, — отвечал, все смеясь, Матвеев. <sup>20</sup>

— Каково положение! А я думала, что славянофилов больше уж не будет. Я думала, что они все, как зубр или еще про какую-то морскую корову я у одного студента в книжке читала, что она в океане вся подохла...

Соня оживлялась все больше и больше; ей хотелось шутить, смеяться; она была, правда, в жару и в исступлении и, когда Матвеев спросил у нее: «Я французов... А вы немцев за что не любите?» — вместо дельного ответа она сказала ему: «Да они все колбасы делают. Кол- <sup>30</sup> басники!»

Матвеев, видя, что она почти не в своем уме от возбуждения, зажег сам свечи, попросил ее успокоиться и опять предложил ей почитать громко до чая.

— Нет, — решительно отказалась Соня, — я вас прошу, лучше расскажите мне... что-нибудь; расскажите мне, как вы женились на вашей жене... Я знаю, кто она была; только я хочу знать подробности... хочу знать, как



это все было... Что это было, увлечение? Долг? Принуждение? Все, все... Какое лицо у нее было в этот день, какое платье, погода какая, — я хочу знать все...

— Я сделаю это с одним условием, — отвечал Матвеев, — дайте мне слово исполнить и мою просьбу... Просьба, которая и для вас полезна... и для бедной бабушки вашей.

— Оставить нотариуса?

— Да.

— Извольте, — отвечала Соня.

10

Матвеев удивился легкости, с которой она вдруг согласилась. Он был очень рад и за Анну Петровну, и за Соню, и за себя самого. Кончить начатое дело, поставить на своем, переделывать людей и обстоятельства по-своему — для него было всегда наслаждением.

— Спасибо! — воскликнул он. — Я очень рад за Анну Петровну.

— А каков этот ваш знакомый, у которого я буду писать за хорошие деньги... «Эй» он или нет?

— Вы сами назвали его «Эй», — отвечал Матвеев.

20

Соня удивилась и посмотрела на него пристально; потом вздохнула и сказала:

— Ну, хорошо!

Матвеев, когда в эту минуту взглянулось и ему на нее и когда он увидал, как она, мило заложив руки за голову, лежит на подушке и как идет к ней румянец болезни и веселости, когда... посмотрелось ему на нее так пристально, — в сердце его содрогнулось что-то особое, давно забытое... Он почти с ужасом спросил себя: «Неужели?», но тотчас же оправился и по просьбе Сони начал рассказ о своей свадьбе.

30

## XVII

Матвеев прежде всего объяснил Соне, чем именно была Лина до встречи с ним в Царьграде и как ошибаются те, которые думают, что он был в этом деле обыкно-

ным «обольстителем» простой и бедной девушки. Он понимал, что с Соней ему не нужно было стесняться.

«В Крыму, — говорил Матвеев, — естественно многие думали, что я похитил ее у родителей где-нибудь в Молдавии. Многие, конечно, могли осуждать меня за этот поступок и извинять его разве моей крайней молодостью. Если бы кто-нибудь сказал бы мне это в лицо, я должен был бы молчать; мне удобнее было, чтобы люди считали меня обольстителем, чем Лину тем, чем она была... Не правда ли?»<sup>10</sup>

Соня согласилась с этим, и Матвеев продолжал:

«Я оставил Лину в Крыму под присмотром одной русской старушки и содержал их обеих как мог. Стоило их содержание мне немного; родные высылали мне денег достаточно, чтобы я мог без стеснений жить в столице; поэтому сначала мне было и в Петербурге очень весело, и совесть моя относительно Лины была покойна; я не раз писал и ей самой, и той женщине, которую я к ней приставил, чтобы они не стеснялись, если Лине какой-нибудь<sup>20</sup> хороший молодой человек понравится и захочет на ней жениться; что я напишу откровенно дедушке и матери, и они охотно дадут ей на приданое и даже домик ей купят небольшой. Лина всякий раз отвечала, что она замуж не хочет и что ей никто, кроме меня, не нравится. Признаюсь, что в иные минуты меня очень это тяготило; но я утешал себя тем, что думал: „Поеду в Крым сам в отпуск и при себе скорее устрою ее за какого-нибудь молодого и доброго простолюдина“. Думать-то я это думал; но мне все что-то было при этом неловко и больно: не совесть или<sup>30</sup> рассудок... нет!.. Я понимал, что сделал ей пользу уже тем одним, что вырвал ее из того вертепа и содержу ее за глаза, и не хочу никогда оставить без помощи (вроде как бы бедную родственницу какую-нибудь). Не совесть, значит, упрекала меня; а все жалость какая-то точила... Все боялся, что ей скучно и грустно... вот что... А самому тоже жить и видеть хотелось как можно больше!.. Что делать! Ну, вот я и жил, и веселился, и учился, и знакомился с

разными людьми. Через товарищей гвардейцев я приобрел знакомство и в высшем кругу, посещал и общество ученых и писателей; когда мог, даже заискивал их расположение, и хотя мне становилось иногда в их кругу нестерпимо душно, но я переносил это и вначале осуждал не их, а самого себя. Часто я спрашивал себя: „Неужели, Матвеев, ты мог бы вечно прожить, как эти труженики?“ И с жаром и решительностью отвечал сам себе, что не мог бы! Я помню, раз я сидел вечером в углу у одного полковника. Он был ученый либерал, почти революционер. Гостей <sup>10</sup> было много; комнаты были низки; мне стало очень скучно и грустно, и я спросил себя: „А что бы вы сделали, если бы вдруг вошел бы хоть я же, только с казаками, и погнал бы вас всех вон нагайками?“

Не наука, не ученье, а жизнь людей науки казалась мне иногда нестерпимо скучной. Но что же мне было делать? Я поставил себе целью заниматься в военной академии; я имел поддержку в высшем кругу, хоть и не был вхож туда запросто. Я не смел тогда защищать войну как великое <sup>20</sup> мировое явление, как принцип, который способствует блеску личностей, воодушевляет целые народы и служит источником не одних страданий, но и высоких наслаждений, недоступных мирным поприщам... Кто смел подумать об этом тогда? Я и то считал себя молодцом и независимым человеком, если где-нибудь на ученом вечере защищал войну как необходимость...

Однако дела мои шли недурно. На третью зиму я уже был уверен в моей будущности... Сначала вопреки себе, мирясь поневоле с „ложным“, как мне наговорили тогда, „строем нашего общества“, а потом уж и опять с охотой, я <sup>30</sup> продолжал носить военный мундир, который давал мне определенное положение и ближайшую цель впереди.

Лину я все-таки не забывал нигде, ни в знатных домах, ни в средних; на ученых вечерах я смотрел на дам этого круга, которые нередко были ко мне довольно благосклонны (и были бы очень благосклонны, если бы я обращал на них больше внимания)... Смотрел я на них и сравнивал их

с моей милой Линой... Сравнение это заставляло меня не раз сомневаться: всегда ли и со всех ли сторон хороша эта образованность? Придешь, бывало; мужья и молодые люди в кабинете; все говорят о конституции английской или о „наших безобразиях” (вы это лучше меня все знаете)... А жены соберутся в гостиной и тоже рассуждают.

„Читали вы „Матрешку”?” — „Нет, еще не читала. А что это такое?” — „Ах, это прелесть! Эта повесть наносит последний удар крепостному праву! Барыня вбегает и хватает Матрешку за косу... Это ужасно!” Я понимал и тогда, что есть в жизни *что-то* поглубже и понужнее матрешкиной косы... Но *что* — я еще не мог сказать; я был еще растерян и запутан в мыслях тогда...

Впрочем, скажу вам, что хотя сам-то я еще был запутан сравнительно с тем, что было позднее, когда я установился, но на второй год моей жизни в Петербурге я так освоился с обществом, что эта запутанность моя выражалась уже не робостью или осторожностью в разговорах, а напротив того — скорее, в том, что я почти всем <sup>20</sup> противоречил, почти ни с кем вполне не соглашался и искал все чего-то своего. В доме у одного редактора, например, никогда никто не говорил по-французски, а я нарочно с девицами начинал говорить по-французски и как только мог — тоньше. А в другом доме, где мать, довольно глупая, была помешана на светскости самой ничтожной, я говорил тоже нарочно противоположное. „Теперь дело не в светскости и не хорошем знании французского языка... Теперь надо все основать на естественных науках!”... И еще, „что по Невскому гуляет нынче только сволочь!”

<sup>30</sup> И эта мать на меня рассердилась и стала все суше и суше принимать меня... А еще в одном семействе тоже остались мной недовольны совсем по другой причине. Я спорил с отцом и доказывал ему, что нельзя все основывать на естественных науках, что я сам их немножко знаю; а все-таки для меня одно стихотворение моего кавказца Лермонтова гораздо дороже всех сочинений о питательных и красивых веществах. Как видите, определенного в моих

взглядах тогда не было ничего; мне нравился и Лермонтов, нравился и Фурье, и Кавказская война нравилась, и пожалуй, даже иногда и баррикады, и ученость, и казачество; нравились иные книги, а сочинители этих книг вблизи наводили на меня тоску. Иногда я ужасно даже жалел их и спрашивал себя: как, должно быть, им иногда стыдно век свой жить на этих петербургских лестницах? Как они, должно быть, завидуют мне, что я дрался в Севастополе, был в плену в Турции и вырос в Крымских горах!

Ну, да оставим это... Итак, я думаю, вам все это понятно... В начале четвертой зимы я вдруг получил известие, что дедушка мой скончался. Не скажу, чтобы это меня особенно огорчило; я знал уже давно по письмам матери, что он все больше и больше слабеет, и привык уже к этой мысли. Он завещал мне свое степное имение за Карасу-Базаром, каких-нибудь семь тысяч рублей деньгами, которые он особо сберег для меня. Мать спрашивала, что ей с этими деньгами делать? Хотя я нужды настоящей еще не знал тогда, если не считать случайных и неизбежных лишений на войне, но и такой суммы разом я никогда не имел в руках; я просил мать сохранить часть этих денег до весны, так как я уже решил весной съездить в Крым и взглянуть на родных и на Лину. Остальное я велел выслать себе и всю зиму мотал, как хотел, и мне с непривычки и это казалось много. Жизнь в Петербурге уже начинала мне надоедать, и у меня снова явилась потребность сильных ощущений, без которых, сознаюсь, я никак не могу долго жить. Сначала сам Петербург, все эти встречи с новыми лицами, сомнения в том, как меня примут, любопытство — все это было тоже причиной довольно сильных волнений и удовольствий... А потом все это обратилось в будни. Лучше поездки в Крым мне ничего не представлялось. Радость бабушки, матери, Лины, даже слуг наших... море и горы, которых я так давно не видал (кто ж в Петербурге смотрит на море?). Лину, как я уже вам говорил, я вспоминал очень часто. Одно время, еще попрежде этого, я как-то не

думал о ней и долго не посылал денег. Пришел, я помню, раз на квартиру мою вечером и стал ложиться спать. Весь вечер я провел очень весело; поужинал с приятелями в трактире; слушал музыку, истратил довольно много денег. Сел на кровати и задумался. Как сейчас помню, на дворе была сильная метель и окна обсыпало снегом... Мне самому было в этот день хорошо; но я вспомнил об Лине; об ее бедной квартирке на том конце света, о том, что и в Крыму бывает зимой холодно, и так содрогнулся, так<sup>10</sup> ужаснулся, что не знаю, как и выразить вам мое чувство... На другой же день я послал ей много денег и написал ей самое ласковое письмо.

Вот то же самое случилось со мной и той весной, когда я решил ехать в Крым... Я не видел, что у меня у самого еще нет ничего блестящего и верного впереди... Об этом я не думал. Я видел только, что у меня теперь есть деньги, что я франчу, езжу на лихачах, часто меняю перчатки и душусь, и мне казалось, что всякий встречный говорит мне: „И ты, брат, такой же, как все?“ На сердце у меня<sup>20</sup> была несказанная пустота... Модные эти идеи переставали мне нравиться; в статьях „Современника“ и других в этом роде я не находил уже тогда ничего хорошего: они слишком оскорбляли во мне все то, что я любил... Я даже не вникал в них как следует; не находил в них ничего нового, о чем бы я уже не передумал прежде сам, и дивился только, что в них находят другие. „Это все старо!“ — говорил я и чувствовал, что мне нужно *что-то иное*. Что именно — я еще не умел сказать тогда себе. И в то же самое время я, кажется, вызвал бы на дуэль того, кто<sup>30</sup> сказал бы мне: „Вы не либерал и не прогрессист“... Да, раз так и было. Я бессовестно оскорбил одного прекрасного молодого человека за то лишь, что он мне сказал: „Вы только так говорите. Какое вам дело до свободы? Вы свои дела устраиваете хорошо!“ За эту разумную речь я замахнулся на него рукою и наговорил ему столько оскорбительного, что до сих пор краснею, как вспомню о нем, и встретить его мне было бы очень неприятно! В таком-то наст-

роении духа поехал я в Крым. Приехал я туда щеголем, с деньгами, с перчатками, с духами...

Последние станции я скакал на перекладной день и ночь... Наконец показалось море. Подъезжал я в полдень; помню — море было очень синее и по нему ходили высокие валы с пеной... На степи трава уж выгорела и была желта...

Вы понимаете, что я должен был чувствовать, когда после четырех лет отсутствия все это явилось передо мной по-прежнему. Та же нагая гора и у подошвы ее скромный городок... На всех холмах кругом кружились, как и прежде, ветряные мельницы... Ведь и вам эти места знакомы?.. За несколько верст уже мне казалось, что я видел белый, бедный домик, в котором я оставил Лину; фонтан старый с зеленой плесенью и с какими-то древними надписями; два больших камня на углу около крошечного дома, мимо которого я ходил всегда к Лине. В этом домике было всего одно окно на улицу; оно было почти вровень с землей, и оттуда часто смотрела одна сердитая бледная вдова-гречанка с черными бровями. Было время, когда я эту гречанку любил от всей моей души за то только, что она жила на этом повороте и около этих двух камней...

Ну, вот и подъехали мы... и въехали в город. И в гостиницу сошли. Я причесался и оделся получше, чтобы все было одно к одному... как праздник... И пошел к ней.

Шел я недолго; гляжу — все на месте: ряд тополей; базар старый; вот и мостик, и два камня на углу около бедного дома гречанки... Иду и все жду — вот запоет во мне, понимаете, прежняя песнь... Жду восторга — его нет, и нет той прежней песни!..

Отворил я эту заветную калитку, и стук ее знакомый не так уж порадовал меня, как радовал прежде...

Вхожу на двор, смотрю... все то же; даже окно завешено не занавеской, а старым коричневым платком, который я знал четыре года тому назад... Да! подумайте, какие были эти четыре года для меня! Сколько я видел, сколько

я передумал!.. Вы еще очень молоды; и когда поживете еще, то увидите разницу; позднее и для вас четыре года уже не будут целым веком... А смолоду это так!..»

Тут Соня перебила его и сказала: «Иногда и два или три месяца точно век или бездна какая-то; с одной стороны одно, а с другой — совсем другое!..» Матвееву показалось, что он понял этот намек; однако на него он не возразил и хотел продолжать рассказ. Но в эту минуту Анна Петровна вышла из своей спальни, и при ней Матвеев не хотел уж больше рассказывать...

Ему казалось, что старушка в деле женитьбы не так хорошо поймет его, как Соня. Соня тоже не требовала, чтобы он продолжал, и конец рассказа был отложен до другого дня.

## XVIII

Соня с нетерпением ждала на другой день Матвеева с утра, и не успел он прийти, как она попросила его продолжать. Анны Петровны не было дома, и они оба, по правде сказать, были этому рады.

<sup>20</sup> — Коричневый платок на окне висел... — сказала Соня, и Матвеев начал рассказывать.

Он рассказал ей, что Лина сидела на полу в черном шерстяном платье и кормила ручного голубя; а старушка, с которой она жила, вязала чулок у окна.

— Не знаю, как это объяснить, — сказал Матвеев, — но я почти нисколько не обрадовался, и она сама только встала и обняла меня... И так спокойно, как будто это был и не я... Она и после мне говорила сама, что точно я был для нее *другой*. В лице переменялся, пополнел и хоть и показался ей даже красивее прежнего, «только точно другой», все твердила она...

<sup>30</sup> Матвеев сознавался, что он и в самом деле был тогда «другой» по чувствам, она даже наружностью ему как будто не слишком понравилась... Выросла много; стала слишком сильна, крупна и полна; не было в ней прежней



легкости и грации; она была тиха, не шутила, не прыгала, не кривлялась по-детски. Одета была не к лицу. Платьев у нее было довольно; но все было дурно сшиты, и вовсе не выгодно для стана и для роста ее.

Тяжело было Матвееву первые дни. Он жил в гостинице, и то она к нему приходила, то он к ней. Он посещал и знакомых прежних своих и видел, что все ему рады. Без него выросло много новых девиц; были и прежние, все такие же милые, ни одна не подурнела; за иными было хорошее приданое. Он видел, что к нему благосклонны, и чувствовал, что может составить очень хорошую партию в обыкновенном смысле: взять девушку, равную себе по всему, по привычкам, по воспитанию, по красоте, а по средствам и гораздо выше себя. Наконец одна пожилая дама передала ему слова другой помещицы, у которой было три дочери и за всеми очень хорошее приданое. Старшую она выдала за человека пожилого, но очень богатого, а две другие были еще в девушках. Помещица эта сказала: «Вот меня люди осуждают за то, что я старшую дочь мою выдала за старого богача, это так случилось. Матвеев и не особенно богат, а разве только обеспечен, но за такого молодого человека я бы с радостью отдала которую хочет дочь, если бы даже он и ровно ничего бы не имел».

Матвееву жениться вовсе не хотелось; он и на это (сознавался он сам Соне), как большая часть людей, не имел никаких тогда определенных правил. Семью чтит и ненавидел отрицателей за то, что они стариков и старух, отцов и матерей не щадят и не уважают; но сам для себя семьи боялся, как бремени и скуки. Однако слышать ему это было очень приятно.

С месяц прожил он так, не чувствуя в сердце своем пробуждения прежнего живого чувства к Лине; и она все была такая же тихая, скучная, незанимательная, неавантажная.

Наконец однажды он решился обнаружить ей правду. Он сказал ей:

— Я уж не люблю тебя, бедная Лина моя! Я думал, что люблю — нет! Я ничего не чувствую. Я буду всегда заботиться об тебе, а лгать не могу. Не люблю я тебя! Поискала бы ты себе жениха, а я денег дам ему...

Лина ушла от него домой в слезах и по улице шла и плакала так, что люди на нее смотрели.

Матвеев на другой день уехал к своим в деревню. Он так был озабочен и даже истерзан мыслью о том, что ему делать с Линой, как ему утешить ее, что мало обрадовался родным и мало обратил внимания на прекрасную долину и на жилище, в котором он родился и вырос.

— Теперь я понимаю все, — сказал он Соне, — как любовницу, как что-нибудь новое и легкое — я уж второй раз любить ее не мог. Но я любил ее иначе, без воображения, зато глубже, и я этого сам тогда не понимал. Ходил я по саду один и по комнатам в нашей деревне и думал с утра до вечера — что мне сделать? Увезти ее куда-нибудь с собой? В каком обществе она будет жить? Кто ее примет? Не могу же я расстаться навек со всеми моими привычками... А если мне станет слишком скучно и она утомится моим равнодушием и... кто знает, быть может, и какими-нибудь несправедливыми капризами моими... Полюбит другого в развратном Петербурге, где так страшна нужда, где сносны еще только пышность и богатство, и станет она любовницей человека, который не сумеет и понять, что она *моя Лина*, что она *бедная Лина*, *глупая Лина*, — и втопчет ее в грязь, и оскорбит, и бросит, и осквернит ее уже одним пошлым приближением своим... И будет там кухня близко, и будет кухней пахнуть около нас; и на дворе будет идти дождь, и я буду ходить к дамам, которые хотят *нанести последний удар крепостному праву*... Дома будет скучно; в гостях ужасно все это будет — женюсь ли я на ней, возьму ли я ее с собой просто...

Но дать ей имя перед целым светом, дать ей сельский дом, простор, покой, слуг и почет... хотя бы и с одиночеством и грустью... Не выше ли это, не благороднее, не

умнее ли это жалкого семейного прозябанья в петербургских гробах, именуемых домами! Не соглашу ли я этим и долг сердца моего, и мою жажду жизни и свободы. Если родные мои не захотят ее принять радушно, думал я, — после дедушки досталось мне имение в степи. Оно дает доход. Но на что ей много. Там чистый, веселый флигелек, сад фруктовый на берегу реки, татарская деревня... из нее не все татары ушли. А Лина любит татар...

Так я думал.

10

Я вернулся в город, пришел к ней и спросил у нее: «Что для тебя лучше, чтобы я женился на тебе и оставил бы тебя здесь, и сам бы уехал или чтобы я тебя взял с собой любовницей в Россию?»

Она сказала: «Лучше не женись и возьми с собой».

Я отвечал, что мне легче жениться, чем взять с собой. Тогда она сказала: «Если уж ты непременно хочешь оставить меня, если я тебе надоела, тогда женись. Меня тогда меньше обижать будут». Я спросил: «Кто ж тебя обижал?» И она рассказала мне, что все соседки, армянки и гречанки, и еврейки, показывали на нее пальцами четыре года, когда она проходила по улице, — свистали на нее из калиток; звали дурными словами, приходили пьяные писаря и ночью стучались в дверь, и ломались, и кричали: «Ты ведь такая, отчего ж ты нам отворить не можешь? Одному Матвееву разве счастье от тебя, и мы хорошо заплатим?» Ходила старушка-хозяйка жаловаться к городничему; ходили и соседки к городничему, чтобы он выгнал ее со старушкой вместе с этой улицы. Детей хозяйки — двух девочек, не пускали уж больше играть с своими детьми.<sup>20</sup> Только и жалели Лину, что одна небогатая капитанша русская звала к себе и приглашала чай пить, и подарки делала, и еще татарин-булочник на углу; как идет Лина к капитанше, нарочно под вечер — чтоб ее не видали, татарин говорит ей:

— Добрый вечер, дочь моя! Как твое здоровье? Куда ты идешь, бедная моя?

И городничий обижать не хотел; соседок не слушал и с улицы не гнал. Почтмейстер тоже добрый человек, как получит деньги для Лины от Матвеева — шлет скорее почтальона. Пойдет старушка за Лину получать деньги, почтмейстер смеется, поздравляет, спрашивает: «А скоро ли он-то сам будет?»

— У русских и у татар другая душа, — говорила сама Лина, — а гречанки и армянки эти хуже всех... Что я им сделала, что они меня так обижали?..

<sup>10</sup> — Тогда, — продолжал Матвеев, — что мне оставалось? Мне было ужасно ее жалко. Любовницей она была бы мне бремя; я был бы прикован к ней, а я прикован тогда не хотел быть ни к какой женщине... Женой она была бы мне отрадой. Мне легче было бы дышать на свете, когда бы я знал, что если уже решился раз спасти душу заблудшую, так спас ее как следует... Лучше для меня — пусть грустит и плачет она одна под деревом в моей деревне, когда я прощусь с ней надолго, чем знать, что она в нужде, обиде, в униженьи... Тогда не пройдет и <sup>20</sup> года, и люди скажут: «Матвеев человек без сердца; он бросил эту бедную молодую жену в деревне одну для честлюбия своего...» И больше ничего! О, Боже, разве не легче знать, что скажут это про меня, осудят мужа, забывая, что честнее оставить жену, чем несчастную, у которой нет ни имени, ни денег, ни почета, которую не защищает закон, как защищает жену, которую и общество не может чтить, как оно чтит жену! Разве не легче подумать, что слынешь за человека пустого и без сердца, и ничуть от этого мне не хуже, чем знать, что ее, беспомощную, оскорбляют, а про меня говорят: «Еще бы не бросить; она безграмотна! И к ней писаря ночью стучались...» — <sup>30</sup> Свобода? На что мне была этого рода свобода? Я считал себя все так же свободным. Нет, что я говорю. Я находил, что я свободней прежнего... За то добро, которое я ей сделал, за ту радость, которую я ей доставил, — я требовал только одного, чтобы она меня не стесняла... Прежде я мог бояться за нее, за ее будущность, за ее пропитание даже...

Теперь я это все ей доставил и дал ей больше — бездну внимания и ласки... И потому — по совести моей — я был теперь еще больше прежнего вправе веселиться... Не так ли? К тому же брак для брака, уж конечно, не был моей мечтой никогда, а тем больше смолоду... другой жены такой, на которой бы я женился только для своего удовольствия, право, я и не думал никогда искать... Завидовать женатым людям мне и в мысль не приходило. Разве если бы уж брак был очень блестящ и выгоден... да! брак во дворце раззолоченном... А если нет? Я входил в семейные дома с уважением и почитал семью всегда; но сколько раз, глядя на супругов умеренных и издавна верных друг другу, я думал: «Хорошо... Да! очень хорошо... Но да идет мимо меня горькая чаша сия... Ведь если какая захочет меня и теперь полюбить — кто ж ей мешает?!.. Меньше будет эгоизма с ее стороны — больше ничего... Отчего ж мне было и не пожертвовать для Лины эту свободу, которая была мне вовсе не нужна...»

Так говорил Матвеев Соне.

Взял он потом Лину вечером кататься за город. Долго они гуляли по берегу моря вдвоем; Лина была все такая же тихая и незабавная... «Что с ней случилось!» — думал Матвеев и спросил ее: «Отчего ж ты прежде мне не рассказывала, как тебя обижали, а так поздно?» «От радости, что тебя увидала!» — сказала Лина.

— Отчего ж ты теперь не рада, когда я жениться хочу на тебе? Будь и ты капитаншей и помещицей...

— Я рада, голубчик... Только одно я скажу тебе — позволь мне?

И припала она на грудь Матвеева, и долго говорить не хотела, а сама все твердила: «Позволь? Позволь?» и плакала.

Наконец сказала робко: «Лучше бы ты не женился, а с собой бы везде так возил. Я с тобой хочу всегда жить. В маленьком домике, в маленьком, как татары живут. Чисто чтоб было у нас и тепло. Ничего моя душа больше не хочет!»

— Друг мой! — сказал ей Матвеев, обнимая ее, — я понимаю твою добрую, хорошую душу, да моя-то душа иная, моя душа многого хочет!

На следующее утро рано обвенчались они с Линой; в церкви были только свидетели, и двери церковные заперли, чтобы не сбежались любопытные тревожить их.

Матвеев сказал Соне, что до той минуты он на брак смотрел легче; но когда по крымскому обычаю связал им священник руки шолковым платком и повели их кругом аналая — глаза их встретились, и Матвеев почувствовал что-то *иное*, чего он не знал до тех пор. Ему показалось, что он с этого мгновенья снова полюбил ее, но не так, как прежде, четыре года тому назад, как «игрушечку» Лину, а как сестру свою вечную и как душу неразлучную в вечности с его душой. Посмотрели они друг другу в глаза, и Матвеев под платком крепко пожал ей руку... И она пожала ему руку и посмотрела на него иначе, веселее, в первый раз с тех пор как он приехал...

20 На этом Матвеев остановился. Он был взволнован, и когда Соня, которой многое еще хотелось узнать, спросила его — будет ли он дальше говорить о том, как он с Линой жил после, — Матвеев сказал ей, что надо отложить до другого раза, и скоро ушел домой. А Соня осталась одна почти в обожании и перед ним, и перед женой его.

Она сказала себе: «Что значит после этого ум и знание перед такой хорошей душой, как у этой Лины?» Весь вечер проговорила она с бабушкой о Матвееве и рассказала ей кой-что об его женитьбе.

30 Бабушка, слушая ее, радовалась вдвойне — тому, что Лина, у которой ей придется жить, прекрасная женщина, и еще тому, что в самой внучке своей замечала какую-то перемену и чувств, и мыслей к лучшему. Анне Петровне даже казалось, что манеры Сони опять стали благороднее с тех пор, как она познакомилась с Матвеевым.

## XIX

Соня понемногу поправилась; оставила нотариуса и начала заниматься у Матвеева. Для нее это было истинным праздником. Прийти к нему в номер, писать по его диктовку, дома переписывать ему набело, делать выписки из книг по его указанию... Изредка и позавтракать с ним.

Но положение Матвеева было довольно трудное. Соня ему самому стала очень нравиться; нечто слишком теплое закралось в его сердце, и он в нем слышал тревожные и давно забытые движения. 10

Когда, устранив все препятствия разума, обстоятельств, честности и воли, он просто давал свободу мечте, ему представлялось блаженством проводить целые дни с Соней, говорить и читать с ней, жаловаться ей на тоску, которая иногда и его пожирала, «потому что я бессовестно ненасытен» — говорил он сам, — рассказывать ей про себя без утайки и стыда и хорошее, и дурное, направлять ее быстрый ум по-своему. Ему даже приходила мысль создать из нее совсем новую женщину, не простую и хорошую патриотку, которая и готова была бы целые дни щипать корпию или жертвовать деньгами, или пойти в сестры милосердия, когда будет война. Он это ценил, конечно, но находил, что этого мало. И не сухую гражданку на новый лад, которая считает высокой поэзией служить на телеграфной станции или держать экзамен на доктора, и больше ничего. 20

Матвеев такой прогресс встречал сухим одобрением, когда приходилось; светский человек округлял в нем и сдерживал в нем пылкого гражданина... Он имел даже светскую слабость иногда остерегаться уж слишком пламенных речей в гостиных и даже в товарищеском кругу... 30  
Он сознавал это ясно; он каялся; он говорил, что человек, который разит и громит, не пугаясь насмешек и непонимания, был бы выше его в его собственных глазах...

Но что делать! привычка долгой осторожности взята!.. И несмотря на эту привычку осторожности, всякий себе-

седник чувствовал, что он, отдавая справедливость некоторым сторонам нашей новой жизни, не особенно увлекается ими, даже иногда и насмешливо к ним относится.

Мысль о том, что Соня при своей начитанности, при своих знакомствах и связях с петербургскими учеными и писателями, при своем трудолюбии и милостивости могла бы стать, когда ум ее еще созреет, орудием какой-то особой славянской проповеди, — приводила его в восторг... И лицо, и манеры, иногда резкие и дурные, и даже <sup>10</sup> вспыльчивость ее начинали ему все больше и больше нравиться...

Она приходила к нему почти всегда около полудня... Иногда опаздывала час или даже полчаса.

Матвеев уже с утра был неспокоен, смотрел на часы, подходил к окну. Когда внизу на большом подъезде отворялась и затворялась с шумом большая стеклянная дверь — он по нескольку раз выходил на площадку и смотрел подолгу вниз, опершись на перила — не покажется ли на нижних ступеньках скромный черный башлык и <sup>20</sup> немного поношенная (но... уже милая ему!) шубка нежной бунтовщицы...

Жить этими беседами и ожиданиями было для него большим наслаждением... Тысячи новых, молодых, весенних звуков раздавались в душе его; даже сама ненавистная ему невская столица как будто стала оживать в его глазах и становилась ему близкой и родною!

Но к звукам этим, которые он слышал в себе, он обращался со всей строгостью зрелой воли...

Он спрашивал себя: «Имеет ли он право сделать Соню <sup>30</sup> своей любовницей?»... И голос совести отвечал ему сурово, что с нею в особенности он не должен этого себе позволять!



## Часть 2

### I

После Нового года Матвеева произвели в генерал-майоры; он был очень тому рад и пировал целую неделю с приятелями. Они возили его с собой на несколько дней в Царское и в Павловск; — ездили ночью на тройках к Дороте. Матвеев познакомился там с француженками — одна из них говорила всем: «Aimez moi! préférez moi toujours! Je ne suis pas belle; — mais je suis si coquette!»<sup>10</sup>

Другая высокая женщина, лет двадцати пяти, уже утрачившая свежесть, но с лицом выразительным и с большим достоинством в приемах, поклялась Матвееву, что она венгерка из Вены, как только услышала от него, что он француженок терпеть не может. Воображая, что Матвеев Генерал богатый, она дала ему свой адрес и сказала:

— Приходи сначала как друг, а потом, когда я увижу, que tu sais faire l'amour — и я тебя, может быть, полюблю...

Матвеев не слишком возмущался обществом этих женщин, пока дело касалось не его самого, а других, молодых повес. Сам он, конечно, не пошел ни к видной венгерке, ни к той, которая звала себя «coquette».

Он так давно не видал вблизи этого мира холодного кутежа и глупой, безвкусной расточительности, что на несколько дней все это заняло его почти как новость; но потом он с удовольствием вернулся в свой тихий и просторный номер и сказал себе еще раз: «Не то это! Не то! Пусть будет у нас и разгул, но иной!.. Это все слишком противно: какая-то казенщина безнравственности...»<sup>30</sup>

Соня между тем за эти же дни, увлекаемая своим чувством, решила наконец объяснить Матвееву в любви.

Она предпочла написать ему записку, но не хотела еще обнаруживать в ней того томительного характера, который

начинало принимать ее чувство; — она написала эту записку тем шаловливым и вызывающим тоном, каким она всегда почти спорила и говорила с ним.

«Матвеев! (писала она). Нам опять без Вас скучно. Опять Вы пропали. Вы знаете, как я люблю с Вами ссориться. Приходите-ка. Я уж узнала, что Вы стали Генералом, и хочу посмотреть, не поглупели ли Вы от этого. А знаете, ведь Вы мне очень нравитесь. Как это ваш военный ум не заметил этого? Или уж это предчувствие Генеральского чина так развило его?»

Ваша С.

P. S. Впрочем, можете, *mon g n ral*, и не приходите *при мне*. Не умру. А для бабушки прийти не мешало бы.

Ваша С.

P. S. Очень, однако, будет глупо, если не придете! Совсем по-генеральски.

Ваша С.»

Первая встреча их с Соней после этой записки была случайная на улице. Подъезжая к Летнему саду, Матвеев увидал ее и заметил, что на ней была бобровая боярка и кавказский башлык (и то и другое Матвеев очень любил и всегда жалел, что Соня их не носит).

— Генерал! Ваше Превосходительство, — сказала Соня довольно громко.

Он оглянулся и смеясь сошел с саней ей навстречу.

Они вошли в сад и сели на скамью. Тут произошло их первое объяснение. Сначала оно было шуточно.

— Получили мою записку? — спросила Соня без всякого смущения.

30 — Получил, — сказал Матвеев, улыбаясь чуть-чуть.

— Чему же вы хохочете? — спросила Соня. — Обрадовались верно очень?

— Отчего же мне не радоваться, — отвечал Матвеев. — Разве это может огорчить?

— Честного человека должно огорчить, — возразила Соня, — женщина вас любит; а вы нет. Вас должна мучить совесть.

Матвеев сказал, что он не виноват... «Огонь, — прибавил он, — не виноват, что жжет».

— Ах! — сказала Соня, — этот «огонь»! Уж я эту фразу от вас слыхала двадцать раз. (Матвееву случалось в самом деле раза два и прежде употребить это уподобление по иному поводу.) Как вы любите твердить одно и то же. Министру говорили, что огонь жжет?

— Говорил, когда жаловался ему на нигилисток.

— Что ж Министр?

— Министр говорит: жаль, что нельзя их жечь нынче на площади! Особенно тех, которые носят очки. Женщина в очках, — сказал Министр, — это хуже, чем вор и убийца!

— Этот Министр были вы сами и больше никто, — возразила Соня. — Какой глупый Министр! С такими Министрами как же не сделать революции. Покажите поближе, какие теперь у вас погоны? Каково! В самом деле — совсем золотые!

Так они шутили и смеялись оба. Обоим было весело от того, что неожиданно встретились. И сама столица наша, обыкновенно столь угрюмая, в этот день веселилась вместе с ними. Новый снег блистал на Марсовом поле и Неве; на деревьях Летнего сада и Михайловского нежной дымкой стоял иней... На западе горел багрянец вечерней зари. Зажигались повсюду тысячи огней; у Цепного моста, теснясь, обгоняли друг друга сани, пешеходы и кареты. «Хорошо сегодня здесь!» — сказала Соня, взяла под руку Матвеева и повела его вдоль Невы.

Мало-помалу она стала задумчивее и наконец спросила его грустно:

— Так я вам вовсе не нравлюсь? Скажите мне прямо.

Матвеев отвечал ей на это серьезно:

— Время сильных страстей для меня миновало, — сказал он ей. — Влюбиться едва ли я могу. Любить душой — могу. Но эту душу я положил, мне кажется, всю на бедную жену мою. Теплоты сердечной, которую я уж истратил на нее, едва ли у меня осталось для других. Я могу любить, пожалуй, немного, пока весело, пока нет ни слез, ни страданий, ни долга, ни борьбы. Борьбу и долг я берегу для другого — для моей ратной жизни, которую вы так презираете.

<sup>10</sup> — Скажите — презирала когда-то!.. Давно, давно, очень давно!! — возразила Соня с глубоким вздохом.

— Хорошо, тем лучше, — продолжал Матвеев. — Итак, вот видите, я не хочу борьбы, не хочу страданий и слез, не хочу и долга по отношению к женщине. И грусти, и сострадания, и даже долга, так, как я его понимаю, дано было достаточно бедной Лине...

— Отчего же ваша Лина бедная? Я думаю, ей очень приятно быть вашей женой и даже стать Генеральшей после того, чем она была.

<sup>20</sup> — Бедная она для моего сердца потому, что она Лина! Я могу не видать ее долго; в иные минуты я и тягочусь ею потому, что я ненасытен; но скоро приходит такой час, что я хочу опять обнять ее, привезти ей подарки, слышать ее взбалмошные речи, даже сносить ее забавные капризы. Я вам скажу и больше, чтобы вы поняли, как именно я люблю ее. Видите, — я думаю, что верность и строгость нравов прекрасны для семьи... Но что ж мне делать!.. Если бы Лина, например, полюбила бы другого, и человек бы этот был хороший, понимал бы

<sup>30</sup> и ценил ее... Я стал бы ему другом, может быть... Лишь бы только она веселилась и смеялась, лишь бы только ей лучше жилось на свете.

Соня оставила его руку, остановилась, взглянула на него и воскликнула:

— Да что же вы такое? Вы — Ангел! Божество какое-то! У вас все есть! У вас даже есть и то, чем так гордятся наши грубые и скучные молодые люди. Что ж

после этого? Кто бы ни спросил у меня про вас — я скажу: Да! я его люблю, уважаю, обожаю — все!

— Я не только не Ангел и не Бог, — возразил Матвеев грустно и сурово, — но даже и не всегда хороший человек. Я в доме по-своему самовластен: уступать женщине я люблю лишь по великодушию; — а если у меня хоть на миг, на миг один закрадется подозрение, что женщина хочет управлять мною, что я уступаю ей по слабости, — вместо любви — я возненавижу ее! Я не люблю резких возражений; ненавижу ревность и грусть, <sup>10</sup> я не хочу все жалеть и жалеть: наскучило... Не хочу забот и новых обязательств. Довольно!.. Поверьте, и я в жизни уже успел натерпеться вдоволь и теперь — хочу сердечного покоя, чтобы все мои силы пошли на службу тому Правительству, которое умеет ценить меня и вывело на вид... Наконец — и это хуже всего — я сознаю, что я и эгоист, и честолюбие мое предпочитаю всему; капризен иногда и нетерпелив, и даже ленив и, пожалуй, нередко слаб... Но я хочу, чтобы сознавал это я сам, а подобных суждений о себе от близкой мне женщины <sup>20</sup> я слышать не хочу! Для нее — пусть я в самом деле буду и божество, и Ангел, и демон — что хотите, но чтобы я был всегда высок и благороден для нее, даже в зле моем!

— А она как будет для вас?

— Она? Ее я хочу порицать и бранить, и исправлять по-своему... Особенно, если она очень молода... И чтобы она мой строгий суд выносила терпеливо... Только с такой женщиной я могу сблизиться душою... Душою (повторил Матвеев помолчав). <sup>30</sup>

— Вы ищете рабы. Едва ли вы найдете такую в наше время...

— Я, кажется, не ищу никакой, Софья Михайловна; ни рабы, ни царицы; — сказал Матвеев. — Я отвечаю только на ваши вопросы.

— Мой первый вопрос был, я спросила: нравлюсь ли я вам? — сказала Соня.

— Могли бы нравиться, — отвечал Матвеев, — если бы...

— Если бы я не была нигилисткой? Ну какая я нигилистка! Я дрянь, я деревенская барышня, которая влюбилась в офицера!

— Нет, — сказал Матвеев; — немножко нигилизма при уме и вкусе не беда; это пройдет. Мне не нравится в вас другое, — не нравится мне, например, ваша дерзость с бабушкой. Ваша бабушка такая несчастная, такая умная старушка, так добра к вам...

Соня, краснея, отвечала:

— Я не могу считать очень умной женщину, которая до сих пор сокрушается о том, что у нее взяли крепостных... Добра она стала теперь от слабости. А когда она еще была здорова и побогаче, она иначе держала себя: она умела говорить очень колко; и даже раза два, случилось, ударила меня за какой-то спор. К тому же, я помню, она наказывала иногда слуг и горничных, еще за год до освобождения крестьян, не больше.

— Все это надобно забыть; — крепостные слуги были иногда нестерпимы, — отвечал Генерал. — Не надо из-за одного дурного воспоминания забывать все хорошие качества.

Соня возразила на это, что она не считает «человеком» того, кто хоть раз поднял руку на другого, особенно на того, кто ниже его званием или беден.

Матвеев вежливо достал руку Сони из-под своей руки и отстранился от нее.

— После этого, — сказал он, — и я недостойн идти с вами под руку, — не оскверняйтесь. И я бивал иногда в моей жизни; да и теперь прибую крепко, если нужно. Можете не касаться меня, так как я для вас не человек.

Соня взяла его опять под руку и они продолжали путь.

— Еще что во мне не нравится вам? — спросила Соня.

— Многое, — отвечал Генерал, — я не люблю ваших оливковых и коричневых шерстяных платьев; к чему эта

серьезность вечная! Лучше бы я вас видел в хорошеньком ситце. Не люблю ни тех грубых выражений, которыми вы иногда щеголяете, а иногда вдруг находит на вас книжность в разговоре; это мне тоже не по душе. «Я следила с напряженным вниманием за развитием». Фи! Уж лучше грубость. Спорить вы не умеете, каждый спор обращается чуть не в ссору... В вас есть кокетство, есть много того, что зовут нынче «женственность», но это просвечивает и вырывается вопреки вашему идеалу скучной и серьезной простоты... И говори вы в самом деле что-нибудь новое и поразительное, а то и вы, и все другие, подобные вам девушки, повторяют лишь то, что говорят тысячи людей на всех концах света. От либеральных фраз не скроешься теперь и в Самарканде.

Соня молчала. Квартира ее была уж недалеко. Матвеев хотел проститься, думая, что ей легче будет одной после такого объяснения. Но Соня просила его зайти и разделить их бедную трапезу.

— Для бабушки, — сказала она.

Матвеев пообедал у них.

Довольный собою за то, что не поддался мелкому тщеславию и не старался угодить Соне, а говорил ей резко и сухо, — он повеселел, смеялся и шутил; рассказывал Соне и Анне Петровне о жене своей, о ее забавных ошибках, которые ему нравятся, о том, например, что она очень любит стихи Фета и спрашивала раз у него: «Скажи мне, Саша, кто это Фета написал?» А потом, когда Матвеев объяснил ей, что Фета написал Фет, как она испугалась и, всплеснув руками, с отчаянием воскликнула: «Что ты говоришь! Ну — что если бы я это где-нибудь при чужих сказала! Какая я дура». Говорил и о многом другом интересном и еще больше понравился Соне.

Он ушел поздно; Соня с особой лаской в этот вечер уложила бабушку в постель и, оставшись одна у себя, стала плакать.

Что женщина, что мужчина — все равно было по ее правилам; поэтому ей признаться первой в любви вовсе не

было стыдно; но как же сделать, чтобы он-то хоть сколько-нибудь да полюбил ее? И как быть — как жить — когда он весною уедет отсюда, быть может, навек и она его больше никогда не увидит!? Как быть! Как с этим быть? Это ведь ужасно! Опять Нотариус и бабушка несчастная эта! Опять переводы и переводы для редакции! опять вот тот-то и вот тот-то молодой человек... Всех она их знает, и ни один из них не интересен для нее!.. Это ужасно!

## II

<sup>10</sup> Несмотря на суровость своих ответов, Матвеев сам уже был неравнодушен к Соне. Он скоро перестал и бороться с чувством, которое все становилось сильнее и сильнее; он только хотел направить его разумнее.

Он говорил себе, что наслаждение, которое находит он в ее беседах, велико, а гибели и даже вреда от этого нет никому.

Весной они должны были расстаться; почему же не дать воли чувству, которое и ему и еще больше самой Соне давало хоть мгновения счастья?

<sup>20</sup> К любимым занятиям своим и к Лине ему возвратиться будет еще легче после того, как он скажет себе: «Я жил эту зиму!»

Обольщению обыкновенному здесь не могло быть места, — после Несвицкого. «Падением» в общепринятом смысле ему не хотелось назвать близость девушки к тому человеку, который старался возвысить в ней все чувства, старался пробудить в душе ее все искры поэзии, всепрощения, веры — даже патриотизма, угашенные отрицанием. О грехе же, о «падении» в смысле Христианском он вовсе и не думал никогда; ибо признавал, как многие, из Христианства только то, что ему было по вкусу и по характеру.

<sup>30</sup> Любить он ее хотел; — сделать любовницей своей остерегался по многим побуждениям. Если б он мог быть уверен, что жена его без слез и упреков согласится навек



стать ему родной сестрой и примет Соню как подругу в дом — он, может быть, стал бы снисходительнее к себе. Или если бы он решил наверное, что Соня не будет в его доме, что они расстанутся весной, он мог бы сказать себе: «Я ей дам три месяца блаженства, и она с обновленной, хотя бы и грустной, душой будет продолжать бодрее свой жизненный путь...»

Его же утешало бы сознание того, что прикосновение его прошло недаром, что оно возвысило и облагородило ее грубые вкусы, ее прозаические идеалы. 10

Но против этих увлечений мысли, подкупленной самолюбием и чувственностью, было у него много практических возражений. Он был не мальчик...

Найдет ли он для Сони такую богатую женщину, какую нужно, чтобы ей жить получше? Не будет ли необходимости взять ее вместе с бабушкой весной в крымскую деревню? Здоровье ее все слабо и настроение души слишком мрачно, чтобы полезно и похвально было оставить ее одну в Петербурге, при прежних условиях жизни, которые, видимо, ей наскучили донельзя. Помогать ей деньгами? Деньги у него, положим, всегда 20 какие-то найдутся для удовлетворения доброго чувства. Но Соня очень самолюбива и горда; — она будет нестерпимо тяготиться такой помощью, которую сочтет незаслуженной. Да — лучше бы и проще всего взять ее с собой в Крым! Если он возьмет ее в компаньёнки Лине, не доводя дела до конца; — если он сохранит строгий платонизм отношений, полу-дружеских, полу-мечтательных... (Он за себя ручается! В тридцать шесть лет смешно 30 и низко воображать, что имеешь те оправдания, которые может еще иметь необузданный и неопытный юноша.)

Если так, то Лина, быть может, и полюбит Соню, и привыкнет к ней... Она не раз говорила ему: «Вот ты часто уезжаешь то туда, то сюда; отчего-то ты мне не поищешь какую-нибудь молодую подругу?.. Или старушку хорошую, которая бы вот так согнувшись сидела около меня». «Ну, вот тебе, Лина (он скажет весной) — разом

две, и молодая и старушка, которая согнувшись даже сидит, как ты желала!» Но для этого мира в доме необходимо прежде всего, чтобы его собственная совесть была покойна; чтобы он мог смотреть в глаза Лине, не обманывая ее; чтобы он мог сказать ей: «Да, она мне [нравится], общество ее нравится и больше ничего!» Опыт, по крайней мере, сделать можно. — Опыт, от которого никому вреда, кажется, не будет.

Правда, он не раз изменял жене; — и приучил ее даже <sup>10</sup> не ревновать серьезно; — но все это были «любовные похождения», а не чувство сердца; не любовь, не привязанность. Он тем всегда и успокаивал Лину, что говорил ей: «Оставь, пожалуста, эту глупую ревность... Пора привыкнуть, что я сердца-то моего никогда другой не отдам... Пора тебе это знать!» И Лина утихала, смеялась и даже расспрашивала иногда его о том, «как что было и как еще будет?» И еще (думал он) — хорошо ли обманывать старуху-бабушку, которую он сам так жалел? Хорошо ли открыто обнаруживать пред ней отношения, которые нравиться ей не могут. <sup>20</sup>

К тому же и здоровье Сони в силах ли вынести всякую «возможность», «всякое последствие»?..

И неужели, наконец, самообуздание не имеет в себе наслаждений еще высших, чем самое страстное обладание? Конечно, имеет...

Так думал Матвеев долго, сначала не передавая Соне своих мыслей.

С ней он был ласков и мил по-прежнему. Заботился об ней; старался ее веселить как мог; катал ее на тройках и на <sup>30</sup> рысаках; возил в театр, уверяя, что это все пополам, что он вычтет все это из ее жалованья; что это необходимо для ее здоровья. В театр для приличия ездила с ними Варя, которая старалась не стеснять их. В номере Матвеева они зато бывали по целым часам одни.

Соня все реже и реже спорила с ним; она старалась при всяком случае обнаруживать свою покорность, свое желание поучаться, она даже просила его поскорее сделать ее

«настоящей русской» по чувствам и мнениям; «чтобы я была достойна вас», — так говорила она.

Когда Матвееву случалось в разговоре употреблять выражения: «ваш ум» или «ваши познания», Соня восклицала с презрением: «Мой ум, мои познания! Да! без вас я кажусь самой себе умной; при вас я хочу только слышать вас и поклоняться вашему уму!»

О долгих занятиях с глазу на глаз уже не было и речи.

Чтобы успокоить гордость Сони, которая получала теперь от него 50 рублей в месяц, Матвеев, кроме непродолжительной диктовки в номере, давал ей на дом делать довольно значительные выписки из книг, и она списывала так безошибочно и четко, что Матвеев всякий раз почти восхищался.

У себя в номере он, принимая нередко шутивно-строгий вид, говорил: «Пора за честный труд, сударыня моя: довольно праздных разговоров!..» Разваливался на диване и диктовал ей с полчаса; потом останавливался, смотрел на нее молча, и оба начинали смеяться... Соня сначала тревожилась этим и говорила: «До чего же вы меня доводите — я становлюсь какой-то приживалкой у вас, я почти камелия... Вы меня содержите... Ведь это, наконец, ужасно! Или вы заставляйте меня работать, или я опять уйду к Нотариусу...»

— Я уеду весной, вы знаете, — возражал ей Матвеев кротко и просительно, — не лишайте же меня и кратких минут счастья. Писать это может и писарь всякий.

— Это Бог знает что такое! — восклицала Соня, бросая перо. — На что я стала похожа!.. Сама рада-раде-хонька, что можно не писать!.. Ведь это хуже всякого разврата!.. Помилуйте, что же вы со мной сделали!

Иногда она приходила к нему с утра убитая, грустная и больная.

— Друг мой! — говорила она ему. — Пожалейте меня. Я ужасно тоскую...

И Матвеев всячески старался утешить и развлечь ее рассказами, прогулкой дальней по морозу, звал ее, если

это был праздник, в церковь, говоря: «Посмотрим — торжествует ли вполне безверие или еще нет!»

Церкви все были полны народа, и, выходя, Соня однажды сказала ему: «Сделайте, чтобы я могла опять молиться; вы со мной все можете сделать...»

— А вам хочется молиться? — спрашивал Матвеев.

— Хочется, смерть как хочется! — говорила Соня.

— Так и молитесь просто, как говорит душа...

— Хорошо, — отвечала Соня, — я попробую... А не можете ли вы мне сказать что-нибудь такое, чтобы я не была матерьялисткой?

Матвеев отвечал ей, что это вовсе не трудно; надо только посерьезнее думать и не будешь матерьялистом; и прежде всего надо сказать себе, что никто ведь и не знает наверное, что такое само это «вещество». Может быть, оно или призрак, или создание духа.

Соню эта простая мысль очень удивила.

— Вот этого я никак не ожидала, что нужно еще спрашивать себя, что такое вещество!.. — сказала она.

— Разве Несвицкий и другие ему подобные не говорили с Вами о веществе и духе...

— Не помню! — Я помню только одно у них, что все гадко, все несправедливо, все ужасно и что надо, чтобы все люди были счастливы, свободны, равны и образованы так, как мы... Бокля вот я читала; и Писарева, конечно, и Добролюбова... Только к Писареву я охладела вдруг за то, что он Пушкина вздумал ставить ни во что... Этого перенести я не могла... Я Татьяну люблю, и даже сам Онегин мне всегда ужасно нравился... Впрочем, вся эта история моя с Несвицким продолжалась недолго, года два всего... И я была еще так молода тогда! Да я и не люблю даже вспоминать это время... Пожалостата — не говори о нем. Достань мне лучше таких книг, какие нужно, чтобы я больше тебя понимала... Мне нужно понимать ясно, почему ты так думаешь, почему ты что-нибудь любишь... Ну, например, почему ты Правительство наше так любишь... И так далее... Понима-

ешь — мне нужно думать, как ты, чувствовать, как ты... И больше ничего!..

Матвеев исполнял ее желание; — обдумывал строго, что ей купить; даже советовался кой с кем; ездил по магазинам и выбрал книги с большим тактом... Он думал прежде всего о том, чтобы она не скучала и не тяготилась ими и чтобы все существенное было сразу ей доступно... «Не точность нужна ей и не диалектика; ей нужна картинность», — справедливо думал он, выбирая.

Соня принялась прилежно прежде всего, по его совету, читать об атомах в книге Ульрици «Бог и природа» и статью Страхова все против тех же атомов... Скоро уставала; делала усилие; принималась вновь и потом, складывая книги, говорила сама себе: «Нет! я вовсе не серьезного ума женщина. Я не понимаю философии... Я просто была самолюбивая, гордая и сердитая девчонка, которая завидовала всему, что выше, знатнее и богаче ее, и потому и увлекалась нигилизмом... Дура пустая!.. И дура не добрая... Так и ему скажу».

И когда Матвеев спросил ее: «Ну — как у нас идет с атомами?» Она ответила ему: «На что мне эти атомы! Мой друг... Напрасно ты об них беспокоишься... Прикажи — чтобы их не было, и не будет!.. Вот и все!..»<sup>20</sup>

Но Матвеев из этого самого ответа увидел с удовольствием, что она все-таки поняла приблизительно, чего хотят Ульрици и Страхов...

Он немного проэкзаменовал ее и, несмотря на то, что она выражалась неточно, остался доволен сущностью ее ответов и особенно тем, что она, между прочим, сказала: «Главное дело в том, значит, что и перед наукой благоговеть не надо; — и ее основания темные... А если они так же темны, как и основания религии, так я вольна, я думаю — выбирать, не рискуя быть глупой в глазах порядочных людей...»<sup>30</sup>

Матвеев одобрил это простое и верное соображение; поцеловал за него ее руку и, когда она после этого сказала ему: «Ты бы сам лучше мне что-нибудь объяснял» —

очень охотно прочел ей небольшую лекцию о том, что он называл: «философия моего домашнего обихода».

И такие маленькие лекции стали повторяться часто по желанию Сони. Иногда она слушала с большим вниманием и делала дельные вопросы; иногда же уносилась мечтами вдаль и в невозможное; воображала себя даже на минуту женой его, — и ничего уже не слыхала... Один раз Матвеев во время объяснений своих заметил, что лицо ее вдруг изменилось и что она вздрогнула.

<sup>10</sup> — Что с тобой? — спросил он.

— Так, вдруг озноб какой-то нервный; это со мной бывает, — сказала она, краснея...

Она солгала. Ей представилось в эту минуту, что Лина поедет весной из Валахии в Крым через море; что будет буря, она утонет, и Матвеев будет свободен... Движение преступной ее радости при этой неожиданной мысли было до того сильно, что она ужаснулась, побледнела и вздрогнула вся.

<sup>20</sup> Иногда Матвеев не хотел судить серьезно, а просто был весел и делал бессмысленно-забавные вещи. Раз, например, он остановился с Соней на Невском перед книжной лавкой, в которой были выставлены фотографические карточки знаменитых людей. Матвеев обратил ее внимание на Бокля.

— Посмотрите, пожалуйста, что за глупое лицо... Рот даже разинул... Помилуйте, да это дурак набитый. По лицу видно, что болван. Это невозможно терпеть!

Вошел в лавку, купил карточку и тут же на Невском разорвал ее пополам и бросил...

<sup>30</sup> Один прохожий, штатский, видный и очень хорошо одетый человек, с удивлением строго взглянул, проходя, на эту сцену. Соня смутилась; но Матвеев был очень доволен.

— Послушайте, — сказала Соня, уходя от него подалее, — ведь в этом смысла нет! И при вашем положении в обществе можно ли так дурачиться!

Матвеев видел хорошо, что и эта бессмысленная юнкерская его выходка Соне понравилась... Удивление и гнев

ее были так неискренни, — а любовь была уже так сильна и пламенна.

Скоро и Матвеев дошел до того, что каждая минута, которую он проводил без Сони, казалась ему потерянной. Он уже позволил себе несколько раз обнять ее душевно, и прикосновение это пробудило в нем тысячи новых ощущений. С ужасом услышал он в самом себе впервые мгновенный вопль о том, что он связан и браком и как бы отеческим долгом против Лины, и ему казалось, что забытая жена простирает ему издали беспомощные руки... Ему <sup>10</sup> стало страшно на мгновение...

Любовь являлась уже перед ним во всеоружии своем. Он уже переступил за ту черту, за которой еще возможна победа воли, но невозможно равнодушие. Он уже начинал *страдать* — но, Боже! как сладко и задумчиво было это милое страдание....

Вставая поутру, он взглядывал в окно — и уже ничто ему не было чуждо в столице... Столица эта, которую он так не любил, начинала улыбаться ему кротко или весело, как улыбался ему когда-то Царьград и крымский домик <sup>20</sup> бедного предместья...

Он раскрывал Пушкина, и Пушкин молодец для него, переложенный на музыку его собственных чувств...

Вспыльчивая, своенравная, иногда, быть может, и жесткая Соня для него была уже «ангел»... И он был прав — для него быть ангелом и ей самой уже казалось легко. Голос ее становился мягче, приемы тише и покойнее с каждым днем; она находила наслаждение в том, чтобы слушаться его. Она говорила ему: «Не будь так справедлив и вежлив со мной, мой милый! Не доказывай уж мне <sup>30</sup> больше ничего, не проси меня никогда ни о чем... Приказывай, и я буду гордиться этой ролью рабыни!»

К бабушке своей Соня стала в одно и то же время и внимательнее, и равнодушнее. Она не успевала почти думать о ней; — она считала ее счастливой — что ей предстоит кончить жизнь в деревне Матвеева, и завидовала ей.

Потребность быть одним так у них усилилась, что не только Сою, но и Матвеева начинало тяготить присутствие Анны Петровны. При ней надо было вести другие разговоры; нельзя было долго жать молча друг другу руки; нельзя было так улыбаться друг другу, как им хотелось улыбаться, как они умели, когда были одни.

Но они оба с большим усилием принуждали себя, и Матвеев поставил себе за правило раза хоть три в неделю проводить вечера в маленьком домике у Таврического сада. Но он не мог с точностью назначить дни, в которые он по вечерам будет свободен; — нельзя было отказаться от других сношений — нужных для службы и связей. Иногда он предупреждал Сою с утра, что будет свободен; иногда являлся невзначай...

И вот однажды ему случилось подойти неожиданно и довольно поздно пешком к жилищу Киселевых и взглянуть осторожно в освещенные окна. Он дельвал это не раз и прежде и почти всегда видел Сою то с бабушкой в их маленькой приемной, то одну в ее собственной узенькой комнатке у письменного стола, согнутую над его выписками. Она его ждала всегда и боялась уходить к подругам.

На этот раз ее не было. Анна Петровна одна сидела боком к окну перед столом в очках и читала книгу на маленьком пюпитре. Лицо ее было очень серьезно и печально... Матвеев все смотрел, раздумывая, взойти ему или нет.

Ему было очень жалко старушку; ее прошедшее в Крыму — богатое и привольное — тотчас же вспомнилось ему. Она представилась ему вдруг еще видной тогда и бодрой дамой в шолковом gris-de-lin платье и в белой шляпке с белыми ландышами, в коляске четверней у крыльца их горного дедовского имения *Отуз*, и представилась тут же его собственная покойная бабушка, которая не без волнения, такая толстая и тяжелая, спешит по зале и зовет мать его: «Киселева! Киселева приехала!» И он, дитя еще, думает: «Боже! — Какие есть важные дамы на



свете!» И бежит — и тоже кричит: «Мама! Мама! Киселева приехала!»

Ему не хотелось заходить без Сони; — но когда эта картина нежданно-негаданно вспомнилась ему, он почувствовал потребность принудить себя и скрепя сердце вошел в калитку и присидел долго один на один с Анной Петровной.

Судьба вознаградила его за это доброе движение и послала ему в тот же вечер большое утешение.

Анна Петровна почти с первых же слов начала благодарить его за то хорошее влияние, которое он имеет на Соню. Внучка стала с ней гораздо внимательнее, вежливее, нежнее. И даже... даже... «Меня это ужасно удивило! — сказала Анна Петровна. — Она вчера, уходя спать, вдруг говорит мне: „бабушка, перекрестите меня так, как вы крестили меня всего еще года три, четыре тому назад, когда я была доброй девушкой, а не такой гадкой оторвой, какой после стала”. — Сама руку протянула и сконфузилась... Краснеет!.. И так и выразилась — «оторвал!» *C'est un vrai miracle! mon ami!*»

Анна Петровна рассказала по этому поводу и о том, как Соня действительно года четыре тому назад сразу прекратила этот семейный обычай; — уходя спать, она не подошла под благословение и только издали сказала: «Покройной ночи, бабушка; — я ухожу»...

Анне Петровне показалось, однако, что у нее немного дрожал голос.

— Я вам уже не раз говорила, — прибавила старушка, — что я вовсе не формалистка... *Sependant les traditions de famille et les anciens usages valent quelque chose, n'est ce pas?*.. Меня тогда эта выходка до того поразила и взволновала, что я не могла почти всю ночь спать.<sup>30</sup> Слышу — и она не спит; — виден свет у нее из-под двери. Квартира, видите, какая; — два шага — все слышно. Слышу, плачет. Я не выдержала; подошла тихонько; постучалась. Молчит... Я ей: «Софи, что с тобой?..» — «Оставьте; не терзайте меня». И как топнет ногой. Я ушла, и с тех пор до вчерашнего вечера она уже

никогда со мной как следует не просталась. Вообще — она переменялась к лучшему; — я даже застала ее раз с Евангелием в руках... Это удивительно! А еще недавно она говорила: «Что там в Евангелии? Ничего там особенного нет!.. Не понимаю, что это люди с ним так няньчутся»... *À la lettre* — «няньчутся»! Каково положение?.. И всем этим хорошим я, конечно, вам, мой друг, обязана... Позвольте вас поцеловать как сына!

Матвеев, обрадованный и растроганный, целовал руки и сморщенные щеки старухи и после этого еще сильнее влюбился в Сою.

Возвращаясь домой пешком этой морозной и звездной ночью, он был и озабочен, и смущен, и невыразимо счастлив. Ему теперь впервые показалось, что он уже имеет на Сою неотъемлемые, особые права; — но вместе с этими правами являлись и обязанности, которых сам он не предвидел.

Он находил, что он теперь уже настолько и восхищается ею, и жалеет ее, что имеет право позволить себе *все*.  
<sup>20</sup> Да — *все!* (думал он). Но как и когда — вот в чем дело, чтобы не повредить ни ей, ни бабушке, ни Лине? Не огорчить ни одной из них, не оскорбить...

И теперь борьба имела для него, конечно, нравственный характер; — но боролась в нем уже не воздержанность и не слабый луч целомудрия с легкомысленными привычками изящного и тонкого волокитства, как было вначале; — теперь борьбу вели в его сердце доброта и честь, справедливость и сострадание — с охватившими его почти неожиданно идеальной любовью и плотской страстью к этой бледной, оригинальной и болезненной девушке.

<sup>30</sup> Даже эти немного косые глаза ее в иные минуты внушали ему почему-то глубокую и тихую почти отеческую к ней нежность; а в другие — пробуждали в нем те грубые порывы, которые могут пробудиться во всяком — во всяком здоровом мужчине, особенно если у него воображение так сильно, как оно было у Матвеева.

Он шел все время пешком до самой гостиницы своей; часто взглядывал на звездное небо — и думал:

— Вот они звезды... Вот они!.. Кто знает, что с нами завтра будет и где мы будем... Ну, что ж за беда! «Мертвый мирно в гробе спи; жизнью пользуйся живущий!»

И вспомнилась ему старая песня:

Век юный, прелестный,

Стрелой пролетит —

Ведь все в поднебесной

Изменой грозит! —

Лови, лови часы любви...

10

И он продолжал думать:

— Конечно, мой век — быть может, и прелестен; но он все-таки уже не юный! Положим — он гораздо прелестнее теперь, чем был в юности... Что в ней толку, в этой неловкой, неумелой юности... Она-то и не умеет «ловить часы!» Однако — в мои года и при тех сложных обстоятельствах — нельзя давать себе сразу полную волю... Надо быть «мудрым»... Надо вести себя и при страстном состоянии так, чтобы после не потерять к самому себе 20 уважения... Мне необходимо, чтобы я был доволен собой... Вот Гёте — вечный всем и великий пример... Умел и увлекаться, и обуздывать себя, не теряя никогда из вида главных целей своих. Надо уметь быть счастливым! Вот в чем мудрость. Не многие это умеют. Кто благороден и добр и в то же время самолюбив, тот не может быть и счастлив и собой доволен, если он — для удовлетворения любовной страсти своей — терзает тех, кто его сердцу близок. Надо обдумать, надо приготовить почву для того, чтобы цветы, которые должны расцвести на ней, были 30 только душисты, но не ядовиты; не вредны никому. «Спешите медлительно» — но верно и настойчиво!

С такими мыслями вошел он в номер свой; велел подать себе бутылку рейнвейна; сел в кресло; закурил сигару и еще раз весело сказал себе:

— Надо уметь быть счастливым! И я сумею!

Он взглянул после этого на портрет жены, который стоял на столе. Портрет был далеко от него и слабо освещен одной свечою. Лица нельзя было рассмотреть; но это ему и не было нужно; — он воображал Лину перед собою как живую, и говорил себе: «Да — главное несчастье только в одном... В том, что она до сих пор мне верна... Прежде всего — надо бы устранить это затруднение... Мне для моего счастья необходимо, чтобы она была весела и счастлива. Как быть?... Впрочем, быть может, какая-нибудь встреча... Наконец!.. Я в звезду свою верю. И к тому же я столько раз говорил ей прямо: «Мне не верность твоя нужна, Лина, голубчик мой, а твое счастье и, конечно, твое достоинство. Достоинство — сохранить можно». Она восставала всегда против этого ужасно и говорила: «я не могу любить другого!» или: «Мы в церкви венчались!» Но мысль все-таки западает и позднее приносит плоды... Да! эти сегодняшние звезды на небе и моя звезда!.. Теперь Министр Иностранных Дел хочет, чтобы меня ему представили... И я этого сам сильно желал... И это нужно; — очень нужно... А я стал вдруг теперь так неразумен, что через силу поеду завтра вечером к NN... знакомиться с ним... Через силу потому, что лишусь возможности провести с ней один лишний вечер... Безумие! Безумие!... Но как оно приятно — Боже мой — это безумие!.. Мог ли я все это предвидеть, когда гулял осенью в Таврическом саду!..

### III

Соню часто тревожила мысль о том, был ли Матвеев всегда верен жене, или нет. Она понимала, что привязанность и верность — две вещи разные у многих людей.

Однажды она потребовала непременно, чтобы Матвеев возобновил прерванный рассказ свой о Лине, и хотела узнать, как они жили после.

Матвеев рассказал ей подробно о том, как они с Линой под руку вышли из церкви, как те же самые армянки и

гречанки, которые хотели выгнать Лину с своей улицы, стояли теперь все у своих калиток, все были как будто рады и поздравляли их.

Как он заказал Лине много новых платьев у французенки, которая шила не хуже столичного, как Лина в первый раз надела шляпку дорогую и с каким достоинством она себя держала. Он повел ее с визитами только к той бедной капитанше, которая не оставляла ее в горе, и отправил в гарем к булочнику-татарину. В свой круг он ее не вел, не желая никому ее навязывать, — до тех [пор] пока 10 некоторые знакомые его не спросили у него, «отчего он не привезет к ним жену свою?»

Одел он Лину, как только умел щегольски, и повез ее делать визиты тем, которые ее звали. Кто не звал, к тем Матвеев ходил сам, но ее не вез.

Матвеев сознавался, с каким беспокойством он следил и за ней и за другими.

— Ведь это так легко из прелестной крестьянки стать отвратительной дамой, — сказал он, и Соня должна была согласиться с ним. 20

Но Лина сделала мало ошибок; разговор ее был детский и простой; и не застенчивый и не дерзкий.

Собой она вдруг показалась ему опять в иные дни почти красавицей; платья к ней все шли; танцевать она умела хорошо (еще у Мадамы в Константинополе она отличалась между своими несчастными подругами)... Повеселела, опять стала шалить и капризничать, как прежде... Становилась опять на колени и просила подарков; — опять стала громко петь веселые песни и танцы, — опять стала Линой... Оживала она сама, оживало и чувство в сердце Матвеева. Вместо того чтобы 30 чувствовать на себе бремя, как он чувствовал, пока она была несчастной любовницей его, — он дышал свободнее и добрее.

В обществе Лину ласкали; — мужчины были к ней внимательны и вежливы; дамы еще больше (хотя и не все); — иные просто осыпали ее вниманием и лаской.

Матвеев радовался и за себя, и за Лину, и за общество. Веселились они вместе с Линой до осени и проживали деньги.

«В деревню нашу, — рассказывал Матвеев, — мы с Линой ездили сперва на одну только неделю, — я хотел только представить ее родным, — а потом переехали совсем.

Скажу тебе вот что еще. Самолюбие ли это было или что другое — только как я женился — так для меня стал<sup>10</sup> чуть не святым всякий, кто был добр и любезен с Линой; — чуть не врагом был тот, кто, мне казалось, был с нею сух. Я даже отстранял мысль о том, жена ли она мне или нет — и думал: „тот не хорошей души человек или глупый, кому Лина не нравится”. У меня был молодой крепостной слуга: я любил его, и он был ко мне привязан; в год моей свадьбы он уж был свободен, но не хотел расставаться со мной и везде со мной ездил. Разумеется — пока Лина была только любовницей моей — он обращался с ней просто, по-братски; она сама поила<sup>20</sup> его кофеем, завтракала вместе с ним, говорила ему *вы*, сама иногда прислуживала ему, подавала что-нибудь, когда он без меня заходил к ней, и спрашивала у меня: „Хорошо я так делаю?” Я говорил: „Хорошо!” И что ж в самом деле тут было худого? Но он как верный слуга не мог любить ее (я понимаю это) — он видел, что я для нее лишал себя многого. Он даже иногда говорил мне о ее лени, о том, что она ничего работать не любит, подозревал иногда, что она мне не верна на разных пустых основаниях. Он узнал о том, что мы женимся, только<sup>30</sup> накануне свадьбы поздно вечером. Он с горя напился пьян, чего с ним никогда прежде не случалось. И во все время пока мы были в церкви, он бродил около ограды, но в церковь не входил. Потом ушел из дома на целый день. Когда он вернулся — я дал ему много денег и сказал ему: „Иди куда хочешь. Теперь кто ее любит, тот мне друг; а кто не любит ее, тот мне враг!” И отпустил его.

Через год он, однако, опять вернулся к нам, и сама Лина целый день просила и умоляла меня взять его опять; но я не согласился. Еще дал ему, что мог, и опять отпустил его...

Представь себе, — я почти то же самое чувствовал одно время и к матери моей. В самый день свадьбы я написал ей письмо и просил простить поспешность, с которой я женился без ее благословенья. Мать отвечала хоть и ласково, но очень грустно, и мне это не понравилось. „Великодушные это вредно и для тебя, и для нее самой (так она писала). И благородству есть предел — здравый смысл!”<sup>10</sup> Однако она благословляла нас и звала в деревню. Приехали мы вечером. Мать, обнимая меня, заплакала; и в том, как она поцеловала Лину, видна была неискренность. Бабушка, напротив того, была просто вне себя от радости. Я угадывал ее чувство; она думала: „Теперь он женат, он остепенится и никогда не оставит нас!” Мог ли я ожидать заранее, что моя развитая, идеальная мать так сухо встретит мой поступок, а простая моя бабушка забудет свое дворянство и чины мужа покойного и так обрадуется нам!<sup>20</sup> Мне это было больно. Лина тоже видела эту разницу, и я сознался ей, что я готов теперь бабушку за это полюбить больше матери. Впрочем, жили мы все вместе хорошо; мать старалась быть любезной с Линой как могла, занималась ее туалетом, делала ей очень осторожные замечания и начинала даже хвалить ее добрый характер. Однажды я сказал ей: „у нее и поэзии много!” А мать ответила: „Извини, мой друг, поэзии-то я в ней не вижу никакой. — Просто хорошая женщина. Она, наконец, слишком полна, чтобы быть идеальной...”<sup>30</sup>

Меня это так огорчило (на минуту, впрочем), что я ответил матери: „Неужели поэзия только в натянутой сентиментальности. — Ведь за этим иногда сухость и неумение понять всякое другое достоинство, а в худобе что хорошего?”

Слова мои не были, конечно, словами доброго сына в эту минуту, и бедная мать, которая всегда была худоцава

и несколько сентиментальная, покраснела и переменяла разговор. Я успокоился только тогда, когда взял ее с собой гулять вечером и дорогой целовал ее и просил любить мою Лину. На это мать мне сказала: „Я люблю ее немножко; но что ж мне делать, если я не того ждала для тебя!”

Бабушка зато очень легко привыкла к Лине, и они скоро стали вовсе без церемонии друг с другом. С матерью Лина была только почтительна; но с бабушкой она так же дурачилась, как, бывало, прежде со мной. Хватала ее; <sup>10</sup> целовала, обнимала так крепко, что старуха кричала: „Ах! мать моя, караул! Задавила! Она совсем сума(с)шедшая — эта цыганка негодная!”

Бабушка возила ее с собой в город к обедни и ко всенощной; возила по дальним монастырям; после церкви делала с ней визиты знакомым и даже лавочникам на базаре рекомендовала ее: „А вот это моя внучка. Она не здешняя, она из Молдавии, — внук мой очень полюбил ее и женился на ней”. Нищему даже одному в городе рекомендовала ее; бабушка знала его давно и всегда собирала для <sup>20</sup> него все старые бутылки в доме, и он потом продавал их.

— Знаешь ее, — это внучка моя. Когда я умру — она будет моей наследницей и будет тебе отдавать все бутылки...

Раз она с горничной своей даже презабавно поссорилась через Лину. Горничная эта тоже была прежде наша крепостная; но осталась при бабушке. Она была еще молодая девушка и с Линой подружилась; они вместе гуляли, песни пели и даже советы очень благоразумные эта горничная иногда ей давала. И Лина ее слушала и потом <sup>30</sup> говорила мне об этом:

— Как она, скверная, хорошо разговаривает! Постой, постой — как она это говорит?.. Ах да! „Вы очень приятная личность”. Я так не могу говорить, как она! Какая досада.

Вот раз слышим — бабушка на эту девушку кричит. Что такое? Узнаем, что бабушка стала беседовать с ней и хвалить Лину.



— Один только у нее недостаток, — сказала бабушка, — по-французски не знает!

А горничная ей отвечает:

— Какой же это недостаток; вы и дворянки вот, да сами не изволите знать ни слова по-французски.

Вот за это бабушка рассердилась, и насилу мы ее успокоили.

— Какова дерзость! Какова дерзость! Ну, не ожидала я этого от нашего Правительства, чтобы оно вас на волю отпустило! Что бы я с тобой сделала бы за это, если бы ты была крепостная!..»

Рассказывая это Соне, Матвеев от всего сердца смеялся.

Но Соне было нужно не то. Она решилась прервать его и сказала: «Нет, друг мой, ты скажи мне, как вы после жили, после?»...

— Как мы жили после?

Матвеев не знал с чего начать, так много разнообразных воспоминаний, и драгоценных, и грустных, и забавных, и веселых, витало перед ним... 20

Он остановился на одном — и лицо его омрачилось. Он вспомнил еще раз о матери и бабушке и сказал Соне:

— Вот самое мрачное пятно на всей истории моей женитьбы — я стал меньше любить после этого мать! Это ты знаешь. Знай же еще вот что. Она умерла одна-одинешенька в нашей деревне. Бабушка была счастливее ее; — она умерла через год, не больше, после нашей женитьбы на наших руках. Лина ходила за ней так хорошо, как я никогда и ожидать бы не мог от ее ветрености и лени... И не то чтобы ходила; — это я дурно сказал! Она лелеяла 30 старуху, она утешала и веселила ее как могла... И я делал, что умел. А мать моя скончалась одна на руках у слуг — уже тогда, когда мы были в Польше на войне... Я получил известие об этом на другой день после одной схватки с поляками; — мы веселились с офицерами... Я прочел письмо и... Вот что ужасно в жизни нашей! Огорчила меня не смерть матери, а мое равнодушие к ней...

Воспоминание это было так тяжело для Матвеева, что он сам поспешил переменить предмет рассказа и сказал:

— В Польше мы жили хорошо... Ты спросишь — как я вздумал ехать в Польшу? Я стал скучать и тосковать в деревне нашей. Не Лина в этом виновата. Так могут думать только дамы, которые спрашивают: «Читали ли вы „Матрешку“?», и их бедные счастливые мужья. Для ума пища была у меня: чтение, беседы с матерью... Мало ли что... Я бы мог стать хозяином... Но что ж мне делать!

<sup>10</sup> Слушай!

Жил около Керчи, в маяке, один добрый, скромный офицер. — Маяк в глухой степи на берегу пролива, степь кругом зеленая; жена тоже добрая, простая, молодая... Дети милы; овечки, коровы, козы, степь... Мать-старушка... Я ужасно любил и уважал этого офицера и ездил к нему всегда с радостью... И любовался на них... (Говоря это, Матвеев глубоко вздохнул.) Да! я любовался! Но могли я сам жить, как простой и добрый семьянин и хозяин?.. Нет — никогда!.. Никогда...

<sup>20</sup> Он остановился, поглядел на Соню и вдруг засмеялся тем громким, откровенным смехом, который Соня без ума в нем любила.

— «Nonneur aux hommes utiles!» — воскликнул он. — Не правда ли? И я их чту и поклоняюсь им, если угодно... Но как решить, кто истинный homme utile?

Как настала смутная година — вспомнили все о людях иного закала. Я, помню, сам с ужасом думал: «Итак — Европа осмелилась предписывать нам свой закон!?!» С ужасом ждал известий из столицы и Польши и думал:

<sup>30</sup> «Кто ж поднимет на себя теперь ношу кровавой ответственности и ударит Европу по лицу русской рукавицей!» Я не могу выразить тебе радости моей, когда узнал, что туда едет Муравьев... Я читал «День» и чувствовал, что становлюсь с каждым часом (да! с каждым часом) больше и больше русским. Прежде я хоть и любил Церковь — но только так, как любил покойную бабушку, т. е. что ее обижать не надо. Прибавь ты к этому и честолюбие...

Разве не приятно сказать: «Друзья мои! Вы думали, что я скромная жертва моей доброты! О! ради Бога не жалейте меня. Милая Лина моя не помешает мне пробить себе дорогу к почестям и... может быть, и к славе, которой вы позавидуете». Вот я и поехал в Польшу служить и воевать! И Лина поехала со мной.

— А в Польше вы хорошо жили? — спросила Соня.

Матвеев все еще не догадывался, чего хочет Соня, и увлекся рассуждениями о том, что ему кажется (как это ни странно), будто семейные чувства и военный быт сопряжены глубокой внутренней связью.

«Опасности и поэзия войны, и самые неудобства, которые переношишь, привлекают сердце к друзьям и домашнему очагу, который легче опошляется при обыкновенном ходе гражданской спокойной жизни»...

— Я помню, — сказал Матвеев, — нашу опасную переправу вплавь с уланами через реку... Что это было за чувство! А Лина жила в это время в Варшаве.

— Ах! Не то ты мне говоришь, — решила наконец сказать Соня. — Все это интересно, и я смерть люблю твои рассказы, но я теперь хочу узнать другую вещь...

(Матвеев увидел, что она покраснела и приостановилась.)

— Я хочу узнать, — продолжала Соня, — я помню, ты мне говорил, что готов ей все простить... Но она-то, она — была ли она всегда верна тебе?

— До сих пор всегда, — сказал Матвеев; — хотя я никогда ни слова не говорил ей об этом и всегда был рад донельзя, когда она веселилась с молодыми людьми, ездила одна с кем-нибудь кататься или гулять без меня... Я гордился этим.

— Может быть, случая не было, — сказала Соня.

— Были и случаи, — отвечал Матвеев. — С ней познакомился без меня один познанский немец с польской фамилией. Он ни слова почти не знал по-русски, она по-немецки и по-польски не знает. Меня долго не было около нее. Он бросал ей в окна букеты, заставлял других писать

ей русские записки. Она распускала волосы по плечам и в белой блузе садилась вечером у окна и сознавалась мне потом, что он очень ей нравился. «Только тебя мне было очень жаль! — так она сказала; — и потом я думала, — кто знает, может быть, и в самом деле грех — ведь мы в церкви венчались».

— А он, этот поляк, — прибавил еще Матвеев, — такой красавец был, что не мне чета! Я редко видел таких рыцарей. Рост ли его взять, приемы, черты лица, — все это было верх изящества и силы! Одни глаза его голубые и глубокие чего стоили. Лина хорошо про них сказала: «Точно святые глаза, точно в небо все смотрят!»

— Ну, хорошо, — сказала Соня, — а ты? Ты был ей верен?

Матвеев сперва засмеялся, потом немного покраснел, отшучивался долго, и наконец сказал:

— Я был ли верен? Что значит верность? верность духа или верность плоти? Разговор об этом труден...

— Пусть труден, я пойму, — возразила Соня.

20 — Так пойми из этих слов. Как я сказал — верность духа и верность плоти — разница... Ты хочешь откровенности — чего же еще откровеннее этого?

— Это не совсем по-славянофильски, — заметила шутя Соня (ей стало вдруг веселее и легче после этих слов Матвеева).

Матвеев, напротив того, задумался, вздохнул глубоко и, опустивши глаза в землю, сказал печально: «Какой я Славянофил! Такие ли были! Что ж делать мне — я стал Славянофилом поздно и не вдруг!..»

30 Разговора этого продолжать он не хотел более и, чтобы развеселиться, припомнил другое обстоятельство из своей жизни и рассказал его Соне.

— В числе разных людей, которые хвалили меня за брак мой, была и та модистка, француженка, которая шила Лине платья. К осени мы промотали с Линой все деньги, которые у нас были, и остались ей должны. Когда я решился ехать на войну в Польшу, я зашел просить эту

француженку отсрочить долг. Она сказала: «Я вам верю; если бы вы не были честный человек, вы бы не женились так, как вы это сделали...»

— Ну, так что ж? — спросила Соня.

— А то, что я не знаю как это — только я до сих пор не заплатил ей долга...

— Отчего же это? Это стыдно! — почти с негодованием воскликнула Соня.

Матвеев пожал плечами и ответил:

— Клянусь честью — сам не знаю! У меня всегда долги. Я думаю, это оттого, что я без ума люблю азиатское барство и роскошь... А силы нет! Иногда бы я так желал быть, как бы это сказать? Православным, русским Сатрапом в Азии... Чтобы иконы золотые висели по углам, чтоб колокола звонили утром, — а вечером чтобы вокруг меня журчали фонтаны и плясали мусульманские баядерки. Для вас, сгнивших здесь в Петербурге, все это кажется сказкой, а на Востоке все это еще возможно и было бы еще возможнее, если бы русские были умнее... Все это даже и вашему прогрессу не мешает... Я знаю, что, к сожалению, без некоторых сторон его нельзя обойтись, хоть скучаю, страх, от этой уступки.

Как узнала Соня, что Матвеев был не всегда верен Лине, и, кроме этого, чем больше говорил он ей о своем прошедшем и настоящем, пользуясь всяким поводом, чтобы высказывать и общие взгляды свои, тем ближе узнавала она его; его недостатки, его прошедшие ошибки, страдания и добрые дела, и ловкие и смелые поступки. И чем больше он становился в ее глазах тем, что зовут иные «живая душа», — тем крепче привязывалась она к нему с каждым днем и тем отвратительней и ничтожнее казалась ей та бесцветная молодежь, которая ее окружала, и даже, сознавая, что в Несвицком, например, было больше цельной простоты и непоколебимых убеждений, что врожденной силы воли и спокойствия в нем было больше, чем в Матвееве, который был ни силен ни слаб, — сознавая все это, она любила Матвеева только больше за то, что он

«живая душа», и в иные минуты ненавидела даже память Несвицкого. Давно она и не взглядывала на портрет его, но однажды, сидя дома перед письменным столом своим, она увидела перед собой прекрасную фотографию своего первого любовника и с негодованием обратилась к нему мысленно.

«Что ты смотришь на меня исподлобья? Я твою твердость теперь ненавижу, слышишь ты это, несчастный?.. Что ты за человек, скажи мне! Никогда ни грустным, ни <sup>10</sup> очень веселым ты не был, не потерялся ни разу, не страдал, я думаю, ни разу сильно... Что мне в твоей сухой энергии? Даже лицо твое было не по годам возмужалое, и юношеского в тебе не было ничего. Матвеев моложе тебя».

С этими мыслями Соня сняла портрет Несвицкого со стола и повесила его на стену в темном месте.

«На, виси здесь, скучный гражданин!» — воскликнула она громко и отвернулась.

#### IV

<sup>20</sup> Есть ли возможность изобразить всю сладость созревающей любви? Улыбки, вздохи, шутки, веселость и грусть, минутные раздоры и восторг примирения — все это занимало Матвеева и Соню, все это нравилось им друг в друге.

Несмотря на всю живость своего нового чувства, Матвеев держал себя все еще довольно строго и очень редко позволял себе даже целовать Соню. Это случалось (как тогда после оперы в карете) под влиянием нестерпимого чувства; в обыкновенное же время он едва осмеливался <sup>30</sup> подносить ее руку к своим губам.

Соня не понимала, зачем он так воздержен. Принадлежать ему хоть один месяц — казалось ей неизъяснимым счастьем, и он почему-то не хотел ей дать этого счастья.

Не раз собиралась она писать ему письма и на бумаге сказать ему то, что стыдливость мешала сказать на словах, но каждый раз рвала эти страстные письма в куски.

Однажды только сделала она намек, и того Матвеев как будто бы не понял.

В этот день она была опять очень слаба и нездорова, и ее не покидала мысль о ранней смерти.

Матвеев пытался развлечь ее своими рассказами о былом, которые она всегда любила.

Но Соня была невнимательна, и Матвеев заметил это. <sup>10</sup>

— О чем ты думаешь? — спросил он.

— Я думаю об тебе, — отвечала Соня, — и мне кажется, что ты похож на тех стариков, которые думают только о спасении собственной души, когда подают грош нищему, а до самого нищего ему дела нет... Весь мир для тебя какая-то арена, на которой ты проявляешь свои добродетели...

— «Арена». «Проявляешь»... Закрой книжку, — сказал Матвеев сухо.

Соня оскорбилась. <sup>20</sup>

— Я не могу же в угоду тебе стать наивной крестьянкой; — возразила она, краснея. — Я и то себя не узнаю...

— Что же? Разве ты хуже стала прежнего...

— Хуже ли, не знаю. Но я прежде себя уважала; я трудилась; я сама кормила мою несчастную бабушку. Я знаю, что я ненавидела и что любила. Все мне казалось просто и легко. Теперь я сама не знаю, во что я верю и во что нет... Ты разрушил во мне все прежнее и не дал мне ничего взамен... Я теперь себя не уважаю. Я почти живу на твой счет, как самая жалкая гадина, и не имею <sup>30</sup> даже тех отрад, которые есть у этой гадины. Когда бы за все это унижение, за рабство мое, за мою слабость, за все эти мысли, которые сводят меня иногда с ума, я бы видела по крайней мере, что ты меня без ума любишь, — было бы из-за чего терять все это... А этого я не вижу. Я не верю любви, которая слишком честна и благоразумна.

Матвеев на это не отвечал и продолжал задумчиво глядеть в окно.

Соня долго ждала его ответа и спросила наконец:

— Ты ответишь мне?

— Пока не отвечу... — сказал Матвеев, — на все придет свое время.

— Если так, я уйду, — сказала Соня и стала одеваться.

Матвеев все молчал и даже не смотрел на нее.

Соня оделась и вышла в коридор; но через минуту <sup>10</sup> вернулась опять, в слезах стала перед ним на колени и рыдая говорила ему:

— Друг ты мой! Царь ты мой... Прости меня.

Она сделала другой раз и другой намек.

В этот день, напротив, она была весела до исступления; ребячилась, делала гримасы, хватала папаху Матвеева и надевала ему ее насильно на лицо; надевала и на себя и, принимая вид развязный и небрежный, ходила по комнате и называла себя: «une fille perdue!»

И потом прибавляла: «Какие дураки! Отчего ж непременно *perdue*? А может быть, напротив того... Все условно, Милостивые Государи, все условно, Messieurs! Абсолютная истина только одна, — сказал знаменитый мыслитель Генерал Матвеев: — это Бог... Tout le reste est conditionnel, Messieurs! Поэтому и не говорите про меня „une fille perdue”».

— А кто ж это про тебя это сказал? — спросил Матвеев.

— Добрые люди, — отвечала Соня.

И она рассказала ему, что на днях в доме одного редактора, которому она поставляла прежде переводы с немецкого и английского, был разговор об ней. Спрашивали люди, куда пропала Соня Киселева и почему она перестала работать в редакции? «Она на содержании у одного генералишки»... — сказал какой-то адвокат. Все засмеялись, и кто-то сказал:

— Вот вам эти передовые женщины! Хорошо говорил Писарев, что от нигилизма до кражи платков один шаг.



И все были рады, что Соня из честной труженицы стала бесчестной содержанкой.

— Что они все рады, — сказал Матвеев, — это меня не удивляет. Нет ничего отвратительнее, как эти русские либералы, нравственные на западный манер... Меня занимает, почему ты рада!

— Я всегда любила, чтобы меня бранили те люди, которых я презираю, — отвечала Соня. — Когда я была еще молода и будто бы любила Несвицкого, — я радовалась, что Княгиня, к которой бродит иногда бабушка и другие ей подобные, ужасается и бранит меня. А теперь, когда постарела и остановилась, понимаешь — в ходе моего прогрессивного развития — мне нравится, что эти люди, которые готовы были мне простить Несвицкого, считают меня теперь «une fille perdue»...

— Слава Богу! — продолжала Соня шутя и перекрестилась. — Перевод им понадобится, так и от генеральской камелии возьмут... А ты вольным духом не робей, значит! Теперь я вот что скажу — про этих разных прогрессистов и либералов, как ты говоришь, на западный манер... (только все еще ты не выучил меня — как бывают люди на манер.....) Ну, хорошо! Это ты выучишь меня после. А я тебе скажу, помнишь, как кто-то описывает чорта в одной повести: сзади он был во фраке, как немец; а спереди у него был на морде пяточок, как у свиньи. Теперь мне все эти редакторы и адвокаты, которых мнения на твои не похожи... мне кажутся вроде этого чорта. Ты извини, голубчик, что я так грубо говорю «чорт», «свинья». Это ведь не я, а в книжке так написано.

И в этой лихорадочной веселости, и в этой радости незаслуженного позора, и во всех шутках этих Матвеев читал ясно огонь страсти, который пожирал его новообращенную подругу. Он опять не отвечал на это ничего; но все это заставляло его спрашивать себя все чаще и чаще: «Вред или польза и счастье было бы для этой девушки в том положении, в котором она теперь, — принадлежать ему?»

Себя самого он не испытывал, он давно все взвесил в самом себе и понял, что как бы ни была она мила, как бы она ни занимала его, но он *не должен* был сделать ее своей любовницей.

Смутно он сознавал вот что: если все будет безукоризненно, то можно будет смело везти и Соню вместе с бабушкой к себе в деревню. Он, еще не говоря об этом Соне, готовил уже письмо об этом жене. Он вспомнил, как Лина иногда говорила ему, сокрушаясь о том, что он <sup>10</sup> часто ее покидает: «Когда бы у меня была молодая какая-нибудь в доме, веселая, или старушка добрая в чепчике, которая сгорбилась бы у камина и рассказывала бы мне что-нибудь... А я бы сидела и об тебе бы плакала!»

— Вот тебе, Лина, и молодая, веселая, и старушка, которая сгорбится у камина, и, когда я уеду, ты не будешь одна.

Но обстоятельства вдруг изменились. Сначала Анна Петровна смутила и расстроила весь план его одним раз- <sup>20</sup> говором.

Ее давно уже преследовали подозрения: она замечала, что внучка изменилась во многом даже к лучшему; стала тише, начала часто вздыхать, стала задумчивее, молчаливее, мечтательнее, к ней самой покорнее и ласковее... Иногда она целовала у нее руку или целовала ее в голову и говорила, вздыхая: «Ах вы, бедная старушка, бедная моя старушка... Не то вышло из вашей Соньки, что вы хотели». И старушка отвечала: «Что ж делать, голубчик мой, — *c'est la volonté de Dieu!* Люби и жалея меня не- <sup>30</sup> много, и то хорошо. Долго ли мне осталось жить. Только мешаю другим».

Однажды бабушка упомянула как-то о том, что на портрете Несвицкого разбилось стекло.

— И хорошо сделало, что разбилось, — сказала Соня. — Говорят, он в Сибири поздоровел от простой жизни. Желая ему всех благ; пускай наслаждается мыслью, что он великий гражданин... А если он думает, что я его

любила, — так это вздор. Разве так любят! Я сделалась его любовницей так себе!.. Думала тогда, что какой-то Святой Дух нигилизма на меня сходит. Фу! как это все гадко...

Бабушка от радости на это не отвечала ничего, но подозрения ее становились все сильнее и сильнее.

«Неужели? — думала она. — Сперва грубый студент, потом женатый человек. Что же это будет? И на краю могилы нет покоя!!»

Винить Матвеева она была не в силах; — внучку тоже не винила; она могла лишь сокрушаться. Она жалела Соню, она беспокоилась об ее судьбе и о своей. Она все-таки не знала жены Матвеева; муж мог быть ослеплен в ней привязанностью. Здесь, в Петербурге, жизнь пошла было своим порядком; хоть это было и не то, чего желала Анна Петровна для своих преклонных лет; хотя горько было ждать смерти со дня на день в стеснении и жить отчасти трудом больной девушки; горько было и о том подумать, что дурное распоряжение прежними средствами довело до такого положения и что придется лечь на Смоленском кладбище Бог знает где и как, и с кем, вместо того, чтобы лечь в своем собственном крымском саду под хорошим памятником, около которого раз или два в год Соня приходила бы с образованным помещиком-мужем отслужить панихиду, и детки их, играя, говорили бы: «Вот здесь наша бедная прабабушка!»

Горько-то горько, но по крайней мере привычно; теперь же одно за другим все вышло иначе. Соня стала болеть; влюбилась, кажется, в Матвеева; если Матвеев возьмет их обеих в Крым, — жена его женщина не светская, — сумеет ли она себя держать против них, и не кончится ли все это еще худшим, чем было!

Она воображала уже себя умершей; Соню больною или беременною в Петербурге без пристанища, умирающей в больнице... Либо, напротив, Соню счастливой (хотя на время) любовницей молодого Генерала; — но зато эту бедную жену Матвеева изгнанной из дома и проклиная-

щей и бабушку, и внучку, которые заплатили ей злом за крышу и кусок хлеба.

Подруга Сони, Варя рассеяла последние сомнения старушки насчет любви Сони к Матвееву.

Варя зашла к ним, не застала Сони и хотела было уйти; но Анна Петровна, которая Варю любила, решилась поговорить с ней откровенно. Она спросила прямо, как она думает, влюблена ли Соня в Матвеева.

— Конечно — влюблена без ума! — отвечала Варя.

<sup>10</sup> Анна Петровна всплеснула руками и воскликнула:

— Что же от этого будет? Как она останется здесь одна, и что будет, если она поедет с нами в Крым!..

Варе все было нипочем.

— Зачем ей оставаться здесь; надо и ее в Крым взять.

— А жена Матвеева?

— Поладят с женой как-нибудь; поссорятся — помирятся. Что жена? На жену смотреть — охота это! Да она же, говорят, и добрая. Вот только у Сони фанаберии много. То говорила мне сначала: «Что я поеду в Крым. Я <sup>20</sup> хочу первой быть; я одалиской у него не буду». А потом, теперь стала другое говорить. Я говорю ей: «Да ты бы не стыдилась, просилась бы в Крым вместе с бабушкой. Жила бы да жила платонически там». А она в ответ мне: «Как это мило! Благодарю за совет. Простой приживалкой у него жить, гувернанткой что ли? Как это весело! Были бы хоть дети у них. Знала бы, что дело есть. А то это я буду даром обязываться!» — «Чего ж ты хочешь?» — я спрашиваю... «Я хочу невозможного. Я хочу хоть год один <sup>30</sup> с ним жить одна-одинешенька и любить его, любить без ума, и угождать ему, и слушаться его, и видеть его с утра до вечера целый день. А потом через год мне все равно. Будь я богата — я бы так и сказала ему: поедем со мной в какую-нибудь русскую деревню на целый год одни; а потом брось меня, если хочешь; я вернусь к бабушке, а ты вернись к жене и, пожалуй, забудь меня. Хочу с тобой я в настоящую русскую деревню ровно на год. Чтоб сперва снег стал таять и чтобы мы вместе к заутрене на Пасху

через рощи далеко бы поехали. И на рощах чтобы листьев не было; а так — как дымок какой-то. А потом, чтобы мы с ним за грибами вместе ходили и за земляникой и чтобы иволга в саду пела, и чтоб галки кричали вечером стадом, стадом большим... Осенью мы бы Пушкина у камина читали, или он мне рассказывал бы про то, как он на войне был. А там бы санки и мороз, и в окна бы ночью я смотрела из дома на темный сад да на сугробы... А весной легла бы в могилу... А он бы уехал и сказал бы жене: „Вот, Лина, я к тебе теперь приехал. Прости ты меня, что на год целый тебя забыл... А Соньку эту несчастную я закопал в землю теперь... Уж не встанет больше!” Вот и все!» — Это она мне говорит, и лицо переменялось вовсе. А я говорю ей: «Бить тебя, бить надо, Сонька!» Когда я узнала, что она так любит его, я сказала: лучше она пусть едет тоже в Крым. А не уживутся — остынет и сама понемножку... Она ж и больна; что ей здесь томиться...

Когда Варя ушла, Анна Петровна думала еще долго об ее словах и не знала — на что решиться. Оставаясь в Петербурге, она бы только опять обременила внучку. Плакать старуха не плакала; уж слезы высохли давно у нее; а хотелось бы плакать.

Подумав еще немного, Анна Петровна написала Матвееву записку, в которой сознавалась ему во всех своих беспокойствах. Она говорила ему о том, что сама не в силах ничего обдумать, что боится за Соню, за него самого, за спокойствие его семейной жизни. «Сравнительно со мной, мой дорогой друг, (писала Анна Петровна) вы все-таки слишком молоды и позвольте мне сказать вам, что и вы можете увлечься».

Анна Петровна прибавляла откровенно, что сама не знает — что предпочесть. «Деревня, конечно, была бы полезнее всего для здоровья Сони, но не его деревня...»

Она не требовала ничего, ни о чем не просила; она только униженно и робко советовалась и говорила одно: «Не лучше ли ускорить определение Сони к какой-нибудь богатой даме».

Письмо это ужасно смутило и расстроило Матвеева. Он не знал даже: скрыть ли все это от Сони или сказать ей... Пока он колебался, — ему принесли с почты другое письмо — от жены.

Лина много писать не умела и не любила; для нее всякое письмо было трудом, к которому она готовилась по целым неделям, и потому она очень кратко и не совсем ясно извещала мужа, что она уехала из Бухареста, простудилась дорогой и заболела в одном из дунайских городов. Уверяла, что он бы не узнал ее, как она худа; что она достала еще денег взаймы на полгода за большие проценты и просит его не сердиться за это. «Очень нужно было». Она писала также, что не будет больше ждать известия от него и с первым пароходом уедет в крымскую их деревню. Прибавляла много жалоб на долгую разлуку. Три-четыре раза повторяла: «Все бросаешь ты меня; все бросаешь, все ты бросаешь меня. Ах! мой друг, как я тебя люблю... Ах, мой милый, как я тебя люблю. Целую все твой портрет и плачу!» Подписывалась: «твоя дура Лина». «Твоя кошка, которую ты ночью на улице поднял...»

И потом, уж в самом низу неразборчиво приписывала несколько строк о деле, которое показалось Матвееву очень важным.

«Ты извини, я привезу с собой в Крым одного молодого. Он мне троюродный брат; 29 лет ему только, и он очень в меня влюблен. Я все смеюсь, и он меня очень веселит, и хочет ехать со мной, и тебя боится. Я говорю: не бойся. Он такой добрый — пусть Лина веселится. Бедный мальчик! Я ему хорошее платье теперь заказала. Я люблю феску, а он все стыдится феску носить, что феска турецкая вещь. Такой здесь глупый народ! Он очень умный и тебя будет, увидишь, еще как забавлять. Храбрый тоже, все драться хочет. А я говорю: куда тебе! Я даже ему очень обязана потому, что девушка от меня ушла, и он за мной смотрит. Я тебя прошу — не сердись. Его имя хорошее — греческое с турецким вмес-

те: Периклес Солпур-Оглу. Он очень влюблен в меня; а я нет».

Матвеев долго ходил в глубоком раздумьи по комнате, и оба письма раскрытые лежали на столе. Так и Соня его застала.

Матвеев показал ей оба письма, и Соня прочла их с волнением.

На письмо Анны Петровны она обратила меньше внимания, чем на письмо Лины.

— Что же это такое? — воскликнула она. — Как это <sup>10</sup> понимать?

Матвеев сказал, что жена никогда ему не лгала и лгать не станет; что надо понимать так, как написано. «Он влюблен в меня, а я нет!»

Соня была очень потрясена этим известием и долго еще расспрашивала Матвеева о характере Лины; — о том, ревнива ли она, вспыльчива ли... О том, какие еще предположения можно сделать насчет сближения ее с Периклесом.

— Прежде всего я скажу тебе, — отвечал Матвеев, — что она очень избалована и судьбой, и людьми. И <sup>20</sup> очень добра. Увидала, что этот мальчик влюблен в нее; он ходил за ней, понравился ей; беден, родственник... Вздумалось взять с собой — и берет. Что ей хочется, — то и делает. А я обязан исполнять все ее прихоти и капризы потому, что я для нее *все*, а она для меня не совсем все... Из семи-осьми лет, которые мы женаты, не знаю — прожил ли я с ней четыре года. Я беспрестанно уезжал, подвергался болезням и опасностям; забывал ее даже на время... Хотя, пожалуй, и никого так нежно не любил, как ее <sup>30</sup> и, признаюсь, едва ли так снисходительно, так нежно кого-нибудь буду любить...

Сказавши это, Генерал покраснел и с улыбкой, и вместе с тем с беспокойством, взглянул на Соню.

— Поняла ли ты меня? — спросил он.

Соня вздохнула и ответила, также краснея...

— Хорошо. Это ее права. А какие твои права?

— Жить, — отвечал Матвеев, смеясь.

Соне стало наконец нестерпимо скрывать свои чувства, и она резко спросила Матвеева — отчего он не хочет брать ее с собой в деревню.

— Я и сама не поеду, — прибавила Соня; — это дело другое. Я знаю, отчего я не хочу ехать. Я хотела только знать — отчего ты не предлагаешь мне ехать. Я хочу, чтобы между нами все было искренно.

Матвееву эта выходка не понравилась, и он, вместо того чтобы ответить на ее вопрос, потребовал, напротив, чтобы она объяснила — почему она не поедет.

Слово за словом — они чуть было не поссорились.

— Я не могу быть второй у тебя! — сказала Соня.

— Стыдись, — отвечал ей Матвеев. — Стыдись! Перед какой женщиной ты хочешь быть гордой! Сумей себя поставить хорошо в доме; будь ей доброй сестрой; сноси с улыбкой ее ошибки, и ты будешь первая; ты будешь управлять ею, а не она тобой...

— По всему ли я выше ее? — возразила Соня. —  
<sup>20</sup> Она гораздо красивее меня; она, верно, гораздо симпатичнее... Что для тебя ученость, что для тебя образование?.. Не сам ли ты говоришь, что хороший солдат, умный, храбрый, русский... для тебя в тысячу раз дороже Дарвина или Гумбольдта, до которых тебе дела теперь нет. Ты их прочел себе, когда хотел, и бросил... Так что ж после этого я значу...

— Однако, — отвечал Матвеев, — есть вещи, которые Дарвин или Гумбольдт поняли бы лучше солдата... И если бы я мог забрать в руки Дарвина и сделать его Славянофилом, обратить его на путь истинный, так он стал бы полезнее и надежнее солдата.

Соня была так раздражена и утомлена своей борьбой, что и эти слова, которые должны были служить ей утешением, огорчили ее.

— Вот видишь, вот видишь, — сказала она с отчаянием. — Какая же я тебе подруга; где ж мой ум? Ведь вся моя надежда была на него. Где ж мне быть первой... Я вот



никогда не умею и предвидеть даже того, что ты думаешь... Вот я никак не ожидала, что ты это скажешь. Я думала, что ты только наивность и простоту любишь и хочешь во всем только старого и простого!.. А ты вот что говоришь!..

Матвеев стал смеяться над ее отчаянием, и Соня, которая, несмотря на вечные свои клятвы покорности, не могла еще вдруг привыкнуть к тому тону высокомерного добродушия, который Матвеев иногда с нею принимал, — рассердилась за это. 10

— Тебе смешно! — сказала она. — Я не могу сносить, когда надо мной смеются... Над женой ты смеешься?

— Конечно, смеюсь, — отвечал Матвеев, тоже раздосадованный; — и очень часто! Сколько раз я громко ей читал ее же письма без запятых и точек, и она смеялась до слез...

— А она смеется над тобой?..

— Иногда... Но этого я, по правде сказать, не люблю. Помнишь, я предупреждал тебя, что я по-своему деспот в семье. 20

Соня, выслушав это, встала, вздохнула, оделась и, уходя, сказала: «Боюсь — не на радость мы с тобой встретились!»

Она даже не простилась с ним, и сам Матвеев, оставшись один, погрузился в раздумье.

Ночью он долго заснуть не мог и в тишине еще раз внимательно обдумал все обстоятельства.

## V

Проснувшись поутру, — он написал Соне письмо.

«Вот что я решил, — писал он. — Я не хочу расставаться с тобой; я не хочу огорчать твою бабушку. Я хочу, чтобы вы с Линой любили друг друга, как самые нежные и добрые сестры. Она привезла этого родственника своего в мою деревню не спросясь. Я не повезу тебя не спро- 30

сясь. Я напишу ей прежде. Я готов *навсегда отказаться от счастья владеть тобою вполне*, чтобы этой ценою купить навсегда твое присутствие в нашем доме. Я сделаю ей все уступки, я *позволю ей все, что она хочет*, чтобы только вы были дружны. Я уверен, что она все это оценит и поймет. У тебя есть ум, которому ты сама еще цены не знаешь; у тебя есть твердость и чувство долга... Твой ум поможет тебе оценить ее качества; она поймет тебя и твое положение своим сердцем. Милый,

<sup>10</sup> бедный друг мой, скажи мне — неужели *плотское* обладание дороже, чем высокий союз наших душ? Я за себя ручаюсь; я буду счастлив. Я готов даже от службы отказаться на время, чтобы жить дольше с вами в нашей крымской деревне... Ты увидишь, как она теперь будет хороша. Я вернусь на службу только в случае войны. Зимой мы будем ездить в города; мы окружим себя молодежью. Вы обе с Линой будете привлекать людей. Какое наслаждение хоть нескольких из наших юношей, которые живут теперь без идеала и мечтаний, сделать

<sup>20</sup> людьми, славянами, внушить им, что они ошибаются, полагая, что наша мысль живет лишь одним *охранением*... Что славизм — это самое молодое из всех молодых направлений нашего века; что в нем есть все, что может удовлетворить человека нашего времени. Заставить их понять, что Европа мчится к падению своему на парах и электричестве; что Высокий Божий Промысл не любит того *пошлого* равенства, к которому хочет привести этот прогресс. Что, низведя идеал на землю в виде мечты о реальном благоденствии, Европа готовит себе гроб, и все

<sup>30</sup> отвратительные изобретения для обогащения и холодного покоя, которыми она так гордится, приведут ее к самоубийству. Тот же гений механизма, который теперь лукаво обольщает прогрессистов удобствами плотской жизни, изобретает новые орудия смерти и борьбы, и то, в чем Запад в слепоте ищет спасенья от пожирающей его пустоты, обратится на его же погибель... Каким путем — покажет будущее!.. Неужели не отрадно было бы убедить

в этом хоть двух-трех молодых людей, даровитых и благородных... Скажи, мой друг, неужели это не радость?..

Я обо всем этом думаю, и мне хорошо. Подумай и ты. Каждый из нас пусть принесет какую-нибудь жертву. Я буду знать, что удаляясь, пока мир, от службы, теряю бездну случаев к повышению. Война, если случится, застанет меня в меньшем чине. Мое поприще будет уже. Не беда! Идут люди не хуже меня в рядовые охотники; а я все-таки генерал и могу принести пользы больше простого охотника. Я принесу в жертву мое честолюбие, и, сознаюсь, — это мне не легко. Ты, мой друг, принеси в жертву гордость твою и молодость твоей крови (прости мне эту грубую прямоту). И я ведь тоже готов принести ту же жертву. Я ведь еще не совсем стар. И тогда, когда вся правда будет на нашей стороне, мы можем быть уверены, что Лина оценит это и согласится разделить с радостью этот образ жизни. Променять ее я ни на кого, даже и на тебя — не променяю; покинуть ее — не покину ни для одной женщины. Я мог оставлять ее в слезах для службы моей, для моего самолюбия, но где бы я ни был — в столице ли, под выстрелами ли черкесов и поляков, я помнил одно, и она это знала, что самый *теплый* угол в моем сердце не займет другая. Я был моложе, Соня, прежде... Мне случалось и танцевать, и веселиться, и говорить любезности другим женщинам, которые были, конечно, образованнее ее, а иные и гораздо красивее. Сознаюсь, я очень хотел нравиться тогда, когда был в Польше и на Кавказе без нее; но и тогда и теперь никакая сказочная королева не вырвала бы из души у меня Лину. Я бы сказал ей: влюбиться — да; любить вас — нет. Кто же будет без меня любить мою Лину? В минуты опасности я тоже не забывал ее. Я говорил себе, слушая, как свистали пули: „Лина моя! где ты теперь, моя Лина! Что ты думаешь? С кошкой, может быть, играешь на полу? Или Богу за меня молишься? Или песни мои любимые поешь и плачешь обо мне?“

Вот как я люблю жену мою, Соня. А все-таки иногда скучно как будто; — долго так тихо и однообразно жить дома не могу... Чем больше событий и встреч в моей жизни, тем мне легче!

Подумай обо всем об этом и скажи мне. Ты, я надеюсь, уж много теперь изменилась и не удивишься моему мистицизму. Мне кажется, сам Бог помогает этому плану. Зачем она встретила этого Периклеса? Зачем этот Периклес влюбился в нее? Зачем она решилась взять его с собой не спросясь? Не затем ли, чтоб мы имели больше прав в ее глазах...

Быть может (я и в этой безнравственности моей мысли сознаюсь тебе), быть может. Но нет — и написать не могу решиться и думать не хочу!.. Многого искать не надо. Будем радоваться вместе дурному: дурной погоде, недугам, старости и смерти; трудностям, с которыми должна бороться идея наша... нашему отречению, долгам моим даже, которых бездна, твоей бедности — всему тому, что дает какие-то права на вознаграждение.

<sup>20</sup> Тут только две вещи останутся у нас нерушимы: святыня нашей духовной связи и мир моего домашнего очага. Семья есть мир, и бури не должны переходить за порог наш.

У нас нет детей; сумей сделать так, чтобы Лина тебя полюбила, и ты будешь дочерью нашей души. Меня смущает твоя бабушка; она не привыкла к людям новым, и не знаю, поймет ли она наши отношения. Я написал и ей ответ. Прочти его и запечатай простой облаткой, и не отдавай сама, чтобы она не знала о нашем соглашении. Я <sup>30</sup> думаю, так лучше. Прощай, мой ангел, прощай, мое божество... Я сам без ума от тебя и не могу надивиться, до чего я помолодел с тобой... Уж я думаю, не наградил ли меня Бог под старость за что-то. За что же? Разве за доброту мою? Добр-то я был всегда».

## VI

Недолго, однако, пришлось Матвееву беспокоиться об Анне Петровне: дня через три после получения от него [письма] она внезапно скончалась. Поутру ей было нехорошо; внучка хотела остаться около нее целый день, но Анна Петровна привыкла к своим старым недугам и сама уснула Соню со двора; походила по комнате, почитала Поль-де-Кока, легла на диван, задремала и не проснулась.

Горничная, когда увидела, что она уже не дышит и совсем похолодела, послала соседского слугу за священником<sup>10</sup> и за доктором, а сама поехала на извознике искать Соню.

Наконец Соня вернулась домой и увидела труп бабушки на диване.

Неожиданность этого события подействовала на нее так, что у нее захватило дух; и она, только вздохнув глубоко, сама почти не замечая того, перекрестилась и рассеянно сказала: «Господи Боже мой... упокой Ты ее несчастную душу!»

Она не хотела сначала ничем распорядиться, села у окна и заплакала.<sup>20</sup>

Матвеев скоро узнал обо всем и приехал; вслед за ним приехала Варя, и они вместе взяли на себя все заботы. Соня благодарила их только и плакала.

Ей случилось на минуту остаться одной с Матвеевым, и он, целуя ее руку, спросил ее так нежно и искренно: «Ну, что, моя бедная Соня!», что Соня разрыдалась, как безумная и, припавши на грудь его, твердила: «Бог ты мой, отец ты мой добрый, брат ты мой!.. Жалеешь ты меня, жалеешь — я это вижу... Ах, когда бы я сумела хоть чем-нибудь заплатить тебе за все добро твое!»<sup>30</sup>

В столе у Анны Петровны нашлось пятьсот рублей экономии, которые она тщательно скрывала от внучки для нее же самой.

Деньги эти были завернуты в бумагу с надписью: «Внуке моей Софье на случай моей смерти. Сколько могла собрать ценою всевозможных стеснений».

Матвеев предложил Соне употребить часть этих денег на перевоз тела Анны Петровны в Крым. Он предлагал похоронить ее в собственном своем саду, по обычаю крымскому, и даже, если обстоятельства позволят, поставить хороший памятник или выстроить маленькую часовню.

Соня благодарила его за эту мысль.

Матвеев тотчас же занялся отправкой тела покойницы; написал об этом несколько писем в Крым; ездил в полицию; ездил совещаться к священнику; нанял нарочного человека для сопровождения гроба до Крыма. Несмотря на то, что он терпеть не мог все такие хлопоты и разъезды по делам, — и на службе даже, которой был так предан, по хозяйственной части был всегда слабее, чем по другим; но именно потому, что все это ужасно его тяготило, — он и делал все с радостью, сознавая, что делает для Сони и для праха ее бабушки.

Соня оценила и поняла его в этом случае. Немного погодя после отправки тела Анны Петровны, собрался в путь и сам Матвеев.

<sup>20</sup> Он кой-как покончил все свои дела в Петербурге; сделал только те визиты, которые считал необходимыми; проклинал в душе всех и все, что отнимало у него время, которое он мог бы провести у Сони; у нескольких лиц, о которых он, *на всякий случай*, непременно бы вспомнил полгода назад, теперь он не был и, проезжая мимо их домов, говорил себе: «Ну, уж нет... Это-то уж слишком. Довольно! Довольно! Бежать! Бежать!»

На новые предложения остаться служить в Петербурге и *на виду*, — он отвечал очень льстивыми выражениями <sup>30</sup> благодарности, но «домашние дела его так расстроены, что надо поправить имение, да и жизнь в Петербурге не по денежным его средствам». «Вы понимаете, — сказал он смеясь, — не могу же я жить на какой попало квартире и ездить с женой на ваньке в театр? Это свыше сил моих».

В комнате, кроме начальства, было еще два-три человека. Когда Матвеев вышел, один из них спросил:

— Что он, однако, этим хочет сказать? Он, кажется, уж слишком много об себе думает. К чему это барство! Вот ведь у нас в России что скверно; за уши вытаскают человека чуть не из грязи, и он все это забыл. Не могу то, не могу другое... Этак мы никогда вперед не пойдем и на европейцев похожи не будем. Простоты, благоразумия нет! Что за глупое барство и даже вовсе не кстати... Кто ж его просил с женой на ваньке ехать! Никто его даже об жене его и не спрашивает.

— И женат-то он не совсем по-людски, — заметил, улыбаясь, другой из посетителей. — Увез, говорят, когда-то из Валахии какую-то девчонку; должно быть, обещал жениться, — женился и теперь, разумеется, кается; беспрестанно, говорят, оставляет ее и вовсе ею не занимается.

— А что ж, хороша она, по крайней мере? — спросил один из высших начальников.

— Артельщики хвалили... — сказал один язвительный полковник.

Все засмеялись; но потом хозяин дома сказал:

— Это дело его, а не наше. Надо только согласиться, что дай нам Бог побольше таких деятелей, как Матвеев. Я мало знаю людей способнее и честнее его.

Полковник немного побледнел и, согласившись со всем этим поспешно и охотно, прибавил только:

— Его можно разве упрекать в одном: в этих славянофильских идеях; как будто можно вернуться к XVI столетию назад. Хороша была карикатура в «Искре», где Славянофил со знаменем в руке бежит и кричит мужику: «Назад! назад! в XVI век!» — а мужик ему: «Нет, барин, нам туда не рука!» Конечно, не рука, когда их тогда коло-<sup>30</sup>тили не на живот, а на смерть!

Один молодой адъютант, который до той минуты молчал, вмешался в разговор и сказал, впрочем, довольно робко:

— Я не знаю, до какой степени это верно, что Славянофилы хотят возвратиться к XVI столетию. На остатки старины в нашей жизни, если не ошибаюсь, они смотрят

как на элементы для разработки национального прогресса... Идеал их, я так думаю, хоть, быть может, и ошибаюсь, — это сочетание самодержавия с общинным устройством и широким развитием ассоциаций, не уничтожающих собственности.

— В таком случае, — возразил полковник, — это волки в овечьей шкуре!.. Они более опасны, чем те, которые прямее их...

Начальник насупил брови и перервал полковника строго:

— Это опять лишнее. Можно не разделять чьих-нибудь убеждений, но зачем же так обвинять людей благородных и преданных? Я сам, уж конечно, их мнений не разделяю и думаю, что и без шапки-мурмолки можно быть вполне русским... Однако, — шапка шапкой, а заслуги сами по себе. Эти идеи Матвееву не помешали разбить шайку Н.....а и вообще столько раз быть полезным. У него иногда мало хладнокровия — вот его слабая сторона... А что касается до Славянофильства, — так я от него

ничего подобного и не слыхивал.

— *Pas si bête!* — воскликнул настойчивый полковник, вставая. — Он тоже осторожен с сильными мира сего...

Когда он простился и ушел, начальник сказал с улыбкой: «Не любит Матвеева!»

Полковник с своей точки зрения был прав, что не любил Матвеева. Матвеев был счастливее по службе, чем он, а между тем у жолчного полковника были некоторые качества, которых у Матвеева не было. Конечно, Матвеев был очень храбр, распорядителен, умен; но такие люди, как Матвеев, — на каком бы поприще они ни были, — могут впасть в уныние, пренебречь чем-нибудь, быть иногда слишком смелыми и испортить дело. Полковник был тверже и непреклоннее Матвеева; он был гораздо учнее его; хладнокровие его было непомерное, и если Матвеев мог скорее выдумать что-нибудь новое, обладал бóльшим творчеством, то, с другой стороны, ему было трудно сравниться с соперником своим в терпении, в знании и в



уменьи пользоваться малейшими подробностями обстоятельств.

Полковник не мог простить Матвееву его неправильной победы над повстанцами Н..... Он называл это слепой удачей и бессовестной смелостью. Не мог простить ему и то, что его везде, и в Туркестане, и в столице, и на Кавказе, больше любили, чем полковника, уважали не меньше, а только меньше боялись. Полковник был жолчен и язвительен, сознавая себя безукоризненным и нужным; он говорил беспрестанно и высшим, и равным, и низшим колкости; во всяком человеке открывал прежде всего его дурную или слабую, или смешную сторону. Смеялся крайне зло и беспощадно над людьми сильными в присутствии таких лиц, которые могли все это передать. Говорил про одного, что «его ничем не испугаешь, даже обвинением в подлости». Другой, по его мнению, был рожден только для кабинетного труда и напрасно носит военный мундир; третий был невежда и никуда не годился только потому, что нехорошо знал тригонометрию. «Прежде чем брать крепости — надо бы в Гимназии поучиться!» — сказал он ему в глаза.

Матвеев, напротив того, был уклончив с старшими, ласков с низшими; иногда даже льстив, не забывая достоинства; добр и весел с товарищами; язвить никого не любил, хотя умел слабые стороны замечать не хуже полковника. «Слабые стороны и лишь все дурное подмечать, — говорил он, — это уж старо и надоело; даже и не умно в наше время; а вы умеете хорошее в нем найти и воспользуйтесь им — это полезнее!»

Однажды, споря с полковником под веселую руку, Матвеев вдруг прервал спор и сказал ему так:

— Если вы, полковник, дадите мне слово, что не вызовете меня на дуэль, то я вам скажу одну не совсем любезную вещь...

— Говорите! — отвечал полковник спокойно и почти презрительно.

— Поверьте мне, — сказал тогда Матвеев, — я вас, честное слово, ужасно уважаю; команду я большой, от-

дельной частью, — я бы никого не желал иметь начальником штаба, кроме вас. Сознаюсь также, что вы характером гораздо самобытнее и выше меня; — но умом-то я самобытнее буду... Вы поймете отлично всякий порох, особенно если он иностранной фабрикации, — но, конечно, своего пороху не придумаете. Вот за это я боялся, чтобы вы не вызвали меня на дуэль... А мне теперь очень весело и драться, даже и с вами, не хотелось бы.

Полковник отвечал на это с умом и тактом.

<sup>10</sup> — Ничего нет мудреного, что я буду под вашим начальством, — сказал он. — Вы так счастливы по службе; не знаю только, — счастье ваше — счастье ли для дела, потому что вечно заботиться именно о русском порохе и рисковать — не совсем, по-моему, добросовестно.

Дуэли не было; но полковник этого не забыл; тем более, что многие хвалили Матвеева за *гибкость славянской натуры*, которую он обнаружил в этом разговоре.

<sup>20</sup> Была еще одна вещь, за которую полковник Матвеева не жаловал. Полковник был очень честен и независим всю свою жизнь; из честолюбия он сделал только один шаг, который сам считал несообразным с своим характером. Он женился для связей при Дворе на очень некрасивой, капризной и больной княжне, даже без огромного приданого. И видеть после этого, что Матвеев, жену которого «артельщики хвалили», обогнал его по службе, и даже не иметь при этом права обвинять Министерство и Двор; а, напротив того, сознавать, что людьми власти руководило лишь чувство беспристрастия и нравственной неподкупности. Это, конечно, было больно!

Отношения эти с язвительным полковником отозвались впоследствии на судьбе Матвеева довольно сильно.

Пока Матвееву было не до полковника, не до Министра, не до службы; даже не до Славянофильства. Он весь был погружен в свои домашние дела. Он понимал, что в жизни его близится час нового и сильного поворота, который может принести или небывалое еще блаженство,

или горе без конца. Но сколько ни подсказывал ему изредка разум о возможности горя, — сердце ему не верило, и он видел только одну радость впереди, так что он сам дивился, до чего он помолодел и обезумел!

## VII

Сборы и прощанья были недолгие; Матвеев спешил. Он хотел скорее увидеть Лину и объяснить с нею.

Соня сама написала Лине письмо и подала его прочесть Матвееву. Оно было исполнено прямоты и такта.

«Вы меня не знаете, Елена Петровна, а я знаю вас (так писала Соня). Ваш муж рассказывал мне все: как он вас встретил, как он женился на вас; как вы его любите, как он вас; даже о том, как вы с ним иногда ссорились и после мирились. Я видела ваш портрет и ужасно люблю ваше милое лицо.

Я, Елена Петровна, не так добра, как вы, и муж ваш мне это в глаза говорил. Я очень вспыльчива и упряма. Но с тех пор, как я полюбила вашего мужа, я стараюсь исправляться. Дом вашего мужа для меня будет храм, и внести раздор в этот храм — я и думать не могу. Для меня самой это был бы смертный приговор. Впрочем, скажу я вам и хорошее про себя, как сказала дурное: я не завистлива; красоту люблю в других женщинах от всей души. Ревности не знаю и не понимаю, и считаю ее и гадостью, и глупостью, и унижением. Не знаю даже, как это ревнуют — никогда не испытала. Вам тоже ревновать ко мне нечего. Я без ума от вашего мужа, но он-то вовсе не без ума от меня; он очень хорошо видит мои недостатки и нисколько не щадит их. Он сам мне говорит, что вы всегда в сердце его будете первая, что вы всегда будете для него бедная Лина, а ко мне он очень строг и не спускает мне ничего. И я его боюсь как огня. Мне до того страшно, чтобы он был недоволен мною, что я иногда сама не знаю, как мне поступить и как сказать.

Он вам сам расскажет все это лучше меня. А я теперь вот что вам скажу. Я никогда ни одного человека ни о чем еще не просила и не умоляла. И вот вас я прошу и умоляю позволить мне приехать к вам в деревню и жить у вас. Что можно больше этого сделать? Я не любовница вашего мужа и не буду. Он этого не желает, и если бы даже он пожелал этого, — я даю вам честное слово и клятву, если хотите, что я не соглашусь на это до тех пор, пока вы мне не скажете: „Соня! мне это все равно”.

<sup>10</sup> Вот что я хотела вам сказать. Какой у меня характер и как все это сделалось — ваш муж вам расскажет лучше.

Позвольте мне сказать вам еще вот что: ни вы, ни я не можем каждая отдельно наполнить жизнь вашего мужа — ему слишком много надо. Он слишком выше нас обеих (это, я думаю, вы мне простите). Обе же вместе мы можем составить для него такое счастье, какое еще люди не видывали и не испытывали.

Я буду жить у вас как сестра, не больше, и прошу вас еще только об одном: если вам не понравится что-нибудь, <sup>20</sup> если эта жизнь вам будет тяжела, — скажите мне дружески и прямо, я тотчас же уеду и никого кроме судьбы винить не буду. Главное — чтобы мы ни в чем не винули друг друга».

Матвеев похвалил письмо и оценил вполне уничтожение, с которым оно было написано; велел только переменить слово «храм» на слово «церковь», уверяя, что так для Лины будет чувствительнее и понятнее. И еще заметил полушутя, что напрасно Соня его слишком уж восхваляет. Не нужно было говорить: «он слишком высок для нас <sup>30</sup> обеих»; а нужно было сказать: «он слишком ненасытен и слишком уж многого хочет от жизни; его ничем не успокоишь, и наше дело только простить ему эту черту его характера».

Но Соня на эту последнюю перемену не согласилась. «Я не люблю людей спокойных», — сказала она.

Прошло еще два, три тяжелых дня, и наконец Соня одна-одинешенька проводила Матвеева на московскую же-

лезную дорогу. От товарищей и знакомых Матвеев нарочно скрыл день своего отъезда; ему в эту минуту было не до них.

— Они все для меня теперь «*chair à saop*», — сказал он Соне.

Соня, прощаясь с ним, не плакала; но она была бледна и до того растеряна, что при всей толпе кинулась целовать руки Матвеева, когда ударил звонок, — и он едва успел отнять их.

Из вагона он еще раз захотел взглянуть на Соню, и <sup>10</sup> увидал, что она стоит, опершись на перила, и не глядит даже в его сторону.

Поезд тронулся, и они уже больше не видали друг друга.

## ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ

(РАССКАЗ РУССКОГО)

Рукопись эту я получил недавно. Автор ее скончался около года тому назад в своем имении. Он поручил одному из своих родственников передать ее мне вместе с другими отрывками из своих воспоминаний. Хотя мы с покойным Ладневым друзьями не были и встретил я его в жизни моей всего два раза, но обе эти встречи были самые благоприятные для сближения. Я не стану подробно<sup>10</sup> описывать ни нашего первого знакомства в том самом Константинополе, где начинается его рассказ, ни нашего второго свидания на Дунае. Между этими двумя встречами прошло около десяти лет, и Ладнев за это время совсем изменился: он постарел и стал очень печален.

В письме его родственника, между прочим, сказано вот что: «Покойный незадолго до смерти своей, чувствуя себя нездоровым, однажды отпер ящик своего письменного стола, показал мне эту рукопись и сказал: „Когда я умру, пожалуста, пошли это К. Н. Ему это доставит удовольствие, и напиши, что я даю ему право даже и напечатать этот рассказ. Пусть вспомнит он наши долгие беседы на палубе дунайского парохода „София” и наши прогулки зимними днями по улицам Царьграда”».

Ладнев угадал! Я вспомнил *очень* многое!..

Быть может, я решусь прибавить еще несколько слов и от себя в заключение рассказа.

Когда я жил в Адрианополе, в турецком (восхитительном для меня) квартале, на моем дворе, в углу у высокой и сырой стены было большое персиковое дерево. Оно росло у самого окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворковал голубь.

Люди мне сказали, что это не простой голубь, а египетский. И в самом деле, я помню, голубь этот не был синеватый, как обыкновенные голуби, а больше был похож цветом на горлицу. Воркованье его было тоже иное, короткое, густое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполненным томительной любви и почти болезненной радости.

Солнце поутру вставало с той стороны, где рос под окном персик и где тосковал и радовался, воркуя, мой голубь. Как часто это солнце утром освещало ярким светом мою гостиную, в остальное время дня темную и прохладную! Я входил в нее рано; голубь из-за окошка приветствовал меня своим милым приветствием. Я задерживал занавески, садился на длинный, кругом всей комнаты диван мой, покрытый простою и темною материей, задумывался, глядел на стены и деревянный резной потолок аспидного цвета с белыми бордюрами и клеточками, в которых были нарисованы розы, тоже белые. Сидел я и думал, думал, думал... Никто меня не тревожил и не развлекал. Я сидел и думал, и все ждал *чего-то*. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучительное счастье! Что за тоска! Что за ожидание!

Я ожидал, ожидал и дождался! *Все это* случилось почти в одно время; я влюбился в Машу Антониади и узнал, что и она меня любит, именно тогда, когда Вéлико, молодой болгарин, бежал из казацкого полка Садык-паши и скрылся у меня в доме. Тогда и персик у высокой стены моей покрылся весь розовыми цветами, потому что настала весна; в то время и я сам стал все лучше и лучше пони-

мать, что воркует, что говорит и пророчит мне мой египетский голубок!

Маша Антониади была очень мила и красива собой. Глаза большие, черные, «бархатные», ласковые, хитрые; и что за цвет лица, золотистый и «теплый»!.. Правда, самое лицо это было немного узко, немного длинно; так по крайней мере говорили многие... Но недостатки в женщинах я всегда любил; мне казалось всегда, что женщина чувствует этот недостаток сама, если даже он и мал; что ей страшно  
10 хочется нравиться (точно так, как и мне самому тогда хотелось нравиться) и что ей от этого немного, чуть-чуть больно; я думал об этом, я это чувствовал, даже и не думая, и меня влекло к ней уже потому, что мне становилось ее жалко...

Я смолоду очень любил жалеть... Жалеть было в то время для меня наслаждением...

И хотя Маша была и молода, и очень красива, и богата, и здорова, однако мне при первом же знакомстве пришлось слегка пожалеть ее, не только потому, что у нее  
20 лицо было немножко узко: этот недостаток так мало портил ее красоту, что я его долго вовсе и не замечал; но и по другой причине.

Вот как это было. В первый раз мы встретились в Буюк-Дере.

Мы все были у обедни в посольской церкви. Дамы посольские стояли на своих местах, мы на своих. Посланицы не было; тогда только ждали со дня на день нового посла; но на месте посланицы стояла молодая советница, жена поверенного в делах.

30 Отошла уже половина обедни; растворили царские врата, запели Херувимскую песнь. Все стояли тихо; многие из дам опустили на колени...

Как вдруг она вошла (в белом платье и прекрасных синих лентах). Вошла и не стесняясь нимало, не смущаясь, стала выше советницы, тоже преклонила колени и стала молиться...

Пока пели Херувимскую песнь, пока архимандрит стоял перед алтарем с Дарами, никто не обнаружил ни малей-



шего недовольства, но как только притворили царские врата, советница оглянулась и на нас, и на других посольских дам и слегка с досадой пожала плечами. Один из секретарей сделал два-три шага. Он хотел тотчас же сделать вежливое замечание неизвестной даме, нарушившей обычай нашей посольской церкви; но советница остановила его взглядом и сказала ему тихо: «Потом...»

Мне стало почти страшно за эту бедную, красивую и так хорошо одетую незнакомку... Кто она, я не знал...

Обедня кончилась. Я все следил за интересною дамой<sup>10</sup> и пошел вслед за ней. На крыльце меня обогнал секретарь и, подойдя к незнакомке, начал говорить ей почти-точно:

— Я должен извиниться перед вами; у нас в церкви заведен такой порядок, что посторонние лица выше посланника и посланницы и вместе с тем ближе к алтарю, чем служащие при посольстве, становиться не могут... Я прошу тысячу раз извинить меня...

Милая незнакомка покраснела так быстро и так сильно, как только может покраснеть человек...<sup>20</sup>

Я стоял очень близко на лестнице за секретарем... Я поспешил так встать, чтобы видеть лицо молодой женщины, чтобы слышать ее ответ...

Она покраснела очень сильно, это правда (бедная!), но взглянула на нас тихими глазами... Нет! простое слово «глаза» нейдет к прелестному и кроткому взгляду ее черных, больших и бархатных очей!.. Это были именно те черные очи, которые воспевались поэтами в стихах.

Она взглянула так кротко и так томно, и так просто отвечала на самом чистом русском языке.<sup>30</sup>

— Я не знала, виновата. Другой раз я буду становиться сзади. Благодарю вас за то, что вы сказали мне.

Ни гнева, ни смешной обидчивости, ни натянутой гримасы так называемого достоинства. Так просто и естественно!.. Покраснела только. Немножко стыдно, чуть-чуть больно от неожиданности, и такой находчивый в своей простоте и скромности ответ!

Мне показалось, что не я один был этим тронут. Молодой человек, на которого было возложено это щекотливое поручение, по фамилии Блуменфельд, всегда почти дерзкий, капризный и насмешливый, на этот раз рассыпался в извинениях. Выражение лица его стало не только любезно, но в высшей степени добродушно.

— Извините меня, — воскликнул он с ударением на слове *меня*. — Это порядок дамами заведенный, и мне очень жаль за такой неприятный случай.

<sup>10</sup> Она уходила по дорожке, ответив ему что-то, чего я уже слышать не мог. Блуменфельд все время не надевал шляпы и кланялся ей слегка, но беспрестанно; наконец он надел шляпу и подал ей руку, которую она приняла. Они скрылись за деревьями.

В эту минуту из коридора вышел на лестницу другой наш товарищ, камер-юнкер, франт и формалист в светском отношении. По службе человек основательный и трудолюбивый, но во всем остальном до невозможности скучный. Хотя с виду мы жили с ним очень мирно, потому что он <sup>20</sup> был характера ровного, серьезного даже и в светских мелочах, и очень обязателен как товарищ, но я его что-то не любил; другой член посольства, очень язвительный, насмешник и выдумщик разных прозвищ, прозвал его (за глаза, разумеется) «вестовым»: это очень было удачно, потому что у него были черты лица очень грубые, лицо красное, белокурые и густые солдатские усы, без бороды. Я где-то видел таких солдат.

Он вышел на лестницу в ту минуту, когда Блуменфельд и милая незнакомка не завернули еще за поворот дорожки. <sup>30</sup> Я оглянулся на него; он поглядел им вслед и равнодушно сказал:

— Я ее знаю; это жена одного здешнего *банаба́ка*, Антониади.

Что́ значит банабак, я уже знал тогда. *Бана-бак* значит по-турецки: «эй ты! смотри на меня!», т. е. «слушай, я тебя зову!..» Простые люди в Турции беспрестанно кричат друг другу: «эй! бана-ба́к!»

Поэтому и сделали из этого особое название *банабак*: простой, «здесьний восточный человек»; вроде нашего русского *хам*, только с менее злым и подлым смыслом... Просто: человек *здесьний*... и больше ничего.

— Она не похожа на жену банабака, — сказал я галантерейному и раздушенному *вестовому*.

— Не похожа, а жена, — отвечал он. — И почему ж не похожа! Что ж в ней особенного... Эти синие ленты у ней, правда, очень хороши (*вестовой* был тонкий знаток в женской одежде), заметили вы на них тонкие бордюры соломенного цвета? Это очень мило; очень мило. И шляпка хороша. Она, впрочем, воспитывалась в Одессе; из порядочной семьи *негоциантов*. А он *банабак*. Впрочем, был долгов в Англии... Не пойдете ли и вы вместе завтракать в Бельвю?

— Пойдемте.

Мы спустились вместе с лестницы и встретили *Блуменфельда*. Проводив так любезно «жену банабака» до ворот, он вернулся с лицом уже недобрым, недовольным и насмешливым, и с первого слова начал передразнивать эту женщину, перед которой он только что так искренно, казалось, рассыпался.

— «Виновата, я другой раз буду становиться сзади...» — говорил он с гримасой и немного картавя (она, правда, немного картавила или, вернее сказать, «пришепечивала», я должен употребить это слово, хоть и ненавижу его; мне кажется оно слишком грубо для *Маши* и для ее тонкого и едва заметного недостатка).

— *Pardon, chère maman!* — продолжал *Блуменфельд*, глядя на меня и на камер-юнкера с насмешливою улыбкой. — *Pardon, chère maman!* Я буду умница... *Ingénué!*.. каналья... бестия!.. Молодой человек! (так любил он звать меня, хоть сам был еще года на три моложе меня) а! Молодой человек... Умоляю вас, не влюбитесь в эту бестию... Я уже по глазам вижу, что эта баба шельма, которая вас сделает на всю жизнь несчастным.

— Хорошо, я не буду влюбляться в нее, — отвечал я смеясь. — Да и где же мне ее найти.

— Вы хотите найти... Что вы мне сделаете, даром не скажу вам адреса!

— А! Блуменфельд уж узнал сам... справился там за кустами! — воскликнул камер-юнкер. — Не огорчайтесь (прибавил он, обращаясь ко мне) и не уступайте Блуменфельду ничего, я знаю ее адрес и скажу вам: Grande rue de Rège. Потом к маленькому Кампу, в первый переулок.

<sup>10</sup> — К швее-то ты не заходи, — перебил Блуменфельд из Гоголя.

— Не зайдет, не зайдет к швее; он прямо к ней, — сказал добрый «вестовой» и продолжал объяснять мне адрес madame Антониади, которого я и не спрашивал, потому что не имел никакого приличного повода сделать ей визит.

— Оставьте, оставьте эту опасную женщину! — воскликнул Блуменфельд. — Не развращайте молодого человека. Пойдемте поскорей есть.

<sup>20</sup> Мы пошли все вместе завтракать в Бельвю; переменили разговор, и о красивой madame Антониади в этот день не было более и речи.

## II

<sup>30</sup> Прошло, может быть, с неделю, не помню. В посольстве все скучали; ждали нового посла; опасались перемен по службе; не знали, как уживутся с ним. Несмотря на то, что близилась осень, жара была нестерпимая. Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна «неприятность», одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту удачу все-таки по службе нужно было отвечать «формально»... Переписка с иностранцами тянулась. Мне уже становилось скучно и тяжело быть так долго здесь, в столице, не у дел, жить четыре месяца не то гостем, не то подсудимым за слишком смелое самоуправство, и очень

хотелось вернуться скорее в провинцию, к освежающей и деловой борьбе. Я сидел одним жарким полуднем в прекрасном посольском саду, на скамье в тени, и ужасно скучал. Я не могу на словах ни передать, ни изобразить то место, где я сидел, но скажу, что направо от меня был недалеко боковой флигель, где наверху помещалась канцелярия, а под канцелярией, в нижнем этаже проходные ворота; а налево, за деревьями и кустами был скрыт от глаз большой павильон, которого нижний этаж занимал М. Х—в, один из драгоманов посольства. У него была молодая, <sup>10</sup> умная и очень милая жена. И я и с мужем и с нею был дружен и часто бывал у них; дойти до них было легко, но в эту минуту я даже и этого не желал.

Так сидел я очень долго под тенью огромного дерева и все тосковал и скучал, глядя то на синее небо и пышную <sup>20</sup> зелень сада, то на белую каменную ограду, которая прямо передо мной отделяла сад от набережной и Босфора и заслоняла совершенно вид на них. О мадам Антониади у меня и помысла не было никакого. Как вдруг она явилась из проходных ворот; вышла и остановилась. Опять она <sup>20</sup> была хорошо одета; опять мой светский *вестовой* похвалил бы ее туалет. Я не буду описывать его подробно; боюсь, чтобы надо мной не смеялись, боюсь напомнить «модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.

Однако, как ни боюсь я этого, мне этот миг ее неожиданного появления в воротах был до того приятен, что мне хотелось бы передать другим все, все до самых пустых мелочей... Да! она опять была одета так мило, так изящно. На ней было в это утро такое хорошее желтоватое батистовое платье, а пояс был черный... очень широкий и длин- <sup>30</sup> ный; шляпка была совсем кругленькая и низкая, обшитая черным бархатом с двумя перьями из крыльев неизвестной мне птицы: жесткие, рыжие, какие-то вроде орлиных, но с большими белыми горошинками... Она остановилась и огляделась; я встал и поклонился не совсем кстати даже, потому что никто меня ей не представлял и она меня вовсе не знала...

Несмотря на эту необдуманную и не совсем сообразную с приличиями вежливость мою, она обратилась ко мне очень приветливо и спросила, как пройти к мадам Х., к жене драгомана; я поспешил указать ей на дорожку вдоль стены, и мы, расставаясь, молча поклонились друг другу. Я опять сел на ту же скамью и стал смотреть все на те же прекрасные деревья и кусты, и на ту же белую стену, которая была предо мной так близко. Но эта скучная стена теперь не была уже так безжизненна и пуста ослепительною белизной своей. От меня зависело вызвать из моей

<sup>10</sup> собственной души милую тень, прошедшую мимо. И я видел ее перед собою. Я видел взгляд черных глаз, ласковый и кроткий, но с тонким лучом почти неуловимого лукавства. «Что-то умоляющее и доброе...» казалось мне иногда; «что-то страстное и немного коварное», казалось мне в другие минуты...

Я сидел на скамье не просто: поверенный в делах обещал мне прислать за мной в сад своего камердинера, как только он кончит переговоры с толстым и несносным советником

<sup>20</sup> той западной нации, с чиновником которой я имел *слишком удачное* столкновение, до беззаконности удачное. Западный советник приехал к нам за окончательным объяснением по тому делу, по которому меня вызвали в Царьград. Он сидел уже давно, и я понимал, что борьба между двумя дипломатами идет за меня... Но я был довольно покоен. Я давно уже решил, какие уступки я могу сделать по приказанию начальства и каких не сделаю ни за что...

Меня позвали наконец, и я оставил скамью мою вскоре после появления милого призрака в батистовом платье.

<sup>30</sup> Наш поверенный в делах видимо был доволен, что переговоры кончились ничем и что сам иностранец предпочитал отложить решение до приезда нашего нового посла и до возвращения из отпуска его собственного начальника.

— Ваше дело ладится, — сказал мне поверенный в делах. — «Неприятель» делает уступки. Надобно и вам быть немного податливее. Я понимаю ваш поступок, но ведь согласитесь, что он неправилен!

— Я, конечно, не искал формальной правильности, поступая так, — отвечал я. — Я нахожу, что по чести русской я поступил правильно, проучив этого негодяя... Я прошу помнить, что он сказал мне (или вернее сказал не мне, а русскому): «извольте выйти вон и чтобы нога ваша не была более на пороге нашей канцелярии...» Разве можно было не ударить его?

— Что эти господа нестерпимы, в этом нет никакого сомнения, — сказал поверенный в делах и отпустил меня.

Я был свободен в эту минуту и пошел тотчас же к той самой русской даме, жене драгомана, к которой мадам Антониади ходила с визитом. Я думал, что я застаю ее там, однако, нет: ее уже там не было. Но я застал там вестового и Блуменфельда. Они оба у Х. бывали очень часто.

Разговор у них шел о посторонних предметах, совсем не о том, что меня интересовало в эту минуту. Дверь из гостиной в нижнем этаже была растворена прямо в сад, и за этою дверью была видна та широкая и чистая дорожка, по которой она, вероятно, только что ушла. Но никто не упоминал об ней ни слова!..

Говорили о том, что надо ждать со дня на день нового посла и об его прежних дипломатических успехах; еще о том, как ловко острит по-французски один русский генерал. Недавно он гулял по набережной, и большая светящаяся муха села на его густую и красивую рыжую бороду. Одна перотка (она сильно румянилась), встретив его, сказала: «*Mon général, vous portez un phare dans votre barbe!*» — «*Pourvu, madame, que je n'en aie pas sur la figure (du fard)*», — отвечал генерал.

Я сам очень любил остроты этого генерала; но теперь я все ждал иной беседы... Потом рассказали, как директор оттоманского банка запретил своей молодой жене знакомиться без его разрешения с новыми неизвестными ему лицами и что она, повинувшись ему, не позволила кому-то представить себе португальского посланника, а когда испанский посланник вызвал за это мужа на дуэль, то дирек-

тор банка (человек, впрочем, исполненный энергии и храбрости) нашел, что жена его виновата тем, что не умела различить представителя европейской державы от здешних *банабак*... и воскликнул даже: «*Ma femme n'est après tout qu'une jeune fille!*» И они помирились.

Я обрадовался этому слову «*банабак*»... Я думал: вот кто-нибудь из них скажет: «А как вы находите жену *банабак* *Антониади*, которая сегодня была у вас с визитом?» Сам я с *не совсем уже чистою* совестью не хотел<sup>10</sup> спросить об этом. Но никто не упомянул о ней. Так прошло около часа. Вдруг на дорожке против дверей показалась наша молодая, но вовсе не красивая и тихо надменная советница. Она шла не спеша своею спокойною и прекрасною походкой. Хозяйка дома вышла к ней навстречу.

Они поздоровались и пришли вместе. Мы все встретили их на балконе. Советница, ответив нам всем едва заметным движением головы, больше снизу вверх, чем сверху вниз, сказала: «Может быть, кто-нибудь из вас объяснит мне, *что такое* *мадам Антониади?* Вот ее карточка. Она<sup>20</sup> была у меня, только мне не хотелось ее принять... Почему она явилась ко мне?»

Жена драгомана поглядела на визитную карточку и засмеявшись сказала: «Это та самая дама, которую попросили в прошлое воскресенье не становиться впереди всех... Она была сегодня у меня с визитом. Она довольно мила...»

— Все это прекрасно, — возразила советница; — но почему же она делает мне визит...

Жена драгомана, видимо, хотела заступиться за *мадам Антониади* и сказала:<sup>30</sup>

— Она родом из Одессы, из довольно порядочного дома одесского негоцианта, русская подданная. Путешествовала и жила в Англии... Ну вот приехала сюда, хочет быть принята у нас...

Советница слегка пожала плечами, положила карточку на стол, как будто она до нее не касалась, как будто она не удостоивала даже и принять ее на свой счет, села и



переменила разговор. Она просидела довольно долго и, собираясь уходить, подошла к столу, взяла снова карточку, поднесла ее близко к глазам и прочла громко еще раз:

— Madame Antoniadì, tout court...

Потом, обращаясь ко всем нам, спросила еще раз, почти с досадой:

— Я бы желала знать, зачем же эта дама мне сделала визит?

На это ответил Blumenфельд, с пренебрежением, по-русски: 10

— Наглая бабенка... Ей хочется втереться в посольство...

— Чтò ж, она из таких дам, которым платят визиты или нет? — спросила опять советница.

— Я думаю, нужно, — сказала жена драгомана. — Впрочем, вот monsieur Несвицкий ее знает, кажется, лучше нас.

— Да, я ее знаю немного, — сказал «вестовой». — Я имел случай ужинать с ней у \*\*\*. Она довольно мила, это правда. Но она не светская женщина. Вообразите, на этом ужине она ела в перчатках... Все обратили внимание... 20

— Ведь в Англии многие, я слышала, делают так, — возразила жена драгомана. — Я не согласна с этим; я нахожу, что она женщина хорошего общества et qu'elle a l'air très distingué...

Несвицкий на это заметил следующее, с значительною и основательною, почти научною точностью:

— Я позволю себе различить понятие «светская женщина» от понятия женщина «distinguée». Она может быть distinguée, мила и все чтò вам угодно, но я не позволю себе назвать «светскою» женщиной женщину, которая не знает приличий и принятых в свете обычаев. Местные обычаи в Англии не могут везде быть приложимы... Это смешно здесь, где высшее общество вполне космополитического характера... 30

— Может быть, — отвечала хозяйка дома, — и на этом *ученом* замечании скучного камер-юнкера разговор о мадам Антониади опять прекратился.

Но сношениям моим с Машей Антониади еще не суждено было ограничиться этими двумя встречами.

Мне очень было обидно за нее, и я досадовал на эту сухость советницы, тем более, что считал все это напускным и даже глупым.

Я понимал всегда необходимость общественной иерархии и даже любил ее; но я находил, что человек с умом должен делать исключения; а константинопольское общество к тому же такого смешанного и оригинального состава, что делать эти исключения, мне казалось, здесь было <sup>10</sup> легче, чем где-нибудь. Я очень беспокоился за эту бедную мадам Антониади, с которой мне не пришлось даже и говорить ни разу как следует. Нельзя же было назвать разговором то, что она спросила у меня, как пройти к жене драгомана, что я вывел ее на дорогу и сказал: «Вот здесь, прямо». А она поблагодарила меня и ушла. Несмотря на это, ее миловидность и, как мне казалось, что-то вроде ее беспомощности в нашей посольской среде привлекало меня к ней, и мне хотелось непременно достичь того, чтобы <sup>20</sup> наши дамы отдали ей визиты. Она воспитывалась и выросла в Одессе, говорила по-русски так же чисто, как мы все, молилась усердно в нашей церкви, была, может быть, так рада, по возвращении из Англии и Франции, видеть стольких русских и еще таких порядочных, умных, образованных, хорошего тона... Зачем же ее оскорблять?

С женой первого драгомана мне было бы легко объясниться; она держала себя очень просто; я сказал уже, что с мужем ее и с ней самою я был в дружеских отношениях. Рассуждать и спорить тонко и умно она очень любила... <sup>30</sup> Но у нее были свои недостатки; она была иностранка, и родная сестра ее была замужем в Германии за самым простым, хоть и богатым шляпным фабрикантом. Несмотря на такое неизящное родство, она сама выросла в высшем петербургском обществе и могла бы быть в этих случаях вполне самостоятельной; но она при большой независимости ума была очень непостоянна в своих принципах и вкусах и вообще по характеру как-то не слишком надежна;

я знал, что ей гораздо приятнее и легче будет побывать у мадам Антониади после советницы, чем первой показать пример. Поэтому я решился убедить прежде всего советницу. Это было не совсем легко; она, как я уже не раз говорил, была женщина очень тихая и вежливая, но очень недоступная (быть может, и оттого, что лицом была дурна), и несмотря на то, что муж ее любил меня, часто звал к себе обедать и обращался со мной почти по-товарищески, она едва-едва протягивала мне руку и все как будто чего-то опасалась. Однако, если человек чего-нибудь захочет, он выждет случая и воспользуется им. <sup>10</sup>

### III

Не более как дня чрез три после нашей встречи с мадам Антониади в саду, я обедал у советника и остался по его приглашению на целый вечер. Мадам X. пришла запросто после обеда. Скоро совсем стемнело; утихший Босфор был покоен, и на азиатском берегу прямо против нашего балкона светился на каком-то судне пунцовый огонь. Советник с Блуменфельдом и генеральным консулом сели играть в зале в карты, а я остался на балконе один с обеими дамами. Мы все сначала то молчали, то говорили о ничтожных предметах, потому что все трое были задумчивы и всем хотелось смотреть на тихий пролив и на красный огонь. Мадам X. первая прервала наше задумчивое молчание. <sup>20</sup>

— Вы мечтаете сегодня? — спросила она у советницы.

— Нет, — ответила та, — я не мечтаю; я смотрю на этот красный огонь и вспоминаю другой такой же огонь в Бейруте... Во время этих сирийских ужасов... на такой огонь я смотрела тоже одним вечером... Это ужасно вспоминать... Какая жестокость у людей этих, какое варварство!.. И сама я выучилась такой жестокости... Как я была рада, когда Фуад-паша приехал и начал расстреливать этих начальников!.. <sup>30</sup>

— Я думаю! — заметила на это мадам Х., — вы только что приехали тогда в Турцию, и первые впечатления ваши были такие страшные!..

Советница, вообще неразговорчивая, на мое счастье в этот вечер была возбуждена и общительна. Она рассказала, как кто-то (не помню кто; я, должно быть, не слишком внимательно слушал) давал бал в Бейруте незадолго до начала борьбы между друзьями и маронитами, перешедшей в повсеместное избиение христиан. На этот большой бал<sup>10</sup> были приглашены и главные вожди друзов, великолепные воины в оригинальных одеждах. Никто в этот вечер не предвидел, что руки этих красивых людей, которые держали себя на мирном балу с таким простодушным достоинством, так скоро обогрятся кровью... «Один из них (говорила советница) очень наивно заснул на диване, и многие из мужчин ходили любоваться на него... Он спал и ничего не слышал...»

Окончив этот рассказ, советница прибавила:

— Да, когда вспомнишь весь этот страх, этот ужас!..<sup>20</sup> Вообразите, один из самых богатых негоциантов, француз... он имел какую-то фабрику или что-то в этом роде около Бейрута и у него были три дочери, большие и очень красивые... Этот человек тайно от жены и дочерей подложил под дом свой бочонки с порохом... Понимаете, чтобы взорвать всех их на воздух, если бы друзья или мусульмане напали бы на их жилище. Вообразите, эти несчастные жили столько дней над этим «вулканом», ничего не подозревая!.. И эти ежедневные известия!.. И нельзя бежать!.. Мужу нельзя оставить своей должности, и с моей стороны<sup>30</sup> было бы низко оставить его одного в такие минуты!.. После, когда все это кончилось, мне не раз казалось, что это все неправда, что этого никогда не бывало, не могло быть.

Советница одушевилась и говорила еще долго и все так же хорошо.

Я молчал пока, но тотчас же сообразил, что можно воспользоваться этим предметом разговора на пользу

мадам Антониади «tout court». Дамы продолжали рассуждать о варварстве и жестокости. Наконец, выждав время, я сказал:

— Мне хочется по этому поводу сделать несколько очень откровенных замечаний, но мадам Н. (советница) всегда своим спокойствием и недоступностью наводит на меня такой «священный ужас», что я иногда не решаюсь заговорить с ней, как бы не испортить себе карьеру и все дела.

— *Ecoutez*, — возразила она мне на это довольно резко, — какое мне дело да вашей карьеры, согласитесь сами?

— Вот видите, как я прав, — воскликнул я. — Я еще и мнения своего не собрался сказать, а вы уже спешите уничтожить меня... Я ведь не говорил вам, что я прав в моей боязни... Я хотел сказать только, что «священный ужас» мой так велик при взгляде на вас, что я теряюсь и думаю всякий вздор, например, о карьере и т. п.; особенно, когда изредка я сижу так близко от вас, как теперь... Чин у меня не велик еще... знаете... 20

— Вы очень дурно начинаете... Вы говорите обидные вещи... Эти чины! — прервала меня Елена X. (она, замечу между прочим, очень была довольна, что муж ее такой еще молодой и уже статский советник).

— Ну да, разумеется, — сказала советница.

Однако я был прав; я заставил ее в первый раз обратить внимание на то, что она уж слишком сухо держит себя не со мною одним, а со многими. (Незадолго пред этим один молодой товарищ наш поднял с полу платок, который она уронила, и хотел ей отдать, но она не взяла из рук в руки, а показала ему движением головы на стол и сказала: «туда».) Мой приступ был уж тем хорош, что немного смягчил и как бы пристыдил ее. После этого я продолжал:

— Разве вы хотите, чтоб я не «трепетал», а был бы откровенен?

Она сказала:

— Смотря по откровенности...

— Моя откровенность будет вот в чем: я нахожу, что есть случаи, в которых и вы, и мадам X—а обнаруживаете больше жестокости, чем начальники друзей и мусульмане Дамаска. Чтò ж прикажете: *трепетать* или не *трепетать*?

— Не *трепещите*... Впрочем, вы все притворяетесь... *Трепещут* совсем иначе... не так, как вы...

— *C'est très curieux!* — воскликнула мадам X—а. — Где же это варварство наше?

<sup>10</sup> — Жестокость, жестокость, а не варварство; это разница, — сказал я. — Извольте, вот в чем. Я понимаю, что толпы людей, возбужденные идеей, совершают ужасы во время войны или междоусобий. Я понимаю также вполне вашу радость, когда расстреливали тех, которые ужасам потворствовали или руководили фанатиков... Это война, кровопролитие... Пожар страстей... Но зачем тонкая жестокость в мирное время?.. Зачем эти «общественные обиды». *Les variations insolentes de la politesse* (это не мое, это слово одного французского публициста)...

<sup>20</sup> — Чтò такое! Чтò такое! Какие *variations*? — воскликнули дамы с любопытством.

— А вот какие... Отчего вы не захотели заплатить визит молодой женщине, русской, которая выросла в Одессе и рада русских видеть; которая очень мила и прилична; а посланницу, леди Б., хромую, скучную, глупую, по моему, с красным носом, которая похожа на пьяницу-кухарку, вы принимаете почтительно и спешите сами к ней... Это жестокость... и вместе с тем, простите, я не смею сказать...

<sup>30</sup> — Говорите уж все...

— Недостаток *вкуса!*

— А! — перебила Елена X., — он влюбился в эту мадам Антониади и жалеет ее. Но если так, то нам нужно платить визиты и жене Боско, нашего *portier*, чтоб и она была довольна?

— Вы сами знаете, что это не так, — сказал я. — Жена Боско не претендует на это. А если у вас много

доброты и мало жестокости, то надо и невинные претензии в других щадить... Разве у нас всех трех нет вовсе претензий?

— У вас их даже много, — заметила советница, только очень добродушным тоном.

Я постарался также придать моему голосу и тону величайшую почтительность, почти молящую, и детскую кротость и сказал:

— Ну, так сделайте на этот раз исключение. Вы так обе поставлены выгодно, что вы этим не унижитесь, потворствуя на этот раз моим претензиям... Прошу вас...<sup>10</sup>

— Что же, вы в самом деле влюблены? — спросила мадам Х—а; а советница сказала ей:

— Послушайте, исполним его желание; только с тем условием, чтоб он вперед хоть немножко «трепетал», а то он именно потому и говорит о «священном ужасе», что он ничего такого не чувствует...

— Согласен, — отвечал я; — я дам вам слово, что несколько месяцев, если угодно, я буду уходить куда-нибудь в дальний угол, как вы только войдете в комнату...<sup>20</sup>

— Хорошо...

— Но это ведь ко мне не относится, — возразила жена первого драгомана. — Это вы его можете ужасать, а я для него нипочем... Он даже бранит меня иногда. Мое условие для визита другое. Я поеду с тем условием, что я при всех, и при Блуменфельде, и при других расскажу, как он влюблен в мадам Антониади...

— Извольте, — согласился я. — Я не боюсь... Все эти молодые люди были когда-нибудь и сами влюблены; и будут еще. Что ж такое!..<sup>30</sup>

Но в самом деле мне это было очень неприятно. Я согласился только для того, чтобы достигнуть цели; но я решил просто упросить после мадам Х., чтоб она этого не делала. А теперь надо было ей уступить...

Разумеется, все это было дело случая. Мадам Антониади была такого рода и такого положения женщина, что они обе могли бы сделать ей визит без моего ходатайства,

могли и не сделать... Если бы муж ее был и хуже, но был бы одним из русских подданных, торгующих в Царьграде, русский *примат* (un primat russe), то сделать ей визит раз или два в год было бы, пожалуй, даже обязанностью для наших чиновных дам. Но Антониади имел французский паспорт, и жена его никакого *политического* значения для посольства иметь не могла, а имела только *общественное*, которое казалось не достаточно велико... Сама же по себе мадам Антониади была достойна их общества, и главное затруднение, мне казалось, происходило оттого, что советница была сама *не в духе* в это время. Она надеялась, что муж ее после долгого управления останется тут посланником; назначение нового раздражило ее, и она, предвидя скорый отсюда отъезд свой, была ко всему окружающему равнодушна и не хотела взять на себя ни малейшего труда.

Однако она сдержала свое слово. Через несколько дней я опять обедал у них. Она вышла к обеду и, увидав меня в толпе других, назвала меня по имени и, указывая на дальний темный угол, сказала:

20 — Идите туда... Понимаете?

— Понимаю, — сказал я и покорно пошел в этот угол.

— Что такое? что такое? — спросили все.

— Ничего, — отвечала она. — У нас такой уговор есть... Пари.

— Нам нельзя знать? — спросил муж.

— Можно. Я скажу после.

И отвернулась от меня.

Я посидел, разумеется, недолго в углу, встал и хотел 30 выйти на балкон; но она позвала меня и сказала:

— Я исполнила... она в самом деле *ничего!*.. Elle est très bien, quoique un peu prétentieuse, un peu précieuse... Вы были в углу; теперь остается при всех обнаружить, что вы к ней равнодушны, но я предоставляю это Елене Х., она сбиралась обличить вас...

— Как вам угодно! — сказал я очень сухо, и она, увидав на лице моем досаду и боль, была так добра и



деликатна, что за обедом даже ни слова не упомянула о мадам Антониади.

Что касается до Елены Х. (она тоже была у мадам Антониади с визитом в этот же день), то я пошел к ней вечером, поцеловал у ней за это руку и откровенно и убедительно просил ее не «дразнить» меня и не говорить ни при ком об этом.

— Вы разве в самом деле влюблены? — спросила она меня с искренним участием.

— Нет еще, — отвечал я; — но если вы будете так шутить при всех, а потом я сам познакомлюсь и начну в доме бывать, то это ей повредит со временем... вы так добры сами и честны... зачем же вы будете делать зло молодой женщине, которая сама вам понравилась...

— Это правда, — сказала добрая Елена, дала мне слово не шутить этим и тоже сдержала его.

#### IV

После этого я стал искать случая познакомиться с семейством Антониади. Я мог бы достичь этого легко чрез Блуменфельда, который хотя и бранил их за глаза и смеялся над ними, однако был у них несколько раз, как я узнал от камер-юнкера. Но разве этот человек мог к чему-нибудь подобному отнестись просто? Его-то именно я и не хотел просить ввести меня в этот дом. Во всякий другой, только не в этот!

Было еще и другое затруднение... я был очень дурно одет. У меня был очень хороший новый фрак, в котором я часто обедал в посольстве, но ежедневное мое платье было не хорошо. Почти все мои знакомые и товарищи были такие щеголи, а я ходил по набережной Буюк-Дере в каких-то белых летних сюртуках вроде военных кителей. Не скажу, чтобы меня это слишком огорчало или стесняло, я был спокоен и не стыдился; а сослуживцы мои, надо отдать им эту справедливость, при всем ще-

гольстве своем, связях и богатстве, вели себя со мной совершенно по-товарищески и сами приглашали меня на такие прогулки и сборища, в которых принимали участие и самые знатные, самые чиновные иностранцы. Раз только один из секретарей посольства сделал мне замечание по поводу моего костюма, но такое дружеское, что оно обидеть никак не могло. Он сказал мне с участием и грустью:

— Когда это, милый Владимир Александрович, я увижу вас хорошо одетым. Эти белые штуки ваши мне ужасно надоели!..

— Если они надоели вам, то каково же мне? — отвечал я ему. — Что ж делать!.. Надо иметь терпение. Дайте денег взаймы, я сошью себе платье у Мира.

— Проиграл много, а то бы дал с радостью! — печально сказал на это секретарь...

Однако это замечание принесло свои плоды...

Я стал думать о том, как бы мне устроить это дело и явиться пред милую Антониади; я не говорю чем-нибудь особенным, а хоть таким как все... Нужно было занять. Но где? У кого?

Я стал было просить вперед мое жалованье у нашего казначея Т., добродушного толстого грека-католика. Он иногда давал. Но на мою беду Т. был в то время под самым неблагоприятным для меня впечатлением.

Один из небогатых сослуживцев наших, родом болгарин, незадолго пред этим взял у него вперед жалованье за два месяца, заболел и умер. Толстый Т. топал ногами и с мрачным видом кричал:

30 — Вообразите, какой фарс разыграл со мной «се diable de Stoyanoff»! Взял деньги и умер! И я теперь плачу казне свои... Я не буду больше никому давать ни копейки.

Что мне было делать? Мера терпения моего истощилась; та внутренняя самоуверенность, та гордость, которая до этой минуты возвышалась над белыми старомодными и странными кителями, начала почему-то слабеть... мне становилось больно, скучно...

Счастливая случайность выручила меня неожиданно. Тоскуя о новом платье, я зашел к Вячеславу Нагибину, молодому чиновнику русского почтового ведомства в Константинополе.

Он был юноша богатый; расчетливый до скупости; по службе аккуратный; маленького роста, свежий и красивый, как куколка; охотник до хороших вещей, до древностей, до восточных ковров, до кипсеков. Я с ним был в хороших отношениях; во время приездов моих в столицу находил всегда пристанище на прекрасном диване его приемной, и даже, признаюсь (я дал себе слово во всем признаваться в этом рассказе), удивлял всех тем, что умел, несмотря на его чрезвычайную расчетливость, занимать у него деньги, льстя ему и поддельваясь без особого труда под его археологические вкусы. На этот раз мне опять удалось то же самое и в гораздо больших размерах. Нагибин достал где-то очень редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». Я начал объяснять ему, почему эти, по-видимому, бесстыдные изображения помпейских жилищ не производят на человека со вкусом и нравственным чувством того возмутительного впечатления, которое производят на него цинические картины нашего времени. Я доказывал ему (конечно, не без основания), что *сравнительное* целомудрие и изящество древнего сладострастия происходило от того, что было освещено как бы косвенными лучами самого религиозного начала, господствовавшего в греко-римской жизни, и потому самые бесстыдные изображения были чужды того цинического юмора и той грязной грубости, с которою приступают ко всему подобному люди нашего времени (и особенно гадкие эти французы) вопреки Христианству...

— Раствлением античного мира, — сказал я, — как будто бы правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении, — прибавил я, — быть может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь от грязи и цинизма, легко поддаются

тонкому обаянию плотской эстетики. Но в отношении искусства — совсем иначе.

Вячеслав Петрович был в восторге от моего объяснения и спросил:

— Отчего вы об этом не напишете?

— Куда мне писать! — отвечал я. — Я мог бы писать в хорошей обстановке, я не хочу быть похожим на газетного скромного труженика... Это очень обидно. А тут денег нет никогда! (Я еще раз сознаюсь, что у меня тогда<sup>10</sup> были большие и самые разнородные претензии.)

— Сколько вам теперь нужно? — спросил Нагибин, — скажите откровенно...

— Рублей двести, — отвечал я, — но вы мне столько раз уже давали; про вас говорят все, что вы скупы на все, кроме ваших этих редкостей...

— Вы тоже редкость! Я и еще вам дам; вы мне те заплатили, — сказал он любезно и пошел доставать из своего бюро деньги, которые я долго, очень долго потом не в силах был ему возвратить.

<sup>20</sup> За эту вину мою Нагибин был одно время на меня основательно сердит; но это случилось гораздо позднее, а в те дни, которые последовали за моим неожиданным и столь удачным займом, Нагибин был доволен мною, а я совершенно счастлив.

Я оделся хорошо, так хорошо, что переход от «белых кителей» был уж слишком резок и бросался всем в глаза.

Товарищи шутили, но так мило и не зло, что их ласковые насмешки не только не оскорбляли меня, но даже усиливали мое удовольствие.

<sup>30</sup> Первый секретарь посольства сообщил мне с улыбкой, будто бы все иностранцы спрашивают:

— Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства? Кто это? Кто это?

— Непременно консул. Отчего ж не секретарь посольства? — спросил я.

И прибавил:

— Вы верно не находите меня этого звания достойным? Какой-нибудь оттенок?..

— Мы, секретари, люди мирные, люди пера, — отвечал с улыбкой первый секретарь, — а у вас усики так припомажены и подкручены, что всякий примет вас за консула. *Ех ungue leonem!*.. Консула люди воинственные; они считают долгом все разносить, чтобы доказать величие русского призвания на Востоке...

Меня это объяснение восхитило своею тонкою ядовитостью... Один из драгоманов (тот самый, который так жаждал видеть меня хорошо одетым) обнял меня и воскликнул:

— Наконец-то моя мечта осуществилась... Молодцом! молодцом... Поздравляю, голубчик... Поздравляю!

Янинский консул Благов, с которым мы были «на ты» и знакомы с детства и который только что приехал в отпуск, хотел сочинить стихи на мое новое платье... (Он писал иногда очень хорошие эпиграммы и сатиры.) Но, по его собственному уверению, было так нестерпимо жарко, что злая муза его дремала и он дальше одного стиха не пошел:

Тому цвету *Bismark* изумлялся народ...

Замечу, что я по всегдашнему расположению моему подозревать в людях скорее доброе, чем худое, не поверил, что Благов изнемогает от жары, приписал неудачу его стихов высокому чувству самой тонкой доброты; я думал, что он не хочет даже и легкою горечью приятельской насмешки отравить ту почти отроческую радость, которую он мог предполагать во мне... Да я ее и не скрывал!

Самой надменной советнице нашей я сказал: 30

— Теперь я вас буду меньше бояться!

— Смотрите не ошибитесь, не будет ли хуже? — возразила она довольно благосклонно.

Однако ничего худшего не вышло ни от нее, ни от других, и мне оставалось только найти случай познакомиться с мужем Антониади. Этот случай представился сам

собою раньше, чем я ожидал. Дело было вот как. Мы ждали приезда нового посланника в Буюк-Дере. Два дня продолжалась ужасная буря. Страшно было подумать, как плывет он теперь по Черному морю из Одессы с семьей?.. Но в самый день вступления маленькой «Тамани» в Босфор погода разгулялась; пролив стал синий и ровный; все утихло и приняло праздничный вид. Стало так хорошо, что один из сослуживцев наших с завистью воскликнул: «*Этому человеку (посланнику) на роду написано счастье!*»<sup>10</sup> Даже и погода для него разгулялась!»

Поверенный в делах и все чиновники посольства готовились встретить начальника, надели фраки. Было дано уже как-то знать, что «Тамань» вступила в пролив. Я не принадлежал к посольству, не искал присоединиться к этой свите, хотя бы мне никто, конечно, этого бы не запретил.

Не знаю и не помню почему, я предпочел пойти на квартиру того казначея Т., который так сердился на неожиданно умершего болгарина, и смотреть оттуда на въезд<sup>20</sup> и встречу из окна. Т. сам, приглашая меня воспользоваться его окнами, отворенными прямо на прекрасную набережную Буюк-Дере, предупредил меня, что я найду у него гостей.

— *Un certain Antoniadi Chiote.\* Brave homme quant au fond; mais anglomane comme un sot!* — сказал он с мрачною энергией и прибавил подмигивая: — *Possedant du reste une femme, une jolie femme, dont vous me donnerez des nouvelles, je veux bien l'espérer!* — И притопнув значительно ногой, толстяк надел круглую шляпу и удалился<sup>30</sup> поспешно, потому что поверенный в делах его давно ждал.

Я пошел к нему на квартиру и увидел там этих «гостей».

Была тут одна пожилая, почтенная дама; гречанка тоже и, как сам хозяин, римского исповедания; двоюродная ему

---

\* Уроженец острова Хиоса.

сестра; не знаю, почему-то она давно уже носила траур. Я ее знал и прежде, и мне очень нравилась ее приятная и благородная наружность. Седые волосы и бледное лицо; плавная и величаявая походка, черная одежда печали и тонкие черты лица, милая моложавая улыбка, несколько лукавая — все это вместе располагало меня к ней, хотя я встречал ее редко и еще реже имел случай с ней говорить.

Она сидела на диване рядом с другою дамой, тоже не молодою.

Эта другая дама была совсем иного рода. Я ее видел в первый раз. Одета она была недурно и сообразно с годами и держала себя очень скромно. И несмотря на все это, в ее наружности было что-то подозрительное, приторное и отталкивающее. Она была очень бела, бледна и несвежа; волосы ее были светлы, как лен, черты лица неправильны и некрасивы; губы тонки, а веки очень красны. Она придавала себе сентиментальный вид. Взглянув на нее, я разом вспомнил о трех очень далеких друг от друга образах — о белом кролике с розовыми глазами, о какой-нибудь несчастной, никем на свете не любимой и некрасивой старой девушке и еще о начальнике султанских не черных, а белых евнухов... мне хотелось поклониться ей и сказать:

— Здравствуйте, *m-lle Кызлар-агаси!*..

Но она была не девица, а вдова из Одессы, приятельница г-жи Антониади, безо всякого определенного общественного положения.

— Madame Игнатович, ваша соотечественница, из Одессы, приятельница madame Антониади, — сказала кузина хозяйина, знакомя меня с ней.

И фамилия эта самая, Игнатович, была такая неопределенная, она могла быть и польскою, и сербскою, и малороссийскою, и даже великорусскою, все равно.

Эта женщина возбудила во мне к себе сразу отвращение...

Пред этими двумя дамами, привлекательною и ужасною, сидевшими рядом на диване, качался тихонько на качалке бледный как воск брюнет с густыми и длинными

чорными бакенбардами и с цилиндром в руке. Это был сам Антониади, — «Chioté; bon homme, quant au fond...»

Жена его сидела у окна и, облокотясь на подоконник, смотрела на Босфор, за которым зеленел азиатский берег.

Она сидела, одною рукой облокотившись на окно, а другою обнимала дочь свою, девочку лет семи. И в одежде дочери была видна душа изящной матери. Девочка была одета очень мило, в белом кисейном с зелеными горошками <sup>10</sup> платье и в шляпке, украшенной колосьями, васильками и пунцовым маком; но лицом она была нехороша и больше походила на отца, чем на мать.

Кузина хозяйина подала мне руку и познакомила меня со всеми.

Когда мадам Антониади обернулась и глаза наши встретились, не знаю почему, я до сих пор не в силах объяснить этого... не знаю почему, сердце мне сказала что-то особое...

«Она будет любить тебя».

<sup>20</sup> Или: «Она тебе не будет чужою...»

Не знаю хорошо что именно, но что-то особое...

Я сел и начал о чем-то говорить с привлекательною кузиной... О чем мы говорили, не помню; но помню только приятные движения ее головы и ее улыбки, ее одобрения. Я говорил, должно быть, недурно; хотя и не помню о чем, но я знаю, что, обращаясь к ней, я говорил не для нее, а для той, которая сидела у окна.

Мадам Антониади шептала в это время что-то дочери, показывая ей на Босфор.

<sup>30</sup> Кузина хозяйина обратилась к ней и спросила: «Вы начинаете свыкаться с нашим Востоком?»

Я еще не слышал в это утро ее музыкального голоса и ждал, что она скажет; но она сказала очень обыкновенную вещь: «Природа здесь восхитительна; но общество здешнее я недостаточно еще знаю, чтоб об нем судить».

— Здесь не одно общество, а двадцать разных, — отвечала кузина.



В эту минуту раздались пушечные выстрелы... «Тамань» была уже близко...

Мадам Антониади вздрогнула; девочка запрыгала у окошка, спрашивая:

— C'est le ministre, maman? c'est le ministre?..

Мы все поспешили к окнам...

Выстрелы раздавались один за другим; стреляли турецкие пушки и с одного русского военного, случайно зашедшего в Босфор...

«Тамань» уже была видна из наших окон... Пред деревянную пристанью, против ворот Миссии, качалась лодка, готовая вести весь персонал посольский навстречу послу. «Тамань» остановилась. Выстрелы не умолкали... Чиновники наши толпой во фраках и цилиндрах спешили к пристани вослед за поверенным в делах. Они сели в лодки и поплыли к пароходу.

— Mon gros cousin est tout essoufflé, je suppose, — сказала мне с улыбкой мадам Калерджи, кузина хозяина.

— Какой прекрасный, почтенный человек ваш cousin! — заметил ни с того ни с сего г. Антониади с натянутым восторгом.

— Да, он очень добр, — прибавила жена его равнодушно и потом вдруг, обращаясь ко мне, спросила: — отчего вы не участвуете в этой церемонии?

— Я не принадлежу к посольству. Я здесь в гостях, на время. Я только могу быть зрителем.

— Восток вам нравится? — спросила она еще.

— Ужасно, — отвечал я с жаром.

— Чтò ж вам именно нравится, я бы желала знать? Это очень любопытно...

Я пожал только плечами и ответил, что для меня непонятно, как может Восток не нравиться...

— Вас удивляет, кажется, мой вопрос? — сказала она.

— Да, удивляет, — сказал я. — Здесь все... или почти все хорошо.

— Это не объяснение, — возразила она с милою улыбкой.

Дочь ее перебила нас в эту минуту; она хотела знать: Что теперь будет? — Отчего le ministre не едет сюда? Что он теперь делает?.. Есть ли у него жена и дети?

Мне пришлось с досадой объяснять все этой девочке, так как мать сказала ей, что я все это лучше ее знаю... Я сказал, что у посланника есть жена очень молодая, красивая и богатая, что есть пока еще один только маленький сын и что посланник принимает теперь на пароход поверенного в делах и будущих подчиненных своих, но, вероятно, скоро будет на берег... Я говорил все это терпеливо и вежливым голосом, но глядел на девочку очень сухо и внушительно, чтоб отнять у нее охоту обращаться еще раз ко мне.

Мать заметила эту досаду и, улыбнувшись, сказала дочери по-гречески: «Не надоедай своими вопросами».

Освободившись на минуту от докучного ребенка, я начал так:

— О Востоке надо или говорить много и основательно, или отделяваться такими фразами, что природа хороша, что все это очень оригинально, но что общества здесь нет...

Я хотел развить мою мысль дальше, но за спиной моей и очень близко раздался голос вставшего со своего места мужа:

— Вы называете это фразами? Но ведь это истины о Востоке... Почему же вы называете это фразами?

Я не заметил, как он приблизился, и чуть не вздрогнул от этой неприятной неожиданности.

Он, улыбаясь немного, щипал одною рукой свои черные, длинные и смолистые бакенбарды...

Одну секунду от новой и мгновенной досады я не знал, что отвечать, но тотчас же справился с собой и сказал:

— Да, я считаю это фразами, потому что все это говорится без мысли и безо всякого живого, личного чувства. Слышат это друг от друга; вкуса мало; идеалы жизни ложные, какие-то парижские...

— Почему же парижские, — возразил муж. — Люди и сами могут судить. А если жители Парижа делают вер-

ные замечания, почему же отвергать истину по предубеждению...

— Что такое *истина*? — спросил я, как Пилат, не найдя на первую минуту ничего лучшего (мне хотелось отвечать ему дерзко и грубо, хотелось сказать, как сказал недавно еще при целом обществе, очень высоком, один из наших консулов, человек очень горячий по характеру: «Кто ж ездит в Париж теперь? Разве какие-нибудь свиньи?» Но, конечно, я воздержался.)...

— Во всем сомнения? *Пирронизм*?! — с легким и почти насмешливым поклоном заметил хиосский торговец и, прекращая спор, прибавил, глядя в сторону «Тамани»:

— Вот, кажется, посланник съезжает на берег...

Все глаза (кроме моих) опять устремились на синие и тихие воды прекрасного пролива... Я говорю: кроме моих, потому что в эту минуту чета Антониади заинтересовала меня больше всего, и эти несколько язвительные возражения мужа, и моя собственная, как мне казалось, ненаходчивость меня взволновали больше, чем я мог ожидать при первой встрече с людьми незнакомыми, к которым я должен был бы быть совершенно равнодушным...

Но... увы, я уже с первого взгляда вполне равнодушен не был...

## V

Я не помню, как и на чем ехал посланник с парохода до пристани, на посольском ли канке или на военном каком-нибудь катере, я не помню, была ли и в это время пушечная пальба или нет. Я не помню даже, глядел ли я в окно в эти минуты или нет. Вероятно, глядел; но был до того равнодушен ко всему церемониалу, что у меня не осталось в памяти никакого впечатления. Я помню только одно, что я был не в духе. «Пирронизм! Пирронизм!» Зачем хиосскому купцу и такому неприятному знать так твердо названия философских систем!..

Посланник приближался к пристани.

— Жена его с ним! жена! — говорила бледная девочка, прыгая у окна.

Старшие все молчали.

Посланник и посланница вышли на берег.

Посланница шла одна впереди. Посланник следовал за нею. Посланница была одета очень скромно, в чем-то сером и в круглой шляпе.

— Она очень молода! — заметила кузина хозяйина.

— Но отчего она так бледна? — спросила нежно и жалостно белая дама с красными веками.

— Вчера была буря; она, вероятно, страдала, — сказал Антониади.

— Это ужасно! — воскликнула еще сентиментальнее дама с общеславянской фамилией.

Маленькая дочь Антониади недоумевала.

— Разве она очень хороша? — спросила она про красивую посланницу.

— Ты ничего не понимаешь, Акривí,\* она красавица, — возразила ей мать. — Ты не воображай, что ты сама хороша. Ты будешь гораздо хуже ее.

— Я знаю, что я не хороша, — прошептала Акриви и спрятала лицо на груди у матери.

Последнее замечание меня обрадовало; маленькая Акриви напоминала отца, такие же тихие черные глаза, покойные, скучные; цвет лица вовсе не такой золотистый, как у матери, а бледно-восковой, как у него... Это строгое замечание матери, по-видимому любящей и ласковой, было не лестно для того, на кого дочь ее была больше похожа... Вот что меня обрадовало немножко, вот что подавало мне хорошее мнение о вкусе мадам Антониади. Я не желал зла ни ей, ни мужу... За что же! Я в первый раз их видел... Я вовсе не желал бы узнать, что они живут между собой дурно и в раздоре. Нужно быть негодяем, чтобы радоваться несчастью чужой семьи... Я всегда чтил семью, и суп-

---

\* Дорогая, греческое собственное имя.

ружеский мир казался мне всегда одним из высших благ земной жизни... Пусть они уважают друг друга! Пусть они живут мирно и дружно, я очень рад... Но что ж мне делать!.. Я хочу быть правдив и откровенен, как на исповеди, в этом рассказе! Что ж мне было делать! Она меня заинтересовала; она мне сразу понравилась, а муж и дочь, его напоминая, были мне вовсе не по вкусу... Поэтому в строгом замечании, которое мадам Антониади сделала девочке, я прочел что-то особенное... Какую-то, казалось мне, тонкую преднамеренность... Ведь защитить несомненную красоту посланницы она могла бы и другими словами, не говоря девочке, что она сама вовсе не будет красива. Положим, это полезно — «смирять» ребенка и убивать в нем рано зародыши гордости и тщеславия. Но сама молодая мать показалась мне с первого взгляда, с первых слов расположенною к тщеславию, и едва ли она была склонна к строгости с этой точки зрения.

Одним словом, мне как-то и почему-то понравилось ее несколько жесткое замечание дочери... Я поспешил взглянуть украдкой в сторону *того*, на кого дочь была похожа и которого *тон* в разговоре со мной был мне так не по душе. Он все стоял у другого окна рядом с мадам Калерджи и хладнокровно глядел, как вслед за новым посланником причалила к пристани лодка возвращающихся поверенного в делах и всех других членов посольства. Они вышли все и исчезли за воротами.

Когда вся эта небольшая толпа людей в цилиндрических шляпах, во фраках и летних пальто поверх фрака исчезла из глаз, Антониади тихо повернулся на каблуках и, отойдя от окна, сказал спокойно:

— *Finita la comedia!*..

Жена его возразила ему слегка и с очень милым движением головы:

— Почему же комедия? Это слишком резко... Я нахожу, — продолжала она, — что прибытие русского посланника в Константинополь имеет слишком большое политическое значение, чтобы называть все это комедией. Я,

напротив того, нахожу, что это все так величественно и вместе с тем так просто.

Она не кончила своей мысли и сделала только и рукою и головой премилое движение.

— Простое всегда величественно, — прошептала белая дама.

В первый раз мне пришлось согласиться не с *ней*, а с *ним*.

Я поспешил вмешаться в разговор.

<sup>10</sup> — Нельзя согласиться ни с тем, что это комедия, ни с тем, что это величественно. Это именно очень просто, вот и все. Вот вы спросили у меня, чем мне нравится Восток; теперь я вам объясню это лучше. Восток живописен; Европа в самом дурном смысле проста. Посмотрите на все эти одежды, как штатские, так и военные, на эти цилиндры и кепи... Я не виню никого... За что же? Они все платят дань времени... «*La simplicité*»... Знаете эту скуку, «*la simplicité*»!.. Они *вынуждены* носить эти уродливые и смешные головные уборы, выдуманные во Франции. Они <sup>20</sup> подчиняются тем убийственным (даже для развития у нас в России пластических искусств убийственным) вкусам, которые господствуют у нас со времен великого голландца Петра, исказивших образ и подобие Божие в русской земле...

— Вы не шутите! ваши выражения сильны, — перебила меня мадам Антониади.

Но я не хотел уже останавливаться.

— Я не только не шучу, я не нахожу слов от обилия мыслей, доказательств и примеров... Я затрудняюсь в <sup>30</sup> выборе... Я понимаю величие вот как: когда Бёкингам представлялся Лудовику XIII и жемчуг нарочно был пришит слегка, но во множестве к его бархатной мантии... и при каждом шаге и поклоне его сыпался на пол, и французские дворяне подбирали его... Или когда польское посольство, не помню при каком султани, въезжало в Константинополь на лошадях, которые все были так слабо подкованы серебром, что эти подковы спадали с копыт... Это величие!..

Или когда я вижу теперь еще здесь на Востоке пеструю толпу этих людей не по-европейски одетых, я признаюсь, что я каждым проявлением души и ума в них невольно больше дорожу, чем несравненно более сильными чувствами и достоинствами, скрытыми под этим гадким сюртуком и сак-пальто... Эти символы падения, эта безобразная мода!.. Это — смерть, это траур!.. Вот мое мнение.

Все слушали меня внимательно. Антониади был серьезен и счел долгом заметить:

— Есть значительная доля правды в ваших словах...<sup>10</sup> Восток еще живописен; это, впрочем, знают все...

При этих последних словах он сделал какой-то знак плечами и головой, как будто хотел дать мне понять, что я говорю не новые, а очень известные вещи.

Уже почти взбешенный, я торопился возразить и начал так:

— Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскарade каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть...<sup>20</sup>

— Это очень смело, — заметила мадам Антониади.

— Mais c'est de la vraie poésie! Monsieur est poète! — тожно пропела белая Кызлар-агаси.

Меня немножко покорило, и я, обратясь к ней, сказал вежливо, но очень сухо:

— Madame (не знаю, как перевести слово: madame. Положим — «сударыня»)... Сударыня, поэзия всегда истинна... Поэзия — это сама истина, облеченная в плоть.<sup>30</sup>

Антониади молчал, но интересная кузина предложила мне вопрос, который заставил меня на минуту задуматься.

— Неужели вам в Турции все нравится, все без исключения? Это невозможно... — спросила она.

— Ах, да, да! — воскликнула madame Антониади, — вот интересный вопрос... Я жалею, что я сама не догадалась предложить его.

Я сказал, что вопрос этот заставил меня задуматься. Я знал очень хорошо, *что именно* мне не нравится на Востоке... Мне не нравилась тогда сухость единоверцев наших в любви. Мне ненавистно было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма, к которому я дома в России с самого детства привык. С этой и только с одной этой стороны я был «европеец» до крайности. Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали «ангел красоты отворял окно своей кельи», и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета.

Ничего подобного я в среде местных христиан не видал и тем более в среде, которую зовут почему-то «интеллигентною»... Скорее у горцев и простых горожан заметны проблески подобной поэзии; но она исчезает бесследно, как только болгарин, грек или серб снимает национальную <sup>20</sup> одежду свою и начинает считать себя «образованным». Утрата бытового стиля и эпической простоты не вознаграждается на Востоке, как нередко вознаграждается она у нас глубиной и тонким благоуханием возвышенных чувств, которыми я дышал под дедовскими липами еще тогда, «когда мне были новы все впечатленья бытия». На место умолкнувшей и милой пастушеской песни не поется у христиан Востока блестящая ария страстной любви... Вот *что* мне не нравилось в Турции; вот *что* возмущало меня на Востоке и наводило тоску. Если бы к прелести и пестроте <sup>30</sup> картины окружающих нравов возможно было бы прибавить потрясающую музыку страстных чувств и наслаждения живой и тонкой мысли, то мне казалось, что лучшей жизни нельзя бы было во всем мире найти.

Вот о чем я *задумался* даже несколько тревожно, когда мне предложили эти дамы весьма естественный вопрос: «Неужели вам здесь все нравится, все без исключения?» Есть и другая сторона жизни, тесно связанная с вопросом



о романтизме в сердечных делах: это вопрос о семье... Всякий знает, как отношения между христианскою семьей и сердечным романтизмом многосложны, противоречивы и вместе с тем неразрывны и глубоки. То дополняя друг друга в разнообразной и широкой жизни обществ истинно развитых и возводя семейный идеал до высшей степени чистоты изящества и поэзии, то вступая в раздирающую и трагическую борьбу, как в сердцах несчастной Анны Карениной и благородного Вронского, романтический культ нежных страстей и, быть может, несколько сухой с первого взгляда (я говорю: *только с первого взгляда*) спиритуализм христианского воздержания проникают духом своим издавна всю историю западных обществ, господствуя даже и в бессознательных сердцах, то в полном согласии, увенчанные благодатью Церкви, то вступая в эту страшную и всем нам так близко, так болезненно знакомую коллизию, в ту коллизию, которой и драма, и поэзия, и роман, и музыка, и живопись обязаны столькими великими и вдохновенными моментами...

На Востоке, у христиан образованного класса я этого ничего не видал... В их сердечной жизни нет ни пафоса, ни музыки, ни грации, ни ума; я встречал у них только две крайности: или сухую нравственность привычки и боязни, или тайный, грубый и бесчестный разврат...

Для меня все это было уже давно ясно; все это было обдуманно давно, подведено в уме моем под те ясные границы, чрез которые, положим, жизнь всегда переступает тонкими оттенками, но без умственного начертания которых невозможно было бы ни мыслить, ни наблюдать, ни даже говорить серьезно с другими людьми.

И вот, пользуясь тем, что для меня все это было уже ясно, что всему были найдены уже в уме моем место и степень заслуги, — я бы мог все объяснить безобидно, толково, может быть, даже и с некоторым блеском, если бы дал себе волю высказать все и если бы остался верен сам себе и своему внутреннему миру. Я бы мог начать чуть не целую диссертацию, занимательную, живописную и

правдивую, если бы не заразился несколько от большинства посольских знакомых моих тою сдержанностью речи и тою, иной раз *искусственной бедностью* мысли, которою они подчас даже щеголяли... Да!.. щеголяли; потому что, наверное, многие из них были умнее и серьезнее, чем казались, и понимали гораздо больше, чем хотели высказывать... Светская осторожность, иногда даже своего рода светское остроумие заставляли их показывать меньше чувства и мысли, чем у них было на самом деле; или, еще точнее выражаясь, у многих из этих дам и кавалеров один род ума, более язвительный или более мелкий, изгонял или заключал в оковы другой род, — род более задушевный и серьезный. Серьезность свою мужчины берегли для службы, а дамы для минут некоторого «abandon» с друзьями или с теми, кто им особенно нравился. Все это я так долго и подробно объясняю для того только, чтобы сказать, что я в этот раз поступил ужасно бестактно, чтобы сознаться, как я грубо ошибся, именно тем, что не остался верен себе и не начал длинного рассуждения, которое удовлетворило бы, может быть, до известной степени всех и никого бы не оскорбило! Но я по какому-то роковому движению души вдруг вздумал быть сдержанным и кратким и на повторенный дамами вопрос: «Что ж вы задумались? Что вам на Востоке не нравится, скажите?» ответил с неуместным на этот раз лаконизмом так: «Мне ужасно не нравится христианская семья на Востоке...»

Сказал эту глупость и замолчал.

— Ah! c'est bien drôle! — воскликнула кузина несколько сухо.

30 Антониади ровно ничего не сказал, но глаза у него сделались злые. Мадам Антониади с удивлением заметила: «Мне кажется, напротив, если есть что-нибудь очень хорошее на Востоке, так это именно чистота семейной нравственности... Не правда ли?» — спросила она, обращаясь к мужу.

Антониади с чуть заметною улыбкой ответил на это, пожимая слегка плечами: «О вкусах спорить нельзя!»

Я чувствовал, что он мог думать о чем-то несравненно худшем, чем *странный* вкус, мог счесть меня до невозможности безнравственным человеком, не пустить к себе в дом. Я опомнился, догадался, что начал совсем не с того конца, и поспешил поправиться:

— Позвольте, уговоримся прежде; *entendons-nous...* Я начну, извините, издалека... Когда я в критской деревне или в Балканах вступаю на глиняный пол греческой или болгарской хижины, то вид этой почтенной, солидной и вместе с тем поэтической семьи... 10

Я хотел было продолжать так: «Я исполняюсь почти благоговения пред непритворною, наивною чистотой их нравов, пред их религиозным чувством... Вся эта простодушная, высокая святыня домашнего очага, в соединении с своеобразными нравами и прелестью картинного быта, действует на меня почти так же, как действует храм... Я сам становлюсь строго нравственным человеком, и...»

Но судьба решила иначе! Я даже и этого не успел сказать... Я едва успел вспомнить все это; эти образы и воспоминания едва успели мелькнуть в уме моем, как вдруг раздался в прихожей шум шагов и говор нескольких людей. Хозяин квартиры громко кричал слуге своему: «Эй, Кеворк... завтракать! завтракать! Ради Бога, завтракать, мы голодны как собаки!..» 20

— Кеворк, ах, любезный Кеворк! — раздался голос злого Блуменфельда... — Любезный Кеворк!.. Это правда, что мы голодны. Пожалуста, накормите нас!..

Прием у посланника был кончен, и казначей зазвал к себе еще нескольких человек на завтрак.

Не скрою, я был уже раздосадован, что мне как нарочно не дали кончить мою «диссертацию», полудидактическую, полуоправдательную и, сверх того, я еще был несколько испуган во глубине моего сердца... Я боялся, чтобы которая-нибудь из этих дам не возобновила этого разговора в присутствии наших дипломатов (и особенно при Блуменфельде). Я боялся, чтобы мне не пришлось выбрать одно из двух: или вынести кротко какие-нибудь 30

дерзкие насмешки, или, не уступая ни шага, довести дело до какого-нибудь резкого столкновения, после которого могли бы даже и в Петербурге сказать: «С ним нельзя дела иметь. Он не только оскорбляет чиновных иностранцев; он и со своими доходит до всевозможных крайностей». Но, одушевленный присутствием женщины, которая мне начинала нравиться, я, подумав немного, решился в случае какой-нибудь необходимости предпочесть опасный путь дерзости — постыдному, мне казалось тогда, ресурсу<sup>10</sup> уступчивости и добродушия.

Решившись на это, я успокоился и тотчас же опять повеселел.

## VI

Мы слышали только голоса хозяина нашего и Blumenфельда; но кроме их в гостиную вошло еще трое гостей: неизбежный наш Несвицкий, Нагибин, тот самый молодой чиновник почтового русского ведомства в Царьграде, который сшил мне платье, и третий тоже очень еще молодой вице-консул наш в Варне, просто Петров. Вячеслава Нагибина я уже описал в нескольких словах.<sup>20</sup>

Петров был человек совсем другого рода. Он был пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до неосторожности (это он сказал, при дамах, на обеде, что только свиньи ездят в Париж); со всеми фамильярный, почти без различия звания и чина; нервный, худой и бледный, одетый всегда небрежно, как попало, он, казалось, ничего вокруг себя не замечал и почти не хотел знать, кроме политических интересов и политических дел.<sup>30</sup> Волоса у него были всегда острижены под гребенку и приподняты щеткой; он был постоянно возбужден, постоянно как бы вне себя; говоря, то наступал на собеседника, то отскакивал от него, широко раскрывая глаза и излагая свои любимые мысли бесстрашно, пламенно, часто слишком даже нерасчетливо-прямо; вот каков был Петров.

Турки любили его за доброту и простоту обращения, но постоянно жаловались, что его *пармак* (палец) везде где не надо, и уверяли, что он чуть не с тарелкой ходит собирать на восстание христиан и т. д.

Петров делал множество ошибок, но зато был незамеченным во многих случаях; в среде христиан он был чрезвычайно популярен, и начальство принуждено было многое ему прощать. С течением годов характер его выровнялся; он устоялся, достиг высших должностей, и его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской Империи. <sup>10</sup>

Но в это время над ним много подтрунивали товарищи; он только что поссорился с пашой из-за одной пленной славянки, которая его обманула, по согласию с турками; приехал в Царьград жаловаться и хлопотать об удовлетворении; удовлетворения ему не дали и основательно признали его неправым. Легкомысленные товарищи смеялись над его пылкими и сентиментальными отношениями к «угнетенным братьям-славянам» и сочинили — будто одно из его донесений начиналось так: <sup>20</sup>

«Милостивый государь,

Ее имя было Милена! Она была сирота...»

Петров горячился, отбивался, ссорился, но все так прямодушно, честно и просто, что его продолжали любить и уважать.

Все четверо — Blumenфельд, «вестовой», Петров и Вячеслав, вошли в гостиную вслед за хозяином.

Blumenфельд с первых минут уже обнаружил свою придирчивость. Когда хозяин дома представил Вячеслава Нагибина мадам Антониади и ее *белой с красным подруге*, Blumenфельд не мог оставить в покое молодого человека и тотчас же вслед за хозяином, сказавшим просто: «*Monsieur Нагибин!*» воскликнул: «известный всем более под именем *l'irrésistible boyard russe Wenceslas...*» <sup>30</sup>

Скромный *боярин* ничего на это не возразил.

Потом Blumenfeld обратился ко мне и с видом осознанно стремительным сказал:

— А! молодой человек, и вы здесь... Очень рад, очень счастлив...

На это я ничего не ответил, но тотчас же «вооружился» внутренне и сказал себе: «Я сам его первый затрону...» И ждал случая.

Завтрак был оживленный. Хозяин сам ел много, пил и нам всем подливал хорошего вина.

<sup>10</sup> Несвицкий сел около мадам Антониади и очень скучным тоном, как всегда, начал что-то тянуть про встречу нового посланника, про знатное родство и генеалогию его супруги и про то, кому и как ехать в Порту для исполнения некоторых формальностей; идет теперь спор: первый драгоман посольства говорит, что он едет в Порту и берет с собой первого секретаря; а первый секретарь, на основании точных справок у Мартенса, Валлата, Пинейро-Феррейро и других, доказывал, что в Порту едет он, *первый секретарь, и берет с собой первого драгомана.*

<sup>20</sup> Я ничего не имел против этих формальностей; но раздушенный «вестовой» умел придать всему, до чего он только ни касался, такую несносную пустоту и скуку, и солдатское лицо его представляло такой неизящный контраст с галантерейным ничтожеством его речей, что не только я, но и сам лукавый простак хозяин наш вдруг прервал его возгласом:

— А! Ба! *Voyons!* Оставим это... все эти дьявольские формальности... Я замечу с моей стороны, что новая посланница прекрасна...

<sup>30</sup> — У нее профиль камеи, — сказала его почтенная кузина.

Хозяин обратился к Blumenfeldу:

— А вы, угрюмый человек, оставьте вашу суровость и скажите нам что-нибудь... что-нибудь приятное, любезное, интересное... Как вы умеете, когда вы в духе... Скажите даже что-нибудь злое, если хотите...

Blumenfeld улыбнулся и отвечал:

— Я скажу нечто любезное, а не злое. Ваш армянин делает прекрасные котлеты... Я так ими занят, что не нахожу времени ни для чего другого...

— Кто и что вам больше всего понравилось при сегодняшней встрече? — спросила у Блуменфельда мадам Антониади.

Блуменфельд усмехнулся и сказал:

— Мне больше всего понравилась маленькая китайская собачка...

Все засмеялись.

10

«Вестовой» поморщился; он был недоволен, что хозяин и Блуменфельд прервали таким вздором его глубокие рассуждения о дипломатических церемониях... Потом спохватился и, принужденно улыбнувшись, начал рассказывать об этой самой собачке.

— Да, эта собака историческая. Когда союзные войска взяли Пекин и Китайский Император, как известно, бежал в Монголию, — во дворце не нашли ни души... Только маленькие собачки бегали по залам и лаяли. Одну из таких собачек...

20

Но Блуменфельд, насытившись котлетами, уже опять с двусмысленным взглядом и с раздражающею улыбкой взглянул в эту минуту по очереди на меня и на Нагибина.

Я снова готовился защитить боярина Вячеслава или дать отпор за себя, но он почему-то заблагорассудил оставить нас пока в покое; я спрашивал себя, на кого он теперь накинется. Жребий выпал Петрову.

— А! Петров, я забыл вам сказать новость. В канцелярию пришла бумага из Порты: турки требуют белье Милены, которое осталось у вас в чемодане...

30

Добрый и умный Петров не сконфузился и отвечал очень просто:

— Неужели? Они требуют?.. Ну, что же... Я все доставлю. Там, кажется, лишь несколько платков и два фартука...

— Вы бы хоть один платочек сохранили на память, — сказал Блуменфельд как только мог нежнее.

— На что мне платок, — возразил Петров, — я и так этой истории не забуду; я чрез нее имел столько неприятностей! Разве можно забыть, когда со стороны своих русских ничего не видишь, кроме предательства... Если бы меня поддержали вовремя, то все бы кончилось хорошо...

— Je demande une reparation éclatante! — воскликнул Блуменфельд с комической важностью.

Петров ничего не отвечал на эту последнюю выходку и, желая, вероятно, переменить разговор, обратился к хозяину с вопросом:

— Я давеча поутру забыл у вас несколько болгарских книжек, связанных вместе... Где они? Мне они очень нужны...

Хозяин указал на окно, где лежала связка... Но Блуменфельд не унимался:

— Отдайте, отдайте их скорее Петрову. Очистите поскорее воздух вашего жилища... «Български читанки»... «Български читанки»... Не правда ли, какой благозвучный язык этих братьев-славян...

Мне захотелось поддержать Петрова; я вмешался и сказал:

— Это правда, что все эти языки, и сербский, и чешский, и даже польский, нам с непривычки кажутся чуть не карикатурами на русский... «Стрелять — пуцать»... «Человек, чилек-от»... Конечно, это смешно. Но надо определить все это точнее и отдать себе ясный отчет. Звуки других языков, совершенно нам чуждых по корню... не могут так оскорблять наш слух... например, французский, турецкий или греческий... Хлеб — экмек, псо́ми, du pain... Здесь мы встречаемся со звуками, совершенно новыми, которые могут показаться странными, но ничего смешного или глупого не могут нам представлять.

Нетерпеливый Петров, которого я вздумал защищать, вдруг перебил, напал на меня и начал обвинять меня в расположении ко всему иностранному, в какой-то «великосветской», как он выразился, причудливости вкусов.



— Это один предрассудок, женский каприз: почему «пущать» хуже, чем «стрелять» — я не знаю... Это распущенность ума, кокетство, вроде женского!.. — выходил он из себя... расширяя на меня глаза, как будто он хотел перепрыгнуть через стол и растерзать меня...

— Пойдите, — сказал я, — пойдите, дайте мне уяснить мою мысль...

Но в ту минуту, когда Петров обвинял меня в великосветских претензиях и умственном капризе, Блуменфельд, найдя, что я предаюсь педантизму и довожу основательность моего тона до смешного, не дал мне договорить и с лукавым взглядом, наклоняя немного голову набок, произнес насмешливо, не своим голосом, с какою-то особенною грацией, как какая-нибудь плохая дама, растаявшая пред плохим писателем:

— Отчего же вы обо всем этом не напишете диссертации, статьи, этюда, молодой человек... очерка, чтоб это все определить точнее и отдать ясный отчет, если не другим, потому что это невозможно, то хоть самому себе...

Это было слишком! Прошла минута молчания, и я ответил на это так:

— Теперь я занят другим. Я хочу написать что-нибудь о жизни в Буюк-Дере и описать вас... Знаете, как нынче пишут: «Дверь отворилась. Вошел молодой человек высокого роста и с небрежными движениями; лицо его довольно, впрочем, приятное, несмотря на частые улыбочки, выражало какую-то скуку и претензию на разочарование и пренебрежение ко всему... Хотя никто не мог понять, какие он на это имеет права...»

— Это недурно, — заметил Блуменфельд, немного краснея. — А как же вы меня назовете... Пожалуста, не нужно этого немецкого *фельд*. Я хочу русскую фамилию...

Я нашелся:

— Надо, однако, чтобы что-нибудь напоминающее хоть цветы... Блумен... Блумен... Ну, хорошо, я назову вас по-русски Пустоцветов!

Все опять засмеялись, но гораздо неудержимее и громче, чем тогда, когда Блуменфельд сострил про собаку.

Лицо Блуменфельда потемнело от досады, но он, впрочем, вышел из этого очень умно и просто. Он сказал по-товарищески и вовсе не сердито:

— Ах вы! Как вы смеете мне такие вещи говорить... Погодите, я вам после за это задам.

(Я думал, что тем все и кончится, но Блуменфельд после этого долго избегал говорить со мной.)

<sup>10</sup> Я взглянул мельком в сторону мадам Антониади и прочел на лице ее тихое и дружеское одобрение...

Я был вне себя от радости, и мысль, что сердитый Блуменфельд, который был, конечно, не робкого десятка, придет мне секунданта, хотя и представилась моему уму тотчас же, но ничуть не смутила меня. У меня в то время было какое-то мистическое (хотя и вовсе, каюсь, не православного происхождения) чувство, что меня хранит для чего-то высокого невидимая и Всемогущая сила... и все будет служить моим выгодам, даже и опасности...

<sup>20</sup> Завтрак кончился, но приятное возбуждение у всех только усилилось после него за чашкой кофе; образовались группы: хозяин, Антониади, Петров и камер-юнкер спорили о будущности Турции и в особенности Босфора. «Боярин Вячеслав» занялся (на мое счастье) девочкой Антониади и показывал ей у стола картинки в кипсеке. Около них пристроился сентиментальный белый евнух в юбке и тоже глядел в кипсек. Я желал, чтоб она подошла и села бы около меня, но не смел надеяться на такую отважность со стороны гречанки или, вернее сказать, жены грека. Однако и эта почти несбыточная и мгновенная мечта моя тотчас же осуществилась.

<sup>30</sup> Блуменфельд «толкнулся» было к ней и что-то спросил у нее, но она, ответив ему очень любезно слова два, отошла и села опять на том же кресле, у того же окна, где сидела пред завтраком. Я забыл сказать, что я нарочно подошел еще прежде к этому самому окну. О чем мы говорили с ней под шум веселых голосов, не знаю.

Я помню свое чувство, веселое, праздничное, победное и мечтательное; я помню ее взгляды... Слов почти не помню... О «любви» мы, конечно, и не говорили... Мы говорили, я помню, о совсем посторонних предметах, быть может, даже о самых сухих... Но беседа наша была похожа на пустое либретто восхитительной оперы, на ничтожные слова прекрасной музыки чувств...

Из слов я помню очень немногие... Я помню только вот что из нашей беседы:

— Вы хвалите Восток, — сказала она, — а я терплю здесь большие умственные лишения. Одесса в России считается торговым городом; однако там университет, библиотеки... там есть умственная жизнь, а здесь этой жизни нет и мне очень скучно...

— На что вам университет... — воскликнул я с удивлением. — На что вам библиотеки... Я бежал ото всего этого и счастлив. Книги хорошие и здесь можно найти... Но вы напрасно думаете, что в местах более, так сказать, ученых больше мыслят... Почитайте газеты наши... Разве это мысль... Думайте сами больше, если это вам приятно...<sup>20</sup>

— Однако! — возразила она робко и почти с удивлением.

Долго ли мы говорили или нет, я, право, не помню. Я помню дивный вид из окна, ветерок с пролива, благоухание ее одежды, ее глаза, шум голосов вокруг и даже крики в спорах... Я слышу и теперь еще всегда влачащуюся речь Несвицкого, который говорил:

— Что касается меня, то я нахожу, что Босфор должен считаться международным портом в самом широком смысле этого выражения. Что мне за дело, если будет принадлежать Босфор грекам, англичанам или никому, — лишь бы развели как можно больше садов, чтобы сделали хорошую мостовую, чтобы была хорошая опера, цирки и публичные лекции... Чтобы можно было, например, слушать популярные чтения физики и химии с опытами... Помните этот милый анекдот про химика Тенара и про герцога Орлеанского? «Теперь эти два газа, кислород и водород,

будут иметь честь соединиться в присутствии вашего высочества...»

Эту речь я слышал ясно, потому что при моих антиевропейских культурно-патриотических мнениях она была ударом кинжала в мое сердце, но я и на нее *решился* не возражать, несмотря на *физическую* боль, которую мне причиняли подобные мысли русских людей, — до того я был занят ею в эту минуту. Далее ничего не помню из нашей беседы у окна...

<sup>10</sup> Все наконец стали расходиться; ушел и я. Я видел, как супруги Антониади вышли под руку; видел, как они наняли на набережной каяк.

Маша села первая; муж поднял дочь и передал ее жене, потом спустился за ней сам и сел с ней рядом на дне каяка.

Сильный каякчи ударил веслами, и они скоро удалились от берега.

Я долго глядел им вслед, и мне целый день после этого было очень скучно.

20

## VII

И на следующий день мне опять было как будто грустно. Я все думал о *ней*.

Как познакомиться с нею покороче? сделать или не сделать ей визит? Ни она сама, ни этот ледяной ужасный муж ничего мне не сказали об этом. А между тем я что-то чувствовал, что-то прочел в ее взглядах, в ее недосказанных словах, в ее движениях. Мне казалось, что во всем этом есть нечто большее, чем простое желание видеть меня у себя в доме... Но как она мила и свежа и как он несносен! Как он прилично, опрятно, казенно ужасен! Я видел таких бледных восковых кукол с приделанными черными как смоль бородами.

<sup>30</sup> Я, кажется, уже говорил, что не имел никакой определенной и непременно безнравственной цели. Я заранее готов был *отречься* от полной победы. Я не стану в этом

рассказе ни очернять, ни оправдывать свое давнее прошедшее, на что́ это? Я не стану унижать себя нравственно чрез меру и не стану возноситься. Я не был тогда каким-нибудь невинным, чистым и «духовным» юношей, но не был и во всех случаях безнравственным человеком. У меня были правила личной чести; у меня было великодушие, у меня было желание наслаждаться «поэзией жизни», не причиняя никому страданий и обид, даже, если возможно, не оскорблять и восковую куклу с «приклеенною черною бородой».

10

Скажу еще проще, я был по природе добр и если б я знал на верное, что мои сношения с мадам Антониади расстроят семейное счастье ее мужа, то я ни за что не пошел бы к ней. Но с другой стороны, мне до того хотелось изящных наслаждений, меня так сильно и почти ежеминутно томили жажда новых впечатлений и какое-то боготворение полуплотской, полуидеальной любви... Мне так вздыхалось часто, так нравились любовные стихи... Я с таким невыразимым восторгом перечитывал и повторял наизусть то Пушкина, то Фета:

20

Свеж и душист твой роскошный веноч...

Вот что́ мне было нужно, вот чего я искал, вот о чем думал в свободные от дел часы! В Маше Антониади было именно то, что́ мне было нужно. В ней было нечто такое, что́ меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое, тщеславно-милое, — одним словом, что-то такое, что́ заставляло меня глубоко «вздыхать», вздыхать *счастливо*, вздыхать от той сладкой сосредоточенности, которая теснит грудь и открывает пред влюбленную мыслию бесконечные и восхитительные, в самой неясности своей, перспективы...

30

Так вздыхал я в этот день, бродя по набережной Буюк-Дере. В этот час еще не играла тут музыка и не начиналось ежедневное «европейское» гулянье, которое я терпеть

не мог, не находя в нем ни личного интереса, ни той живописной и этнографической, так сказать, прелести, которая восхищала меня в истинно народных скопищах Востока. Круговая пляска болгарских мужиков под резкую музыку волынки или толпа задумчивых и пестрых турок, провожающих мертвое тело какого-нибудь собрата своего на кладбище, где многие сотни белых мраморных столбов, увенчанных чалмами, теснятся, как привидения, в густой и безмолвной роще исполинских кипарисов, — казались мне<sup>10</sup> гораздо благороднее и многозначительнее этого «европейского» снования цилиндров и жакеток туда и сюда, взад и вперед по одному и тому же направлению, под звуки вальсов, пустых кадрилей и слишком уже знакомых оперных отрывков, напоминавших мне ненавистный и тошный Петербург, из которого я бежал в Турцию, чтобы хоть здесь скрыться от этого наносного и одуряющего «прогресса».

И вот я ходил по пустой набережной и «вздыхал». Воздух был жаркий и тяжелый; ветер дул с юга, и синие волны Босфора пенились и кипели. Я не знал, что мне<sup>20</sup> делать с бездельем своим, как вдруг из переулка вышла моя седая и столь уважаемая мною мадам Калерджи. Она шла к кому-то с визитом; она шла своею удивительно красивою и благородною поступью, на которую я всегда так любовался. Она издали первая поклонилась мне с приветливою улыбкой. Я счел ее в эту минуту посланницей небес: она лучше всякого другого могла разрешить мои сомнения насчет того, делать ли мне визит супругам Антониади или нет?

Я подошел к ней и, еще раз почтительно поклонившись,<sup>30</sup> предложил ей руку.

Она сказала мне, куда ее вести, и, к счастью, я услышал, что расстояние будет настолько велико, что мне можно будет объясниться с нею.

Опершись на руку мою, эта милая женщина обратилась ко мне с самым ласковым, дружески насмешливым выражением лица и сказала коротко и выразительно: «Seul, avec sa pensée!»

— Да, — отвечал я ей, — вы угадали: *seul, avec une pensée...* С одною мыслью, с одним тяжелым сомнением, которое вы, именно вы лучше всякого другого человека можете разрешить.

— Чтò такое? Боже мой, чтò такое? — спросила она с притворным и веселым страхом.

— Вот беспокоюсь, колеблюсь и т. д., делать ли мне визит супругам Антониади или нет?.. Они мне ни слова не сказали, ни тот, ни другой; но ведь нас познакомили, и она была довольно внимательна ко мне; а он?.. ну, он был только вежлив; впрочем, я заметил на завтраке, что он со всеми таков.

Седая красавица моя задумалась и опустила на минуту глаза вниз.

Я чувствовал, что не ошибся в ней и что каяться не буду в том, что обратился к ней так прямо. Ни намек, ни нескромного вопроса, ни улыбки бестактной или недоброй!.. Она тотчас же поняла в чем дело, и поняла, что я желал бы серьезно отнестись к этому, по-видимому, несерьезному делу, и поступила именно так, как я того желал и как сам счел бы долгом на ее месте поступить с другим. После всех этих неизбежных и все-таки не совсем приятных шуточек наших посольских кавалеров и дам ее прием казался мне небесно добрым и рыцарски честным.

Ни намек, говорю я, ни улыбки, ни вопроса!

Она задумалась и опустила глаза.

С благоговением я ждал.

Она подняла на меня светлые, честные, но очень зоркие очи свои и сказала серьезно:

— Сделайте визит... Сделайте визит дня через два-три, потому что они теперь уехали в гости на Принцевы острова. Я и без того хотела вам сказать, что мадам Антониади в восторге от вас и не скрывает этого. Не скрывает даже и от мужа. Она восхищается вашим умом, вашим красноречием. Она узнала все подробности той истории, благодаря которой вы живете здесь, и называет вас *паликаром*. Этот удар хлыста! этот возглас: «*Et vous*

n'êtes qu'un triste européen!» в ответ на крик оскорбленного противника «misérable!» — Это, говорит она, так своеобразно, так дышит крепким убеждением. Это крик души: «Vous n'êtes qu'un triste européen!..» Я повторяю ее слова...

Я молчал несколько секунд, подавленный счастьем; потом спросил:

— А муж?

— Ах да, муж! — сказала моя фея с серебряными <sup>10</sup> волосами. — Муж... Он и доволен, и недоволен, даже очень недоволен вами, как грек, и грек России не враждебный... Знаете, он кажется не глуп; он англоман в привычках, а в политике руссофил; ведь это очень умно, не правда ли?

— Еще бы. Чрезвычайно умно! — воскликнул я... — Чтò ж дальше? Я слушаю... Я весь внимание...

— Ну, вот что из этих вкусов ясно, как он должен к вам отнестись: как грек очень хорошо, как муж — прескверно...

<sup>20</sup> Я невольно остановился и в недоумении спросил:

— Почему ж?

— Разве это не ясно? что вы проговорили про семью христианскую...

— Да! эти несчастные слова мои; они меня до сих пор мучат. Если б я мог предвидеть, что меня так скоро прервут и не дадут мне изложить пространно мой взгляд, то я ни за чтò бы этого не сказал! Я вас умоляю, позвольте мне вам теперь все это объяснить. И если вы найдете, что <sup>30</sup> в моих словах есть доля истины, оправдайте меня пред ними.

И я постарался изложить ей как можно осязательнее все, о чем я *тогда*, пред завтраком едва успел подумать и вспомнить. Мадам Калерджи выслушала меня со вниманием и нарочно замедлила свой шаг. Когда я кончил, она сказала:

— Вы сами виноваты, что начали с конца. Теперь переносите наказание за вашу ошибку. Антониади как муж,



повторяю, негодует на вас, но как грек, как ваш единове-  
рец, понимаете, он очень доволен вашим поступком с из-  
вестным вам «печальным европейцем». Об этом ведь так  
много писали в греческих газетах, и ваше имя в греческой  
печати известнее, чем вы думаете. Он не любит ту нацию,  
представитель которой пострадал от русской руки... Поэ-  
тому подите все-таки и сделайте им визит. Он примет вас  
внимательно и сам, конечно, отдаст вам его.

— Я пойду дня чрез три, но как же вы так изучили его  
мнение обо мне? — спросил я с любопытством. 10

— Я не изучала. Он сам все это говорил. Он при мне  
вчера, в одном доме просто ужасался вашей заметке о  
семье и говорил даже: «с'est inouï»... «с'est souverainement  
immoral ce que ce jeune homme a la hardiesse de prêcher...»  
А ваше дело с \*\*\*, ваш «удар хлыста» хвалил и рад, что  
начальство ваше выдает вас не вполне, а только отчасти...

Мы были уже близко от дома, куда она шла, но она  
была так снисходительна, что продолжала идти все тише и  
тише, полагая, что я имел еще что-нибудь сказать.

Но я был уже погружен в безмолвие тихого блаженст-  
ва... И, с чувством пожав ей руку, простился с ней у ворот  
богатого армянского дома... 20

Я прожил после этого два дня в приятном ожидании и  
мне уже не было теперь скучно. На третий день я должен  
был сесть на пароход и ехать в город, чтобы сделать им  
визит.

Но все мечты мои, вся моя радость резлетелись в прах!  
Я был человек подневольный. На второй день вечером  
меня призвал начальник и сказал:

— Собирайтесь непременно завтра в Адрианополь. 30  
Консул Богатырев ждет вас с нетерпением; ему необходи-  
мо сейчас ехать в отпуск. Он умоляет меня не задерживать  
вас. К тому же это и для вас выгодно: вы сейчас же  
вступите в управление консульством, и ваши противники,  
понимаете (он показал с улыбкой, как бьют хлыстом),  
увидят, что мы исполнили против них весь долг диплома-  
тической вежливости, перевели вас, как будто в угоду им,

из места столкновения в другой город; но вместе с тем не выдали вас, потому что тотчас же поручили вам очень серьезный пост. Вы понимаете, что совершенно без уступки, хотя видимой, нельзя. Всякий русский может быть рад, что вы его съездили (чтоб он не смел русским грубить); но ведь нельзя *открывать новую эру* дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но постарайтесь не прибегать<sup>10</sup> уж слишком часто к таким *voies de fait*...

Я был и обрадован, и немного смущен этою речью молодого и молодцоватого нашего начальника: тут было столько и лестного, и ободрительного, и слегка насмешливого, и повелительного, и товарищеского.

Я, краснея, поклонился и пошел собираться.

Службой своею я дорожил; скажу яснее: я ужасно любил ее, эту службу, совсем не похожую на нашу домашнюю обыкновенную службу. В этой деятельности было столько именно не европейского, не «буржуазного», не<sup>20</sup> «прогрессивного», не нынешнего; в этой службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны национальной нашей русской власти! Столько простора самоуправству и вдохновению, столько возможности делать добра политическим «друзьям», а противникам безнаказанно и без зазрения совести вредить!.. Жизнь турецкой провинции была так пасторальна с одной стороны, так феодальна с другой!..

Итак, я уехал из Царьграда и не успел ей сделать<sup>30</sup> визита. Я хотел служить хорошо, хотел наслаждаться борьбой за русскую идею на Востоке, и, конечно, в эту минуту наш посланник, сам молодой, сам лихой и чрезвычайно ласковый и умный, был мне нужнее загадочной и лукавой этой Маши, полугречанки, полурусской...

Я спешил повиноваться и уехал, не выдав ее больше. Но всю дорогу я беспрестанно думал о ней и пожимал плечами с удивлением:

«На что́ такая ненужная встреча? такой мгновенный просвет незрелого чувства; такие пустые и бесследные вспышки бесполезного огня?» Из взглядов ее, чуть заметных, положим, из чего-то еще очень тайного, очень изда- лека ободряющего в словах и едва уловимых движениях (я не могу даже выразить всего этого), и еще более из рас- сказов мадам Калерджи о том, что она восхищается мною, я видел, что эти мгновенные просветы были не в моей только душе, но и в ее, что огонь загорелся не во мне 10  
одном, но и в ней, быть может, еще больше...

Так ехал я верхом по скучной степи южной Фракии и думал: «На что́ это?» Я думал об этом, завернувшись в бурку под осенним дождем; я вспоминал о ней на ночлегах в грязных ханах; я видел, как она входит в церковь, как она идет мимо белой стены посольского сада, как она дер- жит дочь обнявши, сидя у окна... Я помнил ее ленты, ее позы, ее перчатки, ее голос и опять спрашивал себя: «На что́ все это?»

Наконец мне показалось, что я понял! Дождь перестал 20  
лить. Осеннее солнце снова тепло и весело освещало мелкую, сырую зеленую травку на пригорке, где мы с цыганом-суруджи\* и турецкими жандармами остановились на минуту, чтобы дать вздохнуть лошадям. Я сошел с лошади и ходил взад и вперед. Эта сырая зеленая трава напомнила мне родину. И вдруг представился мне один островок посреди круглой сажалки в заброшенном и опус- телом дедовском имении. Я гулял однажды совсем еще юношей по этому забытому саду, в мае месяце, и увидел, что на этом острове в чаще густого и грубого лозняка 30  
цветет куст черемухи... Осыпанный белыми цветами, он цвел и благоухал в этой чаще; я его видел, но ни я, ни кто другой дойти до него не могли: на болотистой забро- шенной, но глубокой еще сажалке не было ни плота, ни мостика, ни простой перекладинки... Черемуха цвела как

---

\* Верховой ямщик вольной турецкой почты.

будто сама для себя; я не мог дойти до нее и ни разу после того я не видал ни этого сада, ни этого имения, ни сажалки этой, ни цветущего куста; но я не забыл его и не могу забыть... И только...

Вот так и эта милая женщина останется навек в памяти моей; я ее больше, вероятно, и не встречу, но образ ее будет благоухать и цвести в моем воображении, как цветет до сих пор в нем этот только издали мною виденный куст душистой черемухи!..

10

## VIII

В Адрианополе я стал забывать о ней. Мне было некогда; иных впечатлений было так много, что думать часто о молодой женщине, которая явилась предо мной только как «мимолетное виденье», было невозможно и неестественно. К тому же я был не только очень занят, я был доволен, постоянно возбужден и вместе спокоен духом.

Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, и вот мечты мои исполнились: я в Турции. Я хотел видеть кипарисы, минареты и чалмы: я вижу их. Я хотел быть дальше, как можно дальше от этих ненавистных, прямых, широких улиц Петербурга... я был далеко от них.

Занятия мои были мне по вкусу — неспешные, обдуманные, по смыслу не пустые, с легким и приятным жалом честолюбия... со щитом патриотического долга...

Ответственность на мне лежала большая; я был один русский на целую обширную иноземную область с населением смешанным, политически впечатлительным. Мой молодой начальник Богатырев уехал на родину в Москву, в отпуск; я управлял за него очень долго. Мне нужно было ежеминутно бодрствовать и трудиться. О службе моей я здесь рассказывать не буду; скажу только, что мной были довольны, и когда Богатырев, возвращаясь из Одессы, проездом был в посольстве, то сам посланник сказал ему полушутя за обедом:

— При вас было хорошо, но и без вас у Ладнева не хуже.

На это Богатырев великодушно отвечал:

— Я готов сам о нем на крышах кричать!

Месяцев через десять Богатырев возвратился и принял снова все дела в свои искусные и опытные руки. По возвращении его жизнь моя совсем переменилась. Ответственности уже не было при нем; заботы меньше; нужно было только помогать ему, исполнять его волю. Я меньше стал думать о подробностях службы, о мелочах текущей 10 политики; я больше сосредоточился в самом себе, в жизни моего одинокого тогда сердца и в мире моей фантазии, в то время еще необузданной и смелой. И мне опять было и так сначала хорошо, пожалуй даже лучше... Я умел быть деятельным, предприимчивым и заботливым, когда того требовал мой долг и мое самолюбие (все это знают), но жизнь созерцательная и свободное мышление мне еще больше нравились... Я понимал всем сердцем прежнего турка, воинственного и вместе с тем ленивого, который, 20 вставая с широкого дивана, садился бодро на коня и мчался в далекий набег, где терпеливо переносил жестокие лишения, но возвратившись домой, опять спускался на этот «цветной диван» и «в дыму кальяна» думал свободно свою тихую думу, о чем хотел и как хотел.

Да, мне сначала эта жизнь понравилась... Исполнив в канцелярии все то, что требовала от меня служба, я уходил домой, предоставляя Богатыреву заботиться о том, чтобы знамя русское стояло во Фракии честно и грозно. Как гражданин я был спокоен; я знал, что Богатырев еще 30 гораздо лучше меня будет держать это знамя чести, потому что он был молодец.

Я только что нанял себе квартиру. Пока Богатырев был в долгом отпуску, я жил у него в консульстве. Теперь я завелся своим хозяйством. Жилище мое мне очень нравилось... Оно совсем было не похоже на доводившие меня до отчаяния белые и желтые европейские дома, в шесть этажей и с медными дощечками на дверях

соседей, вовсе не знающих друг друга... Дом моего старого турка в белой чалме, сердитого и с красным толстым носом, был совсем иной; он был небольшой, двухэтажный, снаружи выкрашенный темно-красным цветом, с двумя галереями внизу и вверху. Всё маленькие комнаты рядом, и двери все на галереи; перед домом двор, как цветник, убранный мозаичными дорожками из серых, белых и черных камешков, и по бокам дорожек все стриженные мирты кругами и изгибами. Между этими миртами <sup>10</sup> цвели желтый фиоль и фиалки во множестве раннею весной (когда у нас в России еще снег и холод), благоухали по всему двору, около дорожек и даже в расселинах между каменными плитами старой лестницы, которая спускалась от дверей моих к воротам.

Дом стоял высоко над двором, а желтая стена, ограда от улицы, была построена еще ниже, но сама она была высока. С улицы тому, кто стучался в мои ворота, едва видна была крыша дома; а с моей верхней галереи был <sup>20</sup> прекрасный и широкий вид на город.

Все дома и дома разноцветные, голубые, белые, розовые, и бледно-красного цвета, и зеленого, и желтого, и темно-кирпичного, или темно-красного цвета «*terre de Sienne brulée*».

Между домами в Адрианаполе много зелени; шелковица, листья которой так блестят на солнце, и высокие пирамидные тополи. С ними рядом высится много тонких минаретов. Вид из окон моих был так обширен; были видны даже и поля за городом, и изгибы реки Марицы, песок на берегу, и дальние каменные мосты на реках, и <sup>30</sup> сады шелковицы по полям. Там, налево, за последним, кажется, мостом на Тундже, стояло большое, коричневого цвета строение, кажется, чей-то деревянный *беджеклык* \* для развода шелковичных червей. Я и это мрачное, одинокое строение помню. И оно было видно из моих окон.

---

\* Сарай.

Прелестный вид! Пестрый и веселый... Часто солнце светило ярко над этою картиной, и дым домашнего труда поднимался из всех очагов.

Я вел очень уединенную жизнь. Общество болгарских и греческих старшин, сухих, лукавых, скучных, однообразных купцов, докторов и учителей — мне не нравилось и кому могло оно нравиться? Со времени возвращения Богатырева я продолжал посещать их изредка для того только, чтобы не слишком их оскорбить. Во время управления моего для целей политических я принужден был видаться с ними беспрестанно, так как именно в этом ужасном *полуевропейском* и деловом классе людей мы находили теперь главную опору нашим действиям; от них получали и лучшие сведения наши; и если б я *теперь* перестал вовсе видаться с ними, то они поняли бы, до чего я тягочусь ими, и это впоследствии могло бы невыгодно отозваться на службе моей. Особенно их жены, церемонные, неподвижные, хитрые, крикливые, неизящно по-европейски одетые, приводили меня в отчаяние.

Итак, я жил один, или почти один, наедине с моими мыслями...

Прогулки пешком или на коне, книги, иногда оживленные беседы с консулом о России и о здешних делах, его интересные рассказы о нашей старой дипломатии, историю которой он знал лучше меня, — вот моя жизнь, вот мои утешения в то время...

Я очень полюбил одинокие прогулки по дальним и тихим кварталам. Пока я управлял, я был *обязан* ходить с кавассом, чтобы меня не оскорбили на улице под предлогом того, что не знают «кто я», чтоб уступали мне дорогу, чтобы часовые турецкие отдавали мне честь ружьем. Теперь я мог ходить один, и эта перемена мне временно понравилась; я чувствовал себя свободнее; теперь я не обязан был требовать внимания от часовых; оскорблений личных я не боялся; я надеялся на собственную смелость и на крепкую палку, с которою ходил.

Я помню много хороших дней за это время.

В бумагах моих цел отрывок, написанный мною по возвращении с одной восхитительной прогулки.

Вот он:

«Я не могу изобразить хорошо моих чувств.

Если бы в прозе нашей русской можно бы писать так, как мне хочется! Мне бы хотелось вот как писать:

О, дымок, дымок мой! серый дымок над нагими садами зимы!.. Как ты мил мне, зимний дымок турецкого пестрого города. Иду я одинокий вдоль речки от живописного Михаль-Кэпрю, иду домой под вечер и думаю:<sup>10</sup> “Как я счастлив, о Боже!” Мне так ловко и тепло в моей меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад, что я русский! Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что живу в Турции! О, дымок ты мой милый и серый дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты предо мной над черепицами многолюдного и тихого города! Я иду по берегу речки от Михаль-Кэпрю, а заря вечерняя все краснее и прекраснее. Я смотрю вперед и вздыхаю, и счастлив... И как не<sup>20</sup> быть мне счастливым? По берегу речки, по любимой моей этой прелестной дороге от Михаль-Кэпрю к городским воротам растут кусты черной ежевики... Вот здесь по восхитительной для меня (да, для меня только, для моего, исполненного радости сердца), на восхитительном изгибе берега на кусте три листочка, три листочка поблекших, все они белые с одной стороны и такие темнобархатные, такие черные с другой. И на черном этом бархате я вижу серебряные пятна, — звездочки зимней красоты... А заря все краснее и краснее разгорается вдали<sup>30</sup> за городом, и на алом небе этом все нежнее и нежнее мне кажутся тонкие и темные узоры обнаженных и бесчисленных ветвей. Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума... влюблен... Но в кого? Я влюблен в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных мне по дороге; я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка,



который идет предо мною в пунцовых шальварах... Мне хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково!..

Вот как желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно. Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную повесть любви и буду мечтать безо всякого порядка и правил?

Никто!»

## IX

Но нельзя было, к несчастью, вечно жить одинокими прогулками к Михаль-Кэпрю, нельзя было дышать лишь<sup>10</sup> восхищаясь вечернею зарей и узором зимних ветвей, вдали сливавшихся во что-то туманное и до того прекрасное и родное, что оно было для меня милее самой летней зелени рощ и садов. Я не мог и не имел даже права с беспристрастием художника всегда равно любить и «старого болгарина в синей чалме, который мне поклонился, и пунцового турка, который, проходя мимо, так мрачно взглянул на меня». Мне все равно, это правда!.. Но я не затем, увь, тут живу, чтобы воспевать природу и поэзию восточной жизни.<sup>20</sup>

Я принужден видаться с разными людьми, иметь сношения с ними; соображаться не со вкусами, а с делами моими. Я часто бывал, например, у богатого болгарина Чобан-оглу. Он был из тех немногих болгар, которые и в *то еще* время (лет более пятнадцати тому назад) говорили так:

— Оставьте все эти разнообразные проекты разрешения Восточного вопроса! Оставьте! Это все хаос. Надо разрешить дело просто: Адрианопольская *губерния*, Филиппопольская *губерния*... Понимаешь: присоединение к<sup>30</sup> России...

Простой сердцем, прямой, с виду угрюмый и осторожный, но пылкий в сочувствиях своих, религиозный вместе с тем не для *политики* одной, не с виду и для влияния на простой народ, как многие славянские и греческие старши-

ны, Чобан-оглу был одним из самых надежных и полезных помощников русской политики в тех странах. Недостаток в этом отношении у него был только один: он был plus royaliste que le roi. Ни один из дипломатов наших, ни один из консулов, действовавших во Фракии, никогда не считали для России выгодным присоединение этой страны; большинство русских, служивших на Востоке, вовсе не безусловно восхищались нашею домашнею организацией и нашими порядками. Одни из них находили, что у нас уже<sup>10</sup> слишком все по-европейски; другие — что недостаточно по-западному, и многие из этих деятелей наших на Востоке (может быть, и ошибочно) ожидали, напротив, чего-то освежающего и вполне славянского от жителей этих стран, освобожденных из-под турецкой власти.

Доктор Чобан-оглу смотрел на дело проще. «Сила России, — говорил он, — Государь и войско, которым я восхищался в Петербурге на майском параде; собор Св. Исаакия... Чего же лучше?»

Чобан-оглу получил медицинское свое воспитание в<sup>20</sup> Италии; но красоты Св. Петра в Риме и Св. Марка в Венеции не затмили в глазах его красот Исаакиевского собора и Кремля.

— Пускай себе они лучше, эти католические храмы! — говорил он угрюмо, поправляя очки свои. — Хороши и наши — ничего! Подожди, дай России в Босфоре поплавать. Мы еще лучше построим что-нибудь. Мы Св. Софию подновим!.. Увидишь!..

Конечно, нам, русским, это пристрастие нравилось. И энтузиазм в нашу пользу, если мы даже и не со всеми его<sup>30</sup> мечтами и проектами согласны, вредить не может. Энтузиазм можно охладить, когда того требует нужда. Как пробудить его, когда его мало, вот что трудно.

Такие взгляды располагали нас, русских, к Чобан-оглу. Не стану уверять, однако, чтобы общество его было особенно занимательно, чтобы в доме его и в его семейной жизни была какая-нибудь особенная привлекательность. Дом его нравился мне потому только, что это был старин-

ный дом в турецком вкусе, с обширными сенями, занимавшими почти весь нижний этаж, и большою широкою лестницей, снизу раскрашенною радужными зигзагами. Но этот дом был мрачен, и в самом Адрианополе можно было найти много жилищ в том же самом восточном вкусе, но несравненно более красивых и приятных.

Кофе подавали у доктора какой-то невкусный; у горничной, гречанки, которая стояла с подносом, пока гости пили кофе, я помню, были такие широкие, красные, отвратительные руки! Жена доктора была тоже гречанка, не старая еще и лицом недурная, но жеманная и громогласная; все с самолюбивою улыбкой на устах, одетая по-европейски, но дурно и с претензиями на отсталую моду. Я ее не любил и бывал в отчаянии, когда заставлял ее одну дома. Со стыдом прибавлю, мне кажется, — я ей нравился. Эта обидная для моего самолюбия склонность ужасной докторши еще больше стесняла меня с глазу на глаз с нею. Она говорила мне комплименты; я страдал и оскорблялся, что нравлюсь такой неприятной и ничего не понимающей женщине. Сам Чобан-оглу тоже был довольно скучен. В медицинской науке он был недалек, в политических взглядах, как мы видели, немногосложен. Италия, в которой он учился медицине, не оставила почти никаких следов на вкусах его или, вернее, только направила их к худшему. Чобан-оглу настолько стал европейцем, насколько нужно греку или болгарину, чтобы стать пошлее и, утратив оригинальность, не приобрести ничего того высшего, что может дать истинная образованность...

Единственный человек, который мне сам по себе (а не по взглядам своим) нравился в семье и родстве доброго и скучного Чобан-оглу — это был отец его, сам старейший Чобан.\* Он приходил иногда по праздникам к сыну, в темной одежде из толстого сукна домашней работы, в бараньей шапке; входил, садился на диван и кланялся

---

\* Чобан значит пастух; Чобан-оглу — сын пастуха, фамилия вроде Пастухова.

оттуда по-турецки. Разговаривал о чем-то (о чем, не помню; все-таки и его речи были довольно скучны); шутил с младшим внуком своим, приговаривая с улыбкой любви всё бранные и даже неприличные слова: «Рогач ты такой! Сводник, негодяй», и еще хуже. Изю всех его речей это еще было занимательнее всего. При старике хоть и не становилось веселее, но по крайней мере все делалось в доме доктора на миг характернее... Эта шапка баранья на диване в таком почете! Эти грубые ласки <sup>10</sup> внуку! Сама докторша как будто приобретала иное, как бы «историческое» значение. Она почтительно вставала пред старым пастухом, подавала ему чубук, сама нагибаясь, ставила ему под трубку чистое медное блюдечко (чтобы не жечь ковра) и сама же приносила ему щипцами уголь из жаровни, чтобы он раскуривал. В эту минуту я ее уважал, и будь на ней самой не плохая какая-то зуавка и кринолин, а будь надето что-нибудь тоже старинное, я был бы совсем доволен ею, и она, может быть, хоть на минуту и понравилась бы мне...

<sup>20</sup> Что еще сказать о доме и родстве доктора Чобан-оглу? Был у него сын старший, отрок еще, лет пятнадцати-шестнадцати... Не дурен, но обезображен всегда каким-то медвежьим долгополым сюртуком.

У жены доктора был еще брат, отвратительный собою грек, лет двадцати трех. Лицо у него было серое, очень круглое, все в мелких дырках (я этого терпеть не могу). Пузырь какой-то пучеглазый, чернозубый и еще более крикливый, чем сестра... Он учился в Афинах и не давал никому слова сказать, чтобы не вмешаться, не закричать <sup>30</sup> на весь дом, не показать свою ученость и «воспитание».

Один гость говорит, я помню: «там были эти танцовщицы...»

— Да! балерины! — кричит серый пузырь.

Я говорю однажды доктору: «Вы долго были в Италии?»

— Он был в Риме, — перебивает тот, — видел святейшего непогрешимого отца... ха! ха! ха! Непогрешимый...

Боже мой! при виде такого молодого человека даже единоверию с ним своему я был не рад... и готов был назло ему и пред Папой склоняться в прах...

Впрочем, все это так несносно... И если я вспоминаю и говорю об этом, то только для того, чтобы было виднее, почему именно оно было скучно.

Однажды мы с Михалаки Канкелларио зашли к Чобан-оглу в праздник, после обедни. Православная обедня в Турции служится очень рано, — тотчас по восхождении солнца, и зимой, и летом. Это было зимой и было около 8 часов по-европейски (кажется, около трех по-турецки), когда мы сидели у доктора. В обширных сенях его старинного дома была наверху галерея с колоннами и балюстрадой, и с галереи этой открывалось много дверей во внутренние покои. Внизу, в самых сенях, мощеных плитками, была построена особая маленькая комнатка, вроде беседки, вся в стеклах и с деревянным потолком, очень пестрым и веселым, как персидский коврик. Кругом трех стен шел турецкий диван, а на полу ковер; зимой там ставили медную жаровню, притворив крепко стеклянную дверь в сени, и тогда в этой беседочке становилось очень тепло, и в стекла все было видно, что происходит в сенях: кто выходил и входил.

Мы сидели, курили и пили кофе. Докторша в беличьей шубке, крытой атласом, играла золотую цепочкой своею и рассказывала нам о том, как она испугалась, когда французские солдаты в пятьдесят четвертом году, увидав ее с улицы из окна, вздумали стучаться в дверь, и как муж ее пошел потом жаловаться к Боске.

— Дураки вообразили себе, — прервал ее муж, — что порядочная женщина на Востоке у окна не сидит! Увидали ее и подумали, что они имеют право сюда войти! Где ж и сидеть нашим женщинам, как не у окна? У нас развлечений нет.

Мы все согласно начали бранить французов, и мало-помалу разговор перешел в рассуждение о католической пропаганде, с которою мы в эти годы во Фракии ежедневно боролись.

Около этого времени мы начали пересиливать. На нашей стороне был и Куру-Кафа, болгарский простолоудин, самый хитрый и ловкий из стольких хитрых и ловких болгар.

В болгарскую школу, основанную нами в предместье Киречь-Хане, стали в то время из униатской школы десятками переходить болгарские дети, и целые семьи болгарские, увлеченные на миг теми вещественными выгодами, которые обещала им пропаганда, приходили беспрепятственно просить прощения у греческого митрополита и возвращались толпами под духовную власть Православной Церкви. Мы говорили об этом и радовались.

Михалаки Канкелларио сказал:

— Говорят, что польские попы ввели незаметно для народа filioque при чтении Символа Веры в униатской церкви?

Госпожа Чобан-оглу прибавила:

— А я слышала, что они распятие сделали в церкви католическое, выпуклое...

20 — Погодите! — сказал доктор с таинственной улыбкой, — все это рассыплется в прах. Это все пустяки. Папа ничего не может сделать; нужно только, чтобы между православными было согласие. Я и сегодня жду кой-кого... Подождите, еще есть кающиеся... Вот они, — воскликнул он, вставая и глядя через стеклянную дверь в сени.

Кто-то осторожно стучал кольцом с улицы в большую дверь.

Служанка отворила.

30 И я встал посмотреть и увидел двух очень молодых людей в европейском платье и фесках.

Один из них был повыше и покрасивее, другой пониже и очень дурен собой.

Они довольно робко стали у дверей и осматривались...

Доктор отворил дверь из беседки и позвал их. Имена их были болгарские. Одного (красивого) звали Стоян Найденов, а другого, дурного собой — Иован-оглу.

Они оба были около года униатами и служили чем-то при униатской церкви в Киречь-Хане.

Теперь они решили отказаться от унии и пришли к доктору, чтоб он помог им как-нибудь, чтоб он научил их *чем им жить* в новом их положении, когда уж ни польские священники, ни французский консул помогать им не будут.

Стоян был не только выше и красивее, он был одет лучше: у него сюртук был не стар и феска красная и свежая, а на шее был ярко-малиновый шарф, заколотый <sup>10</sup> стразовою булавкой, которую он беспрестанно поправлял, чуть-чуть краснея...

На Иован-оглу короткая жакетка оливкового цвета едва держалась. Белья на нем не было вовсе видно; а лицо его, широкое, грубое, но доброе, было очень желто и старообразно. Он сначала ничего почти не говорил, предоставляя все объяснения Стояну Найденову.

Присутствие грека Михалаки в первую минуту как будто стесняло молодых людей, но доктор сказал им *по-гречески*: <sup>20</sup>

— Чтò вы боитесь? Господин Михалаки Канкелларио друг наш и человек православный. Чтò вы такое делаете, чтобы вам бояться? Не против турецкого правительства вы идете; вы только оставляете ваши религиозные заблуждения.

— Это так, господин доктор, конечно, мы только возвратились на правый путь отеческой веры...

— Чтò же вы думаете теперь делать? — спросил я.

— Что случится, — продолжал Стоян. — Нам стала ненавистна иезуитская ложь. И чтò добрые люди для нас <sup>30</sup> сделают, то пусть и будет.

Желтый Иован-оглу все молчал; выражение лица его оставалось неприятным, и черные огневые глаза его только изредка вовсе недружелюбно взглядывали то на Канкелларио, то на меня...

Я сказал, что можно на первый раз найти им занятие в православной школе Киречь-Хане.

Молодые люди молчали.

Михалаки после этого простился и ушел.

Мы думали, что без него эти юноши станут смелее разговаривать, но они и без него были все так же сдержанны, как и при нем.

Желая слышать что-нибудь от Иована-оглу, доктор обращался несколько раз к нему с расспросами о родных его, о том селе, в котором он родился, об училище, где обучался грамоте, о том, кто убедил их пойти в унию.

<sup>10</sup> На вопросы о селе и родных Иован-оглу отвечал кратко и просто; когда же доктор спросил у него о первом его соращении в униатство, он ответил так:

— Зачем мне слушать людей? Я сам не глупый. Я сам могу понять пользу народа нашего... Над нами два ига — турецкое и греческое... Надо прежде свергнуть то, которое слабее. Надо нам отделиться от греческого *Патрика!* Если бы все так делали, как мы, то болгарский народ был бы всегда свободен.

Религиозному доктору эти речи не могли нравиться.

<sup>20</sup> — Какой-токой греческий Патриарх? Я никакого не знаю. Есть Патриарх Вселенский, Константинопольский, и вера у нас одна, что в Петербурге, что в Тырнове, что в Афинах... Ее портить нельзя... И греков надо вам оставить в покое... Надо потерпеть! Падет Турция, и все тогда делается само собою. Найдутся люди сильнее и справедливее нас, которые все это поделят как надо...

Молодые люди ничего не возразили на это.

Я тогда спросил Иован-оглу:

<sup>30</sup> — Если вы находили католическую пропаганду полезною для вашей родины, для чего же вы оставили униатство?

Иован-оглу, немного смутясь, отвечал:

— Обстоятельства изменились...

— Какие обстоятельства? — спросил я. — Если вы желаете, чтобы вам дали должность, вы должны быть откровенны и внушить доверие.

Иован-оглу молчал.



Стоян, посмотрев на него, сказал ему:

— Отчего ты не говоришь? Говори.

— Что я буду говорить, — возразил угрюмый Иован-оглу, пожимая плечами.

Стоян поправил свой малиновый галстух и уклончивым тоном отвечал за него:

— Если бы весь народ стал униатом, то болгары сразу бы отделились от Вселенской Церкви, и Болгария могла бы стать особым Царством, даже не восставая против турок. Вот так, как теперь будет Венгрия в Австрии. Султан назывался бы Царем болгарским, Болгария имела бы свою конституцию, свое войско и свою автономию.

Доктор вспыхнул в лице и воскликнул с жаром:

— Мечтания! Детские мечтания... Какая глупость! Я эту глупость слышал. Турки всех вас в куски изрубят прежде, чем вам дать автономию... Какая глупость!..

Стоян поспешил продолжать свои объяснения.

— Позвольте, господин доктор, так и мы думаем. Я излагал взгляды тех, кто старался обратить нас в униатство. Но мы поняли, что это все ложь и невозможно. Униатство, вместо того, чтоб отделить нас от греков, в самом народе производит разделение и раздор.

— Вот это умно! Вот это прекрасно! — заметил доктор. — И вы прекрасно сделали, что поспешили оставить это заблуждение. Мы все постараемся что-нибудь для вас сделать...

Я тоже обещал рекомендовать их консулу и, желая еще больше привлечь этих юношей, пригласил их к себе обедать на следующий день.

Они благодарили нас и ушли.

Доктор был недоволен моим радушием и находил, что я увлекся на этот раз слишком добрым чувством. Он говорил об этих молодых соотечественниках своих так:

— Пономари! *Кандильянафты* \* и больше ничего!.. Зачем их приглашать обедать? Это слишком много чести

---

\* Люди, которые зажигают свечи и лампы.

для них. Развращенные мальчишки! Им верно показалось что-нибудь невыгодно у католиков; они ожидали для себя, а не для народа от пропаганды золотые горы; и им надоело зажигать свечи в униатской церкви. Я не приглашу их обедать.

Я, впрочем, был не согласен с доктором и находил, что нам необходимо видеть и привлекать к себе разных людей... Ему, рожденному во Фракии, по привычке уже многое кажется ясным и все ему знакомо; а я хочу сам видеть<sup>10</sup> как можно больше и понять окружающую меня жизнь со всех сторон яснее. Мне нужно видеть разных людей и слышать разные речи.

На другой день Стоян пришел ко мне один; Иован-оглу не явился. Стоян сказал мне, что товарищ его нездоров. Через неделю я узнал, что Иован-оглу возвратился к униатам и что ему французский консул выдал особое пособие. Я до сих пор не понимаю, что было такое этот молодой человек: фанатик ли своего народного дела, который не мог выносить даже и доброжелательных воз<sup>20</sup>ражений своего соотечественника-доктора, или жадный мальчишка, который хотел только пострадать католиков, чтоб они дали ему денег. Я его после этого никогда более не встречал и слышал, что он погиб во время последних беспорядков. Он был учителем в каком-то небольшом городе, и турки, как слышно, утопили его в реке с камнем на шее.

Стоян обедал у меня один. Он держал себя очень порядочно и скромно; говорил хорошо. Он сказал мне, что *filioque* не прибавили еще в Символ Веры, что он сам<sup>30</sup> читал его и что всю литургию польские священники служат очень правильно и хорошо по православному обряду. Но распятие выпуклое есть, это правда.

— Но они, то есть священники польские, — передавал он, — сказали нам, что такие выпуклые изображения употребляются и в России.

Под конец обеда он, дождавшись, чтобы вышел слуга (слуга был грек), обратился ко мне с одной просьбой.

— Со мной, — сказал он, — делайте как угодно. Рекомендуйте меня в школу, если это возможно, я буду очень благодарен. Как вам угодно, так со мной и поступайте, я не пропаду; я знаю грамоте. Но я вас убедительно прошу за брата моего родного. Спасите его. Он еще моложе меня и служит в полку Садык-паши. Он хочет бежать оттуда теперь. Он мальчик простой души и не желает больше служить в этом войске. Слышно, что казаков и драгун скоро пошлют в Балканы для усмирения болгар. Он не может сражаться против своих, и я умоляю вас спасти его как-нибудь. Он убежит, но надо скрыть его до тех пор, пока не уедут из Адрианополя все польские офицеры.

Я с готовностью согласился сделать что могу, и Стоян сказал мне, что брат его придет ко мне вечером. История этого юноши заинтересовала меня, и я ждал его с нетерпением.

Настал вечер. Я предупредил слугу моего, человека очень верного, чтоб он не вводил прямо ко мне *одного болгарского мальчика* (который должен по секретному делу прийти ко мне) в том случае, если у меня будут посторонние люди, а только бы спрятал его и дал бы мне тотчас знать как-нибудь.

Когда совсем стемнело, беглец постучался в мою дверь, и так как гостей у меня не было, то его и привели прямо ко мне.

С первого взгляда я увидал, что лицо этого красавца мне знакомо: я случайно однажды видел его верхом на базаре. Он ехал без седла и стремян. На рукавах его или под ними было что-то красное... что — не помню... Помню, на голове его была феска; он был полка Садык-паши. Помню также, что лошадь то взвивалась на дыбы, то шла боком, горячась и играя, и народ на базаре расступался, любуясь конем и всадником. Но какой масти была лошадь, не помню и не могу сказать теперь, что был такое сам Вéлико, драгун или казак полка Чайковского. Не хочу и заботиться об этих подробностях и буду звать его казаком. Я успел заметить

еще, что Велико был очень молод и улыбался, от радости вероятно, что на него любитесь народ.

И я постоял, и я полюбовался, и хотел уже идти дальше; но один прохожий грек фамильярно обратился ко мне и воскликнул, может быть, с насмешкой, а может быть, и с радостью:

— Вот христианское войско!

Я сказал ему в ответ на это: да, и ушел. — Я ушел, а молодец этот с красными рукавами проехал дальше и скрылся, и я перестал думать о нем. Теперь он был не в казацком мундире с откидными красными рукавами; он переменял одежду, и на нем были куртка и шальвары из толстого болгарского домашнего сукна какого-то бледно-розового цвета, чуть-чуть с фиолетовым оттенком. Я не раз видел на молодых болгарях такое сукно, и оно очень мне нравилось. В этой одежде Велико был еще красивее. Он казался спокойным и даже веселым и протянул мне руку; я думал, что он хочет пожать мне ее, и подал ему свою; но он нагнулся, поцеловал мою руку почтительно и сказал:

— Эффенди, спасите душу мою от напрасной смерти. — Теперь поляки и турки могут убить меня, если они меня поймут.

Я ответил ему, чтоб он не беспокоился и что мы его ни за что не выдадим ни полякам, ни туркам. Пока есть русский флаг в Адрианополе, такого позора и такой жестокости случиться не может.

Велико был очень рад, и я велел его накормить внизу и устроить ему в доме такое место для ночлега и житья, где бы он не мог легко попадаться на глаза каждому проходящему.

И Велико остался жить у меня.

## Х

Первые дни я все радовался на моего беглеца. Велико был очень ровен характером, послушен; серые большие глаза его с длинными черными ресницами вначале сияли

радостным светом; он не мог взглянуть на меня без приятной и почтительной улыбки. Но скоро он стал скучать взаперти. Брат его, Стоян, был всего только раз у него на минуточку; он жил далеко и был очень занят в той школе, куда мы его с Богатыревым определили.

Должности для Велико у меня в доме не было никакой. Прислуживал мне его же лет юноша, критский грек Яни; верный, добрый, умный, преданный как сын, я не мог и подумать удалить его, чтобы найти занятие для Велико. Посылать его по городу с комиссиями и за покупками было невозможно: он мог бы попасться кому-нибудь.<sup>10</sup>

Я придумал, наконец, посылать Яни, который уже знал немного грамоте, каждый день в греческую школу, а Велико должен был прислуживать мне вместо него. Он очень скоро привык; делал все с большим усердием, мел весь дом и двор. Увидав, что в доме есть оружие — пара пистолетов у меня и охотничье ружье у повара — он очень обрадовался и вычистил их тотчас же; выпрашивал и у консульских кавассов, турок, их оружие и его чистил. Но<sup>20</sup> самая лучшая его отрада была моя лошадка, вороная, с прекрасной иноходью, с такою иноходью, про которую местные люди говорили: «Вот *рахван* (иноходь)! Это такой рахван, что можно ехать и в одной руке держать чубук, а в другой кофе: и кофе не разольется, и огонь не просыплется».

Эту лошадку Велико чистил, холил, водил по двору, кормил из своих рук и сокрушался несказанно, что не может на ней прокатиться.

Как он мне завидовал, когда я, вскочив на нее за отворенными воротами, пускал прямо почти от двора вскачь.<sup>30</sup> Я слышал сам, как он восклицал громко мне вслед по-турецки: «Э! Аман! Аман! Чтò мне делать!..»

Мне было иногда ужасно трудно удержать его дома...

Темным вечером его легче было бы с осторожностью выпускать; но вечером-то именно ему никуда и не хотелось. Милый кандиот Яни, с которым он подружился,

бывал тогда дома; приходил часто по вечерам же консульский повар, тоже молодой грек фракийский, Кариот Паскаль. Веселый, лукавый, ловкий плут и щеголь; он был постарше и поопытнее обоих; певец и немножко Дон-Жуан, носил шолковые курточки, суконные шальвары, богато расшитые шнуром, и часы на красивой серебряной цепочке во всю грудь. Заходил иногда и один из кавассов, Али, добрейший турок, глупый, простодушный, смирный, честный, бледный и худой как щепка... Все мои молодые

<sup>10</sup> христиане очень любили этого турка, и ловкий Паскаль даже подтрунивал над ним по-приятельски... Если мне случалось самому быть дома, я только и слышал, что песни турецкие, славянские и греческие, *тамбуру*,\* смех, крик за картами.

На сон грядущий Яни рассказывал мне потом всякие новости, и анекдоты, и сплетни.

Вот он-то, жалея Велико, и сказал мне, что молодой болгарин нестерпимо тоскует; что ему хочется на волю, хочется в поле, на коня или домой в деревню...

<sup>20</sup> Что мне было с ним делать!

Михалаки Канкелларио, с которым я советовался, в деревню к родным пускать его не советовал. Село их слишком было близко от города; безопасности нельзя было ожидать. И сам Велико казался еще недостаточно благо-разумным.

Я призвал его и сказал ему:

— Ты все скучаешь? В полку было веселее?

Велико застыдился как девушка. Он припал одним плечом к стене, отвернулся, краснея, к ней лицом и сначала

<sup>30</sup> молча чертил что-то пальцем по этой стене, а потом, когда я повторил мой вопрос, начал так горько плакать, что я не знал, как его утешить...

Кое-как уговорил я его потерпеть еще, пока мы все, покровители его — консул наш, я сам и наш изобретательный Михалаки Канкелларио — что-нибудь для него приду-

---

\* *Балалайку*.

маем. Сходил я потом нарочно в город, купил ему шерстяной, самой яркой желтой с малиновыми цветами материи на новую куртку, отдал ему и велел тотчас же сшить. Он бросился целовать мою руку и как будто на время забыл свою тоску.

Но потом явились все новые и новые затруднения. Меня посещали разные люди: всякого рода христиане, греки, болгаре, армяне; бывали иногда евреи и турки; изредка и консула делали мне визиты. Нельзя сказать, чтобы посетители эти бывали у меня часто; напротив того, <sup>10</sup> они бывали очень редко. Я тогда не управлял консульством; не было нужды никому у меня часто бывать; но все, однако, изредка бывали. Всякий мог прийти. С тех же пор, как Яни стал ходить в школу, кому было кроме Велико, отворять ворота, когда раздавался стук железного кольца?

Так и случилось раза три. Велико вынужден был отворять. Я не был покоен и за него, и за «принцип» консульских «приличий».

Перестать посылать Яни в школу? Нельзя. Зачем же <sup>20</sup> приносить в жертву его выгоды безопасности другого?

Велико я берег и жалел; он был так кроток, так незащищен, представлял такое поразительное юношеское сочетание душевного младенчества и телесного мужества.

Велико я берег и жалел; Яни я любил, я был почти обязан ему: он был так верен и так предан мне. Я решился войти поэтому в новые расходы и нанять особого человека нарочно, чтобы только было кому раза три, четыре в неделю отпирать калитку и показываться в ней.

Мне нашли для этого болгарина, старичка, низенького, <sup>30</sup> боязливого и очень бедного, обремененного большою семьей. Звали его Христо.

Кажется, можно было успокоиться! Велико стал привыкать к красивой темнице своей и стал меньше скучать; так докладывали мне и Яни, и старик Христо. Сам он на мои вопросы отвечал все стыдясь и краснея:

— Теперь ничего. Теперь мне хорошо, эффенди мой.

Так мы применились наконец понемногу к обстоятельствам, и за Велико я стал покойнее; но зато около этого же времени сам я начал тосковать нестерпимо. Все то, что было для меня около года тому назад и даже еще не так давно источником блаженства, стало теперь орудием пытки. Мечтательное одиночество мое, живописный пестрый вид из окна, безмолвные переулки и таинственные дома с решетками на окнах, крик муэззинов на круглых балконах минаретов, разноцветные одежды жителей, громкие стоны голубя моего (я их около этого времени стал впервые замечать), хозяйственный приветливый дымок из труб, огненные вензеля из висячих плашек Байрама на страшном мраке зимней ночи, — все это начинало раздражать и томить меня до истинной муки. Посреди всего того, что мне так нравилось, я скитался как сказочный принц, запертый навеки в волшебном саду, без ответа и любви!

Созерцать и вечно созерцать, ожидать и томиться чем-то и о ком-то без конца, это невозможно! Это нестерпимая пытка!..

Однажды я не мог заснуть всю ночь и почти до рассвета провел на галерее, то сидя у открытого окна, то лежа на диване. Ночь была темна, и я различал только небо и город; небо было немного светлее; город чернее неба. О, что за мучительная была эта ночь!

Как пели петухи в эту ужасную, в эту темную ночь! как они пели! как они мучительно пели! Я думал о множестве женских молодых сердец, которые, казалось мне, бьются счастьем и тоской под столькими кровлями этого чужого города, черневшего так широко у ног моих. Я думал о «жаре моей души, истраченном в пустыне». Я был бы счастлив здесь одною дружбой в этой живописной пустыне сердца, я был бы счастлив даже кокетством одним. Мне нужно сердце, нужно чувство, а не плоть.

Я заснул на рассвете, и когда проснулся, солнце опять освещало весь город и узорный дворик мой, и дикий с белыми розами потолок моей гостиной. На персиковом



дереве в углу под окном около глухой и высокой стены опять кричал, ворковал и стонал мой мучитель — египетский светлый голубок, напрасно призывая меня к жизни сердца, к сладким и восторженным мукам взаимной любви.

Когда я вспоминаю эти дни бесплодного и нестерпимого томления, я рад иногда, что я уже не молод и что теперь мои мучения совсем иного рода. Они гораздо слабее уже потому, что я давно привык страдать и потому, что скорбь считаю теперь настоящим назначением человека на земле. Тогда я считал ее обидой и неправдой. Я верил тогда в *какие-то мои права на блаженство земное и на высокие идеальные радости жизни!*<sup>10</sup>

Мне было тяжело еще и оттого, что даже и поделиться чувствами моими было не с кем.

Богатырев тоже скучал. Дела по службе его шли прекрасно. Основанная на русские деньги болгарская школа начинала процветать; греческий митрополит сносился, под влиянием Богатырева, с эллинским консулом и с местными старшинами из болгар и греков для общей борьбы против Католичества. Униаты-болгаре целыми сотнями возвращались в лоно Церкви и приходили просить прощения и разрешения у греческого владыки. Влияние английского консула Виллартона в самом конаке паши падало так низко, что Виллартон приходил почти в отчаяние и беспрестанно бегал к Богатыреву, стараясь его всячески задобрить. Но Богатырев был равнодушен ко всему и, управляя чужими интересами и слабостями привычною и ловкою рукой, почти шутя, был в сердце занят совсем иным. Он возвратился в Адрианополь женихом и жил, скучая, от почты до почты. Невеста его была очень молода, красива, благовоспитанна и богата. Она была влюблена в него и с позволения матери писала ему длинные письма, читая которые, он блаженствовал. Свадьба по каким-то расчетам родителей была отложена на полгода. Вот почему Богатырев был не весел и жил только надеждой, как я сказал, от почты до почты.<sup>30</sup>

С кем же говорить, с кем поделиться моею сладкою и ядовитою скорбью?

Раз мы стояли на моей галерее с Михалаки Канкелларио и смотрели на знакомый прелестный вид. Михалаки Канкелларио был человек очень злой и очень умный, очень верный *нам* (русским) и очень *мне* (Ладневу) противный... В семье своей почти злодей; в политическом деле никем не заменимый друг и помощник. Около года я виделся с ним почти каждый день, и целый год подряд<sup>10</sup> я то ненавидел его всем сердцем, то восхищался им.

Мы стояли и смотрели оба молча. Михалаки Канкелларио сказал наконец:

— Как это красиво, не правда ли?

А я отвечал ему, вздыхая:

— Да! только красиво!

— Чтò такое? — спросил он, стараясь угадать мою мысль, — чтò такое? Верно для вас вся эта прекрасная картина отравлена мыслью, *что это Турция?* что Христианство под игом?

<sup>20</sup> Я поколебался. Положение мое в городе, как русского, заставляло меня быть осторожным; я опасался оскорбить политическое чувство этого человека, столь нужного нам, столь незаменимого даже. Поколебавшись недолго, я, однако, решился немного раздосадовать его и сказал откровенно:

— О, нет! Я не думал теперь ни о Турции, ни о рабстве; я думал вовсе о другом... По-вашему, быть может — пустом и легкомысленном. Вид восхитительный, конечно; но фантазия людей, особенно фантазия христиан здесь так безжизненна и жизнь сердца невыразимо

<sup>30</sup> скучна.

Михалаки обернулся ко мне вдруг лицом и поглядел на меня молча и внимательно. Хитрые, злые глаза его стали веселее; он долго улыбался. Он не оскорбился, он был чему-то рад.

— Романы? Вы любите романы. Э! чтò делать! Мы, правда, дочерям своим и женам романов не даем читать... Мы рвем такие книги, когда находим их. Но...

Он еще раз приостановился, все улыбаясь и все сияя какою-то адскою веселостью, все глядя на меня, как бы желая проникнуть взглядом своим до глубины моего сердца, и наконец сказал по-французски, значительно качая головой:

— *Sependant... il nous arrive, il nous arrive quelque chose...* И здесь *бывают дела*. Надо только знать, где *что* найти (прибавил он таинственно).

И опять коварный человек умолк на мгновение, все не сводя с меня глаз... Он будто собирался с силами, готовясь открыть мне тайну величайшей важности. (Он умер теперь, этот Михалаки Канкелларио, но в моей душе живут и до сих пор эти сверкающие лучи его пронзительных глаз! Что это были за глаза, ядовитые, упорные!)

Я подозревал, однако, что он при всем своем уме, по грубости сердца и по нищенству фантазии, вовсе не понял меня и говорит не о том, о чем я думал, не о любви «мучительной и сладкой», а о каком-нибудь тайном, грубом и купечески расчетливом разврате. Я не мог сказать ему прямо то, что думал: «Вы ошибаетесь. Я не о том говорю, что вы, например, женатый и пожилой и вовсе не красивый человек, соблюдая для вида некоторые посты и посещая нередко храм Божий, почти каждые два-три года выдаете замуж с приданым молодых беременных служанок... И всем известно, что вы чахоточную смирную жену вашу, которая едва ходит по комнате, драли за косы еще недавно...» Связанный расчетами службы, я не мог ему этого сказать. Я отвечал короче:

— Вы ошибаетесь. Вы, конечно, говорите о каком-нибудь тайном растлении, я же говорю о романтической любви, которая искренностью своей может облагородить многие проступки...

Михалаки Канкелларио рассмеялся и сказал гораздо добродушнее и даже со вздохом:

— Нет. Я понял вас... И повторяю... Бывает и это... Бывает и любовь... Бывает, уверяю вас.

И, еще раз многозначительно улыбнувшись, ненавистный переводчик ушел, а я остался у окна один, все скучая, все тоскуя!

## XI

Прошло еще недели две. Я почти утратил все простые и приятные ощущения жизни. Сон был тревожный; голод слабее; птички для меня уже не пели; ветерок прохладный не освежал меня. А если случайно и видел или слышал что-нибудь хорошее, если невольное впечатление пробуждалось во мне на миг и неожиданно, — то становилось еще больнее. Зачем я не чувствую так сильно, как следовало бы чувствовать? Зачем я не радуюсь тому, что должно бы меня радовать...

Я дошел наконец до того шаг за шагом, что задумал одно очень худое и постыдное дело; я обратил внимание на одну молодую девушку болгарку пятнадцати лет... Я хотел... не то чтоб обольстить... не то чтоб обмануть ее как-нибудь... О! нет. Избави Боже! На это я был вовсе не способен; нет! до этого никакие муки и страдания не могли бы меня довести. Я никогда не понимал, чтобы скука или какое бы то ни было страдание могли бы довести человека до низкой жестокости и до гадкого преступления: мои намерения хотя были и безнравственны, но не до такой презренной степени. Она мне понравилась, и я деньгами, подарками и ласками хотел привязать ее к себе, обеспечить ее и жить с ней в любовной связи, как живут многие и долго, стараясь ее не обидеть. Я, кажется, сказал уже, что, к сожалению, воспитание мое не было *действительно христианским*. Как я избавился от этого греха и проступка, — я скажу после... В такие минуты труд самый нелюбимый и общество людей самых неприятных — лучшее средство забыть на время убийственное уныние сердечной пустоты...

На мое счастье явились новые дела. Консул поручил мне собрать сведения о ценах съестных и тому подобных

припасов на адрианопольском рынке для отсылки этих сведений в департамент торговли и мануфактур. Я прямо из канцелярии пошел в контору нашего Канкелларио, чтобы сообщить ему о желании консула. Контора Михалаки вместе с конторами других негоциантов (католиков местных и греков) помещалась в большом каменном здании, которое звали «ханом». Вероятно, в старину здесь был богатый караван-сарай. Все двери и окна контор в этом большом, темном и довольно величавом здании были обращены на просторный, мощный двор. Контора Канкелларио была в верхнем этаже, кругом которого шла галерея. Я вошел на двор. Из-под темных ворот взглянул случайно наверх в ту сторону... Взглянул и вздрогнул... На галерее, у дверей Михалаки, разговаривая с ним, стоял Антониади. Я до того обрадовался, до того смутился, до того испугался вместе с тем, что он, вероятно, один и приехал сюда на самое короткое время по какому-нибудь коммерческому делу, что у меня как-то слабее стали ноги.

Я должен был сделать над собой большое усилие, чтобы никто ничего не мог заметить, и, слава Богу, очень скоро справился с этим неуместным и досадным волнением.

К счастью, я, по мере того, как всходил на лестницу, настолько овладел собою и одумался, что без труда воздержался и от другой крайности — от неестественной и ненужной в подобном случае сухости... Мы встретились просто и хорошо, как добрые знакомые, и вернулись вместе в контору Михалаки. Антониади возвратился, понятно, только для меня; с Канкелларио его дело было кончено.

Беседовали мы с г. Антониади недолго. Я все ждал, что он, как англоман и человек все-таки довольно пошлый, скажет: «время — деньги». И сам удивился, что угадал такую мелкую подробность. Он сказал это... Да! Он встал и с улыбкой сказал, покачиваясь слегка с носков на каблуки и с каблуков опять вперед (у него была такая привычка): «Однако время — деньги... Мне пора рас-

статься с вами!» И мы простились. Но и эти десять минут меня переродили!

Вскоре после него и я ушел, счастливый и бодрый. Я узнал, что она придет через две недели и надолго, быть может, навсегда... Антониади переселялся во Фракию для торговли шелковыми коконами и пшеницей.

Он уже наводил справки о ценах квартир и отопления.

Чего мне было большего желать? Через две недели она в самом деле приехала.

<sup>10</sup> Антониади еще до приезда ее сделал визиты, и Богатыреву, и мне. Богатырев не спешил; но я тотчас заплатил ему визит, и на этот раз мы побеседовали побольше и порадушнее.

Все шло хорошо. И когда мы узнали, что Маша уже здесь, то я упросил Богатырева поехать к ней вместе. Скрывать от Богатырева, что я знаком с Машей, было бы неуместно, и я не только не скрыл этого, но даже рассказал ему всю историю константинопольских визитов и изобразил ему все оттенки в отношениях к ней наших посольских дам и кавалеров. Уронить ее это не могло в его глазах. Напротив. Хотя они ее бранили там, хотя на нее нападали, но все-таки имели с ней общественные сношения: признавали ее. Из адрианопольских дам ни одну бы там в этом смысле не признали.

Итак, мы сели на коней и поехали. Рыжая лошадь Богатырева была виднее, крупнее и дороже моей, но у нее не было тех живых и в высшей степени приятных аллюров, которыми одарен был мой милый вороной иноходец, восхищавший всех и галопом, и «рахваном» своим! К тому же <sup>30</sup> молодой консул гораздо хуже моего ездил верхом; он только в Адрианополе стал учиться и был еще робок на седле; а я чувствовал себя на нем совершенно свободным.

Мы эффектно подскакали ко крыльцу того греческого дома, где у родственников своих остановились супруги Антониади временно, пока найдут себе хорошую квартиру.

Ни хозяина этого жилища, ни Антониади не было дома. Они были заняты с утра по торговле. Нас встре-

тила хозяйка, старая гречанка; худая, немного горбатая, очень опрятная с виду и очень ядовитая женщина, про которую сам муж, плохо, но очень смело говоривший по-французски, отзывался с ужасом: «Ah! ma femme! ma femme! c'est un mauvais sujet... Elle est très méchante, très mauvais sujet».

Богатырев, сухо поздоровавшись с нею, поспешил заявить с самым серьезным и официальным видом, что мы желаем видеть мадам Антониади и приехали именно для нее. Богатырев по-гречески знал очень мало, и я служил<sup>10</sup> ему переводчиком.

— Знаю, очень хорошо знаю это! — не без значительности сказала старуха. — Госпожа Антониади сейчас придет.

Маша, в самом деле, не заставила себя долго ждать; она пришла, и я представил ей Богатырева. Мне очень хотелось, чтобы Богатырев потом похвалил ее, или, по крайней мере, чтоб он хотя бы молча, не сообщая мне ничего, в сердце своем одобрил бы ее. Здесь, в Адрианополе, в этой среде, имевшей для меня лишь объективное<sup>20</sup> значение, она мне показалась вдруг совсем моею. Как моею? Как бы то ни было, но моею, близкою душой; душою, которой самолюбие — мое самолюбие, которой успех — мой успех, и неудача — моя неудача... Сестрою, другом, дочерью, матерью, женою, любовницей, русской знакомой на чужбине. Словом, моею.

Богатырев был очень уважителен, любезен и весел. И он давно уже не говорил с женщиной, имевшей известного рода понятия и привычки; и ему, видимо, стало вдруг<sup>30</sup> легче.

Маша сумела очень хорошо удовлетворить нас обоих; она была одинаково к нам обоим любезна, и разговор ее на этот раз был очень занимателен.

— С вами, — сказала она мне, крепко и долго пожимая мне руку, — мы уж старые знакомые.

И потом, с несколько преувеличенным энтузиазмом поднимая глаза к небу, прибавила:

— А! вы не знаете, до чего я люблю русских и все русское!.. И как я рада... встретить здесь русских людей...

Богатырев, вставив в глаз свой монокль, отвечал на это небольшим поклоном и сказал:

— Да, здесь скучно иногда... Это правда...

Потом они начали говорить о посольстве нашем, и Маша чрезвычайно хвалила наших дам: «Как они любезны, просты, как умны». (Она и не подозревала... бедная, что в истории *ее визитов* они были и не любезны, и не <sup>10</sup> просты, а разве только не глупы в том отношении, что меня послушались и отдали ей визиты.)

Богатырев, поддерживая разговор, и хвалил, и порицал, и рассказывал кой-что про этих же самых дам.

Я слушал и почти не вмешивался в их оживленный разговор, и из вежливости, глубоко страдая и принуждая себя, расспрашивал что-то по-гречески у ядовитой хозяйки. Но наконец усилия эти истощили меня, и я, сказав себе мысленно: «довольно!» и точно вырвавшись на свежий воздух, отвернулся от нее и спросил у Маши:

<sup>20</sup> — Как же вы совершили ваше путешествие по Фракии? Вот это любопытно...

— А! мое путешествие? — сказала Маша весело. — Лучше чем ожидала... Эти фуры, как их зовут здесь... кажется *брошов?*.. Они покойны... Мы с моею горничной все время лежали там.

Потом, помолчав немного, Маша прибавила:

— Я часто вас вспоминала дорогой... Особенно в одном греческом доме, где мне пришлось ночевать.

— Почему ж это вы меня так часто вспоминали? — <sup>30</sup>спросил я с любопытством. (Я почувствовал в ту же минуту, что сильно краснею; но, заметив, что Богатырев на меня не смотрит, а она, напротив, *видит* и *понимает*, до чего сильно ее слова на меня подействовали, я остался доволен этим невольным обличенным волнением самолюбия. Маша едва заметно, самым быстрым и только мне, прямо заинтересованному, уловимым выражением лица дала как будто почувствовать, что она *видит* и *поняла*. Какая-то



ть удовольствия, какое-то подобие улыбки. Чуть заметная искра в глазах. Я не знаю, что такое, не умею описать.)

— Почему я вас вспоминала? Разве вы забыли наш разговор в Буюк-Дере? «La couleur locale», которую вы так любите.

И она рассказала прежде о грязных ханах, которые, однако, занимали ее своею оригинальностью. Потом о ночлеге и вечере, проведенном ею в городке Баба-Эски у одного богатого грека, русского подданного, которого мы оба с Богатыревым знали хорошо и сами не раз ночевали у него проездом.<sup>10</sup>

Рассказ ее был очень жив и мил. Она хвалила чистоту и порядок этого дома: «на этом ночлеге она *поняла меня лучше прежнего*».

— Это в самом деле хорошо, — сказала она.

Ей понравился этот большой двухэтажный дом, выкрашенный темно-синиею краской с белыми цветами и разводами вокруг окон и дверей; понравились необыкновенно чистые, некрашенные полы просторных комнат; большие медные *мангалы*;<sup>\*</sup> простые, широкие, покойные диваны сплошь вокруг комнат. В главной приемной диван был красный, шерстяной ворс все петельками, сотканный дочерью хозяина, молодыми девушками, одетыми по-местному, с пунцовыми толстыми шерстяными фартуками; в другой большой комнате, там, где ночевала madame Антониади, диван также был домашней работы, весь из шестиугольников разноцветного ситца.<sup>20</sup>

— Как хорошо они подобраны — эти кусочки, с каким вкусом, — говорила Маша и потом спросила: — Я<sup>30</sup> только не могу понять, на что это у них на стене висит что-то плетеное из соломы и даже колосья пшеницы оставлены как бахромы с одной стороны?

Богатырев не помнил этого украшения, а я помнил его, но тоже не мог объяснить его значения.

---

\* Жаровни для согревания комнат.

— Вы поленились спросить у самих хозяев, — сказал я ей. — Я вас понимаю. И я всегда этим грешу во время путешествия. Наблюдаю только то, что само напрашивается на внимание. Со стыдом я должен сознаться, что я систематически и терпеливо изучать страну могу только по долгу службы; тогда я делаю это охотно; а для себя все спрашивать, записывать, всего доискиваться, как делают европейские туристы и некоторые наши ученые — я не умею. Лень!

<sup>10</sup> Богатырев прибавил к этому:

— А я еще хуже вас. Я не только не спрашиваю, когда дело не касается службы, но просто не обращаю внимания... и вижу гораздо меньше вас. Вы по крайней мере любите все то, что видите здесь, а я даже и не люблю. Вот хоть бы эти классические диваны вокруг стен; они покойны, конечно, но в них есть большое неудобство.

— Какое? — спросила Маша.

Богатырев, улыбаясь лукаво, отвечал:

— С ними невозможны в обществе никакие tête-à-tête.

<sup>20</sup> Разговор должен быть непременно общим... если нет особых кресел и разных уголков. Здесь женщинам слишком не доверяют, чтобы допустить такие уголки...

— Можно соединить, я думаю, и то, и другое: и диваны, и эти уголки. Я на своей квартире постараюсь так сделать, — сказала madame Антониади.

Так она, разнообразя беседу, «занимала» нас и в самом деле «заняла»! Богатырев и не заметил, как просидел у нее около двух часов, и собрался ехать, видимо, не совсем охотно.

<sup>30</sup> Прощаясь с нами, madame Антониади сказала нам, что надеется обоим нас видеть у себя часто. Мы поблагодарили, обещали, сели на наших лошадей и уехали.

Домой мы прямо не поехали. В тот день была прелестная зимняя погода: было прохладно, светло, дул легкий ветерок; мелкая травка кое-где зеленела.

Богатырев предложил мне прокатиться за город, и мы весело поскакали по берегу Тунджи в ту самую сторону,

откуда лет сорок тому назад пришли победоносные войска Дибича.

Мы долго ехали рядом по сухой и гладкой дороге. В воздухе было что-то ободряющее... хотелось какой-то веселой битвы, чего-то не то лихого, не то задумчивого и музыкального. Я был невыразимо счастлив и молча думал о том — каким раем земным *при ней* будет теперь Адрианополь.

Я с особою любовью смотрел в этот раз на встречающиеся нам длинные болгарские обозы. Мне нравились всегда эти тяжелые арбы, медленно влекомые могучими, тихими буйволами; усатые, худые и крепкие хозяева в синих чалмах и бараньих шапках; их дочери и жены, покрытые чистыми белыми платочками, в темно-синих одеждах с беловатыми или бледно-розовыми (как мне казалось) мелкими отделками на юбках. Все это было так здорово, свежо, все это имело на себе печать такого эпически-мощного однообразия, что нельзя было не любоваться на подобную картину, в одно и то же время и родственную нам, русским, и совсем для нас новую.

Любовался я всегда, но теперь я предвидел, я знал, что мне будет с кем делиться мыслями и чувствами. Ни Богатырев, ни люди, подобные Чобан-оглу и Михалаки, ценить по-моему этих картин не умели. Для Богатырева и это была такая же «скука», как и общество по-европейски одетых старшин, необходимых нам для политики; для самих же этих старшин быт простых болгар и греков (из среды которых они сами вышли) был только «полезною для политических целей наивностью» и больше ничего. Богатырев проходил мимо всего подобного с равнодушием и презрением; старшины смотрели на всю эту гомерическую поэзию с глупою улыбкой цивилизованного снисхождения и разве-разве с ощущением привычной с детства теплоты.

Иначе ценил все это я тогда; я с восторгом во всем местном, окружающем меня, прозревал залоги незрелой, неразвитой еще греко-славянской самобытной культу-

ры, полной силы, величия, красоты и страшной угрозы для Запада, ниспавшего до обыкновенного мещанского либерализма, до культа «машин», до господства газет и адвокатов, до *сюртука* и *кепи*, до канкана, ненавистных табльд'отов и шансонетки...

Я надеялся обо всем этом говорить *теперь* с нею и ехал долго молча в тихом упоении.

Богатырев тоже очень долго не говорил ни слова; вероятно, он думал о шестнадцатилетней невесте своей.

<sup>10</sup> Наконец мы повернули коней домой.

— Пора обедать, — воскликнул консул и, подумав еще немного, сказал мне особенно густым басом и как-то мрачно:

— Однако ваша одесская Марья Спиридоновна недурна... Только у нее язычок все «между зубами».

— Вы этого не любите? — спросил я.

— Чтò ж тут хорошего? — отвечал Богатырев. — Вы, кажется, уж «втрескались» в нее сразу; вот вам все и нравится.

<sup>20</sup> Несмотря на этот неблагоприятный отзыв и на грубоватый тон, с которым Богатырев отозвался о Маше Антониади, я бы не поверил ему при других обстоятельствах. Я принял бы эту выходку его за хитрость и считал бы его очень опасным соперником, если б у меня были тогда какие-нибудь, я не говорю непременно порочные, цели, но и просто определенные цели. Богатырев был молод, моложе меня; красив, мужествен, ростом очень высок, одевался изящно и со вкусом. Борода у него была темно-русая, густая, глаза какие-то *купеческие*, томные и хитрые; бас <sup>30</sup> его был очень приятен; держал себя он гордо; имел огромное влияние в стране, был тверд и лукав; серьезной образованности или начитанности у него было, положим, очень мало, но в моих собственных глазах этот недостаток не был недостатком; мне в Петербурге уж наскучили «вполне современные» люди и мне очень нравился этот богатый и надменный московский «матушкин сынок», в котором так хорошо и «национально» сочеталась какая-то помещичья,

сознательная и преднамеренная грубоватость с самыми утонченными европейскими преданиями. Читал он, до знакомства со мною, это правда, очень мало, и товарищи в посольстве говорили про него со злостью (из зависти к его успехам по службе): «он этой дурной привычки — читать книжки — не имеет». Я уговорил его, однако, немного побольше читать, чтоб и в этом не быть вовсе уж хуже других, и заставлял его иногда над Гизо или Маколеем, и он, вставляя в глаз монокль, взглядывал на меня с надменною улыбкой и говорил: «Слушаюсь вас, слушаюсь, видите... читать начал!»<sup>10</sup>

И я замечал, что он все прочитанное понимал скоро и верно, лучше многих, постоянно читающих.

Богатырев был бы ужасным и непобедимым соперником, если б он не был так занят в это время невестой. Он все досуги свои от службы употреблял на переписку с нею и с ее матерью. По целым часам разглядывал ее портрет и перечитывал по нескольку раз ее французские письма. «Ecouchez donc!» — так начинала она одно из своих последних писем. И Богатырев восхищался, смеялся и повторял при мне: «Как она пишет: Ecouchez donc! Какая она милая и смешная!»<sup>20</sup>

Я, конечно, думал про себя, что тут нет ничего особенного и что «язычок на зубах» гораздо обворожительнее, чем это вступление: «Ecouchez donc!», но молчал и очень радовался, что Богатырев так увлекается другою.

Если б он занялся Машей и сумел бы усыпить как-нибудь своею чрезвычайною ловкостью бдительность мужа, то, кто знает, что могло бы случиться!<sup>30</sup>

Но при том настроении, в котором тогда был мой молодой начальник, он был мне очень полезен. Он мог ходить туда вместе со мной и занимать разговором мужа.

Соображая все это, я и сказал ему тут же:

— Однако, согласитесь, что дом Антониади будет большим для нас здесь ресурсом?..

Богатырев в ответ на это улыбнулся и заметил:

— Ну смотрите, батюшка...

— Что ж смотрите. Разве нельзя к ним ходить? Она сама зовет нас.

— Ходить можно, только осторожно! Я на самого Антониади сильно рассчитываю pour les affaires du pays... Надо мирить теперь греков с болгарами, чтобы западные товарищи наши не удили рыбу в мутной воде. Антониади — человек, видимо, умеренный и в местные интриги и страсти еще не запутанный. Понимаете? Ходить не только можно, даже должно. Виллартон (так звали английско-<sup>10</sup> го консула) уже начал ухаживать за ним... Наш Михалаки все это проведаль и донес мне сегодня... Виллартон начал что-то опять бегать по купеческим конторам, у самого Антониади был два раза и угощал его уж обедом... Soyons vigilants, mon cher! А если вы увлечетесь слишком Марьей Спиридоновною, вы вооружите его против себя и лишитесь, на случай моего скорого отъезда, хорошего и влиятельного союзника... Распря между греками и болгарами здесь, слава Богу, не так уж сильна, как в Филиппополе,<sup>20</sup> где сам русский консул из болгар, и его, несмотря на все мои старания, почему-то не хотят удалить оттуда... Поэтому мы не должны портить нашего здесь личного положения...

— Я все это, кажется, понимаю и сам, — отвечал я немного раздражительно. — Но от удовольствия беседовать с порядочною женщиной, которая говорит по-русски и даже русских поэтов читает, до увлечений любви и до промахов по службе еще очень далеко...

— Знаем мы эти «чтения» русских поэтов! Мне, впро-<sup>30</sup> чем, ведь все равно; я для вашей пользы... Поскачемте лучше опять; пора нам домой. А бывать можно, конечно. Мы опять, если хотите, вместе пойдем к ним. Я на него даже имею особые виды!

Тем кончился разговор наш в этот день с Богатыревым.

## XII

Советы Богатырева быть поосторожнее возбуждали во мне досаду, потому именно, что я и без него намерен был не позволять себе ничего лишнего.

— Зачем учить меня тому, что я сам знаю не хуже его? Он очень лукав, и я готов подозревать его во всякой хитрости... Посмотрим еще, как он сам будет вести себя!.. Разве мало людей, которые позволяют себе развлечения в ожидании отложенной надолго свадьбы, даже и с девушкой любимой до некоторой степени?.. Я буду следить за ним... И уступать ему ни шагу не намерен! Другое дело чтить права мужа; другое дело уступать его претензиям. <sup>10</sup>

Но подозрения мои оказались напрасными; Богатырев действительно думал больше о том, чтобы расположить мужа к русской политике, чем о том, как бы понравиться жене. После первого нашего визита супругам Антониади он в течение целого месяца ни разу у них в доме не был; но вместе с Канкелларио был у Антониади в конторе раза два, и Антониади один раз у него завтракал. <sup>20</sup>

Я на этом завтраке не присутствовал и не знаю, о чем они говорили; но Богатырев остался доволен хиосским торговцем.

— Антониади очень порядочный человек, — сказал он мне потом. — Он своею порядочностью больше похож на фанариота, чем на этих провинциальных греков. Я даже заметил, что он, должно быть, каждый день меняет белье... — Вы заметили?..

— Да, заметил, — отвечал я, — он всегда хорошо одет и, кажется, даже *сам* кладет на свои вещи... Хорошо пахнет от него... <sup>30</sup>

Богатырев засмеялся и, поспешно вставив в глаз монокль, чтобы лучше меня видеть, воскликнул:

— А! Ну уж это, поверьте, *она!*.. Она сама кладет ему *сам*! Марья Спиридоновна! Поверьте, что она... где бы ему!

— Верю, верю! — сказал я весело. — Что ж за беда?.. Пусть кладет!

Я не только не досадовал на Богатырева за подобные шутки; я почти наслаждался ими: при невозможности часто видеться с Машей для меня было истинною радостью слышать ее имя и иметь самому возможность упомянуть о ней в безвредной и случайной, не мною даже вызванной беседе.

Этот первый месяц мы виделись с ней всего три раза,<sup>10</sup> и первые два раза почти мельком. Она была все это время очень занята: делала визиты женам консулов и разным адрианопольским «коконам» в платочках и плохих шляпках, вроде г-жи Чобан-оглу или той язвительной родственницы мужа, у которой они остановились по приезде своем. Их было так много! Кокона Евгенко, кокона Катинко, кокона Локсандра, кокона Клеопатра... Всё скучные, завистливые, крикливые, однообразные, церемонные супруги торговцев, медиков, консульских драгоманов и вообще членов той христианской «интеллигенции»,<sup>20</sup> которая первенствует в коммерческих делах турецких городов, деятельно правит местною политикой в спокойное время и почти вся куда-то скрывается, когда события принимают более грозный и хотя сколько-нибудь опасный для жизни характер... Я понимал, как все это было несносно и тяжело для бедной madame Антониади; я знал по опыту, какой это подвиг, какое это несносное общественное тягло — беседа этих дам!.. Кончила она визиты, — сами дамы эти с мужьями как поток полились к ней обратно!.. Их надо было ждать, им надо было улы-<sup>30</sup> баться, их необходимо было задобривать для пользы мужниных сношений...

Антониади сам, встретившись со мной на улице, сказал мне:

— Жена моя очень устала. — И прибавил с небольшою, чуть заметною гримасой досады: — Эти визиты!.. Вы знаете!..

О «людях» он не позволил себе ничего сказать.



Обремененная этими посещениями и беспокойством о том, как бы не оскорбить кого-нибудь и не создать мужу врагов, madame Антониади была в то же время до огорчения озабочена хлопотами о будущей квартире своей. С мужем у нее по этому поводу были несогласия.

Я долго надеялся, что они поселятся неподалеку от нас.

И моя квартира, и консульство были в турецком предместьи *Кыик*, высоком, просторном и красивом, недалеко от восхитительной мечети Султан-Селима и от выхода за город к старому турецкому кладбищу на краю высокого обрыва, за которым река Тунджа вилась по тучному лугу, где высились полуразрушенные башни и шумели пышные, вековые вязы и тополи Старого Серая.

Мы предпочитали чистый воздух этого живописного мусульманского предместья; но Антониади, хотя и жил долго в Англии и с виду, как справедливо заметил Богатырев, напоминал благовоспитанного фанариота, был все-таки хиосский грек-купец и без своих греков (и даже без болгар торгующих) ему, должно быть, было скучно. Ему нужно было быть поближе к ним ежеминутно, и он нанял большой и довольно хороший дом в самом тесном и людном месте старой цитадели, в *Кастро*, где гнездится православная «интеллигенция» города, вместе с евреями и армянами, подальше от турок и потеснее. Напрасно жена просила его нанять дом богатого бея недалеко от нас; дом этот был ярко-голубого цвета, на большом дворе, за решеткой и палисадником, и на одном конце палисадника был окнами на улицу построен очень милый киоск с разноцветными стеклами. Может быть, в этом киоске бедная Маша хотела бы читать какую-нибудь увлекательную книгу в ожидании, что вот-вот раздастся стук копыт и выеду я из-за угла на вороной моей лошадке, которая бежала такую красиво иноходью и с таким возбуждающим звоном подков по грубой мостовой, — выеду я на вороной этой лошадке, в круглой шапочке набекрень и в шубке, лихо подтянутый ремнем, в шубке лисьей, в шубке русской такой, в шубке такого же ярко-голубого цвета, как дом

этого бея с киоском или как июльское небо теплых стран. И выеду я, и подскачу к киоску со скромною лихостью, и прищелкну, пристукну чем-нибудь, чем придется, и остановлюсь, и скажу: я в русской шубке, в русской шапке, в турецком квартале, у киоска турецкого, скажу ей... милой... Чтò я скажу ей? Что-нибудь самое простое сначала, приподнимая шапку: «*La matinée est bien belle, n'est ce pas?*»

Но Антониади сказал себе: «Это невозможно! Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру...» И не только жена убеждала его нанять небесный дом бея с пестрым киоском; его уговаривали нанять дом поближе к нам и французский консул, и английский, у которого был тоже в Кыике собственный дом, и тот говорил ему, «что здесь воздух лучше и мы все (то есть консульское общество) ближе». Но упрямый и хладнокровный Антониади никого не слушался. Раскачиваясь по привычке слегка и чуть заметно с каблуков на носки и опять назад, он гладил черные бакенбарды свои большою и красивою рукой и отвечал на все доводы почти одно и то же... Не знаю, чтò он говорил дома жене... не вооружался ли он в прозорливоревнивом сердце своем немножко и против той *бель-вю* с пестрым стеклом, где восхитительная Маша могла, мечтая, возводить к небу хитрые, глубокие и черные очи свои и снова опускать их долу, прислушиваясь к топоту копыт. Не знаю, не знаю, чтò он ей говорил. Может быть, он ей сказал: «Не хочу, чтобы ты была близко...» Нет, нет, не знаю, чтò он мог ей сказать. Но французскому консулу он отвечал при мне очень вежливо, почтительно и твердо:

30 — Это невозможно. Дела мои требуют, чтоб я в Кастро нанял квартиру.

— Здесь ближе ко всем нам, — возразила еще раз жена французского консула. — *Madame* Антониади женщина европейского воспитания; она никогда не сойдется со здешними дамами. Ей будет скучно в Кастро.

— Мы будем ходить сюда... она любит ходить пешком... мы будем часто ходить сюда.

Французский консул сказал тогда Маше:

— Что ж мы будем делать с пословицей: «женщина хочет — Бог хочет»?

— Эта пословица сделана для всех, кроме г. Антониади, — отвечала Маша с такою явною и даже неуместною досадою, с таким движением самого дурного чувства, что всем стало неловко. Все замолчали и переменили разговор.

В первый раз я видел тогда, что Антониади смутился, покраснел и почти потерянно улыбнулся. Мне показалось в этот день, что они очень несчастны и почти ненавидят друг друга.<sup>10</sup>

Я не настолько был низок, чтоб обрадоваться этому корыстною радостью. Напротив того, мне стало вдруг очень грустно глядя на них. Эта «невыдержка», эта бестактная и неприличная, хотя и минутная ссора с мужем при людях совершенно чужих и вовсе, быть может, недоброжелательных, возбудила во мне какой-то стыд за нее и вместе с тем опять ту братскую жалость, которая была мне так знакома еще с Буюк-Дере.

Итак, насчет выбора местности Антониади был непоколебим, и снисходительность его к жене выразилась только тем, что он (как я узнал от нее после) ни словом, ни взглядом, ни намеком не упрекнул ее за ее немного грубую выходку в доме французского консула, а напротив того, объявил ей очень любезно, что она может искать дом в Кастро, не стесняясь в цене, не думая о расходах.<sup>20</sup>

Маша нашла немного старый, но удобный дом в одном особенно тихом переулке. Он был снаружи белого цвета, с какими-то турецкими изображениями и надписями в виде золотисто-желтых круглых щитов около окон и над воротами. Белый цвет стен этого дома, который казался бы столь несносным в Афинах, Корфу или в наших новороссийских городах, где все почти дома белые или желтые, здесь, в этом адрианопольском Кастро, почти сплошь красноватом, кирпичном, розовом, темно-красном, производил приятное и веселое впечатление. Маша, у которой потребность тонкого вкуса и тщеславие были гораздо силь-

нее «экономии», очень обрадовалась позволению мужа не думать о расходах и велела все подновить, выкрасить, починить, побелить снаружи; убрала внутри как можно милее, и немного ветхий дом стал красив и свеж, как «бомбоньерка». Снаружи не было и следов осыпавшейся штукатурки; внутри стало тепло и пестро; резные и цветные деревянные потолки сияли новыми красками. Везде запахло духами и свежим тесом. На дворе, где прежде посреди дикого высокого бурьяна было видно лишь несколько кустов «Божьего дерева», теперь проводились дорожки и намечались клумбы в ожидании весенних цветов. Вот тут-то, недалеко от ее нового жилища, мы с ней встретились второй раз случайно на улице и, остановившись, поговорили не больше двух минут; она была расположена продолжать разговор и предложила идти вместе, но я позволил себе отказаться и сказал ей так:

— Вы еще не знаете здешних нравов. Если бы мы встретились в турецком квартале, то можно было бы вместе пройтись: турки живут в особом мире, и отношения их к женщинам до того не похожи на наши, что они едва ли могут и понять, что у христиан прилично и что неприлично. Я думаю, им все кажется неприличным. Мимо турецких домов я бы охотно прошелся с вами. Но здесь, в центре города, это невозможно. Здесь живут все гречанки, армянки, болгарки. Им скучно, в жизни их только и есть, что хозяйство и любопытство, полное зложелательства. Они сами не умеют ни говорить с мужчинами, ни чувствовать ничего идеального и потому самую простую вещь объясняют по-своему. Я слишком дорожу вами и вашим обществом, чтобы не беречь вас... *Поймите!*

Я в самом деле был уверен, что эти пять минут, в которые мы с madame Антониади простояли друг пред другом на узкой улице адрианопольского Кастро,\* не прошли для нас совершенно безнаказанно. Я был убежден,

---

\* *Кастро* — крепость, центр города, населенный христианским и европейским достаточным, торговым классом.

что из окошек всех этих домов, высоких и тесно построенных, уже смотрят на нас десятки женских глаз с болезненным любопытством, завистью и с готовностью даже на клевету.

Маша поблагодарила меня, поняла и ушла поскорей в одну сторону, а я в другую.

Третий раз мы поговорили с ней подольше и посвободнее.

Богатырев остался верен своему намерению ухаживать за мужем, и мы вместе, выждав время, приехали к ним с визитом в праздник до обеда, нарочно в такой день, когда торговые конторы были заперты и Антониади был дома.

Богатырев много говорил с ним, а я с ней; были и общие разговоры.

Богатырев старался доказать мужу, до чего Виллартон вреден здешним христианам.

— Он на все способен, — говорил консул, — с ним надо соблюдать величайшую осторожность. Он целый день живет в конаке паши, даже роняет этим свое достоинство; он фамильярно сходится со всеми и потом готов доносить туркам на всякого; он держался за греков, пока думал, что все болгарские старшины очень преданы России, но как только стали ясно обозначаться в болгарской среде разные партии, он стал потворствовать униатству, несмотря на то, что он как протестант должен бороться здесь против римской пропаганды. И теперь он друг всем тем болгарам, которые против греков и против нас...

Антониади слушал его почтительно, но, казалось мне, не совсем доверчиво, и даже возражал иногда с большою осторожностью, как будто бы он больше справлялся и получался, чем возражал.

— А нельзя ли подумать, — (говорил он, например), что под этим г. Виллартон скрывает свою настоящую игру? Не таится ли тут еще что-то?

Богатырев, недовольный, краснел, лицо его делалось мрачным и надменным, и он отвечал почти грубым тоном:

— Я его знаю! Я это говорю... Ничего больше, кроме того, что я знаю, не может у него таиться. Виллартон дипломат плохой и чувств своих скрыть не умеет. Обманывать и быть шпионом у турок, это еще не дипломатия.

Антониади спешил, по-видимому, уступить.

— О! я не спорю. Я политикой вообще мало занимаюсь, а потому я не компетентен в подобных делах. Вы, конечно, господин консул, посвящены во все тайны и лучше можете судить, чем я. Я только позволяю себе  
10 спросить.

Богатырев, успокоившись, начинал опять объяснять ему, как необходимо теперь, особенно при новом учреждении здесь вилайетов и при новых пашах, крепко сплотить христианскую общину, не различая болгар от греков, и всем православным стать заодно против совокупного действия Виллартона и католических консулов. Надо прекратить эти распри между болгарами и греками за церковь в предместье Киречь-Хане, где во время богослужения еще на днях один грек по имени Калиас обнажил нож для  
20 устрашения болгар и т. д.

— *C'est affreux!* Какое поругание святыни! — хладнокровно покачивая головой, сокрушался Антониади.

А мы между тем с нею в другом углу комнаты говорили о другом. Мы говорили о «множестве миров» и о «загробной жизни».

Я взял случайно в руки книгу Фламариона, которую Маша положила около себя на столик в ту минуту, когда мы вошли, и, рассеянно взглянув, раскрыл ее на том месте, где она загнула угол. Это было на той странице, где опи-  
30 сывались особого рода люди, вечно плавающие в жидкой розовой атмосфере небесного тела.

Маша заглянула тоже в книгу и сказала:

— Да, вы застали меня в хорошую минуту... Я читала о людях, которые все должны видеть в розовом свете.

— А есть еще тут и другие люди, у которых всегда «ушки на макушке», — заметил я и напомнил ей о тех обитателях иных миров, у которых одно ухо на верху головы.

— Чтò значит «ушки на макушке»? — спросила с удивлением madame Антониади, — это верно русская поговорка? Я ее не знаю... Чтò она значит? У русских так много хороших поговорок... Они мне нравятся по инстинкту даже и тогда, когда я плохо понимаю их.

— «Ушки на макушке» — значит, сколько я понимаю, осторожность, — ответил я.

— Вот как! — сказала Маша с особою значительностью и потом продолжала серьезным и почти печальным тоном: — Не знаю, прав ли этот Фламмарин, хороший ли он астроном или нет. Но мне как приятно думать, что мы не одни на свете и что на других звездах может быть жизнь счастливее нашей.

— Ведь вы сказали, — перебил я, — что вы сегодня расположены видеть все в розовом свете...

— Да, только эта книга напоминает мне очень тяжелые дни в моей жизни. Когда я потеряла старшего моего сына (это был мой первый ребенок), я долго не могла молиться и только все читала астрономические книги...

Признаюсь, мне показалось немного смешным и неловким это выражение «des livres d'astronomie» (она очень скоро переменила русский язык на французский, нарочно, мне кажется, для мужа, который по-русски знал очень мало и у которого были, может быть, в это время именно «ушки на макушке», и не оттого ли, кто знает... он так сухо относился к политическим внушениям Богатырева?). «Des livres d'astronomie!» «Не могла молиться!» А между тем она говорит о таком важном событии в жизни женщины, о такой святыне материнского сердца, как смерть любимого сына и первого ребенка! Я нашел эти слова бестактными; но счастье мое было в том, что я вовсе не идеализировал мадам Антониади... Она мне нравилась такую, какую она мне представлялась, и все маленькие слабости ее тщеславия, как светского, так и книжного, мне казались привлекательными недостатками, без которых она была бы хуже и скучнее.

Поэтому и эта неловкая «книжность», в которой самолюбие мое прочло прежде всего желание и этим, между прочим, понравиться мне, не отвратили меня от нее, а только расположили поскорей переменить разговор. Я спросил:

— А ваша дочь?.. Я ее не вижу. Где ж она?

— Моя дочь была не совсем здорова, она осталась у бабушки своей в Константинополе, у родной тетки моего мужа... Но она скоро будет сюда с гувернанткой... Я их <sup>10</sup> жду с нетерпением...

Потом, помолчав, Маша спросила меня по-русски и потише:

— Прошу вас, ответьте мне откровенно на один очень трудный вопрос... Вы согласны?

— Постараюсь...

— Верите ли вы в будущую жизнь? В жизнь за гробом...

Я остановился в недоумении. Такого решительного, такого громоносного вопроса я не мог никак предвидеть!

<sup>20</sup> Не говоря уже о неожиданности такого вопроса (и тем более в присутствии двух деловых людей, которые могли обоих нас с ней осмеять, прислушавшись к нашим словам). Я еще и потому не вдруг собрался ей ответить, что сам в то время (как далеко оно теперь! Как оно чуждо мне — это время!), я сам еще не постиг, как именно и в каком смысле я верю в мир невидимых духов и в загробную жизнь. Правда, в Бога я верил пламенно и разумом, и сердцем: разумом я верил прежде всего в том смысле, что не мог понять, как бессознательная природа могла бы без <sup>30</sup> полного и высшего сознания сотворить неполное и низшее наше личное сознание? Каким образом слепой творец-природа может быть ниже познающего эту природу — человека? Сердцем я тоже верил; в иные минуты я молился; я обращал с глубоким вздохом взгляды мои к небу, к распятию или к родной иконе во дни горести слишком сильной или в часы радости внезапной и живой, или в минуты страха за мою жизнь и за мое земное будущее... Но это



случалось редко, очень редко! Церковь Православную я чтил, я любил ее всеми силами души моей; но я любил ее больше русским и поэтическим чувством, чем духовным или нравственным. Обряд ее, ее пышность, ее предания, утварь и одежды, ее пение — вот что влекло меня к ней; но моими поступками и моими суждениями о людях в то время, всю мою нравственную жизнь тогда руководило не учение Православия и не заповеди Божии, а кодекс моей собственной гордости, система моей произвольной морали, иногда, быть может, и благородной, но нередко в высшей степени безнравственной. Если я скажу, что я не только думал, но и говорил тогда часто: «лучший критерий поступков — это что к кому идет», то этим я, кажется, скажу все!<sup>10</sup>

Понятно после этого, до чего смутны были мои представления об отношениях загробной жизни к земной и как мало «небесные венцы» принимались мной в расчет тогда при решениях моей нравственной жизни. Венец самолюбия довольно строгого, который я сам возлагал на себя, когда находил себя этого достойным, был мне дороже рая, о котором я (несчастный!) и не умел тогда думать; и внутреннее самоуничижение или заслуженная злая насмешка людей были мне страшнее гнева Господнего.<sup>20</sup>

И если теперь, когда я совсем переменялся и так много обо всем подобном передумал, когда я верю совсем иначе, мне надо многое вспомнить и о многом помыслить, чтобы быть в силах написать и эти немногие строки, что я мог ответить ей тогда и так внезапно, как она этого требовала?

Я ответил, однако.

— Верю ли я в загробную жизнь? — переспросил<sup>30</sup> я. — Да, не верить в нее глупо. Материализм — философия слишком уж простая, пустая, грубая. Однако турок верит в загробную жизнь по-своему, христианин по-своему, ваш Фламмаринон опять иначе.

— Нет, подождите, — перебила меня madame Антониади, — я спросила не так: верите ли вы, что души, которые здесь на земле не могли соединиться, потому что

им в этом препятствовало очень многое, за гробом будут наслаждаться симпатией своею безо всяких препятствий, безо всяких тогда стеснений? — повторила она с жаром. — Вот я что хотела спросить...

Говоря это, она смотрела на меня как всегда или, вернее сказать, равнодушнее обыкновенного; она как будто нарочно старалась придать милому лицу своему самое покойное и бесстрастное выражение...

Несмотря на этот оттенок (казалось мне, преднамеренный) я принял этот вопрос хотя и не за прямое объяснение в любви, но за ободрение слишком явное и, внутренне смутясь от радости, ответил так:

— Не знаю, имею ли я право верить в такого рода симпатию; но до чего желал бы верить в нее, это я знаю хорошо!

Мы поглядели друг на друга молча, и Маша первая из нас опустила глаза. В эту минуту опять раздался громкий бас Богатырева, я не расслышал всех его слов... Я слышал только:

20 — ...Никогда! О, никогда!.. (он даже громко и с негодованием засмеялся). Россия не может держаться в греко-болгарском вопросе и ни в каком другом односторонней славянской политики. Если вы вспомните, что есть на свете поляки и другие католические славяне, то вы поймете, что я прав...

Сказав это, молодой консул встал и подошел к нам. Мужественное и серьезное лицо его озарилось лукавою веселостью.

30 — Мосье Ладнев вам проповедует что-то?.. Какую-нибудь свою ужасную ересь? Я угадал?

— Нет, вы не угадали! Напротив того, я исповедую мосье Ладнева, — сказала madame Антониади с ударением на я.

— И что ж, он кается?

— Кается...

— Нельзя узнать — в чем? — спросил, в свою очередь улыбаясь, Антониади.

— Разве духовник имеет право передавать эти тайны?.. — отвечала Маша.

Антониади шутя извинился.

Богатырев между тем взял со стола книгу Фламариона, поднес ее как можно ближе к своим близоруким глазам и, всмотревшись, воскликнул:

— А! высшая философия!.. Мiры... мiры иные...

— Жена моя всегда «в пространствах» (*dans les éspaces*), — заметил Антониади не без язвительности, как мне показалось. 10

Маша ничего на это не ответила. Она как будто была чем-то недовольна.

Богатырев взялся за свою боярку, но Антониади точно как будто только этого и ждал.

— *Monsieur le consul*, — сказал он с легким оттенком искательности в лице и манерах (с очень легким, впрочем), — я виноват, не желая прерывать ход тех в высшей степени интересных политических соображений, которые вы излагали мне сейчас, не успел сделать вам одного весьма нужного для меня вопроса. Я желал бы знать, могу ли я, имея паспорт греческого подданного, пользоваться в делах коммерческих и вашею защитой в случае нужды? Без лести скажу вам, я ото всех слышу о преобладании здесь русского влияния. 20

Богатырев сильно покраснел. Я догадался, что он вспыхнул от радости. Дорогая и редкая коммерческая птица сама рвалась в его консульские силки.

— Мы подумаем, как это устроить, — ответил он задумчиво и значительно, потом, улыбнувшись, обратился к Маше и прибавил: — В Турции нет ничего невозможного. 30 Это составляет единственную прелесть нашего здесь существования.

После этого мы простились и ушли. Дорогой у нас с Богатыревым был оживленный разговор о супругах Антониади. Богатырев сказал мне:

— Вот вы там в углу совращали жену с пути истинного, а я мужа обращал на путь истинный. У вас все звезды

там да небеса... А мы люди terre à terre, знаете! — Посмотрим, кто из нас скорее успеет!

— Вы все о моих успехах, — отвечал я с жаром искренности, — могу вас уверить... я готов божиться и честное слово вам дать, что я никаких целей не имею. Я бы и мужу самому готов был бы присягнуть всем священным в том же, лишь бы он мне позволил почаще проводить время и разговаривать с этою милою женщиной.

— Позволит, погодите, позволит... Я за вас постараюсь. Дайте мне забрать его в руки в делах, и тогда он сам будет приглашать вас читать жене «про звезды».

Богатырев говорил все это с большим добродушием; его видимо несколько тронула та нота искренности и честного чувства, которые звучали в моих словах...

— Чтò же вы думаете сделать, чтоб доставить ему русскую протекцию на случай надобности? — спросил я.

— Подумаю, — отвечал консул, — поговорю с нашим адрианопольским Меттернихом, Михалаки Канкелларио. Надо вырвать непременно Антониади из рук Виллартона. Антониади не дурак; в политике умеренного взгляда; богат, довольно сведущ... Он будет нам очень полезен для умиротворения христианской общины. Михалаки наш придумает, измыслит!..

И Богатырев был прав; Михалаки придумал!

### XIII

После этого последнего визита нашего, после этих речей о симпатии сердец и загробном соединении душ, на земле разделенных неодолимыми преградами, настал для меня невыразимо светлый праздник жизни. Он длился<sup>30</sup> долго, всю остальную часть зимы, всю весну и все лето...

Были препятствия, была борьба, наставали тяжелые дни. «Скорби, нужды, гнев», об устранении или смягчении которых мы так постоянно молим Бога в христианском храме, конечно, не исчезли на все это время мне в угоду с

лица земли. Были и скорби, томили нужды, и гнев обурывал не раз; случалось, и самый тяжкий род гнева — гнев бессильный.

Я не знаю, мог ли хоть один человек когда-нибудь и где-нибудь прожить полгода, месяц даже, без этой преходящей боли тонких и тайных ощущений.

Конечно, все это было, и о многом я помню живо и с болью до сих пор. Но чтобы даже и мне самому стало яснее теперь, почему я считаю счастливым этот год, я скажу вот что: хотя я был и молод в то время, но молод не опытом, а только годами и еще более характером. В 10  
лета самой первой юности, при самом вступлении моем в сознательную жизнь, тогда еще

Когда мне были новы  
Все впечатленья бытия...

я испытал много душевных лишений, мук и обид; но жизнь мне нравилась. Я стал учиться пользоваться ею.

После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое 20  
страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным.

Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую 30  
причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!

Люди любят рассказывать о том, как они нестерпимо страдали, я же хочу здесь рассказать о том, как и чем я 30  
был счастлив в то время.

Малым ли я был доволен или я требовал многого разом — я не знаю; об этом судить не мне.

Я не забуду, конечно, в рассказе моем и этих «шипов на ветках розы», но, право, они были так ничтожны!

Так все ладилось тогда само собою, так удавалось! Так счастливо выросло из самых ничтожных обстоятельств. Все возбуждало меня идти смело на битву и на радость.

Опять ожили вокруг меня картины любимого Востока; опять защебетали птички; лица на улицах повеселели; обнаженные зимние сады стали еще узорнее и милее прежнего, движение пестрых и грязных базаров осмысленнее и живописнее. Прежде все это было похоже на драгоценную, прекрасную рамку, в которой еще нет полотна, или на полотно 10 которой нет милого образа; теперь на меня из разноцветной рамы этой взирают добрые, большие, черные «очи» и светит мне знакомым светом лукавая улыбка — не то небесная по кротости, не то заманчиво и неуловимо растлевающая — не знаю, какая, но знаю, как она светит мне. И все мне кажется, что только мне одному!

Стояли теплые дни, и солнце было ярко; я восхищался тем, что я на юге. Начинал падать снег, и становилось холодно; я рад был огню печей и мечтательно вспоминал о 20 милой и бедной родине моей, так недавно и так жестоко покинутой мною! Все силы мои удвоились; я стал и деятельнее по службе, и приятно-ленивее во время отдыха; я стал и добрее, и в то же время до злости смелее; я больше мыслил (мне казалось так), чаще пел и декламировал стихи и дома (погромче), и в дальних кварталах на прогулке (вполголоса и оглядываясь):

Свеж и душист твой роскошный веноч,  
Всех в нем цветов благовония слышны;  
Кудри твои так обильны и пышны,  
30 Свеж и душист твой роскошный веноч.

Свеж и душист твой роскошный веноч,  
Ясного взора губительна сила.  
*Нет, я не верю, чтоб ты не любила:*  
Свеж и душист твой роскошный веноч.

Свеж и душист твой роскошный веноч,  
Счастью сердце легко предается,  
Мне близь тебя хорошо и поется.  
Свеж и душист твой роскошный веноч!..

Я пел и декламировал. Я делал новые подарки Велико и другим домочадцам своим, чтоб и они чувствовали, до чего мне хорошо теперь, чтоб и они всегда помнили меня именно в это время!

Конечно, одно только присутствие Маши Антониади в городе, один только осторожный намек ее на любовь не могли бы так очаровательно и сильно, сразу и надолго вдохновить меня. Нет, кроме чувства ее близости, кроме ее намеков, были и другие поводы к веселому напряжению душевных сил моих. Сама по себе адрианопольская жизнь к середине этой зимы стала гораздо занимательнее и оживленнее. Всеобщий подъем духа на Востоке и в Европе отзывался и здесь. В Крите уже давно геройски бились греки; в центре Европы подымалась новая грозная сила — униженная Австрия облачалась для прикрытия своей политической нищеты в подновленную и поношенную мадьярскую одежду; в Балканах ждали волнений; в дальнем Петербурге давали балы в пользу критян; славяне собирались пировать на съезде в России. Сербия грозила вступить с Элладой в союз против султана, и некоторые из фракийских болгар, преувеличивая себе расстройство Турции и силу Княжества (впоследствии оказавшуюся столь малою), уже начинали бояться, что сербы пройдут беспрепятственно чуть не до Царьграда и захватят себе часть их земель.

Другие в городе опасались вспышки мусульманского фанатизма. В то время еще были живы многие люди двадцатых годов; они помнили со свежестью детской памяти прежние казни, помнили слезы, крики женщин, видали кровь и бледные лица отцов и родных своих.

Христиане и в городе, и в ближних селах были робки; восстания никто здесь не ждал, но боязнь избиений, подобных сирийским, была от времени до времени сильна.

Турки со своей стороны принимали меры, спешили реформами, передвигали войска. Прибыли с этою целью из Константинополя вместе двое пашей: Хамид-паша — генерал-губернатор всей области, худой, высокий, важный и

почтенный, и губернатор округа Ариф, толстый, низенький босняк, игравший в славянскую популярность, умный, просвещенный, но лукавый до низости и бесстыдства. Учреждались новые области — вилайеты и новые суды.

Адрианополь в то же время наполнился поляками. Сначала, когда я еще в первый раз видел Велико верхом на базаре, в городе стояла небольшая часть этой кавалерии.

Молодцоватые белокурые офицеры в фесках и с кривыми саблями гордо ходили по городу, встречались с нами в <sup>10</sup> обществе; явились и дамы полковые; показались лишние противу прежнего кареты; всадники, драгуны и казаки гарцовали по улицам. Высокий, энергический, полный и красивый Мурад-бей, граф Доливо-Ландцковский был заметнее всех; Вехби-бей, пожилой и почтенный полковник (когда-то просто — Вержбицкий, офицер русской службы на Кавказе), приехал с женой, еще довольно молодою, и двумя белокурыми дочерьми, у которых волосы были необыкновенно густы, светлы и красивы.

<sup>20</sup> Все вокруг меня, и вблизи, и в отдалении, было возбуждено, взволновано, тревожно. Все становилось крупнее и как бы осмысленнее; все ждали общего пожара национальных и религиозных страстей. Все спешило куда-то вдаль, все было в движении... Все отражалось и на мне: все меня возбуждало, веселило; все придавало боевой и многозначительный характер даже нашему письменному с Богатыревым труду. Я помню, однажды я сидел ночью в канцелярии консульства и кончал большой, срочный труд к проезду из Рущука в Царьград русского верхового курьера. Богатырев, который вообще готов был заниматься делами <sup>30</sup> еще больше моего, на этот раз устал и удалился на покой. На дворе была оттепель; ночь была не морозная, а только прохладная, какие бывают у нас в сентябре. Железную печку натопили слишком жарко, докрасна, и я, раскрыв окно, чтоб освежить и увлажить слишком высохший, горячий воздух комнаты, продолжал с одушевлением трудиться. Канцелярия была в нижнем этаже, но окна были настолько высоки, что пешеходы не могли меня видеть. Да



их почти и не было; было уже очень поздно, и темная улица была безмолвна. Как вдруг раздался крик и громкий свист; застучали по мостовой конские копыта... Я слушал. Стук копыт приближался; раздался свист еще громче и ближе... Верховые поравнялись с окнами моими... Я не знаю до сих пор, что это было — запоздавая турецкая верховая почта или верховой какой-нибудь объезд... Я продолжал писать.

Всадники, поравнявшись с окнами нашими, примолкли; они, должно быть, придержав лошадей, смотрели на меня. <sup>10</sup> Я был ярко освещен свечами.

— Пишет! — сказал один из них громко.

— Кто это? — спросил другой, и они проехали.

Топот и крики опять на мгновение усилились и потом мало-помалу затихли. Я вообразил себе чувства этих мусульман (а может быть, и поляков) при виде пишущего русского. «Что он может писать, кроме вредного нам?», и хотя мне лично и турки, и польские офицеры очень нравились, я с удовольствием и с улыбкой гордости вспомнил об их политической ненависти и сказал себе: <sup>20</sup>

— Как бы, может быть, было им приятно теперь бросить мне в голову большой камень или даже прицелиться в меня!

И правда, писал я в эту ночь вещи невыгодные и для турок, и для римской пропаганды, которою так справедливо со своей точки зрения должны были дорожить лихие наездники лихого пана и поэта Садык-паши.

Я наслаждался внутренним сознанием той полуоткрытой, почти ежеминутной борьбы, в которую все сильнее и сильнее вовлекались и мы среди всеобщего брожения умов; я <sup>30</sup> был бы рад, если бы борьба эта приняла и здесь открытый и страшный вид войны или восстания. Самолюбие мое внушало мне, что я сумел бы выйти хорошо из тех затруднений и опасностей, которые всегда могли предстоять здесь русскому в такие дни...

Конечно, все это ощущать, всем этим наслаждаться я мог бы и в отсутствии Маши, но мне приятно было иметь

близко «даму сердца», которая могла бы оценить и беседу мою «о мірах» и «загробной жизни», и голубую шубку русского покроя, и шапочку набекрень, и лошадку вороную, и доброту души (которой я тогда между прочим тоже гордился), и политический такт на службе, и какой-нибудь удар хлыста, вроде того, за который меня, наказуя для вида, перевели сюда и повысили, поручив сразу серьезный и деятельный пост.

<sup>10</sup> Куст «весенней черемухи» цвел теперь уже близко от меня, и я мог надеяться когда-нибудь, срывая цветы его, сплести из них себе «душистый и свежий» венок победы. Какой победы? над кем? над чем победы? Я не знал и не жаждал знать. Мне было весело; мне было приятно жить тогда на свете; мне стало приятнее прежнего и гулять, и трудиться, и есть, и пить, и спать, и бодрствовать, и мыслить, и смеяться, и не только любить, — мне ненавидеть даже стало как-то слаще.

<sup>20</sup> Я ненавидел, например, нового драгомана австрийского консульства: фамилия его была Бояджиев; он был болгарин-униат, отъявленный враг России и поклонник всего европейского. Серьезный, солидный, черный как цыган, с большим горбатым носом, всегда в феске и каком-то грубом сак-пальто лилового цвета, сшитом из местной «абы», для покровительства национальному рукоделию. Он воображал себя образованным и позволял себе от времени до времени судить обо всем с гордым, стойким и язвительным видом. Я ненавидел его солидность и презирал его пошлость. Мне казалось почему-то, что и он в душе презирает меня...

<sup>30</sup> И вот (я сказал, что многое само собою слагалось в этот год лиризма и удачи)... и вот пришлось мне сразу в один день и почти в один час проучить надолго этого ненавистного мне человека, — и узнать кое-что о таких делах, которые могли иметь большое влияние на положение в городе мужа милой моему сердцу женщины.

Проучить глупца и врага России и остаться правым! Узнать секрет и тотчас же воспользоваться им с немедлен-

ным успехом для себя и для консульских дел — разве это не весело? разве не надо ценить такие ясные дни?

Я их ценил и веселился!

## XIV

Случилось все это вот как.

Дня через два, через три, может быть, после того «чреватого будущим» визита в «белый» дом, среди домов розовых и темно-красных, я увидел поутру, что на дворе туман и сырость, и мне это очень понравилось.

Я спросил себя: «куда бы мне пойти?» и решил, что лучше всего пойти к тому самому человеку, под начальством которого состоит ненавистный мне «в принципе» униат и ученый мужик Бояджиев, — к австрийскому консулу *Öстеррейхеру*.<sup>10</sup>

Да, его фамилия была такая странная — *Öстеррейхер*,\* хотя родом он был, напротив того, вовсе не из Австрии, а баварец, и только после целого ряда замечательных приключений поступил на службу Империи Габсбургов.

Öстеррейхера я любил. Он нравился не мне одному своею удивительною оригинальностью. Хороший, благонравный семьянин лет около сорока; худой, сухой, высокий, сильный, лицом безобразный, краснокожий; взором мрачный, в иные минуты даже страшный с виду, но в сущности веселый и общительный. Вспыльчивый нередко до исступления, до дерзости, он, горячась, имел привычку щипать себя ногтями со злости за лицо так сильно, что на лбу и щеках его оставались надолго небольшие пятна. Большею частию любезный и до изысканности вежливый, пока его не раздражали. Танцор, с большими шпорами, всегда в какой-то полувоенной форме, в каких-то чуть не курточках заливчатского покроя; серьезно начитанный, воинственный, и в политике и лично; драчун и добрый<sup>30</sup>

---

\* Австриец.

малый; атеист и покровитель римской пропаганды в ее действиях противу нас и Православия. Родом баварец (как я сказал), австриец по службе, по духу действий на Востоке, пруссак по общегерманским сочувствиям, смолоду он был революционером, социалистом; едва не был взят с оружием в руках прусскими войсками; бежал и спасся; служил, кажется, матросом на купеческом корабле, который привез его в Царьград; здесь он жил сначала письменным трудом, сумел обратить на себя внимание интернунция и поступил на австрийскую службу. Жена его, смиренная, беленькая, простоватая, полная, многодетная, всегда не по моде и без вкуса одетая — была ему кузина; он ее когда-то и где-то увлек, похитил, а теперь кричал на нее даже при нас грозно: «Schlechte Kuh!», когда она ему чем-нибудь надоедала, и танцевал с нею какую-то особенно лихую польку или *шоттиш* на консульских вечерах; бряцая шпорами, он нежно улыбался ей сначала, потом внезапно отталкивал ее от себя с грозным видом, чтоб она танцевала особо, и, подперев руки в боки, опять умильно улыбался и снова рыцарски бряцал, наскокивал на бедную женщину, которая танцевала бы, может быть, и гораздо лучше, если бы не была так напугана им. Как было не любить такого занимательного человека?

Я бывал у Öстеррейхера нередко прежде, и мы за кружкой пива иногда до поздней ночи беседовали с ним о всевозможных предметах, но любимым его разговором был разговор о развитии германской нации в отношениях политическом, экономическом, *эфическом*. Он кричал об этом по-французски, произнося *дэ* как *тэ*, а *j* и *g* как *ша*:  
30 — Вот, вот наше призвание на Востоке: распространять в среде здешнего славянства германскую культуру. Вот наше призвание, вот оно!

И потом начинал хохотать и, хватая меня за руку, восклицал:

— О! вы молчите, вы улыбаются... Знаю, знаю. Я знаю, что вы, представители этой бюрократической и самодержавной нации, вы нам самые опасные соперники...

Vous êtes des compétiteurs habiles et terribles, mais terribles... Schlechte Kuh! (кричал он вдруг грозно на мадам Öстеррейхер, которая после полуночи начинала обыкновенно дремать, слушая нас с работой в руках): — Ты спишь. Donnerwetter, вели подать нам еще пива!

И, проводив жену взглядом минутной ненависти, он обращался снова ко мне вежливо и спокойно, с улыбкой любезной тонкости на раскрасневшемся от пива больше обыкновенного худом и суровом лице:

— Но простите, если вам я скажу: вы делаете одну ошибку, да!<sup>10</sup>

— Какую? просветите нас.

— Эта *ортодоксия* ваша! И вы, и ваш Богатырев люди образованные; он человек, привыкший к высшему свету, вы человек с большою начитанностью. И вы встаете рано, ходите к *messe* в это Иерусалимское подворье. Ба! (он топал ногой)... Все эти здешние греки и болгары старшины, они ни в Бога, ни в дьявола не верят, так же, как и я. Богатырев читает сам Сен-Поля и Сен-Пьера в церкви. Donnerwetter!.. Поэтому и мы должны противодействовать вашей препотенции на той же почве. Эти польские попы в одежде восточного клира! это не плохая выдумка. А? *Qu'en dites-vous?*..<sup>20</sup>

— Желаю вам успеха! — говорил я смеясь...

— А! какая фраза!.. Амалия, где ты? Где пиво, чорт возьми!.. Пиво!.. Да, в настоящем вы здесь очень сильны, но будущее наше... Ха-ха! Вы не верите? Вы верите в призвание *de la Sainte Russie*. Ну что ж, история покажет, поборемся. Цивилизация за нас! *Le développement économique, éthique et ethnique est notre force, vous ne possédez que la force politique!* Амалия!.. Чорт возьми! Еще пива...<sup>30</sup>

Я очень любил его патриотическое хвастовство и, нимало не сомневаясь в благоприятном для России исходе борьбы за преобладание на Балканском полуострове, забавлялся только тем, что еще более возбуждал его высказываться, и потом, конечно, передавал все Богатыреву,

который тоже очень утешался его выходками и восклицал иногда: «бедный Öстеррейхер!» И действительно, в то время Австрия очень мало значила во Фракии; род службы Öстеррейхера был более наблюдательный, чем деятельный в самом деле. В деятельную и серьезную борьбу были вовлечены четыре консульства: французское, великобританское, греческое и наше. Может быть, и в самом деле этот умный, энергический чудаки выдумал выписать польских священников и одеть их по-православному в<sup>10</sup> черные рясы и камилавки, но осуществить все это, устроить и поддержать денежную помощью мог только французский консул, а никак не австрийский, бедный даже и материальными средствами. Поэтому-то вся лихость Öстеррейхера казалась нам больше занимательною, чем опасною, и в самой его манере говорить и хвастаться было что-то добродушное и забавное, которое нас не только не оскорбляло, но заставляло даже искать его общества.

Во время продолжительного и убийственного уныния, в каком я находился, я перестал к нему ходить. Я исполнял<sup>20</sup> тогда лишь мои служебные обязанности, но беседа мне в то время нужна была иная, мне нужны были тогда стоны сердца, томления неудовлетворенного романтизма. Только такой человек, с которым бы я мог вместе томиться, изливая всю душу мою, который мог бы оживить меня, и, понимая мою тоску, заставить меня ее забыть!.. Но этого я не встречал даже и в московском нашем Богатыреве. Мы с ним никогда не заходили далеко в откровенности, и приязнь наша была только внешнею приязнью удачно ужившихся сослуживцев. Какая же была возможность сказать<sup>30</sup> австрийскому консулу (в особенности такому, каков был Öстеррейхер), что я тоскую оттого, что мне не в кого влюбиться и не с кем тосковать? Он бы топнул ногой и закричал: «А! ба!.. Старый романтизм, от которого давно пора отказаться!..» Или прибавил бы, может быть, в добрую минуту:

— Vous êtes encore *cheune*, mon cher. La *cheunesse* est un *téfaut* dont on se *corriche* chaque *chour*!..

Или, наконец, подумал бы или сказал бы мне с восторгом:

— *C'est que romantisme chermanique!* Это доказывает, как я прав, утверждая, что мы, южные немцы, должны надеяться на полное торжество германского духа в этой податливой славянской среде, на распространение и в здешних странах *des principes politiques, économiques, éthiques et ethniques, pour ainsi dire, du chénie chermanique...* Амалия, вели дать еще пива!

И к тому же, какая возможность говорить об идеальных чувствах сердца, о том, что меня терзает «жар души, истраченный в пустыне», человеку, который при мне кричит на жену свою: «*Schlechte Kuh!*»

Вот почему я так долго не был у Öстеррейхера. Теперь, когда все силы души моей были возбуждены и утроены, я захотел и с ним повидаться и опять слышать его крик и топот вперемежку с разумною, тихою и вежливою речью.

Задумал и пошел...

## XV

20

Я застал Öстеррейхера на этот раз не за пивом и не в обществе дремлющей Амалии, а в обществе Бояджиева и за бутылкой местного красного вина.

Öстеррейхер, казалось, очень мне обрадовался и начал расспрашивать меня: почему я так долго у него не был? чем я теперь занимаюсь в часы досуга? и т. п.

Я нарочно (несмотря на присутствие «интеллигентного» идола в феске и показывая вид, что «игнорирую» его), с целью слышать какой-нибудь оригинальный и резкий возглас, сказал австрийцу, если не всю правду, то почти.

— Все унывал, все скучал, — отвечал я, — а в часы досуга читал «Чайльд-Гарольда»...

— А! прежде я угадал! *parbleu!* — воскликнул Öстеррейхер, — Шайльд-Гарольд!.. Все старина!.. все поэзия! Ха-ха-ха!..

Но потом он на минуту призадумался и, отпив немного вина, сказал:

— Без сомнения, поэзия есть великая вещь. Но в наше время она должна служить иным интересам. Времена Байрона прошли и не вернутся. Вы имеете понятие о Кинкеле?

— О Кинкеле? Кто такое Кинкель? Ни малейшего понятия, — отвечал я с удивлением.

10 **Öстеррейхер** с негодованием затопал ногами и, воздев руки к небу, яростно вскрикнул:

— Кинкель! Кинкель! Не знать Кинкеля!.. Кинкель, это был один из самых замечательных деятелей германской революции 48 года! Он был заключен в тюрьму и посажен за ткацкий станок.

С этими словами австрийский консул вскочил и, бряцая шпорами, кинулся к дверям столовой.

— Амалия! Амалия! — закричал он пронзительно, — где мои перстни? Перстни! Пришли мне перстни мои, белый эмалевый с яхонтом и другой маленький... Амалия,

20 где ты?..

— Я слышу, слышу, сейчас, — отвечал голос Амалии.

— И еще пришли мне ту маленькую книжку, желтую, где Кинкелевы песни... Слышишь ты или нет?..

— Сейчас, сейчас.

Бояджиев все это время молчал и с достоинством курил и пил понемногу вино.

Турок-кавасс скоро прибежал и принес перстни и книжку, в которой воспевались страдания Кинкеля за ткацким станком.

30 **Öстеррейхер** радостно схватил книжку, надел перстни и начал читать мне стихи с большим чувством.

Я не помню ни одного слова, ни одной мысли из этого чтения. Едва ли я и тогда внимательно слушал. Я был до того равнодушен к несчастной судьбе «великого» Кинкеля, что, вероятно, все, что и слышал, невольно тотчас же забыл. И даже теперь я пишу наобум и не совсем уверен, твердо ли я запомнил имя этого героя социальной револю-



ции. Кинкель он был или иначе звался, признаюсь, не знаю и не интересуюсь знать. Почитатель «мученика революции» занимал меня несравненно больше, чем сам мученик; а мое отвращение к безмолвному Бояджиеву все росло и становилось мало-помалу гораздо живее, чем все остальные чувства.

(Мне показалось, что он позволил себе насмешливо улыбнуться, когда я заговорил о Байроне!)

Остеррейхер прочел еще два-три стихотворения и, оставившись, спросил меня:

— Как вы это находите?

— Извините, я нахожу это очень скучным... Ваш Кинкель и все подобные ему люди не внушают мне ни малейшей симпатии. Я очень рад, что его засадили. Я не понимаю, что именно подобные люди чувствуют, и удивляюсь, как могут такие утилитарные мечтатели вдохновить истинного поэта!.. Вот несчастная судьба вашего же Бенедика меня трогает. Я люблю ваших молодцов в белых мундирах, и хотя вы нам соперники в политике, как вы сами говорили мне не раз, но какое-то живое чувство заставляет меня всегда жалеть, когда их побеждают или убивают. Еще прусский юнкертум может мне внушать то же сочувствие; все эти Штейнмецы и Мантейфели напоминают мне мое детство и русских генералов хорошего старого стиля... Слышится что-то содержательное, крепкое, глубокое, не до дна еще исчерпанное, но я ведь не понимаю штатских, бунтующих с утилитарною целью.

Остеррейхер слушал с большим вниманием; он был, видимо, тронут и, покачав головой, ответил задумчиво и кротко:

— *Ché vous comprends! Ché vous comprends...* (Я вас понимаю, я вас понимаю!) Это в своем роде ясно и последовательно...

Бояджиев в эту минуту разверз уста:

— Сочувствие милитаризму и аристократии очень понятно в русских, которые так недавно принуждены были отказаться от рабства, — сказал он.

Я вспыхнул, но на первый раз ограничился только тем, что спросил его тихо:

— Вы так думаете?

— Да, — отвечал Бояджиев, — таково мое убеждение!

Остеррейхер насупил брови; он был недоволен этою выходкой своего переводчика и, слегка притопнув, сказал ему, впрочем, более уговаривающим, чем сердитым тоном:

<sup>10</sup> — Милитаризм, аристократизм! Надо эти понятия отличать... Англия, например, страна аристократии, но милитаризма в ней нет; Франция — напротив.

Но Бояджиев настаивал:

— Это так, г. консул, но я говорю о России. К ней применимы оба термина. Привилегированное дворянство и военный деспотизм Императора.

— Не совсем так, — возразил я уже с бóльшим раздражением. — Привилегий у дворянства уже нет, а тот деспотизм, который вам так не нравится, судя по вашему <sup>20</sup> тону, теперь, я нахожу, недостаточно строг ко всякой сволочи, воображающей себя вправе рассуждать оттого, что она, эта сволочь (*cette canaille*), кой-чему обучилась. И у нас в России развелось, к несчастью, много рассуждающей и пишущей дряни.

Бояджиев снисходительно улыбнулся и заметил совершенно спокойно:

— Я не думаю, чтобы в России очень много писали! Чтобы литература была развита, необходимы многочисленные читатели, а в России их не может быть много. Русские, это всем известно, почти так же необразованны, как <sup>30</sup> и наши болгары.

Эта последняя дерзость, высказанная решительно и твердо гадким славянином, никогда даже в России не бывавшим, до того поразила меня, что я внезапно впал, не знаю, как и выразить, во что — скорее всего, в тихое и в своем роде непоколебимое спокойствие отчаяния и, обратясь к Бояджиеву, сказал:

— Вот видите, г. Бояджиев, выслушайте меня внимательно, — это вам будет полезно. Когда рассуждает о России, даже и не зная ее хорошо, такой, например, человек, как г. Öстеррейхер, это еще не беда. С ним я могу спорить: он сын действительно великой германской цивилизации, которой и мы, русские, очень многим обязаны. Но вы? Ваши какие права? Вы даже не понимаете, что вежливо и что нет... Русскому, конечно, нет обиды в том, что вы ничего не понимаете — и вы можете без нас обнаруживать сколько угодно вашу плачевную образованность, <sup>10</sup> но пока я здесь, я прошу вас в разговор не мешаться и со мной не говорить вообще ничего и никогда. Слышали?

Бояджиев покраснел и не сказал на это ни слова. Я думал, что он по крайней мере уйдет, но он остался, продолжая молча пить и курить.

Öстеррейхер был несколько смущен. Он что-то чертил пальцами по столу и принужденно улыбался.

Вероятно, он был обуреваем разными противоположными чувствами: желанием заступиться за драгомана, который как униат был ему очень нужен по делам пропаганды; <sup>20</sup> восхищением по поводу того, что я признал так торжественно его собственные великие культурные права; досадой на то, что я так смело позволяю себе командовать у него в доме; сочувствием своему брату консульскому чиновнику, умеющему обрывать «этих банабаков». *Donnerwetter!*.. Это иногда необходимо для консульского *prestige* (*pour conserver le prestige des agents consulaires*). Чорт возьми! Поколебавшись с минуту, он, однако, поспешил переменить разговор.

— Так вы скучаете здесь, — сказал он мне с участием. <sup>30</sup>

— Я не говорю, что я скучаю всегда. Теперь мне опять весело; но было время уныния.

— Это от недостатка общества.

— На что мне это общество! — возразил я с досадой. — Вы ошибаетесь. Все зависит от нашего внутреннего чувства.

— Нет, нет, — настаивал Öстеррейхер, — это недостаток общества. Нет театров, нет балов, литературных чтений.

Я хотел еще раз протестовать, но Öстеррейхер возвысил голос, чтобы перекрыть меня, и продолжал:

— Да, теперь стало в Адрианополе скучнее, но года два тому назад было очень весело. Тут были и некоторые условия местной политики, которые благоприятствовали общественному оживлению. Генерал-губернатор был знаменитый Ахмед-Киритли. Вы знаете, это настоящий grand-seigneur. Он сам был не раз великим визирем и послом при европейских Дворах. Он был послом при коронации вашего Императора в Москве, имеет ленту Св. Анны, образован, умен, у него множество энергии и вместе с тем он скорее принадлежит к старотурецкой партии по убеждениям, чем к партии Мидхад-паши, который теперь в Рущуке. Перед приездом Богатырева все было в разладе, господствовал один Виллартон, потому что он пресмыкался (Öстеррейхер с пренебрежением пожал плечами и топнул ногой; он не любил английского вице-консула) перед Киритли-пашой. С предместником Богатырева, Шамшиным, Киритли был на ножах за переселение болгар в Россию; с французским консулом еще хуже, за то, что велел схватить по подозрению французского кавасса-албанца на улице, — по подозрению в укрывательстве одного из тех арнаутов-разбойников, которые на Филиппопольской дороге убили американского миссионера. А, Боже мой, что тут было! телеграммы к Тувенелю, телеграммы от Тувенеля сюда. Последняя от Тувенеля была такая: «Пошлите секретаря вашего сказать Ахмед-Киритли-паше, что его поступок недобросовестен и что он будет иметь дело со мной самим, если не освободит сейчас же кавасса!..» А! каково это было вынести Ахмед-Киритли?.. Конечно, все это поселяло холодность и раздражение, и местная власть всегда может найти тысячу случаев «класть палки в колеса» тем консулам, которые ей досадили. Мы были трое — Шамшин, французский консул Мульяр и я — почти всегда

заодно, но этот дьявол Виллартон помогал всячески паше парализовать наши усилия; когда же приехали почти в одно и то же время Богатырев и де-Шервиль, тогда все переменялось в общественной нашей жизни... Богатырев сумел расположить к себе пашу и сблизился с Виллартоном...

Тут Öстеррейхер приостановился и, чуть-чуть улыбнувшись, спросил:

— Вы видели мадам Виллартон?

— Да, я познакомился с нею всего дней за пять до ее отъезда в Вену.

— Это женщина довольно умная... довольно умная, да! — продолжал австриец. — Она больше дипломат, чем ее муж!.. Богатырев стал чаще и чаще бывать у них. Они у него. Начались вечера, балы, пикники, театры. Киритли-паша принимал во всем участие... Мы веселились тогда. Однажды в вашем консульстве, после ужина, когда паша уехал, мы даже затеяли драку... Тогда только что кончились шлезвиг-голштинские дела, и Виллартон любил дразнить меня, как немца, геройством датчан. Он предложил представить в лицах Шлезвиг-Голштинскую войну. Вообразите, он влез в зале у Богатырева на угловой диван, схватил подушку и кричал: «Я Дания, я Дания!.. Кто со мной против немцев?..» Де-Шервиль схватывает другую подушку и тоже прыгает на диван и кричит: «Я против немцев». Богатырев со мною; он изображал Пруссию... Мадам де-Шервиль испугалась и спряталась за молодого человека, за Джемса, вы знаете его. Она говорила потом, что никогда не видала, чтобы такие взрослые, серьезные мужчины дрались и кидались подушками... Это был штурм... *Parbleu!* настоящий штурм... Я повалил Виллартона, сам упал... Жаль, что вы не знаете мадам Виллартон, — это интересная женщина...

Я ждал еще новых занимательных подробностей, тем более, что Öстеррейхер выпил много вина, но нас прервали.

Вошел кавасс и почтительно остановился у дверей.

Öстеррейхер опять нахмурился.

— Чтò такое? чтò тебе нужно? — спросил он тихо и сурово.

— Один суддит \* пришел, наш суддит.

— Который?

— Азариан, армянин.

Öстеррейхер произнес вполголоса, сдерживая гнев свой, несколько самых непристойных турецких ругательных слов: «Кератá! пезевенг!» и потом прибавил громко и спокойно:  
10 но: — Зови!

Азариан вошел. Он был одет по-восточному, в феске, в длинной шубе на легком меху, с широкими рукавами, как у монашеской рясы, и в полосатом халате снизу, подпоясанном кушаком.

— Садись, — сказал ему консул по-турецки довольно скромно и кротко. (Вероятно, он вспомнил в эту минуту или об эфическом принципе германского гения, или об экономическом строе местной жизни, так как Азариан был богат и мог поэтому пригодиться.)

20 Азариан сел почтительно на край дивана и уже сидя раскланялся со всеми нами по-турецки.

Консул вежливо, и даже с маленькою улыбкой, ответил ему; но я чувствовал, что он волнуется, и, зная его, ожидал грозы.

Азариан глядел на всех нас и лукаво, и весело, и глупо, ожидая вопроса.

— Э, чтò нового? — спросил Öстеррейхер все еще вежливо.

— Гюзельлик! \*\* — равнодушно произнес армянин.

30 Долг восточных приличий требовал, чтоб он не начинал прямо с изложения своего дела, а вел бы сначала с госпо-

---

\* *Суддит* — *sujet*, так зовут турки иностранных подданных преимущественно местных уроженцев, снабженных иностранным паспортом, в отличие от подданных султана — *райя*.

\*\* Все прекрасно! «Красота, тишина». Все равно что у нас: «слава Богу!»

дином консулом приятные общие разговоры о здоровье, погоде, о взаимной дружбе и т. д.

Но это слово «гюзельлик» было искрой, воспламенившею австрийский порох. Öстеррейхер затопал, зазвенел шпорами, застучал кулаком по столу, закричал как бешеный:

— Гюзельлик! а! гюзельлик! мне нет времени твоими гюзельликами заниматься! Говори дело, начинай прямо с дела... что у тебя там?.. Гюзельлик! гюзельлик! — повторил он с ненавистью. 10

Азариан, вероятно, уже привычный к таким вспышкам, не особенно испугался, но, смиренно и спокойно склонив голову, даже улыбнулся и сказал:

— Ну хорошо, хорошо. Начнем с дела.

Öстеррейхер утих и слушал.

Дело было несложное: о недоплате денег другим армянином, турецким подданным, за проданного ему Азарианом буйвола, который у нового хозяина тотчас же издох.

Öстеррейхер велел Бояджиеву пойти с Азарианом в канцелярию и записать для памяти имя противника и сущность дела и прибавил ласково: 20

— Бояджиев, топ шег, вы займитесь там, а мы пока побеседуем с мсье Ладневым.

Оставшись со мною наедине, Öстеррейхер почти тотчас же заговорил об Антониади и Виллартоне.

## XVI

Как только Бояджиев исчез за дверями вместе с Азарианом, мне захотелось поскорее и вполне увериться, что Öстеррейхер не сердится на меня, и я сказал ему:

— Мне, право, очень жаль, что я был вынужден дать вашему драгоману такое строгое наставление. Я считаю себя правым, но мне неприятно, что это случилось у вас в доме и при вас. Впрочем, уверяю вас, что мое искреннее уважение к вам заставило меня придать всему этому более 30

мягкую форму. В другом месте я позволил бы себе большее.

Остеррейхер принужденно улыбнулся и отвечал:

— Да, он немножко груб и не знает, что можно сказать и чего нельзя.

Потом он дружески подлил мне еще вина и продолжал:

— Эти драгоманы — большое затруднение. Я в одном завидую вам, русским, что вам так давно служит такой несравненный человек, как Михалаки Канкелларио. Это сокровище. И с каким удовольствием отнял бы я его у вас!<sup>10</sup> Но я знаю, что это невозможно. Он не расстанется с русским консульством.

Остеррейхер был прав; положение нашего драгомана было совсем не похоже на положение других драгоманов в городе. Михаил Канкелларио, даже и не служа при русском консульстве, по состоянию своему, по чрезвычайно тонкому уму и по некоторой образованности своей имел бы видное место в городе. У него был в Кастро хороший дом (мне нравилось то, что он был ярко-синего цвета); была<sup>20</sup> прекрасная дача в подгородном селе Карагаче, с садом, беседками, обвитыми душистым жасмином, с небольшим фонтаном; были свои лошади; торговал он счастливо разным мелким и грубым товаром, стеклянной посудой, гвоздями, замками, железными печами, дешевыми коврами европейской подделки. Безвозмездная служба при русском консульстве в соединении с его независимыми средствами, при способностях и такте, удваивала его силу и значение в среде христиан Адрианополя. В консульских домах он был бы принят и не служа, как «архонт» или «примат», как<sup>30</sup> один из представителей местной плутократии. Консульские жены платили визиты его старой и болезненной жене, которая ходила в коротких платьях и повязывалась платочками. Михалаки бывал по торговым делам в Париже и в Вене, и практическое знание французского языка еще больше облегчало ему сношения запросто с консулами. Совсем иначе были поставлены в обществе драгоманов других консульств. Драгоман французского консульства был в то



время поляк Менжинский, энергический фанатик польско-го дела, галицийский эмигрант, бедный, бездомный скита-лец, враг русских до такой явной степени, до такой личной дерзости, что Богатырев вынужден был официально отка-заться ему от входа в консульство даже и по делам, встре-чаясь, не говорил и не кланялся с ним и мне приказывал поступать так же. Французские консула протестовали, вы-ставляя на вид официальное значение Менжинского, но тщетно. Богатырев не уступал. Бояджиева я уж описал; он тоже сам по себе, без австрийского драгоманата, мало бы значил в обществе. Бедный болгарин, народный учитель из дальнего и глухого города, перешедший из политических видов и корысти в униатство — что мог он значить в обществе, если бы не служил у *Österreichera*? При этом, как видно было всякому сразу, грубый, невежливый, на-пыщенный кой-каким знанием языков и воображаемою ученостью. Его консула принимали только по делам и в торжественные дни царских именин и королевских рожде-ний. Визитов ему не платили. Богатырев руку подавал ему, но всегда сурово и стараясь даже не глядеть на него. У *Виллартона* по мелким делам в Порте и в других консуль-ствах хлопотал скромный, небогатый, робкий, низенький, невзрачный и умом ограниченный грек *Сотираки*. Он имел небольшой домик в дальнем предместьи *Ильдири*; в об-щество консульское и высшее торговое сам втираться не старался, на него тоже мало обращали внимание, но скорее по какому-то забвению, чем по недоброжелательству. Я сказал, что он был человек скромный и почтительный; у *Виллартона* при почетных гостях он сидел на кончике *стула*, в углу, и очень скоро куда-то скрывался. Словом, <sup>30</sup> если применить приблизительно впечатление, которое про-изводили все эти четыре драгомана, к оттенкам нашей рус-ской провинциальной жизни, то выйдет так, что в прием-ной Богатырева, *Виллартона* и *де-Шервиля* (весьма благо-воспитанного человека) *Сотираки* производил впечатление скромного и дельного управляющего имением; Менжин-ский — отставного майора, бедного, но гордого и сердито-

го, с которым многие боятся сблизиться, чтоб он не прибил или не вызвал на дуэль; Бояджиев был похож на твердого и ничего (даже и вежливости) не признающего нигилиста, который, обедая случайно с дворянами, думает о том, как бы хорошо было их всех перевешать или зарыть живыми в землю, орошенную потом и слезами «меньшей братии». И только один наш Михалаки напоминал не совсем благообразного, вовсе не изящного, но все-таки равноправного с богатыми и светскими хозяевами дома соседа-землевладельца. Немного *mauvais genre*, немного подлец, очень скверно одет, но чрезвычайно умен, всякому очень нужен по положению своему и умеет держать себя в обществе независимо и почтительно.

Понятно поэтому, что австрийский консул был прав, сокрушаясь о том, что у него нет такого Михалаки (вдобавок около двадцати лет служащего бесплатно верой и правдой только из идеи и самолюбия).

— Да! — продолжал австрийский консул. — Бояджиев мне необходимый человек, и я очень им дорожу. Но мне бы хотелось иметь еще другого, собственно почетного драгомана «*ad honores*», для представительства в Порте и для общественных сношений. Бояджиев — райя, это его иногда стесняет, и кроме того, *ce n'est pas un homme du monde!* Я обратил недавно внимание на одного человека. Но Виллартон предлагает ему то же самое. Я вчера узнал это из самого верного источника. Вы угадываете?

Öстеррейхер сделал плутовское лицо. Я догадался, смутился до чрезвычайности, сам не знаю почему, и поспешил ответить, как бы недоумевая:

— Нет, право, не могу догадаться!.. Не могу!

— Ба! это так легко! Конечно, я говорю об этом хиосском купце, об Антониади. Он человек богатый и представительный; я доверяю вам эти планы по личной приязни, и еще потому, что он, кажется, вам давно знаком. Жена его русская. Быть может, вы поддержите меня и даже возьмете на себя труд узнать мысли Антониади. На чью сторону он склоняется, на сторону Виллартона или на

мою? Берегитесь, Виллартон большой интриган. Вам Антониади не нужен, у вас есть Михалаки.

Что мне было ответить на такую речь? Я ответил так:

— Я очень рад вам сделать услугу, но вы знаете, что я не могу себе позволить никакого подобного шага без разрешения г. Богатырева. Хотя я уверен, конечно, что и он не меньше моего будет рад быть вам полезным. Он очень любит и уважает вас.

— О! Богатырев прекрасный коллега! — с восторгом воскликнул Остеррейхер. — Это истинный джентльмен! Я <sup>10</sup> всегда говорю, что именно для дипломатии необходимо сохранить аристократический оттенок воспитания. Есть нечто неуловимое у людей такого типа! Однако согласитесь, что этот элемент рыцарской власти, известный оттенок привычной препотенции внесен первоначально в европейскую жизнь все тем же германским завоевательным и устроющим гением (*touchours par se chénie chermanique conquégrant et organisateur*)! Однако оставим это и обратимся к Антониади. Если можно будет вам взять на себя это <sup>20</sup> дело, прошу вас внушить Антониади, что я для каких-нибудь коммерческих тяжб отрывать его от личных дел не буду. Цель моя, повторяю, только одно представительство в Порте и в консульствах. Бояджиев не умеет держать себя ни в конаке, ни в обществе консулов.

— Все это так, — отвечал я, — но услуга за услугу. Вы говорите, что узнали именно о таких видах Виллартона на Антониади из самого верного источника. Мне приятно было бы знать — от кого? Доверьтесь мне.

Австрийский консул засмеялся.

— От самого Виллартона, конечно. Вы знаете, когда <sup>30</sup> он поставит пред собой маленький турецкий столик, начнет подливать воду в *раки*, вы знаете, после этого он... говорит...

— Да, это бывает с ним, — сказал я, радуясь такому положительному сведению.

Я обещал австрийскому консулу мое содействие в пределах возможности; он горячо поблагодарил меня, и я со-

брался идти. — Я спешил к Богатыреву, чтоб отдать ему во всем этом отчет и вместе с тем чтобы поскорее узнать, что придумал Михалаки сделать с нашей стороны, все для той же цели — для привлечения «хиосского купца».

Öстеррейхер проводил меня до самого крыльца со множеством лестных дружеских слов и добрых пожеланий, а в заключение всего сказал:

— Нет, послушайте меня, оставьте ваше уныние. *Vous êtes cheune, ropuste, choli garçon. Choisissez!* Заходите по-<sup>10</sup>прежнему вечером, мы опять займемся за кружкой пива вопросами высшей цивилизации. Помните, как мы с вами хорошо спорили чуть не до рассвета, а жена моя дремала и меня это бесило?

Все это Öстеррейхер сказал так весело и мило, как будто он находил, что так и надо, что кричать при мне на Амалию «*Schechte Kuh!*» есть одно из необходимых и наилучших проявлений культурной германской эфики.

Распростившись с ним, я немедленно пошел к Богатыреву и застал его с Михалаки за завтраком. Они оба очень<sup>20</sup> мне обрадовались, и Богатырев воскликнул:

— Вот, вот, посоветуйте! разрешите один очень трудный вопрос! Иван, подай поскорее прибор.

Я сел и приготовился отвечать на этот трудный вопрос.

## XVII

Важный вопрос был вот в чем: Богатырев хотел дать обед по случаю учреждения вилайета во Фракии и в честь приезда обоих новых пашей, Вали-Хамида и Каймакамапаша-Арифа. Надо было все решить и кончить скорее, чтобы кто-нибудь из других консулов не предупредил нас.

<sup>30</sup> Богатырев так увлекся этою затеей, что, не кончив еще завтрака, спросил лист бумаги и тут же стал карандашом чертить нечто вроде плана обеденного стола, чтоб яснее было, где кого рассадить по чинам и по правам дипломатического старшинства.

Он начертил длинный четырехугольник; на одном конце написал: Вали-паша, на другом: le Cons<ul> de Russie. Потом стал ставить крестики и начальные буквы: le C. d. F. (французский консул), M. L. (господин Ладнев) и т. д. Число персон выходило нечетное, девять человек, считая с Михалаки Канкелларио... Между мною и Каймакам-пашой некого было посадить... Выходило с одной стороны стола пусто и некрасиво.

Богатырев был очень этим недоволен...

— Посоветуйте, как же быть? — сказал он мне. 10

— Пригласите нового австрийского драгомана и посадите его vis-à-vis с monsieur Михалаки, — отвечал я с улыбкой.

Михалаки вспыхнул, и глаза его засверкали.

— Как? — воскликнул он, — Бояджиева? униата! Этого босоногого негодяя!.. В таком случае я прошу г. Богатырева лишить меня чести обедать в таком высоком обществе... Мне легче отказаться.

В негодовании Михалаки готов был, кажется, и сейчас даже выйти из-за стола. Его обычная сдержанность и почтительность пред нами, представителями русской власти, которую он почти страстно любил, не могли устоять против такого оскорбления... Одного «плутократического» чувства его было бы достаточно, чтобы возмутиться таким предложением. «Этот босоногий негодяй» станет на одну с ним доску! 20

— Пойдите, monsieur Ладнев, верно, шутит, — сказал Богатырев. — Сам Хамид-паша оскорбился бы, если б учителя и райя Бояджиева посадили с ним за один стол... 30

— Я не Бояджиева имел в виду, а другого почетного драгомана, Антониади, — отвечал я и поспешил успокоить Михалаки, рассказав обо всем том, что случилось сегодня в австрийском консульстве.

Слушатели мои были очень довольны. Михалаки негодовал на Бояджиева и с любовью глядел на меня, когда я рассказывал о том, как я проучил грубого униата.

— *Quel animal, quel animal!* — повторял он, качая головой. — Отзывать так о великой России, о святой России!.. *Кюпек-оглы* (собачий сын)! — прибавил он еще по-турецки.

Богатырев тоже одобрил мое поведение.

— Это вы отлично сделали, что этому болвану нотацию прочли, — сказал он. — И счастливо сошло вам это с рук! *Остеррейхер* верно к вам за вашу «философию» очень благоволит, а то бы другому он показал дверь или<sup>10</sup> бы еще что-нибудь хуже... Ну, а что ж мы будем делать теперь с *Антониади*? Как вы скажете, господа? Где нам выгоднее его видеть — в английском консульстве или в австрийском?

— Он не пойдет служить в австрийское консульство, — сказал *Михалаки*.

— Отчего?

— Греки вообще австрийцам служить не любят. Есть какой-то на это инстинкт! — заметил *адрианопольский* политик. — Это очень глубоко. Я не могу даже объяснить<sup>20</sup> это, — прибавил он скромно, как бы кокетничая и желая вызова на дальнейшие рассуждения.

— Нет! — сказал весело *Богатырев*. — Пожалуста, объясните... Для нас сделайте это, *monsieur Михалаки*. Вот вам для подкрепления еще немножко.

И он налил ему еще вина.

*Михалаки*, приняв тогда снова тот твердый и вместе с тем ядовито-проницательный вид, который был ему обыкновенно свойствен, пристально глядя то на консула, то на меня, начал так:

<sup>30</sup> — *Il y a quelque chose!*.. В интересах и преданиях греков есть нечто такое, что больше их располагает служить России и Англии, чем католическим *Державам*. Относительно Англии и Австрии я скажу, что тут, быть может, сохраняется чувство еще со времен *Меттерниха* и *Каннинга*. Но, кроме того, вообще следует заметить, что славяне гораздо легче, чем греки, располагаются искренно к *Державам* католическим, и это очень естественно: у гре-

ков нет ни в Австрии, ни в Польше миллионов католических братьев. Греки *одни* на свете; их четыре миллиона с небольшим, и вся сила их в православных преданиях, а не в племени. Россия и греки — вот столпы Православия. А славяне могут измениться. Интересы и России, и греков требуют прежде всего, чтобы Православие было крепко, а у славян могут быть и другие наклонности.

— Так что же Англия? — спросил я, хотя и сам почти предугадывал ответ Михалаки.

— Англия, — сказал он, — может вредить грекам <sup>10</sup> только поверхностно. Она может что-нибудь отнять, присоединить; но она не может развратить ни греков, ни славян так, как могут развратить их католические Державы. *Религия* при англичанах, так же как и при турках, не в опасности. Вы знаете, что греки Ионических островов религиознее, чем греки свободной Эллады.

— Поэтому — Антониади?.. — подсказал Богатырев.

— ...не пойдет в драгоманы к австрийскому консулу, а к Виллартону, может быть, согласится. <sup>20</sup>

— Но я вас спрашиваю, что выгоднее нам, нам? — еще раз спросил Богатырев.

Михалаки помолчал с минуту и потом сказал:

— Вы знаете, турки говорят *делі-базар, бок-базар!* \* Пусть Антониади служит у Виллартона; нам будет лучше.

Богатырев засмеялся от удовольствия.

— Вы думаете, — спросил он, — что так как Виллартон *делі* и слишком обнаруживает свою игру, то Антониади будет все знать и будет передавать нам?

— Зачем *нам!* — скромно съезжившись, возразил <sup>30</sup> Михалаки. — Это слишком прямо, и Антониади, кажется, не такой человек. Ему это покажется низким... что-то вроде шпиона. Но я найду другие пути. Есть косвенные сношения, есть разные пути!

---

\* *Делі* — безумный; *бок* — навоз, грязь или еще хуже.

При этом Михалаки делал такие убедительные и извилистые жесты руками, что было ясно, — он знает эти пути.

— Однако, — заметил Богатырев, — прежде всего не надо забывать, что Антониади желает пользоваться русскою протекцией. Он ведь сам заявил мне. Хорошо ли это будет, если мы его предоставим Виллартону вполне?

— Зачем вполне! Для Антониади выгодно иметь защиту и протекцию в турецких судах с разных сторон.  
<sup>10</sup> В иных случаях ему пригодятся привилегии, которые ему даст английский драгоманат, а в других — наша помощь.

— Если б у него была здесь собственность, — прервал Богатырев, — то ведь жена его русская подданная, и он мог бы все записать каким-нибудь образом на ее имя... да и это очень сложно. Но ведь у него все дела будут в коммерческом суде, и какой способ придумать, чтобы в случае нужды нам защищать его интересы — я и не знаю...

<sup>20</sup> Михалаки опять принял смиренный вид. Хитрое лицо его выражало в эту минуту спокойную, почти до равнодушия доходящую уверенность подчиненного в том, что начальник (и еще какой начальник... Богатырев!) знает и понимает все лучше его.

Богатырев прибег к своему моноклю и, рассмотрев хорошо это выражение лукавого грека, засмеялся.

— Ne faites donc pas l'innocent, mon cher monsieur Mikhalaki!.. Мы ждем всего от вашей изобретательности. Вы сами давно догадались.

<sup>30</sup> — Чтò сделать? я не знаю, — отвечал Михалаки задумчиво. — Я желал, чтоб он и у нас служил, и у Виллартона. Мне так больше нравится. Я целый день вчера об этом думал. Нельзя ли сделать Антониади одним из членов тиджарета от русского консульства. Наш банкир Москов-Самуил все стареет и мало приносит пользы. Только мне жаль старика обидеть. Хотя и жид, но он такой добрый и невинный!



— О! это ничего! — воскликнул с радостью Богатырев. — Мы найдем, чем утешить Самуила. Можно его будет сделать вторым после вас почетным драгоманом и брать иногда с собой в Порту для виду. Это доставит ему прекрасный случай надеть свою рысью шубку, повязать феску хорошим шолковым платком, сидеть пред генерал-губернатором и разговаривать с ним! Он будет счастлив этим... Вы начните с этого поскорей, monsieur Михалаки, предложите ему быть вашим помощником. А насчет Антониади мы тоже постараемся. Отлично! — И, обратясь ко мне, консул еще раз спросил: — Владимир Александрович, не правда ли, отлично?<sup>10</sup>

— Очень хорошо, — сказал я.

— А не позволите ли вы мне, — спросил Михалаки вкрадчиво, — подать бедному Самуилу надежду на золотую медаль на ленте Св. Анны? Так, от себя, только надежду. Он так долго и усердно служил консульству банкиром и членом тиджарета.\* Это расположит к нам всю здешнюю еврейскую общину, евреи скажут: «Вот служи англичанам; что за корысть! У них и орденов вовсе нет. То ли дело Россия!»<sup>20</sup>

— Очень рад! очень рад! — воскликнул Богатырев. — Подайте ему эту надежду не только от себя, но и прямо от меня. Я выхлопочу ему это непременно. Итак, дело решено, по крайней мере в принципе... А об обеде мы и забыли. Я тороплюсь, боюсь, чтобы Виллартон... Кого же нам посадить, я все-таки не знаю. Если бы к тому дню даже и был назначен Антониади английским драгоманом, то я не вижу никакого основания делать Виллартону такую особую честь: приглашать только его драгомана. Какие<sup>30</sup> основания? И что за прецедент для будущего? Вы, monsieur Михалаки, другое дело, вы наши, вы почти принадлежите к хозяевам консульства; и к тому же я хочу, чтоб и

---

\* *Тиджарет* — коммерческий суд в Турции, в нем каждое консульство имело двух своих представителей для тяжёбных дел между турецкими подданными и иностранными.

сами паши видели, как мы вас ценим. Но чужой драгоман?.. Подумайте и об этом, прошу вас.

Михалаки уже стоял в эту минуту с фуражкой в руке; он спешил в Порту и должен был еще зайти к Самуилу. Слыша такие речи от гордого консула, он не совладал с собою и, покраснев от блаженства, как молодая девушка, слабым голосом прошептал: «Je vous remercie, monsieur le consul!» и поспешно ушел, приговаривая: «Поищу, поищу и для обеда кого посадить...»

<sup>10</sup> Богатырев, проводив его глазами, глухо и тихо сказал: «Рад-то как!» и потом, обратясь уже прямо ко мне, начал, весело и плутовски смеясь:

— Теперь я вас обрадую.

— Как?

— Да уж обрадую, — продолжал мой молодой начальник все так же лукаво и добродушно. — Уж все пушу в ход. Мне нужно, чтобы христиане здешние не воображали, что мы нуждаемся в содействии и дружбе английского консула. Идите-ка вы, батюшка, знаете куда? Идите к <sup>20</sup> Марье Спиридоновне. Да! к самой к Марье Спиридоновне... А! как вы обрадовались! Да, вы влюблены. Это ясно. Вы влюблены. Вы больше обрадовались, чем Михалаки моим комплиментам...

— Перестаньте, — сказал я, конфузясь невольно. — Прошу вас... ну рад, ну влюблен, что вам до этого!..

— Да ничего, ничего. Я сочувствую вам. Дело житейское. Так вы идите скорее. Сейчас. Муж небось в конторе теперь, считает деньги. А вы к ней. Начните по-здешнему издалика... «La pluralité des mondes»... например, «l'immensité de l'espace; l'amitié; l'amour avant tout, le devoir conjugal après...» А потом и поручите ей все узнать, чего муж хочет. Скажите прямо, что Остеррейхер просил вас действовать в его пользу, но что вы не знаете, как это, и зачем, и что с политической точки зрения консульству *все равно*, понимаете?.. Это главное — *все равно*... Вот оттенок. Поговорите от меня и от себя о тиджарете и о Виллартоне узнайте... Я не совсем в этом отношении с Михалаки согласен. Все было

бы лучше и проще, если б Антониади был подальше от Виллартона и зависел бы в делах только от нас.

И приостановившись, Богатырев прибавил опять шуточно:

— Ведь и для ваших будущих благ было бы лучше, если б Антониади зависел только от вас, в случае моего отъезда?

Этот новый оттенок шутки мне не понравился, и я ответил Богатыреву серьезно:

— Послушайте, мне ваши шутки вообще нравятся. Вы<sup>10</sup> не Blumenфельд, я знаю... У него самое простое слово дышит злостью, раздражением и обидой. Я понимаю, что у вас совсем другой оттенок. Но еще раз я вас прошу, умоляю даже, шутите надо мной сколько вам угодно, — над моим чувством, что я влюблен, что я страдаю, все, что вы хотите; но не придавайте, ради Бога, никакого грязного характера вашим речам об этой женщине... Какое она зло вам сделала? И если я хочу уважать ее, почему же вам не щадить моего чувства? К чему эта мысль о какой-то чиновничьей эксплуатации, о начальстве над мужем... Какая<sup>20</sup> гадкая мысль!

Богатырев сильно нахмурился и очень грубым голосом сказал:

— Вас не разберешь. Вы сами защитник женской свободы в любви. — Поклонник Жорж Санда. А тут обижаетесь за одно слово! Я буду вперед...

И, не кончив с досады фразы, он все с рассерженным лицом встал и пошел к дверям канцелярии.

Я взял шапку с окна и собрался идти, но консул, оставившись в дверях, оборотился ко мне и заметил холодно<sup>30</sup> и строго:

— Вы, впрочем, там не слишком распространяйтесь. Я хочу знать скорее о результате. И еще предупреждаю вас, что завтра курьер: у меня четыре большие донесения, и я сам не намерен сегодня переписывать. У вас работы будет на целый вечер, тем более, что вы скоро и красиво писать не можете.

— Потрудитесь прислать мне на дом. Все будет готово, — отвечал я так же сухо и холодно.

Мы расстались, и я, раздосадованный и смущенный, пошел к Антониади.

Погода становилась все хуже и хуже. Утренний туман, в котором была своя поэзия, рассеялся; теперь шел мелкий и частый дождик, напоминавший мне Петербург (я ненавидел все то, что мне напоминало эту язву России). Грубая адрианопольская мостовая была покрыта слоем липкой <sup>10</sup> грязи, по которой бродили худые и покрытые сыпью бесприютные собаки базара.

— Что за низость эти выходки (думал я в величайшей досаде). «Дела мужа будут в ваших руках!» Ведь если бы послу или министру нравилась какая-нибудь женщина, он не позволил бы себе так шутить. Отчего же бы я в этом случае не сделал различия между чувством министра и моего собственного слуги? Мне было бы стыдно. Или я лучше многих создан? Или я больше их понимаю?.. Но <sup>20</sup> чего тут не понять Богатыреву? Он не Михалаки какой-нибудь здешний. Это отвратительно! И эта детская какая-то месть чиновника: «переписывай же сегодня все донесения до поздней ночи за то, что ты от начальства не выносишь каких попало шуток». И неужели он и этого не стыдится?.. Не понимаю! не понимаю!

В таких неприятных размышлениях провел я всю дорогу от консульства до дверей белого дома в *Кастро*.

## XVIII

Стучал я долго железным кольцом в дверь и с ужасом думал: «И вдруг ее дома нет!» И в ту же минуту я вспомнил почти с отчаянием, что это именно свидание было бы <sup>30</sup> первым нашим свиданием с глазу на глаз. В первый раз мы были бы с ней одни, и не на улице, а в доме. Ни мужа, ни Богатырева, ни посольских товарищей, как было в Константинополе на завтраке.

Я был так осторожен, так терпелив (быть может, и вопреки моей природе), так берег ее репутацию (например, при встрече нашей на улице)! Теперь моя совесть оправдана даже поручением по службе. Все было бы так хорошо! А эту дверь не отпирают, и ее, быть может, нет дома!

Наконец послышались шаги, и эта дверь отворилась.

Предо мной предстала смуглая Елена, гречанка с острова Чериго, верная и давнишняя горничная Маши.

— Пожалуйста, пожалуйста, — приветливо сказала она. <sup>10</sup>

Она как будто рада была меня видеть.

Печаль моя тотчас же облегчилась, и я пошел наверх.

Елена шла за мной и говорила мне:

— Вы нас извините, что мы опоздали отворить вам дверь. — У нас все вверх дном.

— Отчего?

— Маленькая наша Акриві вчера приехала с учительницей своей из Константинополя. Привезли много вещей... Мы все теперь приводим в порядок, и госпожа Мария наша не хотела никого принимать, но когда увидела вас из окна, сказала: «Беги, беги, Елена, скажи, что прошу его. <sup>20</sup> Как я рада, что он пришел». Очень она любит русских!

Так говорила добрая Елена, не зная, до чего ее слова для меня радостны. В зале я увидел и ее, и дочь, и гувернантку, ту самую *белую с красным Кизляр-Агаси* Игнатович, которую я встретил на завтраке у Т. полтора года тому назад. Акриви выросла; Кизляр-Агаси была все та же.

В зале, правда, был в эту минуту большой беспорядок. На полу было много сена, валялись доски от больших <sup>30</sup> ящиков; столы были загромождены посудой, и стояло много попарно связанных вниз и вверх ногами стульев, тщательно обернутых бумагой.

Маша радостно встретила меня, крепко пожала мне руку и сказала:

— Ах, как я рада вас видеть! как вы давно у нас не были, что с вами?

Я не знал, что ответить на это (она должна же была понимать, что я не был давно именно потому, что слишком сильно желал быть ежеминутно с нею!)

— Акриви! — продолжала Маша, — ты помнишь monsieur Ладнева? Здоровайся же с ним скорее!

— Нет! не помню, — отвечала девочка с недоумением, приседая.

С г-жой Игнатович мы поздоровались, как старые знакомые, и вот как меняется человек! Эта сентиментальная, <sup>10</sup> неприятно увядающая женщина с красными губами и красными веками, которая в Царьграде тогда показалась мне ужасною, здесь произвела на меня совсем другое впечатление; то есть не она сама, не лицо ее, не вся ее особа, а только присутствие ее здесь показалось мне благоприятным. По какому-то тайному, сердечному инстинкту, по какому-то невыразимому сразу физиологическому соображению я предугадал в ней будущую усердную мне потворщицу и дружески пожал ей руку, говоря:

— Вот неожиданная и приятная встреча!

<sup>20</sup> Легкий румянец удовольствия покрыл щеки г-жи Игнатович, и жалкое лицо ее выразило такое смущение, что сердце мое сжалось внезапно от сострадания. Если встретить ее я не ожидал, то еще менее ожидал чувствовать все то, что я почувствовал в эту минуту. Не прав ли я был, говоря, что драма жизни нашей со всеми ее тайными и тонкими ощущениями полна мистической неразгаданности!

Питать такое отвращение, и вдруг!

Маша велела продолжать Елене уборку вещей в зале; увела меня в другую небольшую приемную свою, которую <sup>30</sup> я еще не видал, и, извинившись, оставила меня одного.

Я сел и любовался. Гостиная эта была только что заново отделана и украшена с удивительным вкусом. Резной деревянный потолок, стены и дулапы \* в стенах были выкрашены светло-оливковою краской во всех углублениях, а выпуклые узоры, карнизы и бордюры — бледно-красным

---

\* Углубления в стенах, с дверцами, наподобие шкапов.

цветом. Гостиная эта вроде киоска освещалась с улицы тесным рядом окон, почти без простенков, и под этими окнами во всю длину шел один простой и широкий турецкий диван. Он был обит тонким сукном темно-красного цвета, а все кантики на его швах, на длинном ряде подушек, какие-то полукруглые уголки на этих подушках и тяжелая бахрома внизу, все это было ярко-палевого цвета, — странное сочетание, которое, однако, очень любимо турками и к которому скоро привыкает русский глаз, тоскующий по столь родственной ему пестроте. Скатерть на круглом столе посреди комнаты была черная бархатная, по заказу в Царьграде расшитая великолепными разноцветными турецкими надписями и вензелями, ковер на полу был смирнский, темно-зеленый, с густым ворсом; там и сям стояло несколько покойных кресел европейского фасона, обитых также сукном, только не красным, как диван, а каким-то почти оливковым, подходящим под цвет стен и потолка. Чугунная американская фигурная печь топилась направо. Налево, у другой стены, на белом мраморе узкого стола стояли две большие вазы... японские или китайские, не знаю и названия этого фарфора не помню, только он весь нарочно делается как бы мелко истресканным. Но чуть ли не лучшим украшением этой странной и прекрасной комнаты были четыре стула, из числа тех, которые я обвязанными видел в зале. Дерево на них все было заново позолочено, а подушки, как на сиденье, так и овальные на спинках были вышитые по канве; на фоне белого шолка были изображены пастушеские сцены, деревья, зелень, овечки. Пастушка прядет, пастух-юноша берет ее за подбородок; пастух играет на свирели один, пастушка ласкает собаку. Этот белый шолк и золото! Прелестно.

Видно было, впрочем, что эту комнату только что обновили; в ней было все так свежо, изящно, но еще пусто, с ней еще не сжился никто: не было ни книги на столе, ни женской работы, ни забытой детской игрушки. «Но это придет само собою!» — думал я и, осматриваясь кругом, продолжал восхищаться.

Когда мадам Антониади вернулась с работой в руках и села, я выразил ей свой восторг.

— И эти стулья, шолком шитые! это так кстати! — сказал я, — овечки, пастушки рококо посреди всей этой турецкой пестроты. Точно какой-нибудь великий визирь прошлого века купил их как редкость для своего гарема или даже привез их как добычу из какого-нибудь австрийского ограбленного замка!

— Эти стулья мое создание; я сама вышивала их, — сказала Маша.

— Нет! — продолжал я, — визирь прошлого века не сумел бы так убрать свой гарем! Для этого нужно именно то, о чем я так напрасно мечтаю для нас, русских — смелое соединение восточных вкусов с европейскою тонкостью понимания!

И я опять то любовался на милые эклоги золотых стульев, то рассматривал скатерть, то удивлялся удачному в смелости своей сочетанию красок в этом убранстве, то хвалил резьбу потолка.

<sup>20</sup> Мадам Антониади, улыбаясь, следила за моими движениями и, наконец, сказала:

— Я все время думала об вас, когда убирала. Мне хотелось угодить вам. Кажется, удалось?

— Я не могу на это отвечать, — сказал я даже с досадой. — Чтò тут слово! Впрочем, оставим это. Я должен вам сказать, что я пришел к вам с поручением.

— От кого это? — с любопытством спросила она.

— От двоих консулов.

<sup>30</sup> Любопытство ее возрастало; она оставила работу и с живостью переспросила:

— Ко мне — от консулов? От каких? От каких? Чтò такое?

Но нас прервали. Дверь из залы тихонько отворилась, и вошла Акриви. Она была одета так, как одеваются турецкие девочки, только лучше их. На черных и смолистых (как у отца) волосах ее, остриженных в кружок, был небольшой белый газовый платочек, обшитый мелкою и пес-



трою бахромой; платочек был пришпилен с одного боку двумя бриллиантовыми звездами на витой проволоке, и звезды эти дрожали и блистали при каждом движении маленькой Акриви. Одежда на ней была вся из палевого яркого шолка, с какими-то небольшими черно-лиловыми и белыми фигурками. Верхний кафтанчик был перехвачен поясом с серебряными круглыми пряжками, а шальвары очень пышны и широки, до земли, но сшиты так, что они несколько не мешали ей ступать и даже бегать, если б она захотела. В руках Акриви держала небольшой серебряный поднос с двумя прекрасными *зърфиками* черного фарфора. 10

В ту минуту, когда дверь отворилась, показалась в ней Елена. Она отворяла эту дверь и, пропуская вперед барышню с подносом, сказала громко и весело:

— Иди, иди, *туркуда* наша. Иди, милая, весели русского нашего *челибея*.\*

Акриви шла ко мне с кофеем не спеша. Ее бледное, восковое личико было серьезно, и черные, тихие, покойные глаза удивительно напоминали отцовские. 20

Принимая из рук ее кофе, я сказал вполголоса, как бы не обращаясь ни к кому:

— Чтò ж это такое?.. Это можно с ума сойти!

Девочка взглянула на меня с удивлением и вдруг спросила все с тем же серьезным и почти печальным лицом:

— Отчего?

Мать громко засмеялась; а я, взяв за руку Акриви, притянул ее к себе и сказал:

— Оттого, что ты так мила в этой одежде, что мне хочется расцеловать тебя. 30

Акриви немного попятилась и, пожав плечами, сделала небольшую гримасу и опять так же кратко и резко воскликнула по-французски:

— Pourquoi m'embrasser?..

А потом, обратясь к матери, спросила по-гречески:

---

\* *Челибей* — господин.

— Поцеловать его или нет?

Мадам Антониади очень забавлялась этими выходками дочери и велела ей меня поцеловать. Тогда Акриви обнял меня прямо рукой за шею и поцеловала крепко и радушно прямо в губы.

Я был очень тронут этим простым движением серьезного и задумчивого ребенка.

После этого Акриви спросила у матери:

— Что мне, сесть теперь или стоять с подносом, пока <sup>10</sup> monsieur будет пить кофе?

— Сядь, сядь, — сказала ей мать. — Теперь мне не до тебя, подожди... Какой же консул дал вам ко мне поручения? *Ко мне!* как это странно.

— Во-первых, *Öстеррейхер*. Он очень желает, чтобы ваш муж служил у него почетным драгоманом, и вместе с тем боится, что Виллартон пересилит. Виллартон сам признался *Öстеррейхеру* в своих видах на вашего мужа... И *Öстеррейхер* просил меня выведать как-нибудь, которое из двух консульств он предпочитает.

<sup>20</sup> — Вот как! — сказала мадам Антониади, — мой муж здесь, я вижу, словно хорошенькая женщина: его разрывают на части!

— Это понятно, — заметил я, — ваш муж богатый негоциант, образованный, дельный, основательный. Соединение таких качеств редкость в Адрианополе, и я понимаю консулов; они хотят украсить, так сказать, вашим мужем свои консульства.

Мадам Антониади задумалась над своею работой. Она долго молчала и потом, пожав плечами, сказала довольно <sup>30</sup> сухо:

— Чтò же я тут? Это воля monsieur Антониади. Вы бы обратились к нему.

— Я не мог наверное знать, что он теперь в конторе (солгал я); разумеется, если б он был дома, я бы обратился к нему самому. А теперь я вынужден спешить, потому что я не говорил еще о третьем сопернике, который тоже имеет претензии завладеть сердцем monsieur Антониади.

— Это еще кто? Неужели monsieur де-Шервиль? У него этот страшный Менжинский. Разве он с ним расстанется?

— Нет, не де-Шервиль, а наш Богатырев!

— Богатырев!? — с удивлением спросила Маша и даже покраснела отчего-то (я думаю, от тщеславной радости, что за ее мужем так ухаживают).

— А что вы делаете с вашим знаменитым Канкелларио?

— Ничего мы с ним нового не делаем. Все то же. Богатырев нуждается в хорошем представителе для тиджарета: вот что хочет он предложить вашему мужу, так как он сам желал пользоваться русской протекцией.

— Да, вот что! — воскликнула m-me Антониади и опять задумалась, продолжая прилежно вышивать свой вензель на батистовом платке.

Акриви во все это время, пока мы разговаривали, сидела смиренно и ждала, чтоб я допил кофе.

Я кончил; Акриви привстала, поднялась на цыпочки, поглядела издали в мою чашку и сказала матери:

— Monsieur Ладнев кончил свой кофе. Могу ли я уйти теперь?

— Иди.

— Я разденусь, — прибавила Акриви, — я должна еще помогать Елене разбирать вещи. Я боюсь испортить платье.

— Хорошо, хорошо, иди, — сказала мать с нетерпением. Видимо, ей хотелось что-то наедине мне сказать.

Когда мы остались одни, m-me Антониади начала так, пожимая плечами и не без смущения:

— Послушайте, вы меня ставите в трудное положение.<sup>30</sup> Я здесь еще ничего не знаю. Вы верно хотите, чтоб я как-нибудь подействовала на мужа. Я боюсь сделать вред его интересам и потом (она стала очень серьезна и опустила глаза), потом я на него имею очень мало влияния. Мы с ним никогда не сходимся в понятиях. Это иногда очень скучно!

Я молчал и ждал, что она дальше скажет.

Она продолжала опять пристально и серьезно взгляды-  
вать мне в глаза:

— Я ничего не понимаю еще в здешних делах — что  
опасно, что выгодно. Теперь такие волнения. Может быть,  
английский консул может лучше нас оберегать от какой-  
нибудь турецкой несправедливости. Я говорю вам, что я  
ничего, ничего этого не знаю, и потом я так ненавижу всю  
эту коммерцию, все эти суды, все эти *дела!* Отец мой,  
правда, занимался тоже торговлей в России и Молдавии.  
<sup>10</sup> Но я на все это не обращала никакого внимания! Понима-  
ете?

— Понимаю.

— А вместе с тем я не могу взять на себя какую-ни-  
будь ответственность в таких делах. Как я решусь влиять  
на мужа! Я, может быть, сделаю что-нибудь не так,  
*чтобы понравиться русским, которых я так люблю.* А  
это будет вредно! Понимаете?..

Говоря это, она чуть-чуть покраснела, и я, отвечая ей  
«понимаю», тоже смутился от радости.

<sup>20</sup> — Постойте, я еще не кончила, — сказала она с  
жаром. — Я хочу быть откровенною с вами сегодня. Ви-  
дите, я терпеть не могу коммерции, но ведь я этой его  
коммерции обязана всеми удобствами моей жизни. Он  
приобрел свое богатство большою энергией и большими  
лишениями. Да! я вам обо всем этом когда-нибудь расска-  
жу. Он много перенес, и при этом он честный человек,  
верьте мне! А у меня ничего не было, кроме кой-каких  
вещей. *Des petits riens!* И вот что еще, слушайте — вот я  
эту турецкую одежду сшила моей девочке еще в Констан-  
<sup>30</sup> тинополе. Я знала, что *вам* это понравится. Ну? Вы пони-  
маете, на чьи труды, на какие деньги я доставляю себе  
такие удовольствия. Да, поймите. Я трачу много на себя и  
на дочь для моего удовольствия, потому что люблю, так  
же, как и вы, чтобы все было красиво. Что ж мне делать,  
если без этого мне тоска. Я скучаю нестерпимо в том  
коммерческом кругу, в котором принуждена жить с ним. И  
терплю это, а он выносит мои расходы. Я говорю, что мы

иногда бываем несогласны, и вы видели пример, как я глупо рассердилась у monsieur де-Шервиля в доме, когда мы спорили, где нанимать квартиру. Нет, лучше об этом не говорить. Я была очень глупа и противна тогда. Мой муж был прав. Но это бывает очень редко. Прошу вас, не думайте, что ссоры у нас бывают часто. Мне было бы очень стыдно. Их почти никогда не бывает: мы оба вовсе не вспыльчивы. Простите, я так много наговорила, что сама теперь не знаю, что вам сказать.

— Вы хотели объяснить, — сказал я, — почему вы не можете вмешаться в те дела, о которых я вам говорил.<sup>10</sup> Но вы, кажется, не ясно поняли, о чем речь. Ваш муж сам, вы помните, при вас спрашивал у Богатырева, нет ли какого-нибудь средства пользоваться русскою протекцией в тяжёбных делах и вообще в торговых. Мы придумали сделать его русским представителем в тиджарете.

— Что такое тиджарет? я забыла.

— Тиджарет — коммерческий суд. Все дела по распискам, вексялям и т. п. судятся в этом тиджарете, и каждое консульство имеет в нем двух представителей из каких<sup>20</sup> угодно подданных и какой угодно веры, лишь бы знали дела. Правда, что положение такого азы (они называются аза) не даёт права на такое безусловное покровительство со стороны русского, например, консула, каким пользуется русский подданный, русский драгоман, русский кавасс. Но все-таки это способствует...

Маша покачала печально головой и вздохнула.

— Что с вами? — спросил я с удивлением.

— Это ужасно скучно все, что вы говорите! Что мне до этого за дело? Вы мне скажите просто, чего вы от меня<sup>30</sup> хотите: хотите вы, чтобы муж мой был австрийским драгоманом или английским, или чтоб он у других вовсе не служил, так и скажите.

Я смотрел на нее. Выражение лица ее было все-таки такое хитрое! Что мне ей ответить? Я отвечал искренно:

— Я? Я чего хочу? Я хочу прежде всего, чтобы вам было хорошо и чтобы вы не могли на меня жаловаться. А

насчет того, будет ли у кого-нибудь ваш муж драгоманом или нет, по правде сказать, мне все равно. Конечно, как-то лучше, чтоб он не служил ни у Виллартона, ни у Öстеррейхера. Обманывать он едва ли их станет, а без обмана будет раздвоение, хотя, простите... и без вашего мужа наши главные интересы в стране будут соблюдены. Я не знаю, что думает об этом консул. Но если б я был консулом, я не желал бы, чтоб он служил у Виллартона.

— Почему?

<sup>10</sup> — Виллартон старается во всем нам мешать. Приятно ли будет вашему мужу служить нам в тиджарете и обдѣлывать под нашим флагом свои личные дела у турок; а потом делать с Виллартоном совсем другое — или нас обманывать, или его.

— Скажите какой-нибудь пример, чтоб я поняла, — сказала она.

Я не долго затруднялся представить ей живой пример. Я рассказал ей историю моего Велико; объяснил ей, что держать в своем консульстве его было бы неудобно, так  
<sup>20</sup> как там бывает множество посетителей, и беглец, незаконно у нас скрывшийся, может быть легко узнан и поэтому он живет у меня, пока я не управляю и многих принимать не обязан.

— Итак, — сказал я ей, — вообразите себе, что ваш муж служит у Öстеррейхера или у Виллартона. До них доходят, положим, смутные слухи о каком-то молодом болгарине, скрытом у меня в доме. Виллартон поручает вашему мужу нарочно посещать меня почаще и выведать истину. Он возбуждает пашу протестовать; положим, мы,  
<sup>30</sup> не стесняясь ничуть, отрекаемся, отвечаем даже очень дерзко на это, а сами тайком отправляем Велико куда-нибудь в безопасное место. Все это так; мы его не выдадим. Но приятно ли будет вашему мужу стать таким сыщиком, и против кого же? Против той России, которую вы так любите и которой протекцией он сам желает пользоваться? К тому же, вы знаете, Богатырев не сегодня, завтра уедет в отпуск, чтоб обвенчаться со своею невестой, и без него все

дела будут опять в моих руках. А мне положительно было бы неприятно, если бы ваш муж был драгоманом у Виллартона. Про австрийского консула я не говорю: к нему он, вероятно, сам не пойдет.

— Благодарю вас, — сказала Маша, — мне больше ничего не нужно. Я постараюсь, чтобы мой муж Виллартону не служил. Я докажу вам сейчас, как я вам верю!

Она вышла на минуту и воротилась с небольшою запиской, которую и дала мне прочесть.

Записка была от Виллартона к ее мужу, на французском языке.<sup>10</sup>

«Дорогой мой monsieur Антониади, — зайдите сегодня ко мне попозднее. Я сообщу вам много интересного, и к тому же нам необходимо решить поскорее, будете ли вы у меня драгоманом или нет? То, что вы мне говорили о множестве забот ваших и недостатке времени, меня беспокоит. Я надеюсь убедить вас и положить конец вашим колебаниям. Нет ли тут каких-нибудь враждебных мне влияний?»

Весь ваш Виллартон».

Я прочел записку, поблагодарил m-me Антониади за такое доверие и, взглянув на часы, решился с ней расстаться, хотя это было мне очень тяжело.<sup>20</sup>

— Ну, прощайте, — сказала она, взяв мою руку. — Когда ж мы увидимся?

Раздосадованный уже тем, что надо еще раз уходить, не дождавшись еще и на этот раз прямого, ясного до грубости объяснения в любви, я ответил ей с небольшим раздражением.

— Это странно, что вы не хотите понять меня! Прикажете, и я буду ходить каждый день. Я не смею.<sup>30</sup>

Маше мое раздражение понравилось.

Она опять вспомнила Фламариона и сказала:

— Надо все видеть в розовом свете, «надо плавать в розовой атмосфере», и вместе с тем...

Она остановилась.

— Чтò вместе с тем?.. Это мученье!

— И вместе с тем, помните: держать «ушки на макушке». Я все *понимаю*, не беспокойтесь. Пожалуста, пострайтесь и вы понять все как должно.

— *Как должно?* Я не знаю.

— Поймете, поймете, — настаивала она. — Да, я забыла вам сказать: мадам Чобан-оглу, вы знаете, мне соседка. Я с ней хочу подружиться; она очень неинтересна, бедная. Но она держит себя посвободнее других здешних дам. Мы будем с ней часто, может быть, гулять по утрам в Эски-Сарай и к Михаль-Кэпрю. Имейте и это в виду. А сюда ходить... как вам сказать? Надо наградить ваше терпение. Я очень, очень вам за него благодарна. Ходите иногда раз в неделю, иногда два, всегда вечером, а иногда так, как *сегодня* — до обеда. Понимаете?

— Конечно, *понимаю!* — воскликнул я.

— Я сказала вам, что вы все поймете понемногу.

И опять, приостановившись на миг, она вдруг испортила всю мою эгоистическую радость такого рода неожиданными словами:

— Поймете лучше и мужа моего и мои к нему отношения. Они не совсем такие, как вы, кажется, думаете. Если я не ошибаюсь, они гораздо лучше! Ну, идите, идите теперь.

Я опять ушел, смущенный и взволнованный, не зная, радоваться ли мне *чему-то* или огорчаться?

## XIX

В консульстве я застал Виллартона. Они оба с Богатыревым сидели посреди большой залы у стола на качалках и молча качались. Богатырев задумчиво вертел в руках какую-то записку, а лицо его было очень серьезно.

Виллартон, всегда очень подвижный и впечатлительный, быстро вскочил со своего места, чтобы поздороваться со мной, и приветливо сказал:



— Чтò с вами? Вас совсем не видно! Вы так давно и у меня не были.

Я заметил на лице его, в его выпуклых и беспокойных глазах какие-то неопределенные, но очень знакомые мне следы недавнего волнения.

Виллартон был один из тех людей, у которых при всех сильных ощущениях к глазам приливает кровь и готовы даже навернуться слезы.

Вот нечто подобное я уловил на его лице в ту минуту, как мы здоровались. 10

Я догадывался, что между двумя прежде столь дружными, а теперь враждующими представителями Англии и России был пред моим приходом какой-то тяжелый разговор. Я не ошибся.

Виллартон побыл при мне недолго. Он был все в волнении; вставал, садился, кидался на качалку, опрокидываясь назад и высоко поднимая ноги, шутил со мной. Но все не весело. И потом вдруг надел шляпу и, протягивая Богатыреву руку, сказал:

— Так до свидания. До завтра? Я буду ждать! 20

Богатырев ответил что-то глухо, очень глухо, едва привставая с кресла, и оба сильно покраснели в ту минуту.

Виллартон ушел, и Богатырев не потрудился даже проводить его до дверей.

— Ну, чтò же, какое решение вы принесли? — спросил у меня консул, когда мы остались одни.

— Мадам Антониади беретса повлиять на мужа, чтоб он у Виллартона не служил. Она показала мне записку Виллартона. 30

Я передал Богатыреву содержание записки и не забыл, конечно, сказать «о враждебных влияниях».

— Это хорошо, — сказал хладнокровно консул, — вот и другая его же записка ко мне. Прочтите.

Говоря это, он подал мне ту бумажку, которою он так долго молча играл.

Я читал с изумлением. Это был вопль о пощаде.

«*Cher ami*, — писал Виллартон, — я не знаю, почему вы так переменились ко мне. Я теперь один в Адрианополе, без семьи: мне очень грустно, а вы ко мне вовсе не ходите».

Следовали воспоминания о прежних днях дружбы и веселости, при Ахмет-Киритли-паше, о домашних спектаклях, словом, о том веселом времени пиров и умного дурачества, о котором так сожалел и Öстеррейхер этим же самым утром в разговоре со мной. Письмо кончалось убедительною просьбой отобедать завтра en tête-à-tête в английском консульстве.

— Бедный Виллартон! — сказал я, возвращая записку.

Богатырев весело и безжалостно улыбнулся и сказал:

— Он тут сидел и почти плакал. Вот до чего он доведен. *Il se sent complètement isolé*; де-Шервиль ему не доверяет; у греков и болгар здешних он не популярен, хотя и ухаживает за ними. Один наш Михалаки сколько вреда ему делает в христианской общине, он его лично за разные  
20 прежние шуточки и насмешки ненавидит. Öстеррейхер тоже. Этому уж одно то досадно, что Виллартон лучше его жить умеет и что мадам Виллартон никогда с его Амалией не могла быть дружна, — скучно с нею.

— Все это хорошо, — сказал я; — но неужели необходимо теперь совсем забросить его и не бывать у него вовсе и всячески раздражать его? Вы можете действовать против него в политике, продолжая быть с ним лично любезным, если ему это приятно.

— Нет, — решительно воскликнул Богатырев, вставая, — с ним это невозможно. Разве вы не помните, что  
30 тотчас по приезде моем он начал ежедневно с утра ходить ко мне и следить за всем, что я делаю, много ли пишу, кого принимаю? Надо довести его до того, чтоб он отвалился от нашей двери и перестал бы за нами следить!

И действительно, я вспомнил один случай, на который я не обратил сначала большого внимания. У Богатырева был званый обед для одних только православных. Это

было одно из тех сборищ, посредством которых консулу удалось примирить и укрепить не так давно расстроенную и обессиленную раздором православную общину. Председателем на этом пиру сам митрополит Кирилл; был греческий консул, перешедший тогда на нашу сторону; были все самые влиятельные и умеренные по образу мыслей греческие и болгарские старшины. Конечно, присутствие всякого иностранного консула было бы неуместным на сборище чисто православного духа. Но Виллартону непременно хотелось знать, что у нас делается, и он, не приглашенный никем, под предлогом давней дружбы и фамильярности с Богатыревым, пришел в консульство в самый разгар пиرو-<sup>10</sup>вания.

Обед был в нижнем этаже, в столовой; я сидел против стеклянной двери, выходящей в большие сени. Доктор Чобан-оглу только что встал с бокалом, возбужденный, покрасневшийся, пламенный, феска назад, и начал так:

— Я пью за здоровье и долгоденствие Русского Императора! Я пью за процветание великой православной России нашей. Я говорю *нашей*, потому что без нее все мы, и греки, и болгары, и сербы, и молдо-валахи давно бы исчезли без следа и погибли бы под пятою врагов. *Ура!*<sup>20</sup>

Все отвечали ему восторженным криком.

В эту самую минуту в освещенных сенях, за стеклянную дверь, явился Виллартон в круглой шляпе. Он приостановился как бы на одно мгновение и, озираясь, почти бегом кинулся наверх по лестнице. Мы слышали его быстрые шаги по ступенькам. Все переглянулись, кто в смущении, кто с улыбкой.

— Пускай его себе! — сказал Богатырев и, встав, начал еще громче, чем Чобан-оглу, говорить по-турецки (так как по-гречески он, не приготовленный, не мог говорить, а по-французски не все понимали). Он провозгласил на турецком языке тост за единение и силу христианской общины во Фракии.<sup>30</sup>

Когда обед кончился, Виллартона уже не было наверху. Он как-то прошел назад незамеченным.

Поступок этот, почти ребяческий и, конечно, агенту великой Державы не совсем приличный, объяснялся чрезвычайно нетерпеливым и беспокойным нравом Виллартона. Он узнал, вероятно, что у нас пируют друзья России, не утерпел, чтобы не взглянуть, под предлогом того, что все привыкли его видеть прежде беспрестанно в русском консульстве запросто; прибежал как будто нечаянно, увидал, услышал кой-что и скрылся!

10 Все это так, но что же мне делать, если даже эта выходка веселого англичанина более забавляла, чем возмущала меня?

— Вы правы, может быть, — заметил я Богатыреву. — Но я придал бы всему этому на вашем месте другой оттенок. Общество Виллартона все-таки приятно, и сам он такой все-таки славный малый, особенно здесь, где каждый день выносишь сношения, и даже очень близкие, с торговцами, подобными нашему Михалаки.

Богатырев рассердился:

20 — Я сколько раз просил вас о Михалаки при мне худо не говорить, — воскликнул он, — не только вы, но и я без него здесь бы ничего не значил. Нельзя...

Спор наш был прерван слугой, который позвал нас обедать; у дверей столовой мы встретились с Михалаки. Он вошел в нее вслед за нами и остался обедать. Лицо его сияло.

— Eh bien? — спросил его консул.

— Eh bien, — повторил драгоман самодовольно и весело, — des succès, des succès et encore des succès!..

— Говорите, говорите...

30 — Антониади рад, Москов-Самуил рад. Пропаганде новый удар; десятого гостя для пустого места нашел... С чего начать прикажете мой отчет?

— С гостя, с десятого гостя! — весело закричал консул.

— Осман-паша из города Эноса приехал за инструкциями к Вали-паше. Un bon Turc, un vrai Turc! *старый*, такой, каких нам нужно. Ничего не понимает. *Калос*

Христианос, как мы здесь говорим; я уже велел стороной предупредить его, чтобы не уезжал; извините, я позволил себе сказать, что вы завтра сделаете ему визит.

— Непременно, непременно! благодарю вас... Какой вы молодец, monsieur Михалаки, вы все умеете сделать. Ну дальше что?

— Теперь о пропаганде. На днях пришел ко мне Куру-Кафа.\* Я пока молчал об этом. В этом деле было нечто щекотливое, и потому я молчал и предпочел принять все на себя. Приходит ко мне Куру-Кафа и говорит: «Есть еще у нас в Киречь-Хане несколько униатских семейств. Они хоронили своих покойников в одном пустом месте, на котором был прежде, давно, виноградник одного грека. Я задумал искоренить все это и предложил этому человеку обратиться в Порту с прошением, чтобы кости этих болгар приказали перенести, куда хотят. Земля его. Народ у нас, вы знаете, простой, скажут: нет, мы в самом деле верно согрешили, что стали униатами, вот и кости наших родителей повыкидали! И перейдут все опять в Православие». Это Куру-Кафа мне все говорит и просит доложить вам.

— Что же вы ему на это сказали? — спросил Богатырев.

Михалаки придал своему лицу особого рода серьезный оттенок, который был нам уже очень хорошо известен. Оттенок этот означал: «теперь я притворяюсь. Поймите это!» И мы понимали.

— Я сказал Куру-Кафе (продолжал Канкелларио невинно), что консулу докладывать об этом боюсь, что русские не то, что здешние люди. Они очень все религиозны и сочтут такое дело за поругание святыни... А надо как-нибудь иначе. Что ж, конечно, хозяин виноградника, одно слово «хозяин», имеет право! Мешать этому нельзя.

— Ну и что ж?

---

\* Очень известный в свое время вождь болгар-униатов, возвратившийся потом в Православие. Простой лавочник, но очень способный.

— Кости выкинули, и униаты были у митрополита и покаялись: возвратились в Православие. Только неприятно то, что отцов этих семейств посадили теперь турки в тюрьму. Пропаганда платила за них подати, и польские священники имеют от них расписки, как всегда. Их представили, и этот толстый Ариф-каймакам-паша посадил их в тюрьму. Надо их выкупить. Мы с доктором Чобан-оглу немного собрали. Но надо еще. Я уверен, что это все интриги Виллартона; он очень сближается с Арифом и действует даже в пользу католиков, чтобы только повредить Православию и нам.

— Вот видите! — воскликнул Богатырев, обращаясь ко мне. — Разве можно его щадить!.. Мы завтра же выкупим этих болгар. Дайте знать им туда, чтоб они были покойны. Я сам поеду к митрополиту и к паше. А сколько нужно еще денег?

— Не так много, — отвечал Канкелларио, — пять-шесть лир, не более.

Богатырев тотчас же достал свой портмоне и положил<sup>20</sup> золото пред торжествующим драгоманом.

После этого Михалаки приступил к отчету о своих свиданиях с Антониади и Москов-Самуилом.

— Самуил, бедный, очень рад. Он в восхищении от мысли, что у него будет золотая медаль, тогда как даже у меня серебряная. Антониади тоже, кажется, доволен. Впрочем, о службе у Виллартона или у Öстеррейхера я ему ничего не говорил. Я не был на то уполномочен.

Богатырев заметил, что этим уже я занялся и что с одной стороны мы, кажется, обеспечены. Потом он<sup>30</sup> сказал ему о записке и об огорчении английского консула, и мне опять стало жаль Виллартона и стало досадно, зачем это Богатырев предает уже до такой степени этого джентльмена на поругание... И кому же! Этому злому хаму?.. Михалаки слушал с умилением и потом, обратясь ко мне, воскликнул:

— Des succès! Partout des succès?! N'est ce pas, monsieur Ladnew? Я издали увидал вас, как вы поворачивали

в Кастро, и тогда же подумал: Антониади наш!.. И там, вероятно, был успех...

Рассуждая теперь, через столько лет, я думаю, что слова Михалаки были очень просты и что в них не было ни малейшего яду; но тогда, под влиянием других впечатлений, я прочел в них какую-то фамильярность, какое-то поползновение на *что-то*, которое меня несколько раздражило.

Я пожал только слегка плечами и молчал.

— Как! — с удивлением спросил Михалаки, — вы не находите, что у нас во всем теперь успех и беспрестанные, хотя и небольшие, но очень важные по своим последствиям, победы?<sup>10</sup>

Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. Я всегда удивлялся, как это может Богатырев так тесно и неразрывно сливать в поведении своем свои политические сочувствия с личными: про ненавистного Михалаки он даже и мне, даже с глазу на глаз не давал сказать ничего худого; а к Виллартону, лично столь приятному и доброму, он был беспощаден; я до сих пор не знаю, чему приписать это, крайней ли жестокости сердца и фальшивости Богатырева или чему-нибудь лучшему, иному — не знаю.<sup>20</sup>

Я, разумеется, понимал, что действовать по службе надо в тесном союзе с Михалаки против Виллартона; но зачем же быть *точно как бы в самом деле искренним* в своей дружбе к политическому союзнику и в отвращении к политическому врагу? Мне казалась такая односторонность всегда чем-то лишним и чуть не глупым.

И на этот раз мне захотелось отравить хоть немного радость нашего гадкого союзника, и на второй его вопрос<sup>30</sup> я отвечал так:

— Я согласен, что удач много; но я нахожу, что ругаться над могилами униатов все-таки не следовало. Уж лучше просто бы пообещать, что заплатят за них подати. Как можно принимать на себя такую ужасную ответственность из-за таких пустяков. Если бы здешние приматы, как болгары, так и греки, претендующие на образован-

ность, имели более искренности в религиозном чувстве своем и не делали бы тайком всяких мерзостей, не обманывали бы народ, так не нужно было бы прибегать ни к каким «sacrilèges»... А то какой-нибудь *архонт* православный ест дома постное для детей и прислуги и потом тихонько бежит в локанду и жрет там мясо (Михалаки это делал). Нет, это не только ужасно, это низко и мелко!.. И народ не обманешь... Он остается верен своей святине, но в вождей своих он утрачивает веру, и прямые пути обращения и проповеди теряют свою силу.

10 Я попал метко... Михалаки покраснел и смутился; он отвечал довольно мягко:

— Меня это удивляет в вас, — сказал он. — Конечно, я из деликатности должен был простому лавочнику болгарину Куру-Кафе упомянуть о религиозности русских; но позвольте... Разве *monsieur* Ладнев, человек столь начитанный и ученый... философ, можно сказать, — разве он может верить, что *есть душа?* Чтò такое эта *душа?*

20 Я засмеялся и возразил:

— Один русский писатель... Вы ведь здесь русских писателей не знаете... Он описывает, что у его отца был крепостной лакей, которого посылали учиться фельдшерскому искусству. Он заболел, и когда отец писателя предложил ему причаститься, то он отвечал, что не может, потому что учился анатомии и знает, что души нет! Теперь и я вам то же скажу, чтò и вы мне: как это вы, господин Михалаки, человек умный, не стыдитесь говорить то же, чтò этот слуга?

30 Это уже было слишком! Глаза Михалаки засверкали яростью: он побледнел теперь и взволнованным голосом возразил совершенный вздор:

— Бывают *разные философии*, но мы здесь люди практические и без них обходимся!

Богатырев был, видимо, ужасно недоволен мною за это. Он так дорожил своим незаменимым драгоманом! Он молча и нахмурившись ел, пока мы говорили, и потом,



возвысив тон, почти до повелительности, обратился ко мне по-русски (Михалаки по-русски не знал):

— Вы бы уж оставили это... Всякий имеет право верить или не верить, как хочет...

— Оставил, оставил, — сказал я, улыбаясь. — Довольно с вас и этого.

— Напрасно, напрасно! — прошептал Богатырев очень тихо и опять замолчал.

Обед наш, начавшийся так весело, кончился мрачно... Никому говорить не хотелось. После обеда Михалаки<sup>10</sup> ушел к себе, поклонившись мне очень почтительно, но издали; я спросил у консула, отправил ли он ко мне на дом те бумаги, которые он приказывал давеча мне переписать к завтрашнему курьеру.

— Отправил, — глухим басом, чуть слышно и вовсе не глядя на меня, отвечал Богатырев.

Я ушел к себе домой, говоря про себя: много случилось сегодня такого, о чем надо подумать!

## XX

Как я был рад вернуться домой! С утра я был все с<sup>20</sup> людьми, и мне было так приятно сосредоточиться и отдать самому себе медленный и внимательный отчет во всех моих впечатлениях за этот оживленный день. Я велел зажечь лампы и затопить обе чугунные печи в приемной с диваном кругом стен и на узкой галерее, которая служит залой. Лампы засветились; печи запылали тотчас; добрый старик Христо и оба юноши мои Велико и Яни с особою радостью и усердием, как будто они целый месяц меня не видали, спешили исполнить мои приказания. Они все улыбались мне, смотрели мне в глаза. Яни даже заговорил со мной первый;<sup>30</sup> затапливая печку, он приподнялся немного и, опираясь одною рукой на пол, взглянул на меня ласково и спросил:

— Что это вас целый день не было дома? Мы без вас соскучились...

— Дела, Яни, разные дела, — сказал я.

— Дела! — повторил Яни, качая головой. — А вот для нашего молодца, для Велико, — продолжал он, — дела не хороши!

— Чем? что такое? — спросил я с нетерпением (мне так хотелось, чтоб они все поскорее ушли!)

— Один лях офицер (такой здоровый!) нанял себе дом на углу против нас. Теперь, я говорю, Велико, совсем к нашим воротам не подходи: увидят тебя, и эффенди нашему будут неприятности.

— Конечно, надо теперь стать еще осторожнее, — заметил я. — Но ты, Велико, все-таки не должен слишком бояться и терять голову. Яни правду говорит, хлопоты и неприятности будут нам с консулом, и даже консулу более, чем нам; но тебя мы, не бойся, ни за что не выдадим...

Велико в это время поправлял лампу, стоя ко мне спиной; он обернулся и, взглянув на меня кротко и покойно своими большими и томными серыми глазами, сказал:

— Я у вас, эффенди, ничего не боюсь!

— Вот и прекрасно, — воскликнул я и велел им уйти и оставить меня поскорей одного.

Я был ужасно рад, когда они, притворив за собой дверь, побежали с лестницы, играя и толкая друг друга с громким смехом...

— Наконец я один, я свободен!

Тяжелые ворота мои крепко-накрепко заперты. Теперь поздно, и никто не ударит в них железным кольцом. Голоса добрых слуг моих утихли в дальней кухне. Во всех окнах мрак, и многолюдный город безгласно чернеет у подножия ног моих за высокою стеной высокого двора.

Безмолвие, блаженное безмолвие!.. Даже приветливый голубок, мучительный и милый друг моих утренних мечтаний, теперь не воркует у окна приемной моей, а спит на обнаженной ветке персика у сырой стены... Только чугунные печи по всем комнатам пылают огнем и весело мечут искрами. Там, правда, где-то на столе лежит порядочная

кипа бумаг, — всё плоды богатыревского самохвальства. Бог с ними! ночь длинна, и я не коснусь их до тех пор, пока... О, мысли мои, мысли! где вы? Дайте собрать мне вас, дайте связать вас крепкою связью ясного вывода решимости! Как все тихо, Боже!.. Какой деятельный день был сегодня! «Успехи, успехи и еще успехи!» — изрек сегодня этот мерзавец, которого я так жестоко обличил в лакейском атеизме. Так ли это? и у кого эти успехи? У них с Богатыревым?.. может быть!.. И то я не вижу ничего выходящего из ряда.

10

Но у меня? у меня, вот что важно! Мои победы, мои удачи, — где они? Я хочу сознать, перечислить их! Конечно, я хорошо оборвал Бояджиева... И это не только сошло мне с рук, но я сумел так взяться за дело, что бешеный и смелый Остеррейхер остался доволен и дал мне даже доверительное поручение. Я почтительно (как следует человеку охранительного духа) доказал консулу, что он был груб и неправ в своих шутках над моими отношениями к семье Антониади; я стер почти с лица земли ядовитого клеветника нашего Михалаки только за один неприятный оттенок фамильярности в тоне, возбуждавший во мне какое-то смутное беспокойство. Все это так; но все это так ничтожно и так пусто! Она, она что сказала и что сделала сегодня? как взглянула? как сидела? Когда краснела? при каких своих или моих словах? Она ведь не сказала люблю... положим... Нет, она не сказала люблю!.. Но разве это нужно?

20

И я вставал с дивана и начинал ходить, еще глубже, еще внимательнее думая... Печи все пылали; лампы тихо светили; город безмолствовал; в окнах был мрак... и я все думал и думал, и бился, и блаженствовал в одно и то же время. Тонкие недоумения эти не отравляли моей задумчивой и бодрой радости, они лишь слегка подстрекали мое рвение прийти скорее к выводу...

30

Как действовать впредь?.. До сих пор я все остерегался, до сих пор я не спешил... Но теперь!.. Эта дочь, в угоду мне одетая по-турецки... Этот уговор приходится

иногда и до обеда, когда муж в конторе, это стремление доверяться мне, положиться на меня, когда дело идет даже о торговых и гражданских интересах этого мужа, богатством и трудами которого она пользуется и дышит. Нет, это много, очень много. Она хитра, она осторожна. И если она обнаружила столько сразу, то участь ее сердца решена — она меня любит и, вероятно, готова на все... А если она хочет только меня увлечь и дружбой, и кокетством? Нет! Это ясно: она готова на все. Но я?.. готов ли я на все? У

<sup>10</sup> меня был и тогда свой нравственный критерий, в иных случаях довольно строгий.

Он был *мой*, этот критерий, *мой собственный*, долгим взаимодействием внимательного ума, доброго сердца и страстной фантазии утвержденный и гордостью взлелеянный. Мне не было нужды до того, был ли он пригоден для остального человечества или нет. Моему тогдашнему нравственному чувству он удовлетворял вполне и — чего же больше? Так я думал в эти веселые годы молодого самомнения!..

<sup>20</sup> Склонив в раздумьи голову на руку мою, в безмолвном просторе моего турецкого жилища, я вспомнил и представил себе примеры. Я вспомнил, хотя и смутно как-то, одно лицо из Диккенса. Почтенный старец, простодушный, добрый, ученый, седой младенец кабинетного труда. У него молодая жена; она желает пребыть ему верною, даже вопреки дурному влиянию родной матери. Она жалеет, чтит, она любит своего честного и невинного старца. Вот если бы я встретил такую чету... о!.. Я не мог более сидеть и вставал, чтобы в движении найти новый исход и опору

<sup>30</sup> мыслям. Такая чета, конечно!.. И если бы юная супруга такого старца подошла бы сама (сама, непрощенная) ночью к дверям моей комнаты, я сказал бы ей: «Беги, беги скорей, пока никто тебя не видал, молись... усни и забудь эту ночь... не омрачай его чистого и тихого заката... не оскверняй высокой святости души твоей... Даже и со мной (*понимаешь ты — со мной!*) это будет осквернением твоего храма!..»

И на что мне Диккенс! Вот здесь на углу недалеко торгует в табачной лавке почтенный и добрый турок Гуссейн. Он сидит на прилавке с окладистой бородой, лицо его кротко и бледно, чалма чистая, белая, густые брови чернее бороды. У него такие милые котятка, серые, полосатые, веселые, и он их так любит. Сам холодный изверг наш Михалаки, и тот говорит про него с чувством: «прекрасный человек! Никогда он никого даже из христиан не обидел! Святой человек!» Пусть по неожиданным и ужасным случайностям войны или других событий этот старец<sup>10</sup> Гуссейн доверил бы мне молодую жену и весь гарем свой, чтоб я их хранил. Есть ли хоть тень сомнения, что если бы сам Бог, один только Бог мог знать и видеть мои поступки, то они были бы так же точно чисты и праведны, как были бы праведны в присутствии Гуссейна или на многолюдстве базара!.. Или если бы друг (быть может, и сам по себе не особенно интересный) страдал бы по жене своей, любил бы ее нежно, ревновал бы ее не из самолюбия, не из страха чужих перешоптываний и насмешек, а из боязни лишиться ее расположения, — неужели я не оттолкнул бы даже грубо жену этого бедного друга... Я не подлец, и слабым героем Тургенева и жалких его подражателей я не был и быть не хочу, несмотря на весь пыл моего воображения, на всю алчность моего ненасытного, неутомимого тщеславия... Самоуничтожения «сороковых годов» я знать не хочу, я его презираю. Я хочу быть правым пред высшим судьей моим, пред самим собою!

Антониади не Гуссейн; Антониади не старец Диккенса, невинно греющийся у камина хладеющие ноги! Антониади не друг влюбленный и страдающий, он сухой и холодный хам; он один из тех европейских буржуа, которых весь род я до фанатизма, до глупости ненавижу.<sup>30</sup>

И пусть бы он был не старец и не друг страдающий. Нет, нет! вот пусть бы он был, например, такой, как этот Велико. Взгляните на этот рост и плечи атлета, эту славянскую русую скобку волос, на чистые, большие, юные темно-серые очи. Как длинны черные стрелки этих рес-

ниц. Полюбуйтесь на эту пеструю курточку, на красивые складки шаровар, на жесткие и большие, но прекрасные формой рабочие руки, на бессознательное сочетание силы и женственной стыдливости его движений. Эта простая вера в нас, русских, в непобедимость защиты моей! И вот если б он, этот Велико, избрал себе подругу-отроковицу, такую же невинную и простую, как он сам, — разве эта девушка не была бы для меня дочерью, несмотря на то, что я сам еще молод?

<sup>10</sup> Я ударил кулаком по столу и сказал громко, как будто я говорил ему самому: «Оставь со мной ее на год и больше и верь, что ты отдал ее родному отцу!.. Да!»

Но этот коммерсант, этот европеец! Это ужасно! Плечи его немного узки; борода растет почти из глаз! Ну что это! Из *homme honnête, ferme et laborieux*, как любят выражаться прогрессивные французы. Покоен, тверд, приличен даже! «Банабак!» Нет, он и не банабак восточный! Его хамство тонкое, самое вредное для жизненной поэзии! Просвещенное общечеловеческое хамство! В нем даже греческого мало; в нем нет той симпатичности, которую мы видим нередко в каких-нибудь усатых и грубых капитанах парусных греческих судов; наивное сочетание патриотического самохвальства, набожности, отчаянной отваги, корысти, лжи и добродушия. В нем и этого нет. За что и на что его щадить, скажите?.. И разве я забыл его тон в Царьграде, его улыбочки, его томно-самоуверенные взгляды, его твердые и пошлые возражения... «Пирронизм! Пирронизм! Во всем сомнения!» Или: «то, что вы сказали о живописности Востока, всем известно». Каково! Это он <sup>30</sup> мне говорит. Ну, хорошо!..

Довольно отречения! довольно нестерпимой тоски и одинокого уныния... Я имею особые права, права высших потребностей. Я должен наслаждаться; ведь я

Критон, младой мудрец,  
Рожденный в рощах Эпикура!

А он?

Нет! я не откажусь от нее. Она сама не хочет моего отречения... и к тому же разве я знаю ее прошедшее? Если другие?.. Она столько странствовала, так часто оставалась одна без мужа, когда того требовали их дела. А если она его обманывала прежде, но так искусно и умно, что не возмутила до сих пор его счастья? Зачем же я буду так прост, так глуп, так наивен? Не прав ли будет Блуменфельд, взывая ко мне так часто и так нежно с укором: «молодой человек! молодой человек!» (смешной человек! наивный человек!)!.. Нет, я не откажусь от нее. <sup>10</sup>

Но все эти размышления мои были внезапно прерваны ударом кольца в ворота.

Я был взбешен.

Кто же это и так поздно вздумал меня тревожить?

Стук усиливался. Из кухни послышались голоса Яни и Христо. И кто-то из них кинулся с фонарем через двор к воротам. Переговоры у ворот длились недолго.

Посетителя впустили.

Я смотрел внимательно из высоких окон моих вниз на темный двор. Людей различить было невозможно, но показались рядом два фонаря; наш был простой, стеклянный, который светил тускло, но со всех сторон; у гостя был фонарь европейский, с толстым круглым стеклом, которое одиноким большим глазом ярко сверкало во мраке. Глаз этот двигался, бросая пред собой продолговатый и неровный свет, но владелец фонаря казался от этого погруженным в еще большую тьму. <sup>20</sup>

Я следил с досадой и не мог вспомнить, у кого я видел такой фонарь. <sup>30</sup>

Только приблизившись к крыльцу, неожиданный гость приподнял фонарь к лицу своему, и я увидел, что это был сам Антониади.

Боже мой! Что такое? Уж девятый час вечера. Для турецкой провинции это очень поздний час. Это ночь. Чего хочет от меня этот «честный» супруг и «образованный» коммерсант?

Как всегда бывает в подобных случаях, в уме моем мелькнуло несколько догадок, одна другой нелепее и несообразнее, но самое простое мне и в голову не пришло.

Я приветствовал его как можно радушнее и спросил, чему приписать, что он потрудился по грязи, ночью прийти в этот дальний квартал.

Антониади желал быть любезным и, перекачнувшись по привычке своей чуть заметно с каблуков на носки и опять назад, отвечал улыбаясь:

<sup>10</sup> — Мне за множеством хлопот не удалось до сих пор побывать у вас. Я не считаю первого визита, который был моим долгом. — И, оглядывая мою галерею, он прибавил: — Как у вас хорошо! Это то, что англичане зовут *home!*.. Очень хорошо. В старом турецком, в *вашем* вкусе.

Последние слова он сказал с особым почтительно-дружеским ударением.

— Это правда, — отвечал я, — меня до отчаяния доводит убранство в европейском вкусе. Особенно, если оно дешевое.

<sup>20</sup> Антониади на это снисходительно заметил:

— Да, у восточных людей есть свой стиль.

И потом, помолчав, продолжал:

— Вы сегодня были у нас? Жена моя мне все передала.

«Как все?» — подумал я с мгновенным ужасом и ждал своего приговора.

— Насчет господина Öстеррейхера и Виллартона, — объяснил Антониади. — Но она не совсем ясно и подробно передала мне все это, и мне очень было бы приятно

<sup>30</sup> слышать все основательнее от вас самих. Я прошу у вас тысячу извинений и надеюсь, что это не слишком вас затруднит.

Я начал передавать ему все подробно; рассказал ему даже смеясь о моей схватке с Бояджиевым (Маше я забыл об этом сказать, потому что с ней мне было не до этого).

Антониади был чрезвычайно внимателен; все чуть-чуть усмехался, гладил рукой концы бакенбард. А я был рассе-



ян и несколько раз даже чувствовал, что говорю наобум и вот-вот сейчас остановлюсь; потому что мысли мои были совсем не в австрийском консульстве и не в коммерческом суде и о Бояджиеве вовсе я в эту минуту не думал. Меня тревожили в это время совсем другие мысли. Я смотрел на эту белую, большую, *очень* красивую и безукоризненно (не по-здешнему) выхоленную руку и не мог никак освободиться от вопроса: целует ли Маша эту руку? и когда целует, то как — по движению *известного* чувства или из дружбы и уважения? Она сказала: «вы поймете, что мои отношения к мужу *лучше*, чем вы думаете...» Когда ж я пойму? когда? Я хочу понять, постичь все до глубочайшей тонкости сейчас же... Руки хороши, но разве в этом дело! Сам он, сам... Впрочем... Боже мой... Я не то говорю... я путаюсь... О ужас! Он что-то мне говорит, должно быть очень нужное... Я ничего не слышал... я слышу только: «и давно это?» Чтò это? чтò давно? — не знаю!

Я встrepенулcя через силу и сказал наугад:

— Давно ли? Право не знаю.

— Как же это? — спросил Антониади с преднамеренною тонкостью и недоверием. — Вы, вероятно, это лучше всякого знаете; но... я не смею настаивать. Дипломатия имеет свои тайны... Хотя... я думал... конечно...

— Чтò вы думали?

— Я думал, что г. Богатырев сам не намерен скрывать от публики того недоброжелательства, которое существует теперь между русским и великобританским консульством.

(Вот оно чтò! вот о чем он спросил: «давно ли они разошлись?»)

— Нет, право, я не могу вам наверное определить этого срока, — сказал я. — Ссоры явной не было никакой... Г. Виллартон слишком уж деятелен и жив характером; он слишком следил за нами... Это не всегда удобно. Но он добрый человек и прекрасный собеседник. Хорошо знает Восток...

Антониади сделал отрицательное движение головой (снизу вверх, по-восточному) и возразил с сожалением:

— Восток он знает; но характером он для Востока не годится. Здесь любят людей иного рода... Он слишком подвижен и слишком просто себя держит. Между христианами он очень не популярен, а это жаль.

— Почему? — спросил я.

— Мое мнение то, что христианам лучше жить в Турции, когда Россия и Англия заодно. Это согласие подавляющим образом действует на турок. Это общее правило можно применить и к местным условиям: христиане сильнее, когда русское консульство в союзе с английским.

(Ему хочется быть английским драгоманом и в то же время служить нам «азбю»\* в тиджарете, подумал я.)

И потом спросил:

— Однако что ж мне сказать г. Öстеррейхеру от вас именно? Не лучше ли вам сходить самому и выразить австрийскому консулу ваше сожаление, если вы не хотите принять его предложение.

— Да, я тоже полагаю, что надо сходить самому, хотя это очень неприятно. Я не желал бы восстанавливать против себя господ консулов. Времена такие смутные! можно ожидать даже всяких опасностей. Это ужасно! В Крите, вы слышали, опять были избиения... Консула здесь — наша единственная опора... Хороший консул в Турции — это иногда якорь спасения жизни и собственности. Но удостойте меня, пожалуйста, вашим советом: что мне сказать г. Öстеррейхеру в мое оправдание?

Я воспользовался этим оборотом разговора, чтобы польстить ему.

— Я никогда не поверю, чтоб эллин и притом такой высокообразованный, как вы, нуждался в совете такого рода, — сказал я.

Антониади сделал томные глаза и наклонил молча голову в знак благодарности за комплимент.

---

\* *Аза тиджарета* — член коммерческого суда.

— Я не здешний человек и плохо еще знаю здешних людей и потому прошу еще раз вашего совета, — настаивал он.

— Скажите ему просто, что вам некогда и что сам Ладнев, когда передавал вам это, еще не знал, что вы уж уговорились с г. Богатыревым о службе при тиджарете. Я полагаю, этого будет достаточно.

— Да, это так. Но если я решусь принять предложение Виллартона, тогда Остеррейхеру это будет обидно. Для английского драгомана нашлось время, а для австрийского нет. Боже сохрани меня создавать себе здесь сильных врагов! У меня есть семья.

Значит, я угадал, он хочет быть почетным английским драгоманом, и, видно, правду говорила Маша, что она мало имеет на него влияния. Подумав, однако, немного, я решил все это дело взять на себя помимо Богатырева и уклониться от духа его инструкций: показывать, что нам все равно. Я имел и право, и средство говорить прямо от себя, в виду того, что мог со дня на день сам стать во главе всех адрианопольских и фракийских дел подобного рода. Решившись действовать по-своему, я начал так:

— Послушайте, мсье Антониади. Я буду с вами прям. Вы знаете, что г. Богатырев может очень скоро уехать? Вы понимаете также, что без него все русские интересы до самого мельчайшего будут на моей ответственности? Я же не скрою от вас, что мне будет очень неприятно, если вы будете служить у Виллартона.

— Жена моя уже передала мне ваш взгляд на этот вопрос. Она даже говорила о каком-то дезертире.

— Да, он здесь, внизу, и я могу вам его даже показать, потому что вы один из лучших у нас здесь представителей Христианства. Правда, он болгарин; но так как тут идет борьба между Католичеством и Православием, то не может быть сомнения, что честный грек скорее сохранит тайну, чем какой-нибудь Бояджиев, связавший свои интересы с унией, Австрией и поляками.

— Конечно! — пожимая плечами, сказал Антониади. — Кто же станет думать об общем и серьезном политическом вопросе, когда дело идет о безопасности бедного юноши, почти ребенка!.. Это было бы неблагородно!.. Жена моя мне все это рассказала, и я понимаю вас вполне.

— Но...

Он замялся, посмотрел на меня внимательно и, подумав, решил все же яснее высказаться.

— Времена смутные, — сказал он, — английский консул в случае волнений и опасностей большая сила! Если б, я говорю, например, если бы критское восстание привело к европейской войне; если бы (вы понимаете, это говорит во мне беспокойство семьянина и собственника), если бы Россия двинула сюда войска, можно ли ручаться, что в турках не проснется старое янычарство? Не будут ли нас убивать, как собак... Я ведь отец семейства, мсье Ладнев, и живу трудом!

Говоря это, Антониади оживился, глаза его блистали и глядели на меня вопросительно и смело.

<sup>20</sup> — Положим так, — ответил я, — хотя я почти уверен, что войны не будет; а что касается избиений, то едва ли турецкое правительство допустит это там, где сами христиане не обнаружат явного намерения восстать. Порте невыгодно без крайности восстанавливать против себя общественное мнение даже и на Западе... Но пусть будет по-вашему. Чтò же значит тут английский консул?.. Во время дамасских избиений все консула принуждены были отдаться под охрану паши; один английский ничего не боялся, как будто он был в заговоре. В Крите, в 58-м году, <sup>30</sup> когда при Вели-паше турки города Канен грозились перерезать всех греков, били стекла конака и влачили за ноги труп молодого грека, которого в угоду им Вели-паша велел удавить. Чтò делал г. Онглей, английский консул? В то время, когда все другие консульства были полны семьями христиан в надежде на то, что толпа не решится посягнуть на флаги великих Держав, г. Онглей запер наглухо свои двери и не пустил никого. Я уверен, что и наш милый,

веселый и даже очень добрый Виллартон делает то же самое или в этом роде. Нация великобританская — истинно великая нация по духу, и потому на представителях ее отражается это величие. Они никогда не впадают в это пошлое смешение личной нравственности с ненужною и глупою политическою моральностью.

— Это правда, — произнес Антониади тихо и значительно. — Английская нация истинно великая! Постичь ее дух не легко иностранцу! Я несколько лет провел в Англии и не смею сказать, что я постиг ее. Даже внешний вид — что-то странное. Я помню первые дни моего приезда. Толпа народа, экипажи; какая-то молодая девица играет пред гостиницей на скрипке! Пушки палят почему-то. Приехал откуда-то какой-то генерал или адмирал, я не понял. В гостинице курить не позволяют в номере. Это было мне мученье! Эти парки, это богатство, эта строгая нравственность семьи! И в то же время наши греческие матросы с торговых судов рассказывали мне, что к ним на корабли являются целыми партиями очень красивые девушки *известного рода* и просят даже не денег, а вообразите! пакли! старой пакли, чтобы продать ее и купить себе хлеба. Потом — эти слуги! Слуга, с которым вы будете обходиться фамильярно, сочтет за унижение служить у вас. «Вы не джентльмен!» Все это так странно, так глубоко даже, я позволю себе сказать... Великая нация!

Я слушал его не без удивления. Никогда еще я не видал его столь одушевленным и многоречивым. В эту минуту он в первый раз мне немного понравился; я и сам, никогда не бывав в Англии, был в этом именно смысле англоманом, оставаясь русским, быть может, иногда и до фанатизма, то есть я желал бы, чтобы Россия была так же глубока и самобытна в своем *руссизме*, как Англия в своих нравах; чтоб она поскорей доросла до Англии, от корней до цветов и плода отличаясь и от нее, и ото всей Европы.

— Мы отвлеклись, простите! — сказал Антониади. — Вы хотели выразить ваше мнение о г. Виллартоне, кажется?

— Да, — отвечал я. — Этот Виллартон такой милый, веселый собеседник, с которым я так люблю кататься за город верхом; он не стеснится, когда Сен-Джемский кабинет найдет это выгодным, распалать и здесь мусульманские страсти и обагрить кровью все эти мирные и тихие улицы фракийских сел и городов. В такую минуту, если вы опасаетесь, не надейтесь на него. Вы хотели знать мое мнение, вот оно.

Антониади молча и с некоторым оттенком подозрительности смотрел на меня; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Но ведь своего драгомана, своего employé, так сказать, он пощадил бы?..

Видя его колебания, я решился нанести ему последний удар и начал так:

— Как вам угодно, вы хотели совета, я вам его даю. Повторяю вам, что я все это говорю вам от себя. Из разговоров г. Богатырева я заметил, что он относится ко всему этому делу равнодушнее, чем я, ему, может быть, и все равно, будете ли вы драгоманом у другого консула или нет. Что ж, он, может быть, опытнее, способнее меня; но всякий действует по-своему; оно и вернее. Я прямо предупреждаю вас, что при всем моем желании быть полезным вам и m-me Антониади, я, раз оставшись управляющим, тотчас же сменю вас, лишу вас должности в тиджарете, если вы будете английским драгоманом. А вы сами знаете, что при умеренности и такте, которого у вас такая бездна, вы, служа в тиджарете, можете сблизиться с самими турками. Супруга ваша русская подданная; иные дела можно будет переводить на ее имя и действовать прямо под русским флагом. Познакомьтесь с беями, с Тефик-беем, он прекрасный человек; с Ахмед-беем, он родом грек и христиан несколько жалеет; с Изетом. Пошлите m-me Антониади знакомиться по гаремам; это ее займет, скажите ей, чтоб она ото всех турецких дам уплаты визитов не ждала. У них есть своя глупая гордость, на которую советую не обращать внимания,

быть может, это и не гордость, а робость какая-то. Сблизьтесь, главное, с нашим Михалаки Канкелларио, он вас всему научит; он и с турками коротко знаком. Он вам откроет разные ходы. А в случае опасности (которой, вероятно, и не случится) опять-таки супруга ваша русская подданная и прежде всех других имеет право на убежище в русском консульстве, а за ней, разумеется, и пред вами эти двери всегда будут широко раскрыты. И Богатырев, и я, все равно мы сумеем, я надеюсь, оправдать доверие, которого мы удостоены, и представлять здесь Россию —<sup>10</sup> такая честь, что из-за нее и опасности стоит подвергнуться, если нужно. Не беспокойтесь за вашу семью ни в каком случае. Я уверен, что здешние турки даже и не посягнут на русское консульство. А пока для ежедневных интересов с вас совершенно будет достаточно, с одной стороны, вашего эллинского паспорта, а с другой — этой должности в тиджарете, которой (прибавил я улыбаясь), извините, я вас непременно лишу, если вы поступите к Виллартону, которого, впрочем, я очень люблю. Если<sup>20</sup> хотите, можете ему это даже и передать.

— Quelle idée! — воскликнул Антониади и потом прибавил тоже с улыбкой: — Чтò ж делать! Надо согласиться с вами. Все знают, что г. Богатырев и предшественник его сумели так поставить здесь свое консульство, что оно влиятельнее всех! К тому же и согласиться не очень трудно. Я от русской политики сам не хочу отделяться совершенно. Она благодетельна в этих странах, и только одни мечтатели «великой эллинской идеи» распространения Эллады до Балкан или даже Дуная могут быть в среде греков враждебны здесь этой осторожной и умеренной политике.<sup>30</sup> Я, вы знаете, не из их числа.

— Знаю, оттого мы вами так и дорожим.

После этого Антониади несколько времени чему-то молча улыбался, как будто вспомнил о чем-то веселом или приятном. Потом сказал все с тою же легкой улыбкой:

— К тому же, вы знаете, *les femmes!* Ah! *les femmes!*... Я всегда говорю: «муж глава, положим, но жена шея».

Шея вертит голову. Жена моя такая руссофилка, я сказал бы патриотка даже, если б она не была замужем за эллинским подданным. Она тоже не очень хочет, чтоб я служил Великобритании. Il faut subir cette douce influence!.. — И он простер даже руки и опустил голову в знак смирения.

Мы пробеседовали с ним после этого о разных предметах почти до полуночи. Уходя, Антониади вспомнил, что Маша поручила ему передать мне приглашение приходить  
<sup>10</sup> иногда по вечерам почитать с ней вместе что-нибудь русское.

— Когда же прикажете? — спросил я.

— Когда угодно, — сказал Антониади. — Она любит поэзию и сказала мне имя одного старого вашего поэта. Не могу вспомнить... Зу... Жу... Шу... Pardon!..

— Жуковский?..

— Да, да! Она хочет его вспомнить, и у нее есть, но не все томы... Нет ли у вас? Она просила вас также передать от нее то же самое приглашение и г. Богатыреву,  
<sup>20</sup> если ему это не наскучит. Маленькие литературные вечера, en petit comité.

Я поблагодарил, и мы дружески простились.

Опять засветился круглый глаз его фонаря во мраке; стукнуло железо ворот; опять воцарилось вокруг меня безмолвие, опять я был один сам с собою.

— Станный день, странный день, — день разнообразных впечатлений, день досады, гнева, колебаний, любви и несомненных удач!..

И какой путь почти незаметно пройден с нашей первой  
<sup>30</sup> встречи на Босфоре!.. Где теперь эта тихая гордость г. Антониади в обращении со мной, тогда ненужным и неизвестным ему человеком? Где эти насмешечки: «пирронизм!» и т. п. Нет и следов этого тона... Конечно, он держит себя хорошо и с достоинством, в тоне его и приемах нет ничего унижительного... Но я ему стал нужен теперь. Завтра, послезавтра у меня опять будет (как было тут с год тому назад) в руках известная ему



доля власти. И вот он меня слушается; он просит моих советов, немного даже заигрывает со мной, вопреки своей серьезной и сухой природе. И я рад этому, я торжествую...

И вдруг я вспомнил давишнюю грубую шутку Богатырева («для ваших будущих благ!»), вспомнил мое негодование, мою косвенную ему месть в виде оскорбления, нанесенного любимому им Михалаки, — вспомнил все это и воскликнул мысленно: «Неужели же эти люди, грубо называющие вещи по имени, так часто бывают правы?..»<sup>10</sup> «Начальническая эксплуатация», — сказал я давеча в негодовании. Я и теперь не хочу этой низости... Не то, не то!.. Однако... Без вины людей, безо всяких происков условия жизни и отношения наши с этим человеком стали незаметно совсем иные, чем были в день первой встречи нашей на берегу Босфора... Тогда он ужасался тому, что я сказал неосторожно: «мне не нравится христианская семья на Востоке», и, видимо, не желал меня видеть у себя в доме. Теперь он зовет меня *почаще*, *читать* жене русских поэтов; теперь если он и скажет мне при случае: «пирронизм!»<sup>20</sup>, то музыка возгласа будет другая, не ядовитая, а почтительная или ласковая. Чем виноват я, что судьба посылает мне такой случай влясть на его интересы!.. «Des succès, des succès et encore des succès! Бывают и у нас романы, бывает и у нас кой-что!..» Негодяй Михалаки!.. Ненавистный человек!.. Как ты отвратительно, как ты подло умен! С этим-то заключением я уснул в ожидании «будущих благ».

Несколько слов от издателя.

Здесь в рассказе Ладнева перерыв. В рукописи, присланной мне его родными, я нашел после двадцатой главы<sup>30</sup> несколько неоконченных отрывков; иные из них довольно длинны и наполнены повторениями одного и того же и побочными подробностями о политических делах; другие, напротив того, слишком кратки и даже похожи на какой-то конспект.

Например:

(Удача официального обеда. — Паши: Хамид, Ариф, Осман. — Билетики на тарелках с именами. — Виллартон все волнуется; заранее как будто шутя приподымает салфетку, ищет свое имя. — Недоволен; рядом с Канкелларио. — Порядок соблюден Богатыревым строгий; придраться нельзя. — Öстеррейхер и Виллартон вице-консулы; но Öстеррейхер назначен в Адрианополь раньше. — Де-Шервиль и Булгаридис (эллинский) оба консулы. —<sup>10</sup> Они заняли место по сторонам Хамида (haut-bout), двое младших пашей около хозяина дома (bas-bout). — Австриец и Виллартон ниже их vis-à-vis; а я и Канкелларио ниже де-Шервиля и Булгаридиса. — Краткая и очень недурная речь Öстеррейхера на турецком языке: он поздравляет генерал-губернатора с прибытием в новоучрежденный вилайет. — Сладкие улыбки сердитого австрийца. — Виллартон очень всем недоволен и очень плохо это скрывает; неудовольствие между ним и Богатыревым еще больше усиливается. Главная досада, я думаю, за то, что не он<sup>20</sup> первый, а русский консул догадался оказать новым пашам такое внимание.)

---

Дальше я нашел особо начатое и неоконченное описание какого-то праздника в Порте.

Вот оно:

«Была иллюминация: на обширном и пустом, как плац-парад, дворе играла военная музыка; толпы народа разной веры теснились во всю длину темной улицы против конака. В приемной паши собирались приглашенные почтенные гости. Сердитый и милый мой чудак Öстеррейхер был в<sup>30</sup> мундире с полковничьими эполетами, с прекрасным густым плюмажем из белых и красных перьев на треугольной шляпе; он гремел огромными шпорами, рыцарски рассыпаясь пред мадам де-Шервиль, женой французского консула. Сам французский консул был в черном фраке и белом галстухе с красною ленточкой *légion d'honneur* в петлице.

Он, по обыкновению своему довольно ко всему равнодушный, был рассеян и все искал заговорить с кем-нибудь об охоте, своем единственном пристрастии. Виллартон казался печальным настолько, насколько он мог при своем живом и легкомысленном характере.

Когда мы с Богатыревым вошли в приемную, он в углу на диване что-то с жаром, хотя и очень тихо, говорил новому Каймакам-паше-Ариффу.

Они сближались все теснее и теснее...

Увидав нас, Виллартон вскочил и почти подбежал к нам, протягивая нам руки, как искренно обрадованный друг. Впрочем, он и в самом деле, быть может, рад был нас видеть... Ему нужны были прежде всего — борьба, движение, жизнь, и он и врагам политическим был рад, лишь бы они были не скучны.

Я понимал его хорошо с этой стороны, и этим он мне нравился. Без него было бы скучнее в Адрианополе... *Побеждать* его было так приятно!..

Однако я тревожился. Все местные *приматы*, и православные, и католики, приезжали один за другим. Богатые католики и *почетные консула* \* мелких держав: Дании, Швейцарии, Бельгии, Голландии уже давно восседали тут с супругами: Петраки Врадетти, Бертоме Гверацца, Франсуа Врадетти и Фредерик Гверацца, Фредерик Врадетти, Франсуа Гверацца, Антуан Гверацца и Жорж Врадетти... Их было очень много: все купцы, все родня, все толстые, все скупые, все деятельные орудия римской пропаганды, все враги нам, Православию и грекам, враги, старающиеся всячески завлечь болгар в униатство... все союзники *Остеррейхера* и *де-Шервиля*. При виде их *Михалаки Канкелларио* (он надел сюда сюртук поновее и орден Станислава в петлицу), кажется, забывает на время свою на меня злобу за то, что я так недавно *почти назвал* его «лакеем» за его неверие; он подходит ко мне близко и, глядя на всю эту западную буржуазию, собравшуюся как-

---

\* Местные жители без жалованья и без полных прав.

то глупо в одну кучу, шепчет мне... нет, он не шепчет... он шипит, сверкая взорами:

— Вот оно все «мышинное гнездо» вместе! Все *понтикопёци!* \* Ах, когда бы дожить до разрешения Восточного вопроса... показали бы им...

— А разве есть средство им отмстить за все их интриги?..

— Есть, есть! — говорит Михалаки. — Только чтобы мы были живы; мы найдем!..

<sup>10</sup> Я едва слушаю его адские речи... В другое время я такие злые речи его любил... Делать зло во имя веры и отчизны противникам своим так приятно... Но теперь мне не до того... Восточный вопрос еще не разрешен; час отпущения не ударил... А Маша и муж ее не едут!..

Вот Хаджи-Петро приехал и другие греки-купцы; вот согнувшись подбегает к генерал-губернатору и касается его полы молодой и богатый болгарский архонт Карагеоргиев, он щеголяет в теплом пальто-сак с бобровым воротником и в феске; вот серьезный и почтенный доктор Ступа со <sup>20</sup> своею худощавою *Ступиной*; она без перчаток, но для парада надела на султанское празднество какую-то чуть не мужскую двухбортную коротенькую жакеточку из желтоватого трико с большими стеклянными пуговицами...

Приехал и добрый наш Чобан-оглу со своею неприятною докторшей. Он выбрил себе на этот раз подбородок; но на затылке его виден из-под воротника какой-то шнурок: должно быть, обрывок вешалки. Мадам Чобан-оглу закуталась в широкий бурнус из белого кашемира с кистями и задрапировалась вся так странно, что бурнус стал <sup>30</sup> похож спереди на огромную салфетку, которою завесили огромного ребенка, чтоб он не пачкался за обедом... Она мимоходом поглядела на меня сладострастно... Я отвернулся. Чобан-оглу *приседает* пред пашами и пред г-жой де-Шервиль... Глаза жены его сияют, и лицо ее пылает тщеславным смущением и радостью, когда генерал-губернатор,

---

\* *Мышиное гнездо* по-гречески.

не вставая с кресла, приветствует их с мужем поклоном с приятною улыбкой...

Антониади все нет!.. А я так старался все эти дни! И так мне было трудно и стыдно... Мне хотелось непременно добиться, чтобы супруги Антониади были сопричислены Хамид-пашой к лику здешних *архонтов* и чтоб их не забыли пригласить в конак...

Я не хотел говорить об этом *своим*, ни консулу, ни тем более *этому* Михалаки. Я старался устроить это чрез греческого консула...

10

Он известил меня, что желание мое исполнится. Однако их все нет...

Наконец один из греческих купцов сказал мне: „А вот новый член тиджарета со своею *коконой!*..”

*Они* вошли...

Откуда она достала эти свежие жонкилы? И как хорошо придумала она украсить ими и свою косу черную, и черный бареж платья на груди!..

Музыка на большом дворе все играла... Свет от плашек колебался, и толпа теснилась к решетке...»

20

---

Окончания этого отрывка я вовсе не нашел; но на той же странице карандашом написано: *Нужно ли это?* И больше ничего. Видно по всему, что автор этих воспоминаний стал все больше и больше тяготиться своим трудом и не знал долго, как от него освободиться. Даже почерк его стал гораздо хуже, чем в начале рассказа. Иные места я совсем не мог разобрать.

Какое-то сомнение, какое-то болезненное чувство, подобное раскаянию или досаде, заметно терзало его...

Потом он, должно быть, или поборол его, или под влиянием новых и случайных впечатлений опять примирился со своими воспоминаниями. Мне так казалось, потому что после перерыва рассказ идет опять довольно правильно.

30

Догадки мои скоро оправдались: между другими бумагами Ладнева, тоже высланными мне его родными, я нашел несколько страниц, которые объяснили мне даже и внутренний смысл его колебаний и смущения...

Вот эти страницы:

15 декабря 1879 года.

«Зачем я начал этот несносный, этот мучительный рассказ? Чтò мне за дело теперь до этой *Маши*? Чтò общего между *тем* Ладневым и мною? Я начал писать это в одну веселую минуту, когда я осмелился (да, осмелился — несчастный я) подумать на мгновение, что и для меня песня жизни не совсем еще спета.

*Тогда*, когда на персиковой ветви ворковал мой бедный голубь, у меня было такое множество желаний, я так любил в *то время* жизнь... Самые страдания мне иногда невыразимо нравились...

А теперь?

Теперь я хочу одного — забвения, покоя. Но какого покоя? Всякий лишний звук, всякое лишнее движение ненавистны мне в иные дни до ужаса.

С людьми я вижусь по нужде. Мне нельзя не видаться с ними! Но даже самые искренние друзья не могут дать мне того, чтò нужно человеку для того, чтобы быть веселым: телесных сил, любви к борьбе житейской, честолюбия, здоровья, веры в какое-то близкое и привлекательное будущее.

Я стал находить блаженство в равнодушии. Я иногда ищу желаний, я с любопытством иногда спрашиваю себя: „Как это возможно ничего не желать, кроме необходимой пищи, мирного сна и легкой молитвы, и все без усилий?“ Не может быть, я верно чего-нибудь желаю! Я только не сознал еще ясно этих новых желаний моих!”

И вот с такими мыслями я недавно стоял в церкви и слушал, крестясь, как дьякон молил Бога о „мире міра“, „благорастворении воздуха, об изобилии плодов земных“,

о властях, об епископе нашем; крестились все, и я крестился... Но я хотел бы отыскать что-нибудь личное, иное, особое, нечто такое, что нужно только мне одному и о чем я бы мог вознести совсем особую, горячую, личную молитву сердца. Искал и не нашел. Я видел столько горя и греха от исполнения не только самых страстных, но даже и самых невинных и бескорыстных желаний наших, что не понимаю теперь: зачем искать, хотеть, когда не хочется? Зачем? Я думал об этом; я вспоминал странные события последних лет моей жизни; я видел духовную нить, связующую их, непонятную для глупого практического разума, для веры ясную как день... Я видел эту дивную нить, и страшную, и отрадную. Мысль моя снова овладевала тою тайной жизни, которая открыта только вере, и когда диакон стал молить о христианской кончине жизни нашей, „безболезненной” и „мирной”, и о „добром ответе на суде Христовом”, я вдруг почувствовал желание положить глубокий поклон и встал с земли не скоро, и, касаясь лбом пола, думал: „вот этого, конечно, и *только этого* мне должно желать”.

И после этого мне писать об этой Маше! Думать о любви, полуидеальной, почувственной, делать зачем-то усилия ума, чтобы вспомнить, что было прежде и что было после...

Да, если бы вспоминалось всегда ровно и легко, то отчего ж бы не рассказывать? Это правда моей жизни, *это было*.

Но не всегда вспоминается легко, надо думать, надо мыслить, — вот принуждение, страдание. Зачем страдать? Кому такое страдание полезно? И сам я не знаю в тишине моей медленной, предсмертной тоски, что мне приятнее — все забыть или все вспомнить.

Приятно вспоминать только то, что помнится без усилий, не делать усилий, вот теперь земной рай моей старости, вот мой идеал!

И все, что я вижу теперь вокруг себя, и все, что я слышу, и все, чего я желаю, так не похоже на то, что я

видел тогда, на то, что я тогда слышал, на то, чего я желал в то время.

Я не вижу перед собой ни фиалок, которые расцветали так рано в сырых расщелинах между камнями лестницы на моем дворе; ни садов блестящей шелковицы, ни минаретов, ни старых и прочных каменных мостов с золотыми арабскими надписями над широкою и мутною Марицей. Теперь я вижу перед собой белый снег и высокие сосны... Одно и то же с утра и до вечера. Я вижу их только из  
10 окон, и выйти, как другие, не смею и не в силах. На дороге, недалеко от окна моего стоят русские дровни; молодые крестьяне расчищают дорогу, они кладут снег в сани и свозят его со двора. Быть может, и я решусь выйти на воздух. Вот они бросили лопаты и начали играть, бороться и кидать друг в друга снегом. Какие у них здоровые, красные, веселые лица... Как они радостно смеются, как они еще молоды все трое... И как я отвратительно стар, не годами, а душой и силами!

Мне даже ничуть и не завидно им! Я не хочу смеяться.  
20 А это ведь так близко все, это все мое: и двор мой, и снег мой, и лошади эти мои, и молодые люди эти служат мне за мои деньги. И все это мне чуждо... Я рад покою и безмолвию моего теплого и просторного жилища. Безмолвие! беззвучное, бесстрастное, безгласное забвение за морем глубоких снегов.

Я больше ничего не ищу. Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо.

И вот, наполовину уже перешедший в невозвратную вечность, я должен писать о таких веселых днях тщеславного ничтожества.

30 И в самом деле, не правда ли, как это пусто все? Не похожа ли тогдашняя жизнь души моей на букет искусственных цветов, слегка обрызганных духами?

В моей собственной жизни были года и события совсем иного рода, иной силы и значения.

Зачем же я выбрал это время, эту Машу, эту красивую, быть может, но мелкую и бесполезную пустоту?.. Не знаю».



19 февраля 1879 года.

«Моя предсмертная тоска так нестерпима, уныние мое, мое немое отчаяние в иные дни так ужасны, что исцелить их не может ничто...

Я страшусь смерти, а жизнь мою, почти всю проходящую теперь в этом жалком страхе за мое существование, нельзя назвать и жизнью... Высшая радость моя — это тишина и возможность, не заботясь ни о чем, считать с позорною болью испуганного сердца дни, часы, минуты, быть может, которые осталось мне еще дышать!

И этот тесный гроб! и эти гвозди!.. и земля!.. и боль, и тоска последней борьбы...

Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..

А я, как неразумный зверь, держусь изо всех сил моих за мое никому уже не нужное существование... держусь за него без угрызений, без стыда и пред людьми, и пред самим собою. На что мне стыд? На что мне люди, кроме тех людей, которые мне служат и которым, слава Богу, дела нет до моего *внутреннего* достоинства.

Какой же смысл будет иметь для меня *принуждение* в труде, подобном этому рассказу?..

Правда, была одна черта в истории моих сношений с *этой женщиной*, черта дорогая и редкая в жизни... Мы расстались без пресыщения, без горечи, без распрей, без раскаяния, безо всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви...

Других я любил гораздо сильнее, продолжительнее, самоотверженнее, быть может, но ясности и чистоты воспоминаний нет...

И что же? Неужели только моя „честность” или ее „чувство супружеского долга” восторжествовали над легкомысленною страстью? Увы! нет! нет!.. Разгадка здесь иная, — гораздо более таинственная.

И вот я решил *не принуждать себя более...* Если эта разгадка *должна быть* обнаружена, если *суждено* ей быть достоянием праздного любопытства посторонних, то желание продолжать рассказ явится у меня само собою, и я его кончу.

А если нет — нет!»

Этим кончаются отрывки в записках Ладнева. «Желание явилось», и рассказ его принял опять довольно правильное течение.

10

## XXI

Я об Велико не забыл. Я долго не писал о нем. Это правда. Писать разом нельзя обо всем том, что в жизни совершается почти в одно и то же время.

Я его видел каждый день и постоянно о нем думал и заботился. Наш vis-à-vis — женатый польский офицер, которого так опасался старик Христо, скоро перестал тревожить меня; он выходил, выезжал с женой в карете; до нас он ничуть не касался; Велико, сам испуганный этим соседством, дверь теперь никому не отворял; напротив <sup>20</sup> того, он прятался подальше, как только раздавался стук железного кольца на наших воротах. Кавассы наши, хотя и мусульмане, были очень верны. Посторонние турки у меня бывали редко; на визиты пашей я, как секретарь, претендовать еще не мог; младшие турецкие чиновники и беи, хотя и любили общество русских, но, опасаясь, чтобы свое начальство не подозревало их в чем-нибудь политическом, редко позволяли себе близкие сношения с иностранными агентами и помощниками их.

Все это было бы не страшно. Но был один человек <sup>30</sup> Адрианополе, которого посещения стали меня опять в это время тревожить. Это был все тот же неугомонный Виллартон; по мере того как Богатырев все больше и больше старался отдалить его от себя, он все чаще и чаще стал звать меня к себе, угощал обедами и хорошим вином,

ездил со мной верхом за город и сам заходил ко мне не раз. Вот он-то и казался мне опасным, если не для самого Велико, то для «приличий» нашей службы и для сохранения хороших отношений с местною властью. Велико мы могли бы еще кое-как спасти, но удобно ли будет, например, получать «ноты» о том, что мы скрываем у себя дезертира? И как отнесется посольство наше к нашим действиям, если мы не сумеем быть ловкими? Наше начальство было умно и требовало ума и от нас; этого рода дела надо судить по-спартански: «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться». Турки также готовы были нередко смотреть сквозь пальцы на наши проделки («les intrigues moscovites»), но лишь при условии соблюдения с нашей стороны хоть внешнего уважения к их законным правам. Думая обо всем этом, я ни на минуту не забывал и того, что скоро конец моей безответственности и недалек тот день, в который я провожу Богатырева верхом за город до садов *Хадум-Ага* и вернусь в город один, хозяином русских дел во Фракии. Я предвидел также, что некоторые крайности, в которые впал недавно Богатырев по отношению к Виллартону, облегчат во многом мою будущую деятельность.

Богатырев, при своей хитрости и здоровой осторожности, увлекся на этот раз и ежедневными удачами своими и каким-то личным капризом жестокости. Он через меру терзал самолюбие английского консула и как бы тешился его несомненными страданиями. Я думаю даже, что впечатлительный Виллартон в течение предшествовавших двух лет политического согласия и тесной личной дружбы отчасти и сердцем по-товарищески привязался к Богатыреву, и тем большее были ему обиды, почти ежедневно наносимые ему нашим упрямым и гордым москвичом.

Я говорю — Богатырев перешел далеко и за черту приличий, и за черту обязательной борьбы. Дальнейшая жестокость к расстроенному Виллартону была не только не нужна для нашего *русского дела*, но могла стать и вредною. Мягкие и уступчивые люди становятся иногда ужас-

ны в мести своей, когда видят, что противник рассчитывает на эту слабость. Я хотел *поберечь для себя* или, лучше сказать, *для своей службы* Виллартона; я находил, что, сохраняя с ним лично хорошие отношения, я могу еще легче действовать против него тайно, при тех хороших помощниках, которых мы имели в городе в среде христианской.

Все это так, но как бы он не дознался при своих слишком частых посещениях, что Велико не просто униат, <sup>10</sup> возвратившийся к Православию (это законно), но что он беглец из полка Садык-паши? Опасения мои почти оправдались.

Особенно один визит английского консула заставил меня задуматься.

Богатырев незадолго пред этим переполнил чашу его терпения. Случилось это вот как.

*От радости*, что сам Антониади пригласил меня читать жене своей Жуковского, я *медлил*. Я все боялся испортить дела свои. Я думал: «и так хорошо! на что торопиться?» <sup>20</sup>

После праздника в Порте, где она повторила, что ждет нас, я собрался. Надо было звать с собой Богатырева. К тому же та часть Жуковского, в которой была «Эолова Арфа», была у него. Я зашел к нему и сказал ему:

— Пойдемте сегодня вечером вместе к Антониади. Он пригласил меня читать жене громко Жуковского!

— Какой дурак, — отвечал Богатырев весело. — Когда я женюсь, я вам не позволю читать моей жене Жуковского. Нет, батюшка, отойди от зла и сотвори благо!..

<sup>30</sup> — Перестаньте, — возразил я, — во-первых, с какой стати вам сравнивать себя с этим скучным Антониади. В вас жена будет, наверное, так влюблена, что тут не только нравственный Жуковский, но и другие поэты ничего не помогут.

Богатырев, несмотря на всю свою выдержку, не мог скрыть своего удовольствия, услышав такую лестную правду (это и оказалось правдой со временем: жена без ума

любила его). Он покраснел и даже сконфузился, опустил глаза и стал рассматривать свои руки. Потом, совладев со своим минутным смущением, он ужасно лукаво улыбнулся и сказал:

— *Voyons — trève de flatteries! Vous voulez me faire servir de paravent... Eh bien! soit... Только на что это вы старину такую ей тащите? Начал было я сам «Ундину». Знаете, скучновато... Вы бы лучше ей какого-нибудь Павла Петухова снесли. И муж бы послушал Поль-де-Кока... А то что ж он поймет! Он заснет, обидится и не будет вас больше пускать к себе... Я в ваших интересах говорю.*

— Он жил в Одессе и понимает немного по-русски.

— Да что ж, что понимает! — возразил Богатырев. — Что-нибудь о «пшенице», «тащи мешки» какие-нибудь... А вы «Ундину» ему...

Однако я стоял за Жуковского, и Богатырев, который все это говорил нарочно, потому что был в этот день в духе, кликнул своего Ивана, настоящего орловского камердинера, и сказал ему, вставая:

— Принеси мне перчатки и шапку и вели кавассу сейчас зажечь фонарь... мы пойдем...

Итак, мы собрались идти. Я заметил, что Богатырев искал что-то на столе своем, нашел и захватил с собою это *что-то*, это нечто, которое он хотел от меня скрыть... Повернувшись ко мне спиной, он поспешил положить в боковой карман какую-то небольшую вещь и потом, обращаясь ко мне с самым равнодушным видом, воскликнул: «Пойдем делить досуг печальной нашей крали...»

Я не отвечал на эту новую насмешку над Машей, и мы, взяв Жуковского, кавасса и фонарь, пошли в Кастро, не спеша, по темным улицам, на которых давно уже ходили, постукивая толстыми палками по мостовой, безмолвные и закутанные *пазванты*.\*

---

\* *Пазвант*, или пазван — ночной сторож.

Было не очень холодно, шел мелкий снежок; под ногами он таял и обращался в густую грязь. Мы долго шли молча, выбирая где посуше и переступая с камня на камень, в местах почти безлюдных, все между лавок, запертых уже с раннего вечера.

Из-под ног наших беспрестанно вставали худые, никому не принадлежащие уличные собаки, кротко уступая нам дорогу. В одном месте мы чуть-чуть было не наступили на целое гнездо щенят, для которых чья-то сострадательная <sup>10</sup> рука постелила соломки около столба.

Я любил все это: и эту грязь, и безмолвие, и отсутствие газа, карет, и бедных собак, этих нищих духом «о Магомете»... и запертые лавки, и внезапный звонкий стук сторожевой дубины о камни мостовой... Но Богатырев сердился, переступая с камня на камень через лужи и снег.

— Не дождусь, когда я уеду из этой трущобы! — говорил он угрюмо.

Я не отвечал, но думал: «И я не дождусь, чтобы ты <sup>20</sup> уехал! Тогда я буду всему здесь сам хозяин!..»

Наконец мы подошли к их двери, и кавасс наш застучал кольцом...

Снизу из сеней мы услышали громкий и, казалось, нам обоим незнакомый голос...

— Кто это у вас наверху? — спросил с недовольным видом Богатырев у служанки.

— Это г. Михалаки, ваш драгоман, привел какого-то старика, который все кричит и кричит, — отвечала Елена, — кричит и потом, как кошка, делает вот так: пфф!..

<sup>30</sup> Елена, очень забавно отскочив от нас, представила лицом и руками испуганную и рассерженную кошку...

Я тотчас же догадался и сказал:

— А, это наш русский подданный, философ Маджаракки... это он...

Я любил этого оригинального старика и обрадовался этой неожиданной встрече; я сообразил кстати, что они с Михалаки могут занять Антониади и Богатырева и этим

облегчат мне возможность отдельной беседы с Машей. А читать можно и в другой раз.

Маджараки, уроженец и житель уездного городка Кырк-Килисси и русский подданный, имел тяжёбое дело в Адрианополе с одним армянином, турецким подданным. Антониади, новый член торгового суда, должен был на днях принять участие в обсуждении этого дела, и вечно деятельный Михалаки Канкелларио, безо всякого даже побуждения со стороны консула, взял на себя труд привести Маджараки к Антониади в дом, чтобы подсудимый<sup>10</sup> мог как можно лучше изложить свою тяжбу еще неопытному в местных делах, но испытанному жизнью и коммерческою борьбой судье. К тому времени, как нам прийти, разговор о тяжбе уже кончился. Михалаки играл в шахматы с Антониади, Маша сидела на диване с работой; около нее была m-me Игнатович, а низенький и толстый Маджараки стоял посреди залы, опершись правою рукой на спинку стула и, потрясая от времени до времени левою, говорил дамам так, с исступлением страсти и фанатизма:<sup>20</sup>

— Вы, вы, жительницы больших городов... вы можете позволять себе европейскую роскошь... Но мои дочери? мои дочери должны носить толстые красные болгарские фартуки! Они метут, работают, они едят руками... Да, моя покойная мать тоже ела руками, и сок!.. сок от кушанья тек по груди ее... сок этот тек (повторял он с любовью и восторгом, качая умиленно седою головой)... да, сок этот тек, но мать моя была здорова, красива и сильна.

Мы прервали его речь...

Он умолк мгновенно, увидав консула. Все поспешно<sup>30</sup> встали, хозяин дома встретил нас у дверей залы, Маша тоже встала с дивана и сделала несколько шагов нам навстречу. Маджараки отошел в сторону, вытянулся и притворился робким и скромным. (Я говорю притворился, потому что он никого и ничего не боялся, своею смелостью с турками довел даже себя до цепей и суда, после чего и добыл себе в Одессе русский паспорт.)

Богатырев, поздоровавшись с хозяевами дома, едва повел головой в сторону Маджараки и не удостоил ответить даже приветливым взглядом на его почтительный поклон. Он находил старика несносным, да и вообще на всех здешних людей смотрел только с точки зрения политических интересов России и выгод собственной службы. Сами по себе они все для него не существовали, и он не считал их достойными ни малейшего внимания. Мне же, напротив того, случалось с этим Маджараки проводить <sup>10</sup> целые вечера и до усталости слушать его рассуждения о философии, богословии и грамматике. Я находил его замечательным человеком и часто изумлялся его метафизическим способностям, развившимся так сильно и независимо в таком удалении от главных центров научной и умственной жизни.

Я предоставил Богатыреву заняться с Машей, надеясь вознаградить себя позднее, и, взяв дружески за руку бедного и никем не понятого мыслителя, усадил его около себя и спросил, чем он теперь занимается.

<sup>20</sup> Маджараки взглянул на меня весело, плутовски и сказал:

— Сравнительным изучением глаголов в эллинском и турецком языках...

— Простите меня, — перебил я, — я уже говорил вам прежде, что философия и богословие меня больше интересуют, чем грамматика. Ваши труды по метафизическим вопросам гораздо мне понятнее, чем эти глаголы.

— Прошу вас, г. Ладнев, извинить меня, но я позволю себе заметить, что вы не совсем правы... — воскликнул <sup>30</sup> Маджараки значительно и прибавил по-французски: — Il n'y avait pas de grand philosophe, qui ne fut grand grammairien: et il n'y avait pas de grand grammairien, qui ne fut grand philosophe.

Он произносил так смешно, что Богатырев и все присутствующие мужчины переглянулись с улыбкой и приостановили свою беседу, прислушиваясь к нашей. Маджараки, не замечая ничего, продолжал с жаром:



— Филологическая идея поддерживает во мне метафизическую, метафизическая родит грамматическую. О! Это наслаждение, небесное наслаждение — следить за проявлением божественного духа во всех феноменах человеческого ума. Я не оставляю и метафизику. Так, например, недавно я убедился, что троица, или тройственность, суть действительно основание всему, и таким образом самый основной и священный догмат Православия находит для себя полнейшее оправдание и в метафизических законах бытия и мышления... Извольте, вникните (тут Маджараки придал своему лицу выражение особенно задумчивое и глубокое, даже с небольшим оттенком какого-то испуга, и, собрав все пальцы своей руки кучкой, трес ими пред глазами и лбом своим): вникните: *Суть...* Суть всего... сущность... сущий... «*То óн*» (То ων)... (Потом лицо его приняло более ожесточенный вид, и он начал быстро и долго стучать ребром руки по столу.)

— *Энтелехия...* Бесконечное проявление, безначальное и бесконечное рождение, вечное действие, неразрывное с этою сущностью... (Тук, тук, тук... Тук, тук, тук!...) <sup>20</sup> *Энтелехия!*..

Наконец, выразив и глазами, и извилистым движением руками, и всеми физическими средствами своими нечто вроде гибкости и пронизательности, Маджараки закончил:

— *Способ действия... Трóπος...* Понимаете, — даже пространства заключить или замкнуть нельзя без трех линий; треугольник — это первая фигура геометрии...

Я слышал, что Маша вполголоса говорила Богатыреву и мужу:

— *Il est charmant, ce vieux... Ecoutez, il faut que vous lui fassiez absolument gagner son procès au tribunal de commerce.* <sup>30</sup>

— Он несносен! — возразил глухим голосом консул.

— Я не согласна, он премилый, — повторила Маша и потом обратилась к самому старику по-гречески: «*Кир Маджараки, отчего вы отдаете такое предпочтение одному г. Ладневу? Отчего вы нас не удостоиваете вашей интересной беседы? Вы нас считаете недостойными?*»

Наивный старик встал почтительно и ответил с большим достоинством:

— Кирия Мариго! Я уже настолько опытен, чтобы понимать, до чего вкусы и наклонности людей высокого образования могут быть различны, и не желаю никому быть в тягость. Вот и г. Ладнев удостоивает внимания мои скромные метафизические труды и отвращается от моих же грамматических изысканий.

— Нет, нет! — сказала Маша, — садитесь ближе,<sup>10</sup> мы все хотим вас слушать.

Богатырев нахмурился; а я был очень рад, что она так мило обращалась с оригиналом этим, которого я предпочитал другим здешним жителям. И в этом поступке ее я увидел желание показать, что она во всем, во всем сочувствует мне и не выдает меня даже и в мелочах.

Она придвинула кресло к дивану и пригласила старика сесть к себе поближе.

Богатырев, избалованный в Адрианополе своею властью и влиянием, покраснел и прошептал по-русски: «Уйду сейчас<sup>20</sup> в шахматы играть. Право, уйду... Мсье Михалаки, не хотите ли партию?..»

Маджараки сиял и собирался, видимо, начать какую-то речь, как вдруг раздался внизу стук в двери, и немного спустя Елена почти вбежала с возгласом: «Английский консул!»

Богатырев взглянул на меня и пожал плечами.

Виллартон был уже в дверях залы.

## XXII

Сначала все пошло хорошо.

<sup>30</sup> Мадам Антониади была настоящая светская женщина в том отношении, что, раз приняв в дом свой кого бы то ни было, она была со всеми одинаково любезна и старалась даже скорее низших заметно возвысить, боясь обидеть их.

Она удержала старика Маджараки около себя; Виллартона пригласила сесть с другой стороны, тоже поближе. Мы с Богатыревым сидели напротив за круглым столом. Михалаки и муж ее около нас. Беседа стала скоро оживленною и общео.

Антониади принес из другой комнаты какой-то французский журнал с карикатурами, и все стали смотреть их.

Особенно заняли всех рисунки разных французских и прусских военных чинов и полков, только что отличившихся под Кениггрецом. На каждой картинке было по французу и по пруссаку. Например, французский гусар, стройный, красивый, ловкий, самоуверенный, и гусар прусский, среднего роста, широкий, нескладный, в огромной меховой шапке, надвинутой на брови. Французский маршал, тоже стройный, элегантный, в треугольной шляпе с плюмажем, в расшитом мундире и весь *окруженный сиянием прежней славы*, рядом с ним стоит не развязно и вытянув руки прусский генерал, в простом будничном военном кафтане, в каске без султана, лица из-под козырька почти не видно, и на каске очки *учености*...

Изображения французов сопровождались длинными подписями любезно-шутливыми, самыми лестными воспоминаниями о великих удачах и подвигах прошедшего; у пруссаков таких воспоминаний не было; везде были вместо них поставлены точки с повторением одной и той же насмешки: «...mais solide!» (...зато надежен!)

До Седана и Меца было еще далеко, и никто их тогда еще предвидеть не мог. Похваляюсь, однако, я *полупредчувствовал* их и сказал:

— Как бы господам французам не пришлось горько каяться в этих насмешках!.. История любит новое. И я, признаюсь, очень был бы рад, если б этой передовой нации дали добрый урок. Они забыли Росбах...

Солидному Антониади тоже это хвастовство не очень нравилось, и он заметил:

— Я согласен с вами. Разве дурное качество — солидность в войске? Это самое лучшее, как и во всем.

Виллартон просто смеялся от души, разглядывая эти рисунки, и обратил внимание только на то, что французы представлены здесь слишком красивыми.

— Я был с ними вместе под Севастополем, — сказал он. — Они вообще скорее некрасивы.

— Вы избалованы красотой и благородным видом ваших английских войск, оттого вы строги, — заметил я, желая ему польстить (все приготавливая себе удобства в *близком будущем*). — Я тоже служил тогда в Крыму и <sup>10</sup> после заключения мира восхищался вашими *гайлендерами* в красных мундирах.

Богатырев, выросший в Москве, на французских фарсах и французских вкусах самого легкомысленного стиля, стал защищать все французское и кончил тем, что достал из кармана ту книжку, которую он пред уходом из дома так таинственно положил туда. Это была довольно забавная глупость: «История одной пуговицы, пропавшей с мундира немецкого солдата». Опять насмешки над немецкими формальностями, над немецким патриотизмом и т. п.

<sup>20</sup> Автор, вероятно настоящий француз, придумал себе русский псевдоним — *Piotre Artamoff*.

В небольшом немецком городке у солдата пропадает с мундира пуговица. Все начальство приходит в волнение; пишется множество донесений, отношений, предписаний, при этом жизнь предъявляет свои требования, и кто-то запел патриотическую германскую песню, которая вся состояла из повтора двух стихов:

Bois de la bière,  
Bonne, bonne Lisette!  
Bois de la bière!

30

\* \* \*

Bois de la bière,  
Bonne, bonne Lisette!  
Bois de la bière!

\* \* \*

Bois de la bière,  
Bonne, bonne Lisette!  
Bois de la bière!

.....

По-немецки:

Trinck Bier,  
Liebe, liebe Lischen!  
Trinck Bier!

\* \* \*

Trinck Bier,  
Liebe, liebe Lischen!  
Trinck Bier!

.....

10

И больше ничего!..

Ни один из жителей города не может устоять против восхитительного действия этой национальной поэзии; один за другим немцы и немки начинают подтягивать запевшему, другие соседи подхватывают, восторг растёт, голоса все громче, пение все исступленнее, и скоро весь город становится огромным хором, который гремит:

Trinck Bier,  
Liebe, liebe Lischen!  
Trinck Bier...

Все дела забыты, даже и тревога о пуговице...

Какой-то часовой, и тот даже забывает в этот волшебный миг строгость своего долга и с увлечением присоединяется к хору сограждан.

Богатырев читал хорошо; он кончил маленькую книжку при дружном хохоте всего общества. Только Маджараки, видимо, улыбался из вежливости: он ничего не понял. Он изо всего французского языка знал только наизусть ту фразу о грамматиках и философах, которую давеча он так

ужасно произнес. Вспомнив об этом, Маша обратилась к нему и сказала:

— Французы очень остроумны, вы знаете...

— Да, — отвечал Маджараки значительно, — особенно Фонтенель. Я читал его в переводе. Он удивительно тонок, например, говоря о том, что с разных небесных тел небо может казаться обитателям этих тел совсем не того цвета, каким представляется оно нам по причине другой окраски атмосферы... И, упоминая о каком-то цвете... по-  
10 ложим, розовом... не помню... говорит так тонко, обращаясь к знатной госпоже, своей читательнице: «Я угадываю, сударыня, что вы теперь думаете: как хорошо бы сделать такое платье?»

— Это очень мило, прелестно! — сказала Маша.

Злой Михалаки, знавший уже наизусть все ресурсы своего старого соотечественника, придумал между тем нарочно нечто такое, что могло быть не совсем приятно английскому консулу.

Он сказал хозяйке дома с самым невозмутимым и не-  
20 винным видом:

— У г. Маджараки удивительно то, что он воздает каждому должное. Он очень уважает французскую словесность, но когда ему, вследствие неприятностей с турками, посоветовали принять французское подданство, он отверг эту мысль с негодованием, — поехал в Одессу и сказал: «Не моя была воля родиться подданным мусульманского государства, но по свободному выбору я могу подчиниться только законам православной Державы...» Г. Маджараки  
тверд как железо в своих убеждениях...

30 — Это прекрасно! — сказала Маша.

Виллартон не остерегся и заметил насмешливо и фамильярно:

— И выгодно... Возвратиться опять в государство мусульманское и пользоваться в нем всеми удобствами русской протекции...

Маджараки вспыхнул, и глаза его засверкали; он задрожал:

— Эти руки!.. — воскликнул он, показывая свои руки, — эти руки были в турецких колодках... Тяжелые цепи за одно только подозрение... обременяли это старое тело... И если я жив, если меня не кинули в Марицу с камнем на шее, если меня не убили, не повесили на суку адрианопольского дерева, то этим я обязан православной русской крови, которая проливалась за христиан Востока, со времен Великой Екатерины и до последней несчастной войны против Франции, в союзе с двумя мусульманскими Державами...

Маджараки был уже на ногах... он опять фыркал: <sup>10</sup> «Пфф! Пфф!», выходя из себя, и сжимал кулаки.

Богатырев вмешался; он догадывался, что хочет сказать иступленный философ, и спросил:

— Какие же две мусульманские Державы?.. Турция одна...

Маджараки, забыв всю свою формальную почтительность, взглянул на Богатырева с высокомерною улыбкой, как на бессмысленного ребенка, даже помолчал почти с презрением и наконец промолвил, небрежно улыбнувшись:

— Самая великая и вредная истинному Христианству мусульманская Держава в мире — это Великобритания... <sup>20</sup> В числе ее подданных...

Хозяин встревожился и поспешил перебить его:

— Вы, может быть, не знаете, кто перед вами, — это г. Виллартон, английский консул...

Маджараки (который знал это очень хорошо) притворился и переменил тон.

— Прошу его сиятельство извинить меня, я не имел чести до сих пор встречаться, — сказал он плутовато и смиренно.

Виллартон покраснел. Он, видимо, был недоволен, но не желая, конечно, в этом сознаться, воскликнул: <sup>30</sup>

— О, ничего, ничего! Продолжайте, продолжайте!.. Это разговор частный... Меня очень интересует ваше мнение... А что вы думаете, например, о будущности Босфора или Константинополя?..

Это было с его стороны довольно ловко придумано, чтобы затруднить всех нас. Мы все замерли на минуту... ждали, что скажет старик.

Маджараки немного поколебался, немного подрожал в каком-то страстном и сдержанном волнении и наконец ответил так, обращаясь прямо к Виллартону:

— Насчет Босфора и прекрасной столицы, украшающей берега его, я, ваше сиятельство, должен ответить вам так: тот будет прочен на берегах этих и тот будет всем жителям этих стран приятен, кто на всякий западный товар наложит в Дарданеллах *сто на сто*... Торговые и промышленные западные Державы погубили в Турции всякую промышленность и развратили нас ложною роскошью... Если султан в силах наложить эти сто на сто, да здравствует султан!.. Пффф! Пффф!..

Отвечено было прилично, оригинально и умно; мы все, кроме Виллартона, были довольны...

Вскоре после этого Маджараки простился и ушел. А немного погодя собрались и мы идти домой. Маша нашла случай сказать мне тихо:

— Нам не удалось почитать Жуковского. Тем лучше. Приходите утром: мы будем одни...

20 Потом она посмотрела на меня внимательно, показала рукой на мой лоб и заметила:

— Вы хорошеете все... Какое у вас сегодня милое выражение — доброе, ясное такое... «L'amour est un prisme que nous portons au front et qui illumine nos entrailles»... Откуда это?

— Не помню...

— Поищите дома. У вас эта книга есть...

— L'amour rouge qui? — спросил я...

— Rouge madame Чобан-оглу, конечно... у вас такой гадкий вкус...

30 Мы простились и вышли вчетвером: Богатырев, Виллартон, Михалаки и я. Кавасс нес впереди фонарь. Консула шли рядом и молча за ним. Мы с Михалаки сзади. Вдруг из темноты соседнего переулка послышался топот бегущих толпой людей и раздался отчаянный вопль турецких пожарных: «Янгын вәр!» \*

---

\* Пожар! «Пожар есть» слово в слово.



Мы все приостановились, но Богатырев грубо сказал кавассу: «иди прямо! что́ ты стоишь!..»

И мы опять пошли...

Пожарные, занятые своим делом, бежали прямо на нас. Они несли на себе тяжелую трубу и продолжали кричать, чтобы бедствие не застало спящих обывателей врасплох и чтобы встречные на улице люди сторонились заранее и не задерживали бы их.

Они были уже близко, когда Богатырев, вдруг остановившись, сорвал чёрный кожаный чехол со своей белой фуражки, чтоб она была виднее в темноте, и закричал еще громче их своим сильным голосом:

— Куда вы, ослы? Стой... не видите вы, кто перед вами!.. Негодяи! Али! Вынь ятаган — руби их!..

Али, не колеблясь, мгновенно правою рукой извлек ятаган, а левою почти бросил фонарь на землю и сделал шаг вперед, приготавливаясь беспрекословно кинуться на целую толпу. Пожарные тотчас же остановились, расступились, прижались к домам молча и почтительно, и мы прошли... 20

Я был возмущен этим поступком консула, этою ненужною несправедливостью, этим бесполезным эффектом.

Я всегда любил то, что́ нынче выдумали звать самодурством; особенно любил я самодурство национальное, во имя *идеи*; но это было глупо, неуместно, даже низко, по моему... О! если б эти пожарные были «честные» граждане — республиканцы Цюриха и Берна или самоуверенные подданные *узурпатора с раскомаженными усами*, которого куаферы в кепи тогда еще не были так восхитительно проучены при Вёрте и Седане... Тогда я бы не сказал ни слова... Но эти бедные турки!.. Они ведь спешили на доброе дело! Довольно с нас и того, что́ мы *обязаны* делать *против них* для явной политической пользы единоверцев наших... 30

«Ce n'est même pas de bon goût!» — думал я про себя с негодованием...

Михалаки, напротив того, и этому был рад — позднее он «шипел» мне, что все это Богатырев делал хорошо: надо показать этому Виллартону, что энергический русский агент имеет право *все делать здесь безнаказанно...*

Если я, русский, никогда с этим согласиться не мог, то какое же бешенство должно было обуревать в эту минуту душу английского консула, рожденного и выросшего в Турции?!

Вероятно, от избытка гнева Виллартон на этот раз сдержался и не сказал ни слова.

<sup>10</sup> Вот после этого-то случая он вовсе перестал ходить в наше консульство, и даже от Антониади стал все больше и больше удаляться, стал суше обращаться с ним при встречах и ни разу не был у него в доме в течение целого месяца...

Встревоженный этим хиосский купец оказывал ему сначала всякого рода внимание, конечно — «в пределах своего личного достоинства» (Антониади любил так выражаться); но Виллартон не уступал, и Антониади, скрепя сердце, должен был теперь понять, что он надолго, если не навсегда попался в русские «сети». Надо было держаться еще крепче за русских, когда английский консул сам, безо всякой вины с его стороны, не хочет его больше знать!..

<sup>20</sup> Для меня лично обстоятельства слагались все выгоднее и выгоднее... Удаляясь от Богатырева и Антониади, Виллартон стал искать сближения со мною, посещения его *запросто* день ото дня учащались...

Я был очень рад и беспокоился только о том, чтобы Велико не попадался ему без крайности на глаза...

Я сказал, почему я этого не мог желать.

Однажды я сидел на верхней галерее моего милого пестрого жилища и наслаждался...

Велико, веселый и нарядный, стоял предо мной с подносом, а я курил наргиле, пил кофе и расспрашивал его кой

о чем деревенском: как одеваются у них в Сазлы-Дерé женщины, что носят они на головах, белые платки или что-то вроде фесок с повязками, как я видел в иных местах, какого цвета фартуки?.. В это время в Москве готовилась этнографическая выставка и ждали славян на съезд общения «любви»... Богатырева просили распорядители выставки доставить одежды и утварь, но он, ко всему подобному, прямо не касавшемуся службы, довольно равнодушный, принял эту просьбу чуть не насмешливо и предложил мне и ответ написать, и сведения собрать о том, какие нужны одежды и что́ будет это стоить. Я взялся за это дело с величайшим рвением и думал, что сделаю пользу и заслужу благодарность... Мы так занялись с Велико нашею беседой, что и не заметили, как Виллартон вдруг вошел в незапертую на этот раз дверь и громко спросил уже на лестнице: «эффенди дома?» И вслед за тем показался уже и сам в дверях галереи... Велико не тронулся с места; только покраснел немного...

Виллартон тотчас же, после первых приветствий, сказал мне по-турецки (вероятно, нарочно, чтобы Велико понял его).

— У вас новый служитель?

— Да! — сказал я, — болгарин...

— Хороший мальчик! Как тебя, мальчик, зовут? — спросил он...

Виллартон, глядя на Велико, старался сделать выпуклые глаза свои самыми... самыми... не понимаю даже какими... или очень равнодушными, или ужасно многозначительными. Я знал очень хорошо эти выпуклые глаза его. О! как я их помню и теперь... я умел по привычке читать в них многое, но изобразить словами прочитанное не могу хорошо...

— Как тебя, мальчик, зовут?

Не правда ли, это очень просто... Как тебя, мальчик, зовут? Но глаза при этом становились *многозначительными*: они делались вдруг равнодушными до уныния, до печали... Да! до печали... Я это хорошо сказал, — они дела-

лись равнодушными до печали. Это верно. Но что значило это равнодушие? Было ли это неудачное желание скрыть какое-нибудь злоумышленное любопытство... Или, напротив того, очень тонкая угроза?

«Вы думаете, гг. русские, что я очень весел, жив, откровенен и даже как будто ветрен иногда и неосторожен? Да, это мой характер, правда... Но я докажу вам, что бороться с вами я умею и буду мстить вам на каждом шагу за ваши частые победы надо мною в здешних делах...»

— Как тебя, мальчик, зовут?

У Велико глаза потускнели; но он ответил твердо и почтительно: «Велико, эффендим».

— Гайдук Велико! (Разбойник Велико), — воскликнул англичанин, раскидываясь с хохотом на диване. — Ты знаешь песню: «Гайдук Велико»?

— Знаю, — чуть-чуть краснея, отвечал мальчик.

— А это знаешь:

20 Покара́ло й ма́лко момче́,  
Ма́лко момче́ си́во ста́до  
Из корня султа́нова  
Султанова султан-бе́йска.  
Хо́ра думат ма́лко момче́...\*

— Нет, этого не слышал.

— А из какой ты деревни?..

— Из села Сазлы-Дере.

Опять унылое равнодушие на бородатом и веселом лице мистера Виллартона.

— Сазлы-Дере? Сазлы-Дере? Где это Сазлы-Дере?

30 — Недалеко, часа три отсюда, — вмешиваюсь я, чтоб облегчить душу бедному Велико, и потом говорю ему:

— Подай господину консулу кофе...

---

\* Перевод: «Молодой малый погнал; Молодой малый серое стадо; По пастбищу султана; Султана царя господина. Люди говорят молодцу...» и т. д.

Я говорю это в надежде, что инквизиционные вопросы прекратятся. Пока Велико ходит за кофеем, английский консул, может, займется чем-нибудь другим... Я постараюсь даже занять его. Начну жаловаться нарочно на злоупотребления турецких чиновников. Он будет спорить, кричать, вспрыгнет с дивана и наконец воскликнет: «Я вас прошу не оскорблять меня! Турция — это моя отчизна... Я здесь родился, здесь вырос и люблю Турцию больше, чем самую Англию...» Я немного уступаю, и мы за это не поспоримся. Или скажу ему, что прочел в русских газетах, какое множество униатов в Польше перешло в Православие, а он тоже вскочит и вскрикнет: «Ah, bah! Ses uniates!.. Nous en savons quelque chose! Им русские солдаты штыками раскрывают зубы для того, чтобы по мог насильно влить им причастие. Вот ваша пропаганда!.. Вот ваша свобода!..» И как он покраснеет, как он ужасно раскроет глаза свои! Я уже видел все это, все это знаю...

Мне нужно теперь, чтоб он только забыл о Велико... А если он рассердится за униатов и турок и еще упорнее будет стараться узнать, что это у меня за болгарин и откуда он? Нет, я не буду бранить турок... Я буду бранить французов, это ему будет приятно, и я буду искреннее. Я турок предпочитаю французам. Французы выдумали демократический прогресс. На этом мы с Виллартоном скорей сойдемся... Или начну я хвалить те английские обычаи и вкусы, которые мне знакомы: святки, бокс, пунцовые мундиры; он это тоже любит. И в этом я буду естественен. Англичане, даже и враждующие против нас, мне все-таки очень нравятся; или еще лучше, буду турок хвалить?.. Итак, хвалю турок... хвалю их от души...

— Вчера (так я приступаю к моей «политике»), — я был в Эски-Сарае и вспомнил вас, г. Виллартон; в сущности я с вами во многом согласен, если хотите... Иду я по берегу реки. Гуляло тут и кроме меня много народа. Вижу, пожилой, такой почтенный турок разостлал под деревом коврик и молится при всех... Он никого знать не хочет, он

кладет земные поклоны свои и не обращает внимания на то, что мимо проходят насмешники или ненавистники его веры... Вот это я чрезвычайно уважаю в турках.

Я не ошибся в расчете. Виллартон был так тронут моим замечанием, что вскочил с дивана и воскликнул:

— Вы знаете эти стихи? Последние слова взяты из Корана:

«Какая рука и какой язык могут заплатить долг благодарности Богу?» И точно, Бог сказал: «Воздайте мне благодарность, о, потомки Давида! ибо только немногие из слуг моих умеют быть благодарными».

И глаза его (я заметил это тотчас же) немного покраснели от наворачнувшихся на них мгновенных слез... Выпрямившись предо мною, Виллартон повторил еще раз... И хотя эта цитата была не особенно кстати и не слишком выразительна, я ее нашел прекрасною, а мои дипломатические действия еще во сто раз прекраснее... Однако кофе не несут!.. Придет Велико, Виллартон опять начнет свой допрос...

20 Вот-вот шаги... несут кофе... Боже мой... Однако как хитры эти единоверцы наши! Я сказал этому юноше, болгарину, почти отроку: «Велико, подай кофе г. консулу!» Он должен был исполнить буквально слова мои, сам подать ему, однако он предпочел прислать с кофеем кавасса-турка, а сам скрылся... А может быть, это, напротив того, глупость?.. Подозрительно... Но Виллартон стал спокойно пить кофе и о Велико не сказал ни слова. Тогда я спросил у кавасса:

— Где же Велико?.. Отчего не он подает кофе?

30 — Он подметает теперь вашу комнату...

— Ну, хорошо... Только скажи ему, все-таки, что он глуп: кофе подавать его дело, а не твое...

Между тем оживленное, подвижное лицо Виллартона вдруг принимает особенное какое-то выражение, почти победное.

— Я все вспоминал, где я его видел прежде; я вспоминал все время, где я заметил его красоту?.. в числе солдат

Садык-паши или в униатской церкви?.. И вспомнил, что это было в униатской церкви... Я заходил туда раз из любопытства... Он был там *кандильянафтом*.\* А насчет казацких этих полков, может быть, я ошибаюсь. Как будто мне кажется, что я видел его где-то в мундире. Но это, может быть, и ошибка. А в униатской церкви в Киречь-Хане я его видел — это верно. На нем была эта самая малиновая *аба*.\*\*

Мало-помалу лицо Виллартона во время этих слов опять доходило до выражения того многозначительного, притворного уныния, которое мне так было знакомо, и он кончил свою значительную речь таким простым и, по-видимому, небрежным вопросом:

— Он недавно, значит, оставил униатство, он перешел опять в ортодоксию?..

— Да, недавно, — отвечаю я с улыбкой, которую стараюсь сделать настолько же двусмысленною, насколько загадочно его «уныние». — Да, он перешел к нам. Мы раскрыли ему зубы русским штыком, как вы говорите.

— Не золотым ли ключом? — отшучивается Виллартон...

— Чем придется, — отвечаю я. — С такими искусными соперниками на Востоке, какими мы окружены... что делать... Например, хотя бы вы. (Я знаю, что Виллартон, который год или два тому назад шагу не давал сделать спокойно католической пропаганде, теперь старается помогать *даже и ей*, с досады на наши последние удачи, по злобе на русскую препотенцию и с отчаяния, что наш ловкий Богатырев поставил его совершенно в изолированное положение.) — Из одного ли любопытства вы посещаете униатские храмы?

Виллартон, который долго оставаться в одной позе не мог никогда, давно уже ходил по комнате, высоко поднимая носки при каждом шаге, как бы маршируя, и весело

---

\* Пономарем.

\*\* Сукно.

притопывая каждый раз. Он вдруг остановился в удивлении и, опустившись близко около меня на диване, оборотился ко мне лицом и начал говорить дружески, так доверительно и так душевно:

— *Escoutez!* Я самый удобный и простой коллега. Со мной можно жить. Я буду прям. Я знаю, вы подозреваете, что я потворствую католикам?

Я хотел протестовать, но Виллартон, возвышая голос, продолжал убедительно:

<sup>10</sup> — Я знаю, знаю... Но, если б и так (хоть это не совсем так), кто ж виноват? Ваш консул очень плохой дипломат. Он вооружил против себя всех; все недовольны им...

Я не хотел слушать и делал нетерпеливые движения.

— Он не только для меня консул, он друг мой... — возражал я.

— Оттого, что он друг, я и советую вам привлечь его внимание на те невыгодные условия, в которые он ставит русскую политику во Фракии. Он еще молод и очень горд; <sup>20</sup> он увлечен удачами. Я отдаю справедливость его уму; он человек лучшего общества, он вполне джентльмен... Но... все-таки, я должен сказать вам правду. Поверьте, я знаю гораздо больше о его действиях, чем вы думаете... Посоветуйте ему... прошу вас... Англия и Россия — Державы могучие, большие, обе консервативные; они могли бы жить так спокойно друг около друга и здесь могли бы идти рука об руку во всем, или почти во всем. Да, впрочем, в высших сферах власти так и делают; но это личное честолюбие местных агентов — большое зло, и оно распаляет <sup>30</sup> вражду. А мы были так дружны с Богатыревым, и я с моей стороны старался всячески помогать ему. Как мы тогда хорошо проводили время! Знаете, я вспоминаю при этом фразу вашего князя Горчакова в его ноте по поводу северо-американских дел. Он там говорит, кажется, так про Штаты Севера и Юга: «Соединенные, они дополняют друг друга; разделенные, они парализуют»... кажется, так, в этом роде... Вот так и мы теперь с Богатыревым: прежде



мы оба были сильны; теперь мы оба стеснены. Видите, как я прям.

Опять у него покраснели глаза. Он в самом деле был прям на этот раз, и с ним это случалось нередко... Он сильно увлекался своими чувствами; он был агент находчивый, изобретательный и деятельный донельзя; но он не мог быть политиком осторожным и холодным; он беспрестанно переходил за черту умеренности и делал ошибки, хотя и умел скоро поправлять их разными ухищрениями и изворотами.

На все это я ответил ему так:

10

— До меня, признаюсь, все, что вы говорите, не касается прямо, и не мое дело в это входить; вы поговорили бы сами с господином Богатыревым.

Англичанин выпрямился и сухо возразил:

— Нет, этому противится мое достоинство! Это невозможно!

Сказав это, он взял шляпу и очень весело и мило пригласив меня к себе обедать на следующий день запросто, пожал мне руку с дружескою выразительностью и ушел или, лучше сказать, бегом сбежал с моей лестницы. Я не успел и проводить его донизу, как следовало по обычаю местной учтивости. Немного погодя я узнал, что, сойдя так быстро по лестнице, он спросил у кавасса: «где Велико?» И, получив ответ, что на кухне, мимоходом заглянул туда, и когда мальчик, смущенный, вскочил перед ним, он со смехом сказал ему по-турецки: «А я тебя ведь знаю. Ты кандильнафтом был у франков в церкви. Я узнал тебя!» Велико (рассказывали люди) побледнел и не успел еще ответить, как Виллартон уже опять принял серьезный вид и, поглаживая важно свою длинную бороду, прибавил патриархально и все по-турецки:

20

30

— Это ты, дитя мое, очень хорошо сделал, что оставил унию. Не надо хорошему человеку менять веру отцов. Ты должен быть «ортодокс-булгар», а не «унит»... Э! прощай... Будь здоров!.. — и ушел, щелкая бичом.

Узнав эти последние подробности от моих людей, я тотчас пошел к Богатыреву, чтобы посоветоваться с ним.

[ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ  
В ОСНОВНОЙ ТЕКСТ  
«ЕГИПЕТСКОГО ГОЛУБЯ»]

Глава [XXIV]

В Консульстве я узнал, что курьер наш, который ездил каждую неделю из Константинополя в Рушук и обратно, только [что] привез из Посольства толстый пакет.

Богатырев сидел у стола в Канцелярии перед кипой бумаг.

<sup>10</sup> Он подал мне одну их них и сказал:

— Прочтите; — я думаю вас побеспокоить на казенный счет в Родосто. Дня на три.

Родосто — уездный городок на берегу Мраморного моря, который входил в состав адрианопольского вилайета и нашего консульского округа. Там жили с своими семьями, торговали и занимались разными ремеслами человек, может быть, около двадцати «русских подданных», домохозяев греков и армян. Для защиты их и для присмотра за ними был у нас назначен в Родосто некто г.

<sup>20</sup> Лене — армяно-католик и французский *agent consulaire* «ad honores». Из известных нам людей Православного или Григорианского исповедания там не было никого годного ни по положению, ни по некоторой благонадежности — и потому Богатырев для исправления всех формальных и тяжёбных нужд избрал этого французского агента, и наше Правительство разрешило г-ну Лене поднимать вместе с французским и русский Консульский флаг. Жалованья же он ни от нас, ни от Франции не получал,



Творчество... жизнь...   
... и не было...   
... и не было...

Видеть...   
... и не было...

Пожалуйста...   
... и не было...

Свое...   
... и не было...

Она...   
... и не было...

~~Тогда...   
... и не было...~~

Она...   
... и не было...

Она...   
... и не было...

Фрагмент черного автографа повести «Подруги»

счастливей уже и тем, что над каменным домом его на берегу моря по праздникам веют флаги таких двух великих Держав. Русским флагом он с виду по крайней мере дорожил еще более, чем французским; — древко наше было у него длиннее французского, и флаг трех продольных цветов развивался аршина на два выше над флагом трех поперечных. (Оставалось жалеть только об одном, — что цвета были одни и те же у Франции — представителя «мира отходящего», и у России — вождя «мира возникающего...») 10

Лене был добрый Католик-семьянин, человек очень смиренный, осторожный, робкий; — подданные наши, лавочники, мясники, слесаря, торговцы пшеницей и баранами (все народ трудовой, алчный, сердитый, страстный) ненависти к нему никакой не имели, но не боялись и не слушались его.

Не раз уже г. Лене в донесениях своих жаловался нам то на бакала Киркора Аведикова, то на бояджи Христо Понадопуло; то на куюнджи Ставро Мустаки; то на хас-сапа Кеворка Поппраза; — они не слушаются, ссорятся, 20  
грубят и т. д.

Не могу не вспомнить при этом, что простодушный и в то же время искательный Лене почти всякое официальное донесенье свое, самого даже печального тона, кончал веселой припиской в этом роде: «Честь имею представить Вам, г. Консул, две сотни отличных устриц, только что происшед(ших) из моря», или: «Спешу послать Вам очень хорошего Омара».

Но на этот раз ни омара, ни устриц, — а только один вопль отчаяния и даже угроза, что откажется от своей 30  
должности, если ему не будет дано удовлетворения. Некто Ампарцум-Бармян, самый богатый из русских подданных в Родосто, проиграл в торговом суде процесс, и проиграл основательно; — денег не платит; сына своего противника турецкого подданного избил; ни за долг, ни за побои эти в тюрьму нейдет и г-ну Лене говорит невыносимые дерзости...

В самом деле надо было нам вмешаться; надо было ехать туда, разобрать все как следует и что-нибудь одно — или сменять г. Лене как неспособного человека, или заставить подданных ему повинаться.

— Когда же мне ехать? — спросил я.

— Поезжайте послезавтра утром. Я приготовлю бумагу для мосье Лене, которая будет уполномочивать Вас действовать круто... И кроме того я попрошу Вас сегодня и завтра переписать несколько других донесений и писем...

<sup>10</sup> — Бумага будет французская, — заметил я, — это для Лене; — а вы бы приказали перевести ее для подданных по-гречески или по-турецки.

— Это правда, — сказал Консул, — я думаю, что по-турецки лучше, потому что армяне по-гречески плохо знают, а греки по-турецки все здесь говорят...

После этого я рассказал ему про утренний визит Виллартона и про то, что судьба Велико меня беспокоит...

— Особенно когда Вы уедете, куда я его дену. Перейду в Консульство, и он будет у всех на виду.

<sup>20</sup> Лицо Богатырева стало мрачным.

— Когда еще я уеду! Вот бабушка моей невесты, кажется, хочет, чтобы мы в Ницце венчались. Она оставляет ей тысяч двести наследства... Этим шутить нельзя... Теперь идет об этом переписка без конца.

— Что же мне делать с Велико?

<sup>30</sup> — Пока вы будете в Родосто — посидит дома за воротами; — кто к вам пойдет без вас; а приедете назад — обдумаем; — если Виллартон будет к Вам таскаться, я думаю, Велико можно будет или в Константинополь с курьером отправить, или кому-нибудь их здешних отдать — или Чобан-оглу, или хоть бы Антониади. Дом у них велик, и Виллартон теперь сердится и у него редко бывает... Лучше всего бы к Михалаки; — он уж уберег бы его; да, пожалуй, он теперь не захочет... Кому ж приятно, что его лакеем называют...

— Уж вы бы это оставили... — заметил я, — я не меньше вас ценю его на службе, но к лакею либеральному

я его приравнял правильно и никогда от этого не отступлюсь...

Богатырев на это не ответил; но, как будто вспомнив внезапно, сказал: «Виноват! — Вам есть письма» и подал мне два письма.

Одно было из дома, из России, и в нем ничего не было особенного, ни для радости, ни для горя. Другое было из Константинополя от одного из младших секретарей Посольства, с которым я очень подружился.

Я раскрыл его, прочел страницу и был просто поражен следующими словами:

«Большой мемуар о политических мнениях влиятельных людей и целых общественно-национальных групп во Фракии, о котором вы мне писали, уже здесь давно в сокращении, без всякой препроводительной, которая и не нужна, потому что под этим трудом подпись не Ладнев, а Богатырев. Ваш Консул весьма бесцеремонно воспользовался вашими наблюдениями и взявши видно на себя только работу сократить изложение... присвоил его себе — sans foi, ni loi... Или, может быть, только sans foi; потому что незаконного по форме, конечно, тут ничего нет. — Консул мог найти мемуар своего «помощника» слишком длинным и сократить его, — он мог ему просто даже *заказать* эту работу, без всяких инициатив с его стороны (т. е. с вашей), — так что по букве он прав; но однако, какой же он все-таки «не великодушный» (я пишу так потому, что знаю, что вы ненавидите нынешний *стиль à la* Гоголь, Щедрин, Медрин и К; а то бы я сказал просто какая «бестия» или какая «свинья» ваш красавец Богатырев). — Богат, моложе вас и старше по службе, возмет за невестой большие деньги; — ему бы выдвигать вас, а он!.. Нет, как хотите — это свинство, мой милый. — Хорошо бы Вам побывать здесь самим. Пора вам, давно пора получить самостоятельный пост... Приезжайте!..»

Я читал это письмо, сидя на турецком диване Канцелярии; Богатырев писал у стола — ко мне спиною... Я кончил письмо и долго глядел на эту спину; на темно-зеленое

сукно его русской со сборками шубки, сшитой по образцу моей голубой и по моему совету...

Я глядел и думал: «Однако!.. он очень просто иногда поступает!.. Уж не слишком ли это просто? И не поехать ли уж мне из Родосто, не спросясь у него, в Константинополь. Не повидаться ли с Послом?.. Однако! именно что очень просто?.. Спросить теперь у него о моей черновой записке или позднее?.. Подумаю...»

10 И с этими мыслями, не особенно, впрочем, еще растроженный и огорченный этим бюрократическим *плагиатом*, я встал с дивана в намерении пойти в *Кастро* — проститься с «нею»...

— Вы куда же это? — спросил Богатырев приветливо, когда я взял шапку.

— Да — кой-куда пока схожу...

— А! «Кой-куда!» — воскликнул он значительно. — Ну, что ж... *Bonne chance! Bonne chance!* Обедать-то только сюда приходите. Надо вечером дочесть нам с Вами «*M-g de Samors*»; хорошая вещь!.. *Au revoir!* Буду ждать  
20 Вас к обеду.

Я вышел на улицу все в раздумье — как мне быть и ехать ли мне из Родосто в Царьград или нет!.. Я смолоду очень часто не доверял сам себе и не всегда благосклонно смотрел на природные порывы моих чувств и моего сильного воображения. Я их опасался; — я хотел быть во что бы то [ни] стало хорошим «чиновником», ненавидел все эти выходки «независимости» на Государственной службе, которую чтил и любил в *идее* гораздо больше, чем многие из свободных призваний...

30 С этими мыслями я шел к Маше; с ними пришел в Кастро и, только очутившись в тесных его улицах, я сказал себе: «Увидим! Теперь оставим это до другого часа!»

Я застал ее в пестрой и милой гостиной за книгой — за последним номером «*Revue des deux mondes*».

Проходя через залу, я видел, как мад(ам) Игнатович давала урок из Священной истории маленькой Акриви, и



остановился на минуту, глядя на них. Мад. Игнатович спросила у девочки:

— Ну, что же делал в это время Авраам? Чем он занимался? — спрашивала мад. Игнатович.

— Он сидел под дубом Мамврийским...

— Акриви! Сидел! только сидел... — с упреком воскликнула учительница...

— Простите, — отвечала девочка серьезно, — я очень развлеклась... Я думала о м-сьё Ладневе.

Я поцеловал ее за это крепко, но посоветовал забыть<sup>10</sup> обо мне, когда она учится Закону Божию, и пошел к матери.

— Дочь моя вас ужасно любит, — сказала Маша.

— Я не знал этого, — отвечал я с радостью. — Я думал, напротив... и как-то странно немножко даже боялся ее. Знаете, — не совсем чистая совесть... При встрече с ребенком... В ребенке особенно — в девочке... Нет — это слово «девочка» мне сегодня не нравится. При встрече с отроковицей. Я так хочу выразиться... К тому [же] она гораздо больше похожа на вашего мужа, чем на вас...<sup>20</sup>

Мад. Антониади покраснела и, взглянув мне прямо в глаза, спросила:

— Не чистая совесть?.. У вас, отчего?..

Я притворился немного смущенным или вроде этого и сказал *будто бы* нерешительно:

— Une admiration, Madame, qui est... peut être... trop vive...

Она прервала мою французскую речь.

— Ничего! — сказала она по-русски и посуше обыкновенного. — Это «admiration», может быть, очень лестная вещь, не мне одной, но и всем моим близким. *Ваша* совесть — это ничего. *Моя* — это другое дело... Понимаете...

Это ясное и резкое разъяснение дела было для меня совсем неожиданно, и тут уж я смутился и сконфузился не притворно.

— Вы правы, — может быть... Не знаю... только...

— Что? Говорите...

— Вы будете недовольны...

— Нет — не буду; говорите.

— Это мне ужасно неприятно, если у вас всегда совесть совершенно чиста... Понимаете — *совершенно*... Ну, за чем же совершенно... Это ужасно...

Я в самом деле был почти взбешон и думал: «что же это за игра? — То „l'amour est un prisme!“ и эти комплименты... То эта сухость... Я терпеть не могу, когда мной играют...»

Я говорил и еще что-то в этом тоне, не скрывая своей искренней досады, жалуясь на скуку и тоску и т. п.

Она не отвечала на все это ни слова; — позвонила, велела подать мне кофею и вышла куда-то на минуту и вернулась очень скоро с небольшим портретом в руке. Это был старый дагерротип ее мужа, снятый в 40-х годах в Бухаресте или в Яссах, не помню. Ему тогда было всего 17 лет; он был изображен сидящим в кресле у стола, на котором лежала книга. Сидел он нескладно, застенчиво; одет был в таком полосатом халатике, который носили и носят еще и теперь многие люди простого звания в Турции. Лицо его, без усов и бороды, совсем еще отроческое, но серьезное и немного надутое — поразительно напоминало лицо Акриви. Нет — оно не напоминало только — это было почти одно и то же лицо.

Те же мягкие черты, — те же тихие, серьезные, покойные, очень темные глаза... Та же (казалось мне)... как бы честная какая-то задумчивость — и то же внимательное к *чему-то*... или к *кому-то* недоверие...

Я смотрел на этот старый и бедный портретик, поворачивая его и туда и сюда, чтобы свет не так сильно играл на металлической доске... Этот «бедный тогда» мальчик был так просто, и неразвязно, и смиренно одет. О! Боже... Другой — *живой* — портрет... был так близко. Тот *живой* и *уже милый* сердцу моему портрет, который в белой пелеринке и фартучке здесь рядом, в зале... забывал свой урок... от радости, что увидал меня.

Я видел перед собой Антониади — но другого, не того, которого я знал... Не бородатого коммерсанта, с узкими плечами и красивыми руками, которые до злобы возмущали меня в иные минуты, напоминая об «отвратительных правах» его... Нет — я видел перед [собой] отрока, бедного, и еще чистого душою, твердого в нужде и труде, — как тверды в нужде и труде неустанном смолода очень многие из южных единоверцов наших...

И эта дочь... Эта дочь, две капли воды схожая... Растет теперь богатой и образованной невестой... благодаря трудовым подвигам его... Благодаря его прежним страданиям, конечно... И эта молодая женщина — которая стоит передо мной — так хорошо одетая,... это благоухание одежд ее... и это его подвиг... его венец... его отрада... Это ужасно!... .. Зачем, зачем я так добр и мягок сердцем. — О Блуменфельд, злой Блуменфельд... и ты, Богатырев коварный и упрямый, вы не поддались бы этому глупому чувству... и вы правы, что смеетесь надо мной...

Однако...

— Ну — что же? — говорит она. — Не правда ли, точно моя Акриви?..

— Похожа, — отвечаю я, ставлю дагерротип на стол и молчу задумчиво, не желая даже и скрывать моего тихого и глубокого волнения...

И она садится молча на диван; берет работу и говорит: — Я вижу — вам его портрет понравился... Не правда ли, как похожа на него Акриви!.. Дайте мне его сюда...

Она еще раз взглянула, заметила, что эти отливы дагерротипа несносны и поставила портрет на стол.

Я не знал, что ей сказать, а самолюбие мое нестерпимо страдало. — Мне было стыдно, и еще стыднее оттого, что я не в силах был скрыть этого стыда...

Мы еще молчали; она вышивала; я курил.

Наконец она спросила:

— Вы недовольны?

Я молчал.

Молчал, молчал и наконец спросил ее как можно суше и покойнее:

— Позвольте мне напомнить вам один из наших разговоров. Здесь — в этой зале... Когда мы в первый раз были у Вас вместе с Богатыревым... Только я желал бы, чтоб вы были со мной откровенны и сказали бы мне правду.

— Я скажу вам правду, — отвечала она.

— Помните — вы спрашивали меня о загробном состоянии душ, которые здесь на земле разделены разными препятствиями...

— Помню. Меня всегда занимают такие мысли. Я и теперь об этом думаю... Так что ж?..

— О ком же вы это говорили тогда... Я думал, обо мне...

Маша улыбнулась и пожала плечами...

— Да, иногда — об вас... а иногда об муже...

— Об муже? — спросил я с удивлением.

— Да. — Что ж тут удивительного... Вы мне очень нравитесь, ваш ум, ваш характер... все мне нравится... А мужа... я люблю, да, люблю (повторила она с ударением). Люблю и уважаю. С вами у меня гораздо больше согласия во вкусах, в мыслях. С мужем у нас, м<ожет> б<ыть>, и нет этого... Но огорчить его, сделать его несчастным... Это было бы ужасно... Это было бы отвратительно!..

Она, качая головой, закрыла при этих словах себе лицо красивой рукой, украшенной кольцами...

Мне движение это показалось театральным, и я сказал очень холодно:

— Кто же говорит об измене... Я никогда на это не претендовал... Но Вы все-таки не потрудились мне ответить на то, о ком из нас вы думали тогда, когда шла речь о Фламарионе?..

— Ну, разумеется, об вас... Только я нахожу, что это мне можно думать и об муже моем... Видите как... Например — у нас здесь в этой жизни мало согласия во вкусах, в привычках даже... Но нас соединяет религия... Le mystère

du mariage devant le Christ... Да! согласитесь — или это таинство, или *ничего*... Неужели вы этого не признаете?..

— Не знаю, — сказал я мрачно... — право — не знаю... (и я действительно тогда не знал, несчастный, *именно того, что нужно знать!*)...

— Вы, значит, меня в этом не понимаете! — воскликнула она с досадой, почти с отчаянием...

— Не понимаю... Я ведь не поклонник — вы знаете это давно, семейных добродетелей...

— Зачем вы себя любите представлять в таком ужасном виде... Вы душой гораздо лучше и честнее, чем говорите. Перестаньте, мне это очень неприятно от вас слышать...

— Вам неприятно это слышать, — возразил я насмешливо, — потому что у нас с вами много сходства во вкусах и в мыслях. Но я прям, а вы нет...

— У вас нет тех обязанностей, которые есть у меня... Вы свободны...

— Послушайте, однако, Марья Спиридоновна. Ведь я сказал уже раз, что я ни на что, кроме внутренней симпатии, и не претендую... И желаю иметь одно право — видеть вас часто, говорить с вами... Даже ссориться... и говорить вам неприятности; если позволите...

— Я этого сама, вы знаете, желаю... И, как видите, сумела и мужу внушить настолько доверия, что он почти рад вас видеть в доме...

— Почти?..

— Я говорю *почти*, потому что он вообще осторожен и не доверчив... К тому же вы знаете, как греки боятся общественного мнения... Ведь они совсем на русских в этом отношении не похожи... Однако — он позволяет мне вас часто принимать... и где же? здесь — в провинции...

— Ну что же, — сказал я, пожимая плечами, — о чем же речь... все довольны... Я не претендую ни на что большее...

— Я надеюсь, — вы меня уважаете...

— Ну это другое дело! — возразил я опять с досадой...

— Как другое дело? — спросила Маша с удивлением.

— Так! — Я не считаю себя обязанным уважать женщин за их правила или что-нибудь в этом роде... У меня на все это мой собственный критерий... Я, может быть, готов уважать больше женщину за хороший вкус, чем за хорошее поведение. Надо все-таки знать для кого и для чего соблюдаются правила... Стоит ли?..

<sup>10</sup> — То, что вы говорите, очень не хорошо, очень не великодушно! Я не ожидала этого от вас! — сказала Маша уже без малейшего кокетства с непритворным и таким живым выражением негодования, что я сильно смутился в глубине сердца, но хотел «выдержать характер» и вставая сказал:

— Что же делать! я сказал вам правду... я не хотел вам лгать. А если это вам неприятно, то я лучше уйду...

— Уйдите, — отвечала Маша. — Я вас не держу, если вы так расстроены, что даже на себя клеветеете...

<sup>20</sup> Я собирался еще больше рассердиться... (Каково!.. Она называет мои собственные эстетические правила — клеветой на себя... Каково! Это можно взбеситься!) Но я не успел взбеситься, потому что в зале раздался крик Акриви: «Папаки! Папаки!..» и послышался голос Антониади...

Я поспешил успокоиться и сел...

Антониади пришел, поздоровался; он был очень прост и внимателен.

<sup>30</sup> При нем я очень скоро остыл и утих и стал даже охотно говорить о постороннем...

Уходя, я сказал им обоим, что еду дня на два, на три в Родосто, по делам службы.

— Когда? — спросила мад(ам) Антониади с некоторой живостью.

— Консул хочет послать меня, кажется, послезавтра.

— Это досадно, — заметила Маша. — Греческий Консул, кажется, послезавтра хочет устроить маленький

танцевальный вечер. Я никогда не видала, как вы танцуете... Нельзя ли вам остаться на один день...

— Не знаю, — ответил я сухо. — Подумаю. Едва ли Консул согласится...

Антониади тоже как будто пожалел. Он заметил, что танцующих мужчин здесь так мало! И потом прибавил к жене:

— Он, кажется, хотел пригласить польских офицеров... Они, конечно, хорошо танцуют... Не знаю, правда ли это... 10

После этого я простился и ушел, чрезвычайно расстроенный... Я чувствовал, что я был не прав, неделикатен, жесток... Мне казалось, что ни бессовестный и грубый сердцем Блуменфельд, ни коварный Богатырев не поступили бы так, как я. — Они, конечно, оба употребили бы все усилия, чтобы обмануть как можно скорее этого мужа; не отказались бы даже от старых, но, увы — столь верных средств обольщения, от притворства, от ложных клятв, от уверений в «безумной» страсти, которая их погубит, и потом безжалостно бросили бы эту женщину, 20 раз их самолюбие и чувственность были бы удовлетворены; — но — я... я, который добрее, честнее, благороднее их, — я сделал нечто еще худшее... Я, в глазах женщины самолюбивой и в мужа не влюбленной, постарался так зло и немилосердно унижить этого мужа, уважать которого было для нее утешением...

Я сказал: «Для кого — соблюдать эти правила!!»

Мож(но), пожалуй, еще дразнить (?) мой тогдашний «эстетический морализм» — думать это, как я и думал не раз дома наедине сам с собой, мечтая восторже(нно) об окончательной над ней победе... Но ей, ей самой, это сказать в глаза! 30

Она старалась поэтизировать [мужа] в своих собственных и в моих глазах; — старалась представить себе его добродетельным героем по крайней мере — неустанного и честного труда, а я... А я...

Я шел по людной улице базара задумчиво, почти в самозабвении и все думал, думал... об этом... рассеянно

отвечая на поклоны иных встречных людей, которые меня знали... Уже Консульство было близко; надо было под какими-то тесными воротами на проходном чужом дворе переходить осторожно через глубокую и черную грязь... Я ступал, опираясь на трость, внимательно с камня на камень, как вдруг различил знакомый и громкий голос: «Ah! Touchour rêveur! Touchour poète!..»

И я увидел перед собой Öстеррейхера в форме(нном) австрийском кэпи и в высоких сапогах с большими шпорами и какой-то коротенькой серой куртке с зелеными кантами и разными оторочками.

— Куда идете?.. К Консулу?

— Да, к Консулу — обедать...

— Счастливая встреча, — продолжал он... — Я хотел к вам зайти... Я ходил к Богатыреву пригласить его на одну политическую *partie de plaisir*... Он отказался и советовал мне пригласить вас... Он отпустит! Это будет в высшей степени, в высшей степени интересно...

— Да что такое? Говорите? — воскликнул я...

<sup>20</sup> Öстеррейхер взял меня под руку и отвел меня осторожно по грязи немного в сторону, чтобы кавасс его не слышал даже имен и названий местности, и сказал тихо:

— Черкесы противу воли Правительства поселились в большом лесу — по дороге в Энос... Тот несчастный Осман-Паша, который, помните, тогда обедал с нами у Богатырева... (Он ведь Мутесарифом, вы знаете, в Эносе...) Не может с ними справиться, — они воруют, грабят соседних болгар... Вали-Паша посылает войско, чтобы усмирить их, выгнать из леса и разрушить селение... У меня <sup>30</sup> есть дела австрийских подданных в Эносе, и я хочу присоединиться к отряду и посмотреть на эту оригинальную борьбу азиатцев между собою... Черкесский бунт противу турок... О! они укрепились, как слышно, и намерены защищаться... *Voyons... Consentez, mon cher... Cela sera une aventure!.. Un voyage charmant et des impressions fortes... Même danchèreuses, s'il vous plaît. Partons — après demain... Это должно быть в вашем вкусе... Ничего европейско-*



го — ничего цивилизованного, кроме нас с вами... Да надеюсь еще оружие будет нынешнее... Это ведь ничего?.. Это не беда — оружие... Ха-ха-ха... Или, может быть, надо непременно «томагавками» индейскими драться?..

— Я очень рад, очень рад, — воскликнул я, — пусть только Богатырев меня отпустит.

И я объяснил ему, что меня Консул хочет послать в Родосто; тоже по делам подданных, и я не знаю — можно ли будет все это соединить...

— Можно, можно, он сказал, что можно... — воскликнул Öстеррейхер. — Идите обедать и вы увидите, что он согласен.

Мы простились, и я, внезапно пораженный и обрадованный этой действительно оригинальной неожиданностью, развлекся и не то чтобы забыл о Маше и своем сегодняшнем дурном поступке; — нет, и об ней, и о поступке моем я, конечно, не мог вдруг забыть... Но и об ней, и о себе я, подойдя к дверям Консульства, после этой встречи, стал думать иначе, веселее, — отважнее, «бравурнее» как-то.

«Un voyage charmant! Des impressions fortes... Même du dangè s'il vous plaît...», как говорил этот воинственный австриец...

Он прав!.. Это выходит вовсе из ряда нашей здесь обычной жизни.

— Du dangè s'il vous plaît...

Что ж — ведь *ей-то* это понравится, и она скажет себе:

— Он безнравствен, конечно, но зато он умен, красив и смел...

А мне только это и нужно...

И я совсем повеселел, входя в Консульство.

## Глава [XXV]

На другой день утром я сел переписывать новые донесения Богатырева, в которых он превозносил свои последние удачи, беспрестанно оговариваясь и смягчая только для

вида самохвалство свое кой-какими фразами бюрократического смирения... «mes faibles efforts», — «мое посильное мнение, которое я осмеливаюсь»...

Я переписывал старательно и четко по транспаранту на хорошей толстой депешной бумаге; брал всякий раз линейку, когда нужно было по примеру черновой подчеркнуть какое-нибудь имя или особое выражение. У меня была страсть все делать хорошо; — меня считали чем-то вроде художника, поэта; и, может быть, именно поэтому я хотел быть и в служебном деле виртуозным по мере сил. Я находил, что и в чиновничестве есть своя поэзия — но она должна состоять в порядке, в послушании и точности. И чем больше у меня *своего*, чем больше воображения и умственной независимости, тем больше я должен обуздывать все эти силы мои в деле Царской, коронной службы...

Я ненавидел почти все односложные мотивы жизни и с ранних лет перестал любить то, что я называл тогда, может быть, и не совсем красиво либеральным «фырканием» (это положительно не красиво; — но и мелкий либерализм так сам не красив и ничтожен, что не стоит для него и выражений хороших употреблять)...

Точно так же как я не любил тихого «долга для долга» в браке и предпочитал ему борьбу жестоких страстей или веселого легкомыслия с религией, с великодушием, состраданием и дружбой; не любил я односложной распушенности на службе, небрежности на правах каких-то высших идей или глупой современности, или полетов фантазии. Это мне тоже казалось слишком слабо и просто. То ли дело сочетать в себе ловкое наездничество и способность съездить хлыстом чиновного иностранца с повинованием своим властям даже и не очень высоким; — необузданность мечты с транспарантом и точным знанием, кому надо написать с совершенным, кому с глубоким, кому с отличным, кому с глубочайшим почтением... Кому на углу бумаги после имени поставить три *эт-цетера́*, кому только два... (Богатырев учил меня, что три etc ставят

только принцам крови, и я очень был благодарен ему за это!..)

— Человек должен быть сложен, — говорил я себе тогда... — Единство воли в разнообразии тонких мыслей, тонких чувств и пламенных порывах — вот идеал!

Итак, я в это утро был хорошим чиновником, четко переписывал богатыревские самохвальства, стараясь как можно меньше ошибаться и думать о чем-либо другом...

Но все-таки думалось!..

10

Я думал о сухости, с которой Консул отнесся к делу Велико; об его язвительном намеке на сравнительное бессилие мое, на то, что и «правда, мне-то лучше ладить с Виллартоном...» и, наконец — о том, как я назвал его «herbivore»... (ведь это было не на службе; — это хорошо! *distinguo!* знай наших!)... И как он смутился и покраснел, и замолчал, и не нашелся... (*Distinguo! Distinguo! Знай наших...*)... Тут победа и одоление остались пока за мной; а там? — Там в Кастрó — в «белом доме посреди красных и розовых?»

20

Там, мне казалось, я поступил не хорошо... Мне было стыдно... Там нужна была пощада уважительному чувству... Она с ним связана на всю жизнь...

И опять я отгонял эти посторонние мысли и писал: «*Les resultat(s) étonnants de mes faibles efforts... doivent être attribués sans doute, au prestige que le nom célèbre de Votre Excellence possède en Thrace au milieu de nos coreligionnaires — Greces et Slaves...*»

Писал и вспоминал, улыбаясь, как в Посольстве говорят про депеши Богатырева наши приятели секретари: «мои слабые, но могущественные усилия»... и как Благов сочинил про него стихи на голос серенады Шуберта...

Мы умчимся в Андрианополь...

Се — земли есть пуп...

И под тень..... тополь

Православья дуб!..

Так обращается Богатырев к своей молоденькой и богатой невесте. Невеста отвечает ему пением стихов на другой голос; — она согласна умчаться с ним во Фракию и речитативом выражает свой восторг. Она не боится, что будет там скучать; — она надеется найти утешение:

В уме Канкелларио; — в греко-болгарских делах; —  
В Ладнева скучных произведениях...  
В греческих мужа речах!!...

Досталось, значит, мимоходом тут и мне...

<sup>10</sup> Я в бытность мою последний раз в Константинополе читал Благову начало одной большой статьи, которая ему не понравилась...

Я не обиделся. — Меня каким-нибудь «мнением» об моих способностях и о моем уме обидеть было очень трудно; — у меня было против этого средство истинно волшебное... Я находил тогда, что тот, кто выражал хоть малейшее сомнение в моем уме или во всеобъемлющих способностях моих, — обижал сам себя, гораздо больше самого себя, чем меня...

<sup>20</sup> Благов зло пошутил в этих стихах... и в самом деле, может быть, моя статья не особенно хороша. Но я могу написать гораздо лучше этого, и он, хотя и умен, но, Бог знает, дорастет ли когда до настоящего понимания жизни и людей...

(Настоящее понимание — значило тогда — мое понимание!)

— Бедный Благов! Хотя и блестящий и смелый, и способный человек, и знатного рода, и собой почти красавец... — А все-таки «бедный»...

<sup>30</sup> И Богатырев «бедный» — в некоторых отношениях.

Все мы «бедные»... Все уязвимы, всем больно иногда... У всех на «розах жизни» вырастают шипы...

Однако, однако... Богатырев сократил обманом мой мемуар о Фракии... Мемуар, над которым я столько трудился... Я, чорт возми, старше его на два, на три года, по службе ниже и моложе, и у меня нет, как у него, ни своих

доходов из Москвы от отца и матери, ни невесты 17-летней с 200 000 приданого... Злые посольские товарищи поделом смеются над ним... Да, поделом... — Он «сви-нья»!..

Однако... однако — эта Маша? Этот скверный поступок мой, который меня так тяготит... Ведь это, пожалуй, гораздо, гораздо хуже... И что мне делать теперь?.. Как покаяться? Как поправить это?.. Написать записку, всего два слова: «Я виноват! Я каюсь: я несчастлив...»

Но как передать?.. С кем? Кому? Вдруг попадется мужу? Вложить один конверт в другой, на верхнем написать: «Г-же Игнатович»; а внутрь еще два слова этой сентиментальной компаньёнке? Нет, все-таки опасно... Я не могу знать в точности, каковы их отношения между собой. Женщины друг с другом иногда так коварны и злы...

Лучше всего, если бы в самом деле греческий Консул дал бы сегодня этот вечер и пригласил бы и меня — я на словах бы ей сказал все... я простился бы с ней на целую неделю...

Но будет ли этот вечер? Пригласят ли меня? Не отложит ли он его!..

И мысль за мыслью, вопрос за вопросом, ответ за ответом, — я вспомнил опять о самовольной поездке из Родосто в Царьград...

— Ехать ли?..

Но колебание мое в этом отношении было только минутное... Я взглянул на часы и решил сперва поскорее дописать остальные бумаги и потом тотчас же идти самому перед обедом к греческому Консулу, и там увидим — что будет. Писать ей или иначе действовать, если вечер назначен... 30

Решивши так, я подошел опять к столу и взял следующую по порядку еще не переписанную бумагу... Это был простой счет чрезвычайных по Консульству издержек... Взглянул на ту, которая лежала еще ниже... и почти ужаснулся...

Это был ответ Богатырева в то московское общество, которое сделало его почетным членом, под впечатлением моих тонких этнографических заметок... Я ни минуты

не сомневался, что, совершив тайный против меня проступок в деле политического мемуара, он по крайней мере здесь, в этом уже до грубости явном деле, он после выражений благодарности за это избрание напишет что-нибудь вроде такой фразы: «...Но вместе с тем долгом совести считаю присовокупить, что сослуживец мой г. Ладнев заслуживает гораздо более меня...»

Дело даже и не в Обществе этом московском, Бог с ним! Я даже терпеть не могу, когда соберутся куда-нибудь вместе все эти серьезные и основательные фрачники и начнет который-нибудь из них: «Милост(ивые) Государи! в прошедшее заседание я кратко изложил...» Чорт их всех возми. Дело не в обществе этом, дело в правде... в благородстве... дело в том, чтобы этот «исполин веры» — этот «дуб Православия», — как выражается Благов, — хоть когда-нибудь сказал бы себе в душе своей «бедный Ладнев!» Как я говорю «бедный Богатырев!», «бедный Качони!», «бедный Благов!» Все бедные иногда. Но он никогда, должно быть, этого не думает... «Эти отвратительные!»  
<sup>20</sup> Эти ужасные! Эти недостаточно способные люди... и видно (?) утратил сострадание...

Нет, это ужасно... Конечно, есть утешение в том, что моя роль благороднее, и я вспомнил один старинный стих, который был записан на память у моей далекой и любимой матери.

S'il faut opter, si, dans ce Tourbillon,  
Il faut choisir d'être dupe ou fripon —  
Mon choix est fait! Je bénis mon partage, —  
Ciel! Rends moi dupe, — mais rends moi juste et sage...

<sup>30</sup> Да, конечно, это так!.. Но с другой стороны — не довольно ли... «J'étais dupe...» Теперь не хочу... Борьба! В Царьград! В Царьград — и там увидим... ему ни слова; ей скажу...

Бумаги эти брошу; — успею до вечера — успею... а теперь — бегу, лечу к Булгаридису узнать — танцуем ли мы у него сегодня или нет...

И тогда — я с жаром перед ней покаюсь и скажу ей:

«Не говори мне прости —  
Лишь говори — до свиданья...»

— Велико! Яни!.. Где моя трость и шляпа!..

## Глава [XXVI]

На следующее утро мы с Öстеррейхером выехали из Адрианополя с двумя кавассами и проводником.

Погода была не то чтобы совсем дождливая, а туманная и сырая; — и это было очень приятно.

Мы ехали сначала два дня прямо по Константинопольской дороге; а потом с одного ночлега в унылом и бедном болгарском селении свернули направо и брали потом все правее и правее на Запад, чтобы приблизиться к тому лесу в округе Эноса, в котором должна была произойти политическая драма.

О пути нашем что сказать?.. Сырость, небольшой дождь; болгары в шапках; их жены в белых платочках, всегда очень чистых; блестящая от сырости черепица на кровлях мазанок... поля безлесные, безгласные; кой-где зеленеющая травка... Просветы солнца и опять сырая мгла... Удовольствия отдыха у бедного очага на земляном полу — и споры, споры без конца о германской «эфи-ческой, экономической и этнической» культуре. Иногда мы на этих привалах до того начинали шуметь и кричать, что я, вспоминая о восточных приличиях, останавливался первый и говорил смеясь австрийскому Консулу: «Послушайте — потише! Мы о «престиже» забыли. Болгары подумают, что мы пьяны и ссоримся до драки».

На это он раз ответил очень мило, вдруг понижая голос:

— О! нет — мой кавасс верно уже рассказал хозяину, <sup>30</sup> «*que notre consul crie touchours!*» — Continuons!

В рассуждениях наших мы очень осторожно избегали всего того, что касалось до Фракии и вообще до Балкан-

ского полуострова — ибо это могло касаться так или иначе до наших прямых обязанностей и довести оживленную беседу до какой-нибудь нескромности или ошибки, но о самой высшей и общей политике мы говорили свободно и смело, как простые граждане двух соседних государств, несколько более других своих соотечичей компетентные.

Так, например, я позволил себе спросить, «что он думает о союзе Австрии с Россией оборонительном и наступательном?»

<sup>10</sup> Остеррейхер на это воскликнул с жаром:

— Чтò я думаю? Я думаю, что это был бы вояж глиняного горшка с чугунным котлом на тряской телеге...

— Как! — спросил я с изумлением. — Кто же горшок...

— Конечно, Австрия! — Австрия (продолжал он) — особенно теперь, после прусских побед — что такое... Это есть не что иное, как будущий «аппехе» Германии; — *rien que pour tirer les marrons du feu...* Здесь — на Востоке... Австрия должна стать лишь орудием медленной Германизации Востока. — И орудие противу вас... Союз с Россией для Германии — жестокая обида и препона; для самой Австрии — гибель и очень быстрая.

И начал опять: «Русские не могут, однако, бороться с началами экономическим, эфическим и этническим германского гения... У русских нет своих оригинальных начал... Ортодоксия?.. Ортодоксия ваша отживет еще скорее, чем Римское Папство, которое держится все-таки хоть искусственным единством духовной власти, а у вас и этого нет...»

Мне наконец это наскучило, и я сказал ему:

<sup>30</sup> — Ну, положим, русские не выработали еще у себя независимых от Европы идей, и многие лучшие люди у нас об этом думают и сокрушаются, ибо вся ваша Европа «гниет», так говорят у нас.

— А! У вас думают так? Пишут? — спросил он с удивлением и любознательностью.

— Думают и пишут; — отвечал я с досадой. — И вот что может случиться... У нас несомненно одна эфическая и



этническая черта выражена сильно — пока еще ортодоксия не иссякла — вот какая: прикажет Государь, так отслужат молебен, а мы напоим мужика водкой и еще из Азии всяких кара-калпаков позовем, и пройдемся с пьяным мужиком и баши-бузуками всякими и по Германии и по Австрии без разбора... И ничего не останется у вас на месте — ни экономики, ни эфики, ни этники вашей. Помните, Морни сказал про русских: народ способный быть фанатизированным и руководимый при этом весьма образованным дворянством... *Tabula rasa* у вас сделаем — и пускай после вырастают новые начала сами собою!..<sup>10</sup>

Öстеррейхер задумался и очень внимательно насупясь и молча поглядел на меня...

— А! Да! Вот это верно... Это верно... Это возможно... — сказал он наконец...

И еще раз посмотревши на меня пристально, еще раз воскликнул:

— Да, да — вот это возможно! Я согласен.

И мы переменили разговор.

— Берегитесь, берегитесь Виллартона, — сказал между прочим Öстеррейхер; — он ужасный интриган и просто турецкий шпион...<sup>20</sup>

— Да. — Мы его знаем, и вы видите сами, что Богатырев разошелся с ним. А я не вижу в этом и нужды; — шпионить нечего; — мы с турками ладим, да и какая же возможность здесь в этой мирной Фракии сделать добро болгарам и грекам, как не посредством дружеского влияния на турок.

— Ба! шпионить нечего, — воскликнул Öстеррейхер. — Виллартон находит. — Он всех уверяет, например, что вы с согласия Консула скрываете в вашем доме молодого болгарина, дезертера из полка Садык-Паши...<sup>30</sup>

Меня эта неожиданная конфиденция австрийского Консула поразила, — я не скрою, что я вспыхнул в лице, но не от растерянности какой-нибудь (потому что выйти из этого дела было уж не Бог знает как трудно), а от досады и минутного бешенства на вовсе не нужную жестокость и

подлость этого «доброго» Виллартона. Ведь он был сам все-таки не турок и не офицер Польского легиона этого, чтоб иметь прямую обязанность наблюдать за подобными преступниками, и скверно было с его стороны рисковать, быть может, даже и жизнью этого невинного юноши, из одной только личной досады на русского Консула. Да! я покраснел и вспыхнул, и волнения моего скрыть не мог, но я спохватился и поспешил воспользоваться этим самым волнением, чтобы не выдать истину:

<sup>10</sup> — Что за низость! Что за клевета! — сказал я. — Неужели он так сочиняет! Этого я от него не ожидал... Есть, правда, у меня в доме мальчишка болгарин; — он был униатом и перешел опять в Православие, и он не только не скрывается, но он отпирает у меня гостям калитку, подает кофе гостям и тому подобное...

— Виллартон так говорит, — сказал Öстеррейхер. — Он и греческий Консул Булгаридис — ужасные интриганы... Но, по-моему, Виллартон хуже...

<sup>20</sup> На этом разговор о Велико и Виллартоне, слава Богу, прекратился; и мы вскоре после этого оба крепко заснули.

Нас разбудили очень рано (я так велел, чтоб успеть выпить кофею); Öстеррейхер сначала сердился, что его будят; а потом вскочил и, выпив одну маленькую чашку кофею, стал сердиться на меня, что я свой кофе пью не спеша, у пылающего очага, как дома...

— Вы, правда — не европеец! — говорил он мне, беспрестанно вскакивая и подбегая к низким окнам и нагибаясь, чтобы видеть, какая погода...

Я решил быть терпеливым.

<sup>30</sup> — Я вам говорил, что я азиатец, — отвечал я и продолжал пить кофе, хоть и не [с] таким кейфом как дома, а все-таки не спеша...

— Чорт возми! Чорт возми! — Вы турок!.. Вы настоящий турок. Яваш, яваш... А если битва произойдет без нас... Это будет досадно...

— Поезжайте один вперед; а я догоню вас с моим кавассом.

— Вы оба не найдете здесь дороги без провожатого...  
— Возьмем провожатого... Заплатим один золотой... и догоним вас...

— *Sacrè nom de Dieu! Vous êtes bien ferme lorsqu'il s'agit de Vôtre café...* Вам бы перейти в Мусульманство...

— Если бы я не был Православным, я предпочел бы стать Мусульман(ином), чем каким-нибудь из ваших анафемских *bourgeois*, которых я терпеть не могу... Дайте мне покойно допить эту чашку...

Наконец «эта» чашка допита: мы вскочили на наших коней и поехали...<sup>10</sup>

Погода была светлая и приятно прохладная. Уже синел вдаль тот лес, к которому мы направлялись... Мы оба долго молчали, и настроение наше стало не мрачным, но серьезным. Вскоре за небольшим изволомом мы поравнялись с отрядом турецкого Низама. Впереди на белой лошади ехал сухощавый и плечистый турецкий Полковник. *Österreich* знал его лично, они остановились, и австрийский Консул сделал ему несколько вопросов на турецком языке; Полковник отвечал ему обстоятельно и подробно, указывая то на лес, в котором должно было произойти дело, то на деревню, которой черепичные крыши и желтые хаты едва виднелись на правой руке.<sup>20</sup>

— Осман-Паша теперь там; — он только нас ожидает, — сказал Полковник, указывая на деревню.

— И прекрасно! — воскликнул австриец. — Поскачемте скорее туда.

И мы поскакали, поклонившись Полковнику.

Османа-Пашу мы нашли у ворот одного болгарского жилища. Он курил чубук, сидя на большом камне, покрытом ковром, и приветствовал нас с видимым удовольствием...<sup>30</sup>

Встал, сделал нам шага три даже навстречу, пожал нам руки и сел опять...

— Война! эффендим! — сказал ему *Österreich*, улыбаясь...

— Да, что делать, — отвечал старый Паша, вздыхая...

Он рассказал нам о некоторых последних очень дерзких грабежах, которые позволили себе черкесы, о справедливых жалобах болгар и, взглянув на меня, улыбнулся и прибавил: «Вы, русские, сделали нам разом и худой подарок и хороший. Худой — черкесы; хороший — татары крымские. Татары — хорошие люди — работают, торгуют; черкесы — скверные люди — воруют, грабят, убивают».

<sup>10</sup> И, покачав печально головой, добрый старик еще раз глубоко вздохнул. Я тогда, желая придать разговору более веселый и воинственный характер, попросил Öстеррейхера перевести получше по-турецки следующее мое à propos замечание:

— Я, напротив того, очень жалею, что черкесов так много ушло с Кавказа; они именно своей воинственностью и полезны: не дают уснуть. Много беспорядков в Государстве — это вредно; изредка вспышка и беспорядок — хорошо. Упражняет нас...

<sup>20</sup> Öстеррейхер перевел старательно (он по своим вкусам, конечно, согласен был со мною); но мирный и добрый эпикуреец Осман не сочувствовал этому и простодушно отвечал: «Нет, не хорошо! Жалко! Перебьют людей... Люди не скоты... Зачем мы будем их убивать? Не хорошо!»

— Печальная необходимость, эффендим! — заметил серьезно Öстеррейхер...

И мы все смолкли и задумались... Роковой час вступления в *этот* лес приближался... Еще каких-нибудь полчаса, и будет не [до] шуток и не до философии «войны»...

<sup>30</sup> Скоро — скорей чем можно было ожидать по времени — показался на улице селения отряд тех низамов, которых мы обогнали. Усатый почтенный Полковник подъехал и, соскочив с лошади, подошел к Паше. Они отошли в сторону и несколько минут разговаривали тихо. Паша все время качал головой; видимо, о чем-то сожалел... Наконец секретный разговор их кончился...

Раздалась команда... Мигом подкатили запряженный парой сильных лошадей фургон Османа-Паши; его конная стража повскакала на коней; сели и мы...

Пашу посадили в фургон... И мы тронулись в путь...

[ФРАГМЕНТЫ ПОСЛЕДНИХ ГЛАВ  
«ЕГИПЕТСКОГО ГОЛУБЯ»]

Иду по улице и думаю: Вечер, положим, будет... Но пригласит ли еще меня греческий Консул? — Во всех этих приглашениях здесь есть свои расчеты. — Надо знать, кого с кем пригласить в одно время... Подойдет ли ко мне с улыбкой этот сладкоглаголивый, черноглазый и курчавый, низенький-пренизенький ростом, лукавый-пре-лукавый человек? — Начнет ли он так с этой ласкательной улыбкой своей: «Кирие-му, прошу вас сделать мне честь завтра...»

Я люблю и так у него бывать. — Что мне за дело, что он интриган и в высшей степени предатель... Я сам сынтригую и, если он надоест, и сам предам его *в делах!*.. Против интриги есть интрига; — против предательства есть осторожность... Но против той скуки, которую наводит здесь на нас большая часть единоверцев наших высшего слоя, — какая защита...

У него, у этого Б... не скучно. — Он «вивёр» немного, <sup>20</sup> умен и оригинален (своей упорной и сладкоречивой подлостью). — Это ничего! — Жена его высокая, стройная, ловкая афинянка... Раз, придя невзначай, я застал ее в шерстяной, серой блузе с ужасным слоем сала и грязи на груди... Но зато, когда она приоденется ловко и чисто для гостей, видишь перед собою все-таки женщину... Женщина она смелая во всех отношениях... Она напоминает мне иных русских помещиц прежнего времени, которые умели лихо жить и очень скоро перерождаться из растрепанных

и грязных экономок в ловких дам, одетых по модной картинке... У них был мальчик-сын, в красных панталончиках и фантастическом мундире. — Он прекрасно играл на рояле. — И была дочь постарше, лет двенадцати... восхитительной красоты брюнетка, шалунья и развеселая девочка; она знала, что я люблю восточные вещи, и одевалась иногда, в угоду мне, как турецкие девочки: в палевые с крупными цветами, ситцевые шальвары и кафтанчик; — надевала феску и сама иногда подавала мне варенье и кофе... «À la turca, по-старинному!» — приговаривал отец с улыбочкой. — «Я знаю вкусы ваши... знаю все...» — загадочно и многозначительно прибавляла мать!

— Все ли? — спрашивал и я значительно.

— Все! все! — решительно и с жаром восклицала Madame D...

Я прерывал на этом разговор не раз, опасаясь, чтобы она не упомянула как-нибудь о Mad. Антониади... Женщины так умны и догадливы на все подобное!..

Пригласят ли они меня?

Я был в беспокойстве. — Д... не приходил. — (На другой день я сам зашел к нему днем. — Я не обязан знать, что у него вечер; — и он ведь не обязан на всякий вечер звать меня. — Отчего же мне не побывать у него днем?)

Я пришел; — застал всех дома. — Маленькая Эленица подавала опять мне кофе... Мать была любезна как всегда; отец успел рассказать что-то мимоходом о текущих делах... О вечере ни слова...)

Я собрался раз уходить. — Д... сказал мне: «Я очень рад, что вы посетили нас; — но, с другой стороны, мне очень жаль, что вы этим лишили меня случая быть лишней раз у вас. — Я сбирался идти к вам и звать вас к себе сегодня на вечер запросто. — У меня будут некоторые друзья... Антониади... и еще кой-кто...»

— Мадам Антониади!.. — воскликнула маленькая Эленица.

Родители оба засмеялись; — а мать еще заметила:

— Младенцев умудряет Господь...

Я счел за лучшее тоже принять участие в общей веселости и не смутиться.

— Мадам Антониади очень мила, — сказал я и, простившись, ушел.

Эта выходка Эленицы мне очень не понравилась... Со всех сторон в этом скучающем и грубом обществе подозрения и опасения! — Правду сказал мне недавно один болгарин: «У вас, в Киеве и Одессе, под руки девицы с чужими ходят; — а у нас здесь, если сел только мужчина<sup>10</sup> около какой-нибудь молоденькой, то мы все говорим, что он что-нибудь худое задумал...»

Однако все-таки мы будем вместе на вечере у Д...! — Я постараюсь быть осторожен и заслужить ее доверие.

Настал этот вечер.

Мы пришли туда вместе с Консулом. — Антониади еще не было; — но были другие друзья. — Был доктор Чобан-оглу с своей неприятной женой; был М. С. (слава Богу без жены; — она, несчастная, умирала); — потом приехал полковник Туфан-бей с одним молодым офице-<sup>20</sup>ром; — позднее, вслед за ними Стефанович с женой-гречанкой; — потом вели(чавый) молодец Мурад-бей Ландскаронский, П [пропуск в копии] и еще, и еще поляки...

Мы переглянулись с Консулом. — Он сам подошел ко мне и сказал тихо: «Однако — много!» — «Да, много», — сказал я.

Скоро Д... подошел к нам и чуть не с умоляющим видом сказал:

— Я искал случая сблизить в моем доме людей, разделенных политическими интересами. — Рекомендую вам<sup>30</sup> этих офицеров. — Они все — люди в высшей степени облагороженные и любезные...

Низкий ростом Д... смотрел подобострастно вверх на красивое лицо нашего мужественного и видного Консула...

Богатырев, вставив в глаз стеклышко, не ответил ему ничего; — он издал лишь тот глухой и неопределенный звук, который он так искусно умел издавать, когда не решил еще, что ему надо ответить. — Это было похоже



и на «Oui», и на «Oh!», и на русское «Гм». — Мне очень нравилось всегда, когда он прибегал к этой уловке.

Я стоял около него и ждал, что он мне скажет? — Я боялся, не скажет ли он, что нам лучше будет пораньше уйти. — Я решил, что так как это «не служба», то я не последую его примеру, если он уедет... Каково же мне было расстаться с возможностью провести целый вечер с Машей?..

Но Консул, обратясь ко мне, сказал мне совсем не то... Он сказал по-русски и очень тихо: «Сегодня Мадам Антониади очень хороша!»<sup>10</sup>

Я находил, что она всегда хороша; — но, правда, в этот вечер к ней так шло черное барежевое платье, отделанное по краям оборок жолтым шолком! — И в черной косе ее были свежие жонкилы. — Где она их достала — не знаю...

Богатырев пошел и сел около нее на диване. — Я не ревновал... Я уже чувствовал, что душой она принадлежит мне... Пусть веселится! — Она тщеславна... Внимание Богатырева ей верно так приятно в обществе. — Я<sup>20</sup> понимаю ее тщеславие... Мне оно нравится...

Скоро племянница хозяйина села за рояль и заиграла вальс.

Богатырев пошел с хозяйкой дома; — я хотел было взять ее, но толстый и плечистый молодец Мурад-бей Ландскаронский был ближе к ней; — он пригласил ее и великолепно провальсировал с нею в три па. — Окончив, он сел около нее на диване, и я слышал, как он, смеясь и радуясь чему-то, говорил ей по-русски очень свободно и с<sup>30</sup> небольшим лишь польским акцентом:

— Я рад слышать русский язык; — я живу в Турции уже больше десяти лет... Я стал турок... Да! настоящий турок... У меня три жены. — Одна албанка и две черкешенки...

Маша смотрела на него так кокетливо...

— Три жены!.. Как это любопытно... Как бы я желала посетить ваш гарем!..

Мы все танцевали далеко за полночь... Танцевал Консул, танцевали Мурад-бей, Ягужинский, Вержбиловский, Федоровский, Самойлович... Я танцевал; — сам хозяин дома и почтенный Туфан-бей прошлись не раз в кадрили...

Все было так согласно, мирно...

Котильон танцевал с Машей сам Богатырев в первой паре, и я не ревновал, а гордился ею. — Маша сумела с самого начала вечера успокоить меня так умно! Она в кадрили заговорила как-то о Жуковском и об «Эоловой арфе», которую мы *при муже* недавно читали, и сказала мне:

— Я вспомнила сейчас об «Эоловой арфе» и вот это место — «всех витязей краше смиренный певец...»

Смиренный! но почему же смиренный...

Ей нужно было делать фигуру, и она ушла на другой конец залы...

— Смиренный... — шептал я про себя... — Мне это что-то не нравится; смиренный!..

И, стараясь не испортить размера, я придумывал:

20

Всех витязей краше  
Мой *милый* певец...  
Прекрасный певец...  
Мой злобный певец...

Все что угодно, только зачем это — *смиренный*... Но, возвращаясь, она подала мне, танцуя, руку и, взглянув на меня черными глазами своими так, как едва ли на *певца* умела смотреть сама Минвана, ответила на мою мысль...

— Вот только «смиренный» нехорошо... Придумайте...

30

И опять ушла к визави.

Боже мой! Эта женщина прозорлива... Она читает в душе моей...

— *Несносный певец, ревнивый певец, мой скучный певец*...

Вот что я ей ответил:

— Зачем быть ревнивым тому, кого предпочитают...

Довольно! — Я спокоен! Блистай и веселись, моя милая, моя бедная Маша, которой здесь и цены настоящей не знают. — Довольно!.. Пусть польские *витязи* и сам начальник мой, басистый, рослый москвич с моноклем... пусть они все платят дань ее красоте и изяществу!.. «Наш неразгаданный союз» для них тайна... Пусть она танцует в первой паре с самим Богатыревым, пусть она ему улыбается (я это вижу), пусть он как-то мрачно по-своему, но значительно глядит на нее... Я рад.

Во время этого котильона Мурад-бей выдумал протанцовать мазурку, вместо вальса... Он, выбравши ее, остановился посреди залы и вежливо спросил у Консула:

— Не согласитесь ли вы протанцовать этот танец, который знаем только мы, поляки, и русские...

Консул покраснел немного от неожиданности, но ответил тотчас, что он очень рад...

Федоровский сел к роялю вместо хозяйской племянницы; — итальянцы-музыканты сыгрались с ним почти мгновенно... И мазурка грянула... Лихая, прекрасная мазурка... Из здешних дам знала ее танцовать только одна. — жена этого самого Федоровского, гречанка; — он ее выучил хорошо...

Консул взял ее; — Мурад-бей — Машу... И они обе танцевали прекрасно. — Я любовался ею и опять был счастлив... Ах! как она оборачивалась иногда, как будто нечаянно, к своему кавалеру... Ах! как мне было весело!..

Во всем том, что меня окружало, казалось мне, было столько смысла!.. Эта Турция, этот хозяин-грек, эта воинственная мазурка, эти враги-поляки, такие молодцы... это примирение в танцах (И только в танцах... вот эта-то двойственность общественного мира и государственной вражды и нравилась мне донельзя!)... Что за вечер, что за умный, милый вечер... Как многозначительно чернела тихая ночь турецкого города в окнах этого греческого жилища, и как блистали отблески свечей и ламп в этих стеклах, в этом мраке... Как звезды сияли! Они так сияли, так волшебным светили... что мне стоило только взглянуть туда

во мрак, чтоб вздохнуть глубоким и радостным вздохом задумавшегося от счастья ребенка...

О! мой бедный голубь... Благодарю тебя теперь за *ту тоску*, которую я помню, за твои воркующие стоны на моем дворе...

Вальс опять сменил мазурку, мазурка опять сменила вальс... Я вальсировал с ней... Но на что мне было танцевать, когда мне и так, только глядя на нее, было хорошо...

Седой Туфан-бей сел около меня и начал так:

10 — Мне особенно приятно видеть русских... Мои товарищи не все из России; — у меня в шкатулке целы до сих пор Станислав и Анна... Я их туркам не показываю... Под Карсом я потерял вот этот палец...

(Пальца точно нет... Храбрый воин... Какой почтенный солдат; подстриженные усы...)

Мадам Федоровская подает мне руку; она выбрала меня. — Мы полькируем...

— Под Карсом я уж был в рядах турецкого войска (продолжает Туфан, избоченясь воинственно около меня) 20 ... Привели пленных солдат... Они увидали меня и кричали: «Капитан! Ваше Высокоблагородие!..» Они меня узнали... Аж слезы из глаз моих...

Консул подводит ко мне хозяйку дома и Mademoiselle Прециозо. — «Восход или Закат?» — спрашивает Богатырев.

— Закат!

Mademoiselle Прециозо кладет мне на плечо руку... Мы танцуем.

Туфан-бей возобновляет свой трогательный рассказ.

30 — Я до сих пор смотрю на русских как на братьев. — Но мы не можем часто видаться; — турки подозрительны. — Что делать!

Я спрашиваю:

— Каким же образом, Полковник, вы с такой привычкой к русским, с таким расположением к России могли очутиться во вражеских рядах?..

Полковник понижает голос:

— Вы не...

Седой поляк не успел еще начать, как уже снова меня зовет она, она сама, и увлекает меня «в вихорь вальса»...

— ...Наши женщины, наши женщины (все шопотом и почти со страхом говорит поляк; он озирается; — жена его, бледная, стройная, умная женщина лет тридцати, здесь; — она не танцует; она такой энергии и такого духа, что ее семнадцатилетней девушкой *изгнали* австрийцы из [Галиции] за пределы Империи)... Наши женщины — огонь. — Мать гонит сына на войну; сестра — брата; невеста говорит жениху: «Я не буду любить тебя, если ты не будешь повстанцем!» — Да! (он, как русский, называет меня вдруг по имени и отчеству... еще сильное ощущение... Милый голубь!..) В 48-м году я был в Познани. — Движение противу Пруссии не удалось. — Меня увлекли в него. — Я бежал в Париж и оттуда уехал в Турцию...

Все это так правдоподобно, так правдиво... так мне нравится. — Я так ненавижу, когда жизнь идет слишком правильно. — Это так убийственно... Да здр(авствуют) пол(итическая) вражда и [нрзб] опасности!

А тут еще разговор мой с Полковником не кончился, как уже музыка замолкла на минуту, и я слышу, что толстый герой Мурад-бей говорит моей Маше: «*Vous, ma dame, parlons russe...* Я так рад, ей-Богу, слышать русский язык... Давно не слышал... В одном уездном городе (продолжает он с веселым, очень громким хохотом), в Смоленской Губернии, я раз танцевал мазурку...

Музыка гремит снова, и они отходят... Что за странный, что за милый вечер...

Когда вместо ужина подали нам сладких пирожков, хорошего вина и бисквитов, Богатырев подошел ко мне и сказал вполголоса: «Однако — легко...» — «Что легко?» — «Бисквиты! — Я пошлю поскорее кавасса домой, чтобы приготовили котлеты... Умираю с голода... А вы?»

— Да, котлеты лучше бисквитов...

Я сам хотел идти и сказать скорей своему слуге, чтобы он бежал в консульство; — но вдруг хозяин с самой лас-

ковой из вечно-ласковых и хитрых улыбок своих подошел к нам и сказал: «Не прикажете ли *бискотов*...»

— Как птицу кормят каких-то, а не людей... — с досадой прошептал Богатырев.

Я был согласен с ним; — голод начинал портить и мое настроение... Кроме того, я находил, что «Минвана» уж слишком много и долго говорит с толстым поляком-витязем и что она могла бы вспомнить и о *певце* своем...

Сидит и сидит на диване с ним; играет жонкилем своим, <sup>10</sup> опустивши глаза; а он таким победителем... Я не ревную, кажется, но все-таки... удивляюсь, что же муж? — Муж ест эти *бискоты* и спокойно, смеясь с другим офицером, запивает вином!.. Странно!..

Вот она о чем-то будто просит; — она даже складывает руки в белых перчатках; — Мурад-бей глядит серьезно вниз, слушает, гладит усы, точно в раздумьи, и потом кланяется... встает; она тоже встает; он кланяется, звенит шпорами и с каким-то особым выражением подает ей руку и жмет...

<sup>20</sup> В эту минуту я слышу густой бас Богатырева около уха моего: «*Ecoutez... что ж мальчика насчет харчей... Je n'en puis plus, je vous avoue... Эти бискоты...*»

— Сейчас; — это правда!

Я иду к мальчику; посылаю его, велю, чтобы котлет было больше, что мы голодны... и возвращаюсь. — Гляжу, Маша делает мне легкий знак.

Я подхожу и сажусь около нее.

Я слегка вздыхаю.

— Вы вздыхаете?

<sup>30</sup> — От радости, что вы меня позвали.

— И я рада, что вы около меня. — Мурад-бей, знаете, должно быть, настоящий рыцарь... *Un preux*. — Но мне кажется, он немного глуп. — Все смеется и так громко...

— На что вам ум? — спрашиваю я.

— Вот это недурно! — Вы сердитесь и грубите? — А вам на что ум?..

— Мне и не нужен... Я ищу не ума... а другого.

— Вам нужны всё сильные ощущения. — Я знаю... Да вот что, — я вам скажу новость. — Мурад-бей будет у нас завтра с визитом...

Говоря это, она посмотрела на меня так хитро!..

Но тут я вдруг вспомнил о бедном Велико и сказал ей:

— Послушайте, а Велико? — Ведь это будет ужасно, если этот несчастный мальчик попадетя ему на глаза. — Поляки умеют прекрасно сочетать в себе то личное рыцарство, которое вам нравится, с политической беспощадностью...

— Не бойтесь за Велико, — отвечала она, — у меня есть для него прекрасный план. — Только ради Бога, не мешайте мне. — Вы знаете: «Женщина хочет — Бог хочет!»

Я испугался за бедного мальчика и подумал: «Неужели она хочет ходатайствовать за него у Мурад-бея?.. Это было бы бессмысленно...»

Я тотчас же открыл ей мою мысль и прибавил:

— Вы подобной просьбой поставите самого Мурад-бея в очень ложное положение. — Он обязан предать дезертера, а вы... 20

— Я вас прошу — не мешайте мне; — вы будете довольны! — Не бойтесь...

— Не знаю, что вы задумали... Но мне страшно за Велико! — сказал я, пожимая плечами.

— Не бойтесь, не бойтесь! — повторила она еще раз.

Я замолчал. — Все стали, между тем, расходиться. — Все прощались. — Антониади сделал знак жене. — Она отвечала согласием и встала с дивана. — Мы с Богатыревым тоже подошли к хозяину проститься и благодарить его за прекрасный вечер... 30

— Я так счастлив, — сказал он томно и льстиво, что могу способствовать сближению людей столь высокой цивилизации и столь благородных...

Мы вышли вместе с Консулом. — Кавасс светил нам фонарем по темным, безмолвным и безлюдным улицам.

На другой день я еще писал в канцелярии, когда мне принесли французскую записку от Маши.

Я распечатал ее поспешно и прочел:

«Судьба Велико обеспечена. — Мурад-бей был у меня; видел его и дал мне *рыцарское* слово не только не выдавать его, но и спасти его, если он как-нибудь попадет-ся. — Вы понимаете, что лучше этого нельзя было ничего придумать. — Я хотела принимать Ландскаронского; Велико мог беспрестанно попадаться ему на глаза, и я<sup>10</sup> решила, что откровенность в этом случае будет самой лучшей политикой. — *До свидания*».

Я был поражен этой вестью как громом и счел невозможным более скрывать этого от Богатырева. — Записку я не решился ему показать только потому, что слова «*Au revoir*» были слишком выразительно *два раза* подчеркнуты. — Но я сказал ему так:

— Вы знаете, что случилось... Мадам Антониади открыла Мурад-бею, что Велико живет у нее в доме.

Богатырев (он тоже писал в это время на другом столе)<sup>20</sup> не поднял головы, не обратил как будто на все это никакого особого внимания и ответил тем глухим басом, которым он любил выражать равнодушие:

— Она, должно быть, врезалась в него?..

— В кого?

— Конечно, не в Велико, а в поляка...

И вдруг, вставив в глаз стеклышко, он обратился ко мне с улыбкой плутовской и воскликнул:

— Что, батюшка, — *fiasco!* — Поляк — лихой, должно быть... А?

<sup>30</sup> — Дело не во мне теперь, — возразил я с досадой, — а в судьбе этого несчастного мальчика... Что с ним будет, если Мурад-бей предаст его. — Теперь он не в Консульстве. — Турки могут потребовать его официально как беглеца и преступника...

Все это естественно должно было всякому прийти в голову, но Богатырев был удивительно хладнокровен в своих соображениях. — Он опять засмеялся и сказал мне:



— Теперь от вас зависит судьба Велико. — Не отбивайте Мадам Антониади у Мурад-бея; — дайте ему ход. — Будьте великодушны хоть на время... Понимаете... Пока найдем средство сбыть Велико куда-нибудь. — Я напишу в Константинополь; — в Посольстве найдут ему работу, и мы тихонько с почтой отправим его... А вы покамест ходите-ка туда пореже... Мурад-бей будет рад... А вот как увидит, что вы все стишки с ней почитываете... он и предаст Велико...

— А вы не будете защищать тогда Велико?.. 10

— Отчего же не защищать. — Конечно — постараюсь... Только все вернее так, как я говорю... Пореже... Пореже...

Мне были, конечно, эти шутки неприятны, несмотря на все их товарищеское добродушие... Но, сознавая, что я вел себя по отношению к Маше так осторожно, как только может вести себя хоть сколько-нибудь влюбленный человек, — я был покоен совестью. — Я никогда не подавал Богатыреву повода подозревать, что между нами есть хоть какое-нибудь сочувствие; и даже прибегал к особому рода хитрости, когда дело касалось до Мадам Антониади. — Сначала, когда она еще и виду не подавала мне, что я ей хоть немного нравлюсь, я не отказывал себе в удовольствии хвалить ее при молодом Консуле. — Он не особенно восхищался ею; но находил тоже, что лицом она хороша; — с тех пор, как я стал замечать выгодную для меня перемену в ее со мной обращении, я стал хвалить ее пореже, но все-таки изредка хвалил. — Если бы я замолчал о ней вовсе, это могло стать очень подозрительным. — Но я настолько жалел Велико, что все эти мысли о моем тщеславном желании нравиться Маше были почти забыты мной в эти дни, и я все думал только о том, как могла она решиться поставить на карту жизнь этого юноши из-за пустого удовольствия видеть у себя польского Графа... 20

Или она сразу влюбилась в него без ума? — Я понимаю это; — мне самому Ландскаронский нравится. — Эти плечи, эти шпоры, феска и кривая сабля, преступная 30

оригинальность ренегатства, эти три молодые жены в гареме; приятная и стройная полнота стана, мазурка, предположение о храбрости, визитная карточка с графской короной и гербом, на котором изображена рука в железной перчатке и написано:

Mourad-bey  
(Comte Landskoronsky)

Да! мне самому все это нравится... Неужели политическая вражда и личное соперничество могут уничтожить вкус в человеке, который одарен хорошим вкусом?.. Конечно нет!...

Я отдаю справедливость Мурад-бею. — Я сам готов восхищаться им (несмотря на то, что мог бы охотно сослать его в Сибирь, если бы от меня это зависело); — но тем хуже, тем хуже, что даже и я восхищаюсь им... Если я, — то что ж она...

Так промучился я два дня, то за Велико, то за себя. — Сейчас идти опять к ней было неловко. — На записку я тоже остерегся ей отвечать. — Я помнил ее просьбу не писать ей никогда. — Я решился идти к ней лишь на четвертый день. — Но одно обстоятельство изменило мое решение. — На третий день поздно вечером я, очень скучный и раздосадованный, собирался уж спать, как вдруг мой Яни вошел и с таинственным видом сказал: «Велико пришел к вам. — Он желает с вами поговорить. — Он кажется очень несчастный!»

— Зови, зови...

Велико вошел и, поклонившись мне, начал простым вопросом о моем здоровье.

— Я ничего; — ты, Велико, как живешь, ты... Говори скорее, бедный мой...

Он взглянул на меня уныло прекрасными серыми глазами своими и отвечал:

— Я, эффенди, пропал.

— Как? — Отчего?

— Мадама наша предала меня ляхам.

Я притворился, что ничего не знаю, и, разыгрывая удивленного, спросил поспешно:

— Неужели? — Это быть не может... Говори скорей...

— Приехал Мурад-бей. — Я был в кухне, и он уехал бы, не выдавши меня; — но Мадама велела мне прийти и поставила меня перед ним. — Я испугался и начал плакать...

Велико не мог продолжать; — он прислонился головой к стене и закрылся рукой...

— Ты плачешь? — спросил я с волнением.

Вместо ответа я услышал рыдания...

10

Я молчал; я находил лишним говорить пустые слова утешения и старался скорее обдумать, что бы сделать для действительной помощи.

Я скоро сообразил все и, успокоясь, сказал ему:

— Не плачь. — Останься у меня сегодня на ночь. — Я спасу тебя; — я на свои деньги отправлю тебя в Константинополь на днях, если нужно. — Успокойся, Велико, я говорю тебе...

Велико открыл лицо и, нагнувшись, коснулся обеими руками земли, а потом схватил мою руку и приложился к ней почтительно и тихо.

— Будьте живы, эффенди, — сказал он.

Я тотчас же послал Яни к Антониади и велел *на словах* сказать Мадаме, что Велико у меня, чтоб его не искали и не боялись за него.

Яни пошел, а я посадил Велико и просил досказать всю историю его встречи с польским Графом.

— Я заплакал, — сказал он, — а Мурад-бей засмеялся так (он представил как громко смеется толстый человек: «бу-бу-бу!»)... Дрожит весь от смеха... «Не пугайся. — Я тебя защищу и не выдам. — Я хочу сделать для Мадамы *хатыр*... Не умрешь, не бойся. — Это лучше, что я знаю. — Если тебя найдут и возьмут, я все сделаю, чтобы спасти тебя. — Не бойся...» Я все плачу. — А он на меня закричал: «Гид!» — Я пошел; а он опять: бу-бу-бу...

Велико выставил живот, надулся и немного запрыгал на диване, чтобы изобразить сильный хохот Мурад-бея...

И выходило все это удивительно мило и забавно у Велико... Плечи атлета, лицо почти девичье, белое, круглое, доброе, заплаканное, и это комическое представление с серьезным видом. — Я, глядя на него, повеселел и готов бы был идти сейчас же, несмотря на поздний час, к нашему..... М. С., чтобы вместе с ним устроить все, что нужно для отправки Велико в Посольство, не дожидаясь проезда русского курьера из Рушука в Константинополь. — Но это было только минутное движение. —  
<sup>10</sup> Мне невозможно было говорить об этом деле все как следует с М. С., столь полезным и столь деятельным. — Я боялся заговорить с ним об Маше; — я боялся какого-нибудь слишком пристального взгляда, какой-нибудь улыбки, за которую мне захотелось бы вдруг ударить его по его серому и злому лицу...

Мне оставалось одно — идти к *мужу*, в его контору. — И я пошел; — но она оказалась уже запертою. — Рядом с нею была контора Католика Петраки Вернацца. — Я зашел на минуту туда, как будто бы с простым визитом; и, поговорив прежде о разных посторонних предметах, спросил наконец: «Отчего это контора Антониади так рано заперта сегодня? — Не заболел ли он?»

— Нет, — отвечал Вернацца-отец; — он поехал в Хадум-Ага встречать мать свою, которая едет к нему из Константинополя.

— Выписал мать, — прибавил с улыбочкой старший сын; — без старухи трудно с молодой и красивой женою...

<sup>30</sup> Старик остановил сына и, с укором качая головой, сказал:

— На что ты это говоришь, Франсуа; всякий добрый сын хочет видеть свою родительницу. — Ведь и ты мать любишь свою?»

Но Франсуа не унимался и возражал отцу, хотя почтительно, но не без язвительности: «Как хотите, папáки, а старуха нужна, очень нужна... Вот и г. ... (он назвал меня) напوماдил и приподнял усики... Нужна старуха...»

Рассердиться на это было бы в высшей степени неблагоприятно; — я предпочел отшутиться какой-то пошлостью и ушел.

Дома я застал смех и радость. — Мальчишки мои, грек Яни и Велико вкушали вместе на траве скромный завтрак и чему-то громко смеялись.

— Смотри, Яни, — сказал я, — не пускай его открывать калитку, когда будут стучать... Отвори сам.

И велел седлать себе лошадь. — Как кинулся за лошадью Велико!.. Как скоро ее изготовил, подал и каким любящим и милым взглядом он поглядел на меня, когда подавал стремя.

— Ты рад, Велико, что опять у меня? — спросил я его.

— Где ж мне и радоваться, как не у вас, эффенди! — отвечал он, краснея.

⟨Письмо мое в Константинополь было готово, и я вечером пришел в Консульство, чтобы посоветываться с Богатыревым. — У нас были три почты: своя (курьер из Рущука в две недели раз), потом⟩ австрийская и турецкая.<sup>20</sup>

Курьера мы ждали еще через неделю; и я раздумывал — которой из «враждебных почт» лучше доверить это письмо.

— Не доверяйте никакой, — сказал Богатырев с плутовской улыбкой. — Я буду вашим курьером. — Я получил разрешение и завтра еду в Константинополь, может быть, надолго. — Вы здесь сами будете царствовать теперь...

Это известие было для меня истинным сюрпризом, и очень приятным; — но я прежде всего все-таки позаботился о Велико и сказал Богатыреву:

— Ну, вот сделайте же дело и доброе, [и] политическое. — Увезите Велико с собой...

Богатырев нахмурился.

— Нет, это невозможно. — Он стеснит меня. — Я беру в экипаж с собой повара. — Я поеду не прямо в

Константинополь, я не совсем точно выразился. — Я хочу прежде побывать в Фили(п)пополе, в Рыльском монастыре, в «долине роз» Казанлыкских и оттуда проеду в столицу. — Я только больше компрометирую Велико, если буду возить его с собой.

Богатырев был так своенравен и упрям, что возражать ему было не к чему. — Однако я счел долгом все-таки возразить:

— Вас в последний раз провожал по горам разбойник-<sup>10</sup> болгарин, и даже, благодаря ходатайству вашему, он был прощен...

Богатырев покраснел и очень тихо, но с досадой сказал:

— Не возьму я Велико вашего.

Я замолчал. — Консулу, должно быть, стало стыдно, что он не удостоил даже объяснить причины своего отказа, и он, подумавши, прибавил: «Разбойник — другое дело; там были одни турки, а здесь замешаны поляки. — Они внимательнее... Держите его здесь сохранно. — Не съедят его».

<sup>20</sup> Я был очень смущен и раздосадован отказом. — Богатырев на другой день должен был уехать и надолго. — Он предоставлял мне дом свой; — квартиру мою удаленную и пустынную какую-то я должен был сдать. — Людей разных придется принимать гораздо больше... Что делать?

---

⟨Случилось так, что я три недели после этого не был у Антониади и не видал ни Велико, ни Машу. — Сначала я остерегался идти, а после Консул отправил меня в Родосто по делам, и там меня задержали.⟩

Возвратившись в Адрианополь, я пошел тотчас же к <sup>30</sup> Антониади и застал у них в доме большую перемену. — Когда я уехал, кроме критской гречанки Элены, Велико и повара в доме не было никого. — А теперь Елена была в постеле и служить уже не могла, а вместо нее служили две молодые девушки, гречанка Мариго из предместья Ильди-

рим и болгарка Стойка из предместья Киречь-Хане. — Элена была женщина болезненная и не могла выносить адрианопольской зимы, которая несравненно суровее критской... Она давно уже болела, и Мадам Антониади, как ни жалела расстаться с ней, однако задумывала отправить ее на свой счет на родину. — Расстройство через это в их хозяйстве было большое. — Мадам Антониади целые дни работала и читала, и в хозяйство при этой верной и честной, и старательной женщине мало входила. — За несколько дней до моего отъезда в Родосто у Элены показалась горлом кровь, и она стала вдруг так слабеть, что не могла уже работать и, лежа в постели, плакала не столько, по-видимому, о себе, сколько о «своей бедной Мадаме», о том, что будет теперь делать без ее помощи *Кириа Маска* (так она звала Машу потому, что не знала пренебрежительного значения [и] не могла произносить букву *ш*). — В самом деле некому было ни служить в доме, ни одевать Мадам Антониади, ни за больной помогать ей ходить. — Приводили одну за другой разных горничных; — Антониади (ученик английского барства) не был мелочен в подобных случаях. — Он предлагал очень хорошую плату, подарки и т. п. — Но одна мысль о том, что в доме есть чахоточная женщина, за которой надо будет даже ходить, пугала многих горничных и родителей их.

Пришла одна молоденькая и очень бедная девушка Зоица (у матери ее был развалившийся домик, и все окна были заклеены бумагой); — есть иногда было нечего, кроме хлеба. — Она пробыла только два дня; — ничего не знала и все не так делала; когда же Маша велела ей помочь себе поддержать Элену за спину, пока она сама поправит больной подушки, то Зоица, бледнея, повиновалась, но ей тотчас же сделалось дурно от тошноты, и она, не стесняясь при больной, воскликнула: «Какой воздух около нее тяжелый!» — И сейчас же ушла домой, говоря: «Зачем я здесь погублю свою жизнь». — Пришла другая широкоплечая и опытная (слишком даже опытная) вдова, лет двадцати пяти. — Она жила перед этим у какого-то

холостого иностранца и бывала даже в Константинополе. — Эта больной не боялась, казалась доброй и охотно поправляла ей постель и подавала лекарство. — Но работать и убирать в доме не имела никакой охоты; — целые часы проводила на кухне, лежа даже небрежно на столе; курила папиросы и кокетничала с поваром, который по ее приказанию крутил ей папиросы.

Ее прогнали. — Жена доктора Чобан-оглу посоветывала взять простую деревенскую девочку, сироту, которая<sup>10</sup> только что пришла в город. — Мадам Антониади обрадовалась, думая, что из такой неизбалованной девочки можно скорее сделать все что угодно. — Но по странному стечению обстоятельств — эта Драгана оказалась какой-то помешанной. — Что она громко пела целый день заунывные песни и начинала вдруг плясать посреди сеней, так что Велико и повар умирали со смеху, — это бы ничего. — Маша Антониади была настолько умна, что ей такая оригинальность могла бы даже понравиться. — Что Драгана с первого дня влюбилась в Велико, сажала его<sup>20</sup> около себя; говорила ему: «Сядь, сядь, *челибей* мой, сядь, *афендаки* мой, близко!» — И, взявши его за голову, нагибала и начинала чесать ему гребнем волосы при поваре, который смеялся, — это бы тоже не беда. — Но она начинала этим заниматься, не кончивши самой нужной работы. — Возвращаясь домой, мадам Антониади видит в гостиной щетку, прислоненную к дивану, и кучу сору посреди комнаты... Она звонит. — Драгана нейдет. — Приходит повар и смеется. — «Что такое?»

— Опять чешет Велико... Велико ее гонит к вам; —<sup>30</sup> она нейдет...

— Драгана, я прогоню тебя, — говорит Маша, чуть не плача.

Драгана берет щетку и метет, напевая песни. — Пачкается она и все пачкает ужасно: всю лестницу умела затоптать мелким угольем; — надо мыть; — она сама моет, скребет, бьется и на другой день опять приносит на башмаках тот же уголь на ту же лестницу...



— Нет! Это ужасно...

Маша в самом деле уже плачет; богатство мужа тут не может ничего вдруг поправить... Маша плачет, сидя в ногах у больной Элены. — Элена стонет и опять говорит:

— Ах, Мадама, ах, золотая моя птичка — канареечка ты моя... Что тебе без меня делать...

И слабой рукой тянется достать руку молодой госпожи и целует ее.

— Прогони эту сумасшедшую, — говорит она.

— Подождем еще, — отвечает Маша.

10

Но Драгана не ждет. — Повар крикнул на нее за что-то: «Эй ты, сумасшедшая, Мадама зовет тебя...»

Драгана связывает узелок свой и — на улицу, не требуя даже денег за прослуженные дни.

— Куда, куда!

Повар бросается за ней на улицу; — ловит ее за руки; говорит ей: «дура, куда ты?..»

Драгана, думая, что ее будут бить, истязать, падает на мостовую и кричит, зовет на помощь так, что все соседи и соседки в узкой улице бросаются к окнам или растворяют 20  
двери...

Ее приводят; Маша дает золотую монету в пять франков... Она дико глядит и, не сказавши ни слова, уходит.

Что за испытание!.. Что делать? — Где искать?.. Но тут является Велико на помощь и говорит:

— Не печальтесь, Мадама, я вам буду служить пока...

И он начинает служить усердно, умно, хорошо... Целый день он бегаёт, метет, убирает как умеет... Немножко по-своему; — например, он находит, что будет гораздо красивее, если на пустые подсвечники положить по лимону, вместо того, чтобы вставить в них новые свечи; — он где-то это видел, у какого-то богатого жида, когда сам был «франком». — Маша застаёт его за этим занятием. — Он стоит и смотрит на лимоны и подсвечники; отходит и подходит, склоняя на сторону голову... Чтоб легче было скоро работать, он спускает сзади свой красный кушак и подтыкает через него каким-то хвостом шаль-

30

вары, — чтобы они не болтались между ног, когда он бежит. — И так он рад, что полезен; метет, поет вполголоса, на колодезь бежит по дворику — опять поет; позовут его, — он придаст особое ласковое и радостное выражение этому слову: *тóra!* — Иногда даже прибавляет к слову *тора* еще *фтис!* — Как бы у нас кто-нибудь сказал бы: «Сейчас — мигом!»

Он очень занимает своей простотой молодую хозяйку дома. — Не спросясь входит в ее спальню; — отпирает шкапы и сундуки и собирает ее ношенное белье, чтобы отдать прачке.

— Что ты здесь делаешь, Велико? — спрашивает Маша с изумлением.

— У вас много белья нечистого за это время набралось; надо отдать прачке...

И, хотя Маша краснеет ужасно, чуть не до слез и запрещает ему продолжать это занятие, но все-таки это внимание ее ужасно трогает, и наивность нравится.

Она после сознавалась мне, смеясь: «*C'est depuis qu'il a daigné s'occuper de mon linge, que j'ai des entrailles de mère pour lui!* — *Il est ravissant...* Были минуты, в которые, глядя на его красоту и простодушие, я жалела — зачем я не какая-нибудь простая Драгана... Я понимала Драгану, когда она чесала ему голову...

— Что ж мешает, — отвечал я ей, — чешите теперь...

— Нет, — отвечала Маша все также мило и весело; — есть социальные законы. — Если бы он был болен, — я бы могла придрататься к этому и служить ему; — но здоровому чесать голову нельзя...

30 (Как я восхищался ею, когда она так смело и забавно шутила, и как мне было тогда досадно, что у нее такой муж, который и оценить таких выходов не в силах...)

Но что же дальше! — Вот уже больше недели, как Велико стал почти горничной; — нельзя так продолжать жить? — Что делать?

Умирающая Елена указала на одну девочку. — Эту девочку звали Мариго. — У матери ее был домик в пред-

мести Ильдириг; — семья их прежде, при отце, жила очень хорошо; — но теперь они были стеснены, и мать Мариго внушала особую симпатию и уважение тем, что, несмотря на бедность свою, была всегда аккуратна и чисто одета вся в черном и держала себя серьезно и с большим достоинством. — В старом доме их была видна смесь нужды с прежним достатком. — Некрашенные полы были давно уже кривы и покаты, но они были чисты и белы до невероятия. — Все члены семьи, по старому и прекрасному турецкому обычаю, снимали у дверей башмаки; — жолтого цвета деревянный потолок в приемной осел так, что было страшно под ним сидеть, но он не был закопчен, и синяя краска выточенных на нем красивых продольных стрелок, была еще свежа. — На фигурных, старинных маленьких окошках сохранились в одном месте разноцветные стекла: лиловые, жолтые, красные; — а в другом — и простые не были вставлены на место разбитых, а были заклеены белой бумагой.

В *Кастро*, по соседству с домом, который нанимали Антониади, у этой семьи были родные, и у этих родных мать Мариго еще прежде познакомилась и подружилась с Эленой. — Элена тотчас же привела старушку к Маше; — Маше чрезвычайно понравилась эта худая, бледная и серьезная женщина, так аккуратна и даже красиво повязанная черным платком. — Она держала себя скромно, но почти как ровня с ровней; — не дожидаясь настояний богатой и образованной молодой хозяйки, кира *Фросо* (Евфросинья) села по первому приглашению на лучшее место дивана, не говорила сразу ни о теперешней своей бедности, ни о прежнем достатке при муже. — Не приставала также ни с «просвещением Европы», ни с «варварством» здешних людей, и «своих», и Мусульман, как делали столь многие дуры-Христианки на Востоке, желая блеснуть перед нами...

Кира *Фросо* обворожила Машу; Маша поспешила даже заплатить ей визит и, когда муж спросил у нее с сомнением: «Зачем это такая предупредительность...» Маша

запальчиво ответила: «Послушай, Дмитрий, ты знаешь, что для меня нет никакой разницы между женой негоцианта и вдовой хлебопека. — Мы с тобой не *нобльмены*». Дмитрий этих выходов не любил. — Он даже покраснел и ответил: «Не деньги; образованность — вот что делает разницу».

Но Маша разбила этот довод сразу одним словом:

— Мадам Чобан-оглу разве образована? — Однако ты сам первый у них был по приезде... Значит — деньги...<sup>10</sup>

Антониади ответить было на это нечего, и он отделался довольно любезной шуткой:

— Деньги хорошая вещь... Не хочешь ли я тебе дам еще два векселя на Лондон...

— Это как хочешь, — ответила Маша. — Это твоя воля. — А лучше ты купи сегодня же золотые серьги и голубое шерстяное платье для дочери этой старухи, для этой милой Мариго...

— Муж — глава, а жена шея! — Она вертит голову... — сказал еще раз веселый в этот день Антониади и купил золотые серьги с самыми длинными подвесками...<sup>20</sup>

Когда Маша сама отнесла эти серьги и надела их на бледную и белокурую девочку (у которой глаза были такие голубые и которая так романтически нагибала головку то туда, то сюда), кира Фросо сказала: «За что вы нас дарите? — Мы вам не служили... За что вы нас любите?..»

А девочка, которая еще не совсем выросла, приподнявшись на цыпочки, с серьезным выражением бледного лица, крепко и сладко поцеловала Машу в губы и сказала очень мило: «Сас эвхаристо, агапимени Кокона-му».<sup>30</sup>

Маша была в восторге. — Когда Элена стала все чаще и чаще болеть, умная мать, нисколько не опасаясь чахотки или надеясь на милость Божью, как добрая Христианка, стала присылать дочку утешать больную, и случалось, что Мариго проводила в доме Антониади целые дни. — Вечером повар провожал ее с фонарем к родным. — Все это происходило еще прежде моего отъезда в Родосто, и я сам

один раз мельком видел эту Мариго в доме Антониади. — Она была одета дурно и даже смешно; платье на ней было очень короткое, полинялое, ситцевое; видно было, что она много выросла из него. Сверх этого короткого и бедного платья была надета синяя, новая хорошая полубархатная старушечья мантилья; — на голове платочка не было, несмотря на то, что в этой стране большая часть самых молоденьких девушек покрываются платочками с бахромой, которые зовут *факиолями*. — Лицо у этой Мариго было продолговатое, овальное, очень бледное, волосы белокурые и золотистые, сзади косы были очень толсты и красивы... Она как-то сентиментально поклонилась мне. <sup>10</sup>

Маша Антониади еще тогда сказала мне:

— Вы видите эту девочку? — Какая смешная! — Точно старушка; благоразумная; трудолюбивая; серьезная; все сентенции и фразы, знаете, такие: «Молодая девушка должна повиноваться старшим...» Презабавная... Я ее очень люблю!

Больше я ее не видал до моего возвращения из Родосто, и разговора об ней больше не было до тех пор, пока я не застал ее уже совсем живущей в доме Антониади, в товариществе с другой девушкой, болгаркой Стойкой, тоже очень молоденькой и совсем другой наружности и характера... <sup>20</sup>

---

«Событие!»

Какое?!

Да — событие.... Событие не шуточное по началу по своему и по залогам страстей, которые могли таиться в окружающей нас жизни...

Однажды, ясным, теплым весенним утром я сидел на маленьком диване в большой зале Консульства, пил кофе, курил сигару и читал в «*Revue des deux Mondes*» статью одного умного человека, который *словно в угоду мне* доказывал, что машины и все усовершенствования Западной <sup>30</sup>

промышленности привели не к улучшению, а к ухудшению предметов роскоши и декоративного искусства и что на Парижской выставке 67 года ручные произведения отсталого Востока оказались гораздо изящнее, прочнее и благороднее по стилю своему, чем европейские.

Я блаженствовал от этой мысли и, прерывая чтение мое, думал о том, как я отнесу эту книгу Маше и как основательно (?) заставлю над ней задуматься и в первый раз усомниться в достоинстве новой европейской цивилизации даже и в этой специально ей принадлежащей промышленной области.

— Усомниться! Да — хоть бы усомниться раз... И то хорошо! — Ведь этим Г.г. Антониади... «имя им легион»! — Усомниться только... Да! Сомнение Пиррона. — «Пирронизм!», как он сказал тогда!.. Тогда! — (Боже мой — два года тому назад...)

Сколько пройдено с тех пор... И он мне стал ближе, и она своя... Но какая же мука воздерживаться от слишком частых посещений, рассчитывать каждый шаг свой...

<sup>20</sup> Размышления мои были прерваны. — Вошел Иван и сказал: «Двое греков очень просят вас принять их сейчас по важному делу!.. Они говорят — очень важное...»

— Что такое?! Зови.

Вошли два незнакомых мне солидных грека из предместья Кыик; одеты они были по-восточному (так, как я любил) и вообще имели вид бакалов или каких-нибудь хороших мастеров и домохозяев.

Я посадил их и спросил что случилось.

— Дело не хорошее, — сказал мне старший из них. — <sup>30</sup> Сегодня на рассвете я вышел на улицу и, проходя мимо дома одного турка, услышал на дворе разговор довольно громкий. А на улице и по соседству никого не было. — Слышу, турецкие молодые ребята говорят, что на Великой неделе этот год непременно перебьют Христиан... Посмотрел в щель — вижу человек пять, все мне известные люди. — Я пошел вот к нему и сказал ему. — Мы стали за ними следить и узнали, и своими глазами видели,

что у них изготовлена целая куча патронов и оружие собрано...

— Да — это не шутка... — сказал я и еще спросил: — А кроме меня никто еще не знает об этом? или вы сообщили кому-нибудь...

— Митрополиту сказали тотчас же, сегодня утром, — он нас послал к вам, сказал нам: идите к русскому Консулу; — мы с ним сейчас же позаботимся; и еще велел, если вы ничего против этого не скажете, открыть это нашему соседу Ахмед-бею. — Он человек богатый и до Христиан<sup>10</sup> хорош. — Не знаем, как вы скажете — а у нас только на вас вся надежда...

— Хорошо, — сказал я (чувствуя в себе какое-то спокойствие и чуть не праздничное возбуждение при этой угрожающей вести). — Только говорите мне правду... всю правду... Были вы у кого-нибудь из других Консулов?

Греки поклялись, что не были и, как оказалось потом, говорили всю правду.

— И у греческого не были?

— Не были, не были... Что он может сделать противу<sup>20</sup> Консулов великих Держав!..

— Ну, хорошо! — сказал я. — Я сейчас приму меры, а вы на меня положитесь.

И потом, помолчавши и подумавши, я спросил у них с улыбкой и сколько возможно таинственнее, чтобы они верили, что я всякую хитрость могу постичь:

— Ну, а еще... еще скажите мне по совести, как человеку, которому вы вполне верите... В самом ли деле вы этого боитесь, или хотите лишь из Христианской политики<sup>30</sup> лишний раз повредить туркам и обличить их...

Греки с улыбкой переглянулись... и один из них ответил мне очень тонко и умно:

— Вы, Г. Консул, сами все знаете. — Оно, конечно, выходит так. — Трудно им здесь сделать нам большой вред... Христиан много, и Порты не допустит... А кой-кого по соседству избить и убить в случае таком негодяи-молдчики, чапкыны могут... Возмем меры — предупредим

опасность; хорошо. — А если и так — это все только пустяки — то все-таки пусть Державы знают, что в Турции беспорядки...

— Ну, хорошо, — сказал я тогда, вставая. — Идите к Ахмед-бею скорей и скажите ему; — а я сейчас пойду к Митрополиту... Будьте покойны; — все будет по-вашему.

Я тотчас же позвонил; велел скорей подать себе одеться и послал одного человека за Михалаки, а другому велел быть готовым идти со мной.

<sup>10</sup> План действия был уже готов в уме моем, и, когда Михалаки пришел, я в двух словах передал ему, что случилось, и, уже не советуясь с ним на этот раз, сказал ему: «Пойдемте теперь прежде всего к эллинскому Консулу...»

— А не прямо к Митрополиту? — спросил Михалаки осторожно, но внушительно.

— Нет, — сказал я, — прежде к Мавромихали...

И мы пошли.

Мысль моя была вот такая:

<sup>20</sup> Мавромихали, как я сказал уже, на своего предместника, коварного до бесстыдства и любезного до приторности, уклончивого до низости и весьма опытного, вовсе не был похож, — он был очень горд, благороден, вежлив и серьезен в обращении и прям, иногда весьма наивен и не опытен.

Мавромихали был видимо поражен моим сообщением. (Быть может, и раздосадован тем, что его соотчичи грекирайя обратились не к нему, а ко мне.)

<sup>30</sup> Насупившись, он выразил сомнение в основательности этого слуха... Он называл его «уткой», «сплетней»:

— Здешние Христиане — трусы, — говорил он; — они развращены вековым рабством. — Им мерещатся опасности там, где их нет...

Михалаки, который сидел до тех пор почтительно и молча, заметил, что эти два человека ему известны; что они основательные хозяева, люди мужественные и опытные...



Черные, красивые глаза эллинского Консула сверкнули гневно.

— Я здесь не знаю мужественных греков, таких греков, какие *должны быть!*.. — воскликнул он. — И полагаю, что нам лучше в таком случае ограничиться отдельными замечаниями в Порте — чтобы не волновать напрасно умы.

— Умы эти больше взволнуются, когда будут представлены самим себе, — сказал я ему на это. — Впрочем, как вам угодно. — С вами с одним, как с Консулом Державы единой, я хотел идти к Митрополиту. — А потом, узнавши при вас от него все это основательнее, я пойду ко всем остальным Консулам и предложу им сделать, если хотя, коллективное представление Генерал-Губернатору. — Если вам не угодно идти со мной, я уйду один. — Я хотел лишь исполнить относительно вас то, что я считаю своим долгом...

С этими словами я встал...

Мавромихали, видимо недовольный, взял тоже шляпу и сказал:

— Eh bien — soit... J'y vais!

И мы пошли в митрополию.

---

Очень скоро стало мне понятно, почему Антониади спешил выписать мать и двоюродную сестру из Константинополя. — Он собрался уехать сам надолго по торговым делам в Марсель и Англию и находил невозможным оставить Машу одну в Адрианополе.

Он в эту весну решился на очень смелый торговый оборот; — он скупил почти все коконы шелковичных червей, которые только были в Адрианополе; у него было и своих много; — *беджеклык* для разведения червей у него был огромный; но, кроме того, его агенты старались перекупать коконы у всех небогатых людей города, которые имели около домов своих или за городом небольшие

плантации шелковицы и разводили червей в небольшом количестве для продажи коконов более крупным торговцам, отправлявшим сырой шолковый товар в западные порты. — В предприятии Антониади был большой риск; — он мог много потерять и потому, получив какие-то письма из Франции, решился ехать сам. — Как ему было оставить Машу одну? — Если бы он даже думал, что жена только о нем одном и мечтает, если бы она была без ума влюблена в мужа, то и тогда для «общественного мнения»<sup>10</sup> этих стран он не мог бы оставить молодую женщину в доме надолго *одну*. — Вот почему приехала его мать еще задолго до его отъезда за границу. — Никто, ни один человек в мире, ни мать, ни жена не знали об его намерениях до последней минуты. — Вероятно, он и сам долго не знал наверное — решится ли он ехать, или нет.

Решено было все в один-два дня. — Поутру он вдруг пришел ко мне в канцелярию; посидел с минуту *так*, поговорил для приличия о погоде и последних политических новостях (в Крите начиналось тогда восстание, и разрыв<sup>20</sup> между Пруссией и всей остальной Германией казался неизбежным); — потом встал, подошел к столу и, полагая передо мной свой французский паспорт, сказал с маленькой улыбочкой: «Bon pour Odessa etc!..»

— Вы едете? — Когда? — спросил я с удивлением...

— Завтра, очень рано утром...

— Как это быстро... Вдруг!..

— Дела! Как быть? — сказал Антониади. — Семья моя остается...

— И надолго?

<sup>30</sup> — Постараюсь вернуться... Эти слухи о неминуемой войне на Западе очень смущают нас, негоциантов... Вы не поверите, как это все затруднительно; — особенно при нынешней быстроте сообщений. — Эти телеграммы! — Какая-нибудь ложная весть... Существуют даже подкупы... в коммерции через это бывают такие неприятные вещи, томительные... *Des tiraillements douloureux*...

Он стоял передо мной и говорил все это не спеша, по обыкновению немного покачиваясь вперед и назад с каблучков на носки и поглядывая искоса на руку свою, играющую длинными бакенбардами... Выражение лица его было благосклонное, даже заискивающее, как мне казалось... Я не ошибся; — он был так любезен, что даже *цитировал* меня по поводу своих замечаний о тягостях коммерческой борьбы; он припомнил один разговор мой, о котором я сам вовсе забыл...

— Да! (сказал он, улыбаясь насколько мог приятно) <sup>10</sup> Да, коммерческая борьба нередко тяжела... И я вспоминаю, как вы однажды с большим остроумием заметили, что самая лучшая, по вашему мнению, торговля, — это та, которой занимался смолоду Магомет, когда был прикащиком у Мадам Кадиджи: верхом на коне с пикой и саблей около каравана верблюдов... Я никогда этого не забуду... (Еще приятная улыбка.)

— Разве я говорил это? — спросил я. — Я не помню. — Я думал это всегда; — но я удивляюсь неосторожности моей, если я высказал такую фантастическую <sup>20</sup> и несовременную мысль при здешних людях. — Я мог уронить себя в глазах людей чисто-практических... Меня могли бы принять за *Дели*... А этот Дели уважается здесь только разве турками...

Антониади принял серьезный вид и отвечал почти строго:

— Вы напрасно думаете, что греки все так глупы, так не умеют различать остроумия в дружеской компании от серьезных качеств, которыми вы отличаетесь... (Он начинает лстить мне! — подумал я; — что это значит?)... <sup>30</sup>

Полагая, что он совсем хочет проститься, я, между тем, тоже встал и ждал с минуты на минуту, что он протянет мне руку.

Но он спросил меня: «Вы спешите куда-нибудь? — Вы заняты?..»

— О нет! — воскликнул я, снова садясь... — Я думал — вы спешите...

— Да, я спешу, это правда, — сказал Антониади; — но, к несчастью, тут случилось одно дело очень затруднительное, о котором мне необходимо с вами поговорить...

Я сел опять; и он тоже сел и, доставши из кармана бумагу, показал мне ее, говоря:

— Это я составил вам на память маленькую записку на французском языке, по делу той мельницы на Тундже, которой я владел вместе с русским подданным, известным вам Сотираки... Я решительно не знаю, как с этим быть...

<sup>10</sup> Французское Консульство проиграло его в Тиджарете. — Драгомана этого поляка в Порте не любят... Мосьё \*\*\*, французский Консул, равнодушен... Вы знаете, что турки особенно горячо и охотно защищают своих Христианских подданных в коммерческих делах против нас, имеющих иностранные паспорта... чтобы *райя* имели меньше причин на них жаловаться и добывать себе эти чужие паспорта... Сотираки подаст вам прошение...

Я был очень рад этому случаю; — рад и потому, что это давало нам возможность попытаться счастья и выиграть <sup>20</sup> дело, проигранное французским Консульством (правильно или неправильно — до этого не мое было дело даже и доходить; — это было дело суда). — И рад я был, каюсь, еще больше тому, что через это дело Антониади мне *обязывался*...

Он был все-таки хоть немного в моих руках; — тяжба была не совсем ничтожная... Я ликовал... но, стараясь скрыть свое радостное волнение, сказал со вздохом:

— Это будет очень трудно, — я предвижу. — Французское Консульство сильно, и если оно не выиграло <sup>30</sup> тяжбу в Тиджарете, — то остается одно — попытаться счастья в *Мехкеме*... Тут замешан вопрос о недвижимости... Можно туда перевести. — Наш М. С... кажется, дружен с турецкими духовными судьями... Будьте, впрочем, уверены, что я постарался бы все сделать, что можно, даже и тогда, если бы у меня не было с вами никаких личных сношений и если бы я не уважал так и вас самих, и вашу семью...

Антониади слегка поклонился и благодарил меня... Потом встал и, прощаясь, протянул мне руку. — Я сказал ему: «Позвольте мне по-русски поцаловать вас перед дальним путем...»

Мы поцаловались, и Антониади, еще раз крепко сжимая мне руку и глядя мне прямо в глаза очень зорко и выразительно, сказал с очень значительным ударением:

— Поручаю вам мою семью, жену, мать и дочь... сестру... Защищайте их, храните... не только как русский агент, но, позвольте мне надеяться, и как добрый и честный друг...<sup>10</sup>

Я молча поклонился и еще раз пожелал ему доброго пути и скорого возвращения...

Он ушел... А я остался веселый и смущенный, счастливый и встревоженный... Он доверил мне семью как честному человеку; — он поручил мне *свою честь*...

Я сидел, в полу-радостной и глубокой задумчивости, в канцелярии нашей и смотрел, быть может, целый час все в одно и то же место перед собой: то на длинный, устроенный под окнами, турецкий диван наш, на его серенький ситец, на котором были разбросаны коричневые, осенние дубовые листья, то на оба открытые окна, из которых несли смутный и восхитительный (казалось мне в эти минуты) хор уличных звуков. — Комната эта была в нижнем этаже, но возвышалась над улицей настолько, что, сидя в некотором отдалении за письменным столом, я не мог видеть ни пешеходов, ни [лошадей], а только изредка головы всадников...<sup>20</sup>

Но тем приятнее было мое тихое и блаженное созерцание... Я ничего, кроме серого с дубовыми листьями дивана, голубого чистого неба и темно-красной стены соседнего дома, не видел... Весенний ветерок чуть колыхал занавески... Кричал какой-то разносчик, продавая что-то... Что — я не знал... Стучала соседняя мукомолка необыкновенно мягко и приятно... Скрипела болгарская телега на буйволах... Лаяли собаки... Опять умолкало все на мгновение. — Собаки не лаяли; арба не скрипела; люди не кричали. — Только одна мукомолка продолжала так мягко стучать...<sup>30</sup>

Стучала она, стучала: тук-тук, тук-тук, тук-тук... А я все слушал ее, все слушал, все вздыхал от тихого томленья... И вдруг опять раздавался на улице какой-нибудь громкий возглас невидимого человека, визг собаки, смех детей, звонкий топот подкованных копыт по камням мостовой. — Глухой, мгновенный и неясный гул громко разговаривающих людей, прошедших мимо... И опять тишина на минуту... Тук-тук, тук-тук... И опять только голубое небо, дубовые листья и серенький ситец, и красная стена соседа... <sup>10</sup> «Честь, честь его семьи!.. Кто посягает на эту несносную честь его... Люди хотят лишь видеться свободно, дышать, любить, вздыхать, отречься даже, но лишь бы видеть чаще друг друга и говорить друг другу, что надо отречься...»

«Чепчика я не боюсь!.. Чепчик скорее здешнего платочка поймет меня...»

Я вздрогнул... Наш злой драгоман М. С. вошел так тихо, что я и не слышал, и не заметил его...

— А! это вы!..

<sup>20</sup> Он улыбнулся (все дьявольски, иначе он не умел!). — Он улыбнулся и сказал: «Вы мечтаете!..»

— Все о делах, к несчастью, — отвечал я. — Все новые дела... Вот Антониади...

И я подал ему французскую записку «на память».

М. С. поглядел на нее и, положив в карман, сказал:

— Я знаю. — Мы это выиграем. — Надо выиграть, чтобы доказать французам, что мы не они, а русские...

— Вы надеетесь выиграть... В Мехкеме...

<sup>30</sup> — Да, в Мехкеме... Я там только что избавил одну бедную вдову от уплаты тяжкого долга. — Новый Мюфетиш прекрасный человек... Старый турок, такой турок, каких нам надо... Вы знаете, что я от образованных турок подальше...

Я просил М. С. рассказать мне о вдове, и он, одушевившись, встал с дивана и начал так:

— Коран и Шериаат хорошие вещи, если бы люди, прилагающие закон к делу, были всегда честны и добры...

Я всегда говорил это туркам, и за эти слова они во многом мне потворствуют... Это правда. — Муж этой вдовы был действительно должен значительную сумму другому греку, очень состоятельному. — Он умер и оставил четырех детей и маленький дом. — Кредитор подал ко взысканию в Тиджарет. — Оба они: и кредитор, и должник — турецкие подданные. Несчастливая вдова пришла ко мне и, рыдая, рассказала мне, как она и дети должны лишиться последнего крова. — Женщина она хорошая. — Я пошел сам к кредитору и уговаривал его простить ей хоть половину долга; негодяй осмелился очень грубо ответить мне. — Я сказал себе тогда: «Хорошо! ты ничего не получишь». — И научил вдову обратиться в духовный турецкий суд. — Пришли туда все: двое свидетелей, вдова и тот подлец, который мне нагрубил; пришел и я, как будто просто по знакомству, или по другому делу, но собственно, чтобы противник видел, что горе и убыток причинил ему именно я, что это моя интрига... да! (Глаза М. С. стали ужасно злы по мере того, как он, стоя передо мной, рассказывал... Последние слова он произнес почти шопотом, как-то адски нагибаясь и почти подползая ко мне, и обе руки он поднимал в уровень лица, с выражением чего-то такого, что везде может пролезть и прорыться как крот...) Молла посадил меня рядом с собой... Я сидел и курил, и показывал вид равнодушия. — И вот... (Тут лицо М. С. просияло и стало чуть не добрым от радости; он даже с секунду помолчал, пожирая меня развеселившимся взором.) И вот... судилище открылось. — Мой старик (mon vieux) спросил одного из свидетелей: «Ты признаешь подпись и печать Ставри из Мустафы-Паши на этой росписке?..» — «Признаю». — «А ты знал, как звали его отца?» — «Знал. — Его звали Христо». — «Хорошо. — А как звали его деда?» — «Нет! Как звали деда — не знал». — «Значит, ты не годишься в свидетели...» Другой был турок. — Молла спросил его: «Ты знаешь, ага, верно, что Ставри был вот ему, этому, должен?» — «Знаю верно». — «А в котором году это случилось?..» Ага за-

думался... и сказал год. — Вдова закричала: «Нет! Нет... Это не так». — Ага опять задумался и сказал: или в таком-то, или в таком... Начали спорить. — Но Молла прекратил спор и сказал: «Если ты года наверное не знаешь, ты тоже не годишься в свидетели». — И разорвал росписку, и отпустил всех. — Я стал благодарить его... Но он мне сказал: «Скупые хотят утвердить скупость между людьми. — Но они потерпят бóльшее наказание». — Это наш *перхамбер*\* так сказал. — Этот человек

<sup>10</sup> скупой... Наказавши его, я исполняю волю Аллаха! И вдову надо жалеть». — Заметьте, Молла был так деликатен, что выпустил из этой цитаты (я ее знаю, я читал Коран) очень важное слово. — «Они (скупые) будут наказаны подобно *неверным*...» Тогда я ответил ему так: «О! эффенди... Если бы все османлисы были великодушны и справедливы, как вы, то кто стал бы говорить, как говорят некоторые *чапкины* из наших: иго! иго!.. К вам справедливо обращено воззвание Падишаха

- <sup>20</sup> — А росписка-то была правильная? — спросил я.  
М. С. добродушно засмеялся.  
— Конечно, правильная. — В Тиджарете было решено правильно противу вдовы. — По коммерческому закону она должна была заплатить...  
— Итак, дело Антониади выиграем?  
М. С. взглянул на меня лукаво, но все с добрым оттенком и, вздохнувши, сказал покорно:  
— Как прикажете вы. — По «Корану» или по «Наполеонову кодексу».
- <sup>30</sup> Я покраснел (сознаюсь) и сказал:  
— Как вы скажете...  
— Нет, я — подчиненный... Мое дело — исполнять...  
Если вы *особенно* желаете, чтобы Антониади выиграл, — надо постараться...

---

\* Магомет



— Я не берусь решить — какая сторона правее... И вы сами советовали всегда возвышать перед другими флагами наше Консульство...

М. С. отечески покачал головой и, сделавши еще раз какую-то полу-значительную, полу-веселую мину, вдруг воскликнул, ударяя тростью в пол с большою силой:

— Победим, победим еще раз... Пусть французы и поляки знают... «Яко с нами Бог!» У меня есть в запасе еще великое средство для очарования Моллы...

М. С. даже так обрадовался, что серое лицо его покрылось живым румянцем, и он, едва сказав мне «прощайте», забывши всю свою почтительность и надевши при мне же в канцелярии свою форменную, *светло-зеленую* от ветхости русскую фуражку (ту самую, по которой хотел бить его польский офицер), вышел вон в чрезвычайном одушевлении.

А я опять остался один, счастливый и спокойный... И долго еще смотрел на колеблемые ветром занавески и на коричневые дубовые листочки дивана, и мечтал, и вздыхал, слушая в райском блаженстве, как стучала незабвенная мукомолка моя: тук-тук, тук-тук, тук-тук... И сердце Маши теперь, быть может, также бьется и стучит в груди; — она ждет не дождется, чтобы муж уехал и чтобы я пришел к ней скорее...

Боже! как хорошо мне жить на свете теперь... И как жаль, что я здесь уже не слышу сладких стонов моего сизого голубка на персиковом дереве в углу у высокой и сырой стены... под моими окошками...

## ЯДЕС \*

### ВОСТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Под одним большим и торговым городом, в своем собственном доме жил богатый купец с молодой, красивой и очень умной женою.

Они уже имели двух маленьких детей, ни в чем не нуждались и между собою жили очень согласно, так что и другим служили примером хорошей, приятной и христианской жизни. Но жена при красоте своей была еще и веселого нрава и очень любила наряды, а муж был немного ревнив и очень расчетлив.

Когда жена покупала себе новое платье или убор — муж любовался на нее тайно, но ей всегда почти говорил, насупивши грозно брови:

— Конечно, это очень красиво и к тебе пристало. Только на что это замужней женщине так часто украшать себя? Посторонних мужчин искушать красотой своей тебе грех... Ты ведь добродетельна и верна, на что же беспокоить их напрасно; а мне, мужу, ты и попросту хороша...

<sup>20</sup> — Прости уж мне, несчастной такой и глупой женщине, — отвечала ему красавица с лукавой кротостью. — Такая я дура. Для самой себя люблю наряжаться...

---

\* Так называется особого рода игра, или пари. Берут косточку из груди курицы и двое играющих или бьющихся об заклад переламывают ее вместе для обозначения начала игры, достаточно известной и у нас.

Муж вздыхал, глядел угрюмо; а наряды и сам покупал, и деньги давал ей; хоть и неохотно и гневаясь, а все-таки давал, потому что, в случае отказа, она умела такое печальное и кроткое лицо сделать, и глаза у нее были такие прекрасные и сладкие, что он покачает головой, ногой даже топнет иногда, а деньги, хоть и не просто даст, а все-таки кинет перед ней со звоном от досады на стол и скажет, махнув рукой:

— Сказано — женщина! Одно слово, понимаешь ли ты, — *женщина!* 10

— Понимаю, очень даже понимаю — ответит жена, и возьмет и поцелует.

А он ей:

— Ну, вот видишь, видишь, не правду ли я говорю — сказано: женщина! И что это за волшебство такое?! От Бога это нам утешение, или от сатаны погибель? — не знаю, и не постигнет никогда этого мой ум!..

— От Бога!.. от Бога!.. — уверяла жена, лаская его. — Я знаю, что я от Бога; а если тебе другая понравится, и ты ей не только подарки сделаешь, но только полюбишься на нее — так это будет от дьявола... Право, ты мне верь, радость моя, — это так... 20

— Ну, а ты, когда ты взглянешь на молодца — это ничего?..

— Я гляжу только, у меня глаза есть — что ж делать!.. Конечно, это ничего...

— Ну, а *они-то* на тебя смотрят? Как ты скажешь...

— Пусть смотрят и тебе завидуют — вот и все... Я очень рада...

— Знаю, знаю, что рада! Вы все этому рады! — укорял муж, и глаза его хотя и сверкали притворной на нее злобой, но она знала, что это все притворно и что он не только сам ее любит, но и верит ее к себе любви. 30

Спорили они между собою иногда и о другом. Муж говорил, что у него «глаза такие открытые», что ни одна женщина его обмануть не может; а жена говорила, что нет такого мужчины, которого бы женщина умная не могла бы обмануть...

— Если жена у тебя хорошая и честная, и тебя любит, то надо ей верить; а обмануть и тебя можно, хотя ты и очень умный...

Раз так-то они рассуждали и дружески спорили при посторонних людях, которые пришли к ним в гости, и муж воскликнул:

— Не обманет меня женщина... Никогда!.. Даже ядес я всегда выиграю у нее, потому что я очень хитер и внимателен...

<sup>10</sup> — Так давай сделаем ядес! — сказала жена.

— Давай!.. Принеси косточку.

Жена сходила в кухню, принесла куриную косточку и сказала:

— Вот теперь у нас и свидетели есть... Если я выиграю ядес, чтобы муж мне купил полосатой *хашламы* на одно платье и голубого атласа тоже на одно платье, и пару серег бриллиантовых, и дал бы еще слово, что больше своим умом и хитростью противу женщин хвалиться вперед не будет... И еще...

<sup>20</sup> — Довольно! Довольно! — воскликнули гости.

— Пусть назначает больше! — сказал муж насмешливо. — Я на все согласен. Даю слово, потому что проиграть не боюсь. Она проиграет...

Жена улыбнулась и не сказала ни слова. Один из гостей тогда спросил,

— А что же вы, госпожа моя, обязываетесь сделать, если вы проиграете? Мы свидетели, мы же и судьи между вами будем.

<sup>30</sup> — Что прикажет тогда мой муж, то и сделаю беспрекословно и с радостью... Пусть его на то воля будет... Назначать ему мне, что бы то ни было, едва ли придется, потому что ведь я не боюсь проиграть. Только прошу, чтобы игра продолжалась до трех раз, а не кончалась бы с одного раза.

Все, и муж, и свидетели изъявили на это согласие. Тогда они переломили косточку, и с этой минуты игра началась.

Длилась она более трех месяцев и все не кончалась.

Обоим было трудно. Необходимо было большое внимание. У мужа ум был занят торговыми оборотами; у жены хозяйством и детьми. У каждого были свои затруднения и горести; муж беспокоился о двух кораблях с пшеницей, которые были отправлены им далеко, и никаких известий об них долго не было. У жены было отягощение по дому, потому что старая, верная служанка, во многом ее заменявшая, в это время заболела, и ей, с новой и неопытной наемницей, было иногда очень трудно. Было и общее им обоим страдание, когда заболел младший их мальчик, которого они оба очень любили. <sup>10</sup>

Но, несмотря на все это, они оба об игре своей не забывали, и между ними продолжалась упорная и безмолвная борьба. Приходилось целый вечер, после возвращения мужа к обеду домой из города, где он торговал, обоим остерегаться ежеминутно. Жена привычна была, конечно, мужу служить; а муж привык приказывать ей:

— Маригó! Поддай мне чубук!

Или: <sup>20</sup>

— Кузум-Маригó, принеси мне, жизнь ты моя, немножко винца хорошего... Утомился я что-то.

Через это ему было труднее, чем ей; она подавала ему в руки, или молча, или нарочно отвлекая его разными разговорами... Ему приходилось беспрестанно брать у нее из рук, и каждый раз нужно было вспомнить и сказать: *ядес...*

Первые дни он был очень осторожен; потом деловые заботы взяли перевес над игрой, и он подряд проиграл два раза; но после этого снова так утвердился, что уже до третьего и последнего проигрыша жена никакими силами не могла его довести. Кстати же, он к тому времени получил благоприятные известия о своих кораблях и очень много денег; стал веселее и покойнее и ни на минуту об *ядес* не забывал. <sup>30</sup>

Однажды в ясный летний день муж уехал с утра в город, а Маригó осталась дома и, сидя у окна, вышивала

золотом по голубому шолку, как вдруг какой-то путник на большом и хорошем муле остановился у ворот их дома. Он подозвал служанку и умолял дать ему утолить жажду, которой он мучился, долго не встречая на пути хорошего ключа или фонтана.

Мариго слышала, как он говорил служанке:

— Ах, я очень утомлен и нездоров и не знаю, как я доеду до города и где я найду в нем покой себе и пристанище...

<sup>10</sup> Служанка спросила у путника:

— Разве у вас нет в нашем городе родных и друзей?

— Нет у меня никого близкого в этом городе, — отвечал он.

— К кому же вы едете? — спросила служанка.

— Я ни к кому в гости не еду; я путешествую по различным местам и поучаюсь житейской мудрости. Ибо с мудростью книжной я знаком вполне и хочу стать мудрецом совершенным...

<sup>20</sup> Мариго была очень гостеприимна и знала, что и муж одобряет эту ее добродетель. Она вышла на порог дома и сама сказала молодому путнику так:

— Если вы, господин мой, устали и не совсем здоровы, то вместо того, чтобы ехать в жаркое время дня в незнакомый вам город, милости просим отдохнуть у нас в доме. Мы сочтем это за честь и удовольствие!..

Путешественник был доволен этим предложением и отвечал ей очень важно:

<sup>30</sup> — Не нахожу, госпожа моя, выражений, соответственных той глубине признательности, которую ощущает сердце мое! Я непременно и безотлагательно впишу в книгу моих наблюдений заметку о необыкновенной доброте и гостеприимстве домохозяек в этой благословенной Богом стране!.. Это будет для меня весьма утешительно, так как житейская мудрость, которую я, изучивши книжную мудрость до корня, теперь стараюсь постичь, научает видеть в людях, и особенно в женщинах, больше пороков, чем добродетелей.

После этих слов путешественник сошел с мула и вошел вслед за хозяйкой в дом.

Мариго отвела его в большую и прохладную приемную с широкой софой вокруг стен, с высокими окнами, на которых стекла были разноцветные, и под окном, вблизи немолчно стремился по камням, сбегая с высоты, прекрасный ручей, так что в комнате этой постоянно было слышно приятное и веселое журчание.

В одно мгновение ока служанка сняла с путника пыльную обувь его, постелила ему на софе мягкий шелковый тюфяк, положила подушки и покрыла все голубым шелковым одеялом с золотыми цветами.

Сама хозяйка подала ему немедленно на серебряном подносе прекрасной ключевой воды и двух сортов варенья; а за нею молодой служитель араб поднес ему кофе на золоченых зарфиках.

Путешественник принимал все с достоинством высшего сана, и хозяйке его надменное обращение казалось удивительным и забавным.

Потом она спросила его, что предпочитает он: принять какую-нибудь пищу или уснуть? И путник отвечал откровенно, что усталость и сон преодолевают в нем голод.

Тогда Мариго и слуга ее удалились, притворив за собою двери; а молодой путешественник разделся и, с радостью опустившись на богатое и чистое ложе, уснул немедленно и глубоко.

Мариго между тем строго запретила людям шуметь; сама сходила на конюшню и велела накормить мула ячменем, а потом занялась на кухне приготовлением самого вкусного завтрака.

Уже солнце зашло далеко за полдень, когда сладко уснувший путешественник проснулся. Он вышел из комнаты, умылся у фонтана, надел чистую одежду, достал из своей дорожной сумки книгу и, севши покойно на софе у окна, открытого на немолчный ручей, стал читать. За этим занятием застала его хозяйка дома; она пришла узнать, хорошо ли он отдохнул и каково его здоровье.

Войдя, она заметила на лице его недовольство, и он видимо неохотно отвечал ей. Вообще, хотя он и говорил ей по необходимости обычные слова приветствий и признательности, но она еще с той минуты, как вышла на крыльцо, чтобы пригласить его, ни разу не видала улыбки на его мрачном лице.

Годами, заметно, он был еще довольно молод; но безобразно худ, бледен, через меру бородат и вовсе лицом не красив и не приятен; а придавал всем движениям, словам<sup>10</sup> и даже взглядам своим великую степенность и сановитость. Эти особенности возбуждали любопытство молодой хозяйки, и ей очень захотелось побеседовать с таинственным и угрюмым странником.

Поэтому, как будто бы не обращая внимания на его нахмуренные брови, она почтительно села поодаль на диване и спросила его: «хорошо ли он себя чувствует?»

— Очень хорошо, госпожа моя; благодарю вас, — отвечал философ, не оставляя книги своей.

— Облегчился ли тот недуг, на который вы утром жаловались, стоя у наших ворот? — спросила еще Мариго.<sup>20</sup>

— Облегчился.

— Хорошо ли вы почивали?

— Хорошо, — еще неохотнее ответил он.

Но Мариго все притворялась, что не замечает его досады.

— Вы, должно быть, вообще очень слабы здоровьем? Я замечаю это по вашей бледности и худобе, — продолжала она.

<sup>30</sup> Путешественник на это отвечал ей мрачно и грозно:

— Нет, госпожа моя, нет! и еще раз — нет! Я худ и бледен — это справедливо, но вовсе не от недугов, а от чрезмерной учености моей. С ранних лет я постиг великую истину, что прежде чем вступить на путь жизни деятельной, мудрый юноша должен познать всю мудрость прошлых веков, сохраняемую, как в сокровищнице, в этих книгах, всюду и всегда меня сопровождающих. Теперь,



хотя, изучивши мудрость книжную вполне, я путешествую для познания мудрости житейской, но все-таки паки и паки освежаю свой ум живой водою древнего любомудрия, для сохранения незыблемой ничем твердости духа. Да, госпожа моя, я еще юн годами, но умом и познанием я богат, я очень богат!!

И он, кончая эту речь, взглянул на нее еще сердитее.

— Что же пишут в ваших книгах про женщин? — спросила Мариго.

— Все худое, — отвечал мудрец. — В этих книгах перечисляется все то зло, которое сделали женщины от сотворения мира и до нашего времени, и изображаются их пороки. В этом согласны мудрецы всех стран и всех времен. Не женою ли грех первородный вошел в мир? Ева соблазнила Адама. Не за красивую ли женщину пролито столько геройской крови под стенами Илиона? Далила погубила Самсона. Омфала унизила Иракла, павшего у ее ног. Иезавель и Гофолия потрясали основания еврейского царства. Ксантип(п)а отравляла жизнь Сократа. Жены же совратили великого царя и мудреца Соломона и заставили его поклоняться идолам. И всех зол, причиненных на свете этом как привлекательностью женщин, так и пороками их, не перечесть и до вечера. Прекрасно уподобил один из древних разных женщин разным животным: «Одна из них, говорит он, горда и неукротима, как дикая кобылица; другая лукава и жестока, как лиса или кошка; третья неопрятна, сварлива и бесстыдна, как псица... И только одна из десяти, быть может, заслуживает сравнения с трудолюбивой и полезной пчелою».

Мариго почтительно дослушала его, а потом вздохнула<sup>30</sup> печально и, вставая с места своего, сказала:

— Хотя я не знаю, к какому из перечисленных этим мудрецом животных себя, бедную, приравнять, — к пчеле не смею, а к собаке, к лошади и к кошке злой и хитрой — не желаю, однако, думаю, что хоть в одном уподоблюсь пчеле — это в том, что позаботилась, как могла, об утолении голода вашего и прошу вас сделать мне и мужу моему

честь вкусить от трапезы нашей в садовом киоске. Пожалуйста!

Она повела его в киоск, где уже был приготовлен обильный и роскошный завтрак. Киоск был весь обвит виноградом, кроме передней стены, по которой стлался необычайно душистый жасмин. Вокруг цвели алые и белые розы и другие цветы. Колонны киоска были ярко раскрашены, пол его был мраморный; вокруг широкий пунцовый диван, а посреди киоска бил фонтан обильным снопом 10 ключевой воды. Мариго нарочно приказала для гостя открыть его.

На дорогой скатерти, в первый раз вынутой из сундука, стояло множество разных блюд и напитков и посреди всего превосходный ягненок, начиненный мелкими стафидами и кедровым орехом.

Фрукты также были различные, и черешни белые с темными вместе, перемешанные для красоты, были связаны длинными гроздьями наподобие кистей винограда.

Молодой философ и прекрасная хозяйка кушали вместе 20 с большим удовольствием, и под конец обеда, когда уже и старое вино, вынутое нарочно для этого особого случая из погреба, развеселило сурового гостя, Мариго возобновила прежний разговор:

— Однако, — сказала она, — не все ж об одних пороках женских передает нам история рода человеческого. Были и примеры добродетелей... Не правда ли?

Мудрец улыбнулся и сказал ей на это любезно:

— Ведь и тот женоненавистник, который сравнивал женщин с разными животными, уподобил же некоторых из 30 них пчеле. Про вас, кирия Мариго, можно сказать двояко: по трудолюбию, по домостроительству вашему вы именно та всеполезная и драгоценная пчелка, которой сей древний муж воздавал хвалу; по красоте же вашей и миловидности вы, напротив того, подобны одной из этих восхитительных и пестрокрылых бабочек, которые порхают в эту минуту по цветущему и благоухающему Эдему вашего сада! О! кирия Мариго, как должен быть счастлив ваш муж!!

Мариго поблагодарила его за похвалы, стыдливо опуская глаза, и, вставши, вышла поспешно и приказала служанкам скорее убрать со стола. Они убрали и подали гостю кофе на серебряном подносе и наргиле.

Он стал курить, внимая приятному шуму фонтана, шелесту густых деревьев сада и веселому, кроткому пению птиц.

Мариго возвратилась скоро и снова села возле него, только еще ближе прежнего. Гость, казалось, был упоен блаженством и, беспрестанно улыбаясь, глядел на нее молча.

— Да, да! Не все, не все порочны!.. — повторял он и, еще придвинувшись к ней, взял ее руку.

Мариго не отняла руки.

— О, кирия Мариго! — опять воскликнул он, — как должен быть счастлив ваш муж и как я завидую ему!..

Мариго глубоко и печально вздохнула.

— Вы вздыхаете, царица красоты?!.. Вы несчастны?!.. — спросил он с жаром.

— Муж мой очень ревнив и недоверчив... и даже теперь...

— Что? что теперь?! — с испугом спросил мудрец.

— Даже и теперь, — отвечала Мариго, — когда мне так приятно с вами — я непокойна... Я жду его с минуты на минуту из города...

Философ испугался; наргиле выпал из руки его; он встал с дивана и воскликнул:

— Зачем же вы мне не сказали прежде, что он вам запрещает даже самое законное гостеприимство!!

— Нет, — ответила Мариго, — он не запрещает его; но он недоверчив и очень гневен, и я боюсь, чтобы он...

Она не кончила... На дворе раздался конский топот, и громкий мужской голос сердито сказал:

— Возьмите лошадь скорее и поведите ее... Эй! Где вы?!

— Это он! Это муж! — с притворным испугом прошептала Мариго, — идите, идите сюда!.. Скорей!!! Я вас запру в шкаф!.. Иного спасенья нет!..

И, быстро увлекши за собой в дом философа, она втолкнула его в шкаф, заперла его на ключ и вышла.

Он стоял в темноте среди женских одежд, со страхом думая о том, что может ему предстоять; каялся в своем безумии и в том, что изменил так неожиданно и так глупо своей книжной премудрости.

Но страх его перешел в истинный ужас и в совершенное отчаяние, когда он услышал из шкапа, что Мариго вводит сама в эту комнату мужа своего и говорит<sup>10</sup> ему:

— Вот видишь ли, друг мой, ты иногда как будто не доверяешь мне и ревнуешь; я этого больше не желаю; я хочу, чтобы ты мне всегда верил... Сегодня приехал откуда-то издалека один молодой мудрец и просил напиться и отдохнуть. Я пригласила его, успокоила и угостила; но он, злоупотребив правами гостеприимства, начал ухаживать за мной и объяснился мне в любви...

— Где он? где он?.. Я его убью... — закричал в испуге муж.

<sup>20</sup> Мариго начала просить:

— За мою верность и любовь, и за то, что я так с тобой откровенна, я прошу и умоляю тебя, мой друг, не обагрять рук твоих кровью. Мы сделаем ему только наставление и отпустим его... Обещай мне это, и я укажу тебе, где он...

— Говори, говори, где он? — кричал муж. — За твою любовь и верность обещаю тебе отпустить его живым... Но я сокрушу ему ребра... Скажи только, где он?!

<sup>30</sup> Голос хозяина был силен и грозен, и бедный философ стоял в шкапу ни жив ни мертв и востыла только к небу страстные и слезные мольбы.

Мариго долго уговаривала мужа, наконец сказала ему:

— Он в этом шкапу... Не убивай его только до смерти... Вот тебе ключ... Держи.

— А! а! — радостно вскрикнул разъяренный супруг.

А путешественник в последний раз возвел очи к небу и мысленно сказал: «Боже Праведный, спаси меня!»

Но в ту же минуту, прежде чем муж успел подойти к шкапу, раздался громкий смех Мариго и веселый возглас ее:

— *Ядес!! ядес!!* Я все выдумала и солгала — в шкапу нет никого, а ты взял ключ и не сказал мне *ядес!*.. Садись же сейчас на коня и опять скачи в город и привези подарки...

— Ах! дьявольская хитрость женщины!.. — воскликнул муж.

И, бросив ключ на землю, закричал из окна слугам: <sup>10</sup>

— Эй! не расседывайте коня... Я сейчас еду опять в город.

И с этими словами вышел и поспешно ускакал.

Как только все утихло, Мариго отперла шкаф и, выпуская оттуда полумертвого гостя, сказала ему:

— Вот видите, вы еще не все хитрости женские знаете, и вас, как и всякого, умная женщина может обмануть, если захочет.

Философ повинился, покаялся, благодарил ее и хотел было поспешно уехать, но она остановила его, говоря так: <sup>20</sup>

— Нет, останьтесь, ужинайте и ночуйте у нас. Скоро ночь, и куда вы скроетесь, и где хорошо отдохнете в незнакомом городе? Верьте мне, что муж мой обойдется с вами теперь очень хорошо. Я беру все на себя... И даже мула вашего я запретила седлать и выводить из конюшни. Вы понимать должны, что муж мой от слуг может потом узнать, что все-таки кто-то был у меня спрятан в шкапу и я его тайком выпустила... И тогда я доверие утрачу невозвратно, и мы будем несчастливы всю жизнь нашу. А когда он вас увидит, и я поговорю с ним, то он будет мною доволен и станет смеяться... <sup>30</sup>

Напуганный философ умолял ее отпустить его, но Мариго была непреклонна и решительно объявила ему, что он пленник, — и так он остался поневоле в доме ждать хозяйина и смиренно молился, все сокрушаясь и все больше и больше робея.

Наконец раздался снова по камням двора конский топот. Мариго тотчас же снова заперла в шкаф полумертвого от ужаса гостя, сказавши ему:

— Не бойтесь, я все устрою.

И сама пошла встречать мужа. Подарки были прекрасные, и все слуги и служанки собрались смотреть их и восхищались ими. Тогда, при всех них, Мариго взяла за руку мужа и, ласково глядя на него, сказала:

— Милый мой! мне доверие и любовь твоя драгоценнее всех этих подарков. Я утрудила тебя и заставила для моего удовольствия усталого второй раз проехаться в город. Сейчас я буду сама служить тебе за столом, который уж совсем готов. Но прежде я должна признаться тебе, что я тебя вдвойне обманула. Ты бросил ключ на пол и поверил, что в шкапу никого нет, но это неправда. Там и теперь заперт полумертвый от страха молодой человек — путник, который хвастался, что никакая женщина обмануть его не может, до того он мудр и проникателен. Я нарочно задержала его до твоего приезда, чтобы выиграть ядес и вместе с тем наказать и его за самохвальство и гордость.

Муж с удивлением и беспокойством смотрел на нее. Служанки и слуги все улыбались, а старшая и более смелая из прислужниц вмешалась в дело и воскликнула:

— И гордиться ему нечем, — хоть и молодой, да такой плохой, худой, бородатый и страшный, что Боже упаси!..

Тогда уже все служители и служанки засмеялись громко, и некоторые сказали:

— Правда, правда, что собой он дурной и скверный!

30 После этого успокоившийся муж сказал:

— Ну, отпирай и веди его скорей со мной ужинать. Я ему обиды не сделаю, довольно с него стыда и страха.

Философа отперли и вывели в залу к хозяину дома, который, увидав, что он в самом деле некрасив и очень напуган, протянул ему дружески руку и сказал с улыбкой:

— Я рад, господин мой, видеть вас у себя в доме. Милости прошу поужинать со мною, чем Бог послал, и

выпьем вместе за здоровье всех умных и добродетельных женщин, на этом свете существующих!

— Да, есть женщины, которые много мудрее нас! — вздыхая заметил философ.

Они приятно поужинали. Мариго сама весело служила им; они выпили оба за ее здоровье, потом оба пошли каждый к себе и уснули спокойно; а рано утром пристыженный философ уехал, обогащенный на этот раз уже не одной книжной премудростью, но и настоящим житейским опытом.

## ПОДРУГИ

### I

Софье Львовой было двадцать шесть лет, когда она, проснувшись однажды летним утром в своем имении, почувствовала себя в первый раз в жизни одинокой на свете и никому, быть может, и не нужной.

Всего день тому назад как схоронили ее отца. — Нельзя было сказать, чтобы она особенно сильно его любила.

10 Помимо кровного чувства, помимо привычки и сверх той признательности или того сострадания, которое чувствуют честные дети к своим родителям, — бывает еще и то, что одни родители нравятся детям своим, а другие не нравятся.

Отец Софьи не нравился ей; не нравился ей его характер, не нравились убеждения его и выбор занятий; только в самое последнее время он, по ее мнению, стал изменяться к лучшему; стал гораздо приятнее; так казалось ей...

Но он-то сам любил ее страстно и самоотверженно. — В последние года он жил только для нее и пожертвовал ей 20 всем, чем только может пожертвовать дочери человек самолюбивый, мужественный и пожилой.

Бывали в жизни Софьи минуты, когда она даже тяготилась отцовскою преданностью; но теперь, когда его засыпали землей, она поняла с жестокой ясностью, что другого такого — для нее лишь дышавшего человека — у нее никогда больше на свете не будет. — Живее прежнего



чувствовала она и себе укоры за то, что недостаточно была ему признательна; недостаточно по крайней мере выражала это и не старалась быть более нежной и ласковой с ним.

Они приехали жить в это имение всего только год тому назад из Петербурга. — До тех пор Львов был долго, с начала 60-х годов, одним из главных сотрудников большой и либеральной газеты, а потом и сам редактором сатирического листка «Заноза», которого злые карикатуры и ядовитые — в демократическом духе — заметки и стихи наводили иногда страх даже и на высшие административные сферы столицы. — Софья ничему этому не сочувствовала; никогда не читала и большой газеты, в которой отец почти каждый день помещал статьи по внутренним вопросам; карикатурами вообще брезгала и даже жалела тех, кого в них так грубо искажали; избегала даже заглядывать на страницы «Занозы»; а если и случалось, то бросала номер и думала, содрогаясь с презрением: «Что за охота отцу заниматься таким злым и некрасивым шутовством!» — Но она знала, до чего отец страстно предан этому ей противоположному делу; какую важность придает он ему и до чего он иногда счастлив своей борьбой. — Получал он довольно много за свой труд и жил в столице не только не бедно, но и довольно роскошно; принимал гостей, ездил в театр; угощал обедами, наряжал ее со вкусом и сам был всегда, хотя и солидно, но щеголевато одет. — Софья поэтому понимала, как велика была его жертва, когда он со всем этим расстался и похоронил себя вместе с нею в глухой деревне с расстроенным хозяйством.

Незадолго до этого их решения оставить Петербург Софье пришлось перенести горе; самое тяжкое для молодой [девушки] горе. — К ней охладел двоюродный брат, которого она уже с 17 лет страстно любила и который сам был еще недавно влюблен в нее. — Был влюблен и охладел. — Но между ними сохранилась дружба давняя, идеальная и глубокая, и самое имение это — красивое и романтическое, с тенистым садом, полное дорогих для сердца Софьи преданий — было завещано ей дедом ее и дядей

отца не просто, но помимо других и близких наследников, благодаря настояниям в ее пользу того самого, кто был ей дороже всех на свете и кто теперь жил весело и далеко от нее на чужбине.

Он — сам любимец деда — давно уже обещал ей отказать в ее пользу от любимого Куреева и отстранить других родных, обещал и сдержал свое слово.

— Я не только хочу для тебя независимости (говорил он ей), — но я жалею и само Куреево мое... Ты только одна, я знаю, будешь чувствовать там именно то, что я чувствовал; мечтать так, как я мечтал. — Ты одна будешь понимать, что шум ветра в куреевских березах говорит совсем не то, что шум этого ветра в других местах. — Вот мне что нужно! — И куда бы судьба не занесла меня, я буду покоен, если буду знать, что оно твое и что ты там живешь и помнишь меня.

Львов-отец был либерал твердый и последовательный. — Защитник свободного избрания любви в теории, он и на деле, — хотя и с замиранием родительского сердца, — потворствовал всячески этой неправильной и опасной для дочери страсти. — И когда он узнал и понял, что самый первый и душистый цвет их взаимной любви уже увял и осыпался, — он и этот удар встретил мужественно, как вещь естественную и почти всегда неизбежную, и только стал еще внимательнее и нежнее к огорченной дочери.

Софья, продолжая считать Александра своим идеалом, несмотря на изменившийся характер его к ней чувства, связанная чувством благодарности не за одно только имение это, но и за многое еще другое, считая высоким и священным долгом своим по крайней мере — «служить ему хоть издали», как она сама говорила отцу, просила его отпустить ее жить в опустелое и заброшенное Куреево... «Дышать по крайней мере тем воздухом, которым он дышал там в юности и детстве; — видеть его вещи; — слышать какие-нибудь рассказы о нем; внимать шуму того ветра в березах, о котором он говорил, и понимать этот шум... Это ее долг; ее утешение; ее радость...»

Этого всего она отцу не сказала; а только думала про себя. — Но отец сам догадывался, сам понимал, что может чувствовать молодая женщина, настроенная так идеально, как была настроена его дочь, и не захотел оставить ее одну изнывать в глуши и бессилии, питаюсь только горькой поэзией невозвратного прошлого! — Это казалось ему ужасным. — Ничтожны, конечно, утешения старческой и родительской дружбы сравнительно с восторгами и упоением молодой и взаимной любви... Плачевная и грустная замена!.. Но и эта дружба отцовская годится пока, 10 чтобы ей пережить полегче первое и самое тяжкое время перелома в чувствах. — Она еще молода, похудела и подурнела, но еще не слишком. — Отвыкнет понемногу; встретит, быть может, и другого. — «Похуже, положим, — но как же быть иначе!» Теперь же нельзя ей быть в деревне одной!..

И Львов покинул Петербург, бросил все, всем пожертвовал (даже и честью и добрым именем своим по поводу денежных расчетов, как с ужасом узнала Софья позднее) — и поселился с ней в Курееве. — Прожили они 20 там год всего, и он умер.

Это случилось так неожиданно, было так страшно и жестоко, и кончилось так скоро, что не хотелось и верить.

А надо было верить! Три дня тому назад его погребли.

Львов страдал давно какими-то болями желудка ли, печени, или кишок — она не знала наверное. — Знала, что изредка он лечился, жаловался на трудное пищеварение. — Но он сам не понимал, опасно это или нет. — Лет ему было за пятьдесят — не было еще шестидесяти; — он был сложения сухого, крепкого, силен, довольно 30 весел, далеко ходил гулять; в последнее время в деревне стал даже полнеть.

О смерти в доме и мысли не было. — Потом, уж когда зарыли его в землю, Софья стала вспоминать о нескольких дурных приметах, на которые прежде она не обратила внимания.

Еще довольно задолго до его смерти на крыше пристройки, в которой отец жил, каждые сумерки и каждую

ночь садилась сова и кричала жалобным, раздирающим голосом.

Жена повара больше всех тревожилась этим и говорила: «Уж как эта птица нехорошо кричит!»

Хотели ее застрелить; но отец не велел и сказал: «Не надо... Я люблю крик сов. — Что-то таинственное!» — Потом он сам полюбопытствовал посмотреть, нет ли у нее гнезда под крышей на чердаке пристройки, и в самом деле нашел гнездо с одним только яйцом и принес его дочери, чтобы она положила его как редкость в корзиночку на свой письменный стол.

Сова улетела и утихла; — яичко лежало в голубой корзиночке, и Соня его видела каждый день; но о примете не думала, и все об этом забыли.

Другой случай, повторившийся подряд два раза всего за три дня до того, как отец слег, чтобы никогда уже не встать, — был гораздо страннее и несколько больше поразила ее.

Львов имел привычку отдыхать немного после обеда, 20 часа в четыре дня. — За три дня до болезни — уснувши крепко, он услышал громкий стук в свою запертую дверь, проснулся и спросил: «Кто там?»

Незнакомый голос ответил: «Я; мужик».

Львов встал, отпер дверь и увидал, что в прихожей нет никого.

Он объяснил себе это тем, что слишком крепко заспался и слышал стук и ответ в глубоком сне.

Но на другой день он был уже почти проснувшись, в легкой полудремоте, когда повторился очень громкий стук 30 и опять ответ был тот же: «я — мужик». — И опять в прихожей не было никого.

Львов спрашивал у слуг, не приходил ли кто из крестьян.

Никто не приходил.

На этот раз дочь заметила, что и ему это не понравилось, и, рассказавши об этом с улыбкой, он, однако, за чаем был гораздо задумчивее обыкновенного. Только и об

этом своем впечатлении она вспоминала яснее тоже после смерти его; — а тогда она его в себе сама не сознала, не заметила.

Она знала, что отец материалист в самой высшей степени и ничему сверхъестественному не верит, — и крик совы на крыше поэтому не пугал его, а только нравился как нечто поэтическое. — Но она сама была на этот счет нерешительных убеждений — и даже ей скорее желалось верить, чем не верить, всему непонятному. — У них жива была еще старая нянька; не ее, а отцовская; — женщина <sup>10</sup> очень умная, с которой Соня часто беседовала. Она после чая пошла к ней и рассказала об этих голосах и стуках, которые сам Львов звал «странными галлюцинациями». — Няня, услышавши этот рассказ, вскочила со стула и вскрикнула:

— Батюшки! Это очень нехорошо... Очень нехорошо!..

Но Соня опять не придавала и этому ее возгласу того значения, какое бы (позднее ей казалось) следовало придать.

Ровно через три дня после этого Львов, уже с утра не <sup>20</sup> совсем здоровый, вдруг встал из-за обеда и ушел к себе.

Дочь опять-таки подумала, что просто ему немного нездоровится, как прежде случалось, и докончила обед одна.

После обеда отец вернулся очень бледный, с чрезвычайно расстроенным выражением лица и сказал: «Ну, Софья Сергеевна — прощай... Кажется, что приходит мой последний расчет с жизнью... Я пойду и лягу».

С этой самой минуты, когда он как будто бы спокойно <sup>30</sup> сказал ей «я пойду и лягу», и до последнего его издыхания — у Сони в течение нескольких дней не было ни часу истинного отдыха и покоя. К вечеру приехал земский врач — старый поляк Подхайский — очень опытный, очень ловкий и добросовестный. — Соня знала его давно, еще почти с детства, и имела к нему большое доверие.

Отец хотел было послать за другим, тоже земским, врачом, другого соседнего уезда — очень молоденьким... Львов был прогрессист иногда до глупости и молодым

врачам готов был больше всегда верить, чем седым, уж за то только, что они новые люди; но дочь не имела ни малейшего доверия к этому «вертушке», как она его называла, и настояла на том, чтобы лошади ехали за Подхайским.

Подхайский, осмотрев больного, вышел с ней в другую комнату и сказал ей не без смущения:

— Ну-с!.. Должен Вам, Софья Сергеевна, сказать, да-с — должен сказать, что это весьма опасно... это называется typhlitis sterioralis. — Вещица подлая. — Да-с...<sup>10</sup> Вот оно-с... Очень подлая... Впрочем — не пугайтесь через меру... Я пришлю тотчас же Вам капли, которые давайте по 15 через 1/2 часа до сильнейшего, до самого сильнейшего действия... Боли в животе усилятся донельзя от них!.. Но надо перетерпеть... и спасти можно...

И в утешение ей он рассказал, что вылечил еще недавно двоих от этой «подлой вещицы» — молодого еврея, служащего на железной дороге, очень слабого сложения, и купчиху, крепкую женщину средних лет, которая<sup>20</sup> вдобавок была на 7-м месяце беременности. — Подхайский основательно боялся выкидыша от сильного драстического средства; — но тут еще был шанс спасти; — а не давать ей этих самых капель из Сабура и Колокитов, которые он хотел дать Львову, — значит было осудить ее на верную смерть...

Этим рассказом [он] немного успокоил и утешил испуганную дочь и уезжая еще раз повторил, чтобы она, понимая опасность, не жалела бы его, если он будет после капель кричать от боли, и настаивала бы всячески, чтобы<sup>30</sup> он их принимал.

Тяжело было то, что Подхайский не мог обещать приехать и на другой день, потому что у него была срочная поездка по службе. — Но и с этой стороны он пытался успокоить ее тем, что когда диагностика положена ясная и несомненная — то и всякий другой может правильно продолжать лечение. — Про молодого соседнего врача он отозвался одобрительно; как о человеке достаточно знаю-

щем, чтобы продолжать лечение, «ибо диагностика уже несомненна», — повторил он десять раз.

Лекарство скоро привезли; но (Софья без содрогания не могла этого вспомнить) после двух приемов этих капель отец, всегда такой твердый и мужественный, начал кричать от боли так сильно и почти непрерывно, что она совсем потерялась; ноги у нее ослабели; она села около его кровати и начала горько плакать...

Нянька распорядилась поскорей послать за тем молодым врачом, который Соне не нравился. 10

Больной ему обрадовался и в краткую минуту облегчения даже сказал:

— Ведь я говорил, что от этого старья толку мало... Очень рад, очень вам рад...

Однако Софья была права в своем недоверии. — Недобрый мальчишка считал долгом задать тону и самоуверенно отверг диагностику Подхайского: — «Это вовсе не воспаление слепой кишки; — это обыкновенное воспаление брюшины».

Софья, воспитанная отцом в Петербурге отчасти и на знакомстве с анатомией и другими естественными науками, 20 понимала лучше отца все, что говорили врачи, — и ей казалось, что мнение Подхайского как-то *больше похоже*. — В правой стороне живота была очень заметна твердая опухоль... Но делать было нечего — юноша переменял лечение; отменил драстические капли и назначил каломель в небольших приемах. Страдания и крики не прекращались во всю ночь. — Когда новый доктор поутру вернулся, Софья увидала, что он сильно смутился.

Она вызвала его в другую комнату, и он вдруг бросился 30 в кресло, закрыл лицо руками и воскликнул: «Я виноват! Виноват — простите! — Подхайский был прав — это typhlitis... Я ошибся — и время теперь потеряно...» Возможно было теперь, по его мнению, только одно — стараться облегчить страдания теплыми ваннами и впрыскиванием морфия. — Денег он не взял и уехал, продолжая извиняться и каяться.

Львов из первых же слов дочери понял свое положение и сказал: «Ну что делать. — Будем умирать!.. Только, Сонюшка, ангел мой, прости мне, что я так кричу... Верь мне, что нестерпимо...»

Двое суток еще он все так умирал; все кричал и кричал на весь двор. — Морфий и ванны облегчали только на мгновение, а иногда и совсем не облегчали.

Соне никогда в жизни не приходилось ходить за опасными больными; — никогда не случалось слышать таких <sup>10</sup> нечеловеческих стонов и воплей, какие она слышала теперь от этого человека, всегда почти спокойного, сдержанного, гордого и здорового... Служить страдальцу она хорошо не умела; — руки у нее и без того были слабые, неловкие, а теперь они дрожали по минутам так, что она ложки с лекарством не могла хорошо держать...

Она садилась и плакала от бессилия... Слуги, какие были, наперерыв старались ей помогать; — но порядка было мало, и некому было и приводить их в этот порядок. — Няня сама была уже слаба и уставала скоро от малейшего усилия; — но она <sup>20</sup> скоро догадалась известить о болезни Львова и об отчаянии его дочери — соседей Судогдиных, которые недавно сблизились с Львовыми. — Мать и вторая дочь тотчас же приехали.

Дочь эту звали Зинаидой, и она была года на четыре моложе Софьи... Девушка она была сильная духом, твердая, терпеливая и, несмотря на сложение вовсе не видное — и физически крепкая. — Воспитана она была, как и все ее сестры, очень просто и все привыкла делать сама. — Соня, уже и прежде очень к ней расположенная, почувствовала при ее помощи большое себе облегчение. — Себе. <sup>30</sup> Себе, — но не ему!..

Он все так же нестерпимо страдал и кричал, только на короткое время отдыхая и впадая в тихую дремоту после сильных впрыскиваний морфия...

Судогдина-мать (Анна Васильевна) была женщина набожная и, садясь в экипаж, чтобы ехать в Куреево ко Львовым, подумала — «не убедит ли она его исповедаться и причаститься».



Но Львов, еще не выдавши ее, угадал ее мысль и, когда дочь спросила его — желает ли он видеть Анну Васильевну, — слабым голосом отвечал:

— Очень рад, — но только, чтобы она о поках ничего бы не говорила.

Софья передала ей это прямо, и Анна Васильевна, хотя и ужаснулась такому упорству и такой ненависти к религии, — посидела одну минутку у его кровати и подержала его руку в недоумении, что ему сказать...

Но он сам, обернувшись к ней, сказал — указывая на дочь:

— Не бросайте ее; — она всю вашу семью любит... Она умеет любить.

Анна Васильевна уехала, обещая исполнить его просьбу, а дочь оставила с Соней до конца...

Наконец — настало последнее утро — июньское, прекрасное... Все цвело и все сияло в саду, на дворе и в рощах, и в полях...

Крики стали слабее; — боль утихала. — (Молодой врач предупредил Соню, что боли могут утихнуть только в случае внутренней гангрены, за которой неизбежно последует смерть.)...

Кто мог крепко спать в доме в такой день?.. Уже часа в три, на рассвете, Львов, забывшись перед этим на короткое время, проснулся — подозвал Зинаиду и, снимая с рукавов своих прекрасные золотые запонки, отдал ей, повторяя ей то же, что и матери: «Не оставляйте ее; — она умеет любить...»

Потом обратился к пьянице Андрею, — прежнему крепостному, которого он незадолго до болезни хотел прогнать и который теперь поднимал его, как ребенка, на руки, когда сажал в ванну, просил у него прощения: «Прости мне, брат Андрей. Я недавно тебя обидел!»

Андрей заплакал; а за ним и дочь, и Зинаида начали рыдать...

Потом Львов стал перечислять родных, друзей и знакомых — и говорил дочери: «поклонись тому-то; — опи-

ши той-то, как я страдал, — она всегда была ко мне добра. — Напиши такому-то, что я его до последней минуты помнил; — я против него виноват; он очень добрый человек, а я бывал груб!..»

Наконец — помолчав, он насколько мог покрепче пожал руку плачущей дочери и сказал еще:

— Ну, а *ему* (и он указал головой в сторону юга). *Ему* — напиши просто, — что я умер. И больше ничего... Ему все равно... Еще, пожалуй, и рад будет...

<sup>10</sup> После этого он сделал еще кой-какие распоряжения; сказал еще дочери уже едва слышным голосом: «Больно мне, что я не успел для тебя все по имению устроить... Очень больно... Теперь брат Семен и другие наследники тебя одолеют... Напиши и об этом ему... Александру».

Это были его последние слова.

Больше он не говорил, кричать перестал вовсе и беспрестанно стал забываться.

Еще раз на мгновение пробудилось ясное сознание, только на мгновенье... Он сделал невероятное усилие <sup>20</sup> обнять дочь, припал к ней седой головою; хотел заплакать... Она видела, что он морщится, что он силится плакать, — но и на это уже сил не было, а изможденное страданием лицо его только исказилось жалкой гримасой...

Он вздохнул — опустил навзничь на подушку и опять затих.

Около полудня собрались над Куреевым густые грозовые тучи, загремел гром; полился проливной дождь — он, должно быть, уже ничего не слышал.

<sup>30</sup> Когда туча пронеслась — его не стало.

От жары ли июньской, от грозы ли этой, от того ли, что замкнувшийся уже с неделю пищевой канал был поражен гангреной — тело Львова начало разлагаться быстро... и лицо до того скоро обезобразилось и позеленело, что его прикрыли ватю.

Теперь все было кончено. — Раздирающих криков не было уж слышно. — В комнате, напротив того, все было

тихо и безмолвно. — Он лежал на постеле неподвижно, и лицо его было прикрыто простынею.

На третьи сутки тело отнесли в приход и похоронили. Крестьяне сами вызвались нести его. — Соня с Зинаидой то шли за гробом, то ехали в пролетке. — Все сестры Зинаиды (их было пять) пришли пешком на похороны, принесли премилые букеты из полевых цветов и поклали их на свежую насыпь могилы. — На полдороге у одной деревни почему-то вышел из кабака кабатчик с женой и детьми, остановил похоронное шествие и заплатил за 10 литию.

Соню это очень тронуло, — но она не понимала — почему он это сделал. — Оказалось потом, что он знал Львова давно, еще молодым офицером.

Отслужили церковную службу над свежей могилой безбожника; — положили девицы букеты и собрались домой.

Соня поколебалась с минуту, ехать ли ей прямо домой или тоже заехать прежде в Ерёмино (которое было на дороге); — но Зина, которая за сестрами не пошла, а села к ней в пролетку, сказала: «заедем, я, может быть, отпрашусь 20 проводить тебя».

Приехали в Ерёмино; поздоровались; посидели; пообедали; — опять посидели; походили; поговорили о чем-то. — Все были серьезны; девицы не смеялись; говорили менее обыкновенного; отец вздыхал и только раз за обедом вдруг воскликнул: «Да! Жизнь — наша жизнь!.. Время льется так, как речка! Год проходит точно час; человек горит как свечка; — дунул ветер — он погас!»

Но никто не поддержал этого философского разговора, и старик тоже замолк. — Анна Васильевна сказала только: «Вам не уснуть ли?» — и когда Софья ответила, что она две последние ночи перед похоронами спала как убитая почти по 12 часов и теперь усталости не чувствует, — Анна Васильевна больше не говорила ничего — ни об отце, ни о смерти, ни о погребении. — Софья была очень всем за это благодарна. — Она все делала в этот день машинально, как бесчувственная; физически она была 30

даже возбуждена, от ходьбы, пения церковного и от тех хлопот, которые она была вынуждена взять на себя во время всех этих печальных приготовлений.

Но она вовсе и не слышала ничего, что говорили при ней, или слышала слова, но они не имели для нее никакого значения. — Ею овладела одна безотвязная и горькая мысль; — она, эта мысль — преследовала ее дома при виде трупа отца на столе, дорогой, когда шли и ехали за гробом, — теперь в Еремине при всей этой многолюдной <sup>10</sup> семье. — «Его нет — и я уже ничего исправить теперь не могу... Я была неблагодарна; я была суха с ним; — я его недостаточно любила... Я должна бы ему показывать больше; я все собиралась и собиралась стать лучше — и вот собралась. — Александр вот не любил отца; — и не по любви к нему он советовал мне быть ласковее. — Он меня тогда любил; — ему хотелось, чтобы я была добра и благородна. Он был строг, а я?»

Такие мысли преследовали Софью везде в день похорон, и, как ни старалась она отгонять их — они с разными <sup>20</sup> переменами и оттенками до того овладели душою, что она иногда боялась — вот-вот кто-нибудь заговорит с ней и рассеет их, помешает ей что-то необходимое обдумать и решить.

Она, впрочем, очень желала, чтобы Зину отпустили с ней в Куреево; Зина была из тех людей, которые умеют молчать так приятно и так долго, так покойно и [задумчиво]; что при ней можно думать все что хочешь по целым часам — и в то же время любоваться на нее с некоторым чувством.

<sup>30</sup> Но Зина пришла сказать, что мать на ее просьбу — ехать в Куреево, отвечала: «Оставь ее на первое время одну».

У Зины от досады сверкали выразительные глаза, и она, всегда почти матерью недовольная, на этот раз была особенно раздражена и сказала: «Ей только бы мне неприятное что-нибудь сделать... Какая злость!..»

Софья просила ее успокоиться и не бранить Анну Васильевну.

— Оставь, Зина, — сказала она. — Я так ей благодарна, что она тебя оставила тогда помогать мне; еще увидимся. — Пожалуйста, мать не брани при мне.

Она простилась со всеми; всех благодарила; особенно Анну Васильевну, и уехала одна.

Легкая пролетка тройкой мигом домчалась до Куреева. Не отвечая ни слова на приветствия и вопросы преданной петербургской горничной своей, Софья прошла поспешно в свою комнату; заперлась в ней и села, почти упала на диван. 10

Она не чувствовала утомления, — напротив того — она была возбуждена. — Две ночи подряд, пока тело отца стояло еще в доме, она спала как убитая, и силы ее, изнуренные тяжелой ходьбой за страдальцем, теперь восстановились. — Ободрили ее без всякого участия воли и сознания неизбежные хлопоты по делам погребения и движение пешком на открытом воздухе, и прекрасная летняя погода с прохладным душистым ветерком; поля высокой созревающей ржи с синими васильками; — между веселыми знакомыми ей рощами — светлые луга, на которых издали 20 были видны луговые цветы, поляны — с лиловыми розовыми и желтыми пятнами...

«Равнодушная природа» сияла вокруг нее все время своей «вечной красотой».

Она чувств(овала) себя здоровой и бодрой, но тем сильнее чувствовала она свое душевное бессилие и сердечную пустоту...

Перед нею, близко, на красиво убранном письменном столе ее, где каждая вещица была воспоминанием и символом драгоценного прошлого, — стоял в изящной резной рамке *ego* портрет... 30

Акварель была дорогая; — писал ее настоящий художник. Александр не любит никакой простоты; он терпеть не может быть «un homme comme tout le monde». — И вот он велел написать себя не в мундире и не в военном пальто; — а в голубой шелковой русской рубашке и сверху накинут какой-то светло-коричневый арабский бурнус.

Она таким не раз видала его на Южном берегу, когда гостила у него. — Три года!.. Всего только три года тому назад...

Гостила и делала все те позорные глупости, которые охладили его чувство... Она и теперь готова от стыда закрыть руками лицо свое, когда вспомнит о них!.. Ревновала к жене и ревновала так грубо, так для себя самой неожиданно! В ее же доме говорила ей грубости... И какие... стыдно вспомнить!.. Ну, как не остыть... Какая <sup>10</sup> поэзия в девушке, которая почти бранится, забыв о прилич(ия)х... Какое тут благогоух(ание) любви!.. Всякий остынет! — Он прав — я сама задула его пламень... Хотя, положим... он видно и был не силен, этот пламень... Нет! Нет — это низкий проступок с моей стороны... Я не могу знать, что было бы, если [б] я не была кругом виновата? — Нет — он сильно любил меня...

Вот его голубые глаза и добрые, и хитрые немного... (он хитер; он, конечно, гораздо хитрее ее); — румянец нежный, не грубый — только свежий и молодой; знако- <sup>20</sup> мый рыжеватый, иногда даже красный, отлив волос и небольшой бороды, аккуратно пробритой по-военному на подбородке; усы небольшие, молодые — молодцовато подкрученные кверху... Сколько фатовства и легкости в характере и какой серьезный ум! — Сколько утонченной доброты и сколько откровенного эгоизма — сколько слабостей и как много упорства, когда он находит это нужным. — Да, я могу моим выбором гордиться! — Было время, когда я и собой начала было гордиться.

Давно ли это было!..

<sup>30</sup> Давно ли он, влюбленный, катался со мной в санях в сумерки по набережной Невы и сочинял акростих на мое имя:

Слияние странное и мрака и лазури, —  
Отваги дерзостной и грусти молодой.  
Надломленный цветок порывом ранней бури.  
Я с грустью нежною люблюю тобой...

А она! — Она бездарная, неспособная ни к поэзии, ни к живописи, ни к музыке, — напрасно мечтавшая тогда в угоду ему стать трагической актрисой — она ответила ему так:

«Я не стою этого.

Твоя Соня!

Твоя Соня

Твоя Соня

Твоя Соня...

Вот мой акростих — лучше не умею!»

А теперь? Теперь он живет на чужбине с богатой и светской молодой женой; — живет во вкусе маркизов XVIII века; или Чернышевского в романе «Что делать». — Жена свободна — он тоже... Мораль у них одна — согласие и изящные формы. — И больше ничего!.. Они равнодушны друг к другу — и этим счастливы — как будто.

— Да, с него довольно; — у него есть честолюбие; — он хочет быть знаменитым, военным ученым стратегом, как он иногда выражается... А я?.. У меня что?.. Новый путь? Одиночество? — «Свобода», — сказал бы Александр. — А на что мне свобода... На что она мне?..

Ах! если бы возможно было немного, хоть немного остыть к нему; если бы возможно было любить его так же ровно и покойно одной дружбой, как любил он ее теперь и как любил прежде, когда не знал и не догадывался о страсти ее...

Когда бы угасла в ней вовсе эта страсть!..

Молиться она не умеет. — Она крестится для приличия только при других... На могиле она крестилась. — А здесь — одна — не может! Кого она обманет?

— Ах, если бы возможно было верить и молиться...

Но этому не учил ее никто: ни отец, ни он...

В миродержавную, Единую, правящую силу — и она, положим, верила, когда случайно мыслила о тайнах жизни и творения; — она не понимала крайнего безбожия от-

ца; — но ждать помощи от этой силы, прибегать к ней с любовью, верою и страхом она не умела, не привыкла...

В углу, в дедовском киоте, был большой темный и суровый образ Спаса, в серебряном окладе... Софья хранила почтительно и [бережно] все родовые иконы — и признательность деду как будто и на иконы эти бросала теплый луч ее души... Но она никогда не молилась на них и даже боялась на них внимательно и долго глядеть.

Ей казалось, что очи Спасителя, Богоматери и Святых<sup>10</sup> с укором и жалостью глядели на нее.

Она находила это чувство глупым, тщательно скрывала его ото всех, — но победить его не могла...

Но в этот день неожиданного сиротства и внезапного одиночества она захотела больше всмотреться в темный и таинственный лик...

Смотрела, смотрела и наконец встала с дивана и воскликнула громко, вслух и простирая руки к образам:

— Боже мой, если Ты в самом деле *есть!* — Если Ты правда — Бог... Помоги мне верить... Пошли мне<sup>20</sup> веру в Тебя!.. Охлади во мне мучительную страсть к этому человеку!.. И ему моя страсть не нужна... Она и ему была бы теперь только бременем и горем, если бы мы опять надолго встретились...

— Боже! Боже, помоги мне!..

## II

На другой день после похорон отца Софья проснулась в обыкновенное время. — Она чувствовала себя бодрой; но была очень смущена. — Ей хотелось бы отдохнуть душой и одуматься; — но от практических дел нельзя было совсем отказаться; — отец был прав, говоря, что ей<sup>30</sup> будет трудно. — Она предвидела разные затруднения по хозяйству; понимала, что некоторые из кредиторов отца, щадившие его по старому знакомству, теперь, узнавши о смерти его, накинутся на нее безжалостно. — Но больше



всего она опасалась того дяди, отцовского брата Семена Николаевича, о котором покойник тоже помянул, умирая...

Она должна была по завещанию деда Петра Васильевича Львова именно в этот год уплатить ему сполна все, что приходилось на его долю.

Духовная деда вообще была не проста и могла подать повод к пререканиям и тяжбам.

Петр Васильевич был холост и бездетен. — Самые близкие родные его по нисходящей линии были племянники, дети давно умершего брата его Николая Васильевича — Сергей и Семен; — отец Софьи и тот самый дядя,<sup>10</sup> которого она боялась. — Были еще и две замужние племянницы — Матвеева и Оголина; но они обе умерли раньше его самого; Матвеева умерла давно, еще молодою, и у нее остался единственный сын, тот самый Александр, которого Софья так любила. — Оголина скончалась недавно, и у нее осталось трое уже взрослых сыновей, которые все были давно при деле и на службе.

Петр Васильевич сначала, когда ему было не более тридцати лет, был опекуном всех этих племянников и племянниц;<sup>20</sup> — он взрастил Сергея и Семена и определил их в Кадетские Корпуса; — он же и младшую из племянниц — Оголину — выдал довольно выгодно замуж. — Другая сестра — мать Александра — жила с детства у другой родственницы и замуж за помещика Матвеева вышла из ее дома.

Когда она умерла, вскоре после брака, — Петр Васильевич, которому тогда было уж за сорок, по ее желанию взял на воспитание Александра, взрастил его и также вывел на дорогу.<sup>30</sup>

И все-таки Петру Васильевичу пришлось доживать свой век одному — в своем Курееве. — Только изредка он зимою ездил в Петербург и последние раза всегда останавливался у отца Софьи, потому что квартира их на Литейном была большая и хорошая. — У них в доме он и скончался, почти внезапно.

Все привыкли думать, что Куреево и достанется или внуку, Александру Матвееву, или племян(нику) Семену Львову. — Они оба были его фаворитами, — Семен Ник(олаевич) прежде, пока совершенно не сбился с пути, не стал игроком и, как иные уверяли, даже шулером и пока не утомил дядю требованиями и даже дерзостями; — а позднее Александр, — которым Петр Васил(ьевич) имел полное право во всех отношениях гордиться. — Семена Ник(олаевича) он привык жалеть по старой памяти о прелестном и добром мальчике, который когда-то в гофрированном широком воротничке и красной турецкой курточке с острым концом наперед с милыми плутоватыми глазками бегал по куреевскому двору, ласкался к нему как девочка и готов был по целым часам сидеть на скамеечке у его ног. — В последние года жизни своей он почти перестал пускать его к себе и говорил не раз отцу Софьи при ней:

— Удивительно, что у меня за чувство глупое к этому мерзавцу и дураку. — Глаза бы мои его не видали! — А между тем, когда вспомню, что это тот самый Сеня...  
<sup>20</sup> Знаешь — *тот...* Не могу не пожалеть. — Как напишет, негодяй, — что он опять в ужасном положении — так хоть с досадой и с бранью, а пошлю ему несколько сот рублей.

Семена он презрительно и гневно жалел; — Александром он гордился — и говорил про него с улыбкой:

— Ну кто бы думал, что из этой вертушки, из девчонки этой — выйдет такой солидный дельный офицер; такого серьезного ума человек; да еще и практически ловкий... Вдову генерала *une personne charmante, parfaitement distingué* с десятью и более тысячами дохода подхватил и сам скоро, посмотрите, генералом будет!..  
<sup>30</sup>

— Александр всегда был очень умен, — говорил на это дяде Сергей Николаевич; — он и в детстве был удивительно умен... И выдумщик большой... с фантазией...

— Вот эта-то фантазия и пугала меня всегда за него... Терпеть не могу этой поэзии!..

Отец Софьи расхохотался громко, слушая это, и Соня смеялась, потому что она и сама Петра Васильев(ича) считала большим идеалистом.

— Вы сами, дядя, поэт в душе, — говорил Сергей Николаев(ич)... — Вы всегда были идеалистом...

— Знаю! Знаю! И оттого-то и боюсь всего этого слишком идеального... — возражал умный старик. — Знаю весь вред этого; — знаю, чем это покупается. — Никто тебе спасибо за твои возвышенные чувства не скажет... Хороша, любезный друг, только та поэзия, за которую 10 деньги платят... Вот как Некрасов этот ваш... Я терпеть не могу его стихи за исключением «Тройки» и еще кой-чего... А состояние нажил. — Это я понимаю... Я, впрочем, всегда Саше говорил... когда он заносился... «Помни, брат, мифологию... *Les ailes d'Icare! Les ailes d'Icare!..* Пониже!.. Пониже... растает воск и утонешь в море...» Да признаюсь, не ожидал!.. Читал я тогда его мемуар о «Козачьих войсках», еще черновым, в Курееве. — Какая основательность, ясность!.. И это еще в то время, когда пруссаки своими уланами не доказали важности иррегу- 20 лярной кавалерии и в нынешних войнах...

Петр Васи(льевич) так был доволен внуком, что никогда не роптал на него за то, что его честолюбие и подвижный характер не позволяют ему жить помещиком около любимого деда, утешая и покая его одинокую старость. — Он часто тосковал, грустил в одиночестве, впадал иногда в глубокое уныние, но никогда не осуждал Александра за это.

— Скучно вам, дедушка, в Курееве одному иногда? Александр далеко... — спрашивала Софья.

Петр Василь(евич) с легким вздохом отвечал ей на 30 это: «Всякому свой крест, — *Chère Sophie...* Всякому свой крест!.. Ужасно скучно! Стыдно даже и сознаться — как становится скучно... Лучше и не говорить... Но нельзя требовать и от любимых людей лишнего... Саше нужно широкое поприще... Что делать!..»

Было среди родства даже давнее подозрение, — не сын ли ему Александр... Доказать этого никто не мог; —

но все знали, что Петр Васильевич был когда-то сильно влюблен в племянницу и что она отвечала ему тоже страстной любовью. — Муж ее — Матвеев — был также игрок, как Семен Николаевич, и даже друг ему близкий; — они вместе ездили туда-сюда по городам играть и кутить. — Мать Александра не любила мужа и открыто гащивала у дяди по целым месяцам подряд. — Признаков подозрительных было много. — В кабинете Петра Васильевича — прямо перед письменным столом  
10 его — висел —

Портрет; часы

Никто из родных и знакомых не сомневался, что они были в связи; — не могли только доказать наврное, чей сын Александр.

Но как бы то ни было — до почти внезапной кончины Петра Васильевича — никто наврное из родных не знал, что написано в его завещании.

Семен Николаевич — отец Софьи дал [ему] знать тот-  
20 час же, как только увидал, что кровь остановить нельзя; — он приехал, застал его уже мертвым на диване. — Он с воплем кинулся к трупу — начал обнимать его, целовал красивые руки сложенные на шелковом халате, высокие и прекрасный лоб покойника... Плакал и кричал: «Скрыли! Скрыли от меня опасность! Скрыли... Я не успел даже прощения у него просить... Я был злодей ему... Зачем скрыли от меня».

— Успокойся, Семен, не кричи, — сказал ему Сергей Никол(аевич) тихо и покойно, но с видимым презрением... — Ты не женщина... Все знают, что я вовремя послал к тебе...  
30

Но Семен Ник(олаевич) был вне себя... Дрожь обратилась он к брату и сказавши: «Вы все за одно» — уехал.

Матвееву послали в Вену телеграмму. — Он был сам болен, лежал в постеле и отвечал: «Болен. Приехать не могу. Свезите тело в Успенское. — Расходы все мои».

Завещание вскрыли обычным порядком.

Соня была уверена, что Куреево просто будет завещано Александру и радовалась этому. — Отец ее никогда на это не претендовал и не искал ничего — он думал — быть может — Петр Вас(ильевич) разве что-нибудь деньгами ему назначит. — Вообще — он был ко всему этому делу равнодушен и, подобно дочери, ожидал, что Куреево будет принадлежать Александру.

Семен Ник(олаевич) волновался и не мог спокойно сидеть на месте.

Все ошиблись.

10

Петр Васильевич столичный дом деревя(нный) свой завещал внукам Оголиным. — А Куреево со всей движимостью отдавал в собствен(ность) Софье; но и то не просто. — Отцу ее и Александру Матвееву каждому по равной половине отдавалось тоже Куреево в пожизненное пользование, с тем чтобы в случае смерти того или другого Софье Серг(еевне) вступить в полные права на его часть. — А в случае смерти Софьи, отец ее и двоюродный брат — делались бы собственниками Куреева сообща или отдельно — как желали. — Семену Никол(аевичу) они все должны были заплатить восемь тысяч в течение двухлетнего срока. —  
20  
Сверх того значилось, что билеты Государ(ственного) Банка на шесть тысяч принадлежат Александру Матвееву и были отданы покойной его матерью завещ(ателю) на сохранение.

Завещание было по форме правильно; — оно составлено было предыдущим летом, в Курееве, и подписано духовн(иком) села Успенского и двумя деревен(скими) соседями.

Но вслед за подписями была позднейшая приписка рукой самого Петра Васильевича —

«Так как племянник мой Сергей Ник(олаевич) Львов занял у меня на издание своей „Занозы” те шесть тысяч рублей, которые по совести принадлежат внуку моему Александру Петров(ичу) Матвееву, — то и Серг(ей) Ник(олаевич) и дочь его Софья лишаются всех своих прав на завещанное имение, и внук мой Александр Петрович Матвеев становится один полным собственником Куреева со всей находящейся в нем движимостью».

Заплатить, конечно, надо; но у нее теперь таких денег не было. — О новых земельных банках она ясного понятия не имела и боялась их; — ей представлялось, что стоит только связаться с ними, — и имение непременно погубило. — А довести до продажи Куреево, заветное Куреево это, где все говорит о нем, где даже этот огромный серебристый тополь на зеленом дворе посажен в год его рождения, — довести Куреево до продажи в неизвестные руки — это казалось ей отвратительным преступлением. — Можно было, конечно, начать дело о выкупе крестьян, лишиться оброка; но срок уплаты по завещанию уже близко; а дело с выкупом продлится долго; она слышала это от отца. — Кто в Петербурге позаботится ускорить его!

Семен Николаевич, она знает это по последнему письму его к покойному отцу, гостит теперь близко у своих знакомых в Вяземском уезде. — Узнает, что отец скончался, придет в Куреево сам и наговорит ей всевозможных дерзостей... Он под старость стал совсем как животное, сдержан только с теми, кого боится.

Что делать! Это ужасно! — Узнает и придет вдруг сам!

Она знала, как он ее ненавидит; слышала от людей, что он за глаза иначе не зовет ее, как «нравственный урод», — потому что она в Петербурге, правда, беспощадно грубила ему, защищая Александра и память деда противу его ругательств по поводу завещания.

И когда она думала, что вот-вот он придет... и придет правый; с основательными требованиями, которых она тотчас удовлетворить не может... Когда она воображала себе его смуглое, немного широкое, когда-то красивое лицо; его мешки под угрюмыми и усталыми глазами; его морщины, его крашенные черной краской волоса и усы, которые отливали иногда во что-то зеленоватое... Его жесты, округленные какие-то жесты прежнего московского льва второй руки; его оскорбительные речи... Ей хотелось плакать то от жалости, то от бессильного гнева, то от страха за свой покой...

Намучившись вдоволь, она решила так: Надо написать ему сейчас повежливее; — что делать!.. Надо написать теперь же и Александру — остальным, кому велел отец — до завтра. — Сегодня не могу; — всем им надо писать одно и то же, описывать болезнь отца, его страдания... Нет — теперь это сверх сил моих!.. А как только кончу эти два письма, так в Еремино... Мне кажется, что со вчерашнего вечера целый год прошел... Боже, как я люблю теперь эту Зинаиду... и какая она отрада и опора... Я бы с ума сошла без нее!..

Одна мысль об Еремине привела ее в восторг, и едва она вспомнила о том, как она покажется в своей коляске и как сбегутся ей навстречу с крыльца все барышни, сестры Зины... как она увидит простака-отца с чубуком и в пестром халате и худую, бледную старушку с хитрыми глазами и с чулком в руке на садовом балконе в креслах, которая певучим голосом спросит: «Ну — как вы теперь, С(офья) С(ергеевна)?» — так сейчас же явилась и легкость сердца и даже бодрость делами заняться...

Села; написала дяде Семену учтивое письмо; умоляла его не беспокоиться; уверяла, что займется безотлагательно делом крестьянского выкупа; и ему же будет лучше; тогда он получит всю сумму разом. — Она только скрыла от него, что прежде всего напишет об этом Александру Петровичу Матвееву, ибо не считает себя по совести вправе решаться на что-нибудь важное по имению без его согласия. — Софья не только не любила лгать, но и просто скрывать из расчетов какую-нибудь правду ей было тяжело. — Она с тревогой и скорбью думала о том, что Александр Петрович, быть может, еще и задержит это дело; — он иногда весьма своенравен, и чувствовала, что лгала, уверяя дядю Семена, будто окончить все это скоро зависит от нее одной; — но делать было нечего. — Надо было и себя от дерзостей пока как-нибудь оградить!

Окончивши это письмо, Софья написала Александру так:

«Третьего дня, двадцать второго июня — отец мой, после нескольких дней ужасных страданий — умер. — Сегодня его похоронили. — Прости мне, — что я не могу

больше ничего писать. — Ты сам поймешь, что я должна чувствовать. — Он велел известить тебя...»

Она подумала еще, поколебалась и потом прибавила:

«Надеяться на то, что ты приедешь сюда по этому случаю, — я не смею. — Но ты должен также понять, как бы мне теперь было дорого твое присутствие...»

Твоя Софья».

Она выставила число и месяц. — Но воззвания в начале письма не написала никакого. — Обыкновенно она <sup>10</sup> начинала свои к нему письма так: «Друг мой»; а иногда даже «милый, милый мой друг!»

На этот раз ей не хотелось даже и просто другом его назвать; ей хотелось написать ему как можно суше. — Она была убеждена, что отец был прав, говоря перед смертью: «Ему все равно — пожалуй, и рад будет!»

— Боже! Как самые добрые и благородные люди способны к жестоким чувствам! — Чем теперь-то мешал ему отец? — Не понимаю, — но чувствую, что отец угадал! — Не могут два человека, как бы ни были согласны во мнениях, <sup>20</sup> чувствовать сердцем одно и то же.

Она перечла письмо еще раз; нашла, что прибавка о желании видеть его здесь не нужна; разорвала и написала второе точь-в-точь такое же, короткое, сухое и без прибавки. Потом написала еще, что она просто умоляет разрешить ей кончить скорее выкупную операцию для расчета с Семеном Николаевичем, потому что он в крайней нужде. — Запечатала и надписала по-русски и по-французски: «В Австрию; в Вену. — В Русское Посольство. — Его Выс(окоблагородию) Александру Петровичу Матвееву. — Г. Русскому Военному Агенту».

<sup>30</sup> После этого ей стало много легче. — Она вышла, сказала горничной своей, чтобы лошади были готовы к четырем часам ехать в Еремино; а пока до обеда чтобы ее оставили в покое и ни о каких делах не докладывали бы ей.

Она заперлась в своей красиво убранной комнате на ключ и села снова к письменному столу своему у окна.



Из этого окна был прекрасный широкий вид на поля, пригорки, извилистые вершинки и веселые рощицы; — движение людей — на дороге или на полях было видно только издали...

Этот вид всегда действовал на душу Софьи успокоительно... Звуков, кроме пения и щебетания птиц на дворе и в саду, не было слышно никаких... И Софья погрузилась надолго в глубокую думу...

«На что я теперь нужна? Кому? Отец жил и дышал для меня. — Его нет. — Я была готова жить для Александра. — Но ему я теперь почти что не нужна. — На что я ему? На что? Ему 36 лет, мне на десять, положим, меньше; но ведь он характером был всегда легче и моложе меня... Он так и дышит жизнью... честолюбием; тщеславием прямым, откровенным и веселым... А я? А я? Да во мне искры, тени молодости уж нет... Я оттого и Еремино полюбила, что эти девочки одним видом своим, одной молодостью точно в мои жилы кровь вливают! И это я чувствовала еще при бедном отце,... когда знала, что я тоже в его жилы кровь вливаю... А теперь, когда его зарыли? — И что за неожиданная, бессмысленная, что за ужасная смерть... Какая все-таки ужасная и бессмысленная эта жизнь, которую Александр Петрович так страстно любит и так умеет любить и хвалить... Вот уж кто на всех, кажется, шипах — умеет найти и розы...»

Теперь он пишет мне дружеские и снисходительные письма; — рассказывает о новых дамах, которые ему нравятся; о своих занятиях; о своих ученых трудах по военному делу. Вот он не тяготится мне все это писать. — Он знает, что я полюблю все то, что он любит, — знает, что никто не поймет его и сердцем и умом так, как я. — Не с женой своей он будет позволять себе все эти излишества... Она никогда с ним серьезно не ссорится; но разве я не слыхала столько раз ее любимого выражения... «Après tout — cela m'est indifférent!» Фарфоровая статуэтка; изящная; надменная; непонятная даже. — Нельзя, например, понять, глупа она или умна. — Скорее глупа; а

все делает ловко, спокойно и красиво даже... И как хороша ее походка; как, несмотря на небольшой рост, она полна достоинства и даже чуть-чуть не величия!.. И как красив у нее этот белокурый хохолок на лбу немножко набок... Но сердца нет у нее; и ему, видно, так легче... Не понимаю. — Я не могла бы так жить!.. Я доказала, к несчастью, на деле, что не могу...»

Она ссорилась с женой его без всякого повода с ее стороны, говорила ей самые ужасные, неприличные вещи в <sup>10</sup> ее доме. — А та простила ей, подавила ее своим великодушием, и он писал ей тогда: «Поведение твое в моем доме было так глупо, так для меня неожиданно, что только глубокая моя привязанность к тебе побеждает то презрение к тебе, которое я чувствую!» — Каково это пережить?

Так думала Соня, глядя то на широкий вид из окон... то на стены и стол свой, где каждая вещица, каждый портрет, каждая картинка напоминали ей что-нибудь из прошлой жизни с ним и с отцом... Она вставала; ходила; говорила даже громко: «Нет, скажите, каково это женщи-<sup>20</sup>не пережить!..» — опять садилась и опять думала и думала без конца. — Она повторяла себе, что все-таки не имеет права осуждать Александра... Дружбе он не изменил; а любовь, та любовь, которой она добивалась, — это разве в воле человека? Это вдохновение, безумие, — оно прошло.

И как ей строго судить Александра, когда она всем лучшим в жизни обязана ему, а не кому-нибудь другому... Все, что только было в жизни ее поэтического, высокого, истинно веселого или отрадного, или умного, — он ей дал, и никто больше. — Отец не мог ни в чем этом равняться <sup>30</sup> с ним, и сам он говорил не раз: «Я понимаю, что не могу иметь на женщину того влияния, какое может иметь Александр. — Я слишком сух для этого!»

И вот вдруг Софье, после стольких тяжелых чувств, после стольких дорогих воспоминаний о минутах невозвратного блаженства и любви; о зимнем солнечном закате за Невою, о шумящем синем море у пустынных скал Орианды, где она гуляла вместе с ним, — о фарфоровой ку-

колке с хохолком набок, которая так важно ходит и говорит, подергивая кверху головой: «après tout, cela m'est indifférent», — после взглядов на его красивый портрет в голубом шелку, который так шел к нему, — после всего этого ей вспомнилось нечто глупое и жалкое...

Ей представилась одна бедная вдова диакона, которая ездила по помещикам и выпрашивала себе что-нибудь. — Она не раз видала ее у Судогдиных, и почти всякий раз она повторяла с чувством, качая головой и вздыхая: «Да, не хочу я вам для праздника лгать... Вот вам свидетель Царица Небесная — вся моя жизнь передо мной как пять пальцев!..» И она, указавши осторожно на образа непременно средним, а не каким-нибудь другим пальцем, простирала перед людьми раскрытую ладонь... «Вот она моя жизнь — как пять пальцев!» — то есть я все помню; все прекрасно помню в несчастной жизни моей. — И у нее начинал всякий раз подбородок дергаться и слезы текли...

Софья жалела ее и давала ей когда три рубля, когда пять, а раз и платье подарила новое; но не могла не смеяться, когда барышни Судогдины представляли дьяконицу: средний палец к образам: «вся моя жизнь как пять пальцев...» Одна из младших Судогдиных, Оля — прекрасно это представляла. — И они все смеялись; — а теперь и ей хочется сказать: «Да и моя жизнь вся передо мной как пять пальцев...» И она долго даже не могла освободиться от этого глупого и смешного оборота мыслей... «Жизнь моя передо мной как пять пальцев...» Глупо! Глупо! Очень глупо! а это так... Чтò видала, чтò знала она в жизни до встречи с Александром... Мрачно, сухо, пусто, жалко и ничтожно...

Отца в детстве она не только боялась и не любила; она почти ненавидела его за то, что мать, которую она помнила, часто плакала от него; а он на нее кричал за что-то... Один раз мать лежала больная на диване; а он, должно быть, ударил ее, и мать сказала:

— За что ты, Сергей, бьешь меня...

И начала горько плакать... А Соня от жалости забыла страх, вбежала в комнату и бросилась к матери. — Отец нахмурился и ушел.

Крепостная горничная, которая все видела, уверяла, что отец даже и не ударил:

— Они только что намернулись! — сказала она.

Эта горничная защищала даже отца, объясняя Соне, что с маменькой сил нет; — «папаша из последних денег дорогие лекарства покупает, а маменька потихоньку за  
10 окно льет и пилюли — по 2 р(убля) коробочка — тоже куда-нибудь бросает и бранит и бранит папашу, страсть!»

На Соню все эти хозяйств(енные) и медиц(инские) сообра(жения) не действовали; — она, конечно, в семь-восемь лет знать не хотела ни медицины, ни экономии; — она знала одно — мама больна, мама бессильна, а у отца лицо такое сердитое, неприятное... страш(ное)...

Но позднее после смерти матери она узнала от знакомых и хороших людей, что горничная была права, узнала,  
20 что мать была много сама виновата; что она была всегда лжива, фальшива, обманывала отца всячески и сопротивлялась ему в ненужных мелочах... И это неожиданное и позднее открытие было для Сони очень тяжело. — До тех пор было по крайней мере ясно в сердце: отец тиран, а мать кроткая жертва, которая лежала на диване за зеленой занавесью в той угловой комнате, где всегда так трогательно и мило горела лампада перед золотой иконой; — а теперь люди говорят — отец неутомимый работник на семью; а мать была ему во всем помеха и видимо — глупая и фальшивая женщина.  
30 — Но это воспоминание об матери было очень смутно. — Соне было только семь лет, когда мать ее умерла. — Она и не видала ее мертвой; потому что отец отправил ее гостить на дачу к родным в это время. — Что ж было потом?

Потом было долго все то же, до 14 лет все то же. — Они жили всё в Петербурге. — Отец управлял конторой богатого купца; — не было ни крайней нужды, ни боль-

шого достатка. — Скучная квартира, где-то на Екатеринбургском канале; — лестница мрачная; — почему-то на ней были всегда кошки; кошки худые, дикие, робкие. Отец нанял одну старую немку, вдову чиновника, чтобы дочь не была одна. — Немка была ни то, ни се; — Соня была к ней равнодушна. — Был у нее брат на год моложе ее; больной в английской болезни с раннего детства; лицом не красивый, глупый и очень сварливый. — Хорошо еще, что она могла справляться с ним, когда он на нее кидался за что-нибудь в бестолковом гневе. — Жаловаться отцу на него было невозможно. Однажды только она попробовала и закаялась. — Отец застал ее в слезах — и увидел, что на обнаженной по-детски руке ее выше локтя знак от зубов и синие пятна. — Она сказала, что брат Дмитрий кусал и щипал ее очень больно. — Сказала и раскаялась. — Выразительное, строгое лицо отца сделалось зверским; бледные щеки его внезапно вспыхнули... Он подошел к Дмитрию, схватил его и, несмотря на мольбы его и слезы, потащил в кабинет; запер дверь, и долго оттуда слышались то ужасные крики, то раздирающие душу мольбы о пощаде. <sup>10</sup>

Немка, которая любила Дмитрия больше, чем ее, — бросила свою работу, вскочила и с гневом шопотом сказала ей: «Нехорошая вы девушка, нехорошая, злая... не жалеете брата... Ваш отец злой; он убьет его...» <sup>20</sup>

Соня убежала в свою комнату и, рыдая, спрятала голову в подушку...

А потом на другой день брат сказал ей:

— Мерзкая ты девчонка... мерзкая... Пусть тебя Бог за это накажет... чтоб тебе не было счастья в жизни твоей никогда... Не ты ли сама начала ссору... <sup>30</sup>

И это была правда; она начала ссору и в гневе потом не рассудила. — С тех пор уже никогда Соня отцу на брата не жаловалась, а, напротив того, всегда старалась скрывать от отца его проступки и кой-как уживалась с ним; но любви между ними и тени не было. — Брат завидовал ее весу в доме, ее уму и смелости с отцом; а она брезгала безобразием и неопрятностью его и прези-

рала его низкий характер. — Он вовсе не был добр, а только боязлив с сильными. — Перед отцом, в его присутствии, он все сидел в углу; едва смел шевелиться; — никогда не обращался к отцу даже с самыми позволительными вопросами и подобострастно улыбался, если отец начинал шутить с нею (с Дмитрием он никогда не шутил; — он даже редко глядел на него; а если и взглядывал случайно на него, то с выражением презрения). — Подобострастный с отцом и даже с нею, когда ждал от

<sup>10</sup> нее защиты или помощи в чем-нибудь; он и с ней был груб, когда она была ему не нужна. — И с Шарлотой Ивановной, которая из своего скудного жалованья утешала его тихонько пирожками, папиросами и конфетами, — он обращался очень скверно и даже раз сказал ей: «Ну, что вы толкуете — вы дура, это все говорят. — И к тому же вы простая мещанка. Вам кухаркой надо быть, а не чиновницей...» Шарлота Ивановна хотела пожаловаться отцу, но брат почти в ногах ее валялся, пока она простила.

<sup>20</sup> Хаживал к ним по праздникам один мальчик, одного возраста с ним; он учился у механика и был сын одного управляющего чьим-то именем, который знал когда-то коротко отца и просил его не оставлять сына без призора в столице. — Дмитрий, пользуясь тем, что мальчик был беззащитный и нуждался в покровительстве их отца, — обращался с ним тоже очень дурно и раз даже дал ему ни за что пощечину. — Об этом Соня уже сказала отцу, и отец, презрительно взглянув на сына, сказал:

— Ты забыл, идиот, мои уроки? — И, обратясь к

<sup>30</sup> мальчику, прибавил: «А ты, Семен, другой раз сам две оплеухи ему здоровых дай. — Я награжу тебя за это. — Он ведь животное...»

Разве можно было такого брата любить...

Конечно, не все было так скучно, так скверно. — Были прогулки; были знакомства; были и дома часы повеселее: брат бывал иногда забавен; отец весел; немка рассказывала истории и сказки или даже стишки такого рода говорила:

Иногда отец посылал их с братом и Шарлотой Ивановной в театр... Но прежде всего своя душа была молода и мечтала о чем-то веселом...

«Все впечатления бытия были новы» тогда... и внутренний свет созревающей девической души озарял нередко и эту суровую жизнь... Иногда и петь, и танцевать хотелось; иногда и с братом играть и бегать. — И она пела, и плясала одна, и бегала с братом.

Потом лет 14 она стала ходить в Гимназию. — Там с 10 подругами стало гораздо веселее. — Но в то же время, через знакомство с ними стало и еще понятнее, по сравнению, как у них в доме холодно, мрачно и скучно. — Соня любила ходить к подругам в гости, но у себя принимать их не очень любила. — Одни были богаче их; другие жили и беднее их, но как-то милее и приятнее. — У кого отец добродушный и все смеется; у другой мать премилая, еще не старая, полная, красивая, приветливая, квартира светлая, уютная; братья гимназисты [рослые,] свежие, красивые. — Одна из этих подруг была незаконная дочь известного вельможи; у нее лежал капитал в банке; и пока 20 до замужства она жила и воспитывалась у очень знатных и богатых родных покойного отца. — С ней обращались там очень ласково — и, посещая ее, Соня в первый раз увидела и настоящие штофные обои, и настоящую бархатную мебель, и статуи мраморные, и зимний сад...

С этими новыми впечатлениями жизнь повеселела, конечно. — Гимназию она полюбила сильно уже оттого, что теперь меньше дома можно было бывать... Что дома нехорошо и безжизненно — она теперь уже вполне сознавала; — прежде ей было только скучно что-то, а почему, она не знала. — Теперь она знала и однажды даже позволила себе это сказать при брате и Шарлоте Ивановне. 30

— Как у Платоновых в доме весело, и как у нас скучно. — Вот у нас и паркет, да тусклый какой-то; а у них и просто крашенные полы, а блестят так весело, и сам старик

веселый, и канарейки поют... Даже и кошки у них играют, а у нас и кошек своих нет, только дикие и страшные по лестнице бегают.

На это брат, который был в духе, воскликнул довольно удачно:

— Эх, матушка, — у тебя все так-то: в чужих руках и простой калач пирогом с начинкой покажется...

— Ну, может быть, — сказала Соня, — только я ужасно люблю бывать у них; а когда они ко мне приходят — вовсе не люблю... Все думаю, что им тяжело у нас...

Конечно, такие [тяжелые] вещи говорили без отца...

Да много ли его видели: с утра он был в конторе, обедал дома часов в пять; отдыхал; потом или уходил куда-то по вечерам, или если сидел дома, то весь погружался в газеты и книги. — И все серьезный, угрюмый, молчаливый, только и светлел он, когда она входила. — Это она знала; и видела, как он иногда следил глазами любви за ее движениями, как любитесь; как улыбается; как краснеет даже от радости, глядя на нее; — особенно рад он был, когда новое платье или шляпка шли к ней и радовали ее... У него тогда совсем менялось лицо; — он подзывал ее и ласкал, целовал и называл разными полубранными даже именами, как будто он стыдился называть ее так, как бы требовало его глубокое и нежное чувство...

Она покорялась, но сухо принимала эти ласки; и вид веселого, простого и [толстого] почтамтского чиновника Платонова — отца ее милых подруг — все-таки больше трогал ее сердце, чем вид этого важного образованного и любящего отца... Он ей не нравился, и она по-прежнему была к нему равнодушна... Только ее детская ненависть за мать прошла давно.

Но вот настало ей 15 лет; — и начало светать и светать в ее жизни... занялась невиданная, красная заря, и взошло, наконец, само солнце ясное... Приехал к ним в Петербург Александр, тот самый Саша Матвеев, о котором она до тех пор только слышала в доме отца разговоры.



— Саша Матвеев растет; — говорили родные отцу, а она слушала... — он хоть и рыжеват, но очень мил и хорош собою... — Саша Матвеев умен и способен, — жаль только, что немного женоподобный характер.

— Да уж это мать и дедушка его так воспитали. — А впрочем, теперь стал мужать.

— Что, разве уж не выходит больше в женской шляпе к гостям и в газовом шарфе с зонтиком? — Не говорит: «Я мужская женщина».

— Нет, кажется, уж не говорит... А состояние дедушка Петр Васильевич, вероятно, ему все оставит... Он в нем души не чает... Не поедет в Москву теперь на зиму, а нанял квартиру в губернском городе, потому что Саша в Гимназию ходит...

Говорили еще и о том, что за прелестное имение это Куреево!.. Я мало знаю таких симпатичных усадеб... Что-то особенное...

— Да (отвечал, она помнит, отец этому родственнику), Куреево очень привлекательно. — Я неспособен жить долго в деревне; но если бы мне выбирать — я бы желал жить в Курееве. — Эти аллеи прямые — без конца... И огромные вязы у самого пруда.

И вот Соне, когда ей было еще 8—9 лет, все представлялись очень большие деревья у большого пруда, и Сашу этого она иначе вообразить долго не могла, как в виде какого-то сказочного мальчика... У нее была книжка с французскими сказками и картинками. — Любимая сказка ее была «La chatte blanche» (она очень любила кошек). В эту белую и милую кошечку был влюблен очаровательный царевич с таким красивым молоденьким личиком; в берете с перьями; в бантах и буфах везде. — Особенно он был там мил, где, отворачившись, он заносит меч, чтобы отрубить голову любимой кошке, по ее приказанию. — Она, лежа на бархатной подушке, зажмурилась и искусно нагнула головку... А он, горестно отворачивая лицо свое, заносит меч... Вот именно с таким лицом ходил под огромными широкими ветвистыми деревьями у большого пруда маль-

чик в дамской шляпке и газовом шарфе с зонтиком в руке и всем говорил:

— Я «мужская женщина»!

И она этого мальчика ужасно любила.

Еще попозднее дедушка Петр Васильевич (портретов его [она] тоже никаких еще в то время не видала и считала деда генералом, чем-то очень высоким и недоступным) прислал отцу дагер(р)отип этого самого Александра.

И каково же было удивление Сони — Саша был в са-  
10 мом деле несколько похож чертами лица на ту картинку... Такое же правильное и нежное лицо. — Но увы! На нем не было ни шляпки, ни шарфа, ни берета с пером, ни буф с прорезами, ни бантов, а был просто гимназический сюртучок!..

К этому сюртучку, впрочем, Соня скоро привыкла и дагер(р)отип этот так ей нравился, что она без отца беспрестанно брала его в руки, старясь повернуть его так, чтобы доска не блестела и чтобы все мельчайшие подробности милого лица были хорошо видны....

Вертит, вертит; глядит, глядит и поцелует: «Душка ты  
20 мой! Как бы мне тебя увидеть!..»

Только противный брат всегда все испортит, осквернит... Увидел раз и сказал грубым голосом: «Ну, мать моя! опять с Сашкой своим возишься... влюбилась в портрет... Не беспокойся, сударыня! Двоюродный брат он тебе — нельзя замуж... Да и не по Сеньке шапка... Далеко тебе, кулику, до Петрова дня!.. Саша-то этот, матушка, генеральский любимец и наследник... И даже красавец... А ты что — так, галченок черненький... Так-то-с, Софья Сергеевна...»

30 — Противный, противный... Зачем он мне брат...

### III

Думала Софья час, думала два, думала три... Два раза приходил садовник и говорил горничной, что мужики хотят сено в саду косить, — «пусть за вином пошлют; — пора!»

Но горничная помнила умоляющий тон Софьи, когда она просила ее ни о чем до обеда не докладывать ей, и оба раза отказала садовнику...

Думала Софья; думала; вставала; ходила по комнате и садилась опять; смотрела то на образа, то на портреты; то устремляя опять взор свой из окна на дальние поля и рощи, где, кроме зелени, не было видно ничего и ничто не могло перебить ее все более и более самоуглубляющиеся мысли; — и все не могла она найти в недрах своей собственной души того решения, которого она страстно искала. <sup>10</sup>

На что она существ(вует)? Кому она теперь нужна? — И что ей самой теперь нужно?.. И отец, и Александр приучили ее с ранних лет придавать себе и жизни своей какое-то важное значение; — как будто она к чему-то особому призвана. — Они оба ошиблись в ней; — в ней ничего нет особого; все среднее, кроме очень большого и ясного ума...

Но и этот ум — на что он ей теперь?..

Уж не для того ли, чтобы читать еще какие-нибудь хорошие книги. — Она их довольно прочла. — Вот и здесь их много на красивых полках, устроенных отцом, и переплеты прекрасные; — все в порядке!.. <sup>20</sup>

Читать! При мысли одной о каком-то еще чтении на нее находил ужас. — На что ей чужая мысль, на что ей жизнь чужая, чужие чувства... когда свое сердце говорит, что ей не для чего, не для кого более жить; — некого любить — так, чтобы эта сама жизнь не казалась чем-то страшным и пустым. — «Что значит любить?» — думала она. — Любить — это значит или жалеть, или восхищаться, или и то и другое вместе». — Александром она восхищалась; <sup>30</sup> но часто и в чем-нибудь жалела его; — отца она здесь в Курееве стала глубоко жалеть... А где ж они оба?

И она вставала с места, восклицая громко: «одна! одна!»

И снова садилась; и опять пригорюнившись глядела на дальние рощи и то отдавалась без принуждения течению разнообразных воспоминаний своих; то, напротив того, хо-

тела привести их в строгий порядок; «что после чего случилось и как? и почему?» Брала даже карандаш и писала: «В 61 году — 1-й раз». — Это значило: Александра она в 1-й раз увидела. — Был морозный и лунный вечер в Петербурге. — Под самый Новый год, отца не было дома. — Звонок; — она сама отворила дверь. — И вот он — с мороза румяный, молоденький... Только не в берете с пером и не с зонтиком и в шарфе «мужская женщина» — а в куньей боярке; в черной дорожкой дубленке и меховых <sup>10</sup> высоких сапогах... От него пахнет кожей и духами.

Потом она писала 63-й год или 64-й. Ранней весной... Зачем она забыла число и месяц!.. Тоже в 1-й раз... Что же в первый раз еще случилось?

А вот что. — Это было тоже в Пет(ербурге). — Александр сидел в отцовском кабинете у камина на кресле; она сидела перед ним. — Он приехал только на несколько дней из Польши с войны; — он был в одежде стрелкового отряда и что-то говорил, говорил долго; она не помнит что именно, только о войне и опасностях... Она не помнит. — <sup>20</sup> Она помнит одно... что он удивительно хорошо вздыхал; что он, так осмысленно вздыхая, сказал: «Ах, Соня! Соня — до чего иногда жизнь хороша!» — И вот что случилось — она вдруг кинулась к нему после этого возгласа, стала перед ним на колени и начала целовать его руки. — А он руки не принимал, — но сам не целовал ее и сидел молча... Потом отодвинул ее слегка, встал и, задумчиво мешая щипцами в камине, сказал: «молода ты еще слишком. — Вот что!» И больше помину об этом долго не было...

— Нет, он был честен; он был честен до конца!.. Я, <sup>30</sup> я одна во всем виновата!.. Разве не я написала ему в Туркестан, что никому не хочу впервые принадлежать, кроме его... Что я за честь сочту, если он удостоит меня хоть небольшого подобия настоящей любви. — Чтобы о замужестве моем он не думал; — не нуждается она в таком женихе, который не поймет ее прошедшего и даже не оценит его, как следует. — А достойный внимания поймет это прошедшее и оценит!..

И с этим внезапным возгласом совести Софья заплакала впервые со дня смерти отца.

Долго она плакала, потом утихла и наконец сказала себе: «Нет, я во всех этих мыслях только путаюсь и страдаю без конца и без выходу... Не могу я больше в этой комнате и в доме этом оставаться одна! Не могу!»

Отперла дверь; позвонила; велела сейчас запрягать лошадей и сказала, что она дома обедать не будет и сейчас же поедет в Еремино... Горничная попробовала было упомянуть о сенокосе и о том, что мужики жалеют ее; но Софья равнодушно ответила на это: «А если жалеют, так пусть убирают; они сами знают, как лучше... Вина купите им... как знаете... Оставьте теперь меня... Я уйду в сад и буду ждать, на пнях сидеть, знаешь, там, где дорога в Еремино видна. — Пусть лошади туда выедут. — Я здесь больше оставаться не могу. — Ради Бога — торопи лошадей...»

Она не надела даже шляпки, покрылась платочком, взяла зонтик и ушла...

И в саду ей было тяжело; кричали нестерпимо громко несносные грачи, которые свили себе на старых липах гнезда в самую вѣсну смерти деда Петра Васильевича, точно знаменуя этим наступающую мерзость запустения — в усадьбе прежде столь опрятной и прибранной.

Да и не одни грачи эти; и все в Курееве было сегодня несносно уже тем одним, что всегда все говорило ее сердцу; а сегодня не могло говорить, потому что она сама была в силах только болезненно думать; но ничего уже кроме тоски не чувствовала сильно.

Она спешила дойти до тех двух больших березовых пней, с которых была видна между углом рощи и лужайкой серая полоса дороги в Еремино. Здесь в Курееве смерть всему; здесь могила блестящей будущности и славы; могила любви; здесь — еще, кажется, не прошел ужасный запах отцовского трупа... В Еремине молодость, в Еремине русские песни, хороводы и пляски; в Еремине смех, в Еремине жизнь...

Туда! Скорей туда!

Но ей не судьба была в этот день быть в Еремине.

Еще она далеко не дошла до своих любимых пней, как вдруг увидала, что в окoliце на дальнем конце темной аллеи подъезжает вороная лошадь с знакомой тележкой... И на тележке — кто же! Зина! Сама Зина в сереньком платье!

Радость, которую Софья почувствовала, была до того велика, что она сама ей изумилась, — и у нее впервые в <sup>10</sup> этот миг мелькнула мысль: «Уж не для нее ли жить? Вот кому я нужна! неужели?»

Зина бежала к ней навстречу шибко, по-крестьянски двигая грубо согнутыми локтями, чтобы было вольнее. — Софья бегать давно отвыкла и к тому же никогда не забывала, что Александр сказал ей однажды: «старайся не бегать; — ты некрасиво бегаешь».

Но тут уж было ей не до красоты и не до Александра...

И она кинулась бежать как попало навстречу Зине...

Объятия! Объятия! Объятия! Слезы; поцелуи без <sup>20</sup> конца.

— А я сама было к тебе!.. Как отпросилась? Как? Когда?..

У Зины блистали огнем любви и веселья большие, прекрасные серые глаза, обыкновенно столь печальные или сердитые.

— Мамка — сама велела. — «Ты бы в Куреево съездила... Ночуй — пожалуй...»

— Вот видишь; вот видишь; а ты все бранишь мать!

— Ну, ну ее — мать эту... Молчи уж!

<sup>30</sup> Они с радостными лицами смотрели друг на друга и молчали, не зная, что еще сказать, с чего начать, чем выразить друг другу всю силу своих чувств...

Наконец Зина сказала: «Олюшка тоже просилась; хотела притащиться тоже. — Да я ее не взяла». — «Отчего? Ах — бедная!» — «Ну вот еще, очень нужно! Я хочу быть с тобой одна... Я тебя к ним ко всем ревную». — Софья покачала головой с любящим укором: «Вот ты

какая! А я всех сестер твоих люблю, и Олю особенно!» — «Ну их к Богу — сестер... Куда ж мы пойдем теперь?» — говорила Зина.

— Я велела было заложить лошадей, — сказала Софья. — Надо пойти домой, чтобы их отложили. — Только — лень, по правде сказать — в доме теперь очень тяжело... Впрочем, при тебе — другое дело...

— Ну так что ж, — решила Зина, — скажем об лошадях и уйдем опять в сад сидеть...

Так и сделали...

10

Было в большом куреевском саду одно отдаленное и таинственное место, которое они обе любили; — нужно было от дома идти сначала по прямой липовой аллее, мимо противных грачей, и слышать их неумолкающий крик; а потом этот крик стихал постепенно, когда за первой короткой липовой аллеей начиналась другая аллея, которую звали в Курееве рябиновой, хотя кроме рябины тут само собою выросло с годами много черемухи, молодых кленов, и даже две стройные и тоже молодые елки темными стрелками красовались среди всей этой более светлой и кудрявой зелени. — За елками был поворот на заросшую травой вишневую дорожку; и далеко-далеко на этой вишневой дорожке были друг против друга две полукруглые беседки из старых очень тенистых лип. — В прохладном сумраке одной стоял уж лет около сорока памятник из серого камня, обросший ранжевным мохом; наверху была урна; хорошо сохранившаяся; а на самой колонке памятника в овальном углублении была надпись: «Праху друзей».

20

Напротив памятника, в другом липовом полукруге, была старая скамья. — На этой скамье подруги сживали уже не раз и год тому назад в первое лето своего сближения; здесь Зина слушала и прежде по целым часам рассказы Сони о Петербурге и Вене; об театрах и своей игре; о крымской степи; о крымских скалах, дворцах и прекрасном море; об Александре, конечно — всякий раз... На этой скамье в это второе лето, в начале мая, когда тут побли-

30

зости цвело столько ландышей, — они решились впервые говорить друг другу *ты*...

В эту темную беседку, романтическую и от дома и всякого шума и движения далекую — они ушли и теперь.

Сели на скамью против памятника, — сели, обнялись и долго молчали... Соня еще немного и тихо поплакала, припавши к плечу Зины. — И Зина понимала, что надо молчать...

Наконец, отерла Софья последнюю слезу и спросила  
10 уж совсем весело: «Ну — расскажи же еще хорошенько, как тебя Анна Васильевна отпустила?»

Но Зина говорить была не мастерица; ей всякое лишнее слово казалось трудом.

— Ну как отпустила... Уж я говорила. — Я было хотела уж проситься; да, знаешь, все думала... А она сама, знаешь, своим этим нежным голосочком: «Зиночка, ты бы сегодня в Куреево съездила... Ночуй, коли хочешь».

Повторяла Зина слова матери не просто, не своим го-  
лосом, а передразнивая мать и с какой-то насмешливой  
20 гримаской.

Софье это было неприятно. — Она была настроена с утра так серьезно и так мрачно, а теперь так умиленно и радостно с минуты неожиданной встречи своей с Зиной, что ей бы только в пору было, если бы она была религиозна, — молиться и восклицать: «Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его!» — Тогда, если бы она была верующая, она могла бы сказать подруге: «Зина! это грех!»

Но слово «грех» не имело для нее своего настоящего  
30 духовного богобоязненного смысла, и она и не вспомнила даже ни о нем, ни о заповеди Господней «Чти отца твоего и мать твою».

Она знала только, что ей самой неприятен этот насмешливый тон. — Она была так благодарна Анне Васильевне за ее участие, за то, что она и во время болезни отца оставила Зину в Курееве, и за то, что теперь сама прислала ее! И сверх того — эта бледная, худенькая опрятная



старушка ей сама по себе очень нравилась. — Соне в других людях, особенно в пожилых, всегда нравилась набожность (и Александру тоже это нравилось). — Анна Васильевна была набожна. — Нравился Соне ее певучий музыкальный голос; ее старомодный чепчик и всегда немного короткое платье; ее большой и крутой лоб, нависший над такими же серыми и острыми глазами, как глаза Зины; — все нравилось; трогали сердце Сони даже забавные ошибки Анны Васильевны во французском языке, на котором старушка любила не совсем осторожно говорить, называя тополи: «des topols», клумбы — «les clombons; — а раз даже, рассказывая про один знатный помещичий дом, выразилась так: «Пол — парке; — вход — „entrée”».

А Зина ко всему этому относилась с недоброжелательством и презрением...

Когда Зина передразнила мать, Софья сказала ей на это:

— Ты, Зиночка, как хочешь... А я очень уважаю твою мать и очень ей благодарна! И ты мне портишь радость мою этим тоном. — Даже и такое доброе, святое даже движение — как тебя сюда отпустить — ты представила в пошлом каком-то виде... Мне это очень больно...

Зина поцеловала ее крепко, приговаривая: «Не буду, не буду больше... Это правда, свинство мое... Прости!..»

— Ну, хорошо, — спросила Софья, — ты еще ни разу не говорила мне подробно и ясно, — за что ты так ее не любишь. — Ну, сделай усилие над собой, расскажи так, чтобы я поняла тебя. — Тогда мне легко будет рассудить вас. — Я знаю твою бессловесность. — Только уж сделай усилие для меня.

Глаза Зины опять омрачились; она сильно задумалась; долго молчала, вздохнула очень глубоко и наконец сказала:

— Обижала; была ни за что; — всегда, с самого начала Машу предпочитала, — когда мы еще маленькие были. — Унижала при других. — Даже над цветом лица моим смеялась. — Говорила, что песочного цвета... Ну,

довольно об этом!.. Довольно!.. Оставь... Когда-нибудь еще... Вдругорядь!

Софья уступила и не спрашивала больше об матери; но в душе тут же давала себе обещание заплатить добром за добро и приложить все старания для примирения любимой подруги с почтенной матерью...

Сидя с Зиной на скамье против надписи «Праху друзей», она думала: «Да, вот и это дело, и это призвание! Такое дело — я и теперь могу понять и делать... Это <sup>10</sup> нравственно, это честно... Мое дело — это что-нибудь честное... Ни Александр, ни отец не понимали меня. — Они хотели сделать из меня что-то блестящее, сильное, изящное... Какой вздор! — Куда мне... А вот — мораль! Жизнь честного сердца — это моя природа, которую они каждый по-своему хотели извратить... „Праху друзей!“ Они оба теперь уже прах для меня... Разве не прахом станет скоро и такой живущий друг, для которого и два года, и три года, и даже шесть лет разлуки ничего не значат?..»

Зина, однако, на этот раз первая прервала молчание: <sup>20</sup> «Соня! О чем ты думала теперь?»

— Я о чем думала? — переспросила Софья. — Я все смотрела на эту надпись «Праху друзей» и думала о дружбе...

Зина засмеялась: «Смотрите! Ведь и я тоже думала об этой надписи... Ты что ж об ней думала?»

Софья ответила, что вспоминала об отце и Александре. — Тогда Зина сказала: «А я о другом. — Я мечтала».

— О чем?

— Ах! переселиться бы мне к тебе на всю жизнь сюда, <sup>30</sup> в Куреево... Я его страсть полюбила теперь... На наше Еремино глаза бы мои не глядели! — Переселилась бы сюда. — Пожили бы мы с тобой. — Я бы хозяйничала; а ты бы мне книжки громко у камина зимой читала... А потом — чтобы нас под этим «Праху друзей» похоронили бы вместе...

— Не позволяют хоронить в садах, — возразила улыбаясь Софья, — да еще и потому нельзя, что у этого

памятника Александр Петрович в детстве двух любимых собак своих зарыл. — Как же нам вместе с собаками?..

— Что ж собаки! — отвечала Зина угрюмо. — Собаки лучше людей...

Софья удивилась. — Такого резкого выражения мизантропии она от нее еще никогда не слышала.

— Вот ты как людей ненавидишь?! За что?

— Не знаю! — Не люблю!.. Ты, ты одна у меня... — и Зина опять припала к ее плечу.

— Милая! Бедная ты моя!.. — проговорила Софья и <sup>10</sup> гладила рукой ее голову...

Потом — помолчавши, она сказала:

— Что ж! Кто знает; — быть может, это и сбудется когда-нибудь... Быть может — мать и отпустит тебя как-нибудь ко мне жить... Только пока я тебе признаюсь — мне бы очень хотелось к вам, отсюда уехать на несколько дней... Ты пойми, что здесь мне слишком теперь тяжело.

Зина, подумавши, сказала, что это можно будет устроить, — сегодня она тут переночует; а завтра поедут вместе в Еремино, и она старшую Машу и самых младших Варю и Ваню «натравит» (так она выразилась), «натравит» на мамку, чтобы она пригласила Соню гостить... <sup>20</sup>

Эта надежда уехать надолго в Еремино совершенно успокоила Софью, — и они вернулись домой — в том тихом и мирном, и полугрустном настроении, которое иногда дороже нашему сердцу, чем самое веселое и возбуждающее или лихое.

#### IV

Присутствие Зины, ее ласка и уверенность в том, что завтра можно будет уехать надолго в Еремино, так успокоили и ободрили Софью, что она тотчас же по возвращении домой охотно занялась делами: отправила в город на почту нарочного с обоими неотложными письмами — другу и врагу; — призвала старосту; сама поговорила с ним о <sup>30</sup>

сенокосе в саду и на лугах и отпустила. — Пообедали пораньше, потому что Зина была голодна, и пошли сидеть в комнату Софьи.

Зина привезла с собою работу, — много разноцветных ситцевых лоскутков в узелке и начатое детское одеяло.

— Для кого это? — с удивлением спросила Софья, зная, что у Судогдиных в семье нет маленьких детей.

— Для бабы нашей одной, для Устиньи, — сказала Зина. — Мы часто для них шьем... Вот тоже шапочки для <sup>10</sup>детей, сарафаны, рубашки... Они платят.

Софья еще больше удивилась, услышавши, что Зина и сестры ее берут с деревенских за эту работу деньги.

— А что же Анна Васильевна не запрещает вам это?..

— Ну еще бы запрещать стала. — Сама-то она когда-то нам рубль даст... И отец тоже не ахти как щедр... Ну — вот и шьем...

— Удивительно у вас все оригинально! Какие-то вы самородки! Мне это очень нравится, — сказала Софья и потом прибавила: — Ну, хорошо — ты шить теперь будешь, <sup>20</sup>а я — что теперь стану делать... Не пособить ли тебе?

Зина подумала и сказала: «Нет, не надо; а ты вот что: сядь-ка напиши пока письма, которые отец тебе велел. — Кончишь, у нас в Еремине покойнее будешь...»

— Это удивительно, — воскликнула Софья, — какой ты практический человек. — Молчишь, молчишь и вдруг — решишь отлично.

Так и сделали.

Зина разложила на диванчике свои лоскутки и начала <sup>30</sup>работать; — а Софья принялась за скучные однообразные письма к отцовским друзьям. — Этих писем нужно было написать шесть; — и во всех нужно было повторять о страданиях отца, о роде болезни, о том, что он обо всех вспомнил, и прибавить хоть несколько кратких слов о своем огорчении и одиночестве, иначе выйдет неприлично и даже грубо.

Как ни тяжело было охлаждать и даже как будто унижать свое глубокое чувство общими фразами, вроде того: «Вы, конечно, сами поймете, что я должна чувствовать»

(Или «О потере моей я распространяться не в силах; — вы сами поймете, как она велика» и т. п.). — Однако это было неизбежно; — и Соня, занимаясь этим скучным делом и взглядывая от времени до времени на Зину, которая прилежно и молча шила, думала про себя мимоходом: «Да, вот и к этому она же меня возбудила; — я бы еще две недели не собралась это писать; — мучалась бы и не бралась бы. — А ее мне как-то приятно слушаться. — Это я только второй раз в жизни испытываю; с Александр(ом) и с ней. — Отцу повиноваться — я никогда не находила удовольствия. — Да он, бедный, ничего от меня принудительного и не требовал. — Разве иногда роли повторять с ним. — Да и то все для меня же, для моего будущего, — в угоду моей страсти... Я для отца не жила; — а тут вот чувствую, что могу для нее жить, — если уж Алекс(андру) я уж больше не нужна... Вот уж два месяца, например, как от него нет писем... Странная дружба?.. Да и как равнять; — у него все есть; — у меня — теперь ничего, кроме этого убежища и разочарования...»

Так размышляя урывками между делом, Софья дописала четвертое письмо и бросила перо.

— Нет — не могу больше! Довольно четырех... Те подождут... Слушай, Зина! — Ты рада молчать целый день. — Скажи мне что-нибудь о себе... Мне свое все забыть хочется...

— Что ж я тебе про себя скажу?.. Ну — вот — смотри. — Ты давеча спрашивала, за что я мать не люблю... Да за все. — Хитрая такая... Сама молится — сама злится... А про меня, еще когда я маленькая была, всем говорит: «О, эта злая!» — За что ж любить мне ее... Машка ее любимая ничего не делает; а я все; и в анбар, и на ледник, и чай... Опять-таки давно ли я это Олюшке каждый вечер шею должна была гладить...

— Как шею гладить?

— Да очень просто — шею... Машка и Олюшка — это, знаешь, ее любимые... Олюшку сама сначала избаловала; — не заснет, если ей тихонько спереди шею не гладить. — Прежде сама гладила; — а то крепостных за-

ставляла; ну — а потом, как у самой руки ослабели, да крепостных-то уж нет. — Ну — меня заставляла...

— А ваша Арина разве не могла? Она у вас на все руки.

— Ну, Арина! — У мужиков руки мягче... Тут где ж заснуть; все равно — щеткой...

Все это Зина сказала с таким особенным оттенком юмора, — с таким серьезным видом, что Софья на минуту забыла обо всех горестях своих и засмеялась.

<sup>10</sup> — Вот Россия-то настоящая! — сказала она. — Я уверена, что Александр Петров(ич) был бы в восторге от вашей семьи... Вот посмотри — придет он вдруг и влюбится в тебя...

Говоря это, Софья (сама не зная почему) вся вдруг вспыхнула.

Зина поглядела на нее пристально; глаза ее засветились чем-то радостным, улыбка стала веселая, и щеки тоже слегка зарумянились.

<sup>20</sup> — Ну, так что ж? — сказала она и прибавила еще тем особым музыкальным, нежным, певучим тоном, который покойный Сергей Львов звал «ереминским» и восхищался им: — Разве — это не хорошо?

— Да ведь же он жениться на тебе не может?

— На что — жениться! — отвечала Зина, пожав с презрением плечами.

— Так ты такая разве? — спросила Софья. — Я не знала!

<sup>30</sup> Задумчивое, тихое, скупающее лицо Зины вдруг преобразилось. — Глаза сделались еще больше; — из них как будто полился дотоле невиданный Софьей свет. — Щеки вспыхнули; — все выражение стало лихим, молодецким... Но нечто строгое, что-то чуть не жестокое виделось за веселостью и лихостью этой...

Зина сказала только: «А ты как думала!..»

Но больше и не нужно было говорить... И так было понятно, что она страстно хочет жить и ни перед каким шагом долго задумываться не будет...

— Не так, как я! — подумала Софья с укором себе. — Не так, как я, которая пять лет собиралась написать ему объяснение в страстной любви...

И вдруг — ей стало опять очень грустно и даже страшно чего-то, и она переменяла разговор...

— Не знаю, какую работу мне взять с собою в Еремино... Вот разве полегче и подешевле что-нибудь черное в город послать купить... Для будней. — А то мне в этом шерстяном жарко...

— Да, коли не стыдишься, — начала Зина, — купи простого черного ситца. — Вот монахини ряски шьют... По 10 копеек... по 15-ть...<sup>10</sup>

Она не кончила; взглянула в окно, встала и сказала:

— Смотри — кто ж это приехал...

Софья бросилась к окну с замиранием сердца...

По двору ехала простая крестьянская телега парой; — правил старый, плохо одетый мужик.

На телеге, на куче сена, покрытого простыми веретьями, согнувшись сидел в мак-фарлане и широкой шляпе враг Софьи — дядя Семен Николаевич.<sup>20</sup>

У Софьи задрожали ноги; она совсем бледная опустилась на диван и только могла прошептать: «Это ужасно! Нет, это ужасно... Я не могу его принять, Зина... Это сверх сил моих!.. Что я буду с ним говорить...»

Незванный гость меж тем подъехал к крыльцу, сошел с телеги бодро и не торопясь начал разговаривать с мужиком. — Потом стал говорить с Лизой, которая вышла его встретить. — Софья видела все это из окна... и не знала на что решиться. — Час был уже не ранний; — солнце скоро должно было сесть; собрались тучки; начал накрапывать дождь и вдали сверкали молнии... Софья мигом поняла, что отпустив своего ямщика, С(емен) Н(иколаевич), собирается ночевать в Курееве. — Мысли ее так путались, что она не сообразила даже сразу, что он, вероятно, не зная о смерти отца, ехал к нему, а не к ней, и она воскликнула: «Какая наглость! Он ночевать тут собрался! — Другое бы дело при отце; с отцом у них вражды не было».<sup>30</sup>

Но Зина, сообразивши все, возразила: «да знает ли он еще, что Сергей Николаевич умер?..»

Они, впрочем, обе оказались отчасти правыми. — Семен Николаевич ехал из соседней Губернии в самом деле к брату, а не к племяннице, которую он ненавидел. — Он ничего не слышал об его смерти; — да и вообще ничего не знал о том, что делается в Курееве. — Только в верстах в шести от Куреева он встретил случайно одного из куреевских крестьян. — Они узнали друг друга, и крестьянин <sup>10</sup> рассказал ему, что Серг(ей) Ник(олаевич) проболел меньше недели и что его схоронили только вчера. — Семен Никол(аевич) решил продолж(ать) путь.

Нечего было делать! Надо было его принять.

Софья пошла в столовую.

Семен Николаевич ходил взад и вперед по комнате, когда Софья вышла к нему.

Он был серьезен, тих и вежлив; — подал ей руку, поглядел на нее скорее печально, чем сердито, и сказал: «Я только на дороге — недалёку тут за Сосиным узнал, <sup>20</sup> что брат скончался. — Вы меня извините... Было уж поздно... Я и приехал...»

Она села; а он продолжал ходить сначала молча; а потом начал так: «Если вы еще очень утомлены или расстроены, велите мне запретить лошадей; я уеду в село, там есть постоянные дворы... А завтра опять приеду, и мы поговорим. — А то могу уйти ночевать к няне Авдотье...»

Софья на это отвечала с волнением и сдержанным гневом:

<sup>30</sup> — Не все ли равно, что сегодня говорить о неприятном, что завтра. — Лучше кончить скорее... Лошадей, чтоб отвести вас в село — я с удовольствием дам; а насчет других дел — говорите все равно теперь... Предупреждаю вас только, что если вы за деньгами, то таких денег, к(а)ких в(ам) нуж(но), у меня теперь нет... Да и до срока по завещанию еще почти полгода. — Я только что послала вам письмо об этом.



Семен Николае(вич) сел против нее в кресло и с улыбкой сказал:

— А! вот как! Вы признаете, значит, что вы должны мне отдать еще семь тысяч...

Софья вспыхнула и возвысила голос:

— Вы можете меня ненавидеть, но вы не имеете никакого права считать меня мошенницей... Завещание бабушки для меня святыня...

Семен Никол(аевич) поглядел на нее исподлобья, недоверчиво и мрачно и сказал: 10

— А бумага?..

— Бумага у меня в столе, — ответила Софья. — Она в свое время будет разорвана; не беспокойтесь. — К Рождеству, а может быть и раньше, уплачу вам все — и тогда она будет не нужна...

Сем(ен) Ник(олаевич) опять встал и начал ходить взад и вперед по длинной столовой, покручивая усы и поглядывая по старой привычке в старинные зеркала, которые были повешены в простенках на обоих концах. — Он как будто собирался с мыслями. 20

Наконец он остановился перед нею и сказал:

— А если вы так честны, то отчего бы вам сейчас же при мне не разорвать этой бумаги; чтобы удостоверить меня... что обеспечен от всякого обмана... Ведь не можете же оправдывать поступок покойного брата со мной... Я был в крайности, вы знаете... И поступок все-таки... скверный!

Как порох вспыхнула Софья и, вставши с места, почти закричала:

— Нет, мой отец был прав! Он знал, что вы такое — и что я! Он знал мою честность и знал ваше бесстыдство, 30  
вашу грубость... Он знал, что я из последнего все уплачу Вам. — Но он любил меня больше жизни своей... Он наверное помнил о возможности смерти своей и хотел, чтобы не я была в ваших руках, а вы в моих... Он хотел спасти меня от подобных посещений...

— Позвольте, позвольте, — закричал в свою очередь и дядя; с злобным хохотом. — А это ограбление?.. Петр

Васил(ьевич) любил меня, — Куреево было бы моим, — но ваш отец и этот мерзавец Алек(сандр) Петр(ович), пользуясь его слабостью...

Софья перебила его в свою очередь:

— Если бы Алек(сандр) Петр(ович) был здесь — вы бы не осмелились порога этого переступить — понимаете?.. Понимаете... Вам ли, вам ли судить таких людей, как мой отец и Алек(сандр) Петр(ович). — Вы самых простых вещей не понимаете... Вы не умеете даже щадить такой вещи, как дочернее чувство на другой день после похорон... Узнавши, что отец мой умер — вы должны были бы вернуться...

— Да ведь мне деньги, чорт вас побери с вашим чувством, нужны! — закричал еще громче Сем(ен) Ник(олаевич), топая ногами и стуча вне себя кулаком об стол... — Деньги давайте. — Не воображайте, что вы обеспечены от суда... Завещание — не правильно; я объявляю вам, что я не уеду отсюда, пока вы мне не выдадите 2 тысяч рублей; а к сентябрю все сполна... Буду в селе, в трех верстах от вас жить и не дам вам покоя... И завещание ваше будет отвергнуто; и Куреево будет моим, потому что нельзя завещать в два поколения, как завещал Петр Васильевич... Или деньги, или суд...

Софья отворила дверь в прихожую и кликнула Лизу и сказала ей:

— Вели заложить лошадей в пролетку скорей отвести Сем(ена) Ник(олаевича) в Пречистое... Сейчас! — Прощайте... Прошу вас оставить мой дом. — Пока он еще мой... Судитесь — это ваше дело; но теперь — прошу вас уехать...

И с этими словами она ушла в свою комнату.

# ПОДРУГИ

## ПОВЕСТЬ

[Другая редакция]

### III

Прошел еще день — Софья ела, пила, спала, ходила... но все как убитая... Она знала, что за отворенными окнами шелестят листья на кустах и деревьях, но не слышала, не чувствовала сердцем этого любимого шелеста.

Она смотрела на портреты — и того, и другого — и портреты уже ничего не говорили ей... Смотрела на стены <sup>10</sup> дома этого, стены, которые они тоже любили — и вспомнила, как кто-то из простых людей сказал ей к чему-то и когда-то: «Так нельзя жить — „стены съедят!“» Да — они ели ее, эти стены; они сдвигались на нее со всех сторон, они давили ее!.. Она попыталась прогуляться по саду — и вернулась с отчаянием.

Когда она увидела и услышала, как все в нем цветет и шумит, сияет, зеленеет, пестреет и поет — и сознала в ту же минуту, что она не чувствует уже того, что она должна была чувствовать, — что она чувствовала в этом <sup>20</sup> саду всегда, — поняла, что она смотрит на все и видит все только глазами, а не душой, и слушает все, но в сердце ее царит безмолвие смерти, — она испугалась и не вернулась к себе, а почти побежала к няне во флигель и сказала ей:

— Скажите мне, Авдотья Семеновна — что мне делать... Я ничего не чувствую...

Няня прослезилась и посоветовала ей ехать скорее к Судогдиным; может быть, догадаются сами пригласить к себе надолго...

— Сама Анна Васильевна очень скупа; она пожалеет содержать меня, — сказала Софья.

— Ну, что ж, деньги предложить можно. — Не ей самой — барышням скажете... Здесь вам нельзя оставаться...

И потом она ей повторила то же самое, что и другие:  
<sup>10</sup> «Здесь — вас стены съедят».

У Судогдиных все дочери ей сильно обрадовались, и сама мать, которой она не доверяла, и та приняла ее любезно; отец же, человек добрый и веселый, был всегда радушен и прост в обращении с нею. — К тому же Зинаида была его любимицей, и через приятельство свою с нею Соня имела даже особый вес в его глазах.

Все устроилось скоро и прекрасно. — Зинаида, которая не любила мать свою и сама ею вовсе не была любима, сказала старшей сестре своей — Маше, чтобы она уговорила мать пригласить Львову надолго к ним в Еремину. — От них и к могиле отца ближе — всего две версты. — Предложили и деньги; но Анна Васильевна, хотя и была очень расчетлива, сказала: «Какие пустяки! Нас девять человек в семье, что при этом значит десятый на какие-нибудь 2 недели, даже и месяц».

И вот Соня осталась в Еремине надолго, и скоро ей стало гораздо легче в этой многочисленной и веселой семье. — Позднее, отдохнув, она от времени до времени стала ездить на день на два и к себе, чтобы присмотреть  
<sup>30</sup> кой-как за хозяйством.

Ходила пешком с Зинаидой ли одной или и с другими сестрами на могилу отца и по указанию Анны Васильевны, очень набожной и знавшей уставы и обычаи Православные — исполняла все как принято — служила панихиды в 9-й день и в 40-й.

Положим, что она не верила и почтительно только молчала, когда Анна Васильевна говорила ей о мытарст-

вах и даже рассказала ей подробно весь сон Св. Феодоры, жившей у Св. Василия; — но ей нравилось все это, как милая сказка детства... Даже больше чем нравилось — ее все это трогало глубоко, и некоторые слова молитв зауспокойных, некоторые черты из рассказа Анны Васильевны производили в ней даже то ощущение телесного блаженства, возбуждали тот тонкий и мгновенный плотской трепет, который возбуждает в нас или какой-нибудь любимый стих любимого поэта, или любимый звук 10  
дорогого голоса, или какая-нибудь нота музыки...

Еще не веруя как следует, она понемногу привыкала веру любить и все больше и больше давала себе волю наслаждаться обрядами и преданиями...

Жестокая рана начинала немного заживать в этом оживленном доме, где самая старшая сестра — Маша была на два года моложе ее, а самой младшей из шести сестер — Варе было всего двенадцать; — и мальчику Весе десять. — Гуляли, ходили за грибами, пели хором, ссорились иногда и дулись друг на друга; — потом все это 20  
проходило, опять смеялись и шумели все вместе.

Стала опять Соня слышать и шелест листьев, и пение птиц в саду и рощах; стала не только смотреть на зелень, на лазурь небесную и цветы, но начала и видеть все это не одними глазами, а и душой...

Были и в ереми(нской) жизни свои мрачные стороны; были воспоминания обидные и жестокие; — Зинаида с матерью были уже в давней затаенной вражде; были и другие черты не завидные — она их все скоро узнала; — но ей самой было до того легко в этой семье, и к ней самой 30  
все, казалось, были так добры, что она могла только жалеть то того, то другого; но глубоко огорчаться чужим горем она, если бы и хотела, то не могла после того, что она недавно сама испытала. — Ей казалось, что все чужие горести — ничто перед ее тоской.

Не больше как через неделю после похорон отца, она заперлась одна на мезонине и написала Матвееву не длинно и не коротко:

«После нескольких дней самых ужасных страданий отец мой умер. — Я теперь живу в Еремине у Судогдиных и начала понемножку приходить в себя. — Не знаю, что бы было со мной, если бы не эта семья, и в особенности — если бы судьба... (она чуть-чуть было не написала Бог, но остановилась и написала „судьба“) не послала бы мне этого ангела Зинаиду.

Это истинный Ангел! Я такой еще не видала. — И прошлого года она мне нравилась; но теперь я просто начинаю боготворить ее...»

Написавши это, Соня остановилась и задумалась...

Ей хотелось еще прибавить: «Мне кажется, что кроме ее мне теперь уже никто не нужен; тем более, что я, кажется, никому кроме ее не нужна...»

Но она остановилась и спросила себя, внимательно сама в себя вдумываясь: Правда ли это, однако? — А если бы теперь, сейчас — он бы взошел; или бы прислал из Куреева весть, что он только что вернулся в родной дом; или бы даже ответил на это самое письмо, что, понимая ее горе, он бросит все и поспешит приехать... Ну разве бы она не обрадовалась... Ведь если с каждым днем все больше и больше угасает ее прежняя страсть к нему, то разве все кончено? — Ведь сначала, до внезапного разгара этой страсти — уже 10 лет тому назад — было же долголетнее идеальное обожание?.. Была же дружба, полная поэзии... Тогда была весна, потом настало краткое, очень краткое лето, и благоуханное, и бурное... ну а теперь будет, если он приедет, тихая, теплая и светлая осень, с немного грустным оттенком... И в эту же минуту у нее блеснула вовсе неожиданная и невозможная мысль: а если бы он вдруг овдовел... а у нее бы прошла страсть, и приехал бы сюда, и понравилась бы ему моя Зинаида... Какая бы она ему была прекрасная жена и какой бы для меня настал бы рай на земле... Вот была бы цель жизни... Цель, для которой стоило бы жить и стремиться, и потом жить и блаженствовать глядя на них до самых преклонных лет... Ко-

нечно — это так только... Жена молода... Зачем ей умирать...

Но как бы то ни было — нельзя писать ему, что мы друг другу не нужны... там у него прошла ко мне страсть. Он, может, нужнее Зинаиде — и так как для него — если есть разница между брачной и безбрачной любовью, то только та, что последняя несравненно лучше, то кто знает... Кто знает... Кто знает будущее...

Она опять взяла перо и написала совсем другое.

«Ты как-то прошлой зимой укорял меня за то, что я <sup>10</sup> пристрастилась к „этому серому Еремину” — как ты тогда выразился. — Ты, должно быть, забыл его. — Уж оно-то совсем не серое. — Приезжай и увидишь. — Не смею мечтать о твоём приезде, и даже меня бы испугало, если бы ты принес какую-нибудь жертву для моего утешения. — Я этого не стою, и мне дорога (ты *обязан этому верить*) каждая твоя хорошая минута, дорог каждый твой успех или то, что ты сам когда-то звал „развитием” твоего духа и твоей жизни. — Но *если можно* — приезжай.

Уроки твои я все помню; но мое-то „развитие” уж, <sup>20</sup> должно быть, кончилось совсем. — Да и на что мне оно?.. Ты другое дело... Ты гораздо моложе меня душой — и мне остается теперь чувство вроде того, что, помнишь, сказал Пушкин в стихах какой-то М-лле Баразыгиной:

И вашей славою и вами  
Как нянька старая горжусь...

Я и в лице ужасно постарела, и худа так, что самой противно смотреть.

Напиши, что найдешь нужным насчет Куреева. — Не забывай, что оно *твое* и что ты можешь всегда *приказывать*. — Ну, прощай. — Будь счастлив или, вернее — <sup>30</sup> будь сам собой доволен, — это приятнее всего.

Твоя неизменная Соня...

Еремино;  
27 июля; 1873 года.

Р. С. 73-й год. — Помнишь — в 63 мы расстались в первый раз как брат с сестрой (почти!); не видались до рокового 69-го и теперь опять мы уже более двух лет в разлуке. — Неужели ты вернешься опять братом (уж конечно, не *почти* теперь, а совсем) — ровно через 10 лет — в 73 году. — Тогда мне было 17 — теперь, страшно сказать, скоро 27...»

Окончила все письма и отправила.

Скоро один за другим пришли и ответы.

<sup>10</sup> Ответ от Матвеева, по более дальнему расстоянию, пришел позднее других, — через две недели. — По числу видно было, что он ответил тотчас же.

«Получил оба твои письма, о смерти отца и второе. — Я понимаю твое положение. — Сам приехать в Россию раньше будущего лета не могу. — Но отчего бы тебе не приехать надолго в Вену? — Конечно, после того, что было у вас с женой моей — к нам в дом ты не захочешь приехать. — Но разве всякий, кто хочет, не волен жить здесь? Ты теперь независима; обязанностей у тебя нет,  
<sup>20</sup> когда ты лишилась отца. — Разве одна — если ты ей не изменила; — это исполнять мои желания. — Как бы я ни был тобою недоволен, как бы я ни был занят чем-нибудь другим — я помню, что есть у меня человек, которому я могу во всем открыться, все сказать; который понимает меня так, как я *хочу быть понятым*; которому нравятся даже все слабости мои... Кто же мне заменит тебя? — Разрыв между нами, ты сама знаешь, не возможен. — И от прав на равенство со мною ты давно отказалась... Твои слова мне „Ты кумир — я жрица твоя“, —  
<sup>30</sup> конечно, я забыть не могу. — Кто ж такие слова забудет? — Ни тебя никто мне заменить не может (все это не то), ни ты никого любить не будешь *именно* так, как любишь меня. — Я видал в гористых странах реки; летом русло их совсем почти сухое; — оно хотя и очень широко; — но все покрыто камнями, и бегут по этим камням ручьи, или один ручей. — А весной, когда на горах тает снег, эти ручьи становятся страшными реками и наполняют



все русло до берегов. — Так и наша привязанность — она может слабеть на время; — иссякнуть она не должна, да и не может...

Напиши — что хочешь приехать, и я вышлю тебе деньги. — Если хочешь, для бóльшего приличия возьми с собой еще какую-нибудь даму, вдову или замужнюю, или пожилую девушку. — Поищи; — я думаю, многие с радостью готовы будут ехать на чужой счет за границу. — Отдохни здесь: проведи всю зиму. — А потом увидим, что делать... 10

Насчет имения — о чем ты спрашиваешь? — Как было, так все пусть и остается. — Я уверен, что ты будешь распоряжаться гораздо проще, т. е. лучше, чем распорядился бы отец, который, ты знаешь, любил разные „обороты” и практические предприятия.

То, что ты пишешь мне насчет Еремина и семьи Судогдиных — мне совершенно непонятно. — Я помню серого цвета дом на пустом месте; мне еще в детстве этот пустырь казался очень унылым, когда мы ездили к обедне в Успенское мимо Еремина... Из нашего прелестного Курева, тенистого, изящного, романтического и такого „жилого” — едешь в Успенское, в котором огромный лес около церкви так величественно спускается к реке — и вдруг налево этот серый дом — без зелени. — И когда подумаешь, что там живет этот Павел Егорыч, который когда бывал в обществе где-нибудь, то все молчал в углу и курил трубку в жилете с большими клетками и в пренескладном сюртуке. — И жена его Анна Васильевна, которая всегда большим лбом своим как-то бодалась; носила очень большие коки в обе стороны и когда танцевала, то махала сильно юбкой в обе стороны, — туда-сюда; и лицом была тоже всегда серовата, и воображала, что она говорит по-французски, когда тополь называла *un topòle*; клумбу — *un clombòn*; или: „у них такой прекрасный дом — пол — паркé, ход — антрé”. — Детей — знаю, что видел, когда был юношей; какие-то дети где-то раз стояли около ее черной шелковой юбки... Но лиц их решительно вообра-

зять не могу. — Может быть, я и ошибаюсь — но мне все кажется, что это все очень пошло, что и Зинаида эта, которую ты зовешь „ангелом”, — какая-нибудь очень обыкновенная барышня. — Да я, ты знаешь — ни одной еще девицы или женщины не видал, которую стоило бы назвать ангелом. — Все они не так чисты и добры, как воображаем мы их, мужчины, когда подкупаемся нашим извечным инстинктом; иногда даже очень тонко — бессознательно и бескорыстно; но все-таки подкупаемся. — П<sup>10</sup> faut nommer les choses par leurs noms! — Вот и все.

Напиши скорей; я вышлю тебе деньги и все здесь для тебя прекрасно приготовлю. — Посмотри, как будет вам и весело и приятно. — Подумать только... Теперь ты свободна; так свободна, как редко случается быть молодой женщине свободной. — Надо этим пользоваться, а не унывать».

Зинаида была с нею, когда Софья читала это письмо. — Она вспыхнула вся и бросила его на стол, и сказала с жаром:

<sup>20</sup> — Нет — это ужасно! Он ничего не понимает... Он не понимает ни моего положения, ни моих чувств... Он пишет о свободе моей. — На что мне свобода!? Что я с ней буду делать... У меня нет цели в жизни. — Пока жив был несчастный отец, я знала, что есть человек, которому я нужна... Положим, что я его вовсе не так любила, как бы должна... Глубокого, теплого чувства у меня никогда к нему [не было]. — Так ли любят другие дочери отцов и матерей. — Ты вот, негодная, мать не любишь; ну, отца любишь не по долгу только. — Ты вот ешь, я видела, с<sup>30</sup> ним из одной тарелки... Правда ведь...

Софья остановилась.

— Да, я папкой не брезгаю, — отвечала Зинаида покойно и тихо.

— Ну вот видишь. — А я отцом брезгала; раз в Петерб(урге) у нас стояли на столе варенье и вода; — я взяла ложку, положила в рот и вдруг вспомнила, что я не знаю, кто ел варенье — Александр или отец. — Отца не

было; — я испугалась и говорю Александру: кто ел варенье... Он сказал: я ел. — Тогда я прямо ему призналась, в чем дело, и стала есть варенье. — Ему это немножко не понравилось, и он говорит мне: «я своей матерью не брезгал и целовать ее любил; а ты даже всегда отворачиваешься и морщишься, когда отец твой тебя ласкает... Надо бы и притворяться немного...» Я рассердилась на него; — потому что мне стало стыдно перед ним. — Я видела, до чего его сердце добрее и великодушнее моего, и наговорила ему каких-то грубостей: «Ты притворяться умеешь; а я не умею, даже и из этой твоей доброты... И не хочу и не буду никогда притворяться. — И отец мой простит мне это, потому что он знает, как я в долге тверда, знает, что я, хоть и брезгаю его ласками, но никому его в жертву не принесу, ни для кого его не оставлю, даже и для тебя...» Ну, и конечно, все женский вздор говорила. — Всегда готова была отцом для него пожертвовать. — Понимаешь?..

— Ну, так что ж? — спросила Зинаида хладнокровно).

— Как, что ж... Ты разве не понимаешь моих чувств?

— Нет, не понимаю. — Дай я прочту письмо...

Софья подумала немного, поколебалась по поводу того, что Матвеев так дурно писал об их семье; но вспомнив, что над застенчивостью и просто отцом Зиночка сама хотя и с любовью, но иногда смеется, а про мать говорит несравненно хуже, чем Матвеев; — и подумав все это, отдала ей письмо. — Зинаида чтица была не знаменитая, и соображать что-нибудь новое и сложное было ей всегда очень трудно. — Она читала долго, разбирала, не раз показывала Соне, спрашивая: «Это что? А это что?» — Второй раз перечитывала, мучая жестоко нетерпеливую и горячую подругу; — дочла, наконец, до серого дома на пустыре, до насмешливых суждений Матвеева об отце и матери — посмеялась, сказала: «Что ж, это все правда. — Я помню мамку молодой — она была такая... Только вот насчет зелени; он не знает. — С тех пор —

все заросло кругом». — Окончила письмо; положила его тихо на стол и молча начала закуривать папиросу... Она думала.

Софья сгорая нетерпением слышать ее мнение, смотрела ей в глаза. — Она начинала уже сердиться; а Зинаида все молчала...

Софья встала с своего места, разгорелась в лице и воскликнула:

— Зина! Да это ужасно — у меня душа разрывается на части, а ты молчишь и куришь... Скажи что-нибудь, ради Бога.

— Откажись; не ездь к нему. — Он хорошо пишет; пусть пишет тебе длинные письма, когда ему скучно... Небось — захочет, приедет сам. — Денег у него куча!

Софье понравилась эта спокойная и решительная речь; но вместе с тем она испугалась немного; — у нее уж давно от неудач пропала вера в себя, в свой ум и в свой характер...

— Боюсь, что это оскорбит его... А между тем, — что я там у него буду делать... Смотреть, как он ухаживает за женщинами, давно ли он писал, помнишь, что у одной волосы как лен, а у другой как вороново крыло... И что они в сердце у него как гранат и бирюза в одном золотом кольце... что с женой он в холодных отнош(ениях) давно... Это ему ничего. — Она красивая, светская, похожа на фарфор(овую) куколку — походка гордая, улыбка надменная... одета всегда хорошо... Хохолок на лбу — хорош... Чего ж ему больше. — Не стыдно... Жена для света, другие все эти бирюзы и гранаты — для воображ(ения) и самолюбия... А я на что. — Для дружбы... Для дружбы... Ну пусть пишет или сам приедет сюда. — Захочет — так все устроит... Ты права... А только я все-таки боюсь оскорбить его. — Я всем ему обязана — и средст(вами) к жизни, и образов(анием) как есть, и тем даже, что совесть у меня стала строгая... Ты все это знаешь... Надо отказаться и просить прощенья... Больше нечего делать... Что ты скажешь... Ради Бога, не мучай меня, говори...

Прекрасные большие серые глаза Зинаиды были все так же грустны, но лицо ее было неподвижно... как каменное... Она глубоко вздохнула наконец и сказала:

— Если ты уедешь надолго — я убегу из дома куда глаза глядят. — Или утоплюсь... Теперь еще папку жалко — а то бы я...

Она не кончила и, замолч(ав), поборов(шись) и вдруг взыв совсем по-крестьянски, заплакала.

Софья подошла к ней и начала целовать ее, ласкать и звать разными нежными именами, и несколько раз повторила: «Не поеду, не поеду! Тебе — я нужна; я теперь вижу это... А он — пусть пишет письма — это правда...» Потом, скрывая лицо свое на груди подруги, она шопотом прибавила:

— И потом, кто знает — я так боюсь... Положим — моя страсть, та страсть — глупая, скверная, ненужная, прошла... Ну, а вдруг там проснется... И я буду ревновать его ко всем этим другим, как я ревновала его к жене его... Это такой стыд, такое мученье, такая глупость и гадость — что я не хочу ни за что в свете это испытать второй раз...

После этого разговора с Зинаидой Соня решила и написала Матвееву так:

«Друг мой, прости мне. — Я к тебе по охоте не поеду. — Разве если ты будешь настоятельно требовать. — Но зачем это?... Ты не имеешь нужды и, пожалуй, даже и права требовать это от меня (ст(расть) пр(ошла) и [пропуск в рукописи]). — Теперь мне нужно только одно — спокойствие... И здесь я его имею. — Куреево теперь — пустынька; и — пустынька полная дорогих для меня воспоминаний. — Не отрывай меня от родимого гнезда, которое ты мне поручил беречь. — Не отрывай меня от могилы отца и доброго деда, который нас с тобой не забыл. — Кто знает — какие еще случаи будут и с тобой. — Когда ты захочешь отдохнуть здесь со мной, захочешь вспомнить детство и молодость свои и погулять под куреев(скими) липами, которые все так же прекрасны и так же душисты

теперь... Будь покоен — все тебе здесь будет готово, все к услугам твоим, и я твоя первая служанка...

Но прошу тебя, — если есть у тебя жалость ко мне, не настаивай. — Я не хочу ехать и Венной твоей ничуть не интересуюсь. — Я знаю, что это будет тебе противно: ты скажешь — я поглупела, я заглохла... Ну, прости, это правда! Но я прошу, пойми меня; ведь ты умом, если не сердцем, все умеешь понять...

К тому же, скажу тебе еще одно откровенно, я боюсь <sup>10</sup> оставить надолго Зинаиду Судогдину одну. — Она совсем не такая обык<sup>н</sup>овенная барышня, как ты думаешь. — Она барышня совсем особенная; — у нее с матерью большие и давние расстройства, и без меня она может как-нибудь с отчаяния погубить себя.

Прощай и прости».

Отправив это письмо, Софья успокоилась и стала жить по-прежнему, деля свое время между ереминской многолюдной семьей и куреевским одиночеством и безмолвием.

К свободному положению своему, которое сначала <sup>20</sup> пугало ее, она привыкала все больше и больше, и даже та полная независимость, которой она теперь пользовалась, от кого бы то ни было, начинала ей понемногу нравиться.

Она даже чувствовала нередко тонкие укоры совести, думая, что без отца ей стало как будто легче. — Жила она очень скромно; — ездила чаще в одиночку и собрала даже несколько лишних сот рублей, которые хотела положить в банк для Зины на всякий случай — кто знает...

### III

<sup>30</sup> Почти всю зиму Соня провела в Еремине, по-прежнему только изредко приезжая присмотреть за хозяйством в свою усадьбу. — После Святков пришлось это делать почаще, потому что няня, на которую одну она из всех дворовых могла положиться, умерла внезапно от удара.

По поводу этой смерти молодой помещице пришлось в первый раз сильно разочароваться в тех старых крепостных людях, которые на пенсии, назначенной завещателем, доживали свой век в Курееве. — Она на них смотрела не то чтобы с глубоким почтением, как на неизменных представителей чего-то ей по преданиям дорогого, но почти что так. — Она видела, что кривоногий старый Петр — когда-то плохой портной, а потом недурной садовник — зол, лукав и ничего не хочет делать; — она видела, что столяр Андрей — бесстыдный вор и неисправимый пьяница; — она убедилась, что Прокофий, камердинер покойного дяди, которому позволено было за плату жить на их земле — не только сам не хотел делать никаких им услуг, но и жене не позволял стирать на них белье за деньги, отзываясь тем, что «ей некогда; детей много». — Все это так — но они были «куреевские» старожилы; они все служили покойному дяде; она их знала всех еще в детстве своем — и ей казалось, что без них и Куреево было бы на себя меньше похоже... Александр давно уже, лет больше десяти тому назад, приучил ее любить Куреево и считать его чем-то как бы священным во всецелости его — со всеми принадлежностями; — Александр давно, еще в Петербурге, говаривал ей так: «Ты меня прости — если я тебе скажу, что я дядю Петра Николаев(ича) гораздо больше люблю, чем твоего отца, хотя и его ценю... Но что ж делать — он мне ближе...; будь с ним внимательнее, и я даю тебе слово, что со временем Куреево будет твое. — Я все усилия употреблю, чтобы оно никому, кроме тебя, не доставалось. — Я уверен, что ты одна будешь все там ценить по-моему, каждую тропинку, каждый куст, каждое дуновение куреевского ветра, которое, могу тебя уверить — ты это поймешь со временем, совсем другое говорит, чем ветер в других местах...» Таким образом — сияние любви, которым она озаряла в сердце своем его, — это сиянье хоть немного, но отражалось и на лысом и пьяном Андрее, и на колченогом Петре, и на угрюмом Прокофье. — Они его еще ребенком знали, они его пом-

нили; они про его шалости и про его доброту и заступнич(ество) за крепостных рассказывали разные легенды. — Любя их всех как принадлежность Куреева и не желая никогда расстаться с ними, — она, однако, не доверяла никому из них — за исключением няни и жены столяра Алены Антиповны. — Алена была женщина умная, бодрая, надежная и веселая. — Она за четыре рубля пенсии, не требуя никаких прибавок, прекрасно готовила. — Софья ей безусловно верила. — И вдруг — она окольными <sup>10</sup> путями через ереминских крестьян и дворовых узнала, что из соседней губернии через три дня после внезапной смерти няни явилась на двух порожних подводах замужняя сестра Алены с большим сыном и очень скоро опять уехала к себе; — но обе подводы были верхом нагружены какими-то вещами и прикрыты веретями...

У покойни(цы)-няни было накоплено много рухляди; и старой, и хорошей; было серебро (Софья сама его видела); было две иконы в складнях... Слухи ходили, что было и несколько сот рублей.

<sup>20</sup> Няня умерла в сумерки; — Софье дали знать об ее смерти только на другой день к обеду; приехал столяр, муж Алены, совсем пьяный и сказал: «Авдотья Семен(овна) померла вчера... Прикажете хоронить... Деньги нужны».

Софья выдала деньги на похороны; но сама не поехала, потому что был сильный мороз, говоря: «Зачем я там, и без меня похоронят ее, — сказала она; — и без того». — И ей стало так неприятно; что она не докончила.

Она надеялась на Алену.

<sup>30</sup> Когда степлело немного, она поехала в Куреево; с тяжелым чувством вошла во флигель няни. — Взглянула на иконы, они были целы; мебель стояла на месте... Было как будто пустее; на кровати доски были голые; перины и поду(шек) не было...

Алена глядела на нее смело веселыми глазами и сказала:

— Авдотья Сем(еновна) мне кой-чего из вещей отказала; за то, что мы ходили за ней...



Софья не обратила на это большого внимания; — подумала только о деньгах, но посовестились даже упоминать об этом, вышла из флигеля и велела запереть его. — Она вспомнила только, что няня говорила еще отцу: «Вы, С(ергей) Н(иколаевич), коли я умру, корову мою продайте на похороны да за сорокоуст в приход заплатите». — Отец обещал помнить это. — Софья не знала, что такое сорокоуст: перед своими людьми она посовестились обнаружить своего религиоз(ного) невежества, — но она велела Алене продать повыгоднее корову и уехала опять в Еремино, сказав себе, что там она спросит, что такое сорокоуст, — и думала, что вся эта скучная история кончена и что она опять погрузится свободно в свою грустно-созерцательную жизнь. — Но проза практич(еской) жизни не дала ей надолго успокоиться... Мало того, что она скоро узнала о «двух нагруженных подводах»; но через несколько недель случилось нечто гораздо худшее, нечто такое, что могло поразить жестоко своей обидной неожидан(ностью) и самого опытного мужчину. — Она получила повестку с требов(анием) явиться на следствие по жалобе такой-то смоленской мещанки — это была родная сестра умершей няни, — и она обвиняла дочь Губер(нского) Секрет(аря) Софью Сергеевну Львову в разграблении имущества умершей моск(овской) мещ(анки) Авдотьи такой-то...

Соня чуть-чуть не упала в обморок... Именно в обморок; — у нее сделалось такое стесн(ение) в груди от ужаса, что она зашаталась и только успела не сесть даже, а упасть на диван...

Вся семья Судог(диных) кинулась ее успокаивать...<sup>30</sup> Старики сами знали плохо дела и посоветовали ей поехать за советом к другому соседу. — Она поехала, не откладывая, в сильную мятель, чуть не плача от гнева и обиды; — но к счастью — сосед успокоил ее очень просто:

— Вы не были в Курееве тогда. — И все без вас было сделано. — Разве только корову продали; так и на это у Свящ(енника) приход(ского) есть свидетели, куда

эти деньги пошли. — Не бойтесь. — Эта bestия ничего не добьется.

И точно — приехал становой с письм(оводителем) в Куреево; — приступил к допросу. — Все слуги и два-три крестьянина показали, что барыня приехала через недели 2 после смерти Авдотьи и что о каком-нибудь особом имуществе покой(ной) ничего не слышали. — О корове все показали согласно так, как было. — И следствие было прекращено. — Но этот случай вывел ее из себя — и <sup>10</sup> гнев ее в первое время обратился всей силой своей на этот раз на Матвеева. — Она чуть-чуть было не написала ему резкого письма; но обдумала и не написала. — Она предвидела еще — в близком будущем — тяжелую, непривычную борьбу с крестьянами: срок прежней, 4-хлетней аренды скоро кончался; — она знала, ей уже говорили дворовые, что крестьяне будут требовать сбавки; и совесть ее, непривычная к этого рода борьбе, ее жестоко смущала.

Она понимала, знала, видела, до чего многие из них нуждаются; — а Судогдины, отец и мать, говорили ей: <sup>20</sup> «не верьте им. — Они всё недовольны». — И не только эти старые крепост(ники) вселяли в ней недоверие к «меньшой братии»; но и куреевские дворовые возбуждали ее против мужиков и говорили про них:

— Вы им, барышня, не верьте — они народ прехитрый. — И алчные — видите, какие; о сю пору нас страшат: вот погодите — как будем новую аренду делать, ваших коров в свое стадо не пустим. — Это уж мы старому барину П(етру) Н(иколаичу) уважение делали... Нанимайте сами особого пастуха...

<sup>30</sup> Коров у двор(овых) было всего четыре, и понять даже было трудно — с какой целью крестьяне хотят дворовым сделать такое зло. — Когда она спросила у Зины: «Для чего это им?» — Зина, несмотря на свою фамилию, ни мало не колеблясь сказала: «Из подлости. — Это у них есть».

Многие уговари(вали) ее отказать даже совсем Куреевскому обществу в аренде земли и найти посторон(него) арендатора, который и унавоживать землю будет лучше,

если договориться с ним, и даст рублей на 150 или 200 больше, чем они.

Тот деловой сосед, к которому она ездила советоваться по делу ограбления, даже укорял покойного дядю Петра Николаевича за то, что он своих мужиков баловал; — слишком дешево отдавал им землю... «Это, говорил он, соседям помещикам вредит, глядя на Куреево и другие меньше дают. — Они — разбойники!» — прибавлял он с выражением глубокой ненависти...

А в Петербурге, в редакциях этих и на собраниях отца, она читала и слышала все: «народ, народ; — народ угнетен; — этот добрый народ, наш долготерпеливый народ». — А некоторые люди говорили даже с другим оттенком вроде Достоевского, «русский народ богоносец»... Это она слыхала реже, но слыхала. — Как это было все трудно и больно! Тем больнее, чем менее она понимала, права ли она, и чем более она сомневалась, одобрит ли Александр ее во всем этом или нет? — Если она не даст куреевским мужикам аренду и возмет другого арендатора, или прижмет их и заставит их дать больше — одобрит ли он этот поступок? — Ей казалось, что не одобрит. — Он не только не либерал и уж совсем не демократ, положим, но он великодушен и очень добр к простым людям и всегда говорил: «лучше прибить их, чем притеснять в хозяйстве». — Она помнила, что он называл эти роды расчетов — «легальная подлость в духе европейской буржуазии». — И даже топал ногой: «Терпеть не могу этой легальности! Мужик должен быть сыт; и у жены его должен быть красный сарафан — это прежде всего».

Как же быть?.. Написать ему? — Что же это, наконец, он так безжалостно ее бросил! — У него есть средства, и он мог бы хоть на месяц оставить свою Вену, свои книги и свою «бирюзу с гранатом в золотом кольце»... Ведь и ее покорности и ее терпению есть предел.

Если это ее имение, — она будет делать как хочет... Если имение все-таки его, — пусть приедет, пусть увидит

все сам и скажет — как ей вперед себя вести... Что толку, что он пишет: .....[пропуск в рукописи] — «проще, т. е. лучше!» — Что это значит — какое общее место! Какая фраза пустая... Вот другие помещики и даже дворовые люди, конечно, все проще нас с ним; и они находят, что лучше «прижать»...

Ведь хуже всего недоумение...

И потом главное тут, самое главное, разуме(ется), не 200 лишних рублей; а его мнение!

<sup>10</sup> Соня еще допускала довольно долгую разлуку с ним — и то поневоле. — Ее идеал был бы — никогда не разлучаться; ссоры частые легче разлуки... Но так и быть — он предпочитал разлуку — ссорам. («Поэт и джентельмен» — ну Бог с ним... А по-моему — это сухость сердца!) Ну Бог с ним... Разлука, так и быть... Но мнение! Его мнение об ней — ведь это дороже всех мнений на свете...

Немного погодя — еще одна неприятность переполнила чашу ее и без того уже не крепкого терпенья. — Дядя Семен Ник(олаевич) опять прислал дерзкое письмо...  
<sup>20</sup> мо...

Он писал так:

«Софья Сергеевна, — потрудитесь еще раз вспомнить о всех тех подлостях и мерзостях, которые мне сделал отец ваш и ваш возлюб(енный) cousin! — И не подражайте им, — не делайте и вы гадостей. — Я повторяю Вам, что я в крайности. — Вышлите мне хоть 2000 рубл(ей) еще. — И тотчас же получите росписку. — Нужда заста(вила) меня и на это податься. — Но я даю вам сроку 2 недели — если через две недели не будет от Вас денег,  
<sup>30</sup> я ввиду будущей получки уж найду где-нибудь 150 рублей, — приеду сам; — наделаю Вам 1000 неприят(ностей) и подам на Вас в суд. — Конечно, ваш дорогой батюшка взял с меня росписку, что я получил всю свою долю отцов(ского) наследства; но ведь у меня целы письма ваши после его смерти, в которых вы сознаетесь, что считаете себя обязанной внести мне еще 4500 р(ублей) сер(ебром). — И так как я надеюсь, что скверные при-

меры отца и кузена не окончательно убили в вас совесть, то, конечно, вы не дождетесь и обличения писем этих, а сами на суде сознаетесь, что по совести должны мне. — Кто Вам мешает выпустить крестьян на выкуп, не понимаю...

Не обворожитель ли... м-сьё Матвеев дает вам благие советы?..

Я писал ему в Вену два письма, но этот мерзавец помнит хорошо мой почерк и возвратил мне их с надписью: „Пишите вежливее, тогда будет распечатано”». 10

После этого письма Соня вышла из себя, и досада ее на любимого человека перешла в совершенное негодование.

Она говорила обо всем этом с Зинаидой, — говорила горячо, почти исступленно, обвиняя Матвеева.

— Какая же это дружба! — говорила она. — Какая же это дружба. — Он знает этого чело(в)ка — Сем(е)на Ник(о)лаевича; знает, на что он способен, и задерживает выкуп своими советами — пишет «подожди меня что бы то ни было до моего приезда. — Подожди год. — Я для уплаты Сем(е)ну Ник(о)лаевичу вышлю денег». — И до сих пор денег нет... Ведь как ни гадок этот человек — он все-таки прав — ему жить нечем. — А он распоряжается доходами жены — без всякого отчета. — Разве я не знаю. — Я видела: Алек(с)андр Пет(р)ович — дайте мне 1000 рублей; и он или дает, или скаж(ет) — нет уж, извините — больше 800 нет... Она скажет: ну — все равно — 800... Вот их счета. — Она ни во что не входит. 20

Отчего ж бы ему не заплатить давно. — Неужели он при доброте своей поддается чувству вражды к этому ничтож(ному) человеку... Я понять не могу... Он должен также догадываться — хоть не в подробн(остях), а вообще — каково мне бороться с хозяйством, с мужиками, с ворами, с пьяными людьми и т. д... Каково это! Ведь он же знает, что при отце до меня ничто подобное не доходило и что у бедного отца я была как цветок на окне, который он лелеял. — Это другое дело, что для него-то 30

я уже не цветок... Была и цветком — да разжалов(ана) в какую-то крапиву... Работница на его имение... Но ведь надо и работницу непривычную пожалеть... И сам не едет, и совета не дает, и денег не присылает... Что я буду делать — не знаю!..

— Напиши ему, — сказала Зинаида.

— Что ж я напишу?

— Напиши просто, чтобы денег выслал для Сем(ена) Ник(олаевича).

<sup>10</sup> — Да ведь это далеко; — и к тому же, ты не знаешь, из-за границы деньги посылать — это вовсе не так просто, как здесь, положил пачку ассигнаций в конверт. — Оттуда надо золотом или какие-то переводы в Банк. — Отец все это отлично знал; — а я ничего не знаю. — И посуди сама — этот назначенный срок две недели, а когда деньги от Алек(сандра) придут... Оттуда ли он прямо это устроит, или в Крым управ(ляющему) напишет... Когда они придут?

Зина подумала, долго помолчала по обычаю своему и наконец сказала:

<sup>20</sup> — Вот что; ты дяде напиши, чтобы он немножко подождал. — А я возьму те 500 р(ублей) из Банка, которые ты положила для меня, и пошлю ему. — А Матвееву напиши, чтобы он ему остальные 4000 скорее заплатил.

Соня вскочила со стула:

— Твои деньги! Нет — не говори об этом... Во все это время у меня и была одна только отрада — это то, что я для тебя это сделала — и ты хочешь меня этого лишить... Ни за что...

<sup>30</sup> — Да ведь он же в куске хлеба нуждается — может быть... А у меня все есть... И потом приедет, тебе нагрузит и в суд подаст...

С этими слов(ами) Зина встала и сказала ей: «Пиши ему сейчас! а в Банк я напишу — завтра пошлем».

И пошла доставать свой билет и бумаги.

Соня поняла, что надо уступить; но долго плакала от одной мысли, что и последняя утеха ее — этот билет не будет больше существовать.

Она сказала даже так: «Нет, — есть предел горю и несчастью, уж и не жалко... со стороны... а противно... Вот и я дожила до отвратитель(ности) в своих неудачах...»

Зина долго обнимала и целовала ее; даже стала на колени перед плачущей подругой и целовала ее руки... «Какие ручки нежные... Настоящие... Не такие, как у нас, у грязных девок ереминских!» И наконец Соня утихла.

Они за эту зиму дошли до обожания друг друга, и в этот вечер Соня в первый раз решительно подумала, что, пожалуй, Матвеев и в самом деле уже не так нужен, как нужна Зина. — «Хорошо ему там витать где-то... А мы пресмыкаемся здесь... Поэзия! поэзия... Здесь, несмотря на все эти гадости и обиды, и поэзии больше, чем в его Венах и Босфорах... Что мне до них за дело...»

И даже у нее мелькнуло такое чувство: Ах, если бы она не была нравственно связана долгом своим ему! — Ах! если бы дед без всякого его участия завещал бы Куреево ей или отцу — куда бы ей было бы легче... Она или завещала бы его Зине, или при жизни бы отдала его ей — по всем правилам закона... А теперь нельзя этого сделать — несмотря на то, что он гораздо богаче их...

Дорожить его мнением она продолжала все так же нескананно, но чувство ее к нему, оскорбленное его равнодушием, все больше и больше остывало и переходило на эту тихую, ровную и твердую подругу, без которой она бы, кажется, сошла с ума от смены раздражения и уныния.

Они окончили все дело очень скоро. — Написали везде, куда было нужно. — Взяли деньги в Банке: отправили ему. — Соня была во всем этом так еще неопытна и мнительна, что боялась: а если Сем(ен) Ник(олаевич) скроет, что получил? Но Судогдины успокоили ее тем, что у нее будет почтовая квитан(ция) и он должен там расписаться на почте в получении 500 руб(лей).

Соня написала и Матвееву тотчас же и подробно обо всем и приложила оскорбит(ельное) письмо дяди. — Написала даже о коровах, не только об аренде, и созналась,

наконец, что ей стало без отца очень тяжело вести хозяйственную борьбу. — Просила и 4500, скорее 4000 для Сем(ена) Ник(олаевича), а 500 рубл(ей) опять положить для Зины.

Она не скрывает от него, до чего ей она была дорога; просила прощенья, просила не скрывать это от жены, а уверить ее, что как только она осмотрится, так и найдет средства, стеснив себя донельзя, выплатить ей этот долг...

Когда отправила Матве(еву) это письмо, она спросила<sup>10</sup> у себя, что предсказывает ей чувство сердца — как он поступит?.. — Пришлет ли он 5000 и будет ли ею доволен. — И сердце, знавшее его коротко — ответило: 5000 во что бы то ни стало пришлет, — а доволен ею не будет!..

И сердце — угадало.

#### IV

Сначала и даже очень скоро пришло от Матвеева длинное письмо. — Его принесли с почты к вечеру, когда вся семья сидела в зале за чайным столом.

<sup>20</sup> Софья, краснея от страха и волнения, распечатала его и с первых строк вспыхнула еще больше в лице от радости и даже... перекрестилась...

— Деньги высланы для С(емена) Н(иколаевича).

— Ну, слава Богу! — воскликнул радостно отец Судогдин.

— Да, это очень приятно; — сказала и Анна Васильев(на).

Барышни все тоже радостно глядели на Соню...

<sup>30</sup> А Дуня сказала: «Как вы, Соф(ья) С(ергеевна), покраснели от радости...»

— Покраснеешь! — заметил отец, — когда такого дядюшку, как Сем(ен) Н(иколаевич), Бог дал... И что это (прибавил он) за чудо! — Какой милый человек был смолodu! Кажется, добрее и приятнее трудно даже и найти... Милый был человек... Помнишь, Ан(на) В(асильевна),



как он в Горохо⟨ве⟩ на Святках кучером наряженный плясал...

— Характер испортился, — коротко ответила Ан⟨на⟩ В⟨асильевна⟩.

Софья не слышала их рассуждений. — Она впилась в письмо...

Судогдины продолжали разговаривать между собою; она все читала; улыбалась, громко смеялась, качала головой, и румянец возбуждения все не сходил с лица ее.

Наконец — она кончила и сказала: 10

— Нет, на этого человека невозможно сердиться! — Это какой-то волшебник...

Поразили ее прежде всего та поспешность и горячая готовность, с которой он позаботился о деньгах для С⟨емена⟩ Н⟨иколаевича⟩. — Он прежде всего написал в Крым управляющему жены, чтобы он выслал Софье хотя бы 2000 р⟨ублей⟩ тотчас же и непременно, если нельзя выслать больше; — «это проще и скорее всего — ассигнациями по почте», — писал он; — но вместе с тем он прибавлял, что распорядился сделать перевод на частный Банк в свой Губернский город через одного знакомого, о котором он вспомнил, ломая голову над этим делом во время бессонной ночи («бессонница была от этого самого беспокойства»). — «Откуда-нибудь да получить скорее...» 20

Он сделал и еще больше. — В письмо к ней было вложено другое распечатанное письмо к С⟨емени⟩ Н⟨иколаевичу⟩. — Матвеев писал ему так:

«Послушайте, дядя, я, быть может, больше всех виноват перед Вами и понимаю, что вы меня ненавидите. — Но Софья ничем не виновата, что дед захотел отдать ей Куреево. — Браните меня, но перестаньте, честию прошу Вас, оскорблять беззащитную девушку. — Говорю — честию, — потому что Вы прежде всего светский человек и джентельмен. — Что касается до денег — то я считаю себя обязанным Вам заплатить вашу долю, только оставте ее в покое. — Я уже распорядился выслать, но на всякий случай — вот еще и вексель на 5000. — Что-нибудь одно 30

— или вексель, или деньги — вы от нее скоро получите. — Я уверен, впрочем, что вы угрожали ей судом только в минуту горячности, общей всем Львовым; — ваше благородное сердце, конечно, не захочет обдум(анно) бесчестить молодую девушку, которая вдобавок носит одно Вами имя».

Соня прочла это письмо громко при всех и много смеялась лести, которую расточал Матвеев дяде.

Смеялись и Судогдины, потому что знали, что племянник совсем иного мнения об С(емене) Н(иколаевиче).

— Поверит ли он ему? — спросила Ан(на) В(асильевна).

— С(емен) Н(иколаевич) до того самолюбив и бесхарактерен (ответила Соня) и так не привык к почтению и комплим(ентам) от Ал(ександра) Петр(овича), что непрем(енно) будет очень этим польщен. — Это, конечно, написано все для моего успокоения; на тот случай, если деньги опоздадут или еще что-нибудь случится. — Он хочет устранить все препятствия моему успокоению... Вот и вексель пустой прислал — только с подписью своей...  
20 чтобы я сама написала, что хочу. — И где он этот русский бланк в Вене достал — не понимаю. — Это удивительно, что может этот человек, когда он захочет...

— Ловок! То есть значит — искусен... — заметил [Павел Егорыч] и прибавил еще: — А уж как же то есть значит он вас должно быть любит...

— «Люблю как душу, — трясу как грушу!» — ответила на это Софья весело.

— А трясет-таки как грушу? — спросил старик.

— Еще как трясет иногда! — Все я не так делаю...

30 — А в этом письме не трясет?

— И в этом есть.

И Соня прочла громко им следующее место —

«В заключенье два слова о куреевских делах. — Ты знаешь, что я всегда находил очень глупым и грубым разделение людей на идеальных и практических. — Нельзя себе воображать это так: где-то на одном конце света на шесте каком-то сидит практический человек; а на другом шесте

сидит идеальный. — Конечно, это вздор. — И я сам пострадал не раз от этого определения. — Идеалисты-поэты иногда отлично обделывают свои дела, если есть „звезда“; и люди сухие, и деловые — все портят. — Вот живой пример: дедушка Петр Н(иколаевич), уж конечно, был эстетик, худож(ник), мечтатель даже и т. д.; а сохранил все и вел дела свои твердо и аккуратно. — А С(емен) Н(иколаевич) только о практич(еском) всю жизнь и думал — а что же он сделал... Все это так; но, однако, нужно же порядочному человеку в чем-нибудь да быть сильным; — ты хотела 10 идеальной жизни, художества, хотела быть трагической актрисой и вести в угоду мне широкую жизнь. — При первой неудаче ты упала духом и бросила этот путь. — Я, жалея тебя тогда, согласился притворно, что ты права... А теперь — тебя судьба поставила в долю скромную, мирную; — на путь узкий, но в своем роде прекрасный; — ты русская помещица средней руки; ты самобытная хозяйка, и твой хозяйств(енный) труд имеет сверх собственной цели — еще и высшее значение. — Ты занимаешься моим 20 Куреевым... (моим — я говорю — в душевном, поэтич(еском) смысле, а не в практич(еском), конечно). Ты сама не раз писала, что во всех деревьях или тропинках видишь „мою душу“... Зачем же малодушно пугаться всяких мелких препят(ствий) и неожидан(ностей) в хозяйстве? — Я тебя иногда не понимаю, — когда тебе было 15 лет — мы все считали тебя деловой, смелой, твердой. — Потом — поняли, что в тебе очень много идеализма... Что же это будет, если ты и ни в том, ни в другом не будешь сильна. — Не беда, конечно, что ты мне жалуешься. — Это хорошо: кому же тебе и открываться; — это хорошо уже потому, что 30 я могу образумить и ободрить тебя... Не то худо, что ты откр(овенно) пишешь мне о своих малодушных горестях; а то худо, что ты эти горести испытываешь... Тебе не 17 лет, чтоб так пугаться хозяйств(енной) борьбы.

Оброк не увели(чи)вай: но потребуй непрем(енно), чтобы крестьяне пускали дворовых коров в свое стадо. — Это так просто и ясно: не будь мелочна по-женски, когда

дело касается твоих интересов, — будь тут великодушна. — На других не смотри. — (Тут было еще написано: «Чорт дери всех этих господ», Софья это пропустила.) Но когда увидишь, что можешь строгостью своей защитить кого-нибудь, тогда будь строга... Аминь. Прощай... Целую тебя.

Жена моя узнала, что я пишу тебе и велела тебе кланяться.

„C'est une femme de beaucoup d'esprit, après tout. — Elle a une universalier charmante. — Quel dommage qu'elle est un caractère impossible...” Так она про тебя говорит. —

<sup>10</sup> За ней ухаживает теперь поляк Граф Залусский; — дуэлист; отличный пловец; охотился в Африке на львов; музыкант... Но по-моему — он очень дурен собой, так — чорный стручок какой-то и чрезвычайно изломанные манеры... Не знаю, чем у них все это кончится. — Но мы с женой пока, слава Богу, ладим — а это главное. — Такт и выдержка ее меня восхищают. — Как будто и не умна — а все впопад делает».

Радость и успокоение Софьи подействовали на всех барышен, и целый вечер прошел в смехе и песнях. — Младшие сели в угловой комнате на полу против топящейся печки; — Соня с Зин(аидой) обнялись на диване и, с разрешения матери, всё пели и пели до ужина по очереди все любимые Соней песни.

Ан(на) Вас(ильевна) слушала из гостиной, у лампы с чулком в руке; — а [Павел Егорыч] ходил туда и сюда с чубуком, иногда подпевая дочерям и заказывая песни; — иногда восклицая громко и с усмешкой: «Джентельмен! То есть — значит — джентельмен...» Младшие дочери, слыша это, падали на пол от смеха: «Слышите! Слышите —  
<sup>30</sup> так папке это слово понравилось!..» — шептала одна.

— Погоди, погоди — он уж как заладит... Еще раз 10 скажет... — говорила другая...

И ждали, притихая...

Отец выходил в залу молча один и опять молча с чубуком возвращ(ался).

— Ну, пойте, — говорила Соня.

Варя начинала: «В долине знойной Дагестана...»...

— Джентельмен, т. е. значит... — говорил отец...

И от хохота петь дальше было невозможно...

Так весел(ились) весь вечер, и сама Соня так много смеялась и так была счастлива в этот вечер, что Зина не могла нарадов(аться) на нее.

Когда они остались одни в своей комнате наверху, Зина сказала ей: «Вот ты бранила его. — А он все хорошо сделал. — Нет — он, должно быть, любит еще тебя...»

— Любит? Любит? Это слово — такое странное... Иногда я его ненавижу. — Какая любовь?.. Вот я вашего кота Барсика очень даже люблю... И тебя люблю. — Я думаю, это разница?

— Он, должно быть, очень жалеет тебя. — Видишь, как за все взялся. — И даже этому дураку — какое письмо написал через тебя...

— Вот этого-то я и не нахожу. — Именно — он мало жалеет меня. — Он требует от меня силы, которой нет. — А на С(емена) Н(иколаевича), он такой гибкий — ему это ничего не стоит! — Он понимает, до чего С(емен) Н(иколаевич) перед ним ничтожен, — ну и снизошел; понимаешь. — Если бы у меня спросили, как он меня теперь любит — я бы не знала, что сказать. — Было время, когда он восхищался мной; — потом это вдруг прошло после моего глупого поведения с женой его. — (Ты знаешь — она говорит, что у меня un caractère impossible, невозможный...) Понимаешь — вдруг — вдруг ни тени восхищения не осталось. — А жалость не заменила этого. — Так — привычка какая-то. — Согласье в мыслях, во вкусах долго было... И потом...

— Что потом? — спросила Зина.

Соня молчала; ей не хотелось говорить правду. — Она было хотела сказать: «потом — он уверен, что я всем готова для него пожертвовать, для его счастья, успеха, для его хорошего обо мне мнения даже...» Но чуть слышный голос совести шепнул ей в эту минуту другое.

Он шепнул ей так: «Да — прежде, до встречи ее с Зиной, он был прав. — А теперь — разве она жертву-

ет блестящему, даровитому и богатому другу этой простой и любящей девушкой, живущей сердцем так одиноко в большой семье?.. Ах, что со мной делается — неужели я так изменилась... Ведь это стыдно, ужасно стыдно... Еще одна невыдержанность). — И какая!..»

Соне было так стыдно и неловко об этом говорить, что, несмотря на всегдашнюю слабость свою перед волей Зины, — она на этот раз не уступила ее просьбам договорить свою мысль и сказала только:

<sup>10</sup> — Не могу, не могу теперь, Зина, тебе этого сказать. — Час не пришел, подожди... Скажу когда-нибудь...

Они помолчали немного; потом Зина сказала:

— А мамка-то опять отличилась: «вы разных фактов» — слышала? — Совсем, кажется, тут нейдет — факт?.. Факт — это ведь то, что случилось?..

— Да, она верно хотела сказать разных «типов», разных характеров... — Да она и еще другое сегодня сказала: «данте» вместо «денди». — Данте это был поэт итальян(ский), а «денди» это по-английски вроде франта... Она <sup>20</sup> и хочет это сказать...

— Вот так-то она всегда, толком не зная, да и выведет... Так это противно... Вот бедный папка тот прямо говорит: «Как это... Я не знаю...» и твердит потом... чудак...

— Прошу тебя, — сказала Соня, — не нападай так на мать при мне. — Мне это больно слышать; — я ей так обязана, да она и нравится мне... Что же за беда — это «данте»... Пожила бы ты, как я, года целые между разными противными литер(аторами) в Петерб(урге)... Те уж не ошибутся ни в чем таком... Но зато они почти все так <sup>30</sup> противны... Пожила бы ты и послушала бы этих тамошних речей... так и «данте» тебе [бы] понравилось... Прошу тебя — не трогай мать при мне.

— Так при ком же мне и бранить ее, при сестрах я не могу так откровенно. — Сама хочешь, чтоб я была откровенна.

— Ну — как хочешь, — сказала Соня и перевела опять разговор на любовь вообще и на свои отношения к Матвееву, продолжая утверждать и сама себе доказывать,

что для их отношений нет никакого названия: все обыкновенные не подходят.

Зина уж легла в постель, а Соня ходила долго еще по комнате, все рассуждая и разбирая, разделяя понятия и стараясь определить с точностью чувства...

Зине уж хотелось спать и, когда Соня, приостановившись на минуту, начала опять: «Я думаю...», Зина прервала ее:

— На что ты так много думаешь. — А ты об этом не думай много. — Охота! 10

Соня засмеялась и сказала: «И то правда — лучше не думать...»

Они простились и заснули обе очень сладким и покойным сном.

## V

К маслянице пришли деньги для Семена Николевича почти разом. — Сперва пришли две с 1/2 тысячи из Крыма; — а всего через неделю тот знакомый, о котором вспомнил Матвеев, выслал четыре тысячи из Губернского города. — Матвеев исполнил все с величайшей аккуратностью. — Соня разорвала вексельный бланк; заплатила весь долг дяде; получила от него расписку; — послала опять 500 на имя Зины в Банк, и у нее осталось еще 1000 рублей, которые она тоже положила пока в Банк — на свое имя.

И с арендой и коровами все кончилось хорошо. — Аренду она сохранила старую, сказав крестьянам сразу, что непременно отдаст чужим, если они еще будут требовать уменьшения. — И коров дворовых заставила их взять в стадо. — Крестьяне Куревские были все большей частью исправные и сытые; гуляли по трактирам в селе по праздникам и щеголяли; поэтому они тотчас же уступили, как только увидели, что барышня не хочет шутить.

Соня теперь была совершенно покойна, хотя все грустила; мечтала о чем-то, о разном, только никак не о пере-

мене жизни; — напротив того — самое сильное ее желание было, чтоб ничто не менялось больше в этой жизни. — Куреево, Зина, Еремино, — изредко доброе и занимательное от него письмо и, быть может, и свидание с ним... «Быть может!» — Сколько она не трудилась над тонким определе(нием) и названием чувства — она знала, что здесь, на родине — она безумно обрадуется ему... Только чтоб он не требовал от нее бросить Зину... Этого она уже не в силах сделать... И на что ему это?

<sup>10</sup> С тех пор как она стала покойнее и досужее — она стала чаще опять думать о Боге, о том, как это люди веруют всему и молятся часто. — Думая о разных романах, вспомнила и любимую героиню свою — Лизу Калинину, которая пошла в монастырь. — Вспомнила по этому поводу и разговор отца с Алек(сандром) в Петербурге.

— Вот, брат, — говорил отец при ней, улыбаясь, — наша Софья Серг(еевна) слишком увлеклась «Дв(орянским) Гнез(дом)»... Она в восторге... Конечно — мое правило — абсолютная свобода чтения для девиц... Но все-  
<sup>20</sup> таки — вдруг она пойдет в монастырь... Ведь это нелепо.

Соня молчала и ждала, что скажет Алек(сандр).

Алек(сандр) желал и отцу угодить, и свой широкий взгляд не изменить.

— Нелепо ей, — сказал он, — когда у нее есть такой отец, как ты. — Но почему же вообще нелепо... Сам же ты говоришь — свобода развития... Зачем ограничивать количество путей развития...

— Какое же монастырь развитие. — Это гибель всякого развития; — воскликнул горячо отец...

<sup>30</sup> Далее она не помнила, как они спорили; только спорили все об общем, не касаясь ее.

Помнила она также хорошо, что отец сказал между прочим:

— Натура Лаврецкого виновата, что она пошла в монастырь. — У другого — хоть у Печорина, напр(имер), она бы не вывернулась из рук...

На это Алек(сандр) возра(зил) так:



— Лиза не такая девушка, которая стала бы после и брошенная любовником благодарить за минуты блаженства и удовольствия любви. — С таким, который и на это готов, можно себе позволить все; а Лиза была бы в отчаянии...

Отец опять свое:

— Зачем бросать. — В наше время, хоть и много еще глупого и нелепого, — но все-таки человек(ество) настолько шагнуло вперед... что смелые люди да еще и со средств(ами) могут устроиться. — Жил бы с ней Лаврецкий в <sup>10</sup> солидном доме и принимал бы умных людей... Ну, что хорошего — что Наташа в «Рудине» за дурака Вольтырева вышла. — Я тебе, Соф(ья) Сер(геевна), заранее объявляю, что мне приятнее будет видеть [тебя] любовн(ицей) интересного молодого и хорошего человека, чем законной женой какого-нибудь старого хрыча или идиота...

Соня помнила, что эти мнения, в первый раз так прямо высказ(анные) отцом, испугали ее и даже не понравились ей. — Ей было тогда 16 еще лет — и хотя она о браке, да и ни о чем еще определ(енном) не мечтала и подруг <sup>20</sup> даже в то время еще предпочитала молодым людям; но слышать такие мнения ей почему-[то] было страшно...

Позднее она свое неприятное чувство объясняла себе так:

— Я по природе консервативна, и этого революционного у меня нет ничего. Ни творч(ества) в жизни у меня нет, как у Алек(сандра), ни этого духа разруш(ения) и ненависти, как у отца...

Все это она теперь вспоминала до мельч(айших) подробн(остей) в ереминском досуге своем и все больше и <sup>30</sup> больше думала о религии...

Ей очень хотелось стать религиозной, как Ан(на) Вас(ильевна). — Но как до этого дойти — она не знала, и она говорила об этом только с одной Зиной, у которой только и было на уме все то же: «Я терпеть не могу молиться!.. Вот я даже прочла, что мы от обезьяны происходим, и мне что-то это нравится...»

— Не знаю, — сказала Соня, — чему тут нравиться!.. А я бы хотела верить как следует и молиться, и все обряды любить, а не тяготиться так, как я тягочусь теперь...

Тогда Зина посоветовала ей:

— Ну, так съезди в Андреевский Монастырь с мамкой. — Она, кажется, Великим Постом собирается. — Попроси ее, чтоб она тебя взяла. — Поговори со старцем... Там есть старец — Мартирий... Такой добрый...  
<sup>10</sup> Он во все входит...

Соня сказала, что в монастырь съездить можно с удовольствием; если Ан(на) Вас(ильевна) поедет; что касается до этого старца, то что он может понять?..

— Что я ему буду говорить? — сказала она, — он будет отвечать мне какими-нибудь этими казенными фразами «спасение души» или... «Рай; ад». — А мне не до рая и до ада, в которые я не могу заставить себя насильно верить; а мне нужны здесь на земле опора и утешение... Мне нравится сама религия, понимаешь, а не «спасение»  
<sup>20</sup> это... Или заговорю я этому монаху об отце, об Алек(сандре); ну может ли он их обоих понять? — Или мои к ним такие особенные и сложные отношения...

Зинаида на это ответила с чувством и глубоким вздохом:

— Нет, если поедешь, ты попробуй говорить ему все. — Он такой добрый старик... Все чувствует... когда я первый раз его увидела, он положил мне руку на голову и говорит: «Молода ты, Зина, еще; а уж вижу, что тебя что-то тяготит жизнь своя...» Я как зареву... Ну — он там еще что-то говорил... Не помню... Только мне хорошо  
<sup>30</sup> стало... Мамка там городит, что он прозорливый какой-то... Я не верю... А так добр очень... И лицо у него такое приятное — такое хорошее...

Окончив эту очень длинную для ее характера и привычек речь, Зина перевела дух, как будто после большого усилия...

Соня это заметила, засмея(лась), и они опять бросились в объятия друг другу... Так они друг другу нрави-

лись, быть может, самой противоположностью) своих натур и своего воспитания.

Ан(на) Вас(ильевна) очень охотно согласилась взять с собой Софью в монастырь и объявила, что, если дорога будет не слишком дурна, она поедет говеть туда на четвертой неделе В(еликого) Поста.

В ожидании этого Соня продолжала жить своими думами и воспомин(аниями).

Она все больше и больше убеждалась, что в природе ее была сильная склонность к вере и что только отец своим влиянием насильно отклонял ее от Церкви. <sup>10</sup>

Вспомнила она совсем неожиданно для себя о «Жизни Иисуса» Ренана и о том, что эта книга вопреки желанию отца подействовала на нее благоприятно для религии.

Отец, вскоре после отъезда Александра в Польшу, быть может, все еще опасаясь сильного впечатления от «Двор(янского) Гнезда» и желая сразу убить семя, запавшее в душу ее, принес ей в подарок Ренана и сказал: «Вот тебе прекрасная, великая книга. — Поэзии, которую ты любишь, в ней сколько угодно; — а бредни поповские все выбьет...» <sup>20</sup>

Соня увлеклась этой книгой — но как?.. Она до тех пор о самом Христе как о живом человеке совсем не думала. — В доме их до такой степени все истинно религиозное было забыто, до того даже презираемо, что и Ренан не мог уже вредить, а принес пользу. — Равнодушие и презрительное забвение он заменял хоть человеческим глубоким уважением и любовью. — Евангелия Соня с раннего детства никогда не раскрывала, уроки Зак(она) Б(ожия) в гимназии оставили в ней одни лишь обыкновенные школьные впечатления — «хорошо ответила урок или не хорошо...» Батюшка был, кажется, очень добрый, почтенный человек... да что ж ей было до него за дело? — Сегодня вышла, завтра забыла. — Евангелия у них и не было в доме. — Видела она у дедушки П(етра) Н(иколаевича) славянское Еванг(елие), видела даже французское у него же... Видела только их переплеты; но и заглянуть ей в голову никогда не приходило. — <sup>30</sup>

Читают Евангелие в Церкви по-славянски — ну и Бог с ним... Она знала, что там часто бывает «во время оно...» А что во время оно — она и вслушиваться не трудилась, когда и случалось изредко в Церкви бывать по какому-нибудь особому случаю.

После того, как отец запретил ей говеть до тех пор, пока она «математически не докажет и себе и ему, что вино и хлеб действительно становятся плотью и кровью Христа», о самом Христе никогда и помину почти не было в доме. —  
<sup>10</sup> И даже от долгих и частых бесед с Александр(ом) в течение двух-трех лет петерб(ургской) жизни и в течение того рокового лета в Крыму у нее не осталось никакой памяти ни о морали Христианской, ни даже о самом Христе... Обрядовая сторона религии нашей нравилась Александру; — ему нравилась вера *других*; национальная святыня ему была до того дорога, что он сам готов был исполнять некоторые постановл(ения) Церкви; он любил Церковь и формы ее; — любил ли он Христа, она не знала, не помнила об этом — и сколько ни старалась, не могла вспомнить какой-нибудь  
<sup>20</sup> его особой мысли об этом; не находила в памяти сердца своего и того общего следа, того неопределенного, но сильного чувства, которое остается у нас в душе от чужого влияния, даже и тогда, когда мы и вовсе забыли все особые, отдельные мысли, изречения любимого человека о каком-нибудь определенном вопросе.

Теперь, когда она уже так созрела умом и жизнью так испытана — ей среди ереминских размышлений этих пришла даже остроумная мысль определить Александра так: «Он больше Православный, чем Христианин!» Странно,  
<sup>30</sup> мысль неправильная, быть может, но это так шло к нему... Она сама смеялась этой мысли своей, жалела, что Зине такая тонкость будет недоступна, и намеревалась при случае даже непременно написать ему об этом... Но это она сделает тогда, когда она станет настоящей Православной Христианкой (вместе). — Она тогда напишет ему: «я теперь Прав(ославная) Хр(истианка), а ты всегда был больше Прав(ославным), чем Христ(ианином)...»

— Да, — думала она, — вот как я росла, что даже Ренан мне был полезен — я впервые стала думать о Христе и любить его... Потом опять забыла; — забыла все это надолго... Но как же быть теперь? — Как уверовать вполне... Ах! когда бы я встретила хоть одного добросовестного русского монаха... Я кажется бы поверила... Или бы слышала речи человека вполне образованного, который бы не имел никакого интереса притворяться религиозным... Где я найду такого...

А время шло; настала и 4-я неделя Поста... Выпал новый снег; дорога была недурна. — Анна В(асильевна) <sup>10</sup> объявила, что едет в Андр(еевский) монастырь. — Соня готовилась с радостью прокатиться и посмотреть; но продолжала думать про себя, что этому доброму старику Мартирию она ничего не скажет, да и не имеет сказать, потому что он ничего «главного» не поймет. — Ан(на) В(асильевна) ехала с Варей и Ваней в возке; — Соня с Зиной за ними трой(кой) в санях. — Погода была прекрасная; — не морозило сильно и не таяло — перепалал редкий, приятный снежок. <sup>20</sup>

До монастыря было всего 35 верст, и доехали мигом. — Монастырь очень понравился Соне. — Он был невелик; — на краю уездного города; с одной стороны березовая роща; с другой — покатошь, а внизу замерзшая речка; — а за речкой городок... Гостиница была новая; в один этаж; бревенчатые новые, душистые стены; — пестрые, чистые занавески на окнах; — правда, что они были узки, нескладно сшиты и не закрывали окон плотно и широко, так что летом солнце должно было сильно печь; — но теперь оно только весело освещало комнаты. <sup>30</sup>

Пошли к вечерне. — На короткое время, на очень короткое... Соня любила заходить в Церкви. — Монашескую же службу она видела только во второй раз в жизни. — Первый раз она видела в Сергеевой Лавре под Петерб(ургом), куда поехала она из любопытства с одной знакомой дамой и так утомилась там, что она не дождалась, когда вырвется... На короткое время — приятно; —

огни; — таинственный полумрак... иконы; монахи — в длинных мантиях полукругом. — «Глас 8-й!...»...

Но — наконец — «Глас 8-й, глас 8-й...» — все одно и то же, и все непонятно, да и в сущности ей вовсе не нужно... Ей нужен не глас 8-й, а чтобы ей *доказали*, что Христос есть Бог, что он тот самый Бог, от которого зависит ее счастье и несчастье, ее будущее, ее покой и ее радость...

Не лучше ли пойти опять в уютный номер? (теперь — она видела, что затопили печку... «Веселым треском трещит затопленная печь; приятно думать у лежанки».)  
10 Пойти; позвать Зину и уйти? — Или — нет?

Она посмотрела на подругу. — Зина стояла, почти вовсе не крестясь и неподвижно; рядом с матерью, которая усердно молилась... Глаза у нее были недовольные, почти злые...

Соня шепнула ей: «Я устала; не пойти ли нам на гостиницу?» Но Зина ответила ей тоже на ухо: «Иди. — Мне нельзя. — Мамка взбесится...» Соня не знала, что делать, идти или не идти одной; ей было не только скучно, ей стало даже больно, что она так тяготилась этой службой и  
20 не могла заставить себя ничего, кроме скуки, чувствовать...

Вдруг народ раздвинулся, давая кому-то дорогу... Зина тронула ее руку и сказала: «Отца Мартирий...»

Соня поглядела — и он ей понравился. — Он был росту среднего; старый, смуглый, круглолицый; — толстогубый и очень нахмуренный, как будто сердитый; но изпод нависших бровей его глядели такие большие и задумчивые черные глаза, и добрые, и глубокие — что ей тотчас же вспомнилось французское выражение «un bon homme bienfaisant»; и борода небольшая, получерная, полуседая, — больше седая; но видно было, что он брюнет. — Он шел очень бодро и скоро — приостанавливаясь только, чтобы благословлять по пути людей, которые с поспешностью кидались к нему. — Не понравилось Соне только одно: когда он проходил к алтарю сквозь толпу мещан и крестьян, он заметно торопился благословляя и даже старался иногда уклониться, чтобы поскорее  
30 прийти. — Но когда он поравнялся с Анной Васильев-

ной), он тотчас же остановился и благословил ее внимательно и ласково; точно так же благословил он обеих дочерей ее; а Ване даже улыбнулся и погладил его по голове, когда Ваня целовал его руку.

Первым движением Сони было не подходить к нему под благословение). («На что? Что я ему... Я не обязана...») Потом стало стыдно и неловко; она вспыхнула и чуть не ушла... Но он был так близко; — все Судог(дины) разом взглянули на нее, и она, совсем потерянная и вся красная от стыда, волнения и досады — нагнулась и протянула руку... От(ец) Мартирий благословил ее и ушел в алтарь. — Ей показалось, что он взглянул на нее не просто... Что это было — любопытство: «кто такая эта — незнакомая» или та «прозорливость», о которой, по выражению Зины, «городила» Ан(на) Вас(ильевна), — она не могла решить... Но что-то было в его взгляде — быстром, живом и выразительном. — Вообще взгляд у него был особый, глубокий и загадочный.

Все это так взволновало ее, что после этого она тотчас же ушла на гостиницу. — Она решила, что ни за что не пойдет к нему.

Анна Васильевна со всеми тремя детьми достояла всю вечерню, а после вечерни они все пошли к старцу и пробыли у него долго. — Когда они вернулись и сели за ужин, Ан(на) В(асильевна) спросила у Сони с недовольным и подозрительным взглядом: «А вы совсем, значит, к старцу не хотите идти?»

Заметно, что она была очень недовольна; даже голос ее стал гораздо тоньше, как становился всегда, когда она силой воли сдерживала в себе раздражение.

Соня предвидела, что будет какой-нибудь вопрос в этом роде, и боялась его донельзя — и не нуждайся она так в обществе Зины и всех сестер ее — она бы не удержалась и ответила бы очень грубо; что-нибудь вроде того, как она отвечала прежде отцу или тетке, или Алекс(андру), или жене его: «Я прошу оставить меня в покое. — Это ни до кого не касается. — Я вольна». — И т. п. Или еще хуже.

Но Анне Вас(ильевне) она не смела так ответить... От Анны Вас(ильевны) зависело то, что ей было теперь дороже всего на свете — позволение Зине дружить с нею. — Но все-таки она ответила не покойно, и как ни старалась придать своему тону почтительность — вышло не совсем приятно.

Краснея, сдерж(иваясь), волнуясь, она сказала так: «Позвольте, Ан(на) В(асильевна), — как я пойду к нему? — Для этого нужно иметь веру...»

— Веру в человека этого, — поспешила она прибавить, не совсем искренно; потому что опять напугалась. — Полная искренность требовала остановиться просто на слове *вера*; потому что она вообще еще веры в себе не находила; — но быстро сообразила, что надо прибавить «в человека этого»; а иначе суровая и набожная мать может вдруг отказать ей от дома, как настоящей нигилистке... Довольно и того, что ей известно жестокосердое отступление покойного отца. — Удивительно, как она еще об этом воспитании не подумала до сих пор...

На эти слова — «надо иметь веру в человека этого» — Ан(на) Вас(ильевна) очень правильно ответила: «Как же, не зная человека, вы к нему будете иметь веру; человек не Бог; конечно, надо узнать его. — Впрочем — как хотите...»

Тем этот разговор и окончился.

Соня решила не притворяться, не говеть и на другой день не пошла к поздней обедне. — У них с Зиной был особый номер, и они могли свободно там совещаться. — Объявив подруге, что она ни за что в Церковь не пойдет, потому что выразить не может — до чего ей и скучно, и жалко, и больно, — она с ужасом прибавила:

— И опять твоя мать спросит — отчего я не была в Церкви... Это ужасно. — Что я ей скажу... Ты [должна] понимать, до чего я ее боюсь.

Зина очень покойно и решительно сказала ей, что «мамка не такая. — Она уж второй раз не спросит». — И еще раз советовала повидаться с От(цом) Мартирием. — «Ни за что! — восклик(нула) Соня. — Ни за что! — Разве я



могу ему сказать всю правду. — Например, хоть то, что я никогда не говела... Мне будет совестно перед ним...»

Зина ушла; и Соня, оставшись одна, сначала была очень довольна; пила чай, разговаривала с гостинником, очень смешным монахом, который говорил «Скребящая Божья Матерь» и у которого некоторые пальцы были преподняты кверху и скорчены от ревматизма так, что он как будто из особой деликатности едва касался до всего большим, указат(ельным) и средним. — Потом она села к окну и смотрела, как вороны и галка прыгали по снегу<sup>10</sup> и как проходил кой-кто по двору.

Она любила так сидеть в долгом созерцании и думать свою нередко бесцельную думу, иногда сладкую, иногда очень горькую, но — думать и думать в покое, без конца думать, о чем вздумается. — И теперь она дала полную волю мысли своей перелетать с предмета на предмет то в прошедшее, то в будущее, то в настоящее... И между прочим додумалась до одной мысли, которая поразила ее своей грубой силой и простотой...

— Бог, говорят, всемогущ, — я желаю веры и не могу ее чувствовать. — Если Он так всемогущ, как говорят, — отчего Он не пошлет мне эту веру... Пусть она сама собою — эта вера, придет...<sup>20</sup>

И вставши она начала ходить по номеру взад и вперед...

В гостинице было совсем безмолвно; — мальчик, затопивший печь, куда-[то] скрылся... Поклонники все были у обедни; да их и было очень мало... Не слышно было никакого звука; только печь в коридоре — от времени до времени — трещала...

И ей пришло в голову стихотворенье

Вся комната  
Трещит... и т. [д.]  
Приятно думать у леж(анки)  
Но, друг мой, не велеть ли в санки...<sup>30</sup>

А потом мысль с эт(их) прекра(сных) стихов перенеслась мгновенно на воспоминание о другом стихотворении

не оконченном, останови(вшемся) на двух первых строчках...

Когда-то, помнишь ты, заря уж занималась,  
Огней столичных тьма сквозь сумрак загоралась...  
С тобой я был тогда, с тобою, ангел мой...

Это было четыре года тому назад; тоже зимой в Петерб(урге); — когда они с Алек(сандром) были так безумно влюблены друг в друга. — Они ехали под вечер, прекрасным зим(ним) днем, по набережной Невы; встречных было <sup>10</sup> очень мало. — И заря в самом деле розовая, огромная, прекр(асная) была в стороне моря — и фонари зажглись... А все еще было видно... И сумерки были прелестны...

И счастье невыразимое... Алекс(андр) вдруг сказал ей: «Когда я уеду в Крым, я буду там сочинять такие стихи» — и начал это. Начал, остановился, засмеялся, сказал: «нет, не умею дальше... Да и не надо...» Потом, оглядевшись, увидел, что близко никого нет — и вдруг схватил ее руками и начал в санях, как сумасш(едший), ее целовать.

<sup>20</sup> Из-за угла вдруг выехала им навстречу карета; — она вырвалась, смеясь. — А он тоже так весело сказал:

— Ну, теперь этот кучер подумает: Офицер-то пьян; с барышней на улице обнимается...

И сколько этому смеялись... И только вспоминая это, Соня блаженств(овала) и говорила себе: «Ну, все-таки было это: было. — И то хорошо».

Раздался звон к Достойно, и все опять утихло. — Опять только печка трещала.

<sup>30</sup> Соня хотела уже и прилечь на диван, как вдруг раздался в дверь ее легкий стук и послышался (мужской, но довольно тонкий голос: «Молитв(ами) Св(ятых) отец Г(осподи) И(исусе) Х(ристе) Б(оже) н(аш)...»)

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ.  
НАБРОСКИ. ПЛАНЫ



## ПЕССИМИСТ

### Г л < а в а > 3-я

Ужином Маврокордато остался очень доволен. — Были яйца всмятку; — были очень хорошие отбивные котлеты и даже какая-то особенная каша из розовых круп на прекрасных сливках, каша, которой Маврокордато никогда не видал и, восхищаясь ею, расспрашивал Львова, откуда это блюдо и как его делают. — Узнавши, что это старинное помещичье блюдо, а также и то, что у Львова готовит не кухарка, а повар из бывших крепостных, — Маврокордато почувствовал как-то еще больше уважения к образу жизни Львова, к его вкусу и порядочности. — Скатерть была немножко стара и заштопана; — но хорошая и совсем чистая. — Даже в солонках лежали костяные ложечки. — Эти ложечки совсем восхитили Маврокордато, и он, не совсем осторожно воскликнул даже: 10

— *Escoutez, mon cher...* Все у вас так хорошо!... Так порядочно.... Я, признаюсь — и не ожидал.

Львов улыбнулся и отвечал, смеясь:

— Однако... Это тоже недурно.... 20

Но на лице его заметна была легкая тень неудовольствия.....

Маврокордато поспешно извинился и, продолжая жадно есть правой рукой, левой коснулся ласково руки Львова и сказал:

— Нет, послушайте.... Вы поймите меня.... Я считал вас таким идеалистом; философом.... Чуть не артистом.... Мы люди, знаете, *terre à terre* входим во все эти мелочи....

— Рассказывайте! — возразил Львов, уже смеясь искренно, — вы думаете и так, да и не так... Почему же философ или артист должен быть непременно каким-то халуем и свиньей... Простите мне эти некрасивые выражения....

Вина не было, но зато подали очень хорошую вишневку.<sup>10</sup>

— Домашняя? — спросил Маврокордато.

— Нет! — отвечал Львов грустно; — вишни у нас давно почему-то перестали родиться... А другие ягоды крестьянские дети поедают каждое лето, прежде чем я успею их собрать.... «*Le bon vieux temps*» всех этих водич и наливок прошло с эмансипацией... По крайней мере для Пахомова.... Однако, оставим это. — Что ж делается в Турции, под Плевной? — С этого нужно бы начать вам....

— А! — воскликнул Маврокордато, поднимая руки к небу.... — А! Я, напротив, предпочел бы вовсе не говорить об этом... Все это так мрачно, так грустно.... Вы знаете, что были минуты, когда мы боялись чего-то вроде Седана.... Здесь осуждают некоторых.... лиц Штаба.... Это вздор... Борьба под Плевной, по крайней мере, задержала движение турок нам в тыл. — Теперь стало ясно, что они не сопротивлялись, а завлекали нас в глубь страны, чтобы потом окружить нас спереди и с боков железным кольцом.... Были ужасные минуты!...

Он остановился, оглянулся и, увидав, что девочки еще не ушли, а ждут, чтобы они встали из-за стола, заговорил по-французски и даже вполголоса:<sup>30</sup>

— *Nos outrecmidants se sont imaginés*, что можно, понимаете, разрушить великое Царство какими-то летучими отрядами козачков, которые перешли Балканы и врываются в города с этим известным вам *aventurier* Рахмановым во главе....

Лицо Львова изменилось, и глаза его радостно заблестали....

— Рахманов молодец! — Дай Бог побольше таких... Дай Бог!

Маврокордато немного побледнел с досады и сказал, преклоняясь и разводя многозначительно руками:

— Знаю! — Знаю.... вашу систему хвалить ваших врагов! — Преклоняюсь перед этим нравственным величием. — Мне Рахманов не сделал ничего особенного, и не знаю даже, что он может мне сделать; но я удерживаю мое о нем мнение.... Все его качества испорчены каким-то отвратительным шарлатанством.... Он не серьезный человек...

— Я люблю людей, которым везет или которые умеют пользоваться всеми обстоятельствами... Я этого никогда не умел и часто бывал смешон поэтому.

— К тому же (продолжал Львов, подумав)... Мне Рахманов не сделал вреда. — Он хотел меня убить.... Ну, что ж? — Если вы хотите слышать речь откровенную, — вы с Мальцовым сделали мне больше вреда, чем он. — Можно ли было поставить нас обоих в такое смешное положение. — Назначить людям десять секунд для выстрела... и после этого уйти. — Он медлил стрелять потому, что жалел меня; — он чувствовал себя неправым... Я просто и очень наивно не успел. — Я думал дать ему прежде выстрелить в надежде на случай промаха и потом, признаюсь, рассчитывал ранить его в ногу. — Я сам очень боялся убить его. — Он мне слишком нравится. — (Львов одушевлялся все больше и больше и больше, задумчивые черные глаза его теперь сверкали лихорадочным блеском....) Мне было бы очень, очень больно, если бы я убил его тогда; — так как я стреляю, вы знаете, недурно, то я надеялся только ранить его в ногу. — Он здоров и молод, — вынесет!.. И я за себя отомщу, и он будет цел... Но вы с Мальцовым из этого серьезного дела сделали вашей гуманностью что-то смешное... Ему, конечно, ничего; — он после этого сделал дела гораздо крупнее дуэли; — но я ?... Конечно, лично я

умею мириться с жизнью, и у меня у самого с тех пор было столько неожиданно-приятного, что я не сержусь за это.... Простите, что я вас перебил.... Конечно, дела под Плевной гораздо интереснее этих воспоминаний....

Маврокордато был не совсем доволен оборотом, который принял разговор, и поспешил возвратиться к войне и политике.

— Мы в самом трудном положении теперь. — Мы начали игру, не справясь с своими силами. — Таким людям, как я, которые отдавали туркам всегда должное, не хотели верить. — Турки обнаружили больше ума, больше знания, больше самоотвержения, чем ожидали те, которые их не знали.... В Европе у нас нет друзей... Все против нас.... А между тем неудачи наши, наше решительное отступление может отозваться у нас глубоким потрясением внутри государства. — Есть между высоко-стоящими лицами, которые думают, что мы в безвыходном положении, «*que nous trouvons entre une coalition et une révolution....*» Не доходя до таких крайностей... я не скрываю от себя весь ужас этой минуты. — Вообразите себе очень простую вещь: вообразите, что Англия и Австрия объявляют нам войну? — Вообразите, что австрийцы нападают на наш тыл, что англичане захватывают Босфор.... вспомните, что для Германии в высшей степени невыгодно развитие Славянства... Что для нее самое лучшее — это усилить Австрию на Юго-Востоке как можно больше и восстановить, так сказать, в новой форме... ее же собственными победами нарушенное равновесие Европы.... Подумайте — как князь Бисмарк глубок и решителен.... Германии нет нужды воевать с нами; — сохраняя весь вид доброжелательного нейтралитета, она может способствовать движению Австрии на Юг и создать, не пролив и капли крови, два великих славянских Государства: Россию и сильную Австрию, которые навсегда будут парализовать друг друга...

— *Навсегда?* — спросил Львов скептически.... — Что бывает *навсегда?*.. Все нарушается. — И Бисмарк такое же слепое орудие судьбы, как все....



— А! опять философия!.. Мы теперь говорим о вещах ближайших, практических... — воскликнул Маврокордато с упреком.

— Что такое *практические вещи*?.. я этого не понимаю; — отвечал Львов. — Я вам говорю очень *положительную* вещь; все, что вы говорите, имело бы смысл, если бы личный разум наш и индивидуальная воля что-нибудь значили в свете... Вам не нравится моя философия, — подождите.... Я говорю, если бы личный разум наш и индивидуальная воля что-нибудь значили в истории, то вы были бы правы. — Но так как они равны нулю....<sup>10</sup>

— Это еще вопрос... — перебил дипломат.

— Но так как они (по-моему, я говорю, — *по-моему!*), они равны нулю.... то все усилия врагов России и Славянства не приведут ни к чему. — Они не могут ничего сделать.... Вы говорите — Бисмарк глубок. — Положим. — Если так, — то он должен понимать, что есть в истории потоки, против которых лучше не становиться. — Италия.... везде побеждаемая даже Австрией, которую все били, — Италия обходами достигает своего единства; — Австрия, побеждая ее, — гибла. — Франция разбилась неожиданно и внезапно о германский поток потому, что не подумала о простой вещи... О том, что идея Франции уже не нова.... И т. д. — Если Бисмарк понимает это, то он находится «entre l'enclume et le marteau». — Мешать России — можно разбиться... Не мешать — тоже страшно за будущее... Поэтому он разочарован и думает, может быть, сохранить только свое достоинство, так как будущее Германии он уже спасти не может....<sup>20</sup>

— Вы все еще Славянофил? — спросил немного насмешливо Маврокордато....<sup>30</sup>

— Нет, (я просто пессимист теперь....) вы знаете, что [я] изменил Славянофильству с тех пор как ближе узнал самих славян....

— Как! пессимист... Я думал, напротив: ни Плевна, ни хитрость Бисмарка, ни коалиция... ничто вам не страшно,

вы верите безусловно в будущее Славянство... Это оптимизм....

Львов хотел было тотчас отвечать... Он начал так:

— Оптимизм для славян в этой войне.... не значит оптимизм для человечества... Может быть.... славяне очень будут рады...

Но вдруг замолчал, вздохнул и остановился...

— Ну, что же? — спросил Маврокордато. — Я жду ваших прорицаний.... Вы знаете, как я всегда любил с вами рассуждать.... Вы умеете всегда окрилить как-то ум...<sup>10</sup> Я ведь немножко «terre à terre», каюсь и повторяю это... Вы даете мне всегда другие перспективы....

Но Львов стал вдруг печален; — он точно чего-то стыдился.... Облокотясь задумчиво на стол, он перелистывал лежавшую перед ним книжку Шопенгауера «О свободе воли»... и не хотел продолжать разговора....

— Хорошенького понемножку, — сказал он наконец; — *vivons et laissons vivre; dormons et laissons dormir...* Вы устали.

<sup>20</sup> — Нисколько, — сказал Маврокордато; — еще одиннадцать часов всего... Я готов до часу сидеть с вами....

— Тогда отпустите бедных детей спать, — сказал Львов. — Я думаю — они заснули в прихожей... Поидемте туда тихонько.

Львов взял свечку и пошел; — Аркадий за ним. — В прихожей «эти бедные дети» в самом деле спали крепким сном. — Ванька заснул, положив руки на стол. — А обе девочки на деревянном коннике. — Красивая Даша лежала навзничь, и длинные белокурые волосы ее очень живописно рассыпались. — Руки ее были раскинуты в стороны; — она была похожа в этом виде на очень изящно сделанную куклу, которую, играя, бросили на пол с раскинутыми руками. — Повернувшись к подруге лицом и припав к ее плечу, спала полная и милая Катя в голубом своем сарафане....<sup>30</sup>

Никто из них не пошевелился, несмотря на то, что Львов держал свечу очень близко к их лицам и долго

объяснял Маврокордато, что это за девочки и зачем они здесь.

— Это (сказал он шопотом, указывая на Катю) — это добродетель; — честность; она дочь моей скотницы. — Она помогает мне лечить больных и, что называется — «душа». — А та — эта беленькая — это демон зла, облеченный в образ ангела.... Это дочь повара.... Та, честная, робка, и с ней скучно иногда, хотя я ее люблю как дочь и ужасно уважаю; — а этой пальца в рот не клади... Но зато с ней веселее. — Она кокетничает со всеми, даже со мной... И недавно, вообразите себе, назвала меня даже «старым дураком» в игре; в игре, конечно, в картах; мы в дурачки играли....

— Они очень милы! — заметил Маврокордато. — Вообще, вы, кажется, окружили себя поэзией насколько могли.... Мне у вас все, признаюсь, очень нравится.... Вы живете тут и как философ, и как трехбунчужный Паша....

— Да, мне хорошо здесь, — сказал Львов и, разбудив девочек, которые со сна вскочили с испуганными лицами, отпустил их спать. — Вслед за девочками, услышав громкий смех господ, вскочил и Ванька и, совсем потерявшись, начал тоже как помешанный смеяться...

Львов дал ему прийти в себя и велел идти за собой во флигель, чтобы приготовить все, что нужно для гостя.

— Я посмотрю — так ли он все сделает для вас, а потом и он пусть ложится; а мы с вами посидим сколько хотите, — сказал хозяин и ушел с мальчиком через галерею во флигель.

Маврокордато, оставшись один, вернулся в длинную и узкую залу. — Походив по ней немного в раздумьи, он заметил, что не на том конце, с которого он подъехал, а на противоположном была еще не заделана дверь на балкон. — Луна светила очень ярко, и под горой, за темными деревьями, была видна река.... Он побоялся простуды и не решился выйти, но подумал, что вид тут, должно быть, очень веселый и красивый и, отходя от окна, опять сказал себе:

— Я думал, что он тоскует и убит.... а он, кажется, здесь очень счастлив.... Вид хорош; — повар хорош; дом очень мил; — книги; — мысль; свобода! — Эти девочки... Они уже довольно велики, однако.... Неужели.... Этот м-сьё Семенов, «бестия, Богом помеченная»... (mais c'est charmant, — cette definition: «бестия, Богом помеченная».... Никогда не слышал...) Неужели Семенов был прав, говоря, что Львов «ужасный человек»?.. Но, наконец, что мне за дело до чужих пороков и тайн... Я люблю

<sup>10</sup> Львова; он ко мне расположен...

С этими мыслями Маврокордато сел к столу и раскрыл машинально ту книгу Шопенгауера, которую перелистывал Львов. — Он прочел два-три места очень невнимательно и стал думать, что он ошибся, уверяя Львова, что он не хочет спать. — Ему так казалось под влиянием горячего разговора; — теперь, когда он посидел молча на диване, он почувствовал, что заснуть было бы нелишнее, и решил-ся сознаться хозяину в своей ошибке.

Продолжая без внимания перелистывать Шопенгауера,

<sup>20</sup> Маврокордато вдруг в книге нашел небольшую записочку на очень простой и даже грубой бумаге.... Почерк был женский, и Маврокордато, никак не считая эту брошенную в книгу записку секретной, прочел первые строки почти нечаянно....

«Милый мой Володя! — Солнышко мое ясное! Позволь мне побывать еще раз в Пахомове.... Мне такая тоска... Родной ты мой, прости, что я такая дура и малодушная.... Я очень хочу тебя завтра видеть....

Твоя З....

<sup>30</sup> Папка совсем с ума сошел. Все такой вздор говорит. — Даже жалко... Брани меня, только позволь прийти...»

Дальше Маврокордато из деликатности не стал читать.

— А! вот оно почему — все здесь мило.... Je gessonnais топ Львов.... Даже и теперь... и в эти года....

Он закрыл поспешно книгу и прилег. — Когда Львов вернулся из флигеля — гостя уже одолевала дремота.

## [ПЛАН ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОВЕСТИ «ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ»]

### ПОРЯД(ОК) ЕГИПЕТ(СКОГО) ГОЛУБ(Я)

1) Л(адне)в идет к Консулу. — Говорит о Велико. — Богатырев<sup>1</sup> дает ему поручение в Родосто. — Письмо друга из К(он)с(тантино)п(о)ля. — Ладнев замышл(яет?) в К(он)с(тантино)п(о)ль. — Уходит к Маше.<sup>2</sup>

2)\* Неприятный разговор у Маши. — Она холодна и хвалит мужа. — Ладнев очень огорчен. — Встречает Öстеррейхера (?), говорят о вечере у Булгаридиса, зовет смотреть Черкес(ский) бунт — едет послезавтра.

3) Ладнев пишет<sup>3</sup> у себя донесение и все думает о Царьграде. — Ехать или нет? — Кончает; идет к Греч(ескому) Консулу.

4) Вечер. — Открывает(ся). — Она просит не уезжать без записки.<sup>4</sup>

5) Элен(а) наутро прино(сит) записку. — Едут с Öстеррейхером.

6) Дорога и бунт.

---

<sup>1</sup> далее зачеркнуто: они

<sup>2</sup> далее зачеркнуто: Встречает Öстеррейхера... зовет смотреть Черкес(ский) бунт. — Потом встреч(ает) Мад. Антониади. — Она зовет на вечер к Булгаридису. —

2) У Булгаридиса. — Вечер. — Мурад-бей. — Ужин в Консульстве.

3) Ладн(ев) пишет. —

<sup>3</sup> далее зачеркнуто: в Консульстве

<sup>4</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Элена

- 7) Родосто<sup>5</sup>, пароход и Царьград. — 1-е впечатления.
- 8) В Царьграде.
- 9) В Царьграде.
- 10) Возвращение. Отъезд Богатырева. — Он увозит Велико. — Л<адне>в управляет. — Приезд тетки. — Новый Греч<еский><sup>6</sup> Консул.
- 11) Турец<кое> движ<ение>, опасность. — Стра<стная> неделя. — Демердешь. — Говенье.
- 12) Отъезд Антониади.

---

<sup>5</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>6</sup> Новый Греч<еский> написано после того же зачеркнутого

[СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ  
ВОСПОМИНАНИЙ Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ]

Ф(амилии) вымышл(енные)	настоящие
Вырков, <i>В.</i> хозяин	Вырубов
Беловы; — <i>Бел.</i>	Белкины —
Кн. Ухромские:	Кн. Ухтомские. —
Станов <sup>1</sup> , Станк.; Ст;	Станкевич. —
Рагин, Раговский:	Рачинский <sup>2</sup>
Корбов —	Коробанов. —
Лоховы, Лео, Лок.	Леонтьевы
Энловы:	Энгельгарды
Якулина	Якушкина
Подвигов <sup>3</sup>	Подвицкий <sup>4</sup>
Озерков	Озеров <sup>5</sup>
Лун.	Лунин.
Ков.	Ковалёв.
Рагоз.	Рагозин
Врац.	Врацкий. —
Ув.	Уваров, ва.
С.	Сольдан; урожденная Хитрово. —

<sup>1</sup> было: Станкович

<sup>2</sup> вписано над зачеркнутым: неизвестно

<sup>3</sup> было: Подвингин

<sup>4</sup> вписано над зачеркнутым: фамилия настоящая

<sup>5</sup> далее зачеркнута строка: Рагов, Раг. — Рагозин?

Лык.	Лыкошин. —
Кол. ?	?
Вас.	Васильчиков
Р.	гор. Ростов
Гр. Х —	Граф Хвостов —

- 1) В. Ф. Вас., урож⟨денная⟩ Лео — Барвара Федоров-  
на — Васильчикова, ур⟨ожденная⟩ Леонтьева
  - 2) Гр. Р. (неизвестн⟨о⟩) —
  - 3) В..., Вас. Васильчиков, ва
  - 4) Ува... — Уваров, ва.
  - 5) Старики Леонтьевы:<sup>6</sup>
    - Ф. И. Федор Иванович
    - М. И. Михаил Иванович —
- Свекор —  
иногда прибавить — Борис Иванович

Ст.	Станкевич
Кут.	Кутузовы
Лык.	Лыкошин
В. К. К. П.	Велик⟨ий⟩ Князь Констант⟨ин⟩ Павлович
Н. Б.	Николай Борисович

---

<sup>6</sup> далее начато и зачеркнуто: Све⟨кор⟩



# ПОДРУГИ

[ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ]

## I

Софье Львовой было двадцать шесть лет, когда она, проснувшись однажды летним утром в своем имении, почувствовала себя в первый раз в жизни одинокой на свете и никому, быть может, и ненужной. —

Дня три тому назад схоронили ее отца. — Нельзя было сказать, чтобы она особенно сильно его любила. —

Помимо кровного чувства, помимо привычки и сверх<sup>1</sup> той признательности или<sup>2</sup> того сострадания, которое чувствуют честные дети к своим родителям, бывает еще и то, что одни родители нравятся детям своим, а другие не нравятся. —

Отец Софьи не нравился ей; не нравился ей его характер, не нравились убеждения его и<sup>3</sup> выбор занятий; только в самое последнее время он, по ее мнению, стал изменяться к лучшему; стал гораздо<sup>4</sup> приятнее; так<sup>5</sup> казалось ей...

Но он-то сам<sup>6</sup> — любил ее страстно и самоотверженно. — В последние года он жил только для нее и пожер-

---

<sup>1</sup> далее зачеркнуто: того

<sup>2</sup> вписано над зачеркнутым: и

<sup>3</sup> его и вставка

<sup>4</sup> вставка карандашом

<sup>5</sup> вставка карандашом

<sup>6</sup> то сам — вставка

твовал ей всем, чем только может пожертвовать дочери человек самолюбивый<sup>7</sup>, мужественный и пожилой.<sup>8</sup> —

Бывали в жизни Софьи минуты, когда она даже тяготилась отцовскою<sup>9</sup> преданностью; но теперь, когда его засыпали землей, она поняла с жестокой ясностью<sup>10</sup>, что другого такого — для нее лишь<sup>11</sup> жившего, дышавшего<sup>12</sup> человека — у нее никогда больше на свете<sup>13</sup> не будет. — Живее прежнего чувствовала она и себе укоры за то, что недостаточно была ему признательна, недостаточно по крайней мере выражала это и не старалась<sup>14</sup> быть более<sup>15</sup> нежной и ласковой с ним. —

Они приехали жить в это имение всего только год тому назад из Петербурга. — До тех пор Львов был долго с начала 60-х годов<sup>16</sup> одним из главных сотрудников большой и либеральной газеты, а потом и сам редактором сатирического листка «Заноза»<sup>17</sup>, которого злые карикатуры и ядовитые — в демократическом духе — заметки и стихи<sup>18</sup> наводили иногда страх даже и на высшие административные сферы столицы. — Софья ничему этому не почувствовала; никогда не читала<sup>19</sup> большой газеты, в которой отец почти каждый день помещал статьи по внут-

---

<sup>7</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>8</sup> и пожилой вписано карандашом

<sup>9</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: его

<sup>10</sup> далее зачеркнуто: страдания

<sup>11</sup> вставка

<sup>12</sup> вставка карандашом

<sup>13</sup> на свете вставка

<sup>14</sup> недостаточно ~ не старалась вписано над строкой и в начале следующей строки; в строке после признательна зачеркнуто: за то, что не умела

<sup>15</sup> вставка карандашом

<sup>16</sup> с начала 60-х годов вставка

<sup>17</sup> вписано над: «Огонёк» (и то и другое название написаны карандашом, в строке зачеркивания нет)

<sup>18</sup> заметки и стихи вписано над зачеркнутым: статьи

<sup>19</sup> никогда не читала вставка

ренним вопросам; — карриатурами вообще брезгала и даже<sup>20</sup> жалела тех, кого в них так грубо искажали; — избегала даже заглядывать на страницы «Занозы»<sup>21</sup>; а если и случалось, то бросала номер и думала, содрогаясь с презрением<sup>22</sup>: «Что за охота отцу заниматься таким злым и некрасивым шутовством!» — Но она знала, до чего<sup>23</sup> отец страстно предан этому ей<sup>24</sup> противному делу,<sup>25</sup> какую важность придает он ему и до чего он иногда счастлив своей<sup>26</sup> борьбой. — Получал он д(овольно) мн(ого) за свой труд и жил он<sup>27</sup> в столице не только не бедно, но и довольно роскошно даже, — прин(имал) гостей; ездил в театр; — угощал обедами; — наряжал ее и сам был всегда хотя и солидно, но щеголев(ато) одет.<sup>28</sup> — Софья по-этому<sup>29</sup> понимала, как велика была его жертва, когда он со всем этим расстался и похоронил себя вместе с нею в глухой деревне с расстроенным хозяйством. —

Незадолго до этого их<sup>30</sup> решения оставить Петербург, — Софье пришлось перенести горе; самое тяжкое для молодой девушки<sup>31</sup> горе. — К ней охладел двоюродный брат, которого она уже с 17 лет страстно любила и который сам был еще недавно влюблен в нее. — Был влюблен и охладел.<sup>32</sup> — Но между ними сохранилась друж-

---

<sup>20</sup> вставка

<sup>21</sup> вписано карандашом

<sup>22</sup> было: с презрением содрогаясь

<sup>23</sup> было: до какой степени

<sup>24</sup> вставка

<sup>25</sup> далее зачеркнуто: до чего он счастлив своей борьбой и

<sup>26</sup> далее зачеркнута вставка: удачной

<sup>27</sup> было: жили они

<sup>28</sup> предложение вписано карандашом над строкой и на полях

<sup>29</sup> Софья поэтому вписано карандашом над зачеркнутым: Она знала все это и

<sup>30</sup> вставка

<sup>31</sup> вписано над зачеркнутым карандашом: женщины

<sup>32</sup> черновой вариант фрагмента Они приехали ~ охладел см. на с. 715—716.

ба<sup>33</sup> давняя, идеальная и<sup>34</sup> глубокая,<sup>35</sup> и самое имя это — красивое и<sup>36</sup> романтическое, с тенистым садом, полное дорогих для<sup>37</sup> сердца Софьи<sup>38</sup> преданий — было завещано ей дедом ее и дядей отцовским<sup>39</sup> и не просто,<sup>40</sup> но помимо других и близких<sup>41</sup> наследников, благодаря настояниям в ее пользу того самого<sup>42</sup>, кто был ей дороже всех на свете и кто теперь жил весело и далеко от нее на чужбине. —

Он — сам любимец деда<sup>43</sup> — давно уже обещал ей отказаться в ее пользу от любимого Куреева и отстранить других родных и сдержал свое слово...

— Я не только хочу для тебя независимости (говорил он ей), — но я жалею и само Куреево мое... Ты только одна, я знаю, будешь чувствовать там именно то, что я чувствовал; — мечтать так, как я мечтал. — Ты одна будешь понимать, что шум ветра в куреевских берёзах говорит совсем не то, что шум этого<sup>44</sup> ветра в других местах... Вот мне что нужно!.. И куда бы судьба ни занесла меня, я буду покоен, если буду знать, что оно твое и что ты там живешь и помнишь меня. —

Львов отец был либерал твердый и последовательный. — Защитник свободного<sup>45</sup> избрания любви в теории,

---

<sup>33</sup> сохранилась дружба вписано карандашом над строкой; было: но дружба между ними

<sup>34</sup> идеальная и вписано карандашом над зачеркнутым: и

<sup>35</sup> далее зачеркнуто: осталась не над строкой полустертая карандашная вставка: и досталось ей от него; в строке не исправлено на и

<sup>36</sup> вписано поверх запятой

<sup>37</sup> далее зачеркнуто: се(рдца) ея

<sup>38</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>39</sup> ее и дядей отцовс(ким) вписано карандашом над строкой

<sup>40</sup> далее зачеркнута вставка: от бездетного деда и дяди отцовского; в строке зачеркнуто: а

<sup>41</sup> и близких вставка карандашом

<sup>42</sup> вставка карандашом

<sup>43</sup> любимец деда вставка

<sup>44</sup> вставка

<sup>45</sup> было: свободной любви

он и на деле, хотя и с замиранием<sup>46</sup> родительского сердца, потворствовал всячески этой неправильной и опасной для дочери страсти. — И когда он узнал и понял, что<sup>47</sup> самый первый и душистый цвет их взаим(ной)<sup>48</sup> любви уже увял и осыпался, — он и этот удар<sup>49</sup> встретил мужественно, как вещь естественную и почти всегда<sup>50</sup> неизбежную, и только стал<sup>51</sup> еще внимательнее и нежнее к огорченной дочери. —

Софья, продолжая считать Александра своим идеалом<sup>52</sup>, несмотря на изменившийся характер его<sup>53</sup> к ней отношений, связанная чувством благодарности,<sup>54</sup> не за одно только имение это, но и за многое еще другое, считала высоким и священным долгом своим по крайней мере — «служить ему хоть издали», как она сама говорила отцу, и просила его отпустить<sup>55</sup> ее жить в опустелое и заброшенное Куреево. — «Дышать по крайней мере<sup>56</sup> тем воздухом, которым он дышал<sup>57</sup> там в юности и детстве; — видеть его вещи; — слышать какие-нибудь рассказы о нем; —<sup>58</sup> внимать шуму того ветра в березах, о котором он говорил<sup>59</sup> и понимать этот шум... Это ее долг; — ее утешение, ее радость...»

Этого всего<sup>60</sup> она отцу не сказала; а только думала про себя. —

---

<sup>46</sup> далее зачеркнуто: сердца

<sup>47</sup> далее начато и зачеркнуто: пер(вый)

<sup>48</sup> вставка карандашом

<sup>49</sup> далее зачеркнуто: приня(л)

<sup>50</sup> вставка карандашом

<sup>51</sup> вставка

<sup>52</sup> далее зачеркнуто: и, от не смотря до отношений вставка над строкой

<sup>53</sup> исправлено из ея; далее зачеркнуто: чувства к ней

<sup>54</sup> далее зачеркнуто: считала; вставка над строкой: не за одно

~ считала

<sup>55</sup> написано после зачеркнутого: отпустить

<sup>56</sup> по крайней мере вставка

<sup>57</sup> вставка

<sup>58</sup> далее зачеркнуто: слышать

<sup>59</sup> о котором он говорил вписано над строкой

<sup>60</sup> вставка

Но отец — сам догадывался, — сам понимал, что может чувствовать молодая<sup>61</sup> женщина, настроенная так идеально, как была настроена его дочь, и не захотел оставить<sup>62</sup> ее одну изнывать — в глуши и бессилии<sup>63</sup>, питаюсь одной горькой<sup>64</sup> поэзией невозвратного прошлого! — Это казалось<sup>65</sup> ужасно!..

Ничтожны, конечно, утешения старческой и родительской дружбы сравнительно с восторгами и упоением молодой и взаимной любви... Плачевная и грустная замена!.. Но — и эта дружба отцовская годится<sup>66</sup> пока, чтобы ей пережить полегче первое и самое<sup>67</sup> тяжкое время перелома в чувствах. — Она еще молода; — подурнела; но не слишком,<sup>68</sup> — отвыкнет понемногу; встретит<sup>69</sup>, быть может,<sup>70</sup> и другого. — «Похуже, положим, — но как же быть иначе!» Теперь же нельзя ей быть в деревне одной! —

И Львов покинул Петербург, бросил все, всем пожертвовал<sup>71</sup> ей (даже и честью, и добрым именем своим,<sup>72</sup> по поводу денежных расчетов, как с ужасом<sup>73</sup> узнала Софья позднее, вначале отец от нее это скрыл<sup>74</sup>) — и поселился с ней в Курееве. — Прожили они там<sup>75</sup> год — всего, и он умер. —

---

61 вставка

62 далее зачеркнуто: изнывать

63 и бессилии вставка

64 вставка карандашом

65 вставка карандашом

66 вписано над зачеркнутым: достаточна

67 вставка

68 подурнела; но не слишком вписано над зачеркнутым: быть может кто знает —

69 далее зачеркнуто: и

70 далее карандашом зачеркнуто: кто знает

71 далее зачеркнуто: дочери

72 далее начато и зачеркнуто: пр

73 написано после того же зачеркнутого

74 вначале ~ скрыл вписано над строкой карандашом

75 далее начато и зачеркнуто: вс(его)

Это<sup>76</sup> случилось так неожиданно, было так страшно и жестоко<sup>77</sup>, и кончилось так скоро, что не хотелось и<sup>78</sup> верить...

А надо было верить! Три дня тому назад его погребли<sup>79</sup>.

Львов<sup>80</sup> страдал давно какими-то болями желудка ли, печени или кишок, — она не знала наверное. — Знала, что изредка он лечился, жаловался на трудное пищеварение. — Но он сам не понимал, опасно это или нет. — Лет ему было за пятьдесят — не было еще шестидесяти; — он был сложения сухого, крепок, силен; довольно весел, далеко ходил гулять; в последнее время в деревне стал даже полнеть. —

О смерти в доме и мысли не было. —

Потом, уж когда зарыли его в землю, Софья стала вспоминать о нескольких дурных приметах, на которые прежде она не обратила внимания. —

Еще довольно за долго до его смерти на крыше пристройки, в которой отец жил, каждые сумерки и каждую ночь садилась сова и кричала жалобным, раздирающим голосом. —

Жена<sup>81</sup> повара больше всех тревожилась этим и говорила: «Уж как эта птица нехорошо кричит!»

Хотели<sup>82</sup> застрелить ее; но отец не велел и сказал:

— Не надо. — Я люблю крик сов... Что-то таинственное!<sup>83</sup>

Потом<sup>84</sup> он сам полюбопытствовал посмотреть нет ли у нее гнезда под крышей на чердаке пристройки и в самом

---

<sup>76</sup> перед Это карандашом зачеркнуто: Все

<sup>77</sup> было так страшно и жестоко вставлено над строкой

<sup>78</sup> и вставка

<sup>79</sup> погребли вписано карандашом, было: похоронили! —

<sup>80</sup> Львов вписано карандашом; зачеркнуто первоначальное Львов; зачеркнута вставка: Отец

<sup>81</sup> перед Жена зачеркнуто: Кухарка

<sup>82</sup> перед Хотели карандашом зачеркнуто: Повар далее карандашом над строкой вписано ее

<sup>83</sup> далее зачеркнуто: и печальное...

<sup>84</sup> перед Потом зачеркнуто Но

деле нашел гнездо с одним только яйцом и принес его дочери, чтобы она положила его как редкость в корзиночку на свой письменный стол. —<sup>85</sup>

Сова улетела и утихла; — яичко лежало в голубой корзиночке и Соня<sup>86</sup> его видела каждый день; но о примете не думала и все об этом забыли. —

Другой случай, повторившийся подряд два раза всего<sup>87</sup> за три дня до того — как отец слег чтоб никогда уже не встать — был гораздо<sup>88</sup> страннее и несколько больше поразил ее; — но и то не слишком. —

Львов<sup>89</sup> имел привычку отдыхать немного после обеда, часа в четыре дня. — За три дня до болезни — уснувши крепко,<sup>90</sup> он услышал громкий<sup>91</sup> стук в свою запертую дверь,<sup>92</sup> проснулся и спросил: «Кто там?» —

Незнакомый голос ответил: «Я; мужик.» —

Львов встал, отпер дверь и<sup>93</sup> увидел, что в прихожей нет<sup>94</sup> никого. —

Он объяснил себе это тем, что слишком крепко заспался и слышал<sup>95</sup> стук и<sup>96</sup> ответ — в<sup>97</sup> глубоком сне. —

Но, на другой день, он был уже почти проснувшись, в легкой полудремоте, когда повторился<sup>98</sup> очень громкий

---

<sup>85</sup> в следующей строке зачеркнуто: Об и далее зачеркнуто: Яичко лежало; сова

<sup>86</sup> было: Катя (Соня дописано в конце строки)

<sup>87</sup> всего вставка

<sup>88</sup> гораздо вписано над зачеркнутым: и

<sup>89</sup> перед Львов зачеркнуто: Он имел

<sup>90</sup> уснувши крепко вставлено над зачеркнутым: в полудремоте; перед этим над строкой зачеркнуто: кре(пко)

<sup>91</sup> громкий вписано над зачеркнутым: крепкий

<sup>92</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>93</sup> и написано после того же зачеркнутого

<sup>94</sup> нет вставлено над зачеркнутым: не было

<sup>95</sup> далее зачеркнуто: этот

<sup>96</sup> далее зачеркнуто: этот

<sup>97</sup> далее начато и зачеркнуто: то(нком)

<sup>98</sup> повторился написано после зачеркнутого начала того же слова с опiskой



стук и опять ответ был тот же: «Я — мужик» — и опять в прихожей не было никого. —

Львов спрашивал у слуг, не приходил ли кто из крестьян. —

Никто не приходил. —

На этот раз дочь заметила, что и ему это не понравилось и рассказавши об этом с улыбкой, — он, однако, за чаем был гораздо задумчивее обыкновенного. — Только и об этом своем впечатлении<sup>99</sup> она вспомнила яснее тоже после смерти его; — а тогда она его в себе самой<sup>100</sup> не сознала, не заметила. —

Она знала, что отец матерьялист в самой высшей степени и ничему сверх(ъест)ественному не верит; — и крик совы на крыше поэтому<sup>101</sup> не пугал его, а только<sup>102</sup> нравился как<sup>103</sup> нечто поэтическое. — Но — она сама — была на этот счет нерешительных убеждений — и даже ей скорее желалось верить чем не верить<sup>104</sup> всему непонятному. — (В во(с)питании ее были и другие сильные влияния,<sup>105</sup> помимо отцовских<sup>106</sup>)

У них<sup>107</sup> жива была еще старая нянька; не ее а отцовская — женщина очень умная, с которой Соня<sup>108</sup> часто беседовала. — Она после чая пошла к ней и рассказала об этих голосах и стуках, которые сам Львов звал «странными галлюцинациями». — Няня — услышавши этот рассказ — вскочила со стула и вскрикнула:

---

<sup>99</sup> начало предложения вписано в конце строки; в следующей строке было зачеркнуто: Ей казалось, что

<sup>100</sup> в себе самой вставлено над строкой

<sup>101</sup> на крыше поэтому вставлено над строкой

<sup>102</sup> только вставлено над строкой

<sup>103</sup> далее зачеркнуто: нравится сказка

<sup>104</sup> чем не верить вставлено над строкой

<sup>105</sup> далее начато и зачеркнуто: све(рх)

<sup>106</sup> далее зачеркнуты в строке и повторенное под строкой нигилистических и надписанное над строкой атеистических

<sup>107</sup> после У них было начато: б(ыла)

<sup>108</sup> Соня вписано над зачеркнутым Катя

— Батюшки! Это очень нехорошо... Очень нехорошо!..

Но Соня<sup>109</sup> опять не придала и этому ее возгласу того значения, — какое бы (позднее ей казалось) следовало придать. —

Ровно через три дня после этого Львов, уже с утра не совсем здоровый,<sup>110</sup> вдруг встал из-за обеда и<sup>111</sup> ушел к себе. —

Дочь<sup>112</sup> опять-таки подумала, что просто ему немного нездоровится, как и прежде случалось, и докончила обед одна. —

После обеда отец<sup>113</sup> вернулся очень<sup>114</sup> бледный, с чрезвычайно расстроенным выражением лица и сказал: «Ну Софья<sup>115</sup> Сергеевна — прощай... Кажется, что приходит мой последний расчет с жизнью... Я пойду и лягу». —

С этой самой<sup>116</sup> минуты, — когда он как будто бы<sup>117</sup> спокойно сказал ей<sup>118</sup> «Я пойду и лягу»<sup>119</sup> и до последнего его издыхания — у Сони<sup>120</sup> в течение нескольк(их)<sup>121</sup> дней не было ни часу истинного<sup>122</sup> отдыха и покоя. —

---

<sup>109</sup> Соня *вписано над зачеркнутым*: Катя

<sup>110</sup> уже с утра не совсем здоровый *вставлено над строкой*

<sup>111</sup> далее *зачеркнуто*: немного пого(дя)

<sup>112</sup> *вписано над зачеркнутым*: Катя

<sup>113</sup> *вписано над зачеркнутым*: он

<sup>114</sup> очень *вставлено над строкой после зачеркнутой вставки*:  
особенно

<sup>115</sup> *вписано над зачеркнутым*: Катерина

<sup>116</sup> самой *вставлено над строкой*

<sup>117</sup> как будто бы *вписано над зачеркнутым*: так страшно

<sup>118</sup> далее *карандашом зачеркнуто*: эти страшные слова и *зачеркнуто* *вписанное в строку и над строкой* «Я пойду и лягу»

<sup>119</sup> «Я пойду и лягу» *вписано карандашом над строкой*

<sup>120</sup> *вписано над зачеркнутым* Кати

<sup>121</sup> в автографе: несколько; далее *взято в скобки и зачеркнуто*: жестоких; над словом поставлен *вопросительный знак*

<sup>122</sup> истинного *вписано над строкой*

К вечеру приехал<sup>123</sup> земский врач<sup>124</sup> — старый<sup>125</sup> поляк Подхайский<sup>126</sup>; — очень опытный, очень ловкий и<sup>127</sup> добросовестный. — Катя<sup>128</sup> знала его давно, еще почти с детства и имела к нему большое доверие. —

Отец хотел было<sup>129</sup> послать за другим тоже земским врачом, другого соседнего уезда — очень молодым<sup>130</sup> еще... Он<sup>131</sup> был прогрессист иногда до глупости и молодым врачам готов был всегда больше<sup>132</sup> верить, чем седым уж за то только — что они новые люди; — но дочь не имела ни малейшего доверия к этому «вертушке»,<sup>133</sup> как она его называла, и настояла на том, чтобы лошади ехали за Подхайским. —

Подхайский, осмотрев больного, вышел с ней в другую комнату и сказал ей; — не без смущения:<sup>134</sup>

— Ну-с!<sup>135</sup> — Должен вам, Катери(на) Сергеев(на), сказать, да-с,<sup>136</sup> должен сказать, что это весьма опасно... Это называется — typhlitis sterioralis. — Вещица подлая... Да-с... Вот-он-с... Очень подлая... Впрочем<sup>137</sup> — не пугайтесь через меру... Я пришлю тотчас же вам капли, которые давайте по 15 через 1/2 часа до сильнейшего, до

---

<sup>123</sup> далее начато и зачеркнуто: до(ктор)

<sup>124</sup> врач вписано над зачеркнутым доктор — п(оляк)

<sup>125</sup> далее зачеркнуто: опытный

<sup>126</sup> было: Друговина-Подхайский первая часть фамилии зачеркнута карандашом

<sup>127</sup> и написано после того же зачеркнутого, далее зачеркнуто: очень

<sup>128</sup> далее зачеркнуто: ему имела

<sup>129</sup> было вставлено над строкой

<sup>130</sup> исправлено карандашом, было: молоденьким

<sup>131</sup> Он вписано карандашом над зачеркнутым: Львов

<sup>132</sup> было: больше всегда

<sup>133</sup> «вертушке» вписано над зачеркнутым: мальчишке

<sup>134</sup> не без смущения — вписано карандашом над строкой; в строке карандашом зачеркнуто: немного конфузясь и вздыхая

<sup>135</sup> далее карандашом зачеркнуто: Да-с! —

<sup>136</sup> да-с вставлено карандашом над строкой

<sup>137</sup> далее зачеркнуто карандашом: не абсолютно. —

самого<sup>138</sup> сильнейшего!.. действия... Боли в животе усилятся — донельзя от них... Но надо перетерпеть... И спасти можно. —

И в утешение ей он рассказал, что вылечил еще недавно двоих от этой «подлой вещицы» — молодого еврея, служащего на железной дороге, очень слабого сложением, и купчиху, крепкую женщину средних лет, которая вдобавок была на 7-м<sup>139</sup> месяце беременности. — Подхайский основательно боялся выкидыша от сильного драстического средства, — но тут — еще был шанс спасти;<sup>140</sup> а не давать ей этих<sup>141</sup> самых капель из Сабура и Колокитов, которые он хотел дать Львову — значит было осудить ее на верную смерть. —

Этим рассказом<sup>142</sup> [он] немного<sup>143</sup> успокоил и утешил испуганную дочь и уезжая еще раз повторил, чтоб она, понимая опасность, не жалела его если он будет после капель кричать от боли — и настаивала бы всячески,<sup>144</sup> чтобы он их принимал. —

Тяжело<sup>145</sup> было то, что Подхайский не мог обещать<sup>146</sup> приехать и на другой день, потому что у него<sup>147</sup> была срочная поездка по службе. — Но и с этой стороны он пытался успокоить ее тем, что когда диагностика положена ясная, и несомненная — то и<sup>148</sup> всякий другой может правильно продол-

---

<sup>138</sup> сам(ого) вписано карандашом над строкой

<sup>139</sup> было: 6-м

<sup>140</sup> спасти вписано над строкой

<sup>141</sup> исправлено карандашом, было: тех

<sup>142</sup> Со слова Катя до слов Этим рассказом фрагмент текста вычеркнут, затем зачеркивание отменено, на полях помета Л.: Переписывать

<sup>143</sup> Перед немного зачеркнуто: он и над ним доктор

<sup>144</sup> всячески вписано над строкой

<sup>145</sup> вписано над зачеркнутым: Ужасно

<sup>146</sup> обещать вписано над строкой

<sup>147</sup> у него вписано над строкой

<sup>148</sup> то и написано после того же зачеркнутого, и вписано над строкой

жить лечение. — Про молодого соседнего<sup>149</sup> врача он<sup>150</sup> отозвался одобрительно; как о человеке достаточ(но) знающем, чтобы продолжить лечение, ибо диагностика уже несомненна.<sup>151</sup>

Лекарство скоро привезли; но... (Софья<sup>152</sup> без содрогания<sup>153</sup> не могла этого вспомнить) после двух приемов этих капель отец, всегда такой твердый и мужественный, начал кричать от боли так сильно и почти непрерывно, — что она совсем потерялась;<sup>154</sup> ноги у нее ослабели; она села около его кровати и начала горько<sup>155</sup> плакать...

Нянька распорядилась поскорее послать за тем<sup>156</sup> молодым врачом; — который Кате не нравился. —

Больной ему обрадовался и в краткую<sup>157</sup> минуту облегчения даже сказал:

— Ведь я говорил, что от этого старья толку мало...  
Очень рад, очень вам рад. —

Однако — Софья<sup>158</sup> была права в своем недоверии. — Негодный мальчишка считал долгом задать тону и самоуверенно<sup>159</sup> отверг диагностику Подхайского. — «Это вовсе не воспаление слепой кишки; — это обыкновен(ное)<sup>160</sup> воспаление брюшины». —

Софья,<sup>161</sup> воспитанная отцом в Петерб(урге)<sup>162</sup> отчасти и на знакомстве с анатомией и др(угими) естествен(ыми)

---

<sup>149</sup> соседнего вписано над зачеркнутым: земского

<sup>150</sup> далее зачеркнуто: сказал

<sup>151</sup> со слов Про молодого до слова несомненна вписано между строк и на полях карандашом

<sup>152</sup> Софья вписано карандашом над зачеркнутым: она с и

<sup>153</sup> содрогания вписано карандашом над зачеркнутым: ужаса

<sup>154</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>155</sup> далее взято в скобки и зачеркнуто карандашом: и беспомощно

<sup>156</sup> тем вписано над строкой

<sup>157</sup> краткую вписано над строкой

<sup>158</sup> Однако — Софья вписано над зачеркнутым: Но Катя

<sup>159</sup> самоуверенно вписано над строкой

<sup>160</sup> далее зачеркнуто: перитонит и

<sup>161</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: Катя

<sup>162</sup> в Петерб(урге) вписано над строкой

науками<sup>163</sup> — понимала лучше отца все что<sup>164</sup> говорили врачи, — и ей казалось, что мнение Подхайского как-то больше похоже. —<sup>165</sup> В правой стороне живота была очень заметна твердая и болезне(нная) опухоль. —

Но делать было нечего — юноша переменял лечение; отменил<sup>166</sup> драстические капли и назначил каломель в небольших приемах.<sup>167</sup>

Страдания и крики<sup>168</sup> не прекращались во всю ночь и когда<sup>169</sup> новый доктор<sup>170</sup> — поутру вернулся, — Софья<sup>171</sup> увидела, что он<sup>172</sup> сильно смутился...

Она вызвала его в другую комнату и<sup>173</sup> он вдруг — бросился в кресло, закрыл лицо руками и воскликнул: «Я виноват! Виноват — простите!.. Подхайский был прав. — Это typhlitis... Я ошибся... И время теперь потеряно». — Возможно было теперь по его мнению только одно, — стараться облегчить страдания — теплыми ваннами и впрыскива(нием) морфия. — Денег он не взял и уехал,<sup>174</sup> продолжая извиняться и каяться.

Львов из первых же слов дочери понял свое положение и сказал: — «Ну,<sup>175</sup> что делать. — Будем умирать!.. Только,

---

<sup>163</sup> и др. ~ науками вписано карандашом

<sup>164</sup> далее зачеркнуто: они говорят

<sup>165</sup> исправлено карандашом из многоточия, следующее предложение вписано карандашом между строк

<sup>166</sup> отменил вписано карандашом под зачеркнутым: и когда

<sup>167</sup> драстические ~ приемах вписано карандашом на полях и частично обведено

<sup>168</sup> и крики вписано над строкой

<sup>169</sup> далее зачеркнуто: он

<sup>170</sup> далее зачеркнуто: второй раз

<sup>171</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: Катя

<sup>172</sup> далее зачеркнуто: осмотревши

<sup>173</sup> в другую комнату и вписано над строкой карандашом над зачеркнутым: и

<sup>174</sup> далее зачеркнуто: говоря, что

<sup>175</sup> Ну вписано над строкой

Сонюшка,<sup>176</sup> ангел мой — прости мне, что я так кричу...  
Верь мне, что<sup>177</sup> нестерпимо...»

Двое суток еще он все так<sup>178</sup> умирал; все кричал и кричал на весь двор. — Морфий<sup>179</sup> и ванны облегчали только<sup>180</sup> на мгновение а иногда и совсем не облегчали. —<sup>181</sup>

Соне никогда в жизни<sup>182</sup> не приходилось ходить за опасными больными; — никогда не случалось слышать таких<sup>183</sup> нечеловеческих стонов и воплей, какие она слышала теперь от этого человека, всегда почти спокойного, сдержанного<sup>184</sup> гордого и здорового<sup>185</sup>. — Служить страдальцу она хорошо не умела: — руки у нее и без того были слабые, неловкие, а теперь они дрожали по минутам так, что она ложки с лекарством не могла хорошо держать...

Она садилась и плакала от бессилия...

Слуги, какие были, наперерыв старались ей помогать; — но порядка было мало<sup>186</sup> и некому было — и приводить их в этот порядок. — Няня<sup>187</sup> сама уже была слаба и уставала<sup>188</sup> скоро от малейшего усилия; — но она

---

<sup>176</sup> Сонюшка вписано над строкой

<sup>177</sup> далее зачеркнуто: эта боль

<sup>178</sup> так вписано над строкой

<sup>179</sup> перед Морфий зачеркнуто Ни

<sup>180</sup> только вписано над строкой

<sup>181</sup> далее зачеркнуто карандашом: Люди все чередовались около больного. — Один из прежних дворовых, — человек (еще) очень сильный, которого не (зд) задолго (пере(д)) до своей болезни, Львов хотел прогнать — (теперь) старался больше всех и поднимал даже на руках один и сажал в ванну. —

Львов уже слабеющим голосом попросил у него прощенья.

<sup>182</sup> в жизни вписано над строкой

<sup>183</sup> таких вписано над строкой

<sup>184</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>185</sup> далее зачеркнуто: Силы Сильн Да

<sup>186</sup> далее зачеркнуто: и умирающему в таких лютых страданиях толкотня их и поспешность и недогадливость или неловкая поспешность

<sup>187</sup> далее зачеркнуто: была

<sup>188</sup> далее начато и зачеркнуто: нем(едленно)

скоро<sup>189</sup> [на вторые] же сутки догадалась<sup>190</sup> известить<sup>191</sup> о болезни Львова и об отчаянии его дочери — соседей Судогдиных, которые недавно<sup>192</sup> сблизилась со Львовым. — Мать и вторая дочь<sup>193</sup> тотчас же приехали. —

Дочь<sup>194</sup> эту<sup>195</sup> звали Зинаидой и она была года на четыре<sup>196</sup> моложе Софьи. — Девушка она была<sup>197</sup> сильная духом, твердая, терпеливая и несмотря на сложение вовсе не видное — и физически крепкая. — Воспитана она была как и все ее сестры очень просто и все привыкла делать сама...<sup>198</sup> Соня уже и прежде очень к ней<sup>199</sup> расположена, <sup>200</sup> почувствовала при ее помощи хоть некоторое себе<sup>201</sup> облегчение...

Себе — но не ему...

Он все также<sup>202</sup> нестерпимо страдал и кричал, только на короткое время — отдыхая и впадая в тихую дремоту после сильных впрыскива(ний) морфия...

Судогдина мать — (Анна Васильевна) — была женщина набожная и садясь в экипаж, чтобы ехать в Куреево ко Львовым<sup>203</sup> — подумала — «не убедит ли она его исповедаться и причаститься». —

---

<sup>189</sup> скоро *вписано над строкой карандашом; далее над строкой зачеркнуто: на вторые сутки*

<sup>190</sup> *далее зачеркнуто: послать и*

<sup>191</sup> *далее зачеркнуто: об*

<sup>192</sup> *далее зачеркнуто: только познакомились и (только зачеркнуто карандашом)*

<sup>193</sup> *исправлено карандашом, было: и мать со второю дочерью*

<sup>194</sup> *перед Дочь зачеркнуто Зин*

<sup>195</sup> *вписано карандашом над строкой*

<sup>196</sup> *вписано карандашом над зачеркнутым два*

<sup>197</sup> *была вписано карандашом над строкой*

<sup>198</sup> *далее зачеркнуто: При ней стало Соне все стало*

<sup>199</sup> *к ней вписано над строкой*

<sup>200</sup> *далее зачеркнуто: к ней*

<sup>201</sup> *хоть некоторое себе вписано над зачеркнутым: большое*

<sup>202</sup> *далее зачеркнуто: нечеловечески*

<sup>203</sup> *было: ко Львовым в Куреево*



Но Львов — еще не выдавши ее, угадал ее мысль и, когда дочь спросила его<sup>204</sup> — желает ли он видеть Анну Васильевну — слабым голосом отвечал:

— Очень рад, — но только, чтобы она о полах ничего бы не говорила. —

Софья передала ей это прямо, и Анна Васильевна, хотя и ужаснулась такому упорству и такой ненависти к религии, — посидела однако<sup>205</sup> минутку у его кровати и подержала его руку в недоумении что ему сказать....

Но он сам, обернувшись к ней, сказал — указывая на дочь:

— Не бросайте ее; — она всю вашу семью любит... она умеет любить...

Анна Васильев(на) уехала, обещая испол(нить), а<sup>206</sup> дочь оставила с Соней<sup>207</sup> до конца...

Наконец — настало последнее утро — июньское, прекрасное... Все цвело и все сияло, в саду, на дворе, и в рощах и в полях....

Крики стали слабее; — боль утихала. — (Молодой врач предупредил Соню,<sup>208</sup> что боли могут утихнуть только в случае внутренней гангрены — за которой неизбежно последует смерть)...

Кто мог крепко спать<sup>209</sup> в доме в такой день?.. Уже часа в три, на рассвете, Львов<sup>210</sup> — забывшись перед этим на короткое время, проснулся — подозвал Зинаиду и снямая с рукавов своих прекрасные золотые запонки, отдал

---

<sup>204</sup> далее зачеркнуто: може(т)

<sup>205</sup> однако вписано карандашом

<sup>206</sup> обещая исполнить, а вставлено карандашом над зачеркнутым: но

<sup>207</sup> с Соней вписано над строкой

<sup>208</sup> Соню вписано перед строкой

<sup>209</sup> спать вписано карандашом над строкой

<sup>210</sup> далее зачеркнуто: нач(ал), на

ей, повто(ряя)<sup>211</sup> ей<sup>212</sup> то же,<sup>213</sup> что и матери: «Не остав-  
ляйте ее; — она умеет любить...» —

Потом обратился к пьянице Андрею, прежнему кре-  
постному<sup>214</sup> которого<sup>215</sup> — он незадолго до болезни хотел  
прогнать, и который теперь, поднимая его как ребенка  
на руки, сажал в ванну<sup>216</sup> — просил у него прощенья. —  
«Прости мне,<sup>217</sup> брат<sup>218</sup> Андрей, я недавно тебя оби-  
дел!..»

Андрей заплакал: а за ним и дочь и Зинаида начали  
рыдать. —

Потом Львов стал перечислять родных,<sup>219</sup> друзей и зна-  
комых — и говорил дочери: «Поклонись тому-то<sup>220</sup>: —  
опиши той-то<sup>221</sup> — как я страдал — она всегда была ко  
мне добра<sup>222</sup>. — Напиши — такому-то, что я его до по-  
следней минуты помнил; — я против него виноват; — он  
очень добрый человек, а я бывал груб...»

Наконец, — помолчав, он<sup>223</sup> на сколько мог — по-  
крепче пожал руку плачущей дочери — и сказал еще: —

— Ну, а ему<sup>224</sup> ... (И он указал головой<sup>225</sup> — в сторо-  
ну юга) — Ему — напиши просто, — что я умер. — И

---

211 повто(ряя) вписано карандашом над зачеркнутым: говоря и

212 далее карандашом зачеркнуто: всё

213 далее зачеркнуто: и

214 прежнему крепостн(ому) вписано над строкой

215 было: который далее зачеркнуто: сажал его в ванну

216 далее зачеркнуто: и у него

217 мне вписано карандашом

218 далее зачеркнуто карандашом: мне

219 далее зачеркнуто: и

220 -то дописано карандашом; далее начато и зачеркнуто: ра(с-  
скажи)

221 той-то написано карандашом над зачеркнутым: такой-то

222 добра вписано карандашом над зачеркнутым: хороша. Далее  
зачеркнуто: Не забудь Напиши

223 далее зачеркнуто: притян(ул)

224 далее зачеркнуто: ему

225 указал головой вписано над зачеркнутым: кивнул головой

больше ничего... Ему — все равно... Еще пожалуй — и рад будет...<sup>226</sup>

После этого он сделал еще кой-какие распоряжения; сказал еще дочери уже едва слышным голосом<sup>227</sup>: «Больно мне — что я не успел для тебя все по имению<sup>228</sup> устроить... Очень больно... Теперь брат<sup>229</sup> Семен<sup>230</sup> и другие наследники тебя одолеют...<sup>231</sup> Напиши и об этом ему<sup>232</sup>...

Это были его последние слова. —

Больше он не говорил; кричать перестал вовсе и беспрестанно стал забываться. —

Еще раз на мгновение пробудилась ясное<sup>233</sup> сознание,.. только на мгновенье... Он<sup>234</sup> сделал невероятное усилие обнять дочь, припал к ней седой головою; хотел заплакать... Она видела, что он морщится, что он силится плакать — но и на это уже сил не было, — а<sup>235</sup> изможденное страданием лицо его только исказилось жалкой гримасой...

Он вздохнул — опустил<sup>236</sup> навзничь на подушку и опять затих. — Около полудня собрались над Куреевым<sup>237</sup> густые грозовые<sup>238</sup> тучи, загремел гром; полился проливной дождь; — он — должно быть — уже ничего не слышал. —

---

<sup>226</sup> Еще ~ будет... вписано карандашом

<sup>227</sup> уже ~ голосом вписано над строкой

<sup>228</sup> всё по имению вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: *имение*

<sup>229</sup> было: *братья*

<sup>230</sup> брат Семен вписано над зачеркнутым *Андрей*

<sup>231</sup> Теперь ~ одолеют.... написано карандашом

<sup>232</sup> Напиши ~ ему вписано между строк

<sup>233</sup> пробудилось ясное вписано над зачеркнутым: *сознание восторжествова(ло) над*

<sup>234</sup> далее зачеркнуто: *привлек*

<sup>235</sup> перед а зачеркнуто: *и*

<sup>236</sup> опустил вписано над зачеркнутым: *упал*

<sup>237</sup> над Куреевым вписано над строкой

<sup>238</sup> грозов(ые) вписано карандашом над строкой

Когда — туча пронеслась — его<sup>239</sup> не стало. —

От<sup>240</sup> жары ли июньской,<sup>241</sup> от грозы ли<sup>242</sup> этой, — от того ли, что<sup>243</sup> — замкнувшийся уже с неделю пищевой канал был поражен омертвением — тело Львова начало разлагаться быстро... и лицо<sup>244</sup> до того скоро обезобразилось и<sup>245</sup> позеленело — что его прикрыли ватой. —

Теперь — все было кончено. —<sup>246</sup> Раздирающих криков — не было уж слышно... — В комнате напротив того — все было тихо<sup>247</sup> и безмолвно. — Он лежал на постеле неподвижно и лицо его было<sup>248</sup> прикрыто простыней<sup>249</sup>. —

На третьи сутки тело отнесли в<sup>250</sup> приход и похоронили. — Крестьяне сами вызвались нести его; — Соня с Зинаидой то шли за гробом, то ехали в пролетке. — Все сестры Зинаиды — (их было пять) пришли пешком на похороны,<sup>251</sup> принесли премилые букеты из полевых цветов и поклали их на свежую насыпь могилы. — На пол-дороге у одной деревни почему-то<sup>252</sup> вышел из кабака кабатчик с женой и детьми,<sup>253</sup> остановил похоронное шествие и заплатил за литию...

---

<sup>239</sup> далее карандашом зачеркнуто: уже

<sup>240</sup> перед От зачеркнуто: Вероятно

<sup>241</sup> -ли июньской вписано над строкой

<sup>242</sup> -ли вписано над строкой

<sup>243</sup> далее зачеркнуто: в

<sup>244</sup> далее начато и зачеркнуто: нуж(но)

<sup>245</sup> обезобразило(сь) и вписано над строкой

<sup>246</sup> далее начато и зачеркнуто: Вме(сто)

<sup>247</sup> тихо вписано карандашом над тем же зачеркнутым

<sup>248</sup> на постеле ~ бы(ло) вписано над строкой

<sup>249</sup> Он ~ простыней. — вписано карандашом, было: прикрытый

<sup>250</sup> в написано после того же зачеркнутого

<sup>251</sup> далее зачеркнуто: и прин(если)

<sup>252</sup> у одной деревни почему-то вписано над строкой

<sup>253</sup> с женой и детьми вписано над строкой; далее зачеркнуто:

который

Соню это очень<sup>254</sup> тронуло — но она не понимала — почему он это сделал. — Оказалось — потом, что он знал Львова давно, еще молодым офицером. —

Отслужили церковную службу<sup>255</sup> над свежей могилой безбож(н)ика;<sup>256</sup> — положили девицы букеты и собрались<sup>257</sup> домой<sup>258</sup>. —

Соня поколебалась с минуту, ехать ли ей прямо домой или тоже заехать прежде<sup>259</sup> в Ерёмину, (которое было на дороге), но Зина, которая за сестрами не пошла а села к<sup>260</sup> ней в<sup>261</sup> пролётку — сказала: «Заедем, я может быть, отпущусь проводить тебя». —

Приехали в Ерёмину; поздоров(ались), посидели; пообедали: — опять посидели; походили; поговорили о чем-то. — Все были серьезные; девицы не смеялись; говорили тише обыкно(венного); — отец вздыхал; — и только раз за обедом вдруг воскликнул: «Да! Жизнь — наша жизнь!..<sup>262</sup> Время льется так, как речка! Год<sup>263</sup> проходит точно час; человек горит как свечка; — Дунул ветер — он погас!» Но никто<sup>264</sup> не поддержал

---

<sup>254</sup> очень вписано над строкой

<sup>255</sup> церковн(ую) службу вписано над строкой после зачеркнутого: панихиду (над этим словом зачеркнуто два вопросительных знака)

<sup>256</sup> безбож(н)ика вписано над зачеркнутым: атеиста

<sup>257</sup> собрались вписано карандашом над зачеркнутым: ушли все

<sup>258</sup> далее зачеркнуто: Уехала домой и Софья — одна... Вошла Софья [Софья вписано карандашом] в пустой дом; — прошла в свою комнату — упала на

Здесь же зачеркнута карандашная вставка: Уехала и Софья к себе одна. Зинаида просилась с нею, но Анн(а) Вас(ильевна) полага(ала), что на перв(ые) минуты будет луч(ше) остав(ить) ее одну.

<sup>259</sup> прежде вписано над строкой

<sup>260</sup> к вписано после зачеркнутого в

<sup>261</sup> в вписано над строкой

<sup>262</sup> далее зачеркнуто: Ч(еловек) г(орит) Вр(емя) л(ьется) так к(ак) ре(чка)

<sup>263</sup> вписано над зачеркнутым: День

<sup>264</sup> далее зачеркнуто: его

этого<sup>265</sup> философ(ского) разговора и загов(орили) о чем-то другом.<sup>266</sup> — Анна Васильевна — сказала<sup>267</sup> только — «Вам не уснуть ли?» и когда Софья ответила, что она две послед(ние) ночи,<sup>268</sup> перед похоро(нами) спала как убитая почти по 12 часов<sup>269</sup> и теперь устало(сти) не чувствует, — Анна В(асильевна) больше не говорила ничего — ни об отце, ни о смерти, ни о погребении. — Софья была очень всем за это благодарна. — Она все делала в этот день<sup>270</sup> машинально, как бесчувственная; физически она была даже возбужд(ена), от ходьбы<sup>271</sup>, пения церковного и от<sup>272</sup> тех хлопот, которые она была вынуж(дена) взять на себя во время всех этих печальных приготовлений.

Но она вовсе<sup>273</sup> и не слышала<sup>274</sup> ничего, что говорили при ней; или слышала слова, но они не имели для нее никакого значения. — Ею<sup>275</sup> овладела одна безотвязная и горькая мысль; — она, эта<sup>276</sup> мысль — преследовала ее дома при виде трупа отцов(ского) на столе,<sup>277</sup> дорогой,<sup>278</sup> — когда шли и ехали за гробом, и теперь в Еремино<sup>279</sup> при всей этой многол(юдной) семье. —

— Его нет — и я уже ничего исправить теперь<sup>280</sup> не могу... Я была неблагодарна; я была<sup>281</sup> суха с ним; — я

---

<sup>265</sup> этого вписано над тем же зачеркнутым

<sup>266</sup> и только ~ другом вписано слева на полях

<sup>267</sup> сказала вписано над тем же зачеркнутым

<sup>268</sup> далее зачеркнуто: почт(и)

<sup>269</sup> далее зачеркнуто: — то

<sup>270</sup> в этот день вписано над зачеркнутым: как

<sup>271</sup> здесь знак вставки

<sup>272</sup> от вписано над строкой

<sup>273</sup> вовсе вписано над строкой

<sup>274</sup> далее зачеркнуто: и почти

<sup>275</sup> далее зачеркнуто: безотвязно

<sup>276</sup> она, эта написано после того же зачеркнуто

<sup>277</sup> далее зачеркнуто: во врем(я)

<sup>278</sup> далее начато и зачеркнуто: след(ом)

<sup>279</sup> далее зачеркнуто: , в

<sup>280</sup> теперь вписано над строкой

<sup>281</sup> я была вписано над строкой над зачеркнутым: и

его недостаточно любила... Я должна бы ему<sup>282</sup> показывать больше; я все собиралась и собиралась<sup>283</sup> стать лучше — и вот собралась... И он мне даже это не раз давным давно<sup>284</sup> говорил... «Зачем ты отстр(аняешься) и морщ(ишься), когда<sup>285</sup> отец хочет тебя прилас(кать)... Не хорошо. — Надо и притвори(ться) из доброты...» Это правда!.. Это правда... Он всегда прав и он гораздо добрее меня... Но все-таки и несчастный<sup>286</sup> отец был прав, когда чуть слышным голосом сказал: «Ему все равно. — Пожалуй и рад будет». — Да — он<sup>287</sup> рад<sup>288</sup> будет;<sup>289</sup> что отца уже нет<sup>290</sup> в Курееве. — Он<sup>291</sup> не любил его; — и не по любви к нему он<sup>292</sup> советовал мне быть ласковее; — он меня любил; — он хотел, чтобы я была добра и благородна.<sup>293</sup> — Такие мысли преслед(овали) Софью везде в день похорон, и как ни старалась она даже<sup>294</sup> отгонять их — они с разными переменами и оттенками до того беспрес(танно) овладе(вали) душ(ою) ее, что она иногда боялась — вот вот, кто-нибудь — заговорит со мной и рассеет их, помешает ей что-то необходимое<sup>295</sup> обдумать и решить...<sup>296</sup>

---

282 ему вписано над строкой

283 далее начато и зачеркнуто: испра(виться)

284 давным давно написано после того же зачеркнутого; давно вписано над строкой

285 далее зачеркнуто: он

286 несчаст(ный) вписано над строкой

287 он вписано над строкой над зачеркнутым: пожалуй и ра(д)

288 далее вписано над строкой и зачеркнуто: не

289 далее зачеркнуто: что отец не мешает больше...

290 нет вписано над зачеркнутым: не будет

291 Он вписано над зачеркнутым: Не по любви

292 далее зачеркнуто: хоте(л)

293 Он не любил ее ~ благородн(а) вписано между строк.

294 вписано над строкой

295 далее зачеркнуто: решить и

296 далее написано карандашом и зачеркнуто чернилами: 1-й способ окончания 1-ой главы.

Она, впрочем, очень желала, чтоб Зину отпустили с ней в Куреево; Зина была из тех людей, которые умеют молчать — так долго и так приятно<sup>297</sup>, так покойно и задум(чиво), — что при ней можно думать самой<sup>298</sup> все что хочешь по целым часам — и в то же время<sup>299</sup> — любоваться на нее с покояющим чувством мира.

Но Зина пришла<sup>300</sup> сказать, что мать на ее просьбу — ехать в Куреево, ответила: «Оставь ее на первое время одну». — У Зины от досады сверкали ее выразит(ельные) глаза и она,<sup>301</sup> всегда<sup>302</sup> почти матерью недовольная, — на этот раз была особенно раздражена и сказала: «Ей только бы мне неприятное что-нибудь сделать... Какая злость!»

Софья просила ее успокоиться и не бранить Анну Васильевну. —<sup>303</sup>

— Оставь<sup>304</sup>, Зина, — сказала она.<sup>305</sup> — Я<sup>306</sup> так ей<sup>307</sup> благодарна, что она тебя оставила тогда помогать мне; еще увидимся.<sup>308</sup> — Пожалоста — мать не брани при мне. —

---

<sup>297</sup> и вписано над строкой; было: так приятно и так долго

<sup>298</sup> вставка над строкой

<sup>299</sup> далее зачеркнуто: с удоволь(ствием)

<sup>300</sup> далее вставлено над строкой и зачеркнуто: с больш(ой) досадой

<sup>301</sup> далее зачеркнуто: вообще

<sup>302</sup> далее зачеркнуто: мать свою

<sup>303</sup> успокоиться ~ Васильевну вписано над тем же зачеркнутым: успокои(ться) и не бранить Анну Василье(вну); —

<sup>304</sup> далее зачеркнуто: сказала

<sup>305</sup> вписано над тем же зачеркнутым словом; далее зачеркнуто подруге; —

<sup>306</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>307</sup> вписано над строкой после дважды повторенного и зачеркнутого ей

<sup>308</sup> оставила ~ увидимся вписано над зачеркнутым оставила тебя пом(огать) мне. Еще увидимся следующее предложение написано карандашом и обведено



Она простилась со всеми; всех благодарила; особенно Анну Васильевну — и уехала одна<sup>309</sup>. —

Легкая колясочка тройкой мигом домчалась до Куреева. —

Не отвечая<sup>310</sup> ни слова на приве(т)ствия и<sup>311</sup> вопросы преданной петербургской горничной своей, Софья<sup>312</sup> прошла поспешно в свою комнату; заперлась в ней и села, почти упала на диван.<sup>313</sup> —

Она не чувствовала утомления; — напротив того — она была возбуждена. — Две ночи<sup>314</sup> подряд, пока тело отца стояло еще в доме, она спала как убитая и силы ее, изнуренные тяжелой<sup>315</sup> ходьбой за страдальцом, — теперь<sup>316</sup> восстановились. — Неизбежные<sup>317</sup> хлопоты по делам погребения; — движение на открытом воздухе, — впечатления от церковной службы; — прекрасная погода; вид<sup>318</sup> цветов на лугах<sup>319</sup> и полях, мимо которых несли гроб крестьяне... — все это без всякого участия ее воли<sup>320</sup> ободрило ее. — Но тем сильнее чувствовала она свое душевное бессилие и<sup>321</sup> сердечную пустоту...

---

<sup>309</sup> Она ~ одна вписано над и рядом с зачеркнутым: Уехала и Софья к себе одна. — Перед этим (наверху страницы) написано карандашом и зачеркнуто чернилами: 1-й способ окончания 1-ой главы.

<sup>310</sup> перед Не отвечая зачеркнуто: Софья; далее вписано над строкой и зачеркнуто: даже

<sup>311</sup> и написано после того же зачеркнутого

<sup>312</sup> Софья вписано над строкой

<sup>313</sup> далее зачеркнуто: Она не была утомлена; и

<sup>314</sup> далее зачеркнуто: которые

<sup>315</sup> вписано над строкой

<sup>316</sup> вписано над строкой

<sup>317</sup> вписано над строкой

<sup>318</sup> вписано над строкой

<sup>319</sup> было: которыми были полны луга (на вписано над зачеркнутым)

<sup>320</sup> без ~ воли вписано карандашом над зачеркнутым: физически

<sup>321</sup> далее зачеркнуто: свою

Перед нею, близко, на красиво убранном письменном столе ее, где каждая вещь была воспоминанием и символом драгоценного прошлого,<sup>322</sup> — стоял в изящной резной рамке его портрет...

Акварель была дорогая; — писал ее настоящий художник. Александр не любит никакой простоты; он терпеть не может быть «un homme comme tout le monde». — И вот он<sup>323</sup> велел написать себя не в мундире и<sup>324</sup> не в военном пальто; — а в голубой шелковой русской рубашке и сверху накинут какой-то светло-коричневый арабский бурнус.<sup>325</sup> — Она таким не рез видала его на Южном берегу, когда гостила у него... Три года! Всего только три года тому назад...

Вот<sup>326</sup> его голубые глаза и добрые и хитрые немного... (Он — хитер; он, конечно, гораздо хитрее меня<sup>327</sup>); — румянец нежный, не грубый — а только свежий и молодой; — знакомый<sup>328</sup> рыжеватый, иногда даже красный отлив волос и<sup>329</sup> небольшой бороды, аккуратно пробритой по-военному на подбородке; — усы небольшие, молодые, молодцовато подкручены кверху... Сколько фатовства и легкости в характере<sup>330</sup> и<sup>331</sup> какой серьезный ум! — Сколь-

---

<sup>322</sup> драгоценн(ого) прошлого *вписано над зачеркнутым*: хорошего прошедшего

<sup>323</sup> Акварель ~ И вот он — *данный фрагмент написан на отдельном листе и начинается зачеркнутой строкой*: Портрет был прекрасный, — он писан (*перед этим два знака вставки и написано*: Портрет)

<sup>324</sup> *вписано над строкой*

<sup>325</sup> какой-то ~ бурнус *вписано слева на полях вместо зачеркнутого*: такой белый бумажный (хал(ат))бурнус, которые употребляют на Юге для купанья; с башлыко(м), ворсом и красной, узорчатой каймой по краям... — *над первой из зачеркнутых строк вписано карандашом и зачеркнуто*: какой-то арабский корич(невый)

<sup>326</sup> *перед* Вот *зачеркнуто* Да!

<sup>327</sup> *исправлено, было*: ея

<sup>328</sup> *далее начато и зачеркнуто*: от(лив)

<sup>329</sup> *далее начато и зачеркнуто*: боро(ды)

<sup>330</sup> и легкости в характере *вписано над строкой*

<sup>331</sup> *далее зачеркнуто*: сколько

ко утонченной доброты и сколько откровенного эгоизма — сколько слабостей и как много упорства, когда он находит это нужным. — Да я могу<sup>332</sup> моим выбором гордиться! *Ce n'est pas un homme comme tout le monde!* Но и только. — Было время когда я и собой начала было гордиться.<sup>333</sup> —

Давно ли это<sup>334</sup> было! —

Давно ли он влюбленный<sup>335</sup> катался со мной в санях в сумерки<sup>336</sup> по набережной Невы<sup>337</sup> — и сочинял акростихи на мое имя:

Слиянье странное и мрака и лазури, —  
Отваги дерзостной и грусти молодой —  
Надломл(енный) цветок порывом ранней бури  
Я с грустью нежною люблюя тобой...

Он написал этот<sup>338</sup> акростих<sup>339</sup> в тот год,<sup>340</sup> в который писали с него и этот самый<sup>341</sup> портрет, — в то незабвенное, неземное, волшебное время, когда они были так влюблены друг в друга. — И точно<sup>342</sup> — он сам понимал, что будет значить всегда<sup>343</sup> для них обоих этот год и сам<sup>344</sup> своим крупным четким<sup>345</sup> и косым почерком написал внизу — «Александр Матвеев; 71<sup>346</sup>». — Когда он прислал

---

<sup>332</sup> далее зачеркнуто: им

<sup>333</sup> Но ~ гордиться. — вписано между и возле строк, обведено написанное карандашом (заканчивалось: когда я и собой гордилась. —)

<sup>334</sup> далее зачеркнуто: все

<sup>335</sup> влюбленный вписано над строкой

<sup>336</sup> в сумерки вписано над зачеркнутым: в П(етербурге)

<sup>337</sup> далее зачеркнуто: и сочинял такие стихи

<sup>338</sup> Он написал этот вписано над зачеркнутым: прелестный

<sup>339</sup> далее зачеркнуто: именно в то время

<sup>340</sup> далее зачеркнуто: к

<sup>341</sup> над строкой вписано и зачеркнуто карандашом: красивый

<sup>342</sup> И точно — вписано над строкой

<sup>343</sup> вписано над строкой

<sup>344</sup> вписано над строкой

<sup>345</sup> вписано над строкой

<sup>346</sup> было: 68

ей этот акростих (он, который дотоле любовных<sup>347</sup> стихов никогда на писал<sup>348</sup>), — она воскликнула про себя: «Да — что же это за человек!.. Он все может... Это бог какой-то!»<sup>349</sup>

И она<sup>350</sup> — она<sup>351</sup> бездарная, неспособная ни к поэзии, ни к живописи, ни к музыке, — напрасно<sup>352</sup> мечтавшая тогда в угоду ему стать хоть<sup>353</sup> трагической актрисой — она ответила ему так:

Я не стою этого. —  
Твоя Соня!  
Твоя Соня  
Твоя Соня  
Твоя Соня...

Вот мой акростих — лучше<sup>354</sup> не умею! —<sup>355</sup>

А<sup>356</sup> теперь? Теперь он живет на чужбине с богатой и светской молодой женой; — живет — во вкусе маркизов XVIII века; — или Черныш (евского) в романе «Что делать».<sup>357</sup> Жена свободна и он тоже... Мораль у них од-

---

<sup>347</sup> вписано над строкой

<sup>348</sup> далее зачеркнуто: а только шуточные; над этим зачеркнуто написанное карандашом и обведенное: и не умел

<sup>349</sup> какой-то вписано карандашом под зачеркнутым: и

<sup>350</sup> в начале строки первоначально было: И она; затем И исправлено на А; затем поверх написано Соня; обведено И она; далее вписано над строкой карандашом, обведено и зачеркнуто: тогда

<sup>351</sup> вставка

<sup>352</sup> вписано над строкой

<sup>353</sup> вписано над строкой

<sup>354</sup> далее зачеркнуто: выразить

<sup>355</sup> далее в новой строке зачеркнуто: А теперь? от слов Он написал до этого места написано на отдельном листе, зачеркнуто, затем карандашом написано: в особый отрывок, а красными чернилами: В другое место / Это надо вставить на стр. 17/ на стр. 17. В соответствующем месте текста знак вставки и помета: см. на обороте стр. 12

<sup>356</sup> перед А знак вставки

<sup>357</sup> или ~ «Что делать» вписано справа над строкой и на полях карандашом

на — согласие и изящные<sup>358</sup> формы. — И<sup>359</sup> больше ничего!.. Они равнодушны друг к другу — и этим счастливы — как будто<sup>360</sup>. —

— Да, с него довольно; у него есть честолюбие; — он хочет быть знаменитым<sup>361</sup> военным, ученым стратегом, как он иногда<sup>362</sup> выражается... А я?... У меня что?...<sup>363</sup> Новый путь? — Одиночество? Свобода, сказал бы Александр. — А на что мне свобода... На что она мне...

— Ах, если бы возможно<sup>364</sup> было немного, хоть немного<sup>365</sup> остыть к нему; если бы возможно было любить его так же ровно и покойно одной дружбой<sup>366</sup>, как любит он ее теперь и как любил прежде, когда не знал и не догады(вался)<sup>367</sup> о страсти ее...

Когда бы угасла в ней<sup>368</sup> вовсе эта страсть! —

---

<sup>358</sup> изящ(ные) *вписано карандашом над строкой; в строке зачеркнуто: тонкие тонкие; над строкой зачеркнуто карандашом: утонченные*

<sup>359</sup> *вставка над строкой*

<sup>360</sup> как будто *вписано карандашом над зачеркнутым: вполне. — Далее зачеркнуто карандашом: Он сам говорит: «человек должен уметь быть счастливым... Надо жить... А придет смерть, ну тогда — как в песне говорится — умирать будем»... И как он это говорил, как он это говорил: «умирать будем!»... И еще прибавлял, дурачась, по француз(ски): S'il faut périr? — perons; s'il faut mourir — mourissons!.. Я раз сказала ему на (это) такие речи: «Это правда, — если никого сильно не любить»... А он сказал: «Я в первой молодости — 26 лет поплакал от такой любви... Довольно с меня. —*

<sup>361</sup> у него ~ знаменитым *вписано над зачеркнутым: а я? — Я Какая у меня теперь цель?..*

<sup>362</sup> *вставка*

<sup>363</sup> У меня что?... *вписано над зачеркнутым: У меня какая*

<sup>364</sup> — Ах! если *вписано карандашом и обведено; возмож(но) вписано над строкой; было: — Но если бы можно Над этим карандашом зачеркнуто: Прав был отец, говоря, что она любить умеет —*

<sup>365</sup> хоть немного *вписано над строкой (хоть написано карандашом)*

<sup>366</sup> одной дружбой *вписано карандашом и обведено*

<sup>367</sup> и не догады(вался) *вписано над зачеркнутым: , что*

<sup>368</sup> в ней *вписано карандашом и обведено*

Молиться<sup>369</sup> она не умеет. — Она крестится для приличия только<sup>370</sup> при других... На могиле она крестилась. — А здесь — одна не может! Кого она обманет? —<sup>371</sup>

— Ах, если бы возможно было верить и молиться...

Но<sup>372</sup> этому не учил ее никто; ни отец, ни он...

В Мiродержавную, Единую, правящую силу — и она, положим<sup>373</sup>, верила, когда случайно<sup>374</sup> мыслила о тайнах<sup>375</sup> жизни и творения, — она не понимала<sup>376</sup> безбожия отца,<sup>377</sup> — но ждать помощи от этой Силы, прибегать к ней с любовью, верою и страхом — она не умела, не привыкла...<sup>378</sup>

В углу, в дедовском<sup>379</sup> киоте, был большой<sup>380</sup> темный и суровый образ Спаса, в серебря(ном) окладе. — Софья<sup>381</sup> хранила почтительно и бережно<sup>382</sup> все родовые иконы —<sup>383</sup> и признательн(ость) деду как будто и на иконы эти бросала теплый<sup>384</sup> луч ее души... Но она никогда не молилась на них и даже боялась на них внимательно и долго<sup>385</sup> глядеть. —

---

<sup>369</sup> далее карандашом зачеркнуто вставка: в сердце своем

<sup>370</sup> только вписано карандашом

<sup>371</sup> На могиле ~ не может! Кого вписано карандашом и частично обведено; она обманет вписано чернилами

<sup>372</sup> далее зачеркнуто: ее

<sup>373</sup> вставка карандашом

<sup>374</sup> вставка

<sup>375</sup> тайнах вписано карандашом и обведено

<sup>376</sup> далее зачеркнуто: полн(ого) (?)

<sup>377</sup> она ~ отца вписано над строкой карандашом

<sup>378</sup> умела, не привыкла... вписано карандашом над зачеркнутым: привыкла

<sup>379</sup> вставка

<sup>380</sup> вставка

<sup>381</sup> далее зачеркнуто: никогда

<sup>382</sup> почтитель(но) и береж(но) вставка

<sup>383</sup> далее зачеркнуто: с любовью

<sup>384</sup> вставка

<sup>385</sup> и долго вставка

Ей казалось, что очи Спасителя, Богоматери и Святых с укором и жалостью глядели на нее. —

Она находила это чувство глупым, тщательно скрывала его от всех — но победить его не могла...

Но<sup>386</sup> в этот день сиротства<sup>387</sup> и одиночества — она захотела больше<sup>388</sup> всмотреться в темный и таинственный<sup>389</sup> лик...

Смотрела, смотрела и, наконец — встала с дивана и<sup>390</sup> воскликнула громко, вслух — и простирая<sup>391</sup> руки к образам<sup>392</sup> —

— Боже мой, если ты в самом деле *есть!* Если ты правда — Бог... Помоги мне верить... Пошли мне веру в тебя!.. и охлади во мне остаток мучительной<sup>393</sup> страсти к этому человеку... И<sup>394</sup> ему моя страсть не нужна... Она и ему была бы теперь только бременем и горем, если бы мы опять на долго встретились...

Боже! Боже, помоги мне...

---

<sup>386</sup> *перед* Но *зачеркнуто*: И

<sup>387</sup> *далее зачеркнуто*: и беспомощности

<sup>388</sup> *вставка*

<sup>389</sup> и таинственный *вставка*

<sup>390</sup> встала с дивана и *вписано карандашом*

<sup>391</sup> *далее зачеркнуто*: к нему

<sup>392</sup> к образам — *вписано карандашом*; *было*: простирая к нему руки...

<sup>393</sup> мучитель(ной) *вписано над строкой после зачеркнутой вставки*: нестерп(имой)

<sup>394</sup> *вставка*

## II

На другой день после похорон отца Софья проснулась в обыкновенное время. — Она чувствовала себя довольно<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *вписано над зачеркнутым*: очень

бодрой<sup>2</sup>; но<sup>3</sup> была очень смущена<sup>4</sup>. — Ей хотелось бы отдохнуть душой и одуматься; — но от практических дел<sup>5</sup> нельзя было совсем<sup>6</sup> отказаться: отец был прав говоря, что ей будет трудно<sup>7</sup>. — Она предвидела разные затруднения по хозяйству; понимала, что некоторые из кредиторов отца, щадившие его по старому знакомству, теперь, узнавши о смерти его<sup>8</sup>, накинутся на нее безжалостно. — Но больше всего она опасалась того дяди, отцовского брата Семена Николаевича, о котором покойник<sup>9</sup> тоже упомянул, умирая<sup>10</sup>. —

Она должна была по завещанию деда<sup>11</sup> Петра Васильевича Львова именно в этот год уплатить ему — сполна все, что<sup>12</sup> приходилось на его долю. —<sup>13</sup>

Заплатить<sup>14</sup>, конечно, надо; — но у нее теперь таких денег не было. — О<sup>15</sup> новых земельных Банках она ясно-го<sup>16</sup> понятия не имела и боялась их; — ей представлялось,

---

<sup>2</sup> далее зачеркнуто карандашом: и пила чай как всегда с удовольствием

<sup>3</sup> далее зачеркнуто: она

<sup>4</sup> далее зачеркнуто: и озабочена

<sup>5</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: забот

<sup>6</sup> вписано над зачеркнутым: вполне

<sup>7</sup> было: у нее будут трудные дела

<sup>8</sup> узнавши ~ его вписано над строкой

<sup>9</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: отец

<sup>10</sup> умирая было зачеркнуто карандашом, потом зачеркивание отменено

<sup>11</sup> далее начато и зачеркнуто: уплатить имя деда вписано над строкой

<sup>12</sup> далее зачеркнуто: ему

<sup>13</sup> здесь зачеркнуто начало карандашной вставки на полях: Его был(о?)

<sup>14</sup> перед Заплатить зачеркнуто: Плати(ть) выше стоит знак вставки, возможно, к этому месту относился черновой отрывок о завещании деда, помещенный нами в соответствующее место повести (см. с. 493—497).

<sup>15</sup> далее было начато: б(анках)

<sup>16</sup> вставка



что стоит только связаться<sup>17</sup> с ними, — и имение непременно погибло. — А довести до продажи<sup>18</sup> Куреево, заветное Куреево это, где все<sup>19</sup> говорит о нем, где даже этот огромный серебристый тополь на<sup>20</sup> зеленом дворе посажен в год его рождения, — довести Куреево до продажи в неизвестные руки — это казалось ей отвратительным преступлением. — Можно было, конечно, начать дело о выкупе крестьян, лишиться оброка; но срок уплаты по завещанию уже близко; а дело с выкупом продлится долго; она слышала это от отца. — Кто в Петербурге позаботится ускорить его!..

Семен<sup>21</sup> Николаевич, она знает это<sup>22</sup> по последнему письму его к покойному отцу, гостит теперь близко у своих знакомых в Вяземском уезде —<sup>23</sup> узнает, что отец скончался, придет в Куреево сам и наговорит ей невозможных дерзостей... Он под старость стал совсем как животное; сдержан с теми только, кого боится. —<sup>24</sup>

Что делать? Это ужасно! — Узнает и придет вдруг сам!<sup>25</sup>

Она знала как он ее ненавидит; — слышала от людей<sup>26</sup>, что он за глаза иначе не зовет ее как «фурия» и «нравственный урод» — потому что она в Петербурге, правда,

---

<sup>17</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>18</sup> до продажи вписано над зачеркнутым: до

<sup>19</sup> далее начато и зачеркнуто: ды(шит)

<sup>20</sup> вписано над зачеркнутым: среди было: среди зеленого двора

<sup>21</sup> перед Семен зачеркнута вставка: Дядя

<sup>22</sup> вставка

<sup>23</sup> далее зачеркнуто: узна(ет) скрыть от него смерть отца невозможно; да и бессовестно было бы молчать —

<sup>24</sup> далее зачеркнуто: Но ведь он человек; человек уж старый, пятидесяти двух лет; — одинокий, (вечно в нужде,) привычный к мотовству и роскоши;... и под старость в безвыходной нужде... Он (и Вас(?)) она знает, Куреево любил; и он в нем рос; — и он играл тут; бегал ребенком по этим аллеям, к(ак)

<sup>25</sup> в новой строке зачеркнуто: Когда Софья воображала

<sup>26</sup> слышала от людей вписано над зачеркнутым: знала

беспощадно грубила ему, защищая Александра и память деда, противу<sup>27</sup> его ругательств...

И когда она думала<sup>28</sup>, что вот-вот он приедет... и приедет правый; с основательными требованиями, которые<sup>29</sup> она тотчас удовлетворить не может... Когда она воображала себе его смуглое немного<sup>30</sup> широкое, когда-то красивое лицо; его мешки под угрюмыми и усталыми глазами; его морщины, его крашенные черной краской волосы и усы, которые отливали иногда<sup>31</sup> во что-то зеленоватое;... его жесты, — округленные какие-то<sup>32</sup> жесты прежнего московс(кого)<sup>33</sup> льва второй руки; его оскорбительные<sup>34</sup> речи... Ей хотелось плакать<sup>35</sup> то от жалости, то от бессильного гнева, то от страха за свой покой. —

Намучившись вдоволь, она решила так: «Надо<sup>36</sup> написать ему сейчас повежливее; что делать! — Надо написать теперь же Александру. — Остальным, кому велел отец — до завтра. — Сегодня не могу; — всем им надо писать одно и то же; описывать болезнь отца, его страдания... Нет — теперь это сверх сил моих!.. А как только кончу эти два письма, так — в Еремино. — Мне кажется, что со вчерашнего вечера целый год прошел... Боже, как я люблю теперь<sup>37</sup> эту Зинаиду... И какая она отрада и опора...<sup>38</sup> Я бы с ума сошла без нее...»

---

<sup>27</sup> перед противу зачеркнуто: от его

<sup>28</sup> вписано над зачеркнутым: воображала

<sup>29</sup> исправлено, было: которым

<sup>30</sup> вставка

<sup>31</sup> вставка

<sup>32</sup> вставка

<sup>33</sup> вставка

<sup>34</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>35</sup> далее зачеркнуто: от

<sup>36</sup> перед Надо было начато: В

<sup>37</sup> вставка

<sup>38</sup> далее зачеркнуто: Что бы

Одна мысль об Еремине привела ее в восторг и едва она вспомнила о том,<sup>39</sup> как она поскачет туда в своей колясочке и как сбегут ей навстречу с крыльца все барышни, сестры Зины и как она увидит худую, бледную<sup>40</sup> старушку с хитрыми глазами и с чулком в руке на садовом балконе в креслах; — так сейчас же явилась<sup>41</sup> и легкость сердца и<sup>42</sup> даже бодрость делом заняться...

Села; написала дяде Семену учтивое письмо; умоляла его не беспокоиться; уверяла, что займется<sup>43</sup> безотлагательно делом крестьянского<sup>44</sup> выкупа; и<sup>45</sup> ему же будет лучше; — тогда он получит всю сумму разом. Она только скрыла от него, что прежде всего напишет об этом<sup>46</sup> Александру Петровичу Матвееву<sup>47</sup>, ибо не считает себя по совести<sup>48</sup> вправе решаться на что-нибудь важное по имению без его согласия. — Софья<sup>49</sup> не только<sup>50</sup> не любила<sup>51</sup> лгать, но и просто<sup>52</sup> скрывать из расчетов<sup>53</sup> какую-нибудь правду ей было тяжело. — Она с тревогой и скорбью думала о том, что Алек(сандр) Петр(ович) быть может еще и задержит это дело; — он иногда весьма своенравен; — и<sup>54</sup>

---

<sup>39</sup> привела ~ о том вписано над зачеркнутым: и о том и над зачеркнутой вставкой: о том

<sup>40</sup> худую, бледную вставка

<sup>41</sup> далее зачеркнуто: и бодрость

<sup>42</sup> далее зачеркнуто: охота заняться делом охота над строкой зачеркнуто: даже; далее вписано: даже бодрость делом

<sup>43</sup> далее начато и зачеркнуто: в ск(орости)

<sup>44</sup> вписано над зачеркнутым: о выкупе крестьян —

<sup>45</sup> далее зачеркнуто: если

<sup>46</sup> далее зачеркнута вставка: в Вен(у)

<sup>47</sup> описка: в автографе Матвеева

<sup>48</sup> по совести вставка

<sup>49</sup> перед Софья зачеркнуто: Она

<sup>50</sup> не только вписано над зачеркнутым: ужасно

<sup>51</sup> далее зачеркнуто: не

<sup>52</sup> вставка

<sup>53</sup> из расчетов вставка

<sup>54</sup> перед и зачеркнуто: но

чувствовала что лгала<sup>55</sup> уверяя дядю Семена будто окончить все это скоро<sup>56</sup> зависит от нее одной; — но — делать было нечего. — Надо было и себя от дерзостей пока как-нибудь оградить! —

Окончивши это письмо Софья написала Александру так:<sup>57</sup>

«Третьего дня<sup>58</sup> двадцать второго Июня,<sup>59</sup> — отец мой, после нескольких дней ужасных страданий — умер. — Сегодня его похоронили. — Прости мне, — что я не могу больше ничего писать. — Ты сам поймешь, что я должна чувствовать. — Он велел известить тебя»...<sup>60</sup>

Она подумала еще, поколебалась и потом<sup>61</sup> прибавила: «Надеяться на то, что ты приедешь сюда по этому случаю; — я не смею. — Но ты должен также понять, — как бы мне теперь было дорого твое присутствие. —

Твоя Софья». —

Она выставила число и месяц. — Но воззвания в начале письма не написала никакого; — обыкновенно она начинала свои к нему письма так: «Друг мой»; а иногда даже «милый, милый мой друг!..» —

На этот раз ей не хотелось даже и просто другом его назвать; ей хотелось написать ему<sup>62</sup> как можно суше. — Она была убеждена, что<sup>63</sup> отец был прав говоря перед смертью: «Ему все равно: — пожалуй — и рад будет!» —

---

<sup>55</sup> вставка

<sup>56</sup> окончить все это скоро вписано над зачеркнутым: это все от нее одной

<sup>57</sup> далее на новой странице зачеркнуто: Дней шесть тому назад —,

<sup>58</sup> Третьего дня вставка

<sup>59</sup> далее зачеркнуто: (дн(ей) шесть дней тому назад)

<sup>60</sup> далее зачеркнуто: Надеяться, что

<sup>61</sup> вставка

<sup>62</sup> отменено подчеркивание

<sup>63</sup> далее карандашом зачеркнута вставка: бедный

— Боже!<sup>64</sup> Как самые добрые и благородные люди способны<sup>65</sup> к жестоким чувствам! Чем мешал ему отец? — Не понимаю — но чувствую, что отец угадал!.. Не могут два человека, как бы ни были согласны во мнени(ях); чувствовать совсем одно и то же. —

Она<sup>66</sup> перечла письмо еще раз; нашла, что прибавка о желании видеть его здесь не нужна;<sup>67</sup> разорвала и написала второе<sup>68</sup> точь-в-точь такое же;<sup>69</sup> короткое, сухое и<sup>70</sup> без этой<sup>71</sup> прибавки<sup>72</sup>. — Потом написала еще, что она просто умоляет разрешить ей кончить скорее выкупную операцию для<sup>73</sup> окончания расчетов с Семен(ом) Николаев(ичем), потому что он в крайней нужде.<sup>74</sup> — Запечатала и написала по-русски и по-французски<sup>75</sup>: «В Австрию; в Вену. — В Русское Посольство. — Е(го) В(ысокоблагородию) Александру Петровичу Матвееву — Г. Русскому Военному агенту». —

После этого ей стало много<sup>76</sup> легче. —<sup>77</sup> Она вышла,<sup>78</sup> сказала горничной своей, чтобы<sup>79</sup> пролетка парой была готова к четырем часам ехать в Еремино; — а пока, до

---

<sup>64</sup> далее зачеркнуто: Чем

<sup>65</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>66</sup> вставка; далее исправлена строчная на прописную П

<sup>67</sup> нашла ~ не нужна; вписано над строкой

<sup>68</sup> далее зачеркнута вставка: сначала

<sup>69</sup> далее зачеркнуто начало вставки: сн(ачала)

<sup>70</sup> короткое, сухое и вписано над зачеркнутым: но

<sup>71</sup> вставка под строкой

<sup>72</sup> далее зачеркнуто: об ее желании видеть его здесь. —

<sup>73</sup> далее начато и зачеркнуто: ра(счетов)

<sup>74</sup> предложение вписано между строк и над зачеркнутой строкой: И это слишком нежно, подумала

<sup>75</sup> по русски и по французски вставка

<sup>76</sup> вставка

<sup>77</sup> далее зачеркнуто: остальные письма писать она отложила; и опять загляделась в окно и задумалась глубоко... Следующее предложение — вставка на полях

<sup>78</sup> далее зачеркнуто: велела

<sup>79</sup> далее начато и зачеркнуто: кол(яска)

обеда, чтобы ее оставили в покое и ни о каких делах<sup>80</sup> не докладывали бы ей. —

Она заперлась в своей красиво убранной комнате на ключ и<sup>81</sup> села снова<sup>82</sup> к письменному столу своему<sup>83</sup> у окна. — Из этого окна был прекрасный широкий вид на поля, пригорки, извилистые вершинки и веселые рошцы; — движение людей — по дороге,<sup>84</sup> или на полях было видно только издали. —

Этот вид всегда действовал на душу Софьи успокоительно... Звуков, кроме пения и<sup>85</sup> щебетания птиц на дворе и в саду не было слышно никаких... И Софья погрузилась надолго<sup>86</sup> в глубокую думу...

— На что я<sup>87</sup> теперь нужна? Кому?.. Отец<sup>88</sup> жил и дышал для меня<sup>89</sup>. — Его нет. — Я<sup>90</sup> была готова жить и дышать для Александра. — Но<sup>91</sup> ему я<sup>92</sup> теперь почти что не нужна... На что я<sup>93</sup> ему? — На что? —<sup>94</sup> Ему 36 лет, а<sup>95</sup> мне на десять, положим, меньше; — но ведь он характером был всегда легче и моложе меня<sup>96</sup>... Он так и дышит жизнью;.. честолюбием; тщеславием прямым, откровенным и веселым... А я! А я?!.. Да во мне искры, тени молодости уж нет... Я оттого и Еремино полюбила, что эти

---

80 *далее зачеркнуто: бы*

81 *и вписано поверх точки с запятой*

82 *вписано над зачеркнутым: у п(исьменного)*

83 *далее зачеркнуто: и (погр(узилась)*

84 *исправлено, было: по дорогам, перед этим зачеркнуто: было*

85 *пения и вставка*

86 *вставка*

87 *вписано над зачеркнутым: она*

88 *далее начато и зачеркнуто: ды(шал)*

89 *вписано над зачеркнутым: нея*

90 *вписано над зачеркнутым: Она*

91 *далее зачеркнуто: она*

92 *вставка*

93 *вписано над зачеркнутым: она*

94 *далее зачеркнуто: Он так Это только*

95 *далее зачеркнуто: ей*

96 *вписано над зачеркнутым: ея*

девочки<sup>97</sup> одним видом своим, одн(ой) молодостью своей точно<sup>98</sup> в мои жилы<sup>99</sup> кровь вливают! И это я чувствовала еще<sup>100</sup> при бедном отце;... когда я знала, что я тоже в его жилы кровь вливаю. — А теперь, когда его зарыли? — И что<sup>101</sup> за неожиданная, бессмысленная, что за ужасная смерть... Какая все-таки ужасная и бессмысленная вещь<sup>102</sup> эта жизнь, которую Алекс(андр) Петр(ович) так страстно любит и так умеет любить и хвалить... Вот уж кто на всех, кажется,<sup>103</sup> шипах — умеет найти и розы. —

Теперь<sup>104</sup> он пишет мне<sup>105</sup> дружеские и снисходительные письма; —<sup>106</sup> рассказывает о<sup>107</sup> новых дамах, которые ему нравятся<sup>108</sup>; о своих занятиях; о своих ученых трудах по военному делу. —<sup>109</sup> Вот он не тяготится мне все это писать. — Он знает, что<sup>110</sup> я полюблю все то, что он любит,<sup>111</sup> знает, что никто не поймет его и<sup>112</sup> сердцем<sup>113</sup> и умом

97 *далее зачеркнуто: как*

98 *вставка*

99 *перед жилы зачеркнуто: кровь*

100 *вставка*

101 *И что написано после того же зачеркнутого*

102 *вписано поверх слова эта*

103 *вставка*

104 *обведенная карандашная вставка*

105 *далее зачеркнуто: теперь*

106 *далее зачеркнуто: они*

107 *далее зачеркнуто: своих*

108 *о (своих) ~ нравятся вписано над строкой, в которой после рассказыва(ет) зачеркнуто: о*

109 *о своих ~ делу вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: о новых сочинениях, которые он решил наконец начать для оправдания войны в принципе. — Он пишет мне, что давно возмущается тем, (что) как это никто из русских образов(анных) военных не решится написать книгу об этом и как вообще в России люди не смелы умом. — Делают многое хорошо и смело; — мыслят — робко и —*

110 *далее зачеркнуто: я не изменю ему никогда в сердце моем*

111 *далее зачеркнуто: что*

112 *вставка*

113 *далее начато и зачеркнуто: т(ак)*

так как я. — Не с женой<sup>114</sup> своей он будет позволять себе все эти излияния.... Она никогда с ним серьезно<sup>115</sup> не ссорится; но разве я не слыхала столько раз ее любимого выражения... «Après-tout<sup>116</sup> — cela m'est indifferant!» Фарфоровая статуэтка<sup>117</sup>; изящная; надменная; непонятная даже. — Нельзя, например,<sup>118</sup> понять глупа она или умна. — Скорее глупа; а все делает ловко, спокойно и красиво даже... И как хороша ее походка, как несмотря на небольшой рост, она полна достоинства и даже чуть-чуть не<sup>119</sup> величия! — И<sup>120</sup> как красив у нее этот белокурый<sup>121</sup> хохолок на лбу немножко набок...

Но сердца нет у нее; и ему, видно<sup>122</sup>, так легче... Не понимаю<sup>123</sup>!.. Я не могла бы так жить!.. — Я доказала, к несчастью, на деле, что не могу...<sup>124</sup> И какой ценой доказала!..<sup>125</sup> Она ссорилась с женой его<sup>126</sup> без всякого повода с ее стороны, говорила ей самые<sup>127</sup> ужасные, неприличные вещи в ее доме. — И та простила ей<sup>128</sup>, подавила ее своим великодушием и он писал ей тогда: «Поведение твое в моем доме было так глупо, так для меня неожиданно, что только глуб(окая)<sup>129</sup>

---

<sup>114</sup> исправлено, было: Не жене

<sup>115</sup> вставка

<sup>116</sup> перед этим зачеркнуто: Алек(сандр)

<sup>117</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: куколка

<sup>118</sup> обведенная карандашная вставка

<sup>119</sup> чуть-чуть не вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: какого-то почти

<sup>120</sup> далее начато и зачеркнуто: эт(от)

<sup>121</sup> вставка

<sup>122</sup> обведенная карандашная вставка

<sup>123</sup> вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: Отвратительно!.. в карандашной вставке было: Не понимаю?!

<sup>124</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Так думала Соня

<sup>125</sup> далее зачеркнуто: Ах, Боже мой. —

<sup>126</sup> далее зачеркнута вставка: в

<sup>127</sup> вставка

<sup>128</sup> простила ей вставка

<sup>129</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова с опиской



моя привязанность к тебе побеждает всю силу моего презрения». — Каково это пережить? —<sup>130</sup>

Так думала Соня,<sup>131</sup> глядя то на широкий вид из окон...<sup>132</sup> то на стены<sup>133</sup> и стол свой, где каждая вещица, каждый портрет, каждая картинка напоминали ей что-нибудь из прошлой жизни с ним, и с отцом... Она вставала; ходила; говорила даже громко: «Нет, скажите, каково это женщине пережить!»<sup>134</sup>; опять садилась и опять думала и думала без конца. Она<sup>135</sup> повторяла<sup>136</sup> себе, что все-таки<sup>137</sup> не имеет права осуждать<sup>138</sup> Александра...<sup>139</sup> Все что он обещал ей он испол(нил). —<sup>140</sup> Чего не исполнил, того не обещал. — Дружбе он не изменил; а любовь, та любовь, которой она добивалась — это разве в воле человека? —<sup>141</sup> Это вдохновение, безумие; — оно прошло. —

---

<sup>130</sup> И какой ~ пережить? — вписано между строк и на полях

<sup>131</sup> далее зачеркнуто: сидя у стола своего неподвижно и не сводя глаз в запертой комнате и

<sup>132</sup> широкий вид из окон вписано над тем же зачеркнутым

<sup>133</sup> далее зачеркнуто: св

<sup>134</sup> говорила ~ пережить! вписано над строкой

<sup>135</sup> перед Она начато и зачеркнуто: К

<sup>136</sup> вписано над зачеркнутым: говорила

<sup>137</sup> вставка

<sup>138</sup> вписано над зачеркнутым: строго судить

<sup>139</sup> далее до слов не обещал. — вставка, написанная карандашом на обороте другого листа, не вошедшая в копию; перед Все зачеркнуто: Он

Здесь же зачеркнут вариант этой вставки: Она и не хотела и не могла строго судить его... Он ей казался таким высоким и даровитым... Он имел столько прав в ее глазах. — Но ей-то, ей-то что осталось теперь. —

<sup>140</sup> далее во вставке зачеркнуто: Имение дол(жно) было после деда дост(аться) ему только с друг(им) ее дядей Семен(ом), млад(шим) брато(м) отца. — Алек(сандр) отказал(ся) от своей доли с тем, чтобы оно было завещ(ано) Софье.

<sup>141</sup> далее следовала вставка — предложение, вписанное карандашом и позднее стертное

И как ей<sup>142</sup> строго судить Александра<sup>143</sup>, когда она всем лучшим в жизни обязана ему, а не кому-нибудь другому.... Все что только было в жизни ее поэтического, высокого, истинно<sup>144</sup> веселого или<sup>145</sup> страстного, — или умного — он ей дал и никто — больше. — Отец — не мог ни в чем этом<sup>146</sup> равняться с ним и сам он говорил<sup>147</sup> не раз: «Я понимаю, что не могу иметь на женщину того влияния, какое может<sup>148</sup> иметь Алек(сандр)<sup>149</sup>. — Я слишком сух для этого!» —<sup>150</sup>

И вот вдруг Софья, после стольких<sup>151</sup> тяжелых чувств, после стольких — дорогих воспоминаний о минутах невозвратного блаженства и любви; о зимнем<sup>152</sup> солнеч(ном) закате за Невою, о шумящем синем море<sup>153</sup> у пышных скал Орианды, где они гуляли вместе с ним, — о<sup>154</sup> фарфор(овой) куколке с хохолком набок, которая так важно ходит и говорит, подергивая кверху головой: «après tout cela m'est indifférent», — после взглядов на его красивый портрет в голубом шелку,... который так шел к нему — после всего этого ей вспомнилось нечто глупое и жалкое — ...

Ей представилась<sup>155</sup> одна бедная<sup>156</sup> вдова диакона, которая ездила по помещикам и выпрашив(ала) себе что-ни-

<sup>142</sup> далее вставлено карандашом и стерто слово; в копию не вошло

<sup>143</sup> вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: его

<sup>144</sup> вставка

<sup>145</sup> вставка

<sup>146</sup> ни в чем это(м) вписано карандашом

<sup>147</sup> он говорил вписано карандашом над зачеркнутым: говорил

<sup>148</sup> вставка

<sup>149</sup> далее зачеркнуто: Петр(ович)

<sup>150</sup> далее от слов И вот вдруг до а это так... было зачеркнуто, затем зачеркивание отменено

<sup>151</sup> далее зачеркнуто: красивых предметов, —

<sup>152</sup> вставка

<sup>153</sup> далее зачеркнуто: около

<sup>154</sup> далее зачеркнуто: красивой

<sup>155</sup> далее зачеркнуто: она

<sup>156</sup> вставка

будь. — Она не<sup>157</sup> раз видала ее у Судогдиных и почти всякий раз она повторяла<sup>158</sup> с чувством, качая головой и вздыхая: «Да<sup>159</sup>, не хочу я вам для праздника лгать... Вот вам свидетель Царица Небесная — вся моя жизнь передо мной как пять пальцев!» И она, указывая осторожно<sup>160</sup> на образа непреме(нно) средним, а не каким-нибудь другим пальцем, простирала перед<sup>161</sup> людьми раскрытую ладонь... «Вот она моя жизнь — как пять пальцев!» — То есть — я все помню; все прекрасно помню в несчаст(ной) жизни моей. — И у нее начинал всякий раз подбородок дергаться и слезы текли...

Софья жалела ее и давала ей когда три рубля,<sup>162</sup> когда пять,<sup>163</sup> а раз и платьё<sup>164</sup> подарила новое; но не могла не смеяться, когда барышни Судогдины представ(ляли) диаконницу: средний палец к образам и — вся<sup>165</sup> моя жизнь как пять пальцев и подбородок. — Одна из младших Судог(диных), Оля<sup>166</sup> — прекрасно это представляла. — И они все смеялись; — а теперь и ей хочется сказать:<sup>167</sup> «Да и моя жизнь вся<sup>168</sup> передо мной как пять пальцев»... И<sup>169</sup> она долго даже<sup>170</sup> не могла освободиться от этого глупого и смешного оборота мыслей... «Жизнь моя передо мной как пять пальцев». — Глупо! Глупо! Очень<sup>171</sup> глупо; а это так...

157 не вписано над зачеркнутым: раза два, или

158 далее зачеркнуто: со сл(езами)

159 исправлено, было: В

160 вставка

161 далее начато и зачеркнуто: сл(ушателями)

162 далее зачеркнуто: а

163 далее зачеркнуто: когда

164 далее начато и зачеркнуто: шер(стяное)

165 и вписано карандашом поверх точки с запятой; вся исправлено, было: и

166 вставка

167 далее и исправлено на тире

168 вставка

169 далее зачеркнуто: даже

170 долго даже вставка

171 вставка

Что видела, что знала она в жизни до встречи с Александром (дром)... Мрачно, сухо, пусто, жалко, и ничтожно...

Отца<sup>172</sup> в детстве она не только боялась и<sup>173</sup> не любила: она почти ненавидела его за то, что мать, которую она помнила, часто плакала от него; а он на нее кричал за что-то... Один раз мать лежала больная на диване; а он должно быть<sup>174</sup> ударил ее и мать сказала<sup>175</sup>:

— За что ты, Сергей, бьешь меня...

И<sup>176</sup> начала горько плакать... А Соня от жалости забыла страх<sup>177</sup>, вбежала в комнату и бросилась к матери. — Отец нахмурился и ушел. —

Позднее<sup>178</sup> после смерти матери<sup>179</sup> она узнала от<sup>180</sup> знакомых людей, что мать была много виновата сама; что и она была лжива, фальшива — обманывала отца всячески и сопротивлялась ему в ненужных мелочах... И<sup>181</sup> это неожиданное<sup>182</sup> и позднее открытие было для Сони очень тяжело. —<sup>183</sup> До тех пор было по крайней мере ясно в сердце: — отец тиран, а<sup>184</sup> мать кроткая жертва, которая лежала на диване, за зеленой занавеской в той<sup>185</sup> угловой комнате, где<sup>186</sup> всегда так трогательно и мило горела лампадка перед золотой иконой; а<sup>187</sup> теперь — люди говорят — отец неутомимый работник на семью; а мать была ему во всем

172 перед Отца зачеркнуто: В детстве

173 боялась и вставка

174 должно быть вставка

175 вписано над зачеркнутым: закрич(ала)

176 далее начато и зачеркнуто: за(плакала)

177 далее зачеркнуто: и

178 перед Позднее зачеркнуто: Мож П

179 после смерти матери вставка

180 далее зачеркнуто: не

181 далее зачеркнуто: она

182 далее зачеркнуто: для нее

183 далее зачеркнуто: Она

184 отец тиран а вставка

185 вставка

186 далее зачеркнуто: горела

187 вставка

помеха и видимо<sup>188</sup> глупая и фальши(вая) женщина. — Но эти воспоминания об матери были очень смутны. — Соне было только семь лет, когда мать ее умерла. — Она и<sup>189</sup> не видела ее мертвой; потому что отец отправил ее гостить на дачу к родным в это время. — Что же было потом? —

Потом было долго все то же<sup>190</sup>, до 14<sup>191</sup> лет все то же. — Они жили всё в Петербурге.<sup>192</sup> — Отец<sup>193</sup> управлял конторой богатого купца; — не было ни нужды, ни большого достатка. — Скучная квартира, где-то на Екатери(н)гофс(ком) Канале; —<sup>194</sup> лестница мрачная, — почему-то на<sup>195</sup> ней были всегда кошки; кошки худые,<sup>196</sup> дикие, робкие<sup>197</sup>... Отец нанял одну<sup>198</sup> старую немку<sup>199</sup>, вдову чиновн(ика), чтобы дочь не была одна. — Немка была ни то, ни сё; — Соня была к ней равнодушна. — Был у нее брат — на год<sup>200</sup> моложе ее; больной в ан(г)-ли(йской) болезни с раннего детства, — кривоногий, лицом не красивый,<sup>201</sup> глупый и очень<sup>202</sup> сварливый... Хорошо еще, что она могла справляться с ним, когда он на нее кидался за что-нибудь в бестолковом гневе. — Жаловаться отцу на него было невозможно; — однажды только

---

<sup>188</sup> далее карандашом подчеркнуто и зачеркнуто: крайне(?) над словом зачеркнут вопросительный знак

<sup>189</sup> вставка

<sup>190</sup> далее зачеркнуто: ; — отец

<sup>191</sup> вставка карандашом, было: до 16 (зачеркнуто в строке карандашом) до 15 (зачеркнуто карандашом во вставке)

<sup>192</sup> предложение вписано

<sup>193</sup> далее зачеркнуто: служил

<sup>194</sup> далее зачеркнуто: отец все

<sup>195</sup> на ошибочно написано два раза

<sup>196</sup> далее зачеркнута карандашная вставка: злые

<sup>197</sup> вставка карандашом

<sup>198</sup> вставка

<sup>199</sup> было: немку старую

<sup>200</sup> было: на два года

<sup>201</sup> лицом не красивый вставка

<sup>202</sup> вставка

она попробовала и закаялась.<sup>203</sup> — Отец застал ее в слезах и увидел, что на обнаженной по-детски руке ее выше локтя знак от зубов и синие пятна. — Она сказала, что брат<sup>204</sup> Дмитрий кусал<sup>205</sup> и щипал<sup>206</sup> ее очень больно. — Сказала и раскаялась. — Выразительное, строгое<sup>207</sup> лицо отца сделалось зверским; бледные щеки его внезапно вспыхнули... Он подошел к Дмитрию, схватил и несмотря на мольбы его и<sup>208</sup> слезы<sup>209</sup>, потащил в кабинет; запер дверь и долго оттуда слышались ужасные крики брата и опять неслись<sup>210</sup> мольбы о пощаде...

Немка,<sup>211</sup> которая в сердце Дмитрия любила больше чем ее, — бросив свои работы, вскочила и гневным<sup>212</sup> шопотом сказала ей: «Не хорошая вы, девушка, не хорошая, злая... Не жалеете брата... Ваш отец злой — он убьет его...»

Соня убежала в свою комнатку и рыдая<sup>213</sup> спрятала голову в подушку...

А потом —<sup>214</sup> на другой день брат Митя сказал ей:

— Мерзкая ты девчонка... Мерзкая... Пусть тебя Бог за это накажет... Чтобы тебе не было счастья в жизни твоей никогда... Не ты ли сама начала ссору...

И это была правда: она начала ссору и в гневе потом не рассудила. — С тех пор уже никогда Соня отцу на брата не жаловалась, а напротив того, всячески старалась скрывать от отца его проступки и кой-как уживалась с

---

<sup>203</sup> только ~ закаялась. — вписано карандашом над строкой

<sup>204</sup> вставка

<sup>205</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: укусил

<sup>206</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: ущипнул

<sup>207</sup> далее зачеркнуто: бледн(ое)

<sup>208</sup> его и вставка

<sup>209</sup> далее зачеркнуто: и крики

<sup>210</sup> вставка

<sup>211</sup> перед Немка начато и зачеркнуто: С далее начато зачеркнуто: бра(та)

<sup>212</sup> вставка карандашом

<sup>213</sup> вставка

<sup>214</sup> перед А потом зачеркнуто: Не все далее зачеркнуто: во

ним; но любви между ними и тени не было. — Брат<sup>215</sup> завидовал ее весу в доме, ее уму и смелости с отцом, — она брезгала безобразием и неопрятностью брата и презирала его низкий<sup>216</sup> характер. —<sup>217</sup> Он вовсе не был добр, а только<sup>218</sup> боязлив с сильными. — Перед отцом, в его присутствии, он все сидел в углу;<sup>219</sup> едва смел шевелиться; — никогда не обращался к отцу даже с самым позволительным вопросом; — и подобострастно улыбался<sup>220</sup>, если отец начинал<sup>221</sup> шутить<sup>222</sup> с нею (с Дмит(рием) он никогда не шутил; — он даже редко глядел на него; а если и<sup>223</sup> взглядывал случайно на него, то с выражением<sup>224</sup> презрения). — Подобострастный с отцом и даже и с нею, когда ждал от нее защиты или<sup>225</sup> помощи в чем-нибудь, он и с ней был груб, когда она была ему не нужна. — И немке, Шарлоте Ивановне, которая<sup>226</sup> из своего скудного жалования утешала его тихонько пирожками, папиросами и конфетами — он обращался очень скверно и даже раз сказал ей: «Ну, что вы толкуете — вы дура, это все говорят... И к тому же вы простая мещанка... Вам кухаркой надо быть, а не чиновницей...» Ш. И. хотела пожаловаться отцу; но брат<sup>227</sup> почти в ногах ее валялся, пока<sup>228</sup> она простила.

<sup>215</sup> вписано над зачеркнутым: Он

<sup>216</sup> вставка

<sup>217</sup> далее зачеркнуто: Пере В присут(ствии)

<sup>218</sup> далее зачеркнуто: роб(ел) боял(ся)

<sup>219</sup> далее зачеркнуто: или

<sup>220</sup> и подобострастно) улыбался вписано над строкой, в которой зачеркнуто: и

<sup>221</sup> вставка

<sup>222</sup> исправлено, было: шутил

<sup>223</sup> вставка

<sup>224</sup> перед выраж(ением) зачеркнуто: неудержи(мым)

<sup>225</sup> далее начато и зачеркнуто: при

<sup>226</sup> далее было: его утеш(ала); слово его ошибочно не зачеркнуто и в предложении повторяется еще раз

<sup>227</sup> вписано над зачеркнутым: он

<sup>228</sup> вписано над зачеркнутым: чтобы

Хаживал<sup>229</sup> к ним<sup>230</sup>, по праздникам, один мальчик, одного возраста с ним; он учился у механика и был сын одного управляющего именем, который знал когда-то коротко отца и просил его не оставлять сына без призора в столице. — Дмитрий, пользуясь тем, что мальчик был незащищен и нуждался в покровительстве их отца, — обращался с ним тоже очень дурно и раз даже дал ему ни за что<sup>231</sup> пощечину. — Об этом Соня<sup>232</sup> уже сказала отцу и отец<sup>233</sup> презрительно взглянув на сына<sup>234</sup> сказал: —

— Ты<sup>235</sup> забыл, идиот, мои уроки? —<sup>236</sup> И обратись к мальчику — прибавил: «А ты, Семён, другой раз сам<sup>237</sup> две оплеухи ему здоровые дай. — Я награжу тебя за это. — Он ведь — животное...»

Разве можно было такого брата любить...

Конечно —<sup>238</sup> не все было так скучно и<sup>239</sup> так скверно. — Были прогулки; были знакомства;<sup>240</sup> — были и дома часы повеселее: брат иногда бывал забавен;<sup>241</sup> рассказывал<sup>242</sup> смеясь про извошика, как он сказал ему: Эх, барин, прокатить вас надо; ишь у вас ножки большие — куда уж вы пешком!.. Представлял как вчера в

---

<sup>229</sup> слово было начато и зачеркнуто в предыдущей строке

<sup>230</sup> вписано над зачеркнутым: нему

<sup>231</sup> ни за что вставка

<sup>232</sup> вставка

<sup>233</sup> далее зачеркнуто: опять

<sup>234</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: него

<sup>235</sup> перед Ты зачеркнуто: Идиот! далее зачеркнуто: опять

<sup>236</sup> далее зачеркнуто: и велел

<sup>237</sup> вставка

<sup>238</sup> далее зачеркнуто: были

<sup>239</sup> вставка

<sup>240</sup> Были ~ знакомства; вписано над зачеркнутым: Прежде всего своя душа была молода и о чем-то вселом думала. —

<sup>241</sup> от слова рассказывал до так смешил карандашная вставка, не вошедшая в копию

<sup>242</sup> далее начато и зачеркнуто: добродушно



од(ной) приход(ской) церк(ви) певчие как<sup>243</sup> крикнули: Яко да Царя всех подыдем — «я бежать, чтоб и ме(ня) не подняли» и тому подобный вздор, который всех так смешил; отец весел; немка рассказывала истории и сказки свои или<sup>244</sup> даже стишки такого рода говорила... —

Brich die rosen<sup>245</sup> [нрзб]

Иногда отец — посылал их с братом и Ш. И. в театр...

Но прежде всего своя душа была молода и мечтала о чем-то веселом.

«Все впечатленья бытия были новы» тогда... и внутренний свет созрева(ющей) девичьей души озарял нередко и эту суровую<sup>246</sup> жизнь... Иногда и петь, и танцевать хотелось; иногда и с братом — играть и бегать. — И она<sup>247</sup> пела, и плясала одна<sup>248</sup>, и бегала с братом. —

Потом лет 14 она стала ходить в Гимназию. — Там<sup>249</sup> с подругами стало гораздо веселее. — Но в то же время, через знакомство с ними стало ей еще понятнее по сравнению,<sup>250</sup> как у них в доме холодно<sup>251</sup> мрачно и скучно. — Соня любила ходить к подругам в гости, но у себя принимать их не очень любила. — Одни жили богаче их;<sup>252</sup> другие жили и беднее их; — но как-то милее и приятнее. — У кого<sup>253</sup> отец добродушный и все смеется; у другой мать премилая, еще не старая, полная, красивая, при-

---

<sup>243</sup> далее начато и зачеркнуто: гарк(нули)

<sup>244</sup> или написано поверх многоточия

<sup>245</sup> далее нрзб, возможно: ет(с)

<sup>246</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: серую, мрачную

<sup>247</sup> вставка

<sup>248</sup> вставка карандашом

<sup>249</sup> перед Там зачеркнуто: Тогд(а)

<sup>250</sup> по сравне(нию) вставка

<sup>251</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>252</sup> Одни ~ их вписано над строкой

<sup>253</sup> вписано над строкой после зачеркнутой вставки: одной; в строке зачеркнуто: кого

ветл(ивая); квартира светлая, уютная; братья гимназисты рослые; свежие, красивые. — Одна<sup>254</sup> из этих<sup>255</sup> подруг — была незаконная дочь извес(тного)<sup>256</sup> вельможи; у нее лежал капитал в банке; и<sup>257</sup> пока до замуж(ества), она жила воспитан(ницею) у очень знатных и богатых родственников) покойного отца.<sup>258</sup> С ней обращались там очень ласково — и<sup>259</sup> посещая ее Соня в первый раз увидала — и настоящие штофные обои; — и настоящую<sup>260</sup> бархатную мебель и статуи мраморные, и зимний сад...

С этими новыми впечатл(ениями) жизнь повеселела,<sup>261</sup> конечно; — Гимназию<sup>262</sup> она тоже<sup>263</sup> полюбила сильно уже оттого<sup>264</sup>, что теперь<sup>265</sup> меньше дома можно было бывать... — Что дома<sup>266</sup> не хорошо и безжизненно — она теперь уже вполне сознала; прежде — ей было только скучно что-то; а почему она не знала. — Теперь она знала и однажды даже позволила себе это сказать при брате и Ш. Ив.:

— Как<sup>267</sup> у Платоновых в доме<sup>268</sup> весело; и как у нас скучно. — Вот у нас и паркет, да тусклый какой-то; а у них и простой крашенный пол, а блестит так весело; и сам старик веселый и канарейки поют... Даже и кошки у них<sup>269</sup>

---

254 перед Одна зачеркнуто: У одн(ой)

255 вставка

256 вставка

257 далее зачеркнуто: сама

258 далее зачеркнуто: и с

259 далее зачеркнуто: у н(ее)

260 вставка

261 далее зачеркнуто: но

262 перед Гимназию начато и зачеркнуто: в гим(назии)

263 тоже вписано над зачеркнутым: уже оттого

264 уже оттого вставка

265 вставка

266 далее начато и зачеркнуто: оч(ень)

267 перед Как зачеркнуто: Вот

268 в доме вставка

269 у них вставка

играют, а у нас и кошек своих нет: только дикие и страшные по лестн⟨ице⟩ ходят. —

На это брат, который был в духе — воскликнул довольно удачно:

— Эх, матушка, — у тебя все так-то: в чужих руках и простой калач — пирогом<sup>270</sup> с начи⟨нкой⟩ кажется...

— Ну, может быть, — сказала Соня; только я ужасно люблю бывать у них; а когда они ко мне приходят — вовсе не люблю. — Все думаю, что им тяжело у нас...

Конечно — такие тяжелые<sup>271</sup> вещи говори⟨лись⟩ без отца...

Да и много ли его видели; — с утра он был в конторе; обедал дома часов в пять; отдыхал<sup>272</sup>; потом или уходил куда-то на вечера или если сидел дома, то весь погружался в газеты и книги. —

И все серьезный, угрюмый, молчаливый; только и светлел он когда она входила...<sup>273</sup> Это она знала; и видела иногда, как он следил<sup>274</sup> глазами любви за ее движен⟨иями⟩<sup>275</sup>; как любитесь; как улыбається; — как краснеет даже от радости, глядя не нее; особенно — рад он был когда новое платье или шляпка шли к ней и радовали ее... У него тогда совсем менялось лицо; — он подзывал ее и ласкал, целовал, и называл разными полу-бранными даже именами,<sup>276</sup> как будто он стыдился назвать ее так как бы требовало его глубокое и нежное чувство...

Она покорно, но сухо принимала<sup>277</sup> эти ласки;... и вид<sup>278</sup> веселого, простого и толстого Почтамтс⟨кого⟩ чиновника Платонова, — отца ее милых подруг — все так же боль-

---

270 пирогом написано после зачеркнутого: пр

271 вставка

272 далее зачеркнуто: пил чай

273 далее зачеркнуто: Она

274 далее зачеркнуто: за нею

275 за ее движен⟨иями⟩ вставка

276 далее зачеркнуто: чтобы

277 далее зачеркнуто: его

278 вставка

ше трогал ее сердце, чем вид этого<sup>279</sup> важного,<sup>280</sup> образованного и любящего отца... Он ей не нравился и она к нему была по прежнему равнодушна...<sup>281</sup> Только одна<sup>282</sup> детская ненависть ее за мать — прошла давно.

Но вот настало ей 14<sup>283</sup> лет; — и начало светать и<sup>284</sup> светать в ее жизни... Занялась совсем невиданная прежде зоря и взошло — наконец<sup>285</sup> солнце ясное... Приехал к ним в Петербург Александр,<sup>286</sup> тот самый — Саша Матвеев, о котором<sup>287</sup> до тех пор только слышала в доме отца разговоры. —

— Саша Матвеев растет; он<sup>288</sup> хоть и рыжеват, но очень мил и хорош собой...

— Саша Матвеев — умен<sup>289</sup> и способен, — жаль только, что немного женоподобен характером...

— Да уж это дедушка и мать его так воспитали. — А впрочем теперь стал мужать. —

— Уж не выходит больше в женской шляпе к гостям и в газовом шарфе<sup>290</sup> с зонтиком? — Не говорит «я мужская женщина»? —

---

<sup>279</sup> далее начато и зачеркнуто: м

<sup>280</sup> далее зачеркнуто карандашом: видн(ого),

<sup>281</sup> Он ей не нравился и она вписано над строкой карандашом; было: К нему она была по прежнему равнодуш(на)... (она зачеркнуто карандашом; над строкой вписано карандашом и зачеркнуто: она)

<sup>282</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: разве; все предложения вписано карандашом

<sup>283</sup> вписано карандашом; было: 16, затем было исправлено на 15

<sup>284</sup> вставка карандашом

<sup>285</sup> вставка

<sup>286</sup> далее зачеркнута карандашная вставка: Саша Матвеев, — как (звать) привык его называть отец и другие родные. — окончание предложения: вставка на полях

<sup>287</sup> далее зачеркнуто: она

<sup>288</sup> растет; он вставка

<sup>289</sup> перед умен зачеркнуто: хоро(ш)

<sup>290</sup> шарфе написано после зачеркнутого начала того же слова с опиской

— Нет, кажется не говорит... А состояние<sup>291</sup> дедушка Петр Василь(евич)<sup>292</sup> вероятно ему все оставит... Он в нем души не чаёт. — Перестал в столицу по зимам ездить, живет в губерн(ском) городе, потому что Саша в гимназию ходит...<sup>293</sup> А что за прелесть это Куреево!.. Я мало знаю таких симпатичных усадеб... Что-то особое!...

— Да, — отвечал, она помнит, отец этому собеседнику, — Куреево очень привлекательно. — Я не способен жить долго в деревне; но если б мог выбирать — я бы желал жить в Курееве<sup>294</sup>. — Эти аллеи одни чего стоят... И огромные вязы у самого пруда.

И вот Соне, когда ей было еще 8—9 лет все представля(лись) очень большие деревья<sup>295</sup> у большого пруда и Сашу этого она иначе вообразить даже не могла как<sup>296</sup> в виде какого-то сказочного мальчика<sup>297</sup>... У нее была<sup>298</sup> книжка с француз(скими) сказками и картинками.<sup>299</sup> Любимая сказка ее была «Le chatte blanche» (она очень<sup>300</sup> любила кошек). В эту белую и милую кошечку<sup>301</sup> был влюблен очаровательный Царевич с таким красивым младен(ческим) личиком; в берете с перьями; в бантах и буфах везде. — Особенно он был там мил, где отворотив(шись) он заносит меч, чтобы отрубить<sup>302</sup> голову люби-

<sup>291</sup> далее зачеркнуто: всё ему

<sup>292</sup> Петр Василь(евич) вставка

<sup>293</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Прислал отцу ее позднее и сам этот Саша свое

<sup>294</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова с опиской

<sup>295</sup> далее зачеркнуто: над

<sup>296</sup> далее начато и зачеркнуто: в с

<sup>297</sup> далее зачеркнуто: вроде прелест(ного) принца, который был

<sup>298</sup> далее зачеркнуто: француз(зская)

<sup>299</sup> ; исправлено из: ; — далее зачеркнуто: Там б(ыла)

<sup>300</sup> она очень вписано над зачеркнутым: Софья оч(ень)

<sup>301</sup> В эту ~ кошечку вписано над зачеркнутым: и в которую (белую и милую в этой вставке вписано над зачеркнутым белую)

<sup>302</sup> чтобы отрубить вписано над зачеркнутым: под

мой<sup>303</sup> кошке<sup>304</sup>, по ее приказанию. — Она<sup>305</sup> лежа на<sup>306</sup> бархатной<sup>307</sup> подушке зажмурилась и нагнула головку... А он, горестно отвращая лицо свое, заносит меч.... Вот именно<sup>308</sup> с таким лицом ходил под огромными широкими, ветвистыми деревьями и большой красавец-мальчик в дамской<sup>309</sup> шляпке и газовом шарфе с зонтиком в руке и всем говорил: — я муж(ская) женщина! —

И она этого мальчика ужасно любила. —

Еще попозднее<sup>310</sup> дедушка Петр Василь(евич) (которого она тоже никогда еще в то время не видела и считала<sup>311</sup> чем-то очень<sup>312</sup> высоким и недосту(пным)) — прислал отцу дагеротип этого самого<sup>313</sup> Александра. —

И каково же было удивление Сони — Саша был в самом деле несколько похож чертами лица на ту картинку.... Такое же правильное и нежное лицо. —

Но уввы! На нем не было ни шляпки, ни шарфа; ни берета с пер(ьями), ни буф<sup>314</sup> с прорезьями, ни бантов; а был просто гимназич(еский) сюртучек!..

К этому сюртучку<sup>315</sup> впрочем — Соня скоро привыкла и дагеротип этот<sup>316</sup> так ей нравился, что она без отца беспрестанно<sup>317</sup> брала его в руки, стараясь<sup>318</sup> повернуть его

---

<sup>303</sup> вставка

<sup>304</sup> исправлено; было: кошки

<sup>305</sup> перед Она начато и зачеркнуто: Ко(шка)

<sup>306</sup> в рукописи ошибочно: по

<sup>307</sup> вставка

<sup>308</sup> было: Вот с таким именно лицом (с таким и лицом зачеркнуто)

<sup>309</sup> перед дамс(кой) зачеркнуто: женской

<sup>310</sup> далее зачеркнуто: прислал

<sup>311</sup> далее зачеркнуто: каким

<sup>312</sup> вставка

<sup>313</sup> этого самого вставка

<sup>314</sup> далее зачеркнуто: прорезны(х)

<sup>315</sup> вставка

<sup>316</sup> дагеротип этот вписано над зачеркнутым: юноша этот

<sup>317</sup> далее начато и зачеркнуто: най(ти)

<sup>318</sup> далее зачеркнуто: найти

так, чтобы доска не блестела и чтобы все<sup>319</sup> мельчайшие подроб(ности) милого<sup>320</sup> лица — были<sup>321</sup> хорошо видны... Вертит, вертит, глядит, глядит и поцалует: «Душка ты мой<sup>322</sup>! Как бы мне тебя увидеть...»

Только противный брат всегда все<sup>323</sup> испортит и осквернит... Увидал раз и сказал грубым голосом<sup>324</sup>: «Ну, мать моя! опять с Сашкой своим возишься... влюбилась в портрет...<sup>325</sup> Не беспок(ойся); сударыня! Двоюродный брат он тебе — нельзя замуж... Да и не по Сеньке шапка...<sup>326</sup> Да тебе — кулику до Петрова дня!.. Так-то-с... Софья Серге(вна)...»

Противный, противный... Зачем он мне брат?..

---

<sup>319</sup> далее зачеркнуто: мелкие черты

<sup>320</sup> вставка

<sup>321</sup> далее зачеркнуто: видны...

<sup>322</sup> ты мой вписано над зачеркнутым: какой

<sup>323</sup> далее зачеркнуто: осквернит и

<sup>324</sup> грубым голосом вставка

<sup>325</sup> влюбилась в портрет... вставка

<sup>326</sup> шапка... написано после зачеркнутого: шапка. —

### III

Думала Софья час, думала два, думала три.... Два раза приходил садовник<sup>1</sup> и говорил горничной, что<sup>2</sup> «мужики хотят у барышни сено в саду косить; — пусть за вином пошлет; пора». <sup>3</sup> —

---

<sup>1</sup> далее зачеркнуто: сказ(ать)

<sup>2</sup> вставка карандашом

<sup>3</sup> было: мужики говорят — сено у барышни надо косить; — пусть за вином пошлет; [над зачеркнутым надо было вписано: пора; далее стерта карандашная вставка: сено; хотят вписано карандашом над зачеркнутым: говорят — сено;] [сено в саду косить вписано карандашом над строкой над зачеркиваниями] [пора]. — вписано карандашом]

Но<sup>4</sup> горничная помнила умоляющий тон Софьи<sup>5</sup>, когда она просила ее<sup>6</sup> ни о чем до обеда не докладывать ей и оба<sup>7</sup> раза отказала садовнику. —

Думала Софья; думала; вставала; ходила по комнате — и садилась опять<sup>8</sup> — смотрела то на образа, то на портреты; то устремляя опять взор свой из окна на дальние поля и рощи<sup>9</sup>, где уже кроме зелени не было видно<sup>10</sup> ничего и ничто не могло перебить ее все более и более<sup>11</sup> самоуглубляющиеся мысли,<sup>12</sup> — и все не могла найти в недрах своей<sup>13</sup> собственной души того решения, которое она страстно<sup>14</sup> искала. —

— *На что она?* Кому она теперь нужна? — И что ей самой теперь нужно? —<sup>15</sup> И отец, и Александр приучили ее с ранних лет придавать себе и жизни своей какое-то особое, важное<sup>16</sup> значение; — как будто она к чему-то особому призвана.<sup>17</sup> — Они оба ошиблись в ней; — в ней ничего

---

*далее зачеркнуто:* мы ей без денег за одно вино уберем всё; а то начнем свое косить; старики [*вписано над зачеркнутым мужики*] жалеют её; говорят — сирота... мы с ней теперь торговаться не будем. — И вина-то много не нужно. — Так чуточку. Теперь грех её беспокоить». —

<sup>4</sup> вставка карандашом на полях

<sup>5</sup> было: помнила ее умоляющий вид [тон Софьи *вписано над строкой*]

<sup>6</sup> вставка

<sup>7</sup> *вписано над зачеркнутым:* два

<sup>8</sup> и садилась опять вставка

<sup>9</sup> и рощи вставка

<sup>10</sup> *далее зачеркнуто:* и не [ничего и ничто не карандашная вставка над строкой]

<sup>11</sup> все более и более вставка

<sup>12</sup> *исправлено карандашом, было:* самоуглубляющихся мыслей

<sup>13</sup> вставка карандашом

<sup>14</sup> она страстно вставка карандашом

<sup>15</sup> *далее зачеркнуто:* Ее при(учили)

<sup>16</sup> вставка карандашом

<sup>17</sup> от слов как будто вставка карандашом над строкой и слева на полях



нет особого; все среднее, кроме очень<sup>18</sup> большого и ясного<sup>19</sup> ума...

Но и этот ум — на что он ей теперь?..

Уж не для того ли, чтобы<sup>20</sup> читать еще<sup>21</sup> какие-нибудь хорошие<sup>22</sup> книги... Она их довольно прочла!<sup>23</sup> Вот и здесь<sup>24</sup> их много на красивых полочках, устроенных отцом и переплеты прекрасные<sup>25</sup>; — всё в порядке! —

«Читать!»<sup>26</sup> При мысли одной о каком-то еще<sup>27</sup> чтении<sup>28</sup> — на нее находил ужас... На что ей чужая мысль, на что ей жизнь чужая, чужие чувства... когда свое сердце говорит, что ей<sup>29</sup> не для чего, не для кого более жить<sup>30</sup>, — не кого любить<sup>31</sup> так, чтобы эта сама<sup>32</sup> жизнь не казалась чем-то страшным и пустым... «Что значит любить?» думала она: — Любить или жалеть, или восхищаться. — Или и то и другое вместе. — Алекс(андром) она восхищалась; но часто и в чем-нибудь жалела его; отца она здесь в Курееве стала глубоко жалеть. — А где ж они

---

<sup>18</sup> вставка карандашом

<sup>19</sup> и ясного вставка карандашом

<sup>20</sup> Уж ~ чтобы вписано над зачеркнутым: Читать умные книги? к

<sup>21</sup> вставка карандашом

<sup>22</sup> хорошие вписано карандашом над зачеркнутым: еще умные

<sup>23</sup> предложение вписано карандашом

<sup>24</sup> и здесь было первоначально вписано карандашом над зачеркнутым в строке: они; затем стерто и написано под строкой

<sup>25</sup> вставка карандашом

<sup>26</sup> перед этим зачеркнуто: Ужас

<sup>27</sup> вставка карандашом

<sup>28</sup> далее карандашом зачеркнуто: теперь

<sup>29</sup> говорит, что ей вписано карандашом на полях; было: когда свое сердце — напрасно требует жизни, и тщетно требует любви, и жизнь говорит ей: [говорит ей: вписано карандашом и стерто]

<sup>30</sup> вписано карандашом над: ;...

<sup>31</sup> любить вписано карандашом после зачеркнутой карандашной вставки: жалеть; в строке зачеркнуто: любить

<sup>32</sup> вставка карандашом

оба?»<sup>33</sup> И она вставала с места восклицая громко: «Одна! Одна!»<sup>34</sup>

И снова садилась и опять пригорюнившись — глядела на дальние рощи и то<sup>35</sup> отдавалась без принуждения течению разнообразных<sup>36</sup> воспоминаний своих; то напротив<sup>37</sup> того, хотела привести их в строгий порядок, — «что после чего случилось и как и почему?»<sup>38</sup>... Брала<sup>39</sup> даже карандаш и писала: «В 61 году — ... 1-й<sup>40</sup> раз». — Это значило: — Александра она в 1-й раз увидела. — Был морозный и лунный вечер в Петерб(урге). Под самый Новый<sup>41</sup> год. — Отца не было дома. — Звонок; — она сама<sup>42</sup> отворила дверь... И вот он — с мороза румяный, молоденький... Только не в берете с пером и не с зонтиком и в шарфе... «мужская женщина» — а в куньей боярке<sup>43</sup>, в черной дорогой дубленке и меховых высоких сапогах... От него пахнет кожей и духами.<sup>44</sup> —

Потом она<sup>45</sup> писала 63-й<sup>46</sup> год — или 64-й? —<sup>47</sup> Ранней весной... Зачем она забыла число и ме-

---

<sup>33</sup> «Что значит ~ они оба? вписано карандашом между строк и слева на полях

<sup>34</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Она И она снова начинала то снова, пригорюнивши(сь)

<sup>35</sup> вставка

<sup>36</sup> вставка

<sup>37</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>38</sup> и почему? вписано карандашом

<sup>39</sup> далее зачеркнута полустрелая карандашная вставка: она

<sup>40</sup> перед этим зачеркнуто: первый

<sup>41</sup> далее зачеркнуто: , 61-й

<sup>42</sup> далее зачеркнуто: отперла

<sup>43</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>44</sup> предложение вписано карандашом; было (стерто): и кожей и духами

<sup>45</sup> она вставлено карандашом; перед Потом начато и зачеркнуто: А в

<sup>46</sup> далее зачеркнуто: р

<sup>47</sup> или 64-й? — вставка над строкой; в строке далее зачеркнуто: Апрель? — Да. Да. Ранней весной, конечно Над строкой зачеркнуто: так... 64-й

сяц<sup>48</sup>! — Тоже в 1-й раз... Что же<sup>49</sup> в первый раз еще случилось?<sup>2</sup> —

А вот что.<sup>50</sup> — Алекс(андр) сидел в отцовском кабинете у камина на кресле; — она сидела<sup>51</sup> перед ним<sup>52</sup>. — Он<sup>53</sup> приехал только на несколько дней из Польши с войны;<sup>54</sup> он был<sup>55</sup> в одежде стрелкового отряда и что-то говорил, говорил; она не помнит что именно, только о войне и опасностях<sup>56</sup>... Она не помнит... Она помнит одно... что он удивительно хорошо вздох(нул); что он так осмысленно вздыхая сказал<sup>57</sup>: «Ах, Соня! Соня — до чего иногда жизнь хороша!» — И вот — что случилось — она вдруг кинулась к нему после этого<sup>58</sup>, стала перед ним на колени и начала<sup>59</sup> целовать его руки.<sup>60</sup> — А он ни руку не принимал<sup>61</sup>, ни<sup>62</sup> сам не целовал ее и сидел молча<sup>63</sup>. По-

---

<sup>48</sup> число и месяц вписано карандашом над и под зачеркнутым: этот день от слов Ранней весной вписано над строкой и на полях

<sup>49</sup> же вписано карандашом; было: Что в первый раз?<sup>2</sup>

<sup>50</sup> предложение вписано карандашом

<sup>51</sup> вставка

<sup>52</sup> далее зачеркнуто: на

<sup>53</sup> далее зачеркнуто: говорил ей оч(ень) уж

<sup>54</sup> далее над строкой зачеркнуто: чтобы

<sup>55</sup> далее зачеркнуто: уже

<sup>56</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>57</sup> было: помнит одно... что он сказал так хорошо вздыхая, так осмысленно вздыхая исправления и вставки сделаны карандашом; удивительно вписано над зачеркнутым: сказал так вздох(нул); что он так вписано над зачеркнутым: вздыхая, так; сказал вписано над строкой

<sup>58</sup> после этого вписано карандашом над зачеркнутым: и начала

<sup>59</sup> вписано карандашом над зачеркнутым: стала

<sup>60</sup> над словом зачеркнуты начатые карандашные вставки: до то(го?)

<sup>61</sup> было: А он не принимал вставки и исправления сделаны карандашом

<sup>62</sup> в рукописи: но (исправлено в соответствии с правкой в начале предложения)

<sup>63</sup> вписано над зачеркнутым: задумчиво

том — отодвинул ее слегка, встал и задумчиво мешая щипцами в камине сказал: «Молода ты еще слишком... Вот что!» И больше помину об этом долго не было...

— Нет он был честен; он был честен до конца!.. Я, я одна во всем виновата!.. —<sup>64</sup> Разве не я написала ему в Туркестан, что я никому не хочу впервые принадлежать кроме его. — Что я за честь сочту, если он удостоит меня хоть небольшого подобия настоящей любви. — Чтобы о замужестве моем он не думал; — не нуждается она в таком женихе, который не поймет ее прошедшего и даже не оценит его, как следует! — А достойный внимания поймет и оценит! —<sup>65</sup>

И с этим<sup>66</sup> внезапным возгласом совести<sup>67</sup> Софья заплакала впервые со дня смерти отца...

Долго она плакала, потом<sup>68</sup> утихла и<sup>69</sup>, наконец, сказала себе: «Нет, я во всех<sup>70</sup> этих мыслях только путаюсь и страдаю без конца, и без выходу...<sup>71</sup> Не могу я больше<sup>72</sup> в этой комнате и в доме этом оставаться одна! — Не могу!<sup>73</sup>

Отперла дверь; позвонила: велела сейчас запрягать лошадей и сказала, что она дома обедать не будет а сейчас же поедет в Еремино. — Горничная попробовала было упомянуть<sup>74</sup> о сенокосе и о том, что мужики жалеют ее<sup>75</sup>, но Софья<sup>76</sup> равнодушно ответила на это: «А если жалеют,

<sup>64</sup> далее зачеркнуто карандашом: воскликнула она громко.

<sup>65</sup> Разве не я ~ оценит! — вписано между строк и слева на полях

<sup>66</sup> вписано над зачеркнутым: этими словами

<sup>67</sup> вставка

<sup>68</sup> вписано над зачеркнутым: и наконец

<sup>69</sup> далее зачеркнуто: сказала

<sup>70</sup> во всех вставка; в строке было: в

<sup>71</sup> далее зачеркнута карандашная вставка в строке: Я

<sup>72</sup> я больше вписано карандашом и обведено над зачеркнутым: страд(ать) больше

<sup>73</sup> Не могу! вписано карандашом и обведено

<sup>74</sup> вписано над зачеркнутым: сказать дв(а)

<sup>75</sup> и о том ~ ее вписано над строкой

<sup>76</sup> далее начато и зачеркнуто: спок(ойно)

так пусть убирают; — они сами знают; как лучше... Вина купите им... как знаете... Оставьте теперь меня. — Я уйду в сад и буду ждать<sup>77</sup> на<sup>78</sup> пнях сидеть знаешь там, где дорога в Еремино видна. — Пусть лошади туда выедут. — Я здесь больше оставаться не могу... Ради Бога — торопи лошадей...

Она не надела даже шляпки; покрывлась платочком; взяла зонтик и ушла. —

И в саду ей было тяжело; кричали нестерпимо громко<sup>79</sup> несносные грачи, которые свили себе на старых<sup>80</sup> липах гнезда в самую вёсню<sup>81</sup> смерти деда Петра Василье(вича), точно знаменуя этим наступающую мерзость запустения — в усадьбе — прежде столь опрятной и прибранной. —<sup>82</sup>

Да и не одни грачи эти; и все в Курееве<sup>83</sup> было сегодня<sup>84</sup> несносно уже тем одним, что<sup>85</sup> всегда все говорило ее сердцу, — а сегодня не могло говорить,<sup>86</sup> потому, что она<sup>87</sup> сама была в силах только болезненно<sup>88</sup> думать, но ничего уже кроме тоски<sup>89</sup> не чувствовала сильно<sup>90</sup>. —

---

<sup>77</sup> далее зачеркнуто: у ворот

<sup>78</sup> далее начато и зачеркнуто: те(х)

<sup>79</sup> кричали нестерпимо громко вписано над строкой

<sup>80</sup> вставка

<sup>81</sup> вписано над строкой, было: в самый год

<sup>82</sup> прибранной. — написано после зачеркнутого того же слова и многоточия

<sup>83</sup> в Курееве вставка

<sup>84</sup> вписано над зачеркнутым: несносно уже теперь

<sup>85</sup> далее зачеркнуто: нич(его)

<sup>86</sup> далее зачеркнуто: все

<sup>87</sup> она написано после зачеркнутого начала того же слова; далее зачеркнуто: не могла уже; сама была в силах вписано над строкой, была в силах сначала карандашом, затем обведено

<sup>88</sup> вставка

<sup>89</sup> кроме тоски вписано карандашом и обведено; далее зачеркнута вставка: и почти отчая(ния)

<sup>90</sup> написано карандашом и обведено

Она спешила дойти до тех двух больших берез(овых)<sup>91</sup> пней, с которых была видна между углом рощи и лужайкой<sup>92</sup> серая полоса дороги в<sup>93</sup> Еремино. — Здесь в Курееве<sup>94</sup> смерть всему<sup>95</sup>; здесь<sup>96</sup> могила блестящей будущности и славы; могила любви;<sup>97</sup> здесь — еще теперь слышен запах отцов(ского) трупа... В Еремине молодость, в Еремине русские песни, хороводы и пляски;<sup>98</sup> в Еремине смех, в Еремине жизнь...

Туда! Скорей туда!<sup>99</sup>

Но ей не судьба была в этот день быть в Еремине. —

Еще она далеко не дошла<sup>100</sup> до своих любимых пней как вдруг увидела, что к околице<sup>101</sup> на дальнем конце темной аллеи — подъезжает<sup>102</sup> вороная лошадь с черной, знакомой тележкой... И на тележке — кто же! Зина! Сама Зина в<sup>103</sup> сереньком платье! —

Радость, которую Софья почувствовала, была до того велика, что она сама ей<sup>104</sup> изумилась; — и у нее впервые в этот миг<sup>105</sup> мелькнула мысль: — «Уж не для нее ли<sup>106</sup> мне жить? Вот кому я нужна! Неужели?!»

---

<sup>91</sup> больших берез(овых) вписано над зачеркнутым: пней

<sup>92</sup> между ~ лужайкой вставка; углом написано после того же зачеркнутого

<sup>93</sup> далее зачеркнута вставка: милое, живое

<sup>94</sup> в Курееве обведенная карандашная вставка

<sup>95</sup> далее зачеркнуто: в Еремине жизнь...

<sup>96</sup> далее зачеркнуто: могила жизни, любви

<sup>97</sup> далее зачеркнуто: могила от слова здесь до этого места — вписано между строк

<sup>98</sup> далее зачеркнуто: русские (русские и хороводы вставки)

<sup>99</sup> строка вписана карандашом и обведена

<sup>100</sup> далее над строкой зачеркнута вставка: по длинной и темной аллее

<sup>101</sup> что к околице вставка

<sup>102</sup> далее зачеркнуто: тележка

<sup>103</sup> далее зачеркнуто: розовом платье

<sup>104</sup> вставка

<sup>105</sup> в этот миг вставка

<sup>106</sup> Уж не для нее ли вписано над зачеркнутым: Вот для кого

Зина бежала к ней навстречу<sup>107</sup> шибко,<sup>108</sup> по крестьянски двигая грубо<sup>109</sup> согнутыми локтями, чтобы было вольнее. — Софья бегать<sup>110</sup> давно отвыкла<sup>111</sup> и к тому же никогда не забывала, что Александр<sup>112</sup> сказал ей однажды<sup>113</sup>: «Старайся не бегать; — ты<sup>114</sup> некрасиво бегаешь». —

Но тут уж было ей не до красоты и не до Александра...

И она кинулась бежать как попало<sup>115</sup> навстречу Зине...

Объятия! Объятия! Объятия!<sup>116</sup> ... Слезы; поцелуи без конца. —

— А я сама было<sup>117</sup> к тебе!.. Как отпросилась? Как? Когда... —

У Зины блистали огнем любви и веселья<sup>118</sup> большие, прекрасные серые глаза, обык(овенно) столь печальные или сердитые. — «Мамка — сама велела. — Ты бы в Куреево съездила... Ночуй, пожалуй...»

— Вот видишь; вот видишь. — А ты все бранишь<sup>119</sup> мать!» — «Ну, ну ее — мать эту...<sup>120</sup> Молчи уж!» —

Они с радостными лицами смотрели друг на друга и молчали, не зная что еще сказать, с чего начать, чтоб выразить друг другу всю силу своих чувств...

Наконец Зина сказала: «Олюшка тоже просилась; хотела притащиться тоже. — Да я ее<sup>121</sup> не взяла...» — «От-

---

<sup>107</sup> вставка

<sup>108</sup> далее зачеркнуто: и двигая л(октями)

<sup>109</sup> вставка

<sup>110</sup> далее зачеркнуто: хорошо не умела

<sup>111</sup> было: отвыкла давно

<sup>112</sup> далее зачеркнуто: говорил ей

<sup>113</sup> вставка

<sup>114</sup> вставка

<sup>115</sup> как попало вставка

<sup>116</sup> далее зачеркнуто: без конца

<sup>117</sup> вставка

<sup>118</sup> исправлено из: веселым далее зачеркнуто: обык(новенно)

<sup>119</sup> далее зачеркнуто: ее

<sup>120</sup> далее зачеркнуто: Я

<sup>121</sup> вставка; после взяла зачеркнута вставка: ее

чего? Ах — бедная!» — «Ну вот еще — очень нужно!.. Я хочу быть с тобой одна... Я тебя к ним ко всем ревную...»

Софья покачала головой с любящим укором: «Вот ты какая! — А я всех сестер твоих — люблю и Олю особенно!» — «Ну их к Богу — сестер... Куда ж мы пойдем теперь?» — говорила Зина. —

— Я велела было<sup>122</sup> заложить лошадей, — сказала Софья<sup>123</sup>. — Надо пойти<sup>124</sup> домой, чтобы их отложили... Только — мне, по правде сказать — в доме теперь очень тяжело... Впрочем — при тебе<sup>125</sup> другое дело.

— Ну так что ж, решила Зина<sup>126</sup>; скажем об лошадях и уйдем опять в сад сидеть...

Так и сделали. —<sup>127</sup>

Было в большом Куреевском саду одно отдаленное и таинственное место; — которое они обе любили; — нужно было от дома итти<sup>128</sup> сначала по прямой липовой аллее, мимо противных грачей, и<sup>129</sup> слышать их неумолкающие крики; а потом этот крик<sup>130</sup> стихал постепенно, — когда за первой<sup>131</sup> короткой липовой аллеей начиналась другая аллея<sup>132</sup>, которую звали в Курееве рябиновой: хотя кроме рябины,<sup>133</sup> тут само<sup>134</sup> собою выросло с годами много чере-

<sup>122</sup> вставка

<sup>123</sup> сказала Софья вставка

<sup>124</sup> далее зачеркнуто: веле(ть)

<sup>125</sup> далее зачеркнуто: конечно [при тебе другое дело вписано между строк]

<sup>126</sup> далее зачеркнуто: быс(тро)

<sup>127</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Было в больш(ом) саду одно отдаленное место; — [больш(ом) и одно вставки]

<sup>128</sup> над итти вписано и зачеркнуто: сначала далее зачеркнуто: мимо пр(отивных)

<sup>129</sup> и написано после того же зачеркнутого

<sup>130</sup> этот крик вписано над зачеркнутым: все; было: все стихало

<sup>131</sup> вставка

<sup>132</sup> другая аллея вписано над зачеркнутым: дорога

<sup>133</sup> далее зачеркнуто: здесь

<sup>134</sup> исправлено из: самн



мухи<sup>135</sup>, молодых кленов, и даже две стройные и тоже молодые<sup>136</sup> елки — темными стрелками красовались<sup>137</sup> среди всей этой более<sup>138</sup> светлой и кудрявой зелени. — За<sup>139</sup> елками был поворот на заросшую травой вишневую дорожку; и далеко-далеко на этой вишневой дорожке были<sup>140</sup> друг против друга две полукруглые<sup>141</sup> беседки из старых — очень тенистых лип. — В<sup>142</sup> прохладном сумраке одной — стоял<sup>143</sup> уж лет около<sup>144</sup> сорока<sup>145</sup> памятник из серого камня<sup>146</sup>, обросший уже ранжевым мохом; наверху<sup>147</sup> была урна; хорошо сохранившаяся; а на самой колонке памятника — в<sup>148</sup> овальном углублении была надпись: «Праху<sup>149</sup> друзей». —

Напротив<sup>150</sup> памятника<sup>151</sup>, в другом липовом полукруге — была старая<sup>152</sup> скамья. — На этой скамье подруги сживали уже не раз<sup>153</sup> и год тому назад, в первое лето своего<sup>154</sup> сближения; —<sup>155</sup> здесь Зина слушала и прежде

<sup>135</sup> вставка

<sup>136</sup> тоже молодые вписано над зачеркнутым: темные

<sup>137</sup> далее зачеркнуто: в эт(ой)

<sup>138</sup> вставка

<sup>139</sup> было: ; — за

<sup>140</sup> далее зачеркнуто: две два

<sup>141</sup> исправлено, было: полукруглых далее зачеркнуто: как бы

<sup>142</sup> далее зачеркнуто: тени

<sup>143</sup> стоял написано после того же зачеркнутого

<sup>144</sup> далее начато зачеркнуто: т(ридцати)

<sup>145</sup> далее зачеркнуто: гранит(ный)

<sup>146</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова с опиской

<sup>147</sup> вписано над зачеркнутым: на нем

<sup>148</sup> далее зачеркнуто: круглом

<sup>149</sup> первоначально было подчеркнуто

<sup>150</sup> перед этим зачеркнуто: В

<sup>151</sup> вставка

<sup>152</sup> вставка; далее зачеркнута вставка: еще дедовская

<sup>153</sup> уже не раз вставка

<sup>154</sup> далее начато и зачеркнуто: зн(акомства)

<sup>155</sup> далее зачеркнуто: здесь Зина — рассказывала Соне о том, кто ей нравился, о том кому она, и о том, почему она мать не любит; здесь —

по целым часам рассказы Сони о Петербурге и Вене,<sup>156</sup> об театрах и своей игре<sup>157</sup>; о Крымской степи<sup>158</sup>, о Крымских скалах, дворцах и прекрасном море; — об Александре —<sup>159</sup> конечно всякий раз<sup>160</sup>. — На этой скамье в это второе лето; в начале мая, когда тут по близости цвело столько ландышей, — они решились впервые говорить друг другу ты...

В эту темную<sup>161</sup> беседку, романтическую и от дома и всякого шума и движения далекую, — они ушли и теперь. —

Сели на<sup>162</sup> скамью против памятника; — сели, обнялись и долго молчали. — Соня еще немного<sup>163</sup> и тихо поплакала<sup>164</sup>, припавши к плечу Зины. — И Зина<sup>165</sup> понимала, что надо молчать. —

Наконец, отерла Софья последнюю слезу и спросила уж совсем весело: «Ну — расскажи же еще хорошенько<sup>166</sup>, как тебя Анна Васильев(на) отпустила». —

Но Зина говорить была не мастерица; ей всякое лишнее слово казалось трудом. —<sup>167</sup>

— Ну как отпустила... Уж я говорила. — Я было хотела уж проситься; да, знаешь, все думала... А она сама, знаешь, своим этим<sup>168</sup> нежным голосочком: «Зиночка, —

---

<sup>156</sup> и Вене *вставка*

<sup>157</sup> об театрах и своей игре *вставка над зачеркнутым: и театре (игре написано после того же зачеркнутого)*

<sup>158</sup> степи *вставка; было: Крымских горах, ст(еги)*

<sup>159</sup> *далее зачеркнуто: всегда,*

<sup>160</sup> *всякий раз вставка; в конце предложения было много-  
чие*

<sup>161</sup> *вставка*

<sup>162</sup> *далее зачеркнуто: старую*

<sup>163</sup> *еще немного вписано над зачеркнутым: немного*

<sup>164</sup> *было: плакала*

<sup>165</sup> *далее зачеркнуто: ей*

<sup>166</sup> *вставка*

<sup>167</sup> *предложение вписано между строк*

<sup>168</sup> *вставка*

ты бы сегодня<sup>169</sup> в Куреево съездила...<sup>170</sup> Ночуй, коли хочешь». —

Повторяла<sup>171</sup> Зина слова матери не просто, не своим голосом, а<sup>172</sup> передразнивая мать и с какой-то насмешливой гримаской. —

Софье это было неприятно. — Она была настроена с утра<sup>173</sup> так серьезно и так мрачно<sup>174</sup>, а теперь так<sup>175</sup> умиленно и радостно<sup>176</sup> с минуты неожиданной<sup>177</sup> встречи своей с Зиной, что ей бы только в пору было, если бы она была религиозна, — молиться и воскликнуть: — «Благослови — душе моя Господа и не забывая всех воздаяний Его!» — Тогда,<sup>178</sup> если бы она была верующая, — она могла бы сказать подруге: «Зина! Это грех!» —

Но — слово «грех» не имело для нее своего настоящего духовного<sup>179</sup>, богобоязненного смысла и она и не вспомнила даже<sup>180</sup> ни о нем, ни о заповеди Господней «Чти отца твоего и мать твою...» —

Она знала только, что ей самой неприятен этот<sup>181</sup> насмешливый тон. — Она была так<sup>182</sup> благодарна Анне Васильевне<sup>183</sup> за ее участие, за то, что она и во время болезни

---

<sup>169</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>170</sup> далее зачеркнуто: Что

<sup>171</sup> перед Повторяла зачеркнуто: Говорила

<sup>172</sup> не своим голосом, а вписано над зачеркнутым: а с какой-то гримаской —

<sup>173</sup> с утра вставка

<sup>174</sup> и вставка, мрачно вписано над зачеркнутым: печально

<sup>175</sup> так вставка; а теперь вписано над зачеркнутым: и вместе с тем

<sup>176</sup> и радостно вставка

<sup>177</sup> вставка; перед этим зачеркнута вставка: радостной

<sup>178</sup> перед Тогда зачеркнуто: Но она; далее зачеркнуто: она,

<sup>179</sup> далее зачеркнуто: и

<sup>180</sup> далее зачеркнуто: о нем

<sup>181</sup> обведенная карандашная вставка

<sup>182</sup> вписано над тем же зачеркнутым

<sup>183</sup> далее зачеркнуто: и

отца оставила Зину в Курееве и за то, что теперь сама<sup>184</sup> прислала ее! И сверх того — эта бледная, худенькая<sup>185</sup> опрятная<sup>186</sup> старушка ей сама по себе очень нравилась. — Соне<sup>187</sup> в других людях, особенно в пожилых, всегда нравилась набожность (И Александру тоже это нравилось): — Анна Василь(евна) была набожна; — нравился Соне ее певучий<sup>188</sup> музыкальный<sup>189</sup> голос;<sup>190</sup> ее старомодный чепчик и<sup>191</sup> всегда немного короткое платье;<sup>192</sup> ее большой и крутой<sup>193</sup> лоб, нависший над такими же серыми и острыми<sup>194</sup> глазами, как глаза Зины; — все нравилось; — трогали сердце Сони даже забавные ошибки Анны Василье(вны)<sup>195</sup> во французском языке, на котором старуха любила не совсем осторожно говорить, — называя тополи — «des topols», — клумбы — «les clombons»<sup>196</sup>; а раз даже рассказывая про один знакомый помещичий дом выразилась так: «Пол — везде — паркè<sup>197</sup>; — вход — настоящий «entré». —

А Зина — ко<sup>198</sup> всему этому относилась с недоброжелательностью и презрением. —

Когда Зина передразнила<sup>199</sup> мать, Софья сказала ей на это: —

---

<sup>184</sup> далее зачеркнуто: вызвал(а)

<sup>185</sup> далее зачеркнуто: чист(енькая)

<sup>186</sup> далее зачеркнута вставка: и набожная

<sup>187</sup> перед Соне зачеркнуто: Ей; далее зачеркнуто: нравилась ее набожность

<sup>188</sup> Соне ее певучий вписано над зачеркнутым: ея

<sup>189</sup> далее зачеркнуто: ея

<sup>190</sup> далее зачеркнута вставка: нравился

<sup>191</sup> далее начато и зачеркнуто: ко(роткое)

<sup>192</sup> далее зачеркнуто: приятно трогательным казал(ся);

<sup>193</sup> и крутой вставка

<sup>194</sup> и острыми вписано над зачеркнутым: сверк(ающими)

<sup>195</sup> Анны Василье(вны) вставка

<sup>196</sup> написано после того же зачеркнутого

<sup>197</sup> написано после зачеркнутого: р

<sup>198</sup> далее начато и зачеркнуто: ми

<sup>199</sup> написано после зачеркнутого: пр

— Ты, Зиночка, как хочешь... А я очень уважаю твою мать<sup>200</sup> и очень ей благодарна! И ты мне портишь радость мою этим тоном. — Даже и такое<sup>201</sup> доброе, святое даже<sup>202</sup> движение — как тебя сюда отпустить — ты представляешь в пошлом каком-то виде... Мне это очень<sup>203</sup> больно. —

Зина поцеловала ее крепко, проговорив: «Не буду, не буду больше... Это правда, свинство<sup>204</sup> мое... Прости...»

— Ну, хорошо, спросила Софья: — ты еще ни разу не говорила мне подробно и ясно,<sup>205</sup> — за что — ты так ее не любишь. — Ну, сделай усилие над собой, расскажи так, чтобы я поняла тебя... Тогда мне легче<sup>206</sup> будет рассудить вас. — Я знаю твою бессловесность — только уж сделай усилие... для меня.<sup>207</sup> —

Глаза Зины опять<sup>208</sup> омрачились; она сильно задумалась; долго молчала, вздохнула очень глубоко и наконец сказала:

— Обижала; — была ни за что; — всегда, с самого начала Машу предпочитала; — когда мы еще маленькие были... Унижала при других... Даже над лицом моим смеялась... Говорила — что песочного цвета... Ну, довольно об этом!.. Довольно! — Неприятно мне... Оставь... Когда-нибудь еще... Вдругореть!

Софья уступила и не спрашивала больше об матери; но в душе тут же<sup>209</sup> давала себе обещание заплатить добром

---

<sup>200</sup> далее зачеркнуто: и ты; окончание предложения и начало следующего (И ты) вписано над строкой

<sup>201</sup> вставка

<sup>202</sup> святое даже вписано над зачеркнутым: ея

<sup>203</sup> вставка

<sup>204</sup> далее зачеркнуто: с мо(ей)

<sup>205</sup> ты еще ~ ясно, — вписано над зачеркнутым: я никогда не спрашивала тебя —; за что ж

<sup>206</sup> вставка

<sup>207</sup> от слова только вписано между строк

<sup>208</sup> далее зачеркнуто: глубоко

<sup>209</sup> тут же вставка

за добро<sup>210</sup> и приложить все старания для примирения любимой<sup>211</sup> подружки с почтенной матерью...

Сидя обнявшись с Зиной на скамье против надписи «Праху друзей» — она думала: «Да вот и это дело, и это призвание! — Такое дело — я и теперь могу понять и делать... Это нравственно, это честно... Мое дело — это что-нибудь<sup>212</sup> честное... Ни Александр, ни отец не понимали меня. — Они хотели сделать из меня что-то блестящее, сильное, изящное... Какой вздор! — Куда мне.... А вот — мораль! — Жизнь честного сердца — это<sup>213</sup> моя природа, — которую они каждый по своему хотели извратить... „Праху друзей“!... Они оба теперь уже прах для меня...<sup>214</sup> Разве не прахом<sup>215</sup> станет скоро и такой живущий друг,<sup>216</sup> для которого и два года и три года, и даже шесть лет разлуки ничего не значат?..»

Зина, однако, на этот раз<sup>217</sup> первая прервала молчание: «Соня!<sup>218</sup> О чем ты думала теперь?» —

— Я о чем думала? переспросила<sup>219</sup> Софья: — Я все смотрела на эту надпись «Праху друзей» — и думала — о дружбе...

Зина засмеялась: «Смотрите!<sup>220</sup> Ведь и я тоже<sup>221</sup> думала об этой надписи. — Ты что ж об ней думала?»

---

<sup>210</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>211</sup> вписано над зачеркнутым: Зин(ы)

<sup>212</sup> вставка

<sup>213</sup> далее начато и зачеркнуто: ко

<sup>214</sup> далее зачеркнуто: И я

<sup>215</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова с опиской

<sup>216</sup> далее начато и зачеркнуто: ко(торый)

<sup>217</sup> на этот раз вписано над зачеркнутым: прер(вала)

<sup>218</sup> вставка

<sup>219</sup> вписано над зачеркнутым: сказала

<sup>220</sup> перед этим было начато: Ск(ажите)

<sup>221</sup> и я тоже вписано над зачеркнутым: я

Софья ответила<sup>222</sup>, что вспоминала об отце и Александре. — Зина тогда сказала<sup>223</sup>: «А я о другом. — Я мечтала». —

— О чем?

— Ах! Переселиться бы мне к тебе на всю жизнь сюда<sup>224</sup> в Куреево... Я его страсть полюбила теперь. — На наше Еремино глаза бы мои<sup>225</sup> не глядели! — Переселиться бы сюда. — Пожили бы мы с тобой. — Я бы<sup>226</sup> хозяйничала; а ты бы мне книжки громко читала... И потом — чтобы нас под этим «Праху друзей» похоронили бы вместе...

— Не<sup>227</sup> позволяют хоронить в садах, возразила улыбаясь<sup>228</sup> Софья: — Да еще и потому нельзя что у этого<sup>229</sup> памятника Алек(сандр) Петр(ович) в детстве двух любимых<sup>230</sup> собак<sup>231</sup> своих зарыл. — Как же нам вместе с собаками? —

— Что ж собаки! отвечала Зина уग्रюмо<sup>232</sup>. — Собаки лучше людей...

Софья удивилась. — Такого резкого<sup>233</sup> выражения мизантропии она от нее еще никогда не слыхала. —

— Вот ты как людей ненавидишь?! За что? —

— Не знаю!<sup>234</sup> Не люблю!.. Ты<sup>235</sup>, ты одна у меня...<sup>236</sup>

И Зина опять припала к ее плечу. —

<sup>222</sup> вписано над зачеркнутым: сказала

<sup>223</sup> перед этим предложением было: А Зина Тогда Зина (слово Тогда не зачеркнуто)

<sup>224</sup> вставка

<sup>225</sup> вставка

<sup>226</sup> далее зачеркнуто: хозяйством зани(малась)

<sup>227</sup> перед этим начато и зачеркнуто: Ар

<sup>228</sup> вставка

<sup>229</sup> у этого вписано над зачеркнутым: под этим

<sup>230</sup> вставка

<sup>231</sup> далее зачеркнуто: здесь

<sup>232</sup> вставка

<sup>233</sup> вставка

<sup>234</sup> вписано над зачеркнутым: — Противны почти все. — Далее зачеркнута вставка: Не знаю...

<sup>235</sup> далее начато и зачеркнуто: од(на)

— Милая! Бедная ты моя!.. приговаривала Софья и гладила рукой ее голову...

Потом — помолчавши, она сказала:

— Что ж! Кто знает, — быть может — это и сбудется когда-нибудь... Быть может — мать и отпустит тебя когда-нибудь ко мне жить... Только пока я тебе признаюсь — мне бы очень хотелось к вам отсюда уехать на несколько дней. — Ты пойми, что здесь мне слишком теперь тяжело. —

Зина подумавши, сказала, что это можно будет устроить, — сегодня она тут переночует; а завтра поедут вместе в Еремино и она старшую<sup>237</sup> Машу и самых младших Варю и Васю «натравит»<sup>238</sup> (так она выразилась) «натравит» на мамку, чтобы она пригласила Соню гостить...

Эта надежда уехать на долго в Еремино<sup>239</sup> совершенно успокоила Софью и они<sup>240</sup> вернулись домой — в том тихом и мирном и полу-грустном<sup>241</sup> настроении, которое иногда дороже нашему сердцу чем самое<sup>242</sup> веселое и во-  
(э)буждающее или лихое! —

---

<sup>236</sup> далее зачеркнуто: Знаешь что — есть тут в сорока верстах монастырь — Андреев(ский), около города Следующее предложение вписано над зачеркнутым, между строк

<sup>237</sup> вставка

<sup>238</sup> написано после того же зачеркнутого

<sup>239</sup> уехать на долго в Еремино вписано над строкой

<sup>240</sup> далее зачеркнуто: обе

<sup>241</sup> и полу-грустном вставка

<sup>242</sup> далее зачеркнуто: лихо(е)



## ПЛАН БИОГРАФИИ СОФЬИ

Глава III. Приезд Алек⟨сандра⟩; — его моральное и эстет⟨ическое⟩ влияние. — Его грусть. — Детская дружба. — Отъезд в Польшу.

IV. Известия из Польши; приезд; любовь. — Женитьба Алек⟨андра⟩.

V. Пять лет разлуки. — Его служба в Туркест⟨ане⟩. — Решила стать актрисой. — Его приезд.

VI. Дебют.

VII. Лето в Крыму. — Ссоры. — Охлажде⟨ние⟩.

VIII. Неудачи на сцене. — (Ал⟨ександр⟩ в Вене). — Смерть деда П⟨етра⟩ В⟨асильевича⟩.

IX. Жизнь с отцом в деревне. — От⟨ец⟩ становится много приятнее при новых условиях.

## ПОДР(УГИ) БИОГРАФИЯ СОНИ

Он приехал; прожил с ними два года, потом уехал на войну в Польшу; из Польши опять возвратился и еще прожил зиму в Петербурге; потом уехал на Кавказ и в Туркестан надолго: на шесть целых лет... В эти шесть лет он стал подполковником; женился на молодой и богатой вдове генерала; а она все томилась и ждала его и она призналась ему, что страсть ее растет в разлуке; не скрою <sup>10</sup> ⟨?⟩, он опять приехал, один без жены — в Петербург — на этот раз уже нарочно для нее... Влюбился, разлюбил и теперь опять он ей друг... и только!

Может ли она осуждать его?.. Он был так долго тверд, великодушен, никогда не искал ее обольстить... Но ведь и он человек и человек — влюбчивый, увлекающийся, с воображ(ением) сильным, самолюбием огромным, — с той философией, что все что прекрасно в книге прекрасно и в жизни, несмотря на опасность, страда(ния) и самую смерть...

<sup>20</sup> Она благодарна даже за те неземные минуты, которые он дал ей в жизни. — Не он претендовал на ее страсть; его дружба была так долго и так честно платон(ической); не она ли сама написала ему тогда:

— Я не могу больше скрывать от ⟨вас⟩ свою страсть. — Я пон(имаю), что я недостойна ее. — Я молчала шесть лет; и вы не хотите это понять; вы интер(есуетесь) во всех письм(ах) — кто мне нравится, за кого я вышла

[или] выйду замуж... Даете мне советы — как вы-  
бирать... Не знаю — зачем мне молодые люди. — Но  
это все не то, не то поймите. — Слуш(айте), я реш(а-  
юсь).

Я решаюсь идти в актрисы; я чувствую, что у меня есть  
талант и, верю, что прославлюсь. — И моя мечта теперь  
одна: быть может, и твои апплодисменты соединятся с  
другими... И эти все другие, хотя их более 1000 — для  
меня ничего не будут значить; — они будут в моих глазах  
лишь средством; чтобы хоть славой моей стать достойной<sup>10</sup>  
твоего внимания... Понял ты, наконец? — А ты мне реко-  
мендуешь молодых женихов...»

И он приехал тотчас же и сказал: «Я понимал и пре-  
жде, что ты любишь меня от души, но ты была прежде  
слишком молода, и я не хотел быть бесчестным ни против  
тебя, ни против дяди. — Теперь тебе 23 года — ты сама  
можешь знать ясно, чего хочешь...

Но он опять воздерживался; опять так долго щадил ее  
и отца... Отец с радостью согласился, чтобы она стала  
актрисой... И первые ее опыты на любительской сцене<sup>20</sup>  
удались...

Играла раз удачно, два и три... Играла естественно и  
живо. — Но — день и ночь ее пожирала мечта успеть  
пока Алек(сандр) в Петерб(урге) выйти в Худож(ест-  
венном) Клубе в роли Катерины в Грозе... или жены  
Краснова в «Грех да беда»... Алек(сандр) нарочно, чтобы  
дождаться этого — великого для них дня, — взял отсроч-  
ку отпуска... (Он так честолю(бив) и так службой своей  
дорожит.)

Дождались этого вечера. — Софья сыграла роль [Крас-  
новой] с такой силой и с такой правдой, что все пришли в<sup>30</sup>  
восторг; даже и самые строгие судьи были довольны,  
взяв во вним(ание) ее — неопытность. — Когда Крас-  
нов выбо(жал) в кухню, чтобы убить ее — она закричала  
за сценой так ужасно, с такой раздирающей естеств(ен-  
ностью), что у мн(огих) зрителей дрожь проб(ежала) по телу  
и рукопл(есканиям) не было конца. — Иные даже укоря-

ли ее потом за излишний реализм этого страшного животного крика...

Но Алек(сандр) был доволен; он был влюблен... Он дома стал на колени перед нею и сказал ей:

— Ты была права в своем выборе!.. Стань независимой и знаменитой женщиной, и тогда мне нечего будет за тебя бояться. — Быть причиной каких-нибудь невзгод и житейских горестей для тебя — я себе не позволю... Я не мальчик; мне 33 года... В эти года — и страсть должна  
10 быть разумна, если человек не презренный и не малодушный.

Она была и этими словами довольна....

Он уехал в Крым, где ждала его уж жена его в их прекрасном степном имении... Боже — как у них там было хорошо!

Потом — приехала она к ним; — сгорая от нетер(пения) его видеть и познать(омиться) с женой.

И что же!.. Боже! что за стыд! Как она глупо вела себя!

20 Она ревновала к ней! Она была неприлична; груба... бессмысленна...

Однажды (стыдно и страшно вспомнить) — Алек(сандр) — под условием великой тайны — рассказал ей, что жена его — одно время — в Туркестане была с *таким-то*. — Она этого *такого-то* видела и знала; потому что он привозил ей изящные отрезки от Александра и познакомился с отцом и бывал у них. — Он был вовсе пошлый человек, дурного тона и глупый... Софья видеть его не могла... И Алек(сандр) сообщил ей это секретно и  
30 довер(ительно) и с презрением пожимая плечами. — И она после этого, рассердив(шись) на жену его, сказала ей в ее собств(енном) доме: «И в людях есть разница(?)». Женщина, которая позвол(яет) себе что-нибудь с *таким(м)-то* — не может принимать (?) меня...»

И другой раз еще она ей сказала: «Я ведь не понимаю — как можно с кем-нибудь делиться... По-моему, это животные могут...»

А жена его сказала только ему (она от него же это узнала):

— Elle est drôle, ta cousine, Alexandre. — Она говорит мне в глаза все что ей вздумается... И ты попуск(аешь) — видно я чужая тебе. И вы свои. — Если бы я не боял(ась) тебя огорчить, я бы ее попросила уехать. — Но пусть уж долеч(ится) виноградом. — А другой раз — прошу тебя — не пригл(ашай) ее сюда. — Ты можешь ее видеть где вам угодно. — Но, согл(асись), что всякому тер(пению) есть предел... Она говори(ла) мне несл(ыханные) вещи. — И вся кипела от ревности. — Напрасно ты не делаешь ее любовн(ицей) поскорее. — По край(ней) [мере] — она бы успокоилась...

Наконец — дождалась она того, чего так долго и пламенно желала; — на следующий год она прожила с ним одна три месяца на Южном берегу. — Для приличия только с ней приехала одна знакомая дама, — которая все знала и не могла им ничем мешать. — Напротив того, ее ум прямой и простое сердце только облегчали им жизнь. — И что же!... Его дружба, его доверие, его привязанность были все также сильны как прежде, но страсти к ней уж не было и следа. — Понявши, что это чувство в нем навек иссякло — Софья мечтала стать хоть матерью, — чтобы посвятить свою жизнь *его ребенку*; — но почему-то и эта мечта не исполнилась. — У жены от него было двое детей, которые померли; — но ей не сужд(ено) было испытать и первых матер(инских) чувств...

Расстались всё друзьями; он уехал на службу свою в Вену; — она к отцу. — Убитая, усталая, точно пристыж(енная) какая-то — Софья чувств(овала), что теперь и сцена для нее не то, чем была год тому назад... Препятствий много — до большой — и настоящей сцены; — много еще труда, борьбы, утомления, интриг и зависти... На что ей все это — теперь, когда ничто не может вернуть его страсти к ней. — На что!.. Какая цель этой борьбы?.. С грустью поняла она, что у нее не было настоящего призвания к сцене; ее призвание было одно — его

любить, ему служить, ему поклоняться... И только!.. Но ей было жаль отца, который, не подозревая всей горькой истины вполне, все хлопотал о том, чтобы она играла чаще, и уже обдумывал путь, чтоб через связи в [слово пропущено] поскорее — устроить ее на Императорской сцене... Он забыл точно и об оппозиции своей; искал сблизиться с Министром Двора и вообще с людьми знатными.

10 Она продолжала играть на малой сцене Клуба, и талант, который уже был несомненным, как-то странно выиграл от ее охлаждения... Но зависть людская не дремала.....

Среди того общества, которое посещало тогда Художественный клуб, у Сони была соперница по ролям молодых героев Островского; — замужняя женщина среднего Петербургского круга; жена инженерного офицера, который сам почти никогда в клуб не ездил, а всегда отпускал жену с другом дома, молоденьким сотрудником той самой большой и богатой либеральной газеты; — в которой отец  
20 занимался внутренним отделом, прежде чем начал издавать сам «Занозу». — Мальчишка этот был недалекий и наглый; он любил говорить всякому встречному про себя так: «Я социалист и атеист в душе. — Но я против всякого насилия и сверху и снизу; — я стою за здравый смысл и за постепенность; — конечно — человечество должно прийти к одному общему уровню экономического, умственного и нравственного развития; но все попытки насилия снизу ведут лишь к вредной реакции сверху... Легальность необходима пока как неизбежное зло». — Сергей  
30 Николевич сам был почти такого же духа; и держал себя осторожно, несмотря на то, что революционерам открытым горячо сочувствовал; но с ним при встречах с этим юношей и наглым, и малодушным, и ограниченным, и самодовольным — случалось то, что случается со многими способными и сильными людьми.... Ему неприятно было видеть в этом бездарном мальчишке — карикатурное отражение своих собственных чувств и мыслей.

Сергей Никол(аевич) ненавидел его так сказать, эстетически и бескорыстно. — Он даже говаривал об этом дочери полу-шутя, полу-серьезно: «Чорт знает, — когда я вижу Пеньковского — невольно мне вспоминается всегда наш Александр Петрович... Как он говорит „что к кому идет — вот главное”. — Когда я вижу таких людей, как Пеньковский, и слышу их фразы, так начинаю бояться, чтоб мне консерватором не сделаться. — До того все это у них фальшиво. — Я не раз говорил редактору, чтобы он его прогнал и брался подыскать ему взамен гораздо более порядочного человека. — Я считаю Пеньковского способным и в III-е отделение все наши секреты передавать. — Ну — не слушается Алек(сандр) Андренч; все держит его. — И Пеньковскому кто-то все это передал и он теперь ненавидит меня... и кричит везде: „Львов враг мне, враг — я ему отомщу!”» И Сергей Николае(вич) хохотал от души, думая о том, как и чем это какой-нибудь Пеньковский может ему отомстить.

Но пришлось гордому старику вспомнить и слова Крылова:

Бессильного и слабого обидеть не моги; 20  
Мстят сильно иногда и слабые враги...  
Однажды комару явил презренье лев —  
Досаду затая, комар...

«Досаду затая», Пеньковский не забыл ее.

Сама судьба навела его на это соперничество Софьи с его возлюбленной по ролям героинь Островского. — Инженерша пыталась играть и Катерину в Грозе, и Краснову и Любовь Гордеевну Торцову. — И все неудачно. — Аплодисментов было очень мало... Хлопали только особенно вежливые люди, — потому что находили, что бесплатным любителям надо всегда хоть немножко хлопать. — Стала играть эти роли Софья, — вся зала гремела... Пеньковский выходил из себя; «дама сердца» его ему вторила; — она находила в неопытной еще игре Софьи и в самих природных средствах ее множество недостатков, — и отчасти была права. — Например

\* \* \*

И эта надежда исчезает.

Но скоро ⟨?⟩ умер дед и Софья возвр⟨атилась?⟩ — с радос⟨тью⟩ за люби⟨мого?⟩ слу⟨жить⟩ ему в Курееве.

Отец в Курееве меняется к лучшему. И вот — и он умер.

Молитва Софьи....



## ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

(РАССКАЗ МОНАХА)

Старец намерен скоро постричь меня в мантию. — В рясофоре я уже давно.

Я сказал ему недавно, что воспоминания о последней моей платонической любви сильнее тяготят меня, чем все другие, гораздо более грешные. — Они еще слишком дороги мне, слишком близки сердцу, и я бы желал кому-то и для чего-то рассказать об этом прощальном свете моей угасающей земной жизни. 10

Обо всей моей прежней жизни я помню только памятью и могу судить ее почти одним рассудком. — Я знаю, конечно, что герой этих давних романов — я сам; — но я уже давно равнодушен к этому герою; иногда он мне нравится как чужой, иногда он тоже как чужой в чем-нибудь ненавистен мне. — Но и то и другое — *по идее*, а не по пристрастному чувству... К этой последней старческой песне умолкающего сердца я не могу еще быть равнодушен; — я еще чувствую, что это я; — я чувствую, что эта песнь моя песнь; — эта боль моя боль; — 20  
эти радости — мои радости; эта поэзия — моя поэзия...

Однажды мне в большом городе случилось жить над квартирой одной прекрасной музыкантши, которая играла по вечерам, а иногда и за полночь на рояли.

Сначала, ложась спать, я слушал ее с удовольствием. — Потом меня стало это тяготить; — я просил ее прекращать игру после одиннадцати часов вечера; потому

что я болен. — Эта добрая женщина согласилась и прекращала игру иногда еще и много раньше. — Были и такие вечера, в которые она и не подходила к роялю. — Но впечатление еще было так сильно, что я долго не мог преклонить голову мою на ту самую подушку, лежа на которой я прежде слушал музыку, — чтобы не услышать тотчас же звуков, которых не было. — Не раз я привставал и прислушивался, не раз я думал, что добрая музыкантша изменила своему слову и села играть в первом часу  
10 ночи. — Нет, — она слову была верна: она не играла; — стоило мне только приподняться, чтобы понять, что все тихо и безмолвно... Но едва только я снова припадал к подушке — как звуки раздавались снова и я не мог спать...

Вот так и с этим чувством...

Солнце село; но свет его еще светит; — цветы вынесли, но тонкий запах их еще слышен в комнате...

Я не люблю теперь ни одной из моих давних любовных историй; — иные из этих давних увлечений я бы теперь  
20 ненавидел, если бы я не чувствовал себя уже до непостижимости далеким от них. — Но эту последнюю любовь мою я люблю; — я не стыжусь ее даже и тем стыдом, который можно назвать стыдом Христианским... Христианин богобоязненный стыдится всего того, что ему могут поставить в укор, как дело не Христианское...

Конечно, что может быть без Бога! Его и соизволение на благое; Его и поущение на грех;.. или для испытания нашего в борьбе, или для уничтожения нашего в падении... Мне весело вспомнить и то, что Господь поддержал меня  
30 в этом деле; — и стыдиться мне нечего за себя, потому что я знаю, как я постоянно думал о Боге и как я пламенно молился, чтобы все хорошо окончилось.

И все окончилось хорошо и по-Христиански...

Правда — она умерла потом; — умерла всего двадцати двух лет... Но — это воля Господня; скончалась она как младенец. — И как ни скучна, как ни убийственно-уныла была моя жизнь с тех пор, — но я не знаю, могу

ли я жаловаться на то, что она умерла именно тогда, когда мы с ней были впервые во всем так согласны и так довольны друг другом.

Она была молода, и у нее грехов было мало; — Господь взял ее. — Я стар, и грехов у меня, не мелких каких-нибудь, а очень важных — было в долгую жизнь мою «паче песка морского»... И я жив. — Она была готова. — А я, окаянный, до сих пор еще не готов, и Господь ждет и долготерпит. — И после смерти ее мне уже ни о чем земном нет ни нужды, ни расположения особой какой-10  
нибудь личной молитвой молиться; — а стало довольно с меня двух общих всей Церкви молитв.

«Прочее время жизни моей скончать в мире и покаянии»... «Смерть пошли, Господи, Христианскую, для утомленного тела безболезненную; — перед людьми непостыдную; — в совести мирную и подай мне добрый ответ на страшном Суде твоём»...



ВАРИАНТЫ  
И РАЗНОЧТЕНИЯ



## ОТ ОСЕНИ ДО ОСЕНИ

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 3.

С. 7

- <sup>5</sup> после стояли начато и зачеркнуто: сл  
<sup>6</sup> после топился вписано над строкой и зачеркнуто: стар-  
рый  
<sup>7</sup> после прыгал зачеркнуто: на  
<sup>9</sup> после от начато и зачеркнуто: ве(тра)  
<sup>11</sup> перед вздыхала зачеркнуто: она не  
<sup>13</sup> после бледная и зачеркнуто: тонкая  
<sup>24</sup> Мыслети написано после зачеркнутого начала того  
же слова

С. 8

- <sup>6</sup> перед Как тебе зачеркнуто: Николая  
<sup>20</sup> после По ночам с зачеркнуто: измальства  
<sup>20</sup> роши вписано над зачеркнутым: дороги  
<sup>23</sup> перед Ну зачеркнуто: А  
<sup>25</sup> было: А Николай Дмитр(иевич) однако  
<sup>36</sup> идет! вставка

С. 9

- <sup>1</sup> после Кат(ерина) Бор(исовна) тоже зачеркнуто: как  
сколько могла  
<sup>3</sup> перед печально во вставке начато и зачеркнуто: глу-  
(боко?)  
далее в новой строке зачеркнуто: Мар(ья) П(авлов-  
на)

- 4 после 60 слишком зачеркнута вставка: согбен(ный)
- 5 после стан зачеркнуто: уж бы(л)  
уже вставка  
после согбен зачеркнуто в строке и над строкой:  
но  
после лицо зачеркнуто: все покрытое
- 7 после два письма зачеркнуто: и подойдя
- 8 их вставка
- 11 бледной вписано надзачеркнутым: чернобров(ой)
- 13 сухо мраморная дева вписано над зачеркнутым: холод-  
ная нимфа; — не меняя<sup>1</sup> ни взгляда, ни
- 14 Ольга, читай вставка
- 15 далее зачеркнуто:  
«Ну — что Вы там подельываете?»<sup>2</sup> Я думаю все<sup>3</sup>  
недовольны
- 16 после что зачеркнуто: свобода
- 20 после простительно зачеркнуто: зло употреблять во зло  
свободу. — Помириться
- 24 после любого из нас зачеркнуто: эти
- 25 меня написано после того же зачеркнутого
- 26 в автографе: не в свои сани не садись

## С. 10

- 3 читать вставка
- 10 после К чему это? зачеркнуто: сказала точно
- 18 после наконец зачеркнуто: после
- 19 перед 15 зачеркнуто: 20
- 25 после принять зачеркнуто: эти
- 28 после увидите их зачеркнуто: покл(онитесь)  
их вставка
- 31 после что я зачеркнуто: должен

## С. 11

- 5 после я возму зачеркнута скобка перед словом: Ска-  
завши
- 7 перед деньги зачеркнуто: бросила
- 10 бабушка вставка

<sup>1</sup> было: не менясь

<sup>2</sup> далее зачеркнуто: не

<sup>3</sup> далее начато и зачеркнуто: пр



- 11 *после* трудится *зачеркнуто*: в  
 15 *перед* Если *зачеркнуто*: с  
 15 *после* объясните *зачеркнуто*: хоть  
 16 *перед* Лиза *зачеркнуто*: Ольга  
 21 улыбаясь *вставка*  
 35 *после* деспотизм *зачеркнуто*: нар(од?)

### С. 12

- 1 *после* для меня *зачеркнуто*: не при каком  
 4 *перед* это сверх сил *зачеркнуто*: чего  
 10 *перед* Москву реку *зачеркнуто*: Неву  
 13 *после* которую вы *зачеркнуто*: верно помните  
 18 заметила ей *вписано над зачеркнутым*: ответила  
 21 бросая *вписано над зачеркнутым*: сухо  
 23 она была крепостная наша, а *вписано над строкой*  
 24 собой *вставка*  
 31 снова и старческие *вставки*  
 34 *после* была начато и *зачеркнуто*: м(ать)  
 35 *перед* тяжелая *зачеркнуто*: другая  
 и *вставка*

### С. 13

- 3 *после* Ольга *начато и зачеркнуто*: по  
 6 *осмотрелась вписано над зачеркнутым*: присм(атривалась)  
 12 *после* шалунья *зачеркнуто* начало того же слова  
 14 козел *вписано над зачеркнутым*: уж  
 19 *после* правнучку *вписано и зачеркнуто*: свою  
 20 Иван *вписано над зачеркнутым*: Сергей  
 25 им речь *вставка*  
 27 *после* снова *зачеркнуто*: с  
 31 было: Преподлый этот латынь *вероятно, пропущено*  
 слово язык  
 этот *исправлено на эта*  
 33 *после* глаголы их *зачеркнуто*:  
 — Ну-ка скажите хоть один глагол, Анн(а) Мат-  
 в(еевна), сказала Лиза. —  
 — Какова воструха! Скажи ей глагол латынский!  
 Слушай. — Но это тебе (?) грех видно глаголы их!  
 Perdo, reperdi, perdum, perdere... Это самые нежные. —  
 А другие и язык не выговорит. — Это я наслыша-

ла(сь), когда Андрей внук гостил у меня с год — да по латыни учился. — Помнишь, Ольга, старика учителя<sup>4</sup> Благовещенского?..

— Помню, — сказала Ольга. — И Благовещен(ского) представила. —

<sup>36</sup> после дочь); зачеркнуто: опять с прикащик(ом)

<sup>37</sup> после Ей зачеркнуто: Марь(я) П(авловна)

### С. 14

<sup>2</sup> после Эмансипация зачеркнуто: *Vus ver*

<sup>16</sup> убегу ~ дядю обморочила вписано между строк, после убийца!..

*в новой строке зачеркнуто:*

— Помните как

<sup>18</sup> после моих зачеркнуто: две тысячи

<sup>19</sup> исправлено, было: 700

<sup>19</sup> перед помяни его зачеркнуто: Царство

<sup>23</sup> далее зачеркнуто:

— Помните.

<sup>24</sup> хотела вставка

<sup>25</sup> Матве(евна) была вписано над зачеркнутым: Матвеевна не слышала ее возражений и (и ошибочно не вычеркнуто)

<sup>30</sup> перед Не слушая зачеркнуто: Она встала и далее зачеркнуто: никого

<sup>30</sup> тяжелая вставка

<sup>31</sup> чтобы уйти вставка

### С. 15

<sup>5</sup> бабонька вписано над зачеркнутым: маменька

<sup>5</sup> после грех зачеркнуто: бабонька

<sup>10</sup> после не на долго зачеркнуто: Ольга

<sup>11</sup> и уныло вписано над зачеркнутым: с

<sup>17</sup> после запершись зачеркнуто: Прика(щика)

<sup>18</sup> с ней написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>20</sup> глубоко вставка

<sup>23</sup> после ночей зачеркнуто: Одинокая

<sup>25</sup> после Ольгу начато и зачеркнуто: си(роту)

---

<sup>4</sup> далее зачеркнуто: А я

- 26 было: надменный  
 после надменный зачеркнуто: нрав  
 29 и вписано над тем же зачеркнутым  
 по нраву вставка  
 31 после которой зачеркнуто: семья

### С. 16

- 4 в матери Ольги вставка  
 15 после но... зачеркнуто: когда  
 17 после к руке зачеркнуто: ее  
 17 ее перед молодая вставка  
 21 комнату вставка  
 23 после Не сыновей ли зачеркнуто: и дочь  
 поверх и поставлен вопросительный знак  
 24 у ней вставка  
 24 после один зачеркнуто: как  
 25 после кинулся в зачеркнуто: газет(ную)  
 29 после над ней зачеркнуто: со всеми  
 29 после За то, что зачеркнуто: не отдала ему в руки себя  
 и имение  
 33 после которого зачеркнуто: она  
 36 после Дочь зачеркнуто: , дочь в  
 37 живет для нее вписано над зачеркнутым: есть

### С. 17

- 1 после руки зачеркнуто: ослаблен(ные)  
 2 уж исправлено, было: уже  
 4 безлюдн(ая) вставка  
 6 и в вставка  
 11 после которое начато и зачеркнуто: при(вязывало?)  
 11 после порвалось зачеркнуто: и  
 16 сама вставка  
 17 новый вставка  
 21 после земля зачеркнуто: которая  
 21 после не изъята зачеркнуто: от произвола  
 21 от произвола вставка  
 26 или вписано над зачеркнутым: и  
 26 далее зачеркнуто:  
 (Вставка о крестьян(ах))?  
 31 суду исправлено на суда  
 35 на миг вставка

С. 18

- 2 тогда *написано после того же зачеркнутого*  
5 *после так душно зачеркнуто: , та(к) и спал(ъне?)*  
5 *перед водо(во)рота зачеркнуто: этого*  
8 *после вместе зачеркнуто: с тем*  
    *с вставка*  
12 *пол-века тому назад вставка*  
16 *после голове было зачеркнуто: слегка (? ) холодно*  
18 *после пока зачеркнуто многоточие*  
29 *после по корридору зачеркнуто: Сам(а)*  
33 *мало вписано над зачеркнутым: все как(е)*  
35 *бархатну(ю) вставка*  
36 *броситься вписано над зачеркнутым: кинуться*

С. 19

- 1 *перед поклонилась зачеркнуто: обнял(а)*  
12 *старая няня вставка*  
18 *после издали зачеркнуто: прислушива(ясь)*  
20 *после звала зачеркнута вставка: глухую*  
24 *после диво! зачеркнуто: Сама*  
25 *остановила их, сама.... вставка*  
30 *после Натал(ью) Федор(овну) зачеркнуто: с тех пор*  
33 *после совсем зачеркнуто: уж и*

С. 20

- 2 *скоро тоже вставка*  
2 *после глаза. — начато и зачеркнуто: Ли(за)*  
3 *после тоже начато и зачеркнуто: усну(ли)*  
4 *скоро вписано над зачеркнутым: после*  
23 *после Когда за зачеркнуто: сел(ом)*  
24 *в автографе ошибочно: Никола(евна)*  
25 *после на отдых зачеркнуто: протягивая*  
36 *улыбаясь; вставка*

С. 21

- 5 *утренн(ий) вставка*  
7 *перед Глава III зачеркнуто: III далее в новой строке*  
    *зачеркнуто: Уж*  
8 *разливать исправлено на наливать*  
13 *после мантилью зачеркнуто: Помнишь, в которой —*  
    *ты была, когда*

- 14 уверяя, что к ней *вписано над зачеркнутым*  
 17 *длинной вставка*  
 18 вошла ~ только *вписано над строкой*  
 19 после нянька *зачеркнуто*: были только  
 20 после ваш начато и *зачеркнуто*: в (?)  
 20 после Матрена *зачеркнуто*: ... только не прогневай-  
 тесь — мы  
 23 тире *исправлено из и*  
 26 и сел *написано после того же зачеркнутого*  
 29 после вижу, что начато и *зачеркнуто*: оче⟨нь⟩  
 29 после Обои *зачеркнуто*: и не  
 31 Балкон *вписано над зачеркнутым*: Он

### С. 22

- 20 *перед я ведь зачеркнуто*: мне  
 21 не без смущенья *написано после того же зачеркнутого*  
 24 После *вписано над тем же зачеркнутым*  
 25 *перед потом зачеркнуто*: после  
 26 было:  $\frac{1}{2}$  часа  
 27 после вместе *зачеркнута вставка*: вдали  
     *после на огороде зачеркнуто*: Он что-то  
 28 *рукой и громко вставка*  
 33 после его *зачеркнуто*: наружность  
 36 после Черты *зачеркнуто*: лица

### С. 23

- 1 мимо глаза *вставка*  
 1 щеку его *вписано над зачеркнутым* сторону лица  
 3 после Ей *зачеркнуто*: даже  
 6 после Словом ей *начато и зачеркнуто*: нр⟨авилось⟩  
 7 после вдов *зачеркнуто*: она  
 9 только *вставка*  
 9 после уважать его *зачеркнуто*: и  
 10 и почтенным *вставка*  
 12 к этому месту *относится фрагмент, написанный и зачеркнутый на отдельном листе*:

### [IV] IV.

Погода стала лучше. — Еще 6

Куреево скоро повеселело и все его жители ободри-  
 лись. — Сентябрь был в начале. —

Погода разгулялась. — Подходил праздник Рождества Богородицы. — Бабы на<sup>5</sup> лужке ставили лен. —<sup>6</sup> Желтели<sup>7</sup> Куреевские рощи. — В полях прекращались работы и движенья. — Синички — вестницы зимы уж пищали в<sup>8</sup> рябиновой аллее. —

Ободрились и в барском доме<sup>9</sup> все старухи. — Матрена надела чистый платок. — Катер(ина) Борис(овна) везде являлась вмиг, где только было сборище. — Кресло Анны Матв(еевны)<sup>10</sup> в зале уже только пусто-в(ало). —<sup>11</sup> Марья Павл(овна) нача(ла) чаще выходить из кабинета. —

14 *Андрея вставка*

14 *после заметил зачеркнуто: было*

17 *после в ней зачеркнута запятая*

21 *один вставка*

27 *после ею самой зачеркнуто: для*

27 *после на радость зачеркнуто: не*

30 *после сквозь зачеркнуто: пестрые над ним вписано: расписные далее зачеркнуто: старые*

31 *перед Кафельная зачеркнута вставка: Большая*

37 *В углу ~ Первозванного вписано над строкой*

## С. 24

1 *множество вписано над зачеркнутым: бездна*

2 *бумаг ~ на полках вписано над строкой*

3 *перед понятному зачеркнуто: не*

4 *после гнезду. зачеркнуто:*

*Над столом*

7 *перед домом вставка*

10 *после выросло в отдельной строке зачеркнуто: — И это*

13 *приют написано после зачеркнутого начала того же слова*

---

<sup>5</sup> *далее было: солнце*

<sup>6</sup> *далее было: Куревские рощи*

<sup>7</sup> *далее зачеркнуто: нрзб.*

<sup>8</sup> *далее зачеркнуто: красной*

<sup>9</sup> *далее было начато и зачеркнуто: вс(е)*

<sup>10</sup> *далее зачеркнуто: на*

<sup>11</sup> *далее зачеркнуто: Лиза*

- 14 *после отсюда зачеркнуто: ; которую на  
на перед что вставка*
- 19 *после Облесков зачеркнуто:  
Чья? А(ндрей?)*
- 21 *актерка из вставка*
- 23 *после Но я начато и зачеркнуто: при(знаюсь)*
- 28 *после иногда зачеркнуто: мучал себя*
- 30 *а и быть вставка*
- 31 *перед Видеть зачеркнуто: Я*
- 33 *а вставка*
- 33 *после который зачеркнуто: на чужу(ю)*
- 34 *после перенесли. — в новой строке зачеркнуто: —  
Да! И  
начало следующего предложения вписано в конце  
строки*
- 37 *глупенькая вписано над зачеркнутым: бедная*

## С. 25

- 1 *сама вставка*
- 1 *перед приходила зачеркнуто: этого*
- 12 *после пришло зачеркнуто: вместе*
- 12 *в доме вставка*
- 13 *после его и зачеркнуто: сделать и*
- 20 *после Даже зачеркнуто: Ал Ни*
- 20 *послала вписано над зачеркнутым звала*
- 24 *после пойти было: по хозяйству  
осмотреть полевое вписано над строкой*
- 30 *что вписано над зачеркнутым: про*
- 32 *после до зачеркнуто: того, ч(то)*
- 34 *должно быть вставка*
- 34 *после дрянь зачеркнуто: а*
- 35 *и дерзкая вставка  
и написано после того же зачеркнутого*
- 37 *почти вставка*
- 37 *по старшин(ству) — вставка*

## С. 26

- 2 *перед Еще зачеркнуто: что*
- 3 *после что зачеркнуто: он(а)*
- 7 *умер и из вставки*
- 8 *и перед ей вставка*

- 8 было: прабабушке  
 9 перед Когда зачеркнуто: Ан⟨на⟩  
 10 после отвечала зачеркнуто: ей  
 11 и теплой вставка  
 12 о ней написано после того же зачеркнутого  
 12 потом вставка  
 21 после широк зачеркнуто: но  
 22 и комната вставка  
 27 к ней вставка  
 30 перед О Матрене зачеркнуто: Мар⟨ья⟩  
 31 в Курееве вписано над зачеркнутым: теперь  
 33 гордо и скалясь вставка  
 35 после бедность!» в новой строке зачеркнуто: Катер⟨и-  
 на⟩

### С. 27

- 2 старухе, чтоб ее развлечь: вписано над зачеркнутым:  
 Катер⟨ине⟩ Бор⟨исовне⟩  
 17 было: и даже прыгала  
 18 чем написано после того же зачеркнутого  
 21 перед подобостра⟨стием⟩ зачеркнуто: своим каким-то  
 22 как казал⟨ось⟩ Ольге вписано над строкой  
 31 хотя вписано над зачеркнутым: но ее  
 37 после да и не зачеркнуто: и

### С. 28

- 14 после Лиза зачеркнуто: толкова⟨ла⟩  
 21 шла и вставка  
 22 Глава IV написано дважды  
 24 Первая радость в Курееве вписано над строкой  
 после Мало-помалу зачеркнуто: все пошло лучше  
 26 после который начато и зачеркнуто: р⟨ано⟩  
 27 после на ток. — зачеркнуто: Один был  
 33 шутил вписано над зачеркнутым: говорил  
 33 грубость ~ старики. — вписано между строк

### С. 29

- 4 после в сад... зачеркнуто: И та⟨м⟩ вставлена запя-  
 тая  
 6 после садовщнки зачеркнуто: мещане хоз⟨яева⟩  
 8 забытого вставка



- 9 немногим *вставка*  
 13 *после* сидя *зачеркнуто*: на  
 17 *было*: все хохотал  
     похохатывал легонько. *вписано над зачеркнутым*  
     на *вставка*  
 20 *перед* думала *зачеркнуто*: но  
 22 *после* Облескову *начато и зачеркнуто*: р⟨одина⟩  
 23 *и вставка*  
 35 *перед* говорил *зачеркнуто*: но  
 35 *с перед* другой *вставка*  
 37 *после* тонкие *зачеркнуто*: какие

С. 30

- 4 любезный *вписано над зачеркнутым*: милый  
 9 *после* Облесков *зачеркнуто*: покраснел  
 10 с удивлением *вписано над зачеркнутым*: искоса на  
 10 потом *вписано над зачеркнутым*: спросил  
 10 медленно, но тихо, — *вписано над строкой*  
 11 *перед* тихо *зачеркнуто*: твердо  
 15 *после* и так *зачеркнуто*: добры  
 29 Глава V *написано после того же зачеркнутого*  
     слева знак *вставки*  
 30 *после* красные дни *зачеркнуто*: Сентября  
 33 *как вписано над зачеркнутым*: Как батюшка

С. 31

- 2 Матрена *вписано над зачеркнутым*: нянька  
 4 *после* передала ей *зачеркнуто*: —, что  
 5 И *вставка*  
 7 *после* по нем! *зачеркнуто*: Моим  
     было: Моим детям  
 9 и несколько *вписано над зачеркнутым*: несколько дней  
 11 *и вставка*  
 12 *после* приписать. — *зачеркнуто*: Лицо Облескова ста-  
     ⟨ло⟩  
 14 Темно *вписано над зачеркнутым*: Мутно  
 14 мутно *написано после того же зачеркнутого*  
 18 села *вписано над зачеркнутым*: деревни  
     было: соседней деревни  
 19 *перед* юнкер *зачеркнуто*: мо⟨лодой?⟩  
     слева на полях: NB ??

- 22 на службу вставка  
 36 после Раз зачеркнуто: в п над строкой зачеркнуто:  
 сам(а?)  
 37 перед нашла зачеркнуто: застала

### С. 32

- 3 Бледное вставка  
 5 она ~ скоро вписано между строк  
 после давно зачеркнуто: ждала  
 6 схоронили; ее вписано над зачеркнутым: схоронили  
 свез исправлено, было: свезли  
 8 семейном вставка  
 9 перед где зачеркнуто: куда  
 12 после наедине зачеркнуто: в  
 13 каменн(ом) вписано над зачеркнутым: большом  
 13 о вставка  
 после о котором зачеркнуто: так  
 15 строгий вставка  
 15 после еловый, зачеркнуто: и зв  
 15 было: ходила по комнатам с росписными потолками и  
 высокими каминами  
 16 паркетн(ым) полам вписано над зачеркнутым комна-  
 там  
 после полам зачеркнуто: но  
 с ошибочно не вычеркнуто  
 16 видела вставка  
 и фигурные комнаты. — вписано над зачеркнутым:  
 высоким камином  
 17 после в доме этом зачеркнуто: пахло одиночеством  
 далее написано: доме (первое доме ошибочно не вычер-  
 кнуто)  
 18 после чистоте, зачеркнуто: В На втор(ом)  
 19 после комнату; зачеркнуто: в которой столько был(о)  
 над строкой вписано и зачеркнуто: по зи(мам?)  
 20 после камином, зачеркнуто: убранство к(оторой?)  
 21 спал вписано над зачеркнутым: ушел  
 было: ушел на мезонин  
 21 перед Целый зачеркнуто: Оль(га)  
 после день зачеркнуто: Ольга ма(ло?)  
 22 после к вечеру зачеркнуто: являлся  
 23 после у камина зачеркнуто: в за(ле)

- 24 *весь вписано над зачеркнутым: целый*  
 27 *перед На третий зачеркнуто: Од(нажды)*  
 27 *после обеда вставка*  
 35 *после спрашивал ее зачеркнуто: об*  
     *перед этой строкой знак вставки*  
 36 *говорил написано после зачеркнутого начала того же*  
     *слова*

### С. 33

- 9 *перед умоляла зачеркнуто: просила*  
 9 *перед жены зачеркнуто: его*  
     *в новой строке зачеркнуто: — Одно*  
 15 *перед семь зачеркнуто: пять*  
 16 *перед служил зачеркнуто: жил*  
 18 *Ольга написано после того же зачеркнутого*  
 19 *почти вставка*  
 21 *перед Исхудалый зачеркнуто: Больной*  
 21 *перед костей зачеркнуто: от*  
 25 *она вставка после зачеркнутого: и*  
 25 *и написано после того же зачеркнутого*  
 26 *одной вставка*  
 27 *перед играла начато и зачеркнуто: нак*  
 32 *после белая зачеркнуто: , т*  
 33 *прищурится вставка*  
 35 *далее знак вставки, слева на полях написано: Смотри*  
     *предложение под знаком ~~⊖~~ ~~⊖~~ 4 этим знаком открыв-*  
     *ается следующий лист*

### С. 34

- 2 *далее в новой строке зачеркнуто: М*  
 3 *перед М-lle зачеркнуто: Анюта*  
 7 *перед удалением начато и зачеркнуто: стро(гостью)*  
 8 *после строгостью зачеркнуто: но заму(ж)*  
 14 *после но зачеркнуто: ему было*  
 18 *тире написано поверх и*  
 23 *перед звал зачеркнуто: хотел*  
 33 *Сама вставка*  
 34 *после отца и дочь было: на верные руки*

### С. 35

- 1 *перед тысячи зачеркнуто: 1000*  
 1 *перед надо зачеркнуто: нужн(о)*

- 2 после грома *зачеркнуто*: тысячи сот⟨ен⟩  
 9 не *вставка*  
 12 и *учила вставка*  
 20 после не *ценит зачеркнуто*: верной, честной  
 23 перед завтраком *зачеркнуто*: кофеем  
 26 ее *вставка*  
 31 после home *зачеркнуто*: Беспрестан⟨но⟩  
 32 то перед Немейкие *вставка*

### С. 36

- 9 перед помню *зачеркнуто*: как сейчас  
 14 и болен *вставка*, далее *зачеркнуто*: Я пригл⟨асил⟩  
 26 Я написано после того же *зачеркнутого*  
 28 перед вижу начато и *зачеркнуто*: смо⟨трию⟩  
 29 перед скажет *зачеркнуто*: сказал

### С. 37

- 3 перед долго *зачеркнуто*: гов⟨орил⟩  
 5 перед говорит *зачеркнуто*: сказал он  
 23 под вечер и на своих *вставки*  
 24 На и хоть раз *вставка*  
 25 перед застылой *зачеркнуто*: и  
 28 у себя *вставка*  
 29 перед несколько *зачеркнуто*: снова  
 30 после поцеловал *зачеркнуто*: ее  
 32 перед спали *зачеркнуто*: усну⟨ли⟩  
 слева на полях: (?)

### С. 38

- 1 после В зале *зачеркнуто*: в самом деле  
 7 перед старуха *зачеркнуто*: дама  
 9 исправлено, было: Глава V.....  
 15 после Ольгу начато и *зачеркнуто*: в  
 18 после стала *зачеркнуто*: избегать  
 21 до тех пор *вставка*  
 после пока не *зачеркнуто*: разрешилось  
 22 перед Он *зачеркнуто*: Не под⟨озревая⟩  
 25 после потерпит!..... *зачеркнуто*: и опоздал  
 31 сначала *вставка*  
 31 говоря, что Николай *вписано над зачеркнутым*: утвер-  
 ждая, что  
 33 после возражений ее *зачеркнуто*: что она

С. 39

- <sup>3</sup> воспитан(ие) вставка  
<sup>4</sup> после ногами... зачеркнуто: Она начала уступ(ать)  
<sup>5</sup> после поверила зачеркнуто: и  
<sup>7</sup> губернский вставка  
<sup>13</sup> было: Понимаю, понимаю  
<sup>14</sup> после кроткая Лиза. — зачеркнуто:  
    Во все время  
<sup>15</sup> перед поля начато и зачеркнуто: ма(ть)  
<sup>16</sup> перед упала зачеркнуто: была  
<sup>27</sup> Коля! вставка  
    говорила вписано над зачеркнутым: сказал(а)  
<sup>36</sup> после Как он зачеркнуто: вас

С. 40

- <sup>2</sup> И вписано над зачеркнутым: но —  
<sup>4</sup> после брата... зачеркнуто: А я п  
<sup>9</sup> после Сашке зачеркнуто: ихней  
<sup>11</sup> после а зачеркнуто: он  
<sup>13</sup> после Облесков. — зачеркнуто: И  
<sup>16</sup> после не жаль? — зачеркнуто: Я не мо(гу)  
<sup>22</sup> на днях вставка  
<sup>23</sup> после уж зачеркнуто: около больше  
    Этот написано после того же зачеркнутого  
    после подлец начато и зачеркнуто: с  
<sup>26</sup> перед Боюсь зачеркнуто: И мать  
<sup>29</sup> сохрани от поругания вставка  
<sup>31</sup> после дом.. зачеркнуто: от п(оругания)  
<sup>32</sup> они вставка  
<sup>33</sup> А написано после зачеркнутого: И

С. 41

- <sup>25</sup> вздора вставка  
<sup>26</sup> делец вписано над зачеркнутым: дельный демократ человек  
<sup>31</sup> после Львов в новой строке зачеркнуто: Т  
<sup>32</sup> после письма зачеркнуто: установи(лось)  
<sup>33</sup> показал вписано над зачеркнутым: отнес  
    было: отнес письмо к матери (к ошибочно не вычеркнуто)  
    после матери зачеркнуто: показал

С. 42

- <sup>3</sup> после записку в новой строке зачеркнуто: Любез-  
н(ый)  
<sup>11</sup> после в комнату зачеркнуто: и тревож(ить)  
<sup>13</sup> Андрея вставка  
<sup>13</sup> перед Одержав зачеркнуто: После  
<sup>15</sup> возвращался вписано над зачеркнутым: вез  
<sup>21</sup> после с Матреной поверх и поставлено тире  
<sup>23</sup> перед Лидия начато и зачеркнуто: се(стра)  
<sup>25</sup> после Андрей зачеркнуто: Человеку  
<sup>27</sup> после жену зачеркнуто: и бежит  
<sup>30</sup> этой написано после того же зачеркнутого

С. 43

- <sup>8</sup> после прежний зачеркнуто: старый  
<sup>8</sup> Глаза его вписано над зачеркнутым: Лицо  
<sup>10</sup> привставая вставка  
<sup>12</sup> отошла к окну вписано над зачеркнутым: ушла не без  
<sup>13</sup> и бросилась на диван вписано над строкой, далее за-  
черкнута вставка: А  
<sup>22</sup> перед Все зачеркнуто: «Это  
<sup>25</sup> Чести моей вписано над зачеркнутым: Мне  
<sup>26</sup> перед У зачеркнуто: И  
было: И у меня еще есть сыновья  
сыновья зачеркнуто  
<sup>27</sup> на вписано в предшествующей строке  
<sup>29</sup> и разошлись. — вставка  
<sup>30</sup> перед поглядев зачеркнута вставка: тоже  
далее над строкой зачеркнуто: ил(и?)  
<sup>30</sup> с написано после того же зачеркнутого  
<sup>30</sup> тихо вставка  
<sup>33</sup> Nicolas исправлено, было: Николай

С. 44

- <sup>19</sup> перед сказано зачеркнуто: был(о)  
<sup>24</sup> наемная вставка  
<sup>29</sup> К руке вписано над зачеркнутым: У  
<sup>35</sup> после Ольга зачеркнуто: и

С. 45

- <sup>4</sup> из вписано над зачеркнутым: К(уреево)в  
<sup>5</sup> посватался вставка

- 6 *после чин зачеркнуто*: так и  
*было*: который как только получил офицерский чин  
 так и  
 8 *было*: все же  
 11 *после сидел зачеркнуто*: опустив  
 13 *перед угасшим зачеркнуто*: с  
 15 *после видела зачеркнуто*: *деревь⟨я⟩*  
 22 *долгими и вымирающих вставка*  
 35 *даже вставка*

С. 46

- 2 *перед смолкая исправлено на тире*: и  
*смолкая исправлено, было*: смолкла  
 3 *после Матрена зачеркнуто*: казал(ось)  
 3 *у ног вписано над зачеркнутым*: при  
 5 *после молчание. — зачеркнуто*:  
 — Хорошо *пише⟨т⟩*  
 6 *как вставка*  
 9 *Ник⟨олаевич⟩ вписано карандашом над зачеркнутым*:  
*Дмитр⟨иевич⟩*  
 11 *с досадой вставка*  
*предложение вписано над зачеркнутым*: — Не  
*пишут и после него*  
 15 *никак вписано над зачеркнутым*: не  
*тоже вставка; было*: А муж Лидии *Дмитр⟨иевны⟩*  
*не пишет?..*  
 16 *теперича вписано над зачеркнутым*: нынче начнет  
*начнет вставка*  
*было*: и он нынче начнет писать?  
 18 *в автографе*: *Мар⟨ья⟩ Ник⟨олаевна⟩*  
 21 *было*: На другое утро, сухое и морозное  
*день вписано над зачеркнутым*: утро  
 25 *после воля над строкой зачеркнуто*: крепкая крепкая  
*тяжкая вписано под строкой*  
 25 *и вставка*  
 31 *перед упали зачеркнуто*: кинулись  
 35 *отдалась ему вписано над зачеркнутым*: беспреко-  
 ловно  
 36 *Облесков вставка*  
*после снова зачеркнуто*: за⟨мок⟩  
 36 *после замок зачеркнуто*: в старую

- <sup>37</sup> вместе вставка  
<sup>37</sup> после домой зачеркнуто: с

С. 47

- <sup>3</sup> перед поклялся начато и зачеркнуто: кл(ялся)  
<sup>9</sup> перед научил зачеркнуто: дал  
<sup>14</sup> перед другим начато и зачеркнуто: ины(м)  
<sup>17</sup> ты перед брат вставка  
<sup>18</sup> было: слушал он (он вписано слева на полях)  
<sup>19</sup> ее написано после двух зачеркнутых: ее  
    далее зачеркнуто: голос  
<sup>20</sup> и добрый вставка  
<sup>22</sup> перед желали зачеркнуто: не  
<sup>29</sup> после стала зачеркнуто: еще  
<sup>30</sup> для написано после того же зачеркнутого

С. 48

- <sup>10</sup> после при себе зачеркнуто: и при  
<sup>21</sup> сделала вписано над зачеркнутым: дал(а?)  
<sup>31</sup> далее зачеркнуто:

В эту самую ночь, —<sup>12</sup> едва только спустилась в белой блузе и шубке к своему другу в пристройку... по коридору мелькнул огонь — и кто-то стукнул к ним в дверь. —

Ольга кинулась за печь; Облесков спросил кто-там, немного грозно. —

— Не бойся, я не войду, сказала Марь(я) Павл(овна). — Прошу тебя только не забудь<sup>13</sup> погасить огонь и когда будешь свободен приди ко мне... Спать я<sup>14</sup> не буду, — я жду тебя. —

Любовники взглянули друг на друга, сказали тихо друг другу: «все пропало!» и оставив Ольгу одну, Облесков погасил огонь и ушел к матери. —

- <sup>32</sup> Вставка ~ в уездном городе. написано слева на полях карандашом  
    в начале следующего листа: Вставка

---

<sup>12</sup> далее зачеркнуто: Ольга когда

<sup>13</sup> не забудь вставка

<sup>14</sup> было: Я спать



С. 49

- 8 *после* в доме моем *зачеркнуто*: так не  
12 *перед* Потом *зачеркнуто*: Об  
12 *было*: поскорее  
    *после* связь *зачеркнуто*: эт⟨у⟩  
13 *еще* *вставка*  
19 Ольгу *вставка*  
24 и со мной не в ссоре *вписано над строкой*  
29 *после* при ней *зачеркнуто*: пока он ей нуж⟨ен⟩  
33 *скверно написано после зачеркнутого начала того же слова*  
34 угрюмый *написано после зачеркнутого ошибочного начала того же слова с опiskой*  
35 *после* не нравятся. — *зачеркнуто*: Но теперь  
36 *после* Но *зачеркнуто*: если

С. 50

- 3 *после* подозрений». — *зачеркнуто*: И прошу тебя  
5 *перед* прибавила *зачеркнуто*: сказ⟨ала⟩  
7 и радушием *вставка*  
8 *после* деньги *зачеркнуто*: и  
8 *было*: поцаловала руку, котор⟨ая⟩  
    ее *вставка*  
16 заметила *написано после того же зачеркнутого*  
27 оскорбления, которые *вписано над зачеркнутым*: враж-  
    ⟨ду⟩ его сл  
29 этой *вставка*

С. 51

- 4 *после* ее, *зачеркнута вставка*: она  
4 и по ~ нраву *вписано слева на полях*  
6 *перед* наставницы *зачеркнуто*: учит⟨ельницы⟩  
7 *после* или начато и *зачеркнуто*: пр  
11 *правильн⟨ый⟩ вставка*  
20 *после* не видеть ее *зачеркнуто*: перед глазами  
23 Ольга *вписано над зачеркнутым*: Лидия  
31 синем *вставка*  
32 *после* Облесков *зачеркнуто*: ) и  
32 *после* написал *зачеркнуто*: к  
33 *перед* белой начато и *зачеркнуто*: тон⟨кой?⟩

С. 52

- <sup>1</sup> *перед* тотчас *зачеркнуто*: сей⟨час⟩  
<sup>3</sup> *после* щегольски *зачеркнуто*: в  
<sup>6</sup> *добрые* *вписано над зачеркнутым*: тихие  
    *далее зачеркнута вставка*: тихие  
<sup>7</sup> *ни перед* спать *вставка*  
<sup>10</sup> *и перед* ее *вставка*  
<sup>11</sup> *после* участие. — *зачеркнуто*: Он обещал  
<sup>18</sup> образованный *вставка*  
<sup>27</sup> *после* если бы я *зачеркнуто*: мог  
<sup>27</sup> сегодня *вставка*  
<sup>28</sup> *после* Фет *зачеркнуто*: если бы  
<sup>29</sup> , если хотите, *вставка*  
<sup>32</sup> ноги *вставка*  
<sup>33</sup> не хуже Пирогова *вставка*  
<sup>36</sup> тоже *вставка*

С. 53

- <sup>3</sup> самом *вставка*  
<sup>17</sup> *после* в ее *зачеркнуто*: плохи⟨х⟩  
<sup>18</sup> даже *вставка*  
<sup>22</sup> *и перед* легче *вставка*  
<sup>25</sup> *после* поручу *зачеркнуто*: В⟨ас⟩  
<sup>30</sup> только *вставка*  
<sup>30</sup> *после* закутанный *зачеркнуто*: в шубу  
    *лежал вписано над зачеркнутым*: спал крепко на  
<sup>31</sup> с грохотом *вставка*

С. 54

- <sup>2</sup> его ошибочно было написано два раза  
<sup>3</sup> *после* допросам *зачеркнуто*: его  
<sup>3</sup> *перед* уважением *зачеркнуто*: преданностью  
<sup>5</sup> *после* стало *зачеркнуто*: почтительнее и еще  
<sup>6</sup> ласке этой *вписано над зачеркнутым*: добродушию  
<sup>6</sup> еще *вставка*  
<sup>8</sup> Уже *вписано слева на полях*  
<sup>9</sup> *после* карета *зачеркнуто*: как  
<sup>11</sup> было: с каким-⟨то⟩ небрежным и рассеянным доброду-  
    шием  
    каким *зачеркнуто*  
    радушием *вписано над зачеркнутым добродушием*

- 13 *после и еще зачеркнуто: очень*  
 23 *неделя вписано над зачеркнутым: день*  
     *было: Каждый день*  
 24 *после она зачеркнуто: виде⟨ла⟩*  
 25 *после та самая зачеркнуто: Сашка*  
 26 *Саше исправлено, было: Сашке*  
 27 *трех лет вписано над зачеркнутым: года*  
 28 *перед Андр. Дмитр. зачеркнуты кавычки*  
 30 *начинал вставка*  
 31 *после увидела зачеркнуто: что*  
 32 *после к театру; зачеркнуто: бывал⟨а⟩*  
 33 *артистичес⟨кий⟩ вставка*

### С. 55

- 10 *с вписано над зачеркнутым: она*  
 18 *гнев написано после зачеркнутого начала того же*  
     *слова*  
 20 *после должна зачеркнуто: терпеть*  
 23 *прогулок вставка*  
 25 *было: среди новых встреч и лиц*  
     *лиц вписано над зачеркнутым: встреч*  
     *после и зачеркнуто: лиц*  
 25 *после хранила зачеркнуто: свою за⟨ветную?⟩*  
 27 *после когда бы зачеркнуто: статья*  
 31 *перед Между зачеркнуто: Наконец*  
     *далее начато и зачеркнуто: посети⟨телями⟩*  
 33 *гвардейцы вписано над зачеркнутым: артисты*  
 35 *после было начато и зачеркнуто: мн⟨ого⟩*  
 35 *перед Она зачеркнуто: Наконец*

### С. 56

- 1 *после как оставлено место для слова (отточия и над*  
     *ними вопросительный знак)*  
 3 *пустые вставка*  
 4 *перед отданы зачеркнуто: посвя⟨щены⟩*  
 9 *перед Испанию зачеркнуто: Италию*  
 20 *красной вставка*  
 24 *груды вставка*  
 25 *чтобы написано после того же зачеркнутого*  
 26 *в вставка*  
 27 *после так, вероятно, пропущено слово*

- 29 *после* Но *зачеркнуто*: когда я ⟨?⟩  
 30 к вам *вписано над зачернутым*: туда  
 34 *перед* с восторгом *зачеркнуто*: с р⟨адостью⟩

С. 57

- 19 *после* В этот год *зачеркнуто*: сердце ее было особенно радостно и  
     она *вставка над зачеркнутым*  
     было: умилившись, она  
 20 *перед* Село *зачеркнуто*: Возвращаясь  
 22 *перед* ей *зачеркнуто*: он⟨а⟩  
 22 *после* пришло на мысль *зачеркнуто*: что  
 23 было: руками  
 24 *перед* Путь *зачеркнуто*: Дорог⟨а⟩  
 24 *перед* скоро *зачеркнуто*: она ⟨?⟩  
 26 *после* Сон? *зачеркнуто*: Вставка. —  
 27 *после* дверцы. — *зачеркнуто*: Тогда только

С. 58

- 2 но *вставка*  
 3 *после* Его *зачеркнуто*: видно зв⟨али?⟩  
 3 *новый* *вставка, над ней зачеркнуто*: но  
 6 *перед* спрятав *начато и зачеркнуто*: ко⟨нчив⟩  
 12 *перед* горем *начато и зачеркнуто*: не⟨счастьем?⟩  
 13 *перед* попала *зачеркнуто*: в в  
 13 *после* матери моей *зачеркнуто*: об этой  
 19 *перед* нужно *начато и зачеркнуто*: хо⟨телосб⟩  
 20 *после* ушла; — *зачеркнуто*: но  
 25 *перед* вышла *зачеркнуто*: встала  
 28 *надеялась вписано над зачеркнутым*: думала  
 28 *любимый вставка*  
 30 *после* просидела она *зачеркнуто*: час  
 33 *после* работу; — *зачеркнуто*: и кла⟨нялись⟩  
 34 *перед* горьким чувством *зачеркнуто*: грусть⟨ю⟩

С. 59

- 1 *после* Прощай *зачеркнуто*: Куреево  
 4 *перед* Уже *зачеркнуто*: Он⟨а⟩  
 4 было: а с<sup>15</sup> скорбью  
     но *вписано над зачеркнутым*: а

---

<sup>15</sup> *далее начато и зачеркнуто*: гр⟨устью?⟩

- 8 *после* веселым *зачеркнуто*: и  
 12 *Сын* *написано после зачеркнутого*: сын и  
 12 *руками* *вставка*  
 12 *после* ноги *зачеркнуто*: и  
 14 и *дворовые* *вставка*  
 15 *Мар(ья)* ~ весела *вписано над строкой*  
 17 *перед* Облесков *зачеркнуто*: Ник(олай)  
     *после* предложил *зачеркнуто*: матери ей и  
 18 *про* эту станцию и *небольш(ое)* *вставки*  
 21 там *вставка*  
 22 *было*: Комнаты большие  
     *несколько вписано над зачеркнутым*: большие  
 24 *после* вышла к ним и *зачеркнуто*: об  
 25 *после* на стене *зачеркнуто*: в  
 26 *после* в чепце *зачеркнуто*: и с  
 26 *после* Сердитая *зачеркнуто*: М(ad.)  
 28 *после* Я уж *зачеркнуто*: лет  
 30 *перед* Так ехали *зачеркнуто*: На заре  
 30 *перед* Николай Дмитр. *начато и зачеркнуто*: Ль(вов)  
 34 *перед* Ее *зачеркнуто*: Ост(ановились?)  
 34 *после* здесь *зачеркнуто*: на траве  
 36 *после* до станции *зачеркнуто*:  
     Там пришлось перепрягать лошадей; чтобы

## С. 60

- 1 *перед* Облесков *начато и зачеркнуто*: Ль(вов)  
 2 *после* в комнату *зачеркнуто*: и  
 5 *грубое* *вставка*  
 14 *после* Кони *начато и зачеркнуто*: мча(лись)  
 14 *было*: неслись  
 16 *чему-либо* *вставка*  
 19 о том *вписано над зачеркнутым*: что счастье у них  
 20 *после* могиле?.. *зачеркнуто*:  
     Облесков<sup>16</sup> и теперь делит время свое между<sup>17</sup> Ольгой и гражданским трудом. — Везде ценят его твердость, его здравый ум и высокую простоту обращения. —

<sup>16</sup> *далее зачеркнуто*: не р

<sup>17</sup> *написано после того же зачеркнутого*

- 22 *после об нем зачеркнуто: да об  
перед движенья зачеркнуто: первые  
после движенья зачеркнуто: она только*
- 28 *ее написано после того же зачеркнутого*
- 29 *перед она зачеркнуто: но*
- 30 *но вписано над зачеркнутым: но сердце и*
- 30 *после верность зачеркнуто: в ней*
- 31 *перед он зачеркнуто: один*

## ДВЕ ИЗБРАННИЦЫ

С. 106

- 22 *в «России», возможно, опечатка: милый*

### Часть вторая

Правка Леонтьева на копии М. В. Леонтьевой, В. М. Эбермана и неустановленного лица: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 998.

С. 154

- 20 *перед Несвицкий зачеркнуто: твой*
- 21 *Было: тобой, зачеркнуто и вписано карандашом над строкой: Вами*
- 23 *что вписано карандашом над зачеркнутым: это*

С. 156

- 32 *при вписано карандашом, было: в*

С. 159

- 7 *и вставка карандашом; было: и за это доброе движение послала*

С. 162

- 21 *завтра вставка карандашом*
- 25 *я вставка*

С. 187

- 4 *рукой М. В. Леонтьевой: пропуск*

## ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ

Текст *PВ*: 1881. № 8. С. 701—749. № 9. С. 226—269.  
№ 10. С. 772—753. 1882. № 1. С. 94—119. № 10.  
С. 646—689.

С. 199

- <sup>4</sup> два⟨,⟩ три шага
- <sup>14</sup> извиниться ⟨пред⟩ вами
- <sup>22</sup> поспешил так ⟨стать⟩ чтобы

С. 200

- <sup>37</sup> «⟨ей!⟩ бана-бак!»

С. 202

- <sup>20</sup> в *СС*: пошли вместе

С. 204

- <sup>12</sup> видел ее ⟨пред⟩ собою.

С. 217

- <sup>30</sup> в *СС*: и особенно дикие эти французы

С. 245

- <sup>30</sup> ⟨через⟩ дня два-три
- <sup>34</sup> ⟨Он⟩ восхищается

С. 252

- <sup>2</sup> в *СС*: с красным носом
- <sup>6</sup> ⟨пред⟩ домом двор

С. 253

- <sup>7</sup> в *СС*: кому могло нравиться?

С. 256

- <sup>7</sup> в *СС*: не безусловно восхищались
- <sup>34</sup> ⟨чтоб⟩ общество его

С. 257

- <sup>15</sup> в *СС*: Со стыдом добавлю

С. 258

- <sup>15</sup> ⟨чтоб⟩ он раскуривал

- С. 259  
20 в СС: в этой беседке
- С. 272  
23 в СС: Поколебавшись немного
- С. 275  
6 ⟨помещались⟩ в большом
- С. 276  
8 ⟨Чрез⟩ две недели
- С. 277  
15 не заставила ⟨нас⟩ долго ждать
- С. 290  
8 в СС: посреди высокого бурьяна
- С. 293  
17 в СС: потеряла своего старшего сына
- С. 295  
10 в СС: иногда может быть и благородной
- С. 301  
23 в СС: начали бояться
- С. 302  
19 в СС: возбужденно и взволнованно
- С. 305  
26 щипать себя ⟨когтями⟩
- С. 311  
9 еще два⟨,⟩ три стихотворения
- С. 314  
20 ⟨пред⟩ Киритли-пашой
- С. 316  
26 в СС: ожидая нового вопроса
- С. 320  
16 в СС: около двенадцати лет



- С. 327  
26 в СС: боюсь, чтобы Виллартоны...
- С. 328  
5 в СС: он не совладал с собою
- С. 331  
36 не были(?) <Ч>то с вами?
- С. 336  
1 или нет(!)
- С. 341  
12 Антониади, — <Э>айдите
- С. 342  
12 А сюда ходить(?) Как вам сказать?
- С. 344  
18 в СС: сколько ему вреда сделает
- С. 347  
2 в СС: чтобы он не уезжал
- С. 351  
12 у консула: «Отправил
- С. 353  
2 в СС: ночь длинная
- С. 357  
10 в СС: наивный человек!)
- С. 360  
24 Хороший консул в Турции(,) это иногда
- С. 363  
7 — Это правда(!)
- С. 364  
32 с <Тевфик>-беем
- С. 369  
32 в СС: орден Станислава в петлице

С. 376

<sup>15</sup> в СС, возможно, опечатка: желтый польский офицер

С. 378

<sup>15</sup> в СС: незадолго до этого

С. 383

<sup>5</sup> в СС: Я не оставляю метафизики

С. 384

<sup>14</sup> я увидел (ее) желание

С. 398

<sup>1</sup> в СС: притоптывая

С. 399

<sup>25</sup> вскочил (пред) ним

[Главы, не вошедшие в основной текст  
«Египетского голубя».

Фрагменты последних глав]

РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 3—36 (автограф),  
60—81, 82—97, 42—59 (копия М. В. Леонтьевой с авторс-  
кой правкой), 37—41 (автограф), 98—113 (копия М. В. Ле-  
онтьевой с авторской правкой).

С. 400

<sup>5</sup> перед узнал зачеркнуто: застал

после что вписано над строкой и зачеркнуто: рус-  
ский

<sup>8</sup> после сидел зачеркнута вставка: задумчиво

<sup>9</sup> далее в новой строке зачеркнуто: Он подал мне пись-  
мо от одного из моих друзей в Посольстве и показывая  
мне (и да) конверт держал

<sup>11</sup> после Прочтите зачеркнуто: а

<sup>15</sup> Там исправлено; далее зачеркнуто: у нас был были

<sup>15</sup> с своими семьями вписано над зачеркнутым: и

<sup>20</sup> consulaire написано после зачеркнутого начала того  
же слова

- 22 *после* никого *зачеркнуто*: *подходящ*(его)  
 23 *после* благонадежности — *зачеркнуто*: Все  
 24 *после* всех *зачеркнуто*: этих  
 26 *наше* *вписано* *над* *зачеркнутым*: Русское

С. 401

- 3 *флагом* *написано* *после* *того* *же* *зачеркнутого*  
 он *зачеркнуто*, *а* *затем* *вписано* *над* *строкой*  
 4 *древко* *наше* *вписано* *над* *зачеркнутым*: *мачта* *нашего*  
*флага*  
 5 *перед* *длиннее* *зачеркнуто*: *гораздо*  
 5 *перед* *флаг* *зачеркнута* *вставка*: *наш*; *далее* *зачеркну-*  
*то*: *трех* [*начало* *слова* *нрзб*]  
 7 *после* *Оставалось* *зачеркнуто*: *только*  
 12 *после* *лавочки*, *зачеркнуто*: *торгов*(цы)  
 13 *пшеницей* *написано* *после* *зачеркнутого* *начала* *того*  
*же* *слова*  
 13 *после* *баранами* *в* *строке* *зачеркнуто*: *мало* *его* *боялись*,  
*обращались* *с* *ним* *за* *панибрата*, *над* *строкой* *зачеркну-*  
*то*: *не* *имели* *к* *нему*  
 17 *перед* *Не* *раз* *зачеркнуто*: Р  
 17 *после* *в* *донесениях* *своих* *зачеркнуто*: *Богатыреву* *и*  
*Богатыреву* *или* *мне* *во* *время* *моего* *прежнего* *управле-*  
*ния*  
 18 *после* *то* *на* *зачеркнуто*: *золотых* *дел* *мастера* *Куюнд-*  
*жи*\* [*внизу* *зачеркнуто* *примечание*: \* *Золотых* *дел*  
*мастера*] *Куюнджи* *Кур*; *над* *строкой* *зачеркнуто*: *ба-*  
*кала* *Аведик*(ова) *К*  
 18 *после* *то* *на* *зачеркнуто*: *бакала*; *над* *строкой* *вписано*:  
*бояджи*  
 19 *после* *то* *на* *Куюнджи* *зачеркнуто*: *Ахиллеса*; *над* *стро-*  
*кой* *зачеркнуто*: *Ставри*  
*Ставро* *Мустаки* *вписано* *над* *зачеркнутым*: *Алек-*  
*сандра*  
 19 *после* *то* *на* *хассапа* *зачеркнуто*: *Яни*  
 22 *перед* *Не* *могу* *зачеркнуто*: *н*  
 26 *после* *только* *что* *зачеркнуто*: *почти*  
 33 *перед* *торговом* *зачеркнуто*: *консульском*  
 34 *после* *не* *платит*; *зачеркнуто*: *в* *тюрьму*  
 36 *после* *говорит* *зачеркнуто*: *на* *всё* *эт*(о)

С. 402

- 6 после бумагу зачеркнуто начало слова нрзб.  
8 после я зачеркнуто: пр(ошу)  
16 После этого я вписано после зачеркнутого: Тогда я  
16 после про начато и зачеркнуто: сег(одняшний)  
17 про написано после того же зачеркнутого  
18 после его деду. — зачеркнуто: В Ко(нсульство)  
20 Лицо ~ мрачным. — вписано над зачеркнутым: —  
Когда я  
21 ошибочно не вычеркнуто я: Когда я еще я уеду!  
22 после Она зачеркнуто: дает  
28 обдумаем написано после того же зачеркнутого  
31 перед Дом зачеркнуто: Виллартон  
34 после да зачеркнуто: вы  
после пожалуй зачеркнуто: так  
34 после не захочет зачеркнуто: для вас  
37 перед меньше зачеркнуто: менее

С. 403

- 3 после не ответил зачеркнуто: , и я простился<sup>18</sup> и (по-  
ш(ел)) ушел из Консульства я простился с ним он  
принялся опять писать; — а я пошел в Кастро, с тем,  
чтобы провести с «ней» несколько часов перед отъездом  
в Родосто  
4 внезапно вписано над зачеркнутым: что-то  
6 было написано после того же зачеркнутого  
8 секретарей написано после зачеркнутого начала того  
же слова  
10 после раскрыл его зачеркнуто: и меня как громом  
после прочел зачеркнуто: две стран(ицы)  
14 после уже здесь, зачеркнуто: но  
18 наблюдени(ями) вписано над зачеркнутым: трудом  
трудом было написано поверх начатого: мем(уа-  
ром)  
19 перед работу зачеркнуто: тру(д)  
22 перед Консул зачеркнуто: Он  
22 перед мемуар зачеркнуто: зап(иску)

---

<sup>18</sup> над строкой зачеркнуто: я пожал ему руку и выше зачеркну-  
то: по

- 25 *перед* букве начато и зачеркнуто: фо(рме)  
 26 *после* «не великодушный» зачеркнуто: (очень  
 28 Гоголь написано после начатого и зачеркнутого: Го-  
 <gol>  
 после Щедрин зачеркнуто: Некр(асов)  
 36 *писал* написано после зачеркнутого начала того же  
 слова  
 36 *после* спиною... зачеркнуто: Я поглядел на эту спину...

### С. 404

- 1 *русской* вписано над зачеркнутым: шубки  
 3 *после* Однако! — зачеркнуто: Хорошо  
 8 *после* или зачеркнуто: нет: —  
 10 *этим* вписано над зачеркнутым: его  
 10 плагиагом написано после зачеркнутого начала того  
 же слова  
 13 *после* спросил зачеркнута вставка: прив(етливо)  
 14 *перед* взял зачеркнуто: над(ел)  
 17 *после* Вонне зачеркнуто: нрзб  
 17 *после* chance... зачеркнуто: Да,  
 18 *Надо ~ с Вами* вписано над зачеркнутым: Вечером  
 надо Вечером дочтем —  
 25 *опасался* написано после зачеркнутого начала того же  
 слова  
 26 *после* «чиновником» зачеркнуто: и  
 27 *выходки* вписано над зачеркнутым: «независимые»  
 29 *далее* зачеркнуто синим карандашом: Я протислся с  
 Чобан-Оглу и сказал себе:  
 — Опять к ней и к ней: — больше не к кому мне  
 итти. —  
 30 *С этими ~ часа!* — вписано между строк  
 30 *после* к Маше; зачеркнуто: и  
 32 *Увидим! Теперь* вписано над зачеркнутым: И Маша (?)  
 34 *после* застал ее зачеркнуто: за  
 34 *перед* пестрой начато и зачеркнуто: го(лубой); *после*  
 зачеркнуто: и милой и милой вписано над строкой  
 перед гостиной  
 34 *перед* за книгой зачеркнуто: над  
 35 *после* за зачеркнуто: Revue des  
 36 *Проходя ~ как* вписано над зачеркнутым: В зале Ак-  
 риви отвечала ур(ок)

С. 405

- <sup>1</sup> и остановился ~ на них *вписано над зачеркнутым*: Я слышал, как  
<sup>2</sup> *перед вставкой* спросила *зачеркнуто*: спрашивала  
<sup>11</sup> *после к матери зачеркнуто*: и тотчас же рассказал ей об этом  
    *далее знак вставки*  
<sup>14</sup> с радостью *написано после зачеркнутого начала того же*  
    *после Я зачеркнуто*: всегда  
<sup>16</sup> *после чистая совесть зачеркнуто*: ... прив(одит?)  
<sup>17</sup> *после с ребенком, начато и зачеркнуто*: ка  
<sup>18</sup> *встрече написано после зачеркнутого начала того же слова*  
<sup>19</sup> *после она зачеркнуто*: больше  
<sup>21</sup> *после Мад. Антониади зачеркнуто*: вдруг и  
<sup>23</sup> *после отчего?.. зачеркнуто*: Вы  
<sup>30</sup> *перед может быть зачеркнуто*: как  
<sup>31</sup> *перед моим зачеркнуто*: вашим  
<sup>34</sup> *перед Это зачеркнуто*: Не  
    *в предыдущей строке зачеркнуто*: Этот ответ  
<sup>37</sup> *после правы, ... зачеркнуто*: это

С. 406

- <sup>3</sup> *перед Нет зачеркнуто*: только  
<sup>7</sup> *после думал, зачеркнуто*: «что  
<sup>8</sup> *после prismel!» зачеркнуто*: То эта сухость  
<sup>10</sup> *после играют... зачеркнуто*:  
    Она не отвечала на это ни слова  
    *далее от слов Я говорил до я курил. — зачеркнуто, позднее зачеркивание отменено*  
<sup>14</sup> *вышла вписано над зачеркнутым*: сама ушла  
<sup>16</sup> *было*: в 50-х годах  
<sup>17</sup> *перед Ему начато и зачеркнуто*: Ант(ониади)  
<sup>18</sup> *после 17 лет; зачеркнуто*: и борода и усы  
<sup>19</sup> *Сидел написано после зачеркнутого начала того же слова*  
<sup>20</sup> *перед таком зачеркнуто в строке*: поло(сатом), *над строкой*: том *далее зачеркнуто*: сером  
<sup>21</sup> *после в Турции. — зачеркнуто*: На ли(це)

- 22 *после* Лицо его, *зачеркнуто*: еще вовсе  
 22 *после* бороды, *зачеркнуто*: почти вовсе еще вовсе  
 26 *перед* Те же было начато: Мяг(кие); *после* *зачеркнуто*: черты  
     *после* мягкие черты *зачеркнуто*: носа  
 27 *после* очень *зачеркнуто*: тем(ные) черные  
 27 Та же *вписано над тем же* *зачеркнутым*  
 30 *после* портретик было *многоточие*  
 32 *после* доске... *зачеркнуто*: Эта Жив(ой) Другой  
 36 *пелеринке написано после* *зачеркнутого начала того же слова с* *опиской*

С. 407

- 2 *коммерсанта написано после* *зачеркнутого начала того же слова*  
 3 *злобы вписано над* *зачеркнутым*: отврат(ительного?)  
     отвращения  
 4 *после* минуты *зачеркнуто*: но  
 4 *об повторено и* *зачеркнуто*  
 6 *после* душою *зачеркнуто*: робко(го)  
     *после* твердого *зачеркнуто*: в труде и  
 10 *Ростет вставка; в конце предыдущей строки* *зачеркнуто*: растет —  
 11 *трудовым вписано над* *зачеркнутым*: его трудам  
 13 *после* передо мной *зачеркнуто*: в  
 13 *после* одетая,... *зачеркнуто*: благоуха(ние)  
 16 *Блуменфельд написано после тогож е* *зачеркнутого*  
 17 *упрямый написано после* *зачеркнутого начала того же слова; далее* *зачеркнуто*: боец Фракии во Фракии  
 23 *после* отвечаю я... *поставлена запятая и* *зачеркнуто*:  
     и ставлю  
 27 *в начале строке* *зачеркнуто*: Я очень рада,... что вам  
 28 *после* Акриви!.. *в новой строке* *зачеркнуто*: Наконец  
     На(конец)  
 29 *взглянула вписано над* *зачеркнутым*: взглянула на него  
 30 *было*: дагерротипов  
 33 *я написано два раза*  
 33 *после* не в силах *зачеркнуто*: уже  
 33 *после* скрыть *зачеркнуто*: свое(го)  
 34 *предложение вписано между строк; далее в новой строке* *зачеркнуто*:— Вы рассердились?

С. 408

- <sup>1</sup> как можно суше и *вписано над зачеркнутым*: с досадой
- <sup>2</sup> после покойнее *зачеркнуто*:  
— Позвольте мне спросить у вас об одном вашем слове... Прежнем...<sup>19</sup> Я бы желал понять его настоящий смысл...
- <sup>3</sup> вам *вписано над зачеркнутым*: мне  
после один *зачеркнуто*: наш
- <sup>9</sup> перед спрашивали *зачеркнуто*: сказали
- <sup>19</sup> после — Да, *зачеркнуто*: пожалуй
- <sup>20</sup> все мне нравится *вписано над зачеркнутым*: ваша даже наруж(ность)
- <sup>22</sup> перед гораздо больше *начато и зачеркнуто*: бол(ьше)
- <sup>23</sup> после в мыслях, *зачеркнуто карандашом*: вк(усах) во всём; нас разделя(ет) но мы не имеем права наслаждаться нашей симпатией, как хотим
- <sup>23</sup> м. б. и *вписано карандашом одновременно с зачеркиванием, приведенным выше; было*: С мужем — у нас нет этого согласия во вкусах... *последние три слова зачеркнуты карандашом*
- <sup>24</sup> после Но *зачеркнуто карандашом*: обмануть его
- <sup>27</sup> перед красивой *зачеркнуто*: своей
- <sup>28</sup> движение это — *вставка; ошибочно не вычеркнуто в строке второе это*: Мне движение это показалось это
- <sup>30</sup> — Кто же ~ Но *вписано между строк; предложение начиналось*: — Вы всё-таки
- <sup>35</sup> после Например — *зачеркнуто*: мы с ни(м)
- <sup>36</sup> у нас здесь было *подчеркнуто, затем подчеркивание отменено; далее зачеркнуто*: с ним *над строкой зачеркнуто*: на

С. 409

- <sup>1</sup> после le Christ *начато и зачеркнуто*: со(гласитесь)
- <sup>7</sup> после с отчаянием... *зачеркнуто*: Ваше

---

<sup>19</sup> между строк *вписано и зачеркнуто*: из ваших прежних слов...  
Прежних...



8 — Не вписано синим карандашом поверх зачеркнутого: Я не

после Не понимаю зачеркнуто синим карандашом: одного, как можно называть «симпатией» принудительное согласие! — ⟨Надо выраж(аться)⟩<sup>20</sup> Другое дело — этот скучный долг. —

на полях синим карандашом: X)

10 после вы себя зачеркнуто: все

14 перед возразил начато и зачеркнуто: ск(азал)

17 вас написано после зачеркнутого: В

18 после Вы свободны... зачеркнуто:

— Да, и

20 что написано после того же зачеркнутого

24 И как видите сумела вписано над зачеркнутым: И если бы я не уве

26 после в доме... зачеркнуто: Почти

29 после не доверчив... зачеркнуто: Вы

31 перед позволяет зачеркнуто: не

#### С. 410

4 перед считаю начато и зачеркнуто: обяз(ан)

5 нибудь вписано над зачеркнутым: бы

11 Я ~ от вас! вписано над строкой

12 перед уже зачеркнуто: с

13 после что я начато и зачеркнуто: смути(лся)

18 после Маша, — зачеркнуто: это ваша воля я

19 перед клеветаете... зачеркнуто: не

20 перед собирался зачеркнуто: хотел

21 перед эстетические зачеркнуто: собственные

22 после Каково! зачеркнуто: )... Но я

28 после и внимателен. — зачеркнуто:

При нем и мы<sup>21</sup> очень скоро остыли и

30 после о постороннем... зачеркнуто синим карандашом:

Маша помогла. — Она<sup>22</sup> начала речь о Вéлико и о Виллартоне; о том, что<sup>23</sup> хорошо бы мальчика взять и не

---

<sup>20</sup> зачеркнуто при написании текста, а не в ходе правки

<sup>21</sup> далее зачеркнуто: ни

<sup>22</sup> далее было начато: за

<sup>23</sup> далее зачеркнуто: ни для

затруднять без крайности Русское Консульство его присутствием. —

<sup>32</sup> *запятая вписана поперх ...*

<sup>32</sup> *после делам службы. — зачеркнуто:*

Этот<sup>24</sup> разговор с Машей, слишком резкий и прямой

<sup>37</sup> *после кажется зачеркнуто:* именно после завтра и

## С. 411

<sup>2</sup> *перед вам зачеркнуто:* В

<sup>3</sup> *перед ответил зачеркнуто:* не сказ(ал)

<sup>6</sup> *И написано после того же зачеркнутого*

<sup>8</sup> *после офицеров... зачеркнуто:* Вот,

<sup>12</sup> *не прав вписано над зачеркнутым:* жесток  
*после неделикатен зачеркнуто:* и

<sup>13</sup> *перед Мне зачеркнуто:* Я

<sup>15</sup> *как написано после того же зачеркнутого*

<sup>17</sup> *перед отказались зачеркнуто:* постыдились

<sup>17</sup> *после от старых зачеркнуто:* средств

<sup>20</sup> *после погубит, зачеркнуто:* и т. [п.]

<sup>23</sup> *перед сделал зачеркнуто:* уже

<sup>23</sup> *после еще худшее... зачеркнуто:* Я старался унизить<sup>25</sup>  
этого мужа

*было: унизить этого мужа в глазах женщины<sup>26</sup> са-  
молюбивой*

*я вставлено на полях*

<sup>24</sup> *после вставки и в мужа не влюбленной зачеркнуто:*  
которая оставаясь находила

<sup>28</sup> *после Мож(но) зачеркнуто:* быть

<sup>30</sup> *востороже(нно) об вписано над зачеркнутым:* и об ее

<sup>31</sup> *перед над ней начато и зачеркнуто:* Э

<sup>31</sup> *после в глаза! — зачеркнуто:*

*Но разрушать это*

<sup>32</sup> *после поэтизировать зачеркнуто:* его

<sup>32</sup> *перед своих зачеркнуто:* моих

<sup>37</sup> *после об этом...; зачеркнуто:* едва отв(ечая)

---

<sup>24</sup> *перед Этот зачеркнуто:* В

<sup>25</sup> *далее начато и зачеркнуто:* му(жа)

<sup>26</sup> *перед женщины зачеркнута вставка:* самолюбивой

С. 412

- 2 после знали зачеркнуто: Перехо⟨дя⟩  
2 после надо было зачеркнуто: сл  
4 после переходить зачеркнуто: т  
6 после Ah! зачеркнуто: Toujour  
9 после и зачеркнуто: в какой  
11 разными написано после того же зачеркнутого  
15 вам написано после зачеркнутого: Вам  
19 перед воскликнул зачеркнуто: спросил  
23 Черксы написано после зачеркнутого начала того же слова  
28 перед посылает зачеркнуто: велел  
    после войско зачеркнуто: для их усмирения  
29 перед выгнать зачеркнуто: и  
33 как слышно вписано над зачеркнутым: у вор  
37 после в вашем вкусе зачеркнуто: Я очень даже  
    после европейс⟨кого⟩ начато и зачеркнуто: кро⟨ме⟩

С. 413

- 8 после не знаю — зачеркнуто: как  
16 после поступке; — зачеркнуто: но  
19 после как-то. — зачеркнуто:  
    Этот  
20 перед Мёте зачеркнуто: Да  
23 после Он прав!.. зачеркнуто: Он сам<sup>27</sup> поэзия И я? —  
    после Это зачеркнуто: совершенно  
27 после Он зачеркнуто: нед  
27 после он начато и зачеркнуто: красив  
32 после На другой день зачеркнуто: довольно рано  
    после утром зачеркнуто: я переписывал

С. 414

- 1 после вида зачеркнуто: по  
3 после осмеливаюсь»... зачеркнуто:  
    Я вспоминал  
4 и четко ~ хорошей вписано над зачеркнутым: я любил  
    быть  
6 черновой написано после того же зачеркнутого

---

<sup>27</sup> над сам вписано то же слово

- 8 чем-то *вписано над зачеркнутым*: поэтом, худо(жни-  
ком)
- 9 *после поэта; зачеркнуто*: и было
- 11 и в *вписано над зачеркнутым*: поэзия  
было: что поэзия чиновничества  
далее *зачеркнута вставка*: поэзия
- 15 *мой написано после того же зачеркнутого*
- 17 *перед Я ненавидел зачеркнуто*: Я даже
- 20 и *вписано над зачеркнутым*: сам
- 22 *перед хороших зачеркнуто*: красивы(х)
- 25 с *перед великодушием вписано над тем же зачеркну-  
тым*
- 26 *после распушенности зачеркнута вставка*: и небреж-  
ности
- 27 *после на службе зачеркнуто*: ; — или  
над *этим вставка*: небрежности
- 33 *после с зачеркнуто*: хорошим почерком и
- 35 *Кому написано после того же зачеркнутого*

#### С. 415

- 6 *после я зачеркнуто*: писал
- 6 *после чиновником зачеркнуто*: и старательно и
- 11 *сухости исправлено, было*: сухость; *перед вставкой*: Я  
думал о *зачеркнута вставка*: Я вс(помнил)
- 18 *перед Тут зачеркнуто*: Я думал и о
- 33 *после Мы зачеркнуто*: приедем
- 36 *дуб написано после зачеркнутого*: б

#### С. 416

- 2 *другой написано после зачеркнутого начала того же  
слова с опiskeй*
- 3 *после умчаться зачеркнуто*: в Андриа(нополь)
- 4 не боится, что будет *вписано над зачеркнутым*: наде-  
ется на то
- 5 *после утешение: зачеркнуто*: «В; то же *зачеркнуто и  
в начале следующей строки*
- 9 *значит мимоходом*<sup>28</sup> тут и мне *вписано над зачеркну-  
тым*: мимоходом и мне

---

<sup>28</sup> *написано после зачеркнутого начала того же слова*

- 10 после мою зачеркнуто: в Кон(стантинополь)  
 11 перед читал зачеркнуто: нач(ал?)  
 12 после не понравилась... зачеркнуто:  
 Но утеш(ение?)  
 13 после Я не обиделся. — начато и зачеркнуто: Бла-  
 (гов?)  
 15 перед средство зачеркнуто: волшебное  
 19 перед самого себя зачеркнуто: чем меня после зачерк-  
 нуто: и  
 21 Но вписано после зачеркнутого: Я и  
 27 после блестящий зачеркнуто: и красивый  
 32 перед У всех зачеркнуто: Но...  
 35 после года зачеркнуто: у  
 36 как у него вставка перед зачеркнутым: своего

### С. 417

- 1 исправлено, было: дохода  
 1 и матери написано после того же зачеркнутого, и впи-  
 сано над строкой  
 2 после приданого зачеркнуто: И он  
 3 после Да ~ «свинья»! вписано над зачеркнутым: А  
 эта Маша —  
 5 Однако ~ Маша? вписано над строкой  
 7 после гораздо зачеркнуто: хуже,  
 10 после мужу? — зачеркнуто: Да Послал  
 11 после другой зачеркнуто начало того же слова  
 11 поверх многоточия написано двоеточие; перед Г-же  
 зачеркнуто: Мад(ам)  
 16 после если бы зачеркнуто: был не  
 17 после вечер и зачеркнуто: я бы был  
 21 после он зачеркнуто: ?..  
 28 после итти зачеркнуто: к  
 30 после назначен... зачеркнуто: Решившись  
 34 после которая начато и зачеркнуто: подл(ожена)  
 36 после сделало его зачеркнуто: членом  
 после почетным членом зачеркнуто: за

### С. 418

- 3 он ~ напишет что вписано над строкой над зачеркну-  
 тым: напишет что он  
 6 присовокупить вписано над зачеркнутым: заметить

- 11 *перед* начнет *зачеркнуто*: напр. ⟨?⟩
- 12 *перед* кратко *зачеркнуто*: пространно
- 13 *после* в *зачеркнуто*: долге
- 14 «исполнин» написано *после* *зачеркнутого* начала того же слова
- 16 *после* своей *зачеркнуто*: так
- 23 *после* вспомнил *зачеркнуто*: это

### С. 419

- 6 *перед* следующее *начато* и *зачеркнуто*: дру⟨гое⟩
- 10 *после* ехали *зачеркнуто*: по однор⟨одной?⟩
- 10 *после* по *зачеркнуто*: дороге
- 14 Эноса написано *после* *зачеркнутого* начала того же слова
- 14 *после* произойти *зачеркнуто*: небольшая
- 15 *после* драма *зачеркнуто*: о которо⟨й⟩
- 17 *перед* Болгары *зачеркнута* вставка: коричневые
- 17 *перед* их жены *зачеркнуто*: б
- 18 *после* блестящая *начато* и *зачеркнуто*: чере⟨пица⟩
- 19 *после* мазанок... *зачеркнуто*: Деревянные бедные очаги и землей пол наших стоянок.  
  - после* поля, *зачеркнуто*: поля безл⟨есные⟩
  - после* безлесные *зачеркнуто*: и
- 22 *перед* полу *зачеркнуто*: на
- 22 Германской написано *после* *зачеркнутого* начала того же слова
- 26 *перед* вставкой смеясь *зачеркнуто*: с
- 29 было: отвечал
- 30 *перед* О! *зачеркнуто*: Нет

### С. 420

- 1 так или иначе *вписано над* *зачеркнутым*: до прямых
- 2 *перед* довести *начато* и *зачеркнуто*: прев⟨ратить⟩
- 3 *после* нескромности *зачеркнуто*: и
- 7 *перед* Так *зачеркнуто*: Остеррейхер
- 13 *после* спросил *зачеркнуто*: его  
  - перед* спросил *начато* и *зачеркнуто*: сказ⟨ал⟩
- 17 *перед* tien *зачеркнуто*: ras
- 19 *после* Австрия — *зачеркнуто*: есть
- 20 *перед* орудие *зачеркнуто*: малое ⟨?⟩
- 20 *после* Союз с Россией — *зачеркнуто*: это

- 21 *после* для *зачеркнуто*: скорая погибель для  
 21 *перед* жестокая *начато* и *зачеркнуто*: пре  
 23 *после* опять: *начато* и *зачеркнуто*: пр  
 24 *перед* началами *зачеркнуто*: принципами  
 31 многие *вписано над* *зачеркнутым*: самые  
 32 *перед* сокрушаются *начато* и *зачеркнуто*: р  
 34 *после* — А! *зачеркнуто*: С уди(влением)  
 36 *после* пишут; *зачеркнуто*: сказал я  
 37 *после* несомненно *зачеркнуто*: одно начало сильно  
 37 *эфическая исправлено из* этическая

### С. 421

- 2 *после* отслужат *зачеркнуто*: , а  
 7 *перед* экономики *начато* и *зачеркнуто*: эфи(ки)  
 9 *перед* фанатизированным *зачеркнуто*: до крайности  
 14 *после* — А! *начато* и *зачеркнуто*: сказ(ал)  
 23 *перед* Да *зачеркнуто*: Что  
 24 *после* не вижу *зачеркнуто*: ни  
 27 *после* посредством *начато* и *зачеркнуто*: вл(ияния)  
 29 *после* — Ба! *начато* и *зачеркнуто*: во(скликнул)  
 31 *вы* написано *после* *зачеркнутого*: Вы  
     *согласия написано после* *зачеркнутого* *начала того*  
     *же слова с* *опиской*  
 31 *перед* в *зачеркнуто*: на  
 32 *перед* молодого *начато* и *зачеркнуто*: бег(лого)  
 33 *неожиданная* *вписано над* *зачеркнутым*: известие  
     *эта исправлено из* это

### С. 422

- 10 *перед* сказал *начато* и *зачеркнуто*: восклик(нул)  
 14 *после* он *зачеркнуто*: даже  
 21 я так ~ кофею *вписано над* *строкой над* *зачеркнутым*:  
     Виллартон  
     *после* Öстеррейхер *зачеркнуто*: сердился, что я  
 27 *подбегая* *написано после* *зачеркнутого* *начала того же*  
     *слова*  
 34 Яваш, яваш *написано после* *зачеркнутого*: Яваш, яв(аш)

### С. 423

- 3 *догоним* *написано после* *зачеркнутого* *начала того же*  
     *слова*  
 7 *после* анафемских *начато* и *зачеркнуто*: прер

- 10 *после мы начато и зачеркнуто: сом*  
 11 *после поехали... зачеркнуто: Настрое⟨ние⟩ Мы оба молчали*  
 14 *перед стало зачеркнуто: было*  
 15 *изволомом написано после того же зачеркнутого*  
 15 *перед поровнялись начато и зачеркнуто: об⟨огнали⟩*  
 16 *белой написано после зачеркнутого начала того же слова*  
 17 *после ехал начато и зачеркнуто: Ёст⟨еррейхер⟩ Сух-⟨ощавый⟩*  
 18 *перед они зачеркнуто: и*  
 20 *после языке зачеркнуто: из которо⟨й⟩*  
 27 *перед Поскачемте начато и зачеркнуто: Пое⟨демте⟩*  
 29 *И вписано в начале строки; поскакали написано после зачеркнутого начала того же слова*  
 30 *после нашли в строке зачеркнуто: сидящим перед сидящим зачеркнута вставка: спокойно*  
 31 *камне написано после того же зачеркнутого*  
 32 *после удовольствием... зачеркнуто:  
 Встал, сделал  
 — Война, э⟨ффенди⟩*

#### С. 424

- 3 *перед Он зачеркнуто: И он*  
 4 *после о зачеркнуто: жалоб⟨ах⟩*  
 5 *после Болгар и зачеркнуто: обращаясь*  
 5 *после улыбнулся зачеркнуто: и прибавил по турецки*  
 14 *после замечание: зачеркнуто:  
 — Скажите, что я говорю вот что: — Много бес-по⟨рядков⟩ Я*  
 16 *после они начато и зачеркнуто: д*  
 24 *Зачем мы вписано над зачеркнутым: Что же их*  
 28 *И мы ~ вступление вписано над зачеркнутым:  
 Да; по мере приближения роковой<sup>29</sup> минуты вступления в этот лес — и я чувствовал себя иначе....*  
 33 *перед подъехал зачеркнуто: ехал впереди далее зачеркнуто: к Паше и*  
 37 *секретный вписано над зачеркнутым: р⟨азговор⟩*

---

<sup>29</sup> *написано после зачеркнутого начала того же слова*



С. 425

- <sup>1</sup> после запряженный зачеркнуто: тройкой в ряд
- <sup>2</sup> сильных вписано над зачеркнутым: хороших
- <sup>3</sup> коней вписано над зачеркнутым: лошадей
- <sup>3</sup> после мы зачеркнуто: с австр(ийцем)
- <sup>4</sup> после в фургон... зачеркнуто: Бубенчики<sup>30</sup> зазвенели

С. 426

- <sup>3</sup> Иду ~ будет... вписано над строкой
- <sup>6</sup> Подойдет ли ко мне с улыбкой вписано над зачеркнутым: Придет ли ко мне сегодня, или завтра
- <sup>9</sup> этой вписано над строкой
- <sup>12</sup> до строки 18 отчеркнуто слева на полях синим карандашом
- <sup>19</sup> Д..... исправлено карандашом на Б
- <sup>20</sup> полустерто зачеркивание синим карандашом: своей упорной и сладкоречивой подлостью

С. 427

- <sup>20</sup> был вписано синим карандашом над зачеркнутым: провел вечер
- <sup>20</sup> На другой день ~ ни слова. — зачеркнуто синим карандашом; однако этот фрагмент оставлен в угловых скобках в основном тексте, как необходимый по смыслу; редактирование главы не было завершено Л.
- <sup>26</sup> рассказать вписано карандашом
- <sup>28</sup> раз вписано синим карандашом
- <sup>28</sup> было: Я собрался уходить. — Тогда только Д.... сказал мне  
Тогда только зачеркнуто карандашом; Д исправлено

С. 428

- <sup>20</sup> перед Стефанович оставлено место
- <sup>21</sup> вели — слово не дописано М. В. Леонтьевой
- <sup>22</sup> после П оставлено место

С. 429

- <sup>18</sup> принадле(жит) вписано синим карандашом над зачеркнутым: расположена ко мне

---

<sup>30</sup> далее зачеркнуто: над

<sup>37</sup> посетить *вписано* Л. карандашом и *обведено* М. В.;  
было: Как бы я желала быть в вашем гареме!....

*после этого рукой М. В. написано карандашом: Не  
кончено и оставлено место до конца листа*

С. 430

<sup>14</sup> но *вписано* карандашом и *обведено* М. В.

<sup>18</sup> что-то *вписано* карандашом и *обведено* М. В.

С. 431

<sup>34</sup> тихая *вписано* карандашом и *обведено* М.В. над за-  
черкнутым: милая

<sup>36</sup> звезды *вписано* карандашом

С. 433

<sup>8</sup> в копии *ошибочно*: из Галаца

<sup>17</sup> так *перед* мне *вписано* синим карандашом над зачерк-  
нутым: что

<sup>19</sup> *перед* убийственно синим карандашом *зачеркнуто*:  
мертво и

<sup>19</sup> Да *здр*(авствуют) ~ опасности! *вписано* синим каран-  
дашом

С. 435

<sup>26</sup> слева на полях *знак*: \*)

С. 438

<sup>11</sup> после Конечно нет!... *знак вставки*

<sup>26</sup> *исправлено*; было: несчастным

С. 441

<sup>2</sup> после пошлостью *зачеркнуто* синим карандашом: ко-  
торой даже и не помню

<sup>16</sup> после краснея *знак вставки*

*далее от слов Письмо мое до первого слога слова  
Австрийская (до конца листа) зачеркнуто синим кар-  
андашом, но приводится в основном тексте, как не-  
обходимое здесь по смыслу*

С. 442

<sup>24</sup> после Что делать *зачеркнуто* синим карандашом: с  
несчастливым Велико....

*Что за странная и горькая судьба этого мальчика!...*

- 25 Случилось ~ долго *зачеркнуто* синим карандашом, но  
 приводится в основном тексте в угловых скобках  
 28 меня задержали *вписано над зачеркнутым*: я должен  
 был пробить довольно долго. —  
 32 было: А теперь Элены уже не было  
 была ~ могла *вписано над зачеркнутым*: уже не  
 было

### С. 443

- 1 к словам Ильдирим и Киречь-Хане *предполагались*  
 примечания  
 5 было: однако, решила отправить ее на свой счет на  
 родину задумывала *вписано над зачеркнутым*: реши-  
 лась; далее *зачеркнута вставка*: как бы *зачеркивание*:  
 на свой счет к родным *отменено*  
 6 над словом *счет над строкой начато и зачеркнуто*:  
 напр(авить?)  
 10 у Элены ~ вдруг *вписано над зачеркнутым*: Элена и  
 над *следующей строкой*  
 11 слабость *вписано над зачеркнутым*: ослабела  
 12 было: лежала  
 15 не знала пренебрежительного значения *вписано над*  
*строкой*  
 34 около *вписано над зачеркнутым*: от

### С. 444

- 6 было: то<sup>31</sup> с поваром, то с Велико, который  
 после *который зачеркнуто*: краснея и стыдясь непо-  
 мерно  
 18 даже *вписано синим карандашом*  
 22 перед гребнем синим карандашом *зачеркнуто*: частым  
 26 было: приклоненную

### С. 445

- 32 *исправлено синим карандашом*; было: жидка богатого

### С. 447

- 5 вся в черном *вписано*  
 10 башмаки *вписано над зачеркнутым*: сапоги  
 21 еще прежде *вписано*

---

<sup>31</sup> ошибочно не *вычеркнуто*

- 22 тотчас же *вписано*  
22 *после старушку зачеркнута вставка: тогда еще*  
32 *после «варварством» зачеркнуто: Турок ни своих*  
*«Греков»*  
*здешних людей и «своих» и Мусульман вписано над*  
*зачеркнутым*  
*над Турок карандашом зачеркнута вставка: про-*  
*тив*  
*перед своих вставлено и зачеркнуто: и*  
35 *даже вставка*

**С. 448**

- 7 *этот вписано над зачеркнутым: его*  
16 *лучше ты вписано*  
20 *сказал еще раз вписано над зачеркнутым: сказал*  
31 *к греческой фразе предполагалось примечание*  
36 *Все вставка*  
37 *происходило вписано над зачеркнутым: было*

**С. 449**

- 23 *далее лист обрезан*  
30 *после Однажды зачеркнуто: утром*  
31 *маленьком вписано над зачеркнутым: Турецком*  
31 *перед пил кофе зачеркнуто: читая после зачеркнуто: и*  
32 *после читал в начале следующей строки зачеркнуто:*  
*Это было*  
*в Revue вписано в конце строки*

**С. 450**

- 2 *после и что зачеркнуто: вы(ставка) в*  
3 *перед ручные начато и зачеркнуто: прои(зведения)*  
6 *перед от этой зачеркнуто: этой*  
8 *и в вписано над зачеркнутым: и с*  
10 *этой вписано над зачеркнутым: обл(асти)*  
12 *после усомниться зачеркнуто многоточие*  
14 *после Сомнение зачеркнуто: П Пирронизм*  
18 *воздерживаться написано после зачеркнутого начала*  
*того же слова с опиской*  
20 *после были зачеркнуто: внезапно(но)*  
25 *Кынк написано после того же зачеркнутого*  
26 *после вид зачеркнуто: лавочник(ов)*  
*к слову бакалов предполагалось примечание*

- 30 после Сегодня начато и зачеркнуто: р  
 30 на улицу вписано над зачеркнутым: из дома  
 32 перед никого зачеркнуто: не  
 33 перед Великой зачеркнуто: Страстной  
 к слову Великой предполагалось примечание

С. 451

- 7 вам написано после зачеркнутого: В  
 10 в автографе: Ахмет (ниже — Ахмед)  
 12 после надежда. зачеркнуто:  
 и  
 — Вы мне  
 14 после при этой начато и зачеркнуто: тр(евожной?)  
 15 говорите написано после зачеркнутого начала того же  
 слова с опиской  
 16 после Были зачеркнуто: у  
 17 перед Греки зачеркнуто: Они после зачеркнуто: дали  
 кля(тву)  
 22 после хорошо! — начато и зачеркнуто: Буд  
 25 после сколько зачеркнуто: возможности ск(олько)  
 25 верили вписано над зачеркнутым: верили мне потом  
 28 вы написано после зачеркнутого: Вы  
 32 тонко написано после того же зачеркнутого  
 36 соседству написано после зачеркнутого начала того  
 же слова  
 37 перед Возмем зачеркнуто: Возмете

С. 452

- 2 что написано после того же зачеркнутого  
 6 после все зачеркнуто: б(удет) устрою  
 6 после по вашему. — в новой строке зачеркнуто: И  
 7 после позвонил зачеркнуто: и  
 10 действия вписано над зачеркнутым: мой  
 11 после пришел, зачеркнуто: мне  
 11 передал вписано над зачеркнутым: рассказал  
 12 после и зачеркнуто: но  
 13 после Консулу»... зачеркнуто: А пот(ом)  
 22 перед уклончивого зачеркнуто: и после зачеркнуто: и  
 23 после благороден начато и зачеркнуто: ип  
 28 после обратились было: ко мне, как  
 29 перед Насупившись зачеркнуто: Он

- 29 *после в зачеркнуто: том*  
 30 *после «сплетней»; зачеркнуто: и*  
 32 *после рабством. — зачеркнуто: Он н*  
 33 *после где их нет... зачеркнуто:*  
     Михалаки  
 36 *после хозяева зачеркнуто: и вовсе*
- С. 453  
 1 *перед Черные начато и зачеркнуто: М*  
 8 *перед Умы зачеркнуто: — Но еще*  
 11 *после А потом начато и зачеркнуто: я пола(гал?)*  
 16 *после исполнить зачеркнуто: мой долг*
- С. 455  
 23 *к слову Делі предполагалось примечание*
- С. 456  
 31 *к слову Мехкеме предполагалось примечание*
- С. 457  
 27 *после ни пропуск в копии, восстановлено по контексту*
- С. 458  
 30 *в рукописи: Мюфетишь*
- С. 459  
 9 *было: Женщина она честная и хорошая  
     честная зачеркнуто синим карандашом  
     и ошибочно не вычеркнуто*
- С. 460  
 18 *после воззвание Падишаха оставлено место, около  
     трети страницы, рукой М.В. карандашом написано:  
     пропуск около трети страницы*
- С. 461  
 28 *после моими окошками синим карандашом зачеркнуто:  
     Но вдруг я вспомнил: — «Велико! — Велико!...  
     Боже мой... Я забыл о нем....»  
     И тотчас же я взял шляпу, запер Канцелярию и  
     почти бегом выбежал из Консульского дома. —*

## ЯДЕС

Текст Н: 1885. № 26. С. 618—619, 622—623.

С. 466

<sup>6</sup> служанке: ⟨»⟩ Ах, я очень утомлен

С. 471

<sup>24</sup> с минуты на минуту⟨,⟩ из города.

С. 472

<sup>15</sup> отдохнуть.⟨—⟩ Я пригласила

С. 475

<sup>7</sup> а рано утром⟨,⟩ пристыженный

## ПОДРУГИ

ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1—24 (копия с авторской правкой). Ед. хр. 24. Л. 7—13 (автограф). Ед. хр. 23. Л. 24 — 41, 43 — 54 (копия с авторской правкой). Ед. хр. 22. Л. 27—33 (автограф).

С. 476

<sup>7</sup> Всего день тому назад как *вписано над зачеркнутым*:  
Дня три тому назад

С. 477

<sup>4</sup> *первый вариант фрагмента* Они приехали ~ охладел из *чернового автографа, написанный карандашом на обороте титульного листа (Ед. хр. 22. Л. 1 об.)*:

Они приехали жить в это имение всего только год тому назад. До тех пор отец ее был долго одним из важных сотрудников большой Петер⟨бургской⟩ газеты а потом и сам редактором сатирич⟨еского⟩ журнала «Крапива» (Огонек). — Он страс⟨тно⟩ был предан этому делу, но — бросил все чтобы только не остав⟨ить⟩<sup>32</sup> в глуши и одиноч⟨естве⟩ дочь, которая и без того только что перед этим пережила горе, самое тя-

---

<sup>32</sup> *далее зачеркнуто*: дочь в одиноч⟨естве⟩

ж(кое) для мол(одой) женщины — челове(ек)<sup>33</sup>, которого она уже с 17<sup>34</sup> лет любила, охладел к ней

<sup>8</sup> Заноза *вписано карандашом*

<sup>12</sup> после никогда *зачеркнуто*: и  
и *вставка*

<sup>24</sup> со вкусом *вписано карандашом*

С. 478

<sup>1</sup> отца *вписано карандашом*

<sup>27</sup> чувства *вписано карандашом*

С. 479

<sup>5</sup> только *вписано карандашом над зачеркнутым*: одной

<sup>12</sup> похудела и *вписано карандашом*

<sup>13</sup> еще *вписано карандашом*

<sup>19</sup> после позднее *зачеркнуто*: ) — сначала отец от нее это скрывал

С. 480

<sup>17</sup> после поразил ее *зачеркнуто*: но и то не слишком. —

<sup>30</sup> и *исправлено на*: И

С. 481

<sup>9</sup> после непонятному. — *зачеркнуто*: (В воспитании ее были и другие сильные влияния, помимо отцовского.)

<sup>36</sup> после молоденьким *зачеркнуто*: еще

<sup>37</sup> Львов *вписано карандашом*; было: Он

С. 482

<sup>23</sup> Колокинтов *вписано карандашом над зачеркнутым*:  
Каломеля

<sup>28</sup> бы *вписано карандашом*

С. 483

<sup>2</sup> повторил он десять раз. — *вписано карандашом*:

С. 484

<sup>29</sup> большое *вписано карандашом над зачеркнутым*: хоть некоторое

<sup>29</sup> после облегчение. — *вписано карандашом*: Себе

---

<sup>33</sup> написано после *зачеркнутого*: челове(к)

<sup>34</sup> с 17 написано над *зачеркнутым*: около более сем(и)



<sup>30</sup> было: ему...

<sup>33</sup> исправлено, было: впрысков

C. 485

<sup>14</sup> исполнить его просьбу *вписано карандашом*

<sup>29</sup> исправлено, было: прежний крепостной

<sup>32</sup> перед сажал *вписано карандашом*: когда

C. 486

<sup>14</sup> перед об этом *вписано карандашом*: и

<sup>14</sup> Александру *вписано карандашом*

<sup>15</sup> исправлено по автографу; в копии:

Это было его последнее слово...

<sup>27</sup> в копии ошибочно: грозные

<sup>33</sup> гангреной *вписано карандашом*

C. 487

<sup>29</sup> после разговора *вписано карандашом*: и старик тоже замолк.

C. 488

<sup>1</sup> в копии: даже возбуждена; она ходила [*пропуск в рукописи, под строкой отточия*] о тех хлопотах, которые она была вынуждена взять на себя во время всех этих печальных [*пропуск в рукописи и знак вставки*]  
*восстановлено по автографу; см. с. 602*

<sup>9</sup> исправлено, было: многочисленной

<sup>14</sup> Александр вот *вписано карандашом над зачеркнутым*:  
Он

<sup>14</sup> отца *вписано над зачеркнутым* его

<sup>16</sup> тогда *вписано карандашом*

<sup>16</sup> ему *вписано над зачеркнутым*: он

<sup>17</sup> Он был строг, а я? *вписано карандашом*

<sup>20</sup> после до того *пропуск в рукописи*

<sup>26</sup> после покойно и *пропуск в рукописи*; *восстановлено по автографу*

<sup>30</sup> пришла *исправлено карандашом на*: прибежала затем *восстановлено*

C. 489

<sup>3</sup> в копии: Пожалуста

<sup>6</sup> пролетка *вписано карандашом над зачеркнутым*: коляска

- 15 Ободрили ее без всяк(ого) участия воли и сознания  
вписано карандашом между строк
- 16 и вписано карандашом над ; —
- 17 пешк(ом) вписано карандашом
- 17 после воздухе зачеркнуто: впечатления от церковной  
службы; — далее вставка: и
- 18 летняя вписано карандашом
- 18 после погода в строке зачеркнуто: вид цветов на лугах  
и полях<sup>35</sup>, мимо которых несли гроб крестьяне — все  
это без всякого участия<sup>36</sup> ободрило ее. —
- 18 с прохладным вписано карандашом, далее во вставке  
зачеркнуто: ветром
- 18 душистым ветерком ~ и бодрой, но вставка каранда-  
шом на обороте предыдущего листа
- 18 после поля зачеркнуто: густой
- 19 после васильками; — зачеркнуто: светлые над стро-  
кой зачеркнуто: веселыми
- 20 после луга, — зачеркнуто начало вставки: между  
ко(торыми) далее зачеркнуто: по  
после на которых зачеркнуто: цвели цветы
- 21 после луговые цветы зачеркнуто: целые  
после поляны зачеркнуто: желтели
- 22 после розовыми и зачеркнуто: ярко желтыми
- 23 после сияла зачеркнуто: вечной красотой и  
после вокруг зачеркнуто: гроба
- 26 и вставка

### С. 490

- 3 далее и на обороте предыдущего листа зачеркнута  
написанная карандашом вставка: делала все те глупос-  
ти, которые охладили его чувства  
после этого написанная карандашом вставка: Гос-  
тила ~ любил меня...
- 4 после все те начато и зачеркнуто: глу(пости)
- 15 после виновата? — зачеркнуто: Ведь он сильно
- 18 ее вписано карандашом над зачеркнутым: меня
- 23 фатовства вписано карандашом

<sup>35</sup> над зачеркнутым лугах и полях написано и зачеркнуто: луга  
и поля

<sup>36</sup> далее вписано и зачеркнуто: воли и сознания

- <sup>34</sup> исправлено, было: дерзости  
<sup>36</sup> исправлено, было: немой  
возможно, копиист по ошибке не переписал фрагмент, написанный в автографе на отдельном листке; ср. с. 607—608

С. 491

- <sup>1</sup> восклицательный знак вставлен, она исправлено на:  
Она  
<sup>3</sup> перед трагической зачеркнуто: хоть  
<sup>18</sup> военным вписано надзачеркнутым: важн(ым)  
стратегом вписано карандашом  
<sup>34</sup> положим вписано над зачеркнутым: конечно  
<sup>34</sup> случайно вписано  
<sup>34</sup> тайнах вписано  
<sup>35</sup> ; — вписано  
<sup>35</sup> крайнего вписано карандашом  
исправлено, было: безбожника

С. 492

- <sup>3</sup> исправлено, было: дедовской комнате  
<sup>5</sup> после почтительно и оставлено место, зачеркнуто: и  
и сделана черта; слово восстановлено по черновому автографу  
<sup>5</sup> и признательность деду бросала вписано карандашом  
бросала зачеркнуто  
теплый вписано  
<sup>10</sup> после укором и было вписано прощением; зачеркнуто  
и над строкой написано: жалостью  
<sup>13</sup> неожиданного вписано карандашом  
<sup>13</sup> внезапного вписано карандашом  
<sup>26</sup> вставлена приставка по в слове похорон  
<sup>27</sup> перед бодрой карандашом зачеркнуто: довольно

С. 493

- <sup>5</sup> перед приходилось карандашом зачеркнуто: ему  
<sup>5</sup> после его долю. карандашом написано:  
(О завещ(ании) деда)... (на словах).  
это позволило ред. сделать конъектуру: фрагмент о завещании деда из черного автографа (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 8—13)

- Слева на полях л. 8 (верх отрезан) читается фрагмент предложения: [нрзб] его отцом и невесткой
- 6 было: вообще не была проста
- 8 перед Самые зачеркнуто: У
- 10 давно умершего вставка
- 10 после Николая Васильевича — зачеркнуто: отца
- 11 самый вставка
- 12 после боялась. — зачеркнуто: Кроме того брата Николая у Петра Васильев(ича) были еще<sup>37</sup> две сестры; —
- 12 после Были зачеркнуто: прежд(е)
- 12 замужние вставка
- 13 Матвеева и Оголина вставка
- 14 Матвеева вписано над зачеркнутым: старшая
- 17 после взрослых зачеркнуто: детей
- 18 давно вставка
- 18 и вписано над зачеркнутым: или
- 19 сначала вписано над зачеркнутым: сперва
- 20 тридцати написано после зачеркнутого начала того же слова
- 20 всех этих вставка
- 22 после младшую начато и зачеркнуто: плем(янищу)
- 23 после выдал зачеркнута вставка: выго(дно) в строке зачеркнуто: замуж
- 25 после родствен(нищы) начато и зачеркнуто: и от к(оторой)
- 25 за помещика Матвеева вставка над строкой; помещика вписано над зачеркнутым во вставке: Матв(еева) полковника
- 28 которому ~ за сорок вставка
- 29 перед взял зачеркнуто: и
- 29 перед взростил зачеркнуто: и
- 30 также вставка
- 32 свой вставка
- 34 после останавлив(ался) у зачеркнуто: Сергея Николаев(ича) над строкой зачеркнуто: в доме
- 34 их на Литейн(ом) вписано над зачеркнутым: у них

---

<sup>37</sup> еще зачеркнутая вставка над строкой

С. 494

- <sup>1</sup> после Все зачеркнуто: думали  
после привыкли думать зачеркнуто: что главными наследниками<sup>38</sup> своими Петр Васильевич<sup>39</sup> будут или внук  
что Куреево и достанется или внуку вписано над зачеркнутым; было: будут или внук Александр
- <sup>2</sup> племян(нику) вставка
- <sup>2</sup> после Семену зачеркнуто: Никола(евичу)
- <sup>3</sup> после Львову зачеркнуто: ; потому что  
они исправлено на Они
- <sup>3</sup> Ник(олаевич) вставка
- <sup>4</sup> ошибочно не вычеркнуто не: пока не совершенно не сбился
- <sup>4</sup> перед не стал зачеркнута вставка: пока
- <sup>6</sup> утомил вписано над зачеркнутым: раздражил
- <sup>8</sup> после полное право зачеркнуто: гордиться
- <sup>10</sup> и добром мальчике вписано над зачеркнутым: и ласковым ребенке
- <sup>13</sup> после двору зачеркнуто: и был к нему ласков
- <sup>14</sup> перед готов начато и зачеркнуто: же(лал)
- <sup>16</sup> не раз вставка
- <sup>17</sup> после чувство зачеркнуто: к
- <sup>19</sup> самый вписано над зачеркнутым: Сеня
- <sup>21</sup> перед так хоть зачеркнуто: и
- <sup>22</sup> с перед бранью вставка
- <sup>24</sup> перед презрительно зачеркнуто: с
- <sup>27</sup> солидный вставка
- <sup>29</sup> une personne ~ distingué вставка
- <sup>33</sup> дяде вставка
- <sup>33</sup> после был зачеркнуто: очень

С. 495

- <sup>3</sup> большим вставка
- <sup>4</sup> дядя вставка

---

<sup>38</sup> далее зачеркнута вставка: имения, над которой начато: К(уреева)

<sup>39</sup> далее начато и зачеркнуто: сде(лает)

- 7 после слишком зачеркнуто: живого и  
 7 перед возражал дважды начато и зачеркнуто: го-  
 во(рил)  
 8 этого; — знаю вписано над зачеркнутым: всю мер-  
 (зость?)  
 11 перед терпеть не могу зачеркнуто: его  
 14 Саше написано после зачеркнутого начала того же  
 слова  
 16 Пониже вписано над зачеркнутым: Боюсь я за чтобы  
 17 тогда вставка  
 17 перед мемуар зачеркнуто: записку  
 22 перед внуком зачеркнуто: любимым  
 22 никогда написано после зачеркнутого: ни  
 23 честолюбие и вписано над зачеркнутым: живой  
 23 после подвижный начато и зачеркнуто: эне(ргичес-  
 кий)  
 24 после характер зачеркнуто: и  
 24 любимого вставка  
 25 деда написано после зачеркнутого начала того же  
 слова, над которым вписано: любимого; после деда за-  
 черкнуто: и покоить утешать и  
 25 перед часто зачеркнуто: не  
 27 после не осуждал зачеркнуто: за  
 29 Александр далеко вставка  
 34 и вставка  
 34 перед Саше начато и зачеркнуто: Алек(сандру)  
 36 перед середи зачеркнуто: в  
 36 ранее вставка

С. 496

- 1 после что зачеркнуто: лет  
 4 перед игрок начато и зачеркнуто: ка(ртежник?)  
 5 после ездили зачеркнуто: игра(ть)  
 5 по городам вставка  
 6 кутить написано после зачеркнутого начала того же  
 слова  
 6 перед не любила зачеркнуто: его  
 мужа вставка  
 8 подозритель(ных) вставкаи  
 9 прямо вставка

- 11 Портрет; часы *вписано карандашом, здесь предполагалась вставка*
- 12 из родных и знакомых *вставка*
- 13 перед чей сын *зачеркнуто: что*
- 15 почти *вставка*
- 16 из родных *вставка*
- 16 после не знал *зачеркнуто: о*
- 19 после как только *зачеркнуто: с умирающ(им)*
- 21 с воплем *вставка*
- 21 вместо тире было: и  
обнимать его *вставка*
- 21 после целовал *зачеркнуто: его б*
- 23 после покойника... *зачеркнуто: Все видели, что*
- 27 не кричи *вставка*
- 28 перед тихо *зачеркнуто: с*
- 31 перед был вне себя *начато и зачеркнуто: дро(жа)*

## С. 497

- 2 и радовалась этому. — *вставка*
- 5 всему *вставка*
- 7 Александру написано после *зачеркнутого начала того же слова*
- 8 перед не мог *зачеркнуто: ходил*
- 8 спокойно написано после *зачеркнутого начала того же слова*
- 10 после Все *начато и зачеркнуто: обм(анулись)*
- 12 после А Куреево *зачеркнуто: в пол(ную)*
- 13 перед собствен(ность) *зачеркнуто: полную*
- 13 и то *вставка*  
после Матвееву *зачеркнуто: назначены были*
- 16 после чтобы *зачеркнуто: после*
- 22 Сверх ~ на сохранение *вставка на полях*
- 22 после что *зачеркнуто: в Госуд(арственном) Б(анке)*
- 25 оно составлено ~ и *вставка*
- 26 перед предыдущ(им) летом *зачеркнуто: год*
- 26 после подписано *зачеркнуто: было*
- 30 перед этим *вверху листа карандашом написано: Пр(о-должение) 2-й главы*
- 32 внуку моему *вставка*

- 35 завещан(ное) имен(ие) вписано над зачеркнутым:  
Куреево  
36 перед становится начато и зачеркнуто: вступа(ет)  
36 полным вставка

**С. 498**

- 18 невозможных исправлено на всевозможных  
20 было: с теми только  
24 после как карандашом зачеркнуто: «Фурия» и  
27 по поводу завещания вписано карандашом  
28 он вписано карандашом

**С. 499**

- 3 и вписано карандашом  
13 после Зины зачеркнуто: и и вставлено многоточие  
13 протака отца с чубуком и в пестром халате вписано  
карандашом между строк  
16 которая<sup>40</sup> певучим голосом спросит: «Ну — как вы те-  
перь С(офья) С(ергеевна) вписано карандашом и об-  
ведено  
21 в копии: делом; исправлено по автографу

**С. 500**

- 17 теперь-то вписано карандашом  
20 сердцем вписано карандашом над зачеркнутым: со-  
всем  
25 исправлено; было: для окончания расчетов  
32 лошади вписано карандашом над зачеркнутым: пр(о)-  
летка парой  
32 над четырем вписано карандашом и зачеркнуто: двум

**С. 501**

- 2 вершинки вписано карандашом над зачеркнутым: тро-  
пинки  
10 после жить зачеркнуто: и дышать  
17 после молодостью зачеркнуто: своей  
21 после бессмысленная зачеркнуто: еще  
35 Фарфоровая вписано карандашом над зачеркнутым:  
Французская

---

<sup>40</sup> далее зачеркнута вставка: тонким



С. 502

- <sup>13</sup> побеждает то презрение к тебе, которое я чувствую!..  
*вписано карандашом*  
<sup>21</sup> в копии ошибочно: повторила  
<sup>24</sup> ? — вставка  
<sup>36</sup> в автографе: у пышных скал Орианды, где они гуляли  
(с. 622)

С. 503

- <sup>12</sup> в автографе: указывая  
<sup>23</sup> младших вписано карандашом над зачеркнутым: молодых

С. 504

- <sup>4</sup> Крепостн(ая) горничн(ая) ~ сраш(ное)... карандаш-  
*ная вставка*  
<sup>4</sup> уверяла вписано над зачеркнутым: сказала ей  
<sup>5</sup> отец написано после того же зачеркнутого  
<sup>5</sup> после не ударил;.. зачеркнуто: они  
<sup>9</sup> лекарства написано после два раза написанного и за-  
*черкнутого того же слова*  
<sup>9</sup> потихоньку написано после зачеркнутого начала того  
*же слова*  
<sup>10</sup> после тоже зачеркнуто: за окно бросает  
<sup>12</sup> после эти зачеркнуто: соображ(ения)  
<sup>15</sup> мама больна написано после того же зачеркнутого:  
*мама боль(на)*  
<sup>16</sup> у отца написано после того же зачеркнутого  
<sup>18</sup> Но вставлено карандашом  
<sup>19</sup> и хороших вписано карандашом  
<sup>19</sup> что горнич(ная) была права узнала вписано каранда-  
*шом*  
<sup>21</sup> всегда вписано карандашом  
<sup>24</sup> ясно вписано карандашом надзачеркнутым: это  
<sup>37</sup> крайней вставлено карандашом; нужды исправлено;  
*было: нужда*

С. 505

- <sup>12</sup> исправлено, было: раскаялась  
<sup>18</sup> его после схватил вписано  
<sup>19</sup> то вписано

- 20 *после крики зачеркнуто: брата и опять*  
20 *то раздирающие душу вписано карандашом*  
21 *после которая зачеркнуто: в сердце*  
*было: Дмитрия любила*  
23 *исправлено, было: девица*  
23 *исправлено, было: не жалеет*  
24 *он вписано*  
37 *его вписано над зачеркнутым: брата*

C. 506

- 9 *исправлено, было: Подобострастен*  
11 *перед Шарлотой зачеркнуто: немкой*  
21 *у механика вписано карандашом*  
22 *чьим-то именем вписано карандашом*

C. 507

- 1 *в копии после gosen: ss или w*  
5 *бытия вписано карандашом*  
19 *после гимназисты пропуск в рукописи, слово восстано-  
новлено по черновому автографу*

C. 508

- 12 *перед вещи пропуск, слово восстановлено по черново-  
му автографу*  
27 *перед Почтамтского пропуск; слово восстановлено по  
черновому автографу*  
31 *к нему вписано карандашом*  
33 *исправлено карандашом, было: 14*  
34 *после занялась зачеркнуто: совсем*  
34 *перед заря вписано карандашом и затем зачеркнуто:  
прекраснейшая, над зачеркнутым написано: невидан-  
ная, красная —*  
35 *наконец, само — вписано карандашом*

C. 509

- 1 *говорили родные отцу а она слушала... вписано каран-  
дашом*  
5 *мать и вписано; было: бабушка и мать*  
6 *мужать. — вписано*  
7 *Что разве вписано*  
8 *зонтиком вписано над зачеркнутым: золотом*  
9 *«Я мужская женщина». — вписано карандашом*

- 10 уж *вписано*  
12 Не поедет в Москву теперь *вписано карандашом над зачеркнутым*: Переедет в столицу на зиму.  
12 а нанял квартиру — *вписано*  
15 Говорили — еще и о том *вписано карандашом после зачеркнутого*: И  
15 имение *вписано карандашом*  
18 (отвечал, она помнит, отец этому родственнику) *вписано карандашом*  
21 прямые — без конца — ... *вписано карандашом*  
24 исправлено, было: очень большая деревня  
26 исправлено, было: него  
34 искусно *вписано*  
37 у больш(ого) пруда *написано карандашом после зачеркнутого*: и большими

С. 510

- 3 «мужская женщина!» *написано после зачеркнутого*:  
мушина  
6 его *вписано карандашом над зачеркнутым*: она  
7 деда — генералом *вписано карандашом*  
26 после дня *зачеркнуто*: Так-то-с... Софья Сергеевна!..  
Противный, противн(ый)... Зачем он мне брат!..  
далее *вписано карандашом*: Саша то этот ~ мне  
брат...  
33 после хотят *зачеркнуто*: у барышни

С. 511

- 7 после где *зачеркнуто*: уже  
9 она *вписано*  
11 существ(вует) *вставка карандашом*  
14 перед важное *зачеркнуто*: особо-  
29 это значит *вписано*

С. 512

- 14 Это было тоже в Пет(ербурге) *вписано карандашом*  
17 из *вписано*  
18 долго *вписано*  
23 возгласа *вписано карандашом*  
37 это прошедшее *вписано карандашом*

С. 513

- <sup>1</sup> в копии нет разделения на абзацы  
<sup>29</sup> в копии ошибочно: чувствовать  
<sup>34</sup> не прошел ужасный запах вписано карандашом

С. 514

- <sup>5</sup> перед знакомой зачеркнуто: черной

С. 515

- <sup>26</sup> после обросший зачеркнуто: уже

С. 517

- <sup>13</sup> после Пол зачеркнуто: везде  
<sup>13</sup> после вход зачеркнуто: настоящий  
<sup>36</sup> цветом лица моим вписано над зачеркнутым: глазами моими

С. 518

- <sup>1</sup> после Довольно!.. зачеркнуто: Неприятно мне...  
<sup>2</sup> исправлено, было: Вдругореть  
<sup>7</sup> после Сидя зачеркнуто: однажды [вероятно, неверно прочитанное: обнявшись; ср. с. 650]  
<sup>33</sup> у камина зимой вписано карандашом

С. 519

- <sup>30</sup> ее ласка вставка  
<sup>30</sup> было: что она завтра уедет гостить  
    после что зачеркнуто: она  
    можно будет вставка; уедет исправлено на уехать;  
    надолго вписано под зачеркнутым: гостить  
<sup>32</sup> после что она начато и зачеркнуто: немно<го?>  
<sup>33</sup> после занялась зачеркнуто: самы<ми> самыми неотложными  
<sup>34</sup> обоими неотложными вставка

С. 520

- <sup>1</sup> и отпустила вставка карандашом  
    после на лугах; — зачеркнуто: выдала<sup>41</sup> при нем деньги на вино горничной и даже настолько вошла в хозяйственные интересы, что не забыла и о<sup>42</sup> девках,

---

<sup>41</sup> было: приказ<ала>

<sup>42</sup> далее зачеркнуто: девушках

которые должны будут<sup>43</sup> в ее отсутствие<sup>44</sup> сгребать се-  
но; — она дала денег и для них на орехи и пряники и  
сверх того обещала купить потом для каждой по бумаж-  
ному платочку — на двадцать двух<sup>45</sup> девушек — по<sup>46</sup>  
15 к(опеек) сер(ебром).

— Три<sup>47</sup> рубля тридцать<sup>48</sup> копеек — не шутка; ска-  
зала она старосте. — Я теперь и не куплю<sup>49</sup> их; пусть  
за лакомства потрудятся; — а к концу дела, когда буду  
довольна ими за всё время — еще и платки куплю...

— Может-быть, прибавила она,<sup>50</sup> и сама приеду  
взглянуть на их работу...

Старосту отпустили. —

- <sup>4</sup> после Зина зачеркнуто: , которая  
<sup>4</sup> много вписано над зачеркнутым: множества  
<sup>7</sup> перед маленьких над строкой зачеркнуто: очень  
<sup>8</sup> после Для зачеркнуто: бабы одной;  
<sup>8</sup> нашей одной вставка  
<sup>9</sup> после Мы начато и зачеркнуто: ш(ьем)  
<sup>10</sup> рубашки вставка  
<sup>14</sup> Сама-то вписано над зачеркнутым: Денег-то  
<sup>17</sup> Какие-то вы самородки! вписано над зачеркнутым:  
сказала Софья. —  
<sup>20</sup> тебе? вписано карандашом над зачеркнутым: мне?  
<sup>22</sup> пока вписано карандашом над зачеркнутым: лучше  
<sup>25</sup> после вдруг карандашом зачеркнуто: скажешь дело  
решешь отлично вписано карандашом  
<sup>28</sup> разложила вставка  
<sup>29</sup> перед скучные зачеркнуто: свои  
однообразные вставка  
<sup>30</sup> после друзьям. — зачеркнуто: Во всех нуж(но) по-  
(вторять?)

---

<sup>43</sup> далее начато и зачеркнуто: бо

<sup>44</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова

<sup>45</sup> было: 22

<sup>46</sup> далее зачеркнуто: 20 к. сер. (20 исправлено на 15)

<sup>47</sup> вписано над зачеркнутым: Четыре

<sup>48</sup> вписано над зачеркнутым: сорок

<sup>49</sup> вписано над зачеркнутым: дам

<sup>50</sup> далее начато и зачеркнуто: поду(мав)

- 31 *после и зачеркнуто: все*  
 32 *вспомнил вписано над зачеркнутым: помнил и*  
     *и прибавить вставка*  
 33 *кратких вставка*  
 33 *огорчении написано после зачеркнутого начала того*  
     *же слова*  
 34 *после выйдет зачеркнуто: грубо*  
 35 *после было зачеркнуто: писать*  
 36 *перед общими зачеркнуто: такими*

### С. 521

- 3 *скучным делом и вписано над зачеркнутым: между*  
     *делом думала*  
 4 *которая вставка*  
 5 *мимоходом вставка*  
 6 *же вставка*  
 7 *после две недели зачеркнуто: и*  
 7 *после собралась начато и зачеркнуто: пи(сать)*  
 9 *раз вставка*  
 12 *иногда зачеркнутая и восстановленная вставка*  
 14 *отца вписано над зачеркнутым: него него*  
 16 *Алекс(андру) вписано карандашом над зачеркнутым:*  
     *ему-то*  
 17 *Странная вписано над зачеркнутым: Хороша*  
 27 *после такая... зачеркнуто: Не люблю. Противно...*  
 29 *мне написано после того же зачеркнутого*  
 35 *знаешь вставка карандашом*  
 35 *после сама зачеркнуто: с*  
 37 *после Прежде зачеркнуто: то*  
 37 *а вставка*

### С. 522

- 1 *да исправлено из: а*  
 5 *Ну! вписано карандашом над зачеркнутым: У*  
     *Арины исправлено на: Арина! далее зачеркнуто ка-*  
     *рандашом; было: У Арины — ты разве рук-то не ви-*  
     *дала. — Это ужас что такое!*  
 5 *руки вписано карандашом после зачеркнутого: меньше и*  
     *было: У мужиков меньше и мягче...*  
 5 *где ж... вписано карандашом над зачеркнутым: не то*  
     *что*

- 6 *перед* все равно *зачеркнуто*: ту(т)
- 7 *особенным*<sup>51</sup> *вписано над зачеркнутым*: грустным и серьезным
- 9 *было*: и смеялась; *далее зачеркнуто карандашом*: от всей души; —
- 10 *сказала написано после зачеркнутого начала того же слова*
- 13 *далее в новой строке зачеркнуто*:  
— Ну, так что ж,
- 17 *перед* стала *зачеркнуто*: тоже  
*после* веселая и *зачеркнуто*: тоже
- 20 *нежным вставка*
- 20 *тоном вписано над зачеркнутым*: голосом
- 21 *после* восхищался им *зачеркнуто*: — «Разве — это плохо? Не хорошо?, находя, что это  
— Ну
- 22 *после* это *зачеркнуто*: пло(хо)
- 23 *после* не может? — *карандашом зачеркнуто*: Женат. —
- 24 *с презрением вставка*
- 26 *перед* спросила *карандашом зачеркнуто*: С удивлени-(ем); *с исправлено на С*
- 27 *далее в новой строке зачеркнуто*:  
— А ты как думала? — сказала Зина
- 28 *перед* *Задумчивое зачеркнуто*: Лицо
- 28 *после* скучающее *карандашом зачеркнуто*: как будто
- 29 *сделались вписано над зачеркнутым*: стали
- 29 *как будто зачеркнуто, затем зачеркивание отменено*
- 31 *перед* все выражение *зачеркнуто*: все лицо  
*после* стало *зачеркнуто*: каким-то лихим, новым,
- 32 Но нечто *вписано карандашом над зачеркнутым*: Что-то  
*после* строгое *зачеркнуто*: и
- 32 *чуть не жестокое вписано карандашом над зачеркнутым*: как бы железное; *далее зачеркнуто*: све(тилось) засвет(илось)
- 34 *после* сказала только: *карандашом зачеркнуто*: Конечно такая!
- 35 *говорить вставка*

---

<sup>51</sup> *далее во вставке зачеркнуто*: и серь(езным)

C.523

- 1 после подумала зачеркнуто: с грустью  
с укором себе вписано над строкой
- 4 опять вписано над зачеркнутым: что  
4 даже вставка
- 5 чего-то вставка; исправлено из: что-то
- 7 и подешевле что вписано над зачеркнутым: какое
- 8 послать вставка  
после купить... зачеркнуто: А то мне в
- 10 начала Эина: вставка; перед начала зачеркнуто: ска-  
за(ла)
- 12 по 15-ть вставка карандашом
- 13 перед взглянула над строкой зачеркнуто: встала
- 16 перед двору начато и зачеркнуто: зел(еному)  
после ехала над строкой начато и зачеркнуто: к п
- 18 после На телеге; зачеркнуто: сидел
- 19 мак-фарлане и широкой шляпе вписано карандашом  
над зачеркнутым: в пальто
- 20 в конце предложения вписано карандашом и зачеркну-  
то: в мак-ферлане
- 21 перед У Софьи зачеркнуто: Софь(я)  
задрожали вписано над зачеркнутым: подко(си)-  
ли(сь)
- 21 совсем бледная вписано над зачеркнутым: опу(сти-  
лась)
- 24 моих написано после зачеркнутого начала того же  
слова, далее зачеркнуто: , Боже
- 24 Что ~ говорить... вписано карандашом между строк  
Что написано после того же зачеркнутого  
далее зачеркнуто:  
И сама не зная как и почему — она уже не «для  
людей», как прежде, а сама для себя, пере(кре)сти-  
лась<sup>52</sup> три раза большим крестом и подумала: «Господи!  
Подкрепи меня!.. Подкрепи! Подкрепи....
- 25 перед сошел зачеркнуто: и вы(шел)
- 26 перед бодро зачеркнуто: довольно б(одро) довольно

---

<sup>52</sup> написано после зачеркнутого начала того же слова



- 26 *далее в новой строке зачеркнуто:*  
 Зина и горничная Лиза вышли вместе на крыльцо. —
- 27 *стал вписано карандашом над зачеркнутым: начал что-то*
- 28 *далее в новой строке зачеркнуто:*  
 Софья<sup>53</sup> видела все это из окна и думала...  
 Она поняла, что делать было нечего, что выйти от слов Софья видела до сверкали молнии вписано над зачеркнутыми строками и между строк, отчасти карандашом
- 28 *это вписано карандашом над тем же зачеркнутым*
- 28 *после из окна карандашом зачеркнуто: и думала далее карандашом вписано: ... и не знала на что решиться.*
- 29 *не ранний вписано карандашом под зачеркнутым: поздний*
- 30 *после сесть; карандашом зачеркнуто: и она*
- 31 *Софья мигом вписано карандашом над зачеркнутым: с величайшей досадой*
- 32 *отпустив своего ямщика вписано над строкой*  
 С. Н. вставка карандашом; в строке зачеркнуто:  
 он
- 33 *после Мысли ее зачеркнуто: были*  
*после так зачеркнуто: спутаны,*
- 34 *вероятно вставка*
- 37 *после при отце; зачеркнуто: с которы⟨м⟩*

## С. 524

- 1 *возразила вписано над зачеркнутым: заметила*
- 4 *перед ехал зачеркнуто: из*
- 4 *в самом деле вставка*
- 5 *после к брату, зачеркнуто: чтобы*
- 6 *его вписано над зачеркнутым: ея*
- 9 *узнали написано после зачеркнутого начала того же слова*
- 11 *после что зачеркнуто: только вчера*  
*только вчера вставка*
- 11 *перед Семен зачеркнуто: Серг⟨ей⟩ Ни⟨колаевич⟩*

---

<sup>53</sup> *написано после зачеркнутого начала того же слова*

- 14 *далее должна была начаться новая глава; зачеркнуто: V*
- 15 *комнате вписано над зачеркнутым: столовой*
- 18 *перед поглядел зачеркнуто: и*
- 19 *перед недалёку зачеркнуто: неподал(еку)*
- 23 *еще вставка*
- 25 *опять приеду и вписано над начатым и зачеркнутым: погов(орим)*
- 26 *А то<sup>54</sup> ~ Авдотье.... вписано карандашом*
- 28 *перед сдержанным начато и зачеркнуто: гне(вом)*
- 31 *перед Лошадей зачеркнуто: Да Я ло(шадей)*
- 34 *К(аких) В(ам) нуж(но) вставка карандашом*

### С. 525

- 6 *перед Вы можете зачеркнуто: Вы не имеете*
- 9 *перед недоверчиво начато и зачеркнуто: мра(чно)*
- 17 *длинной вставка*
- 17 *покручивая усы и вписано над зачеркнутым: останав-ливаясь*
- 18 *старинные вставка*
- 19 *повешены вставка*
- 20 *после Он зачеркнуто: дол(го) собирался с*
- 22 *после вам зачеркнуто: в*
- 25 *после в крайности зачеркнуто: и*
- 26 *перед И зачеркнуто: А*
- 26 *перед скверный зачеркнуто: подлый*
- 27 *и написано после того же зачеркнутого*
- 29 *после что вы зачеркнуто: со*
- 31 *после грубость... зачеркнуто: Этой бумаги*
- 33 *наверное помнил вписано над зачеркнутым: понимал, помнил наверное, что*
- 37 *перед Петр зачеркнуто: Э*

### С. 526

- 1 *Куреево было бы моим вписано над строкой*
- 7 *после Вам ли, зачеркнуто: Вам*
- 11 *мой вставка*
- 12 *после вернуться зачеркнуто: , зная*
- 18 *после что зачеркнуто: если вы*

---

<sup>54</sup> *вписано над зачеркнутым: Или*

- 18 отсюда вставка  
 18 после выделите зачеркнуто: те(х)  
 19 перед трех зачеркнуто: 3-х  
 27 после Пречистое... над строкой зачеркнуто: приказа-  
 (ла)  
 29 после Судитесь — зачеркнуто: только

## ПОДРУГИ. [ДРУГАЯ РЕДАКЦИЯ]

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1, 7—25, 34—49.

С. 527

*На титульном листе перед названием «Подруги» зачеркнут вариант названия: «Пути Господни или Последний луч».*

*в начале л. 7 зачеркнут карандашом фрагмент:*

Разве она не помнит, что он ей сказал, отпуская её в первый раз<sup>55</sup> от себя — далеко к нему, к<sup>56</sup> эт(ому) Александру — в далекую сторону?..

Он сказал ей сурово: «Помни, Софья Сергевна, что ты для меня такое. — Погубишь ты себя<sup>57</sup> — верь, что кроме пули в лоб и мне ничего не останется...» Береги себя.<sup>58</sup> —

И она знала, что это была правда. — Она понимала<sup>59</sup> это теперь еще лучше, ибо она сама и вовсе не сильно (неблагодарная) любившая его — , — чувствует теперь невыразимую вокруг себя пустоту...

Что ж бы чувствовал он, если бы он<sup>60</sup> пережил ее, он, которого любовь была прямо идеальная по<sup>61</sup> самоотвержен(ию)... и силе. —

<sup>55</sup> далее зачеркнуто: в жизни в далекую

<sup>56</sup> далее зачеркнута вставка: этому; вставка карандашом: эт.

<sup>57</sup> Погубишь и себя вписано карандашом над строкой над зачеркнутым; было: Береги себя; — умрешь ты

<sup>58</sup> Береги себя. — вписано карандашом

<sup>59</sup> вписано над зачеркнутым: знала

<sup>60</sup> далее зачеркнуто: утрат(ил)

<sup>61</sup> далее зачеркнуто: силе, по с

И его-то она лишилась...

На<sup>62</sup> следующее за похоронами утро — пустота<sup>63</sup>  
эта эта незнакомая дотоле страшная<sup>64</sup> бесчувствен-  
ность — обнаружилась уже во всей силе своей...

<sup>5</sup> Софья *вписано карандашом над зачеркнутым*: она  
едва

*над строкой во вставке начато и зачеркнуто*:  
спа⟨ла⟩

<sup>5</sup> *перед* пила *зачеркнуто*: едва

спала ~ убитая *вписано карандашом над строкой*

<sup>8</sup> любимого *вставка*

<sup>9</sup> *после* смотрела *зачеркнуто*: на стены

<sup>9</sup> *после* портреты — *зачеркнуто*: были мертвы и немые  
*окончание фразы вписано карандашом*

<sup>11</sup> *тоже вставка*

<sup>11</sup> *после и зачеркнуто*: стены

<sup>14</sup> *со всех сторон, они вписано над строкой*

<sup>15</sup> *перед* попыталась *зачеркнуто*: вышл⟨а⟩

<sup>16</sup> *вернул⟨ась⟩ вставка карандашом*

*отчаянием вписано над зачеркнутым*: ужасом; бы-  
ло: и с ужасом из него убежала

<sup>17</sup> *в нем и и шумит вставки*

<sup>18</sup> *в ту же минуту вставка*

<sup>21</sup> *перед* поняла *зачеркнуто*: что

<sup>21</sup> *на всё и всё вставки*

<sup>22</sup> *всё вставка; после но в строке зачеркнуто*: сердцем  
не

<sup>23</sup> *ея вставка*

<sup>23</sup> *после испугалась зачеркнуто*: и ре⟨шила?⟩

<sup>24</sup> *почти вставка*

<sup>24</sup> *флигель написано после зачеркнутого начала того же  
слова*

## С. 528

<sup>1</sup> *после* прослезилась *зачеркнуто*: тоже

<sup>4</sup> *перед* Сама *зачеркнуто*: Анна

---

<sup>62</sup> *перед* На *зачеркнуто*: Когда

<sup>63</sup> *далее зачеркнуто*: и

<sup>64</sup> *вставка*

- 5 сказала *вписано карандашом над зачеркнутым*: заметила
- 9 И потом *вставка карандашом; перед этим было*: И точно она знала, что Софья уже думала «о стенах»  
*над зачеркнутым* точно она знала *было вписано*: как будто уже зная
- 9 *перед* повторила *зачеркнуто*: сказала
- 9 что и другие *вставка карандашом*
- 11 *перед* У Судогдиных *зачеркнуто*: Вс(е)
- 11 *сильно вставка*
- 12 сама и которой она не доверяла и та *вписано над строкой*  
*во вставке после и та зачеркнуто*: радова(лась?)
- 12 её *вставка*
- 13 *после* отец *зачеркнута вставка же; далее зачеркнуто в строке*: человек добродушный  
*же человек добрый и*<sup>65</sup> *весел(ый)* *вписано над зачеркнутым*
- 14 *перед* радушен *зачеркнуто*: к ней
- 14 К тому же *вставка*
- 15 *приятель вписано над зачеркнутым*: дружбу; *перед вставкой над строкой зачеркнуто*: свою
- 16 даже *вставка*
- 17 скоро и *вставка*
- 17 *после* которая *зачеркнуто*: была
- 18 *после* сама *было*: была ею не любима
- 19 *после* сказала *зачеркнуто*: второй се(стре)
- 19 *после* чтобы она *зачеркнуто*: это устроила так, чтобы
- 20 к ним *вставка*
- 21 *перед* От них *зачеркнуто*: Здесь
- 24 на какие ~ на месяц *вписано карандашом*
- 26 *после* И *зачеркнуто*: Соня  
*после* Соня *начато и зачеркнуто*: п(оселилась?)
- 27 *после* семье *зачеркнуто*: , — где одн(ой)
- 28 Позднее, отдохнув *вставка*
- 28 *после* Она *зачеркнуто*: только
- 30 кой-как *вставка*

---

<sup>65</sup> добрый и *вписано над зачеркнутым*: простой

- 31 с Зинаидой ~ сестрами вписано над строкой  
после с Зинаидой зачеркнуто: до (?)
- 33 очень набожной вставка
- 33 уставы написано после зачеркнутого начала того же  
слова
- 34 перед исполняла зачеркнуто: у

C. 529

- 4 всё вставка
- 4 после и начато и зачеркнуто: пр(оизводило?)
- 5 из вставка
- 6 даже вставка  
после ощущение зачеркнута вставка: даже; в стро-  
ке зачеркнуто: телесного мгновен(ного)
- 6 телесного вставка
- 7 после блаженства зачеркнуто: которое производят
- 7 и мгновени(ый) вставка
- 8 после в нас зачеркнуто: так
- 8 какой-нибудь вставка
- 10 после какая-нибудь карандашом зачеркнуто: родствен-  
ная сердцу
- 11 понемногу вставка
- 12 перед все больше зачеркнуто: понемн(огу)
- 14 немного вставка карандашом
- 14 этом вставка
- 15 сам(ой) вставка  
исправлено, было: старшей сестре Маше
- 16 два вставка карандашом, было: на год моложе
- 17 после было зачеркнуто: 12
- 19 иногда и дулись вписано над зачеркнутым: шумели,  
смеялись  
дулись написано после того же зачеркнутого
- 20 опять вставка
- 20 после все вместе. — зачеркнуто: Мать была суха и  
сурова и не всеми
- 22 после на зелень, зачеркнуто: небо
- 23 после цветы зачеркнуто: и
- 24 одними вставка
- 25 Ерёми(нской) вписано карандашом над зачеркнутым:  
этой
- 26 после обидные зачеркнуто: ; были

- 27 уже *вставка*  
 27 после *вражде; зачеркнуто: но самой*  
 28 все *вписано над зачеркнутым: и*  
 30 перед *казалось зачеркнуто: были так*  
 32 она ~ не могла *вписано над строкой над зачеркнутым: она*  
 33 Ей *казалось ~ тоской. вписано карандашом между строк*  
 36 после *написала зачеркнуто: письма все тем людям, которым велел написать отец. —*  
     *Написала*  
 36 было: *Написала и Матвееву*  
     *после и Матвееву зачеркнуто очень коротко*  
     *со слов и Матвееву не длинно до слов не послал бы*  
     *мне этого ангела Зинаиду зачеркнуто; затем зачеркивание отменено*

### С. 530

- 1 самых *вставка*  
 2 после *умер. — зачеркнуто: Он велел тебе*  
 4 после и *зачеркнуто: не*  
 5 после она *начато и зачеркнуто: хоте⟨ла⟩*  
 13 перед не *нужен над строкой зачеркнуто: стал*  
 15 и *написано поверх многоточия*  
 17 перед *прислал зачеркнуто: хоть*  
 22 прежняя *вписано карандашом над зачеркнутым: плотская*  
 23 после *Ведь зачеркнуто: было же*  
 23 *внезап⟨ого⟩ разгара вписано*  
 24 после *страсти зачеркнуто: с, при первом*  
 27 очень *краткое вставка*  
 29 *теплая вставка*  
 31 а у нее бы *прош⟨ла⟩ страсть вписано карандашом над строкой над зачеркнутым Какой и на обороте предыдущего листа*  
 32 после и *зачеркнуто: она*  
 37 *глядя на них вставка*

### С. 531

- 4 там ~ *страсть вписано карандашом над строкой*  
 5 после для него — *зачеркнуто: нет*

- 7 несравн(енно) вставка  
 12 после забыл его. — зачеркнуто: Оно совс(ем)  
 16 перед обязан зачеркнуто: должен  
 17 хорошая и дорог вставки  
 23 вроде того вписано над зачеркнутым: то  
 24 какой-то вставка  
 27 Я и в лице ~ смотреть. — вписано между строк  
 29 после что зачеркнуто: нужно  
 31 после или зачеркнуто: лучше всего; перед этим зачер-  
 кнута вставка: это; над зачеркнутым вписано: вернее  
 33 неизмен(ная) вписано над зачеркнутым: не одна

### С. 532

- 1 63 исправлено из: 73  
 3 рокового вставка после начатого и зачеркнутого то-  
 го же слова  
 3 после в разлуке — зачеркнуто: и так;  
 4 после Неужели ты зачеркнуто: приедешь ро(вно)  
 7 скоро вписано карандашом  
 10 более вставка  
 13 оба твои письма вписано карандашом над зачеркну-  
 тым: известие  
 13 и второе вписано карандашом над зачеркнутым: твое-  
 го  
 16 было: на долго в Константинополь?  
 долго зачеркнуто, над строкой написано каранда-  
 шом, а затем зачеркнуто: все; зачеркивание слова  
 долго отменено  
 над зачеркнутым Константинополь? карандашом  
 написано: Вену. —  
 17 было: ко мне в [дом]  
 21 подчеркнуто карандашом  
 23 после я зачеркнуто: покоен  
 25 нравятся даже все слабости мои! вписано карандашом  
 над зачеркнутым  
 который исправлено на: которому  
 было: который находит даже, что я всегда почти  
 прав и все делаю хорошо...  
 30 после забудет? — зачеркнуто: Поэтому —  
 31 перед заменить зачеркнуто: не  
 не может ~ не то) вставка



32 *после никого зачеркнуто: именно*

34 *оно вставка*

### С. 533

6 *еще вставка*

9 *перед А потом зачеркнуто: А на будущее*

12 *и вписано над тем же зачеркнутым*

13 *после лучше чем зачеркнуто: отец*

18 *дом написано после зачеркнутого: э(тот?)*

18 *перед пустом карандашом зачеркнуто: совершенно*

18 *мне вписано над зачеркнутым: меня*

20 *после Куреева зачеркнуто: лесистого*

22 *огромн(ый) и около церкви вставки карандашом*

24 *налево и серый вставки*

25 *после который зачеркнуто: в*

26 *после в обществе зачеркнуто: , то*

26 *в углу вставка карандашом*

28 *после всегда зачеркнуто: как-то*

29 *как-то вставка*

29 *очень вставка*

30 *и вписано над зачеркнутым: а*

31 *сильно вставка*

32 *всегда вставка*

34 *перед или зачеркнуто: а*

34 *после у них зачеркнуто: в Москве т(акой)*

36 *после юношей; зачеркнуто: но лиц даже их*

### С. 534

2 *что ~ пошло вписано над строкой*

7 *воображаем исправлено из: воображают; далее зачеркнуто: подкуплен(ные)*

7 *нашим (собственно: нашими) написано после зачеркнутого начала того же слова*

8 *извечным вписано карандашом над зачеркнутым: пол-овыми*

8 *после тонко зачеркнуто: и*

10 *пот(s) написано после того же зачеркнутого*

12 *Посмотри ~ приятно. — вписано карандашом над зачеркнутым: Ты еще не знаешь, как хорош Константиноп(оль); далее вставка: Подумать только...*

- 18 и после вся вписано над тем же зачеркнутым  
 21 ни и ни вставки  
 28 негодн(ая) вписано карандашом над зачеркнутым:  
 Зиночка  
 29 после вот зачеркнуто: ела, я  
 31 Софья остановилась. вписано после зачеркнутого: —  
 Д(а) и зачеркнутого над строкой: Со(фья)  
 32 после папкой карандашом зачеркнуто: бедным далее  
 начато и зачеркнуто: нич(уть)  
 33 и написано после того же зачеркнутого  
 перед тихо начато и зачеркнуто: к  
 35 перед у нас зачеркнуто: Алекс(андр)  
 36 перед положила зачеркнуто: и  
 37 перед варенье зачеркнуто: это

### С. 535

- 2 после прямо зачеркнуто: ему призналась, что  
 перед призналась начато и зачеркнуто: ска(зала)  
 6 твой вставка  
 7 после притворяться зачеркнуто: из доброты  
 16 Ну ~ пожертвовать вписано карандашом между строк  
 17 после говорила. — зачеркнуто: Тут же готова была  
 23 перед подумала начато и зачеркнуто: поколеб(алась)  
 23 после поколебалась; над строкой зачеркнуто: потому  
 что в строке зачеркнуто: но вспомнивши, что  
 26 хотя и вставка карандашом  
 26 но вставка  
 26 после а зачеркнуто: мать  
 27 Матвеев вписано над зачеркнутым: М он  
 и подумав все это вписано над строкой  
 29 после новое начато и зачеркнуто: б(ыло)  
 31 А вписано карандашом  
 32 Второй раз вписано в конце строки; в начале новой  
 зачеркнуто: Дочла до то(го)  
 32 жестоко вставка  
 33 перед дочла зачеркнуто: и  
 34 насмеш(ливых) вставка  
 35 после матери — зачеркнуто: и засмеялась  
 37 Только написано после того же зачеркнутого

С. 536

- 2 тихо *вставка*  
4 после нетерпением, начато и зачеркнуто: смотре⟨ла⟩  
5 в глаза *вставка карандашом*  
    после Она зачеркнуто: даже  
5 а и всё *вставки*  
7 лице написано после того же зачеркнутого  
10 ты *вставка карандашом*  
14 Денег у него куча! *вписано карандашом*  
17 и *вставка*  
21 после И что зачеркнуто: одна похожа на  
23 что *вставка*  
24 перед это зачеркнуто: И  
24 перед Она зачеркнуто: Ему  
25 перед походка зачеркнуто: ходит  
27 перед Жена зачеркнуто: А  
28 после другие ошибочно не вычеркнуто: для далее на-  
    чато и зачеркнуто: лю⟨бви⟩  
28 воображ⟨ения⟩ *вписано над зачеркнутым: любви*  
30 перед Для дружбы зачеркнуто: В  
30 или *вписано над зачеркнутым: и*  
34 даже *вставка*

С. 537

- 1 перед Прекрасные зачеркнуто: Зинаида  
    большие *вставка*  
2 но и как каменное... *вписано карандашом*  
5 после утоплюсь... зачеркнуто: Я без тебя —  
7 не кончила и *вписано над зачеркнутым: опять вздохну-*  
    ла... и  
    замолч⟨ав⟩ ~ заплакала *вписано карандашом над*  
    *строкой и между строк*  
9 перед ласкать зачеркнуто: и  
12 письма *вставка*  
17 прошла написано после зачеркнутого: но  
22 после решила зачеркнуто: успокоилась  
24 по охоте *вставка*  
27 права *подчеркнуто карандашом*  
27 (стр⟨ась⟩ пр⟨ошла⟩ и \_\_\_\_\_) *вписано карандашом*  
    *над строкой*

- 33 деда исправлено карандашом, было: дяди  
36 перед погулять начато и зачеркнуто: про

С. 538

- 4 Веней вписано карандашом над зачеркнутым: Кон-  
ст(антинополем)  
твоей исправлено карандашом, было: твоим  
после ничуть зачеркнуто: теперь  
7 если не вписано карандашом  
9 перед же зачеркнуто: и  
9 еще одно вставка  
12 после особенная; — зачеркнуто: она гостила {?}  
17 Ерёми(нской) вставка  
18 Куреевск(им) написано после зачеркнутого: Судог-  
(динским)  
19 свободному вставка, в начале которой зачеркнуто:  
независи(мому)  
19 которое ~ ее вписано над строкой  
21 которой ~ пользов(алась) вписано над строкой  
22 перед начинала зачеркнуто: теперь  
25 ей стало вписано карандашом  
25 после легче; — зачеркнуто: и что теперь можно будет  
посвятить; под этим зачеркнуто: нет никаких обязан-  
ностей. —  
26 чаще вставка  
30 по-прежнему вставка  
33 после няня, зачеркнуто: которой он(а)  
33 одну вставка  
34 внезапно вставка

С. 539

- 1 после в первый раз зачеркнуто: войти  
3 людях вставка  
3 после на пенсии начато и зачеркнуто: дож(ивали)  
4 Она на них написано после того же зачеркнутого  
5 после как на начато и зачеркнуто: пр(едставителей)  
6 но почти, что так. — вписано над строкой  
7 старый вставка  
8 после садовник — зачеркнуто: груб  
далее зачеркнута вставка: и  
9 лукав вставка

- 12 за плату и их вставки  
 13 им вставка  
 17 покойному вписано над зачеркнутым: доброму, умному  
 17 перед она зачеркнуто: и  
 17 всех вставка  
 19 больше вставка  
 21 после со всеми зачеркнуто: так сказать, его недостатками...  
 22 еще в Пете(р)бур(ге) говаривал ей так вписано над зачеркнутым: говорил ей  
 29 что написано после того же зачеркнутого  
 30 каждый написано после того же зачеркнутого  
 35 но вписано над зачеркнутым: даже  
 35 и вставка  
 35 и пьяном вставка

### С. 540

- 1 шалости и про его вставка  
 4 , однако вставка  
 5 после за исключением зачеркнуто: одной  
 6 после умная, зачеркнуто: серьезная  
 7 над словом четыре написано: (три)  
 9 после безуслов(но) верила. — знак вставки  
 9 после И вдруг зачеркнуто: после внезапной смерти няни — во время ее жизни в Ерёмине,  
 10 Ерёминс(ких) вписано над зачеркнутым: Судогдинских  
 10 и дворовых вписано над зачеркнутым: этих  
 11 перед три зачеркнуто: два  
 11 внезапной вставка  
     смерти написано после зачеркнутого начала того же слова  
 12 порожних вставка  
 12 замуж(няя) вставка  
 13 после и зачеркнуто: чере(з)  
 14 верх(ом) вставка  
 15 то вставка  
 16 после много зачеркнуто: вещей  
     после рухляди над зачеркнутым сереб(ро) вписано: и

- 19 *далее в новой строке зачеркнуто: Когда Софье дали  
знать*  
25 *потому ~ мороз вписано над строкой*  
26 *сказала она вставка*

С. 541

- 2 *даже упомин(ать) вписано над зачеркнутым: сказать о*  
3 *после об этом зачеркнуто: подозрении своем и*  
6 *на похороны вставка*  
6 *сорокоуст написано после зачеркнутого начала того  
же слова*  
8 *после сорокоуст: зачеркнуто: у людей тогда*  
10 *Алене вставка*  
10 *повыгоднее вставка*  
10 *и написано после того же зачеркнутого*  
10 *слева на полях знак вставки*  
12 *и думала вписано в конце после зачеркнутого начала  
того же*  
*что вписано над зачеркнутым: что и*  
*перед этим в начале строки зачеркнуто: Ко*  
13 *после погрузится в новой строке зачеркнуто:*  
*Однако, подлая проза практичес(кой) жизни*  
13 *после в свою карандашом зачеркнуто: мечтательную и*  
*над зачеркнутым и вставка: и...*  
18 *после жестоко зачеркнуто: более опытно(го)*  
20 *после повестку зачеркнуто: , в которой треб(овалось)*  
21 *это ~ няни первоначально было в скобках*  
22 *после Губер(нского) Секрет(аря) зачеркнуто: Львова*  
24 *умерш(ей) вставка*  
28 *было: и только успела сесть на диван...*  
31 *после дела, зачеркнуто: послали за одним сосе(дом)*  
32 *за советом вставка*  
32 *перед другому зачеркнуто: одному*  
*после соседу зачеркнуто: , знатоку К счастью сосед*  
*успокоил ее*

С. 542

- 8 *после следствие начато и зачеркнуто: прекрати(лось)*  
10 *в первое время вставка карандашом*  
11 *Она ~ не написала. — вписано карандашом между  
строк*

- 13 *перед* близком будущем *ошибочно зачеркнуто*: в  
 15 *ей* уже говорили дворовые *вставка*  
 16 *после* что *зачеркнуто*: они н  
 16 *совесть* ее *вставка*  
 18 *них* *вписано* карандашом  
 19 *после* а *зачеркнуто*: дворов(ые)  
 20 *недовольны* *вписано* карандашом *над зачеркнутым*:  
*клянут*  
 20 *после* И *начато* и *зачеркнуто*: на  
 21 *эти* и крепост(ники) *вставки* карандашом; старые *ис-*  
*правлено* карандашом; было: не только старики; *далее*  
*зачеркнуто*: вселяли *ей* недоверие возбужд(ая)  
 24 *Вы* им *вписано* карандашом *над зачеркнутым*: Мужи-  
*кам*  
 24 *они* *вставка*  
 25 *после* о сю пору *зачеркнуто*: нам го(ворят)  
 28 *после* делали... *зачеркнуто*: А что наших  
 30 *перед* Коров *зачеркнуто*: И Соня во  
 30 *перед* понять *начато* и *зачеркнуто*: Со(не)  
 33 *несмотря* на свою фамилию *вставка* карандашом *на*  
*полях*  
 35 *перед* Многие *зачеркнуто*: Соня ре(шилась)

### С. 543

- 1 *или* *вставлено* над дефисом  
 3 Тот *вставка*  
 3 к *вставка*  
 4 *после* укорял *зачеркнуто*: её  
 7 помещи(кам) *вставка*  
 9 *выра(жением)* *вставка*  
 10 и на *сборищах* у отца *вставка*  
 11 читала и *вставка*  
 12 этот *вставка*  
 12 наш *написано* *после зачеркнутого начала того же*  
*слова*  
 13 *перед* люди *зачеркнуто*: молодые  
 14 русс(кий) *вставка*  
 17 она *после* более *вставка*  
 18 *после* одобрит ли *зачеркнуто*: во всем этом  
 18 *перед* Если *зачеркнуто*: А е(сли)

- 19 Куреев(ским) вставка  
21 поступок написано после того же зачеркнутого  
22 после Он зачеркнуто: совсем  
26 роды вписано над зачеркнутым: буржуазн(ые)  
было: буржуазные расчеты  
26 было: подлостью в европейском духе буржуазии  
28 этой вставка

С. 544

- 2 после пишет оставлено место  
после проще зачеркнуто: и луч(ше)  
5 все вставка  
8 главное тут вставка  
10 после Соня зачеркнуто: могла  
12 перед ссоры зачеркнуто: лучше  
13 после джентельмен зачеркнуто: точный  
18 того написано после того же зачеркнутого  
22 еще раз вставка  
28 после Но зачеркнуто: если Вы  
31 тире написано поверх и  
32 перед Суд зачеркнуто: Окруж(ной)  
далее зачеркнуто: Не вообр(ажайте)  
33 перед получил зачеркнуто: я все  
34 отцов(ского) вставка  
34 после наследства; зачеркнуто: но ведь вам я  
34 у меня целы вставка  
было: но ведь письма-то ваши  
36 после внести зачеркнуто: за

С. 545

- 3 далее в новой строке зачеркнуто:  
Кстати сообщу Вам новость.  
6 благие вставка  
8 Я писал ~ распечатано». вписано между строк  
8 в Вену вставка  
11 перед досада ее зачеркнуто: гнев ее  
13 обо всем вписано над зачеркнутым: об  
13 перед говорила зачеркнуто: и г(оворила)  
16 перед знает зачеркнуто: он должен  
23 дохода(ми) вписано над зачеркнутым: деньгами  
25 нет уж извините вписано над зачеркнутым: простите



С. 546

- <sup>1</sup> после уже над строкой зачеркнуто: давно  
<sup>2</sup> на его написано после зачеркнуто: на н(его)  
<sup>11</sup> перед деньги зачеркнуто: больш(ие)  
<sup>12</sup> ассигнац(ий) вписано над зачеркнутым: бумаги  
<sup>15</sup> после деньги зачеркнуто: Матве(ева)  
<sup>18</sup> долго вставка  
<sup>21</sup> А написано после того же зачеркнутого; далее зачеркнуто: если

С. 547

- <sup>2</sup> со стороны... а вписано над зачеркнутым: А должно быть  
<sup>5</sup> перед Зина зачеркнуто: Но; далее зачеркнуто: нежно<sup>66</sup> обнимала  
<sup>8</sup> грязных вставка  
<sup>18</sup> его вставка  
<sup>18</sup> после бы зачеркнуто: ей  
<sup>22</sup> перед то зачеркнуто: все  
<sup>24</sup> оскорблен(ное) его равнодушием вставка  
<sup>26</sup> ровную вставка  
<sup>27</sup> после кажется зачеркнута вставка: с у(ма)  
    после сошла зачеркнуто: бы с ума от  
<sup>27</sup> после от смены<sup>67</sup> зачеркнуто: уныния и  
<sup>28</sup> перед Они зачеркнуто: Де(ло); далее зачеркнуто: сделала(ли)  
<sup>28</sup> дело вписано над зачеркнутым: вме(сте)  
<sup>35</sup> тотчас же и вставка  
<sup>36</sup> оскорбит(ельное) вставка  
<sup>36</sup> после дяди. — зачеркнуто: Сознавалась, до чего

С. 548

- <sup>1</sup> после стало зачеркнуто: теперь  
<sup>2</sup> 4500 вписано над зачеркнутым: 5000  
<sup>5</sup> после дорога было: ... и  
<sup>6</sup> после прощенья зачеркнуто: и  
<sup>9</sup> перед Матве(еву) зачеркнуто: ему

---

<sup>66</sup> нежно вставка

<sup>67</sup> смены вставка

- 10 *после что зачеркнуто: говорит и*  
 16 *после номера главы зачеркнуто:*  
     Сначала и даже очень скоро пришло от Матвеева  
     длинное письмо. — Он прежде всего успок(оил)  
 17 *перед даже начато и зачеркнуто: при(шло)*  
 18 *после Его зачеркнуто: с*  
 23 *далее в новой строке зачеркнуто:*  
     Она положила  
 24 *радост(но) вставка*  
 28 *тоже вставка*  
 29 *перед Дуня зачеркнуто: Катя ск(азала)*  
 32 *перед Бог зачеркнуто: Господь*

### С. 549

- 1 *перед Святках зачеркнуто: Рождес(тво)*  
 3 *Характер вставка*  
 3 *после Испортился. — зачеркнута вставка: Года!*  
 13 *в автографе осталось неисправленным: Поразило*  
     *после прежде всего зачеркнуто: то, что*  
 13 *горячая вставка*  
 15 *после Он зачеркнуто: прежде тотчас же*  
     *прежде всего вставка*  
 16 *он вставка*  
 17 *и непременно вставка*  
 18 *после больше; — зачеркнуто: хоть*  
 18 *и скорее вставка*  
     *после всего зачеркнуто: ск(орее)*  
 20 *частный вставка*  
 21 *о вставка*  
 28 *было: я быть может<sup>3</sup> и виноват*  
     *больше всех вписано над зачеркнутым: и*  
 35 *после заплатить зачеркнуто: за*

### С. 550

- 2 *после получите. — зачеркнуто: Не бесчестите*  
 5 *после бесчестить начато и зачеркнуто: без(защит-  
 ную)*  
 8 *перед лести зачеркнуто: лживой*  
 10 *перед совсем зачеркнуто: вовс(е)*  
 11 — *Поверит ли написано после того же зачеркнутого*  
     *в предыдущей строке*

- 12 перед С. Н. над строкой зачеркнуто: Сем(ен)  
 13 (ответила Соня) вставка  
 13 и комплим(ентам) вставка  
 18 после устранить зачеркнуто: от меня  
 24 вместо имени два вопросительных знака  
 28 таки вставка  
 31 после есть. — зачеркнуто: и Соня  
 33 перед В заключение начато и зачеркнуто: Те(перь)  
 34 и грубым вставка  
 35 идеальных и вставка  
 после практических зачеркнуто: и

### С. 551

- 1 И я сам ~ определения. — вписано между строк над зачеркнутым: Но надо  
 6 мечтатель даже вставка  
 10 в вставка  
 10 перед сильным зачеркнуто: крепким  
 12 после вести карандашом зачеркнута вставка: главное  
 17 средн(ей) руки вставка  
 18 после имеет зачеркнуто: еще  
 23 малодуш(но) вписано над зачеркнутым: жаловаться, что  
 23 мелк(их) вставка  
 32 горестя(х) вписано над тем же зачеркнутым  
 37 перед Это зачеркнуто: Не  
 37 по-женски вставка

### С. 552

- 5 перед Аминь начато и зачеркнуто: Ж[ена]  
 10 поляк вставка  
 17 далее в новой строке зачеркнуто:  
 Целый вечер  
 21 обнялись вставка  
 24 перед Ан(на) зачеркнуто: Мл  
 25 вместо имени два вопросительных знака  
 28 слыша это вставка  
 34 Отец вписано поверх двух вопросительных знаков  
 34 перед молча зачеркнуто: один

С. 553

- <sup>3</sup> перед Так зачеркнуто: Весь вечер  
<sup>8</sup> перед Нет начато и зачеркнуто: Все  
<sup>10</sup> после ненавижу. — зачеркнута вставка: Все — любовь!  
<sup>16</sup> перед Вот зачеркнуто: Нет  
<sup>16</sup> Вот ~ которой нет вписано между строк  
<sup>18</sup> А на<sup>68</sup> С. Н. написано поверх зачеркнутого: Но  
<sup>23</sup> прошло вставка  
<sup>32</sup> после сказать, зачеркнуто: что  
<sup>32</sup> перед уверен зачеркнуто: знает  
<sup>34</sup> чуть слыш(ный) вписано над зачеркнутым: тотчас  
<sup>36</sup> ее вставка

С. 554

- <sup>1</sup> после блестящему зачеркнуто: и  
<sup>2</sup> и любящей вписано над зачеркнутым: но одиноко  
<sup>4</sup> Еще одна вписано над зачеркнутым: Опять  
<sup>8</sup> договорить вписано над зачеркнутым: досказать  
<sup>12</sup> после немного; зачеркнуто: лежа в постел(ях)  
<sup>13</sup> после отличилась зачеркнуто: факт  
<sup>15</sup> ведь то вставка  
<sup>15</sup> после случилось?... зачеркнуто:  
— Да она  
Софья немн(ого) задумалась  
<sup>17</sup> после еще начато и зачеркнуто: замет(ила)  
<sup>20</sup> после сказать... зачеркнуто: Ну Бог с ней... Что за беда...  
<sup>27</sup> года цел(ые) вставка  
<sup>36</sup> опять вставка

С. 555

- <sup>1</sup> для вставка  
<sup>3</sup> Зина вписано над зачеркнутым: Соня  
<sup>3</sup> долго еще вставка  
<sup>5</sup> стараясь вставка  
<sup>6</sup> перед Зине начато и зачеркнуто: Со(ня)

---

<sup>68</sup> далее начато и зачеркнуто: без

9 было: Вот то-то и беда, что ты слишком много думаешь. —

На что *вписано карандашом над зачеркнутым*: Вот то-то и беда что

так *вписано карандашом*

10 было: Охота это тебе!... *далее зачеркнуто*: Тоже

16 *после* пришли *начато и зачеркнуто*: ра(зом)

17 *после* Сперва *зачеркнуто*: из Крыма; а потом и Случилось

22 *после* бланк *зачеркнуто*: и

22 *после* от него *зачеркнуто*: *благод(арность)* от

33 *после* шутить *зачеркнуто*: , так и согласились

34 *теперь вставка*

34 *хотя* все *груст(ила)* *вставка карандашом*

35 *никак вставка*

### С. 556

1 *перед* напротив *зачеркнуто*: а

1 *самое* сильн(ое) *вписано над зачеркнутым*: все

6 и *назван(ием)* *вставка*

11 *после* стала *зачеркнуто*: думать

*чаще* *опять вставка*

11 *перед* о Боге *зачеркнуто*: и

12 *Думая* ~ романах *вписано над строкой*

16 *при* ней *вставка*

22 *широкий* *вписано над начатым и зачеркнутым*: *убе(ждения)*

27 *после* путей *зачеркнуто*: не

29 *перед* восклик(нул) *зачеркнуто*: вскричал

30 *после* спорили *зачеркнуто*: вообще

### С. 557

1 и брошенная *любовн(иком)* *вставка*

9 *смелые* *вписано над зачеркнутым*: умные

10 *Лаврецк(ий)* *вставка*

14 *после* видеть *зачеркнуто*: женой

15 *молодого* и *вписано над зачеркнутым*: или

15 *зако(нной)* *вставка*

17 *после* *помнила, зачеркнуто*: что ее

22 *мнения* *вписано над зачеркнутым*: слова

23 *перед* Позднее *зачеркнуто*: Она

- 29 до мельч(айших) вставка  
32 как вписано над зачеркнутым: как Ан(на)  
33 после и зачеркнуто: все  
35 на уме вставка карандашом

С. 558

- 5 Тогда ~ ей вписано между строк  
6 — Ну так вставка  
9 Такой ~ входит взято карандашом в скобки  
13 то вставка  
13 далее в новой строке зачеркнуто:  
— Я хочу  
16 Рай; ад вставка  
20 Или вставка карандашом  
23 перед Зинаида зачеркнуто: Нет  
слева на полях подчеркнуто двумя чертами напи-  
санное карандашом нрзб. слово  
25 после Все чувствует... зачеркнуто: Знаешь,  
27 тебя ~ своя... вписано карандашом над зачеркнутым:  
люди-то тебе не милы!..  
28 перед Ну зачеркнуто: И мне  
31 лицо вписано карандашом над зачеркнутым: личико  
32 приятное вписано карандашом над зачеркнутым: ста-  
рое, старое; худое-прехудое...  
33 очень вставка  
37 Так вставка; написано после того же зачеркнутого

С. 559

- 3 перед очень зачеркнуто: охотно  
9 убеждалась вписано над зачеркнутым: сознавала  
10 и вписано над зачеркнутым: но  
11 после от Церкви. — зачеркнуто: Еще  
После того Вскоре после того  
12 совсем вставка  
15 после в Польшу, зачеркнуто: был  
16 впечатления написано после зачеркнутого начала того  
же слова, над которым сделана вставка: сильного  
17 после желая зачеркнуто: поразить  
24 после забыто зачеркнуто: ; что и Ренан  
24 презираемо вписано над зачеркнутым: ненавидимо  
25 после пользу зачеркнуто: хоть тем, что ненависть и

- 26 и вставка  
 26 было: заменил  
 31 кажется вставка  
 34 после у них зачеркнуто: у  
 37 приходило написано после зачеркнутого начала того же слова

### С. 560

- 3 и вслушиваться не трудилась вписано над зачеркнутым: больно ⟨?⟩  
 7 после не докажет зачеркнуто: ему  
 9 самом вставка  
 10 после И даже зачеркнуто: в долгих<sup>69</sup> разговорах Александра  
 11 трех вставка  
 11 после и зачеркнуто: те  
 12 после у нее зачеркнуто: ничего  
 13 ни вставка  
 13 после Обрядовая зачеркнуто: , на  
 17 после Церкви; зачеркнуто: но молитва к  
 19 сколько ни старалась вставка  
 19 ошибочно не вычеркнуто ни: ни какой-нибудь его  
 20 особой вставка  
 20 не исправлено из ни; далее зачеркнуто: какой-нибудь  
 22 чужого вставка  
 23 и вовсе забыли все вписано над зачеркнутым: эти  
 29 после Странно, зачеркнуто: а  
 31 после Она зачеркнуто: жалел⟨а⟩  
 32 перед намеревалась начато и зачеркнуто: ду⟨мала⟩  
 37 больше вставка

### С. 561

- 10 перед Выпал зачеркнуто: Ан⟨на⟩  
 12 перед Соня зачеркнуто: Сама  
 13 прокатиться и посмотреть вставка  
 17 и Ваней вставка  
 22 после Монастырь зачеркнуто: был н⟨евелик⟩  
 25 после городок зачеркнуто: ; весь  
 27 перед чистые зачеркнуто: пока еще

---

<sup>69</sup> вставка, над которой зачеркнуто: от долгих

- 28 *после узки зачеркнуто: и*  
 28 *и вписано над тем же зачеркнутым*  
 31 *было: вечерни*  
 33 *же вставка*  
 35 *поехала она вписано карандашом над зачеркнутым:*  
     *взяла ее*  
 35 *было: одна знакомая дама*  
 36 *и написано после того же зачеркнутого*  
 36 *было: и ужасно утомила ее там*  
     *так вписано над зачеркнутым: ужасно*  
     *утомилась исправлено из: утомила ее*  
 36 *она вписано карандашом над тем же зачеркнутым*

### С. 562

- 1 *иконы вставка*  
 6 *перед Бог зачеркнуто: тот*  
 8 *перед номер зачеркнуто: №*  
 12 *после на зачеркнуто: Зину. — У т{ой}*  
 12 *вовсе не крестясь и вставка*  
 13 *после неподвижно; зачеркнуто: очень редко*  
 16 *Но вставка*  
 18 *идти ~ одной вставка*  
 18 *было вставка после того же зачеркнутого в строке*  
     *слова, перед ней зачеркнута вставка: стало*  
 18 *перед только зачеркнуто: столько*  
 19 *даже вставка*  
 19 *после больно; зачеркнуто: стыдно и досадно*  
 21 *перед народ зачеркнуто: толпа*  
     *перед раздвинул{ся} зачеркнуто: немного*  
 22 *было: толкнула ее и сказала*  
     *тронула и руку вставки карандашом*  
 24 *старый, смуглый, круглолицый вставка карандашом*  
     *перед старый зачеркнуто: смугл{ый}*  
     *далее в строке зачеркнуто: худ, стар, и даже желт;*  
     *морщинистый<sup>70</sup>, горбатый*  
     *слева на полях зачеркнута карандашная вставка:*  
     *немного*  
 24 *толстогубый ~ bienfaisant» вставка карандашом на*  
     *обороте предыдущего листа*

---

<sup>70</sup> *вставка*



- 26 глядели написано после зачеркнутого начала того же слова  
 26 после большие, зачеркнуто: добрые  
 27 перед черные зачеркнута вставка: глубокие  
     после глаза зачеркнуто: благово⟨лящие?⟩ глубокие  
 32 по пути вставка  
 34 к алтарю вставка  
 35 после толпу зачеркнуто: мужиков и  
 36 иногда вставка

### С. 563

- 3 улыбнулся зачеркнуто карандашом; поскольку окончание фразы не исправлено автором, оставляем слово в основном тексте  
 4 было исправлено на: поцеловал; затем правка отменена  
 10 после стыда зачеркнуто: и  
 10 перед нагнулась зачеркнута вставка: нагнулась и; в строке перед этим начато и зачеркнуто: протяну⟨ла⟩  
 13 любопытство написано после зачеркнутого начала того же слова  
 16 после быстр⟨ом⟩ зачеркнуто: и  
 17 и выразительном. — вставка карандашом; предложение оканчивалось многоточием  
 17 было: светлый и глубокий какой-то... далее зачеркнуто: Она только особый вписано карандашом над зачеркнутым: светлый; над зачеркнутым какой-то вписано карандашом: и загадочный  
 22 перед Анна начато и зачеркнуто: Суд⟨огдины⟩  
 23 после пробыли зачеркнуто: и у  
 24 и вписано над зачеркнутым: — пора  
 30 перед раздражение зачеркнуто: сильное  
 32 и боялась его донельзя вставка  
 34 очень вставка  
 35 или тетке вставка  
 35 после или зачеркнуто: тетке или

### С. 564

- 2 после зависело зачеркнуто: теперь  
 2 теперь вставка  
 8 после иметь веру... зачеркнуто: Веру в человека этого...

- 10 *после* напугалась. — *зачеркнуто*: Она испугалась того,  
что ост(ановившись)
- 11 *просто вставка*
- 12 *еще вставка*
- 16 *и вставка*
- 18 воспитан(ии) (?) *вставка*
- 25 не притворяться, не *вписано над зачеркнутым*: не  
25 *после и зачеркнуто*: не идти
- 26 *после* обеде. — *зачеркнуто*: Она говори(ла)
- 34 и решитель(но) *вставка*
- 34 *после* мамка *зачеркнуто*: на это
- 35 *спросит написано после зачеркнутого начала того же*  
*слова*
- 36 *после* с От. Мартирием *знак вставки*

### С. 565

- 3 *после* ушла *зачеркнуто*: и оставила ее одну...
- 4 *перед* пила чай *зачеркнуто*: села
- 5 *после* монахом *зачеркнута вставка над строкой*: кото-  
рый вместо Скорбя(щая) Скорбя(щая)
- 5 *который ~ Матерь вставка на полях*
- 6 *и вставка*
- 6 *некоторые вписано над зачеркнутым*: рук(а)
- 9 *после* средним. — *знак вставки*
- 13 *нередко вставка*  
*после* бесцельную *зачеркнуто*: и
- 15 *думать вставка*
- 16 *в прошедшее написано после зачеркнутого начала то-*  
*го же*
- 19 *грубой вставка*
- 20 *перед* Бог *зачеркнуто*: Если  
*говорят вставка*
- 25 *мальчик вписано карандашом над зачеркнутым*: монах
- 27 *перед* Не слышно *зачеркнуто*: Было
- 30 *стихотворенье вписано карандашом*
- 35 эт(их) прекра(сных) *вставка*  
*было*: со стих(ов) Пушкина<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Пушкина *зачеркнуто* карандашом

С. 566

- <sup>1</sup> над словом первых два вопросительных знака  
<sup>3</sup> занималась вписано над зачеркнутым: загоралась  
<sup>10</sup> после И зря зачеркнуто: точно  
<sup>14</sup> после уеду зачеркнуто: прежде; далее зачеркнута вставка: тогда  
<sup>15</sup> после остановился зачеркнуто: и за(смеялся)  
<sup>16</sup> Потом вписано над зачеркнутым: И  
<sup>17</sup> перед увидел начато и зачеркнуто: изв  
<sup>20</sup> перед Из-за угла зачеркнуто: Послышал(ся) сзади  
<sup>23</sup> барышней вписано карандашом над зачеркнутым: дев-к(ой)  
<sup>30</sup> дверь написано после зачеркнутого начала того же слова  
<sup>30</sup> после послышался зачеркнуто: мужской, но довольно тонкий голос: «Молитв(ами) Св(ятых) отец Г(осподи) И(исусе) Х(ристе) Б(оже) н(аш)...»

Она встала с досадой<sup>72</sup>.... Она не знала, что надо сказать «аминь»;<sup>73</sup> и думая, что монах какой-нибудь по ошибке зашел к ней;<sup>74</sup> сказала довольно сухо: «Кто это там... Что Вам?» и отворила. — Перед [ней] стоял сам От(ец) Мартирий...

— Можно взойти? — спросил он немного с почт(ительностью) (?), но очень серьезно и даже не улыбаясь...<sup>75</sup> И она опять почувяла силу его добрых<sup>76</sup> и задум(чивых) черных глаз...<sup>77</sup>

У Сони от неожидан(ности) и волнения почти<sup>78</sup> подкосились ноги и она скрепя сердце с бледным и страдающ(им)<sup>79</sup> лицом — едва слышно ответила:

---

<sup>72</sup> вст(ала) с досадой вписано над зачеркнутым: вскочила; над строкой зачеркнуто: с удивлением

<sup>73</sup> далее зачеркнуто: но

<sup>74</sup> далее зачеркнуто: сперва

<sup>75</sup> немного ~ не улыбаясь вписано над строкой карандашом над зачеркнутым: кротко, но даже не улыбаясь

<sup>76</sup> далее зачеркнуто: черных

<sup>77</sup> предложение вписано между строк карандашом

<sup>78</sup> вставка

<sup>79</sup> было: с искаженным от страдания: ошибочно не вычеркнуто в строке с; над строкой вписано: с бледн(ым) и внезапно [последнее слово зачеркнуто]

— Пожалуйста, бабушка... Милости просим...<sup>80</sup>

Она была в высшей степени смущена; до того потеря(лась), что и не желая ничуть быть невежливой или малодуш(ной) просто забыла подойти под благос(ловение); а лишь приглас(ила) его сесть на диванчик, села вблизи (?) гостя

очень прият(ный) жен(ский) голос [сказал:] Мо(жно) войти

Соня с удив(лением) отвори(ла) и увидела перед собой очень красивую<sup>81</sup> даму, в доро(гой)<sup>82</sup> бархатной ротонде и белом шол(ковом) платке на голове.

— Можно к вам зайти? — спросила она: — Я слышала об вас и хотела познакомиться с вами. —<sup>83</sup> Я — Булычева. —

## ПЕССИМИСТ

Копия М. В. Леонтьевой: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 21.

С. 571

<sup>1</sup> на л. 1 рукой Л.: Песс(имист). — Гл. 3-я.

<sup>28</sup> после слишком нравится. — *зачеркнуто синим карандашом*: Понимаете, — если бы этот молодой человек со всеми его огромными, исполинскими по моему, задатками был бы прогрессистом, или либералом, что ли.... то, вы знаете мои убеждения, я бы с наслаждением, как Герцог Гиз «le Balafre» адмиралу Колиньи, — наступил бы ему на лицо... Но разве он либерал....

---

<sup>80</sup> *зачеркивание этого предложения было отменено; далее в новой строке зачеркнуто: И по; далее вписано карандашом и зачеркнуто: Она была в выс(шей) степ(ени) раздосадов(ана); окончание фрагмента написано карандашом*

<sup>81</sup> *далее зачеркнуто: молодую*

<sup>82</sup> *вставка*

<sup>83</sup> *далее зачеркнуто: Моя фам(илия)*

<sup>30</sup> *зачеркнут л. 8, начинающийся с окончания слова вставая, и л. 9. Т. о. следует считать зачеркнутым все предложение, которое было начато на л. 7:*

— Послушайте меня, (продолжил он, вставая и уводя собеседника с собою в другой конец залы)... Одно то, что он, будучи еще студентом, когда был вопрос об этих матрикулах, отделился от целой толпы этих негодяев и дураков, которыми нынче полны наши университеты. — Вы знаете эту историю?..

— Нет, отвечал Маврокордато. —

— Слушайте. — Он отделился. — Его грозилась убить. — Он выходил из университета и увидал целую толпу этих холопьев демагогии.... этих жалких прихвостней прогресса. — О! — я воображаю эти лакейские рожи.... Но мой... Да мой (не удивляйтесь, что я говорю мой Рахманов.... Я хочу быть в сердце моем царем Природы; и все прекрасное в Природе мне драгоценно.... Роза, тигр... Синее небо;... Скобелев;.... Гёте;... Рахманов.... все мое, — что для меня прекрасно....).... Слушайте же, — мой Рахманов шел и надевал свежую перчатку.... Он ведь человек не очень богатый... Но он надевал и застегивал эту перчатку перед ними.... Какой-то «bravi» подошел к нему и начал требовать от него отчета в его поведении. — Рахманов остановился и, продолжая застегивать перчатку, отвечал ему, что он не видит никаких причин быть солидарным с ними всеми, что их мнение для его мнения — не закон. — И, что вообще он находит, что университет создан не для пустых и вредных демонстраций, а для науки... И, наконец, — спросил у них решительно, что они, — намерены ли употребить над ним насилие целой толпой или нет?.. «Если вы хотите сделать эту низость, сказал он; — что ж.... Бейте меня... я один теперь перед вами....» Вот он какой!..

<sup>30</sup> *сначала зачеркнут синим карандашом весь лист (л. 9), потом отделено и отменено зачеркивание от слов Мне было бы очень больно...*

С. 572

<sup>17</sup> в копии: que nous nous trouvons

С. 573

<sup>33</sup> вы знаете ~ Славян... *вписано синим карандашом над зачеркнутым: я просто пессимист теперь...*

*приводим зачеркнутый вариант в основном тексте, поскольку он необходим для связи со следующей фразой*

<sup>35</sup> было: этих славян

С. 574

<sup>5</sup> Славяне ~ рады *вставка синим карандашом*

## ПОДРУГИ БИОГРАФИЯ СОНИ

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 2—7.

С. 654

<sup>3</sup> *после два года зачеркнуто: и к этому месту относится зачеркнутая вставка, оставшаяся в автографе РГАЛИ (л. 26 об.):*

*И в эти два года она переродилась — Она стала умнее, добрее; стала понимать, что такое поэзия; стала патриоткой даже, вопреки отцу... Отец, конечно, видел это и молчал... Он потвор(ствовал) их близости...*

<sup>5</sup> *после прожил зачеркнута вставка еще зиму вписано над зачеркнутым: год*

<sup>8</sup> *она призналась ~ не скрою... вписано над строкой*

<sup>10</sup> *в Петербург вставка*

<sup>14</sup> *никогда не вписано карандашом над зачеркнутым: так мало*

<sup>14</sup> *ведь и вставка*

<sup>15</sup> *после влюбивый зачеркнуто: с у*

<sup>16</sup> *перед самолюбием карандашом зачеркнуто: с огромным*

*далее до слов Слушай, я решаюсь написано карандашом*

- 20 незем(ные) вставка  
 после минуты зачеркнуто: и  
 21 в жизни написано над зачеркнутым: три два года тому  
 назад...  
 21 перед на ее зачеркнуто: то(гда)  
 23 тогда вставка; далее зачеркнуто: в Крым  
 24 было: от тебя; над зачеркнутым тебя зачеркнуто: вас

### С. 655

- 13 Я понимал ~ но ты вписано над строкой; в строке  
 перед была зачеркнуто: Ты  
 19 перед Отец зачеркнуто: Пока  
 25 или ~ да беда» вписано между строк  
 30 после роль над зачеркнутым: Катерины поставлены  
 отточия  
 31 после с такой правдой, зачеркнуто: что вся зала греме-  
 ла от рукоплес(каний) и криков  
 32 после восторг; зачеркнуто: особе(нно)  
 32 сам(ые) вставка  
 35 после ужасно, зачеркнуто: так  
 36 было: что зритель(ей) бросило в  
 у мн(огих) вставка

### С. 656

- 1 страшн(ого), животн(ого) вставка  
 4 и написано поверх многоочия  
 7 после причиной — начато и зачеркнуто: тво(их)  
 8 жите(йских) вставка  
 8 после я зачеркнуто: не  
 9 33 года исправлено карандашом; было: 38 лет  
 11 далее в новой строке зачеркнуто: Но она  
 отсюда до с. 658, строка 11 написано каранда-  
 шом  
 13 после в Крым зачеркнуто: в имение жены  
 15 далее в новой строке зачеркнуто:  
 Он должен был прежде — видеть жену, догады-  
 (вавшуюся)  
 22 Алекс(андр) вписано над зачеркнутым: он  
 29 после не могла... зачеркнуто: И вдруг  
 30 довер(ительно?) вставка

- 31 после эт(ого) вставка  
 31 его вписано над зачеркнутым: свою  
 31 ей ~ доме вписано над строкой; в строке зачеркнуто:  
 Но Какое вы имеете право судить так строго других  
 женщин  
 вписано между строк и зачеркнуто: Но м(не?)  
 далее вписано: И в люд(ях) есть разница  
 35 после еще зачеркнуто: Я

### С. 657

- 3 после Alexandre зачеркнуто: Tu as tort de ne pas en fait  
 ta maîtresse...  
 4 мне в глаза вставка я вписано под зачеркнутым нрзб  
 5 И вы вписано над зачеркнутым: Вы  
 5 перед Если зачеркнуто: Она Я  
 14 так дол(го) и пламен(но) вставка  
 19 прям(ой) и вписано над зачеркнутым: и  
 20 Его написано после того же зачеркнутого  
 22 к ней вставка  
 25 перед почему-то зачеркнуто: и эт(и)  
 26 перед ей зачеркнуто: она  
 27 и первых вставка  
 28 все вставка  
 28 свою вставка  
 29 перед точно зачеркнуто: как  
 30 перед теперь зачеркнуто: когда

### С. 658

- 1 после поклоняться... зачеркнуто: И раз он  
 6 точно вставка  
 9 перед Она зачеркнуто: Но  
 9 мал(ой) вставка  
 9 после Клуба зачеркнуто: с  
 12 далее в новой строке зачеркнуто:  
 Соперница  
 13 среди исправлено на Среди; перед этим зачеркнуто:  
 Была у нее соперница оче(нь) у нее,  
 15 перед замужняя зачеркнуто: Тоже молодая, после жен-  
 щина зачеркнуто: , за которой  
 17 всегда отпускал написано после того же зачеркнутого



- 18 той самой<sup>84</sup> большой и богатой *вписано над строкой*  
 21 сам *вписано над зачеркнутым*: свою  
 21 после «Занозу». — *зачеркнуто*: Сергей Николаевич  
 пр  
 21 это(т) *вставка*  
 22 он *вписано над зачеркнутым*: который  
 22 *перед* всякому *начато* и *зачеркнуто*: *встр(ечному)*  
 24 *перед* я стою *зачеркнуто*: поэтому я  
 26 одному *вставка*  
 27 после но *зачеркнуто*: делать-то но  
 30 и держал себя осторожно, несмотря на то *вписано над*  
*зачеркнутым*: хотя с той разницею  
 31 после что *зачеркнуто*: он  
 32 открытым *написано после зачеркнутого начала того*  
*же слова*  
 33 после малодушным, *начато* и *зачеркнуто*: *ог(раничен-*  
*ным)*  
 37 своих *вставка*

### С. 659

- 1 ненавидел *вставка*  
 3 полу-шутя, полу-серьезно *вписано над строкой*  
 6 таких людей, как Пеньковский и *вписано над зачеркну-*  
*тым*: Пеньковского и слышу что он  
 7 их *вписано над зачеркнутым*: его  
 10 взамен *вставка*  
 12 все *вставка*  
 14 *перед* Пеньковскому *зачеркнуто*: ему  
 17 думая *вписано карандашом над зачеркнутым*: думая,  
 рассказывая  
 17 как(ой)-нибудь *вставка*  
 25 судьба *вписано над зачеркнутым*: случай; было: Сам  
 случай навел  
 25 после соперничество *зачеркнуто*: по ролям его  
 26 Инженерша *написано после того же зачеркнутого*;  
*далее зачеркнуто*: играла  
 28 после Любовь *зачеркнуто*: в комедии  
 29 после Хлопали *зачеркнуто*: из вежливости

---

<sup>84</sup> *далее зачеркнуто*: одной

- 30 бесплатн(ым) вставка  
33 его вставка  
34 неопытной еще вставка

## ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1 Ед. хр. 23.

### С. 661

- 3 после Старец зачеркнуто: хочет  
3 в мантию вставка  
5 после воспоминания зачеркнуто: мои  
6 сильнее вписано над зачеркнутым больше  
8 сердцу написано после того же зачеркнутого после  
сердцу, зачеркнуто: Все Не Я  
11 в начале строки было начато: Мн(е)  
12 почти вставка  
13 после знаю, зачеркнуто: что  
14 уже давно вписано над строкой  
17 старческой вставка  
19 еще вставка  
20 перед песнь исправлено, было: это, далее зачеркнуто:  
мо(я)  
24 а иногда и за полночь вписано над строкой  
24 после рояли. — зачеркнуто: Каждый вечер сначала<sup>85</sup> я  
слушал ее каждый вечер<sup>86</sup> с удовольствием — по(том)  
25 после Сначала зачеркнуто: я слуш(ал)  
26 после тяготить; — зачеркнуто: я не мог за(снуть)

### С. 662

- 2 и такие вписано над строкой  
5 перед ту зачеркнуто: эт(у)  
5 после подушку зачеркнуто: лежа; над строкой вписа-  
но: лежа на которой я прежде слушал музыку — ,  
7 после не было. — зачеркнуто: Иногда я  
8 раз написано после того же зачеркнутого  
11 после все начато и зачеркнуто: б

---

<sup>85</sup> вставка

<sup>86</sup> вставка

- 16 цветы написано после зачеркнутого начала того же слова после вынесли, начато и зачеркнуто: то⟨нкий⟩
- 17 далее в новой строке зачеркнуто: Прошлые мои увлечения я не люблю
- 18 теперь вставка
- 19 этих вписано над зачеркнутым: моих
- 19 после я зачеркнуто: ненавижу;
- 19 теперь вставка
- 20 уже до непостижимости написано после зачеркнутого начала того же словосочетания
- 22 после даже начато и зачеркнуто: Хр⟨истианским⟩; далее зачеркнуто: и стыдом Христианским. —
- 24 после богобоязненный начато и зачеркнуто: нер
- 27 или вставка
- 29 и то вписано над строкой
- 32 после хорошо зачеркнуто: с %
- 35 перед скончалась зачеркнуто: и
- 36 после как зачеркнуто: ангел... И с⟨тарец⟩
- 36 после младенец была точка с запятой; далее карандашом зачеркнуты следующая строка и относящаяся к ней вставка на полях: И старец — говорит, что Господь показал этим<sup>87</sup> особое к ней благоволение; — что она, конечно, теперь в селении праведных, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная... (На полях, от слов: конечно, теперь)
- 36 после убийственно зачеркнуто: было мне долго после; под строкой вписано: уныла ~ с тех

### С. 663

- 2 после были зачеркнуто: в
- 2 так вставка
- 4 она исправлено на Она, перед зачеркнуто: У
- 6 после было начато и зачеркнуто: п⟨аче⟩
- 8 А исправлено из Я
- 8 еще вставка
- 8 после и зачеркнуто: должен видно, еще д⟨олго⟩
- 9 и долготерпит написано карандашом над зачеркнутым: и терпит мои немощи...

---

<sup>87</sup> вставка

- 10 особой вставка; в строке далее зачеркнуто: молиться  
11 личной вставка карандашом  
12 после двух карандашом зачеркнуто: трех  
13 моей вписано карандашом над зачеркнутым: нашей  
14 после Господи карандашом зачеркнута вставка: мне  
14 после для карандашом зачеркнуто: несчастного ис-  
<с>традавшегося  
15 после тела карандашом зачеркнуто: моего  
16 перед совести карандашом зачеркнуто: своей  
17 далее в новой строке зачеркнуто: Слезы текут у меня  
когда я обо всем вспомин(аю) и писать нет сил.....

Обо всем я говорил нашему доброму старцу и он  
такой

# КОММЕНТАРИИ



## ОТ РЕДАКЦИИ

Пятым томом нашего издания завершается публикация художественного наследия К. Н. Леонтьева. Впервые собранное с возможной ныне полнотой, включая неоконченные произведения, отрывки, варианты, оно позволяет увидеть весь ход и результаты литературной деятельности писателя.

Известные нам ранние его опыты относятся к началу 1850-х годов; с этих пор до отъезда в Крым летом 1854 года были написаны несколько стихотворений, комедия «Женитьба по любви», маленькая повесть «Немцы» («Благодарность»), очерк «Ночь на пчельнике», начаты поэма («писанная плохими гекзаметрами»), два романа — «Булавинский Завод» и «Подлипки», повесть «Лето на хуторе» (некоторые тексты до нас не дошли; см. Т. 1. С. 682—685). В следующие десять лет были завершены и напечатаны романы «Подлипки», «В своем краю», написаны повести «Сутки в ауле Биюк-Дортэ», «Второй брак», «Исповедь мужа», пьеса «Трудные дни», две критические статьи. В совокупности эти годы, с 1850-го по 1864-й можно назвать периодом традиции, когда Леонтьев работает в русле прочно сложившегося и самого влиятельного литературного направления, заданного Гоголем и Белинским и развиваемого Соллогубом, Григоровичем, Тургеневым, Писемским, Гончаровым, Дружининым, Львом Толстым. Леонтьев принимает основные установки направления: новую гуманизацию картины жизни (нередко тенденциозно демократическую), социально-этическую проблемность, изобразительный и речевой натурализм. Хотя нужно заметить, что некоторые моральные коллизии и акцентированные автором черты главных героев (в «Подлипках», «В своем краю» и особенно в «Исповеди мужа») свидетельствовали о намечающемся идейном и стилевом расхождении с реалистической школой 1840—1850-х годов.

Вступление в 1863 году на дипломатическую службу, пребывание на Крите, в Константинополе, Адрианополе, Тульче, Янине вывели Леонтьева на совершенно иное поле деятельности. Его захватывает свежий материал «греческо-турецкой» жизни, еще богатой собственным национально-историческим содержанием, материал этнографически яркий и нарядный до театральности, к тому же тесно связанный с интригой местной и российско-европейской политики (в чем сам Леонтьев принимал непосредственное участие). Его занимают разнообразные отношения с консульским обществом, с духовенством, с простонародьем. В таких обстоятельствах наступает восточный период в его творчестве, начавшийся около середины 1860-х годов и продолжавшийся затем довольно долго после возвращения его в Россию. Важнейшее, что открыл для себя Леонтьев в балканской Турции, — не экзотика быта и нравов, любопытная для цивилизованного наблюдателя, а культурная ценность добуржуазного фазиса истории, еще длившегося в том углу Европы. В очерковой и беллетристической прозе этого периода, печатавшейся с 1867 года и собранной в 1876 году в трехтомнике «Из жизни христиан в Турции», Леонтьев сделал попытку разработать не истощенную европеизмом народно-эпическую почву и именно на ней выращивать современный биографический эпос, давая его или прямо в изложении персонажа из эпической среды («Хризо», «Хамид и Маноли», «Паликар Костаки», рассказ Яни в «Сфакиоте», и, конечно, монументальное произведение в этом роде «Одиссей Полихрониадес»), или по крайней мере в стилизующем такое изложение авторском повествовании («Пембе», «Ядес»). Однако избранная здесь художественная форма, хотя и приближалась к излюбленному леонтьевскому идеалу, существенно ограничивала автора в изображении сложно чувствующей, сложно мыслящей личности и того большого мира, в котором такая личность развивается и действует. Неизбежную бедность «восточных повестей» в этом плане Леонтьев отчасти восполнял в ту же пору публицистическим развертыванием своих взглядов, вкладывая в это дело знания, воображение, темперамент, не нашедшие применения в «восточной» прозе.

Идти и далее этим путем Леонтьев не хотел, несмотря на успех повестей и статей этого периода, на приобретенную наконец некоторую известность. Потребность художественно широко и цельно выразить свое миропонимание всегда была очень сильна у него; желание связать эпiku и лирику побуждало использовать иные формы повествования — и, разумеется, Леонтьев продолжает ду-



мать о романе на русском материале, чему не мешали даже самые захватывающие «восточные» темы.

«Подлипки» и «В своем краю» он не считал удачными вещами: во-первых, он находил в них следы того «мелочного реализма», который так претил ему в тогдашней прозе; во-вторых, слишком недостаточными казались ему «домашние» персонажи его «усадебных» романов. Во второй половине 1860-х годов ему уже представлялась совсем другая фигура: личность с крупными умственными и нравственными чертами, национальная по характеру и словесная по сознанию, наделенная страстями, волей и вкусом. Такая личность, по убеждению Леонтьева, должна бы стать прежде всего фактом русской истории, играть действительную роль в государственном и духовном устройении России — и вместе с тем выступать в литературе в качестве ведущего героя.

В воображении Леонтьева постепенно складывался ряд подобных героев, связанных между собой в эпической ретроспективе нескольких десятилетий. Во всяком случае на этом основывался самый значительный его замысел — цикл романов «Река времен», работа над которым уже шла, по-видимому, в 1864—1865 годах. Из того, что было осуществлено автором, до нас дошло немного (рукописи были сожжены в августе 1871 года на даче под Салониками). Судя по сохранившимся фрагментам и по косвенным данным, Леонтьев предполагал рассказать о семействе Львовых — матери и трех ее сыновьях, — начавши повествование с эпохи 1812 года и кончая шестидесятыми годами, а также намеревался ввести жизнеописания необходимых для общей картины персонажей: гусарского полковника, русского консула и других. В 1870-е — 1880-е годы задумываются, частично пишутся (но не завершаются) романы, не запланированные в цикле «Река времен», хотя явно ему родственные: «Две избранницы» (первоначальное название «Генерал Матвеев»), «Святогорские отшельники», «Пессимист» (варианты названия — «Пророк в отчизне», «Против течения»), «Подруги» («Пути Господни»). Создававшийся в начале 1880-х годов роман «Египетский голубь» по материалу, действующим лицам, авторской манере можно считать связующе-переходным текстом между «восточной» прозой и последними незавершенными романами.

Эта позднейшая часть художественного творчества обнаруживает нарастающее противодействие писателя тем тенденциям в литературе, которые были порождены разрушением прежних социальных и культурных иерархий, понижением эстетических требований к жизни и к искусству — с чем Леонтьев никогда не мог

смириться. Противодействие шло и по идеологической, и по тематической, и по стилевой линиям, достигая наибольшего напряжения в главном романном герое и делая его важнейшим аргументом в полемике с современностью. С тех же позиций — только более жестко — Леонтьев выступает в публицистике и критике. Такое умонастроение и такая направленность творчества дают основания назвать периодом реакции заключительный период всей его литературной деятельности.

---

Пятый том полного собрания сочинений Леонтьева составили повести, рассказы и романы конца 1860-х — 1890-х годов. Все вошедшие в этот том произведения, за исключением «восточного рассказа» «Ядес», в той или иной степени являются незавершенными, поэтому редакторы сочли возможным представить их в одном разделе, выделив в особый раздел планы, наброски и сохранившиеся главы утраченных произведений.

Открывает том повесть «От осени до осени» — единственное сохранившееся, а точнее, восстановленное произведение уничтоженного автором цикла «Река времен». Последние главы остались конспективными, а иногда представляют собой лишь отдельные записи, обозначающие предполагаемое содержание главы. Далее следуют романы «Две избранницы» (третья часть его утрачена) и «Египетский голубь». Последнее произведение в журнальной публикации буквально обрывалось на полуслове, сохранившиеся в рукописи главы являются продолжением опубликованной части романа или попыткой создания второй части. Они печатаются также в основном разделе тома; номера глав, отсутствовавшие в черновике, даны в прямых скобках. Вслед за ними публикуются незавершенные главы.

«Египетский голубь» и рассказ «Ядес» завершают восточную тему в беллетристике Леонтьева. В конце 1870-х и особенно в 1889—1890 гг. он вновь занят созданием повестей и романов «из русской жизни». Роман «Против течения» («Пессимист»), по-видимому, постигла участь «Реки времен»; единственная сохранившаяся глава печатается в разделе «Другие редакции. Наброски. Планы».

Незавершенная повесть «Подруги» представлена в двух редакциях. Первая печатается по белой авторизованной копии (черновой автограф воспроизведен в разделе других редакций целиком, чтобы показать всю авторскую правку на разных этапах работы

над текстом). За ней следует черновик другой редакции (главы III—V). В этой архивной единице четвертая глава представлена в двух вариантах, первый из которых является фабульным продолжением перебеленных глав, что позволило присоединить его к тексту, принятому за основной. Кроме того, была допущена еще одна конъектура: сохранившийся отдельно небольшой фрагмент «о заведении деда» помещен в соответствующее место согласно авторскому указанию на необходимую вставку. Подробнее см. с. 895—897.

Последнее произведение, вошедшее в том — незаконченный рассказ «Последний луч»; возможно, это фрагмент автобиографического романа, который Леонтьев намеревался писать в 1890-х годах.

В произведениях, публикуемых по автографу, во избежание перегруженности текста редакторскими знаками, окончания слов, «не прописанные» автором, печатаются без угловых скобок. Исключения составляют случаи авторского сокращения слов с использованием точки («напр<имер>»), в частности, сокращенные написания имен («Мар<ья> Павл<овна>»). В разделе «Варианты и разночтения» угловые скобки сохраняются в любом случае. В романе «Египетский голубь» унифицированы написания некоторых имен и названий (Канкелларио, Чобан-оглу, Остеррейхер, Михаль-Кэпрю).

## ОТ ОСЕНИ ДО ОСЕНИ

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 3. Копия М. В. Леонтьевой: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 996.<sup>1</sup>

Датируется: 1865 г., сентябрь 1867 г.

Печатается впервые по автографу.<sup>2</sup>

«От осени до осени» — единственный сохранившийся роман из цикла «Река времен». «...Хоть эта вещь далеко не обработанная, — но все же оконченная; — писала М. В. Леонтьева о. И. Фуделю 6 января 1912 г., отправляя ему только что выполненную копию романа, — притом, дядя почему-то ее очень любил, ибо 2 раза жег и 2 раза вновь писал» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 21).

29 сентября 1867 г. Леонтьев писал К. А. Губастову из Тульчи: «В полторы недели начал и почти уже кончил особый роман „От осени до осени“ (5 часть „Реки времен“, между „Глинским“ и „В Дороге“). На днях отправляю его к племяннице, чтобы она его переписала к моему приезду в Петербург. Он был уже готов 2 года тому назад, но тогда я его сжег» (*Сборник*. С. 194).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> На л. 1 помета М. В. Леонтьевой: «Снята копия в 1912 г. Отдана о. И. Фуделю». Далее на отдельном листе есть помета С. Н. Дурылина: «Единственный роман, сохранившийся из серии „Река времен“. — Не издан. — Копия рукою Марьи Владимировны Леонтьевой. — Получено от нее в 1925 г.».

<sup>2</sup> В подготовке текста принимала участие Р. Г. Пашко.

<sup>3</sup> О времени второго сжигания рукописи сведений нет. Если это произошло до 1871 г., то, следовательно сохранившийся автограф чудом уцелел, не попавшись на глаза автору, уничтожившему все рукописи «Реки времен». Если это не так, то, значит, текст романа был восстановлен уже после Салоник, что менее вероятно.

Название романного цикла — «Река времен» — восходит к достаточно давней и распространенной в начале XIX века культурной традиции. Изначально «Рекой времен» называлась историческая карта, наглядно изображающая всю картину развития человечества и отдельных народов и государств — с наиболее замечательными событиями и лицами различных эпох. Варианты такой картины возникали уже в Средние века, но наиболее полный свод был создан немецким историком Фридрихом Страссом (1766—1845) в начале XIX века. Он назывался «Река времен, или Эмблематическое изображение Всемирной истории от сотворения мира по конец XVIII столетия» и принес автору славу, которая продержалась недолго, хотя «Река времен» была очень популярна в Германии и переиздавалась в других странах.

В России она была впервые переведена в 1805 г. Александром Варенцовым, который существенно переработал и дополнил ее содержание, особенно в части российской истории. Первое русское издание, посвященное Императору Александру I, предназначалось для обучения наследников и воспитанников привилегированных учебных заведений. Впоследствии «Река времен» получила более широкое распространение в образовательных учреждениях, где, возможно, и познакомился с ней Леонтьев.

С данной картой связано и последнее, предсмертное, стихотворение Г. Р. Державина, начинавшееся строкой: «Река времен в своем стремлении...» (1816). В статье, сопровождавшей публикацию стихотворения в журнале «Сын Отечества» (1816. Ч. 31. № XXX. С. 175), говорилось: «За три дни до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту: „Река времен“, начал он стихотворение „На тленность“ и успел написать первый куплет...». Этот источник, можно предполагать, также был известен Леонтьеву и поддержал выбор названия для романного цикла, хотя вновь высказанная здесь Державиным идея неотвратимого и бесследного исчезновения всего сущего «в пропасти забвенья» не повлияла на эпический замысел Леонтьева.

Замысел романов, основанный на истории семьи писателя, возник еще во время работы над «Подлипками» («...Я думаю о „Реке времен“ уже 10 лет тому назад...» — писал Леонтьев Губастову в сентябре 1867 г.; *Сборник*. С. 194). Желая пользоваться подлинными семейными летописями, в 1857 г. Леонтьев обратился к своей бабушке со стороны матери, А. Е. Карабановой (рожд. Станкевич) с просьбой прислать дневники. 20 марта она отвечала:

«Любезнейший Мой  
Константин Николаевич

На письмо Ваше я долго Вам не отвечала, ибо уже так слаба, что не встаю с постели; по желанию Вашему хотела бы послать мои журналы, но с 12 по 17 год у меня уже их отняли мои знакомые писатели, а с 17 только по 28 год еще существует и тех мой милой друг не имею способа послать, ибо живу Христовым именем. Богатый мой внук Федор Коробанов отложился от меня и даже по требованию правительства не дает мне положенного от отца содержания; вот мой милый мои обстоятельства и я уже ожидаю часы смерти сердечно Вас обнимаю любящая бабка

А. Коробанова

20 марта 1857 года»

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 152. Л. 1—1 об.).

По просьбе сына в Кудинове писала воспоминания Ф. П. Леонтьева (1794—1871). В 1867 г. большая часть записок пропала в дороге (подробнее см. Т. 6). Сохранились записки о 1811—1813 гг.

Возможно, с первым романом утраченного цикла связан публикуемый в разделе «Другие редакции. Наброски. Планы» список, левый столбец которого составляют «фамилии вымышленные», а правый — «настоящие». Тот же ряд имен мы встретим в воспоминаниях Ф. П. Леонтьевой, опубликованных ее сыном в «Русском Вестнике». Она, судя по сохранившимся автографам, писала фамилии сокращенно, и Леонтьев мог составить список во время подготовки воспоминаний к публикации. Но тем же самым материалом он пользовался и работая над автобиографическими романами.

План цикла изложен в письме Губастову от 29 сентября 1867 г.:

«1-я часть (1812—1830 г.) будет зваться „Заря и Полдень“. Героиня мать Андрея и Дмитрия Львовых.

2-я часть (1848—1853 г.) „Записки Херувима“. Герой (Херувим) Андрей Львов юношею.

3-я часть (1853—1857) „Мужская Женщина“. Герой совершенно особое лицо. Некоторые из лиц 1-й и 2-й части будут являться здесь на втором плане, в том числе Андрей Львов военным доктором.

Часть 4-я „В Дороге“. — Герой Консул русский (1859—1862).

Часть 5-я „От осени до осени”, герой третий брат Львовых Николай.

Часть 6-я „Глинский”. (1861—1865 г.)» (Сборник. С. 194—195).

«„В Дороге” за исключением двух, трех вставок, кончен весь и секретарь мой его уже переписывает. „Глинский” отдыхал около месяца в ящике; после отправки „От осени до осени” я возьмусь за него; в нем написано почти все, но многим я не доволен и хочу переменить. Сам роман будет называться не „Глинский”, а „Два Полковника” (гусарский Вейслинген и артиллерийский, публицист Дмитрий Львов).<sup>4</sup> <...> план и подробности его совсем уже созрели» (Там же. С. 194).

Сохранилось письмо болгарина Найдена Герова, русского вице-консула в Филиппополе (Леонтьев писал о нем в «Моих воспоминаниях о Фракии»), относящееся еще к периоду службы писателя в Адрианополе (4 апреля 1866 г.). Можно предположить, что произведение, о котором идет в нем речь, это первая редакция романа «В дороге»:

«Многоуважаемый  
Константин Николаевич,

Возвращаю Вам при сем Ваш роман, который Вы имели доброту послать ко мне на прочтение и который я прочитал с большим удовольствием. В надежде, что мне придется приехать в Адрианополь, я замедлил возвратить его Вам, с тем, чтобы лично пересказать впечатление, которое произвело на меня чтение его. <...> ограничусь теперь тою мыслию Вашего сочинения, которая больше всего заинтересовала меня. Мысль обратить внимание русских на Болгарию мне очень понравилась, но в Вашем романе, кажется мне, недостаточно развита. Вы прекрасно сделаете, если будете продолжать развивать ее. Сначала, может быть, она встретит мало сочувствия, но, по пословице, капля по капле и камень пробивает» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 20—20 об.).

---

<sup>4</sup> 12 декабря 1867 г. Губастов отвечал: «Вы мне позволите сказать Вам мое мнение насчет заглавия некоторых частей „Реки времен”? Мне кажется, что названия II-й и III-й части придуманы не совсем удачно, главное — они бьют ужасно на эффект. Я бы тоже не переименовал „Глинский” на „Два полковника”!» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 38 об.).

О романе «Глинский» Леонтьев писал Губастову 23 апреля 1868 г.: «Он давно уже почти кончен — две, три поправки и если оторвать его от „Реки времен“ — можно сейчас в печать, но корни его так далеки и я боюсь его печатать, пока все не будет кончено. Однако быть может обстоятельства вынудят» (*Сборник*. С. 199).

Летом 1868 г. Леонтьев отправил в Петербург рукопись «Глинского», о чем сообщал тому же корреспонденту 26 июня (Там же. С. 202). «Спасибо вам за присланный роман, — писала 30 июня М. В. Леонтьева — Первую часть не нужно переписывать — она очень хорошо написана, а остальное постараюсь, сколько могу перепишу» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 105 об.). Вероятно, в это же время возникает замысел еще одного романа — «Последнее звено».

В октябре 1868 г. Леонтьев приехал в отпуск в Петербург. Одним из важнейших планов было — «пристроить» новые большие произведения. «Куда и за сколько отдали Ваши романы?» — спрашивал Губастов 24 ноября 1868 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 50). И вскоре получил письмо, написанное 15 ноября, в котором Леонтьев говорил о своем трудном материальном положении: «если не устроюсь выгодно с редакцией нового журнала „Заря“ — так просто беги с этого света» (*Сборник*. С. 205).<sup>5</sup>

18 ноября 1868 г. датирована записка редактора «Зари», Н. Н. Страхова: «Я виноват перед Вами, Константин Николаевич. Должно быть я обещал быть у Вас, но забыл и не был. Простите, сделайте милость. Назначьте мне время, и я явлюсь к Вам.

Душевно преданный Вам

Н. Страхов»

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 233. Л. 2).

В 1883 г. в воспоминаниях «Янина» М. В. Леонтьева рассказывала: «Во время своего трехмесячного отпуска в зиму 68—69 годов он читал в Петербурге гг. Анненкову и Страхову отрывки и отрывки очень большие из ряда нескольких больших романов разного названия — соединенных под общим названием *Река времен*, которые должны были бы составить род эпоса из русской жизни от времени Александра Благословенного до начала царствования Александра II-го. — Здесь, в Янине, он, к сожалению, оставил

---

<sup>5</sup> Журнал начал выходить с января 1869 г.



совсем эти романы; он хотел доказать этим рядом романов, что русская жизнь гораздо богаче, чем можно было видеть из ее литературы до той поры; но совершенная отделка их им была оставлена в то время» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 21—22). В позднейшем варианте воспоминаний М. В. Леонтьева также упоминала о чтении романов в Петербурге: «В эту зиму (68—69 г.) он читал *Реку времен* (хотя и не все романы, составлявшие ее, были окончены; много было недоделанного) Страхову и Анненкову; вещь эта была вполне оценена Страховым; об отзыве Анненкова — ничего не могу сказать — не помню его» (Там же. Л. 32).

Речь шла прежде всего о романах «В дороге» и «Глинский». 26 декабря 1868 г. Леонтьев писал Страхову:

«Мне было очень жаль, что в Понедельник — я не мог читать у Кашпирева.<sup>6</sup> — Ответьте мне по городской почте, когда можно продолжать? <...>

Впрочем, — чтение чтением, но я должен объясниться с Вами откровенно.

Роман этот я согласен немедленно поместить в „Зоре“ при двух только условиях: по *сту* рублей за лист и объявление при 1 (или 2-й) книжке, *вроде* того, которое я прилагаю при этом письме. <...>

При условии какого-нибудь подобного объявления, я отдам только этот Роман в Зорю но и могу дать письменное обязательство в течение двух лет помещать в ней все что напишу, кроме тех писаний, к <ото>рых редакция *сама не захочет*. — Из двух других романов „Реки времен“ (почти готовых): *Глинский* и *Последнее звено* (этот я пришлю Вам на днях для прочтения) я отдам один в Русский Вестник, а другой в *Зорю* непременно в течение 69 года.

В течение *двух* лет, если Вы напечатаете такое объявление я обязуюсь не требовать в случае даже *непривычного* для меня успеха за статьи не больше 50, а за романы не более 100 рублей.

Если же Вы на какую-нибудь меру *вроде* этого объявления не согласны, так согласитесь, что мне естественнее будет съездить прежде в Москву к Каткову <...> и только в случае разлада с ним, отдать „В дороге“ Вас <илию> Владиміровичу. <...>

---

<sup>6</sup> Василий Владимірович Кашпирев (1835—1875), издатель, публицист; редактор-издатель журнала «Заря». Речь идет о чтении романа «В дороге».

Я уверен, что мы сойдемся. — Стоит Вам быть со мной только тем, чего требует от Вас ваше собственническое: — прямым и справедливым.

Стоит сделать для меня (и с большим основанием) то, что сделал Современник для шероховатого Помяловского.

О публике не беспокойтесь: я видел на Юге и вижу здесь людей разных слоев и слышу со всех сторон похвалы не только Ай-буруну и Хризо но и забытому „В своем Краю”. — Многие читатели ждут лишь *официального разрешения* хвалить меня; это как дважды два — четыре.

А, впрочем, как знаете.

Подумайте — и, верно, вы сами мне после скажете спасибо» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 3—6).

4 или 5 января 1869 г. Леонтьев писал П. В. Анненкову: «Когда бы мне у Вас быть для прочтения моего романа, который я не хотел бы печатать без Ваших замечаний. — Вы знаете как я ими дорожу» (РО ИРЛИ. Ф. 7. № 62. Л. 1). Около того же времени он обращался к Страхову с новой просьбой:

«Знаете, что я придумал еще, многоуважаемый Николай Николаевич? — Мне все недостает денег; — Выхлопочите-ка мне к Пятнице от Кашпирева рублей 400.<...> Так как Каткову я не обязался политическим романом, то и могу обещать „Зоре” один из двух или „В дороге” или „Последнее Звено”?

Только, чтобы в Пятницу он бы мне дал по секрету; — скажу Вам по совести страх как нужны! — Ужасно был бы я рад, если бы мог достать!» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 7—8).

В письме от 13 января 1869 г. Страхов сообщает по секрету об условиях, поставленных издателем «Зари» В. В. Кашпиревым (75 руб. за лист и ничего вперед), и, в частности, о том, что может возникнуть «необходимость некоторых сокращений» в тексте, делать которые, с разрешения автора, стал бы Анненков (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 233. Л. 3).<sup>7</sup>

16 января сам Анненков писал:

«Так как Вы не прислали, многоуважаемый мой поэт-романист, 2-ой части своего произведения, то я полагаю, что проекти-

---

<sup>7</sup> Леонтьева могло особенно обидеть упоминание в этом письме о том, «что уже другим обещали платить по 100 р.», и призыв «поусердствуйте для журнала, не притесняйте его» (Там же).

рованный нами вечер на завтра, пятницу, 17-го января, должен быть отложен до будущей недели, когда я буду совершенно к вашим услугам. На основании этого соображения, я уже и распорядился завтрашним вечером, взяв ложу в театр. Если я дурно сделал — побраните, но во всяком случае, уведомьте — когда можно и можно ли вообще ожидать присылки 2-ой части вашего произведения, заинтересовавшего меня в высокой степени.

Всегда ваш

П. Анненков,

16-го января

*Четверг»*

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1—1 об.).

Леонтьев ответил: «Все к лучшему; — очень рад, что Вы взяли ложу; потому, что сегодня я собирался известить Вас, что чтение отложено;

*Меня насильно отправляют в Янину 1 февраля; все планы мои разрушены; — но на днях я или сам занесу Вам рукопись или пришлю»* (РО ИРЛИ. Ф. 7. № 62. Л. 3).

После прочтения присланной рукописи Анненков ответил кратким письмом:

«Возвращаю Вам, с благодарностью, почтеннейший Константин Николаевич — первые очерки нового романа вашего, которые показались мне не столь разнообразны и колоритны, как прежние, но это, конечно, зависит от отсутствия отделки. Тон, однако ж, романа сохранен, а также и приемы авторские; с этим и новая часть будет не менее оригинальное прежней — стоит только руку приложить, что Вы и должны сделать. Будьте здоровы и если скоро отлучитесь в путь, да будет он скатертью для вас» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 2).

Перед самым отъездом Леонтьев написал Страхову (пока Анненков читал «В дороге», Страхов познакомился с первой частью «Глинского»):

*«Ну что? многоуважаемый Николай Николаевич; вчера неожиданный случай помешал мне быть у нашего хозяина. — Напишите два слова: — я бы не хотел к нему ехать, не узнавши от Вас, как идет дело. — Я еду в Четверг и вечером во Вторник или в Среду приеду с Вами еще проститься и посоветоваться; я все еще не понял, чего Вы от меня критически хотите, — я все боюсь,*

что Вы слишком думаете о читателях. — Я нахожу, что для них не стоит делать ничего. — Пусть учатся.

Ваш К. Леонтьев»

(ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 18—19).

2 февраля Страхов отечал:

«Увы, Константин Николаевич, Кашпирев говорит, что после всех затрат, он уже не может больше ничего давать вперед.

Я дочитал 1-ю часть Глинского и препровождаю Вам ее при сей второй оказии. Скажу Вам все то же.

Искусство есть некоторый обман, умение производить иллюзию. Об этом обмане сказано

Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман

И нам нельзя не думать о читателях; нужно употреблять все старания, чтобы обмануть их как можно незаметнее; для этого в каждой картине, которую Вы им представляете, все должно быть ясно и отчетливо.

Впрочем авось еще удастся поговорить с Вами. В эту минуту я занят по горло: 2-я книжка выходит»

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 4).

М. В. Леонтьева вспоминала: «Хотя и ему не хотелось уезжать так скоро, но он очень был весел и доволен результатами своего пребывания в России относительно литературы. — Ему хотелось скорее приняться за окончание *Реки времен*; в Петербурге же писать было немислимо; все-таки очень суетно было. — Он даже уезжал в Царское Село, чтобы <все-таки> сколько-нибудь обрабатывать романы» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 33).

В Янине весной 1869 г. «романы очень мало подвинулись, ибо много было забот и хлопот по устройству нового дома и всего порядка жизни», да и летом Леонтьев «не дотрогивался до русских романов» (Там же. Л. 33, 24).<sup>8</sup> Нет сведений и о следующих двух годах. С «Зарей» отношения были разорваны из-за отказа

---

<sup>8</sup> 1 (13) ноября 1869 г. Губастов писал из Виддина: «Принимаете ли Вы участие в каком-нибудь журнале? Куда Вы поместили „Глинского“?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 28).

публиковать статью об Ап. Григорьеве и долгих промедлений с напечатанием статьи «Грамотность и народность». Для *РВ* между тем по-прежнему писались восточные повести.

В 1871 г., ненадолго приехав с Афона на дачу под Салониками, Леонтьев сжигает «Реку времен». По свидетельству М. В. Леонтьевой, это произошло совершенно неожиданно для нее. «...Он ничего не высказывал против своих прежних сочинений, т. е. про *Реку времен*; эти несколько романов лежали у него в особом чемоданчике, к<ото>рый был у меня на хранении во время его отъезда на Афон. — По приезде своем он опять его взял в свой кабинет. — Более недели К<онстантин> Н<иколаевич> все искал какой-то очень важный документ; искала и я его; но теперь не помню какой именно. — Вздумал К. Н.—ч взглянуть в этот чемоданчик, поискать между рукописями. — Неожиданно для себя он его находит между ними, и почему-то в это же мгновение К. Н.—ч все рукописи бросил в камин и зажег их. — Позвал меня он, когда рукописи уже горели, а он объявил мне свою радость, что документ нашелся между ними» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 48).<sup>9</sup>

У этого поступка была не только духовная (желание полного «отречения»<sup>10</sup>), но и эстетическая причина. В исповедальном письме Вс. С. Соловьеву от 18 июня 1879 г. Леонтьев писал: «Я вознесся в своем уединении до того, что мнил положить конец — *Гоголевскому влиянию*, которое я признаю во всех, исключая пожалуй

---

<sup>9</sup> Об этом же событии М. В. Леонтьева вспоминала в письме к о. И. Фуделю от 20 октября 1912 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 40). По-видимому, с ее слов описал этот эпизод А. М. Коноплянцев (*Сборник*. С. 77). См. также «Примечания» Леонтьева к статье о нем В. В. Розанова, написанные 11 июня 1891 г.

<sup>10</sup> Ср. в письме к Страхову от 16 июля 1875 г.: «По-настоящему мне бы не следовало более писать для печати, не по бессилию, не по усталости, не по недостатку содержания, а из отречения, из борьбы, и из самобичевания за прежние слишком сладострастные оттенки и цинизм моих повестей и романов из русской жизни...»

Под влиянием подобного чувства — я в 71 году перед отъездом на Афон сжег 5 частей *Реки Времен*, которую Вы знали... и думал, что кроме духовных и пожалуй политических статей (да разве одной большой повести — в которой я бы представил историю моего *обращения*) — уже не буду ничего писать...» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 47).

Толстого, который по крайней мере давно уже борется против гоголевщины — отрицанья, комизма и т. п. в самом содержании своем. <...> Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном самомнении, что я призван — обновить и форму... Напомнить простые и краткие приемы, не грубо рельефные приемы „Капитанской дочки”, „Наташи” Соллогуба; „Валерии” Г-жи Крюднер, „Вертера”, „Гоффмана”... Выбросить все эти разговоры, все эти хихиканья и т. п... Я ненавидел „В своем Краю”, за то, что этот роман похож на русский роман вообще; на Тургенева, напр<имер>. — (А мысль его, конечно, не пустая, и все в нем правда). — Вот каковы были мои мечты, мои цели, мои безгласные и надменные надежды в Турции... Я сжег там отчасти от гордости, отчасти от тоски 8-летний труд мой, который должен был обнять жизнь русского среднего и отчасти высшего дворянства, за полвека, от 10-го—12-го года — до первых 60-х годов. — Эта эпопея задумана была почти так же как романы Бальзака и Эмиля Зола — в связи. — Написано было уже 3 романа сполна, а другие начаты. — Всех должно было быть 6 или 7 и все большие. — И все я хотел непременно разом издать. — Сколько русских лиц там было списано почти с природы, лиц мне известных, близких, оригинальных, сильных, разнообразных, собирал матерьялы, мать моя трудилась писала для меня свои Записки несколько лет... Я все не спешил печатать — я хотел, вообразите — всех и все сразить сразу... Года проходили; — я, между тем храня этот запас в столе моем, хотел попробовать себя на этих „акварелях, на этих фарфоровых чашечках” Хризо, Пембе. — и т. д... Никто не сказал ни слова. — Видите, вся бы моя деятельность, может быть, сложилась бы иначе, если бы в то время лет 10—12 тому назад критика сказала бы мне: „Мы понимаем Вас; мы знаем чего вы хотите! — Вы ненавидите реализм и содержания и формы. — Мы рады, мы благодарны Вам за ваши усилия и попытки, но... вы не справитесь с веком; платите ему дань... Пишите яснее, грубее, подробнее, пишите хоть так грубо и ясно, как вы писали „В своем Краю””. — Пусть бы печатно критика сказала бы мне тогда то, что по возвращении моем в Россию сказал мне Ф. Н. Берг: „Я согласен, что в коляске лучше чем в вагоне, но попробуйте ездить в коляске, когда все другие ездят в вагонах. — Что будет с вами?” <...>

Пусть бы мне хоть один человек, напр<имер> хоть бы Стрехов лет 10 тому назад это сказал бы печатно... Я бы смирился и сел бы давно в тот вагон даже 2-го класса — в котором вы напр<имер> меня теперь возите <...> Но все молчали, как дураки тогда — и никому и в голову не пришло подумать, что это человек затевает, что он думает, о чем мечтает...

Это молчание не смирило меня и только усилило мою гордость, мое сомнение, хотя и погрузило меня постепенно в неисцелимую тоску... <...>

В глубоком одиночестве моем — я в припадке тоски сжег большой мой труд из русской жизни и вернуться к нему уже не могу» (РГИА. Ф. 1120. Ед. хр. 98. Л. 29—32).

Место действия романа «От осени до осени» — село Куреево (это же название Леонтьев перенесет и в повесть «Подруги», а впервые оно использовалось в романе «В своем краю»), за которым угадывается мешцовское имение Кудиново.<sup>11</sup> Но и романский топоним не выдуман писателем: в Чемодановской волости Мещовского уезда было село Куреево (другое название Живодерово), соседнее с Кудиновым; в 39 верстах от Мещовска и 10 от Чемоданова. Его владельцы — Н. и М. Языковы.

Марья Павловна Львова — несомненный портрет Феодосии Петровны Леонтьевой, прототипом ее матери Анны Матвеевны послужила А. Е. Карабанова. В некоторых случаях Леонтьев сохранил реальные имена: Катерина Борисовна (тетушка Е. Б. Леонтьева), няня Матрена. Николай — по-видимому, Борис Николаевич Леонтьев (с некоторыми деталями биографии Александра Николаевича); Дмитрий Львов — Владимир Николаевич; его дочь Катя — Мария Владимировна,<sup>12</sup> а «сухо-богомольная жена» — Мария Николаевна Леонтьева (рожд. Шредер); Алексей (Александр) Львов — Александр Николаевич (в романе сначала названы два брата, и тот, что похож на Александра Леонтьева, так и назван Александром; в последних главах его зовут Алексей, имя же Александр исчезает из повествования); Лидия — Александра Николаевна; наконец Андрей Львов — это сам Константин Николаевич, во время Крымской войны — «молодой военный лекарь» (с. 36), а его «добрая, но ветреная и необразованная жена» имеет прообразом Лизу Политову (Е. П. Леонтьеву).

С. Н. Дурылин, очевидно, беседовавший с М. В. Леонтьевой об этом романе, сделал на ее копии некоторые пометы рядом с фрагментами автобиографического плана (страницы по нашему

---

<sup>11</sup> Кудиново (сельцо в 55 верстах от Калуги и 33-х от Мещовска) куплено Б. И. Леонтьевым в 1809 г. у П. А. Зыбина (ГАКО. Л. 1; сообщено И. Берговской). См. также: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 69.

<sup>12</sup> Катей Леонтьев первоначально назвал и героиню повести «Подруги»; ср. с. 588—593.

изданию: 7—9, 16, 23, 24, 34—37, 40—41, 43, 44, 48, 52, 54, 55).

С. 7. *Мыслети* (мыслете), *слово, рцы* — буквы церковнославянского алфавита.

С. 9. ...*в роли «Дуняши» Островского («Не в свои сани не садись»)*... — «Не в свои сани не садись», пьеса А. Н. Островского (1853). К этому месту относилась карандашная помета С. Н. Дурылина: «Дун<яша> Мария Вл<адиміровна>?» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 996. Л. 3).

С. 9. ...*против крепостных...* — ср. с письмом Л. к матери от 12 января 1856 г.: «Знаете ли, дорогой друг, за некоторыми исключениями, например, по поводу крепостных, — предмет, по которому мы, вероятно, никогда не придем к согласию, — (а исключения, думаю, зависят от дурных времен, в которые проходила ваша молодость) я становлюсь очень похож на вас...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 19; перевод с фр. Е. Л. Яценко).

С. 10. ...*наш милый «Херувим»...* — автобиографическая деталь; см. Т. 1. С. 381 и СС, IX, 39.

С. 12. ...*«память сердца»...* — цитата из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой Гений» (1816).

С. 13. ...*снофидой бродишь...* — Снофида — апатичный, заspanный человек; ср. в ром. «Подлипки»: Т. 1. С. 388.

С. 13. *Schöne und liebe Kinder! Junge Gesellen — die den Herr<n> Gott...* — Прекрасные и любимые дети! Юные подмастерья — которые Господа Бога... (нем.)

С. 13. *Dominus Vobiscum* — Господь с вами (лат.); католический богослужебный возглас.

С. 13. ...*глаголы их...* — возможно, обыгрывается цитата Пс. 18: 5 (стих, ставший прокимном Апостолам: «и в концы вселенных глаголы их»).

С. 14. *Эмансипация* — зд.: освобождение крестьян.

С. 14. *C'est affreux! cela sera connu en France en 93...* — Это ужасно! это будет как во Франции в 93 году... (фр.) Подразумеваются события 1793 г.

С. 14. ...*die schöne, junge Geselle<n>, die den Herr<n> Gott...* — прекрасные, юные подмастерья, которые Господа Бога... (нем.).

С. 14. ...*помяни его, Господи, егда приидеши во Царствие Твое!* — парафраз молитвы разбойника на кресте (Лк. 23: 42); входит, например, в одну из молитв «изобразительных» — в завершение «Блаженств».



С. 15. *Mais il est canaille ~ je te le dis...* — Но он сумасшедший негодяй, этот человек, дорогая, это убийца, я тебе говорю... (фр.)

С. 19. *Mais il est très bien, ma chère, il a une figure comme tout le monde!* — Но он очень хорош, дорогая, у него вид как у всех! (фр.)

С. 20. ...крест солдатский... — см. Т. 4. С. 976.

С. 23. ...образ Андрея Первозванного... — Св. Андрей Первозванный, один из двенадцати апостолов, брат апостола Петра.

С. 24. ...только она и Андрей знали, кем и когда было посажено семечко... — намек на «незаконное» происхождение героя, см. с. 43 и прим. на с. 791. Ср. также в повести «Подруги» (с. 495—496, 498).

С. 25. «Сражение при Фер-Шампенуазе»... — Одно из последних сражений между частями наполеоновской армии и войсками союзников произошло 25 марта 1814 г. под городком Фер-Шампенуаз (департамент Марна); благодаря героическому сопротивлению французов, понесших огромные потери, этот эпизод истории войн эпохи Революции и Империи получил особую известность и был отражен в ряде графических и живописных произведений.

С. 25. ...«интригами» до самого Царя доходила... — эпизоды встреч Ф. П. Леонтьевой с Царской фамилией рассказаны в ее воспоминаниях (см. «Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне»).

С. 27. ...Ундина Жуковского прелесть... — стихотворная повесть В. А. Жуковского «Ундина» (1831—1836), написанная по мотивам одноименной повести Ф. де ла Мот Фуке.

С. 29. Лещотка — расщепленная на конце палка (у Даля — лещедка).

С. 29. ...в Ростов повидаться с родными... — ср.: в Ростове жила семья Ф. И. Леонтьева (двоюродного деда Л.).

С. 30. ...настал Покров... — праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется 1(14) октября.

С. 31. «Зачем, зачем обворожила... Коль я душе твоей не мил!» — цитата из популярного романа на стихи Н. Анордиста (Ник. Радостина) «Тройка» («Гремит звонок и тройка мчится...», 1840). См. Т. 1. С. 125, 652.

С. 32. ...от дяди в соседней губернии... — брат Ф. П. Леонтьевой, В. П. Карабанов (?—1842) владел имением Спасское-Телепнево в Вяземском уезде Смоленской губернии.

С. 32. ...ужасный муж старухи ~ другая сестра. — П. М. Карабанов (см. прим. на с. 916) и его дочь Марфа Петровна (1795—?).

С. 32. ...строгий парк еловый... — ср. с описанием парка в Спасском-Телепневе в очерке «Рассказ смоленского дьякона о шестисти 1812 года»: «...Сад — задумчив и даже мрачен. Этот сад или, вернее, парк, с прямыми туда и сюда аллеями, был весь еловый, что делало эту усадьбу особенно оригинальной. Я нигде этого кроме Спасского не видал. Сосновый парк не был бы так суров и темен. В еловой чаще всегда стоит какая-то особая таинственная мгла <...> зелень ели так темна, монументальна и строга!» (СС, IX, 48—49).

С. 34. *Mlle Annette* — Мадемуазель Аннетт

С. 35. ...неподалеку от Салгира... — река в Крыму.

С. 35. Гуммель — Иоганн Непомук Гуммель (1778—1837), австрийский композитор, пианист и дирижер.

С. 35. *home* — дом (англ.)

С. 35. *Si non e vero e ben trovato!* — Если и не правда, то хорошо придумано! (ит.)

С. 36. *Мир уж был заключен...* — т. е. действие происходило в 1856 г.; Парижский мирный договор был подписан 18 (30) марта 1856 г.

С. 36. ...вы за полезное, а я за прекрасное. — Автобиографическая деталь; излюбленные мысли Л. 1860-х годов, некогда отданные герою романа «В своем краю» Милькееву (Т. 2. С. 152—153). Ср. в письме к Н. Н. Страхову от 20 мая 1863 г. в качестве первого пункта леонтьевской «программы» назван тезис: «прекрасное важнее полезного» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 2).

С. 39. *partie de plaisir* — увеселительные прогулки (фр.)

С. 39. *Entends-tu, ma chère...* — Понимаешь, моя дорогая... (фр.)

С. 40. ...«О происхождении вида» Дарвина. — Речь идет о книге английского естествоиспытателя Чарльза Роберта Дарвина (1809—1882) «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859).

С. 41. *Ждановская жидкость* — дезинфицирующее средство, производившееся в Петербурге на химико-аптекарской фабрике братьев Ждановых.

С. 41. ...переводит Маколяя... — Томас Бабингтон Маколей (1800—1859), английский историк, публицист, политический деятель.

С. 41. *Ремонтёр* — офицер, занимающийся закупкой лошадей.

С. 41. *Addio* — Прощай (ит.)

С. 43. *C'est ignoble!* — Это низко! (фр.)

С. 43. ...причины материнского пристрастия к Андрею. — К этому месту относится помета М. В. Леонтьевой на ее копии 1912 г.: «NB. Конечно о В<a>с<или> Дм<итриевиче>» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 996. Л. 38). Речь идет о В. Д. Дурново († 1837), настоящем отце Л. (подробнее в комментариях к Т. 6).

С. 43. *Je crois que nous aimons toujours les tragedies de Racine!* — Я вижу, мы как всегда любим трагедии Расина! (фр.). Возможно, в этой реплике героиня намекает на сходство данной семейной сцены — прежде всего поведения Марьи Павловны — с трагедией французского драматурга Жана Расина (1639—1699) «Британик» (1669), где главной участницей острой семейной коллизии предстает некогда полновластная Агриппина, вдова Императора Клавдия, затем оказавшаяся во власти своего сына Нерона, ставшего Римским Императором. Кроме того, внимание Л. к образу Агриппины могло быть обусловлено еще и тем обстоятельством, что Агриппина была родной племянницей своего второго мужа Клавдия.

С. 44. ...у Моисея в пустыне вовсе не столб ходил огненный... — Имеется в виду огненный столп, освещавший ночью путь при исходе из Египта (Исх. 13: 21—22).

С. 45. ...достал ~ «Дворянское Гнездо». — По-видимому, эта повесть И. С. Тургенева (1859) сыграла большую роль в жизни М. В. Леонтьевой (ср. с воспоминанием о чтении «Дворянского гнезда» Соней в романе «Подруги», с. 556).

С. 50. *Мальпост* — почтовая карета.

С. 50. ...с «Журналом Землевладельца»... — «Журнал Землевладельцев» издавался в Москве в 1858—1860 годах (ред. Алексей Дмитриевич Желтухин).

С. 51. *demoiselle de compagnie* — компаньонка (фр.); девушка или одинокая женщина, живущая за плату при хозяйке в дворянском доме.

С. 52. ...как станет кто посредником... — т. е. мировым посредником; см. Т. 2. С. 441.

С. 52. ...издать 12 томов критики не хуже Белинского... — Статьи В. Г. Белинского входили в круг чтения Л. 1840—1850-х гг.; ср. в «Подлипках»: Т. 1. С. 432.

С. 52. ...говорить речи не хуже Жюль-Фавра — Габриэль Клод Жюль Фавр (1809—1880), французский политический деятель, адвокат.

С. 52. ...не хуже Пирогова... — Николай Иванович Пирогов (1810—1881), хирург, общественный деятель, педагог.

С. 53. *Растут, растут...* — стихотворение А. А. Фета «Растут, растут причудливые тени...» (1853).

С. 53. *Скоттов, Шекспиров и Дантов...* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

С. 55. ...с ней долго занимался сам Андрей Дмитр<иевич>... — Л. в начале 1860-х годов, живя у своего брата Владимира, давал уроки его дочери Маше. В «Хронологию моей жизни» о начале 1861 г. говорится: «Жизнь у брата <...> Начинаю воспитывать Машу по желанию брата» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 3).

С. 56. *Академик* — т. е. член Императорской Академии художеств.

С. 56. ...я желала бы быть царицей ~ Чтобы положить корону эту у ваших ног ~ я надеюсь иметь имя и свободу; оттого я терплю. — Мотивы писем М. В. Леонтьевой второй половины 1860-х годов (объяснение ее стремления стать актрисой); см. преамбулу к черновому фрагменту повести «Подруги» «Биография Сони» (с. 923—925).

С. 57. *Успенев день* — 15 (28) августа, день Успения Пресвятой Богородицы, один из двенадцатых праздников Православной Церкви. Перед этим праздником совершается двухнедельный Успенский пост (с 1 (14) августа).

С. 57. ...имела привычку говеть этим осенним постом. — Во имя Успения Пресвятой Богородицы была освящена церковь в с. Велине Юхновского уезда Смоленской губернии (построена в 1773 г.), где говела Ф. П. Леонтьева и около которой она была погребена в 1871 г. Ср. с. 496.

## ДВЕ ИЗБРАННИЦЫ

Автограф неизвестен.<sup>1</sup> Вторая часть: копия М. В. Леонтьевой, В. М. Эбермана и неустановленного лица (возможно, Е. В. Самбикиной) с незначительной правкой автора (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 998). Третья часть утрачена.

Датируется 1870—1884 гг. До 1882 г. носил название «Генерал Матвеев».

<sup>1</sup> Рукопись первой части «Двух избранниц» названа под первым номером в «Описи бумагам и сочинениям ... Леонтьева», составленной его душеприказчиком в 1893 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 6).

Впервые (первая часть): Россия. 1885. № 1. С. 4—6. № 3. С. 1—3. № 4. С. 1—3. № 5. С. 3—5. № 6. С. 3—6. № 7. С. 1—2. № 8. С. 1—3. № 9. С. 2—4. № 10. С. 1—3.

Не переиздавалось.

Печатается по тексту «России», вторая часть публикуется впервые по копии РГАЛИ.

Роман создавался в Янине в 1869 — начале 1870 г. для журнала «Заря». 26 октября 1869 г. Леонтьев писал его редактору Н. Н. Страхову: «К Святкам будет непременно готов один роман из русской жизни. — Герой славянофил. — Героиня нигилистка.

Есть и те дерзости, которых Вы .....» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 17 об.). Однако работа шла не так быстро. «Я думаю, племянница моя уже сказала Вам, что у меня почти готов для „Зари“ роман „Генерал Матвев“. Я нарочно так назвал, чтобы дураки нашего времени, подумав: „вот какие-нибудь на-смешки!“, открыли бы с радостью; а уж начнут — так кончат и увидят, что смеюсь я не над Генералом, а над ними. — Я не хочу посылать его до июля, потому что не хочу его раньше осени видеть в печати» (из письма от 12 марта 1870 г.; Там же. Л. 26).

В письме от 19 ноября 1870 г. Леонтьев сообщает: «Матвеев не может быть отправлен раньше конца декабря; вы же сами велите обрабатывать. — Надеюсь, что вы будете им довольны. — Только пусть Кашпирев<sup>2</sup> приготовит 1000 рублей. — Меньше я не возьму. — И деньги сразу — *conditio sine qua non*» (Там же. Л. 37—37 об.).

Однако рукопись была послана в Петербург уже в новом, 1871 году. «Через две почты, — пишет Леонтьев 10 января, — поедет к Вам мой *Генерал Матвеев*. — Уж им-то Вы будете довольны; хотя я знаю, что *немая радость Ваша* не много принесет мне добра...» (Там же. Л. 33 об.). «Вот Вам 2 первых части „*Генерала Матвеева*“. — Третья тоже готова, но я ее удержал для небольших поправок еще на одну неделю. — Вы спросите: отчего же не прислать все вместе? Оттого, что и без того опоздал от желанья сделать лучше и солиднее; быть может, обе 1-е части успеете напечатать в февральской книжке. — (Странно было бы, если бы не постарались. —) Впрочем, если хотите, отложите и напечатайте все вместе в мартовской книжке» (письмо от 22 января; Там же. Л. 42—42 об.).

---

<sup>2</sup> См. с. 781.

Оба письма были переданы адресату М. В. Леонтьевой. 12 февраля 1871 г. она писала Страхову:

«Многоуважаемый Николай Николаевич.

Вот Вам два письма от дяди; — одно после другого пришли через несколько дней и, последнее, много касается, вероятно, романа его, который я послала уж прямо в редакцию „Зари“, так как дядя просит самого скорого его напечатания.

Я буду ждать, или от Софьи Сергеевны,<sup>3</sup> или от Вас, уведомления, когда именно он будет напечатан.

Вас многоуважающая

Марья Леонтьева»

(ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 18. Л. 6).

Во втором письме Леонтьев предупредил Страхова о том, что, если его условия не будут выполнены, он отдаст роман в новый московский журнал — «Беседу». Редакторам «Беседы» Леонтьева рекомендовала двоюродная сестра одного из них, С. М. Майкова (см. о ней подробнее на с. 814). В начале 1871 г. она писала А. А. Майкову: «...Позволь посоветовать пригласить в сотрудники К. Н. Леонтьева <...> Он живет постоянно на востоке в качестве Консула и мог бы снабжать вас весьма интересными статьями и рассказами взятыми из этой жизни; — он чрезвычайно умный и даровитый человек, но разумеется пишет мало, а печатает еще меньше, благодаря природной, а теперь, быть может, и восточную жизнью привитою лени» (ОР РНБ. Ф. 452. Оп. 1. Ед. хр. 287. Л. 1—1 об.).

В недатированном письме<sup>4</sup> редактору «Беседы» С. А. Юрьеву, отправленном через С. М. Майкову, Леонтьев предлагает для публикации свой роман. «У брата моего в Петербурге теперь находится мой новый роман „Генерал Матвеев“, который, каков бы он ни был по исполнению, уж конечно, по духу должен Вам, я думаю, понравиться. — Я отдаю его Вам без всяких предварительных денежных условий. <...> Я бы не желал, чтобы Генерал Матвеев был напечатан летом; по многим причинам и между прочим потому, что ваши корректоры еще не привыкли к моему почерку, и я боюсь — Бог знает каких опечаток; — я имею в виду приехать в Россию нынешнее лето, и тогда мы можем

---

<sup>3</sup> С. С. Кашпирева (рожд. кн. Урусова), жена В. В. Кашпирева.

<sup>4</sup> По содержанию датируется весной 1871 г.

переговорить подробнее; — а пока — не знаю, как Вы предпочтете, чтобы рукопись была у Вас или у брата в Петербурге; — потрудитесь написать об этом Софье Михаловне» (РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 1. Ед. хр. 319. Л. 1—3 об.).

«Ответ» автор получает очень не скоро и не от самой редакции, но в письмах М. В. Леонтьевой. 30 ноября 1871 г. она предупреждает: «Насчет помещения „Матвеева“ в Беседе, что-то плохи надежды. Но ты не горюй: если они возвратят, то попробуем еще одну *новую* редакцию» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1031. Л. 6).<sup>5</sup> В письме от 8 января 1872 г. племянница рассказывает, со слов Майковой, как обстояло дело дальше: «На днях приезжал из Москвы московский Майков и был, разумеется, у Сони. — Он говорил с ней о твоём романе и сказал, что вместе с Юрьевым находит, что неудобно его поместить, потому что он *сален и не довольно связно написан!!!* <...> Выражение „сален“ до того меня удивило, что, кажется, скажи он мне это самой, — я просто или дурака бы ему сказала, или просто у меня язык бы отнялся.

А роман Писемского<sup>6</sup> не сален!! Пошляки — и больше ничего. Прости за выражение» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 1—1 об.).

В 1872 г. Леонтьев, как это случалось и раньше в безвыходных ситуациях, решает предложить рукопись Каткову. 11 ноября он пишет К. Н. Бестужеву-Рюмину: «Роман мой *Генерал Матвеев* находится у Софьи Михайловны. — Попросите ее не медля, *немедля*, *немедля* выслать его сюда в Константинополь в Посольство Русское <...> Надо его переделать немного для Русского Вестника» (РО ИРЛИ. Архив К. Н. Бестужева-Рюмина. 24 885. Л. 4—3 об.).

Очевидно, обстоятельства сложились иначе. 22 марта 1873 г. Леонтьев обращается к Бестужеву-Рюмину с новой просьбой: «Ради Бога прошу и умоляю Вас, перешлите *немедля и бережно „Генерала Матвеева“* в Редакцию „Русского Вестника“ *прямо на имя Павла Михайловича Леонтьева* <...> у меня *другой рукописи нет* <...> ужасно я боюсь за эту рукопись...» (Там же. Л. 5).

24 марта он пишет П. М. Леонтьеву: «Если у Вас цело то из моих писем, в котором я объясняю Вам содержание романа моего „Генерал Матвеев“, то Вы можете увидеть там, что я просил

---

<sup>5</sup> М. В. Леонтьева имела в виду журнал «Азиатский вестник».

<sup>6</sup> Речь идет о романе А. Ф. Писемского «В водовороте», впервые опубликованном в «Беседе» (1871. № 1—6).

ответа у Редакции на вопрос мой: «есть ли надежда, что роман будет принят?»

Теперь я написал в Петербургский Университет К. Н. Бестужеву, у которого рукопись находится, чтобы он выслал ее на Ваше имя. — Потрудитесь просмотреть ее (если можно — *вы сами*) и отметить карандашом, что именно вам *неприятно*, как в *направлении*, так и в художественном отношении. — И пришлите мне ее сюда без задержки; я исправлю и переменю.

Только прошу Вас, пощадите *воинственность* моего Матвеева: — Нам русским ведь *это* так нужно, вы сами это знаете, и у нас *это так* ослабело!

Военные мне не раз жаловались, что в литературе им вовсе нет поддержки» (РО ИРЛИ. 4778. Л. 3—3 об.).

3 апреля роман был отправлен в Москву.<sup>7</sup> 17 мая П. М. Леонтьев ответил своему однофамильцу:

«О Матвееве скажу Вам, что в теперешнем его виде он мало понятен, и еще менее понятно, почему нужны были две его экцентрические встречи (с домом терпимости и нигилизмом), то есть какую сторону его характера они должны обрисовывать, какие тайники его природы раскрывать читателям. Еще неожиданное окончание, то есть остановка рассказа на таком месте, на коем ничто не оканчивается. Чем более увлекаете Вы читателя за собой искусством рассказа, тем резче возникающий после чтения вопрос: что автор хотел сказать? Словом, впечатление выходит такое, какое бывает от случайной встречи с курьезною историей, и читатель принужден подумать, что автор изображает какой-нибудь капризный случай, встреченный им в действительности, что он имел в виду передать пером не фикцию, имеющую свое начало, единство, цель, а мозаику из причудливой действительности. Стараюсь выразиться ясно и резко, чтобы сообщить Вам в нескольких словах все необходимое, дабы Вы поняли, почему при достоинстве художественного изложения Генерал Матвеев, по нашему мнению, не может произвести на публику такое впечатление, какое соответствовало бы потраченному труду и дарованию. Вам не трудно будет разъяснить Вашу мысль и внести разум в то, что теперь почти совершенно случайно» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 3 об.— 4).

17 сентября П. М. Леонтьева посетил К. А. Губастов; на следующий день он писал другу об этой встрече, о причинах задержки публикаций «Одиссея» и «Матвеева». «За этим перешли мы к

---

<sup>7</sup> «Роман Ваш уже поехал вчера в Москву», — писал Бестужев-Рюмин 4 апреля 1873 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 3).



„Матвееву”. Леонтьев повторил мне то, что уже писал Вам об этом романе <...> по прочтении его в уме читателя рождается вопрос, что же хотел автор всем этим сказать?

Леонтьев начал меня уверять, что единственно из уважения к Вашему таланту они не хотят печатать это произведение. Я ему на это возражал доводами, мне Вами продиктованными, и в заключение сказал, что Вам все-таки желательно было бы, чтобы роман был напечатан. Леонтьев задумался и сказал — „пожалуй из желания быть приятным К. Н. мы это можем сделать, но уже это буд<ет> никак не из желания угодить читателям”. Я убежден, что если Вы им напишете теперь письмо с просьбою напечатать, — то они это сделают» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 68—68 об.).

Письмо в редакцию было написано Леонтьевым значительно позже; 20 декабря он напоминает П. М. Леонтьеву о рукописях, посланных в «Русский вестник»: «Одиссея не могу продолжать до тех пор, пока не узнаю, какая судьба постигла мои другие произведения *Генерала Матвеева* и *Афонские письма*, которые по-моему гораздо лучше *реального Одиссея*» (РО ИРЛИ. 4778. Л. 6 об.).

Очевидно, роман не был отвергнут, и редакция только ожидала исправлений. Любопытной иллюстрацией к этому периоду в судьбе романа может послужить письмо С. П. Хитрово к Леонтьеву от 23 июля 1874 г.: «Мне очень жаль и даже не приятно — что Генерала Матве<ева> вы будете исправлять — еще. Как это Катков не понимает: эти исправленные вещи особенно не по собственному своему убеждению — всегда теряют — и являются гораздо бледнее, хотя может быть и ровнее. Мне бы хотелось — прочесть Г<енера>ла Матвеева — так, как вы мне его рассказывали» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 2). Ср. с ее письмом от 20 января 1875 г.: «Я ужасно сердита на Каткова, зачем он капризничает, я с вами согласна, что не только очень неприятно, но почти что невозможно писать по заказу его и позволять ему делать — везде исправления» (Там же. Л. 6—6 об.).

Почти в это же время Леонтьев говорит о своем романе в записках «Моя литературная судьба»: «..., Генерал Матвеев”, которого я обожаю и которого хотел бы довести до высшей степени совершенства» (ЛН. Т. 22—24. С. 434).

В попытках «устройства» романа принял участие новый знакомый Леонтьева Ф. Н. Берг. В письме от 20 октября 1874 г. он упоминает издателя П. А. Бессонова:

«Мне он пишет удовлетворительно, но не имеет времени. Вам значит торопиться переписывать Матвеева нечего» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 1).

Через восемь лет, в 1882 г. тот же Берг пытается опубликовать роман в «Огоньке»: «Пошлите сейчас же „генерала Матвеева“ в Огонек *Аловерту*<sup>8</sup> — он просит скорее и сам он будет на этих днях в Москве и у Вас, и Вы получите ответ» (письмо от 11 июля; ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 11).

В переговорах с Н. П. Аловертом принимал участие и Н. Я. Соловьев. В письме от 16 мая (без обозначения года) он писал: «Редактор «Огонька» Аловерт с удовольствием готов приобрести вашу повесть; конечно, о плате нельзя было решить, не видя произведения» (Там же. Ед. хр. 231. Л. 17).

Видимо, рукопись была послана не сразу, так как в письме Т. И. Филиппову от 25 июня, сообщая о предложении Берга («берется выгодно устроить его в Петербурге»), Леонтьев говорит о необходимости исправить роман (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 68).

В переговорах с Бергом могла помогать О. А. Новикова. Так, в записке от 5 августа Леонтьев упоминает о ее записке, адресованной Бергу: «Бергу вашу записку („милый Берг“) послал» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3608. № 2. Л. 3). 21 августа Леонтьев рассказывал в письме Новиковой: «Во-1-х о *Матвееве* — ответ прост — ни слуху, ни духу. — На днях спрошу еще раз у Берга. — Уж не болен ли он. — Или ждет, чтобы Алаверт прочел, или торгуется с ним. — Я не хочу быть крайним пессимистом; это тоже ошибка... Бог милостив» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 17 об.)<sup>9</sup> 27 августа сообщаются новые подробности: «1. *Две избранницы* (Ген<ерал> *Матвеев*). — *Алаверт отказался*; прилагаю записку Берга.

*Психическое действие.* — Почти никакого. — Полчаса задумчивости, потом — воспоминание о том, что бывало много худшего, и успокоение.

Распорядился пока оставить у Берга. — Подумаем и еще и еще потеряем» (Там же. Л. 20).

Записка Берга (от 25 августа) также сохранилась:

«Многоуважаемый Константин Николаевич!

Ал<оверт> возвратил мне внезапно роман без всяк<ой> даже записки, что мне показалось странно после нашего разговора. Я

---

<sup>8</sup> Николай Павлович Аловерт (1847 — после 1917), журналист, писатель, издатель; редактор журнала «Огонек» в 1878—1886 гг.

<sup>9</sup> В ответном письме Новикова спрашивает: «Но что значит молчание Берга о *Матвееве*?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 21 об.).

поехал к нему и, встретив его на улице, спросил о причине. Он говорил разные уклончивые вещи, из коих видно, что роман печатать они не желают. Жду Ваших распоряжений. Не знаю что делать.

Ваш от всего сердца  
Ф. Берг»

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 20).

Новикова высказала такие предположения о причинах этого отказа: «Очень меня смутило известие о „2-х Избранницах”. Неужели произошло это от того, что Матвеев чересчур снисходительно смотрит на „институт для небогатых девиц”? Но ведь Достоевский тоже описывает типы, которые редко встретишь в аристократической среде. Совсем непонятно! Зато досада моя на людскую глупость волне понятна!» (письмо от 10 (22) сентября 1882 г.; Там же. Ед. хр. 193. Л. 24).

20 сентября Леонтьев пишет Филиппову: «...У Ф. Н. Берга лежит рукопись большого моего романа *Две избранницы* (листов 15—17—18). Алаверт от нее отказался, а мне очень бы хотелось продать ее сразу; но с тем условием, чтобы мне возвратили ее хоть на месяц для необходимого исправления» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 71).

Не были завершены и переговоры с РВ. В письме Новиковой от 10 октября 1882 г. Леонтьев сообщил: «Катков выписывает „Матвеева” из Петерб<sup>урга</sup>: хочет кажется его печатать с поправками после Нового Года. — Посмотрим! — Неужели этот роман наконец, после 10-летних странствий из Редакции в Редакц<sup>ию</sup>, найдет, наконец, себе сбыт!» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 29 об.).

В письме Каткову от 2 декабря 1882 г. Леонтьев просит назначить ему встречу, чтобы «переговорить» о романе.

«1) Вы сказали, что только слегка просмотрите мою рукопись „Две избранницы” с тем, чтобы назначить мне, что переменить в ней и что прибавить.

2) Вы сказали также, что тотчас же по соглашению охотно дадите мне 400 рубл<sup>ей</sup> задатку для того, чтобы я мог без помех и без потери времени заняться исправлением этого романа; — в духе ваших требований, на которые я заранее безусловно согласен. <...>

3) Еще несколько лет тому назад Вы выражали желание, чтобы *какой-нибудь герой мой поехал бы на Афон* и т. д.

Если бы роман „Две избранницы” был бы напечатан, то можно бы легко сделать его чем-то вроде *вставной биографии Матвеева*, который бы явился главным лицом в более серьезном сочинении „Святогорские отшельники”. — Вам будет ясно без моих объяснений — как это при удаче может выйти интересным. <...>

Еще раз убедительно прошу Вас *довериться мне в деле „Генер<ала> Матвеева”*, как доверились Вы уже не раз без вреда и не лишитесь меня и на этот раз *Вашей нравственной и денежной поддержки*. <...>

Хорошо, если бы вы лично мне сделали указания, что *исправить*» (РО ИРЛИ. 4751. Л. 1—2 об.).

После этого письма встреча состоялась, причем была благоприятной для писателя. 22 декабря в письме к Новиковой он вспоминал о разговоре с редактором: «Катков, видимо, был при последнем свидании нашем расположен всё сделать по-моему и 400 р. задатку дать; он еще недавно говорил с *Ону* обо мне и соглашался с тем, что я могу нечто большее всего прежнего „сотворить”...» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3608. Ед. хр. 2. Л. 9). Однако за этой встречей ничего не последовало, и, когда Новикова вернулась в Москву, Леонтьев, пренебрегая всеми «приличиями» («мне не до достоинства и т. п. глупостей»), писал ей: «А я хочу вас просить нарочно побывать у Каткова, заставить его решить наконец, судьбу моей рукописи (Матвеева) и убедить его дать мне к празднику хоть 200 руб.» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3608. Ед. хр. 2. Л. 9, 8).

Из декабрьского письма к Каткову, ясно, что у Леонтьева появился новый замысел — роман «Святогорские отшельники». О нем писатель рассказал некоторым своим знакомым. (10 февраля в письме Филиппову: «Очень я желал начать довольно большой и в высшей степени православный труд „Святогорские отшельники” (роман), но Катков даже и до разговора с собой не допускает. А другого журнала нет!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 81).

23 января 1883 г. в газете Ф. А. Гилярова «Афиши и объявления» появилась небольшая заметка «Новые сочинения К. Н. Леонтьева», посвященная главным образом брошюре «Наши новые христиане». Автор заметки, допустивший несколько грубых неточностей при характеристике творчества Леонтьева, делился с читателями «интересной новостью» о том, что писатель создает «новый большой роман». «Своему новому произведению автор, кажется, не дал еще и заглавия; но, судя по началу, он будет опять на русской, родной почве; и все то новое (после недавней войны), что захватывает опытная кисть его, поражает верностью и яркостью, мастерством своего изображения, над коим однако постоянно веет умеряю-

щая грустная поэзия... Таково, по крайней мере, было наше впечатление от первых глав. Едва ли были бы мы вправе определить точнее сюжет...» (Афиши и объявления. 1883. № 12. С. 1—2). Корректурные гранки этой статьи сохранились в архиве Леонтьева (он был цензором газеты) с его пометами (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 327).<sup>10</sup> Внизу листа он написал: «Кто автор этой статьи не знаю — Астафьев, Кристи или Орел-Ошмянец; — вернее, что последний, судя по указанию на слова Тургенева».<sup>11</sup> Т. е. Леонтьеву не было заранее известно о появлении этой заметки; судя по названным именам — он читал главы романа у П. Е. Астафьева. Сообщение автора статьи о том, что у нового произведения еще нет названия, интересно для нас как еще одно свидетельство о моменте окончательной смены названия «Генерал Матвеев» на «Две избранницы» (ср. в декабрьском письме Каткову). В то же время — указание на события «после недавней войны» может говорить о том, что Леонтьев читал у Астафьева фрагменты незавершенного романа «Пессимист» (ср. с. 911).

Летом роман о Матвееве, как рассказывал позднее Леонтьев Филиппову, «был по благословению отца Амвросия прочтен начальником Оптинского скита отцом Анатолием<sup>12</sup> и одобрен к печати, не без удивления, почему тот, кого Вы зовете „плутом и бездельником“, отверг его» (письмо от 7 января 1886 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 3).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> В частности, четырьмя знаками вопроса и пометой «В первый раз слышу» Леонтьев сопроводил упоминание о том, что его романы «В своем краю» и «Ай-бурун» возбудили «непритворный восторг И. С. Тургенева, вследствие таких эпических художественных образов Востока». Над заглавием написано: «Будет в Понедельник в маленькой газете: „Афиши и объявления“ Ф. Гилярова».

<sup>11</sup> Яков Онисимович Орел-Ошмянцев (1828—1893), переводчик, журналист, мемуарист.

<sup>12</sup> Преп. Анатолий Оптинский (в миру Алексей Моисеевич Зерцалов [Копьев]; 1824—1894); скитоначальником и братским духовником был с зимы 1874 г.

<sup>13</sup> О том же в письме от 3 июня 1885 г.: «...Роман мой „Две избранницы“, написанный 15 лет тому назад (в 1870 г. еще до поездки на Афон) и в то время отвергнутый и Юрьевым для „Беседы“ и Катковым для „Русского Вестника“, а запрошлого года благословенный, так сказать, для печати, Оптинскими духовниками (специально отцом Анатолием, начальником скита и учеником Макария и Амвросия)» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 104).

18 октября 1883 г. один из «учеников» Леонтьева, И. И. Кристи писал: «В „Ниве” я прочел объявление о повести Вашей,<sup>14</sup> но не знаю старая ли это работа или новая <...> надеюсь, что Ваше здоровье позволит Вам написать задуманное и начать роман или по крайней мере христианскую повесть с офицером, попавшим на Афон, героем» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 157. Л. 11—11 об.).

Тогда же, в октябре, Леонтьев получил от В. Г. Авсеенко, ставшего новым редактором «Санкт-Петербургских ведомостей», приглашение печататься в этом издании. Прежде всего он предложил газете свой роман.

«Есть у меня готовый большой роман; требующий только небольших поправок. — Каткову я его не отдаю, по многим причинам, между прочим даже потому, что в следующих месяцах будут в „Русском Вестнике” печататься Записки моей матери о 12-м годе, об Импер<атрице> Марье Федоровне и т. п. с моими примечаниями; так ведь нельзя же наполнять весь журнал моим именем. — Роман этот — из русской жизни 60-х годов, называется *Две избранницы*. — Читал я его прошлой весной у Граф<ини> Толстой (Софьи) при Владимире Соловьеве, при Ольге Алексеевне Новиковой (та, которая печатает политические книги в Англии, Скобелев и т. д.) и при Хитровой (жене бывшего Посланника в Болгарии), она воспитанница и племянница поэта Алексея Толстого. — Все они, эти *разнородные* лица, очень его одобрили и настаивали, чтобы видеть его скорее в печати. — Я было задумал войти в соглашение с редактором одной здешней газеты,<sup>15</sup> и дело пошло на лад было совсем, но я поехал в Оптину Пустынь и повез роман с собою туда, чтобы дать его прочесть одному очень умному монаху<sup>16</sup> и слышать его мнение, не находит ли он чего-нибудь в нем безнравственного с Православной точки зрения. Вы понимаете, что для меня это очень важно. — Я знал, что он (т. е. этот духовник) сумеет стать и на мирскую точку зрения. — Он нашел,

---

<sup>14</sup> Объявление о рассказе «Разбойник Сотирн».

<sup>15</sup> Возможно, подразумевается редактор «Афиш и объявлений» Ф. А. Гиляров. Леонтьев не исключал возможности сотрудничества в его газете, о чем свидетельствует фрагмент из письма к нему от 6 марта 1884 г.: «Я имею Вам предложить для „Афиш” кой-какой готовый матерьял. — Не пригодится ли?» (РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 5. Ед. хр. 621. Л. 5 об.). 14 апреля в «Афишах и объявлениях» были перепечатаны воспоминания Леонтьева о Ф. И. Иноземцеве.

<sup>16</sup> О. Анатолию (Зерцалову).

что напечатать этот роман скорее *полезно, чем* вредно с Христианской точки зрения, ибо разрушение замыслов моих героев — происходит именно от *неполного принятия Православного учения*.

Множество людей вовсе чуждых нигилизма Христианами все-таки назваться не могут, потому что принимают из Христианства *не все* правила, а только те, которые им нравятся. — Сюжет романа вот какой (он озаглавлен: *Две избранницы*). — Молодой человек (Матвеев) — прекрасно образованный и способный — спасает в юности своей молодую девушку из вертепа разврата; — живет с ней, привязывается и, наконец, женится на ней. — Она оказывается премилой и доброй женщиной, ее любят даже и в семье героя. — Муж тоже ужасно привязан к ней, но считает себя *вправе искать приключений*, и сначала все это сходит ему с рук; но наконец он встречает (будучи уже лет 37—38 и Генералом) девушку-нигилистку, которая в него влюбляется без ума и обращается очень легко к так называемым „охранительным” убеждениям *во всем, что не касается любви*. Ей хочется непременно стать любовницей героя; — и он, после *долгой борьбы*, уступает ей или лучше сказать, собственному влечению.

Конец тот, что все несчастны — и все трое — т. е. Матвеев, жена и любовница — расстаются и разъезжаются в разные стороны с растерзанной душою. — И оставшись один без обеих все-таки любимых женщин, Матвеев обращает взоры свои к Небу и говорит: „Тебе единому согрешил и лукавое пред Тобою совершил!” Таков роман.

Он написан *преднамеренно* совсем не *по-нынешнему*. — О „среде” говорится мало; лиц немного — 4—5 всего; остальные являются на минуту; — одним словом, скорее вроде прежних французских романов (Ж. Санд и т. п.). Несмотря на это все слышавшие чтение говорят, что завлекательно. — Но его необходимо немного исправить, очень мало, и если Вам угодно, чтобы я за это дело взялся скорее *вперемежку* со статьями для „Нивы”, то потрудитесь — выслать мне задатку рублей 300—400. — *Не бойтесь*. — Если Катков, которого Вы должны знать — не задумывался выслать мне подобного рода задатки только по одному изложенному плану романов и повестей, то почему же Вам, человеку более со мной близкому, не сделать того же. <...> мне *теперь* 400 рубл<ей> разом для спокойной работы нужнее, чем высокая плата за роман. <...> Посылать Вам рукопись первой части не исправленной неудобно; — а исправлять без уверенности в соглашении — простите — решительно некогда» (письмо от 24 октября 1883 г.; РГАЛИ. Ф. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 6—8 об.).

5 ноября Авсеенко писал: «...я даже не знаю хорошенько как и отвечать Вам. О романе не смею говорить, потому что начинать его теперь, в конце года, невозможно, и притом, сколько видно из рассказанного Вами содержания, он очень интересен для журнала, в газете же, я боюсь, художественные достоинства его пропадут даром» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 4—5). Это была, конечно, вежливая форма отказа.

Наконец удалось устроить «Двух избранниц» в еженедельник «Россия» (в 1883 г. он был преобразован из журнала «Спутник»). 24 января 1884 г. редактор журнала, майор О. М. Уманец выразил свое согласие письмом, которое приведем ниже почти полностью. Но сначала отметим, что переговоры с Уманцем были начаты еще весной 1883 года, о чем свидетельствуют письма В. М. Эбермана. 15 марта он сообщал Леонтьеву: «Не писал, потому что хотел видиться прежде с Уманцем, которого сегодня только увидал <...> он очень рад быть у Вас и будет во Вторник...» (Там же. Ед. хр. 288. Л. 3).

В конце декабря 1883 — первых числах января 1884 г. Эберман начинает переписывать роман. «Рукопись Вашего романа порядком перепутана, но все-таки кончаю первую часть; — сообщал он 3 января, — что в нем *среды* нет,<sup>17</sup> мне нравится, — он немного напоминает Брет-Гарта, что быть может Вам не понравится...<sup>18</sup> Я впрочем говорю только о манере изложения: несколько отвыривший слог, некая быстрота в изложении, — так по крайней мне мне кажется, — что до „публичного дома“, то Вы его легко обойдете если будет нужно, точно также как легко упразднить несколько резких выражений: попались в одном месте, и их не много» (Там же. Л. 7—7 об.).

Скоро рукопись была уже в редакции журнала.

17 января Эберман «докладывал»: «В „России“ просят еще по крайней мере неделю срока; секретарь сегодня (Среду) будет у вас в Комитете<sup>19</sup> и если Вы тоже там будете, то он подтвердит тоже просьбу подождать неделю. <...> Ожидаю Ваших инструкций — т. е. давать ли срок „России“?» (Там же. Л. 8—8 об.). В тот же день он прислал еще одну записку: «В „России“ еще буду сегодня и может быть не без успеха. Если с деньгами — так из редакции

<sup>17</sup> Ср. с приведенным выше письмом Леонтьева В. Г. Авсеенко.

<sup>18</sup> Это сравнение не могло не понравиться Леонтьеву, упоминавшему Брет-Гарта в предисловии к собранию своих восточных повестей (Т. 3. С. 8).

<sup>19</sup> Московский цензурный комитет, где служил Леонтьев.



прямо к Вам разумеется, если же нет то напишу: требовать ли сейчас же рукопись для Петербурга?» (Там же. Л. 9).

Через неделю редактор «России» написал автору романа:

«Милостивый Государь  
Константин Николаевич!

С большим удовольствием прочел я Ваш роман. По моему мнению он представляет интерес как по оригинальности сюжета, так и по своему построению. Особенно мне понравилась третья часть по характеристике Лины. Лице это оригинально и живо. Но не будет ли упрека в искусственности за то, что действующие лица все подгоняются как бы к одинаковым положениям. В то время как Полковник заводит платоническую любовь к Соне, оставаясь верным жене; жена в таком же положении к юноше, и не будет ли характера недоконченности в том, что дальнейшая судьба лиц этих, как бы оборвалась, в особенности Сони. Впрочем эти воз<з>рения мои, быть может, только излишняя предосторожность и не более, и быть может, Вы найдете дать возможным еще несколько лишних штрихов, в пояснение могущих быть в этом отношении недоразумений.

Затем с своей стороны я просил бы лишь об одном: не найдете ли Вы возможным устранить порицания Добролюбова, Бокля, Чернышевского, т. е. заменить порицания лиц лишь порицанием направления? — Эта просьба моя подсказывается мне двумя мотивами: во-1-х имена Бокля и Добролюбова, по их трудам, все-таки заслуживают того, чтобы быть свободными от личных нареканий. Чернышевский же за грехи свои прощен Правительством и находится уже в положении лежачего; во-2-х мне вообще бы не хотелось возбуждать этим путем какую-либо полемику и давать повод подымать вопросы, о которых бы лучше всего совсем не вспоминать. Молчание в этом отношении, мне кажется, больше в интересах общества да и самого Правительства. — Думаю, что Вы не встретите в этом препятствие, так как это отдельные этюды, легко заменимые.

<...> Что касается до условий, то прошу мне их сообщить и надеюсь, что в этом отношении мы сойдемся. Я по мере сил и возможности всегда готов на самую добросовестную оценку труда. Вы же во внимание к первым шагам, а потому и трудным, молодого еще издания, не откажете, вероятно, в возможной снисходительности в этом отношении с Вашей стороны»

(РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 1—1 об.).

Через три дня, 27 января редактор уведомлял Леонтьева, что его роман приобретен «ценою по сто руб. с <еребром> за каждый печатный лист и в задаток выдано» доверенному лицу — В. М. Эберману — «*пятьсот р. с. согласно условия, заключенного с ним же сего числа; остальные деньги за этот роман будут уплачены по доставлении всей рукописи*» (Там же. Л. 2).

По-видимому, к этому трехдневному промежутку 25—27 января относятся короткие письма Леонтьева к Эберману и к редактору «России», сохранившиеся только в копиях Эбермана (письмо Уманцу было передано им).

«Пожалуйста покончите поскорее с Уманец, — писал Леонтьев Эберману. — Это задерживает меня в Москве, а мне нужно ехать. На переделки согласен, я это и сам замечал. Он очень хороший критик, — не люблю заниматься одним и тем же делом. Постарайтесь скорее кончить и получить денег; — если он откажется <...> выдайте росписку и оставьте это письмо» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 6).

В письме к редактору журнала автор «Двух избранниц» писал, что «согласен на переделку, но на это потребуется месяц». «Я и сам замечал необходимость этой переделки. Я почти во всем с Вами согласен» (Там же).

16 апреля 1884 г. Леонтьев рассказывал о состоявшейся сделке в письме Новиковой: «Продал „Две Избранницы“\* в новый журнал „Россия“; взял 500 рубл <ей> задатку с обязательством к зиме исправить и увеличить роман так, чтобы он был оконченнее и полнее...» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 22. Л. 5). Но заниматься такой работой он не был настроен: «...еще и не глядел на него и боюсь и подумать о таком труде. — Скучно» (Там же).

После продажи романа Леонтьев лишь немного «поправил» первую часть. «Вот редакция „России“ прислала 500 р.; а я *чуть-чуть кой-где* как золотой краской по пестрому рисунку и набросал, поправляя I часть, православные самые незначительные штрихи — *для того, чтобы эти бледные лучи религиозного рассвета могли бы воссиять настоящим солнцем в конце романа*» (из письма Филиппову от 7 января 1886 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 3).

17 ноября 1884 г. Уманец благодарит Леонтьева за присылку романа и просит прощения за промедление с выплатой денег

---

\* «Матвеев»

(РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 3—3 об.).<sup>20</sup> Из этого же письма мы узнаем, что Леонтьев осведомлялся о возможности отдельного издания «Двух избранниц». «На случай желания Вашего издать Ваш роман отдельно, я могу принять с своей стороны все меры к удешевлению — но если Вы не желаете печатать его совсем, или же в Типографии моей редакции, то тогда я могу доставить Вам гранки...» (Там же. Л. 3 об.).

28 декабря Леонтьев сообщает Новиковой: «Роман мой „Две избранницы“ (Матвеев) уже печатается в иллюстрированном журнале „Россия“» (ОР РНБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 22. Л. 6 об.). 7 января 1885 г. Эберман «докладывает» в письме, что пойдет в редакцию: «и все что только можно будет все сделаю» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 15 об.). Речь шла о невыплаченном гонораре. «Деньги из „России“ вероятно получены будут полностью („вероятно“ мне так заявлено словесно Управляющим), — писал Эберман 29 января. — Я оставил кроме того письмо г-же Уманец, которое, думаю, должно подействовать. Олимпиада Микхайлови<sup>21</sup>ча здесь нет, да это и к лучшему. Послезавтра может быть получу деньги и явлюсь» (Там же. Л. 18).

Но, очевидно, это было не так просто. 24 февраля Эберман слал новый отчет: «Уманец еще не приезжал. С Марья Павловны<sup>21</sup> получить трудно; а впрочем употребляю и употребляю все усилия» (Там же. Л. 21).

Вторую часть, по просьбе редактора, автор должен был вновь исправить. Леонтьев не спешил возвращать рукопись, и редактор отправил ему следующее письмо:

«Милостивый Государь  
Константин Николаевич

Вторая часть Вашего романа вот уже несколько недель находится у Вас на исправлении и несколько номеров вышли без Ва-

---

<sup>20</sup> О том, что такое промедление было, свидетельствует открытка Эбермана от 4 ноября: «Оттяжка и прятанье продолжались. Но в Понедельник рассчитываю на несколько сот <...> Действую твердо, но с выдержкой и до разрыва не довел, т. е. рукопись не брал, хотя не раз терпенье готово было иссякнуть, чтоб не сказать лопнуть, избегая выражений, которых Вы не любите» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 16).

<sup>21</sup> М. П. Уманец (1839 ? — 1903) — жена О. М. Уманца, в 1885 г. — издательница «России».

шего романа, что крайне неудобно и в интересах редакции, да и вряд ли полезно для автора, а потому будьте любезны прислать в типографию эту часть, если же она не исправлена, то хотя несколько глав, в противном случае редакция вынуждена будет сделать анонс о причинах невыхода романа.

С чувством глубокого уважения  
имею честь быть

О. Уманец»

(РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1).

«...Я до сих пор <...>, — писал Леонтьев Филиппову 3 июня 1885 г., — не то что новое писать, а и 2-ю и 3-ю часть готового, старого романа, не в силах исправить до сих пор *как нужно* по моим теперешним правилам, в духе более „церковном”» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 105).

Возможно, переписывать набело продолжение романа должен был все тот же Эберман. Ср. с его письмом от 29 января: «Что до переписки Вашей рукописи, то простите; правда что, некогда было еще переписать. Но затеряться она у меня никаким образом не может; она цела, в полной свежести; а так как Вы сами говорите, что переписка не к спеху, то может быть простите мою невольную медленность» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 18 об.).

Шло время,<sup>22</sup> журнал был продан И. И. Пашкову, а жена бывшего редактора затеяла тяжбу с автором романа. Сохранились некоторые материалы, связанные с этой историей: «Вопрос гг. юристам» Леонтьева, письма к нему Уманца и Эбермана.

11 декабря 1888 г. Эберман заявляет о готовности помочь Леонтьеву. «За Ваше дело берусь с удовольствием хоть и без особых надежд. Попробовать можно и должно, а там что Бог даст» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 23).

23 января 1889 г. Эберман подробно описывал свой «поход на Пашкова». «Мой поход на Пашкова не заслуживает блестящих реляций, — хотя я настиг наконец увертливый противника внутри самого укрепленного лагеря и захватил его, посредством некоторой

---

<sup>22</sup> 21 июля 1887 г. А. А. Александров осведомлялся в письме: «Что „Две избранницы”?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 14). — «Да ничего. — Ни строки», — отвечал Леонтьев (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 8 об.).

военной хитрости (перемены флага, т. е. фамилии) ранним утром, в постеле... Однако не врасплох! — Он не растерялся, и если не слишком ловко, то, все-таки неожиданно и быстро переменял оборонительную тактику и прибег к системе полнейшего запирательства и отпирательства. На Ваше письмо и все мои речи у него теперь одно: „Знать не знаю, ведать не ведаю; ничего, никаких рукописей от М-ше Уманец не получал и никогда не обещал возвращать их никому, так как и возвращать-то нечего!“ На возражение же, что он лично мне обещал возвратить часть Вашего романа, оставшуюся в Редакции „России“, — он отвечал, что забыл, и мне-то, по его мнению, вероятно это только так кажется, за давностию времени наших с ним переговоров.

Как видите, судиться у Мирового при такой манере защиты со стороны Пашкова, и отсутствии документальных доказательств у нас, обличающих запирательство ответчика, — совершенно невозможно: явный проигрыш, по крайней мере при моих юридических сведениях. Нужен адвокат *заправский*, да и не из плохоньких, да еще и честный, которого бы не перекупил Пашков, — словом редкость, какую можно приобрести только случайно или по знакомству. Не найдется ли у вас через кого-нибудь, в Москве, (напр<имер> чрез Ф. Гилярова или Астафьева, или Председателя Цензурного Комитета Федорова, который и сам юрист<sup>23</sup>) — не найдется ли чего подобного? И если — да, то я готов побывать у *такового*, передать от Вас, если вздумаете, доверенность с письмом, излагающим вкратце дело, разъяснить при том все, что могу, как бывший участник в нем, и быть, когда нужно свидетелем против Пашкова в опровержение его ложных показаний, если свидетели тут принимаются. Сам же вести дело, уже как будущий свидетель (в запасе), по этому одному, — не могу.

Пашков от письменного ответа положительно отказался, а принудить его я конечно не мог. Да и ответ его хотя бы и на письме, ведь, не дал бы нам никакого оружия против него» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 25—26 об.).

По-видимому, тогда-то и был написан Леонтьевым документ под названием «Вопрос гг. юристам», который приведем здесь целиком:

---

<sup>23</sup> Ф. А. Гиляров; П. Е. Астафьев; Вениамин Яковлевич Федоров († 1897) — председатель Московского цензурного комитета с 1885 г.

## ВОПРОС Г.г. ЮРИСТАМ

Литератор А продал свой роман редактору Б на следующих условиях: — 100 р.<ублей> с<еребром> за лист и 1200<sup>24</sup> даровых оттисков без обложки. — Число листов было сочтено приблизительно по рукописи; — по счету редакции сначала<sup>25</sup> полагалось около 19—18 листов; — потом редакционные счетчики объявили, что ошиблись листа на 3—4 и что в романе, вероятно, не будет более 15 листов.

Автор А получил вперед (хотя и не сразу) 1500 р. с<ребром>. — Первая часть была напечатана и в ней вышло около 5 листов. — Так что долг литератора А редактору Б уменьшился на 500 р. с. Остается 1000. — Вторая часть романа была возвращена редакцией автору А для необходимых поправок; третья (и последняя) часть остается в руках редактору Б. — Болезнь и др.<угие> обстоятельства в течении 2-х лет мешают Г-ну А заняться исправлением 2-й части. — В то же время редактор Б продает<sup>26</sup> новому редактору N свой орган и вместе с тем передает ему право на печатание романа Г-на А, не входя с автором ни в какие предварительные соглашения — и даже не известив его о предстоящей передаче. — Автор А не отдает 2-ю часть редактору N; редактор N не возвращает Г-ну А третьей части.

Г. А находит, что продажа чужого<sup>27</sup> неоконченного труда неправомерна и что он относительно новой редакции N никаких обязательств не имеет и хочет формально требовать третью часть своего романа обратно, утверждая вместе с тем, что и деньгами считаться он с Редакцией N не обязан, а разве<sup>28</sup> лично с прежним редактором Б. — Да и то вопрос: — ибо он не обязался возвратить деньгами 1000 р. с., если роман будет не окончен и т. п. — Он обязался только поставить за известную сумму свою работу редактору Б (а не другому) в известный орган. — Пусть Г. Б. издает свой журнал Д — тогда Г. А обязан рано или поздно отдать ему весь свой роман в погашение долга. — Прав ли литератор А и может ли он надеяться на успех, если он за-

---

<sup>24</sup> зачеркнуто: 600

<sup>25</sup> далее начато и зачеркнуто: ок<оло>

<sup>26</sup> далее начато и зачеркнуто: ре<дактору>

<sup>27</sup> далее зачеркнуто: труда

<sup>28</sup> далее зачеркнуто: с

конным путем будет требовать возвращения своей 3-ей части?

(РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1—2 об.)

Письма Эбермана 1890—1891 гг., касающиеся тяжбы с Уманцем, были отложены Леонтьевым и в настоящее время находятся не в ГЛМ, как остальные его корреспонденции, а в РГАЛИ (за исключением письма от 29 сентября 1891 г.). К сожалению, сохранилось только одно ответное письмо Леонтьева, связанное с этой историей. 26 апреля 1890 г. Эберман сообщил о том, что г-жа Уманец подала иск на 900 р. и советовал подать встречный иск (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1—1 об.).<sup>29</sup> 1 мая Леонтьев ответил на это предложение отказом, однако просил Эбермана не оставлять хлопот по делу «России» и предлагал ряд вопросов, необходимых для лучшего понимания его: «1) В какой суд именно подает Г-жа Уманец? 2) Почему она считает себя снова вправе требовать с авторов денег? Разве она опять купила „Россию” у Пашкова? и 3) Я знаю, что „Россия” одно время стала было опять выходить; но когда именно она возобновилась, и выходит ли теперь — не знаю. — А если прекратилась съезнова, то когда?» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 3).

21 мая Эберман рассказывал в письме о новых подробностях дела о долге и пропавшей рукописи (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 3—4 об.). В его письме от 8 октября сделаны копии «задаточной» и расписок в получении по доверенности Леонтьева денег от редакции «России»,<sup>30</sup> писем Леонтьева к Эберману и Уманцу, а также прошения в Московский окружной суд поверенного Уманца, Льва Соломоновича Биска (Там же. Л. 6—6 об.). 20 июня 1890 г. Леонтьев дал новую расписку, свидетельствующую о том, что в 1884 г. им были получены 1500 р. и что третья часть романа потеряна новым владельцем журнала:

«Я нижеподписавшийся получил своевременно (в 1884-м году) через посредство Владимира Михайловича Эбермана от Редактора иллюстрированной газеты „Россия” — Г. Уманца — полторы тысячи рублей сер<ебром> за мой роман „Две избранницы”, из

---

<sup>29</sup> 11 апреля 1890 датировано письмо помощника присяжного поверенного Л. С. Биска к Эберману с просьбой назначить время для переговоров «по поводу г. Уманца с г. Леонтьевым» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 1). На этом же листе сделан черновой набросок ответа Эбермана.

<sup>30</sup> 5 и 7 января 1885 г. по 100 рублей, 15 февраля — 200 р.

коего первая часть была напечатана в означенном издании; вторая осталась у меня для исправлений; а *третья часть продана Г-жею Уманец, без моего ведома и согласия — Г-ну Пашкову* вместе с правом на издание газеты и последним (по его собственному сознанию) потеряна. — Свидетель тому Г. Эberman.

Конст. Леонтьев

1890 г; 20 июня.

Оптина Пустынь»

(РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 3).

Расписка была вложена в конверт, на котором лиловыми чернилами написано:

«Расписка

Для Эbermanа, в получении от него 1500 р. сер. в 1884 году, уплаченных Ред<акцией> газ<еты> Россия за мой роман

„Две избранницы”»

Ниже черными чернилами:

«В случае моей смерти немедленно отправить ему, потому что он вместо меня давал расписки Уманцу и могут до истечения 10-летн<ей> давности — требовать от него.

Владимир Михайлович Эberman.

Служит в Москве; Лефортово — Импер<аторское> Технологическое Училище»

(Там же. Л. 4).

Здесь же (л. 5) хранится вырезка из *МВ* о подаче О. М. Уманцем иска в мировой суд.

8 ноября 1890 г. Эberman писал Леонтьеву о попытке пригласить в качестве адвоката Ф. Н. Плевако (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 7). В письме от 5 декабря вновь сообщал, что рукопись третьей части романа пропала (Там же. Л. 8—8 об.). Наконец, 15 января 1891 г. Эberman передал предложение Уманца заплатить ему 100 р. с. (Там же. Л. 9—10). 29 сентября он сообщал о попытке застать дома душеприказчика Леонтьева Н. М. Боборыкина и о встрече с Уманцем. «Последнего выследил в ресторане некоем. Пили. Бросится... Опять пили. Целовались... Сначала говорил, есть исполнительный лист, потом сознался, что и листа никакого. <...> А Уманцу, за то, что он ничего не сделал (неприятного), да и не способен сделать, — следовало бы хоть сотню, — это верно. Подумайте-ка, ведь сама справед-



ливость требует — „quelque chose”.<sup>31</sup> Видите, мы вопием с ним как Савояры<sup>32</sup>» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 27).<sup>33</sup>

О необходимости завершить «Двух избранниц» и исполнить связанный с ним замысел романа «Святогорские отшельники» Леонтьев думал не раз. В конце 1885 г. он писал Филиппову о замысле, благословленном «и Афонскими и Оптиными духовниками»: «Обращение современного человека в Православие посредством влияния монахов (изображение жизни на Афоне, жизнь в Царьграде, суеты в Петербурге и т. д.). И Климент мой, и „Новые христиане”<sup>34</sup> — все это очень слабо перед тем, что я могу тут сказать. Я хотел бы назвать это „Святогорские отшельники”. <...> Вот если бы хоть Катков был бы благородным меценатом <...> выдавал бы мне в течение года, только года по 200 р. в месяц и сказал бы: пишете покойно ваш Афонский роман (он сам же давно этого романа желал и еще 5—6 лет тому назад говорил мне: вот бы хорошо! В год Вы листов 15—20 напишете, тогда я покрою новый долг и дам Вам еще)» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 35—36).

«Благородного мецената» Леонтьев не нашел, а когда он появился в лице издателей «Русского обозрения», писателю выпал жребий завершать другое начатое произведение — «Подруги». Но возможно, что ряд тем и деталей (начиная с главной темы — обращение героев в Православие) был заимствован в эту повесть

---

<sup>31</sup> кое-чего (фр.)

<sup>32</sup> Савояры — уличные музыканты; от названия французской провинции Савойя.

<sup>33</sup> Ср. в письме Л. к Губастову от 25 марта 1891 г.: «...Прошлого лето некий Г. Уманец, бывший редактор одного иллюстрир<ованно-го> издания, подал на мен в Моск<овский> окр<ужной> Суд — иск почти в 700 р. сер. (а с судебн<ыми> издержк<ами> пожалуй и больше) — за то, что я в 84-м году взял у него деньги вперед за целый роман, а напечатал только 1-ю часть и бросил (по болезни — это правда — и унынию). — Что делать? — Не отречься же? Ведь — правда. — Моск<овские> адвокаты (лучшие) советовали мне идти на мировую; — он подался; — уговорились на 300-х рубл<ях> сер.» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 223).

<sup>34</sup> Т. е. книга «Отец Климент Эдергольм, иеромонах Оптиной пустыни» (1879—1882) и брошюра «Наши новые христиане» (1882).

из «Двух избранниц». В обоих произведениях Леонтьев использовал автобиографический материал в «смягченном» виде.

Генерал Матвеев в своей биографии воплотил честолюбивые мечты автора. Ему отданы и авторские идеалы. Не случайны пометы М. В. Леонтьевой на полях рукописи: «сам Л.», «весь Л.», «где-то прямо так у Л.».

В образе Сони Киселевой соединены черты двух женщин — М. В. Леонтьевой<sup>35</sup> (это будет отмечаться в комментариях) и С. М. Майковой. Софья Михайловна Майкова (1835—1909), дочь генерала от артиллерии Михаила Аполлоновича Майкова (1799—1881), двоюродная сестра А. А. и А. Н. Майковых, переводчица. Отвечая на вопрос о ней, М. В. Леонтьева писала Г. В. Постникову: «Об Майковой. — Это была необыкновенного ума и развития девушка и огромного образования: она получила образование домашнее; слушала профессоров, приглашаемых на дом ее богатыми родителями. Ее желание было со мной познакомиться перед отъездом дяди в Турцию; она была лет на 8 старше меня, — но мы были настоящие друзья до самого моего отъезда из Петербурга (1872 г.) и после наши отношения не прерывались до ее смерти в конце 90-х годов. — Об ней было напечатано в Историческом Вестнике.<sup>36</sup> — Она была двоюродная сестра поэта Майкова. — Сестра ее О. М. Кошевская (недолго была замужем), как и Софья, всегда жила в Петербурге, и Ольга Михайловна много полезна была дяде по некоторым литературным делам, почему дядя и был с ней в переписке. — Он вообще очень любил этих сестер; нередко говаривал так: «Вам все можно говорить, вы все понимаете. На то вы Майковы» И они его очень любили» (16 января 1922 г.; ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 352. Л. 7 об.—8).

Еще весной 1912 г. М. В. Леонтьева, по просьбе о. И. Фуделя пыталась разыскать письма Леонтьева к сестрам Майковым, предполагая, что они хранятся у третьей сестры — Наталии Михайловны Полиевктовой. Однако получила ответ, «что писем дяди к ее сестрам никаких не осталось: они уничтожены ими самими» (письмо о. И. Фуделю от 30 сентября 1912 г.; частное собрание).

«Столбовая дворянка» Соня Киселева уходит из дома к студенту Несвицкому, сама зарабатывает на жизнь. Ср. в письме

---

<sup>35</sup> Заметим, что героиня романа «Подруги» — несомненно «спи-санная» с Маши — носит то же имя, Соня.

<sup>36</sup> Речь идет о некрологе С. М. Майковой (ИВ. 1910. № 3. С. 1175—1176).

М. Леонтьевой от 13 июля 1866 г.: «Соня Майкова наконец ушла от отца; нашла себе место, на которое переходит 10-го августа, а теперь нанимает комнату на одном дворе с Бестужевым,<sup>37</sup> в Петергофе. — Отец, конечно, лишил ее наследства. — Ну да она молодец. — Мрачна только очень. Да и не сладко же ей» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 82). В некрологе Майковой говорилось: «Глубоко убежденная в необходимости распространения широкого образования среди народа, она вскоре после освобождения крестьян в 1861 году перешла от отвлеченной мысли к самому делу и занялась, бесплатным, конечно, обучением детей бедного населения столицы, сперва, так сказать, частным образом, а позднее открыла школу, выдержав необходимый при этом для звания домашней учительницы экзамен, в таком возрасте, когда подобных экзаменов не держат, и горячо предалась этому святому делу».<sup>38</sup> Когда в одном из писем 1864 г. Леонтьев назвал Соню Майкову нигилисткой, племянница отвечала ему: «...Какая уж она нигилистка; она кажется и сама сознает, что не нигилистка» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 6).<sup>39</sup>

Итак, Леонтьев оставил своей героине имя Софьи Майковой. Откуда же взята фамилия? В письме М. Леонтьевой от 22 января 1865 г. упоминается Оля Киселева, возможно, дальняя родственница Леонтьевых. (По справочным изданиям известна Ольга Павловна Киселева (1838—1898).)

Прототипом Вари послужила подруга М. Леонтьевой, Варвара Васильевна Ешевская (в замужестве Берг), сестра профессора С. В. Ешевского (1829—1865) и Елизаветы Васильевны Бестужевой-Рюминой (ум. в 1908 г.; вдова К. Н. Бестужева-Рюмина). На страницах писем Марии Владимировны Варя Ешевская предстает «лихой» барышней (Леонтьев любил это слово); упоминались здесь ее многочисленные романы. Варя из романа вышла замуж за доктора (с. 84), Варя Ешевская — за фармацевта.<sup>40</sup> В

<sup>37</sup> К. Н. Бестужев-Рюмин.

<sup>38</sup> *ИВ.* 1910. № 3. С. 1175.

<sup>39</sup> В этом ответе очевидно определенное снисхождение. Не без кокетства Маша Леонтьева рассказывала в ноябре 1865 г. о том, какой видят в Петербурге саму: «Она [Е. В. Бестужева-Рюмина], вы знаете, какое мнение обо мне распускала по всем этим Дудышкиным, Кошкаревым и т. п.; будто я отчаянная нигилистка...» (Там же. Л. 75).

<sup>40</sup> Владимир Берг скончался в чине коллежского секретаря (сведения из картотеки Б. Л. Модзалевского).

1865 г. М. Леонтьева писала дяде: «4-го мая. Сегодня Варя объявила в нашей семье, что она невеста. <...> Он немец, молодой человек, открывает аптеку в Астрахани, славный малый». (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 31).

В образе Лины, на первый взгляд, как будто узнаваемы приметы Лизы Политовой (Елизаветы Павловны Леонтьевой).<sup>41</sup> Эпизоды, посвященные женитьбе Матвеева (приезд в Крым к оставленной на несколько лет любовнице, жалость к ней и решение о свадьбе) и знакомству Лины с его семьей, безусловно написаны на реальной основе. Это подтверждается и пометами М. В. Леонтьевой («Авт.»). Свекровь Лины напоминает Федосью Петровну Леонтьеву (и в некоторых деталях — Марью Павловну Львову из «Реки времен»). В эпизоде с письмом жены Матвеева о Переклесе Солпур-Оглу угадывается история Петраки Узун-Тома, таким же примерно образом привезенного Е. П. Леонтьевой в Тульчу и ставшего позднее воспитанником и помощником Леонтьева (см. о нем в очерке «Разбойник Сотиря» и в воспоминаниях М. В. Леонтьевой). Однако это лишь незначительное совпадение. У Лины существует другой прообраз — реальное лицо с тем же именем.

В «Хронологии моей жизни» Леонтьев под 1867 годом дважды упоминает *Лину* (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 4). Документальным подтверждением нашего предположения о прототипе жены Матвеева и прекрасным комментарием к соответствующим главам «Двух избранниц» служат письма из Буюк-дере К. А. Губастова, оказавшегося непосредственным образом причастным к «похищению» юной молдаванки Лины из заведения константинопольской «мадамы».

8 августа 1867 г.: «Только что собирался писать Вам, дорогой мой Константин Николаевич, как мне подали Ваше письмо от 2-го августа. По правде сказать, во мне уже начало закрадываться подозрение, что Вы по различным серьезным соображениям оставили мысль о Лине. Из письма же Вашего увидел, что ничуть не бывало, а потому, в ожидании дальнейших Ваших инструкций, приложу все мои старания для успешнейшего выполнения возложенного на меня Вами поручения.

Антон отправился вчера в город по своим делам и хотел тоже зайти „посмотреть” и „побеседовать” с Линою. Посмотрим, что

---

<sup>41</sup> Кроме того, М. В. Леонтьева в своих пометах на рукописи второй части романа указала на некоторые переключки с повестью «Исповедь мужа», касающиеся отношений супругов.

скажет нового? Если произошло что-нибудь непредвиденное, то сообщу немедленно по телеграфу.

Мы недавно вычисляли с Антоном, сколько нужно будет (приблизительно) денег на все это дело — оказалось: никак не менее 15 тур<ецких> лир. Примите это в должное соображение» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 15—15 об.)

29 августа: «Вчера (Воскресенье) я посылал Антона к Лине, (самому решительно было невозможно, но на этих днях я постараюсь побывать сам) и вот Вам сущность из разговора:

Она, все по-прежнему, высказывает твердое желание вырваться от хозяйки, но только упрасивает не похищать ее, — а выкупить, так как хозяйка к ней всегда была очень хороша, ухаживала за нею, во время ее болезни и пр. и ей бы не хотелось так отплатить за доброе расположение *madam*'ы.

Это впрочем и Ваше собственное желание, только оглянитесь, милый мой, на Ваши *пары*.<sup>42</sup> К тому же, нужно прибавить, что Антон начинает побаиваться похищать ее теперь, ибо убежден, что Лина посвятила в этот секрет хозяйку, судя по вниманию, которым эта последняя его окружала; Лина же упорствует и говорит, что никому ничего не рассказывала. Правду конечно узнать трудно! Антон начал было объяснять ей, что она принуждена будет („пулитика бейле истер“) жить в Галаце, что жизнь она будет вести простую, скромную и пр., „ейи, ейи“, был ее ответ, я знаю, что эфенди меня любит, хочет мне добра и поэтому я вполне спокойна, пусть делает так, как „пулитика истер“. Зонтик мы еще не передали — отложили до другого раза. Деньги отдали ей, и она их тотчас же проела и пропила (не бойтесь, раки не спрашивала, а пила пиво и лимонад). Письмо Ваше было пока передано изустно Антоном, а я уже прочту его ей.

Как видите, из всего сказанного, нового ничего не прибавилось, а все идет по-старому, т. е. *хорошо*. Довольны?....

Судя по себе, я уверен, что мои сведения о Лине Вас не удовлетворят. Вам бы хотелось читать о ней 20 страниц, да каких еще!.... Но, будьте довольны и этими» (Л. 20—20 об.)

12 сентября: «Любезный друг Константин Николаевич, мне очень жаль, что надежды, возложенные Вами на меня, не вполне оправдались, но в этом виноваты мы все понемногу: как же можно было положиться на слова Лины, и поверить ей, что хозяйка за нее возьмет только 15 лир, тогда как 15 лир было заплачено жиду,

---

<sup>42</sup> Мелкая монета, составляющая 1/40 часть пиастра.

продавшему ее в б.....! Разумеется, хозяйка, выпуская ее от себя, захочет иметь свой барыш и при этом еще воспользуется ее неопытностью, чтобы поставить ей побольше долгу за платья, белье, еду, жите и пр., все это в порядке вещей и потому я сильно качал головою, когда отпускал Антона порешить окончательно это дело. Вид мокрой курицы, который он имел, по возвращении своем из города, подтвердил мои сомнения. Да, и вообще нужно сказать, что он больше хвастается, чем делает!

Цифра 30 лир, требуемая хозяйкою, мне показалась еще очень не большою, (относительно) и я надеюсь выторговать еще лир около 5..... В этот Четверг (14 сентября) я отправлюсь лично в Перу, в сопровождении Антона, которого отправлю, сейчас же по приезде, за Линою. Затем, Антон отведет ее к своей знакомой, 60-летней старушке, в Галату, где она пробудет до Субботы, т. е. до отправления своего в Тульчу (каждую Субботу ходят австрийские пароходы в Дунай и останавливаются в Тульче — правда?). На пароход они будут посажены под моим личным наблюдением, и я втолкую Лине все, что Вы мне приказали. Поедет она с вышесказанною старушкою; — в этом случае я поступаю против Ваших инструкций, но я вполне согласен с Антоном, что одну ее (такую глупенькую) отпускать нельзя. Ничего, расходы будут право пустые, и Вы уже не поскупитесь на это, дорогой мой, зато будет благонадежнее. Я думаю, что все это обойдется Вам не более 40, 43 лир, не считая бахшиша старухе, с которою Вы сами расплатитесь. По отправлении дорогих особ, я немедленно Вам протелеграфирую название парохода и Вы уж примите все нужные меры:

По правде Вам сказать, я не думаю, чтобы Вы согласились бросить столько денег и объясняли себе это тем, что дела Ваши идут блистательно и что Вы полны надежд! Если это так, то я первый похваляю Вас, а при свидании и расделую, но если же нет, то..... страшитесь!..

Я Вам говорю вперед и надеюсь, Вы не упрекнете меня, — мне деньги теперь очень нужны и мне будет тяжело долго дожидаться их получения, поэтому, Голубчик мой, пожалуйста поторопитесь.....» (Л. 23—24 об.)

24 сентября: «Стыд; срам, ни на что не похоже! Голубчик мой Константин Николаевич, не сердитесь и не бранитесь на меня! Право же я не умел, а не не хотел доставить Вам наслаждение. Расскажу Вам, как все происходило.

В последнем письме моем я Вас извещал, что я еду сам в город для окончания купли и отправления Лины на пароход. Действи-

тельно, в Четверг я отправился в Перу, в сопровождении Антона; выдав ему деньги, я приказал взять Лину и отвести ее в Галату, в дом известной женщины. В 6 ч. в <вчера> является Антон в Консульство и на вопрос мой: ну что покончил? ответил — фена, Лины нет более в прежнем доме, но я напал на ее следы и завтра же ее увижу и покончу все.

На другой день ему действительно удалось найти Лину в грязном публичном доме, в Галатском переулке. Что же оказывается? Прежняя хозяйка, рассерженная на Лину за ее желание уехать, приказала ей тотчас же убираться от себя, и зная хорошо, что бедной девочке негде приютиться, перепродала ее в Галату. Антон объявил Лине, что он явился, чтобы взять и отправить ее, как было условлено прежде, и что теперь он уполномочен заплатить требуемую за нее сумму. Лина начала плакать и отговариваться нежеланием ехать в Тульчу, прибавив, „что она никак не ожидала, чтобы эфенди уехал без нее”. Новая же хозяйка объявила, что она ни за что не отпустит ее от себя. Все разговоры и споры по этому предмету, по словам Антона, были напрасны.

После этого, Антон не надеясь уже более ничего сделать собственным умением, обратился к *какой-то* M-me Thérèse, которая бралась уладить дело за 20 лир, но и от нее вчера получен ответ, что дело очень трудное и рассчитывать много нечего. Вот, на чем остановилось у нас дело.

Единственно, что мне бы хотелось сделать (не знаю удастся ли?), это послать к Вам моего Антона и поручить ему рассказать Вам все подробно, чтобы Вы затем вынесли сами заключение о степени виновности каждого из нас.

Я было хотел послать Вам ваши деньги с Гончаровым,<sup>44</sup> но Антон меня остановил, говоря, что деньги всегда успеется отослать, а отчаяваться пока еще не следует, в том предположении, что через 3 дня мы перебираемся в Перу и может быть там как-нибудь и уладим дело. Я послушался на этот раз его совета. Во всяком случае, дело должно обнаружиться скоро. <...>

Прощайте мой дорогой; все, что осмеливаюсь просить у Вас себе, — это снисхождения. Крепко Вас обнимаю и прошу еще раз не гневаться на К. Губастова» (Л. 27—28 об.).

Тем не менее Лина оказалась в Тульче. 3 ноября 1867 г. Губастов в приписке к письму замечает: «„Костя! Я не хочу кол-

---

<sup>44</sup> Осип Семенович Гончаров (1796—1880), влиятельный тульчинский старообрядец, неоднократно упоминаемый в «консульских рассказах» Леонтьева.

басы!» должна мне выслать на днях свой хромофотографический протрет» (Л. 31 об.).

В заключение выскажем предположение о возможном прообразе эпизодического персонажа — придворной дамы, «миллой и полной москвички». Думается, что это О. А. Новикова, и не о ней ли Леонтьев 15 ноября 1868 г. писал Губастову: «Есть сердечные дела; и еще какие!» (Сборник. С. 206). Новикова упоминается в «Хронологии моей жизни» в контексте приезда в отпуск в Петербург (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 4). Ср. с аналогичным местом в воспоминаниях М. В. Леонтьевой: «В 1869 г. дядя познакомился с О. А. Новиковой и рассказывал мне немало об этом знакомстве; они очень симпатизировали друг другу» (Там же. Ед. хр. 1042. Л. 32). Возобновив в 1882 г. знакомство с Новиковой, Леонтьев писал ей: «Ваше петербургское гостеприимство в 69 году оставило в душе моей неизгладимое прекрасное впечатление» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 1 об.). В романе говорится об отношениях к Матвееву мужа москвички, важного сановника; — Леонтьев в 1868—1869 гг. встречался в Азиатском Департаменте с Е. П. Новиковым, который пытался «продвигать» его по службе.

С. 61. *...после битвы при Садовой...* — решающее сражение между прусской и австрийской армией, происходившее 3 июля 1866 г. неподалеку от чешского города Садова и закончившееся победой пруссаков.

С. 61. *Сарты* — оседлая часть узбеков и равнинных таджиков.

С. 61. *...под знаменами Черняева и Романовского.* — Михаил Григорьевич Черняев (1828—1898), русский военный и общественный деятель; Дмитрий Ильич Романовский (1825—1881), русский военный деятель. За отличие при взятии Кокандской крепости Чемкента 22 сентября 1864 г. генерал-майор М. Г. Черняев был награжден орденом Св. Георгия III степени.

С. 61. *...победоносные войска пруссаков уже стоят под Веной...* — после победы под г. Садова прусские войска двигались по направлению к Вене, но 22 июля 1866 г. военные действия прекратились.

С. 61. *...Франц-Иосиф спешит вручить Венецию Наполеону ~ сраженья при Кустоце...* — Франц Иосиф I (1830—1916), Император Австрии и король Венгрии, после победы над итальянцами в районе селения Кустоца (Ломбардия) в июне 1866 г., потерпел поражение от пруссаков и по мирному договору с



Италией 3 октября 1866 г. уступил Венецианскую область Франции, Императором которой тогда был Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873).

С. 61. ...*критяне недаром лют геройскую кровь свою...* — летом 1866 г. греческое население о. Крит восстало против турецкого господства, требуя присоединения острова к Греции.

С. 62. *Шайка повстанца Вержбицкого...* — Если это не вымышленный автором персонаж, то, возможно, речь идет о возглавлявшем отряд польских повстанцев отставном поручике Иерониме Вержбицком, расстрелянном 22 мая 1864 года, о чем сообщали «Московские ведомости» (№ 121) и где это имя мог встретить Леонтьев.

С. 62. ...*чтобы войска пруссаков оставили Люксембург...* — После ликвидации в 1866 г. Германского союза Франция, стремясь усилить свое влияние в герцогстве Люксембургском и видя в Пруссии соперника, настаивала на выводе прусских войск из Люксембурга; однако в 1867 г. герцогство было объявлено «вечно нейтральным» государством, чем устранялась возможность всякого иностранного вмешательства.

С. 62. ...*славянские представительства едут пировать в Москву...* — в апреле 1867 г. в Москве открылась Всероссийская этнографическая выставка, к этому событию был приурочен съезд славянских представителей. См. также с. 301, 393 и прим. на с. 873.

С. 62. ...*выставка в Париже заменится кровавой борьбой на берегах Рейна...* — Имеется в виду нараставшая с 1867 г. (когда и проходила упомянутая Л. Всемирная выставка) напряженность в отношениях между Францией и Пруссией, что привело к франко-прусской войне 1870—1871 гг.

С. 63. *К осени 67 года стало ясно, что войны не будет; Матвееву это было очень неприятно...* — Автобиографическая деталь; нотка разочарования звучит, например, в письме Л. к Губастову 23 августа 1867 г., когда речь заходит о слухах, будто «Россия заключает союз с Турцией для преграды Греческому стремлению» (Сборник. С. 192). Здесь следует вспомнить не только всегдашнее ожидание Леонтьевым европейской войны как средства разрешения Восточного вопроса, но и чисто «житейский» интерес — то, что в случае войны консул, не испрашивая отпуска, отправился бы в Россию. Этот мотив присутствовал в несохранившихся письмах к родным. Ср. в письмах Ф. П. Леонтьевой М. В. Леонтьевой: «Константин пишет тебе — „что в случае войны он может только приехать“». — И в нашей столице (Цел-

каново) поговаривают об войне. (11 июня 1866 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1064. Л. 15); «Об отпуске своем Константин пишет, что нынешнюю зиму не надеется быть, разве только в случае войны с Турцией; тогда Консульство отправят в Россию» (9 августа; Там же. Л. 22).

С. 63. ...*глядел в окна старинного дворца, вспоминая великого Потемкина и великую Царицу...* — Таврический дворец принадлежал Григорию Александровичу Потемкину (1739—1791), русскому государственному и военному деятелю, фавориту Императрицы Екатерины II.

С. 64. ...*имение ее за Карасу-Базаром...* — заштатный город Симферопольского уезда; одно из мест, где служил Л. во время Крымской войны.

С. 65. *Imaginez-vous ~ affreusel..* — Вообразите — порядочная женщина в этом печальном положении! В этом почти ужасном положении! (фр.)

С. 65. *Une Kisseleff* — Киселева (фр.)

С. 65. *une jeune fille charmante* — юная очаровательная девушка (фр.)

С. 65. ...*ходит к нотариусу ~ дурацкие статьи...* — детали биографии М. В. Леонтьевой. В письме к Л. от 1 сентября 1868 г. она сообщала, что поступила в нотариальную контору (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 113).

С. 65. *C'est plus ~ dissolution totale!*.. — Это больше, чем революция — это всеобщее разрушение!.. (фр.)

С. 65. *Au revoir ~ cher ami!*.. — До свидания, полковник... До свидания, дорогой друг!.. (фр.)

С. 66. *une charmante jeune fille* — очаровательную юную девушку (фр.)

С. 66. *Остриженные белокурые волосы...* — деталь, сообщающая о «нигилистических» убеждениях героини. Ср. в письме М. Леонтьевой от 25 мая 1864 г. (в рассказе о знакомстве со студентом в Таврическом саду): «...Он должно быть по моим стриженным волосам заключил, что я что-нибудь вроде нигилистки, потому что прямо стал говорить о серьезных предметах и очень удивился, что я не читала „Что делать?“» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 34).

С. 67. *C'est autre chose, ma chère ~ C'est bien autre chose!* — Это другое дело, моя дорогая... Это совсем другое дело! (фр.)

С. 68. *La raison d'état?* — Государственная польза? (фр.)

С. 68. *Vous êtes un peu poète...* — Вы немного поэт... (фр.)

С. 68. *Внимая ужасам войны...* — начинающееся этой строкой стихотворение Н. А. Некрасова (1855) представляло собой отклик на Крымскую войну. Господствующий мотив стихотворения — острое сострадание горю «бедных матерей», чьи дети погибли «на кровавой ниве».

С. 69. *Je suis une femme d'ancienne trempe...* — Я женщина старого склада... (фр.)

С. 69. *que ce n'est nullement gracieux dans la bouche d'une jeune fille* — что это совсем не привлекательно в устах молодой девушки (фр.)

С. 69. ...бросила ему букет на эшафот ~ увлек ее в толпу. — Л. мог быть известен реальный эпизод, произошедший во время гражданской казни Н. Г. Чернышевского: букет на эшафот бросила Мария Петровна Михаэлис (в замужестве Богданович; ок. 1845 — после 1882), сестра Л. П. Шелгуновой. В письме от 25 мая 1864 г. М. Леонтьева рассказывала о том, что Чернышевского везли на гражданскую казнь мимо ее дома. «...Народу была тьма <...> Это такое тяжелое впечатление произвело на меня, хоть я и не сочувствую ему, что я целый день была не своя» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 35 об.). В то время Маша еще не читала «Что делать?». О своем впечатлении о книге она напишет дяде через полтора года, в сентябре 1865 г.: «Недавно только прочла *Что делать*. — Я осталась довольна этим романом более, чем думала, что останусь. — Идеалу Чернышевского, который он высказывает в сне Верочки, я, конечно, не сочувствую. — Все эти залы из алюминия, общие обеды — все это тоска; хорошо только, что он любит древний костюм. Но что мне нравится — так это то, как он понимает любовь мужчины к женщине. — <...> как я сочувствую ему. — Вообще, как он смотрит на брак, на семейную жизнь — всему этому я сочувствую. — Про то же, что роман отвратительно написан и говорить нечего. — А жаль; — есть в нем хорошие вещи; если бы хорошо был написан, сильное бы впечатление оставил» (Там же. Л. 72)

С. 69. ...не была bigotкой... — святошей, от фр. *bigote*.

С. 69. *la pauvre princesse* — бедная княгиня (фр.)

С. 70. *m-lle Sophie* — мадемуазель Софи (фр.)

С. 70. *N'est ce pas que c'est très spirituel?*.. — Не правда ли, очень умно? (фр.)

С. 71. *d'une conduite qui n'est pas irréprochable* — небезупречного поведения (фр.)

С. 72. *tépie* — манера (фр.)

С. 73. ...из театров дорожил только русским... — подразумевается Императорский Александринский театр, получивший при учреждении в 1756 г. название «Русский для представления трагедий и комедий театр».

С. 73. ...кроме «Руслана» и «Жизни за Царя»... — оперы Михаила Ивановича Глинки (1804—1857) «Руслан и Людмила» (1842) и «Жизнь за Царя» (1836).

С. 73. ...послушать Лукку. — Паолина Лукка (1841—1908), австрийская певица; выступала в России в 1868—1869 и в 1877 г.

С. 74. ...в степях древнего Турана... — Туран — низменная территория Средней Азии, на которой находились русский Туркестан и ханства Хива и Бухара.

С. 76. *un brillant militaire* — блестящий военный (фр.)

С. 76. *protégé* — любимец, подопечный (фр.)

С. 77. ...сам покойный М. Н. Муравьев... — Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), граф, государственный деятель; генерал-губернатор Северо-Западного края; руководил подавлением польского восстания 1863 г.

С. 77. *amico* — друг (итал.)

С. 77. Мальбрука за лихоимство судили даже... — Джон Черчилл Мальборо (1650—1722), герцог, английский полководец и политический деятель; одержал несколько побед над французскими войсками (Гохштедте, при Рамийи); был осужден по обвинению в растрате.

С. 81. ...как Тамерлан, вступая в битву при Ангоре с султаном Баязидом... — Тамерлан (Тимурленг, Тимур) (1336—1405), среднеазиатский полководец, эмир. В 1402 году разбил войска турецкого султана Баязида I («Молниеносного») (1366 или 1354 — 1403) в сражении при Анкаре (Ангоре).

С. 81. О Тамерлане есть и у Грановского... — Речь идет о публичной лекции русского историка, профессора Московского университета Тимофея Николаевича Грановского (1813—1855) «Тимур» (Четыре исторические характеристики. Публичные лекции, читанные в 1851 году. М., 1852). См. о ней: МВ. 1851. № 32. 15 марта. С. 265—266.

С. 82. ...Тотлебен ~ из открытого города создал то... — Эдуард Иванович Тотлебен (1818—1884), граф, русский военный деятель; руководил строительством оборонительных сооружений во время обороны Севастополя.

С. 82. *C'est une chose révoltante!* — Это вещь возмутительная! (фр.)

С. 83. *Quelle figure!*.. — Какое лицо!.. (фр.)

С. 83. *Это Добромыслов, известный нигилист.* — Намек на Н. А. Добролюбова, пользовавшегося огромным авторитетом в среде радикально настроенной молодежи второй половины 1850-х гг.

С. 83. *Малахов курган* — важнейший опорный пункт защитников Севастополя в 1854—1855 гг.

С. 86. *Alphonse était noble ~ brave et honnête...* — Альфонс был благороден; Амели была благовоспитанна... Поль был храбрый и честный... (фр.)

С. 87. *...зеленый зонтик на глазах...* — ср. в Записках Ф. П. Леонтьевой о старшем брате ее свекра, Ф. И. Леонтьеве: «Он <...> носил всегда зеленый зонтик, по причине больших глаз...» (РВ. 1884. № 2. С. 672).

С. 87. *...Mon ami! ~ de citoyen!* — Мой друг! следует прежде всего исполнять свои обязанности человека, христианина и гражданина! (фр.)

С. 87. *toujours dans les espaces* — вечно витала за облаками (фр.)

С. 87. *J'aime le beau!* — Я люблю прекрасное! (фр.)

С. 87. *le beau* — прекрасное (фр.)

С. 87. *révoltant* — возмутительно (фр.)

С. 87. *Quelle révoltante institution...* — Какое возмутительное установление (фр.).

С. 87. *...разные эти «Антон Горемыка», Григоровичи...* — «Антон Горемыка» (1847), повесть Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1900).

С. 88. *Les passions sont partout les mêmes.* — Страсти повсюду одни и те же (фр.).

С. 88. *passions* — страсти (фр.)

С. 88. *«La petite Fadette»* — «Маленькая Фадетта» (1848—1849), роман Жорж Санд.

С. 88. *cela repose l'âme!* — на этом душа отдыхает! (фр.)

С. 88. *les belles guerres de l'Empereur* — великолепные войны Императора (фр.)

С. 89. *Une telle mésalliance!* — Такой неравный брак! (фр.).

С. 89. *...портрет жены ~ в какой-то странной блузе...* — Ср. с описанием раскрашенной фотографии Е. П. Леонтьевой, которую Л. тщетно пытался отыскать летом 1888 г.: «в черной шелковой юбке и в рубашке с широкими тогдашними рукавами белой с черными крапинками <...> кажется — есть и цветок в волосах» (письмо К. А. Губастову от 1 июля 1888 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 171—171 об.).

С. 90. *Валахия* — придунайское княжество на территории современной Румынии.

С. 91. *Айвазовский* — Иван Константинович Айвазовский (1817—1900), русский художник-маринист.

С. 91. ...*Дибичем или Котляревским?* — Иван Иванович Дибич (см. прим. на с. 858), Петр Степанович Котляревский (1782—1852) — русские военные деятели.

С. 91. ...*после несчастной битвы под Альмою...* — В сентябре 1854 г. на р. Альме в Крыму произошло сражение с соединенными силами французов, англичан и турок, в котором русские войска потерпели поражение.

С. 91. ...*зашила ему в синий бархат большой золотой образ, в котором были вделаны мощи нескольких святых...* — автобиографическая деталь; ср. в письме Л. матери из Крыма от 18 мая 1855 г.: «Образок ваш с мощами и молитва, которую вы велели мне носить, у меня на груди» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1014. Л. 48).

С. 91. ...*переписала ему на бумажку псалом...* — 90-й псалом, читающийся в минуту опасности, переписывали и зашивали в ладонки воинам.

С. 92. ...*в Инкерманской битве...* — сражение между русскими и англо-французскими войсками 24 октября 1854 г. неподалеку от поселка Инкерман в Крыму.

С. 92. ...*письма, в которых он описывал больше веселье военного быта, чем ужасы его.* — Почти таковы и письма Л. из Крыма.

С. 94. *limonade gazeuse (gazeuse)* — газированный лимонад (фр.)

С. 95. *Кефалониты* — жители о. Кефалония, входящего в группу Ионических островов; отличались воинственностью характера и даже склонностью к разбоям. Ср.: Т. 3. С. 75. Т. 4. С. 568.

С. 96. ...*на острове Халки...* — один из девяти Принцевых островов в Мраморном море недалеко от Босфора. Л. жил там в 1873—1874 гг.

С. 97. ...*в Пере...* — район Константинополя, населенный европейцами. Подробнее см. прим. на с. 848.

С. 98. *Гретхен* — героиня трагедии И. В. Гете «Фауст».

С. 98. *Бэла* — героиня романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

С. 98. *Миньона* — героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796).

С. 102. *Voyez-donc ~ militaire!* — Посмотрите на это превращение! Какова проклятая сволочь! И это с подобными дураками они хотели достичь военной славы! (фр.)

С. 102. *Monsieur le colonell ~ être français!* — «Господин полковник! я поляк». — «Сударь! быть поляком значит также быть французом!» (фр.)

С. 103. «*Vae victis!*» — Горе побежденным! (лат.); слова галльского царя Бренны, с которыми он обратился к потерпевшим поражение римлянам в 390 г. до н. э.

С. 104. ...в Меце... — город на востоке Франции.

С. 104. «Люблю отчизну я, но странною любовью...» — первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина» (1841). Далее приводятся (с незначительным изменением) последние строки этого же произведения.

С. 104. ...Россия в книгах хуже, а в самом деле лучше! — Эта идея выражена Л. в статье «Наше общество и наша изящная литература»: «...В жизни нашего общества несравненно больше и трагического, и изящного, и доброго, чем в наших сочинениях. <...> Нынче у нас праздничный, идиллический и трагический элемент выпал (сравнительно) на долю действительности, а будничней, комический — на долю изящной словесности» (Голос. 1863. № 63. 15 марта. С. 49).

С. 107. ...настал день мира... — см. прим. на с. 790.

С. 111. ...не напишет просто 24 сентября, а непременно Св. первомученицы Феклы. — 24 сентября — день памяти Св. первомученицы равноапостольной Феклы (I в.), ученицы Св. Ап. Павла.

С. 111. *médisance* — злословие (фр.)

С. 111. *Ипокрит* — лицемер (от греч. ὁ ὑποκριτής).

С. 111. ...придерживаюсь в душе моей больше чистого Евангельского учения... — ср. с характеристикой религиозных убеждений Ф. П. Леонтьевой в воспоминаниях «Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе»: «...Она была религиозна, но не была достаточно православна по убеждениям своим. У нее, как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности» (СС, IX, 23).

С. 113. *Elle a l'air ~ femme*. — Она выглядит как печеное яблоко, бедная женщина. (фр.)

С. 113. *Филемон и Бавкида* — в греческой мифологии супружеская чета из Фригии; олицетворение благочестивого и гармоничного супружества.

С. 113. *Je comprends les pauvres gens!* — Я понимаю бедных людей! (фр.)

С. 114. *lorsque j'étais une vraie Kisselew* — когда я была настоящая Киселева (фр.)

С. 114. *Мурья* — лачуга, конура; тесное и темное жилище.

С. 114. *L'élément aristocratique ~ en Russie!*.. — Аристократия еще не вовсе уничтожена в России!.. (фр.)

С. 114. ...научил *Матвеева* «спешить медленно». — Крылатые слова Императора Августа (63 до н. э. — 14 н. э.); ср. с. 161 и Т. 4. С. 116.

С. 115. *Merci, merci, mon excellent ami!*.. — Спасибо, спасибо, мой добрейший друг!.. (фр.)

С. 117. ...ранен ударом английской сабли под *Балаклавой*... — Балаклава была взята английскими войсками 14 сентября 1854 г.

С. 119. *Мы видели потом народ 4-го апреля*... — Имеется в виду верноподданническое отношение народа к покушению на Александра II, совершенному Д. А. Каракозовым 4 апреля 1866 г.

С. 121. *à la veille de devenir général ~ distingué*... — вот-вот станет генералом... Человек вполне благовоспитанный... (фр.)

С. 121. *butur'om* — дураком (фр.)

С. 121. *tous ces roturiers savants et révolutionnaires* — все эти ученые разночинцы и революционеры (фр.)

С. 122. *pro u contra* — за и против (лат.)

С. 122. *Je vous avoue franchement, mon excellent ami*... — Я вам признаюсь откровенно, мой добрейший друг... (фр.)

С. 123. *Vôtre Dieu ~ madame!* — Ваш Бог, ваш добрый Бог, сударыня! (фр.)

С. 124. *C'est une femme sans éducation*... — Это женщина без воспитания... (фр.)

С. 124. ...веселился ~ в *Гатчине*... — дворцово-парковый ансамбль под Петербургом.

С. 125. *Un espèce de* — Какой-то (фр.)

С. 126. *Ce ne sont que des boutiquiers*... — Это все только лавочники... (фр.)

С. 126. ...как *крыловский мужик на червонец*... — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Червонец» (1812).

С. 130. *Читали вы «Матрешку?»* — Л. стилизует название, характерное для популярных повестей «из народного быта».

С. 131. ...нравился и *Фурье*... — Франсуа Мари Шарль Фурье (1772—1837), французский утопический социалист.

С. 132. ...в *статьях «Современника»* ~ я не находил уже тогда ничего хорошего... — журнал, радикально-демократическое направление которого с 1856 г. определяли Н. А. Добролюбов,



Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов и др. Перемена отношения героя к С — автобиографическая деталь (см., напр., «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», 1869).

С. 139. ...да идет мимо меня горькая чаша сия... — эти же слова (Мф. 26: 39) вспоминал, рассуждая о браке, и герой «Одиссея Полихрониадеса» консул Благов (Т. 4. С. 560).

С. 142. *Башлык* — суконный капюшон с длинными концами, надеваемый поверх шапки.

С. 143. ...в *Царское и в Павловск*... — Царское Село, Павловск — дворцово-парковые ансамбли под Петербургом.

С. 143. ...к *Дороту*. — Ресторан Дорота находился на Черной речке; упоминается в «Дневнике провинциала в Петербурге» М. Е. Салтыкова-Щедрина. См. комментарий: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 10. М., 1970. С. 770.

С. 143. *Aimez moi! ~ mais je suis si cochonne!* — Любите меня! предпочитайте меня всегда! Я не красавица, но я еще та свинюшка! (фр.)

С. 143. *que tu sais faire l'amour* — что ты умеешь любить (фр.)

С. 143. *cochonne* — свинья (фр.)

С. 144. *mon général* — мой генерал (фр.)

С. 144. *Боярка* — шапка с меховой опушкой.

С. 145. ...на деревьях *Летнего сада и Михайловского*... — Михайловский сад находится позади Михайловского (по имени Вел. Кн. Михаила Павловича) дворца (ныне Русский музей).

С. 145. ...у *Цепного моста*... — мост через р. Фонтанку.

С. 146. *Но что ж ~ жилось на свете.* — Отчеркнуто М. В. Леонтьевой; ее помета: «Ср. „Исповедь мужа”».

С. 150. *Любит он ее хотел...* — Абзац отчеркнут, слева на полях помета: «авт<орское?>».

С. 154. *Бокля вот я читала*... — Генри Томас Бокль (1821—1862), английский историк и социолог-позитивист. О научном круге чтения М. Леонтьевой можно судить по ее письмам: «Купила в Туле Физиологические письма Фогта. <...> Сколько вопросов задаю я себе, а ответов дать не могу: надо для этого больше читать» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 21). «Теперь я читаю и Фогта и Маколея и Костомарова...» (Л. 37). «Достала я Дарвина о Происхождении видов; очень мне нравится эта книга; много из нее можно нового прочесть. — Читаю также третий том Шлоссера, Историю Рима; — сухо что-то написано, по немецки немножко» (Л. 5). «Прежде всего я принялась за Белинского» (Л. 30).

С. 154. ...к *Писареву я охладела ~ Пушкина вздумал ставить ни во что*... — Подразумеваются статьи Дмитрия Ивано-

вича Писарева (1840—1868), критика и публициста радикально-демократического направления, о Пушкине. Ср. с отзывами М. Леонтьевой в ее письмах 1860-х гг. «Писарева я тоже читаю: почти ни одной статьи его не пропускаю. — С статьей своей: *Пушкин и Белинский*, он провалился; его так дельно разобрал и, вообразите, кто, — Антонович, что я не знаю, что он будет ему отвечать. — Да его бы и следовало как следует *обуздать*. — Бог знает до чего дошел. — Но дело в том, что Писарев удивительно смел в своих статьях и волне убежден, что ему молодежь сочувствует, в чем, к несчастью, не ошибается. — Надо, мне кажется, явиться второму Белинскому, чтобы обуздать Писарева. — Нет, лучше пусть пустят женщин в университет, пусть распространяется больше везде и на всех влияние женщины — авось женщины собьют с молодежи, правда, напускной, но все-таки вредный реализм. — Неужели это невозможно? — До чего же, наконец, могут дойти Писарев и ему подобные? (Там же. Л. 72—73). «Какие умные статьи пишет Писарев в Русском слове! <...> самый слог его неотесанный <...> Конечно я не могу вполне быть согласна с Писаревым, да и никогда не думала быть одного мнения с ним, но что правды он говорит много — это верно. — Он гонит молодежь из Петербурга, (конечно тех кто кончил учиться); он говорит что для народа много пользы можно принести. И хоть у него выше ума и голой науки ничего нет, — но крайность не всегда лишняя. — Я смотрю на его статью, как на полезную статью а потому и крайности его прощаю ему. — Я уверена, что ни поэзия, ни эстетика никогда не пропадут, как ни стараются достигнуть этого. — Теперь правда почти ничего не найдешь в самом деле хорошего, художественного в новейшей литературе. Но это на время» (Л. 35 об.—36). «Теперь читаю я статью Писарева *Нерешенный вопрос*; много говорят о ней. — Я не люблю <...> тона статей Писарева, но должно быть умен он; все статьи его очень умны и очень понятны для молодежи, но тон их швах; жесткие они такие; такой тон, мне кажется, нужен был в то время когда жил Белинский; ему он был необходим, ну а теперь и без него можно, впрочем ведь и Белинский во многих статьях жолчен, но у того настоящая жолчь, а у Писарева швах» (Л. 7 об.). «В Русском Слове ведет Литературное обозрение Писарев; он вот уже больше году пишет, но не заикнулся ни про ваш роман, ни про одну из других повестей. — Он разобрал только *Марево* Ключникова, помещенное в Русском Вестнике, но и то рассматривал его не с художественной точки зрения. <...> Право руки холодеют от волнения при одной мысли, что как много можно

было бы сказать разбирая ваш роман и сказать такого, что больше дошло бы до души молодежи, чем статьи Писарева, которого она так любит. — Да и как ей не любить его; он один только порядочный из всех пишущих; но он все-таки не о чего надо бы; он слишком крайний реалист. Едва ли можно быть более реалистом, каким он есть в своих статьях „Пушкин и Белинский“ <...> ...разбирать именно ваши вещи, дельно, никто не умеет. — Если даже Писареву когда-нибудь вздумается писать о них, то более несправедливой критики вы нигде не прочтете. — Если он не побоялся русской публики, чтобы так рассуждать о Пушкине, как он рассуждал, то следовательно он и ваш роман разобрал бы по-своему, вовсе не с художественной точки зрения. И какая была бы из этого польза? — И имя ваше не стало бы известней, и роман не стал бы ни лучше ни хуже в глазах других, потому что и Пушкин остался все тем же Пушкиным, несмотря на его статьи о нем, в которых он доказывал, что Пушкина читать не следует. Разве и в самом деле его не будут читать?» (Л. 67—68).

С. 154. *Я Татьяну люблю...* — ср. с фрагментом из письма М. Леонтьевой: «Я и Татьяну люблю и Бэлу и Веру в княжне Мери но куда как ваша Лиза [героиня повести «Исповедь мужа» — ред.] полнее их всех. — Ведь у Татьяны чудная душа, любящая, а [ведь] кончила тем, что пошла за нелюбимого человека и любя другого осталась верна нелюбимому. Это честно, но где же тут та полнота чувств, которая была у Лизы. Ведь и Татьяна была страстна, не развита, молода, русская, любила Онегина сильно, страдала сильно, выйдя за другого, но вероятно страдала с наслаждением и бездна поэзии была в ее страдании, но где же в ней те разнообразные силы, которые спали в Душе <...> В том то и дело, что по-моему ни Татьяна ни Вера не были сильными натурами, а любящие поэтичные, способные к страданию. Еще это вопрос, в ком больше силы, в Татьяне ли, которая вышла замуж из угождения матери и потом из угождения мужу, свету рассталась с любимым человеком, или в Лизе, которая должна была пожертвовать или [мужем] другом (да каким еще другом!) или любимым человеком и пожертвовала этим другом» (Там же. Л. 1—1 об.).

С. 155. *...в книге Ульрици «Бог и природа»...* — Герман Ульрици (1806—1884), немецкий философ, его книга «Бог и природа» («Gott und die Natur») вышла в 1861 г., на русский язык переведена в 1874 г.

С. 155. *...статью Страхова все против тех же атомов...* — Речь идет о статье русского философа, литературного критика и публициста Николая Николаевича Страхова (1828—1896) «Об

атомистической теории вещества» (РВ. 1860. Май. Кн. 2. С. 143—194), вошедшей в его книгу «Мир как целое. Черты из науки о природе» (М., 1872).

С. 156. ...*фотографические карточки знаменитых людей. ~ разорвал ее пополам и бросил...* — в основе реальный эпизод; абзац отчеркнут М. Леонтьевой на полях, здесь же помета: «весь Л<еонтьев>».

С. 158. *gris-de-lin* — красно-серого цвета (фр.)

С. 158. *Отуз* — название имения отчеркнуто и подчеркнуто в копии; Л. использует реальный топоним; так называлась татарская деревня в 30 верстах (название и означает «тридцать») от Феодосии (см.: Памятная книжка Таврической губернии. В. 1. Симферополь, 1867. С. 191).

С. 159. *C'est un vrai miracle! mon ami!* — Это настоящее чудо! мой друг! (фр.)

С. 159. *Sependant les traditions ~ n'est ce pas?* — Тем не менее семейные традиции и старые обычаи кой-чего стоят, не так ли? (фр.)

С. 160. *À la lettre* — буквально (фр.)

С. 161. «Мертвый мирно в гробе спи; жизнью пользуйся живущий!» — неточная цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Торжество победителей» (1803) в переводе В. А. Жуковского.

С. 161. *Век юный, прелестный ~ Лови, лови часы любви...* — неточная цитата из романса Александра Львовича Гурилева (1803—1858) на стихи Николая Михайловича Коншина (1793—1859).

С. 161. ...*Гете — вечный всем и великий пример...* — ср. Т. 2. С. 153. Абзац отчеркнут. Письмо М. Леонтьевой от 8 сентября 1864 г. свидетельствует о том, что Л. предполагал сделать эпиграф из Гете к роману «В своем краю»: «Уж не знаю забыли ли вы или не хотели написать эпиграф к нему, как прежде думали; из Гёте, — он был бы так кстати. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 50). Возможно, эпиграфом могла стать цитата из «Фауста». 11 февраля 1864 г., отправляя эту книгу в посылке на Крит, М. Леонтьева, хорошо знавшая вкусы своего дяди, писала: «Я взяла Подлипки и Фауста; мне казалось, что вы очень жалели, что его нет с вами в Турции, потому-то я и взяла его, чтобы через Петковича переслать вам, — не знаю хорошо ли сделала» (Там же. Л. 19 об.).

С. 161. *Надо уметь быть счастливым!* — Автобиографическая деталь. В июле 1887 г. Л. вспоминал в письме к А. А. Алек-

сандрову о своем настроении 1869—1871 гг.: «...В такое время, когда я часто говорил: „Надо уметь быть счастливым. — Я счастлив, потому что умею наслаждаться жизнью; а дураки — не умеют!“» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 14). Ср. в романе «Подлипки» (Т. 1. С. 513).

С. 162. ...*Министр Иностранных Дел...* — см. прим. на с. 873.

С. 167. ...*умерла одна-одинешенька в нашей деревне.* — Подчеркнуто С. Н. Дурылиным, на полях помета: «☉. П.», т. е. Ф. П. Леонтьева.

С. 168. *Honneur aux hommes utiles!* — Честь полезным людям! (фр.)

С. 168. *homme utile* — полезный человек (фр.)

С. 168. ...*туда едет Муравьев...* — см. прим. на с. 824.

С. 168. ...*читал «День»...* — еженедельная газета славянофильского направления, издававшаяся в Москве И. С. Аксаковым в 1861—1865 гг. 1862 г. Л. писал Аксакову с просьбой направить его в качестве корреспондента «Дня» в Герцеговину и получил ответ: «Моя газета не дает мне возможности делать такие расходы» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 1).

С. 171. ...*не заплатил ей долга...* — автобиографическая деталь, на полях помета М. В. Леонтьевой: «Л.».

С. 171. *Сатрап* — в древней Персии высший сановник, чаще всего наместник области. На полях помета М. В. Леонтьевой: «весь Л.».

С. 174. *une fille perdue!* — потерянная девушка! (фр.)

С. 174. *perdue* — потерянная (фр.)

С. 174. *Tout le reste est conditionnel, Messieurs!* — Все остальное условно, господа! (фр.)

С. 174. *Хорошо говорил Писарев, что от нигилизма до кражи платков один шаг.* — Источник цитаты не установлен. Ср. в статье «Базаров» (1862): «Несмотря на все это Базаров не ворует чужих платков...» (Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Т. 1. Л., 1981. С. 233).

С. 175. ...*кто-то описывает чорта в одной повести...* — неточно воспроизводится описание, данное Н. В. Гоголем в повести «Ночь перед Рождеством» (1832).

С. 176. *c'est la volonté de Dieu!* — это воля Божия! (фр.)

С. 177. ...*на Смоленском кладбище...* — одно из старейших кладбищ Петербурга на о. Голодай, за речкой Смоленкой, главный храм которого освящен во имя Смоленской иконы Божией Матери.

С. 178. *Одалиска* — гаремная наложница; в отличие от простой невольницы — «кандидатка в жены».

С. 182. ...*дороже Дарвина или Гумбольдта...* — Дарвин — см. прим. на с. 790; Александр Гумбольдт (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник.

С. 187. ...*почитала Поль-де-Кока...* — Шарль Поль-де-Кок (1793—1871) французский писатель.

С. 189. ...*карикатура в «Искре»...* — «Искра» — еженедельный сатирический журнал, издававшийся в Петербурге в 1859—1873 гг. В. С. Курочкиным и др.

С. 190. ...*и без шапки-мурmolки можно быть вполне русским...* — Некоторые славянофилы считали, что возрождение национальных начал предполагает и возвращение к традиционному стилю в одежде, частью чего была мурmolка — высокая шапка из бархата или парчи с меховыми отворотами.

С. 190. *Pas si bête!* — Он не так глуп! (фр.)

С. 195. *chaire à canon* — пушечное мясо (фр.)

## ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ

Автограф первой части неизвестен.

Автограф и авторизованная копия незавершенного продолжения или второй части: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 19.

Датируется 1880—1882, продолжение — второй половиной 1880-х гг. Впервые: *РВ*. 1881. № 8. С. 701—749. № 9. С. 226—269. № 10. С. 772—753. 1882. № 1. С. 94—119. № 10. С. 646—689.

Вошло в *СС* (Т. III. С. 273—481).

Печатается по *РВ* с исправлениями; продолжение печатается впервые по автографу и копии М. В. Леонтьевой: Л. 3—36 (автограф), 60—81, 82—97, 42—59 (копия М. В. Леонтьевой с авторской правкой), 37—41 (автограф), 98—113 (копия М. В. Леонтьевой с авторской правкой).

9 октября 1880 г. Леонтьев вспоминает в письме к Т. И. Филиппову о необходимости «хоть повесть Каткову как-нибудь дописать»: «а то я с июля месяца утратил было всякую способность к творчеству» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 38). И на следующий день, о том же: «беру тетрадь, повесть для Каткова: „слышал“, что она хороша; попробую... ни с места! ни эги Божией не вижу, ни строки... Кладу назад и на диван, и опять рад... Вчера молодой служитель мой заболел, я рад случаю: пошел

сам с утра хлопотать о провизии к обеду, о том, о другом, чтобы *только не писать*» (Там же. Л. 41).

23 апреля 1881 г. в письме К. П. Победоносцеву Леонтьев упомянул об отношениях с М. Н. Катковым: «он решительно отказал мне в деньгах, пока я не представлю ему начатой повести; но писать и вообще мыслить и воображать что-нибудь, *могу Вас уверить, нет никакой возможности!*» (Там же. Л. 47).

14 мая он описывал Филиппову положение своих литературных дел: «...несмотря на страшную охоту писать, не могу еще дорваться даже до катковской повести» (Там же. Л. 48). Однако всего через неделю, 23 мая, Леонтьев сообщал: «теперь летом я поздравее и очень *охочусь* писать; и даже *понемногу* пишу, но все еще *не верно...*» (Там же. Л. 52).

Основная работа над «Египетским голубем» началась в июне. 16 июня Леонтьев рассказывает Н. Я. Соловьеву: «...я <...> должен сдать к 15 июля начало повести Каткову, иначе нам будет очень плохо» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 63 об.).

7 сентября Леонтьев пишет Филиппову: «...Я теперь печатаю в „Русском Вестнике“ повесть. Я бы мог за нее получить много, потому что она велика, если бы не постоянный старый долг <...> Повесть „Египетский голубь“ причинила мне тоже много горя; нужно было кончить дело случайно начатое и *ничего общего* с моим *теперешним настроением* не имеющее; нужно было из *денежных* видов. Нужда гнала, помощи серьезной ни откуда <...> И вот я стал принуждать себя и, осилив первое неимоверное отвлечение к такому легкому и слишком пустому сюжету, теперь продолжаю рассказ не без удовольствия, тем более, что *правда воспоминаний берет свое*» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 52—53).

В письме от 24 февраля 1882 г. Леонтьев рассказывал Филиппову о том, как повесть была воспринята в Москве. «Но если бы они знали, до чего мне тяжело и противно писать такой легкой вздор! Что мне стоило — выжимать из себя этого рода поэзию, ничего общего с моим *теперешним „устроением“* не имеющую. И до чего я рад, что небольшой остаток от продажи имения дал мне возможность забыть месяца на 2—3 об этом несносном „голубе“. Никто не знает простой вещи, что эти „голуби“ дают на „харчи“...» (Там же. Л. 57).

Публикация в январской книжке *РВ* завершалась словами «Продолжение следует». Но работа была начата только летом, после того, как были написаны «Пасха на Афоне» и рецензия на рассказ Л. Толстого «Чем люди живы». «*Необходимость* (пла-

тить за квартиру и т. п.) заставляет меня снова приняться за окончание „Египетского Голубя”. Это мне очень тяжело и все, о чем я там пишу, *ничуть меня не интересует*, но... что делать... *Нельзя на улице жить!*...» — писал Леонтьев Филиппову 25 июня 1882 г. (Там же. Л. 68). А 27 июня он просил у О. А. Новиковой разрешения прийти к ней: «прочсть Вам как я взялся теперь с *Егип<етским> Голуб<ем>*. — И посоветоваться» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. №. 21. Л. 14). Ровно через два месяца Леонтьев «докладывает» Новиковой: «для Сентябрь<ской> книжки также сдал листа 2 1/2—3 „Египет<ского> Голубя”» (письмо от 21 августа; Там же. Л. 18 об.). «*Египетский Голубь*. — Сдано уже новой рукописи в Редакцию „Русск<ого> Вестн<ика>” для Сентябрьской Книжки листа 3 печатн<ых>; а на днях будет сдано еще листа 3—4. — До конца, к несчастью, еще далёко.

*Псих<ическое> действие*. — Большая радость, что надолго отделался от этой *ненавистной* для меня повести и что могу получить за вычетом 1/2 или 1/4 рублей 300 в сентябре» (письмо от 27 августа; Там же. Л. 20).<sup>1</sup>

29 августа Новикова отвечала, что ее порадовало «известие о „Голубе”» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 21 об.). «Вы *крайне несправедливы к „Голубю”*», — писала Новикова из Мариенбада 10 (22) сентября (Там же. Л. 24). Ольга Алексеевна очень высоко ценила леонтьевскую повесть, в одной из ее недатированных записок (возможно, лето 1881 г.) говорилось: «за вашего „Голубя” много простится вам грехов на *этом* и на *том* свете! А когда доведете его до конца — получите всеобщее прощение» (Ед. хр. 195. Л. 40).

Упоминания о продолжении повести есть в письме к Новиковой от 17 ноября 1882 г. (ОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 21. Л. 33) и Филиппову от 26 ноября: «Я теперь обдумываю за раз: 1) Как бы исправить для „Гражданина” 5-е письмо о „Вост<очных> делах” <...> 2) Три главы „Голубя” <...> и еще многое другое, побочное» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023.

---

<sup>1</sup> Ср. в письме Филиппову от 20 сентября 1882 г.: «Напр<имер>, теперь: „Египетский” голубь этот. Это такая ноша, такая тоска, такая *потеря времени* на второстепенную вещь, что только нужда крайняя в Катковских деньгах не позволяют мне совсем отказаться от его окончания» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 71). 29 ноября Леонтьев писал ему же: «к сентябрьской книжке я успел и „Голубя” поправить и 1 главу даже новую написать» (Там же. Л. 75).



Л. 76—77).<sup>2</sup> «...На этот раз, чтобы сдать Каткову „Голубя“, нужно не одну, а три главы новых обдумать, написать и исправить» (Там же. Л. 75).

2 декабря Леонтьев писал Каткову: «Что касается до „Египет<ского> голубя“, то понемногу и с перемирками необходимо, конечно, и его кончить. — Но я полагаю, что и Вы подобно мне самому, не особенно дорожите этим второстепенным и растянутым произведением» (РО ИРЛИ. 4751. Л. 2—2 об.).

1 января 1883 г., обращаясь к К. А. Губастову, Леонтьев сетовал: «...А так вздохнется иногда, когда подумаешь, что занимаешься Египетским Голубем, когда нужно бы продолжать то, что Вы называете „Против течения“<sup>3</sup>» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 113—113 об.).

В середине 1885 г. писатель «через посредство Ключникова <...> условился» с Катковым, что будет «кончать „Египетского голубя“ на прежних основаниях» (письмо Филиппову от 7—13 января 1886 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 11), оставил для этого труд, который получил впоследствии название «Средий европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», но вскоре редактор *РВ* переменял решение печатать продолжение романа, потому что автор «давно прервал его и читатели забыли» (Филиппову, 3 ноября 1886 г.; Там же. Л. 46).<sup>4</sup> «...Отказался бы кто-нибудь от окончания прерванной когда-то повести Толстого или Тургенева?» — с горечью спрашивает Леонтьев (Там же).

---

<sup>2</sup> В этом же письме есть и новые сетования на тяжесть последнего труда: «...статьями моими я дорожу гораздо больше; писать их не стесняюсь — наслаждение, сочинять повесть, особенно вроде „Ег<ипетского> Голубя“ — истинная мука, без прибавления! не знаю, как избавиться! Если бы дамы и молодые люди, которые хвалят эту повесть, знали, чего она мне стоит и до чего она мне надоела, они удивились бы, как можно при этих условиях продолжать ее! <...> я поневоле опять взялся насилловать свое воображение над совершенно чуждыми моей теперешней душе картинами „Египет<ского> Голубя“. Ибо если я побьюсь над ним теперь, то хоть к 15—20 декабря получу от Каткова руб. 200, а иначе? что я буду делать, не знаю!» (Там же. Л. 74—75).

<sup>3</sup> Один из вариантов названия романа «Пессимист».

<sup>4</sup> «Начал, только что немного, скрепя сердце, расписался, вдруг близится срок платить в банк 175 р., за квартиру 90. Где взять! К Каткову. „Пишу „Египетского Голубя“ — дайте вперед на банк и на квартиру, успокоюсь и скорее представлю...”

Однако в данном случае на Каткова Леонтьев обижался несправедливо. Он, хотя и принялся «очень усердно <...> кончать „Египетского голубя”» (письмо Г. И. Замараеву от 15 сентября 1885 г.; РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 722. Л. 7об.—8), сам не видел возможности окончить повесть, о чем и писал Н. Соловьеву 18 августа 1885 г.: «...не только „сочинять” новое нет уже охоты; но и к действительности собственного прошедшего относиться уж совсем не так как прежде. — Везде за поэзией видишь скрытое, уже свершившееся или назревающее действие глубокого и жестокого греха! — Если это чувство искренно <...> — не роспишешься... Этому чувству я обязан и тем, что „Египетский Голубь” не кончен. — Противно. А Катков желает и деньги дает; — но я не могу решиться. — Очень противно! И кроме статей о Церкви, вере и Государственных делах, не писал бы, конечно, если бы не беспрестанные нужды... За повествовательные вещи легче деньги дают» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1017. Л. 47 об.).

Когда редактором *PВ* стал Ф. Н. Берг, Леонтьев вновь вспомнил о незавершенной повести.<sup>5</sup> 2 декабря 1887 г. Берг пишет: «Ваш превосходный „Голубь” моя любимая вещь. Не найдете ли Вы более удобным, второй части дать другое название, чтобы не имела вида ненапечатанных обрывков и лоскутков от старой вещи. Это ничего, что действовать будут те же лица; можно сделать небольшое вступление. Впрочем предоставляю это Вашему решению. <...> Очень рад, что Вы охотитесь на „Голубя”» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 19—20). Тогда же Леонтьеву был послан аванс — 150 рублей. «Что же „Го-

---

— „Нет!» отвечает Мих<аил> Никиф<орович> доверенному лицу: не надо „Египетского Голубя”, уже читатели забыли первую половину. К. Н. слишком отстранился за эти два года от нашей редакции: пописывал и там и сям, а не у нас. Вперед ничего не дам, а если обработает что-нибудь из своих воспоминаний или матери своей, то получивши рукопись заплачу по 75 р.”. Вот и действуйте тут. И вдохновляйтесь, вопреки болезни, хоть денежными облегчениями!» (письмо к Филиппову от 9 января 1886 г.; Там же. Л. 12).

<sup>5</sup> Незадолго до этого, 21 июля 1887 г. А. Александров спрашивал в письме: «Не близится ли к концу „Египетский голубь”?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 14). Леонтьев отвечал, что не написал ни строки. «И сундук с бумагами не открывал; и подойти к нему боюсь. — Ни тени охоты» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 8 об.).

лубь"?)» — спрашивает редактор в письме от 29 декабря (Ед. хр. 87. Л. 30). «Если Вы не хотите о Тург<енева> <...> не пишете. Не хотите „Голубя“ — не надо», — продолжает Берг 9 февраля 1888 г. (Ед. хр. 86. Л. 18 об.)

23 мая 1888 г. Леонтьев писал Филиппову: «Займусь теперь по благословию „Егип<етским> Голубем“ для „Русского Вестника“ и для „Прибавления“ кн. Мещерского. Кому придется. <...> Кто ни поп, тот и батька» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 43).

20 июля Берг напоминает Леонтьеву о его намерении: «Как бы я был Вам обязан, многоуважаемый Константин Николаевич, если бы Вы прислали „Егип<етского> Голубя“!» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 13). Через 6 дней, 26 июля, он возвращается к той же теме: «Голубчик, неужели вы не можете кончить (и немного осталось) *Египетск<ий> Голубь*. — Присылайте поскорее ко мне. Очень нужно и очень приятно было бы, а мы вам тотчас же сколько надо по условию, к вашему же счастью» (Там же. Л. 15 об.).

Отправляя в 1912 г. о. Иосифу Фуделю тетради с продолжением повести, М. В. Леонтьева писала о них: «Это не окончание, но, все-таки, главы довольно интересные. Найдете ли Вы возможным их напечатать, раз окончания нет? — На всякий случай я сделала на них свои пометки; на тетрадях номера я поставила, чтобы легче было разобраться; для этого же и оттиски посылаю; но в чем состоит начало — уже не помню; хотя тогда (т. е. 30 лет назад) это начало очень нравилось. С переездом же дяди в Оптину — он не раз высказывал, что ему нет охоты писать такие пустяки и что едва ли он окончит этот рассказ. — Вот и не кончил» (письмо от 6 февраля 1912 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 20 об.).

В основу первых глав повести легли воспоминания Леонтьева о жизни в Посольстве после инцидента с французским дипломатом Дерше,<sup>6</sup> случившегося на Крите, и о его службе в Адрианополе. Затем герой — Ладнев — должен был переместиться на Дунай, в полном соответствии с леонтьевскими служебными пере-

---

<sup>6</sup> «Из французского министерства иностранных дел я получил следующую справку в письме от 30-ого августа 1967 г.: материалы о Дерше (Derché) хранятся в (1) *Correspondance politique des consuls, Turquie, La Canée*, vol. 4 et 5; (2) *Correspondance commerciale, La Canée*, vol. 28; (3) *Correspondance politique, Grèce*, vol. 86, 87, 88» (Иваск Ю. Неизданный Леонтьев // *The Religious World of Russian culture*. 1975. Vol. II. P. 237).

движениями (ср. с. 196); свои воспоминания он создает уже будучи в отставке. Фрагменты дневника Ладнева 1879 года (с. 372—376) подчеркнута автобиографичны и отражают настроения Леонтьева конца 1870-х — начала 1880-х годов («блаженство в равнодушии» и т. п.). Некоторые детали (с. 374) навеяны кудинновскими впечатлениями.

«В 64-м году (после ссоры моей с Дерше) я прожил 4 месяца при Посольстве; и условия были такие скучные и неприятные, что даже красота К<он>с<тантино>п<о>ля, поражая мои глаза, на душу ничуть не действовала» (письмо Губастову от 19 ноября 1888 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 172—172 об.). Несколько по-другому Леонтьев вспоминал Константинополь в письме Н. Н. Страхову от 19 ноября 1870 г. (речь здесь идет уже о впечатлениях 1867 года): «Наше Посольство и наше Генеральное Консульство в Царьграде — это точно две обширные фаланстерии, в которых живут вблизи друг от друга самые разнообразные люди; там вы можете встретить и ученого и вместе с тем почти святого человека, как Архимандр<ит> Антонин, и диякона демагога, который говорит, что всех дворян надо на осину и певчих молодых людей разного личного оттенка; бедных консерваторов и бедных нигилистов, богатых консерваторов и богатых нигилистов, увешанных орденами. — Светских людей с военным оттенком, с оттенком Печорина, с оттенком Астахова (в Затишье), с оттенком Петра Ивановича Адуева, примененного к 60-м годам и т. д. Дам разных. Игнатьева сама две капли воды Татьяна Пушкина во 2-м периоде. — Только муж молодой и она его любит. <...> Приезжают иногда генералы, писатели, художники, — поклонники в Иерусалим. — Консулы даже и янычары их очень разнообразны. — Лишь бы уметь наблюдать то, что видишь» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 34—35).

Летом 1864 г. Леонтьев был назначен секретарем Адрианопольского консульства, во время двух продолжительных отпусков М. И. Золотарева он самостоятельно управлял консульством. Золотарев, служивший в Адрианополе с 1862 г., стал в «Египетском голубе» прототипом консула Богатырева. Губастов, назначенный в августе 1867 г. секретарем консульства вместо уезжавшего в Тульчу Леонтьева, писал о своем начальнике: «Михаил Игнатьевич Золотарев, сын довольно зажиточного Тульского помещика, воспитывался в Лазаревском Институте и прошел через Учебное Отделение восточных языков. Пробыв некоторое время студентом Посольства и 3-м Секретарем Посольства, он довольно быстро получил пост Консула» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 31).

Драгоман консульства в Адрианополе Эммануил Сакелларио послужил прототипом Михалаки Канкелларио. (См. также Т. 3. С. 740—741.) (В первых главах «Египетского голубя» фамилия писалась через одно «л», в последующих — через два, унифицировано по последнему варианту.)

Европейские дипломаты и турецкие чиновники, ставшие прообразами других действующих лиц «Египетского голубя», а также сам характер службы в Адрианополе описаны в мемуарах Губастова.

«В Адрианопольском округе не было ни одного истинно русского, а проживало около 100 русско-подданных из местных греков, армян и болгар, превратившихся из турецких подданных в русские самым легким способом, а именно: покупкою в одном из портовых городов Черного Моря русского паспорта без всякого соблюдения требуемых законом формальностей <...> Турецкие власти, возмущенные подобным наглым издевательством над ними их же вчерашних подданных, не признавали, конечно, их нового подданства и в официальной переписке по их делам с Посольством или с Консульством выражались обыкновенно: „такой-то, выдающий себя за русского подданного“, но тем не менее обращались с ними иначе, чем с прочими местными жителями, а Посольские и Консульские драгомены, не взирая на сомнительное подданство их клиентов, добивались нередко в турецких судах решений в их пользу.

Связь этих лиц с Россией ограничивалась только возобновлением, и то весьма неисправным, своих просроченных паспортов. Никаких других обязанностей подданства они не несли <...> Генерал Игнатъев смотрел однако на них довольно благосклонно, как на некоторое оружие, которым можно раздражать турок» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 31 об.—32).

«Адрианополь, построенный Императором Адрианом, бывший целое столетие столицею Султанов, не играл потом большой роли ни политической, ни коммерческой, вследствие своего невыгодного географического положения. Будучи Резиденциею Вали (Генерал-Губернатора) он имеет значение крупного административного пункта. Довольно обширный, разноплеменный, грязный, восточного характера город, ничем не примечателен. Старого в нем только развалины бывшего дворца Султанов, Эски-Сарай и мечеть Султана Селима. В мое время существовал еще красного цвета турецкий дом, в котором был подпиан Адрианопольский мир в 1829 г. Есть крытый, наподобие Константинопольского, базар, на котором продают плохие австрийские товары. В 50-х и 60-х годах XIX столетия адрианопольцы стали богатеть, благодаря успешно развившемуся там шелковичному производству, но это благополучие продолжалось не-

долго. <...> В мое время обедневшие уже чорбаджи (приматы) перибивались кое-как при помощи виноделия и отправки в Европу пшеницы и табака.

Турецкие беи более или менее крупные землевладельцы держали себя в стороне от христиан и европейцев; роль их ограничивалась только оппозициею, которую они по временам делали Генерал-Губернатору, посылая на него жалобы в Порту <...>

Греческие, армянские и болгарские разжившиеся торгаши составляли общество, с которым водили знакомство европейские агенты. К ним же нужно еще прибавить 3—4 семейства богатых левантинцев католиков Badetti и Vernazza, итальянских выходцев, но совершенно огреченных.

Европейских Консулов было немного — Английский Blunt, Французский — Courtois, Австрийский Камерлохер и Греческий Логотети, а потом Метакса. Все они были типичные мелкие восточные агенты, главною задачею которых (кроме греческого) было поддерживать турецких властей, льстить им, ухаживать за ними, отчасти ради личных своих выгод, и колебать, насколько возможно, в глазах христиан влияние Русского Консульства.

Blunt самый из них ловкий, страстный и беззастенчивый, проводил целые дни у турок, в мелких интригах, знал все дела в местных судах и охотно в них вмешивался. Он родился в Смирне, отлично владел местными наречиями и в Лондоне считался таким знатоком турецких дел, что был прислан в 1876 г. на Константинопольскую Конференцию Послов, в помощь Лорду Салисбюри, в качестве сведущего человека. Жена его, также Левантинская англичанка Miss Sanders, умная и довольно красивая женщина, весьма сомнительной нравственности, занималась в свою очередь политикою, и устраивала гаремными путями разные темные дела. С Блонтами жила сестра его, Miss Lucie, очень милая и красивая девушка итальянского типа <...>

О французе Courtois можно только сказать, что он был совершенное ничтожество. <...>

Довольно странен был Австрийский Агент Камерлохер. Ганзе-ец по рождению, неизвестно ради чего поступил адъютантом к Мирославскому и затем перешел на австрийскую службу. Сознавая, что он карьеры не сделает, он старался как мог обеспечить многочисленную свою семью и занимался гешефтами с турками и австрийскими жидами. Осуждая громко Блунта [sic], он был на самом деле его прихвостнем. <...>

Генерал-Губернатором был престарелый Хуршид-Паша <...> Администратор он был неважный, но, пройдя школу Фуада, он

понимал, что нельзя более потворствовать зверствам и жестокостям мусульман, и в разговорах с иностранцами следует восхвалять торжественно обещанные Турцией на Парижском конгрессе реформы и предвещать их осуществление» (Л. 38—39 об.).

Картинка дипломатического Адрианополя через год после отъезда Леонтьева передана Губастовым в письме от 12 октября 1868 г.: «Скука, монотонность, и наконец пошлость превосходят все границы возможного. Blond пишет пасквили на Греческого Консула, Метакса кляузничает (à la lettre) на Блонда; Камерлохер пьянствует и дерется с встречным-поперечным <...> И с этими людьми я должен проводить свое время!... Чтобы окончательно не опозлиться в этой среде, я запер свои двери и кроме Манолаки<sup>7</sup> (относительно — истинного джентльмена) никого к себе не впускаю. <...> С М-те Blond — мы никак не можем сойтись...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 48).

С. 196. ...пошли это К. Н. — Вероятно, Константину Николаевичу; таким образом Л. указывает на реальность главного лица повести и невымышленность рассказанных им событий.

С. 197. ...из казачьего полка Садык-паши... — Могаммед Садык-паша (Михаил Станиславович Чайковский; 1808—1886), польский писатель, участник польского восстания 1831 г., эмигрировал в Париж, в 1851 г. поступил на турецкую службу и принял ислам. В 1853—1856 гг. во время Восточной войны он возглавлял полк султанских казаков в Добрудже, а в 1867 г. подавлял национальное движение в Болгарии. Был лично близок к султанам Абдул-Меджиду и Абдул-Азизу. В 1873 г., принеся повинную русскому правительству, вернулся в Россию и перешел в Православие. Покончил с собой в своем поместье в Черниговской губернии. На русском языке издавались его повести и воспоминания. Воспоминания Садык-паши (Чайковского) об Адрианополе см.: РС. 1900. № 12. С. 721—744.

О прибытии кавалерийского полка в Адринополь Л. сообщал в донесении от 1 июня 1865 г. (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 283—284). Губастов вспоминал о казаках Садык-паши: «...1500 рядовых и 30—40 офицеров, преимущественно беглых поляков. Солдаты были всякий сброд: поляки, русские дезертиры, венгерцы, сербы и болгары. В половине 1867 года ее перевели из Добруджи в Адринополь, а в начале 70-х годов после поражения Франции, польские

---

<sup>7</sup> Э. Сакелларно.

эмигранты, не имея более точки опоры, не только присмирели, но стали искать случая вернуться домой» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 35 об.).

Польская тема должна была играть большую роль во второй части «Египетского голубя». В нескольких мемуарных произведениях Л. рассказывал о своем общении с офицерами Садык-паши. По-видимому, после 1867 г. такое общение было уже затруднительно. Ср. у Губастова: «С Садык Пашою, с его дочерью и зятем я встречался у моих иностранных коллег, обменивался с ними приветствиями и несколькими фразами, но визитов им не делал, прочих польских офицеров совсем не знал и видел их только на улице, потому что они ни в общество, ни в наш маленький клуб, где мы собирались по вечерам, не ходили» (Там же. Л. 36 об.). Да и во время службы в Адрианополе Леонтьева сближение с поляками, конечно, не приветствовалось. Ср. в недатированном письме М. И. Золотарева из Буюк-дере (1867?): «Прочитав в «*Courcier d'Orient*» и «*Le voix [de] Hellade*» о Вашем присутствии на Польском празднике, Игнатъев остался несколько недоволен...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 32). Характерна в этом отношении история оскорбления Золотарева польским офицером Терлецким. 3 ноября 1867 г. Губастов писал Леонтьеву: «Вы знаете, что случилось недавно в Адр<иано>п<ле>? Золотарев был оскорблен публично, на гулянье, каким-то поляком (офицером турецких драгун) и не желал требовать от него удовлетворения, как простой гражданин, обратил это дело в государственное: написал Паше резкую ноту...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 29 об.). 13 ноября Губастов уже посылает Леонтьеву статью «*Courcier d'Orient*» об этой истории и сообщает, что Золотарева переведут из Адрианополя (Там же. Л. 32). См. также его мемуары (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 30 об., 35—36 об.) и воспоминания Садык-паши (РВ. 1900. № 12. С. 741—742). Легко представить себе леонтьевский вариант поведения в подобной ситуации.

С. 198. ...в Буюк-Дере. — Предместье Константинополя на берегу Босфора, где жили европейские дипломаты. «Русское Посольство еще в конце XVIII в., в 1782 году, купило себе для летнего пребывания у обанкротившегося англичанина Баркера за 28 000 пиастров хороший дом с большим и великолепным садом у самого почти выхода в Черное Море, в дер. Буюкдере. С конца мая до половины октября весь персонал Посольства с драгоманами проживают там <...> на Босфоре можно гулять по прекрасным набережным; поездки верхом по окрестным горам или в Белград-



ском лесу доставляют истинное удовольствие; прогулки на каиках, в тихую погоду или в лунную летнюю ночь, не лишены ни прелести, ни поэзии» (*Губастов К.А. Мемуары // РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 30*).

С. 198. ...ждали со дня на день нового посла... — Николай Павлович Игнатъев (1832—1908) прибыл в Константинополь 22 августа 1864 г.

С. 198. ...советница, жена поверенного в делах. — Мария Николаевна Новикова (ср. на с. 209 — мадам Н.) (рожд. Титова; 1842—1901), жена Евгения Петровича Новикова (1826—1903), дипломата, историка, государственного деятеля. Поверенным в делах Е. П. Новиков был с 1863 до приезда в Константинополь Н. П. Игнатъева, после чего получил назначение посланником в Афины.

С. 198. *Архимандрит* — настоятелем посольской церкви в Константинополе в 1864 г. был архимандрит Антонин (в миру Андрей Иванович Капустин; 1817—1894). См. отзыв о нем Л. на с. 840.

С. 200. *Блуменфельд* — у этого героя, вероятно, несколько прототипов. Один из них — Алексей Михайлович Кумани (1833—1897), первый секретарь посольства в Константинополе, позднее служивший в Париже и Белграде. Губастов вспоминал о нем: «...он был моим первым начальником и наставником. Он отлично знал все дела, превосходно писал по-русски и по-французски, работал усердно и с любовью. Склад ума его был саркастический, и он любил при всяком случае иронизировать» (*РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 17 об.*). Последняя черта отмечена Л. в эпиграмме-акrostихе (*Киприан (Керн), архим.* Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 12). (Письма А. М. Кумани к Л. см.: *ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 165.*) В то же время в образе Bluменфельда нашли отражение некоторые черты М. А. Хитрово (см. прим. на с. 846—847): та же склонность к сарказму и сам характер отношений с Л. (ср. с более поздним письмом к нему Л.). Фамилию на —фельд (ср., как она обыгрывается в тексте, с. 239) носил другой секретарь посольства — Сергей Карлович Мюльфельд (1836—1889). Губастов называл его «озлобленным». «Он пробыл в Константинополе лет 10, ничем не занимаясь и ведя изо дня в день только светскую жизнь. <...> Ухаживание за женщинами, игра на фортепьяно, салонный *persiflage* и охота наполняли всю его жизнь» (*РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 26—26 об.*). Что касается А. М. Кумани, то он некоторыми свойствами своего характера

напоминает еще одного героя «Египетского голубя», Несвицкого, о котором см. в следующем примечании.

С. 200. ...*другой наш товарищ, камер-юнкер, франт ~ до невозможности скучный.* — Характеристика этого героя (ср. с. 236) позволяет предположить, что одним из возможных его прототипов стал А. М. Кумани. Ср. в воспоминаниях П. Д. Паренсова, познакомившегося с Кумани уже в 1880 г.: «Обладая феноменальной памятью, Александр Михайлович был интереснейшим рассказчиком, но рассказывая, повергал своих слушателей в трепет тем, что часто, по поводу какого-нибудь выражения, слова или высказанной мысли, уклонялся в сторону от предмета повествования, и все боялись, что, увлекшись, ему не удастся вернуться к первоначальной теме; но ничуть не бывало...» (Паренсов П. Д. Из прошлого. В Болгарии (Воспоминания офицера главного штаба) // РС. 1908. № 2. С. 266). Кроме того, возможно, Л. придал этому герою некоторые черты Владимира Александровича Теплова, секретаря посольства в Константинополе, позднее делопроизводителя в Министерстве иностранных дел, генерального консула в Нью-Йорке; литератора.

С. 200. ...*прозвал его ~ «вестовым»...* — Вестовой — солдат, посылаемый с поручениями к начальству.

С. 201. ...*завтракать в Бельвю?* — Завтраки русских дипломатов в гостинице «Бельвю» упоминает Ю. С. Карцов в книге «Семь лет на Ближнем Востоке» (СПб., 1906. С. 4).

С. 201. *Pardon, chère maman!* — Простите, милая мамочка! (фр.)

С. 201. *Ingénuel!..* — Простушка!.. (фр.)

С. 201. *Молодой человек! (Так любил он звать меня, хоть сам был еще года на три моложе меня.)* — Стиль общения, свойственный М. А. Хитрову (см. о нем ниже).

С. 202. *Grande rue de Péra* — главная Персая улица (так называет ее Л. в «Одиссее»); Ставро-дрома (Крестовая улица) по-гречески. См. Т. 4. С. 341.

С. 202. *К швее-то ты не заходи...* — неточная цитата из «Женитьбы» Н. В. Гоголя («Ты к швее-то не заходи...», д. I, явл. X).

С. 202. ...*одно столкновение с иностранцем...* — См. с. 839.

С. 203. *М. Х—в* — этому персонажу Л. дает инициалы своего друга детства Михаила Александровича Хитрова (1837—1896). Дипломат и поэт, Хитров ко времени приезда Л. на Восток был первым секретарем русского посольства, затем генеральным консулом в Константинополе, позже посланником в Румынии, Португа-

лии, Японии. Некоторые черты его характера Л. воспроизводит в образе Благова в «Одиссее Полихрониадесе» (см. Т. 4. С. 946; в «Египетском голубе» Ладнев говорит о «янинском консуле Благове», что был с ним «на ты» и «знаком с детства»). Однако в «Египетском голубе» черты Хитрово угадываются скорее в образе Blumenфельда, а за М. Х—м стоит Михаил Константинович Ону (1835—1901; см. о нем Т. 4. С. 964, 1029—1030).

С. 203. *Драгоман* — переводчик при посольстве. М. К. Ону стал вторым драгоманом в 1865 г.; позднее много лет занимал должность первого драгомана.

С. 203. *...молодая, умная и очень милая жена.* — Луиза (Елизавета) Александровна Ону (ум. в 1906), жена М. К. Ону с 1865 г. Ср. с. 212: «предоставляю это Елене Х.» См. подробнее прим. на с. 849.

С. 203. *...«модные» рассказы в «Современнике» покойного Панаева.* — Речь идет о популярных в 1840—1850-х гг. рассказах и очерках И. И. Панаева, печатавшихся в журнале «Современник» и отличавшихся обилием бытовых подробностей.

С. 205. *...как ловко острит по-французски один русский генерал.* — Возможно, известный своим остроумием генерал Дмитрий Николаевич Богуславский (1829—1893), первый драгоман посольства, о котором рассказано в мемуарах Губастова (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 27 об.—28 об.). Тот же Губастов в письме к Л. от 12 сентября 1867 г. приводил стихи М. А. Хитрово: «Хитрово просил меня послать Вам его акростих на Богуславского, который он поднес Генералу, на другой день получения им ордена Изабеллы Испанской. Вот он:

Бездной знаний филологии,  
Он в сраженьях щеголял,  
Генерал наш, как немногие  
Ум остреньем изоощрял.  
Сыплет ныне остроумие  
Людам в диво, здесь и там;  
Алкоран и вольнодумие —  
Все мешая пополам.  
Свой глагол нигилистический  
К небу шлет он, словно гром,  
Изабеллы Католической  
изукрашенный крестом»

(ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 26). Это стихотворение Губастов привел и в своих мемуарах (РО ИРЛИ. Ф. 212.

Ед. хр. 17. Л. 28). Кстати, Л. точен даже в деталях — у Богуславского была рыжая борода. «Наружность его была типическая. Среднего роста, с необыкновенно маленькими светло-серыми живыми глазами и длиною рыжею бородою, он имел походку и все приемы человека нервного, энергичного. Прямого, открытого несколько дерзкого характера, умный, но крайне поверхностный он совсем не сошелся с своим начальником, а напротив, сделался большим туркофилом и преклонялся перед умом и талантами турецких сановников, особенно Аали и Фуада Пашей, с которыми был приятель. <...> Богуславский был вольнодумец и очень громко и с плеча решал метафизические и религиозные вопросы» (Там же. Л. 27 об.—28).

С. 205. *Перотка* — обительница константинопольского предместья Пера, где находились посольства, гостиницы, торговые конторы европейцев. Жители Перы представляли собой «потомков итальянцев, далматинцев, французов, датчан и др. приехавших в разное время в Константинополь искать счастья или окончить какое-нибудь дело, и навсегда оставшихся в Турции, с сохранением своего иностранного подданства.

Третье или четвертое поколение всех этих Pisani, Franchini, Timoni, Kiriko, Caporal, Durand, Fonton, Privilegio <...> и проч. *проживает* в Пера, полузабыв о своем происхождении и находясь на службе Англии, России, Италии, Бельгии в качестве драгоманов, банкиров и Консулов» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 29).

Перотки, по воспоминаниям Губастова, не уступавшие парижанкам «умением одеваться и болтать в гостиных», составляли «главнейший контингент местных дам на посольских вечерах и обедах». В 1860-х годах первыми красавицами среди них считались г-жи Флори, Дюран, Фабрици, Страт (Там же. Л. 29 об.).

С. 205. «*Mon général, vous portez un phare dans votre barbe!*» — «*Pourvu, madame, que je n'en aie pas sur la figure (du fard)*»... — «Генерал, вы носите маяк в своей бороде!» — «Лишь бы, сударыня, я не имел его на лице» (фр.). (Генерал играет созвучием слов phare — «маяк» и fard — «румяна».)

С. 206. *Ma femme n'est après tout qu'une jeune fille!* — В конце концов, моя жена всего лишь девушка! (фр.)

С. 207. *Madame Antoniadì, tout court...* — Мадам Антониади, всего-навсего... (фр.)

С. 207. *et qu'elle a l'air très distingué...* — И что у нее весьма изящный вид... (фр.)

- С. 207. *distinguée* — изящная (фр.)
- С. 208. ...она была иностранка ~ выросла в высшем петербургском обществе... — Л. А. Ону (рожденная Пети де Баранкур) была приемной дочерью известного дипломата барона А. Г. Жомини (1821—1888) и его супруги М. О. Жомини.
- С. 209. *Во время этих сирийских ужасов...* — Имеются в виду столкновения между друзьями и маронитами (см. ниже) в 1860 г.
- С. 209. ...*Фуад-паша приехал...* — Фуад-паша (1814—1869) — турецкий государственный деятель и писатель, в 1860 г. в качестве комиссара содействовал восстановлению мира и порядка в Сирии, прибегая для этого к весьма решительным мерам.
- С. 210. ...*борьбы между друзьями и маронитами...* — друзья — арабская народность Сирии и Ливана, в религиозном отношении составляющая одну из крайних шиитских сект мусульманства; марониты — приверженцы маронитской христианской церкви, сложившейся в V—VII в. Раздоры между ними начались в 1840-е годы и привели к кровавым столкновениям в 1860 г. Л. неоднократно упоминал о вражде друзов и маронитов и о событиях 1860 г. в своих восточных повестях и романе «Одиссей Полихрониадес» (Т. 3. С. 97. Т. 4. С. 393, 435, 720).
- С. 211. *tout court* — всего-навсего (фр.)
- С. 211. *Ecoutez* — Послушайте (фр.)
- С. 212. *C'est très curieux!* — Это очень интересно! (фр.)
- С. 212. *Les variations insolentes de la politesse* — Оскорбительные различия в соблюдении учтивости (фр.); источник цитаты не установлен.
- С. 212. *variations* — различия (фр.)
- С. 212. ...*посланицу, леди Б. ...* — леди Бульвер, жену английского посланника в Константинополе лорда Генри Бульвер-Литтона (1805—1872) (см. Т. 4. С. 981).
- С. 212. *portier* — портье, швейцара (фр.)
- С. 214. *un primat russe* — зд.: первое лицо среди русских (фр.)
- С. 214. *Elle est très bien, quoique un peu prétentieuse, un peu précieuse...* — Она очень мила, хотя немного претенциозна, немного жеманна... (фр.)
- С. 215. ...*в каких-то белых летних сюртуках...* — Ср. Т. 4. С. 982.
- С. 216. ...*у нашего казначея Т., добродушного толстого грека-католика.* — Вероятнее всего, Тимони; его Л. упоминает в письме к жене: «Да Господин Тимони в Буюк-Дере может

быть даст тебе еще 100 — или 120 рублей» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 9 об.). Эту фамилию упоминает и Губастов (см. с. 848).

С. 216. *ce diable de Stoyanoff!* — этот дьявол Стоянов! (фр.)

С. 217. ...редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». — Во время раскопок древнеримского города Помпеи, начавшихся в середине XVIII в., были обнаружены многочисленные живописные изображения и произведения малой пластики эротического характера. Со временем эти находки были выделены в особую коллекцию, которая вначале называлась «Cabinetto degli oggetti riservati»; в 1860-е годы она была каталогизирована знаменитым археологом Дж. Фиорелли и получила название, под которым известна и сегодня, — «Raccolta Pornografica». См.: *Fiorelli G. Catalogo della Raccolta Pornografica. Naples, 1866; Barre M. L. Herculaneum et Pompéi. Recueil Général. Vol. VIII (Musée Secret). Paris, 1862.* Возможно, второе из этих изданий и есть то, что имеет здесь в виду Л.

С. 217. ...благородные демоны Мильтона и Лермонтова... — Подразумевается образ Сатаны в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай» и образ Демона в одноименной поэме М. Ю. Лермонтова.

С. 219. *Ex ungue leonem!*.. — По когтям <узнают> льва!.. (лат.)

С. 219. Янинский консул Благов... — Л. вводит в повествование героя своего романа «Одиссей Полихрониадес».

С. 219. ...цвету *Bismark*... — в письме Губастову от 26—31 мая 1888 г. Л. упоминает о своем костюме 1867 г.: «сюртучёк цвета Бисмарк, Парижский красный шарф <...> и белые трико-вые панталоны» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 156). Бисмарк — см. прим. на с. 914.

С. 220. ...маленькой «Тамани»... — пароход, принадлежавший русскому посольству в Константинополе. См. Т. 3. С. 86, 730.

С. 220. *Un certain Antoniadı Chiote ~ comme en sot!* — Некий Антониади, хиосец. Славный человек, в сущности, но англоман до нелепости (фр.)

С. 220. *Possedant du reste une femme ~ je veux bien l'espérer!* — Имеющий к тому же жену, хорошенькую женщину, о которой вы мне сообщите что-нибудь интересное, хотел бы надеяться! (фр.)

С. 221. ...не черных, а белых евнухов... — Черные евнухи, в отличие от белых подвергались полной кастрации.

- С. 221. *Kызлар-агаси* — старший евнух (тур.).
- С. 222. *Chiote; bon homme, quant au fond...* — хиосец, славный человек, в сущности... (фр.)
- С. 223. *C'est le ministre, taman? c'est le ministre?..* — Это посланник, мама? это посланник?.. (фр.)
- С. 223. *Mon gros cousin est tout essoufflé, je suppose...* — Мой толстый кузен совсем запыхался, мне кажется... (фр.)
- С. 224. *le ministre* — посланник (фр.)
- С. 224. ...жена очень молодая ~ маленький сын... — Екатерина Леонидовна Игнатъева (1842—1912). Губастов вспоминает Е. Л. Игнатъеву, рассказывая о 1866 году: «Екатерине Леонидовне шел всего 24-й год; у нее уже было двое детей; она была в полном расцвете своей долго длившейся красоты <...> Все мы были в тайне ее почтительными поклонниками» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 14). В 1864 г. у Игнатъевых был еще только сын Леонид.
- С. 225. *Что такое истина?* — спросил я, как Пилат... — Римский наместник в Иудее Понтий Пилат задал этот вопрос Христу (Ин. 18: 38).
- С. 225. *Пирронизм* — скептическое мирозерцание, основателем которого был древнегреческий философ Пиррон из Элиды (ок. 365 — ок. 274 до н. э.).
- С. 227. *Finita la comedia!*.. — Комедия окончена!.. (итал.)
- С. 228. *La simplicité* — Простота (фр.)
- С. 228. ...великого голландца Петра... — Русский царь Петр I в 1697 г. отправился с Великим посольством в Западную Европу и некоторое время провел в Голландии, где работал на верфи плотником.
- С. 228. ...когда Бёкингам представлялся Лудовику XIII... — Джордж Вильерс Бекингом (1592—1628), герцог — английский политический деятель, министр при Якове I и Карле I Стюартах; Людовик XIII (1601—1643) — король Франции с 1610 г.
- С. 229. *Сак-пальто* — широкое и длинное пальто; см. Т. 4. С. 776, 1026.
- С. 229. ...безобразная мода!.. Это — смерть, это траур!.. — См. Т. 4. С. 569, 1016.
- С. 229. *Mais c'est de la vraie poésie! Monsieur est poète!* — Но это настоящая поэзия! Сударь — поэт! (фр.)
- С. 230. ...сухость единоверцев наших в любви. — Этой темы Л. коснулся в повести «Аспазия Ламприди» и в романе «Одиссей Полихрониадес».

С. 230. ...аскетического романтизма Тогенбурга ~ «ангел красоты отворял окно своей кельи»... — Имеется в виду баллада Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург» (1797), переведенная В. А. Жуковским. «И душе его унылой / Счастье там одно: / Дождаться, чтоб у милой / Стукнуло окно, / Чтоб прекрасная явилась, / Чтоб от вышины / В тихий дол лицом склонилась / Ангел тишины».

С. 230. Альфред де Мюссе (1810—1857), французский писатель.

С. 230. ...«когда мне были новы все впечатленья бытия». — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон» (1823).

С. 231. ...несчастной Анны Карениной и благородного Вронского... — Время написания Ладневым в деревне своих воспоминаний (1875 г.) совпадает с началом публикации в *PВ* романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Из многочисленных отзывов Л. об этом произведении приведем фрагмент из его письма Губастову от 22 февраля 1877 г.: «В литературе ничего особенно нового. — „Анна Каренина“ продолжается; но Толстой немножко обманул мои ожидания; — продолжение не так хорошо, как 1-я половина; все верно, все прекрасно, — все картинно, — но как-то блёкнет все теперь; — нет того блеска и силы, которыми отличалось все до отъезда Вронского с Анной за границу» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 57).

С. 232. *abandon* — непринужденности (фр.)

С. 232. *Ah! c'est bien drôle!* — Ах! это очень странно! (фр.)

С. 233. *entendons-nous* — условимся (фр.)

С. 234. ...вице-консул наш в Варне, просто Петров. — Ср. в «Одиссее Полихрониадесе» (Т. 4. С. 368).

С. 234. *Панславист* — см. Т. 4. С. 977—978.

С. 235. *Ее имя было Милена!* — см. Т. 4. С. 953.

С. 235. *l'irrésistible boyard russe Wenceslas...* — неотразимый русский боярин Вячеслав... (фр.)

С. 236. ...про знатное родство и генеалогию его супруги... — Е. Л. Игнатьева — рожденная кн. Голицына.

С. 236. ...у Мартенса, Валлата, Пинейро-Феррейро... — Карл фон Мартенс (1790—1863), барон, немецкий юрист, известный трудами в области международного права, автор пособий и руководств для подготовки дипломатов или Георг Фридрих фон Мартенс (1756—1821), дипломат, профессор международного права; Никколо Валлата (Валлетта) (1738—1814), итальянский юрист; Сильвестре Пингейро Феррейро (1769—1846), португальский дипломат и философ, автор трудов по дипломатике и праву. См. также Т. 4. С. 1002—1003.



- С. 236. *Voilà! — Довольно!* (фр.)
- С. 236. ...*профиль камеи...* — Каменя — гемма (резной камень) с выпуклым изображением; женские профили на античных камнях отличались изяществом и правильностью очертаний.
- С. 237. *Когда союзные войска взяли Пекин и Китайский Император, как известно, бежал в Монголию...* — В 1860 г. в ходе т. н. второй «опиумной» войны англо-французские войска заняли Пекин и разрушили летний императорский дворец Юаньминъюань; Император И Чжу (Сяньфын) отказался от сопротивления и бежал. Н. П. Игнатъев в это время был посланником в Китае, ему удалось спобствовать скорейшему удалению союзных войск и 2 ноября 1860 г. заключить выгодный для России Пекинский договор.
- С. 238. *Je demande une reparation éclatante!* — Я требую полного удовлетворения! (фр.)
- С. 238. «*Български чѣтанки*» — «Болгарские хрестоматии» (болг.).
- С. 240. ...*картинки в кипсеке.* — Кипсеком в первой половине XIX в. назывались издания, богато иллюстрированные гравированными изображениями.
- С. 241. ...*про химика Тенара и про герцога Орлеанского?* — Луи Жак Тенар (1777—1857), французский химик; Фердинанд, герцог Орлеанский (1810—1842), наследный принц.
- С. 243. *Свеж и душист твой роскошный венок...* — первая строка стихотворения А. А. Фета (1847).
- С. 244. *Seul, avec sa pensée!* — Один, со своей мыслью! (фр.)
- С. 245. *seul, avec une pensée...* — один с одной мыслью... (фр.)
- С. 245. ...*на Принцезы острова.* — Острова в Мраморном море; см. прим. на с. 826.
- С. 245. *Паликар* — храбрец, молодец.
- С. 245. *Et vous n'êtes qu'un triste européen!* — А вы всего лишь жалкий европеец! (фр.) См. Т. 3. С. 747.
- С. 246. *misérable!* — негодяй! (фр.)
- С. 247. ...*так много писали в греческих газетах...* — вероятно, автобиографическая деталь.
- С. 247. *c'est inouï* — это неслыханно (фр.)
- С. 247. *c'est souverainement immoral ~ de prêcher...* — это в высшей степени безнравственно, что имеет смелость проповедовать этот молодой человек... (фр.)
- С. 247. *Собирайтесь непременно завтра в Адрианополь.* — Назначение секретарем в Адрианополь не было для Л. столь же неожиданным, как для Ладнева. В августе 1864 г. он писал жене на Крит: «Через две недели приедет Игнатъев и сейчас все решит-

ся — куда нас назначат. — В Адрианополе нет секретаря и я буду проситься туда или в Петербург» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 5 об.—6).

С. 247. *Консул Богатырев ~ необходимо сейчас ехать в отпуск.* — см. с. 840.

С. 248. *Держите русское знамя высоко...* — По-видимому, подлинные слова Н. П. Игнатьева. Ср. в письме к Н. Н. Страхову от 16 июля 1875 г. Л. приводил слова Игнатьева о нем: «Игнатьев тоже еще в Турции думал об этом, выражаясь очень лестно: „что никто теперь с такой силой и жаром не умеет держать знамени Православия и Царизма, как я”» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 48 об.).

С. 248. *voies de fait* — насильственным действиям (фр.)

С. 249. *Хан* — постоянный двор в Турции.

С. 249. *Сажалка* — пруд для разведения рыбы.

С. 249. *...в заброшенном и опустелом дедовском имении ~ куст черемухи...* — Л. вспоминает здесь пруд в Кудинове (имение в Мещовском уезде Калужской губернии). С этой сажалкой он сравнил себя в письме к Вс. С. Соловьеву от 22 июля 1879 г., говоря о своем одиночестве в литературе: «Я могу быть прав в задаче, в замыслах; в принципе; — но вместе с тем я могу вспомнить пословице: „Дорого яичко в Христов день!” Иванушка-дурачок восклицал все правильно: и за здоровье и за упокой — да не вовремя и его за это били. — Может быть, и я такой Иванушка? <...> У меня в саду есть островок посреди сажалки; прежде был тут плотик и на острове росли цветы. — Теперь по безденежью и мостков не сберусь все поставить; — на острове, однако, каждый год цветут цветы, черемуха цветет в мае; и никто не срывает цветов и не обоняет их запаха; — пройти нельзя и они чуть-чуть видны даже из-за кустов.

Но ведь от того, что я мостков не строю — черемуха не хуже пахнет и цветы другие не менее красивы?..» (РГИА. Ф. 1120. Ед. хр. 98. Л. 25—25 об.).

С. 250. *...как «мимолетное виденье»...* — цитата из стихотворения Пушкина «К\*\*\*» («Я помню чудное мгновение...», 1825).

С. 251. *...на этот «цветной диван» и «в дыму кальяна»...* — источник цитаты не установлен.

С. 252. *terre de Sienne brulée* — жженой сиены (фр.)

С. 253. *Кавасс* — телохранитель при консуле или другом официальном лице.

С. 254. *Михаль-Кэпрю* — мост через р. Тунджа, соединяющий западные районы Адрианополя — Ильдирим и Ортай Имерети.

С. 254. ...шубке, крытой голубым сукном. — Л. вводит здесь автопортретную деталь; ср.: «...На мне была меховая шубка русского покроя (как дубленка или как поддевка со сборками сзади). Она была покрыта светло-синим, почти голубым сукном, и весь город, я думаю, ее знал...» (СС, IX, 354).

С. 255. Чобан-оглу — прототипом этого героя послужил, вероятно, доктор Найденович, упоминавшийся в донесениях М. И. Золотарева и Л. из Адрианополя.

С. 255. ...Адрианопольская губерния. Филиппопольская губерния... — Называя губерниями эти турецкие области (вилайеты), герой выражает свое желание видеть их в составе Российской Империи. Ср. с донесениями Л. от 4 апреля 1867 г.: адрианопольские старшины заверили Л., «что они с нетерпением будут ждать европейской войны, пользуясь которой, Россия, может быть, займет войсками все пространство от Дуная до Босфора. — Этого исхода они будут ждать, как благодетания, и всякому другому покорятся только, как горькой необходимости» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 109 об.). «...Фракия и Македония, как страны смешанные и прилегающие к Константинополю, будут неизбежно театром ожесточенной борьбы не только между турками и христианами, но и между греками и славянами. Примиряющей силой, конечно как и всегда, и здесь должна явиться Россия.

Прямее сказать, большинство Фракийского населения, пораженное до сих пор еще победами 1829 г., с нетерпением ждет нового вступления русских войск в эти равнины, населенные народом, неспособным к восстанию» (Там же. Л. 119 об.). «Затаенная мысль Христианских здешних Старшин та, чтобы поддерживать в бегах расположение к русской власти, если завоевание будет когда-либо возможно, а если оно не будет иметь места, то по крайней мере к русскому влиянию посредством отделения Фракии и Македонии под Русским Князем» (Там же. Л. 116—116 об.). Да и многие адрианопольские турки, как заверял Л., «предпочитают всякому другому исходу — подпадение под власть России» (Там же. Л. 115).

С. 256. *plus royaliste que le roi* — большой роялист, чем сам король (фр.)

С. 256. ...в Петербурге на майском параде... — военный парад, проходивший 1 мая на Марсовом поле.

С. 258. Зуавка — короткая куртка без воротника, с галунами на боках, часть мундира зуавов — солдат французской армии; впоследствии фасон этой куртки использовался в женской и детской одежде.

С. 259. ...жаловаться к Боске. — Пьер Франсуа Жозеф Боске (1810—1861), французский маршал; в Крыму в 1854 г. командовал дивизией. Ср. о пребывании французских войск в Адрианополе в 1854 г.: СС, IX, 307.

С. 259. ...о католической пропаганде, с которой мы ~ ежедневно боролись. — Действительно, борьба с распространением униатства во Фракии является одной из основных тем донесений Золотарева и Л. из Адрианополя.

С. 260. На нашей стороне был и Куру-Кафа, болгарский престолоудин... — см. примечание Л. на с. 347 и СС, IX, 277.

С. 260. В болгарскую школу, основанную нами в предместье Киречь-Хане, стали в то время из униатской школы десятками переходить болгарские дети.... — Киречь-Хане — болгарский квартал Адрианополя; униатская школа была учреждена здесь осенью 1864 г. М. И. Золотарев писал в донесении Н. П. Игнатьеву от 13 июля 1865 г.: «Для отстранения опасных последствий такого положения дела я возымел мысль безотлагательно устроить приговорительное училище в этой части города в том убеждении, что православные дети перестанут посещать школу латинской пропаганды. <...> Училище было мною учреждено и ожидания мои оправдались: все православные семейства немедленно взяли своих детей из униатской школы и посылают их теперь в основанную нами в Киречь-Хане» (Русия и българското националноосвободително движение 1856—1876. София, 1990. С. 193). В донесении от 28 июля 1866 г. говорилось: «Со времени открытия православного училища прошло не более полутора года и можно сказать без преувеличения, что оно в истинно цветущем состоянии.

Учеников в нем теперь более девяноста, в униатской же школе, в которой было прежде около 50-ти, осталось всего трое-четверо» (Там же. С. 308).

С. 260. *Filioque* — введенное Римско-католической Церковью добавление к Символу веры, означающее исхождение Святого Духа не только от Отца (что утверждает православная догматика), но «и от Сына».

С. 261. ...французский консул... — прообразом его послужил консул Гиз.

С. 261. Стразовая булавка — булавка со стразом, хрусталем, ограненным под бриллиант.

С. 262. ...отделиться от греческого Патрика! — т. е. Вселенского Патриарха.

С. 262. Тырново — в 1186—1393 гг. столица Болгарского Царства.

С. 263. ...Болгария могла бы стать особым Царством ~ Султан назывался бы Царем болгарским... — Об этом Л. неоднократно писал в статьях первой половины 1870-х гг. («Панславизм и греки», «Византизм и Славянство»).

С. 264. ...погиб во время последних беспорядков. — Т. е. во время болгарского восстания 1876 г., предшествовавшего русско-турецкой войне 1877—78 гг.

С. 265. ...служит в полку Садык-паши ~ не может сражаться против своих... — о болгарях в польских полках ср. с фрагментом из донесения Л. от 21 июля 1868 г.: «...примеры, знакомые мне еще из моей адрианопольской службы, как раскаявались и убегали из Польского полка завербованные болгары и греки; как их потом ловили и сажали в цепи, и как некоторые из них даже умерли с горя в цепях» (АВПРИ. Ф. 161. Главный Архив. V-A 2. Оп. 181. 1868. Д. 951. Л. 16 об.—17).

С. 265. ...драгун или казак полка Чайковского — см. прим. на с. 843.

С. 267. ...критский грек Яни... — реальное лицо; упоминается в письме Л. к жене от 23 июля 1864 г.: «Кланяйся Елене и Яни. — Если поедем в другое консульство — я его возму» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 4 об.).

С. 267. Аман! Аман! — Увы! Увы! Боже мой! (тур.)

С. 267. Кандиот — критянин (Кандия — другое название Крита).

С. 270. ...из висячих плошек Байрама... — в праздник Байрам в Турции было принято украшать здания светильниками.

С. 270. ...о «жаре моей души, истраченном в пустыне». — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность» (1840).

С. 271. ...греческий митрополит сносился ~ с эллинским консулом и с местными старшинами... — Митрополит Адрианопольский Кирилл (ср. с. 345); см. прим. на с. 862.

С. 271. ...английского консула Виллартона... — Виллартон упоминается и в романе «Одиссей Полихрониадес», прототипом его был английский вице-консул Джон Илайджа Блант (Блонт) (ум. в 1916 г.). См. Жуков К.А. Адрианопольское знакомство: К. Н. Леонтьев и мадам Блонт // Османская империя. События и люди. М., 2000. С. 43—63.

С. 271. Конак — дом (тур.); приемная паши.

С. 271. ...возвратился в Адрианополь женихом... — О женитьбе Золотарева рассказано в мемуарах Губастова: «В 1867 г. он женился на M-lle Marchand, дочери Константинопольского до-

ктора, прелестной девушке. Мать ее была Одесская гречанка Мавро, поэтому Екатерина Марковна Золотарева была православная и весьма недурно говорила по-русски. После трех лет супружества Золотарев, состоя 2-м Секретарем Посольства в Константинополе, умер в мае 1870 г. Вдова его более 10 лет вела самую затворническую жизнь, посвятив себя исключительно воспитанию троих детей. Приехав в Россию для помещения сыновей в гимназию, она встретилась с соседом по имени своего тестя Кривцовым и вышла за него замуж» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 31—31 об.).

С. 273. *Cependant... il nous arrive, il nous arrive quelque chose...* — Между тем... у нас бывает, у нас бывает кое-что... (фр.)

С. 273. ...не о любви «мучительной и сладкой»... — источник цитаты не установлен.

С. 274. ...обратил внимание на ~ болгарку пятнадцати лет... — ср. с советом Губастову в письме от 29 февраля 1868 г.: «не откладывая заведите себе любовницу простенькую болгарку или гречанку» (Сборник. С. 196—197).

С. 274. ...сведения о ценах ~ в департамент торговли и мануфактур. — Подобные донесения к настоящему времени не выявлены.

С. 277. *Ah! ma femme! ~ très mauvais sujet.* — Ах! моя жена! моя жена! это ужасно... Она очень зла, ужасно (фр.).

С. 278. *Эти фуры ~ брошов?*.. — упоминаются в «Моих воспоминаниях о Фракии» (СС, IX, 259).

С. 279. *La couleur locale* — местный колорит (фр.)

С. 280. *tête-à-tête* — эд.: уединения (фр.)

С. 281. ...победоносные войска Дибича. — Иван Иванович Дибич-Забалканский (Иоганн Карл Фридрих Антон) (1785—1831), граф, русский военный деятель, участвовал в войнах с Францией, возглавлял войска на Балканах во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

С. 282. *Табльд'от* — общий стол.

С. 283. ...над Гизо или Маколеем... — Франсуа Прьер Гийом Гизо (1787—1874), французский историк и государственный деятель; Маколей — см. прим. на с. 790.

С. 283. *Ecoutez donc!* — Послушайте же! (фр.)

С. 284. *pour affaires du pays...* — ради интересов страны... (фр.)

С. 284. *Soyons vigilants, mon cher!* — Будьте бдительны, мой дорогой! (фр.)

С. 284. ...в Филиппополе, где сам русский консул из болгар... — Имеется в виду Найден Геров; см. о нем в «Моих вос-

поминаниях о Фракии» (СС, IX, 289). Его письма к Л. хранятся в ГЛМ (одно из них см. на с. 779).

С. 285. ...*похож на фанариота*... — жителя привилегированного греческого квартала Фанар в Константинополе, где находится Вселенская Патриархия.

С. 285. *Саше* — изящно отделанные подушечки с ароматическим веществом, которые кладутся в белье, бумагу и пр. для придания приятного запаха.

С. 286. *Кокона* — госпожа.

С. 287. ...*в турецком предместьи Кыик*... — предместье в восточной части Адрианополя.

С. 287. ...*от восхитительной мечети Султан-Селима*... — мечеть Селимье, построенная при султани Селиме I (1467—1520).

С. 287. ...*вязы и тополи Старого Серая*. — Эски-Сарай, старый дворец (тур.), парк на окраине Адрианополя; ср. в воспоминаниях Губастова: «В Адрианополе в то время единственным местом прогулки была небольшая роща, среди которой стояли развалины бывшего дворца Султана, когда Адрианополь был столицей. Все это место называлось Эски-Сарай (старый дворец) и там было несколько кофеен» (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 35 об.—36). См. Т. 4. С. 46, 978. См. также: *Крестовский В.* Из воспоминаний о последней войне // *РВ.* 1879. № 5. С. 161.

С. 287. ...*в Кáстро*... — см. прим. автора на с. 290.

С. 288. *La matinée est bien belle, n'est ce pas?* — Превосходное утро, не правда ли? (фр.)

С. 288. *Бель-вю* — беседка (от фр. *belle vue* красивый вид).

С. 290. *Бомбоньерка* — конфетная коробка.

С. 290. ...*несколько кустов «Божьего дерева»*... — цедрах обыкновенный, см. Т. 2. С. 453.

С. 292. ...*при новом учреждении здесь вилайетов*... — вилайеты учреждены в Турецкой Империи в 1866—1867 гг.

С. 292. ...*распри между болгарами и греками за церковь в предместьи Киречь-Хане*... — церковь в Киречь-Хане неоднократно упоминается в консульских донесениях Л. и Золотарева.

С. 292. *C'est affreux!* — Это ужасно! (фр.)

С. 292. ...*книгу Фламариона*... — Камиль Фламарион (1842—1925), французский астроном, автор широко известных в свое время книг «*La pluralité des mondes habités*» («Множественность обитаемых миров», 1862), «*Les Mondes imaginaires et les mondes réeles*» («Миры воображаемые и миры действительные», 1865). Л. здесь говорит о первой из этих книг.

- С. 293. *des livres d'astronomie* — астрономические книги (фр.)
- С. 295. ...«небесные венцы»... — ср. с выражением одного из заупокойных тропарей: «почестей и венцев небесных».
- С. 297. *Monsieur le consul* — Господин консул (фр.)
- С. 298. *terre à terre* — земные, практические (фр.)
- С. 298. ...с нашим адрианопольским *Меттернихом*... — ср. СС, VI, 305 (об Э. Сакелларио); Т. 4. С. 351 (об австрийском консуле). Клеменс Венцель Лотар Меттерних-Виннебург (1773—1859), австрийский государственный деятель и дипломат.
- С. 298. «Скорби, нужды, гнев», об устранении или смягчении которых мы так постоянно молим Бога... — цитата из одного из прошений великой ектении («И о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды...»).
- С. 299. *Когда мне были новы Все впечатленья бытия*... — см. прим. на с. 852.
- С. 300. *Свеж и душист твой роскошный венок*... — см. прим. на с. 853.
- С. 301. *В Крите уже давно геройски бились греки*... — Восстание на Крите началось летом 1866 г. Эти события отражены в повести «Хризо».
- С. 301. ...униженная Австрия облачалась для прикрытия своей политической нищеты в подновленную и поношенную мадьярскую одежду... — Мадьяры — венгры. Ср. в незавершенной статье «Кто правее?»: «В конце 60-х годов (кажется, в 68-м) я был в Песте и спросил у слуги в гостинице: „Отчего я на ваших улицах совсем не вижу никакой особой мадьярской одежды? Разве нет ее совсем?“ „Нет, — отвечал слуга, — этих костюмов было очень много года два тому назад, потому что тогда добивались дуализма; а как миновала эта политическая нужда, так и перестали их носить”» (Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 645—646).
- С. 301. ...славяне сбирались пировать на съезде в России. — См. прим. на с. 821.
- С. 301. *Сербия грозила вступить с Элладой в союз против султана*... — Ср. в V главе «Моих воспоминаний о Фракии»: «Обещая союз с Грецией, угрожая Турции войною с соединении даже с грозною Черногорией, сербское правительство под рукою вело в то же время переговоры об очищении крепостей, находившихся еще в то время в руках турок, на территории сербского княжества» (СС, V, 324).
- С. 301. ...опасались выпышки мусульманского фанатизма. — См. прим. на с. 879—882.



С. 302. ...*губернатор округа Ариф...* — Ариф-паша, губернатор Адрианопольского (Эдирне) вилайета, ставший прототипом Рауфа-паши в романе «Одиссей Полихрониадес». См. также Т. 3. С. 205.

С. 302. ...*новые суды.* — Учреждение отдельных судов по уголовным и гражданским делам. См. Т. 4. С. 983. Административно-судебная реформа и отношение к ней населения Фракии подробно рассматриваются в донесениях Л. из Адрианополя.

С. 302. ...*Мурад-бей, граф Доливо-Ландцковский...* — В полку Садык-паши служил Мурад-бей, бывший ротмистр русской гвардии, но он был не поляком, а крымским татаринном (см.: *Садык-паша. Турецкие анекдоты.* М., 1883. С. 126).

С. 302. ...*Вехби-бей ~ когда-то просто — Вержбицкий...* — ср. с. 430 — Вержбиловский; см. также прим. на с. 821.

С. 304. *Бояджиев* — эту фамилию носил учитель русской школы в Киречь-Хане; Стано Бояджиев упомянут в одном из донесений Золотарева как «молодой и деятельный наставник» (*Руссия и болгарского национальноосвободительного движения 1856—1876.* София, 1990. С. 308). «Если можно упрекнуть в чем-нибудь сего способного юношу, так это в излишнем антигрецизме» (Там же. С. 309).

С. 304. ...*из местной «абы»...* — сукна домашней работы.

С. 305. ...*«чреватого будущим»...* — часть распространенного афоризма «*Le présent est gros de l'avenir*» («Настоящее чревато будущим», фр.), восходящего к тезису немецкого философа, просветителя-энциклопедиста Г. В. Лейбница (1646 — 1716) о всеобщей связи сущего в его пространственно-временном развертывании.

С. 305. *Остеррайхер* — прототипом его был австрийский консул Камерлохер (см. с. 842).

С. 306. *Интернунций* — эд.: посланник Австрии в Турции. См. Т. 4. С. 992.

С. 306. *Schlechte Kuh!* — Негодная корова! (нем.)

С. 306. *Шоттиш* — шотландская полька (от нем. schottisch).

С. 307. *Vous êtes des compétiteurs habiles et terribles, mais terribles...* — Вы искусные и опасные конкуренты, но опасные... (фр.)

С. 307. *Donnerwetter* — Черт возьми (нем.).

С. 307. ...*в это Иерусалимское подворье.* — Святогробское Иерусалимское подворье Л. упоминает в консульских донесениях и в «Моих воспоминаниях о Фракии».

С. 307. ...*читает сам Сен-Поля и Сен-Пьерра...* — т. е. читает за литургией Апостол, напр., послания Свв. апостолов Павла и Петра.

С. 307. *Препотенция* — могущество.

С. 307. ...польские попы в одежде восточного клира! — т. е. униатские священники-поляки. О действиях австрийского консула в поддержку болгарской унии Л. писал в донесении от 18 апреля 1867 г.: «...слова, вырвавшиеся на днях у Г. Камерлохера в дружеской беседе со мной и которые вкратце значили:

„Во всех делах мы пойдем вместе, кроме одного: — Пропаганда. — Ее я буду поддерживать, и вы увидите, как она еще распространится!“

Хвастовство это, сорвавшееся с языка, отчасти под влиянием пива, до коего Г. Камерлохер большой охотник, — не слишком, впрочем, устрашает нас. — Пропаганда не найдет спящими ни Русское Консульство, ни Греческое, ни Православных Старшин, ни даже Митрополита Кирилла, который с прошлого года неизвестен» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 131 об.—132).

С. 307. *Qu'en dites-vous?*.. — Что вы об этом скажете?.. (фр.)

С. 307. *de la Sainte Russie* — Святой Руси (фр.)

С. 307. *Le développement économique, éthique et ethnique est notre force, vous ne possédez que la force politique!* — Развитие экономическое, этическое и этническое — это наша сила, вы обладаете только силой политической! (фр.)

С. 308. *Vous êtes encore cheune, mon cher. La cheunesse est un téfaut dont on se corriche chaque chour!*.. — Вы еще молоды, мой дорогой. Молодость — это недостаток, от которого избавляешься с каждым днем!.. (искаж. фр.). Последняя фраза — афоризм, приписываемый Дж. Расселу Лоуэлу (Т. 3. С. 238, 747).

С. 309. *C'est que romantisme chermanique!* — Вот германский романтизм! (искаж. фр.)

С. 309. *des principes politiques, économiques, éthiques et ethniques, pour ainsi dire, du chénie chermanique...* — политических, экономических, этических и этнических принципов, так сказать, германского гения... (искаж. фр.)

С. 309. ...читал «Чайльд-Гарольда»... — т. е. поэму Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Ср. Т. 4. С. 638, 652.

С. 309. *parbleu!* — ей-Богу! (фр.)

С. 310. *Вы имеете понятие о Кинкеле?* — Готфрид Кинкель (1815—1882), немецкий поэт, критик, богослов, был осужден за участие в революционном движении и заключен в крепость Шпандау, откуда бежал в Англию.

С. 311. ...несчастливая судьба вашего же Бенедекка... — Людвиг Бендек (1804—1881) — австрийский военачальник; отличался мужеством на поле боя; в войне с Пруссией в 1866 г. был (против его воли) назначен главнокомандующим и, хотя поражение под Кениггрецем произошло не по его вине, он принял всю ответственность на себя.

С. 311. *Прусский юнкертум* (юнкерство) — состоящее преимущественно из крупных землевладельцев прусское дворянство; к нему принадлежала большая часть прусского офицерства при Фридрихе II и позже.

С. 311. ...все эти Штейнмецы и Мантейфели... — Карл Фридрих Штейнмец (1796—1877), прусский фельдмаршал; Эдвин Карл фон Мантейфель (1809—1885), барон, прусский генерал-фельдмаршал.

С. 313. *pour conserver le prestige des achents consulaires* — для сохранения престижа консульских агентов (искаж. фр.)

С. 314. ...знаменитый Ахмет-Киритли. — Киритли — уроженец Крита (ср. Т. 3. С. 157). В донесениях Л. упоминается Мехмет-Киприсли-паша (предшественник Ариф-Паши по управлению Адрианополем).

С. 314. *grand-seigneur* — вельможа (фр.)

С. 314. ...был послом при коронации вашего Императора в Москве, имеет ленту Св. Анны... — т. е. при коронации Александра II; орденом Св. Анны с 1854 г. награждали иностранных подданных, не служащих Российской Империи (см. Т. 4. С. 1010).

С. 314. ...к старотурецкой партии... — старотурецкая партия (итиат-тераки) существовала с 1860-х годов во главе с Талат-пашой, проводя политику сохранения территорий Османской Империи; находилась в оппозиции сторонникам реформ.

С. 314. ...к партии Мидхат-паши, который теперь в Рушуке. — Мидхат-паша (1822—1884) — турецкий политический деятель, в 1860-е годы — паша в Рушуке на Дунае; в 1876—77 гг. — великий визирь, предводитель младо-османов. Неоднократно упоминается в публицистике Л. См. также Т. 4. С. 726.

С. 314. С предместником Богатырева, Шамшиным... — Имеется в виду консул Николай Павлович Шишкин (1830—1902); впоследствии консул в Белграде.

С. 314. ...арнаутов-разбойников — Арнауты — турецкое название албанцев.

С. 314. ...телеграммы к Тувенелю... — Эдуард-Антуан Тувенель (1818—1866), в 1855—1860 гг. посол Франции в Константинополе.

С. 315. *Де-Шервиль* — ср. в донесении Л. от 18 апреля 1867 г.: «Французский Консул Г. Гиз сменил. — Французское Пр<ави>тельство>во будет иметь здесь отныне Вице-Консульство без секретаря и с одним драгоманом. — Сюда прибудет из Эрзерума Г. де-Куртуа, как слышно, весьма набожный Католик» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 131).

С. 315. *Мадам Виллартон* — прототипом ее послужила Фанни Дженет Блант (Блонт); см. о ней: Жуков К. А. Указ. соч. // Османская империя. События и люди. М., 2000. С. 58. Впервые эта героиня появляется как «внесценический» персонаж в романе «Одиссей Полихрониадес» (Т. 4. С. 743—749), но тогда едва намеченная сюжетная линия не получила развития, поскольку роман не был завершен.

С. 315. ...*кончились шлезвиг-голштинские дела...* — Речь идет о событиях 1864 г.: присоединении к Пруссии датских провинций Шлезвига и Голштинии.

С. 315. ...*за молодого человека, за Джемса...* — прототипом послужил Джордж Блонт, племянник Д. И. Блонта. См. прим. на с. 873.

С. 316. *Керата! пезевенг!* — Бестолочь! сводник! (*тур.*)

С. 317. *топ cher* — мой дорогой (*фр.*)

С. 318. ...*в подгородном селе Карагаче...* — предместье Адрианополя за р. Марицей. См. «Мои воспоминания о Фракии» (СС, IX, 278—279).

С. 318. *Архонт* — старейшина (*греч.*).

С. 318. *Драгоман французского консульства был в то время поляк Менжинский...* — Его реальный прообраз — поляк Подхайский. Л. неоднократно упоминал его в донесениях. Так, например, 26 марта 1865 г. он писал П. Н. Стремоухову: «Пропаганда не упадет вполне здесь до тех пор, пока у нее будет такой ловкий и настойчивый вождь, каков Г. Подхайский, драгоман Французского Консульства» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 244 об.).

С. 319. ...*в дальнем предместье Ильдирим...* — Ильдарим (Ильдерим) — греческое предместье Адрианополя, расположенное между реками Тунджей и Марицей. По описанию Вс. Крестовского, это место отличали «нищета и убожество»: «Домишки скроены на живую руку из деревянного дранья и глины <...> Во дворах и на улице ужасная грязь — глубокая, липкая, топкая...» (РВ. 1879. № 5. С. 137).

С. 320. *mauvais genre* — дурного тона (*фр.*)

- С. 320. *ad honores* — ради чести, безвозмездно (лат.)
- С. 320. *Райя* — турецкий подданный-немусульманин.
- С. 320. *ce n'est pas un homme du monde!* — это не светский человек! (фр.)
- С. 321. *Раки́* — крепкий спиртной напиток на Востоке, виноградная водка.
- С. 322. *Vous êtes cheune, ropuste, choli garçon. Choisissez!* — Вы молодой, здоровый, красивый молодой человек. Пользуйтесь жизнью! (искаж. фр.)
- С. 322. ...новых пашей, Вали-Хамида и Каймакам-паши Арифа. — Вали — генерал-губернатор, каймакам — уездный начальник.
- С. 323. *le Cons<ul> de Russie* — русский консул (фр.)
- С. 323. *vis-à-vis* — визави, друг против друга (фр.)
- С. 324. *Quel animal, quel animal!* — Какая скотина, какая скотина! (фр.)
- С. 324. *Il y quelque chose!..* — Есть кое-что!.. (фр.)
- С. 324. ...еще со времен Меттерниха и Каннинга. — Т. е. с 1820-х годов, со времен освободительной войны греков, исход которой во многом решали европейские дипломаты. Меттерних — см. прим. на с. 860; Джордж Каннинг (1770—1827), министр иностранных дел и премьер-министр Англии. См. Т. 4. С. 981, 1008.
- С. 325. ...греки Ионических островов... — Ионические острова долгое время (до 1864 г.) находились под протекторатом Англии.
- С. 326. *Ne faites donc pas l'innocent, mon cher monsieur Mikhalaki!*.. — Не прикидывайтесь простачком, мой дорогой господин Михалаки!.. (фр.)
- С. 326. *Наш банкир Москов-Самуил...* — реальное лицо, банкир Москов-Соломон (С. Нардея); упоминается в «Моих воспоминаниях о Фракии» и в письмах Л. 30 мая 1866 г. Золотарев писал: «Посылаю Вам две золотые медали, одна для Кириаджи, а другая для Соломона, с препроводительным от меня письмом» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 126. Л. 29). См. также Т. 3. С. 724.
- С. 328. *Je vous remercie, monsieur le consul!* — Благодарю вас, господин консул! (фр.)
- С. 328. *La pluralité des mondes* — множество миров (фр.)
- С. 328. *l'immensité de l'espace; l'amitié; l'amour avant tout, le devoir conjugal après...* — беспредельность пространства; дружба; любовь прежде всего, а супружеский долг потом... (фр.)
- С. 330. ...я ненавидел все то, что мне напоминало эту язву России... — ср. с последней строкой стихотворения А. А. Григорьева «Город» (1845): «И то — прозрачность язвы гнойной».

- С. 331. ...с острова Чериго... — о-в Кифера.
- С. 332. Гостиная ~ украшена с удивительным вкусом. — Ср. с описанием приемной Благова в «Одиссее Полихрониадесе» (Т. 4. С. 311—314).
- С. 333. ...названия этого фарфора не помню... — Вид фарфора, о котором идет речь, называется «кракле» (от фр. *сraquelé* — потрескавшийся); в результате специальной термической обработки на глазурном покрытии этого фарфора появлялась сеть мелких трещин. Впервые его начали производить в Китае в эпоху династии Сун (960—1279).
- С. 334. Эклога — жанровая форма буколической поэзии, главной темой которой было изображение пастушеской жизни на лоне природы.
- С. 335. Зарфики — подставки под чашки.
- С. 335. *Pourquoi m'embrasser?*.. — Зачем меня поцеловать?.. (фр.)
- С. 338. *Des petits riens!* — Безделушки! (фр.)
- С. 342. ...в Эски-Сарай и к Михаль-Кёпру. — См. прим. на с. 854 и 859.
- С. 344. *Cher ami* — Дорогой друг (фр.)
- С. 344. *en tête-à-tête* — вдвоем (фр.)
- С. 344. *Il se sent complètement isolé...* — Он чувствует себя совершенно изолированным... (фр.)
- С. 345. ...греческий консул, перешедший тогда на нашу сторону... — Доско; ср. в «Моих воспоминаниях о Фракии»: «Боже! как этот ужасный Доско <...> смирился потом перед нами! <...> Как он с панславизмом мирился во время нашего с Золотаревым управления!..» (СС, IX, 312).
- С. 346. *Eh bien?* — Итак? (фр.)
- С. 346. *Eh bien ~ des succès, des succès et encore des succès!*.. — Итак, успехи, успехи и еще раз успехи!.. (фр.)
- С. 346. *Un bon Turc, un vrai Turc!* — Добрый турок, настоящий турок! (фр.)
- С. 346. *Καλός Χριστιανός* — добрый, хороший христианин (греч.).
- С. 348. Пропаганда платила за них подати ~ Ариф-каймакам-паша посадил их в тюрьму. — Ср. с донесением Леонтьева Н. П. Игнатьеву от 24 февраля 1865 г.: «В уездах Пропаганда продолжает делать успехи. — Недавно приходили ко мне за советом два болгарина из селения Булгар-Эни-Кёй (округа Узун-Кёпри). — Они сказали, что Православных у них  $\frac{2}{3}$ , а  $\frac{1}{3}$  жителей не так давно перешла в Униатизм, что Пропаганда сби-

рается выстроить для последних [церковь], и спрашивали: — что делать Православным? прервать ли вовсе с Униатами или продолжать иметь с ними хозяйственные сношения, заключать ли браки и т. п.? Я советовал им не разрывать вдруг, если этот разрыв может повлечь за собою вещественные убытки, советовал избегать по возможности смешанных браков <...> и просил их сообщать мне ежемесячно о состоянии дел в их деревне. — Сверх того я уговаривал их самих быть тверже в своей вере, тем более, что Униаты, как они сами это знают, в душе пока Православные и приняли Униатизм только из денежного расчета, который не сегодня-завтра может оказаться ошибочным при перемене обстоятельств» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 201—201 об.). 26 марта того же года Л. сообщал директору Азиатского Департамента П. Н. Стремоухову: «Что касается до причин обращения, то по обыкновению — они ничто иное, как обещания, даваемые Католическими попами платить за селян подати, которыми последниеотягощены.

По известиям, полученным сейчас <...> заптие приходят однако в эти селения, бьют Униатов и берут подати» (Там же. Л. 244). Наконец, в донесении от 18 мая находим рассказ о событиях, непосредственно отразившихся в «Египетском голубе»: «В Адрианополе Униатизм на днях потерпел небольшое поражение. — Многие из городских Униатов были заключены Ариф-Пашею в тюрьму за неплатеж податей. — Напрасно они уверяли, что отдали значительную часть денег одному из Униатских старшин. — Ариф-Паша продолжает держать их в тюрьме и выпускает только тех, которые уплачивают сами. — Старшина и Католическая колония не помогла заключенным.

Корреспондент наш из Кирк-Клисси приехал в Адрианополи и рассказывает, что около Малко-Тернова заптие бьют Униатов и берут с них самих подати. — В одной деревне, по его уверению, болгары уже сожгли славянские Богослужбные книги, полученные от Католиков. <...>

Напряжение умов в стороне Малко-Тернова произвело между прочим странное явление, которое до сих пор никто разъяснить еще не может.

В деревнях распространилось особенного рода помешательство. — Люди кричат, свищут, падают, всходят на Церковные Кафедры и говорят оттуда; один выдает себя за Бога-Отца, другой за Христа; женщины за Божию Матерь. — Иные говорят: „Теперь нас еще мало; а когда нас будет 100, тогда придет наш Царь (или Король — не знаю)“.

Этот экстаз заразителен, и больных принуждены были зако-  
вать, отделить и прислать сюда. — Теперь они находятся здесь в  
числе 12—13 человек под наблюдением городского врача.

Как объяснить это? Как мистическое исступление вроде сред-  
невековых, под влиянием событий последнего времени, нужды,  
притеснений, Пропаганды? — Или все это притворство и под  
личиной помешательства кроется нечто другое? <...>

Прибытие этих несчастных единоверцов наших дало мне повод  
в первый раз объясниться с Пашею о предмете более живом, чем  
коммерческие дела и тяжбы наших подданных с турецкими.

Ариф-Паша объясняет это явление как религиозный экстаз и  
сравнивает этих болгар с одним родом Дервишей, которые кричат  
по-звериному до тех пор пока не упадут без чувств.

Я обратил его внимание на раздражение умов и запутанность  
дел, которые производит Пропаганда в среде турецких поддан-  
ных.

Сверх того Драгоман (по предварительному моему совету)  
прибавил от себя, как здешний старожил, — „что прежде поддан-  
ные Султана знали только Правительство и свое духовное началь-  
ство; а с Католиками и Протестантами они растерялись совсем!”

Ариф-Паша, казалось, был очень доволен нашей откровен-  
ностью и много смеялся тому, что Униаты, как только увидели,  
что пришлось платить подати, так сейчас объявили себя опять  
Православными» (Там же. Л. 271—271 об., 273—275).

С. 348. *Des succès! Partout des succès?! N'est ce pas, monsieur  
Ladnew?* — Успехи! Везде успехи?! Не так ли, господин Ладнев?  
(фр.)

С. 350. *sacrilèges* — кощунствам (фр.)

С. 350. *Локанда* — небольшая гостиница, трактир (итал.).

С. 350. *Один русский писатель ~ и знает, что души  
нет!* — Об этом рассказывал А. И. Герцен в книге «Былое и  
думы» (Ч. I, гл. II). Лицо, о котором говорит Л., — Толочанов,  
дворовый человек Л. А. Яковлева («сенатора»), дяди Герцена.

С. 354. *...одно лицо из Диккенса. Почтенный старец ~ У  
него молодая жена...* — Речь идет о персонажах из романа Ч.  
Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда» (1849—1850) — до-  
кторе Стронче и его жене Анни.

С. 356. *homme honnête, ferme et laborieux* — людей честных,  
основательных и трудолюбивых (фр.)

С. 356. *...Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпи-  
кура!* — Строки из стихотворного отрывка «Чертог сиял. Гремели  
хоры...», входящего в повесть А. С. Пушкина «Египетские



ночи» (1835). Критон был вторым, после Флавия, претендентом на любовь Клеопатры.

С. 358. *home* — дом (англ.)

С. 362. В Крите, в 58-м году ~ и не пустил никого. — Эти события описаны Л. в рассказе «Хамид и Маноли», в основу которого положено реальное происшествие, получившее огласку и в России. «...В начале июля один грек-слуга за оскорбление себя убил своего хозяина-мусульманина, торговавшего в Кане. Турки расвирепели, брошенного в тюрьму грека вытащили оттуда и, не снимая с него цепей, на веревке поволокли по улицам города. Скоро кандiotы увидели обезображенный труп своего единоверца...» (Смирнов С.К. Кандия. Исторический очерк // РВ. 1867. № 3. С. 366).

С. 364. *Сен-Джемский кабинет* — английское правительство.

С. 364. *employé* — служащего (фр.)

С. 364. ...с *Тефик-беем* ~ с *Ахмед-беем*... — Тефик-бей — председатель Адрианопольского Тиджарета (упоминается в донесении Л. от 6 марта 1865 г.; АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 219); Ахмед-бей — ср. с. 451—452.

С. 365. *Quelle idée!* — Что за мысль! (фр.)

С. 365. ...мечтатели «великой эллинской идеи»... — т. е. идеи освобождения греческих земель, захваченных Турцией, и восстановления Византийской Империи; ср. Т. 3. С. 124, 232. Т. 4. С. 196, 663.

С. 365. *les femmes! Ah! les femmes...* — женщины! Ах! женщины... (фр.)

С. 366. *Il faut subir cette douce influence!*.. — Придется подчиниться этому нежному влиянию!.. (фр.)

С. 366. *Pardon!*.. — Простите!.. (фр.)

С. 366. *en petit comité* — в маленьком кругу (фр.)

С. 367. ...в ожидании «будущих благ» — см. с. 329; обыгрывается выражение из молитвы «Иже на всякое время...»: «обещания ради будущих благ».

С. 368. *haut-bout* — почетное место (фр.)

С. 368. *bas-bout* — последнее место (фр.)

С. 368. *Булгаридис* — Л. дает греческому консулу фамилию своего приятеля и сослуживца К. И. Булгаридиса (Б. — в «Очерках Крита»).

С. 368. ...описание какого-то праздника в Порте ~ иллюминация... — Праздник с фейерверком был устроен в день приезда в Адрианополь нового генерал-губернатора Ариф-Паши 31

декабря 1864 г. по случаю дня рождения Султана; об этом Л. писал в донесении от 2 января 1865 г. (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 167—167 об.).

С. 368. *légion d'honneur* — ордена Почетного легиона (фр.)

С. 369. ...*Петраки Врадетти, Бертоме Гверацца ~ Жорж Врадетти...* — См. с. 842 и СС, IX, 260—261.

С. 369. ...*орден Станислава в петлицу...* — орден Св. Станислава (учрежден польским королем Станиславом Августом Понятовским в 1765 г., а с 1815 г. император Александр I награждал им польских подданных).

С. 370. *Понтикопези* — любопытно, что это слово («мышинное гнездо») Л. сделал фамилией одного эпизодического персонажа в романе «Одиссей Полихрониадес», сохранив при этом всю негативную коннотацию.

С. 370. *Хаджи-Петро* — еще один случай упоминания Леонтьевым Хаджи-Кириаджи (см. Т. 4. С. 947).

С. 370. ...*молодой и богатый архонт Карагеоргиев...* — ср.: в донесении Л. от 17 июня 1867 г. упоминается адрианопольский архонт Георгий Карамихайлов (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 149).

С. 371. *Жонкили* — дикорастущие нарциссы.

С. 371. *Барез* — шерстяная, шелковая или хлопчатобумажная редкого плетения ткань.

С. 372. ...о «мире *mira*», «благоразворении воздуха, об изобилии плодов земных», о властях, об епископе нашем... — прошения Великой ектении.

С. 373. ...*стал молить о христианской кончине жизни нашей, «безболезненной» и «мирной», и о «добром ответе на суде Христовом» ~ только этого мне должно желать.* — Ср. в письме к Н. Я. Соловьеву от 4 февраля 1877 г.: «Молюсь „о Христианской кончине живота и о добром ответе на страшном судилище Христове“; а прежде больше о земном молился. — Этим новым для меня чувством успокоения и равнодушия — я чрезвычайно дорожу...» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1016. Л. 30 об.).

С. 376. ...*опасался старик Христо...* — возможно, ошибка Л.; поляка-соседа опасался не Христо, а Яни, ср. с. 352.

С. 377. ...*судить по-спартански: «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться».* — В древней Спарте со времен Ликурга (VIII в. до н. э.) мальчиков, начиная с семи лет, отделяли от семьи и воспитывали как будущих воинов в

специальных отрядах, где требовалось, в частности, умение дерзко и безнаказанно украсть необходимое для жизни. Об этом рассказывает Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» (Ликург, 17—18).

С. 377. *les intrigues moscovites* — происки московитов (фр.)

С. 378. «*Эолова Арфа*» — баллада В. А. Жуковского (1814).

С. 378. ...*отойди от зла и сотвори благо!*.. — измененная цитата Пс. 33: 15.

С. 379. *Voions — trêve de flatteries ~ Eh bien! soit...* — Полноте — оставьте лесты! Вы хотите послужить мне ширмой... Ну хорошо! положим... (фр.)

С. 379. «*Ундина*» — см. прим. на с. 789.

С. 379 ...*Павла Петухова снесли*. — Павлом Петуховым Богатырев насмешливо именуется Поль-де-Кока (см. прим. на с. 834).

С. 379 «*Пойдем делить досуг печальной нашей крали*». — Измененная реплика Молчалина из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (Д. IV, явл. 12). У Грибоедова: «Пойдем любовь делить плачевной нашей крали».

С. 380. ...*русский подданный, философ Маджараки*... — в архиве Л. сохранились письма некоего Маджараки Инглеза (букв.: англичанина, протестанта); в связи с «Египетским голубем» любопытно сравнить с надписью Л. на конверте (содержимое которого попало, видимо, в другие архивы) из фонда Л. в ГЛМ: «документ (отчасти неизвестного смысла) <...> на звание члена Греческого Силлога в Адрианополе и т. п. [Письмо Маджараки Инглеза к О. Иерониму.]». На обороте конверта карандашом написано: «Из воспоминаний о Турци<и>» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 321. Л. 5).

С. 381. ...*уездного городка Кырк-Килисси*... — Кырк-Килисси, город во Фракии (Л. упоминал его в дипломатических донесениях).

С. 382. *Il n'y avait pas de grand philosophe ~ qui ne fut grand philosophe*. — Не было великого философа, который не был бы великим грамматиком, и не было великого грамматика, который не был бы великим философом. (фр.)

С. 383. *То όν* — Сущий (греч.), одно из Имен Божиих.

С. 383. *Энтелехия* — термин аристотелевской философии, означающий осуществление того, что заложено в материи как возможность.

С. 383. *Τρόπος* — образ действия, способ.

С. 383. *Il est charmant ce vieux... ~ au tribunal de commerce*. — Он мил, этот старик... Послушайте, нужно, чтобы вы непременно помогли ему выиграть его дело в коммерческом суде. (фр.)

С. 383. *Кир* — господин (греч.).

С. 384. *Кирия* — госпожа (греч.).

С. 385. ...отличившихся под Кениггрецом. — В районе г. Кёниггреца и г. Садова (в восточной Чехии) 3 июля 1866 г. произошло решающее сражение австро-прусской войны.

С. 385. *До Седана и Меца было еще далеко...* — Седан — город и крепость во Франции, близ которого во время франко-прусской войны, в сентябре 1870 г., была разбита французская армия и подписан акт о капитуляции; Мец — город на востоке Франции, где была блокирована армия маршала Базена; по Франкфуртскому договору город перешел к Германии.

С. 385. *Они забыли Росбах...* — селение в Саксонии, возле которого в 1757 г. французские войска (вместе с армией принца Саксонского) потерпели поражение от прусской армии Фридриха II.

С. 386. *Гайлендеры* (хайлендеры) — солдаты шотландского полка в английской армии.

С. 386. «История одной пуговицы, пропавшей с мундира немецкого солдата» ~ *Piötre Artamoff*. — Эта книга («Histoire d'un Bouton...») выходила несколькими изданиями в 1850—1860-е годы; под псевдонимом *Piötre Artamoff* выступал французский литератор *Vladimir de la Fite de Pelleporc* (1818—1870).

С. 386. *Boi de la bièr, / Bonne, bonne Lisette! / Bois de la bièr!* — пей пиво, / Милая, милая Лизетта! пей пиво! (фр.)

С. 388. *Фонтенель* — *Бернар ле Бовье де Фонтенель* (1657—1757), французский писатель и ученый-популяризатор; здесь речь идет о беседе с маркизой de G\*\*\* в его книге «Беседы о множественности миров» (1686). См.: *de Fontenelle, Bernar le Bovier. Entretiens sur la pluralité des mondes*. Paris, 1904. P. 81—82.

С. 389. ...до последней несчастной войны... — речь идет о Восточной войне 1854—1856 гг.

С. 390. *L'amour est un prisme que nous portons au front et qui illumine nos enfrailles...* — Любовь — это лучистый кристалл, который мы носим на челе и который озаряет нашу душу... (фр.); источник цитаты не установлен.

С. 390. *L'amour pour qui?* — Любовь к кому? (фр.)

С. 390. *Pour madame Чобан-оглу...* — К мадам Чобан-оглу (фр.)

С. 391. ...узурпатора с распомаженными усами... — т. е. Наполеона III, Императора Франции.

С. 391. *Куаферы в кепи* — т. е. парикмахеры в военной форме.

С. 391. ...при Вёрте и Седане... — В начале франко-прусской войны, 6 августа 1870 г., произошло сражение близ эльзасского

города Вёрт, который обороняла от немцев армия маршала Мак-Магона; французы были вынуждены отступить, чем начался ряд поражений, приведший 1 сентября к катастрофическому разгрому французов под Седаном (в департаменте Арденн) и пленению Наполеона III.

С. 391. *Ce n'est même pas de bon goût!* — В этом даже хорошего вкуса нет! (фр.)

С. 392. *Наргиле* — кальян, восточный курительный прибор.

С. 393. ...в Москве готовилась этнографическая выставка и ждали славян на съезд общения «любви»... — Всероссийская этнографическая выставка была организована Императорским обществом любителей естествознания при Московском университете, открылась она 23 апреля 1867 г. Выставка послужила поводом для съезда славянских представителей. См.: Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. М., 1867.

С. 395. *Ah, bah! Ses uniates!.. Nous en savons quelque chose!* — Ах, вот что! Униаты!.. О них мы кое-что знаем! (фр.)

С. 396. «Какая рука и какой язык могут заплатить долг благодарности Богу?» — источник цитаты не установлен.

С. 396. «Воздайте мне благодарность, о, потомки Давида! ибо только немногие из слуг моих умеют быть благодарными» — Коран, Сура 34: 12.

С. 397. ...Виллартон, который год или два тому назад шагу не давал сделать католической пропаганде... — ср. с донесением от 21 апреля 1865 г. Н. П. Игнатьеву: «Г. Жорж Блонт, Управляющий Английским В<ице->Консульством, конфиденциально и без всякого повода с моей стороны сообщил мне, что «и» он действует сколько может против Униатизма. — Какие средства он употребляет, я не нашел приличным выспрашивать, чтобы не подвергнуться подобным же расспросам с его стороны» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 257—257 об.). Речь здесь идет о племяннике Дж. И. Блонта, заменявшем его во время отъезда.

С. 398. *Ecoutez!* — Послушайте! (фр.)

С. 398. ...фразу вашего князя Горчакова... — Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), князь, русский дипломат, министр иностранных дел, канцлер.

С. 398. «Соединенные, они дополняют друг друга; разделенные, они парализуют»... — цитата из депеши к Российско-Императорскому чрезвычайному посланнику и полномочному министру в Вашингтоне, г. Стёкло от 28 июня 1861 г. (Сборник, изданный в

память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. 1856—1881. СПб., 1881. С. 8. 3 паг.).

С. 399. ...«*ортодокс-булгар*» — православный болгарин.

С. 400. ...*побеспокоить на каменный счет в Родосто*. — Город на берегу Мраморного моря. По воспоминаниям Губастова, от Адрианополя до Родосто двое суток езды (РО ИРЛИ. Ф. 212. Ед. хр. 17. Л. 45 об.).

С. 400. ...*некто г. Лене — армяно-католик...* — прототипом его был г. Каде, дипломатический агент в Родосто.

С. 400. ...*agent consulaire «ad honores»* — дипломатический агент «ради чести» (т. е. бесплатно) (фр., лат.)

С. 400. *Грегорианского исповедания* — т. е. Армянской Церкви.

С. 401. ...у *Франции — представителя «мира отходящего», и у России — вождя «мира возникающего...»* — Цитата из книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб., 1871. С. 497—498); это же место Л. цитирует и в незавершенной статье «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (гл. VIII).

С. 401. ...*в донесениях своих жаловался нам...* — о жалобах Каде см. донесение Леонтьева Н. П. Игнатьеву от 1 июня 1867 г.: «Постоянные жалобы Г. Каде на Каймакама в Родосто перешли, наконец, за пределы обыкновенных жалоб. — Последнее донесение Г-на Каде было просто криком отчаяния. — Зная с другой стороны, что подданные наши нередко весьма требовательны и своенравны, я счел полезным подкрепить моим вмешательством авторитет Г-на Каде, как в глазах Каймакама, так и в глазах русско-подданных, дабы они чрезмерными требованиями не вводили его в замешательство. — Мне казалось, что пока Г. Каде продолжает быть нашим Агентом, власть его должна уважаться.

Вследствие подобных соображений и основываясь на статье Консульского Устава, не запрещающей Консулам путешествия в пределах их юрисдикции, я на прошлой неделе съездил на два дня в Родосто и думаю, что хоть на время достиг тех целей, кои имел в виду» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 143—143 об.).

С. 401. *Бакал* — мелкий лавочник (тур.).

С. 401. *Киркор Аведиков* — в донесении Л. от 25 февраля 1865 г. упоминается российский подданный Кеворк Аведиков (АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. 1865. Д. 1011. Л. 210—211).

С. 401. *Бояджи* — красильщик, маляр (тур.).

С. 401. *Куюнджи* — ювелир (тур.). См. прим. Л. на с. 695.

- С. 401. *Хассан* (кассап) — мясник (тур.).
- С. 403. *Мемуар* — дипломатическая записка.
- С. 403. *sans foi, ni loi* — зд.: бессовестно; букв.: без веры, без закона (фр.)
- С. 403. *sans foi* — без веры (фр.)
- С. 403. ...как вы ненавидите нынешний стиль à la Гоголь, Щедрин, Медрин и К°... — автобиографическая деталь.
- С. 404. *Воппе chance! Воппе chance...* — Удачи! Удачи... (фр.)
- С. 404. «*M-r de Camors*» — «Господин Камор» — роман французского писателя Октава Фейе (Feuillet) (1821—1890), публиковавшийся в журнале «*Revue de deux mondes*» в 1867 г.
- С. 404. *Au revoir...* — До свидания... (фр.)
- С. 404. ...за последним номером «*Revue de deux mondes*». — «Обозрение Старого и Нового Света», французский журнал, основанный в 1829 г.
- С. 405. ...сидел под дубом Мамврийским... — Имеется в виду эпизод из Книги Бытия (гл. 18), описывающий встречу праведного Авраама с Богом, явившимся в виде трех ангелов.
- С. 405. *Une admiration, Madame, que est... peut être... trop vive...* — Восхищение, сударыня, которое... может быть... слишком живое... (фр.)
- С. 405. *admiration* — восхищение (фр.)
- С. 406. *l'amor est un prisme!* — любовь есть призма! (фр.)
- С. 408. ...когда шла речь о Фламарионе?... — см. прим. на с. 859.
- С. 408. *Le mystère du mariage devant le Christ...* — Таинство брака перед Распятием... (фр.)
- С. 409. ...не поклонник ~ семейных добродетелей... — это место Л. отметил на полях синим карандашом крестиком.
- С. 411. ...«эстетический морализм»... — ср. с. 295.
- С. 412. *Ah! Touchour rêveur!! Touchour roète!..* — А! Всегда мечтателен! Всегда поэт! (искаж. фр.)
- С. 412. *partie de plaisir* — увеселительную прогулку (фр.)
- С. 412. *Voyons ~ après demain...* — Ну, соглашайтесь, мой дорогой. Это будет приключение! Прекрасное путешествие и сильные впечатления... даже опасности, если угодно. Едем послезавтра... (фр.)
- С. 413. *Un voyage ~ s'il vous plaît...* — Очаровательное путешествие! Сильные впечатления... Опасности, если угодно...
- С. 413. *Du dangè s'il vous plaît...* — Опасности, если угодно... (фр.)

С. 414. *mes faibles efforts* — мои слабые усилия (фр.)

С. 414. ...меня считали чем-то вроде художника, поэта ~ хотел быть и в служебном деле виртуозным по мере сил. — Ср. в письме Т. И. Филиппову от 7—13 января 1886 г.: «Вообще служба казенная мне всегда очень легко давалась; говорят — „художник“, а я точно родился чиновником и даже очень горжусь этим» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 9).

С. 414. *Кому ~ поставить три эт-цетера́...* — ср. в «Моих воспоминаниях о Фракии» (СС, IX, 318).

С. 415. *herbivore* — травоядное животное (фр.)

С. 415. *distinguo!* — разделяю! (лат.)

С. 415. ...победа и одоление... — выражение из ектении о православном воинстве — «на враги победу и одоление».

С. 415. *Les resultat<s> étonnants de mes faibles ~ Greces et Slaves...* — Удивительные результаты моих слабых усилий... должны быть приписаны, без сомнения, престижу, который известное имя Вашего Превосходительства имеет во Фракии среди наших единоверцев — греков и славян... (фр.)

С. 415. ...на голос серенады Шуберта... — Вероятнее всего, имеется в виду «Вечерняя серенада» австрийского композитора Франца Шуберта (1797—1828) на слова Л. Рельштаба.

С. 416. ...в греко-болгарских делах... — подразумеваются греко-болгарские церковные нестроения, приведшие позднее к отпадению Болгарской Церкви от Вселенской Патриархии.

С. 417. ...в то московское общество... — имеется в виду Императорское общество любителей естествознания при Московском университете, учрежденное в 1863 г.

С. 418. ...терпеть не могу, когда соберутся куда-нибудь вместе все эти серьезные и основательные фрачники... — отголоском этой темы стала статья «Не кстати и кстати» (1889).

С. 418. *S'il faut opter, si, dans ce Tourbillon ~ mais rends moi juste et sage...* — Если нужно выбирать одно из двух, если в этом водовороте / Нужно выбирать: быть обманутым или обманщиком — / Мой выбор сделан! Я благословил мою участь, — / Небо! Сделай меня обманутым, — но сделай меня праведным и мудрым... (фр.) Л. цитирует с некоторыми неточностями слова Бланфора из комедии Вольтера «Недотрога» («La Pucelle», 1747), акт 4, сцена 9.

С. 418. *J'étais dupe...* — Я был обманут... (фр.)

С. 419. *Ne говори мне «прости»...* — измененная цитата из стихотворения А. Фета «Ты говоришь мне: прости!» (1847).

С. 419. *que notre consul crie touchours!* — *Continuons!* — что наш консул кричит всегда! — Продолжим! (искаж. фр.)



- С. 420. *appexe* — придаток (фр.)
- С. 420. *rien que pour tirer les marrons du feu...* — лишь для того, чтобы таскать каштаны из огня... (фр.)
- С. 420. *...вся ваша Европа «гниет»...* — выражение С. П. Шевырева («Взгляд русского на современное образование Европы», 1841).
- С. 421. *Баши-бузуки* — сорви-голова (тур.), иррегулярная кавалерия в турецкой армии, набранная из диких воинственных племен.
- С. 421. *...Морни сказал про русских...* — Шарль-Огюст-Луи-Жозеф де Морни (1811—1865), французский государственный деятель, сводный брат Наполеона III, один из организаторов бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г.; в 1856—1857 гг. — посол в Петербурге. Известен своими симпатиями к России, что сказалось в материалах руководимой им французской газеты «Nation». Был женат на кн. С. С. Трубецкой.
- С. 421. *Tabula rasa* — чистая доска (лат.); в переносном смысле — чистое место, на котором все можно начать заново.
- С. 422. *Яваш, яваш...* — Начало турецкой поговорки «Яваш, яваш — эпси оладжак!» («Потихоньку, потихоньку — все будет!»). См. Т. 4. С. 982.
- С. 423. *Sacré nom de Dieu! Vous êtes bien ferme lorsqu'il s'agit de Votre café...* — О Господи! Вы совершенно невозмутимы, когда речь идет о вашем кофе... (фр.)
- С. 423. *bourgeois* — буржуа (фр.)
- С. 423. *Нивам* — регулярное войско.
- С. 424. *Худой* — черкесы; — *хороший* — татары крымские... — В 1858—1864 г. в Османскую Империю эмигрировали крымские татары и черкесы (и др. северо-кавказцы).
- С. 424. *à propos* — кстати, к слову (фр.)
- С. 426. *Кирие-му* — господин мой (греч.).
- С. 426. *Вивёр* — человек, живущий в свое удовольствие.
- С. 427. *À la turca* — По-турецки (фр., греч.)
- С. 427. *...madame D...* — Л. переменял инициал (ср. выше — Б., т. е. Булгаридис, как на с. 368), вспомнив, вероятно, реальную фамилию греческого консула и его супруги — Доско.
- С. 428. *М. С.* — снова перемена инициалов, это Канкелларио, которому «возвращена» первая буква фамилии прототипа — Ма-нолаки Сакелларио.
- С. 428. *...полковник Туфан-бей...* — Туфан-бей, поляк, князь, сражавшийся под Карсом (ср. с. 432), упоминается в «Турецких анекдотах» Садык-паши (М., 1883. С. 338).

С. 428. ...*Мурад-бей Ландскаронский*... — в первой части (с. 302): граф Доливо-Ландцковский.

С. 429. *Oui* — Да (фр.)

С. 430. ...«*всех витязей краше смиренный певец*...» — цитата из баллады В. А. Жуковского «Эолова арфа». Ср. с. 378.

С. 430. *Минвана* — героиня баллады «Эолова арфа». Продолжая проецировать ситуацию баллады на свои отношения с Машей, Ладнев под «певцом» (влюбленным в Минвану) подразумевает себя.

С. 431. «*Наш неразгаданный союз*» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Договор» (1841).

С. 432. *Станислав и Анна* — т. е. ордена Св. Станислава и Св. Анны.

С. 432. *Под Карсом*... — Во время Восточной войны 16 ноября 1855 г. турецкий город Карс был взят русскими войсками.

С. 433. ...«*в вихорь вальса*»... — выражение из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. пятая, XVI) — «Кружится вальса вихорь шумный».

С. 433. ...из [*Галиции*]... — польско-украинская провинция Австрийской Империи. В копии М. В. Леонтьевой ошибочно: «из Галаца». Румынский город Галац не входил в состав Империи, и изгонять из него австрийцы не могли.

С. 433. *Vous, madame, parlez russe*... — Ну, сударыня, поговорим по-русски... (фр.)

С. 434. *Ecoutez... Je n'en puis plus, je vous avoue*... — Послушайте... Я больше не могу, я вам признаюсь... (фр.)

С. 434. *Un preux* — витязь (фр.).

С. 436. *Au revoir* — До свидания (фр.).

С. 436. *fiasco!* — неудача! (итал.)

С. 438. *Mourad-bey (Comte Landskoronsky)* — Мурад-бей (Граф Ландскоронский)

С. 439. *Хатыр* — угода, удовольствие (тур.)

С. 439. *Гид!* — Пошел вон! (тур.)

С. 442. ...в *Рыльском монастыре*... — монастырь в Болгарии на реке Рило, основанный преп. Иоанном Рыльским († 946).

С. 442. ...в «*долине роз*» *Казанлыкских*... — город Казанлык в Болгарии славился разведением роз и производством розового масла (в этом же контексте упомянут в «Одиссее Полихрониадесе»; Т. 4. С. 8). Подобное путешествие было совершено Золотаревым и описано в донесении Игнатьеву от 9 декабря 1864 г. (Русия и българското националноосвободително движение 1856—1876. София, 1990. 126—133; о Казанлыке и женском монастыре — с. 129).

С. 444. Челибей — см. прим. Л. на с. 335.

С. 444. Афендаки — господинчик (греч.), уменьшительное от ὁ ἀφέντης, господин (от тур. эффенди).

С. 445. ...когда сам был «франком»... — т. е. когда был униатом; франками на Востоке называли европейцев-католиков.

С. 446. *C'est depuis qu'il a daigné ~ Il est ravissant...* — С тех пор, как он соизволил заниматься моим бельем, у меня появилась материнская нежность к нему! — Он премилый... (фр.)

С. 447. ...«варварством» вдеших людей... — ср. Т. 3. С. 262—263. Т. 4. С. 266.

С. 448. Нобльмены — аристократы (от англ. nobleman; историческое название дворянина в Англии).

С. 448. Сас эвхаристо, агипемени Кокона-му. — Благодарю Вас, госпожа моя любимая (греч.).

С. 449. Факиоли — возможно, от итал. fasciole — концы крахмального воротника у судей и магистров в Италии. Ср. Т. 4. С. 592.

С. 449. ...читал в *Revue des deux Mondes* статью одного умного человека... — речь идет о статье Адальберта де Бомона (de Beaumont) «*Les arts décoratifs en Orient et en France (Un voyage en Orient de l'Exposition universelle)*», опубликованной в ноябре 1867 г. в журнале «*Revue des deux mondes*» (Vol. 62. P. 138—160). Л. сохранил листок с названием этой статьи и краткой записью: «Посл<едняя> Пар<ижская> выставка (67 года), автор говорит в пользу *Восточных произведений* (турец<ких>; персидск<их>, китайских, и т. д.) — и спрашивает: — „на что же все наши изобретения?“» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 79. Л. 15 об.).

С. 450. ...на Парижской выставке 67 года... — эту выставку Л. упоминал в очерках «С Дуная» (1867).

С. 450. ...два незнакомых мне солидных грека из предместья Кыик ~ непременно перебьют Христиан... — в этой главе Л. начал описывать реальный случай, о котором он сообщал Н. П. Игнатьеву в донесении от 18 апреля 1867 г.: «В прошлое воскресенье утром пришли ко мне двое старшин из предместья „Кыик“ и объявили, что заметили там турок, изготавливающих большое количество патронов. — Заметив это, они немедленно отправились к Митрополиту.

Митрополит просил их никому об этом не говорить и тотчас же поспешил к Паше. — Что касается до Православных Старшин Кыика, то они, вслед за этим явились ко мне, объясняя прямо, что кроме Русского Консульства им надеяться не на кого. — Побра-

годарив их за такую уверенность в нашей готовности всегда служить интересам Православных, я пошел к Греческому Агенту и предложил ему не теряя времени действовать заодно.

Заметив в Г. Логотети некоторое колебание, я принудил его идти со мною к Митрополиту тем, что выразил решимость действовать один и даже, если придется, вопреки всем другим Консулам в данном случае.

У Митрополита мы уже застали несколько собравшихся по этому поводу и крайне взволнованных Православных. Сверх того и дорогой к нам подходили один за другим испуганные Христиане и говорили о том же.

Митрополит и старшины видимо ждали от нас мер скорых и твердых. — Митрополит уже был у Паши, и Хуршид обещал ему сделать в Кыике обыск.

Тогда я сказал Г. Логотети, что намерен предложить другим Консулам совокупное действие в Порте; но сознался ему, что не нахожу полезным настаивать на этом коллективном действии, ибо с одной стороны предвижу, что Гг. Гиз и Блонт на это не согласятся, а с другой нахожу, что мы и без них можем обойтись.

Г. Логотети, уклоняясь от всякой инициативы, следовал, однако, за мною. — Случилось то, что мы предвидели. — Г. Гиз и Блонт оба отказались от коллективного действия, под тем предлогом, что дело, „вероятно“, не имеет важности и еще потому, что коллективное действие устрало бы еще больше жителей. — Я отвечал им на это, что меня привела к ним только обязательная вежливость.

И точно, только бестактной враждебности Г. Блонта и нерадивости Г. Гиза простительно забывать, что подобные дела тогда только и поправимы, когда они еще не важны. — Г. Блонт к тому же должен бы более всякого заботиться о предупреждении беспорядков, ибо в конечном результате все беспорядки обрушиваются на голову его же любимого Турецкого Правительства.

Г. Камерлохера не было дома и он возвратился в город только к вечеру, когда я (оставленный и Г. Логотети) принужден был один идти к Паше.

Турки к тому времени были уже захвачены врасплох и судились в Истинтаке. — Они уверяли, что готовились охотиться за оленями. — Я представил Хуршиду сверх других понятных объяснений, всю опасность его личного положения и все наше желание сохранить здесь такого честного и благоприятного Христианам Пашу. — Хуршид благодарил меня и уверял, что примет все меры, но что дело внимания не заслуживает. — Однако, из неко-

торых ответов его и особенно из ответов 1-го Секретаря (Мехтубчи-Эффенди), с которым мы тоже говорили, заметно, что они оба не вполне уверены в истине показаний захваченных турок.

Такой же успокоительный ответ дал Паша и Г. Камерлохеру, который с большой готовностью согласился содействовать мне и Г. Логотети и был вчера в Порте. <...>

Захваченных турок сегодня Паша выпустил, вероятно, для того, чтобы не слишком раздражать других Мусульман. — Но пока, для успокоения Христиан приказано запираить ворота городские тотчас по заходе солнца и не впускать вечером в город ни одного турка (в городе их нет); а в предместьи Кыик даже и из домов их вечером полиция не выпускает. — Христиане с своей стороны наняли тройное против прежнего количество ночных сторожей, ибо поджога они опасаются более чем резни в больших размерах, на которую пожалуй что и никогда не решатся турки. Г. Камерлохер, между прочим, объявил мне положительно, что он сам выйдет с оружием и будет возбуждать Христиан к защите, если бы было произведено нападение. — Он уверяет, что сказал это даже Паше и, зная его, ожидать этого от него можно.

<...> Многие желают также, чтобы сюда было прислано хоть сколько-нибудь регулярного войска; по их мнению, особенно своевременно было бы присутствие Польских Козаков и Драгун, как войска с одной стороны чуждого Мусульманизму, а с другой заинтересованного в поддержании существующего порядка» (АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 1867. Д. 1013. Л. 122—125 об.).

Этому донесению предшествовало другое, от 4 апреля:

«В простом народе здешнем продолжают ходить слухи о том, что местные турки грозятся произвести нападение на Христиан.

Г. Гиз, Французский Консул, сообщил мне также с негодованием, что деревенские турки приходят в город покупать оружие и заказывают полумесяцы для знамен „Священной войны“, а Христиане не помышляют даже о сопротивлении. <...>

Нельзя, к сожалению, не согласиться, что Христиане здесь действительно обнаруживают в подобных случаях непостижимое соединение беспечности с трусостью. — Ни один из них, ни богатый, ни бедный не решается взять на себя какую-нибудь ответственность, напр<имер>, организовать средства к отпору и т. п.

На днях, впрочем, зародилась у некоторых мысль написать протест, обращенный к Порте и к Великим державам. — В протесте этом должны быть перечислены все жертвы, которые (волей-неволей) принесло в разное время мирное и покорное насе-

ние Фракии, никогда не принимавшее и теперь не принимающее участия в волнениях других областей Империи; — предполагается выразить еще раз твердое намерение не помышлять ни о каких беспорядках и кончить просьбой прислать сюда несколько тысяч регулярного войска — для ограждения жизни и имущества Христианских подданных Султана. В противном случае, Христиане думают объявить, что возмутся и здесь за оружие, но не против Пра<вительст>ва, а против местных фанатиков. — Хотя эта угроза, по моему мнению, возможна только на словах, ибо на деле наши единоверцы здесь везде (за исключением нескольких деревень и Адрианопольского предместия *Ильдирум*) скорее дадут себя перерезать как овцы, чем решатся принять действительно угрожающий вид, способный заставить задуматься противников; — однако, оружие у них найдется и такое заявление в брошюре, напечатанной хоть, напр<имер>, в Бухаресте, от имени какого-нибудь „Тайного Фракийского Комитета“, могло бы принести некоторую пользу общему делу. — Ибо, кроме действительного желания оградить себя и свои семейства присутствием более или менее дисциплинированного войска, есть здесь и другая цель: отвлечь турецкие силы от тех стран, где возможно восстание» (Там же. Л. 112—113 об.).

С. 450. ...на Великой неделе... — т. е. на неделе после Пасхи.

С. 451. Чапкыны — разбойники, озорники (тур.).

С. 452. Мавромихали — прототипом греческого консула, сменившего в Адрианополе Доско (в романе — Булгаридис), послужил консул Логотети.

С. 453. *Eh bien — soit... J'y vais!* — Ну что ж — пусть так... Я иду туда! (фр.)

С. 454. *Von pour Odessa etc!..* — Действителен через Одессу и далее!.. (фр.)

С. 454. *Des tiraillements douloureux...* — Прискорбные беспокойства... (фр.)

С. 455. ...которой занимался смолоду Магомет, когда был прикащиком у Мадам Кадиджи... — Основатель Ислама Мухаммед (Магомет) (между 570 и 580 — 632), согласно традиционной биографии, был пастухом, затем состоял в вооруженной охране торговых караванов, впоследствии женился на купеческой вдове Хадидже и вел ее дела.

С. 455. ...принять за Делю... — за безумца (тур.). О разбойнике Дэли см. Т. 3. С. 239.

С. 456. ...этого поляка... — см. с. 318.

С. 456. Мехкеме — суд по Корану.

С. 458. *Мюфетиш* — судья суда мехкеме.

С. 460. «Скупые хотя и утверждают скупость между людьми. — Но они потерпят большее наказание» ~ «Они (скупые) будут наказаны подобно неверным...» — Коран, Сура 4, 41 (37).

С. 460. *К вам справедливо обращено воззвание Падишаха...* — Падишах — великий государь, один из титулов султана. Предложение не закончено, далее рукой М. В. Леонтьевой написано: «пропуск около трети страницы».

С. 460. ...«по Наполеонову кодексу»... — «Кодекс Наполеона» — французский гражданский кодекс (Code civil), разработанный при непосредственном участии Наполеона I и утвержденный Законодательным корпусом в 1804 г. Он был также принят в ряде европейских государств и с незначительными изменениями действует до настоящего времени. В основе Кодекса лежат принципы равенства всех граждан перед законом, охраны частной собственности, свободы договорных отношений; согласно этому Кодексу муж и отец обладают в семье неограниченной властью

С. 461. «Яко с нами Бог!» — Ис. 8: 10. Песнопение «С нами Бог, разумеете языки...» особенно торжественно поется на праздничных великих повечериях.

## ЯДЕС

Автограф неизвестен.

Датируется весной 1885 г.

Впервые: *Нива*. 1885. № 26. С. 618—619, 622—623. Подзаголовок: Восточный рассказ К. Н. Леонтьева.

Вошло в СС (Т. III. С. 423—438). Подзаголовок: Восточный рассказ.

Печатается по *Н*.

Единственное обнаруженное нами упоминание о рассказе содержится в письме редактора «Нивы» Ф. Н. Берга: «Хотя в рассказе Вашем «Ядес» всего 400 строк, но я распорядился выслать Вам 100 руб. и вперед <...>» (Из письма от 14 июня [1885]; ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 12). Можно с уверенностью предположить, что именно об этом произведении речь шла в письме Леонтьева к Т. И. Филиппову от 5 апреля 1885 г. Говоря о невозможности «поддержать» новую газету «Голос Москвы» (правда, он вскоре написал для нее очерк «Свя-

щенник-убийца»), писатель мотивировал свой отказ так: «я уже начал другое для денег, ибо они необходимы» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 103). (Другие очерки, опубликованные в 1885 г., были написаны еще в конце 1884 г.<sup>1</sup>) «Прежде я жил, чтобы писать, а теперь чуть не со слезами принуждаю себя писать, чтобы жить, ибо в Москве очень дорого...» (там же). В состоянии безденежья, болезни, уныния была написана легкая и красивая восточная сказка — один из шедевров леонтьевской прозы.

В переписке Леонтьева есть упоминание об игре в ядес. Так, 29 октября 1870 г. секретарь консульства И. П. Крылов сопровождал просьбу переслать его портрет М. В. Леонтьевой словами: «Это ядес» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 35).

В 1888 г. рассказ был переведен на украинский язык О. Е. Левицкой (Зоря. № 19. С. 313—315. № 20. С. 332—334).

С. 463. ...«*глаза такие открытые*»... — это греческое выражение Л. использовал в повести «Хамид и Маноли» (Т. 3. С. 152).

С. 464. *Хашлама* — шелковая кисея (тур.).

С. 465. *Кузум-Мариго* — Дорогая Мариго (тур.), букв.: «барашек».

С. 467. *Зарфики* — см. прим. на с. 866.

С. 469. *Не за красивую ли женщину пролито столько героической крови под стенами Илиона?* — Имеется в виду похищение Елены, ставшее причиной Троянской войны. Ср.: Т. 4. С. 314—315.

С. 469. *Далила погубила Самсона.* — Далида — филистимлянка, которая, выведав тайну силы полюбившего ее Самсона, предала его в руки врагов (Суд. 16: 4—21).

С. 469. *Омфала унизила Иракла...* — Омфала — в греческой мифологии царица Лидии, в рабство которой Геракл был отдан на год за убийство Ифита. Унижение заключалось в том, что Омфала заставляла Геракла ходить в женской одежде и исполнять женские работы.

С. 469. *Иезавель и Гофолия потрясли основания еврейского царства.* — Иезавель, дочь царя Сидонского Ефваала, жена Ахава, царя Израильского. Иезавель принесла в царство Израильское поклонение Ваалу, по ее повелению убивались пророки

---

<sup>1</sup> 3 июня 1885 г. Леонтьев признавался Филиппову: «ничего не печатаю и почти не пишу нового уже 2 года» (Там же. Л. 105).



Божии. Только чудо, совершенное св. пророком Илией на горе Кармиль, помогло восстановлению служения Богу истинному. Гофолия — дочь царя Амврия, жена царя Иорама (сына Ахава); по вере — язычница. После смерти сына Охозии (царствовавшего только год), желая захватить власть, Гофолия «истребила все царское племя» (4 Цар. 11: 1). Спасся только один из ее внуков — Иоас. Гофолия царствовала шесть лет, пока не была свергнута первосвященником Иодаем.

С. 469. *Ксантип* — известная своей злостью жена Сократа.

С. 469. *Жены же совратили ~ Соломона и заставили его поклоняться идолам.* — Соломон (XI в. до н. э.), сын царя Давида и Вирсавии, царь Израильский. Известный как строитель Храма Господня в Иерусалиме, Соломон тем не менее уклонялся и в язычество. В огромном гареме Соломона было множество язычниц из соседних племен (моавитянок, аммонитянок, хеттеянок и др.), они-то и склонили царя в последние годы его жизни к служению Астарте, Хамосу и Милхому (Молоху) (3 Цар. 11: 1—8).

С. 469. *Прекрасно уподобил один из древних разных женщин разным животным...* — речь идет о ямбической сатире Семонида Аморгского (VII в. до н. э.) на женщин. Ср.: Т. 4. С. 454, 1010.

С. 470. *Стафида* — изюм (греч.).

## ПОДРУГИ

Автографы и рукописная копия неустановленного лица (возможно, В. М. Эбермана): РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 25 (зд. ошибочно под названием «Львов»); ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 22, 23, 24. Первоначальные названия: «Пути Господни», «Последний луч».

Датируется 1889—1890 гг.

Печатается впервые по автографу и авторизованным копиям.

Первая редакция: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1—24 (копия с авторской правкой). Ед. хр. 24. Л. 7—13 (автограф). Ед. хр. 23. Л. 24—41, 43—54 (копия с авторской правкой). Ед. хр. 22. Л. 27—33 (автограф). Черновой автограф трех первых глав см. в разделе «Другие редакции. Наброски. Планы»; печатается по автографу ГЛМ (Ед. хр. 22. Л. 3—6) и РГАЛИ.

Вторая редакция (главы III—V): ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 7—25, 34—49.

Замысел романа возник во второй половине 1880-х годов. В письме от 21 июля 1887 г. А. А. Александров, задавая вопросы о незавершенных произведениях Леонтьева, вспоминает и «монашеский роман»: «Не начался ли „монашеский роман“?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 14). 7 апреля 1889 г. Леонтьев писал Т. И. Филиппову от «...Я зимою колебался, за какой мне большой из 3-х начатых трудов приняться; спросил от. Амвросия, он велел с молитвою бросить жребий и вышло — писать роман! Конечно — в христианском духе. Признаюсь, в мои годы — это страшно! Начнешь — не скоро кончишь. Но делать нечего — если такова воля Божия! Надо будет летом взяться за продолжение» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 55). 16 апреля Филиппов ответил: «Роман, вероятно, прочтут все и даже хвалить будут, но холодно. Это Ваша доля и Ваша честь!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 10 об.).

Но летом и в начале осени Леонтьев за роман не брался. 20 октября 1889 г. он рассказывает Александрову о том, что пишет статью о Толстом, а «по окончании и отправке ее» начнет другую работу: «должен буду наконец приступить к исполнению выпавшего мне жребия — начать роман „Последний луч!“. Жребий не сказал: и окончить непременно. — Он сказал только: начать предпочтительно перед всем другим. — Весьма возможно, что тайный смысл этого жребия, его скрытая и высшая телеология в том, чтобы убедить меня самого в решительной уже неспособности писать романы. — Но начать я обяван. И мне теперь точно со стороны прелюбопытнo видеть как это К<онстантин> Н<иколаевич>ч Л<еонтьев>в — возьмется за дело, которое ему вовсе не по сердцу. — Ибо разве можно найти форму иную для выражения пережитого, кроме прямой, подробной и откровенной автобиографии? — По-моему — нельзя. — Изменишь немного обстоятельства (для приличия и т. п.) — и чувства дорогие глубоко изменятся» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 99 об.).

16 ноября, объясняя о Иосифу Фуделе причины длительного перерыва в переписке с ним, Леонтьев главной из них называет работу над романом. «...Я начал один новый труд, большой довольно\*, и он на первых порах поглотил все мое внимание. — Теперь — я почти справился с началом; дал себе небольшой умственный отдых <...> одна из главных целей этого письма та, чтобы Вы, мой друг, теперь до Нового Года хороших, прежних, подробных писем от меня не ждали. — На днях я опять должен буду

---

\* По особому благословению.

весь погрузиться в эту работу, движимый разом *тремя* сильными чувствами: желанием окончить то, что мне (по приказанию От. Амвросия и после молитвы) выпало по жребию начать; — это раз; — потом — страстное желание — получить от „Русск<ого> Вестн<ика>” или от „Русск<ого> Обзор<ения>” (Бобар<ыкин> и Церт<елев>) сумму достаточную для уплаты двух долгов — 1200 р. с. в Банк <...> и 300 р. с. одному небогатому человеку <...> И наконец — конечно — и самолюбие авторское — чтобы *получше* свое дело сделать, похудожественнее...

Итак, Вы видите, милый отче мой, — даже не три, а вернее, *четыре* струны душевные напряжены и звучат при этой работе: и религиозная (благосл<ование>, жребий), и хозяйственная (Банк), и моральная (бедный кредитор), и эстетическая...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 57—58).

10 января 1890 г. об этих же обстоятельствах и о трудностях в работе над романом Леонтьев писал Филиппову: «У меня от *прежней* живни осталось 1500 р. с. долга <...> Прошедшей весной я обратился к от. Амвросию за советом, что мне начать (писать), когда я окончу ту статью, которую я сегодня Бергу отправил. <...> *Жребий* выпал начать роман (в *правосл<авном>* духе, конечно). В мои годы это очень трудно... Борьбы и труда я предвижу очень много уже по самому богатству материала в памяти моей. Путаются между собой три сюжета, один богаче другого, и мне хочется выбрать *самый бедный*, для легкости.<sup>1</sup> Окончу ли я его, это „не сказано” (жребием), но что *начать* его я *должен* после жребия, Вы с этим согласитесь. Откровенно Вам признаюсь, что я даже решился не слишком серьезно заботиться о художественном достоинстве этого романа, а только о том, во-1-х, чтобы христианское учение было в нем настоящее, а не „маргариновое” (как у Достоевского), а во-2-х, о том, чтобы вышло поскорее *столько листов, сколько нужно*, чтобы уплатить эти 1500 р. с. и быть уже совершенно свободным. <...>

*Старое* все сердцем забыть, при молитве и безмолвии, возможно, если не подвергать себя более новым тяжелым впечатлениям, все в том же старом роде! „Вырви око твое, если оно

---

<sup>1</sup> Ср. в записке о. Эрасту (Вытропскому) от 20 января: «Надо бы все-таки дело мое (*литтер<атурное>*) у батюшки подвинуть так или иначе?». К слову «литературное» относится примечание: «Продолжаю путаться в 3-х сюжетах и боюсь согрешить!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1011. Л. 4).

соблазняет тебя". И все это зависит от этих 1500 р. Надо скорее их приобрести... Надо написать листов 15, а там, хорош ли он будет, кончен ли он даже будет (это между нами, как на духу, из соображений практических) — это уж не важно» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 70—71).<sup>2</sup>

На следующий день, 11 января, о замысле писатель рассказывал Александрову: «...С 1-го февр<аля>, если ничто не помешает, примусь продолжать роман (который я уже начал было до Рожд<ества>, но оставил на время, чтобы разделаться наконец с Толстым).<sup>3</sup> — Только не ждите, мой дорогой друг, тех новых путей, о которых Вы пишете.<sup>4</sup> — Какие же это могут быть новые пути? Для меня — никаких нет — кроме догматич<еского> и аскетич<еского> Православия, *устоявшего против науки и прогресса*. — Но, чтобы эту идею облечь в достойную форму, нужен труд сложный и большой (не меньше А<нны> Каренин<ой> или Одиссея); но Вы не поверите (по молодости вашей) до чего это меня пугает! — Важность и святость вопроса — возбуждают во мне богобоязненное чувство; — обилие материала и богатство и глубина моего личного опыта как житейского так и духовного — с другой стороны просто подавляют меня. — „Шевельнуть“ все это страшно! — Объективнее писать — будет труднее и выйдет суше; — более лично — больно и совестно... Поэтому — едва ли я уже сделаю что-нибудь капитальное в этом роде. — Вернее, что я поставлю себе цель более низкую и грубую: написать скорее, листов 15, чтобы расплатиться с Банком, который меня связывает — и мешает мне внести в жизнь мою еще некоторые душеспасительные изменения. — Эта цель — будет попроще, помирнее и повернее.

Разумеется — направление должно быть — религиозное; а получше или похуже в эстет<ическом> отношении — это уж

---

<sup>2</sup> Филиппов ответил на это письмо только 6 марта: «Как идет Ваш роман? Если Вы принялись за него, то ищите прежде правды, а 1500 р. приложатся Вам. Как же, взявшись за роман, не заботиться о художественности. Это истинный грех!» (РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 29 об.).

<sup>3</sup> В начале января Леонтьев завершил статью «Анализ, стиль и веяние».

<sup>4</sup> 30 декабря Александров спрашивает: «Приступили ль Вы к Вашей повести (или роману)? Если да, то помоги Вам Бог! Помогите Вам Бог проложить и в этой области новые пути грядущему поколению русских людей» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 20—21).

ничто — сравнительно с получкой разом 1200—1500 р. с. для расчета в Калужском Обществе Взаимного Кредита. — „Укатали, голубчик мой, — сивку крутые горки!“ — Люблю я, грешный, все земное прекрасное, но уже дожид до того, что и не умею предпочитать небесному, когда есть возможность выбора!

Эти грубые отношения к Банку — имеют гораздо более душевное для меня значение, чем можно подумать, не зная моего внутреннего настроения.

Поняли?» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 112—113 об.).

Мысли о романе не оставляют Леонтьева в эти дни. 12 января он пишет о И. Фудею: «...Благодарю Вас (и даже очень) за ваш совет писать роман в форме дневника или Воспоминаний.<sup>5</sup> — Я сам думал об этом и чувствую к этой форме большую склонность; но колебался, опасаясь слышать еще раз, что мои романы скучны.

Я действительно надеюсь с февраля взяться за роман или большую повесть в Православном духе. — Знаю, что будет много борьбы и что в мои года романы писать трудно по многим причинам; а мне между прочим и потому, что я матерьялом огромным подавлен! — Матерьялом и личного разнородного опыта, и знанием слишком большого количества разнообразных людей... Одно с другим путается; одно другому мешает, и поставить своей мысли пределы и утвердить для них (для мыслей) художественный центр тяжести — очень трудно. — Помогают мне в этом случае, однако, две вещи, совершенно противоположные; хотя, быть может, внутренне и очень тесно связанные: Одна — духовная — это жребий писать роман, жребий, который выпал мне по благословению старца и после усердной молитвы; а другая вещественная: страстное желание уплатить сразу старый долг в 1200 р. с. в Калужском Обществе Взаимного Кредита. — Статьями этого не добьешься; а романом можно» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 70 об.—71 об.).

Через месяц, 12 февраля Леонтьев писал Александрову: «Я очень занят теперь двумя работами, — одна: это статья для „Гражданина“ о современном религиозном движении в образцовом русском обществе.<sup>6</sup> <...> Ну, а другая рабо-

---

<sup>5</sup> 28 декабря 1889 г. о. Иосиф писал: «Не знаю — что Вы теперь пишете и как? Но прошу Вас давать побольше свободы лирическому чувству; а если Вы пишете роман, то дневник будет наиболее пригодная для этого форма» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1037. Л. 41).

<sup>6</sup> Речь идет о статье «Добрые вести».

та по окончании статьи: *повесть*. — Тут у меня борьба: „художник“\* требует получше; позанимательнее, поглубже; Христианин — почище, построже, посвятее. — Кредитор Банка в 1200 р. — говорит: как-нибудь — да поскорее. — Кредитору же, вообразите — а совсем уж не художнику — помогает опять-таки Христианин. — Он говорит: — „Искусство, художественное совершенство — это пустяки, тщеславие. — Лишь бы напечатали; лишь бы очень плохо не было; — а Банк это очень важно! Долг этот тебя связывает больше всего; ты еще не свободен; ты не можешь, пока не развяжешься с ним, сказать себе: „Ныне отпускаеши раба Твоего“; — не можешь сказать, — благословлюсь у батюшки хоть целый год или больше, если будет такая потребность, — не писать для печати; ничего не писать; — а заниматься одним строго духовным <...> или писать одни свои воспоминания для выгод наследниц...”» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 121 об.—122).

14 марта, получив ответ Филиппова, приведенный выше (прим. 2), Леонтьев рассказывал о своем труде: «Пол-зимы я был занят окончанием очень трудной статьи для Русск<ого> Вестн<ика> <...> Потом принялся за ту повесть, о которой Вы знать желаете (*Подруги* — история обращения нескольких лиц к Православной вере). Написал глав 6, 7 и должен был оставить на время, для некоторых более обдуманых художественных, религиозных и психологических соображений, ибо увы! Хотя вопреки, уж извините, Вашему взгляду на то, что пренебрегать художественностью мне истинный грех, я бы очень желал пренебречь ею во имя других, гораздо более священных (уплата банку имеет тесное отношение к моей духовной жизни) соображений. Но не могу достичь до этого равнодушия! И все-таки забочусь о ней» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 72—73).

Хронология работы над романом прослеживается по письму Александрову от 11 июня: «Не писал я Вам долго оттого, что очень был занят до последних дней — сочинительством своей новой повести; — теперь приостановился недели на две; буду говорить и еще обдумывать. — <...> Это не то, что я Вам читал: „Дипломат Маврокордато едет через лес к помещику и философу-Пессимисту Львову и т. д.“ <...> Хочу постараться окончить 1-ю часть к сентябрю и решил не уступать дешевле — 200—250 за лист. — Жена Бобарыкина, которая на днях приехала в свое име-

---

\* Бранное слово.

ние (верстах в 15 от Оптиной),<sup>7</sup> говорит, что „дадут, только — кончайте!“» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 135—135 об.).

Пожалуй, наиболее ценным документом, характеризующим замысел романа, является письмо Филиппову от 26 июня: «...Готовлю понемногу и надеюсь к осени этой окончить 1-ую часть довольно большого романа (*успею ли* весь дописать?). Основной смысл всего труда можно будет позднее выразить в общем заглавии „*Пути Господни*“; но так как я начал издали, где чуть видные „тропинки“ обещают вывести моих героев и героинь на „Царский Путь Креста Господня“,<sup>8</sup> — то я первую половину хочу назвать попроще: „*Подруги*“, а теперь обдумал только 1-ую часть 1-й половины, полагаю, что и в первой половине будут *три части*. Первая происходит в русском имени в начале 70-х годов, 2-я часть в Константинополе, третья большею частью в уездном городе, около *небольшого* монастыря (нарочно, чтобы не сказали, что я „целиком“ Оптину описываю)... Но до этого еще далеко; я и с первой частью 1-й половины едва-едва справлюсь. Очень тяжело иногда на сердце и все от обилия своеобразного материала, данного жизнью и самобытным на эту жизнь воззрением.

Видите — пишу! Но откровенно (и *между нами*) сознаюсь, что пожалуй и брошу эту затею, если мало-мальски буду недоволен исполнением и вернусь опять скоро к публицистике, которая гораздо для меня теперь легче. Пуще всего я в романах тягочусь *необходимостью* помнить о читателях и в угоду им беспрестанно строить эти *разговоры* и *изображать* движения вместо того, чтобы излагать почти все от себя в форме длинного рассказа. Читать не будут, и что еще важнее для *моей главной и ближайшей цели*, и редакторы, как люди практические, испугаются скуки и дадут меньше за лист... Да! Я имею в виду прежде всего теперь разделаться с банком и тогда я буду уже совершенно свободен — писать что хочу и когда хочу. И даже, пожалуй, и совсем не писать, а только молиться да отдыхать! Статьями этого не дождешься; статьи помогают только медленному погашению, а мне эти *сроки*, эти узы нестерпимо наскучили; я молился, благословлялся у старца, по его совету бросал жребий и выпал жребий писать *эту повесть*. Но писать еще не значит „окончить“. Зани-

---

<sup>7</sup> Ольга Васильевна Боборыкина; имение Боборыкиных — село Бильдино Козельского уезда Калужской губернии.

<sup>8</sup> Название книги, переведенной с латинского в 1709 г. Св. Иоанном (Максимовичем).

мательно будет начало; Цертелев, говорят, заплатит щедро (200—250 за лист). Уплачу 1100 р. с. в банк; удовлетворю и другим *давним требованиям совести* (есть и такие, увьи!)... И тогда что Бог даст.

Вот мои последние „литературные” новости. Надеюсь недели через две прочесть первые 6 глав у княгини Дарьи Петровны Оболенской: сын ее Алекс<ей> Дм<итриевич> превосходный судья, быть может, будет здесь к тому времени и Алекс<андр> Петр<ович> Соломон: он тоже знаток; есть здесь и другие „образованные читатели”.<sup>9</sup> Боюсь только одного, чтобы моя собственная строгость и мой эстетический идеализм не взяли бы верх над практическими расчетами; увижу, что не особенно восхищаются — пожалуй сожгу! И опять за то же — за статьи, да за медленное „погашение”!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 90—92).

Сомнения в том, что работа будет завершена, звучат и в письме Губастову от 3 августа: «Несчастье мое в том, что у меня нет теперь уже ни малейшего желанья писать романы <...> С июня напало на меня отвращение от этой работы, и она приостановилась до осени. — В настоящее время, слава Богу, начинаю опять чувствовать к ней больше охоты» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 210). Однако и с появлением этой «охоты» приниматься за продолжение «Подруг» не было времени: «В настоящую минуту — на первой неделе Успенск<ого> поста — я говею; — на второй жду гостя из Белостока, молодого Священника Фуделя <...> А 16-го августа думаю с ним вместе ехать в Москву на месяц» (Там же).

Вернувшись из Москвы, Леонтьев в письме Филиппову от 25 сентября напомнил о том, что начал летом «роман из русской жизни 70 и 80-х годов», и рассказал, что «уже распродал его Бергу<sup>10</sup> по 200 р. с. за лист и с уговором тотчас же выплатить все

---

<sup>9</sup> Кн. Д. П. Оболенская (р. Трубетцкая; 1823—1906), жена кн. Д. А. Оболенского; кн. А. Д. Оболенский († 1934), козельский предводитель дворянства, в 1905—1906 гг. обер-прокурор Св. Синода; А. П. Соломон (1853—1908), сын сенатора П. И. Соломона, публицист.

<sup>10</sup> Ср. в письме Губастова от 11 августа 1890 г.: «Если Вы уже обещали или продали б<ыть> м<ожет> роман Ваш „Русскому обозрению”, то конечно нужно его будет отдать в этот журнал, но я думаю, что Фединька Берг заплатит Вам не меньше Цертелева» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 112. Л. 35—35 об.). Берг еще 2 января 1889 г. писал Леонтьеву: «Очень буду рад Вашей вещи беллетристической...» (Там же. Ед. хр. 86. Л. 22). Видимо, после получения этого письма и бросал Леонтьев жребий зимой 1889 г.



по рукописи, как только она будет получена». Его цель — написать и поскорее напечатать первую часть: «Нужно только 8—10 листов, чтобы исполнилось мое теперь единственное страстное желание избавиться от этих 2—3 долгов! <...> Буду надеяться, что роман этот избавит меня „от сети вражией” (т. е. от постоянного и неотвратимого пока — литераторства!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 96).

26 октября Леонтьев сообщил Александрову: «Роман пока отложен» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 150 об.). Он и остался «отложенным»; по-видимому, как и в случае с уничтоженной «Рекой времен» немаловажную роль в этом сыграл «эстетический идеализм» — неудовлетворенность автора своей работой. Но были и другие причины. «Прошлой осенью, — писал Леонтьев племяннику за три недели до смерти, — я и ожидать не мог, что у меня с зимы так скоро появится отвращение от печати и такое упорное, обдуманное и глубокое! — Мог ли я прежде молиться так, как я теперь молюсь: „Господи! Если нет никакой особой душеспасительности ни для меня, ни для других в моих дальнейших писаниях, то освободи меня, Боже, как-нибудь скорее и от Банка, и от некоторых долгов совести, чтобы я мог сказать себе — не буду больше заниматься литературой! — Но, впрочем, да будет воля Твоя!” — А теперь — я молюсь так» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 18).

«...Очень мало написано, но очень тепло», — так высказалась о неоконченном романе М. В. Леонтьева, конечно, узнавшая себя в образе Сони Львовой (письмо о. И. Фуделю от 6 января 1921 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 21).

Не желая в точности копировать собственную биографию (да и памятуя о цензуре), Леонтьев меняет наиболее существенное обстоятельство: Соня в романе приходится Матвееву не племянницей (как М. В. автору), а двоюродной сестрой. Неоднократно упоминается в романе их дед и благодетель Петр Васильевич (в некоторых, вероятно, более ранних фрагментах — Петр Николаевич, иногда ошибочно названный дядей). И здесь писатель прибегает еще к одной «маске», рисуя портрет этого героя с собственной матери, Ф. П. Леонтьевой. Особенно близка, до мелких деталей, связь с реальной историей семьи в эпизодах с завещанием имения.

Прототип отца Софьи — Владимир Николаевич Леонтьев (1818—1873). Подобно Львову, он в молодости был военным (ср. с. 487), а затем стал публицистом. «Большая и либеральная газета» (с. 473), в которой сотрудничал Львов, — это «Голос»

А. А. Краевского. После закрытия «Современного Слова», газеты, издававшейся Н. Г. Писаревским с лета 1862 г., где В. Н. Леонтьев был ведущим сотрудником, 6 июля 1863 г. он обратился к Краевскому с письмом, в котором просил принять его в сотрудники «Голоса» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 481. Л. 1—1 об.). Уже зимой 1863—1864 гг. он отправился в первую поездку по России как корреспондент «Голоса». Последнее письмо Краевскому, от 28 сентября 1872 г., послано уже из Кудинова (Л. 14—15 об.).

Возможно, В. Н. Леонтьев сотрудничал и в «листке „Заноза“» (см. в примечании на с. 897). Но непосредственным образом он был связан с другими сатирическими изданиями. 1 ноября 1870 г. им был заключен договор с Краевским об издании «Искры» (ОР РНБ. Ф. 73. Ед. хр. 1006). Затем, осенью 1871 г. Н. А. Степанов передал ему права на издание журнала «Будильник». В мае следующего года Владимир Николаевич уехал из Петербурга, «захватив подписные деньги как „Будильника“, так и „Искры“». <sup>11</sup> 18 июня 1872 г. он писал Степанову о своем отказе от прав на издание «Будильника» и о том, что не может отыскать «свидетельство Главного управления по делам печати на издание Будильника» (РО ИРЛИ. 4389. Л. 1 об.).

Семья Судогдиных в «Подругах» — это портрет соседей, с которыми дружила М. В. Леонтьева, — семьи Раевских. Иосиф Григорьевич Раевский (1814—1881) в 1843 г. женился на дочери капитана второго ранга Елизавете Васильевне фон Розенберг (1822—1879). У них было 11 детей: Сергей, Иван, Евгений, Ольга, Мария, Людмила, Анна, Евдокия, Василиса, Екатерина, Варвара (*Булычев Н.* Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 года и Перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года. Калуга, 1908. С. 241). Дочери Надежда и Елизавета умерли в возрасте трех и двух лет; сыновья Василий и Константин — в отрочестве.

Зинаида Судогдина — это Людмила Осиповна Раевская (1848 — после 1912?), ее старшая сестра — в повести Маша — Ольга Иосифовна (1844—1897), в замужестве Муромцева. Прототипом общей любимицы Оли была, вероятно, Варвара Раевская (1861—1920?), ставшая позднее женой драматурга

---

<sup>11</sup> *Ямпольский И. Г.* Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. Л., 1973. С. 103. См. также: *Ямпольский И. Г.* Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра». М., 1964. С. 436.

Н. Я. Соловьева. Один раз упомянута Дуня — здесь Леонтьев не изменил даже имени, вспомнив одну из сестер Раевских, Евдокию Осиповну (1853—1881). Прообразом брата Вани послужил, вероятно, один из сыновей, скончавшихся в отрочестве, Василий (1863—1873) или Константин (1866—1874).

Действующие в эпизодах куреевские слуги (жена повара, старая няня, «пьяница Андрей», Прокофий, «петербургская горничная») также «рисованы с натуры».

Место действия романа — два имения, Куреево (как и в романе «От осени до осени») и Ерёмино. Еремино — это имение И. Г. Раевского Карманово (другое название Ефремовское), село Чемодановской волости Мещовского уезда, в 62 верстах от Калуги, 39-ти от уездного города и 10-ти от волостного правления. Перед крестьянской реформой здесь было 150 душ крепостных (Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. I. Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. СПб., 1860. С. 26. 7 паг.). Но и топоним Еремино также реален: деревня Еремино (Райское тож) находилась в Чемодановской волости в 37 верстах от Мещовска (Статистическое описание Калужской губернии. Т. VI. Мещовский уезд. Вып. I. С. 186).

В заключение необходимо объяснить текстологическое решение, выбранное редакторами. Что позволило присоединить начало первой главы из автографа ГЛМ к архивной единице, носящей в описи РГАЛИ название «Львов»<sup>12</sup> (в действительности же представляющей собой черновую рукопись первой редакции романа), а четвертую главу, сохранившуюся только в черновом виде, печатать вслед за окончанием 3 главы авторизованной копии? Первое решение объясняется совпадением «разрыва»: в ед. хр. 22 текст первой главы обрывается и начинается в автографе РГАЛИ с прерванного места; прерванная в автографе ГЛМ авторская пагинация продолжается в автографе РГАЛИ. После нашего «присоединения» черновой автограф целиком совпал с копией ГЛМ (ед. хр. 23) — ясно, что переписывалось по нему.

Присоединение четвертой главы объясняется следующим обстоятельством. В автографе (ГЛМ, ед. хр. 22) обнаруживается две четвертых главы. Первая из них, как выяснилось, является

---

<sup>12</sup> Объяснение тому, откуда возникло это название см. на с. 896.

фабульным продолжением третьей главы первой редакции. Поэтому мы и сочли возможным завершить ею основной текст.

«Путаница» архивных единиц несколько упрощается тем, что в архиве писателя все рукописи «Подруг» хранились вместе и носили один номер, поставленный на титульных листах синим карандашом — 36. Это номер по описи бумаг Леонтьева, составленной в 1893 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 6 об.). Например, на л. 2 ед. хр. 22 номер поставлен после черновой пометы автора:

<1-я глав<a>>  
Черновое сначала  
1, 2, 3 и т. д.  
Подр<уги>  
4-я  
36

Этот же номер мы видим и на титульном листе ед. хр. 23:

На бело  
Подр<уги>  
I и II  
Подр<уги>  
36

Это совпадение свидетельствует о том, что нынешнее разделение архивных единиц произвольно: при нем руководствовались только тем, автограф или копию представляет собой документ. В описи 1893 г. под одним номером значится 4 тетради «Подруг». Отдельно хранился лишь черновик первой редакции. Душеприказчики, не вникая в его содержание, приняли его за рукопись другого произведения и поставили последним номером в описи (№ 42) под названием «Начатый роман (Львов — отрывок)» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 6 об.).

Вернемся к проблеме двух четвертых глав. На л. 26 (ед. хр. 22) есть помета простым и синим карандашом:

Подр<уги> (Черн<овое>)  
IV.  
36

Именно здесь и начинается четвертая глава, имеющая отношение к редакции, принятой за основную, в начале же «второй» четвертой главы никаких помет нет, что еще раз свидетельствует о том, что «первая» четвертая глава хранилась отдельно и лишь позднее попала не в «свою» папку (нынешнюю ед. хр. 23).

Помимо двух четвертых глав в ед. хр. 22 существует и две главы III, но обе они относятся ко второй редакции «Подруг» и одна служит продолжением другой.

Поскольку обе редакции не завершены (причем обе не вполне точно датируются), а вторая доведена до смыслового центра повествования (встречи со старцем Мартирием), она печатается в основном разделе тома. А в разделе «Другие редакции...» представлен черновой автограф трех глав первой редакции.

Лишь в одном случае редакторы допустили некоторый «произвол». Речь идет о конъектуре фрагмента «о завещании деда» (автограф: Ед. хр. 24. Л. 8—13). Этот черновой отрывок, очевидно, вырезанный из уничтоженной части рукописи, интерполирован в место основного текста, которое обозначено в копии пометой Леонтьева, свидетельствующей о намерении сделать вставку. (На л. 12 и 13 есть пометы Л.: «Пр<одолжение> 2-й главы».) Фрагмент «Биография Сони» предназначался для одной из ретроспективных глав и печатается в разделе «Другие редакции...».

С. 477. ...сатирического листка «Заноза»... — Листок «Заноза» издавался в 1863—1865 гг. Редактором журнала был М. П. Розенберг; редакция размещалась на Невском в доме Лансберга, а контора на Офицерской в доме Хилькевича. См.: Ямпольский И. Г. Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. Л., 1973. С. 65—80.

С. 477. ...самое имение ~ было завещано ей... — Л. уговорил свою мать завещать Кудиново ему и М. В. Леонтьевой. По-видимому, впервые это обсуждалось еще в 1865 году и было подарком Маше на семнадцатилетие. Ср. с письмом М. В. от 30 апреля 1865 года: «Вы знаете что такое для меня значит иметь собственность и независимость, — вы мне даете и то и другое. <...> Буду читать, работать и конечно, самый счастливый день для меня будет тот, когда я прочту ваше: „молодец Машка”» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 30).

С. 478. ...что шум ветра в куревских березах говорит совсем не то, что шум этого ветра в других местах. — ср. с. 539 и в ром. «Подлипки»: «...а в самой длинной из березовых аллей, когда осенью шумит ветер и гонится за мной, вдруг вырастая на верхушках, я слышу в этом шуме всякий раз много знакомого, много особенного, чего я не слышу в ветре других деревьев...» (Т. 1. С. 354).

С. 479. ...даже и честью и добрым именем своим... — см. в преамбуле о скандале с изданием «Будильника» (с. 894).

С. 479. ...на крыше пристройки, в которой отец жил... — В. Н. Леонтьев жил и скончался в одном из флигелей, построенных при Ф. П. Леонтьевой.

С. 481. ...отец матерьялист... — ср. в «Четырех письмах с Афона» (Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 35—36.

С. 482. *Typhlitis stercoralis* — воспаление слепой кишки.

С. 482. ...драстического средства — сильного слабительного (от греч. δραστήκός).

С. 482. ...из Сабура и Колокитов... — слабительные средства; сабур — уваренный до густоты горький сок из листьев различных африканских видов алоэ, колокиты — плоды колокитового огурца (*cucumis colocynthis*), травянистого многолетнего растения из семейства тыквенных.

С. 483. Каломель — хлористая ртуть, желчегонное и противомикробное средство.

С. 485. ...чтобы она о попах ничего бы не говорила. — Ср. в письме Л. к И. И. Фуделю от 22 апреля 1888 г.: «У одной моей родственницы умер такой отец; — когда он умерал в жесточайших муках (острое воспаление кишок), но в полном сознании, одна соседка (набожная) приехала с ним проститься; он принял ее, но сказал: „Только, чтобы она о попах и Причащении не говорила!“» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 4).

С. 487. ...в приход... — см. прим. на с. 899.

С. 487. Лития — краткая заупокойная служба.

С. 487. *Время льется так, как речка! ~ дунул ветер — он погас!* — Источник цитаты восходит к одному из вариантов народной драмы «Царь Максимилиан». См.: Царькова Т. С. Раннее творчество Н. А. Некрасова и фольклор // Русская литература. 1978. № 4. С. 114.

С. 489. «Равнодушная природа» сияла вокруг нее все время своей «вечной красотой». — Парафраз строки: «И равнодушная природа красую вечною сиять» из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

С. 489. *un homme comme tout le monde* — человеком как все (фр.)

С. 489. ...в голубой шелковой русской рубашке ~ какой-то светло-коричневый арабский бурнус. — Описание напоминает известный портрет Л. 1863 г.; бурнус — шерстяной плащ с капюшоном.

С. 490. ...три года тому назад... — соответствует «гощению» М. В. Леонтьевой в Салониках в 1871 г.

С. 490. *Слияние странное и мрака и лазури...* — этот акrostих был написан А. А. Александровым 18 марта 1887 г. для романа «Две избранницы» (Сборник. С. 158). Вторая строка у Александрова: «Отваги дерзостной с печалью молодой».

С. 493. *...именно в этот год уплатить ему сполна все...* — в 1874 г. К. Н. и М. В. Леонтьевы должны были сделать то же самое для А. Н. Леонтьева.

С. 493. *...последние раза всегда останавливался у отца Софьи...* — Ф. П. Леонтьева останавливалась в Петербурге у В. Н. Леонтьева.

С. 494. *...по старой памяти о прелестном и добром мальчике...* — ср. с воспоминанием о детских годах брата Александра в «Моей литературной судьбе» (ЛН. Т. 22—24. С. 468).

С. 494. *une personne charmante, parfaitement distingué* — милейшую женщину, достойную всяческого уважения (фр.)

С. 495. *...терпеть не могу его стихи за исключением «Тройки»...* — Стихотворение «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...», 1846); ср. с упоминанием этого некрасовского стихотворения в романе «Подлипки» (Т. 1. С. 509).

С. 495. *Les ailes d'Icare!* — Крылья Икара! (фр.).

С. 495. *...его мемуар о «Козачьих войсках»...* — ср. в романе «Две избранницы», с. 73, 117.

С. 495. *Chère Sophie...* — дорогая Софи... (фр.)

С. 496. *Успенское* — село Велино, где похоронена Ф. П. Леонтьева. См. прим. на с. 792.

С. 497. *...каждому по равной половине отдавалось тоже Куреево в пожизненное пользование...* — условия наследования Кудинова Л., его братом Владимиром Николаевичем и племянницей Машей. После смерти В. Н. Леонтьева, 22 января 1874 г. Санкт-Петербургским Окружным Судом было утверждено духовное завещание (ГАКО. Ф. 30. Оп. 6. Д. 521. Л. 4, 11).

С. 498. *О новых земельных банках...* — Имеются в виду Общества взаимного поземельного кредита. Кудиново было заложено в Малютинском земельном банке.

С. 498. *...огромный серебристый тополь на зеленом дворе посажен в год его рождения...* — автобиографическая деталь, упомянутая М. В. Леонтьевой (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1048. Л. 17).

С. 498. *...начать дело о выкупе крестьян, лишиться оброка...* — выкупная операция в Кудиново была совершена в 1876 г. (сообщено И. Н. Берговской).

С. 498. ...у своих знакомых в Вяземском уезде. — В Вяземском имении находилось Спасское-Телепнево — имение деда Л. по матери, П. М. Карабанова, доставшееся по наследству В. П. Карабанову, а затем его второй жене.

С. 501. *Après tout — cela m'est indifférent!* — Впрочем, мне это безразлично! (фр.)

С. 502. ...о зимнем солнечном закате за Невую... — ср. с. 566.

С. 502. ...у пустынных скал Орианды... — имение на Южном берегу Крыма, принадлежавшее Императорской фамилии.

С. 505. ...где-то на Екатерингофском канале... — на окраине Петербурга, в Нарвской части.

С. 505. ...брат на год моложе ее; больной в английской больнице... — Владимир Владимирович Леонтьев; английская болезнь — рахит. О характере отношений его с сестрой и отцом свидетельствует письмо М. В. Леонтьевой к Л. от 22 января 1865 г.: «Вы пишете, что Володя должно быть „ничего“ теперь! Физически, пожалуй, да, но умственно и морально швах. — Это даже кажется начинает сознавать и отец» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 60 об.).

С. 507. *Brich die rosen...* — Срывай розы (нем.); предположительно: неточная цитата из цикла стихотворений Анны-Елизаветы фон Дросте-Хюльсхофф (1797—1848) «Поэт — Счастье поэта». Ср.: «Ihr startt dem Dichter ins Gesicht, / Verwundert, daß er Rosen bricht...» (*Droste-Hülshoff A., von. Sämtliche Werke. München, 1959. S. 254*).

С. 508. ...настало ей 15 лет ~ Приехал к ним в Петербург Александр... — Л. приехал в Петербург, когда М. В. было 12 лет; ср. с. 512: «В 61 году — 1-й раз». См. также с. 726.

С. 509. *He говорит: «Я мужская женщина».* — По-видимому, автобиографическая деталь; ср. с названием одного из романов цикла «Река времен» — «Мужская женщина».

С. 509. «*La chatte blanche*» — «Белая кошка» (1698), сказка французской писательницы Мари Катрин Д'Онуа (ок. 1650—1705). Ср. Т. 1. С. 397.

С. 512. ...из Польши, с войны... — 1863—1864 гг., подавление польского восстания. В Польше и Туркестане служил и герой «Двух избранниц».

С. 512. *Разве не я написала ему в Туркестан ~ Чтобы о замужестве моем он не думал...* — К этой теме М. В. постоянно возвращалась в своих письмах Л. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032).



С. 513. ...в Еремине русские песни, хороводы и пляски... — существуют многочисленные упоминания в переписке Л. о пении и русской пляске барышень Раевских.

С. 515. «Праху друзей» — вероятно, описывается памятник, действительно существовавший в кудиновском саду. Ср. в «Подлипках»: «...На вершине кургана стоит памятник из дикого камня с вазой наверху. На нем написано „Праху друзей“, и около него девицы, жившие прежде в Подлипках, хоронили своих собак, котят и птиц» (Т. 1. С. 354—355).

С. 515. ...об театрах и своей игре... — деталь биографии М. В. Леонтьевой. Театру в «Подругах» должна была быть посвящена отдельная ретроспективная глава; см. черновой фрагмент ее «Биография Сони» и преамбулу к нему (с. 923—924).

С. 516. «Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний его!» — Пс. 102: 2.

С. 516. «Чти отца твоего и мать твою» — пятая заповедь Десятословия (Исх. 20: 12; Втор. 5: 16).

С. 517. Пол — паркé; — вход «entrée» — ср. СС, IX, 123. Вошло и в другую редакцию (с. 533). Entrée — вход (фр.).

С. 523. ...в мак-фарлане... — крылатка, широкая верхняя одежда без рукавов, с прорезями для рук в ниспадающих полах (от фр. macfarlane).

С. 527. ...стены съедят! — выражение кудиновской прислуги Агафьи (мать В. Прониной), ср. в письме Л. к М. В. Леонтьевой от 7 октября 1877 г.: «...я, пожираемый (по выражению нашей очаровательной Агафьи) Кудиновскими стенами...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 17).

С. 529. ...весь сон Св. Феодоры, жившей у Св. Василия... — Хождение Св. Феодоры по мытарствам; точнее — это сон Григория, ученика преп. Василия Нового (ок. 944 г.), в котором ему явилась Феодора и рассказала о прохождении ее душою после смерти воздушных мытарств.

С. 531. ...Пушкин в стихах какой-то М-лле Баравыгиной: И вашей славою и вами... — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «В альбом кнж. А. Д. Абамелек» («Когда-то (помню с умилением)...», 1828).

С. 532. ...не видались до рокового 69-го... — в биографии реальных прообразов — до 1868 г., т. е. до приезда Л. в отпуск в Россию, и затем — до приезда М. В. Леонтьевой в Янину в мае 1869 г.

С. 534. Il faut nommer les choses par leurs noms! — Следует называть вещи их настоящими именами! (фр.)

С. 535. ...никому его в жертву не принесу, ни для кого его не оставляю... — ср. в письме М. В. Леонтьевой к отцу из Янины от 7 июля 1869 г.: «Одной только отрады я не могла бы пожертвовать ему <...> это покоить вас. — Моя мысль — ставши актрисой жить с вами. <...> Я хочу вас покоить, хочу немного больше стоять вашей ко мне привязанности» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1061. Л. 2 об.).

С. 536. ...давно ли он писал ~ что они в сердце у него как гранат и бирюза в одном золотом кольце... — По-видимому, это собственные выражения Л.; по ответным письмам М. В. ясно, что Л. постоянно рассказывал ей о своих увлечениях. Что касается образности этих исповедальных писем, ср. с намеком в ответе М. В. на письма Л. из Триеста и Кандии: «любуется на белые маргаритки с розовым румянцем» (11 февраля — 4 марта 1864 г.; РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 18).

С. 538. ...положить в банк для Зины... — По-видимому, реальный эпизод из жизни М. В. Леонтьевой.

С. 539. ...на пенсии, назначенной завещателем... — Ф. П. Леонтьева назначила подобные пенсии кудиновским дворовым.

С. 541. *Сорокоуст* — поминовение усопшего на сорока литургиях.

С. 542. ...несмотря на свою фамилию... — этимология фамилии Судогдины не совсем ясна; возможно, подразумеваемая медлительность Людмилы, Л. связывал эту фамилию с глаголом «судобить» (судить, рыдять) или «судерживать» (удерживать, останавливать и т. п.).

С. 544. *cousin* — кузен

С. 549. ...перевод на частный Банк в свой Губернский город через одного знакомого... — Так Леонтьеву в банковских операциях помогал его гимназический товарищ В. С. Сорокин, директор Калужского Кредитного банка.

С. 551. *Идеалисты-поэты иногда отлично обделывают свои дела, если есть «звезда»...* — Ср., напр., в письме к Н. П. Игнатьеву от 7 апреля 1875 г.: «Впрочем, я знаю, и Вы верите в нечто неуловимое практически, в звезду, в судьбу; я помню еще в 67-м году Вы говорили мне: „будьте Вы хоть семи пядей во лбу, ничего не получите, если не сложатся обстоятельства счастливо!“» (ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 3301 Л. 11 об.). Взгляд Л. и его героя на «идеалистов-поэтов», успешно «обделывающих» свои дела, совпадает с точкой зрения Н. В. Шелгунова: «Но странное дело, отчего все „идеалисты“ сороковых годов так твердо знали

землю и ее блага, умели вести им верный счет и знали хорошо вкус чечевичной похлебки?» (Шелгунов Н. В. Из прошлого и настоящего // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М., 1967. С. 117).

С. 551. ...хотела быть трагической актрисой... — см. примечание на с. 901.

С. 552. *C'est une femme ~ un caractère impossible...* — Это женщина большого ума, прежде всего. В ней есть некое очарование. К сожалению, у нее невозможный характер (фр.)

С. 553. *une caractère impossible* — невозможный характер (фр.)

С. 556. ...любимую героиню свою — Лизу Калитину ~ слишком увлеклась «Дв<орянским> Гнез<дом>»... — Еще в 1864 г. 16-тилетняя Маша Леонтьева писала: «Только Лизу Калитину я всегда буду любить из всех Тургеневских женщин» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 1). Ср. в письме от 30 июня — 2 июля 1868 г.: «Впрочем и то сказать, — что до сих пор я верила только в искренность, глубину веры — Лизы Калитиной. Я убеждена, что и теперь есть Лизы Калитины, — но что их очень мало. Еще ни в ком я так глубоко не уважала веры, как в ней. <...> в монастырь, по-моему, имеют право идти только Лизы Калитины» (Там же. Л. 107, 108).

С. 557. ...благодарить за минуты блаженства... — намек на характер отношения к Печорину Веры («Герой нашего времени»). Отметим, кстати, что эта героиня принадлежала к числу любимых юной Машей Леонтьевой женских образов. Выражая свой восторг от повести «Исповедь мужа», она писала 23 декабря 1864 г.: «Я и Татьяна люблю, и Бэлу, и Веру в княжне Мери, но куда как ваша Лиза полнее их всех. <...> В том-то и дело, что по-моему ни Татьяна ни Вера не были сильными натурами, а любящие, поэтичные, способные к страданию» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 1 об.).

С. 557. ...Наташа в «Рудине» за дурака Волынцева вышла. — Речь идет о героях повести И. С. Тургенева (1856).

С. 558. ...в Андреевский Монастырь ~ старец — Мартирий... — Прототипом старца Мартирия является преп. Амвросий Оптинский (1812—1891). В Оптину пустынь М. Леонтьева попала раньше Л., вместе с семьей Раевских. Дядя Л. Раевской, Константин Григорьевич (1803—1886) жил в Оптиной пустыни с 1864 г., перед смертью пострижен в монашество. К. Г. Раевский упоминается в письме Л. к о. Клименту (Зедергольму) от 2 апреля 1878 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 2 об., 5—5

об.). В копии о. И. Фуделя сохранилось примечание о. Эразма (Выгтропского), которому это письмо посылалось на прочтение и для получения разрешения на публикацию от настоятеля монастыря: «Оптинский <добровольный> послушник» (Там же. Л. 6; зачеркнуто Фуделем). Об оптинском «духовнике», т. е. старце Амвросии, М. Леонтьева впервые упоминает в письме к Л. от 7 февраля 1872 г. (ОРГАМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 5).

С. 559. ...*поедет говеть туда на четвертой неделе В<еликого> Поста.* — Крестопоклонная неделя, во время которой многие говели в монастырях.

С. 559. ...*о «Жизни Иисуса» Ренана...* — Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892), французский востоковед, писатель, историк религии, публицист. Речь идет о его книге «*Vie de Jésus*» (1863).

С. 560. ...*там часто бывает «во время оно...»* — «в то время» (ц.-сл.), так начинается богослужбное чтение многих евангельских отрывков («зачал»).

С. 560. ...*ему нравилась вера других ~ он любил Церковь и формы ее...* — автобиографическая деталь; ср. в «Египетском голубе» (с. 295). Ср. в письме к А. А. Александрову от 24—27 июля 1887 г.: «Я до 71 года, до моей поездки на Афон, очень любил и сердцем и воображением Православие, его богослужение, его историю, его обрядность; любил и Христа; чтение Евангелия изредко и тогда <...> меня сильно трогало. — Любил и любовь к ближним — в смысле сострадания, снисхождения, благотворительности, но зато и в смысле сочувствия всяким страстям <...> Любил своевольно, без закона и страха...» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 14).

С. 561. ...*в Сергеевой Лавре под Петерб<ургом>...* — Л. смешал название Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне под Петербургом и Троице-Сергиевой Лавры под Москвой. Ту же ошибку допустила и М. В. Леонтьева в письме от 5 июня 1865 г., в котором она весьма резко отзывалась об этом пригородном монастыре: «Александр-Невский монастырь существует довольно времени, а монахов как Иоанн Златоуст и т. п. из него не вышло ни одного, а вот что выслали из него одного архимандрита в 24 [часа] за хорошие дела — это я знаю. — Троице-Сергиевская лавра тоже давно существует; про ее настоящих монахов — я знаю только то, что по монастырскому двору в сумерки порядочной девушке или женщине нельзя пройти: тот же Невский проспект. — Я говорю про то, что есть, а не про то, что было и не про то, что может быть» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 1032).

Л. 64). О своем юношеском отношении к монастырю М. В. Леонтьева вспоминала в письме к о. И. Фуделю от 20 октября 1912 г.: «В эти 3 недели до моего отъезда — он много беседовал со мной о монастыре, о котором я не имела никакого понятия, но с чужих слов *громил*а его...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 39 об.).

С. 562. «*Глас 8-й!*...» — возглас канонарха, предваряющий пение стихир (далее он произносит начало первого стиха, а хор продолжает). Богослужбное пение Православной Церкви (исполнение тропарей, кондаков, стихир, прокимнов, ирмосов канонов и др.) организовано по принципу певческих гласов. Это восемь мелодических структур, ладов, в которых для каждого богослужбного жанра предусмотрена своя мелодия. Упорядочение системы осмогласия предание связывает с именем Св. Иоанна Дамаскина.

С. 562. «*Веселым треском трещит затопл<енная> печь; приятно думать у лежанки*». — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро» (1829).

С. 562. *un bougeau bienfaisant* — благотельный палач (фр.)

С. 565. «*Скребящая Божья Матерь*» — т. е. вместо «Скорбящая» (вероятно, об иконе «Всех скорбящих радость»).

С. 566. *Вся комната...* — см. прим. к с. 562.

С. 566. *...звон к Достойно...* — совершается во время Евхаристического канона перед пением «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу...» (на практике иногда переносится на момент окончания Анафоры, т. е. перед пением другого «Достойно» — молитвы Божией Матери «Достойно есть яко воистину...»).

## ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ. НАБРОСКИ. ПЛАНЫ

### ПЕССИМИСТ

Автограф неизвестен; копия М. В. Леонтьевой с авторской правкой: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 21.

Датируется: 1878—1879 гг.

Печатается впервые по копии М. В. Леонтьевой.<sup>1</sup>

В конце 1876 г. Ф. Н. Берг просил Леонтьева прислать для «Русского мира» маленькую «повесть из болгарской жизни» (Т. 3. С. 760). Для газеты требовалось сочинение на модную балканскую тему. Однако зимой 1876—1877 гг. писатель был занят другой работой, не забывая, впрочем, и об этом предложении. События начавшейся русско-турецкой войны, а возможно, и появление «Анны Карениной», побуждали Леонтьева обратиться к современной теме. 28 марта 1877 г он писал Вс. С. Соловьеву: «Мне теперь очень хочется кончить к маю еще отрывок из *Одиссея* и не отказываясь от него вовсе навсегда, оставить его на время, чтобы к зиме сделать хоть раз в жизни моей что-нибудь *в угоду времени* — приготовить *Болгарскую повесть*. — И сверх того еще сознаюсь Вам в одном *тайном побуждении*: Вы подстрекнули меня, уверяя, что только Л. Толстой и Достоевский могут писать теперь из *русской жизни*.<sup>2</sup> — Хочется — из русской писать» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 18 об.). Но «Одиссей» все не кончался...

---

<sup>1</sup> В подготовке текста принимала участие Р. Г. Пашко.

<sup>2</sup> Подразумевается высказывание Вс. Соловьева в его статье о Леонтьеве о том, что не все писатели, не лишенные дарования, могут «надлежащим образом осветить туман переходного времени, в котором мы живем» (Рус. мир. 1876. № 51. 22 февраля. С. 1).

3 сентября 1878 г. Леонтьев полушутя сообщал О. С. Карцовой: «Все мне хочется вас, О<льга> С<ергеевна>, описать, но сюжета не придумал еще; помогите!» (Сборник. С. 289). А уже 30 октября он писал из Кудинова К. А. Губастову: «Я начал роман из современ<ной> русской жизни; — действие будет происходить *третьего и прошлого* года в Петербурге и его окрестностях. — Вы понимаете? — Будет там спиритизм, Православие, немного (вдали) нигилизм, — Гартман и Шопенгауер, Цертелев<sup>3</sup> и многое другое. — Я полагаю, что он будет занимателен и правдив. — А впрочем — что Бог даст!» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 86 об.).

В начале ноября, переехав в Козельск, Леонтьев сообщал о том же замысле Н. Я. Соловьеву: «Я начал большую повесть из современной *русской* жизни. — Охота писать большая; но еще здесь в первые дни покоя мало. — Не сосредоточился» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 45—45 об.).<sup>4</sup> 29 декабря тому же адресату: «...я задумал писать роман из русской, современной жизни, такой хороший, такой живой и смелый, что даже и Вам, столь мало расположенным к моим „кружевам”,<sup>5</sup> он бы, я думаю, понравился. — Задумал, начал, но вдруг как сразил и запутал меня отказ Каткова, что вот уже около 3-х недель — некогда за дело приняться... Переезды, мелкие расчеты, заботы о завтрашнем дне за себя и за близких...

Впрочем и то сказать — роман этот такого рода, что он едва ли может быть напечатан у Каткова или у кого бы то ни было. — А надо серьезно подумать заранее о заграничной печати» (Там же. Л. 49).

Еще до этого, в письме к Н. Соловьеву от 7 декабря Леонтьев просил его узнать адреса германских издателей: «Узнайте, голубчик, *повернее* у кого-нибудь 2—3 адреса германских (преимущественно лей<п>цигских и берлинских) издателей таких именно, которые издают или вообще печатают *русские* вещи в подлиннике или переводах. — Я знал имя одного в Лейпциге, но забыл. — Разумеется, имя издателя и типографии главное; ну и адрес. — Только все поподробнее» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1017.

---

<sup>3</sup> Князь Алексей Николаевич Цертелев (1848—1883).

<sup>4</sup> О том же говорилось и в письме к Е. С. Карцовой от 9 ноября 1878 г.; Сборник. С. 293.

<sup>5</sup> Напоминание корреспонденту о высказанном им сравнении «Одиссея Полихрониадеса» с дорогими тонкими кружевами (см. Т. 4. С. 959).

Л. 9—9 об.). 29 декабря Леонтьев благодарил за присланные адреса, сетовал на неразборчивость имен и просил переписать записку» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 59. Л. 49—49 об.).

В январе 1879 года, уже из Оптиной пустыни, о романе сообщает Вс. Соловьеву: «Роман начал из *русской жизни*, по вашему желанию... Но не знаю — уж не слишком ли дерзок он будет... „Оставьте всякую надежду“. Ничего кроме прозы и разрушения нет впереди; не только в Европе, но и у славян и даже в Азии... С тех пор — как этот су... с.н Микадо Японский надел цилиндр европейский... чего можно ожидать от Азии? — Цилиндр и сюртук — это внешний признак, как опухоль желез в чуме. — А зараза значит уже в крови, если и одежда понравилась. — Мусульманство *везде* гибнет под ударами не Христианства (какое это Христианство — Петербургское и Лондонское... Христианство — вот здесь в Оптиной да на Афоне), но под ударами все того же прогрессивного европейского мещанства, у нас *притаившегося* за Гуркой, за Скобелевым, за мужиком: а в Англии (по-своему гнетущей и расслабляющей Мусульманство) за Лордами, у которых очень скоро отнимут право первородства и разжалуют в мещане и простые землевладельцы, так как разжаловали наших Вронских, Облонских и Шастуновых — в это же самое благодетельные реформы....

Понимаете — все один чорт... Все Гамбетта, Вирхов, Ласкер, Тьер, Бильбасов, болгарские прогрессисты, Шатов\*... Все одно, одно... А это одно — *сухо и плохо*. — Где ж луч, где заря, где варвары?.. Их нет! А без варваров что делать?..

Трудно это изобразить ясно в романе, но хочу хоть *неясно*, да изобразить...» (РГИА. Ф. 1120. Ед. хр. 98. Л. 41 об. — 42 об.),

О новом замысле Леонтьев еще в ноябре 1878 г. писал О. С. Карцовой: «...Я начал роман, в котором вы будете играть большую роль. Все хочу описать и арфу, и не арфу, и все. <...> Постараюсь, будьте покойны, чтобы вы были довольны <...> Будет тут что-то вроде Цертелева, вроде Г<ейде>на, вроде того тигра, который сжег лошадь и вроде других. Только опишите мне какой-нибудь хороший туалет для бала на девушке такой, как вы. Идеального в этом романе будет очень много» (Сборник. С. 298—299). В январе 1879 г. Ольга Сергеевна отвечала: «Ваш новый роман *очень* меня интересует, не говоря уже о том, что самолюбие мое приятно задето! С нетерпением ожидаю появления этой рукописи — боюсь только чтобы не надоел Вам этот сюжет.

---

\* Не говорите, ради Бога, этого *Достоевскому*... Убьет!



Если еще нужно описание туалета, я напишу когда хотите. — Нужно заняться и сообразить что-нибудь изящное!» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 142. Л. 18)

Об этом же произведении идет речь в письме к Т. И. Филиппову от 11 мая 1879 г.: «Я осенью начал работу из современной русской жизни (в самом пессимистическом духе и анти-либеральном вместе с тем); прав ли или нет в том пессимизме, который проповедует мой герой; но у меня нестерпимая потребность это написать; написал 5—6 глав еще до Рождества; но с тех пор благодаря *секвестру* Каткова <...> не могу оторваться от срочных трудов и не могу к работе возвратиться» (РГАЛИ. Ф. 2980. Ед. хр. 1023. Л. 19).

Весной эти первые главы были, по обыкновению, отданы для переписки М. В. Леонтьевой. 4 июня Леонтьев уже благодарил ее: «Маша, с неделю тому назад я получил мой роман твоего рукописания и *приписку* карандашом, что *это очень хорошо*. — Благодарю тебя особенно за эту приписочку. — Ты знаешь как я дорожу твоей критикой; может быть никакой в мире так не дорожу» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 68). Но, по-видимому, уже после этого к работе над произведением Леонтьев не возвращался. Об этом свидетельствует его письмо Н. Соловьеву от 20 июня: «О том, чтобы продолжать тот большой роман из русск<ой> жизни, к<ото>рый я было решил начать зимою, и думать невозможно. — Невозможно углубиться и предаться той задумчивой и осмысленной лени, которая родит живые образы и наводит на неожиданные соображения» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1017. Л. 38).

Предлагать заграничным издателям незавершенное произведение было невозможно, и Леонтьев обратился к своему приятелю, редактору «Нивы» Ф. Н. Бергу. Отвечая на предложение писателя, Берг писал 19 декабря 1879 г.: «Присылайте <...> во всяком случае. Конечно пока Вы писали у нас уже много приобретено произведений, но это ничего не значит и я жду давно. Присылайте целиком, если оно готово и мы решим с двух слов» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 10). Леонтьев между тем переехал в Варшаву, где стал помощником редактора «Варшавского дневника»; цензором и своеобразным официальным «куратором» газеты был его друг Губастов. Почему-то именно с ним в дальнейшем Берг и обсуждал вопрос о публикации леонтьевского произведения.

«Как вы ладите с К. Н. и бросил ли он теперь беллетристику. Он хотел мне рассказ дать в Ниву» — приписал Берг слева на

полях в письме Губастову от 5 января 1880 г. (РО ИРЛИ. Ф. 463. Ед. хр. 5. Л. 1). В не найденном в настоящее время письме Губастов, вероятно, передал условия Леонтьева и сообщил, что речь идет не о рассказе, а о крупной вещи. 11 января Берг отвечал: «Что касается повести Л. (между нами) то признаюсь 7 листов — это неудобно. Видите ли, пока К. Н. писал для нас (вот уже год) я приобрел много довольно больших вещей и при небольшом размере журнала всего этого девать некуда. Если бы Вы *перебили* ее у меня, даже с видом будто мы с Вами завели пререкания, борясь за удовольствие напечатанья, я не прочь бы. Конечно, я уверен, что это хорошо, но поднимать толки об новой вещи с моим купцом — неудобно и неприятно, тем более что запас есть большой» (Там же. Л. 3 об.—4). Вероятно, это следует понимать как совет печатать беллетристику Леонтьева в каких-либо приложениях к «Варшавскому дневнику». Никаких сведений о том, обсуждался ли этот вопрос в Варшаве, не сохранилось.

Работа в газете исключала возможность завершить произведение. 12 марта 1880 г. Леонтьев писал Филиппову: «Я обдумал ясно и начал еще прошлого года большой роман и очень правдивый из современной русской жизни. Но, поверьте, срочные занятия и вообще „борьба за существование“ не дают мне возможности его продолжать. Называется он „Против течения“. Я уверен, что он Вам очень бы понравился, и я бы его кончил в один или полтора года, если бы мог хоть *три раза* в неделю за него садиться. Но ни жизнь моя в деревне моей, ни жизнь в Варшаве не дают возможности ничем кроме срочной работы заняться. Так все и пропадает» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 30—31). Роман «Против течения» упомянут и в других письмах к Филиппову: «Ах, как бы я был рад получить цензорское место в *Москве* и в часы досуга добраться до моего большого *романа!*» (29 марта; Там же. Л. 31). «Вот хоть бы „Варшавский Дневник“: можно бы в течение 2-х лет, напр<имер>, отрывая от времени, ему посвященному, по несколько дней в месяц, кончить большой роман „Против течения“. Но крепко ли это издание?» (15 апреля; Там же. Л. 34).

1 января 1883 г. Леонтьев жалуется Губастову на то, что приходится дописывать роман «Египетский голубь», — «когда нужно бы продолжать то, что Вы называете „Против течения“» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 113—113 об.). Не исключено, что летом 1883 года Леонтьев все же мог обратиться к незавершенному произведению (в таком случае копия сохранившейся главы относится к этому времени).

Есть еще фрагмент письма (начало утрачено, и дата неизвестна — вероятнее всего, декабрь 1885 г.) к Филиппову, в котором говорится о необходимости кончить «два больших романа», первый — «Святогорские отшельники» (продолжение «Матвеева»). «Другой роман я бы назвал: „Пророк в отчизне“. Он начат еще в 79 году и с тех пор обстоятельства не дают мне средств продолжить его. План этого труда еще шире. Драма личная, трагедия сердца идет попеременно с проповедью мысли. Человек этот задумал научно доказать, что так нельзя, прогресс уже потому не серьезная вещь, что рано или поздно гибель человечества, т. е. „светопреставление“ неизбежно. Начало я читал два раза при студентах и при женщинах.<sup>6</sup> Говорят, что оно необыкновенно живо и весело» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 35).

В 1888 году Леонтьев намеревался завершить роман для РВ. 2 января 1889 г. Ф. Берг писал ему: «Очень буду рад Вашей вещи беллетристической и статье...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 22). Возможно, что какое-то редактирование глав, написанных в конце 70-х годов, Леонтьев предпринял в конце 1888 года. 15 марта 1889 г. Леонтьев писал А. А. Александрову: «Вы выразились печатно, что я пишу роман „неспеша“;<sup>7</sup> уж так не спеша, что и в руки его не брал с прошлогоднего нашего свидания. — Скучно! Все думается — что не хорошо напишу, если буду в тенденциях своих стесняться; а дам им им волю — так все с презрением скажут: себя описал; свои барские, пессимистические и оптинские бредни понес; испортил публицист — рассказчика.

*Третьего пути нет! Изливать душу — испортишь направлением, длиннотами... Не изливать — охоты мало сочинять самый ход дела.*

*Да и вообще как разочтешь, что будет от Мецкерск<ого> или от Берга денег столько-то и на то-то и то-то, — то и впадаешь в такой приятный покой, долгий и сладкий, и начинаешь находить, что гораздо приятнее думать как взбредет на ум — для себя <...> чем мыслить последовательно и принудительно для публики, которая и знать-то меня не желает» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 78—78 об.).*

---

<sup>6</sup> Леонтьев читал свой «новый роман» на «пятницах» П. Е. Астафьева (письмо к Г. И. Замараеву от 16 октября 1884 г.; РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 722. Л. 3 об.—4).

<sup>7</sup> Речь идет о заметке Александрова в «Русском Деле» (1888. № 51. С. 10).

О необходимости вернуться к неоконченному произведению Леонтьев вспоминает и в письме Губастову от 17 августа 1889 г., когда в Москве создавался новый журнал «Русское обозрение»: «Бобар<ыкин> просит меня окончить давно начатый и брошенный роман (помните — Маврокордато (вроде Ону<sup>8</sup>) философствует в русской деревне?); я соглашаюсь на следующих условиях: 200 р. с. за лист и аванс в 1500 р. с. <...> Бобар<ыкин> условия принял; — а осуществится ли его дело — не знаю» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 202). Но Леонтьев не спешил возобновить работу над брошенным романом, он лишь раздумывал. «Я теперь *торгуюсь* с Бобарыкиным об романе из русской жизни 70-х годов, где *пессимист à la* Гартман перейдет в искреннее Православие. — *Не буду писать*, если на мои условия не согласятся. — *Так и От. Амвросий* благословил. — Не сойдемся насчет этого — буду для этого журнала другого рода статьи писать» (из письма о. И. Фуделю от 6 сентября 1889 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 50—50 об.).

Зимой 1889 г. о. Амвросий благословил Леонтьева заканчивать роман «Подруги», но не забывал писатель и о другом брошенном произведении. 11 июня 1890 г. он делился с А. Александровым своими планами: «...Был занят до последних дней — сочинительством своей новой повести <...> Это не то, что я Вам читал: „Дипломат Маврокордато едет через лес к помещику и философу-Пессимисту Львову и т. д.“. — По совести сказать, писать об этом пессимисте мне было бы гораздо приятнее и легче, и сюжет сам по себе *сразу* занимательнее; но делать нечего — надо повиноваться жребию!» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 135).

5—6 глав, написанные в 1878—1879 годах, утрачены;<sup>9</sup> сохранился только отрывок об упомянутом выше дипломате Маврокордато, гостящем в деревне Львова, также дипломата, но подавшего в отставку. Владимир Львов — автобиографический персонаж, кроме того, в нем узнается и Владимир Ладнев «Египетского голубя» (ср. с фрагментами его дневника 1879 года), и Александр

---

<sup>8</sup> М. К. Ону; см. прим. на с. 847.

<sup>9</sup> В «Описи бумагам и сочинениям...» (1893) под номером 7 указаны «6 тетрадей» романа «Пессимист» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 6). 8 октября 1899 г. по этой описи 42 рукописи Леонтьева для передачи М. В. Леонтьевой получила О. М. Кошевская (ее расписка есть на л. 6 об.). Правда, справа от упоминания о 6 тетрадях карандашом поставлен вопросительный знак.

Матвеев из «Подруг». Фамилия Львов (используемая также в «Подругах») отсылает к отброшенному автором замыслу «Реки времен». Один из героев эпопеи — дипломат Львов, ему был посвящен роман «В дороге». Судьба Ладнева-Львова, от «Подлипков» до «Пессимиста», точно следует жизненному пути Леонтьева (в романе «От осени до осени», например, захвачены крымский и петербургский периоды его жизни — в эпизодах с Андреем Львовым). Центральное же событие — обращение героя и его путь к монашеству — должно было раскрыться или в романе «Святогорские отшельники», или в «Пессимисте», или в «Подругах». Но подойти к описанию собственно «обращения» Леонтьев уже не успел.

Дети, изображенные в третьей главе «Пессимиста», также имеют реальных прототипов: Катя — это воспитанница Леонтьева Варя, дочь скотницы Агафьи (в замужестве Пронина; ум. в 1950 г.); Даша — Феня, дочь кудиновского повара, Ванька — Николай (Николай Сергеевич Орлов). Появляющаяся в конце главы «за сценой» З. несомненно нашла позднее воплощение в Зинаиде Судогдиной («Подруги»); а прообраз обеих героинь — Людмила Осиповна Раевская (см. с. 894).

С. 569. ...особенная каша из розовых круп... — гурьевская каша, старинное русское десертное блюдо, которое Л. очень любил. Ср. в письме матери из Крыма от 2 июля 1856 г.: «Пожалуйста наделайте побольше розовых круп. — Страшно хочется розовой каши» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1015. Л. 43). Другой вид цветной манной крупы Л. упоминал в повести «Второй брак»: «Старушка <...> дала ей при ее отъезде небольшой мешок с зеленою крупкою и просила доставить сыну, который очень любил зеленую кашу» (Т. 2. С. 267).

С. 569. *Escoutez, mon cher...* — Послушайте, мой дорогой... (фр.)

С. 570. *terre à terre* — реалисты (фр.)

С. 570. *Le bon vieux temps* — доброе старое время (фр.)

С. 570. ...под Плевной? — Плевна (Плевен) — главный город одноименного болгарского округа. Во время русско-турецкой войны за Плевну шли упорные бои с 8 (20) июля по 28 ноября (10 декабря) 1877 г. Три штурма русских войск были неудачны, после чего город был осажден. 28 ноября 1877 г. Осман-паша после неудачной попытки прорыва вынужден был капитулировать со всей своей армией.

С. 570. ...чего-то вроде Седана — см. прим. на с. 872—873.

С. 570. *Nos outreucidants se sont imaginés...* — Наши наглецы вообразили себе... (фр.)

С. 570. *aaventurier* — авантюристом (фр.)

С. 571. *...вы с Мальцовым...* — Мальцовы — родственники Н. П. Игнатьева; см. письмо К. А. Губастова Леонтьеву от 12 сентября 1867 г.: «Игнатьев вернулся из Крыма и привез гостить сюда свою тетку Мальцову, с двумя молоденькими дочерьми» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 25).

С. 572. *que nous nous trouvons entre une coalition et une révolution...* — что мы находимся между коалицией и революцией... (фр.)

С. 572. *...князь Бисмарк* — Отто фон Шенхаузен Бисмарк (1815—1898), князь, рейхс-канцлер Германской Империи в 1871—1890 гг.

С. 573. *Италия обходами достигает своего единства...* — С конца XVIII в. в Италии началась борьба за освобождение от иноземного господства и объединение раздробленных областей. В 1870 г. в результате национально-освободительных войн и революций Итальянское королевство было окончательно объединено.

С. 573. *Франция равбилась неожиданно и внезапно о германский поток...* — имеется в виду франко-прусская война 1870—71 гг. Политическим результатом этой войны стало объединение Германии под главенством Пруссии, оккупация значительной части французской территории и подавление Парижской Коммуны 1871 г.

С. 573. *entre l'enclume et le marteau* — между молотом и наковальней (фр.)

С. 574. *...книжку Шопенгауэра «О свободе воли»...* — речь идет о трактате Артура Шопенгауэра (1788—1860) «О свободе воли» (1839), вошедшем в книгу «Свобода воли и основы морали. Две основные проблемы этики».

С. 574. *...vivous et laissons vivre; dormons et laissons dormir...* — будем жить и дадим жить другим; будем спать и дадим спать другим (фр.); ср.: Т. 2. С. 66.

С. 575. *...помогает мне лечить больных...* — Варя была обучена делать перевязки больным, помогала готовить лекарства.

С. 575. *...демон зла, облеченный в образ ангела...* — 1 января 1883 г. Л. писал Губастову о Фене, ставшей женой Николая Орлова: «Она красивенькая, вроде куклы, характером напоминает С. П. Хитрово, только потише и повялей; холодная и лукавая кокетка» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 107 об.).

С. 575. ...как *трехбунчужный Паша*... — титул высшего сановника в Османской Империи. Бунчук (конский хвост или хвост тибетского быка, насаженный на древко с золоченой медной или костяной маковицей) являлся знаком власти и сана пашей. По числу хвостов на бунчуке паши получали названия «двухбунчужный», «трехбунчужный». Перед султаном носили бунчук с семью хвостами.

С. 576. *mais c'est charmant*, — *cette definition* — но это приятно, — это определение (фр.)

С. 576. *Je reconnais ton* — я узнаю моего (фр.)

## [ПЛАН ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОВЕСТИ «ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ»] ПОРЯДОК ЕГИПЕТСКОГО ГОЛУБЯ

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. Л. 1.

Датируется 1882 г.

Печатается впервые по автографу.

С. 577. Л<адне> в идет к Консулу ~ не уезжать без записки. — См. с. 400—419, кроме последнего пункта о записке.

С. 577. *Дорога в бунт*. — См. с. 419—425.

С. 578. *Царьград* — Л., вероятно, намеревался в этих главах описать свое пребывание в Константинополе летом 1867 г.

С. 578. *Турецкое* <кое> движ<ение>... — См. с. 449—453.

С. 578. *Демердеш*. — *Говенье*. — В этой главе действие должно было происходить в церкви селения Демердеш под Адрианополем, построенной консулом Н. Д. Ступинным; здесь Великим Постом говел Л., см. «Мои воспоминания о Фракии» (СС, IX, 286).

## [СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ ЗАПИСОК Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ]

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 34.

Датируется: 1883 г.

Печатается впервые по автографу.

Список был составлен в период подготовки к публикации записок Ф. П. Леонтьевой (РВ. 1883. № 10. С. 815—847. № 12. С. 878—902. 1884. № 2. С. 670—721), но он имеет отношение

и к запискам, оставшимся неопубликованными (продолжение 1812 г. и 1813 г.). Записки матери Леонтьев использовал в своих романах цикла «Река времен».

С. 579. *Вырубов* — Николай Петрович Вырубов, владелец с. Покровского, дальний родственник Карабановых.

С. 579. *Белкины* — родственники Леонтьевых; мать Н. Б. Леонтьева — рожденная Белкина; в воспоминаниях Ф. П. Леонтьевой упомянуты сестры и золовка ее свекрови — Вера Николаевна, Мария Николаевна и Анна Федоровна Белкины. Муж последней, гвардейский прапорщик Михаил Николаевич Белкин в 1797—1801 гг. был уездным предводителем дворянства Калужского уезда. Их сын, гвардии поручик Александр Михайлович Белкин в 1817—1823 гг. был Малоярославецким предводителем дворянства, а в 1826—1830 гг. судьей совестного суда. Другого сына, Федора Михайловича, Л. упоминает в «Рассказе моей матери об Императрице Марии Феодоровне». На празднике в имении Н. П. Вырубова Ф. П. Леонтьева познакомилась с М. Н. и А. Ф. Белкиными и тремя их дочерьми (РВ. 1883. № 10. С. 827—828).

С. 579. *Кн. Ухтомские* — калужские дворяне, потомки кн. Алексея Михайловича Ухтомского. «Княгиня Ухтомская с тремя дочерьми» упоминается в рассказе о празднике в селе Покровском (РВ. 1883. № 10. С. 820). В 1860 г. кн. Федор Андреевич Ухтомский владел селом Аксиньино Юхновского уезда Смоленской губернии и селцом Сарачинское Мещовского уезда Калужской губернии (Приложения к трудам редакционных комиссий... Сведения о помещичьих имениях. СПб., 1860. Т. IV. С. 116. 2 паг. Т. I. С. 28. 7 паг.).

С. 579. *Станкевич* — Станкевичи — родственники Ф. П. Леонтьевой по материнской линии. Ее дед — Елафродит Иванович Станкевич; бабушка, Марфа Ивановна Станкевич, была внучкой Прасковьи Никитичны Татищевой. Тетка Ф. П. — Феодосия Елафродитовна Станкевич — была ее подругой.

С. 579. *Рачинский* — «В доме Вырубова жило много родных <...> племянник и племянница; молодые оба, сироты, дети родной сестры, Рачинские. Племянник служил в гусарах и жил в отставке; племянница воспитывалась в Смольном монастыре» (РВ. 1883. № 10. С. 819—820). Племянница — Екатерина Рачинская. Рачинские — помещики Дорогобужского и Бельского уездов Смоленской губернии.

С. 579. *Коробанов* — Петр Матвеевич Карабанов, дед Л. по матери. В справочных изданиях его ошибочно смешивают с еди-



нокровным братом, поэтом П. М. Карбановым (подробнее в т. 6).

С. 579. *Леонтьевы* — семья Бориса Ивановича Леонтьева (1748 — ?), свекра Ф. П. Леонтьевой. На празднике в Покровском Ф. П. познакомилась со своим будущим мужем и его семьей: отцом, двумя братьями (второй сын Б. И. Леонтьева, Сергей, тогда еще не вышел в отставку) и четырьмя сестрами.

С. 579. *Энгельгарды* — смоленские помещики (подполковник А. В. Энгельгардт был одним из организаторов смоленского дворянского ополчения), упоминаются в воспоминаниях Ф. П. Леонтьевой. Среди гостей Н. П. Вырубова она называет пожилую девушку Озерову, которая «воспитывала сироту, богатую наследницу по фамилии Энгельгардт» (РВ. 1883. № 10. С. 820), и «трех братьев Энгельгардт» (Там же. С. 826). Об Озеровых см. ниже.

С. 579. *Якушкина ~ Подвицкий* — «Г-жа Подвицкая женщина лет пятидесяти, с преглупым, вечно улыбающимся лицом. Она была два раза замужем. От первого мужа имела дочь, девочку лет двенадцати. <...> Эта девочка, по фамилии Якушкина, была совершенною противоположностью девице Энгельгардт. <...> В другой раз мать этой девочки вышла замуж за Подвицкого. Он был полковник в отставке, украшен многими орденами за храбрость и поселился в соседстве г-жи Якушкиной, которая тогда была вдовой. Он был бедный человек, а она имела состояние, и он, несмотря на то что она была гораздо его старше, женился на ней. У него не было ни образования, ни манер, настоящий выслужившийся солдат! Говорили, что он не из высокого звания» (Там же. С. 820—821).

С. 579. *Озеров* — в числе гостей Вырубова в Покровском были Озеровы. «Два брата Озерова, лет по тридцати пяти, помещики, соседи» (Там же. С. 822). За их старшим братом, Евграфом Даниловичем Озеровым, была замужем Анна Епафродитовна Станкевич, старшая сестра матери Ф. П. Леонтьевой. Озеровой в замужестве была и одна из сестер Б. И. Леонтьева, Надежда Ивановна († 1831 г.), жившая в Ростове. «Свекор мой надеялся пристать на время у родной сестры своей, Озеровой, которая нанимала небольшой домик по близости монастыря Св. Иакова Чудотворца» (РВ. 1884. № 2. С. 672). «Тетка Озерова была лет около шестидесяти, ужасно собой дурна, лицо все испорчено оспой и к этому присоединялась посредственность ума. Но была женщина добрая, хотя весьма слабого характера» (Там же. С. 673).

С. 579. *Лунин* — гвардии поручик Лунин был «пятисотенным» дворянского ополчения Вяземского уезда во время Отечественной войны (*Вороновский В.М.* Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской губернии. 1812—1912. СПб., 1912. С. 377). Возможно, его или одного из его родственников упоминала Ф. П. Леонтьева в своих Записках: «Запевалой был некто Лунин, имел хороший и верный голос...» (*РВ.* 1883. № 10. С. 844).

С. 579. *Ковалёв* — Григорий Григорьевич Ковалев, помещик Вяземского уезда; см. о нем: *РВ.* 1883. № 12. С. 885—887 (здесь: Григорий Григорьевич К\*\*\*). «Он был, как говорится, не из самых чистых дворян; чуть ли не дед его был мещанин, ремеслом кузнец. Ничего не могло быть отвратительнее этого человека в физическом и моральном отношении. Он был колоссального роста, не толст, но широко и костляво сложенный; волосы русые несколько крутились, брови густые нависшие, глаза не очень велики, серые; взгляд лукавый, злой и насмешливый; усы скверные, с презрительно улыбкой, уши огромные, руки тоже, только чтобы молот держать. Он был очень ряб и сильно заикался. Одет был всегда в сюртуке светло-серого цвета, длиной до самых пят; два большие кармана сзади и два спереди на груди. Эти два кармана всегда были набиты какими-то свертками бумаг. Он очень чванился своим богатством (у него была тысяча душ). <...> Страшный был хвастун, завистлив <...> скуп, презирал бедность и всячески старался сказать про каждого что-нибудь язвительное» (Там же. С. 885—886). Эпизод, описанный далее Федосьей Петровной, Л. использовал в очерке «Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года».

С. 579. *Рагозин* — Рагозины — помещики Мещовского и Мосальского уездов; поручик Федор Афанасьевич Рагозин в 1810—1814 гг. был заседателем, а в 1814—1817 гг. — судьей Мещовского уездного суда; его брат (также поручик) Алексей Афанасьевич в 1810—1821 гг. был депутатом дворянства Мещовского уезда. Здесь, вероятно, подразумевается Ф. А. Рагозин, с которым служил по выборам Н. Б. Леонтьев. Ср. в Записках Ф. П. Леонтьевой: «В этот день приехали к нам два соседа, Рагозин и Врацкий. Они оба были одних лет с мужем моим и приятели с ним» (*РВ.* 1883. № 12. С. 890).

Представитель другой ветви этого рода — штабс-капитан Василий Сергеевич Рагозин в 1821—1823 гг. служил земским исправником Мосальского уезда; его сын Василий был избран на ту же должность в Мещовском уезде в 1860—1863 гг., а другой сын, капитан Николай Васильевич Рагозин — был уездным

предводителем дворянства Мещовского уезда в 1871—1872 и 1875—1882 гг.; Л. встречался с ним в Мещовске.

С. 579. *Врацкий* — Врасские — помещики Мещовского уезда; коллежский ассессор Петр Иванович Врасской в 1785—1791 гг. был депутатом дворянства Мещовского уезда (и с 1788 г. заседателем совестного суда), в 1794—1797 гг. — уездным предводителем дворянства, в 1806—1810 гг. — судьей уездного суда, а его сын штабс-капитан Иван Петрович Врасской в 1830—1833 гг. — предводителем дворянства Мещовского уезда (до этого, с 1821 г. — депутат дворянства Мещовского уезда и судья уездного суда). Скорее всего Иван Петрович и был приятелем Н. Б. Леонтьева.

С. 579. *Уваров* — Уваровой по мужу стала двоюродная бабушка Л., сестра Б. И. Леонтьева — Александра Ивановна. В ее московском доме на Поварской улице намеревались остановиться по пути в Ростов бежавшие от французов Леонтьевы (см.: *РВ*. 1884. № 2. С. 670). «Тетушке было около шестидесяти лет, маленькая, худенькая старушка, но видно, что была не дурна. <...> по всем ее приемам видно было, что она была светская женщина. Она была фрейлиной при императрице Екатерине II, вышла в Петербурге замуж за Уварова. Потом переехала с мужем жить в Москву и по смерти мужа оставалась там же; она всегда находилась в самом лучшем кругу родных, знакомых, и по-видимому была довольно приятна в обществе» (Там же. С. 673—674). «Г. Уваров был не строгой нравственности; редко бывал дома...» (Там же. С. 675). «Тетушка была вдова генерала» (Там же. С. 709).

С. 579. *Сольдан; урожденная Хитрово* — см.: *РВ*. 1884. № 2. С. 686—694, 703 — 706, 708—710. С. З. Сольдан, дочь Александры Николаевны Хитрово; жена офицера Конногвардейского полка. «Госпожа Сольдан была дочь одной знатной и богатой дамы, г-жи Хитрово. У этой госпожи было четверо детей, два сына и две дочери; госпожа Сольдан была меньшая и фаворитка матери <...> Оба сына были женаты и занимали значительные места по службе; старшая дочь была замужем за посланником и жила с мужем в Париже» (*РВ*. 1884. № 2. С. 690). «Г-жа Сольдан была веселого характера, пела прекрасно, была недурна собой, хорошо воспитана...» (Там же. С. 703). Благодетельница Ф. П. Карабановой, А. М. Хитрово, была невесткой Софьи Сольдан. «...Мы бывали у нее часто и [я] встречалась там с Sophie. Я слышала, как г-жа Хитрово рассказывала матушке все ее проделки. <...> обе они очень бранили г-жу Сольдан и ее

невестка сказала матушке: „Представь себе <...> она влюбилась в одного молодого гвардейского офицера; он ее не любит, а она его до того преследует, что он бывало приедет к нам и жалуется, что не знает куда от нее деваться”. Тут я услышала фамилию Леонтьева» (Там же. С. 693). Речь идет об Иване Сергеевиче Леонтьеве (1782—1824), двоюродном брате Н. Б. Леонтьева.

С. 580. *Лыкошин* — Владимир Иванович Лыкошин (1792 — ?), старший сын Ивана Богдановича (1757—1820) и Меропен Ивановны (1770 — ?) Лыкошиных, владелец села Трисвятское Бельского уезда Смоленской губернии. Упоминается в Записках Ф. П. Леонтьевой в рассказе брата, В. П. Карабанова: «...Ты знаешь, что я служил у министра Юстиции; со мной вместе служил <...> cousin наш Voldemar Лыкошин, дела большого у нас не было; когда Наполеон вошел в Россию, мы захотели вступить оба в военную службу <...> мы пришли оба к министру и объявили ему наше намерение...» (РВ. 1884. № 2. С. 711). М. И. Лыкошина (рожд. Лесли) приходилась Ф. П. Леонтьевой двоюродной сестрой.

С. 580. *Кол.* — Вероятно, Колычевы. Л. находился в свойстве с этой семьей через Станкевичей (см. с. 916) и Алалыкиных (тетка Ф. П. Леонтьевой, Фед. Епафр. Алалыкина). «Мать Алалыкиных звали Прасковьей, урожденная Бартенева, в первом браке за Алалыкиным, а когда овдовела <...> вышла вторично замуж за Николая Петровича Колычева, и было у них три сына, но до совершеннолетия дожил только средний, Петр Николаевич (отец Анны Петровны Боде)» (Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 272).

С. 580. *Васильчиков* — за Кириллом Васильевичем Васильчиковым (ок. 1800—1827), Серпуховским уездным предводителем дворянства, была замужем Варвара Федоровна, вторая дочь Федора Ивановича Леонтьева. См. ниже.

С. 580. *...гор. Ростов...* — в Ростове спасались от нашествия Наполеона Б. И. Леонтьев с дочерьми и невесткой. См.: РВ. 1884. № 2.

С. 580. *Граф Хвостов* — Ф. П. Леонтьева была знакома с гр. Д. И. Хвостовым (1757—1835), который посвятил ей мадригал. Это стихотворение приводится в воспоминаниях о 1812 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 347): «Свои я имена цветам различным дал. / Царицу всех цветов я Фаннией назвал, / Хоть за то Линней пенять мне славный станет. / Я в Фаннии моей тьму прелестей встречал / и навсегда уверен стал, / Что Фанния

моя во веки не увянет». Ср. с примечанием Л. к запискам, опубликованным в *РВ*: «Альбом этот цел у меня до сих пор. В нем есть стихи графа Хвостова» (*РВ*. 1883. № 10. С. 847).

С. 580. *Варвара Федоровна* — В. Ф. Васильчикова. «...Варвара, лет двадцати пяти или двадцати четырех, брюнетка, волосы черные, глаза черные, небольшие, но отменно умные и приятные, худа, черты лица тонкие, весьма приятное выражение, роста среднего. <...> больше всех она мне нравилась и все находили, что она гораздо умнее прочих сестер» (*РВ*. 1884. № 2. С. 673).

С. 580. *Гр. Р.* — Графиня Анна Кирилловна Разумовская (1754—1826), в замужестве Васильчикова, в иночестве Агния; мать К. В. Васильчикова, упоминается в записках Ф. П. Леонтьевой «1813 год» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 347).

С. 580. *Федор Иванович* — Ф. И. Леонтьев, двоюродный дед Л. В 1812 г. ему было «около семидесяти лет» (*РВ*. 1884. № 2. С. 672). Жил в Ростове с тремя дочерьми.

С. 580. *Михаил Иванович* — М. И. Леонтьев (ок. 1756 — 1833). «Узнав о взятии Москвы, меньшей брат моего свекра, Михаил Иванович, живший все это время в деревне, в двадцати верстах от Ростова, приехал в город на совещание с братьями. Ему было тоже лет около шестидесяти, он не был никогда женат. При нем жила родная племянница, самого старшего брата дочь, девушка пожилая» (*РВ*. 1884. № 2. С. 679).

С. 580. *Свекор* ~ *Борис Иванович* — Б. И. Леонтьев.

С. 580. *Кутузовы* — семья М. И. и Е. И. Голенищевых-Кутузовых. Приезжая в Петербург, П. М. Карabanов останавливался в доме Кутузова.

С. 580. *Велик<ий> Князь Константин<ин> Павлович* (1779—1831), второй сын Императора Павла I, наместник Царства Польского. Упоминается в записках Ф. П. Леонтьевой как шеф Конногвардейского полка, в котором служил ее брат В. П. Карabanов. В записках «1813 год» говорится, что Великий Князь был «милостиво расположен» к П. М. Карabanову.

С. 580. *Николай Борисович* — Н. Б. Леонтьев (1784—1839 или 1840), юридический отец Л. «Из трех братьев Леонтьевых, старший был высокого роста и несмотря на свою тучность, имел довольно стройную фигуру; глаза голубые, довольно умные, с густыми бровями; цвет волос какой-то неопределенный; вообще черты лица неправильные, но очень приятные; ловок в танцах и развязен в обществе; двадцати восьми лет; служил в гвардии; вышел в отставку двадцати лет по каким-то неприятностям в полку» (*РВ*. 1883. № 10. С. 828).

## ПОДРУГИ ЧЕРНОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 25.  
Печатается впервые по автографу.

С. 609. *Он сам говорит: «человек должен уметь быть счастливым...»* — см. прим. на с. 832—833.

С. 609. *S'il faut périr? — perrons; s'il faut mourir — mourirons!..* — Если нужно погибнуть? — погибнем; если нужно умереть — умрем!.. (фр.)

С. 609. *Я в первой молодости ~ поплакал от такой любви...* — автобиографическая аллюзия, напоминающая об отношениях Л. с Э. Я. Кононовой.

С. 619. *...о новых сочинениях, которые он решил наконец начать для оправдания войны в принципе.* — По-видимому, один из замыслов самого Л.; ср. в письме к Н. Н. Страхову от 20 мая 1863 г.: «лучше война, поэтические суеверия и доблестные предрассудки чем всеобщая бесцветность...» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 2).

С. 619. *...как вообще в России люди не смелы умом.* — Этот мотив неоднократно встречается в переписке Л.

## ПЛАН БИОГРАФИИ СОФЬИ

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 50.  
Печатается впервые по автографу.

Этот план относится, вероятно, к первому периоду работы над романом. Здесь перечислены ретроспективные главы: после похорон отца Софья вспоминает всю историю своей любви. Точкой отсчета в биографии героини является приезд в Петербург ее двоюродного брата. Так для 12-летней Маши Леонтьевой «зарей новой жизни» стал приезд Л. в Петербург в конце 1860 г. Службе Матвеева в Туркестане и «пяти годам разлуки» соответствуют первые годы службы Л. в Турции (до отпуска 1868 г.).

## БИОГРАФИЯ СОНИ

Автограф: ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 1—7. Фрагмент (с. 660) написан карандашом на л. 5 об.

Печатается впервые по автографу.

Фрагмент одной из ретроспективных глав, хранившийся отдельно (номер этой рукописи — 39). На обложке (Л. 1) есть помета: «Глава без начала». В представленном выше «Плане биографии Софьи» этому отрывку по темам соответствуют главы III — начало VIII-й. Черновой набросок-план «И эта надежда исчезает...» относится к VIII и IX главам «Плана биографии...» или к первым главам романа (ср. с. 478).

Мысль стать актрисой пришла к М. В. Леонтьевой, когда ей было около 19 лет. 20 апреля 1867 г. она с кокетством писала в Адрианополь о выборе сценического псевдонима: «Когда я буду играть на любительских — моя фамилия будет Константинова. Понимаете ли?» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 93). Подобно героине романа «От осени до осени», она думала о поступлении на провинциальную сцену (очевидно, именно с Машей связаны хлопоты Леонтьева о сборах на Львовский театр в 1867 году).

Для истории театральной темы в «Подругах» очень важно письмо М. Леонтьевой к отцу, написанное в Янине 7—9 июля 1869 г. В первый день она сообщала о своем решении провести у дяди целый год, а значит — отменить свой дебют на большой сцене, который должен был состояться в феврале 1870 г.: «Получила я ваше письмо от 18-го июня, дорогой мой отец <...> я думаю, что вас очень удивит высказанное уже мною вам желание *дебютировать на большой сцене не позднее будущей осени, т. е. осени 1870-го года.* <...>

Но я вас умоляю не сердиться и не считать его простым капризом, а только понять, что желание это самое мое задушевное и, мне кажется, вовсе не безумное. — Вы поймете, если я вам вот что скажу: — Я не того боюсь, что года мои уходят, я знаю, что я долго буду молода и, в этом смысле, я вполне согласна с вами, что даже через два года я не опоздаю идти на сцену; — я просто утомилась той бесцветной пятилетней жизнью, какую, как вы сами видели, я вела с отъезда дяди. — Провести же здесь целый год в чтении и вообще в изучении серьезной части драматического искусства, а потом провести в том же еще целое лето — и все для того, чтобы играть опять целую зиму только на любительских

спектаклях, — простите мне, отец, — мысль об этом просто давит меня! — Неужто невозможно играть на любительских спектаклях и вместе с тем готовиться серьезно. — Если я останусь на эту зиму здесь, — то вот вам мое честное слово — что это ради здоровья, но ни ради чего более другого. — Не верь я в пользу того, что год подряд прожить здесь страшно поправит мое здоровье; — ничего и *никто* не удержало бы меня здесь. <...> Если бы дядя стал просить меня остаться *для себя* (а он этого ни за что не стал бы делать, — вы верно это поймете), — но, все-таки, если бы это случилось, — я бы все-таки отказалась, хотя и с болью; — а отказалась бы я все-таки *ради него же*: поймите, добрый отец, поймите и простите вашу Машу (чем же я виновата, чем же я виновата): я хочу быть актрисой, я хочу быть независимой — только для того, чтобы в этом новом и свободном моем положении — вполне принадлежать ему, если он этого захочет. — Как в самом начале моего решения идти на сцену (я вам уже писала об этом) — когда я думала, что я иду на сцену против его желания, — и считала сцену моим монастырем, — так теперь я считаю ее средством стать независимой — и все для того, чтобы и успехи свои и самую независимость и свободу свою и самое себя отдать<sup>1</sup> ему, ему одному, если он, опять говорю, захочет этого. — Одной только отрады я не могла бы пожертвовать ему <...> это покоить вас. — Моя мысль — ставши актрисой жить с вами. <...> Я хочу вас покоить, хочу немного больше стоять вашей ко мне привязанности. — Чем скорее я начну жить *своею* жизнью — тем мне легче будет. — Из этого никак не следует, чтобы мне все равно было быть дурной или хорошей актрисой. — Второстепенной я все-таки не хочу; — но я потому-то и выбрала этот путь, что я всегда чувствовала в себе этот талант и верю в себя, что буду недюжинная актриса. — Но идя в актрисы я не одному искусству хочу служить. Я знаю, что я без ума буду любить сцену, — но ко всему этому прибавится главное, что я хочу жить *полною* жизнью. — Мне жаль моих пяти лет не только относительно сцены; — мне жаль, что я просто не жила все это время. — Я не имела ни сильных страданий, а об наслаждении и говорить нечего. — Теперь я хочу и того и другого. — Сама я виновата в бесцветности моих лучших молодых годов, — сама хочу и не возвращаться к ним. — <...> теперь я хочу проснуться <...> Скажу вам словами дяди: — я смотрю на Эпир, как на

---

<sup>1</sup> далее зачеркнуто: тому, кому уже



красивую больницу» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1061. Л. 1—2 об.).

Через день, 9-го июля (за два дня произошло нечто, повлиявшее на перемену решения<sup>2</sup>) Маша написала о том, что поторопилась, сказав, что останется в Янине. «Не могу я оставаться здесь! — Ноет душа, что время идет. <...> в эти два дня <...> у меня были разговоры с дядей; — он слушал меня, слушал и решил, что при таком моем намерении — мне не следует оставаться при том условии, что я не могу поехать отсюда среди зимы если бы этого захотела <...> И дядя перестал меня убеждать здоровьем; он не хочет брать на себя ответственность за то, что грусть моя не подействует дурно на мое здоровье <...> И так я еду <...> теперь, когда эта мысль моя нашла столько сочувствия в нем, — я хочу достичь и сцены и успехов на ней и независимой жизни скорее, потому, что он и этот путь считает несколько не менее серьезным, чем всякий другой и несколько не менее считает меня способной и на этом пути жизни сказать *свое слово*. — <...> Что же касается до *других* наших отноше<й>, то я лучше скажу вам прямо слова дяди (если бы не множество служебных дел, от которых у него сумбур в голове, — он сам хотел отвечать на ваше письмо, но с такими заботами в голове — он не в силах писать вам серьезно; к тому же и не здоров; — успокоится и напишет); он говорит, что он не считает себя вправе ничего позволить себе относительно меня, пока я не стану на свои ноги, во-первых по своему нравственному долгу относительно вас, а во-вторых потому, что просто не хочет давать воли своим страстям, которые уже в нем, как он сам говорит, не сильны. —

Поняли ли вы теперь, отец, что он для меня и простили ли мне, что я вам этого не высказывала раньше. — Я многое и сама только теперь сознала, когда здоровей стала <...> мы завтра едем в Зицу, монастырь в горах. — Мы там проведем несколько времени, а потом дядю заставляют его служебные дела ехать в Корфу и провести там недели три; — оставлять одну он меня не хочет <...> Из Корфу я выезжаю 1-го сентября <...> Когда мы увидимся, я вам передам предписания дяди, как провести мне нынешнюю зиму, чтобы не потерять тот запас здоровья, который я повезу отсюда (Там же. Л. 3—5 об.).

---

<sup>2</sup> Возможно, какое-то проявление начинавшейся психической болезни Е. П. Леонтьевой (далее в письме сообщается о том, что она больна).

С. 654. ...уехал на войну в Польшу ~ на Кавказ и в Туркестан надолго: на шесть целых лет... — ср. с. 922.

С. 654. ...все что прекрасно в книге прекрасно и в жизни.. — слова А. А. Григорьева, сказанные им Л. в день знакомства в 1863 г.; приводятся в статье «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» (1869).

С. 654. ...не она ли сама написала ему тогда ~ зачем мне молодые люди. — Постоянные мотивы писем М. Леонтьевой к Л., в которых подробно «разбирались» все поклонники и знакомые.

С. 655. Я решаюсь идти в актрисы... — подобное письмо М. Леонтьева написала 18—22 января 1868 г. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1031. Л. 1—3 об.), в «Хронологии моей жизни» Л. назвал его «знаменательным» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 4). Отвечая на приглашение приехать летом в Тульчу, Маша рассказала о своем намерении стать актрисой и высказала твердое решение никогда не выходить замуж.

С. 655. ...выйти в Художественном Клубе... — Художественным Клубом называли петербургское Собрание художников (в Троицком пер., в зале Руадзе), основанное в 1865 г.; его членами были артисты, литераторы, ученые, устраивавшие любительские спектакли. В письмах М. Леонтьевой к дяде и к отцу неоднократно упоминается ее игра в любительских спектаклях. По-видимому, зимой 1868—1869 гг. она, подобно леонтьевской героине, дебютировала на сцене Художественного Клуба.

С. 655. ...в роли Катерины в Грозе или жены Краснова в «Грех да беда»... — речь идет о героинях пьес А. Н. Островского «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет». Вторая из них была впервые опубликована в журнале «Время» (1863. № 1).

С. 655. ...когда Краснов выбежал в кухню чтобы убить ее... — Имеется в виду финальная сцена пьесы «Грех да беда...» (Д. 4. Ст. 2. Явл. 6), когда за сценой (в кухне) лавочник Лев Родионович Краснов убивает ножом неверную жену Татьяну Даниловну. См.: Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1974. С. 448.

С. 656. ...мне 33 года... — Л. в автографе исправил «38 лет» (что соответствовало его возрасту в 1869 г.) на 33 года (см. с. 763).

С. 657. *El est drôle, ta cousin, Alexandre.* — Она забавна, твоя кузина, Александр. (фр.)

С. 657. ...пусть уж долечится виноградом. — М. Леонтьева «лечилась виноградом», гостя у Л. в Салониках в 1871 г. Ср. в письме к о. И. Фуделю от 20 октября 1912 г.: «Между тем

он [В. Н. Леонтьев — ред.] желал, чтобы я провела в Солуне весь август, чтобы пользоваться виноградом» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 39 об.).

С. 657. ...с ней приехала одна знакомая дама... — М. Леонтьеву в ее последней поездке в Турцию сопровождала Ольга Михайловна Кошевская (1837—1903), сестра С. М. Майковой.

С. 658. ...устроить ее на Императорской сцене... — скорее всего речь идет об Александринском театре.

С. 658. ...той самой большой и богатой либеральной газетой... — см. с. 893.

С. 658. ...прежде чем начал издавать сам «Занозу». — См. прим. на с. 897.

С. 659. ...«что к кому идет — вот главное». — Ср. в романе «Две избранницы» (с. 295).

С. 659. Алек<сандр> Андреич — Л. поменял местами имя и отчество Андрея Александровича Краевского (1810—1899), редактора-издателя «Голоса», в котором сотрудничал В. Н. Леонтьев.

С. 659. Бессильного и слабого обидеть не можт ~ Досаду затая, комар... — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Лев и Комар» (1809).

С. 659. ...Любовь Гордеевну Торцову — героиню пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок» (1854).

С. 660. ...служить ему в Курееве. — Ср. с. 478, 585.

С. 660. Молитва Софьи... — ср. с. 492, 611.

## ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

(РАССКАЗ МОНАХА)

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 23.

Датировка неизвестна (вторая половина 1880-х — 1891 г.).

Впервые опубликовано Ю. П. Иваском с большими неточностями: The Religious World of Russian culture. 1975. Vol. II. P. 242—243. Фототипическое воспроизведение автографа: Там же. С. 244—248.

Печатается по автографу.

По первоначальному описанию архива Леонтьева носит номер 37 (т. е. сразу после «Подруг»). Отрывок связан с замыслом романов «Святогорские отшельники» и «Подруги» («Последний луч» было одним из вариантов названия этого произведения).

М. В. Леонтьева также не считала этот текст законченным произведением. 6 января 1912 г. она так охарактеризовала его в письме к о. И. Фуделю: «*Последний Луч* — только набросок, и того менее» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 21).

С. 661. *...постричь меня в мантию.* — В рясофоре я уже давно. — Пострижение «в рясофор» — это первая степень монашества, хотя здесь еще не даются монашеские обеты; посвящаемый инок получает право носить рясу (отсюда название) и камиллавку. Постриг «в мантию» — собственно принятие монашества, также называется постригом в малую схиму.

С. 663. *...грехов у меня ~ «паче песка морского»...* — Цитата из «Молитвы Манассии, царя иудейского», завершающей II книгу Паралипоменон («заче согреших паче числа песка морского»). Молитва входит в последование Великого Повечерия.

С. 663. *«Прочее время жизни ~ на страшном Суде твоём»...* — Молитвы на основе двух прошений просительной ектении: «Прочее время живота нашего в мире и покаянии у Господа просим» и «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим». См. также прим. на с. 870.

## ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

### ОТ ОСЕНИ ДО ОСЕНИ

С. 669. *perdo* ~ *perdere* — спряжение лат. глагола «губить».

С. 674. ...праздник Рождества Богородицы. — Один из двенадцатых праздников Православной Церкви, празднуется 8 (21) сентября.

### ПЕССИМИСТ

С. 760. ...Герцог Гиз «*le Balafré*» адмиралу Колиньи... — Франциск (Франсуа) Лотарингский (1519—1563), герцог Гиз, прозванный «*le Balafré*» («имеющий рубец на лице»), и граф Гаспар де Шатильон Колиньи (1519—1572) сначала дружили, а затем глубоко враждовали между собой. Адмирал Колиньи в 1572 г. был ранен в руку, когда проезжал мимо дома Гизов, а затем, будучи главой гугенотов, погиб одним из первых в Варфоломеевскую ночь, организованную сыном Франсуа Гиза, главой Католической лиги, Генрихом I Гизом, герцогом Лотарингским. Позднее Генрих Гиз получил то же прозвище «*le Balafré*», что и его отец.

С. 761. ...когда был вопрос об этих матрикулах... — «Матрикулами» (от лат. *matricula*, список; аналог современных студенческого удостоверения и зачетной книжки) были прозваны утвержденные в 1861 г. «новые правила для студентов, отменявшие форменную одежду <...> запрещавшие сходки и ограничивающие число освобождаемых от платы за лекции». «...Упразднились публичные лекции, которые читали профессора для увеличения средств студенческой кассы, упразднились концерты <...> библиотека и кассы подлежали закрытию, студенческая корпорация упразднялась, наконец, каждый студент обязан был взять матрикулы. Сами по себе матрикулы не заключали ничего такого,

что могло бы привести университет в возбужденное состояние. Это были особые книжки, служившие видом на жительство и в которых помещались правила поведения студентов и вообще, так сказать, студенческая конституция. Но студенты обобщили матрикулы с теми запрещениями и ограничениями, которые были введены, и взять матрикулы — значило признать новые стеснительные правила и им подчиниться» (*Шелгунов Н.В.* Из прошлого и настоящего // *Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.А.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М., 1967. С. 146, 148). Неисполнение правил каралось исключением из университета. О студенческих волнениях, приведших к закрытию Санкт-Петербургского университета см.: Там же. С. 148—154. Новый устав университетов был выработан в 1863 г.

С. 761. ...*все прекрасное в Природе мне драгоценно.... Роза, тигр... Синее небо;... Скобелев;... Гёте...* — Начало этого ряда напоминает образы, перечисленные Милькеевым («В своем краю»; Т. 2. С. 23); ср. с упоминанием Гете в «Двух избранниках» (с. 161).

С. 761. *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Участвовал в Хивинском походе и подавлении Кокандского восстания; во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. участвовал во втором и третьем штурмах Плевны, сыграл решающую роль в бою при Шипке-Шейново, занял Сан-Стефано под Стамбулом; позже руководил второй Ахал-Текинской экспедицией, взятием Ашхабада. При большой личной храбрости проявлял смелую тактическую инициативу, отличался независимым и не чуждым внешней эффективности поведением, на самых опасных участках боевых действий он обычно появлялся верхом на белом коне, в белом кителе и белой фуражке, за что был прозван «белым генералом». Человек яркого темперамента и крупных страстей, Скобелев в своих поступках иногда нарушал требования дипломатического такта (его выступление в Париже в 1882 г. в защиту балканских народов против политики Германии и Австро-Венгрии вызвало международные осложнения) и переступал границы общепринятой морали. Для Л. Скобелев олицетворял тот тип деятелей, который своими выдающимися из плоско-демократической массы личными чертами придает рельефность истории, порождает те сложно-многобразные ее формы, которые делают историческое развитие похожим на «героическую поэму». Это эстетическое качество истории, с точки зрения Л., гораздо ценнее ее утилитарно-гуманистического содержания; поэтому для Л. так важно, что «в Цезаре и

Скобелев в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из <...> сельских учителей», поэтому Л. так дорожит тем, что «Скобелев был оригинален даже и в пороках своих» (письмо кн. Е. А. Гагариной от 22 мая 1888 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 3 об.). Однако поддержка Скобелевым балканских народов в их политических притязаниях и его мнение в пользу русско-французского союза вызвали осуждение у Л. («Гамбетта, Скобелев и Бисмарк»).

С. 761. *bravi* — нахал (фр.)

## БИОГРАФИЯ СОНИ

С. 764. *Tu as tort de ne pas en fais ta maîtresse...* — Напрасно ты не сделаешь ее своей любовницей... (фр.)

## ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

С. 767. *...в селении праведных, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная...* — цитаты из отпуска заупокойных богослужений («Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш <...> душу от нас преставльшегося раба своего в селении праведных учинит...») и кондака «Со святыми упокой...».

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

### АРХИВОХРАНИЛИЩА

АВПРИ	— Архив внешней политики Российской Империи МИД РФ (Москва)
ГАКО	— Государственный архив Калужской области
ОР ГЛМ	— отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва)
ОР РГБ	— отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)
ОР РНБ	— отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб)
РГАЛИ	— Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РГИА	— Российский Государственный исторический архив (СПб)
РО ИРЛИ	— рукописный отдел Института русской литературы (СПб)

### ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

<i>ИВ</i>	— «Исторический вестник»
<i>ЛН</i>	— «Литературное наследство»
<i>МВ</i>	— «Московские ведомости»
<i>Н</i>	— «Нива»
<i>РВ</i>	— «Русский вестник»
<i>РС</i>	— «Русская старина»
<i>С</i>	— «Современник»
<i>Сборник</i>	— Памяти К. Н. Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911.
<i>СС</i>	— Леонтьев К.Н. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912—1913.



# СОДЕРЖАНИЕ

## Произведения конца 1860-х—1891 годов

От осени до осени . . . . .	7
Две избранницы . . . . .	61
Египетский голубь . . . . .	196
Главы, не вошедшие в основной текст «Египетского голубя» . . . . .	400
[Фрагменты последних глав «Египетского голубя»] . . . . .	426
Ядес . . . . .	462
Подруги . . . . .	476
Подруги [другая редакция] . . . . .	527

## Другие редакции. Наброски. Планы

Пессимист . . . . .	569
Порядок Египетского голубя . . . . .	577
[Список действующих лиц...] . . . . .	579
Подруги [первая редакция] . . . . .	581
План биографии Софьи . . . . .	653
Подруги. Биография Сони . . . . .	654
Последний луч . . . . .	661
Варианты и разночтения . . . . .	665
Комментарии . . . . .	769
Список сокращений . . . . .	932

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ  
ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЕ И ПИСЕМ  
В 12-ТИ ТОМАХ

Том 5

*Утверждено к печати  
Редколлекцией полного собрания сочинений  
К. Н. Леонтьева*

Лицензия № 000190 от 03 июня 1999 г.  
Подписано к печати 23.04.03. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная  
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 58.7. Уч.-изд. л. 51.7. Тираж 1500 экз.  
Тип. зак. № 4215

Издательство «Владимир Даль»  
193036. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диопозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., д. 12

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В 12 ТОМАХ

ТОМ ШЕСТОЙ

В 2 книгах

В шестой том входят воспоминания, очерки, «консульские рассказы». Значительная часть их не переиздавалась. Все тексты сверены по прижизненным изданиям, имеющимся автографам или авторитетным копиям. Здесь впервые публикуются «Моя исповедь», «Хронология моей жизни», «Мои посмертные желания» и некоторые другие автобиографические материалы. В приложение к тому войдут неопубликованные воспоминания племянницы писателя, М. В. Леонтьевой («Янина» и «Как проводил время К(онстантин) Н(иколаевич) в Кудинове»), а также фрагменты из дневников его матери, Ф. П. Леонтьевой. Разделы «Другие редакции», «Варианты и разночтения», комментарии. Указатель имен.

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В 12 ТОМАХ

ТОМ СЕДЬМОЙ

В том войдет публицистика 1860-1870-х годов: и «классические» статьи («Панславизм и греки», «Византизм и славянство», «Русские, греки и югославы» и др.), и не переиздававшиеся ранние очерки («С Дуная»), а также статьи 1880 года из «Варшавского дневника». Раздел «Из ранних научных работ» включает в себя две медицинские статьи (одна из них не переиздавалась, другая не была опубликована при жизни автора) и записку «Об учебнике естествоведения в Крыму» (1859), также печатающуюся по рукописи. Разделы «Другие редакции», «Варианты и разночтения». Комментарии. Указатель имен.

